



ГЛАВА ПЕРВАЯ МЕЖДУВЛАСТИЕ

1

Дожившему до весьма уже почтенных лет и получившему предельный чин генерала-от-кавалерии барону Остен-Сакену никогда раньше не приходилось даже и предполагать, чтобы он мог попасть в такое труднейшее положение, как в конце февраля в Севастополе. Он, как истый немец, ревностно любил военную службу и фанатично любил своего бога, который так явно, так неусыпно заботился о блестящей судьбе остзейских немцев в России.

Обладая таким кладом, как весьма деятельный и способный начальник штаба князь Васильчиков, он сносно выполнял свои обязанности начальника гарнизона, но слишком далеко эти обязанности не заходили.

Все сколько-нибудь крупные шаги по обороне Севастополя предпринимались по ту сторону Большого рейда, на Северной стороне, в Сухой балке, а не в доме по Екатерининской улице, где была штаб-квартира Сакена.

Здесь назначались только мелкие вылазки, хотя и частые; отсюда снабжались всем необходимым войсковые части на бастионах и редутах; здесь следили за тем, чтобы свежие полки сменяли потерявшие в бомбардировках, отправляемые на отдых и пополнение; здесь вели скорбные списки потерь; отсюда шла большая часть представлений к наградам; здесь ведали перевязочными пунктами и госпиталями; здесь вообще наблюдали за принятым уже раньше распорядком жизни осажденного города.

Но святы были для исполнительного барона все приказы, получаемые им от главнокомандующего вооруженными силами Крыма. И вот вдруг вышло

так, что главнокомандующий оставил и Севастополь и Северную с ее Сухой балкой и уехал за семьдесят верст, возложив на него свое тяжкое бремя... Правда, уехал не совсем, только несколько подлечиться и отдохнуть, потому что действительно был болен и немощен, но...

— Но что же мы теперь, как же мы теперь без князя, мой милый Васильчиков?—оторопев, спрашивал заместитель главнокомандующего своего помощника.—Ведь сомневаться не приходится в том, что в самом ближайшем времени известно это станет Канроберу и Раглану, а? Ведь они, пожалуй, могут даже решиться теперь на штурм, а?

— Не думаю, чтобы их так пугал светлейший,—пробовал улыбнуться на это Васильчиков.

— Но все-таки раз только главнокомандующий отбыл от армии, то...

Сакен разводил широко руки, выпячивал губы, таращил глаза, Васильчиков же замечал на это холоднокровно:

— То вы его замещаете, и только. Ведь коренной какой-нибудь ломки от этого произойти не может. Что же заставит союзников высоко поднимать нос? Наконец, штурм они не начнут без порядочной бомбардировки, а это—история длинная, и мы всегда можем снестись с князем на случай большой необходимости.

— При такой распутице, вы полагаете, успеем снестись и получить указания?

— Вполне успеем. Наконец, если уехал светлейший князь, то ведь остаются великие князья.

— Да, остаются, да... В этом вы, разумеется, правы. Это есть действительный резон! Остаются их высочества, которые го-раз-до лучше, чем мы, знают предначертания августейшего своего родителя... Это есть резон, да, но кто будет нести ответственность в случае неудачи? Вот эта старая голова будет нести ответственность!—похлопал себя Сакен по затылку и отвернулся к окну, чтобы

скрыть нечаянно появившиеся слезинки: он был взволнован и даже чувствовал жалость к самому себе, как будто Меншиков, уехав, сделал в отношении к нему какую-то подлость, на которую даже и жаловаться нельзя и некому, а между тем очень бы хотелось.

Отсюда, со второго этажа, виден был внешний рейд, на котором вне выстрелов с фортов стояли, как обычно, суда союзников. Флот англо-французов сторожил не подступы с моря,—все море и без того было в его власти; он, стоя на якоре, просто выжидал удобного момента, чтобы поддержать своими орудиями натиск штурмующих колонн, который стал неотбойно чудиться Сакену с момента отъезда Меншикова, хотя ничто не изменилось кругом.

Море было блистающе-голубое, каким оно было всегда в ясные, теплые, тихие дни. На деревьях повеселели тонкие ветки,—именно повеселели,—в них началось уже движение соков, и как будто даже отмечал глаз какое-то общее набухание почек. По улице ходили прохожие в штатских пальто,—иногда даже и дамы в капорах,—возможно, что флотские, приехавшие проводить мужей, но, может быть, и те, которые никак не хотели расставаться со своими гнездами, какие бы несчастия им ни угрожали; было несколько десятков таких усидчивых и упорных. Ребятишки играли в военные игры, перебрасываясь осколками бомб, валявшимися на улице, и сильно кричали, приходя в понятный азарт. На близком отсюда Приморском бульваре, около памятника Казарскому, гремела полковая музыка, как всегда в последнее время в вечерние часы, и шло гулянье, разрешенное Меншиковым. В то же время к Графской пристани на двух фуражатских подводах, покрытых окровавленным брезентом, подвозили убитых на бастионах в перестрелке этого дня, и Сакен знал, что унтер-офицер флота, прозванный Хароном, погрузив их на баржу, будет переправлять их через Большой рейд на Северную, на Братское кладбище.

Шла обычная жизнь, независимо от того, был ли попрежнему здесь или уехал главнокомандующий, и слышался за дверью кабинета деловитый голос полковника Тотлебена, который, конечно, будет сейчас развивать в подробностях свой план о закладке нового, третьего редута перед Малаховым курганом: ему непременно хочется утвердиться на холме Кривая Пятка, хотя это и угрожает частыми и кровавыми схватками с французами, между тем ведь может случиться и так, что конференция в Вене, которая уже собралась или вот-вот соберется, обсудит условия мира, и тогда зачем же самим ввязываться в крупные операции, связанные с неизбежным риском?

Но Сакен знал, впрочем, что великие князья вполне соглашались с проектом Тотлебена, так что в смысле личной ответственности за этот шаг он

был отчасти спокоен. Наконец ему было известно и то, что сам царь настаивал в письмах к Меншикову на обороне при помощи контрапрошей. Беседа с Тотлебеном, часто переходившая на немецкий диалект, доставляла ему всегда истинное удовольствие. Конечно, он соглашался со всеми доводами его насчет необходимости третьего редута, хотя бы и не в форме вполне законченной, как первые два—Селенгинский и Волынский, а в облегченной, если французы будут сильно мешать работам.

Следующий день—19 февраля—принес Сакену новый удар: экстренно были вызваны в Петербург и спешно уехали великие князья. Конечно, он был у них перед отъездом, и они простились с ним с виду любезно, но тревога их была велика: теперь уже не к опасно больной матери ехали они, что было привычно, а к серьезно заболевшему отцу.

— Застанем ли, а?.. Застанем ли в живых?—пролепетал как-то совсем по-детски Михаил, когда обнимал его,* Сакена, на прощанье.

— Что вы, что вы, ваше высочество!—ошеломленно отозвался он.—Господь не допустит этого, нет! Мы будем молиться о здравии всем гарнизоном... всею армией будем молиться!.. Господь услышит нас и воздвигнет... и подымет с одра! Господь милосерд, он не допустит!..

Однако вместо торжественности, какую хотел он вложить в эти слова, вышла только бессвязность, растерянность,—он был явно испуган до чрезвычайности.

Тут же по отъезде великих князей были разосланы им всюду по гарнизону, по воинским частям за бухтой, по уцелевшим еще от бомбардировки городским церквям адъютанты и ординарцы с приказом отслужить, «преклонив колена», торжественное молебствие о здравии императора Николая, что явилось усердием совершенно излишним, так как в это время тело Николая было уже выставлено в одной из зал Зимнего дворца для прощания с ним придворных, военных и гражданских чинов и, наконец, народа.

О смерти того, кому он служил без малого тридцать лет, Сакен узнал только на другой день от парламентариев, офицеров союзной армии: кабель, проложенный интервентами между Балаклавой и Варной, помог им получить эту новость, взволновавшую всю Европу, еще накануне, к посрамлению русских курьерских троек; телеграфную же линию в Севастополь от Киева только еще вели, медленно спеша.

Сакен был поражен до того, что заперся у себя в кабинете, рыдал и бил перед иконой поклоны, но в это время через его адъютантов и Васильича слух о смерти царя расходился по гарнизону, пока еще шопотом, «по секрету», однако с быстротой необычайной.

Правда, иные, и очень многие, пытались не ве-

рить этому слуху, так как шел он со стороны противников, но батареи противников и даже стрелки их, как бы в знак сочувствия защитникам Севастополя, многозначительно умолкли, и в наступившей тишине гремела одна только эта острая весть, передававшаяся шопотом, на ухо, но стоившая энергичнейшей канонады.

Васильчиков вынужден был вывести Сакена из его траурного уединения напоминанием, что надо бы привести войска вверенной ему Крымской армии к присяге новому царю Александру II, как это сделано уж, разумеется, в войсках обеих столиц.

На это Сакен ответил, что бог укрепил его и внушил ему только одно решение: немедленно послать кого-либо из адъютантов к князю Меншикову, в Симферополь, чтобы у него, главнокомандующего, испросить необходимых распоряжений. Кстати, ему же, по мнению Сакена, надо было передать для утверждения и проект Тотлебена об устройстве третьего редута впереди Малахова кургана.

2

Меншиков ответил Сакену на другой же день:

«Поспешаю ответить на письмо вашего высокопревосходительства, в коем вы желаете знать мое мнение относительно построения редута в двухстах пятидесяти сажен от Малахова кургана, дабы парализовать действие английских батарей, сосредоточивающих свои выстрелы на этот курган. Я нахожу предположение это еще тем более полезным, что таковой редут послужить может опорным пунктом для дальнейших действий к овладению английскими батареями между Килен и Лаботорною балками...»

Получив разрешение на новый редут, Сакен мог уже говорить с Тотлебенем вполне авторитетным тоном: старая голова переложила с себя ответственность на другую, более высокопоставленную старую голову,—и подготовка к устройству третьего редута началась.

Может быть, она была бы отложена в долгий ящик, если бы Сакен знал, что Меншиков уже не главнокомандующий, но об этом в день отправки письма не знал и сам светлейший, шутивший перед отъездом, что ввиду святости Сакена он оставляет Севастополь на попечение самого господина бога.

Сакен и сам втайне думал, что не только он любит бога, но и его тоже любит бог, так что любовь была не без взаимности. Ночью же 20 февраля он лишний раз убедился в этом, поскольку чистейшие случайности имеют все-таки способность убеждать суеверов.

В его штаб-квартиру попала пущенная с одной из английских батарей конгревовая ракета весом в два пуда, пробила крышу, потолок и стену и,

разорвавшись, зажгла кипы бумаг, лежавших на полу, и самый пол. Конечно, произвела она переполох сильнейший. Васильчикову, Гротгусу и другим, жившим в доме, пришлось спросонья тушить пожар, который и был потушен довольно быстро, но Сакен долго не отпускал спать свой штаб, принимаясь снова и снова воодушевленно рассказывать, как ракета, отклонись она в своем полете всего на каких-нибудь три шага, могла бы ударить в кровать, на которой дремал он тяжелой дремотой, и его уничтожить, стереть, вычеркнуть из списка живых, и как «рука всевышнего» отвела ее в сторону и спасла ему жизнь.

Сквозь проломы в потолке и крыше любопытно глядело звездное небо и щедро вливался холодный влажный ранне-весенний воздух; в пострадавших комнатах еще только заканчивали уборку вестовые казаки, выметая последние клочья обгорелых бумаг, комья штукатурки, щепки, осколки, а Сакен уже тащил, энергично действуя длинными руками, и Васильчикова, и Гротгуса и других чинов штаба, помолиться перед образом, «воздать от чистого, умиленного сердца благодарность создателю за чудо, явленное недостойному рабу, боярину Дмитрию...»

Впрочем, больше уже в эту ночь «боярин Дмитрий» не ложился спать, а все прислушивался, одетый в теплую шинель, не летит ли к нему новая гостья по проторенной уже дорожке, и все поглядывал в потолок, пряча зябкие руки в карманы.

Уходить куда-нибудь из обжитого уже дома все-таки не хотелось, и утром продырявленная крыша, потолок и пол были исправлены рабочими, приведенными унтер-офицером Дебу.

Разыграть роль благодетельницы-судьбы в отношении к своему ближнему иногда бывает приятно, и адъютант рабочего батальона поручик Смирницкий вполне намеренно командировал к заместителю главнокомандующего вместе с нарядом вызванных рабочих не кого-либо другого, а именно Дебу. Ему хотелось, чтобы барон при случае обратил на него внимание, потому что представление в порпорщики, о котором говорил капитан-лейтенант Стеценко, вполне могло завалиться и даже затеряться в Петербурге, особенно в такую пору. Слух о смерти императора Николая, державшийся втайне, то есть передававшийся всюду шопотом, дошел, конечно, и до рабочего батальона в адмиралтействе, и если сам Дебу под влиянием его воспрянул духом, то Смирницкий, как более знакомый с канцелярскими делами, решил, что лучше все-таки о производстве как-нибудь напомнить в штабе, чтобы отсюда согласились послать запрос в Петербург, в министерство.

Дебу, успевший уже узнать рабочих своей роты, взял из них наиболее расторопных плотников, кровельщиков, штукатуров, чтобы заделать все

бреши в штабе как можно скорей и удачней. Говорить же ему советовал Смирницкий с самим Сакеном или, если уж совсем не явится возможности к этому, то с князем Васильчиковым, так как обращаться в канцелярию было бы бесполезно. Однако Дебу не представлял, как он будет говорить об этом: Сакен был недавний человек в Севастополе, адмирал же Станюкович, хорошо знавший его, Дебу, был в это время в Николаеве, сдав свой пост командира порта Нахимову.

Однако ему не пришлось обращаться к Сакену с жалкими нотами просителя в неуверенном голосе: барон заговорил с ним сам, когда плотники заделывали развороченный пол в его кабинете.

К своему кабинету чувствуют понятную нежность даже и суровые главнокомандующие сухопутными и морскими силами, поэтому среди множества дел, связанных с ходом обороны и требующих его личного вмешательства и решения, Сакен все-таки уделит минуту внимания и рабочим.

— Да-а, вот какой может произойти случай, братцы! Какая-то залетела шальная ракета, и я... едва не был убит, братцы!—сказал он, как бы ища сочувствия у нижних чинов и обращаясь непосредственно к представителю их, унтер-офицеру.

— Избави, господи, от папрасной смерти, ваше высокопревосходительство!—в тон ему, как бы от лица всей солдатско-матросской массы, ответил унтер-офицер, вытягиваясь перед ним сразу всеми несильными мышцами своего легкого тела.

— И господь не допустил до папрасной смерти!—торжественно протянул палец вверх Сакен.

— Слава тебе, господи, слава тебе!—истово перекрестился унтер-офицер, поглядев туда, куда был устремлен перст главнокомандующего.

Но перекрестился он не по-православному: он прикоснулся пальцами сначала к левому плечу, потом уже к правому, и Сакен тут же заметил это.

— Католик?—спросил он.—Поляк?

— Так точно, католик, но не поляк, а француз по отцу, ваше высокопревосходительство,—отчетливо ответил унтер-офицер, и Сакен удивленно высоко поднял брови.

— Француз-уз?.. Вот как, скажи пожалуйста!.. Француз? А как фамилия?

— Дебу, ваше высокопревосходительство... Представлен к производству в офицерский чин и ожадо производства.

— А-а? В прапорщики представлен? Это другое дело... Это—совсем особое дело...

Сакен смотрел на него очень внимательно, не опуская бровей, и Дебу думал уже, что вот неожиданно для него наступил благоприятный момент изложить свою просьбу, но подошел с какою-то бумагой Васильчиков и отвлек Сакена, который вышел вместе с ним из кабинета, а вскоре даже уехал куда-то.

Подходящий момент был упущен, однако Дебу

счел большой удачей и то, что он как бы представился барону, и тот может уже теперь вспомнить о нем при других обстоятельствах.

Отчасти хорошо, пожалуй, думал Дебу, даже и то, что подошел Васильчиков, и не пришлось докладывать Сакену о такой неприятности, как два года арестантских рот, отбывтых в крепостце Килия за участие в кружке Петрашевского. Известно ведь было, как мог бы посмотреть на это богомольный барон, недавно подавлявший революционное восстание в Венгрии.

Наконец, производство затянулось не для одного него только: и Бородатов, разжалованный два года назад, пока еще не получил тоже чина, к которому был представлен в прошлом еще году, а ходил, как и он, с двумя белыми басонами унтера на солдатских погонах.

Сакен же в этот день отправился на Северную сторону для осмотра войск, расположенных на Инкермане, и в одном из полков 17-й дивизии, которой командовал теперь назначенный на место Кирьякова генерал-лейтенант Веселитский, он поражен был внешностью полкового священника, иеромонаха Иоанникия.

Это был тот самый иеромонах, которого мельком видел в окне симферопольской гостиницы «Европа» Пирогов и окрестил Пересветом, тот самый, потрясающий голос которого гремел в недозволенных песнях и, казалось, колебал колонны вестибюля гостиницы,—вот-вот рухнут.

Барон немедленно, лишь только поравнялся с ним, слез с лошади и подошел под благословение, но, получив его и с чувством приложившись к чрезмерно широкой лапе, усеянной рыжими веснушками, он не тут же сел снова на лошадь, он отступил на шаг, чтобы осмотреть как следует, с головы до ног, этого огромного и богатырски сложенного человека в черной рясе, с длиннейшей, светлого волоса, тоже богатырской бородою, весьма пышно разлегшейся на груди и достигающей до пояса. Серые глаза его глядели на барона, заместителя главнокомандующего, отнюдь не помонашески смиренно и подчиненно,—напротив, светился в них как будто даже чуть-чуть насмешливый огонек.

— Откуда вы, батюшка, к нам? Из какой обители?—спросил Сакен, почтительно улыбаясь.

— Из Юрьевского, новгородской епархии, монастыря, ваше сиятельство,—пророкотал Иоанникий.

— Из Юрьевского?.. Это—архимандрита Фотия?—так и вспорхнул умиленным голосом Сакен.

— Точно так, застал я еще отца Фотия в последний год его земной жизни... По его же личному настоянию и монашество я принял: голос мой очень понравился. Так из новгородской духовной семинарии не в приход я попал, а в обитель Юрьевскую, ваше сиятельство.

Хотя Фотий умер уже лет семнадцать назад, все-таки Сакен проникил еще болшим почтением к иеромонаху, который подходил под благословение к самому знаменитому архимандриту. Но сколько ни льстило ему, что этот богатырь в рясе зовет его «сиятельство», все-таки в присутствии князя Васильчикова он счел нужным заметить новому Пересвету:

— Не «ваше сиятельство», а прошу обращаться ко мне по моему чину, поскольку титула князя или графа я не имею.

Иоанникий, однако, не смутился этим замечанием; он ответил, чуть наклонив голову в черном клобуке:

— Предвижу в грядущем, что так именно и будут обращаться к вам все в воздаяние за ратные подвиги ваши.

Сакен оглянулся на Васильчикова, как бы призывая его к свидетелю этого неожиданного пророчества, и, не найдя, чем бы ему отозваться на слова монаха, только приложил руку к козырьку и поклонился.

Иоанникий же продолжал невозмутимо:

— Для подвигов ратных и я, многогрешный, сюда прибыл, но вот уже два месяца томлюсь в бездействии, ваше сиятельство... Почему и прошу оказать мне милость—перевести меня на бастионы, где, может статься, имеется вакансия священнослужителя.

— А-а! И вы тоже подвигов желаете?.. Это... это приятно слышать! Да вы и есть воин, воин Христов, воин Христов истинный и в полном виде!—восклидал Сакен восторженно, отчасти под влиянием только что слышанного пророчества, отчасти искренно любуясь мощью Иоанникия.—Нет ли в самом деле вакансии у нас в гарнизоне?—обратился он к Васильчикову.

— В Камчатском полку заболел священник тяжелой болезнью, третьего дня положили в госпиталь,—припомнил Васильчиков.

— А-а, ну, вот, стало быть, в Камчатском, одиннадцатой дивизии,—оживленно обратился к иеромонаху Сакен.—Тогда, в этом случае, можно вас, батюшка, прикомандировать для несения святых ваших обязанностей к Камчатскому полку!

Иеромонах, удовлетворенно дернув бороδοю кверху и склоняя ее вниз, прогромыхал благодарность, снова величая «сиятельством» барона, который, чинно откланявшись, направился, наконец, к своей лошади.

3

В России в начале 1855 года было, в сущности, две осажденные крепости: Николай I и Севастополь.

Кольцо осады первой крепости было значительно шире, чем второй, и крепость эта рухнула раньше, но обе они были связаны между собой тысячу зримых и незримых нитей.

Эта вторая крепость, Севастополь, строилась и укреплялась не только под личным попечением, а временами и наблюдением первой, Николая, но впитала в себя и весь неблагоприятный запах николаевской эпохи.

Со всеми своими монументальными фортами и казармами, на которые пошло тесаного камня неизмеримо больше, чем на прославленные египетские пирамиды Хеопса и Хефрена, она была слаба уже тем, что узка, зажата в тугой кулак и однобока: обращена лицом только к морю, как будто суша около нее должна была сама собою провалиться вместе с интервентами, чуть только им вздумалось бы на нее вступить, и не в какой больше защите не нуждалась.

Старательно создавая в России в течение долгих лет бессмысленно-труднейшую жизнь, Николай I поставил и Севастополь с первых же дней осады в бессмысленно-труднейшее положение в деле защиты.

Точно сказочно-гигантский по своим размерам подъемный кран должен был вдруг, без минуты промедления, захватить все целиком такие дорого стоящие государству военные силы, как флот Черного моря, и, роняя часть кораблей на закупорку входа в бухту, выбросить все экипажи с орудиями и запасами снарядов на кое-как, впопыхах, сострепанные бастионы.

Кран этот все-таки повернулся, описав огромную дугу и кряхтя под тяжестью выпавшей на него неразумной задачи; выброшенные им на сушу моряки защищали родной город на своих бастионах, как защищали бы в открытом море честь русского андреевского флага, со всем упорством и со всей отвагой. Но таяло и таяло их число... Неотвратимо совершалось то, к чему с начала войны стремились союзники: русский Черноморский флот истреблялся, хотя и собственными руками, которые топили его в ненасытном фарватере Большого рейда; русские моряки гибли сотнями и тысячами, хотя и не в привычной для них стихии, а на суше.

Сухопутная же армия хотя и посылалась мелкими и крупными частями на выручку и шла, преодолевая огромные расстояния, и вливалась в ряды уцелевших первоначальных защитников, но ей приходилось соперничать в быстроте передвижения с пароходами интервентов, и пароходы неизменно побеждали: превосходство сил оставалось на стороне противника.

Исход борьбы за Севастополь был уже почти предreshен к концу февраля, хотя никогда ни раньше, ни позже положение осажденных не было лучше. Но вот слух о смерти Николая, исходивший от интервентов, подтвердился: его привез генерал-адъютант Паскевич, командированный из Петербурга, чтобы привести Крымскую армию к присяге новому императору.

Итак, перестало быть тайной для войск, что

Николай умер; стало известно и то, что Меншиков более уж не вернется в Севастополь как главнокомандующий, что другой кит армии русской—фельдмаршал Паскевич—неизлечимо болен (раком желудка, как оказалось впоследствии) и что третий кит, Горчаков 2-й, скачет сюда из Кишенева брать оборону Севастополя и Крыма в свои старые и ненадежные руки.

Было над чем задуматься не одному только Остен-Сакену, а всем вообще защитникам Севастополя, Крыма, Новороссии, от фуштатского солдата до генерала, и, действительно, это был момент немалой растерянности среди командиров отдельных частей, но младшее офицерство, а тем более матросы и солдаты отнеслись к этому вполне спокойно.

Последние только спрашивали друг друга, как надо полагать,—не выйдет ли замирение, не добьется ли его новый царь, и кто-то пустил совершенно нелепый слух, будто великий князь Константин, генерал-адмирал, идет на выручку Севастополя с американским флотом. Но хоть что-нибудь,—американский так американский флот,—все-таки некоторая отрада для сердца.

Присягу новому царю приняли полк за полком совершенно равнодушно. Все понимали нутром только одно: надо отстоять Севастополь; что же касается царя на престоле там, в Петербурге, то не все ли равно, как его зовут,—Николай или Александр? Здесь, на бастионах и около них дело было не в том или ином царе, а в штурцах и мортирах противника, в ружьях и пушках своих, в ночных работах доупада, в мертвом дневном сне в вонючих блиндажах, в насекомых, которые неустанно грызли тела, в черных, наполовину гнилых сухарях, которые нужно было грызть им самим, во многом другом еще и, наконец, в погоде: хотя в любую погоду, конечно, можно было проститься с жизнью, но дождь, назойливый зимний крымский дождь, и невылазная грязь очень портит настроение, а к смерти кругом привыкали быстро даже и молодые солдаты новоприбывших полков.

К ней нельзя было и не привыкнуть: она была везде как днем, так и ночью, как в пятипудовой бомбе, так и в певучей штурцовой пуле, и ей безразлично было, вышел ли солдат в ложемент перед бастионами как стрелок, или копает он неподатливую каменистую землю и таскает ее на разрушенный бомбардировкой бруствер.

4

Два перебежчика-француза, и не рядовые, а сержант и капрал, дали в главном штабе показания, очень встревожившие Сакена. По их словам вышло, что минные галереи французов доведены уже до такой близости к четвертому бастиону, что

не сегодня-завтра можно ожидать общего взрыва бастиона, а вслед за ним и штурма.

Показания эти были переданы Сакену утром в тот самый день, когда назначено было закладывать третий редут на подступах к Малахову кургану, и Сакен вызвал к себе Тотлебена для совещания.

Перебежчики бывали часто с наступлением зимы; особенно много их было в холодные дни. Можно было думать, что с большим риском получить пули от своих или от русских они бежали в Севастополь только затем, чтобы погреться.

Больше всего перебегало плохо одетых турок, египтян, арабов, но немало было ирландцев из английских войск, а также словаков, пьемонтцев, немцев, мадяров из иностранного легиона. Меньше было французов, как лучше обеспеченных одеждой, провиантом, жильем.

Эти двое сказали, что были очень обижены своим начальством, почему и бежали. Когда их спросили, чем они намерены заняться в России, то сержант объяснил, что он—хороший гравер и думает найти себе достаточно работы, чтобы, женившись, прокормить семью; капралу же непременно хотелось *faire quelque classe en Russie*, то есть быть учителем русских детей, как многочисленные пленные из наполеоновской армии двенадцатого года.

Показание их насчет французских минных галерей, где будто бы были уже приготовлены усиленные горны для взрывов четвертого бастиона, очень изумило Тотлебена и даже возмутило, как явная ложь.

— Но ведь я только вчера был, ваше высокопревосходительство, на этом самом бастионе номер четвертый и смею доложить, что нашел там все решительно именно в таком точно виде, как и третьего дня, когда мы взорвали там горн, как об этом я и доносил в подробном рапорте!—горячился Тотлебен.—Минную войну и именно там, на бастионе номер четвертый, начали мы, а не французы, как я уже однажды имел честь об этом докладывать вам, ваше высокопревосходительство... Я распорядился еще в ноябре месяце заложить там колодцы во рву, а уж после меня, в том же самом глинистом слое, начали вести свои работы французы, и мы произвели несколько взрывов, и все взрывы прошли очень удачно, а французы только два всего и, к моему личному изумлению, очень слабосильных, чего я даже и объяснить не умею ничем иным, ваше высокопревосходительство, как только плохой работой их инженеров! Нет, я считаю, что-о... я осмеливаюсь полагать, что наступление противника на правом фланге совершенно приостановлено именно нашими минными работами, а это, в свою очередь, позволяет нам теперь действовать наступательно на нашем левом фланге, у холма под названием «Кривая Пятка».

Сакен слушал его внимательно и качал одобрительно головой; но вдруг он выставил вперед ладонь и энергично опустил руку до самого пола, склонясь и сам туда, к полу, вслед за своей рукой.

— А что если они ведут свои ходы там, там, под вашими рукавами и прочее, а?—спросил он, таинственно прищурясь.

— Контрмины под нами?—слегка улыбнулся Тотлебен.—Нет, ваше высокопревосходительство, это есть невозможно по причине скалистого грунта на очень большую глубину, как я лично в том убедился. Но действительно, вы правы, история минного искусства знает такие случаи, когда контрмины велись под минными галлереями и слуховыми рукавами на большой глубине, ну, и потом, разумеется, следовали за этим непредвиденные для противника взрывы с блистательными результатами, но скала, как я уже докладывал, скала грандиознейшей глубины нас от этого защищает... Даже и на той глубине, на которой сейчас мы ведем работы, а также и французы,—в глинистом слое в шесть-семь футов,—должен я сказать, ваше высокопревосходительство, есть очень тяжелая работа. Люди задыхаются, а вентиляторы наши, которые мы из адмиралтейства получаем, действуют плохо, часто портятся, и мы их вынуждены обратно отсылать для починки. Так мало там воздуха, что и свечей зажигать нельзя,—работают люди в полной темноте... Часто бывает, что не туда выводят рукава, куда бы хотелось. Затем, как я уже докладывал ранее, очень мешают грунтовые воды. Саперов-минеров у нас мало; присылают для работ простых пехотных солдат, которые под землей даже и не работали никогда... Все это есть наши большие минусы, однако мы в минном искусстве ок-кончательно побеждаем французов.

— Так, так, мой милый Тотлебен, успехи ваши, как говорится по-русски, всем налицо! Но вот вопрос: отчего же перебежчики докладывали насчет контрмин, любопытен я знать?

— Ну, это же так очевидно просто, ваше высокопревосходительство!—улыбнулся Тотлебен.—Они хотят показать нам... считают это даже знаком необходимости, что раз они перебежали к нам, то надо же не с пустыми руками к нам показаться, а принести что-нибудь нам в презент. Вот и придумали они эти контрмины, которых не только в натуре нет, но даже и быть не может. Однако все-таки сочту я святым своим долгом отплатиться лично на нумер четвертый, чтобы там на месте опровергнуть все эти басни, ваше высокопревосходительство.

Противившись с Сакеном, Тотлебен поехал на четвертый бастион, где он бывал почти ежедневно, который он знал и наземно и подземно, как свою квартиру.

Он убежден был, что перебежчики вралли или говорили с чужого лживого голоса (сами они не были саперами), но вместе с тем он помнил и тот, сработанный литографским способом в Париже, план осады Севастополя, который дан был ему Меншиковым еще в декабре. К бывшему главнокомандующему этот план попал вместе с одним раненым и взятым в плен во время вылазки французским штаб-офицером. Кроме того, что на плане была подробно показана минная галлерея против четвертого бастиона, что вполне подтвердилось, на нем обозначена была и пороховая камера как раз под исходящим углом бастиона.

Хотя он уже двадцать раз убеждался, что так далеко, как на этом плане, французские работы не пошли, наткнувшись на русские мины, но он видел, что французы—противник очень упорный: может быть, и в самом деле им удалось докопаться со своей стороны до нового, глубоко залегающего слоя глины, до которого не сумел дойти он?

Подъезжая к боевому бастиону, он видел, что все было так же, как он привык видеть все последние дни: пустые улицы окраины города, живописно раскинутые разбитые дома, все без крыш, но многие с трубами печей,—прекрасные места для русских стрелков, которые залпами будут встречать противника, если когда-нибудь он все-таки отважится на штурм; наконец, одиноко стоящий костел, тоже изувеченный ядрами, последнее здание, за которым тянется пологий подъем к бастиону; а вот уже и первая траншея, и посвистывают «молоденькие», как солдаты зовут штуцерные пули Минье, с чашечками и стерженьками.

Передовые траншеи французов здесь были ближе, чем где бы то ни было в других точках оборонительной линии,—всего в полтора-два метра. Бывало так, что осколки разорвавшихся в этих траншеях русских бомб, рикошетируя, летят обратно и поражают прислугу у русских орудий, а осколки французских бомб отправляются тем же порядком назад калечить своих; штуцерники же той и другой стороны не дают даже и на момент показаться из траншей никому; как-то высунула голову ротная собака и тут же была убита; чуть приподнимет из траншеи шутки ради свою фуражку русский солдат, воткнувши ее на штык, и фуражка эта тут же вызовет на французской стороне с десятков ружейных дымков и упадет, пронизанная пулями.

Что положение здесь создалось весьма напряженное, Тотлебен знал, конечно; что одного только приказа Канробера не доставало для штурма, это было очевидно для всех; и все-таки приказ этот не отдавался, и Тотлебен был убежден, что охоту к штурмам здесь отбили у французов удачные минные работы, произведенные под его руководством.

Оставив свою верховую лошадь сзади блиндажа начальника этой дистанции, адмирала Новосильского, он пошел по бастиону, по-хозяйски оглядывая все кругом.

В траншеях, сидя и полулежа в самых беспечных позах, точно отдыхая на поденщине, густо набились серошинельные солдаты, площадка же бастиона имела вид кротовин на лугах: она вся была покрыта большими и малыми блиндажами, заметными только по невысоким кучкам земли, насыпанной на накаты из толстейших дубовых бревен. Выше других торчала насыпь над пороховым погребом.

Так как время стояло полуденное, то насыпи были наполовину уже расплесканы артиллерийскими снарядами: тысяча рабочих рук пехотных солдат будет их восстанавливать ночью, как и раньше. Насыпи были то желты от глины, то белесы от примеси известняка, и только входы в блиндажи слабо чернелись.

Прикрыт был накатом из бревен и насыпью и спуск в мины, почти рядом со входом в пороховой погреб,—ближайший спуск: минных колодцев было много, больше двадцати, но они расположены были во рву, за валом, и доступ к ним теперь, днем, был невозможен. Теперь шла обыкновенная боевая работа, грохотали пушечные выстрелы, причем нельзя было даже со стороны и разобрать, какие свои, какие чужие,—так близко друг от друга стояли наши и их батареи. Шла в то же время и оживленная штуцерная перестрелка, но это было здесь больше видно, чем слышно. Ружейные выстрелы совершенно тонули в пушечном громе, но штуцерные второй линии то и дело перебегали в первую, поднося стрелкам заряженные штуцеры, чтобы стрельба велась без перебоя.

Опытный глаз Тотлебена, только скользнув взглядом по валу, в котором среди гор земляных мешков стояли орудия, заметил, где и какие были новые повреждения; но его теперь занимала только минная галерея и слуховые рукава.

Там, в земле, безвыходно жил командир одной из рот саперного батальона штабс-капитан Мельников, которого моряки прозвали «обер-кротом». Этот обер-крот и был правой рукой Тотлебена. Все подземное здесь было его хозяйство. И через несколько минут, спустившись в мины около порохового блиндажа, Тотлебен сидел на земляном диване, покрытом ковром, в «трюме» у Мельникова.

5

Это была ниша, сбоку минного хода, отделенная от него большим ковром; коврами же были увешаны и стены. Возле одной из стен стояла печь; посреди этой подземной комнаты утверджен был стол, и на нем стоял самовар, горела свеча в бронзовом шандале и лежали «Мертвые души», рас-

крытые на том месте, где описана игра Чичикова с Ноздревым в шашки.

Мельников, крепкого сложения человек, но от недостатка воздуха и от полного отсутствия солнечного света совершенно желтолицый и истомленный, радостно засуетился, когда вошел к нему его начальник: любитель мирного дела с большим уважением относился к такому знатоку этого дела, каким был Тотлебен; притом же и Тотлебен высоко ценил своего помощника и представил его к георгию за удачно проведенный им взрыв усиленного горна недель пять назад: белый крест свеже красовался на груди молодого штабс-капитана.

— Я хотел бы знать, Александр Васильевич,—старательно выговаривая отчество, обратился Тотлебен к «обер-кроту»,—что бы мне сказали, если бы услышали, например, что нас... как бы это выразиться... что, одним словом, желают нас взорвать французы...

— Бастион взорвать?—очень удивился Мельников.—Тут одного желания мало!

— Именно, да... но тем не менее говорят, что этого мы должны ожидать на этих днях.

— Кто же осмелился говорить такое?—улыбнулся обер-крот.

— «Осмелился», да... Вы очень хорошо подобрали слово... Осмелились сказать это перебежчики-французы!

— Голая выдумка!—тряхнул Мельников отросшими здесь, в подземелье, и влажными от сырости русыми волосами.

— А если сделать действительное допущение, что они идут к нам под нашим нижним ярусом?

— На какой же именно глубине они могут идти?.. В шести разных местах делали колодцы по вашему же приказанию,—и скала чем ниже, тем крепче.

— Это-то действительно так, но, однако, этот результат есть наш результат, а у них может быть противоположный... вдруг, представим э-то, они наткнутся на глинистый слой и...

Оба глядели друг на друга испытующе, и Мельникову показалось, что его начальник мило шутит. Может быть, просто отклонился слабенький синий язычок свечки, и от этого тени на круглом лице Тотлебена сложились в подобие улыбки; поэтому Мельников широко улыбнулся сам и ответил:

— До глинистого или другого мягкого слоя им, может быть, придется долбить скалу на целую версту, а при таком сопротивлении газам всего пороха Франции не хватит, чтобы нас взорвать!

Тотлебен присмотрелся к его нездоровому, желтому лицу и заметил:

— Только бы вам не заболеть здесь,—э-то было бы большим ударом для дела и для меня... Вы все-таки почаще гуляйте себе наверху... Что же касается минного искусства, то вы, конечно, есть большой энтузиаст, Александр Васильевич,

но я ведь тоже есмь большой энтузиаст, поэтому необходимо мне самому покороче познакомиться с положением дел.

Это сказано было серьезным тоном, притом Тотлебен поднялся, отказавшись от чаю; тут же вскочил с места и Мельников и принялся натягивать шинель.

«Мертвые души» на его столе Тотлебен видел не раз, однакоже отогнул переплет и поднес книгу к свечке, чтобы прочесть заглавие.

Они пошли очень знакомыми им обоим, низкими для их роста и узкими ходами в земле сначала с огарком свечки, потом, когда огонек потух, впотухах. Но кротовые ходы эти, обделанные креплением из столбов и досок, были не безмолвны, местами даже гулки: тут работали,—перетаскивали мешки с землей, и слышно было трудовое кряхтение и, кроме того, чавканье грязи под неразборчивыми, тяжелыми солдатскими сапогами.

— Держи влево! Командир!—однообразно покрикивал Мельников, чтобы разойтись со встречаемыми в кромешной темноте и узости.

Местами приходилось не столько идти, сколько продираться почти ползком, до того узки и низки были мины. Конечно, на человека свежего это могло бы произвести непереносимое впечатление могилы, гроба, но Тотлебен знал, что тут слишком близко подошел скалистый грунт, а несколько дальше станет снова и выше и шире.

В слуховых рукавах, когда до них добрались, он спрашивал минеров, не слышно ли работ французов киркою ли, топором ли, долотом или скобелем, или скрипа их тележек, увозящих землю; недоверчив был к однообразным ответам: «Никак нет, вавшсокбродь, ничего не слышать!» Присаживался на корточки, прикладывал ухо к земле и слушал сам.

Он всячески изошрял и напрягал слух, однако никаких стуков не слышал; подымался и двигался дальше.

Когда дошел до того места, где русский минер почти вплотную столкнулся с французским, причем французы сконфуженно бросили свои мины и ушли, Тотлебен остановился, чтобы что-то обдумать и рассчитать про себя, благо тут горел фонарь.

Здесь была уже заготовлена по его распоряжению порядочная порция пороху, засыпанного землей, и около был расположен пост, наблюдавший за французскими минами, которые отличались от русских тем, что были шире и чище сделаны.

При каждом взрыве с русской стороны горнов или камуфлетов между линиями укреплений, на том узком пространстве, которое разделяло противников, образовывались воронки. Эти воронки, бывали иногда около десяти метров и больше в диаметре, и за обладание ими завязывалась борьба с наступлением сумерек и ночью.

Тотлебен обдумывал, стоит ли гратить порох для нового взрыва, и, наконец, сказал Мельникову:

— Сегодня вечером мы закладываем новый редут, а чтобы быть более точным,—люнет, это гораздо целесообразнее,—вперед Селенгинского и Вольнского, так вот, чтобы показать господам французам, что мы бодрствуем тут, на нумере четвертом, а там—скромны мы есть и тихи, надо взорвать этот горн сегодня же, когда все к этому у вас будет готово.

— Слушаю,—отозвался Мельников. —Взорвем.

Тотлебен на обратном пути не миновал и бастионного рва, в котором расположил большую часть минных колодцев, между ними и те, самые глубокие, но брошенные из-за твердейшей скалы. Начальник севастопольских инженеров сам опуссался в два из них, чтобы лишний раз убедиться в том, что инструменты не могли сладить со скалою дальше, хотя саперы и прошли уже в ней на несколько сажен ниже второго яруса галлерей.

— Нет, если только французы не имеют каких-нибудь новых, нам неизвестных сверлильных машин,—сказал он, наконец, Мельникову,—то мы от них в безопасности, а это добро—сержанта их и капрала—не мешало бы отправить к ним обратно... Итак, горн, Александр Васильевич, взорвите, а я пойду предупредить об этом адмирала.

Через ров летели пули свои и чужие, гранаты и ядра из орудий прямой наводки, и часто залетали сюда осколки, ежедневно насчитывалось дватри человека потери от осколков. Но минные колодцы были прикрыты накатами из бревен, и обязанностью рабочих при штурме противника было—всем выбегать из галлерей в ров и защищать входы в них штыками до последней возможности.

Чтобы пороховые газы и дым не пошли в свою же галлерею, заранее забаррикадировались мешками с землею на несколько сажен в толщину, теперь же только провели к пороху гальванические запалы, а кроме них, не вполне доверяя вольтову столбу, еще и желоба, наполненные порохом,—«сосисы»... Между тем выбравшийся на площадку бастиона Тотлебен тем временем посвящал в свой замысел вице-адмирала Новосильского.

Заработавший уже георгия на шею, высокий, всегда спокойный и уверенный в себе адмирал тут же послал приказ усилить огонь штурцерный и картечный на случай, если будут выскакивать из своих траншей французы, как это бывало всегда при прежних взрывах.

Началась оживленная перестрелка, но она не заглушила подземного гула, удалявшегося в сторону французов, и под ногами у всех на четвертом бастионе задрожала земля.

Вот повалил, вырываясь из поднявшейся грибом почвы, густой дым, полетели вверх камни, как при извержении миниатюрного вулкана, стали выскакивать на бруствер французские стрелки, пальба сде-

далась еще чаще, и, как мастер своего дела, наблюдавший все это Тотлебен сказал Новосильскому:

— Прекрасно!.. Теперь остается только занять воронку... А я поеду на Малахов, и что бы ни говорили мне теперь эт-ти, эт-ти там разные мерзавцы, я за ваш бастион спокоен... Желаю здравствовать!

6

Кусок неуютной, безрадостной голой земли, как всякий другой около, и на нем ничего, кроме этого холма, именуемого Кривой Пяткой. Так как здесь рвали когда-то перед войною камень для построек, то везде по холму и кое-где рядом с ним валяются крупные и мелкие обломки белого известняка. Обтесанные укладистые плиты вывезли отсюда в город,—обломки остались, и между ними всюду пробивается наивная молодая травка, первая яркая весенняя зелень.

Это-то именно место и наметил Тотлебен для устройства незамкнутого редута, то есть люнета, в расстоянии трехсот пятинадцати сажен от Малахова кургана, и с неизменной точностью, которая его отличала, лишь только сгустились сумерки, он был уже здесь, размечая на земле будущую линию первичной траншеи.

Батальон Камчатского полка был назначен сюда на земляные работы, и саперный унтер-офицер Бородатов, разжалованный из поручиков, но ожидающий скорого производства в прапорщики, руководил одним из участков работ, находясь в подчинении у своего же бывшего товарища инженер-штабс-капитана Сахарова.

Вперед была выслана рота, которая рассыпалась в цепь, чтобы малыми саперными лопатками и мотыгами выкопать к утру ложементы и в них залечь до вечерней смены.

Уходя туда, в сомнительный сумрак, в сторону французских батарей, говорили тихо старые солдаты молодым из пополнения:

— Под Стуков монастырь идем... Как, сердце не екает?.. Ничего, не робь,—какая не наша, так нас не тронет, а если уж наша, от нее все одно нигде не спасешься: она и в палатке найдет.

Паруса, снятые с тех кораблей и фрегатов, которые были потом затоплены, пошли на палатки, и в таких палатках, в одной из балок на Корабельной стороне, размещен был Камчатский полк. Как ни укрыт был этот лагерь от противника, но и туда залетали иногда снаряды, пущенные навесно.

Французы, пришедшие на этот фронт на помощь англичанам, очень деятельно строили свои укрепления на высотах и устанавливали в них дальноточные мортиры.

Зеленый Холм, как они прозвали Кривую Пятку, очень пленял живое воображение их инженеров, но из-за осады крепостей требовала строгой последовательности действий, а не скачков в неиз-

вестное; просторные, чтобы было где укрываться многочисленному резерву при атаках, траншеи их подходили строго-классическими зигзагами, почва же была неблагоприятная,—неподатливая, каменистая, кроме того, все крупные орудия Малахова кургана, так же как и орудия двух новопоставленных редутов—Селенгинского и Волынского,—сильно затрудняли их работы метким огнем.

Англичане, общее число которых под Севастополем не достигало теперь и третьей части числа французов, сосредоточивались против третьего бастиона, неприступного «Редана»; они следили с чисто спортивным интересом за соперничеством своих союзников и русских и держали между собою азартные пари, кто скорее овладеет Зеленым Холмом, с которого, при удаче французов, можно было громить остатки русского Черноморского флота.

Если со смертью Николая, совпавшей с отставкой Меншикова и назначением в Крым Горчакова, вводилось неизбежное новое в дело обороны Севастополя, то и во французской армии в Крыму к этому времени введено было новшество, имевшее огромное значение для дела осады. Армия эта была разделена на два сорокатысячных корпуса, и одним из них начал командовать способнейший генерал Боске, другим же—вызванный нарочно для этого из Алжира Жан-Жак Пелисье.

Первый корпус оставался там же, где были расположены его дивизии и раньше,—против Городской стороны; вести же атаку против Малахова кургана поручено было второму корпусу под командой Боске.

Непосредственно при главной квартире, у Канробера, в виде общего резерва оставалось всего несколько тысяч человек, и хотя он попрежнему был главнокомандующим, но авторитетнее его выступал на военных советах личный адъютант и представитель Наполеона генерал Ниэль, который и указал на Малахов, как на ключ всех севастопольских укреплений. И в то время как Канробер писал свои донесения о ходе осады военному министру, маршалу Валяну, Ниэль—непосредственно Наполеону.

Это было время полного охлаждения отношений Канробера к лорду Раглану: как ни пытался он расшевелить старого маршала Англин, красноречивый Раглан находил десятки причин для объяснения медленности своих действий против Редана, а между тем отсутствие поддержки англичан задерживало Боске в его стремлении овладеть Зеленым Холмом.

Все-таки Боске обещал Канроберу непременно занять этот холм 13/1 марта, но вот в ночь с 26 на 27 февраля камчатцы уже складывали в гряду обломки белого камня, как им указывали Сахаров и Бородатов, и под прикрытием этой гряды начали долбить кирками и отбрасывать лопатами землю, проводя траншею широкого, на четверть

версты, охвата, в виде неполной, несомкнутой снизу трапеции.

Ночь была исключительно благоприятна: моросил мелкий дождик, луна таилась за тучами, посылая все-таки достаточно света, чтобы видеть в нескольких шагах.

Тотлебен, встретив батальон, торжественно, хотя и не в полный голос, сказал солдатам, что они своей работой в эту ночь спасут Севастополь, и солдаты работали истово, проникаясь важностью выпавшей на их долю задачи.

Никто из них не курил под отвернутой полою шинели, даже здесь, на линии траншей, не только там, где устраивались ложементы; переговаривались они хриплым шопотом, не повышая голоса, даже когда переругивались друг с другом; старались стучать кирками как можно глуше и землю лопатой укладывать осторожно, а не швырять с размаху на вал.

Может быть, и сами не догадываясь о том, они действовали здесь ночью, как опытные воры, и они действительно крали у генерала Боске, у его второго корпуса, у всей армии французов, у всей союзной армии, у Франции, у Англии, у Турции курган Зеленый Холм, на котором через два-три дня должны были по всем расчетам стоять французские тридцатисантиметровые мортиры, чтобы под их прикрытием еще через несколько дней внезапным штурмом в больших силах захватить неожиданно вскочившие перед Малаховым два досадных редута, а может быть, и всю Корабельную, и тем блистательно закончить осаду.

Впереди, в секретах, лежали пластуны под командой своего неизменного батки шестидесятилетнего есаула Даниленка, который вот уже несколько месяцев провел на аванпостах, но не был ни разу ранен. Пластуны доносили, что со стороны французов слышны им стук кирок и лопат: там тоже усердно работали в траншеях, проклиная каменистый грунт. С виду тихая, дождливая ночь полна была напряжения и пылких надежд.

Офицеры батальона не сходились кучкой, как это непременно сделали бы на ученьи; каждый ротный был на участке своей роты, а младшие офицеры при своих взводах. Дело шло, хотя и не так успешно, как того хотелось бы саперам; но шло и время, и уже подвигалось к трем часам утра, когда какой-то рокот, точно от тархтящей по камням телеги, раздался на левом фланге работ.

— Что это? Что там такое?—встревоженно пробормотал Бородатов, бывший недалеко от левого фланга.

Пожилой рядовой солдат, работавший около него, выдохнул горестно:

— Э-эх! Всю нам обедню испортил!.. Это же наш новый батюшка, кажись...

— Батюшка ваш?.. Священник?

— По голосу будто он, так точно.

— Зачем же он тут?.. Добеги, скажи, что нельзя тут!—заторопился Бородатов, потому что продолжался рокот.

— Слушаю!—и солдат, пригнувшись, точно его могли разглядеть и поднять пальбу французы, побежал на левый фланг окопа.

Это действительно был иеромонах Иоанникий.

— Батюшка! Нельзя так! Вполне нехорошо!—укоризненно и сразу выпалил солдат вполголоса первое, что пришло на ум.

От монаха пахло водкой.

— Ты-ы что это за птица такая?—чуть не в голос рявкнул Иоанникий.

— Девятой роты рядовой Егор Мартышин!—привычно на вопрос «кто?» ответил солдат шопотом и добавил:—А вас прошу, батюшка, неприятно знать не давайте-с!

— Как же ты смеешь мне вдруг... слова такие?—изумился Иоанникий.

— Послан я начальством, а не сам...

Но тут подбежал уже и сам Бородатов, шипя:

— Тише! Пожалуйста, тише!

— А ты кто такой?—обратился к нему Иоанникий.

— Мне принято говорить «вы»: я офицер!.. Говорите, пожалуйста, шопотом. Что вам здесь нужно?

— Как так «что нужно»?—несколько как бы опешил монах.—Я пришел к своим овцам духовным, а ты...

— Никаких овец тут нет, тут—защитники отечества... Прошу вас, оставьте нас сейчас же!

— Так я тебя взял и послушался такого!—буркнул монах.

— Иди, доложи командиру батальона!—повернулся к Мартышину Бородатов.

Мартышин метнулся в темноту, успев только сказать при этом:

— Вот наказание осподне!

— Я вас умоляю, батюшка, вернитесь в свою палатку,—очень просительно и учтиво, насколько мог себя осилить, проговорил Бородатов.

— Те-те-те!.. Три шага вперед! Разевай рот!.. Имя?—командным тоном, хотя даже и не в четверть своего голоса, но с выражением отозвался ему Иоанникий.

Это была придуманная им самим команда солдатам, которые говели у него на первой неделе шедшего теперь великого погса.

Мартышину не пришлось далеко бежать: командир батальона майор Лештуков поспешно шел уже сам на неожиданный шум на левом фланге. Подойдя к монаху, он взял его под локоть и прошептал внушительно:

— Пойдемте-ка, батюшка, в лагерь!

Он повернул его кругом и, к удивлению Бородатова, выпивший огромный иеромонах безмолвной тенью пошел рядом с ним.

— Проводи-ка своего батюшку до лагеря, а то еще заблудится,—попадет к французам,—сказал Бородатов Мартышину Егору.

— Вот наказание с таким!—отозвался Егор прежним тоном и ринулся, уткнув голову в плечи, следом за уходившими, понимая без дальних распросов, что батальонный не может же далеко уйти от своего батальона, а подвыпивший иеромонах действительно, пожалуй, не найдет один обратной дороги к лагерю.

Чуть забрезжила утренняя полоса на море, отделяя воду от неба, вернулись лишние люди из ложементов и пластуны со своим заколдованным есаулом. В ложементах остались только штуцерники, а в вырытой за ночь траншее в полной безопасности от пуль можно уже было продолжать работы и днем.

И когда развернулось утро, те из англичан против третьего бастиона, которые держали за русских, торжествующе получали с проигравших пари.

Правда, пока через Зеленый Холм и в обе стороны от него протянута была только узенькая ленточка окопа, но заметно было, что кирки и лопаты продолжали там действовать неутомимо, и дымки выстрелов белели, расплываясь впереди окопа из ложементов: там русские охотники перестреливались с французскими «головорезами» из своих ложементов.

Французы были поражены. Они открыли по русским работам на Зеленом Холме оживленную пальбу из орудий, но на защиту новорожденного люнета выступили батареи с Малахова, а вечером сюда на работу пришли уже остальные батальоны Камчатского полка, и люнет от полка, давшего ему жизнь, получил и свое имя. Впрочем, чаще потом звали его просто Камчаткой.

ГЛАВА ВТОРАЯ ИСТОМИН

1

Это было несколько странно, пожалуй, однако оказалось вполне возможным, что два адмирала враждебных армий—командующий английской эскадрой в Черном море Лайонс и командующий 4-й оборонительной дистанцией, центром которой был грозный Корниловский бастион, Владимир Иванович Истомин,—обменялись дружественными письмами в конце ноября—начале декабря 1854 года.

Они познакомились в водах Средиземного моря за несколько лет до войны, и Лайонс в своем письме вспоминал это в выражениях неподдельно теплых. Между прочим он припомнил и то, что

Истому очень нравился честерский сыр, и вместе с письмом прислал ему с парламентаром этого сыру.

Истомин приказал зажарить седло дикой козы, как самое вкусное место этой дичи, и, отдарив им Лайонса, послал ему такое письмо:

«Любезный адмирал! Я был очень доволен вашей присылкой; она привела мне на память наше крейсерство, от которого сохранились у меня неизгладимые впечатления, и вызвала передо мной со всей живою обстановкой то время, какого теперь нет. Я не забуду Афины и Мальту.

Ныне, через столько лет, мы опять вблизи друг от друга; но хотя мне и можно вас слышать, чему доказательством служит 5/17 октября, когда голос мощного «Агамемнона» раздался очень близко, но я не могу пожать вам руку.

В таких-то слишком, по-моему, церемонных формах благодарю я вас за добрую память и за дружескую присылку. Позвольте мне в свою очередь предложить вам добычу недавней охоты: крымские дикие козы превосходны.

Вы отдаете справедливость нашим морякам, любезный адмирал; они действительно заслуживают похвалу судьи, столь сведущего, но, как мне кажется, несколько взыскательного. Они—наша гордость и наша радость!..

Примите, любезный адмирал, изъявление моей преданности».

Упомянутый в этом письме трехдечный корабль «Агамемнон» был флагманским судном; на нем Лайонс, руководя обстрелом Северной стороны, ближе всех других боевых единиц английской эскадры держался перед фортами и энергичнее всех осыпал их снарядами.

Что адмирал Лайонс непримиримый враг России, Истомин знал. Кроме того, он знал и то, что Лайонсу в начале войны казалось легкой задачей овладеть Севастополем: это он высказывал неоднократно и устно и в печати. На зимнюю кампанию он не только не рассчитывал, но наг слишком осторожными, которые боялись такой возможности, ядовито смеялся. А между тем зимняя кампания наступила, так как осень не принесла интервентам никаких положительных результатов, буря разметала их флот, английская армия потеряла свое значение после побоища при Инкермане...

Ответить Лайонсу ввиду всего этого так, как он ответил, Истомин считал долгом общепринятой вежливости при этом мимолетном перемирии между ними двумя, допущенном явочным порядком. Однако в том же письме он отметил неджентльменский поступок парламентаря, посланного Лайонсом, добавив такие строки:

«Заговорив о морском деле, пользуясь случаем, чтобы заявить об одном обстоятельстве, которое, без сомнения, есть дело случая, но которое, если

будет повторяться, то может повлечь к неприятностям. В последний раз стимер, посланный для переговоров, подошел к самым пушкам крепости, тогда как он должен был вне линии наших огней дожидаться гребного судна, высланного к нему навстречу. Вы хорошо сделаете, сказавши словечко на этот счет, и вперед, конечно, не выйдет недоразумений».

Несомненно, что лорд Лайонс оставался в этом эпизоде вполне верен себе и, нагрузив своего парламентаря прелестным честерским сыром для любителя его—русского адмирала, в то же время заставил парламентаря сыграть и роль разведчика, чтобы привезти сведения о внешнем состоянии фортов.

Но Истомин, всего себя без остатка отдавая делу защиты Севастополя, не мог этого не отметить в своем письме, хотя и в выражениях, подобранных очень тщательно.

Английский офицер, правда, хотя бы и подбравшись к самым русским фортам, многого увидеть там не мог, однако не принято было, считалось даже зазорным по правилам войны парламентарю выходить из своих рамок и заниматься соглядатайством. В этом не видел доблести Истомин, и если бы сделал подобное русский моряк, он был бы осужден за это своим адмиралом.

Во время Синопского боя действия стопушечного корабля «Париж» под командой Истомина, тогда капитана 1-го ранга, привели в восторг даже такого строгого службиста, как Нахимов: действовать тогда как-нибудь еще удачнее, еще успешнее было уже невозможно.

И этот предел исполнительности, точности, бесстрашия, полного спокойствия во время самого жаркого боя был достигнут экипажем корабля «Париж» в глазах Нахимова главным образом потому, что командовал кораблем человек безукоризненно исполнительный, точный во всех своих действиях и неизменно спокойный.

Таким знал адмирал Нахимов капитана Истомина в мирное время; после же Синопского боя он как бы сразу был принят им в свою семью,—немногочисленную семью моряков, исключительных, достойных особого уважения.

Есть признание и признание. Люди, влюбленные в дело, которому служат, ценят только признание знатоков этого дела и, если оно получено, до самой смерти не выпускают знамени из рук, передавая его достойнейшему: так движется вперед лучшее, что создал и чем живет человек.

Признание Нахимовым и Корниловым выдающихся достоинств в молодом контр-адмирале отлило его в законченную форму, а смерть Корнилова, которого он издавна привык ставить себе в пример, потрясла его, как величайшее личное несчастье, и в то же время заставила презирать опасность.

Навсегда простясь в морском госпитале со смертельно раненным Корниловым и благословенный его холодеющей рукой, он выбежал тогда из госпиталя рыдая, но рыдал он в последний раз. Он мчался потом на свой Малахов курган с огромной ненавистью к смерти и с острым презрением к ней. До конца бомбардировки он появлялся в самых опасных по обстрелу местах, но смерть в этот день обошла его.

Позже, когда при других бомбардировках он точно так же держался вызывая к реюющей кругом него смерти и окружавшие пытались убедить его уйти в блиндаж, он говорил обычно:

— Еще с пятого октября выписал я себя в расход и живу только за счет плохой стрельбы англичан и французов.

Что Малахов курган—ключ севастопольских укреплений, знали, конечно, защитники Севастополя, и только интервентам не удалось сразу этого понять. Назначенный начальником четвертой дистанции, в которую входил Малахов курган, Истомин получил под свою ответственность наиболее важный участок оборонительной линии; благодаря ему он сделался наиболее мощным.

Истомин был очень требователен к подчиненным, но еще требовательней к самому себе. Он был уже однажды контужен, потом легко ранен, но не покидал своего кургана. Жил он в каземате башни, от которой уцелел только нижний этаж, верхний же был сбит еще в первую бомбардировку.

Так же, как и Нахимов, не надевал он солдатской шинели сверх морского сюртука с эполетами. Шинель эта, равняя его со всеми другими кругом, прятала бы его от прицельных выстрелов неприятельских стрелков, которые охотились на русских командиров; но прятаться за что-нибудь от смерти он считал недостойным, как недостойным считал и отдых. Бессменно стоял он на вахте с самого начала осады и спал, не раздеваясь, готовый вскочить по первой тревоге и отбиваться от штурмующих колонн.

В последнее время, к концу февраля, он почувствовал, что силы начинают изменять ему. Он поддерживал их мускусом, но не сходил с поста.

Он был холост, как и Нахимов, но имел весьма престарелую, уже восьмидесятилетнюю мать и двух сестер, живших в Петербурге; им он отсылал свое жалованье; им он писал несколько раз, что, в случае если будет убит, им следует обратиться к генерал-адмиралу великому князю Константину; и, может статься, что жалование его—восемьсот шестьдесят рублей в год—«будет обращено в пожизненный им пенсioen». Других советов, как им устроиться после его смерти, он дать им не мог, никаких недвижимостей у него не было, больше завещать им было нечего, и с этой стороны он чувствовал себя спокойным.

Между тем ответственность его за Севастополь сильно возросла с тех пор, как на Малахов курган направил свою атаку корпус Боске. Истомин сделался как бы комендантом особой крепости, опиравшейся на Корабельную сторону. Два сильных бастиона входило в эту крепость: Корниловский и второй, три редута: Жерве, Волинский и Селенгинский, и, наконец, Камчатский люнет. Люнет огибал дугою пространство от каменоломни до Селенгинского редута и Волинского, и Истомин шутливо назвал все эти три новых сооружения «очками Малахова кургана».

Выброшенный на берег с корабля «Париж» молодой адмирал как бы получил команду над целой эскадрой, только лишенной способности маневрировать. Четвертое отделение стало обширнейшим военным хозяйством. Уже не два, не три полка пехоты, а около двух дивизий занимали теперь, в начале марта, его блиндажи, казармы, землянки, палатки.

Правда, иные полки были обескровлены до того, что стояли по числу людей не больше двух батальонов, даже одного, но зато каждый солдат в них был почти то же, что матрос на палубе корабля: обстрелянные, обветренные, насквозь продымленные, втянувшиеся во всякую работу, переставшие замечать, какие пули пели кругом, brave по своей выправке в строю, надежные на случай шторма люди.

Как-то он сам вздумал собрать для вылазки охотников от одного батальона Якутского полка. Отозвал всех офицеров батальона к себе и обратился к солдатам:

— Вот что, братцы! Требуется от вас семьдесят пять человек охотников на вылазку этой ночью. Ну-ка, охотники, выходи вперед!

Солдаты стояли не шевелясь, и все—глаза на него, на начальство, но никто не вышел. Озадаченный этим Истомин поглядел было вопросительно на командира батальона, но тут же скомандовал жестко:

— Охотники, пять шагов вперед, марш!

И сразу весь батальон сдвинулся с места, подался, не ломая строя, на пять широких шагов вперед и стал, сильно стукнув каблук о каблук правой ногою.

Истомин подумал, что его не поняли, и крикнул:

— Только охотники, а не все!

Но ему ответило много голосов вразнобой:

— Все охотники! Так точно, все пойдем!.. Согласны!

Это показалось до того прекрасным ответом стоявшему недалеко волонтеру из юнкеров флота Вите Зарубину, что он прошептал «браво!» и готов даже был захлопать в ладоши.

В эту вылазку под командой лейтенанта Астапова он потом просился и сам и был взят; тут в первый раз он и был ранен английским штыком, но рана оказалась легкая, и через неделю, покинув перевязочный пункт, Витя снова появился на бастионе.

Как тело, погруженное в воду, теряет в весе столько, сколько весит вытесненная им вода, так Витя Зарубин сразу почувствовал себя и легче, и проще, и в чем-то вполне оправданным, когда в первый раз пришел на Малахов «волонтером из юнкеров».

Батальон якутцев впоследствии он потому и понял так, что сам почувствовал бы себя оскорбленным, если бы вдруг выступили другие раньше его из общего строя и нашлось бы их семьдесят пять, а он почему-либо замешкался, не попал в их число, отстал и остался.

Изо дня в день на бастионе около него совершалось то самое настоящее, к чему так неудержимо стремятся все подростки, только что оторвавшиеся от детских игр: настоящие подвиги, настоящие опасности, настоящая смерть. При этом смерть не какая-то трусливо подкрадывавшаяся неизвестно откуда, невидимая, непонятная, страшная и в то же время презренная, как ночной вор, а вполне явная, летящая из неприятельских батарей и ложементов,—встречная смерть: они посылают ее нам, а мы им...

Стояли в разных местах на бастионе сигнальщики-матросы и смотрели во время бомбардировки в небо. Они следили за полетом неприятельских снарядов очень понаторевшими в этом ответственном деле глазами. И как петухи кричат по-особому, едва завидят ястреба, так же кричали и сигнальщики:

— На-аша! Береги-ись!

Это «и-ись» было как свист в два пальца пронзительно, и, услышав его, кто бросался к закрытиям, кто падал на землю.

«Наша» была бомба, которая должна была вот сию секунду упасть среди нас и взорваться. Это была «наша» смерть, «наше» увечье... Она падала, крутилась, шипела, выбрасывала искры, наконец взрывалась, наполняя все вокруг удушливым дымом и осколками.

Не все могли слышать сигнальщика в грохоте перестрелки, не все могли удачно укрыться от осколков... Обычно после разрыва бомбы валялось на земле два-три тела, и были стоны, и багровела кровь на рыжей грязи, и кричали уцелевшие:

— Эй! Носилки сюда! Давай носилки!

Если сигнальщики кричали: «Армейская!»—то это значило, что бомба упадет в расположении того

или другого полка из дежуривших на бастионе, а если: «Лить пошла!»—значило, что перемахнет через всю Корабельную и утонет в бухте.

Шутливо относились к этой зримой смерти, посылавшейся оттуда, от «него»—неприятеля; говорили: «Земляк гостинца прислал!» Страшную пятидюговую бомбу, которая во время полета обволакивалась полотнищем искр из своей трубки, особенно заметных и ярких ночью, называли «гри-вастым жеребцом», «лохматкой», «мохлаткой»... Певучие пули английских штуцеров называли «лебе-душками».

Так естественна и понятна была смерть здесь, на бастионе, что Вите Зарубину уже через месяц после того, как он поступил волонтером, неестественным казалось, когда он слышал о смерти кого-нибудь в городе от болезни. Даже дико как-то звучало это: умер от чахотки! Как же можно было допустить себя умереть от какой-то чахотки, когда каждый день то бомбардировки, то вылазки?

Во время вылазки, в которой участвовал Витя, у него в руках было солдатское ружье со штыком. Лейтенант Астапов, правда, пытался держать его все время около себя, однако не удержал. Когда и как Витя ворвался тогда вместе с бежавшими вперед и орущими «ура» матросами в английскую траншею, об этом ясного представления у него не осталось, но он помнил, что тоже кричал на бегу, очень крепко держа ружье наперевес, а после пробовал пальцами свой штык, когда отступали,—вдруг сухой! И с гордостью долго вспоминал потом, что штык был в крови.

Предметом гордости был для него и крест из чугунных ядер, сложенный на том самом месте, где был смертельно ранен Корнилов. Когда ему случалось проходить мимо этого креста, он шел как мимо бастионной святыни,—глаза на крест и руки по швам.

Очень скоро постиг он весь, довольно несложный, впрочем, обиход жизни на Малаховом, и мало того, что постиг,—все принял и все одобрил, потому что все сложилось там за несколько месяцев осады строго целесообразно: он ничего не мог бы изменить к лучшему, так как видел, каких огромных усилий тысяч людей в серых шинелях и матросских бушлатах стоило то, что называлось Корниловским бастионом. Разбиваемое усиленной бомбардировкой противника, оно возникало вновь на следующее утро: лежали груды, как и прежде, новые земляные мешки на бруствере; вместо подбитых орудий стояли новые того же калибра и на новых платформах; над пороховыми погребами высились заново насыпанные и утопанные земляные крыши... Чего-нибудь изменять в общем строе бастиона не приходилось,—можно было только восстанавливать испорченное чужими снарядами.

В матросах и солдатах вокруг себя на кургане

Витя видел не героизм момента, не героизм часа, двух, трех часов подряд, какое, например, видел его отец во время Синопского боя, а то отстоявшееся героизм повседневности, которое перестало уже всем казаться чем-нибудь особенным, а стало необходимым по своей целесообразности.

Если закатилась, например, бомба небольших размеров в блиндаж через двери и вертится, и шипит, готовая взорваться и убить и искалечить осколками несколько человек, то, конечно, должен же кто-нибудь броситься к ней, схватить ее руками и выбросить вон из блиндажа,—как же иначе? Это, конечно, героический поступок, но подобных поступков было много, к ним привыкли, они никого уж не удивляли,—они были просто необходимы, так же как борщ и каша.

Был, кстати, и такой случай, что ядро, подпрыгивая, катилось по земле и шлепнулось в обемистый ротный котел каши. Посмеялись, что французская «чугунка» прилеплась пробовать русскую кашу—«не иначе—голодная, стерва!»—но не выкидывать же было ради этого целый котел... Выкинули ядро, а кашу все-таки съели.

Может быть, какой-нибудь москвич или петербуржец назвал бы героизмом и то, что отец и мать Вити продолжали жить в своем домике на Малой Офицерской, но Витя знал, что тут действовала простая сила привычки. Так же точно жили в городе и семьи многих матросов, и матроски часто приходили на бастион к своим мужьям, приносили им пирогов или оладьев, плакали исподтишка, сморкаясь в фартуки, когда рассказывали, то—как «разнесло снарядишком» их хату, то—как убило наповал их соседку, или мальчонку Петьку, или годовалую девочку Анютку; но, уходя, шли не торопясь, даже когда начиналась жаркая перестрелка и ядра гулко бухали в землю, обдавая их грязью. Другие такие же матроски продолжали спокойно торговать у горжи бастиона сбит-нем и бубликами.

Витя жил в офицерском блиндаже; часто ставили его в ординарцы к Истомину, и он наблюдал все действия своего адмирала тем изучающим, поглощающим взглядом, который присущ только зеленой юности.

Почти безбровое, но всегда строгое на вид, светлоглазое, с очень белым, блестящим, широким, чуть лысеющим лбом и пепельно-русыми небольшими усами, лицо Истомина казалось гораздо моложе, чем могло бы быть в его сорок пять лет. По сравнению с лицами других офицеров на кургане это лицо можно бы было назвать даже холемым, но Витя знал, как «холил» себя Истомин.

Витя помнил и то, какой спор поднялся однажды, еще до осады Севастополя, в их среде юн-керо-в,—ми-чманом или лейтенантом участвовал

Истомин в знаменитом Наваринском бою¹, и уж не забывал с тех пор, что—гардемарином, что было ему тогда всего семнадцать лет, что за этот бой получил он и георгия и чин мичмана. И вот через двадцать восемь лет на этого бывшего наваринского гардемарины—контр-адмирала Истомина—смотрит вся Россия, как на виднейшего защитника ее чести и ее границ... Было почему смотреть на него во все глаза и кидаться со всех ног исполнять его приказания.

Иногда удавалось Вите побывать дома. Тогда он, совершенно не отдавая себе в этом отчета, держался хозяином здесь, где ковылял, сердито стуча непослушной палкой, его отец и где попрежнему самозабвенно хлопотала мать. Даже к сестренке Оле, которая с криком радости бросалась ему на шею, чуть только он входил, начал относиться он вполне покровительственно, точно был уже командир батареи по крайней мере, не меньше.

Правда, он очень возмужал за три месяца жизни на бастионе: недаром они ему и в послужном списке считались за три года.

Как-то в начале марта он нашел тоже время и возможность забежать домой, так как был послан с поручениями в город.

День стоял по-весеннему теплый. Солдатская шинель его была расстегнута на все крючки. От быстрой ходьбы ему было жарко. Подходя к дому, он думал только о холодной воде из колодца и едва заметил разбитое в одном окне стекло; заметил же потому, что сильно сверкали острые, длинные, как кинжалы, осколки на фоне знакомого с детства, черного с золотыми буквами альбомного переплета, прибитого изнутри к раме.

— А у нас Варечка!—сказала ему негромко Оля, кинувшись, как всегда, навстречу и обвиняя тонкими милыми ручонками шею.

Целуя ее, он отозвался с виду равнодушно:

— Вот как удачно я, значит, пришел: все будем в сборе!

Но он был рад посмотреть на сестру после ее болезни, от которой, слышал, многие умирают, даже из матросов и солдат.

На голове Вари была полосатая желто-белая косыночка, завязанная в узел под заострившимся подбородком. Все лицо ее заострилось от худобы и стало желтым, птичьим. Витя припоминал, глядя на нее, на какую же именно птицу она похожа теперь, и, довольно улыбнувшись, сказал:

— Знаешь, Варечка, ты теперь очень стала похожа на иволгу!

А заметив недоумение в ее потускневших больших глазах, добавил:

— Это самая-самая моя любимая птица—иволга! И как поет, просто прелесть!

Кстати, и кофточка Вари была светло-канареечного цвета с чуть заметными, слинявшими голубенькими цветочками: это еще больше увеличивало сходство сестры с иволгой в глазах Вити. Но Варя не слыхала никогда о такой птице, улыбнулась на шутку брата она очень сдержанно и, разглядывая его пристально, сказала с оттенком зависти:

— А ты уж успел загореть как!.. И весь так и пынешь, и пынешь!

Действительно, Витя казался здесь, в низковатой комнате, очень ярким. Служба на бастионе не слишком утомляла его, а молодой сон его в блиндаже был крепок даже и под сильнейшим обстрелом. Впрочем, он крепок был и у всех его товарищей: все быстро привыкло к ежедневной пальбе и могли проснуться скорее от шопота на ухо, чем от залпов из своих осадных орудий, заставлявших дрожать даже землю на целую версту кругом.

В отце Витя подметил еще раньше, что он вообще за время осады, за эти шесть месяцев, постарел на шесть лет: явно блее и суше как-то стала голова, резче выпятился нос—признак того, что опали щеки; чаще и крупнее стал он дергаться; однако бодрился, старался подбадривать и других; напротив, насупливал брови, хмыкал, сопел и припечатывал палкою пол, как и в первые дни, когда приходилось ему вновь слышать рассуждения маловверов, что Севастополь-то, пожалуй, едва ли отобьется от вцепившихся в него зубастых врагов.

Всегда, как приходил Витя, расспрашивал он его очень подробно обо всем, что делалось у них там, на Малаховом.

Крепостная служба, правда, была ему мало знакома, но зато знал он всех флотских на бастионах, особенно офицеров старших чинов, и, наконец, где же еще, как не там, на укреплениях, около своих батарей стояли и погибали матросы?

Теперь был такой час, когда вся семья сидела за чаем (хотя Витя с приходу не утерпел и выпил холодной колодезной воды целую кружку), и мать, как обычно, расположилась около самовара. Она мало изменилась на взгляд Вити. Пожалуй, даже выражение ее круглого добротного лица стало теперь не то чтобы успокоенным, а притерпевшимся,—перетерпевшим и то, что ранили сына, и то, что заболела тифом дочь... Вот поправился и опять глядит молодцом сын; выздоровела и, бог даст, станет прежней крепышкой дочь,—ну, а там, дальше... Сквозило, конечно, кое-какое беспокойство за будущее, но что же делать: не они одни остались в Севастополе, порядочно и других тоже... Может быть, как-нибудь впереди станет илучше.

¹ Наваринский бой произошел в 1827 г. между русской, английской и французской эскадрами, с одной стороны, и турецкой—с другой, у гавани Наварин в Пелопоннесе. Турецкий флот после кровопролитного боя был сожжен.

Это читалось Витей в лице матери, когда рассказывал он за столом, обращаясь не к ней, а к отцу, о последней новости на четвертом отделении,—о Камчатском люнете.

4

— Конечно, теперь все стали умные и все в один голос: «Если бы раньше так сделали!»—Однако же вот не сделали-с. А почему же не сделали?—Ну, да просто потому, что никто ведь и не думал, чтобы на Севастополь кто-нибудь осмелился напасть,—говорил с увлечением Витя:—А если б об этом подумали, когда надо было, то и войны никакой бы у нас тут не было... Вообще, всякие эти «если бы» да «кабы»... Чепуха все!.. Ну, не надо было—не делали, а понадобилось, вот тебе и есть,—и пусть-ка теперь французики погрызают около Малахова, когда у нас впереди целых три редута! Прыгать уж начали, конечно, заегозили... Второго числа ночью, слышали, бомбардировка какая была? Это они все по Камчатке садили.

— И что же?.. Что же?.. Как?—беспокойно спрашивал отец.

— Ничего, стоит себе Камчатка, как миленькая,—залихватски качнул головою кверху Витя.—У нас считают, что не меньше, как две тысячи снарядов они выпустили.

— Две тысячи?

— Да-а, не очень много, конечно, однако порядочно... А Камчатка сама даже и не отбивалась,—там еще и орудий не успели поставить... Только вчера амбразуры прорезали для двух батарей. Наши матросы за них за всех отстреливались. Конечно, с Вольнского и Селенгинского редутов тоже пальба здоровая была, да ведь и там тоже моряки у орудий... У нас ведь везде после отката орудия так и командуют по-флотски: «Орудие к борту!»

— О-о!.. «Орудие к борту!»—повторил отец, сияя.

— Орудие к борту!.. А когда вызывают по тревоге из землянок, кричат: «На палубу!»

— На палубу!.. А-а!

— Разве я тебе не говорил этого раньше?.. Дежурных у нас никаких не знают, как в пехоте,—у нас «вахтенные». А если раненый солдат заведет голос, его сейчас же матрос оборвет: «Чего завел волынку? Чтобы француз тебя такого услышал да подумал бы, что бабы у нас на бастионе? Ты лежи себе да молчи, пока на перевязочный не доставили. А там уж ори себе на здоровье,—там теперь есть кому тебя слушать: милосердные сестрицы этими делами занимаются!»

Сказав это, Витя перевел глаза на «иволгу», не обиделась ли, взял ее похудевшую руку, погладил нежно и добавил, улыбаясь:

— Насчет сестриц милосердных это они, ко-

нечно, «шуткуют», а сами,—видал я на перевязочном,—готовы не пить, не есть, только бы к ним сестрица подошла... Один уж почти умирал совсем,—выше колена ногу ему Пирогов отпилил, да что-то неудачно: гангрена началась,—так вот он говорил: «Сестрица, вы хотя мимо меня пройдите только, вроде как вы бы на Приморском бульваре гуляете, а я бы, например, будто боны на якорь в бухте ставлю, а сам на вас дивлюся не в полный глаз...»

— Это какой же сестре он так говорил?—очень живо, как и не ожидал Витя, спросила Варя.

— Да не узнавал я фамилию, признаться... Она уж и немолодая, только очень ко всем раненым внимательная.

— Не здешняя? Из приезжих?

— Из приезжих... Из пироговских...

— А твою рану кто перевязывал?

— Ну-у, мою!.. У меня какая же там была рана—пустяки!—покраснел Витя.—Стал бы я тоже свою рану давать сестре перевязывать... Мою, конечно, фельдшер.

— А кто же, кто же там... командиром кто... на Камчатке?—с усилием спросил отец.

— Кто? Сенявин, капитан-лейтенант.

— Се-ня-вин!.. А-а!.. Это вот хорошо... очень, да... Сенявин!.. Это он... природный моряк, как же-с... Он там будет... держать вот как,—Сенявин!

И старый Зарубин сжал руку,—всю из сухожилий, хрящей и синих вен,—в трясучий кулак, стараясь наглядно показать сыну, как способен будет держать в порядке этот новый сухопутный корабль—«Камчатку»—потомок старого известного адмирала Сенявин.

При этом глаза отца,—отметил Витя,—блистали так же остро и ярко, как остатки стекол в окне, разбитом залетевшим осколком снаряда. Витя даже поглядел для проверки впечатления на это окно, а мать, заметив его движение, проговорила, жалуюсь:

— В кабинете на стуле лежит сокровище-то это... Вот уж мы перепугались тогда,—это ведь ночью случилось!.. И далеко же от нас разорвалась проклятая,—у Микрюкова в саду,—а к нам вот долетело... Ведь если бы кто из нас стоял тогда около окна,—по-ми-най как звали!.. Спасибо, мы уж все спать тогда легли.

Маленькая, синеокая, с беленьким вытянутым личиком, Оля пристально наблюдала, когда рассказывала это мать, за своим братом-солдатом,—испугает ли это его хоть немного, но он только улыбался снисходительно, и это ее удивило.

— А там, на ба-сти-оне на твоём, тебе, скажешь, не страшно, а? Совсем не страшно?—спросила она, глядя на него в упор.

Витя притянул ее к себе, взял за плечи, потрепал выбившиеся из маленькой косички мягкие белые волосы и ответил к ее удовольствию:

— Нет, брат, каждый день бывает страшно.

— Ага!.. Вот видишь!—торжествовала Оля.

— Каждый день бывает страшно,—повторил Витя.—потому что каждый день повадился к нам на бастион приходить один пьяница, бывший кучер, с такою вот девчушкой маленькой, как ты... Приносит он к нам продавать франзоли,—целую корзину на солдатском ремне белом через плечо, а девчушка эта получает за него деньги и прячет к себе в мешочки, а иначе «тятка пропьет»... Конечно, мать ее франзоли эти печет, мужа своего пьяницу посылает их продавать, а девчушка с ним для контроля... Вот за нее-то мне всякий раз и бывает страшно: вдруг заденет ее осколок или пуля, много ли ей надо?

— А если... если заденет, ты будешь плакать?—очень тихо и очень серьезно спросила Оля, и Витя ответил ей так же тихо и так же серьезно:

— Буду.

Капитолина Петровна, чуть только речь коснулась франзолей, осведомилась, почему они там, на бастионе, покупают франзоли, почему бублики, пирожки, оладьи, и почему со штуки моют им там белье матроски с Корабельной. Она была в цепкой власти пугающего ее не менее бомбардировок крутого повышения цен на все в ежедневном домашнем обиходе. Отец же Вити жил больше мелочами боевой обстановки, примеряя их к воспоминаниям о своем прошлом, о сослуживцах-моряках, о командирах...

— Ну, а как там, а... Владимир Иванович как?.. Ничего, здоров, а?—спросил он об Истомине.

— Владимир Иванович наш как был, так и есть,—весело отозвался Витя.—Змей-горыныч о семи головах! Так его солдаты прозвали, не я... «И что это, говорят, за адмирал такой, чистый Змей-горыныч об семи головах! Где самый кипиток кипит, он туда и лезет!» Я понимаю, на корабле от снарядов не спрячешься, некуда прятаться, а ведь на бастионе вся земля вдоль-поперек изрыта: где траншея, где боскет, где целый блиндаж,—на каждом шагу есть прикрытие... А Владимир Иванович все думает, что он и в самом деле на палубе: станет с трубою на самом открытом месте и рассматривает, что у противника... Противник же тоже имеет трубы и подымает, конечно, пальбу. Около него уж нескольких адъютантов подстрелили, а он сам только один раз ранен был, только легко, вроде меня, да раз, говорят, контужен, тоже легко, с ног не свалился... Говорят, у всех французских офицеров амулеты какие-то есть необыкновенные,—может, и у нашего Истомина такой амулет? Только ведь чепуха же, должно быть, все эти амулеты.

— Иконка, должно быть, материнское благословение,—сказала Капитолина Петровна.—Вот и насчет «Трех святителей» говорят, почему он не то-

нул тогда: икону забыли снять явленную, он и стоял, а потом вспомнили, снять,—сразу пошел ко дну.

Старый Зарубин медленно повел головой, сомневаясь, но не решаясь отвергнуть этот слух, хотя сам он видел, как пароход «Громоносец» расстреливал его корабль. Витя же считал возможным пошутить только над амулетами французов:

— Не знаю я, что такое за амулеты,—говорят, что и у Боске, и у самого Канробера они есть,—только на Селенгинском редуте пришлось мне видеть в феврале человек пять убитых французских офицеров: плохо им помогли их амулеты. Может быть, что-нибудь носит и Владимир Иванович, а только мы все за него боимся, и я тоже.

— А если его убьют, ты плакать будешь?—спросила вдруг внимательно слушающая Оля.

— Кого убьют?—удивился Витя.—Адмирала Истомина? Тебе-то какое до него дело? Ты ведь его не знаешь!

— Ну, что ж что не знаю!.. А ты говори, будешь по нем плакать, если его убьют?—настойчиво повторила девочка, не отводя глаз.

— По Владимиру Ивановичу чтоб я не плакал?.. Не только плакать—рыдать по нем буду!

И Витя отвернул лицо к разбитому окну, чтобы скрыть, как совершенно непроизвольно заморгали мелко веки его глаз, и голосом совсем глухим и бесцветным добавил:

— Это же душа Малахова кургана—Истомин... Никто не хочет у нас думать даже, чтобы его и ранить могли, а не то что...

Слово «убить» теперь уж не захотело слететь с его языка.

Отец был тоже в волнении и пристукивал в пол палкой молча, а мать, воспользовавшись этим молчанием, спросила:

— Ипполита Матвеевича не выдал?

— Дебу? Где же я мог бы его видеть? А что, он еще не произведен?—безразлично спросил Витя.

— Да вот все ждет со дня на день... «Теперь, говорит, при новом императоре непременно должны произвести... Тогда уж, говорит, приобрету я все права человеческие, каких я пять лет назад лишился...» Вот уж кто беспокоился-то, когда Варя была больна!

— Мама!—покраснела вдруг Варя так, что и глаза ее стали розовыми.

— Ну, что «мама»! Что же ты в самом деле? Раз человек получит чин офицерский, то значит его и сам царь прощает, а ты уж к нему немилосерднее закона быть хочешь!

Витя понял, что до его прихода были какие-то сложные семейные разговоры насчет Дебу, но вникать в них ему не хотелось, даже казалось совсем неудобным. Он сослался на то, что должен бежать на бастион, и поднялся. Прощаясь с Варей, он спросил ее:

— Ты что же теперь, как,—опять на перевязочный сестрой?

— Разумеется! А как же иначе?—удивилась его вопросу Варя и почему-то слегка покраснела снова.

Желая показать, что он и не ожидал от сестры другого ответа, Витя заговорил снова о Малаховом:

— Три матроски у нас есть: воду на бастион снизу из колодца на коромыслах носят для солдат, для матросов, целый день они этим заняты. Их прежде четыре было, да одной шгуцерная попала в грудь, прямо в сердце. Могли бы эти три о себе подумать, что и с ними может то же случиться, однакоже ни одна не ушла,—как были, так и остались. Наш Истомин представил их к серебряным медалям за храбрость,—любопытно будет на них тогда посмотреть, как получат... А то у нас еще арестантов порядочно из тех, каких Корнилов покойный выпустил. У них только что головы бритые да тузы сзади на шинелях нашиты, а работают ничем не хуже других, особенно у орудий. Их ведь тоже нельзя даже и представлять к наградам, а Истомин при мне одному георгия сам навесил,—так теперь этот арестант с крестом и ходит и уж волосы отпустил. А им, правду сказать, давно бы следовало всем тузы сзади спороть, а кресты спереди навесить...

—5

Назначенный командиром порта и военным губернатором Севастополя, Нахимов выпустил 2/14 марта приказ, которым одинаково запрещалась, как частая пальба из орудий, ввиду недостатка пороха и снарядов, так и излишняя отвага ввиду большой потери людей.

«Усилия, употребленные неприятелем против Севастополя,—писал Нахимов,—дают основательный повод думать, что, решившись продолжать осаду, враги наши рассчитывают на средства еще более громадные. Но теперь шестимесячные труды по укреплению Севастополя приходят к концу, средства наши почти устроились, и потому кто из нас усомнится в торжестве над дерзкими замыслами неприятеля? Но разрушить их при большой потере с нашей стороны не есть еще полное торжество, и потому-то я считаю долгом напомнить всем начальникам священную обязанность, на них лежащую, именно предварительно озаботиться, чтобы при открытии огня с неприятельских батарей, не было ни одного лишнего человека не только в открытых местах и без дела, но даже прислуга у орудий и число людей для неразлучных с боем работ были ограничены крайней необходимостью. Заботливый офицер всегда отыщет средства сделать экономию в людях и тем уменьшить число подвергающихся опасности. Любопытство, свойст-

венное отваге, одушевляющей гарнизон Севастополя, в особенности не должно быть допущено частными начальниками. Пусть каждый будет уверен в результате боя и спокойно останется на указанном ему месте; это в особенности относится к господам офицерам.

Я надеюсь, что господа дистанционные начальники и отдельные начальники войск обратят полное внимание на этот предмет и разделят своих офицеров на очереди, приказав свободным находиться под блиндажами и в закрытых местах. При этом прошу внушить им, что жизнь каждого из них принадлежит отечеству и что не удалство, а только истинная храбрость приносит пользу ему и честь тому, кто умеет отличить ее в своих поступках от первого...

Этот приказ, отпечатанный в типографии главного штаба на Северной, лежал перед Истоминным на столе, когда к нему вошел генерал Хрулев.

После неудачного дела под Евпаторией, которым Хрулев с одной стороны помог сойти в гроб Николаю, а с другой—очень угодил Меншикову, он был вызван в Севастополь, однако только Сакен, знавший его еще по Венгерской кампании, дал ему ответственный пост начальника всех войск на Корабельной стороне, а также на передовых позициях четвертой дистанции.

Узнав о своем назначении, Хрулев, в неизменной огромной черной папаше и лохматой кавказской бурке, обскакал на белом коне весь свой участок, сделал визит Истомину, причем оба они в первый раз тогда увидели друг друга, и выбрал себе на Корабельной для штаб-квартиры небольшой двухэтажный домик, пока еще уцелевший от ядер и бомб.

Это было 4-го, а в ночь с 5-го на 6-е ему пришлось уже выдержать нападение на Камчатский люнет... Нападение было отбито, как и два предыдущих, но, проведя на Камчатке всю ночь, Хрулев пришел к мысли о большой вылазке, которая могла бы при удаче надолго отбить у французов охоту к еженощным почти атакам. Этой-то мыслью он и пришел поделиться с Истоминным.

Верхняя половина башни на Малаховом была сбита еще 5 октября, но нижняя уцелела, и совершенно безопасен даже от пятипудовых снарядов оказался каземат башни, часть которого отделил себе для жилья Истомин.

Воздух здесь очищался не только печкой с широкой железной трубой: рядом с собою поместил Истомин своего адъютанта, несколько других офицеров и канцелярию,—поэтому постоянно отворялась наружу тяжелая, окованная толстым железом дверь, так как большое хозяйство требовало и больших забот, и в каземат то и дело являлись и из него выходили люди.

Простая, но с чистым бельем кровать, широкий диван темнозеленой кожи, несколько массивных

стульев около большого овального стола, свечи в ярко начищенных медных шандалах, бронзовые накалинные часы, шкаф красного дерева—все это создавало некоторый уют среди раввороченной кругом башни глинисто белой вязкой земли, успевшей уже впитать в себя столько пролитой крови.

Печь топилась, потрескивая и постреливая и кидая на желтый вытертый полосатый ковер на полу красные блики, но стоял все-таки тяжелый запах подвальной сырости, смешанный с застарелыми запахами трубок, красного вина, сыра и других острых закусок и мускуса.

Предложив гостю трубку и приказав подать вина, Истомин заговорил первый, поглаживая тонкими пальцами нахимовский приказ:

— Не правда ли, большой чудак наш Павел Степаныч? Вот что значило сделаться ему командиром порта! С первого же дня усвоил всю житейскую мудрость Станюковича. А ведь как раньше сам разносил старика за скупость!.. Мне же лично и говорил: «Вы представьте-с только, что это за Гарпагон-с¹. Нужны бревна мост наладить через Черную, а он без бумажки-с не дает-с! Да ведь это он государственное преступление делает-с!» Совершенно верно,—это и было настоящее преступление, и не опоздай мы тогда благодаря Станюковичу с наводкой моста, мы бы Инкерманское сражение вполне могли выиграть. А то один старец бревен пожалел, а другой,—я разумею князя,—очень уж скрытничать вздумал, и в общем погубило несколько тысяч людей зря.

Заметив, что Хрулев, завесившись табачным дымом, вопросительно поднял брови, Истомин продолжал:

— Я говорю не о снарядах, конечно: если мало у нас пороха, то в отношении к снарядам скупость необходима, но вот первая половина приказа мне что-то не нравится, не знаю, как вам, Степан Александрович.

— Скупость насчет людей?—понял, наконец, Хрулев.—Есть, есть по этому поводу где-то в баснях Крылова: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться!» Уж кто себя больше не бережет, чем сам-то Павел Степаныч? А кто для него должен подобный приказ писать: я или вы?

И глаза Хрулева несколько игриво спрятались не только в облака дыма, но и в набрякшие толстые веки, а на женственно-белом с синими тенями лице Истомина мелькнула улыбка, когда он ото-звался на это:

— Павел Степаныч—фаталист. Он верит, как мусульманин, что судьба наша написана на небесах, и баста. Теперь он постится, хотя и матросам и солдатам мы варим скоромное. Святейший

синод разрешил всем, но он сомневается и постится... И до пасхи будет поститься, я его, конечно, знаю.

— На небесах или в преисподней, а где-то все-таки написана наша судьба,—серьезно сказал Хрулев.—Слыхали про майора Кувшинского? Целый месяц провел человек на своем пятом бастионе под обстрелом: ни одной царапины! Получил отдых, пошел спать на свою городскую квартиру, а там-то как раз его и прихлопнуло во время сна! И дом был трехэтажный, и спал он в первом этаже,—нет: два верхних этажа снаряд пробил и не рвался, а в его спальню ввалился,—тут и готово... В куски! Как это прикажете объяснить?

— Я не астролог ведь, в звезды не верю, Степан Александрович! Как объяснить! Я такого сверхъестественного значения человеку не придаю, а если мы с вами стреляем, то рассчитываем только на то, что кого-нибудь да убьем. Не в белый же свет, а в людей метим. Дело ведь и не в этом, это само собою,—а в том, что вдруг вот выходит такой приказ: «Чтобы при открытии огня с неприятельских батарей не было ни одного лишнего человека» и прочее... Годится ли это? Нет, при всем моем уважении к Павлу Степанычу должен сказать: «Не годится!» В конце концов, ведь прятаться и беречь себя всеми способами всякий умеет, а тут вдруг приказ... весьма рассудительный, однако довольно двусмысленный. Также и насчет разницы между «удальством» и «храбростью»... Тоже что-то очень уж тонко и для наших редутов не подходит. Что такое «удальство» и что такое «храбрость»? Кабинетно очень придумано!

— «Удальство» и «храбрость»?.. Да-а, я, когда сам читал этот приказ, подумал, что надо бы разъяснить это молодым офицерам, да некогда их собрать...

Хрулев отвел в сторону трубку и отмахнул рукою дым как бы затем, чтобы яснее разглядеть разницу между удальством и храбростью, потом продолжал шумовато, как он говорил всегда:

— Помню я, как под Силистрией вел себя наш общий с полковником Тотлебенем учитель, инженер-генерал Шильдер. Ему уже под семьдесят тогда было, но ведь вот же не хотел беречься. а сам, точно какой-нибудь прапорщик, лез на рожон. Ну, посудите сами, Владимир Иванович, нужно ли было ему, старику, полному генералу, самому подыматься на вал, усаживаться там со всеми удобствами и глядеть в трубу на турецкие траншеи? Полагаю, что совершенно лишнее это было, и так все кругом ему говорили. Но у него для всех был один готовый ответ: «Э-э, порет дичь неподобную! Ерунда!» Сидит так минуту, две, началась стрельба оттуда и явно по нем. Сидит!.. Наконец, нашелся меткий стрелок,—пуля в ногу разбивает кость. Из-за чего же пострадали и он и все дело осады нашей, так как он ведь

¹ Гарпагон—имя героя комедии Мольера «Скупой», которое стало нарицательным для обозначения скряги.

руководил осадой? Из-за упрямого удальства, хотя, повторяю, он был уже далеко не мальчишка. Ну, что же тут делать? Стащили его на перевязочный, лекаря смотрят: «Надо резать». — «Режьте, — говорит, — если надо». Отрезали. Однако он тут же: «Куда это понесли ногу мою? Вы ее, смотрите, в землю не закапывайте, а как стемнеет, чтоб оттащили ее поближе к турецким траншеям и там бы бросили: пусть она им навоняет как следует!» Вот когда я грипоминаю это, то тут, мне кажется, уж не удальство сказалось, а храбрость.

— И какая же польза отечеству от подобной «храбрости»? — удивился Истомин.

— Пользы, разумеется, никакой, да и Шильдеру это не помогло, — он скоро умер после операции; там же, под Силистрией, его и схоронили. Но ведь вот все-таки запомнилось почему-то это: я запомнил, другой запомнил, произвело кое-какое впечатление... На удальство же все-таки не совсем похоже, потому что ведь безвредно. Но вот я могу привести вам другой случай, — и это уж здесь, в Севастополе было, на четвертом бастионе. Прапорщик Плескачев вздумал «показать штуку» своим товарищам, таким же зеленым. Ему, видите ли, мало было, что каждый день он на глазах у смерти, — ему понадобилось, чтобы смерть сама была у него на глазах. «Штука» его в том заключалась, чтобы вскарабкаться на вал и там усесться и закурить папиросу, а когда докурит до мундштука, — слезть. Влез на вал, и сел, и закурил, — все честь-честью. Товарищи его стоят во рву, а над ними пули свистят, какие из французских траншей в этого Плескачева летят. И что же вы думаете? Ведь успел докурить папиросу и уж спускался, когда пуля наконец-то его поймала, прошла под левую лопатку. Отправили в Гуцин дом, а потом на Северную, на кладбище. Это — удальство, молодечество. Может быть, даже пари держал... А погиб ни за копейку.

— Я, конечно, прекрасно понимаю и сам, что такое просто удальство, а что — храбрость, и как разграничивает их Павел Степаныч! Но меня смущает в этом приказе то, что ведь он сам по себе-то бесцелен, этот приказ, потому что неисполним. Запретить молодечество, удальство нельзя ведь; и, может быть, даже в той обстановке, в какую мы все попали, нельзя даже и трех дней прожить, не чувствуя себя удальцом. Беспредметное удальство всегда может перейти в храбрость, — ну, вот в эту самую, о которой говорит Павел Степаныч, — а уж из труса не сделаешь храбреца...

— А трус как заорет в ночном деле: «Братцы, обходят!» — тут и храбрые могут показать тыл, — поддержал Хрулев.

— Вот именно! Я об этом и говорю... А если покажут тыл, то может погибнуть зря не один уже сумасбродный Плескачев, а сотня, две или

гораздо больше Плескачевых и прочих. Да в конце-то концов, если уж на то пошло, я иначе себе и не представляю всей нашей защиты, как на четверть — земля, чугун и свинец, а на три четверти — живые человеческие тела... Эти живые тела приходят на бастионы оттуда, с Северной, а потом известный процент их отправляют обратно на Северную, или в госпиталь, или прямо на Братское, и ненужных смертей, по-моему, у нас не бывает: все они вполне законны и необходимы, даже и в рассказанном вами случае с этим Плескачевым. Может быть, просто загрустил человек и захотелось ему взбодриться.

— У нас тут французы теперь, кажется, никому не дадут грустить, — усмехнулся Хрулев. — Пленные во вчерашнем деле говорили, что генерал Боске держит против Камчатского люнета двенадцать тысяч в траншеях. Я думаю, что если мы их не отгоним, то люнет неминуемо станет ихним. Но для этого нам надо собрать тоже порядочно силы.

— Непременно... Непременно... Ну, вот видите, Степан Александрыч, — очень оживился Истомин, — вы, значит, хотите итти на крупные потери?

— Без потерь, конечно, не обойдется, но зато можно надеяться и на крупный результат тоже.

— Непременно! Все дело в живой стене, а не... В сторону французов только предполагаете вылазку?

— Большую вылазку против французов, а малую, предохранительную, придется пустить против англичан... чтобы и у них создалось впечатление, что мы не шутим.

— Ага! Для этой цели имейте в виду двух храбрецов: лейтенанта Бирюлева и капитана второго ранга Будищева, — оба с третьего бастиона. Они уже не раз бывали в подобных делах и всегда удачно. Я назвал их храбрецами, но, может быть, они еще и удальцы вдобавок, — и Истомин улыбнулся затяжной улыбкой, делавшей лицо его еще более моложавым и привлекательным.

Как раз в это время ударил в башню снаряд большого калибра; разрыв его там, вверху, отдался в каземате сильным гулом.

— Гм... однако! — качнул головой Хрулев. — Не опасаетесь, Владимир Иванович, что когда-нибудь пробьют они ваш накат?

— Лично за себя я вообще не опасаюсь, — попрежнему улыбнулся Истомин. — Я даже думаю, что мне незаслуженно везет, что бог меня милует не в меру моих молитв... Вот и вам ведь тоже везет, Степан Александрович!

— Мне? — Хрулев почему-то нахмурился и стал усиленно глядеть в пол. — Правда, много раз приходилось мне людей водить под пули, и бог хранил... Только не люблю я говорить об этом перед делом, Владимир Иванович... А вот вина выпью с большой охотой.

Вошел ординарец, волонтер из юнкеров флота,

Зарубин, и очень отчетливо доложил Истомину, что «подпоручик ластового экипажа Дещинский просит позволения изложить устно свою жалобу».

— Где он?—недовольно спросил Истомин.

— Ожидает в канцелярии, ваше превосходительство,—четко и громко ответил Витя.

— Простите, Степан Александрович! Придется мне выйти к нему на минутку... Хотя едва ли, чтобы что-нибудь серьезное.

Истомин вышел, посвечивая густыми желтыми эполетами, а Хрулев, изучающе, как артиллерист, оглядывая потолок каземата, тянул медленными глотками рдевшее под огоньком свечи вино. Он имел вид отдыхающего и действительно отдыхал здесь после целого дня хлопот на новом для него обширном и очень ответственном участке обороны.

Но Истомин не задержался: он вернулся быстро.

— Вот чудак!—сказал он несколько раздраженно.—Вы только представьте, с чем именно он пришел! Жалуется на то, что его товарища, имя рек, произвели последним приказом из Петербурга в поручики, а его нет, хотя у него-де имеется старшинство в два месяца! Чудак или круглый дурак?.. Ну, не все ли ему равно, скажите, убьют ли его в чине подпоручика или поручика?

— Гм... Значит, он крепко надеется, что не убьют.

— А какое же он право имеет на это надеяться?—удивленно возразил Истомин.—Наше общее назначение здесь какое? Умереть, защищая Севастополь! А произойдет ли это с нами сегодня или через месяц и будем ли мы при этом подпоручики, или адмиралы с такими крестами (он взялся за свой белый крест на шее), или простые рядовые матросы и солдаты, разве это не все равно, скажите?

Вместо Хрулева ответил на это новый снаряд, ударившийся в башню, наполнивший каземат гулом прежней силы. Хрулев же, снова встревоженно оглядев потолок и продолжая держать стакан под лохматыми усами, сказал:

— Если они будут настойчивы, то десятым, двадцатым снарядом пробить потолок вам все-таки могут, Владимир Иванович... Бестия наводчик их знает, куда целит!

— Еще бы не знал! Башня эта полгода у них на виду,—улыбнулся Истомин.

— Поэтому, кажется мне, вам бы надо, пожалуй, перейти в какой-нибудь блиндаж поближе к горже, а?

— Зачем именно? От смерти не спрячешься,—флегматично отозвался Истомин.—Да они сегодня долго стрелять по башне не будут: это они по привычке, а теперь у них новая забота—бельмо на глазу—Камчатка! Что-то они там сочинят, а это рабское заделают, как заделывали сто раз, и все тут пойдет попрежнему, пока не придет к коппу... Тому или иному... тому или иному... За что и давайте с вами чокнемся.

И он протянул Хрулеву полный стакан, слегка дрожащий в его красивой белой руке, хотя ясные глаза его казались веселыми.

6

Ночью, как и предполагал Истомин, снова была сильная пальба по Камчатке. Французы, руководимые энергичным Боске, задались, очевидно, целью не только мешать ночным работам на Зеленом Холме, но и разрушить, сравнять с землей все это скороспелое укрепление, которое не успело еще вооружиться достаточно сильно, чтобы вести поединок с их батареями.

Истомин был там в полночь. Туда везли орудия. Одно из этих орудий было подбито, чуть только его поставили. Когда вместо него подоспело новое, Истомин сам наблюдал за его установкой, хотя командир люнета Сенявин и упраскивал его не рисковать напрасно.

Думая над тем, как можно применить приказ Нахимова в ночные часы, когда идут и должны идти совершенно необходимые саперные работы и в то же время открывается,—и не может не открываться,—канонада, он пришел к мысли отводить людей по траншее с более опасного участка на менее опасный. Это заметно уменьшило число потерь, хотя и замедлило работы.

Успокоенный за участь люнета на эту ночь, он ушел оттуда во втором часу, а утром часов в девять отправился туда снова.

Настроение безнадежности общего положения дела защиты Севастополя, которое прорывалось у него накануне в разговоре с Хрулевым, стало у него очень стойким в последнее время, особенно когда он оставался наедине в своем каземате.

Моряк, часто бывавший притом в заграничных плаваниях, он знал цену и морю и английскому торговому флоту, работающему теперь на нужды войны интервентов с Россией. Начальник большого участка линии обороны, он видел, что с началом теплых весенних дней союзные войска ожили, как стаи мух, и вот к ним, ожившим, обогревшимся на щедром крымском солнце, везли и везли на больших океанских пароходах, как «Гималай», и новые дальнобойные мортиры, и огромные запасы снарядов, и большие пополнения людьми. Об этом говорили дезертиры и пленные, но об этом писали также весьма откровенно, не считаясь ни с какими военными тайнами, корреспонденты английских газет.

Между тем он знал и то, какие древние пушки выволакивались из хранилищ адмиралтейства и ставились на бастионы взамен подбитых, но прозорливое высшее начальство требовало, чтобы и из этих музейных старух палили умеренно не только потому, что они были почти безвредны для атакующих, но и по недостатку пороха и снарядов,

что стало обычным, с чем так же не могли сладить, как с интервентами. Ближайший к Севастополю пороховой завод был в местечке Шостка, Черниговской губернии,—в нескольких стах верст от Перекопа; снаряды шли из Луганска, тоже через Перекоп, но Луганск с одной стороны был довольно далеко от Севастополя, с другой—близко к Азовскому морю, а что могло помешать союзникам при дальнейшем ведении войны и при их огромном флоте Азовское море сделать Английским озером, как об этом тоже писала «Таймс»? Никаких средств воспрепятствовать этому Истомин не видел.

Когда он подолгу глядел на карту возведенных около Севастополя укреплений, ему очень отчетливо представлялась ступка, обыкновенная кухонная чугунная ступка, в которой толкут пестиком всякую всячину. Так же в севастопольской ступке толкут людей, и чем дальше, тем будут толочь их сильнее и сильнее, потому что яростней будет действовать пестик.

И, однако, обстоятельства сложились так, что защищать Севастополь стало делом чести русского имени, хотя бы он и был схвачен заведомо мертвой хваткой. Зная, что хватка мертвая и что ты обречен, все-таки кусай врага сам, насколько хватит у тебя зубов и силы!

Придя к этому беспристрастному выводу, Истомин нашел в себе и то хладнокровие среди опасностей, даже презрение к ним, и ту жажду деятельности во вред противнику, которые его отличали.

Он и теперь шел к Камчатскому люнету, как шел бы хозяин на свое поле, пережившее ночью грозу, град и ливень. Кроме того, с саперным капитаном Чернавским, который теперь ведал там работами вместо Сахарова, ему хотелось поговорить о новой траншее для резерва батальонного состава между исходящим углом Малахова и правым флангом люнета.

Лихие фурунги умчали уже чем свет убитых этой ночью, сложив их тела, как поленицы дров, на свои зеленые фуры и еле накрыв их заскорузлым и черным от крови брезентом; раненых же отнесли на Корабельную, на перевязочный, к профессору Гюббенету, и теперь на Камчатке все пришло в будничныи вид, даже аванпостная перестрелка велась уже лениво.

Желтая, чуть заметная на фоне молодой тощенькой и низенькой травки, линия французской параллели против Кривой Пятки, такую лаву чугуна извергавшая ночью из своих орудий, теперь не представляла ничего внушительного. Странно было слышать жаворонков вверху, в чистом синем небе, но они пели... они трепетали крылышками и заливались, потому что была ранняя весна, время их песен.

В первый раз именно в этот день—7 марта—услышал их Истомин в этом году.

Когда капитан-лейтенант Сенявин встретил его рапортом о благополучии, он отозвался ему, добродушно улынувшись:

— И даже,—о, верх благополучия!—жаворонки поют, чего же больше хотеть?

На молодом, но усталом лице Сенявина, с черной пороховой копотью в ушах, ноздрах и на крыльях большого прямого носа, мелькнуло было недоумение, но он поднял воспаленные серой глаза кверху, тоже улынувшись и сказал:

— Да, жаворонки... А рано утром журавли летели, курлыкали...

— Вот видите,—и журавли еще...

Истомин пошел вдоль укрепления, попутно спрашивая о потерях. Орудия в исправном виде стояли на починенных, а кое-где и нетронутых бомбардировкой платформах, и матами из корабельных канатов были завешены амбразуры. Истомин знал, что маты эти стали плести по почину капитана 1-го ранга Зорина, ведавшего теперь первой дистанцией, как он четвертой. Это очень простое нововведение оказалось очень удачным, предохраняя артиллерийскую прислугу от пуль, и спасло много людей. Прежде ставили с этой целью деревянные щиты, но штуцерные пули пробивали их, как картонку, а в матах из канатов они застревали. Кроме того, щиты, раздробленные ядрами, калечили много людей своими обломками; этого не случалось с матами. Так мешковатый Зорин, решившийся в сентябре, на совете у Корнилова, первым высказать мысль о затоплении судов, теперь показал, что он вполне освоился и с сухопутьем.

Истомин недолюбливал Зорина, но подумал о нем с невольным уважением: «Все-таки не глуп... Ведь вот же мне не пришло в голову насчет этих матов, а вещь получилась большой цены...»

Старый боцман с корабля «Париж» Аким Кравчук оказался здесь же, на Камчатке.

— А-а! Кравчук, здорово!—проходя, крикнул ему Истомин; и Кравчук, у которого к георгию за Синоп прибавился еще крест за Севастополь, вытянувшись, насколько мог, при своей короткой, дюжей фигуре, гаркнул ошастливленно:

— Здравь жлай, ваш прискодность!

В левой руке у него был крепко зажат кусок хлеба. Это была привилегия нижних чинов севастопольского гарнизона—печеный хлеб; солдаты на Инкермане получали хлебную порцию сухарями.

Артиллеристы-матросы, которым пришлось много поработать ночью, иные спали тут же, около своих орудий, за бруствером, иные ели копенку, курили трубки, а заступившие их места с рассвета ревностно дежурили, так как редкая стрельба все-таки велась.

Сменившиеся и спавшие здесь около орудий были, конечно, те самые лишние люди, о которых писал в своем приказе Нахимов, но Истомин знал, что бесполезно, пожалуй, гнать их отсюда в блин-



дажи, к тому же не вполне еще надежные; что у них повелось так с самого начала осады—и прочно держится по традиции,—не отходить от своих орудий до полной смены всей своей части; они рыцарски соблюдали этот неписанный свой приказ, и трудно было так вот на ходу решить, что это такое: удайство или храбрость.

На своих местах стояли сигнальщики, иногда покрикивая: «Чужая!..» «Армейская!..» «На-ша, берегись!..» Особые дежурные, устроившись между мешков, наблюдали за действиями противника в трубы... Обычный распорядок редутной жизни привился уже и на Камчатке.

Саперный капитан Чернавский, прошедший спокойную ночь вместе с Сенявиным, пока тоже не уходил спать и так же, как Сенявин, казался усталым, но бодрым, а небольшое и подвижное лицо его было так прихотливо и щедро разрисовано и копотью и пылью, что стало совсем обезьяньим.

О произведенных им ночью работах он докладывал обстоятельно и с выбором точных выражений, так что Истомин, слушая его, досадливо думал, что он несколько излишне увлекается мелочами, однако не перебивал, иногда даже сам задавал вопросы.

Они шли вдвоем, и Истомин сознательно направлялся именно к тому месту, где он думал удобнее всего соорудить траншею для резерва на случай штурма, чтобы иметь батальон и в относительной безопасности и всегда под руками.

Но если дежурили матросы с подозрительными трубами на Камчатке, то наблюдали за Камчаткой в такие же трубы и оттуда, со стороны французов, и человек в ярко блестящих на весеннем солнце густых адмиральских эполетах, шедший в середине между двумя другими офицерами по открытому пространству внутри люнета, был замечен.

Первое ядро пролетело довольно низко над головами всех трех, повизгивая.

— Ого!—сказал Чернавский.—Это по нас!

— Прямой наводкой!—крикнул Сенявин.—Ваше превосходительство, прячьтесь в траншею!

Они шли как раз вдоль траншеи, которую уже начали копать ночью, но не там, где облюбовал место своей Истомин, а гораздо ближе к переднему фасу люнета. Ему это казалось лишним: передний фас и без того был хорошо защищен валом и рвом, между тем как правый был открыт, а французы всегда при штурмах прибегали к обходам с флангов.

Адмирал посмотрел на капитан-лейтенанта с недоумением: ему, Истомину, этот молодчик, только что поступивший под его команду, дает уже совет прятаться в траншею! Плохо же он знает своего начальника!

Очень насмешливы были истоминские глаза, когда он поглядел на Сенявина, сказавши:

— От ядра, батюшка, не спрячешься!

При этом он повернул лицо в сторону французских батарей, и то страшное, что произошло дальше, было делом всего только одной секунды. Ядро среднего калибра, пущенное также прямой наводкой вслед за первым, встретило на своем пути именно это белое, нервное, ясноглазое лицо Истомина, и в тот же момент упал наземь Сенявин, контуженный в голову костями черепа Истомина, а Чернавский, ослепленный белыми клочьями истоминского мозга, плеснувшего ему в лицо, отшатнулся и тоже не удержался на ногах...

От георгия 3-й степени остался на шее Истомина только обрывок ленты.

Когда обезглавленное тело бессменного в течение полугода командира Малахова кургана подносили на носилках к башне, Витя Зарубин беспечно смотрел на отдыхавших солдат, игравших поблизости в «юсы». Это была любимая игра всех солдат. От шлепанья по носам, умеренным, маленьким и большим, распухали не столько носы, сколько карты, и Витя удивлялся, как игроки различали в них масти и фигуры, до того они были засалены и черны.

Солдаты хохотали, Витя улыбался их веселью, но вдруг остановились невдалеке люди с носилками...

Витя не спрашивал, кого принесли: для него достаточно было только взглянуть на забрызганный кровью серебряный адмиральский эполет... над эполетом же торчал только почерневший остов шен: головы не было...

Витя вскрикнул, закрыл руками лицо, и спина и плечи его сразу крупно задрожали от рыданий...

7

На другой день торжественно хоронили останки того, кто был душой Малахова кургана. Тот склеп, в котором лежали тела адмиралов Лазарева и Корнилова, был тесен: он мог вместить только три могилы. Третью Нахимов оставил за собою еще тогда, в скорбный день похорон Корнилова.

Но вот Истомин предупредил его на пути смерти... Где же было хоронить Истомина?

— Эти прыткие молодые люди... они... да-с, да-с... они очень уж спешат, спешат-с...—бормотал Нахимов, вытирая слезы платком в стороне от тела, обезглавленного на гильотине войны.

Даже как-то совершенно против правил дисциплины, не только против ожиданий это вышло.

Истомин был не только моложе его годами чуть не на десять лет, не только гораздо моложе чином, но за ним не числилось и никакого самостоятельного и яркого подвига, как, например, хотя бы за Корниловым. Этот последний, руководя боем колесного парохода «Владимир» с равносильным турецким пароходом «Перваз-Бахры», что значит «Морской выю», победил его в единоборстве, взял на буксир и притащил в Севастополь, как Ахилл приволок в стан греков труп побежденного им Гектора, прикрутив его за лодыжки к своей боевой колеснице...

В склепе было только три места.

Лазарев, Корнилов, Нахимов—этот триумвират был бы бесспорно триумвиратом равноценных в глазах всего флота, в глазах народа, в глазах истории,—так при всей своей скромности привык уже думать сам Нахимов. Но как же быть теперь с этим пылким молодым адмиралом, погибшим на своем трудном и почетном посту стража Севастополя?

Чувство собственника на почетную могилу в склепе оказалось в Нахимове гораздо сильнее, чем чувство собственника в отношении разных житейских благ, начиная с денег, которые обыкновенно он раздавал до копейки, еле дотягивая месяц перед получкою огромного жалования. Лазаревский склеп был как бы пантеоном в его глазах, и однакоже явно было, что четвертая могила там не могла поместиться.

Часы очень острой внутренней борьбы переживал Нахимов, наконец он решил и, отправившись к Сакену, как временно командующему Крымской армией, просил у него дозволения похоронить молодого адмирала, достойнейшего защитника Севастополя, на своем, нахимовском месте.

После похорон он вспомнил, что на свете было существо, которому не безразлично, кто погребен вместе с Лазаревым: это была вдова Лазарева, жившая в Николаеве. И он, так ненавидящий всякую письменность, написал ей письмо:

«Екатерина Тимофеевна! Священная для всякого русского могила нашего бессмертного учителя приняла прах еще одного из любимейших его воспитанников. Лучшая надежда, о которой я со дня смерти адмирала мечтал,—последнее место в склепе подле драгоценного мне гроба—я уступил Владимиру Ивановичу Истомину! Нежная, отеческая привязанность к нему покойного адмирала, дружба и доверенность Владимира Алексеевича (Корнилова) и, наконец, поведение его, достойное нашего наставника и руководителя, решили меня на эту жертву. Впрочем, надежда меня не покидает принадлежать к этой возвышенной, благородной семье; друзья-сослуживцы, в случае моей смерти, конечно, не откажутся положить меня в могилу, которую расположение их найдет средством сблизить с останками образователя нашего

сословия. Вам известны подробности смерти Владимира Ивановича, и потому я не буду повторять их. Твердость характера в самых тяжких обстоятельствах, святое исполнение долга и неусыпная заботливость о подчиненных снискали ему общее уважение и непритворную скорбь о его смерти. Свято выполнив завет, он оправдал доверие Михаила Петровича...»

Торжественное введение Истомина в пантеон русской славы закончилось к семи часам вечера 8 марта, а через час после того и Нахимов, как начальник гарнизона и командир порта, и Сакен, как заместитель главнокомандующего, получили донесение, что на Северную сторону уже прибыл и желает их видеть новый распорядитель судеб Севастополя и Крыма князь Горчаков.

Так гибель Истомина стала на рубеже двух периодов обороны: ею закончился меншиковский, после нее начался горчаковский.

Разницу между собой и Меншиковым новый главнокомандующий подчеркнул сейчас же, как прибыл. Он спросил Сакена и Нахимова, где их квартиры и штабы, и, узнав, что в городе, на Екатерининской улице, оскорбленно вскричал:

— Ну, вот видите! В городе, в приличных, конечно, домах!.. А для меня и для моего штаба вы приготовили какую-то молдаванскую хибару!

— Это инженерный домик,—ответили ему,—в нем помещались до своего отъезда их высочества, великие князья.

— Вы слышите?—обратился желчно Горчаков к своему начальнику штаба, генералу Коцебу.—Меншиков заставил их высочества жить в этом убежище!.. А где же помещался он сам?

— По Сухой балке, здесь же поблизости, в матросской хатенке, ваше сиятельство.

— Во-от ка-ак!—Горчаков в недоумении обвел всех кругом подслеповатыми глазами, вооруженными сильными стеклами очков, и заключил трагически:—Ну, теперь уж я вижу ясно, какое я получил наследство!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ХЛАПОНИНКА

1

Воспоминания раннего детства очень редко посещают нас, и если они возникают на поверхности нашего сознания, то держатся недолго. Они робки, их пугает сложная взрослая действительность; они исчезают поспешно под напором ее, как тени утра под натиском ярких солнечных лучей.

Если же они овладевают нами так неотступно, что требуют воспроизведения в связном рассказе, то это вернейший признак нашей старости, не

способной уже к новым и новым восприятиям жизни; а если случается с нами подобное в молодости,—признак болезни, временно отбросившей нас от повседневности.

Предчувствие смерти нередко тянет нас властно к тем местам, в которых протекло наше детство: погляди в последний раз, сомкни конец с началом в неразрывный круг и простись навсегда с теплой зеленой планетой, называемой Землею.

Воспоминания детства, приходящие к нам во время болезни, бывают радостны для нас и нас возрождают. Так, тяжело контуженный в голову штабс-капитан Хлапонин, получивший в виде рецепта от Пирогова поездку в родные места, жадно припал к родникам своего детства, испытав на себе с первого же дня их целебность.

К концу января он не только восстановил в памяти наиболее яркие картины детства, став таким образом снова на прочный якорь, он вошел даже в круг понятий, мгновенно вышибленных из его мозга там, на третьем бастионе, в начале октября.

Он не совсем связно говорил еще, иногда запинался и шевелил пальцами, подыскивая нужные слова, но все-таки находил их. Он не мог еще вести длительной беседы, но мог уже осмысленно отвечать на вопросы; он не мог еще доказывать, зато умел уже утверждать, и, что радовало Елизавету Михайловну больше всего, он начал как-то незаметно для самого себя владеть, хотя и неуверенно еще, левой рукой и ходить по комнатам без помощи палки.

Между тем прошла только половина срока, в который он мог бы, по предсказанию Пирогова, совершенно поправиться, и у Елизаветы Михайловны теперь уже не возникало сомнений в том, что так именно и будет через шесть недель; ради таких блистательных результатов она решила не бросать Хлапонинки для Москвы и, насколько хватит сил, терпеть Хлапонина-дядю, который точно задался целью испытывать ее терпение, хотя был только самим собою.

Однажды вечером, когда Дмитрий Дмитриевич рано ушел из столовой спать, Василий Матвеевич удержал ее за столом под предлогом каких-то деловых разговоров. Зная его скупость, она думала, что он скажет ей что-нибудь насчет платы с них за проживание в Хлапонинке,—от него можно было ожидать даже и этого,—однако разговор завязался другой: он начал вдруг жаловаться на свою одинокую жизнь, которая «подвигается уже к старости».

— К старости, дорогая Елизавета Михайловна, да-а, к старости!.. Я во всякие эти там самообманы, как говорится, не вдаюсь, нет. Думаешь-думаешь, вот тут сидя, на этом месте, в одиночестве полном,—зимою, как вот теперь, особенно: зачем ты живешь на земле? Зачем бременишь ее, матушку?.. И выходит даже как-то страшновато

иногда,—я вам вполне серьезно говорю, как священнику на духу,—страшно!.. Сидишь один, а часы вот эти тикают. Смотришь на ших,—тик-тик, ан уж и секунда, а еще тик-тик,—целых две... А там минута уж набежала, а там десять, двадцать и... батюшки мои, целый час! А потом и другой час... и третий... А ты сидишь себе за чаем один... А? Один,—ведь это что! Ведь это же как все равно в Петропавловской какой-нибудь крепости преступники политические сидят, мне говорили, одиночество в заключении. Однако же им есть за что,—они политикой занимались, а я-то за что же наказан так беспощадно? Я никакой политикой ни-ни, никогда в жизни, и даже книг запрещенных никогда не любопытствовал видеть, ну их совсем!.. Я своему государю верный раб по гроб жизни, и никаких рассуждений при себе о нем не позволяю. За что же я осужден?.. Ведь маятник тикает, вот, дорогая Елизавета Михайловна, и время идет. Куда же оно идет? К старости, только к старости, больше некуда-с!

Она смотрела на него с недоумением: о какой еще старости в будущем он говорит? В ее глазах он и теперь был старик. От выпитого за ужином вина на лице его появилась обычная у него в таких случаях стариковская бугристая багровость; «боковой заем» его,—зачес на лысину,—растрепался, и плешь предательски поблескивала, как у генерала Кириякова; набрякшие глаза слезились, но глядели на нее умиленно-пристально.

Она улыбнулась и сказала:

— Что же вы свою родовую вотчину за Петропавловку принимаете? Кто вам запрещает жениться, например, чтобы не быть одиноким?

— Благой совет!—так и подпрыгнул он на стуле, как будто услышал что-то необычайное.—Вот видите, что значит—один ум хорошо, а два еще лучше! Благой совет!.. Но возникает вопрос: на ком жениться? Может быть, вы мне уж и невесту укажете?

— Вам, кажется, лучше знать невест тут около вас, а мне откуда же?

— Около меня тут!—подхватил он и даже развел руками, точно был изумлен.—Вот видите, как вы попали в точку! Около меня тут, это и была мечта моей жизни. Чтобы под между, под между непременно!—пригреб он к себе воздух.—Это и была моя цель, однако же не достиг!.. Вот луга на Лопани косить летом буду я, а не Таборские,—луга я у них окончательно отобрал,—сказал он победоносно, чего не говорил раньше.—Но что касается невесты, у них там нет невесты, даже и засиделой... У Говорухи нет, у Титаренки нет, да с ними обоими я в ссоре... были процессы,—я выиграл... У Перекрестовых? С ними, правда, мне тоже пришлось судиться, но это еще и так и сяк... Считается, что у них будто бы невеста на выданье, да ведь она чистая дурища, представьте

себе, куда же ее взять? На посмешище людям? И она шепелявит... и, кажется, даже из ушей у нее течет... Бррр!.. А я, я, я?..—Тут он выпрямился и даже выпятил грудь, насколько мог.—Я еще вполне в своей мужской силе, здоров, умен, и гнездо свое свить еще вполне я в состоянии, и совою! И чтобы в этом вот самом доме де-тишки мои бегали и кричали,—вот чего я хочу! Вы, кажется, думали, что я тишину люблю? Нет-с! Совсем напротив, ненавижу я тишину! А люблю я, чтоб топали около меня ножонки детские, и чтобы крик был, и чтобы ссоры из-за игрушек, из-за конфет, из-за чего угодно, только чтобы крик и ссоры! Вот это жизнь! А без ссор какая такая жизнь? Прозябание, как у зерна в земле... Удивляюсь я, вы меня извините за нескромность, почему это у вас с Митей деток нет?—очень понизил он голос.

Елизавета Михайловна ответила спокойно:

— Очень хорошо это вышло, я думаю, что мы пока не обзавелись детьми. Теперь вот я вижу, что мне удалось все-таки спасти Митю не только от смерти, а даже и от инвалидности, а если бы были у нас маленькие, то ведь тогда меня, конечно, не было бы с ним в Севастополе, и он бы непременно погиб от недостатка ухода, до того он был плох. Когда бы вы видели только, сколько от этого погибает несчастных солдат! Ужас! Тысячи! А между тем будь уход, какой следует, их можно бы было спасти так же, как и Митю.

— От недостатка ухода, вы сказали?—встренулся Василий Матвеевич.—Женского, женского ухода, разумеется!.. О чем же говорю вам и я? Только об этом! Отчего же погибаю и я? Только от этого!.. А я погибаю, Елизавета Михайловна, погибаю!

И он сложил перед нею руки, как складывал, когда молился перед иконой, и глядел на нее умоляюще, как на икону.

— Кто же вам велит погибать, если только вы сейчас не играете какой-то роли?—наблюдая его, так же спокойно, как прежде, сказала она.

— Чтобы я, я... играл перед вами... роль какую-то?—изумленным и даже несколько оскорбленным тоном отозвался он.

— Я, например, слышала, что у вас есть и семья в Курске, значит, вы не такой уж и одинокий,—продолжала она.

— В Курске? От кого же это вы слышали?—отшатнулся он.

— Право, не помню уж от кого именно.

— Да, есть, есть семья в Курске, не отрицаю! Но ведь это же обыкновенный мезальянс! У кого же нет таких побочных семей?

Он принял встопорченно беспечный вид, как уличенный в полнейшем пустяке, а она припомнила вдруг, как ключница Степанида говорила ей о «незаконной» семье Василия Матвеевича, живущей

в Харькове, а совсем не в Курске, поэтому совершенно произвольно, как бы желая поправиться, протянула она:

— В Ха-арькове?

— А-а, и о харьковской моей семье вам уже наслетничать успели! Та-ак-с!—и Василий Матвеевич прошелся по комнате петушком и пригладил перед зеркалом свой зачес.—О курской моей семье вы могли, конечно, узнать от своих родных в Курске или же от хороших знакомых там же, а что касается харьковской, то это уж кто-то вам шепнул из моей милой дворни... И, пожалуй, даже я догадываюсь—кто!

Глаза у него посуровели вдруг и стали очень неприятны Елизавете Михайловне, так что она пожалела, что проговорилась, выдав тем Степаниду. Чтобы задобрить его, она сказала:

— Я понимаю, что вы думаете о такой семье, какую дает только церковный брак.

— Вот именно-с,—буркнул он нелюбезно.

— Чтобы жена ваша жила с вами здесь, помогала бы вам в хозяйстве, разделяла бы все ваши вкусы...

— Непременно-с! Всенепременно!

Он еще смотрел на нее подозрительно, но, видимо, начал уже смягчаться; она же продолжала:

— Если вас томит одиночество, когда у вас так много дел, то сколько девиц и вдов томит оно в тысячу раз сильнее потому уже, что они ничем не заняты!

— Назовите же мне хотя бы одну!—стремительно придвинулся он к ней.

— Так вот сразу разве можно припомнить?—улыбнулась она.

— А может быть, у вас есть не то, чтобы родная сестра,—такой нету, я знаю,—а двоюродная, троюродная, только чтобы на вас похожая, а?.. Есть?.. Разумеется, незамужняя только, подумайте!

Он смотрел на нее с самым неподдельным упованием: это светилось в его глазах, это было в его вытянутой к ней шее, подавшихся вперед плечах, даже пальцах, но ей все-таки пришлось сказать ему:

— Нет, такой не найдется.

— Вот видите!—отшатнулся он.—А вы говорите: тысячи!—И даже голос его опал. Однако он не отошел от нее; он добавил проникновенно:—Митя счастливый человек! Он недаром,—вы это знаете, надеюсь,—в сорочке родился.

— В сорочке?—машинально спросила она.

— Именно, в сорочке... Вот когда у вас будут рождаться дети, вы узнаете, что это такое—сорочка.

— Вы меня спрашивали о двоюродных моих и троюродных сестрах, но если бы они и существовали на свете, то ведь у них ни у кого не было бы в приданом имения, как не было его и за мной,—не совсем без умысла сказала Елизавета Михайловна.

— Вы, вы лично, такая, как вы есть, стоите большущего имения!—горячо отозвался на это Василий Матвеевич.

В это время донесся из спальни голос Дмитрия Дмитриевича:

— Ли-за!

И она тут же встала и вышла, поспешно протысясь со старым холостяком, отнюдь не обремененным двумя своими семьями в двух соседних губернских городах,—Харькове и Курске,—но мечтающем о третьей семье, в Хлапонинке.

2

А Хлапонинка все-таки не хотела верить даже и «дружку» Дмитрия Дмитриевича Терентию Чернобровкину, что сын их бывшего помещика, раненый офицер, приехал сюда только на поправку. Впрочем, и сам Терентий этому не верил. Он оставался при прежних мыслях, что в барском доме теперь идут затяжные разговоры только о той доле имения, которая должна бы принадлежать племяннику, но перехвачена у него из рук ловким на эти дела дядей.

Однажды в тихий светлый день Дмитрию Дмитриевичу вздумалось пройтись по дороге к деревне; дорога же была очень веселая на вид: накатанная полозьями, она ярко-лоснилась и золотела на солнце. Конечно, Елизавета Михайловна шла под руку с ним. Терентий же в это время, взгромоздясь на большой омет, сваливал деревянными вилами-тройчатками солому вниз, где стояли сани.

Увидев бар, когда они были еще далеко, он сейчас же соскочил с омета, отряхнулся поспешно и пошел наперерез им.

Говорить с ними ему было о чем: как раз в этот день утром до него дошло через дворню, что его, как и Тимофея «с килей», хотят поставить в сдаточные по ополчению.

Слух этот, правда, показался ему дурацкой шуткой,—он считал себя вполне «справным» мужиком, каких невыгодно помещикам отдавать в солдаты, да и действительно был таким. Он только посмеялся в бороду, когда это услышал, но думал все-таки вечером зайти в контору, к бурмистру, спросить.

Теперь же, увидев Дмитрия Дмитриевича с женой на дороге, он даже подумал, не к нему ли идут они по этому делу, и почувствовал вдруг, что плохо греет его старый армяк.

Дойдя до «дружка», он уже не протянул ему руку, как хотел было сделать; он крепко зажал в ней свою шапку и низко согнул спину, здороваясь: по тому смущению, какое зорко высмотрел он на лицах обоих, подходя, он понял вдруг, что слух-то ведь верен. Он даже не решился теперь назвать «дружка» по имени-отчеству.

— Барин! Что это, говорит, будто в опол-

ченцы меня?...—проговорил он кое-как и впился глазами в обоих.

— Да, брат Терентий, слышал это и я тоже,—ответил Дмитрий Дмитриевич, остановясь, а Елизавета Михайловна тут же постаралась по-женски смягчить слова мужа:

— Еще неизвестно пока... Может быть, Василий Матвеевич передумает.

— За что же, батюшки мои? Ведь четверо ребятнишек... как же это?—бормотал непослушными задедовевшими губами Терентий, глядя на нее, и она снова попыталась его успокоить:

— Да ведь о манифесте говорят еще только, что будет, а может быть, его и не будет?

— Как же так не будет?—серьезно поглядел на нее Дмитрий Дмитриевич.—Он должен быть... Откуда же иначе... откуда взять пополнения для армии?

— Неужто ничего нельзя сделать?—тихо спросил его Терентий.

— По газетам выходит, что иначе нельзя... Союзники шлют и шлют войска в Крым... Шлют и шлют... Десятками тысяч... Как же нам быть? Надо, значит, и нам тоже,—ответил Дмитрий Дмитриевич, не поняв, что он спрашивает его о своем деле.

Его поправила Елизавета Михайловна, добавив:

— Мы, конечно, попробуем отговорить Василия Матвеевича... Четверо детишек маленьких,—как же можно? Неужели не найдется еще кого, более свободного?

— Найдется, барыня! Десятка полтора найдется совсем свободных! Явите милость божецкую, поговорите!—смотрел теперь уже только на нее Терентий испуганными, жалкими глазами.

Они не пошли дальше. И у него, и у нее явились одинаковые мысли, что там, в деревне, они услышат еще несколько жалоб и просьб исхлопотать что-нибудь, за кого-нибудь замолвить слово... Не обещать поговорить было нельзя, конечно, говорить же с таким, как Василий Матвеевич, и ему, и ей было трудно.

О Терентии все же зашла речь в тот же день за обедом, и начал ее Дмитрий Дмитриевич.

— Дядя, у меня к тебе просьба,—сказал он твердо.

— А-а!—протянул удивленно дядя, так как это была первая просьба со стороны его обычно молчаливого племянника.

— Просьба такого рода... Ты говорил, что поставишь в ополченцы Терёшку...—тут он зашевелил пальцами и вопросительно поглядел на жену.

— Чернобровкина,—подсказала Елизавета Михайловна.

— Ага! Та-ак-с!—подмигнул понимающе Василий Матвеевич.—Говорил я насчет Терёшки, да-с.

— Так вот моя просьба: нельзя ли его все-таки... оставить на тягле... заменить кем-нибудь другим, а?

— Угу!—промычал довольно Василий Матвеевич, опустив глаза в тарелку с супом: он как будто давненько уже ожидал этого именно разговора; недели две прошло со дня его приезда из Курска, где он узнал насчет ополчения.—Другим, говоришь, заменить? Чем же плохой из него ополченец может выйти?

Тут дядя посмотрел на своего племянника-офицера недоуменно-вопросительно, точно он был член приемочной комиссии и браковал его сдаточного.

— Неплохой... Даже отличный... Если бы все помещики дали таких, чего бы лучше!

— Ну, вот видишь, вот видишь!—так и просиял дядя.—Я стараюсь, не щадя сил и средств, я всячески готов содействовать! А ты, сам пострадавший за веру-царя-отечество, ты вдруг хочешь почему-то сбить меня с панталыка!

И дядя поднял торчком узкие плечи в знак изумления.

— Да ведь у него, у Терентия, четверо детей,—напомнила Елизавета Михайловна.

— А у другого, у Тимофея, разве не четверо детей тоже? Что же я и его должен оставлять на завод?—игриво обратился к ней Василий Матвеевич.

— Как так? Неужели и у него тоже четверо?

— Вот видите! А вы и не знали! Об одном просите меня, а другой что-то вам совсем уж не интересен... Правда, пока еще четверых у Тимофея нету, но четвертый уже в ожидании: вот-вот... Баба его последний уж месяц донашивает,—подмигнул Василий Матвеевич.

— Как хотите, а это бесчеловечно с вашей стороны!—решительно сказала Елизавета Михайловна и положила ложку.

— Пу-стя-ки-с!.. В порядке вещей... Кушайте, пожалуйста, не волнуйтесь!—так же игриво отозвался Василий Матвеевич.—Ополченцы, по-моему, должны быть люди степенных лет. Это ведь не то, что солдаты. Их не на двадцать пять лет берут, а только на эту вот войну. А кончится война, кому охота будет их зря кормить? Сейчас же их по домам, и мои опять ко мне явятся: наш атлас не уйдет от нас.

— Хорошо, если явятся,—сказал Дмитрий Дмитриевич.—Могут и там остаться.

— Тогда уж будет моя потеря: жертва моя, так сказать, на алтарь отечества... И никто не возместит, ничем, я справлялся,—ничем и никак... Терпи, помещик! Выноси на своих плечах!

— Я еще в Симферополе слышала, будто иные помещики давали вольные семьям убитых солдат,—сказала Елизавета Михайловна.

— Что-о? Вольные дают?—испуганно поглядел на нее Василий Матвеевич.—Ну, это уж какие-то слабые умом или миллионеры, которым некуда девать добра! Те, конечно, все могут... Даже по снегу летом ездить! Дворцы в одну ночь строить!..

Он оказался так растревожен этими «вольными», что пришлось на время заняться только супом. Но дав дяде достаточно времени, чтобы притти в себя, Дмитрий Дмитриевич снова заговорил о Терентии.

— Тимофей, кажется, одних лет со мною, но я его что-то не помню... А Терентий, Терёшка-казачок, как же можно! Он был мой товарищ детства, этот Терёшка...

— Угу,—неопределенно промычал дядя, наблюдая его исподлобья.

— Да ведь Тимофей к нам и не обращался,—добавила к словам мужа Елизавета Михайловна.

— Ну, да, да,—а Терентий обращался, и не один раз!—живо подхватил дядя. Как же, как же, скажите пожалуйста—«товарищ детства»!

В тоне, каким это было сказано, и в презрительной ужимке при этом показалось кое-что обидное Дмитрию Дмитриевичу, но он постарался сдержаться.

— Да вот, что поделаешь... Других товарищей детства у меня тут не было... особенно в зимнее время... так сложилось... Одним словом, ты бы очень меня одолжил, дядя, если бы оставил его...

Елизавета Михайловна догадалась, что кто-то уж постарался передать Василию Матвеевичу, чуть только он приехал тогда из Курска, что без него заходил в дом поговорить с ними Терентий, сначала один, потом даже с женой, и это именно почему-то чересчур встревожило и возмутило дядю. С тою способностью к мгновенным догадкам, какая присуща женщинам, она начала понимать также и то, почему Василий Матвеевич сдает Терентия, и ожидала только намека с его стороны, чтобы утвердиться в своей догадке.

И намек этот тут же был сделан.

— Пусть даже и товарищ детства был он твой, Митя,—об этом не спорю,—враждебно глядя почему-то, заговорил Василий Матвеевич,—однакоже ты его знал только в детстве, а какой гусь теперь из него вышел, это уж ты предоставь знать мне, вот что-с! Я его и то уж терпел долго,—другой бы не стал,—другой давно бы уж этого тпруську взял на хо-ро-о-ший налыгач, да-с!.. Он, должно быть, именно с детства и привык тут, в людской, не в свои дела вмешиваться да этой своей привычки милой и на деревне не оставил... Нет, нет, это уж решено и подписано, и быть по сему: пускай-ка в ополченцах помарширует, и ему польза, и мне не вред... И давай-ка уж, сделай милость, больше мы о нем говорить не станем.

Он налил себе стакан вина и взялся было за стакан племянника, но тот довольно резким движением руки отвел его руку, сказал:

— Не нужно.

— Угу?—полувопросительно отозвался дядя, племянник же продолжал с горечью:

— Я думал, что для тебя что же тут такого... Полнейший пустяк мою просьбу исполнить... а ты вот почему-то не хочешь... Между тем я ведь ему слово дал!..

— Слово дал?—Василий Матвеевич глотнул вина и заговорил раздельно, отчетливо.—Во-первых, напрасно ты давал слово, но я-то, конечно, в этом не виноват... А, во-вторых, твое слово, это слово офицера из дворян, а дал ты его кому?—Хаму!.. Хаму, который стоит между нами с черным котом подмышкой... Да пожалуй, уже этого черного кота и пустил между нами, а?

— О каком это он коте черном?—удивленно обратился к жене Дмитрий Дмитриевич.

А Василий Матвеевич, не теряя времени, поспешно глотал в это время вино, наблюдая при этом их обоих сквозь узенькие щелки глаз; когда же допил, наконец, то поставил стакан, стукнув им так, что чуть не вышиб дна.

— Довольно!—выкрикнул он вдруг.—Довольно в молчанки играть! Вы, сударыня, Елизавета Михайловна, как я о вас слышал и раньше,—слава богу, свет не без добрых людей!—оказались особой очень, как бы это выразиться, дальнзоркой, что ли, но мы с вами должны уже теперь объясниться начистоту... А также и с тобою, Митя... Да, да, извольте, извольте-с, я от чистоты не прочь! Я, признаться, только о чистоте всегда и мечтал тут вот, про себя, втихомолочку... Но что же, однако, вышло из всех этих моих мечтаний скромных?—А вот что именно-с. Я получаю однажды эстафету, из которой узнаю, что ты, Митя, тяжело ранен, нуждаешься в продолжительном лечении и прочее... «Тяжело» же, это что, собственно, значит, когда пишут по-родственному? Ведь не чужому же кому писано, а дяде родному! «Тяжело ранен»—это нужно было понять так, как я и понял: «Еле-еле можаху, и дай бог довести в живых, а уж похороним его на родном кладбище, возле отца с матерью...» Вот что только это значить могло,—единственно!

— Дядя!—возмущенно остановил его Дмитрий Дмитриевич.

— Знаю, что я тебе дядя, потому-то и говорю так, и прошу меня не перебивать, а дослушать,—вразумительно отозвался Василий Матвеевич, даже ладонь выставил в его сторону; потом он налил себе еще вина и продолжал в прежнем взвинченном тоне:—О жене же твоей я наслышался в Курске когда-то, что и красива-то,—вполне согласен с этим!—и умна-то,—тоже согласен, и вообще,—согласись теперь и ты со мной,—должен же я был после этого захотеть посмотреть на свою родственницу, которую ты от моих глаз скрывал несколько лет? Вот я ввиду всех обстоятельств этих и послал ответную эстафету, а как же я мог бы сделать иначе?.. Послал и жду. С большим нетерпением ждал я вашего приезда,

Елизавета Михайловна, поверьте! И, кстати, ваше здоровье!

Он кивнул ей и отплел сразу полстакана.

Дмитрий Дмитриевич переглянулся в это время с женой, и та сделала ему едва заметный знак ресницами, означавший: «Держись спокойней! Не выходи из себя!»

— И вот, наконец, приехали вы,—продолжал Василий Матвеевич,—и я с первого же дня понял, что я... обманут!

— Как так обмануты?—строго спросила Елизавета Михайловна.

— Ах, в самом лучшем смысле, дорогая!—тут же ответил Василий Матвеевич, впрочем, не улыбувшись при этом.—В отношении Мити оказалось, что вы... несколько преувеличили. Во-первых, не рана,—это с одной стороны,—не рана, а только контузия, во-вторых, с другой стороны, ничего и тяжелого не было.

— Было!

— Может быть, но крымская медицина постаралась, и мы-то уж этого не увидели... Не сомневаюсь, я не сомневаюсь, Елизавета Михайловна, что вы были сами введены в заблуждение, а меня ввели в оное заодно с собой. Но если бы даже было и иначе...

— Как же именно иначе?

— Предположим только! Сделаем предположение, что тут именно вы и проявили свою дальновидность... или это, кажется, называется дальновидность, но не один ли это русский язык?.. Итак, предположим, что вы имели в виду, собрав обо мне сведения стороною, следующую картину. Живет, мол, одинокий, как палец отрезанный, так называемый Василий Матвеевич Хлапонин, дядя вашего мужа. Когда-то случилось так, что к нему, на вполне законном, разумеется, основании,—перешла часть имени,—Хлапонинки,—принадлежавшая вашему свекру, как мы бы теперь говорили, если бы был он жив, а моему брату...

Сказав это, Василий Матвеевич допил второй стакан и вытер усы салфеткой; он как будто ждал, не раздадутся ли возражения, но ничего не раздалось. Оба слушателя смотрели на него в высшей степени внимательно, и только. Ему оставалось продолжать, что он и сделал.

— Сидит он,—то есть я,—как старый сыч или хрыч,—так могли вы думать,—и неужели же так-таки никаких родственных чувств у него не шевельнется, и он не скажет нам: «Вот она—Хлапонинка, родовая вотчина наша! Не расточил, а даже кое-что присовокупил к ней, кое-где округлил, что у нее запало, привел в откормленный вид... Поселяйтесь навсегда тут, дети мои, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю сию и господствуйте над нею!»

Дмитрий Дмитриевич кашлянул и так поглядел на своего дядю, что Елизавета Михайловна вынуж-

дена была снова остановить его, теперь уже не только движением ресниц, но и бровей. Он взял в обе руки вилку и нервно начал играть ею, а дядя продолжал, как бы не замечая:

— Такого могло быть одно предположение, однако человек всегда, когда идет на то или иное дело, выдвигает, по крайней мере, еще и другое, и третье... Другое же ваше предположение было такое, друзья мои!.. (Тут голос его зазвучал зловеще.) Допустим, что не расчувствуется хрыч или сыч, и ничего такого сентиментального не скажет, тогда-а... тогда мы начнем действовать иначе! Тогда мы подберем себе всяких этаких свидетелей и очевидцев и начнем-ка мы дело в суде... благо есть у нас на примете Терёшка...

— Ну, ты как хочешь, а я больше не желаю слушать подобное!—крикнул жене Дмитрий Дмитриевич и, бросив вилку, поднялся.

Привыкшая следить за каждым его движением, Елизавета Михайловна заметила, что поднялся он так, как мог подниматься только до своей контузии,—быстро, молодо, а вилку перед этим отшвырнул левой рукой, а не правой, тою самой левой рукой, которая как бы навсегда отвыкла от всяких вообще жестов, не только от сильных.

И в голосе ее было, пожалуй, больше радости за своего Митю, чем презрения к его дяде, когда она, поднявшись тоже, сказала ему сдержанно:

— Низкий и жалкий вы человек!

— А-а! Вот уж вы на каком наречии заговорили!—отозвался Василий Матвеевич, как будто даже довольный тем, что довел ее до «такого наречия».

— Как это могли вы вообразить, что нам нужно имяние?—изумленно продолжала она.

— О-о! Скажите, пожалуйста! Не нужно?—так и подскочил он, шутовски перекрутившись на одном правом каблуке.

— Пойдем, Лиза!—сказал Дмитрий Дмитриевич.

— Батарейным командиром быть, это, конечно, стоит моего имения,—ядовито заметил Василий Матвеевич.—Но если вы не хотите имения, то, может быть, вы не откажетесь от лошадей моих ехать на станцию?

— Нет, откажемся!—крикнул Дмитрий Дмитриевич.—Мы возьмем лошадей у кого-нибудь на деревне, но на твоих больше уж не поедem!

— Так вот что я от тебя услышал за мою хлеб-соль вместо благодарности?—притворно горестно покачал головой Василий Матвеевич.—Хорош племянничек!

— Дядюшка, дядюшка хорош!—крикнул Дмитрий Дмитриевич и, обняв Елизавету Михайловну за плечи левой рукой, сказал ей:—Пойдем-ка, Лизанька, собираться ехать в Москву! И подсчитай, сколько мы с тобой могли ему стоить,—из Москвы вышлем!

Все-таки для того сильного волнения, какое пришлось Дмитрию Дмитриевичу пережить за обедом, он был еще слаб. Ему пришлось лечь от резкой головной боли, а Елизавете Михайловне—окутать ему голову мокрым полотенцем. Но выехать из Хлапонинки если не теперь же, на ночь глядя, то утром на другой день, было решено ими бесповоротно, и она занялась укладкой чемоданов, Арсентий же был послан в деревню подрядить кого-нибудь с парой лошадей, хотя бы и на простых розвальнях, довезти их до Белгорода, где уж гораздо легче было найти обывательские сани до Курска. В Курске им обоим все было хорошо знакомо, и там они могли бы не спеша собраться в Москву.

Рыженький казачок Федька, столь разительно похожий на Василия Матвеевича, приходил от него с приглашением к ужину, но Елизавета Михайловна отказалась и за себя и за мужа и заперла дверь на ключ, опасаясь какой-нибудь новой выходки со стороны хозяина Хлапонинки.

Раза два она слышала, как шаги его останавливались перед их дверью, и ожидала стука, однако постучать в дверь и что-нибудь сказать,—примирительное или вызывающее,—он так и не решился.

Ночью Дмитрий Дмитриевич спал неожиданно для нее спокойно, а рано утром, проснувшись, бодро спросил:

— Ну, что же, едем?

— А ты как? Можешь ли ехать? Или лучше переждать день?—забеспокоилась она.

— Что ты, что ты—«переждать»! Вполне могу, и куда угодно... Хотя бы даже и в Севастополь!—отозвался он весело.

Оделись и собрались они быстро. Два тяжелых чемодана их Арсентий отнес на деревню еще с вечера, как только с помощью Терентия нашел лошадей, сани, возницу.

Из длинного дома под старинной камышевой крышей, теперь очень опрятно прикрытой толстым снежным ковром, густо-сине-розовым от утра, они выходили гораздо менее торжественно, правда, чем в него входили с месяц назад, зато чувствовали себя оба гораздо счастливее.

Собаки, привыкшие уже к ним, не лаяли, а виляли добродушно хвостами и бежали за ними следом, когда они проходили по усадьбе; дворовые, хотя и встали уже, но только шушукались издали, стараясь не попадаться им на глаза, так как все уже знали о размолвке между ними и Василием Матвеевичем; что же касалось самого Василия Матвеевича, то он, отворив форточку в окне своей спальни, не отходя смотрел им вслед, пока они не исчезли за поворотом.

То, что они не обратились к нему даже за

лошадьми, чтобы доехать до станции, поразило его чрезвычайно. В халате и туфлях, как был в спальне, он кинулся потом в их комнату и оглядел ее всю, насколько позволил слабый свет утра. Он заметил перчатки Елизаветы Михайловны, вязанные, старые, худые перчатки, брошенные ею в угол, как ненужный хлам, и, жадно схватив их, унес к себе, несколько раз прижал к губам и запер их в своем письменном столе.

Переживания его были сложны и смутны даже и для него самого... С одной стороны, он сделал как будто удавшийся вполне ход—сразу избавил себя от всяких опасений со стороны племянника, с другой—как глухо и пусто стало во всем его доме, как только ушла из него Елизавета Михайловна!

У него мелькнула даже мысль немедленно послать приказ кучеру Фролу запрячь вороную пару в те самые сани, в которых он привез Елизавету Михайловну, и отправиться вдогонку, если она с мужем успела уже сколько-нибудь отъехать в мужицких розвальнях; попросить ее убедительно пересесть к нему, а он отвезет их на станцию, куда на барских хороших конях приедут они и гораздо скорее и удобнее... В то же время,—это странно было даже ему самому,—приказ этот как-то не складывался в его голове вполне определенно: он возникал и горел ярко, но тут же вдруг тускнел и пропадал, возникал снова и опять тускнел, и так и не вылился в слова, хотя раза два для этой цели подзывался Федька.

За это время Елизавета Михайловна под руку с мужем, идя вслед за Арсентием, тащившим узел и небольшую корзинку, пришла к хате, возле которой стояли сани, запряженные парой мелких, но сытых, слегка заиндевевших лошадок. К облучку саней привязаны уже были чемоданы; вместо полсти лежал новый полосатый домотканый деревенский ковер, данный ради этого случая женой Терентия, которая стояла тут же вместе с ним и с хозяином саней, высоким нестарым человеком в нагольном тулупе и серой смушковой шапке с наушниками: такие шапки называли здесь капелюхами.

Чем кончилась попытка Дмитрия Дмитриевича похлопотать за него, Терентий знал и теперь смотрел и на него, укутанного в теплую шинель с бобровым воротником, и на жену его в меховой шубке и теплом лиловом капоре виноватыми, запавшими от бессонной ночи глазами.

Он несколько раз досадливо хлопал себя по бедрам дюжими руками, гогоря при этом:

— Вот же догадало меня авчорась оборотиться к вам, Митрий Митрич! Ну, не знал я, что ли, этого ирода, хотя бы ж он вам и дядя родной доводится, извиняйте меня, дурака! Вот и вышло, что ради меня и вы с места столкнуты в холодную дорогу, а могли бы вполне у нас тут до весеннего времени провесть, и вам бы польза от этого была... Эх, бить меня надо за такое дело!

— Ничего, брат, ты себя не вини!—утешал его Хлапонин.—А что дядя мой ирод, это ведь верно, это я и до тебя знал... И, пожалуй, оно, брат, лучше вышло, что мы уезжаем.

— Ну, где же лучше, когда вам мученье!

— Ничего, я уж окреп... А вот что касается тебя, брат, то мне кажется, раз я уезжаю, то и у него нет теперь причины в ополченцы тебя сдавать.

— Как это?—не понял Терентий.

— Да ведь он вообразил что? Будто ты мне помогаешь мою часть имения у него отнять!

— Митрий Митрич!—торжественно отозвался на это Терентий.—Все бы решительно как есть, что бы вы мне ни приказали,—сделал!—И глаза его блеснули так, что Хлапонину стало несколько жутко.—Ведь это же всем известно округ,—обобрал вас, ирод! А может, вы по этому делу в губернию едете?

Они говорили отъединившись от других, но при последнем вопросе Терентий все-таки понизил голос почти до шопота и огляделся.

— Нет, нет! Это дело вести—большие деньги нужно иметь, а у меня их нет,—ответил поспешно Хлапонин.—Да я и не умею быть помещиком... Это—подлое дело... А тебя он оставит, я думаю.

— У него все суды закуплены, правда,—согласился тут же Терентий и добавил:—Не-ет, он меня не оставит все равно—сдаст! Я ему как все равно рвотный порошок. Сколько уж разов это было: он назначит кого пороть, а я вступаюсь. Я Фролу-кучеру говорю: «Смо-отри! Ты силу при себе имеешь, ну и я тебе не горшок сметаны,—мною не наешься, а скорее подавишься!..» Рассудите сами, Митрий Митрич, кто же бы нас сек, если бы не из нашего же звания находились такие анафемы?.. Ну, Фрол, конечно, барину жалуетесь, а барин мне: «Желаетесь, чтоб я тебя самого приказал разложить?» Я смеюсь: «Кто же найдет такой, меня чтоб разложить мог?»—«Приставу, говорит, передам тебя с рук на руки,—вот что я сделаю!» Я опять же вроде как смеюсь: «Какая же вам от этого польза произойти может, барин? То я вам когда зайчишек притащу—ваш подарочек берегу: ружье двухстволку, Митрий Митрич!—то уток или там вальшняков весной-осенью,—все-таки вам забава... «Дичь, говорит, я уважаю, она мне вроде кровь полирует,—дичь приносит... А только подумай, чья же может быть на моей земле дичь эта? Зайцы если,—мои они зайцы; утки если,—на моей воде; ты тоже являешься мой верноподданный... А если ты признаешь себя таким здоровым, что поздоровее Фрола будешь, и орудей розгами вместе с Фролом».—«Нет, говорю, барин! Чобы я к вам вроде в палачи какие шел, об этом вы забудьте и думать!»—«Ну, тогда пошел к чорту!» Он кричит это, а я ему вполне тихо: «К чорту, говорю, мне дорога неизвестная, а домой к себе это я пойду...» Ну, и так, кроме наказаний, чуть

какой есть прижим мужикам нашим от барина, они сейчас ко мне: «Иди, Терентий, поговори,—ты смелость в себе имеешь...» Я, конечно, иду вроде как от всего мира... Вот через что я у него, у барина, смутьян стал... Не-ет, он меня не помилует—сдаст... Ну, ничего! Мне тоска была ночью за вас, Митрий Митрич,—как я слышал,—Арсентий сказывал, какой у вас разговор из-за меня произошел.

— Обо мне не тоскуй, чужак ты!—похлопал его по плечу Хлапонин.—Я даже доволен, что от него уезжаю.

Терентий очень пристально глядел в его глаза и повеселел, заметив, что «дружок» его действительно, кажется, доволен. В это время подошла Елизавета Михайловна и сказала:

— Ну, Митя, все готово в избе,—завтракать приглашают.

— Милости просим, барин, чем бог послал!—подошла и жена Терентия и поклонилась в пояс.

За завтраком долго не сидели, хотя жена Терентия не поскупилась для этого на свой бабий труд ночью. Торопила Елизавета Михайловна, которой хотелось поскорее покинуть Хлапонинку. Перед тем как сесть в сани, поцеловались Митрий Митрич с Терентием, Елизавета Михайловна с его женою; наконец, устроились на соломе, покрытой дерюгой; Арсентий в ногах на чемоданах.

Между тем собралась, конечно, толпа любопытных. Всем хотелось узнать, почему это от их барина уезжает родной племянник, раненный в Севастополе офицер, не на лошадях из барской конюшни; все жались поближе к саням, желали «счастливой дороги», глядели во все глаза...

Наконец дернули застоявшиеся «котята», и пошли прыгать полозья без подрезов по ухабам и раскатам...

4

Через несколько дней после отъезда Хлапонинных, именно в последнее число января, манифест о наборе ополчения с шести центральных губерний, — между ними и с Курской,—дошел до Хлапонинки, и Терентий узнал в конторе окончательное решение о себе и Тимофее «с килой»: оба они сдавались в ополченцы.

— Ну, что же, Тимоша, милый,—обратился, поблескивая глазами, Терентий к своему товарищу.—Мы с тобою хотя и не молодых годов считаемся, все-таки вроде как некрута сделались... Выходит, что погулять перед отправочкой надо!

Тимофей тайне надеялся, что его из-за шишки все-таки забракут. А чтобы показать ее там, в городе, в комиссии, во всей возможной красе, он старался разминать ее до боли и прикладывал к ней на почь теплую суконку, чтобы ее распарить и довести до вполне внушительных размеров. От

гульбы же он, конечно, не отказался, тем более что как раз в это время подошла и масленица.

И гульба началась.

Первый во всей округе силач и охотник, Терентий был и первый на деревне плясун и запеваля: у него был звонкий залихватский голос, и он умел им владеть. Обнявшись с Тимофеем и стараясь казаться пьяным в дым, хотя ничуть пьяным он не был, шел он по деревенской улице впереди большой толпы стариков и парней, девок, баб и ребят и ухарски, с присвистами пел старую рекрутскую песню о Ваньке Хренове:

Как на горке да на крутой
Постоялый двор худой,
Некрытый... Ба-арыня!

«Барыню» подхватывал иступленно, хотя и хрипло, Тимофей «с килей»:

И-эх, барыня с перебором
Валаясь под забором,
Ба-арыня ты моя!
Сударыня ты моя!

А Терентий продолжал залихватским тенором:

Постоялый двор худой,
Постоялец молодой—
Ванька... Ба-арыня!
Постоялец молодой,
Закатистый, удалой—
Хренов... Ба-арыня!
Ваньку Хренова забили,
Все в деревне затужили,—
Плачут!.. Ба-арыня!..
Ни из чести, ни из платы
Не идет мужик в солдаты,—
Не хочет!.. Ба-арыня!..
Пальцы рубит, зубы рвет,
В службу царскую нейдет,—
Бойтся!.. Ба-арыня!..

Под «Барыню» плясали... Неумоимо тренькали три балалайки, и гремел о дюжий кулак бубен с позеленелыми медными бубенчиками на кругу.

Все-таки как-никак это было масленичное веселье, и только одна жена Терентия ходила заплаканная, жена же Тимофея держалась спокойнее: она, как и муж ее, питала крепкую надежду, что килеваты брать на службу не полагается, что в городе это разберут и придется их барину на замену Тимофея выставлять кого-нибудь другого.

Уже смеркалось, когда Терентий, казавшийся всем совершенно уже осовелым от выпитой водки, от целодневной пляски и песен, ушел с улицы к себе домой, чтобы лечь спать, и он действительно лег было на лавку, однако лежал недолго. Даже жена его, бывшая с ребятами на улице, все еще шумливой и разноголосой, не заметила, как он поднялся, осторожно вышел из избы и направился задом, —гумнами, огородами,—к барской усадьбе.

К вечеру заснежило, и этот густой выюющийся крупными хлопьями снег укрыл его, идущего по

охотничьи шмурыгающими шагами, но совсем не на усталых и не на пьяных ногах. Напротив, ноги его были упруги, хмеля он не чувствовал. Он шел поговорить со своим баринном в последний раз.

Идя задом, как он и начал идти, Терентий не свернул и потом на санную дорогу к усадьбе. Он шел к барскому дому, но заведомо окольными путями, по цельному снегу, правда, неглубокому, окраинной яблоневого сада, обсаженного вязами, в виде ветролома.

Кому-нибудь издали могло бы показаться, что он, охотник, выследил какую-нибудь дичь и подкрадывается к ней на ружейный выстрел. Но ружья при нем не было, и если он действительно шел крадучись, то потому только, что не хотел попасться на глаза кому-нибудь из двора. Даже заметив издали древнюю, подслеповатую бывшую няньку Дмитрия Дмитриевича, он притаился, приткнулся к толстому дереву и так стоял, пока она—окутанная толстой теплой шалью и в крытом полушубке,—не прошла там, в стороне между строениями.

Было сумеречно, но совсем не настолько еще, чтобы в деревенском, хотя бы и барском доме начали уж зажигать огни, и окна его тускло чернели. Так как Терентию во всей усадьбе нужен был только сам барин, то он без труда отыскал глазами два окна барской спальни, служащей в то же время и кабинетом. Весь дом был ему очень известен: с тех давних пор, когда он был в этом доме казачком, здесь не производилось никаких переделок.

Глядя на окна, Терентий решал беспокоивший его вопрос,—нет ли в доме гостя или гостей по случаю первого дня масленицы, но скоро понял, что гостей не было: никакой суеты на дворе, неизбежной при гостях, он не приметил. Напротив, было очень безлюдно как-то и тихо, даже собаки не вертелись, а сидели по конурам: это был час, когда Василий Матвеевич обыкновенно отдыхал после обеда, и все около него позволяли себе такой же отдых. Тем более теперь даже и на людской обед не мог не быть грузен, конечно: блины. Блинами пахло в воздухе...

Терентий высматривал, вслушивался, караулил и надеялся, что барин его выйдет из дому прогуляться между послеобеденным сном и вечерним чаем. Он даже как бы убеждал его мысленно одеться и выйти на двор, а потом в сад по подметенной аллее, тем более что ведь вечер был тихий, нехолодный; мокрый снег, который вздумал было валить хлопьями, когда он вышел из своей избы, теперь неожиданно перестал... Ему казалось совершенно необходимым, чтобы в такой вечер барин вышел на полезную для его здоровья прогулку.

Он стоял за деревом так, что через аллею сада

наискось ему было видно крыльцо перед парадной дверью, откуда мог появиться Василий Матвеевич. Отводя иногда глаза, чтобы оглядеться по сторонам, он следил за крыльцом и дверью... Прошло уже минут десять. Он тревожился тем, что становится заметно тусклее крыльцо, что начинают уже сливаться в одно резные колонки его парапета; вечерние тени кругом, хотя и не так быстро, но все-таки густели...

Однако, как охотник, он был терпелив, и он дождался. Он почувствовал даже, как сердце его замерло на момент, потом начало стучать по особому гулко, когда, наконец, отворилась дверь, и Василий Матвеевич вышел, спустился с трех ступенек крыльца, стал отчетливо темный на синеве снега и оглянулся туда-сюда.

Он был в короткой теплой бекеше, в шапке из чернубурой лисы, с толстой палкой, которую держал посередине, наперевес. Терентий напряженно думал: «Эх, кабы в мою сторону пошел...» Он изо всех сил стремился, туго сжимая кулаки, к тому, чтобы барин двинулся по аллее, которая для чего же и устраивалась еще, как не для барских прогулок, и вышел бы прямо на него, где было безлюдно и укрыто. Эта толстая палка, которую барин держал, точно пику, она его манила; хотя он мог бы обойтись с барином и без палки, как и хотел, все-таки старинная человеческая привычка непременно иметь в руках какое-нибудь оружие превозмогла. Он так был уверен, что барин пойдет по аллее в его сторону, что даже отвернулся, чтобы не смотреть и этим как-нибудь не выдать себя раньше времени. Но когда посмотрел все-таки вдоль аллеи, увидел, что она пуста, что барина нет и около крыльца, и едва-едва успел различить глаз чернубурую шапку, мелькнувшую и пропавшую в противоположной от сада стороне.

— Э-э, чорт! Куда же это его понесло?—зло буркнул, хотя и шопотом, Терентий и, оторвавшись от дерева, кинулся к конюшне, стараясь где пригнуться, где прилипнуть ко всяким встречным прикрытиям.

Ему теперь просто хотелось, чтобы барин был у него на виду: если даже пошел он проведать конюшню, то не будет же там ночевать, выйдет и пойдет обратно к дому, когда уж довольно стемнеет.

Терентий спешил, соблюдая все-таки привычную осторожность охотника, и когда обогнул конюшню с тыльной стороны и выглянул из-за угла, увидел неожиданно барина, который шел дальше, к одиноко стоящему у плотины домику—пиявочнику, и снова сначала замерло на момент, потом звучно заколотилось сердце Терентия: это было прямое охотничье счастье, удача.

От Тимофея «с килой» Терентий знал, что теперь следить за печкой в этом чудном заведении приставлен барином дворовый мальчишка лет шест-

надцати Гараська, и понятно стало, что этому Гараське пока еще не доверял барин, почему и прогулку свою направил он в эту сторону.

Плотина была обсажена ивняком, и Терентию удобно было, прячась за ним, не отставать от барина. Он думал только: в пиявочнике ли теперь Гараська? Не шаркнул ли он в людскую ради масленицы? Очень хотелось ему, чтобы именно шаркнул в людскую.

Василий Матвеевич не вошел сразу. Он ждал, что, завидя его в окно, Гараська отворит ему дверь, вытянется в двери по-военному и его впустит: так он требовал. Он дождался с полминуты, но дверь не отворилась,—пришлось отворять самому. И когда Василий Матвеевич вошел в пиявочник и, оглядевшись в сумеречном свете, шедшем из непротертых как следует окошек, увидел, что никого нет, он сказал с большим чувством:

— Ну, так и есть! Нету этого негодяя!

Считал ли Гараська, что не обязан все свое время проводить в этом унылом, отдаленно от всей остальной усадьбы стоящем домике, в котором, кстати, нечего было и делать, кроме как вытопить печку, но его не было: пиявки оставались без надзора; это очень раздражило Василия Матвеевича.

— Вот подлец-народ,—запричитал он горестно,—ну, и подлец!.. Ну, что тут делать с таким подлецом-народом?.. Пороть, пороть его, мерзавца, пороты!

Он стал над бассейном, в котором вода была аспидно-черной, возмущенно качая головой, потом направился к печке, пощупал,—показалась почти совсем холодной.

— Во-от так под-ле-ец!—протянул окончательно взбешенный Василий Матвеевич.—Пороть, пороть мерзавца!

Как раз в это время отворилась дверь, и вошел Терентий. Василий Матвеевич слышал, что отворилась дверь, думал, что вошел не кто иной, как Гараська, и занят был тем, чтобы сдержать себя, не беспокоить сердца. Он только тянул ехидно, не оборачиваясь:

— Будешь выпорот, будешь погоди, дружище!

Терентий же, войдя, опасливо оглядывался, ища глазами Гараську и не понимая, с кем же это говорит барин, если Гараськи, как он и думал, нет.

Так прошло несколько мгновений, пока, наконец, Терентий не догадался, что его самого барин принял за вошедшего только что Гараську, а обернувшийся Василий Матвеевич разглядел, что перед ним Терентий, и застыл от неожиданности с широко раскрытым ртом, из которого хотел было вырваться, но так и замер около самых губ крик, и глаза замерли,—чуть белели в полусумраке.

Убедившись, что Гараськи нет, что они с барином здесь одни, Терентий усмехнулся зло и вытянул почти добродушным тоном:

— И все кого-то-сь пороть хочет наш барин! Вот же труды-заботы какие у человека у этого!

Голос Терентия вызвал и замерший было голос Василия Матвеевича.

— Ты-ы что сюда, а? Ты-ы... пьян?—крикнул в два приема Василий Матвеевич и, подняв палку, ринулся было к двери, но Терентий стал перед ним стеной.

— Этот крик твой теперь ни к чему, барин!— проговорил он сдавленно, но настолько зловеще, что Василий Матвеевич заверещал вдруг:

— Га-ра-аська!.. Га-ра-ська!..

Терентий быстро перевел глаза на дверь, отвел их снова к нему, выдернул у него палку из рук и бросил в воду, прохрипев: «И тебя туда же!»— обхватил его поперек, перевернул ногами кверху, и не успел Василий Матвеевич закричать снова, как свалилась шапка, и лысое темя его коснулось холодной воды, потом тут же вода залила ему глаза, уши, нос, рот,—вместо крика пузыри за клубились на воде, ушли в воду плечи и руки...

Терентий держал его за ноги, пока они не перестали дергаться, и так оставив тело в воде, ногами кверху, вышел и плотно притворил за собою дверь.

Он пошел теперь, когда сумерки стали уже густы и не сини, а серы, не домой. Теперь с домом, с семьей, с Хлапонинкой для него уже все было кончено. Но если бы даже вернейший человек встретился с ним теперь и спросил его, куда он идет, он не ответил бы, потому что не знал сам. Он знал только одно, что в том направлении, какое было им взято, первое село по дороге будет Таборское; там его знал кое-кто из крестьян, поэтому село это нужно было обойти стороною. В этом же направлении, если бы удалось дойти или доехать со случайными попутчиками, должен быть и Харьков,—большой город, где можно бы было затеряться на первое время, а потом двинуться куда-нибудь дальше.

О брошенных им жене и ребятишках он старался совсем не думать.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ МАРТОВСКОЕ ДЕЛО

1

Даже накануне большой вылазки, задуманной Хрулевым и разрешенной сначала Сакеном, а по приезде Горчакова и им, штаб-офицеры полков, предназначенных к ней, встречаясь между собой, говорили об этом так:

— Слыхали, будто на-днях что-то предпринимает?

— А что такое именно?

— Ну вот, делаете вид, что не слышали!.. Конечно, военная тайна обязывает, да мы-то ведь люди свои!

— Уверю вас, ничего не знаю!

— Вот тебе ~~на~~! Как же так не знаете, а в дело идет, говорят, несколько полков!

— Скажите, пожалуйста! А я ничего решительно не знаю... Какие же именно полки?

— Да вот это-то я и хотел от вас узнать.

— Может быть, и наш тоже?.. А когда же вылазка?

— Слыхал, будто скоро, а когда, не удалось добиться.

— Ну, господа, помогите.

Наученный опытом с атаккой Евпатории, Хрулев теперь действовал в высшей степени скрытно. Впрочем, и особой сложности задуманное дело не представляло, и объемистой диспозиции писать ему не приходилось. Ее не требовала ночная вылазка против неприятеля, с которым все время находились в тесном соприкосновении благодаря ложаментам с той и другой стороны. От вылазок, очень часто бывавших раньше, эта должна была отличаться только числом введенных в нее штыков.

В отряд Хрулева вошло восемь батальонов от четырех полков пехоты: Камчатского, Волинского, Днепровского и Углицкого; кроме того, батальон, составленный из моряков. Всего же было около пяти тысяч человек, так как батальоны дошли уже почти до половинного состава.

Хрулев просил больше, но Горчаков, который любил всякое дело обдумывать кабинетно все-сторонне и потому очень долго, решительно отказал ему в этом.

Контрапроши в огромном числе и постепенное отжимание ими союзников от Севастополя к морю—это и была единственная идея, с которой бодро скакал он на курьерских защищать Крым; но если для защиты одного только смело выдвинутого вперед Камчатского люнета требовалось более пяти тысяч человек, то сколько же в таком случае надо было выставить для целой цепи подобных люнетов и редутов, которые в безукоризненно шахматном порядке лежали уже в его пылком воображении на семиверстной полосе обороны?

— Нет, нет и тысячу раз нет!.. Войска надо беречь для будущего,—говорил он Хрулеву.— Вот погодите, получим сорок батальонов резерву из Южной армии, тогда может быть... Скверное, очень скверное наследство оставил мне мой предшественник! Гнусное наследство!

Он деятельно начал знакомиться с положением обороны, чуть только устроился кое-как в инженерном домике, на Северной, и все, что он находил и видел, казалось ему необдуманным, незрелым, испорченным, из рук вон плохим.

— Но, ваше сиятельство, позвольте доложить

вам, что, имея в руках такой небольшой отряд, я не могу обещать и крупных результатов вылазки,—говорил ему обескураженный Хрулев; Горчаков же отзывался ему своей любимой фразой:

— Да вы не заставляйте только ваших солдат штурмовать небо! Только это, больше ничего! А для штурмов на земле у вас превосходные солдаты: я их знаю по Дунайской кампании. Вот, видите ли, в чем заключается первейшая разница между мной и князем Меншиковым: по его мнению, наш солдат вообще очень плох, а по-моему—он превосходен... Только не надо от него требовать того, что выше сил человеческих, а все остальное он сделает, и в успехе вылазки я уверен!

Вылазка назначена была в ночь на 11 марта, и войска собрались на подступах к Камчатскому люнету, чуть только стемнело, причем Камчатский полк был здесь весь в полном составе, под командой полковника Голева, но в дело шли только два батальона его, остальные же явились для земляных работ. Иеромонах Иоанникий был, конечно, тут же, в рядах полка. На нем была епитрахиль поверх рясы; крест накладного себёра на торжественно держал в руке, сетуя только на то, что тот очень легкий.

— Пустой в середине! Дутый!—гудел он, обращаясь к командиру первой роты, штабс-капитану Гречкареву.—Таким француза как следует и благословить-то нельзя будет!

— А вам зачем же французов благословлять, батюшка?—вполголоса увещевал его Гречкарев.—В наступление идет наш батальон и третий, а вы со вторым и четвертым в резерве останетесь,—вам своих тяжело раненных благословлять после исповеди придется.

— Как это, чтобы я да в резерве остался!—гудел Иоанникий.—Я с вами пойду!

— Кто же вас возьмет с собою?

— А кто же посмеет меня оставить?... Не возьмут, я и сам пойду!

— Куда же вы это пойдете? В какой колонне?

— Колонны тут не при чем... Куда полк пойдет, туда и я!

— Командиру полка доложите в таком случае.

— А зачем это мне ему докладывать?

— Значит, вы дисциплины не знаете, батюшка!

— А вы меня не учите,—рычал Иоанникий.

— Бог с вами совсем, не мое дело... Только хоть потише говорите, пожалуйста!

Невдалеке от расположения первого батальона шли работы в траншее, полужасыпанной местами вследствие усиленной дневной канонады со стороны французов. Работами на этом участке руководил саперный прапорщик Бородатов: дня за два перед этим пришлось, наконец, из Петербурга его производство.

Услышав знакомый уже ему густой рокошующий голос в стороне от себя, он пристальнее при-

смотрелся к темноте и разглядел гораздо повыше линии солдатских голов твердые очертания широкого черного клобука.

— Вот чорт возьми! Опять тут этот пьяный монах!—сказал он брезгливо, обращаясь к стоявшему рядом Вите Зарубину.—Испортит он нам все дело!

— Чем именно может он испортить?—спросил Витя.

— А как же? У него ведь не голос, а какая-то труба иерихонская! Послушайте, Зарубин, я бы на вашем месте взял на себя смелость доложить о нем генералу Хрулеву.

— Хорошо, что же... Я и доложу, пожалуй,—не без некоторой важности ответил Витя.

Вместе с двумя другими, только пехотными, юнкерами Витя был взят Хрулевым к себе в ординарцы и теперь был послан им передать небольшое приказание саперным офицерам.

— А когда думают начать наступление?—спросил его Бородатов.

— Да вот, когда зайдет луна... Я слышал, так говорили.

— Луна, кажется, не обещает этого так скоро... Она даже открывается, смотрите!

Действительно, луна, которая до этого была, казалось бы, очень добротнo задернута густыми тучами, теперь вдруг начала пробиваться сквозь них и на глазах у Вити и Бородатова засияла наполовину.

— Ну, в таком случае я уж не знаю, когда пойдем мы,—почти сконфузился Витя. — Только мне-то уж во всяком случае надо идти... Прощайте!

Эта луна!.. Ей не было никакого дела до того, что творилось там где-то, на маленьком клочке земли около Черного моря, а людям она неизменно мешала начинать ночные атаки и штурмы: колоть штыками и действовать прикладами удобнее в сумраке.

В этот вечер ожидалось, что луна зайдет не раньше одиннадцати, но уже в начале девятого поднялась оживленная ружейная перестрелка впереди люнета: это французы предупредили Хрулева; они кинулись на русские ложементы и выбили из них стрелков. Тогда первому батальону камчатцев приказал Хрулев в свою очередь выбить из ложементов французов и идти дальше, а в поддержку первому батальону был пущен третий.

Так завязалось это дело, очень кровавое и памятное для русских и интервентов. Кроме Камчатского полка, в распоряжении Хрулева был Днепровский полк трехбатальонного состава, и командиру его, полковнику Радомскому, поручен был левый фланг атаки, как Голеву с его камчатцами—правый. Батальон матросов поставлен был в резерве, чтобы после удачной атаки повернуть в сторону французов их же ложементы и засыпать траншеи.

Ровно в девять по сигнальной ракете начали на-

ступать с двух сторон камчатцы и днепровцы. В русских ложементах хозяйничал в это время батальон зуавов. Его прикрытие встретило ротные колонны камчатцев залпами в упор. Этот штуцерный огонь был такой силы, что в две-три минуты начисто скошил передние ряды наступавших...

— Вот так строчит, проклятый! — удивлялись камчатцы, переступая через тела упавших или обходя их и снова строясь на ходу в тесные ряды.

Они шли ускоренным шагом и без выстрела; потом по команде бросились вперед, и зуавы бежали из ложементов, захваченных было и своих, прямо в траншеи.

Но траншеи полны были французов, приготовленных в свою очередь для атаки именно в эту ночь Камчатского люнета. Траншеи опустели быстро; батальоны французов встретили натиск русских, и рукопашная схватка разгорелась при полном свете луны, дававшем редкую для ночного боя возможность четко отличать своих от чужих.

Гремели выстрелы из траншейных мортир и штуцеров, лязгали штыки о штыки, доисторически жутко поднимались и опускались на головы приклады...

— Allons nous! — кричали зуавы, порываясь вперед.

— Братцы! Алёну зовут!.. Урра! — кричали камчатцы, кидаясь на этих невысоких, но коренастых чернобородых людей в чалмах и фесках.

Нельзя сказать, чтобы корпус зуавов во французской армии был очень многочислен, но этот вид колониальных войск гораздо лучше, чем все другие войска интервентов, был приспособлен к войне в южной части Крыма и служил образцом для других корпусов французской армии.

Наподобие русских кавказских полков, полки зуавов закалили себя походами и боями в знойной гористой Алжирии, где получили свое боевое крещение и Сент-Арно, и Канробер, и Боске, и Бурбаки, и Д'Орель, и д'Отмар, и Эспинас, и Верже, и, наконец, Пелисье — цвет французского генералитета в лагере союзников. Кстати, в Алжирии был у них такой серьезный противник, как талантливый Абд-эль-Кадер, этот алжирский Шамиль.

Разбросанные мелкими отрядами по ущельям Атласа¹ зуавы (среди которых даже и в сороковых годах мало уже оставалось воинственных туземцев племени зуауа, давших им свое имя, а больше парижан отчаянной жизни, возлюбивших военные опасности) предоставлены были самим себе и поневоле должны были стать изобретательными не только в способе ведения войны под солнцем Африки, но и во всех мелочах своего обихода и даже костюма. Можно было смело сказать, что в Европе в те времена не было пешего войска, одетого так

же легко и так же удобно, как зуавы. Даже чалма оказалась очень полезной от солнцепека, так как имела способность хорошо закрывать не только голову, но и лицо, а материала в ней хватало при случае и на заплаты для панталон и жилета.

Так как в мелких отрядах, окруженных со всех сторон врагами, каждый человек не только на виду и на счету, но необходимо должен принести всему отряду столько пользы, на сколько способен, то из зуавов все становились кто каменщиком, кто кузнецом, кто землекопом, кто портным, кто сапожником, не говоря уже о том, что все они были искусные стрелки, так как все были озабочены постоянной мыслью той или другой дичиной скрасить свой скудный и однообразный солдатский обед: всякий может представить, как трудно снабжать съестными припасами разбросанные в горах отряды и как часто при таком положении вещей могли они рассчитывать только на свои силы и способности.

Каждый пост зуавов в горах и ущельях был в то же время в постоянной блокаде со стороны воинственных туземцев, не уступавших по своей предприимчивости и меткости своим пуль черкесам. Эта вечная опасность выковала из зуавов великолепных солдат, необыкновенно смелых, сметливых и твердых духом, а их способность к быстрым маршам видна уже из того, что им, пехотинцам, приходилось проходить по сто километров за тридцать шесть часов, причем на пути не бывало отставших.

Духовые инструменты арабов и кабилов, введенные в полках зуавов, внесли в обиход их военной жизни оригинальную звучную музыку; в то же время неистощимая природная веселость парижан изобрела целый арсенал метких словечек и речений, анекдотов и песен, резко отличавших зуавов от всех прочих французских солдат. Так в большом ходу между ними была песенка, на первый взгляд казавшаяся почти бессмысленной:

As-tu vu
La casquette,
La casquette?
As-tu vu
La casquette
Du père Bugeaud?¹

Маршал Бюжо был покорителем Алжира, победителем Абд-эль-Кадера², с которым вел долгую борьбу, но он едва не погиб во время нечаянного

¹ Ты видал
Фуражку,
Фуражку?
Ты видал
Фуражку
Отца Бюжо?

² Абд-эль-Кадер (1807—1883) — вождь арабов в Алжире в их партизанской войне с французами за независимость. В 1847 г. вынужден был сдаться.

¹ Атлас — горная цепь в северной Африке, проходит по Марокко, Алжиру и Тунису.

ночного нападения на его лагерь крупного отряда регулярных войск противника. Во время происшедшей схватки, в которой пришлось участвовать ему лично и смертельно ранить двух напавших на него арабов, он потерял фуражку, которая своей оригинальностью вызывала остроты зуавов.

— Ты не видал моей фуражки? — обратился маршал к первому попавшемуся на глаза солдату, — и вот пошло по рядам:

— Фуражку! Фуражку маршала!

Найдена ли была эта фуражка, или нет, но на другой же день нашлись слова для нового марша, который трубили горнисты, и потом уже сам Бюжо нередко обращался к горнисту, чтобы трубил он марш «La casquette».

Зуавы отличались тем, что совершенно не способны были предаваться унынию, что бы с ними ни случилось, в какое бы тяжкое положение они ни попадали. Так бывало в Африке, на больших многодневных походах по обледелым горным кручам и топким ущельям, так было и в Крыму в ноябрьскую бурю и позже, во время холодной для интервентов зимы: зуавы быстро приспосаблились к положениям самым скверным и на любые лишения отзывались веселой шуткой. В этом отношении и вся вообще французская армия старалась равняться по зуавам, резко выделяясь своей бодростью по сравнению с армией английской, не говоря уже о турецкой, в которой царило сосредоточенное уныние.

Конечно, в полках зуавов, вербовавшихся из среды искателей приключений, нечего было и надеяться найти надежную строгую дисциплину вне строя. Зуавы питали большую привязанность к питейным домам, а также к собственности обитателей той местности, где приходилось им стоять лагерем. Впрочем, и заведомо казенному имуществу они тоже не давали спуска.

Однажды тот же маршал Бюжо захватил у оставших кабиллов стадо прекраснейших баранов. Он как знаток любовался этими животными. Утром на другой день стадо это должны были отправить по его приказу в тыл для военных надобностей, но ночью он из своей палатки услышал подозрительное тревожное блеянье. Заподозрив что-то неладное и выскочив в одной рубашке из палатки, он заметил среди стада фигуры своих солдат. Неодетый, но со шпагой в руке, он бросился с громкой руганью к стаду спасать казенное имущество, так как для него стало ясно, что зуавы резали и свеживали баранов. Заслышав очень знакомый им громовой голос «отца Бюжо», зуавы тут же рассыпались и исчезли в ночной темноте, но вместе с ними исчезли и недорезанные бараны, и туши зарезанных, и шкуры освежаванных.

Наутро зуавы как ни в чем не бывало явились на переключку, но на вопрос о судьбе казенных баранов отзывались лукавым молчанием. Приш-

лось маршалу на этом и закончить следствие по бараньему делу, и это был самый лучший выход из положения.

Вообще далеко не всякий офицер мог быть командиром в полках зуавов, и штаб-офицеры в зуавам назначались по особому и очень тщательному выбору: если начальник этих своеобразных солдат не имел, кроме очень твердого характера, еще и очень мягкого сердца, чтобы при случае посмотреть кое на что сквозь пальцы, он командовать ими не мог.

Слава зуавов, как лучших солдат Европы, была так велика, что великий князь Константин, бывший в Алжире за несколько лет до Крымской войны, непременно хотел их видеть, и нарочно для него тогда устроили смотр одному полку зуавов, только накануне вернувшегося из глубины Атласских гор, где он провел в боях более полугода, не зная другой постели, кроме голой земли, и другой крыши, кроме неба.

Зуавам единодушно приписывали газеты Франции и Англии честь победы интервентов над армией Меншикова на реке Алме и на Инкермане. «Как кошки карабкались они на отвесные скалы неприступных позиций князя Меншикова у аула Бурлюк...» «Как барсы прыгали они через инкерманские кусты, мчась на выручку утомленным целодневной резней английским солдатам...» — так писали о них корреспонденты английских газет.

Вот на этих-то прославленных лучших солдат Европы, зуавов, из которых состояли передовые части двенадцатитысячного отряда корпуса Боске, — отряда, приготовленного в свою очередь для нападения в эту же ночь на Зеленый Холм, шел без выстрела в ротных колоннах батальон рядового пехотного русского полка во главе с рядовым полковником Голевым, который до этого одиннадцать дней кряду бессменно приходил сюда руководить работами своих солдат по устройству траншей и установке орудий под ураганным огнем противника.

Голев вел свой третий батальон на поддержку первому. Истовый барабанный бой, с которым шли в атаку, скорее чувствовался, чем слышался всеми при общем гуле сражения, криках и выстрелах.

Следом за третьим батальоном, то и дело спотыкаясь то на трупы убитых, то на тела тяжело раненных, то оступаясь в предательские воронки, вырытые снарядами, спешил иеромонах Иоанникий, подбирая по-женски свою длинную рясу с не менее длинной епитрахилью.

Витя Зарубин, по совету Бородатова, доложил все-таки о нем Хрулеву, и сам же был послан вызвать ретивого и шумливого монаха к резерву. Иоанникий очень удивился и пытался даже ругнуть Витю, но все-таки пошел за ним, гудя на ходу, что он еще поучит и самого генерала, где именно в

бою должно быть место священника полка. Однако до Хрулева он так и не дошел, обеспокоенный тем, что первый батальон двинулся уже в атаку, что там впереди кипит и гремит бой и что сам полковой командир повел третий батальон на помощь первому.

Как раз мимо третьего батальона и пришлось проходить ему вслед за Витей, когда вдруг забили барабанщики и пошли отбивать шаг рота за ротой.

— Постой, ты!... Куда это они, постой!—дернул он за рукав Витю.

— Куда?.. Передвигаются,—стараясь быть важным, ответил Витя, который и сам не знал, куда именно передвигались камчатцы.

— Как это «передвигаются»?

— Очень просто... Идемте же, батюшка, генерал вас ждет.

— Подождет, ничего!.. Эка штука—«ждет»!..

Промаршировала мимо Иоанникия двенадцатая рота, которую узнал он по знакомому рогному командиру,—и вот, в недоумении сделав сам десятка два шагов вслед за юнкером, ординарцем Хрулева, монах круто повернул назад, вдогонку за двенадцатой ротой, а Витя этого не заметил.

Когда же обернулся он и увидел, что около него нет монаха, то вскрикнул от досады и обиды:

— Вот чорт!.. Эй!.. Ба-тюш-ка-а!

Пробегали мимо солдаты, раздавались чьи-то командные голоса, но иеромонах не отзывался. Конечно, Витя сообразил сразу, что он направился назад, за камчатцами, но если упустить его, это будет, значит, не выполнить приказ Хрулева.

Вите ничего не оставалось делать, как бежать назад и уговорить беспокойного монаха. Однако, как ни ярко светила луна, все-таки трудно было безошибочно взять направление..

Вот он уже выбрался за бруствер люнета... Если бы кто из начальства, встретясь, вздумал его остановить, то ведь он был ординарец самого Хрулева и стремился выполнить его приказание..

Там, впереди, стоял сплошной гул и стон свалки... Часто блистали и гремели орудийные выстрелы, обдававшие камчатцев картечью...

Вот раскатилось взятое в выших тонах «ура», и одновременно показалось, что земля задрожала от топота тысячи ног: это, конечно, бросились в бой роты третьего батальона.

Витя уже не шел вперед,—не мог идти,—он бежал. У него в руках было ружье со штыком, то самое ружье, которое было с ним и во время первой вылазки, когда был он ранен. Теперь гремела вторая... И вздернутый всей обстановкой близкой и жаркой схватки, он забыл даже, что бежит за строптивым, не признающим дисциплины монахом, который позволил себе такую дерзкую «самовольную отлучку».

Но монах напомнил о себе сам. Совершенно не-

ожиданно вдруг, в стороне от Вити, но гораздо ближе к линии боя, чем был он, заколыхалось могучее, перекрывшее все звуки схватки пение молитвы:

Спаси, го-споди, лю-юди твоя-я
И благослови досто-я-я-я-ние твое-е...

Это «я-я-я», звучавшее, как полногласное «а-а», буквально потрясло воздух кругом, как канонада. Витя сказал самому себе радостно: «Вон он где, этот монах!»—и бросился в ту сторону.

2

Ночной рукопашный бой разгорался с каждой минутой сильнее и упорнее. В дело вводились с обеих сторон все новые и новые части. Света луны оказалось вполне достаточно, чтобы части эти шли туда, куда им было указано, и делали потом то, что диктовал жестокий закон штыковых атак.

Хрулев на своем белом коне, в папахе и бурке стоял около левого фаса люнета и отсюда, как от центрального места, деятельно и уверенно руководил боем, то и дело рассылая с приказаниями то конных адъютантов, то ординарцев, то просто казаков конвоя, всегда готовых скакать куда угодно.

Он повдольнулся немного только вначале, когда ему донесли, что, несмотря на условленный сигнал,—барабанную в шесть барабанов дробь,—команды охотников капитана 2-го ранга Будищева и лейтенанта Бирюлева не двинулись с места. Потом выяснилось, что сигнал этот просто не был слышан за начавшейся как раз в это время артиллерийской стрельбой. С небольшим опозданием охотники ушли в сторону английских батарей, и Хрулев успокоился. Команды Будищева и Бирюлева были довольно внушительны: у первого—четыре роты греков-волонтеров, полтораста матросов и двести минцев; у второго—около пяти-сот человек охотцев, волынцев и моряков.

Когда третий батальон камчатцев ошеломительным натиском опрокинул зуавов, потеснивших было обескровленный штуцерными залпами и картечью первый батальон, матросы, назначенные для земляных работ под руководством саперных офицеров Тидебеля и Бородатова, тут же начали одни приводить в прежний вид русские ложементы, другие—засыпали отбитые французские траншеи... Однако из других, дальних траншей на помощь зуавам шли новые колонны, и Голеву, чтобы не отступать перед ними, пришлось вызвать из резерва еще один свой батальон, потом и батальон волынцев. С другой стороны полковник Радомский, успешно напавший на правый фланг французской параллели с одним батальоном своих днепровцев, скоро вынужден был ввести в дело один за другим и два остальных.

Силы французов, оказалось, превышали более чем вдвое небольшие силы русских, но Хрулев пустил в обход левого фланга противника две роты Углицкого полка и две—волынцев по дну глубокой Доковой балки, а полковник Голев остальных волынцев направил в обход правого фланга. Однако и тех и других предупредил часто ходивший на вылазки лейтенант Завалишин.

Он был с командой матросов-штуцерников в отряде Будищева. Команда его была небольшая, всего в шесть-десять человек. Назначение всего отряда было—действие против англичан, но Завалишин просто не успел еще присоединиться к колонии Будищева. Он шел только на соединение с нею и именно по берегу Доковой балки, но изменил направление ввиду уже начавшегося преждевременно жаркого боя и вышел не только во фланг, но даже и в тыл французам, по которым на свой страх и риск и приказал своим матросам открыть частый огонь.

Это было так неожиданно для французов, что весь левый фланг их пустился в бегство, и вся первая параллель, из которой были уже вытеснены камчатцы и днепровцы, снова была занята ими, причем прислуга батарей была перебита, орудия заклепаны и опрокинуты; точно так же опрокинуты были в траншеи и рвы все туры, набитые землей, и земляные мешки, и солдаты неудержимо рвались преследовать отступающих зуавов... Это был момент блестящей победы хрулевского отряда.

Однако и отряды Будищева и Бирюлева с подобным же успехом действовали в траншеях англичан против третьего бастиона. Как бывало обычно, вылазка русских застала англичан врасплох; их аванпосты даже приняли греков-волонтеров в их своеобразных восточных костюмах за зуавов и пропустили их беспрепятственно к середине третьей своей параллели, которой командовал майор Гордон.

Проводником у греков был мичман Макшеев с тридцатью матросами, которые, овладев батареей осадных орудий, тут же заклепали все орудия и перебили прислугу. Сам Гордон был ранен двумя пулями, его помощники—капитаны Броун и Викар—убиты.

В ту же параллель, но только с левого фланга, вышла и другая половина отряда Будищева в двести шестьдесят человек, которыми командовал лейтенант Астахов. Эти выбили остальную часть прикрытия параллели и захватили в плен подполковника и несколько рядовых.

Бирюлев захватил свою вторую параллель, где тоже нанесено было много потерь англичанам, заклепаны мортиры, захвачен в плен инженер-капитан Монтегю...

Успех этой ночи был бы полный, если бы у Хрулева оставалось еще в резерве хотя бы столько же батальонов, сколько их было введено в бой,

но им брошены уже были в схватку все силы, между тем как Боске направлял из своего корпуса к месту разгрома своих передовых полков новые полки.

Хрулев посылал адъютанта за адъютантом, чтобы били отбой и отступали и без того уже зарвавшиеся батальоны камчатцев и днепровцев, но солдаты не верили, они говорили:

— Не таковский генерал Хрулев, чтобы приказывал отступать! Держись, братцы, это не иначе, как измена!

Горнисты трубили отбой, но солдаты говорили, слышав сигналы:

— Это—одна видимость, будто наши горнисты! Что же, или французы не умеют по-нашему дудеть? Вполне в состоянии!

Тогда Хрулев вспомнил об иеромонахе и послал передать ему свой приказ, чтобы он внушил солдатам, что отступать надо и время, что этого действительно требует от них он, генерал Хрулев.

Ординарец-юнкер Чекеруль-Куш был послан за этим прямо туда, в траншеи французов, потому что «спаси, господи, люди твоя» слышали не только на Камчатке, но и на Малаховом, и сам Хрулев, который славился своею исключительно звонкой командой, удивился, что может быть у человека такой исполинский голос, как у этого монаха.

Однако не прошло и несколько минут, как сам Иоанникий в сопровождении Вити огромным черным видением заколыхался перед Хрулевым.

— Ваше превосходительство, честь имею явиться, юнкер Зарубин!—отрапортовал Витя, доставив наконец-то монаха к командире отряда.

Но монах, клобук которого съехал набок, а левый рукав рясы висел ключьями, заметно потный и даже как будто бледный от быстрой ходьбы, возгласил тут же сам, не дав ничего сказать Хрулеву, сидевшему на барабане:

— Ваше превосходительство, резерву нам дайте, а то как бы не вышибли нас из третьей траншеи!

— Резерва у меня нет,—улыбнулся его фигуре, голосу и неожиданной в устах монаха просьбе Хрулев.

— Как же так нет?—неодобрительно отозвался монах.

— Вог нет, и все... И удерживать траншеи французские нам незачем,—добродушно сказал Хрулев и добавил:—А что с вашей рясой, батюшка? Порвали где-то?

— Ряса что,—пустяк! А вот извольте от меня три штуцера французских получить,—метнулся несколько назад монах и, подняв с земли положенные им штуцеры, поднес их Хрулеву.

— Час от часу не легче!—усмехнулся Хрулев.—Где же вы их взяли?

— Эти два вырвал сам у зуавов из рук, спас их тем от греха, а вот третий,—это уж, грешен,

взял у зуава убитого... Этим вот самым штыком рясу он мне пропорол, зуав!

— Вот как! Не ранены?

— Бог спас! Епитрахиль на мне: ее он пробить не мог... А на месте положил зуава этого вот этот солдатик шустрый,—показал монах на Витю.

— Вы?—обратился к Вите Хрулев.

— Так точно, ваше превосходительство!

— Чем же вы его и как?

— Штыком в бок, ваше превосходительство!

— Молодчина!

— Рад стараться, ваше превосходительство!

— Вот что, батюшка... Положение наше мне известно,—обратился к монаху Хрулев. — Большая убыль офицеров... Солдаты наши не хотят уходить из занятых траншей, а уходить надо. Сейчас же идите и передайте им мой приказ отступать. Резерва нет, удержать занятое мы не сможем, когда на нас напрут большой силой,—значит, отступать. Поняли?

— Слушаю, ваше превосходительство!—совсем по-строевому ответил монах.

— Кстати, как ваше имя, батюшка?

— Аника-воин!¹—сказал монах и тут же отошел исполнять приказ генерала, как бы опасаясь еще каких-нибудь расспросов, отнимающих нужное время.

Витя обернулся к нему, очень красноречиво всем своим телом показывая, что хотел бы броситься вслед за ним, и Хрулев это заметил.

— Юнкер Зарубин,—сказал он,—идите с ним вместе, а то я боюсь, что его придется еще раз спасать от напрасной смерти!

— Есть, ваше превосходительство!

И Витя со всех ног побежал за Аникой-воином.

3

Что Аника был действительно воин, в этом Витя уже не сомневался после того, что прошло перед его глазами.

Когда монах допел: «И твое-е сохраня-я-яй крестом твоим жи-и-тель-ство-о!» и Витя, добежав, шагнул за ним следом, он выхватил из кармана рясы свой крест накладного серебра и ринулся в горячую схватку с таким широкогорлым «ура-а-а», какого не накричать было и целому батальону солдат.

Это был, может быть, самый сокрушительный момент боя. Камчатцы устремились за своим горластым полковым попом неудержимо и разметали зуавов... Однако, отскочив назад прославленными в западных газетах прыжками барсов, зуавы, как это было принято у них, открыли частую шту-

церную пальбу по наступающим, и одна из пуль случайно попала как раз в середину креста, который все держал над головой в вытянутой руке монах. Вся верхняя часть креста отлетела отбитая, в руке же осталось от креста только то, что захватили и крепко зажали пальцы, да боль от контузии.

— Ну вот!.. Я ведь говорил, что крест этот дутый!— свирепо выкрикнул в лицо Вите монах и швырнул обломок в ряд наступающих снова, подержанных резервом зуавов, как ребятишки бросают свои битки в длинный кон бабок.

Это было сделано очень кстати,—он освободил руки за момент до того, как на него кинулось двое зуавов. Но хотя кинулось двое, второй, как это часто бывает в тесноте, только помешал первому, и безоружный, хотя и огромного роста, заставлявшего предполагать в нем большую природную силу, монах, увернувшись от штыка, сшиб первого зуава ударом кулака в голову, проворно выхватил у него штуцер, проворно, как и не ожидал Витя, отбил им удар второго, кроме того, пинком ударив его в живот, и когда опустился и этот второй наземь, выхватил и у него штуцер.

Так что два штуцера были его вполне законной боевой добычей, это мог подтвердить Витя. Третий же из принесенных лично монахом по праву должен был бы принадлежать Вите, но он не сумел бы последовательно и ясно передать, как это случилось, что около монаха появился вдруг еще один зуав.

Можно было только догадываться, что этот третий был сбит с ног общим натиском камчатцев, несколько примят, но не ранен, и теперь поднялся и кинулся на ближайшего к нему, необыкновенного по фигуре, одежде и длинной бороде, но кинулся уже тогда, когда кругом были русские солдаты.

Монах и сам не заметил, что был на волос от смерти; это заметил только Витя, и, не дав зуаву повторить удара после того, как штык запутался в рукаве рясы и складках епитрахили, сам ударил его в бок, скрипнув зубами.

Штык ушел в мягкое. Раненый упал, коротко застонав, лицом в землю и больше уж не поднялся. Штуцер же его действительно взял монах, хозяйственно связал все три бечевкой, которая нашлась в одном из его бездонных карманов, и взвалил их на плечо, как носят ружья солдаты по команде «вольно».

После того как камчатцы и днепровцы овладели всею первой параллелью французов, они не остановились тут, а «прочесали» во вторую, которой овладели с гораздо меньшим трудом, потом в третью...

Они хозяйничали в занятых траншеях, как у себя дома, пользуясь последним светом уже заходяв-

¹ Аника-воин, или Оника—легендарный русский богатырь. Отличительная черта Аники—громоздкая сила и удаль.

шей луны. Витя слышал, что командир днепровцев, полковник Радомский, был тяжело ранен и унесен в тыл и что много офицеров, кроме него, убито и ранено в обоих полках, так что солдаты не чувствовали над собою начальства. Теперь было уже за полночь и темно, хотя и не кромешно; французы же, пользуясь этой темнотою, могли, конечно, подойти в больших силах, обойти зарвавшихся русских, отрезать их и забрать в плен.

Это понимал Витя и этим был горячо озабочен; пока же ему навстречу оттуда вели небольшими партиями пленных зуавов, и Витя слышал, как в одной такой партии они возбужденно говорили между собою:

— Эти русские—звери: они убивают пленных!

— Да, да, с нами все кончено! Мы будем замучены!

— Зачем же в таком случае мы идем? Сядем здесь, пусть нас застрелят!

Конвойные солдаты не понимали их и не могли разубедить, Вите же и хотелось это сделать, но некогда было подходить к ним: впору было вприпрыжку поспевать за монахом, делавшим двухаршинные шаги.

Но несли на носилках, на ружьях, покрытых шинелями, и тяжело раненных, и около одних таких носилок Витя задержался на момент.

Он спросил солдат:

— Кого несете, братцы?

— Саперного прапорщика,—ответили ему.

Саперный прапорщик был только один тут—Бородатов. Витя не мог не кинуться к носилкам.

— Вы? Куда ранены?—наклонился над лицом его Витя.

— А-а!—узнал его Бородатов.—Ничего... Пулей в ногу... Только что сам идти не могу,—бодро по-обыкновенно ответил сапер, всегда удивлявший Витю своим деловитым спокойствием, но один из солдат-санитаров успел шепнуть Вите:

— Дал бы бог донести живым: крови много вышло!

— Э-эх!—жалостливо протянул Витя, нашел руку Бородатова, пожал ее бережно и побежал догонять монаха.

Дошли, наконец, наткаясь поминутно на трупы, ямы и камни, до первой параллели французов, в которой весело переговаривались и смеялись, вспоминая эпизоды боя, русские солдаты, и Витя, помня приказ Хрулева, решил напомнить монаху:

— Прикажете же им, батюшка, отступать: они вас послушают.

— Без тебя знаю! Учишь меня тут!—зарычал монах, но потом он двинулся вдоль параллели, в прозрачной темноте казавшийся черным великаном из области призраков, и, наклоняясь то здесь, то там, рокотал в четверть голоса:

— Братцы! Приказано мне передать вам, чтобы отступали потихоньку... Резерва не будет, потому

что его и нету... Отступать!.. Только всех своих раненых вынести, ни одной души православной не оставлять... слышишь?

— Ну, уж раз наш батюшка говорит, значит правда... Пошли отступать, ребята!—передавали дальше и дальше по траншее камчатцы своим и днепровцам.

Солдаты выходили из апрошей неохотно, недоуменно спрашивая друг друга, как же это случилось так неудобно, что нет резерва и потому приходится бросать то, что захвачено немалой кровью. Они были правы, конечно. Достаточно было бы дать в распоряжение Хрулева в эту ночь еще шесть-семь батальонов, и все три параллели французов можно было закрепить за собою надолго и этим далеко от Малахова кургана и Корабельной отбросить корпус Боске. Но в такой блестящий успех вылазки не верили ни Остен-Сакен, ни Горчаков; последний, главным образом, потому, что вылазка эта была задумана и решена не им; она казалась ему подготовленной неосновательно; сам он не так обдумывал военные операции—тяп да ляп: на обдумывание их у него отводились недели...

Солдаты уходили из французских траншей тяжело нагруженные кто чем: кто штуцерами, кто шанцевым инструментом, кто и баклажками с ромом, но больше всего все-таки своими ранеными.

Их отыскивали в темноте, высекая из кремня, который был в кисете у каждого солдата, скупые, мгновенные искры огнем, или пользуясь для этого светящимися снарядами, которые иногда пускали французы, чтобы осветить потерянную ими местность.

Стоило только крикнуть кому из солдат: «Там еще, братцы, один наш раненый остался, я знаю!»—и сразу несколько человек отделялось от построившейся уже для отступления роты и бросались в оставленные траншеи разыскивать этого раненого.

Так Витя услышал и крик оттуда, со стороны траншей, где отыскивали раненых:

— Вот юнкирь никак наш... не то уж убитый! Ребята! У кого кремень-кресало хорошие? Дай сюда свету чуть-чуть!

Витя бросился на этот крик и без хорошего кресала узнал, нагнувшись, раненого.

— Чекеруль-Куш!—вскрикнул он, пораженный.

Это был действительно ординарец Чекеруль-Куш, бесшабашно веселый малый, только что так недавно сыпавший шутками и совсем уж недавно, может быть, с полчаса назад, не больше, посланный Хрулевым искать монаха.

Витя пощупал его сердце, оно еще билось, но слабо; голова его лежала в луже крови: он был ранен в голову навзлет; такая рана не могла не быть смертельной.

Французы стреляли и теперь. Они были близко.

И как только в русских рядах горнисты настойчиво затрубили отступление, горнисты зуавов начали трубить атаку.

Батальон матросов, назначенный исключительно для саперных работ, успел уже и повернуть свои ложементы снова в сторону французов и французские траншеи завалить, где, как и насколько было это возможно. Цель вылазки была достигнута. Команды охотников Будищева и Бирюлева вернулись уже на свой третий бастион. Наконец и Хрулев увидел первые роты камчатцев и днепровцев уже в границах люнета. Но штыковой бой еще вспыхивал кое-где там, откуда медленно сходились колонны русских солдат: чуть только начинали наседать на них зуавы, они без команд оборачивались и кидались в штыки и продолжали отступать не раньше, как подобрав своих раненых.

Только к двум часам ночи полковник Голев, обходя роты своих камчатцев, а также и воынцев, попавших в этом деле под его команду, убедился, что роты налицо все; то же было и у днепровцев. Они, правда, весьма поредели, эти роты,—одних только офицеров не досчитались больше двадцати человек, но люди в них были приподнято возбуждены.

И когда Хрулев на своем белом коне вздумал объехать их ряды, поздравляя их по полкам с победой над французами, они с сознанием действительного своего превосходства над неприятелем кричали в ответ не «рады стараться», а «по-корнейше благодарим, ваше превосходительство!»

А раненых несли и несли на носилках и на ружьях десятками, сотнями на перевязочный пункт на Корабельной...

Ответного нападения французов ожидали все-таки до утра, но на это они не отважились; они ограничились только орудийной пальбой и то вялой и слабой, так как ближайшие батареи их были приведены в негодность; то же было и у англичан против третьего бастиона. Только к утру Хрулев убедился в том, что французам совсем не до ответных наступлений, что они понесли в эту ночь такой урон, которого не забудут долго; поэтому к утру он оставил на люнете только обычное прикрытие. Утром же подсчитали и пленных французов, их оказалось около ста человек, из них четыре офицера. Бегло опрошенные, они показали, что для захвата Камчатского люнета в эту ночь было выдвинуто в передовую линию шесть тысяч человек. Кроме того, три тысячи стояли в ближайшем резерве; между ними были и части, назначенные для усиленных саперных работ, чтобы утром батарея с Зеленого Холма могла уже бить по Корабельной стороне и по флоту, стоявшему в бухте...

Этот смелый замысел генерала Боске удачным контрударом немногих русских батальонов был отодвинут в очень долгий ящик.

Перевязочный пункт на Корабельной стороне, которым ведал киевский профессор хирург Гюббенет, приготовился к приему раненых: корпия, бинты, кипящие самовары, операционные столы, врачи, фельдшера, сестры милосердия, наконец, и кадушки для тех рук и ног, которые придется в эту ночь отпилить и отрезать... Но раненых начали нести гораздо раньше, чем предполагалось,—с девяти часов,—и потом все несли, несли, несли без конца...

Правда, эти раненые были не совсем обычного вида. Хотя головы или ноги, или груди их были разбиты и в крови, но бледные и покрытые пороховою копотью лица их были спокойны или строги, или важны, или даже отмечены горделивым каким-то самодовольством: это были лица раненых победителей. Каждый из них, доставленных сюда товарищами на носилках, как бы хотел сказать: «Я-то, конечно, ранен, но зато врага своего, и вашего тоже, и не одного, пожалуй, я убил!..»

— Что за люди! Что за изумительные солдаты!—бормотал, осматривая их, Гюббенет.—Да ведь с такими солдатами можно завоевать весь мир!..

Но раненых все несли, и не только своих, но и французов, подобранных заодно со своими иными жалостливыми солдатами. Раненые заняли все свободные койки, раненые тесно лежали всюду на полу большой палаты, в коридоре, в сенях... Наконец, Гюббенет вынужден был распорядиться, чтобы их переправляли в город, в первый перевязочный пункт, который всего за несколько дней перед тем перебрался из инженерного дома около Графской пристани снова в Благородное собрание, только теперь уже вымытое, вычищенное, проверенное по приказу Пирогова.

И раненых начали перевозить через бухту туда. Там же дежурили в эту ночь врачи Обермиллер, Тарасов и другие; был и сам Пирогов.

В солдатской шинели, расстегнутой на груди, так что было видно красную теплую фуфайку, и в фуражке, чтобы не было холодно его голой голове, он наблюдал за всем кругом сосредоточенно-молчаливо своими маленькими и глубоко запавшими серыми глазами. Здесь также кипели самовары, вздымались горы корпии и бинтов, и сестры готовили питье для раненых из клюквенного морса.

Среди сестер, приезжих, петербургских, несколько медлительных и временами важных, здесь были и местные, севастопольские, первопризывницы: матросская сирота Даша и Варя Зарубина—обе легкие, ловкие, летучие, с голубым сиянием девичьих глаз.

Только что оправившись от перенесенного тифа, Варя пришла снова на первый перевязочный пункт

с тем обновленным увлечением, с каким насильно выбитые из любимой работы люди принимаются за нее опять, с тою всепобеждающей энергией, которая свойственна только молодости.

Хозяйственной частью перевязочного пункта ведала теперь сестра Травина Александра Ивановна, из петербургских, из второго отряда сестер. Заметно было, что стало при ней гораздо больше порядка, чем прежде. Из приезжих сестер, работавших на первом перевязочном, заметнее других была Бакунина, о которой Варя знала, что она двоюродная сестра известного анархиста, дочь петербургского губернатора и внука адмирала Голенищева-Кутузова. Это была высокая немолодая уже девица, с лицом скорее мужским, чем женским, некрасивым, но умным и волевым.

Восемь врачей и восемь фельдшеров собрались здесь в эту ночь. Чай раненым, требующим немедленной операции, давали с вином, коньяком или водкой, чтобы поднять деятельность сердца перед тем, как прибегнуть к хлороформу. Но бывало и так, что раненые, лежа на операционном столе, засыпали медленно, плохо, с большим трудом; в эти длинные минуты они почему-то ругались громко, самозабвенно...

Неудачное для отряда Боске дело перед Камчатским люнетом, повидимому, раздражило и Канробера, и Раглана, и командира обсервационного корпуса Пелисье.

После полуночи началась жестокая бомбардировка городской стороны. Как потом выяснилось, было брошено в город свыше двух тысяч снарядов и полтораста ракет. Одна из ракет зажгла дом на горе, рядом с библиотекой, и яркое пламя пожара озаряло все залы и кабинеты бывшего Благородного собрания будоражащим тревожным светом.

Этот яркий и ровный багровый свет очень часто перебивался точно молниями еще более яркими изжелта-синими вспышками, за которыми, как за подлинными молниями, следовал волнами расходящийся гром: это были ответные выстрелы с четвертого, пятого, шестого бастионов...

Когда Варя выбегала иногда на площадку парадной лестницы сделать хоть несколько глотков свежего воздуха, она слышала и видела, как проходили мимо спешащие куда-то команды солдат и матросов, и это еще выразительней внушало ей, что она переживает исключительную ночь.

Было большое беспокойство и за своих... Что-то делается теперь в их домике на Малой Офицерской?.. И что Витя там на своем Малаховом, где недавно убит был Истомин и откуда несут столько раненых теперь?.. Чтобы не думать об этом, она поспешно возвращалась в большой зал.

Вот принесли одного за другим трех тяжело раненных французов,—офицера и двух чернобородых зуавов. Вот их осматривает сам Николай Иванович и говорит об одном из них: «В Гушин дом!..»

Зуав смотрит на старого профессора в странной, должно быть, на его взгляд, солдатской шинели и в фуражке, из-под которой выбиваются у висков седые клочки волос, и не понимает, конечно, что «Гушин дом» значит «безнадежен». Он, быть может, именно потому-то и надеется остаться в живых, что русские солдаты тащили его столько времени на носилках до одного перевязочного пункта, потом позаботились переправить его на катере через бухту, потом опять тащили на носилках... Неужели же все это только затем, чтобы зачислить его в безнадежные?

Двум другим—офицеру и солдату—предстоят ампутации ног, но у солдата нога перебита выше колена, а Варя знает уже, что такие операции считаются серьезнейшими, так как после них почему-то редко кто выживает. И ей хочется верить, что этот очень крепкий на вид широкоплечий зуав выживет.

Когда внесли в общий зал прапорщика Бородатова, Варя с первого взгляда не узнала его, хотя он до войны часто бывал у них в доме, приходя к Дебу. Вышло даже так, что он узнал ее первый, и только в ответ на его пристальный, лихорадочно блестящий взгляд она присмотрелась к нему внимательно и потом улыбнулась ему тою сложной улыбкой, в которой была как бы обязательная радость, что они, знакомые друг другу, увиделись, и сожаление, что увиделись при такой обстановке, и сочувствие его страданию от раны, и вместе с тем кое-что ободряющее, и не столько сестринское, сколько материнское, дескать: «Ничего! У нас столько всяких средств, столько бинтов и корпин, и лекарств, столько умелых хирургов, и даже сам Пирогов... Мы вылечим! Будь спокоен!»

Но, подойдя к нему вместе с другими, она спросила его встревоженно:

— Что, что у вас?.. Куда?

— Нога,—ответил он, глядя только на нее и так тихо, что только она и уловила его ответ по движению губ.

У нее почему-то сразу упало сердце. Она живо представила себе его тонкую ногу,—он был всегда худощав и на лицо и по фигуре,—ногу, разбитую ядром или большим осколком около бедра, как у того зуава, которого только что приказано было Пироговым отправить в дом Гушина, чтобы вид его смерти не лишил бодрости остальных раненых.

Зуава с перебитой бедренной костью русские солдаты тащили, конечно, напрасно, но своего прапорщика они должны были принести, и Варя почему-то благодарна была им, безвестным, за то, что не оставили его, хотя и безнадежного, умирать в поле.

Она знала о Бородадове, что он—разжалованный за что-то неважное поручик, но видела его

раньше всего только унтер-офицером, чем-то вроде полкового писаря, и уже одно это никак не могло особенно расположить ее к нему. Кроме того, у него всегда была такая слишком серьезная на ее, девочки, взгляд внешность; это не заставляло ее никогда раньше думать о нем с какою-нибудь заметной нежностью... Но вот теперь она почему-то с исключительной напряженностью глядела на старика в солдатской шинели над красной фуфайкой, всеведущего Пирогова, когда он подошел к Бородатову.

«Гущин дом»... «Гущин дом»...—звенело в голове у Вари, сколько она ни силилась отогнать это. Вот фельдшер Хоменко привычно разрезал вдоль по голенищу сапог на правой ноге, закатал шаровары... Она отвернулась. В голове продолжало звенеть: «Гущин дом»... «Гущин дом»... А слух был напряжен: Пирогов давал свои заключения почти мгновенно, настолько уж привык он ко всяким ранам на человеческом теле...

Варя ждала пять, десять, двадцать мгновений... Наконец повернулась к нему и поглядела на него в упор. Раны ей не было видно: около Пирогова теснились врачи, которые у него учились, а Пирогов что-то все щупал своими многоопытными пальцами... Наконец он произнес многозначительно: — Да-а...

«Гущин дом»... «Гущин дом»...—зазвенело в Варе безостановочно и неотбойно... Но Пирогов продолжал после паузы:

— Эту ногу можно бы сохранить... Ампутации не нужно... Наложить гипсовую повязку... Раненый очень слаб,—большая потеря крови,—но прогноз вполне благоприятный...

Варя и сама не могла бы объяснить себе, почему ее вдруг охватила такая бурная радость, когда она услышала эти хриповатые неторопливые слова... Она и не на прапорщика Бородатова смотрела при этом, а только на этого чудесного старика с седыми пучками волос, выбившихся из-под фуражки. Ей хотелось, как совсем маленькой девочке, обвить его шею руками и целовать в морщинистые щеки... И только когда отошел он, а вместе с ним и врачи, она нагнулась к лицу Бородатова и проговорила ему, сияя:

— Вот видите! Гипсовая повязка, и все! И нога будет цела, цела!.. Вы слышите?

Он попытался было улыбнуться ей в ответ, но только чуть-чуть шевельнул губами и тут же закрыл глаза.

5

На второй день после ночного боя противники, с небывалым до того в истории человечества количеством средств истребления, умением, упорством и хладнокровием уничтожавшие друг друга в течение полугода, получили наконец возможность

посмотреть друг на друга в совершенно мирной обстановке: в полдень 12/24 марта объявлено было перемирие для уборки тел убитых солдат и офицеров и с обеих сторон были подняты белые флаги и заиграли рожки.

Распорядиться уборкой тел были назначены: с русской стороны генерал Заливкин, с французской—командир 5-й дивизии корпуса Боске старый и угрюмый генерал Брюне.

Это была странная радость, с какою устремились друг к другу вчерашние лютые враги! Все брустверы укреплений с той и с другой стороны, все сколько-нибудь возвышенные и потому наиболее опасные и запретные во время перестрелки места были теперь усеяны солдатами, смотревшими во все глаза.

Цепью русских солдат с одной стороны и французских—с другой обозначена была демаркационная линия, и уборка тел началась. Для этого было приготовлено все, что нужно: люди с носилками, чтобы перетаскивать трупы на свою линию, и фуры, запряженные лошадьми или мулами, чтобы их вывезти дальше, в тыл, на кладбище... Людям, которые стали врагами только по воле тех, кого нельзя увидеть на полях сражений, может быть, и хотелось бы поговорить о чем-нибудь серьезном и важном для них, но такие перемирия, как было это,—всегда несколько похожи на свидания с арестантами в тюрьмах. И с той, и с другой стороны были не одни только Заливкин и Брюне. За «порядком» перемирия следило много зорких глаз, в разговоры вслушивалось много чутких ушей...

Говорить можно было только о полнейших пустяках в рамке так называемых светских приличий; такие разговоры и вели между собой офицеры обеих армий.

Солдаты совсем не могли разговаривать по незнанию языка, но мирная встреча их проходила гораздо более весело и оживленно. Простые люди обоих враждебных лагерей сразу же переходили на общий язык жестов, угощая друг друга—русские водкой из своих манерок, французы—ромом из аккуратных кругленьких фляжек.

Для этого русские наливали водки в крышки манерок и, чтобы показать этим «мусью» с чудными черными эспаньолами, что предлагают им не какого-нибудь яда, отхлебывали немного сами и причмокивали языками и только потом уж протягивали эти крышки дружелюбнейшим образом французам.

Французы пробовали, но тут же отфыркивались, морщились, брались руками за горло, мотали ошарашенно головами, бормотали что-то... Видя, что русская водка казалась французам очень крепкой, русские солдаты хохотали, что называется, до упаду... Но вот к ним, в свою очередь, попадали фляжки с ромом. Тогда они, соблюдая этикет,

тщательно вытирали усы руками своих шинелей, очень осторожно прикладывались к горлышку, сразу же закрывали глаза от удовольствия, как делают, говорят, соловьи во время пения, и старались вытянуть всю фляжку до дна.

— Посуду-то, посуду-то ему оставь, не глотай!—выкрикивал, видя это, присяжный ротный остряк, и новый взрыв хохота встречал это замечание.¹

Но кроме водки у каждого под руками имелось и еще одно, чем можно было угощать взаимно: табак, и французы протягивали русским свои сигареты из душистого черного алжирского табаку, русские же несколько конфузливо,—так как тут уж превосходство было явно не на их стороне,—кручонки из махорки.

Иные любопытные солдатики пытались все-таки, пользуясь столь редкостным случаем, расспросить французов, что это за «Алёна», которую зовут они себе на помощь во время атак, но из этих расспросов так ничего и не вышло по непонятливости французов. Зато развеселили всех появившиеся большою группой на французской стороне шотландцы.

Их юбочники и голые красные колени встречены были дружным смехом. Кто-то бывалый объяснил другим, что это—англичане, и тут же присяжный ротный остряк бросил в толпу меткое словечко:

— Ну, этим беднягам, должно, у королевы Виктории материи на штаны не хватило!

Хлопнули друг друга в толпе по спинам, откинули головы назад и залились хохотом...

Но с шотландцами пришел их офицер, который бесцеремонно начал разглядывать в подозрную трубу русские укрепления на Зеленом Холме. Раздались возмущенные восклицания со стороны русских, и сам генерал Брюне счел нужным подойти к англичанину с трубой и потребовать, чтобы трубу свою он спрятал.

Свыше трехсот шестидесяти убитых русских солдат было вынесено на носилках, уложено на подводы и вывезено на Павловский мысок, чтобы потом «Харон»¹ перевез их на барже через рейд на Братское кладбище. Не меньше, если не больше, отправили в тыл своих убитых и французы.

Но вот уборка кончилась... Кстати, наступали и сумерки. Парламентеры подали знак каждый своей стороне, что перемирие окончилось. Поспешно начали расходиться толпы офицеров и солдат и прятаться снова в свои блиндажи и траншеи... Наконец упали и белые флаги, и... с французской стороны загрохотали первые выстрелы новой канонады.

Как раз в день присяги новому царю Александру, то есть 20 февраля, в Москве случилось событие, очень всполошившее всех москвичей. Неждано-негадано упал с колокольни Ивана Великого в Кремле колокол Реут, а по народному «Ревун», в две тысячи пудов весом, пробив три свода и два пола и задавив несколько человек насмерть, а несколько тяжело ранив.

Колокол этот был отлит еще при царе Михаиле и падал уже в 1812 году. Тогда, сильно дрогнув от взрыва, он сорвал себе одно ухо (за что народ прозвал его карнаухим), но ухо это заменили потом толстым железом, пропущенным в его верхнюю часть, нарочно просверленную для этой цели. Железо ли перержавело за сорок лет, или были другие причины, только колокол ринулся всей своей страшной тяжестью вниз и угрыз в земле.

Москва того времени была суеверна. Она тут же связала в одно: и то, что новый царь родился в Москве, в кремлевском дворце, и то, что как раз в день присяги ему многозначительно не удержался на месте и упал в том же самом Кремле колокол, если не самый большой из кремлевских, то все-таки второй по величине.

Это совпадение заставило задуматься даже академика Погодина, даже всех просвещенных московских славянофилов, не говоря уже о духовенстве во главе с митрополитом Филаретом, о купечестве, о мещанах... Это показалось всем плохим предзнаменованием для нового царствования.

Впрочем, и без такого «указания свыше» всем читавшим газеты, имевшим знакомство в петербургском высшем кругу и просто осведомленным и наблюдательным людям было ясно, что положение к весне 1855 года создалось трудное, что два талантливых генерала, на которых особенно надеялся умерший Николай,—Генварь и Февраль,—делу не помогли, что интервенты в Крыму не вымерзли, что с наступлением теплой погоды все русские морские границы станут вполне доступными для союзного флота и испытают его нападения, что Австрия попрежнему готова к войне с Россией и только выжидает для этого подходящего момента; что она же очень сильно воздействует на Пруссию, и та уже вступила с нею в какие-то тайные соглашения; что вслед за Сардинией к союзу западных держав против России готова уже присоединиться и Швеция; что революционные круги Польши не только толкают к восстанию против России чисто польские губернии, но также Подолию и Волынь, а в Закавказье готовится к высадке сильный отряд турецких войск, чтобы поднять против России Мингрелию, Аджа-

¹ Харон—по древнегреческой мифологии, перевозчик теней умерших через реку Стикс в подземное царство.

рию и отрезать все Закавказье, надеясь на то, что больших русских сил там не встретит, а население готово будет отложиться от России. Очень энергично действовали там английские эмиссары, а в штабе Васиф-паши, главнокомандующего малоазийской турецкой армией, главным советником был английский генерал Виллиамс.

Упавший колокол был только очень удобным образным выражением всех этих осложнений, опасений и страхов, но в то же время было здесь не без жажды чуда, знамения, пророчества, и толками об этом колоколе несколько дней кряду только и жила Москва.

Всюду поспевающий и в то же время взволнованный этим событием сам, Погодин написал даже кое-что колокольное, но печатать его статью воспретил московский генерал-губернатор граф Закревский, находя, что она «не остановит, но еще более распространит толки».

Между тем новый царь в рескрипте своим Закревскому писал о Москве: «Первопрестольный град, колыбель моя, надеюсь, соединит свои слезы и молитвы с моими...» А в рескрипте на имя Филарета называл Москву «родною»... словом, сам напрашивался в земляки москвичам, и москвичи, естественно, заволновались снова, особенно, когда до них дошли слухи о том, как Александр принимал депутацию петербургского дворянства. Он говорил им: «Времена трудные!.. Я в вас, господа, уверен, я надеюсь на вас... Не унывать! Я—с вами, вы—со мною! Господь да поможет нам! Не посрамим земли русской!..»

Речь нового царя петербургским дворянам состояла из самых общих фраз, но московские дворяне воспылали ревностью выслушать подобные же фразы из его уст, и прежде других зашевелились славянофилы.

Хомяков писал Погодину:

«В собрании в 2 часа (20 февраля) собираются все и генерал-адъютант из Питера. Адрес необходим. Если есть готовый, вези! Я послал свой Самарину. Самарин тебя очень зовет. Адрес необходим! Отец умер, неужели сыну не скажут, что мы о нем жалеем».

Тому же Погодину писал из подмосковного имения Аксаковых—Абрамцева—Константин Аксаков:

«...В первый же день своего царствования государь уже писал к Закревскому: «Москва, колыбель моя». В рескрипте к Филарету он выражается: «Родная мне Москва... По воле провидения, я родился под сенью древней, отечественной, православной святыни...» Но Москва молчит и не попытается сказать ласковое слово своему уроженцу, не отвечает ничего на его привет, полный любви! Это жаль и как-то странно. Известие о восшествии нового царя застает московское дворянство в собрании; оно не посылает к нему ни адреса, ни депутации. Филарет не едет в Петербург. Вы—

человек лично знакомый государю, имеющий значение представителя Москвы, не едете тоже... Вы знаете, сколько добрых слухов ходит о государе. Соберите все эти слухи и напишите маленький о них отчет под названием: «Слухи о государе Александре Николаевиче во время его воцарения». Вначале надо объяснить, что слухи могут быть неверны, но что они важны во всяком случае, ибо выражают всегда, как думает страна о государе, чего желает и чего от него надеется...»

Конечно, новый царь не узнал того, «как думает о нем страна», но депутация от московских дворян собралась, наконец, и отправилась в Петербург, чтобы поднести ему адрес и услышать от него несколько милостивых слов, сказанных «от души, просто, умирительно хорошо и недвусмысленно».

2

Только через две недели после смерти сходили, наконец, тело Николая в соборе Петропавловской крепости. Конечно, церемониал похорон был очень сложен. Шли по улицам полки за полками с траурными знаменами, шли представители всех столичных учреждений, придворные, высшие сановники и за погребальной колесницей, запряженной большим количеством красивых кровных коней, шел новый царь. Конечно, шпалерами были расставлены вдоль улиц, на пути следования процессии, гвардейцы, ограждавшие процессию от публики, с обнаженными головами толпившейся на тротуарах, и иногда среди движущихся пешком десятков тысяч людей появлялись сидевшие верхом церемониймейстеры в раззолоченных мундирах: руководители всего этого шествия, они должны были по необходимости быть выше толпы.

День похорон Николая—5 марта 1855 года—был в то же время днем похорон всей николаевской эпохи, так жестоко и явно обанкротившейся на Дунае и в Крыму.

Однако эти похороны одной эпохи, как бы ни была она отжившей и нелепой, еще не значили, что зарождается новая, совсем на нее не похожая, выдвинутая властным требованием исторического момента. Отцу-деспоту наследовал сын, привыкший с детства только «выполнять предначертания» своего папаша, который способен был только подавлять личности, но не вырачивать их.

Никакою отраслью управления государством не ведал Александр, будучи наследником. Если после смерти своего дяди Михаила Павловича он был назначен командующим гвардейским и гренадерским корпусами и главным начальником военно-учебных заведений, то что он мог внести своего, нового в это дело, хотя бы даже и захотел? Любовь к мелочам военной службы, к форменным мундирам, парадам и смотрам была в него вложена с раннего детства. Однако это не поме-

шало его отцу сделать такое замечание генералу Мердери, его воспитателю:

— Я заметил, что Александр показывает вообще мало усердия к военным наукам. Я хочу, чтобы он знал, что я буду непреклонен, если замечу в нем нерадивость по этим предметам. Он должен быть военным в душе, без чего он будет потерян в нашем веке...

И сам составил для своего наследника, которому шел в то время пятнадцатый год, план занятий военными науками: фортификацией, артиллерией и другими.

Впоследствии он заседал в Государственном совете и кабинете министров, знакомясь с государственными делами; путешествовал по России, знакомясь со страной, которой со временем должен был править; во время этого путешествия принял свыше шестнадцати тысяч прошений от подданных своего отца с жалобами на всевозможные притеснения и лихоимство чиновников, что тоже явилось для него неплохим образовательным материалом; наконец, во время поездок отца за границу он назначался управлять государством, но, само собой разумеется, решительно ничего в введенных отцом порядках ломать не мог, если бы и захотел.

Но он и не хотел ничего ломать,—это было в нем главной чертой характера: он был вполне послушным сыном. Воспитанник Жуковского, он был сентиментален и слезлив. Ко дню смерти отца ему почти исполнилось тридцать семь лет, и он уже успел совершенно сложиться, как наследник, однако этого возраста оказалось далеко недостаточно для него, чтобы почувствовать в себе жажду стать царем, тем более что здоровье его отца казалось всем около него, не только ему самому, исполински прочным.

Корона свалилась на его голову совершенно неожиданно и, конечно, в самый неподходящий для такой малодетельной натуры момент.

Хомяков писал о нем: «Вот человек, которого сердце теперь исполнено глубочайшей скорби и невольного страха перед великим служением, на которое он призван!..» «Дай бог ему доверия к России и неверия к тем, кто оподозривает всякое умственное движение. Мы дошли до великих бед и срама по милости одного умственного сна; но перемены не могут быть слишком быстрыми. Здесь все радуются проявлению стремления к народному и русскому».

Несколько иными словами, но ту же радость выразил в одном из своих писем другой представитель опального кружка славянофилов Иван Аксаков:

«Возникает новая эра государственного бытия, начинается новая эра и для нравственного общественного существования каждого русского. И, конечно, каждый от всей глубины души благословит

нового царя на подвижнический путь, ему предлагающий, и пожелает, чтобы царствование его было обильно плодами тепла и света, добра и разума, и богато всякою честностью... Желательно было бы, чтобы новый царь чаще обращался к народу с своим царственным словом и чтобы тесною, безбоязненной искренностью скреплялись естественные узы, связывающие подданных с государем».

Но царь Александр как бы совершенно был лишен какой-нибудь инициативы. Даже и после похорон Николая во дворце никак не могла наладиться определенно новая жизнь. Александр продолжал занимать свою прежнюю половину наследника и носить прежний генерал-адъютантский мундир с вензелем отца на погонах.

В то же время заметно начало исчезать в дворцовых церемониях то строгое исполнение всякой обрядности, какое было заведено Николаем. Старые царедворцы, вроде графов Блудова и Вильгорского, признавались друг другу, что перестали уж понимать, что такое делается при дворе, и молятся, чтобы бог им простил то презрение, какое в них стали уж возбуждать все люди кругом, «до того они плохо воспитаны: громко болтают, смеются, толкаются!..» Заикку Ростовцева, начальника военно-учебных заведений, завистники начали называть новым Мазариным¹, так поднялся его вес при дворе; появились и другие любимцы бывшего наследника и если еще не затмевали старых сановников, то как будто уже готовились затмить. А Нессельроде и Клейнмихель сами заблаговременно начали поговаривать о том, что они уже стары, дряхлы, немощны и что им пора отдохнуть...

Александр же с одинаковой легкостью подписывал разные новые указы: и о прекращении преследования раскольников за их приверженность к старой вере, и о введении особых выпусков и петличек в форму гвардии, армии и флота... Узнав об этом, московские славянофилы решили действовать тоже. Кто бы и чего бы ни пытался добиться от нового царя, но они выдвинули в первую очередь «всеподданнейшее ходатайство» о разрешении на бороду и кафтан.

— А мне-то какое же до этого дело?—удивился такому ходатайству Александр.—Пусть себе одеваются и ходят, как хотят.

Кажется, сказано было немного, но как немного бывает иногда нужно, чтобы сделать многих людей счастливыми! Иван Аксаков восторженно писал своим из Петербурга:

«Государю недавно представляли рисунок боярских костюмов; он сказал, что теперь покуда он это намерение отложит, но из всех слов видно, что ему очень хочется ввести русское платье, и в

¹ Мазарини Жюль (1602—1661)—кардинал и французский государственный деятель. Стремился к централизации управления и к укреплению королевской власти.

обществе петербургском даже дамы толкуют о сарафанах... Камергеров переименовывают в стольников, камер-юнкеров—в ключников...»

Боярские кафтаны и бобровые высокие шапки для придворных и сарафаны для светских дам довольно долго служили предметом невинных мечтаний многих дворян славянофильского толка. Один из них, Кошелев, пытался ввести эту прелесть даже и в провинции. Об этом он писал Погодину так из Рязанской губернии:

«Скажу вам радость: в Сапожковском уезде начинают носить русское платье. На-днях, на обеде, было семь, а в будущую субботу должно быть за столом у нас девять человек в русских платьях. Теперь в Сапожковском уезде надели русское платье пять Кошелевых, три Ивановских, трое Протасовых, один Колюбакин—всего двенадцать человек. Есть надежда, что эта мода перейдет и за границы Сапожковского уезда».

Жена же Кошелева писала тому же Погодину с чисто женской грацией мысли: «Мы сшили себе русские платья и надеваем их, но желательно было бы носить их. Кажется мне, время совершенно по тому пришло: и война, и перемена покроя служащим военным и статским, и новое царство, и сила времени, и важность теперешних событий—все это отымает у перемены платья характер тщеславный и колорит партий; вещь выходит серьезная и естественная. Но согласитесь, что носить мне одной невозможно, выскочкой никто из нашего слабого пола не согласится быть, во-первых, по свойственной стыдливости...» Она предлагала Погодину «не выпускать в «Москвитянине» парижскую моду и оговориться в том, что это нарочно сделано, что стыдно теперь, что пора сбросить иго моды французской». «Как нарочно,—продолжала она,—носили в прошлом году платья в обхват ног, а нынешняя картинка приказывает такую ширину, что едва в дверь войдешь... Одним словом, у вас слово живое, сильное. Подбивайте нас на это дело статьей в «Москвитянине» да другою в «Московских ведомостях». Пусть и в Питере прочтут; да, главное, надо, чтобы в провинции надели, а то в Петербурге испортят покрой. А чтобы женщины надели, нужно, чтобы мужчины уговаривали, а мы люди пустые, глупые, пол слабый и робкий, без поддержки мужчин не годимся в деле общественном... Теперь самая минута, не правда ли? Позже будет труднее, да еще потому необходимо поспешить, что обшиваться долго, да в деревне покроем не ошибешься, а к зиме будет у всех готово...»

Если так заволновались горячими мечтаниями о сарафанах и кокошниках славянофильские дамы, то вполне естественно было самим славянофилам и почвенникам от мечтаний перейти к делу в области бород и зипунов. И Хомяков, и Иван Аксаков, и Погодин перестали брить бороды; Юрий Сама-

рин, кроме того, напялил зипун с медными застежками... Так расшевелившийся патриотизм и стремление к свободе мысли нашли, наконец, свое реальное выражение. Благодушно усмехнувшийся всему, что он видел кругом, поэт Тютчев назвал это межуточное время «оттепелью».

3

Иван Сергеевич Аксаков чувствовал себя в последние месяцы царствования Николая вообще не у дел. Он был еще молод, но уже в отставке. И служба в уголовной палате в Калуге, и в московском сенате, и потом новая служба по другому ведомству, в министерстве внутренних дел, достаточно ему опротивела. Быть редактором издававшегося на средства Кошелева журнала «Московский сборник» ему воспретили; отправиться в кругосветное путешествие на фрегате «Диана» не разрешили... Правда, ему удалось получить командировку от географического общества в Малороссию для описания тамошних ярмарок; это его увлекло, и за год он успел собрать большой материал, но началась Восточная война, перекинулась с Дуная в Крым, и это так волновало его, что он не мог засесть за обработку своего материала, все откладывая в будущее «Исследование об украинских ярмарках». Как только начали собираться московские ополченские дружины, он добровольно записался в ополчение (что сделал и Юрий Самарин). Правда, он не имел никакого понятия о военной службе, но был в таких уже больших чинах по службе гражданской, что ему предлагали должность начальника Серпуховской дружины. Как это было для него ни лестно, но от этого пришлось отказаться, так как ни строевой, ни боевой подготовкой ополченцев он ведать не мог; он согласился быть только дружинным казначеем и квартирмейстером.

В начале марта, отправившись по делам в Москву из Серпухова, где собиралась, получала обмундировку и все необходимое для ратного быта его дружина, Иван Сергеевич завернул домой, в Абрамцево.

Стоял яркий солнечный день. Ноздреватый снег если не таял еще явно, не рождал певучих ручьев, то оседал уже, рыхлел, мокрел, испарялся кругом в парке и на пруде, и на куртинах около дома.

В такие дни особенно плохо приходилось больным глазам Сергея Тимофеевича, из которых левый уже ничего не видел. Чтобы не сидеть в темной комнате, он защитил глаза не только зеленым зонтиком, но еще и марлевой траурного цвета повязкой. Но он не казался дряхлым, несмотря на свою маститость. Он живо интересовался всем, даже спросил сына:

— Как там, в Серпухове, грачи уже показались? Вчера ведь Герасима-грачевника была память.

А Константин Сергеевич прочитал брату то, что записал накануне под диктовку отца: «Мысли и чувства по выслушании высочайшего манифеста от 18 февраля 1855 года».

«Была страшная година: шел Наполеон на Александра; победоносный галл с поработанной им Европою шел на смиренную Русь... Погиб великий завоеватель, погибли победоносные легионы; восторжествовала и освободила Европу смиренная Русь».

Еще страшнее пришла година: опять Наполеон рука в руку с обезумевшей Британией ведет галльские легионы, и опять идет с ними вся Европа, но уже не рабой послушной,—собственной злобой пылая, идет она сокрушить великую Русь, которая сорок лет оскорбляла ее своим могуществом, смирением, благодушием и православием.

Идут они, прикрываясь личиною мнимых защитников разрушающегося исламизма, крест защищает луну, евангелие—алкоран; просвещение сражается за невежество, человеколюбие—за законность тиранства магометан над православными христианами.

И опять стоит против Наполеона Александр со смиренной Русью. Он приемлет скипетр и корону в самое решительное и грозное мгновение; он обещает возвесть русскую землю на высшую ступень славы и могущества: сочувствует и верит ему смиренная Русь, крестом осеняет чело,—и горе врагам ее!»

— Красноречиво, отесинька!.. В конце даже так, как будто это Гоголь писал,—слегка снисходительно улыбнулся Иван Сергеевич.—Надо бы передать этот листок Погодину, он дал бы ему ход... А что Русь «смиренная», этого, пожалуй, по нашим ополченцам незаметно. Кресты медные на челе, это так, но будет ли от них «горе врагам», это пока еще сомнительно... Пока что они только свирепо пьют, наши ополченцы. Да, признаться, в их быту не пить и трудно... Спиться или повеситься!

— Ну, что ты, что ты!

— Что ты говоришь такое!—изумились одновременно такому слишком крутому приговору и брат и отец Ивана Сергеевича, однако он не смутился этим; он даже смотрел на них, как старший на младших, когда начал говорить взвешенно и жестко:

— Что делать, я ведь не с потолка это взял, я утверждаю это на основании того, что вижу ежедневно своими глазами... Это для нас, конечно, и для людей нашего круга существуют различные там высшие побуждения: славы, честолюбия, самолюбия, политические мечтания и прочее подобное! Мы образованны, нашему сознанию ясна картина во всем ее объеме... У нас есть отвлеченные по-

нятия об отечестве, нам знакома история, наконец. А у них, у ратников ополчения, что? Туман, только туман, обступивший со всех сторон! Пока они видят только то, что их оторвали от их семейств совершенно насильно; потом они знают, что когда-то, со временем, их поведут, погонят на убой, как скот,—вот и все, что они знают... Ведь они на последней ступени общества, они под давлением тяжести всех сословий, они иначе и не могут смотреть на все как только исподлобья,—что же им остается делать, как не пить?

— А зачем же офицеры, как не затем, чтобы им разъяснить, что они призваны делать?—в недоумении спросил отец, но сын в форме офицера ополчения только усмехнулся горько:

— Офицеры!.. У офицеров та же водка, кроме того, карты, безденежье и, должен я сказать откровенно, при всем этом такое циничское отношение к казенной собственности, что мне, бывшему товарищу председателя уголовной палаты, все они ничем иным и не могут казаться, как только уголовными преступниками! О, конечно, с подведомственными им ратниками они не говорят ни об отечестве, ни об его защите, ни даже о Севастополе: у них свои личные дела и интересы. Взять каждого из них,—что называется добрый малый и этакий милый невежда во всех вопросах. Половина из них, я уверен, и теперь уже мерзавцы, остальные будут мерзавцами, когда войдут во вкус безнаказанности...

Константин Сергеевич слушал младшего брата, все шире и шире открывая глаза. Ему казалось даже, что Иван просто неприличен с этими своими слишком горячими тирадами, способными болезненно взволновать отца, а Иван продолжал, сам волнуясь при этом:

— На мне лежит вот теперь обязанность приемы для дружин вещей, построенных московским губернским комитетом ополчения... Прежде всего я должен сказать, что если кто из офицеров дружины что-нибудь делает в ней, то это только я: все остальные стараются решительно ничего не делать, отговариваясь даже и таким милым предлогом, что они не умеют, не могут, ну, просто не знают даже, как приняться за то, за се... Кроме того, не все уверены даже и в том, что останутся в ополчении. И правда, целых семь офицеров в одной нашей дружине не утверждены! Предводителю дворянства приказано написать, обратиться письменно ко всем неслужащим дворянам в уезде с приглашением поступить на службу...

—...Вот как! Этак, пожалуй, и я получу такое письмо?—пытливо посмотрел Константин на брата.

— Двух сыновей из одного семейства взять не могут,—решительно ответил ему за Ивана сам Сергей Тимофеевич.

— М-да, я думаю тоже,—нерешительно подтвердил Иван.

— Наконец, ведь могут и отказаться, что же такое, что предводитель разошлет подобные письма?—сказал Константин.

— Отказы предусмотрены,—заметил Иван,—и в случае их предводителю дается право самому выбирать наигоднейших, вытребовать документы от них и представить их к утверждению в офицеры без их согласия.

Даже без их согласия?—как эхо отозвался Сергей Тимофеевич.—Просто даже не верится! Если бы это не ты говорил, я бы не поверил! Вот до чего довело правительство! То пожертвования выколачивает из населения полиция, как татарские баскаки дань, то теперь это... Вот в какое время мы живем!

Я сюда приехал прямо из московского комитета,—продолжал между тем Иван, глядя на брата Константина,—и должен тебе сказать, что процветает там воровство самое наглое и явное! Я убежден, что гуси, засевшие там, украли из денег, отпущенных на постройку вещей для наших московских дружин, гораздо больше половины! А кто председатель губернского комитета? Губернатор, конечно!.. Принимать вещи для Серпуховской дружины приходится мне,—все эти сапоги, полушубки, ружья, телеги, зарядные ящики, мундирную одежду, ремни, подсумки, манерки, ранцы... Да, даже зарядные ящики, которых я никогда раньше не видал вблизи... И вот, даже я, человек, в военном ведомстве новый, вынужден был засвидетельствовать письменно, что присланные нам вещи в огромном большинстве случаев полнейшая дрянь и своему прямому назначению не отвечают!..

Это что же, один ты так бракуешь построенные для вас вещи?—спросил Сергей Тимофеевич.

В том-то и дело, что не я один, хотя, может быть, с меня началось... Все приемщики вещей по всем московским дружинам их бракуют и не браковать не могут: слишком очевидная дрянь! И вот теперь все начальники дружин подняли вой. Этим губернатор, пожалуй бы, не смутился,—невелика, дескать, птица какой-нибудь подполковник, взятый из отставки,—но у нас есть крепкая защита в лице самого начальника ополчения генерала Ермолова и его заместителя графа Строганова. Теперь пусть воюют крупные военные авторитеты, а мы, штатские люди, будем ожидать приказаний: принимать нам всякий хлам заведомый или потребовать замены его вещами добропорядочными. А вопрос этот имеет большое значение: хотят ли из наших дружин готовить действительно материал для военных надобностей, или мы всего-навсего только канцелярская отписка...

— Да, конечно, это вопрос серьезный, вопрос серьезный,—пробормотал Сергей Тимофеевич, заметно подавленный тем, что услышал.—Ведь даже и ратники ополчения должны будут иначе относиться к службе своей, когда увидят, что им дают

вещи отменные: тогда они будут их беречь и любить, не правда ли?

— М-да, я думаю, отесинька, что ратники-то больше понимают в сапогах и полушубках, в ремнях и шароварах, чем их офицеры,—несколько не на вопрос ответил Иван,—но теперь пока что они нас заваливают жалобами на то, что помещики обижают их жен, их семейства; и я даже хочу написать бумагу Капнисту об этом, а главное о том, что необходимо же как-то обеспечить семейства ратников, раз взяты в ополчение кормильцы. Наконец, еще один вопрос волнует наших ратников. Известно, что солдаты, раз они поступили на царскую службу в полки, перестают уже быть крепостными того или иного помещика, а ратники как?

— Конечно, и ратники тоже должны быть освобождены от крепостной зависимости, а как же иначе?—немедленно ответил Ивану Константин и вопросительно поглядел на отца, но тот поглаживал отросшую на законном основании белую бородку (в конце сороковых годов с него и Константина взяли подписку на обязательство непременно брить бороды) и отозвался задумчиво:

— С одной стороны, ты прав, разумеется, но с другой...

— А что же именно «с другой»?—удивился Константин Сергеевич.

— С другой—правы и помещики: ведь ратников сегодня взяли, а завтра могут и распустить, если вдруг будет подписан мир в Вене.

— О том, чтобы собралась венская конференция, что-то не слышно,—сказал Иван Сергеевич,—ратники же не хотят и верить тому, что они остаются крепостными, хотя они и призваны в дружины. Ведь как-никак, а солдат все-таки получает право не на одни только усы: он знает, что раз надел он шинель и ранец и взял в руки ружье, он уж больше не крепостной. Ратникам же и шинели и ружья вот-вот будут розданы, а между тем в состоянии их никакой перемены... Не называется ли это драть с одного вола две шкуры? Вот почему, между прочим, они и пьют и ни малейшего уважения к своему званию ратника не чувствуют... Кстати, повидимому, не чувствуют уважения к своему воинскому званию и уланы генерала Корфа, который стоит под Евпаторией. По крайней мере, я в Серпухове встретился с одним офицером, только что приехавшим из Севастополя, и вот он мне рассказывал, как эти уланы грабят тамошних татар! А мы-то тут еще удивлялись, как это татары крымские нас ненавидят и передаются туркам... Возненавидишь поневоле после всего, что с ними творили там наши судьи и помещики, а тут еще вот теперь последнее грабят уланы Корфа!.. Когда этот офицер уезжал из Крыма, он еще не знал, что Меншиков отставлен, узнал только здесь и обрадовался чрезвычайно. «Вы себе представить не можете, говорит, как весь флот и вся армия ненавидели

этого Мешикова! Ведь он за полгода ни разу ни на одном бастионе не был!..» Можно сказать, редкий случай: быть главнокомандующим русской армии и заслужить в такой короткий срок живейшую ненависть и солдат и офицеров!

— Другими словами, всего русского народа,— заметил Константин, а Сергей Тимофеевич добавил:

— Что и будет вписано в графу итогов царствования Николая... Но если новое царствование начинается таким ополчением, как только что я слышал, то...

Он медленно махнул широкой в кости тяжелой рукой и опустил голову, не досказав того, что было понятно и без слов. Но вдруг он поднял эту седую крупную голову, перевязанную траурным крепом, и с большой живостью обратился к Ивану:

— Вот какая мысль пришла мне о начальниках дружин! Ты сказал, что они подняли вой по поводу,—ну, как их,—этих вот самых солдатских вещей... А не впадаешь ли ты здесь в некоторую ошибку? Вой-воем, и об этом нет спору, но нет ли здесь, в этом вое, задней мысли, а?

— То есть какой же именно, отесинька?—не понял Иван Сергеевич.

— А вот какой: не хотят ли эти ваши начальники дружин,—ведь они все отставные штаб-офицеры,—не хотят ли они добиться того, чтобы им на руки давали деньги для этой самой, как ты выразился, постройки полубубков, сапог и прочего? То поправляют свои делишки дворяне из комитетов губернского и сам губернатор, а то поправляли бы свои дела они, начальники дружин, а? Как ты думаешь?

Иван Сергеевич улыбнулся и ответил:

— Я думаю, что ты, отесинька, прав гораздо больше, чем наполовину! Я даже думаю, что и это обращение предводителя к неслужащим дворянам, чтобы их против воли заставить идти в ополчение, вызвано только одним желанием заставить этих дворян откупаться, чем тоже можно неплохо поправить кое-чьи расстроенные денежные делишки!

4

У Грановского, также в начале марта, сидел брат Хлапоиной, адъюнкт-профессор Волжинский. Грановский вскоре после «отдания сотого Татьянина дня» заболел и не выходил из своей квартиры. Хотя он, получивший чахотку по наследству от отца, никогда не отличался здоровьем, но всякое ухудшение чрезвычайно тревожило его жену, Елизавету Богдановну, которая тоже часто бывала больна и много недель в году проводила в постели.

Однако чуть только появлялось повышение температуры у мужа, она перевозмогала все свои боли и ревностно начинала за ним ухаживать. Она

часто и убежденно говорила своим хорошим знакомым:

— Если только Тимоша умрет раньше меня, я в тот же день пойду и лягу на рельсы, когда будет идти поезд. Без него я жить не хочу и не могу.

Смерть между тем частенько уже застаивалась у их порога, но еще не решалась пока переступить его. Однако всем со стороны было ясно, что чета Грановских обречена, и, пожалуй, гораздо более, чем Елизавета Богдановна, ненадежен ее муж. Лечившие его врачи полагали, что он едва ли будет в состоянии пережить наступивший год.

Он перестал читать свои лекции, но его слушатели-студенты почувствовали такую пустоту в стенах университета, вызванную его отсутствием, что решили обратиться к нему с письмом. Они просили его ни больше ни меньше как о том, чтобы он разрешил им продолжать слушать курс средней истории у него на дому. Они писали: «Мы с грустным чувством говорили себе: печатные руководства и исторические сочинения останутся с нами везде и всегда, но не везде и не всегда будем мы иметь возможность слушать Грановского...»

Быть может, это было несколько эгоистично со стороны студентов, но большого профессора тронуло желание горы идти к Магомету, раз Магомет не мог сам идти к горе, и лекции по средней истории продолжались у него на квартире.

На это полушопотом пожаловалась Елизавета Богдановна, встретив Волжинского в прихожей.

— Когда же они приходят?—справился Волжинский.

— Да вот через каких-нибудь полчаса и сойдутся!—прошептала она с тоской, вытянув к нему тощую тонкую шею, и умоляла его без слов, одним только долгим и унылым взглядом больших выпуклых и выцветших глаз, окруженных сильной синевой, чтобы он тоже не засиживался у больного и не волновал его излишним разговором.

Волжинский понял этот взгляд и постарался успокоить ее:

— Я всего на пять минут, не больше...

— Вы-то что же, вы его не утомите, на это я надеюсь, — зашептала она, — а вот студенты!.. Набьется их полный кабинет,—Тимоша потом, после лекции, вынужден ложиться в постель,—так это его утомляет... А тут еще и форточку после них приходится открывать, проветривать...

В кабинете Грановского Волжинский старался, после шопота Елизаветы Богдановны, говорить сдержанно и негромко, но больной, видимо, не хотел признавать себя больным, тем более что своего ученика, почитателя и помощника не видел он уже недели две, и как раз в такое волнующее время.

— Что говорят о новом царе, Николай Михайлович?—обратился он к гостю сейчас же после первых двух-трех фраз о здоровье.

— Что же я знаю, сиди тут, в Москве?—пожал плечами Волжинский.

— Ну, все-таки! Подумаешь, что Москва это какой-нибудь Якутск! Вы—в Москве, а я—в своей квартире, это разница! Говорят же что-нибудь о новом царе?

— Говорят, будто часто он плачет, больше я ничего не слыхал. Вот, например, прощался с кадетами, как начальник военно-учебных заведений, и проливал слезы. Кажется об этом было даже напечатано в «Пчеле»¹.

— Конечно, было в «Пчеле», и я уж читал это! Тоже, сообщил новость! А не слыхали ли, как он насчет амнистии декабристам, какие еще остались в ссылке? И насчет этих вот еще несчастных петрашевцев...

— Ну, кто же об этом будет думать сейчас?

— Как кто? Ему же, Александру, и следует подчеркнуть сразу, с первых же дней, что старому конец, что взят им новый курс, что наступила новая эпоха для России! Ведь мог же он когда-то, лет двадцать назад, когда путешествовал по Сибири, ходатайствовать перед отцом за многих декабристов,—и участь их была смягчена... Правда, тогда с ним был Жуковский, а теперь уж его нет в живых, но я думаю, что теперь уж Александр и сам, без Жуковского, способен понять, что шаг этот ему необходимо сделать... хотя бы для того, чтобы начать этим реформы. Ведь он не просто так вот взял да и принял престол, как всякий наследник! Он не престол, он великое обязательство принял! Война эта всем показала, что мы сейчас нуждаемся в преобразователе ничуть не меньше, чем московская Русь в Петре. Нам нужен гений на престоле,—не меньше!.. А как Александр? Ну, разве же он гений?

— Сомнительно,—усмехнулся Волжинский.—Гения даже и в обширном царском терему не спрячешь. Давно бы он проявил себя, если бы был хоть талантлив. Ведь не так и молод—под сорок лет.

— Да, гения не спрячешь, это верно. Этот светильник под спудом гореть не умеет. Но, может быть, новый царь поведет войну как-нибудь счастливее, чем его отец, или пойдет на мир, разумеется, почетный? Довольно уже с нас войны! Достаточно уж показала она нам нашу гнилость. Теперь—мир и реформы... Коренные реформы, во всем реформы, начиная с отмены крепостного права... Только есть ли нужные для реформы люди там, наверху? Ведь высшее общество при Александре I было гораздо просвещеннее, чем оно сделалось при его братце. Шугка сказать, тридцать почти лет заколачивать окно в Европу! Надо отдать ему справедливость, он преуспел в этом. Что слышно о мирной конференции?

— Пока ничего определенного.

— Но теперь она должна открыться! Непременно и в самом скором времени! Нужно ведь учесть покойного царя и как личность, всеми на Западе ненавидимую. Его ненавидели и боялись,—это и было одной из причин войны. Но ведь нашего нового царя не за что пока ненавидеть, а? Зачем же, в таком случае, им особенно стремиться продолжать войну,—предприятие во всяком случае дорого стоящее?

— Да, конечно, его нет причин ненавидеть, однако нет причин и бояться,—заметил Волжинский.

— Не нужно вовсе, чтобы его боялись! Ему самому с первых же дней нужно взять такой курс, чтобы даже и эмигранты наши не побоялись приехать в свое отечество из-за границы... Герцен, например! Непременно надо, чтобы вернулся Герцен... И ему найдется большое дело, потому что если есть у нас, русских, человек настоящего обширного государственного ума, то это—Герцен!

— Да-а, Тимофей Николаевич, но только Герцену все-таки едва ли разрешат приехать. Зато приехал австрийский эрцгерцог на похороны Николая Павловича, и уж ходит по рукам экспромт Тютчева на этот приезд... Я видел листок мельком и запомнил из него только две строчки:

Прочь, прочь австрийского Иуду
От гробовой его доски!

— Но, конечно, никто его прочь не погонит, да и незачем его гнать. Может быть, через него-то именно и договорятся, наконец, с Францем-Иосифом... Ах, как нужен был бы нам сейчас мир! Мир и реформы!.. Мир и реформы!

Исхудалое длинное лицо Грановского горело. На лбу, над бровями выступил крупный пот. Наконец, он закашлялся затычным натужным кашлем, схватившись обеими руками за впалую грудь.

Обеспокоенная Елизавета Богдановна появилась в дверях, и Волжинский поспешно простился, так и не сказав того, с чем он пришел: что у него уже с неделю гостит родная сестра с мужем, артиллерийским офицером, севастопольцем, которые очень желают познакомиться с ним, знаменитым профессором... Здоровье профессора, он видел, стало так плохо, что ни ему, ни измученной жене его было явно не до гостей.

От Грановского Волжинский пошел по своим университетским делам, а вернувшись домой, застал гостей в большом беспокойстве: Дмитрию Дмитриевичу был доставлен довольно долго искавший его казенный пакет, извещавший его о смерти дяди, «помещика Курской губернии, Белгородского уезда, надворного советника в отставке Василия Матвеевича Хлапонина». Не трудно было им догадаться, что адрес Волжинского, к которому они и поехали из Хлапонинки,—хотя и не прямо, а с длительной остановкой в Курске,—был найден

¹ «Северная пчела»—газета, выходившая в Петербурге с 1825 г. по 1864 г.

уездной полицией в записях покойного, но о том, естественной ли смертью умер дядя, или насильственной, ничего не было сказано в казенной бумаге. Можно было только догадаться, что смерть была какая-то скоропостижная: ведь, уезжая из Хлапонинки, они оставили дядю вполне здоровым, даже мечтающим обзавестись законной женой и населить дом вполне законными от нее детьми.

— Выходит, что вам надобно ехать, не теряя времени, обратно в свою Хлапонинку!—сделал ударение на слове «свою» Волжинский, выслушав их и обращаясь к Дмитрию Дмитриевичу.

— В мою Хлапонинку?—подхватил Дмитрий Дмитриевич, отрицательно качнув при этом головой.—Едва ли я—единственный наследник! Скорее всего, что совсем не наследник: все зависит от духовного завещания, какое дядя оставил.

— Да, конечно, у него ведь много детей, которых даже и «побочными» не назовешь, так как не имеется «прямых»,—добавила Елизавета Михайловна.

— Ну, а если завещания никакого не нашли, потому что его, допустим, и не было?—упорствовал Волжинский.

— Не-ет, дядя мой был не из таковых, чтобы не написать завещания!—уверенно сказал Хлапонин.—Да что ему еще было и делать там у себя, по вечерам, зимою? Пиши да пиши завещания... Что же касается того, чтобы ехать, то ведь скоро надо отправляться назад в Севастополь: отпуск мой подходит к концу, и я уже не чувствую себя больным, слава богу.

И как бы в доказательство того, что он уже совершенно здоров, Дмитрий Дмитриевич развел широко руки, сделал ими два-три сильных движения и по-строевому высоко поднял грудь.

— Молодцом!—не мог не похвалить Волжинский.

— Вот видишь! А пять месяцев назад был я полутруп... Что же касается Хлапонинки, то должен я сказать, что не хочется мне что-то туда и заезжать. А? Как, Лиза, ты?.. Предположим даже, что я единственный наследник. Ведь вводиться во владение—это очень длинное дело, требует хлопот и денег... Это будет означать, что надо просить у начальства о продлении отпуска как бы для лечения... Неловко, Лиза!

— А разве я тебе говорила что-нибудь об этом?—удивилась она.

— Не говорила, нет, но, может быть, думаешь так?

— Не думаю, поверь, Митя! Мне так было всегда жутко в этой Хлапонинке,—обратилась она к брату,—что я бы поехала скорее опять в Севастополь, чем туда, если бы даже Митя и был объявлен единственным наследником.

— Конечно, поскольку имение является недвижимым имуществом, то сбежать от вас оно никуда

не может и не смеет,—улыбнулся Волжинский.—Извещение об этом вы получите или на мой адрес, или на севастопольский... А так как я не знаю, что такое во всей своей прелести бомбардировка со стороны англо-французов, то не могу и решить, что предпочтительней: третий бастион или русские присутственные места... Может быть, действительно лучше вам обоим будет, если вы оставите свой ввод во владение до окончания войны.

— Послушай, откуда же ты взял этот непременный «ввод во владение»?—отозвалась ему сестра, но он ответил шутливо:

— Ах, боже мой, я просто привык, как Наполеон, всегда надеяться на самое худшее, чтобы не нести потом никаких разочарований!

ГЛАВА ШЕСТАЯ ПЛАСТУНЫ

1

Для живой изгороди подходят только такие кустарники, которые способны укореняться быстро, расти густо и стоять ежами, распустив во все стороны крепкие колючие шипы. На севере, например, хорош для этого боярышник, на юге же гораздо пригоднее его держи-дерево или акация-гледичия: они поднимаются сплошной колючей стеной, и прорваться сквозь них ни пешему, ни конному невозможно. Такой живой изгородью России на юге сделались запорожцы, при Екатерине II переселенные с Днепра на Кубань стеречь русские рубежи.

Кордонная линия тянулась по правому гористому берегу Кубани. У Анапы она соединялась с береговой линией, тянувшейся вдоль берега Черного моря на юг до Грузии. Гарнизоны постов береговой линии были сняты и перевезены в Крым перед самым началом осады Севастополя, но кордонная линия на Кубани оставалась, как и прежде, оплотом против набегов горцев и опорой для наступательных действий против них же.

С Днепра на Кубань переселились казаки со своими приемами строить укрепления и даже со своими старинными пушками, помнившими времена чуть ли не Наливайки¹ и Палия². Их посты представляли собою четырехугольные редуты с бруствером, усаженным терновником. Такие редуты с успехом выдерживали нападения конных шаек и пе-

¹ *Наливайко Петр*—гетман днепровских казаков в 1596—1599 гг. Поднял восстание против поляков, которым принадлежали тогда приднепровские земли, и был ими казнен.

² *Палий Семен*—днепровский казак, известный своими удачными набегами на Крым и восстанием, которое он поднял против поляков в 1701 г.

ших толп. Невенно на каждом таком редуге устранилась наблюдательная вышка, вроде пожарной каланчи, только самого простого вида. Из камышевой крыши этой вышки вздымался пи-кою шест с перекладиной, а на каждом конце перекладины подвешен был на бечевке шар из ивовых прутьев. Это и был телеграф или, по-казацки, маяк. Когда сторожевой на вышке замечал вдали черкесов, он кричал вниз.

— Черкесы, бог з вами!

Ему кричали снизу:

— Маячь же, небоже!

Сторожевой поднимал, дергая за бечевки, оба шара кверху, и, если при этом был хотя бы слабый ветер, они раскачивались и «маячили» тревогу.

Кроме того, рядом с укреплением врыт был длинный шест, обмотанный соломой, а наверху шеста торчала кадушка со смолой. Если нападение черкесов производилось ночью, зажигался этот маяк. Тогда один за другим вспыхивали и горели такие маяки по всей линии, подымалась ружейная пальба, кричали люди, ревела скотина, а иногда громко прокатывался по реке пушечный выстрел, не столько вредоносный для черкесов, сколько внушительный и ободряющий для казаков.

Впереди укреплений и по сторонам их для связи ставились пикеты,—по-казацки «бикеты»,—простые шалаши, окруженные плетневой оградой; они вмещали от трех до десяти казаков. Зная малочисленность пикетов, шапсуги иногда окружали их ночью большою толпою и кричали по-русски:

— Эй, Иван! Гайда за Кубань!

Это значило: «Не трать зарядов, а лучше сдавайся!» Но казаки начинали отстреливаться из-за своей плетневой крепости, и часто бывало, что подбывали нападение или вызывали своей пальбой подмогу с постов, а иногда все до одного погибали.

Когда в 1787 году запорожцы в числе тринадцати тысяч двинулись по грамоте Екатерины переселяться на Кубань, пограничную с тогдашними турецкими землями на Кавказе, они отметили это событие в своей жизни иронической песней:

Ой, годі нам журитися,
Треба перестати:
Заслужили от парії
За службу заплати!
Дала хліб-сіль і грамоти
За вірні служби:
От тепер ми, односуми,
Збудемо нужди.
В Тамані жить, вірно служить,
Границю держати;
Рибу ловить, горілку пийте,
Ще й будем багаті
Та вже треба женитися
І хліба робити,
А хто йтиме із неврі,
Непошадно бити...

В грамоте Екатерины о обязанности жить в и вести свое хозяйство была поставлена в число первых обязанностей для бездомной запорожской вольницы. Пришлось эту обязанность выполнить: они осели на новых местах, и вышли из них не такие уж плохие хозяева, потому что на Кубани нашли они не только богатейшие земли,—бездонный чернозем,—но еще и неусышного врага всему своему хозяйству в лице шапсугов, абадзехов и других кавказцев с левого берега реки.

Но как бы ни была беспокойна жизнь казаков-переселенцев, надо было жить и «границю держати», и первоначальные коши и курени их исподволь превратились в станицы и хутора, подкреплявшие кордонную цепь особыми отрядами во время ожидавшихся по розыскам разведчиков нападений горцев летом или осенью. Зимой же эти вспомогательные отряды располагались около линии биваком под открытым небом и выстаивали так два, два с половиной месяца, потому что зимой Кубань замерзала и была проходима во всю длину и для пеших горцев—«психадзе», и для конных—«хеджретов».

На лугах вдоль Кубани заготавливалось летом сено для коней и скота,—несколько тысяч стогов,—миллионы пудов сена,—но достаточно было шапсугу хеджрету подскочить к одному из подобных стогов, приставить к нему пистолет и выстрелить,—вот и начинал пылать стог: жечь казацкое сено входило в тактику борьбы горцев с русскими, и делалось это большей частью зимой.

Летом в неоглядных кубанских плавнях, представлявших сплошную топь, покрытую камышами и кое-где прорезанную текучими водами или озерами, оставшимися после разливов реки, тоже могли таиться на островах или отмелях, поросших ивняком, мелкие шайки. Но зато те же плавни скрывали и многочисленные казацкие пикеты.

Плавни со всеми узенькими, едва заметными тропинками в них, проложенными стадами кабанов, были, конечно, хорошо известны казакам, которые охотились в них и на тех же кабанов, и на диких коз, и на фазанов, и на другую дичь. Плавни представляли собою совершенно особый мир, полный до краев кипучей жизни и самой свирепой борьбы за жизнь. В них только и делали, что бесчисленно размножались птицы и звери и неустанно истребляли сильные слабые; а весной и летом всюду в них гудел неисчислимый комар, жадно впиваясь в лица, руки и шеи казаков, сидевших в засаде. Эти тучи комаров и мошкар, крутившиеся над тем или иным местом в плавнях, всегда, между прочим, давали знать осторожным горцам, что тропинки стерегут казаки, а казакам, что на отмелях или островках таятся горцы.

Пограничная прикубанская война мелкими и мельчайшими партизанскими отрядами, война неустанная, тянувшаяся из поколения в поколение

десятки лет, не смогла не породить с той и с другой стороны отчаянных храбрецов совершенно своеобразного склада.

Со стороны горцев такими были хеджреты, то же самое, что за Тереком абреки. Хеджреты от арабского слова «хеджра»—бегство (Магомета из Мекки в Медину), беглецы, выселенцы из отдаленных аулов, ничего не имеющие, кроме коня и оружия. Набеги на русских были их единственным способом жизни. И когда тот или иной горский вождь задумывал большой набег, он заранее оповещал об этом по округе и расстилал около своего двора бурку. Всякий, кто хотел участвовать в набеге, бросал камешек на эту бурку. Считалось унижением у горцев считать людей: считались камешки, и по их числу определялась сила собирающегося отряда. Основное ядро каждого такого отряда состояло, конечно, из хеджретов, о которых недаром и говорилось, что они «подковами падут, свинцом засевают, шашками жнут».

Первые бедняки по одежде и первые богачи по оружию, хеджреты были действительно удалцы, смельчаки, готовые идти на предприятия самые дерзкие. «Кожа с убитого хеджрета ни на что не годится, но когти этого зверя дорого стоят»,—так говорилось о них у горцев. Горские поэты складывали о них песни; горские девушки отдавали на празднествах им предпочтение перед молодыми красавцами, бешметы которых обшиты были серебряным галуном,—признак их родовитости и богатства. И первая красавица большого шапсугского аула, царица пира, проходя мимо подобных галунников, находила затерянного в толпе оборванного хеджрета, славного своими подвигами, и подавала ему руку для пляски.

И это отличие считалось у хеджретов высшей наградой, а жизнь—копейкой. Но нужно же было и казакам выставить из своей среды против подобных рыцарей таких, которые были бы равноценны им по сметливости и спокойной отваге: такими именно и были черноморские пластуны.

2

Пластуны были совсем не кавалеристы, как хеджреты; но, пожалуй, их нельзя было назвать и пехотинцами, потому что они не учились маршировать в ногу, под барабан, как это свойственно регулярной пехоте; зато они учились ползать, подползать, подбираться незаметно, пользуясь где густой травой, где камышом, где кочкарником, где кустами, где камнями, как прикрытиями для своего распластанного по земле тела, и работая локтями и коленями. Самое это украинское слово «пластун» можно перевести «ползающий».

Они учились быть разведчиками и были непревзойденные разведчики; они учились часами без малейшего движения сидеть или лежать в засаде;

они учились без промаха стрелять из штуцера или из пистолета и владеть кинжалом, как мог бы владеть им только природный горец.

В чем пластуны ничем не отличались от хеджретов—это в своих бешметах: они были так же дырявы, эти их бешметы, несмотря на то, что были заплатаны разноцветными заплатами, а иногда и кожей, не меньше, как в сорока местах. Впрочем, подражания тут не было, щегольства этим тоже; просто, бешмету больше всего доставалось при том способе передвижения, какой облюбовали для себя пластуны: все встречные корни, острые камни, шипы колючих растений норовили оставить себе на память клочок старого казачьего бешмета.

На ногах у них были постолы или чувяки из шкуры ими же убитых диких кабанов, черной щетиной, конечно, наружу. Такая обувь была и легка, и удобна, и неслышна при ходьбе, и долго не промокала при неизбежной ходьбе по сырým плавням.

Пластуны были глаза и уши и как бы щупальцы кордонной линии: они не смели пропускать незамеченными ни хеджретов, ни хитрых психадзе, которые перебирались через Кубань по ночам, прибегая ко всяким уловкам. Самое это слово «психадзе» значит по-русски «стая водяных псов»; это они ввели в обиход казачьих способов защиты свою тактику нападения. Хеджретам некуда было спрятать своих коней, и они поневоле действовали, как львы набегов: смело, быстро и шумно; психадзе, как шакалы: подкрадываясь, таясь, выжидая удобнейшего момента. Хеджреты часто носили под своим рубищем кольчуги, как настоящие рыцари; психадзе действовали налегке, но встреча с ними в плавнях никогда не сходила легко с рук пластунам.

Имея таких противников, приходилось сторожевым казакам далеко отбросить свою запорожскую беззаботность, беспечность, лень, хотя внешность их с виду и не менялась. Пластуны, как типичные украинцы, казались с первого взгляда валковатыми, тяжелыми на подъем; но им нужно было только почувствовать опасность или просто заняться своим делом разведчика, чтобы совершенно преобразиться и выказать необычайную ловкость, неутомимость и быструю сметку, и тогда лихо сидели на них сдвинутые на затылок даже их старые, вытертые, линялые, рваные папахи.

Пластун только винтовку свою брал в руки, когда отправлялся в свои поиски, а все остальное, что было ему нужно, висело на нем: сзади сухарная сумка, у пояса—штуцерный тесак, пороховница, шило из рога дикого козла, котелок, а у кого даже и балалайка или скрипка на случай, если не обнаружится никаких покушений на границе, появится некоторый досуг и явится возможность заняться музыкой.

Но возможности такие были все-таки редки (только во время полевых работ), а обязанности пластунов очень сложны и, главное, ответственны.

Прежде всего они должны были подмечать решительно все следы на тропинках в плавнях, нет ли каких подозрительных, свежих. Да и самые тропинки могли быть свежими, только что проложенными,—кем?

У пластунов, конечно, не было никаких карт местности, и все тропинки в нескончаемых плавнях должны они были запоминать на-глазок, поэтому пробирались они сквозь камыши медленно, всюду на поворотах и на перекрестках тропинок делая свои заметки.

Они бродили партиями мелкими: три, пять, десять человек—не больше. Притти на помощь к ним в плавнях никто не мог, так что в случае встречи с более многочисленным врагом могли они надеяться только на свою удачливость да на меткость своих штуцеров. Именно штуцеры у них считались меткими или с изъязом, а не стрелки, так как посредственный стрелок и не мог попасть в пластуны; и когда они бывали свидетелями особенно удачного выстрела, они говорили, крутя головами: «От-то ж добре ружжо!»—и всякому из них тогда хотелось осмотреть это ружье во всех частях, а к стрелку бывали они совершенно равнодушны.

Пластуны, живя своей особой и полной опасностей жизнью, имели и свои предания, и своих героев, сложивших кости в плавнях, и свои поверья: заговоры, наговоры, «замовления», общее название которым было «характерства». Заговоры начинались обыкновенно словами: «Я стану шептати, ты ж, боже, ратувати...», и касались они вражьей пули, опоя коня, укушения ядовитой змеи; наговоры же были на удачу своего ружья и своего капкана на охоте; «замовленьями» останавливали кровь, текущую из ран...

Пластуны часто для разведок не только уходили на левый берег Кубани, но и забирались поближе к аулам горцев, чтобы разузнать, не готовится ли там нападение большими силами на главный кубанский курень-город Екатеринодар или на другие, меньшие курени-станицы.

Но на росистой по утрам траве остается, конечно, след «сакма»—пластуна, и тот не пластун, кто не умеет убрать за собою следов. Пластуны всячески старались запутать тех, кто стал бы приглядываться пытливо к их следам. Они или прыгали на одной ноге, или «задковали», то есть шли задом, только оглядываясь время от времени, туда ли идут.

Нечего и говорить, как опасны были эти поиски в лагере противника. Случалось, что иные пластуны погибали при этом, иные же, подстреленные, попадали в плен к черкесам. Черкесы всегда нуждались в работниках, и пленного покупали

зажиточные хозяева, но пластун всячески доказывал, что он ничего не умеет делать по хозяйству и от него один только убыток. Думал же он одну-единственную думу, как бы ему бежать; и когда способ этот бывал им найден, то ни цепи, которыми его сковывали, ни колоды, которыми лишали его возможности двигаться по своей воле, препятствиями ему не служили: он убегал на свою Кубань.

Пластунами были в огромном большинстве люди средних лет: молодые не годились по недостатку терпения и сметки, старики—по стариковским немощам. Но иногда пластуны принимали в свою среду и молодых, если только они были сыновья заслуженных известных пластунов, опыт которых, конечно, должен был перейти к их «молодикам».

Тем труднее было бы стать пластуном человеку пришлому, хотя бы и украинцу, но не природному казаку. С 1842 года пластуны были признаны отдельным родом войск, и для них заведены были штаты: по шестидесяти на конный казачий полк и по девяносто шести на пеший батальон. Но штаты эти, как оказалось, были рассчитаны очень скупо, и число пластунов, по необходимости, далеко выплескивало за штаты. Если повышенное жалованье, какое за свою трудную службу получали от казны пластуны, выдавалось только штатным, то сверхштатные не очень завидовали им: все они были заядлые охотники, а охота в плавнях давала им и мясо, и сало, и шкуры, и мех.

3.

Когда Терентий Чернобровкин добрался где пешком, где на санях с попутными обозами до Харькова, обилие всяких полицейских чинов и военных на улицах этого большого города на другой же день привело его к мысли, что задерживаться здесь, как он полагал раньше, будет, пожалуй, опасно; ему даже начало казаться, что пока он шел и тащился с обозами, бойкие почтовые тройки во все ближайшие к Хлапонинке города успели уже развезти злые бумаги о том, чтобы разыскать и задержать такого-то беглого по таким-то приметам.

Немного денег было у него зашито в рукаве поддевки,—их он берег на крайность, стремясь даже и непрошено помочь тому-другому хозяину, где приходилось ночевать в пути, а потом пристроиться к краюхе хлеба или миске каши.

И если на второй день после побега трудновато все-таки было ему так вот сразу взять и придумать ответ на законный, конечно, вопрос всякого попутчика,—куда именно он направляется и зачем,—то на третий день это стало уже легче, а на четвертый, когда был уже в Харькове, он говорил, нисколько не задумываясь, что он оброчный и идет на заработки на Дон, в город Ростов, где живет

его старший брат на хорошем месте при лесном складе.

И Дон, и Ростов, и лесной склад—все это было схвачено им на лету из разговоров, которые заводил он сам или к которым прислушивался со стороны. На Ростове остановился он потому, что был этот совсем незнакомый ему до того даже и по имени город гораздо дальше от Хлапонинки, чем Харьков; до Ростова, так казалось ему, никакие злые бумаги о нем дойти не могли,—и там он мог уж быть спокойным.

Две недели прошли еще, пока он добрался до Ростова, однако показалось ему, как беспаспортному, «не имеющему вида», опасно задерживаться и здесь. Он пристал к бродячим офеням, направлявшимся со своими коробами, полными разной мануфактуры и галантереи, на Кубань, где, как ему сказали, люди живут привольно и до того свободно, что раз ты не черкес, то нет до твоего «вида» никому никакого дела.

Своему коробу у Терентия неоткуда было взяться,—он таскал чужие, благо плечи у него были широкие и безотказные.

Так в конце февраля очутился он в Екатеринодаре, в котором в те времена было около восьми тысяч жителей и до двух тысяч домишек, одноэтажных, саманных, крытых где камышом, где соломой; двухэтажный дом был только один—войсковая богадельня. Присмотрелся Терентий и к тамошнему острогу: он был обнесен высоким частоколом из дубовых обопол, заостренных на концах, как пики. Дубовые бревна привозились сюда для построек теми самыми черкесами, с которыми все время велась война на кордонной линии: у них был лес, у казаков—соль, и для того, чтобы менять лес на соль, устроен был в Екатеринодаре меновой двор.

Основание этому меновому двору, как и другим на Кубани, было положено еще Павлом I по «всепопданнейшему донесению» кошевого атамана Черноморского войска Котляревского: «По неопуску каждому черкесскому владению из войска Черноморского соли там, где ему способно, оные владения, злобствуя на войско, причиняют ему хищническим грабежом людей не малые обиды, говоря тако:—Давай нам соль там, где надобно, не будем воровать, ибо нам без соли не пропадать, и мы у вас за то ворую, что в Анапе дорого соль купуем...»

Кроме соли, горцы выменивали ситец и шелковые материи, канитель для галунов и посуду, сундуки, расписанные цветами и птицами, и мыло, войлок и холсты; а кроме лесу привозили лубок и черную нефть, бурки и ножи, цыновки и алебастр.

Весенний разлив Кубани задержал корабейников и вместе с ними Терентия в этой столице Кубанского края больше, чем на неделю, но зато торговали офени бойко. Половина населения здесь

были простые казаки, занятые сельским хозяйством в разных его видах и всячески расширявшие для этой цели свои дворы за счет ширины улиц: переставит плетень свой один, за ним другой, потом третий,—не отставать же от добрых людей,—глядь и отхватили пол-улицы, зато хозяйство цело. Однако денег у казачек, у которых глаза разбегались на все, что раскладывали перед ними офени, было мало, или они были от природы скуповаты, только они устраивали в каждой хате свой меновой двор: выменивали мануфактуру и гребни, наперстки, иголки и нитки на свое прядево, на щетину, перья, воск, заячь шкурки, даже на клыки диких кабанов... Впрочем, щетину корабейникам приходилось выдирать деревянными лещетками из хребтов свиней самим, и они это делали привычно и ловко, укладывая для этого свиней на бок и связывая им ноги.

Терентий скоро разобрался во всем, что видел в этом крайнем углу русской земли. Казаки заняты были только войною и землей, лошадьми, скотом, а все ремесленники здесь, начиная с каменщиков, плотников, бондарей, кузнецов и кончая дубильщиками кож и шаповалами, были пришлые,—москали или городовики,—то есть хотя и украинцы тоже, но не казаки. Одни только глечики,—кувшины для молока и сметаны,—были на Кубани своего казачьего производства, и славился этим курень Пашковский.

Когда сбыва полая вода, Терентий вместе с корабейниками продвинулся ближе к кордонной линии. Жадно вглядывался он во все, что видел кругом, и все его здесь удивляло, но больше всего то, что не было на всем этом огромном земельном просторе ни помещиков, владельцев крепостных душ, ни крепостных. Казачество было вольным, и земля давалась ему в пожизненное владение так же, как и офицерам казачьим и генералам. Разница была только в том, что офицерам и генералам земли давалось несравненно больше, чем простым казакам, и они не жили в станицах, а заводили себе хутора, то есть те же помещичьи усадьбы, однако даровых рабочих рук у них не было, и казаки усиленно требовали размежевания, так как хутора облегали станицы со всех сторон, а казачьи покосы приходились в степи, иногда за десять верст от станиц. Но это казалось Терентию сгоряча полнейшими пустяками, и чем больше знакомился он с Кубанским краем, тем сильнее жалел, что не приходилось ему даже и слышать о нем раньше. Не один раз говорил он офеням:

— Эх, чорт!.. Вот бы куда жену, ребят своих выписать да здесь и остаться! Вот где добро-то!

Офени посмеивались над ним, над «деревней». Они были народ бродячий и торговый. Привязанность имели только к туго набитому кошельку, на который можно бы было со временем завести лавку, стать купцом; земля, по которой приходилось

им таскать или возить свои короба, не занимала их сама по себе. Распродав все, что у них было, они отправились снова в Ростов за товаром; Терентий же остался на кордонной линии, где гремели в плавнях выстрелы пограничников-пластунов.

4

Это завелось в Терентии еще с тех времен, когда он был казачком в барском доме, в Хлапонинке,—услужливость, быстрая сообразительность, поворотливость и ловкость; не только умение сделать и то, и другое, и третье, но также и более трудное умение—самому найти, что надо сделать, а не ждать приказа: совсем не в его натуре было лежать без дела в лакейской и глазеть в засиженный мухами потолок или клевать носом сидя, пока не позовут в комнаты.

Мать Дмитрия Дмитриевича любила собирать и сушить лекарственные травы, делать из них настойки, мази, притирания. Она сама и лечила своих крестьян, а казачок Терентий был в этом ее ретивый помощник, а потом, став уже тягловым мужиком на деревне, все собирал и сушил у себя в хате под образами пучки трав, листьев, ягод и корешков. К нему и обращались по смерти Хлапонойки его однодеревенцы; иногда приезжали и из других деревень, и часто случалось ему вылечивать нехитрыми лекарствами невъедливые болезни.

Вот это-то знахарство и пригодилось ему здесь, на Кубани, чтобы удержаться на кордонной линии.

В то время вся эта линия, тянувшаяся на двести шестьдесят верст, поделена была на четыре врачебных участка, но лекаря, попавшие в этот диковатый край, искали для себя все-таки кое-каких удобств, поэтому и жили кто в станице, кто даже на хуторе у штаб-офицера или генерала, и очень редки бывали случаи, когда их видели на постах и «батареях». Там больных и даже раненых лечили свои же казацкие медики, большей частью кашевары.

Это были вообще серьезного склада люди, дававшие обет безбрачия и строго державшие этот обет, почитавшие свое кашеварство настолько святым занятием, что не давали казакам даже уголька из костра запалить люльку, когда варился борщ. Костру, впрочем, они придавали и лекарственное значение и неизменно зажигали его тогда, когда оказывался среди казаков раненный черкесской пулей или шашкой.

Раненого подносили тогда к костру, чтобы он, глядя в огонь, чувствовал себя веселее. Считалось также необходимым трое суток после ранения не давать ему спать, и чуть только он закрывал глаза, сейчас же добыш начинал бить в литавры, как на тревогу, или кто другой прини-

мался за гремучий бубен, или запевалась хором какая-нибудь бодрая по напеву боевая песня, например:

Іде козак на Кубань
Знаряжений, мов той пан:
Кінь жвавий,
Сам бравий,
Хват небораки

Тех же кашеваров-знахарей забота была не допускать к раненому и людей с заведомо дурным глазом, а такими считались все слишком впечатлительные и говорливые, способные охать и ахать и сокрушенно качать головой.

Как бы ни были раздроблены кости в руке или ноге, к хирургии не обращались. Чтобы поставить кости в ране так, как им удобнее было бы потом срастись, пропускали в рану волосинку с петькой на конце,—«заволоку»,—которой старались захватить острые осколки кости и подтянуть их к своему месту. Что же касалось самого раненого, то он должен был беспрекословно терпеть все эти жестокие приемы кашеварского лечения и не «копошиться».

Только в случае явного антонова огня хватались кашевары за острые свои ножи или кинжалы и отрезали поспешно руку или ногу «по сустав».

Торговцев, по-украински «кράмарей», казаки очень не любили, в этом уже убедился Терентий, когда ходил с чужим коробом за плечами. У них было даже ходовое речение: «Як хочеш мене називай, тільки не крámарем: бо за тє полаю!..»

Терентию повезло войти к казакам на одном из постов в доверие в качестве знахаря. Случилось так, что на этом посту заболел не кто другой, как сам кашевар, и вот лечить его вызвался Терентий и, действительно, поставил его на ноги в четыре дня.

Но за эти четыре дня он сумел показаться казакам и как песенник, и как плясун, и, что особенно ценилось ими, как меткий стрелок. Когда же в турецкой борьбе на поясах удалось ему поднять на воздух и брякнуть оземь самого дюжего из казаков на посту—Трохима Цапа, то казаки покрутили головами и сказали вдумчиво:

— От же скажений який кацапюга! Тільки й шкода, що кацап, а то б чім нє козак?

Однако Терентий, хотя и был «кацап»-курянин, но из местности, граничившей с Украинной, так что язык казаков отнюдь не был для него чем-то неслыханным и совершенно чужим. На пути же от Харькова к Ростову он к нему прислушался, а в Екатеринодаре сам уже начал вместо «А как же?» говорить: «А хіба ж як?» и «А вже ж!»

Таинственные плавни, о которых он уже достаточно наслышался и которые были теперь все время перед его глазами, неудержимо тянули его к себе, и вот, чуть определились в них тропинки, тот ж Трохим Цап, не питавший к нему злобы за то, что он его осилил в борьбе на поясах, взял

его с собою на охоту. И на этой первой в его жизни охоте на крупного зверя, притом в плавнях, Терентию нечаянно посчастливилось показать Трохиму, что штуцер, который тот ему дал, «добре ружжо», штуцер же, из которого стрелял сам Трохим,—«так, а бы шо...»

Может быть, случилось это потому только, что перед тем как итти, выпили они по доброй чепорухе горилки, попавшей Трохиму на старые дрожжи, но так или иначе удалось Терентию удачейшим выстрелом спасти жизнь Трохиму, и это окончательно утвердило его на линии.

5

После половодья Кубань втянула уже свои расплескавшиеся на десятки верст воды в привычное для них русло, но тропинки в плавнях были еще топкие и тяжелы для ходьбы, когда Терентий на шаг позади Трохима продвигался по ним медленно, так как нужно было все-таки стараться выбирать для ног места потверже, чтобы не загрязнуть выше колен.

Желтый прошлогодний камыш очень перепутало и поломало и зимними буранами и полой водой, и местами он, поломанный, загораживал узенькую тропинку, так что приходилось подминать его под ноги, и он трещал, что очень беспокоило Трохима: ему все казалось, что под его ногами он хотя и трещит тоже, но куда слабее, чем под ногами «кацапоги». Он часто оборачивался назад, и Терентий видел его сердитый желтый, как у щуки, глаз и тугой завиток наложенного черного уса, который тоже казался сердитым.

Трохим Цап был немолодой уже казак, и Терентий, кидая иногда зоркий взгляд на его толстую красную шею, подмечал на ней морщины, расположенные разными замысловатыми фигурами, но шагал Трохим легко и глядел по сторонам и вперед пристально, а иногда останавливался вдруг, делал Терентию знак рукою и слушал.

Криков разной водяной птицы кругом было повесенному много, особенно горласто крикали утки, которые здесь перестали уж казаться Терентию дичью. Он ожидал встретить оленя или, по крайней мере, дикую козу.

Однако оказалось, что Трохим имел тайные мысли, и вышел он совсем не за козой, даже не за оленем. На перекрестке двух тропинок он вдруг быстро пригнулся, почти припал к земле и не только рассматривал чьи-то следы, даже припнюхивался к ним, точно гончая. А когда поднялся, тут же безмолвно и серьезно сделал Терентию знак итти обратно. Терентий не понял, зачем это было нужно, однако пошел назад. Он думал, что недалеко где-то прячутся психадзе, о которых он уже много слышал, и вот Трохим это заметил. Он шел, стараясь ступать как можно тише, и только

отойдя от перекрестка тропинок шагов на пятьдесят, спросил все-таки Трохима, вполголоса и чуть повернув к нему голову:

— Черкесы?

— Кабаны!—так же тихо ответил Трохим,— тихо, но выразительно.

Только отойдя еще шагов на сто, Трохим решился объяснить Терентию, что напали они на свежий след целого стада кабанов, в котором старый кабан, вожак, будет, судя по его копытам, пудов на пятнадцать, если не на все двадцать, да и свинья мало чем ему уступит; есть в стаде и крупные «пидсвинки», хотя и полосатые еще.

Тут Терентий узнал, что кабан обыкновенно поедает весь свой выводок, если только свинья не сумеет его спрятать; но если спрятала на первое время, то после уже не трогает, и до четырех лет поросята ходят с матерью и с ним, как бы ни выросли велики за это время; что рубашка у поросят до четырех лет бывает полосатая, полосы то желтые, то черные, а уж в четыре года «пидсвинки» становятся сплошь черные, и тогда они отделиются от стада и заводят свое потомство.

— Чего ж ты ушел?—спросил Терентий.

— Того и утік, шо ты дурной,—ответил Трохим.

Оказалось, что на кабана нужна непременно «залога», то есть засада, и что к перекрестку тропинок,—причем вторая тропинка и проложена в плавнях этим самым кабаньим стадом,—им нужно будет притти в ночь, перед рассветом, и там засесть, и боже избави курить люльку. Когда же старый кабан поведет на рассвете стадо на водопой, тогда он, Трохим, выпалит по этому самому кабану, а Терентий чтобы не зевал и палил тогда по другому, когда старый будет убит.

С вечера заснули, а после полуночи пошли тем же путем, как накануне, и Терентий увидел, как может ходить пластун по своим плавням даже и ночью. Ночь, правда, была из светлых, но это только сердило Трохима.

Пришли и сели за густой камыш еще задолго до рассвета, но Трохим сидел, как мертвый, не шевелясь, и Терентий тут в первый раз понял, что такое пластун, когда он сидит в засаде.

Вот уже стал он различать ближние камышинки; отчетливей стала видна ему папаха Трохима и его полушубок, который надел тот поверх тонкого бешмета, так как ночь оказалась свежей... Вот закрикали с разных сторон и начали летать над камышами утки... Два длиннохвостых фазана один за другим сели было на тропинке впереди, но, покрасовавшись несколько мгновений, вдруг поднялись на воздух и скрылись. Трохим повернул к Терентию правый глаз и ус и выставил вперед свой штуцер: его ухо тут же вслед за фазаньим взлетом уловило приближающийся хруст камыша и кабанье пыхтенье.

Терентий завозился в камыше, чтобы сесть по-

удобнее, так как успел уже отсидеть обе ноги, а когда глянул вперед, на тропинку, увидел перед собою, шагах в шестидесяти, что-то черное, громоздкое: это остановился кабан, услышав, как он завопил и зашуршал камышом.

Трохим выстрелил. На секунду все кругом заволокло дымом, так что Терентий не видел, в кого нужно стрелять ему, но прошла эта секунда, слышался удаляющийся испуганный бег всего стада, кроме кабана, который, угрожающе хрюкнув, кинулся было вперед, на охотников.

— Дай ружжо!—крикнул Трохим Терентию, и тут же сам вырвал из его рук штуцер.

Но кабан почувствовал, что в нем сидит пуля, повернул и помчался за стадом.

— Заряжай!—крикнул Терентию Трохим, сунув ему свой штуцер, а сам кинулся вдогонку за кабаном, оставившим на примятом камыше кровавый след.

Терентий принялся проворно, как все, что он делал, заряжать штуцер Трохима, а зарядив, бросил за ним.

Пробежав по топкой тропинке несколько десятков шагов, он вдруг услышал густое: «Ге-ей!»—как рев, и как стон, и как призыв на помощь, и увидел Трохима уже на спине черного кабана, головой к его хвосту.

Только после стало ему ясно, что хитрое животное, пострадавшее от засады, устроенной ему людьми, само устроило засаду, заслышав за собой погоню. Кабан метнулся в сторону и стал за камышом на повороте тропинки, а когда Трохим, не заметив этого, но слыша впереди себя треск и храп, промчался дальше, кинулся на него сзади, пропорол ему клыками икры обеих ног, и когда тот падал ему на спину, успел еще прохватить сзади полушубок и бешмет.

Еще один момент, и все было бы кончено с Трохимом: разъярившийся зверь выпустил бы ему кишки и втоптал бы его тело в трясину, но как раз в этот-то момент и раздался выстрел Терентия.

Пуля его вонзилась как раз в свирепый маленький глаз кабана, и тот рухнул, убитый наповал. Он оказался длиною в сажень.

— Чи ты живой, Трохим?—испуганно поднял товарища Терентий.

— А хiba ж неживой, як я тэбэ бачу?—ответил Трохим.

Он старался держаться спокойно, но из поротых ног лила кровь, и Терентий принялся перевязывать его раны рукавами его же рубахи, наскоро отхваченными ножом.

— Ну, кого же мне теперь тащить до дому: чи тебя, чи кабана?—спросил, не на шутку задумавшись, Терентий, окончив перевязку.

— Шо-о? Менэ тягаты? Щоб я сам не дойшов до дому?.. Кабана тягай!—приказал Трохим.

Крепкую веревку на этот случай припас он заранее и теперь вытащил ее из своей сумки и даже сам помог Терентию продернуть ее под передние лопатки кабана и закрутить, как надо, чтобы не сорвалась. Терентий потащил волоком тушу, а Трохим, стискивая зубы от боли, пошел за ним.

Пройдя так с четверть версты, оба устали, и Терентий сказал решительно:

— Чорт с ним, с кабаном с этим,—авось никто его тут не украдет... А лучше уж я тебя тащить буду, Трохим, щоб не сошел кровью.

Трохим сказал только:

— А хто ж нашего кабана вкраде? А вже ж не вкрадуть...

И Терентий, передохнув, взвалил его себе на плечи и принес на пост. Здесь перевязал его как следует чистыми тряпицами, а потом, взяв с собою трех казаков, пошел за кабаном.

Этот случай на охоте если и не сделал еще его настоящим пластуном, то пододвинул его к пластуству уже довольно близко: пластуны начали брать его с собою в секреты.

6

Недели через две,—это было уже в апреле,—сидел так в камышах в секрете Терентий один. На нем были теперь уже бешмет и папаха и вся прочая казацкая справа, хотя из самого бросового старья, выслужившего давно свои сроки и перелатанного на все лады.

Он сидел, как его уже научили пластуны, без движения несколько часов, выставив вперед штуцер, глаза и уши. Глаза, впрочем, мало что могли видеть около: ночь была мгlistая, белый туман ползал над Кубанью и плавнями.

Ночное одиночество—скверная вещь; оно рождает совершенно излишние думы о себе самом и нередко вызывает даже какую-то нудную жалость к себе, к своей незадачливо сложившейся или кем-то злобным, явившимся со стороны, изломанной жизни. А жизнь Терентия действительно сделала слишком крутой поворот для того, чтобы не вспоминалась неотбойно вот теперь, в камышах, в тумане, брошенная семья, с которой придется ли увидеться когда-нибудь?.. Он представлял очень ярко горластого станowego пристава, который, может быть, заарестовал его жену, ведя дознание об убийстве барина Хлапонина... Вот она стоит перед ним, вытирая рукавом слезы, а он, развалившись на стуле, топает ногами и кричит на нее: «Говори, стерва, знала, что муж хочет убить барина?..» А что она может сказать, если она не знала? Он и сам-то «узнал» об этом только в самый последний день, во время гульбы... Жена изгорится, дети будут расти безотцовщиной... А сам он вот теперь сидит на корточках, слушает, как

пыхтят, поплескивают, потрескивают камышинками, живут тысячью своих жизней плавни; и чем тут от других, вполне безобидных звуков может отличаться шорох психадзе, и как отличить их белесые вытертые черескни от этих белесых волн ползучего тумана?.. Тяжелеть и сами собой закрываться стали под утро глаза Терентия, когда вдруг совсем близко около почувствовался чужой человек, враг,—скорее по крепкому запаху чехартмы, чем по хрусту камыша под ногой. И едва успел Терентий поднять голову, вытянув при этом шею, как свистнуло что-то и кинулось к нему змей, и не успел он спустить курка штуцера, как шею его уж затащила тугая петля волосаного аркана, и он упал лицом вниз, в сырой камыш.

деревья около саклей; на ручей чистой воды, бежавший по улице от фонтана... Этот последний особенно привлекал его внимание, так как ему сильно хотелось пить. Несколько раз обращался он к одному из тех, которые его полонили, огромному черкесу, с рыжей, видимо, крашеной бородой, кивая ему на этот ручей и открывая рот, но рыжему было не до того,—он был занят торгом и горячо толковал со стариками аула, всячески выхвалявая свою добычу как работника. Но, должно быть, просил слишком большую цену,—его так и не купили в этом ауле; зато один из психадзе понял Терентия, подвел его к фонтану, и тут он напился наконец, подставив рот под трубку, из которой бежала холодная и чистая вода. Он пил долго, жадно, и это сильно его подкрепило.

ногах же лошадиные путы. Лежал он на спине; спать не мог. В окошко то и дело врывается яркий блеск молнии и грохот грома. Сквозь плохую крышу пробивался и капал дождь.

Черкесы тоже не спали. Оба они разлеглись ближе к двери, точно опасаясь все-таки, как бы их пленник не убежал даже и связанный. Они о чем-то вполголоса говорили на своем очень трудном для произношения языке, в котором согласным звукам отдано решительное предпочтение перед гласными, отчего Терентий слышал только шип и хрип.

Так как он лежал на куче сора, подметенного к внутренней стене, то пальцы его связанных рук, погрузившись в этот сор, начали перебирать его и неожиданно наткнулись на толстый гвоздь...

Бывает так, что утопающий, схватившись даже и за соломинку, почувствует в себе прилив новых сил, который его и спасает. Гвоздь, попавший в связанные руки Терентия, показался ему такой ошеломляющей удачей, таким дорогим подарком только что сыгравшей с ним злую шутку судьбы, что он от радости немедленно захрапел во всю саклю.

Успокоенные его храпом, заснули и черкесы, а он, действуя острием гвоздя, терпеливо перерывал по волокнине веревку около узла.

Больше часу тянулось это кропотливое дело, но вот, наконец, руки его стали свободны; однако они затекли, набрякли; им нужно было дать время почувствовать себя прежними сильными руками. И он пролежал еще минут двадцать, пока принялся развязывать путы на ногах; это уж не отняло много времени.

В сакле было темно, хоть глаз выколи, и только при вспышке молнии она освещалась. Терентий мог уже бежать, но как было переступить через сонных черкесов, чтобы они не услышали этого?..

Вот тогда-то Терентий и вспомнил про этот длиннейший, как старинный меч-кладенец, кинжал на поясе рыжего. Осторожно, по-пластунски подобрался он к этому кинжалу и вытащил его из ножен. Очевидно, рыжий великан спал очень чутко, он тут же проснулся и забормотал что-то, схватив его за руку. Терентий наугад сунул острие кинжала в направлении к его бороде и почувствовал, что кинжал вонзился сквозь эту бороду в горло. Великан захрипел, заклохтал и утих. Но тут закричал проснувшийся от возни рядом другой черкес и схватил Терентия за грудки неожиданно цепкими руками. Этому лезвие кинжала пришлось под ложечку. Он повалился навзничь, как разглядел Терентий при новой молнии, и затих тоже.

Плешник, хотя и без шапки, но зато с длинным кинжалом, выскочил из сакли и оказался на свободе под проливным дождем, в горском ауле, совершенно не зная, в какую сторону от него Кубань, в какую—Кавказские горы. Он соображал

только одно, что ему надо за остаток этой страшной ночи как можно дальше уйти от аула, откуда наутро можно было ожидать погони на лошадях, может быть, даже и с собаками.

Когда его подводили к этому аулу, он конечно делал про себя приметы дороги, но теперь, в темноте, в дожде, шел наобум, куда несли ноги. Дороги никакой не было, ни даже узеньких и коварных тропинок, таких, как в плавнях; ноги то и дело обрывались, и он часто падал, потому что торчали кругом какие-то скользкие большие камни, густые кусты, а от них вниз, почти отвесно, валились какие-то стремнины, кручи и шумные потоки дождевой воды.

Итти было некуда, итти было нельзя, итти было нужно... И Терентий все время, всю эту ночь двигался куда-то, карабкался, падал, боясь только поранить себя острым кинжалом, который все время держал в руке, так как ножны остались на поясе черкеса.

До такой степени невероятным ему самому казалось то, что он делал и что с ним делалось в эту ночь, что ему время от времени думалось, что он спит, и спит именно там, в сакле, вместе с черкесами и видит такой ни с чем несообразный сон.

Никакой одежды на себе он не чувствовал,—так она промокла; на ногах у него были постолы, теперь, раскисшие от воды, они не давали никакого упора ноге, и он скользил в них, как на коньках... Наконец, совершенно выбившись из сил, свалился он куда-то в овраг, по дну которого катился, бушуя, поток, и там лег: все стало все равно,—хотя бы ожили и очутились сейчас перед ним оба черкеса.

Так он пролежал здесь до утра. Он был совершенно разбит, все тело в синяках и ссадинах; усталость была непомерна; хотелось есть; а между тем это было только начало его обратного пути на родину, на Кубань, в Россию. Но даже и когда наступило утро, он все-таки, сколько ни глядел по сторонам, не мог решить, куда ему надо итти, чтобы выйти к Кубани. Кругом оказался лес в горах, и никакого аула отсюда не было видно.

7

Восемь дней потом скитался Терентий по горным лесам с огромным черкесским кинжалом в руках, но без куса хлеба. Он думал в первый день, что уж в чем он не будет нуждаться, так это в воде; однако если и попадались часто потоки в первый день, то это только благодаря ливню ночью, но сбегала дождевая вода, и на горах стало сухо.

По солнцу определил он, в какую сторону ему надо было итти,—где север, плавни, Кубань,—но опасение выбраться снова к какому-нибудь аулу заставило его забраться в чащобу и глушь. Тут

он вытащил из тела колючки держи-дерева, которых достаточно нахватал ночью, просушил платье и постолы, а так как морил его от усталости сон, влез на разлатое дерево и на нем уснул.

Перемахнуть к Кубани, к своим пластунам, он думал за вечер и ночь, но с направления скоро сбился и на другой день очутился в лесу еще более густом и глухом. На одной лужайке около болотца он нашел щавель и сжевал горсти две, но это и было все, что мог найти в апрельском лесу на горах, чтобы хоть немного заморить червяка. Только на третий день встретился он с людьми: это были два чабана, видимо, подпаски, ребята лет по двенадцати. Оба они спали, раскинувшись на солнечном пригреве. Их отара овец и коз вместе с собаками отошла от них достаточно далеко. Терентий решился попытать счастья: подползти к спящим и взять их торбу, полуприкрытую буркой.

Он полз так старательно и бесшумно, как может ползти только дикая кошка и самый опытный пластун; а когда торба была уже в его руках, он захватил также и бурку, потому что сильно мерз по ночам. Опасаясь, как бы не проснулись чабаны и не хватились пропажи, Терентий уходил от них с наиболее возможной для него, голодного и усталого, быстротою, но при этом круто взял на юг, потому что деревья в ту сторону были гуще.

Добыча оказалась скудной,—всего четыре кукурузных лепешки, но проголодавшийся Терентий съел их все сразу, и это подкрепило его еще на несколько дней блужданий.

Когда он вышел, наконец, к какой-то реке, он был уже настолько слаб, что не надеялся переплыть на другой берег. И нужно ли было переправляться на другой берег и что это была за река, он не знал.

Из гор он выбрался, это было видно, но в какую сторону: к русским ли? Может быть, еще дальше вглубь к черкесам?.. Берег же был совершенно пустынен и весь зарос камышом, из-за которого трудно было разглядеть, что там, на другом берегу, на вид тоже каком-то необитаемом.

Терентий опасливо продвигался, еле переставляя ноги, которые были теперь уже босы и поранены: постолы сползли с них в лесу, совершенно протершись. Он вглядывался в противоположный берег, чтобы разглядеть на нем что-нибудь живое, и, наконец, увидел вышку казачьего поста, а рядом с ней разглядел даже и шест, обкрученный соломой,—«маяк»...

Он широко перекрестился и заплакал... Но едва он вошел в воду, чтобы плыть к своим, как увидел, что его несет по течению, что вода тут очень быстра, он же слаб—не переплывет, потонет в виду своих...

Кое-как он выбрался снова на берег, пробовал кричать, но видел, что там, на посту, его за даль-

ностью расстояния не услышат. Тогда-то и пригодился ему кинжал, с которым он не расставался. Он нарезал им два толстых снопа камыша, обрывками рубахи связал их покрепче, потом привязал их с обеих сторон подмышки, как привязывают бычьи пузыри, и поплыл. Река понесла было его снова, но теперь уже он мог кое-как противиться силе воды, и его прибило, наконец, к другому, русскому берегу.

Сторожевой казак с вышки его заметил; вызванные им с поста люди подходили к Терентию, когда он, утомленный борьбою с течением, сидел, отдыхая.

Он потянулся к ним радостно, как к родным, но казаки глядели на него серьезно и безулыбно. Он рассказал им, с какого поста пошел он в секрет, когда был заарканен полдюжиной психадзе, но они, слушая его, переглядывались недоверчиво. Отойдя в сторону от него, один сказал другим:

— То вже мені зараз видать, хлопці, це ж якийсь біглий москаль!

— А вже ж, біглий москаль,—поддержал другой, а третий добавил:

— Треба його зараз до начальства, хай разбира, відкиля він утік.

И Терентия, успевшего за время скитаний растерять небольшой запас усвоенных им было украинских слов и потому принятого за русского солдата, бежавшего к горцам, а потом снова вздумавшего перебежать назад к своим, повели к начальству.

Когда это понял Терентий, очень обидно стало ему, что вот именно теперь, когда он спасся, вырвавшись из неволи, свои же люди не дают веры его словам... Притом же начальство, к которому его вели, тоже могло быть всякое, и может быть, вместо поста, на который привык смотреть он, как на свой, отправит его в тот самый екатеринодарский острог, обнесенный дубовым частоколом.

Но тут судьба решила сжалиться, понатешившись над ним и без того вволю: он вдруг заметил около помещения начальника, к которому его вели на допрос, не кого другого, как самого Трехима Цапа.

— Трохим!—крикнул он, кидаясь к нему.

— Ой, боже ж мій! Ой, ліщечко!—завопил Трохим, открывая ему дюжие объятия и чуть не плача от радости.—Як з того світа прийшов!

Дальше уж не пошли казаки, а скоро около Терентия собрался весь пост этот, который был верстах в тридцати от знакомого ему поста. Несмотря на то, что Терентий говорил по-своему, покурски, слушали его внимательно, а когда дело дошло до кинжала, который тут же начал ходить по рукам слушателей, больших знатоков этого вида оружия, то Трохим, хлопнув дружески по спине рассказчика, не удержался, чтобы не крикнуть и не бормотнуть:

— Ну-ну! Да чему хлопцу и цыны немає!

Подошел к кружку и начальник, к которому хотели вести Терентия на допрос,—молодой хорунжий,—выслушал, как он попал в плен и как спасся, и подарил ему три карбованца на одежду. Только тогда увидели казаки, что арестованный было ими почти что голый, что на нем были только мокрые сподники, и кто начал развязывать свой кошель, кто пошел на пост за рубахой для него, за шапкой, за постолом...

Узнал от Трехима и Терентий, как он попал,—очень кстати, конечно,—на этот пост. Оказалось, что с поста на пост доставлялся казенный пакет насчет набора двух рот охотников из пластунов на пополнение тех двух батальонов, которые пришли в Севастополь в начале осады; Трохим и привез сюда этот пакет.

— Идешь охотником?—с загоревшимися глазами спросил его Терентий.

— Чому ж не йти, як треба?—ответил Трохим.

— И я буду проситься!—тут же решил Терентий.—Авось возьмут, а?

— Дурны воны чи що,—такого хлопца не взять?—ответил Трохим.

Дня через два, когда добрался до своего поста вместе с Трехимом Терентий, вопрос этот был решен и начальством: Терентий не то чтобы зачислялся в список пластунов-охотников, однакоже отправлялся в Севастополь вместе с ними. Он, правда, не получил казенного штуцера, но его обнадружили, что получит его там, на месте, где штуцеров гораздо больше, конечно, чем на кордонной линии на Кубани.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ ПАСХАЛЬНАЯ КАНОНАДА

1

Австрийские дипломаты, как хитроумные маклеры, составили, а Николай принял четыре статьи, которые должны были лечь в основание переговоров о мире между Россией и интервентами. Однако приступать к переговорам западные державы не решались: не было на их руках больших козырей, необходимых для верного выигрыша в каверзной дипломатической игре.

Смерть Николая несколько подвинула вперед дело, так как на Западе появилась уверенность в миролюбивых настроениях, уступчивости и вообще слабости нового царя. Дипломаты зашевелились, и наибольшую среди них энергию начал проявлять граф Буоль, австрийский министр иностранных дел. Разговоры, которые вел Александр с австрийским эрцгерцогом Вильгельмом, приехавшим в Петербург на похороны Николая, убедили Буоля в

том, что время для ловли им рыбы в мутной воде настало, а конференцию заранее решено было вести в Вене и под его председательством, так что австрийские интересы не могли понести никакого ущерба.

Представители воюющих держав съехались в Вене в начале марта, причем и старый Джон Россель, и турецкий министр Али-паша, и министр Франции Друэн де Люнс были твердо убеждены в том, что если пока еще нет у союзных армий в Крыму крупных решающих успехов, то они не замедлят притти еще до наступления апреля; между тем вполне в их воле было растянуть заседания конференции до того вожаделенного момента, когда они получили бы возможность говорить с русскими уполномоченными—князем Горчаковым и Титовым—в полный голос.

Александр Михайлович Горчаков—посланник при венском дворе, бывший лицеист, одного выпуска с Пушкиным, получил, разумеется, указания от канцлера Нессельроде, как и что ему отстаивать на конференции, но сам по себе он был одним из талантливейших русских дипломатов, и Александр уже прочил его в заместители престарелого Нессельроде, которым был притом же недоволен за его австрофильство.

Венские конференции начались в половине марта, и, хотя представители Англии, Франции и Турции не имели желания спешить, все же довольно быстро решены были два первые вопроса: о трех княжествах, усилиями России оторванных от Турции—Молдавии, Валахии и Сербии,—и о свободе судоходства по нижнему Дунаю.

То, что Николай и Нессельроде называли «опечением России об исполнении обязанностей, принятых на себя Портой в отношении Сербии, Молдавии и Валахии», а западная печать гораздо короче—«протекторатом России», не защищалось ни с какой стороны Горчаковым. Этот человек подкупающей внешности, мягких манер, большой светскости и опытности в дипломатической работе в самых спокойных выражениях заявил, что Россия будет даже рада разделить эту несколько докучную обязанность с прочими державами, которые поручились бы за то, что никаких притеснений со стороны Порты княжества не будут испытывать.

Через несколько дней так же легко и просто был решен вопрос о свободе судоходства на Дунае. Но зато, чуть только конференция дошла до обсуждения третьего пункта, все участники ее увидели, что зашли в тупик, из которого выхода не было.

Этот третий пункт обсуждался в Севастополе гораздо более громогласно и открыто непрерывным в течение полугода ревом тысячи орудий разных калибров: третий пункт включал в себе один из наиболее жизненных для России вопросов—о праве на обладание Черным морем.

Правда, пункт этот был выражен несколько менее категорично, а именно: «Пересмотр лондонского договора 1841 года о закрытии проливов с целью обеспечить независимость Османской империи и, в видах европейского равновесия, положить конец преобладанию России на Черном море», но выразители мнения правящих кругов на Западе—газеты—давно уже разбалтывали подлинный смысл этой туманной фразы: уничтожить Черноморской флот и стереть с лица земли Севастополь.

Конференция решила, ввиду неопределенности положения в Крыму, оставить пока этот трудный пункт и перейти к четвертому, целью которого было отстранить Россию от права покровительства христианам—подданным султана.

Однако этот четвертый пункт оказался в такой гесной связи с третьим, что уполномоченные ни до чего положительного не могли договориться, и конференции были прерваны на неопределенное время.

Это не понравилось прежде всего деятельному посреднику договаривавшихся противников, графу Булю, и он сказал с оттенком раздражения Горчакову:

— Не понимаю, почему русское правительство так упорствует: ведь все равно, рано или поздно, но Севастополь будет сбрит артиллерийским огнем!

Он даже сделал при этом энергичный жест рукою, но Горчаков ответил, улыбаясь:

— Что касается меня лично, то Севастополь напоминает мне бороду, которую чем больше бреют, тем она гуще растет.

2

Что союзниками решено было «сбрить» Севастополь не позже, как в апреле, это была правда, и это решение известно было и при тюильрийском¹ и сент-джемском² дворах и в штабах главнокомандующих трех союзных армий: Канробера, Раглана и Омера-паши.

Турецкие силы в Крыму выросли в марте до сорока тысяч штыков, но ожидалось и еще войска из Египта, так что настало, наконец, время, когда турок, из-за которых загорелся сыр-бор европейской войны, стало уже вдвое больше на русской территории, чем англичан, зачинщиков войны, но зато французов было вдвое больше, чем турок; кроме того, они ожидали со дня на день прибытия больших подкреплений. Между тем армия Горчакова была ровно вдвое меньше армий интервентов: крепостного гарнизона и полевых войск под Се-

вастополем у него было только семьдесят пять тысяч. Он поджидал, правда, помощи из Южной армии, но в Петербурге боялись оголять западный фронт, так как старый и больной фельдмаршал Паскевич все бредил наступлением Австрии и восстанием Польши и настаивал на образовании на западе еще одной—Средней армии; а к интервентам тем временем плыл уже пятнадцатитысячный корпус четвертого союзника—Сардинии.

Но если так велик оказался численный перевес, то еще значительнее был перевес в снабжении армии союзников боеприпасами.

Прежде всего как англичанам, так и французам было доставлено много новых осадных орудий: к англичанам прибыли 64-фунтовые пушки, к французам—24- и 30-сантиметровые, и с громадной щедростью заготовлены были снаряды для окончательной, решительной, всесбивающей бомбардировки: у французов по восемьсот ядер на каждую пушку и по пятьсот-шестьсот гранат и бомб на гаубицу и мортиру; у англичан,—поскольку роль их была гораздо менее значительна,—по пятьсот ядер на орудие и по триста бомб на мортиру.

Всего установлено было на батареях интервентов без малого пятьсот осадных орудий,—зрелище, невиданное до того в истории осады крепостей.

В полную меру своих сил и возможностей теперь, с наступлением весны, работал союзный паровой флот, подвозя на Херсонесский полуостров все, в чем могли бы нуждаться войска интервентов, так что лагеря их приобрели уже вполне хозяйственный, обжитой вид. Даже у англичан между палаток теперь уже не валялась падаля, а французы около своих барачных палаток разбивать огороды, а кое-где даже и цветники, тем более что в их лагерь приехало много женщин.

Это были не сестры милосердия, не маркитантки, не кантиньерки. Они не содержались правительством и не выходили в строй, как кантиньерки, представлявшие особенность французской армии с давних пор, воспетые еще Беранже¹.

Кантиньерки были большей частью женами унтер-офицеров, состояли на службе, получали жалованье, носили мундир полка, в котором служили, на смотрах и парадах имели свое место во фронте, должны были, наконец, идти и в сражение со своими фляжками рома, коньяку, абсента и с корзинкой, в которой кроме хлеба, были и бинты, и корпия, и вода—все нужное для облегчения участи раненых в первые минуты. Во время боя кантиньерки поднимали дух бойцов одним только своим присутствием на поле сражения... Но

¹ *Тюильрийский двор*—двор императора Наполеона III, который превратил Тюильри, старинный королевский дворец в Париже, в свою постоянную резиденцию.

² *Сент-джемский двор*—двор английской королевы Виктории, которая жила в лондонском дворце Сент-Джемс.

¹ *Беранже Жан-Пьер* (1780—1857) — французский поэт, который в своих песнях, пользовавшихся широкой популярностью, не раз злобно высмеивал королевскую власть, восстановленную во Франции после изгнания Наполеона, и прославлял солдат императорской армии.

женщины, приехавшие в немалом числе в совершенно безопасный лагерь французов, хотя и появились тут тоже с дозволения начальства, но знаменовали скорее уверенность в близкой победе над русскими, в блистательном окончании затянувшейся войны, в необходимости отпраздновать завершение долгих усилий возможно полнее...

На место лошадей, работавших по перевозке на позиции орудий и снарядов и в огромном числе погибших за осень и зиму, теперь доставлены были огромные, слоноподобные першероны и клейдесдалы; дороги были приведены в полную исправность, и даже делались инженерами изыскания для проведения железной дороги от Балаклавы к Сапун-горе.

В лавках маркитантов как во французском, так и в английском лагере не было недостатка не только в вине различных сортов и марок, но и в консервах, запечатанных в изящные жестянки, не только в белье, чулках, поясах, но и во всех вообще предметах галантерейной торговли. И Камыш, и Балаклава, и некоторые другие густо населенные войсками тыловые пункты, расцветая под весенним солнцем, все больше и больше забывали напасти и беды зимней кампании, устраиваясь со всеми удобствами, как города подлинных завоевателей, привыкших уже чувствовать себя в Крыму, как у себя дома.

В то время как в Петербурге,—во дворце и в военном министерстве,—все еще боялись движения турецких дивизий от Евпатории на Перекоп или на Симферополь с тем, чтобы отрезать Крымскую армию и запереть ее, главнокомандующие Канробер и Раглан видели единственный способ дальнейшего ведения войны только в бомбардировке и затем в победоносном штурме, полагаясь более на силу своих орудий и на огромные запасы снарядов, стоимость которых у одних только французов превышала семь с половиной миллионов франков.

Правда, это чересчур сужало довольно широкие по первому замыслу цели войны: один Севастополь с небольшим, прилегающим к нему клочком берега моря был далеко еще не Крым, который полгода назад предполагали занять в две недели банкиры Сити¹, но зато это был бы все-таки вполне очевидный успех.

И как за опущенным занавесом на сцене театра во время антракта кипит оживленная деятельность, стучат молотки плотников, устанавливается новая мебель, меняются декорации,—так за мелкими аванпостными стычками, за повсечасной борьбой из-за ложементов, за подземной минной войной, наконец, за обычной траншейной работой, явно ведущейся,

начиная с первых дней осады, скрывалась лихорадочная подготовка к бомбардировке, перед которой должна была побледнеть октябрьская.

Перебежчики из стана интервентов в марте были уже не так часты, как зимою, но все-таки их было довольно, и однажды, когда один из них, француз, шел в сопровождении русского офицера на допрос в штаб начальника гарнизона Остен-Сакена, он удивился тому, что улицы Севастополя довольно оживлены, что на них встречаются даже хорошо одетые женщины...

— Что это за женщины? Кто они?—удивленно спросил перебежчик у своего спутника.

— Да ведь достаточно офицерских семейств осталось еще здесь,—ответил тот.

— Как так остались? Зачем? Чтобы быть убитыми или изувеченными совершенно напрасно?.. Боже мой! Ведь вы не знаете, какая бомбардировка у нас готовится! Это будет для Севастополя день страшного суда, но только в большом виде!

3

Однако еще в начале марта, когда Горчаков только ехал в Крым из Кишинева, Остен-Сакен доносил ему о том, что ожидает «томительного и убийственного бомбардирования сосредоточенными выстрелами огромного числа и огромной досягаемости орудий и ракет, к чему приготовлено у них неслыханное в осадах число снарядов. У нас пороку недостаточно для противодействия, наши снаряды будут направлены только на батареи и прислугу в амбразуры; войска же их станут вне черты досягаемости, тогда как наших войск некуда отвести, исключая некоторой их части в блиндажи. Неприятель, по мнению моему,—заканчивал уныло Сакен,—может решиться на приступ, ослабив гарнизон бомбардированием или сделав брешу».

Горчаков вскоре после прибытия в Севастополь убедился в том, что Сакен ничего не преувеличил; поэтому, ожидая со дня на день бомбардировки, он готовился, насколько был в силах, ее встретить, для чего и стремился ложементы впереди редутов обратить в непрерывные траншеи, в траншеях же этих заложить новые батареи. Даже впереди Камчатского люнета, после вылазки в ночь с 10 на 11 марта, приказано было ложементы обратить в траншеи, кроме того, протянуть траншеи в обе стороны от Камчатки,—к Килен-балке и к Доковой балке,—и каждую из этих траншей вооружить одну мортирной, другую орудийной батареями.

Отнюдь не назначавшиеся для борьбы с большей половиной Европы запасы севастопольского адмиралтейства все-таки оказались настолько внушительны, что позволяли севастопольской «бороде» расти гуще, чем это было бы желательно интервентам.

Правда, при этом еще разоружались и суда боевого флота, но Севастополь, по существу, состоял

¹ Сити—старинная часть Лондона, в которой сосредоточены правления английских банков и торговых промышленных предприятий.

из трех сторон: Южной, или собственно городской, Корабельной и Северной. Каждая из этих сторон представляла особую крепость, разобщенную от других бухтами; и если Северной стороне пока еще не угрожал неприятель, все-таки она должна была вооружаться для защиты в будущем и вооружалась. Начало этому было положено Меншиковым,—продолжалось это и при Горчакове; исподволь Северная сторона, с прилегающими к ней Инкерманом и Мекензиевой горой, превращалась в сильную и гораздо более современную крепость, чем внезапно, на глазах и под выстрелами противника выросшие бастионы Южной и Корабельной сторон.

Севастопольский порт, конечно, только казался неистощимым, но хранившиеся в нем, например, запасы пороха давно уже иссякли, нехватало также и снарядов, и приказано было отвечать одним выстрелом на два неприятельских; нехватало и многого другого в материальной части; но было в Севастополе то, что дороже и важнее иных запасов: несокрушимый дух войск.

Это обстоятельство не учтено было политиками Англии, когда они начинали войну с Россией. Они знали императора Николая, тем более что он приезжал за десять лет до войны в Лондон и показался там во весь свой рост; но разве имели они понятие о простом русском солдате, рядовом девятой роты Камчатского егерского полка Егоре Мартышине?

Во время Дунайской кампании в одном сражении было довольно много раненых, и небольшой перевязочный пункт переполнился доотказа. Тут заметили невысокого и немолодого солдата, который раза три подходил к дверям и заглядывал в операционную, но потом однообразно махал рукою и уходил. Лицо его было в крови, но серые усталые глаза смотрели сквозь это кровавое кружево спокойно.

Когда работа в операционной подходила уже к концу, один свободный врач вспомнил о нем и послал за ним санитаря вдогонку, как только он, еще раз заглянув в дверь, повернулся снова назад. Санитар привел раненого.

— Что у тебя такое, дружище?—спросил его врач.

Солдат только показал на свою щеку и открыл рот: говорить он не мог. Оказалось, что турецкая пуля пробила ему щеку и застряла в языке, отчего язык сильно распух и перестал ворочаться.

— Как же это пуля тебе в рот попала?—спросил врач, и за раненого ответил, улыбаясь, другой солдат, которому только что перевязали руку и ногу:

— Да ведь он, ваше благородие, песенник у нас... Шли, значит, в атаку, он и запой:

Эх, зачем было гордд городить,
Да зачем было капусту садить...

Известно, песня веселая,—под нее людям бойчее идет... А турки, конечно дело, по нас залоп дали...

Когда пулю вырезали, и опухоль языка несколько опала, спросили раненого песенника, почему он раза три подходил к дверям перевязочного и все уходил обратно.

— Да ведь стыдно было,—с усилием ответил тот.—У других—раны, а у меня—что? Я и поободать мог.

Этот солдат был Егор Мартышин.

Лежали камчатцы-охотники в ложементах перед своим многотрудным люнетом в начале марта. Шагах в двустах от них в подобных же ложементах лежали французы... День стоял теплый. Сильно пахло свежей травой и парной землей... Перестрелка шла вяло, так как незачем было тратить заряды ни тем, ни другим: ложементы были устроены хорошо: противники за насыпями не могли друг друга прощупать пулями.

Но вдруг какому-то зайцу вздумалось промчаться между ложементами во всю прыть своих ног, и один солдат-камчатец его заметил, прицелился и выстрелил. Заяц подпрыгнул на месте так высоко, что всем стало видно его из-за козырьков ложементов, и, грохнувшись о землю, лег неподвижно.

Солдат, его подстреливший, встал со штуцером в руке и снял фуражку. Это был у него как бы некий парламентарский жест, обращенный к французским стрелкам, дескать: «Разрешите, братцы, зайчика подобрать, так как, выходит, это ведь не то чтобы война, а чистая охота...» И жест этот был понят, как нельзя лучше.

Своеобразное перемирие установилось вдруг между стрелками с той и с другой стороны, пока камчатец добежал до зайца, взял его за задние ноги, показал французам и неторопливо побежал на свое место в ложементах, из-за которых высунулось поглядеть на него много улыбающихся лиц.

Только когда улегся он снова рядом со своей добычей, раздалось несколько выстрелов со стороны французов, но больше для проформы.

Этот солдат-камчатец был тот же Егор Мартышин.

— Как же ты так отчаялся подняться, Мартышин?—спрашивали его потом одноклассники.

— Да что же я?.. Конечно, само собой, подумал я тогда: «Не оголтелый же он, француз, должен понять, думаю, что и я бы в него не стрелял в таком разе: ведь я не ему вред доставил, а только зайцу... А раз если заяц, выходит, стал мой, то должен я его забрать или нет?»

— Ну, братец, турок бы тебе не спустил!—говорили ему.

— Об турке и разговору у меня нет,—спокойно отозвался Мартышин.—Турок, известно, азиатца,—он этих делов понять не может.



Назначен был командиром батальона в Камчатский полк на вакансию майор из другого полка и в первый же день накричал на одного солдата своего батальона. После выяснилось, что совсем незачем было на него кричать, но майор был человек горячий, и перестрелка на Малаховом, где это было до постройки еще Камчатского люнета, велась в то время жаркая.

Однако не прошло и пяти минут, как тот же самый обруганный майором солдат бросился на него со зверской, как ему показалось, рожей, сгреб в охапку, свалил подножкой и прижал к земле. Он ворочался, пытаясь сбросить с себя солдата, но тот держал его крепко, глядел страшно и бормотал что-то...

Вдруг оглушительный раздался взрыв рядом, повалил душный дым, полетели осколки: разорвался большой снаряд.

Тогда солдат встал сам и потянул за рукав шинели своего начальника:

— Извольте подниматься, вашсокбродь: лопнула!

Только теперь догадался майор, что солдат не из мести за окрик бросился на него, а просто спасал его от незамеченной им бомбы, которая упала, вертелась и шипела рядом с ним.

— Как твоя фамилия?—спросил майор, поднявшись.

— Девятой роты рядовой Мартышин Егор, вашсокбродь!—ответил солдат.

— Что же это ты, ничего мне не говоря, прямо на меня кидаешься, и подножку... и рожу зверскую сделал, а?

— По недостатку время, вашсокбродь!

Майор пригляделся к своему спасителю, обнял его, вынул потом кошелёк, достал старый серебряный рубль времен Екатерины:

— На вот, спрячь на память, а к медали тебя при первом случае представлю.

— Покорнейше благодарим, вашсокбродь!—как бы и не за себя одного, а за всю девятую свою роту ответил Мартышин.

А в середине марта он не уберёгся от французского ядра сам,—правда, ядро это залетело в траншею Камчатки и нашло его там среди многих других.

Он как раз полез в это время в левый карман шинели за табачком, ядро, разможив и оторвав кисть левой руки, раздробило также и ногу около паха... Не только товарищи его по траншее, но и сам он видел и чувствовал, что этой раны пережить ему уже не суждено.

Однако потерял ли он при этом присущее ему спокойствие?—Нет. Когда положили его на носилки, чтобы нести на перевязочный пункт на Корабельную, он нахмурился только потому, что за носилки взялось четверо:

— Я ведь легкий,—сказал он,—да еще и крови сколько из меня вышло... Так неужто ж вдвоем меня не донесут, а? Если с каждым, кого чугунка заценит, по четыре человека уходить станет, то этак и Камчатку некому будет стеречь!

А когда остались только двое, он просил их пронести его вдоль траншеи проститься с товарищами.

— Прощайте, братцы!—обратился он к своим одноклассникам.—Отстаньте нашу Камчатку,—ни отнюдь не сдавайте, а то из могилы своей приду, стыдить вас стану!.. Прощайте, братцы, помяните меня грешного!.. Вот умираю уж, а мне ничуть этого не страшно, и вам, братцы, тоже в свой черед не должно быть страшно ни капли умереть за правое дело... Одно только больно, что в своей траншее смерть застигла, а не там,—показал он правой рукой на французские батареи.

Тут же отыскал он этой здоровой рукой спрятанный им майорский подарок—екатерининский рубль—и передал его одному из тех, кто держал носилки,—солдату своей роты Захару Васильеву, говоря:

— Это даю тебе, брат Захар, чтоб ты, как принесете вы меня на перевязочный, живым манером священника там разыскал исповедать меня, приобщить, потому как дохгорам уж со мной нечего возиться... Рупь этот самый от меня священнику и дай!

4

Против Южной (городской) стороны осадные орудия интервентов были поставлены так густо, что на каждые двадцать шагов по дуге приходилось по орудью.

Секретом для Севастополя это не могло быть благодаря пленным и дезертирам, и не было. Но если по количеству орудий большого калибра, выставленных на защиту Южной стороны, севастопольцы мало уступали интервентам, зато снарядов как сплошных, так, особенно, пустотелых, имели меньше в пять-шесть раз; пороха же для зарядов было так мало, что решено было в случае крайности добывать его из ружейных патронов, находящихся на складах.

От артиллерийского огня в начале осады было очень много жертв из-за отсутствия блиндажей; это припомнили, и теперь приказано было усиленно строить блиндажи, разбирая для этого все полуразрушенные здания, начиная с морского госпиталя. Половые доски из разобранных домов шли также и на устройство и починку орудийных платформ.

К концу марта очевидны стали итоги неустанных трудов: блиндажей было уже столько, что в них можно было укрыть до шести тысяч человек, то есть почти пятую часть севастопольского гарнизона, что было очень важно, так как большие резервы необходимо было держать вблизи бастионов и редутов ввиду штурма, в котором никто в Севастополе не сомневался.

Неизвестно было только одно: какой день выберут союзные главнокомандующие для начала канонады.

Подходил праздник пасхи; в этом, 1855 году он совпадал по времени у русских и у французов, между тем по всем признакам приготовления интервентов к «дню страшного суда в большом виде» заканчивались: Христос оставался Христом, канонада должна была быть канонадой.

Перед праздником матросы и солдаты даже и бастионы, досыта напоенные кровью, прибрали, приукрасили, как могли... Даже подмели их метлами из фашинника, даже песочком посыпали!.. В блиндажах стремились соблюдать торжественность; щедро покупали копейные свечки и втыкали их в подсвечники перед иконами... В четверг на страстной неделе не только в уцелевших еще церквях севастопольских, но и на бастионах и в блиндажах читались «двенадцать евангелий» и раздавался в городе колокольный звон.

Как раз в это время поднялась усиленная пальба против третьего бастиона: это англичане решили, что настал удобный момент штурмовать ложементы перед третьим бастионом—Большим Реда-ном,—единственным из севастопольских укреплений, овладеть которым они поставили себе целью.

Обстреляли; штурмовали ложементы, но были позорно отбиты... Не настал еще их час; но зато наступал день общесоюзных, почти общеевропейских усилий поставить Севастополь на колени: это был второй день пасхи—28 марта/9 апреля.

Однако первый день пасхи праздновали как в лагере французов, так и в осажденном городе, причем в последнем особенно широко и самозабвенно.

Уже в субботу к вечеру совершенно неудержимым потоком ринулись на бастионы матроски к своим мужьям, их ребятишки к отцам, таща им на рзбговенье куличи, сырные пасхи, красные яички: это было «преддверие праздника»...

А ровно в полночь начался трезвон к заутрене, точно бы в любой Калуге или Пензе... Пальба из орудий, правда, была в это время тоже, но привычная, обычная, так же как и ружейная стрельба в ложементах, тоже обычная: звон колоколов не мешал перестрелке, перестрелка—звону...

В церквях городских, в госпитальной церкви на Северной, в Александровских казармах, где тоже была домовая церковь и где все множество окон было ярко освещено, сладкоголосые пели: «Друг

друга обьемем, рцем: братие!—и ненавидящим ны простим...» А снаряды с батарей летели, вычерчивая огненные дуги в темном ночном небе, и заведомо нельзя было, невозможно было простить «ненавидящих», приплывших на тысяче кораблей, чтобы истребить цветущий город и десятки, сотни тысяч людей в нем и перед его стенами убить или изувечить...

В небольшом гарнизонном соборе собрались на пасхальную службу многие генералы с самим главнокомандующим во главе, парадно одетые офицеры, флотские и сухопутные... Очень плотно набит был ими весь этот старый, при Екатерине построенный собор... Христосоваться все подходили к Горчакову. Старик расчувствовался, троекратно лобызаясь с каждым из своих подчиненных,—ведь многих из них уже поджидала смерть; подслеповатые глаза его застилали слезы, а в памяти все вертелся афоризм либеральствующего министра государственных имуществ, графа Киселева, сказанный им когда-то в интимном кругу: «Два варварских обычая есть в России: запрягать четверню в карету и целоваться на пасху».

Около собора толпились с зажженными свечами и гарнизонные солдаты, и женщины рядом с куличами и пасхами, принесенными на «освящение»; и мимо этих убого, но истово украшенных куличей и пасх двигалась толпа крестного хода, сияя золотом риз, эполет, орденов.

И было рожденье, как всегда, и пились праздничные чарки водки, казенные и покупные, а когда дождались дня, гуляли в обнимку по бастионам, пели песни, собирались в кружки и открывали пляс под визгливую матросскую скрипку: батарени же с той и другой стороны молчали. Возмущались даже искренне, что ружейная пальба из неприятельских траншей не унималась, но объясняли это тем, что ведут ее, конечно, нехристи-турки.

На бульваре Казарского с шести часов вечера загремела полковая музыка, и началось праздничное гулянье. Если бы кто-нибудь неведомо для себя и невидимой силой был бы перенесен сюда, на этот бульвар, он не мог бы поверить, что он в осажденном городе, после полугодовой осады и как раз накануне бомбардировки, небывалой в истории войн: так много было на этом бульваре весело болтающих и радостно смеющихся женщин... Откуда появились они здесь? Где таились раньше?.. Где бы ни таились, но Севастополь все еще был многолюден, и чуть празднично загремела музыка, на нее слетелись женщины в праздничных весенних костюмах, тем более что и день выдался солнечный, тихий, теплый, и пахло не порохом дымом, а морем,—море же весною пахнет, как только что разрезанный спелый арбуз...

Как много может внести изменений в сотни тысяч жизней всего одна только ночь! О том, что эти изменения готовятся, можно было только до-

гадываться, да и то смутно, по какой-то довольно шумной деятельности в стороне неприятеля именно в эти ночные часы; шум этот мог быть объяснен и пеугомонившимся праздничным весельем; но многим, слышавшим его, он казался военно-рабочим шумом, сгущенным благодаря туману, который в полночь надвинулся с моря.

Чуть рассвело,—ровно в пять утра,—с моря же взвилась и рассыпалась тревожными искрами ракета: это был сигнал к открытию канонады, данный с одного из кораблей интервентов; и выстрелы загревели сразу со всех сторон.

Но в густом белом тумане прятался проливной дождь, который и хлынул, чуть только началась канонада, точно по особому заказу тех же двух генералов—Канробера и Раглана, которые как будто хотели повторить начало бомбардировки 5/17 октября во всей полноте.

Впрочем, дождь теперь был гораздо сильнее, точно в полном соответствии с тем, что число орудий, начавших состязание на пасху, было уже вдвое больше октябрьского числа орудий.

5

С чем это можно бы было сравнить? С грозой при ливне, когда беспрерывно слепят глаза молнии и ревет и на части раскалывается небо?.. Но при подобной грозе, способной пугать только младенцев, не прыгают всюду кругом, как футбольные мячи, чугунные ядра, не разбиваются вдребезги стены и крыши домов, не валится с потолков даже нетронутых зданий штукатурка, точно при сильном землетрясении, не раскачиваются оконные рамы до того, что в них лопаются стекла, и они вылетают, наконец, на улицу; не ест глаза густой пороховой дым, из-за которого в двух шагах не видно, и не проходят усталым шагом одни за другими люди в солдатских шинелях, таща носилки, из которых капает кровь; не мечутся на улицах зеленые фуры с зарядами, снарядами, фашинами и даже с обыкновенною водою в бочках, несмотря на то, что воронки от снарядов на улицах полны дождевой воды, и все кругом промочено дождем до нитки, и потоки воды мчатся, едва не сбивая с ног, особенно мощные там, где часто улицы узки и круто спускаются вниз, как в Севастополе...

Солнце еще не оторвалось от горизонта, и косые слабые лучи его едва в состоянии были пробить туман, дым, потоки ливня; верховые лошади адъютантов, ординарцев, штаб-офицеров и генералов, наконец, поднятых свирепой канонадой, сталкивались на улицах в полумраке, теряя направление; женщины тащили на руках и за руки детей, уже надорвавшихся от плача; страшно было сидеть и ждать смерти в домах, еще страшнее было бежать куда-то,—куда?—по улицам. Бежали и к Графской пристани, чтобы переправиться на Северную, и к

огромнейшему зданию Николаевской береговой батареи, способному вместить не одну тысячу человек.

Поднялся вдруг ветер, сильный и сразу, протаскивал дальше густую вату тумана и дыма, висевшую над бухтами, и столпившиеся у Графской увидели в открытом море другой дым,—черный угольный дым боевого неприятельского флота. Видно стало на минуту, что суда там находятся в движении, как бы спеша занять места, удобнейшие для бомбардировки города... Однако едва успела толпа испуганных людей на берегу бухты понять, что это за маневры судов, море заволочло снова белым туманом и орудийным дымом, и остались только предсмертная жуть в сердцах, ожидание последнего часа в глазах женщин и эта бессмысленная суматоха отчаяния, свойственная всякой растерявшейся толпе.

Растерянность при виде двигавшегося в черном облаке дыма союзного флота охватила и ставку Горчакова, который по слабости зрения не мог, конечно, ничего разглядеть сам, но вполне полагался на острые глаза чинов своего штаба.

Канонады с моря, подобной октябрьской, ожидали с минуты на минуту, но ее все не было; между тем Горчаков получал донесение за донесением, что неприятельский флот движется, насколько можно было уловить в тумане, по направлению к устью Качи.

— Ну да, к устью Качи, да, да,—так именно я и думал!—экспансивно выкрикивал Горчаков.—К устью Качи, чтобы там высадить десант и зайти мне в тыл! Значит, нам нужно направить достаточный отряд к устью Качи!

Маленький ростом начальник его штаба генерал Коцебу пытался было возражать, но Горчаков махал в его сторону длинными тощими руками, точно отгонял стаю докучных мух, и не хотел даже выслушивать возражений.

Около устья Качи стоял небольшой отряд; теперь его решено было увеличить в самом спешном порядке, и с приказом главнокомандующего выступить немедленно к Каче помчались уже адъютанты к нескольким полкам и полевым батареям, когда туман свеяло ветром настолько, что все около Горчакова могли разглядеть, даже не прибегая к подозрительным трубам, что флот остановился: имел ли он намерение, подойдя ближе к берегу, начать обстрел Севастополя или не имел, только к устью Качи он не шел и транспортов с десантом при нем не было.

Немедленно новые адъютанты и ординарцы были посланы Горчаковым к тем полкам и батареям на Инкермане, которые получили уже приказ выступить, с отменой этого приказа.

Еще во время Дунайской кампании французские карикатуристы изображали Горчакова 2-го с распростертыми руками и с надписями: на правой

ладони *ordre*¹, на левой *contre-ordre*, а на лбу—*désordre*.

Нахимов же, чуть только началась канонада, поскакал на сереньком маштачке на бастионы. Теперь он считал это еще более своим настоящим делом, чем полгода назад, в первую бомбардировку; теперь на нем, как на помощнике начальника гарнизона, лежала забота о всех и обо всем в пределах Севастополя.

Казалось, что как-то всем своим существом, но в то же время почти инстинктивно, стремился он быть воплощенной, для всех очевидной, неиссякаемой энергией обороны, предоставляя начальнику гарнизона Сакену считаться ее мозгом и отлично сознавая, конечно, что мозгом-то этим были Тотлебен и Васильчиков—начальник штаба Сакена.

Когда один из адъютантов вздумал было уговаривать его остаться дома, не бросаться в самое пекло артиллерийского боя, не рисковать жизнью, Нахимов ответил ему совершенно серьезно:

— А что же такое моя жизнь?.. Вот если убьют Тотлебена или Васильчикова, это будет беда непоправимая, а я... Пустяки-с! Вздор-с!—и вскочил в седло не без некоторого даже щегольства тем, что уже в совершенстве постиг этот затруднявший его полгода назад кавалерийский прием.

6

Сто тридцать мортир было среди осадных орудий интервентов против пятидесяти семи у защитников Севастополя; между тем огонь мортир не прицельный, а навесный, и своими бомбами большого веса производили они огромные разрушения на русских батареях и вырывали множество жертв, тем более что недостаток пороха заставил Сакена разослать по бастионам и редутам приказ отвечать на два неприятельских выстрела одним, и это было всего через пять часов после начала бомбардировки.

Чугунная туча над головой, и каждую секунду рвутся, круша ребра укреплений, снаряды,—так было на бастионах. Чугунная туча, не редая, направлялась в город и бухту, на флот и низвергалась там. На бастионах от нее было темно и днем, как в сумерки. Это был подлинный ураганный огонь, хотя тогда еще не было в ходу такого сочетания слов.

На береговых батареях ожидали открытия канонады с неприятельских судов, и все стояли на местах, и были разожжены ядрокалильные печи. Однако флот противника предпочел остаться почетным зрителем дуэли сухопутных батарей и не подходил на пушечный выстрел: слишком свежа

¹ *Ordre*—приказ, *contre-ordre*—отмена приказа, *désordre*—беспорядок (франц.).

была среди высшего командного состава там память о 17 октября!

С первых же часов бомбардировки, открытой интервентами, выяснилось для защитников Севастополя, что ведется она по обдуманному плану.

Сосредоточив с начала осады свои усилия против четвертого и пятого бастионов, французы и подошли к ним траншеями и минными ходами ближе, чем к другим: переменяв затем, под влиянием Низля, направление атаки в сторону Малахова, они успели приблизиться и к нему; пасхальная канонада должна была увенчать их саперные успехи и «сбрызнуть» прежде всего все эти досадные укрепления: четвертый и пятый бастионы и Малахов курган с его передовыми редутами: Волынским, Селенгинским, Камчатским... Последний особенно досаждал французам, и против него направлен был самый ожесточенный огонь.

После смерти Истомина четвертым отделением оборонительной линии, в которую входил Малахов курган с его редутами, стал вестись капитан I-го ранга Юрковский, отец десятих малолетних ребят, из которых самый старший был всего только кадет третьего класса.

Жена Юрковского поспешила увести их всех в Харьков еще до начала осады, и он, свободный от семейных забот, старался служить самозабвенно и поддерживать на отделении порядок, заведенный его предместником.

Он и поселился в каземате башни, там же, где жил Истомин. Однако даже и полуразбитая башня эта все-таки представляла прекрасную цель для длинных бомбических орудий, и теперь на нее с раннего утра усиленно начали падать и сверлить ее взрывами пятипудовые бомбы. Боясь, что ее разрушат до основания, Юрковский приказал совершенно очистить ее от людей.

Юнкер Зарубин, по наследству от Истомина перешедший ординарцем к Юрковскому, бросившись передавать это приказание, едва не был задавлен обвалившимися от сотрясения камнями над входом в башню, но, проскочив благополучно, только оглянувшись, протер поспешно глаза, запорошенные известковой пылью, и звонко прокричал приказ очистить башню. Он был полон чисто адъютантского делового азарта, свойственного далеко не всем шестнадцатилетним. На его глазах в это утро залетевшим в амбразуру ядром разmozжило голову матросу-комендору, наводившему орудие, но едва он упал, тут же подскочил другой матрос, занял место, залитое кровью товарища, левой рукой сорвал с себя бескозырку и накрыл ею лицо убитого, а правой взялся за подъемный винт орудия. Некогда было даже и секунду времени отдавать жалости по том, с кем двадцать лет ел кашу из одного котла,—надо было отвечать противнику на его меткий выстрел тоже выстрелом метким и без задержки...

На его глазах в это утро не один раз по знаку надсмотрщика порохового погреба бежали самозабвенно солдаты засыпать яму, вырытую упавшим на крышу погреба снарядом... Что могло быть необходимей этого? Если допустить другой снаряд упасть в воронку, сделанную первым, то может не выдержать и перекрытие из толстых бревен, и тогда взорвется погреб, а это уж катастрофа для всего бастиона...

На его глазах все время теперь, как и почти ежедневно раньше, подряд несколько месяцев, приравненных к годам, шла эта борьба бездушного металла, направляемого издалека врагами, с живыми людьми, простыми и даже веселыми, несмотря на весь жуткий ужас кругом.

Да, это очень влекло Витю Зарубина к матросам, у которых точно про запас готовы были шутки для встречи какого угодно трагизма. Бессознательно подражая не столько офицерам, с которыми жил в блиндаже, сколько именно матросам, не отходившим от своих орудий, рядом с ними и спавшим, Витя не мог научиться от них только этому—шуткам, но зато он запоминал их, и они возникали в нем всякий раз, когда приходилось бежать с приказом начальства в голову куда-нибудь «в самый кипяток».

С утра в этот день он надел, как и другие, шинель, чтобы не до костей промочил ливень, но шинель промокла насквозь, мундир тоже, и целый день до вечера пришлось таскать на себе совершенно лишний пуд дождевой воды и чувствовать себя, как в бане.

Он устал. Он почти валялся с ног к вечеру. Голова стала как колокол: в ней всё лопались с треском бомбы, всё гремели и раскатывались выстрелы своих орудий, даже тогда, когда, в сумерки, начала затихать канонада. Глаза тоже не померно устали от вспышек желтого огня сквозь дым на своих батареях и от желтых огненных полос сквозь туман, дождь и тот же дым в небе, так как ежесекундно вместе с «темными», то есть ядрами, летели и бомбы.

Крики сигнальщиков, крики команд, крики солдат, вызывающих носилки,—все крики кругом уже не воспринимались отдельно к вечеру: они слились для Вити в один сплошной гул, который не трогал уже, не беспокоил, просто был тем, без чего нельзя, и только очень хотелось, чтобы было можно.

Когда перед ним возник такой же усталый, с почерневшим и мокрым лицом другой юнкер из одного с ним блиндажа—Сикорский (третий, Черкуль-Куш, умер от раны в голову), он только уставился в него вопросительными глазами, но спросить что-либо не хватило силы. Сикорский же обратился к нему сам, едва шевеля языком:

— Есть хочу... Сухаря нету?

Витя вспомнил, что утром положил на всякий

случай несколько штук в карман шинели. Это было при Сикорском, и вот Сикорский-то не забыл про это, а он забыл и не дотронулся до них целый день.

— Размокли, досада!—сказал он, выпимая из кармана бурое тесто.

— Э, чорт... Ну, все равно, дай,—и Сикорский начал жевать то, что получилось из сухарей в кармане Вити.

— Ты откуда сейчас?—спросил Витя.

— С Камчатки...

— Что там?

— Все разнесли! Пропала Камчатка!..

— Как пропала? Взяли?—встряхнулся вдруг Витя.

— Не взяли... Ночью, должно быть, возьмут... Там и брать-то нечего... Вала уж нет, амбразуры все засыпало,—ни одно орудие стрелять не может. Камчатке конец!

Сикорский был годом старше Вити, повыше его ростом, потоньше лицом и фигурой, карие глаза, по-женски округлый подбородок, несколько длинноватый прямой нос. Говорил, растягивая слова, но это от усталости. Вид имел безнадежный.

— Как это «Камчатке конец»?—совершенно ожил Витя, точно его подбросило.—У нас все разбито, а у них, ты думаешь, нет? Мы, что же, в белый свет стреляли, как в копейку?

— И на Волынском редуте не лучше, чем на Камчатке, и на Селенгинском тоже,—вместо ответа сказал Сикорский, дожевывая сухарное тесто, а дожевав, спросил:—Еще нету? Поищи-ка, брат: есть хочю, как стая собак!

— На-ша-а, береги-ись!—надсадно-хрипло прокричал вдруг недалеко от них сигнальщик-матрос, и оба юнкера ничком упали на землю, потому что оба, не взглянув даже кверху, почувствовали бомбу у себя над головами.

Бомба упала шагах в пяти, и, ожидая ее взрыва, Витя однообразно молил: «Не надо меня, господи!.. Не надо меня, господи!..» Бог представлялся ему теперь чудовищно огромным стариком, у которого глаза с тарелку. Этими глазами он смотрит на него, Витю, лежащего лицом в землю, и на бомбу, рассчитывая, как разбросать ее осколки. Витя лежал, как на плахе перед казнью. Бесконечно долгие секунды тянулись, тянулись... Наконец, оглушительно грохнуло, точно в стенках его черепа, а не вне его.

Несколько мгновений еще не двигался и даже не думал связно Витя... Потом он осторожно шевельнул головой, подтянул кверху и опустил плечи, перебрал пальцами... Послушал, нет ли боли где-нибудь в теле,—нет, боли не было. Тогда он вспомнил о Сикорском, лежавшем рядом, и поглядел в его сторону с огромным любопытством. Тот продолжал лежать ничком.

— Эй! Вставай!—испуганно крикнул Витя.

Впрочем, он только думал, что крикнул громко: не получилось крика. Зато как раз в этот момент Витя припомнил жужжащий звук пролетающих над ним, а значит, и над Сикорским, осколков взорвавшейся бомбы, и для него стало ясно, что Сикорский так же невредим, как и он.

Это разом подняло его на ноги.

— Сикорский! Проехало!—оживленно принялся он трясти за плечи товарища.

Тот повернулся, поглядел на него мутно и пробормотал:

— А нога капут...

— Какая нога? Что ты! Обе ноги целы!

Витя проворно начал ощупывать его ноги, лежавшие, как и лежали, пятками кверху, и действительно наткнулся на небольшой осколок, вонзившийся в левую икру так неглубоко, что без особого усилия вынул. Сикорский стонал, а Витя соображал тем временем, что это не мог быть осколок только что взорвавшейся бомбы, все они пролетели выше над ними; значит, этот осколок просто валялся на земле и был подброшен силой взрыва.

— Чепуха! Даже и кровь почти не идет!—совсем уже бодро и радостно, вполне овладев собою, взял за ворот Сикорского Витя, но тот, хотя и поднялся, повторял уныло:

— Вот ты увидишь, увидишь: ноге капут!

Но тут шагах в десяти от себя Витя увидел солдата, который сидел на земле и пригребал к себе что-то рукою. Солдат был без фуражки, лицо его было в крови, рука красная, к нему подходили уже другие солдаты с носилками, подбежал и Витя.

Один из тех больших осколков, которые жужжа пролетели над ними, развернул этому несчастному живот, жутко глядевший из-за ключев шинели и мундира, и то, что собирал и подгребал к себе раненый, были его кишки... Но вкладывая их вместе с грязью обратно в свой живот, он говорил деловито:

— Там, на перевязочном, разберут, что куда... Доктор Пирогов заколбает!

Так верил он в русскую медицину и в Пирогова и так мало смущался тем, что сделала с ним вражеская бомба.

Волосы его стояли непокорным ежом,—они были светлее, чем русые. Серые глаза,—обыкновенные глаза солдата, уроженца одной из северных губерний, только красноватые и с красножилыми от целодневного дыма белками,—смотрели неугнетенно. Один ус и щеки его были в крови, но, видимо, он просто брался за них рукой.

Витя узнал по погонам, что был он Бутырского полка, но ему хотелось спросить, как его фамилия. Однако не удалось: в это время матрос-сигнальщик снова выкрикнул протяжно-хрипуче и надсадно:

— Бере-ги-ись! На-ша-а!

Витя кинулся к выступу блиндажа, который был в нескольких шагах, а потом, оглянувшись, увидел, как уносили этого раненого четверо носильщиков, не обратив внимания на крик сигнальщика. Бомба же упала в стороне, и разрыва ее Витя уже не слышал, может быть, потому, что совпал он с выстрелом своего орудия большого калибра.

7

День кончился. Перестрелка значительно ослабела, но не затихла совершенно: умолкли только прицельные орудия, мортиры же безостановочно перебрасывались навесными снарядами.

День кончился, и обе стороны подвели ему итог. Двенадцать тысяч снарядов было выпущено с русских батарей и тридцать четыре тысячи, то есть почти втрое больше, с батарей интервентов; свыше пятисот человек потеряли русские, и только сто—интервенты. Последнее объяснялось тем, что в ожидании штурма слишком близко к батареям были придвинуты русские резервы. Но русские артиллеристы-матросы за себя постояли: отвечая во вторую половину дня только одним выстрелом на четыре, даже на пять неприятельских, они сумели нанести противнику больший материальный урон, а на батареях всей оборонительной линии оказалось в итоге только пятнадцать подбитых орудий.

Зато амбразур было завалено свыше ста, скрыты были снарядами валы, засыпаны рвы, пробиты крыши многих блиндажей,—все требовало не починки только,—возобновления... День кончился,—началась ночная страда севастопольского гарнизона.

Пятнадцать подбитых орудий—это ничтожный результат пятнадцатичасового ураганного огня пятисот осадных мортир и пушек, но эти пятнадцать орудий необходимо было к утру заменить новыми, снятыми ли с судов, взятыми ли из арсенала порта.

Тащить их, эти многопудовые чудища, приходилось за несколько верст по грязи, образовавшейся от ливня. Лошади не шли,—солдаты надевали лямки, как бурлаки, и вытягивали орудия, как баржи на волжских перекатах. При этом, кроме грязи на улицах и дорогах к бастионам, очень часты были ворошки, полные воды; в них проваливались и ломались колеса, по пояс уходили люди и лошади, и чем ближе к линии фронта, тем больше попадалось таких воронок, предательски таившихся в темноте, или ядер, барьерами, кучами выросших за день на путях к батареям.

Ругались зверски, но шли вперед, шли под выстрелами, от которых некуда было скрыться, под выстрелами и устанавливали орудия на подмостки, оттаскивая убитых при этом и тяжело раненных.

А на бастионах и редутах работали в это

время кирками и лопатами тысячи других солдат. Где должны были выситься насыпи, там к утру исправно возвышались насыпи; где были засыпаны снарядами рвы—снова зияли рвы. Откапывались орудия, сбитые и заваленные взрывами; засыпались воронки на площадках бастионов; откатывались и складывались в кучи ядра, эти неразменные рубли бомбардировок, часто по несколько раз перелетавшие с одной стороны на другую, если подходили к орудиям по калибру.

В то же время третья партия солдат-рабочих в укрытых местах, в пещерах, начинала полые снаряды и грузила их на фуры и полуфуры, чтобы потом фурштатские¹ тройки доставили их под покровом ночи на батареи... А фурштатские солдаты? Это был на подбор лихой народ! Они считались нестроевиной, и, какие бы подвиги ни совершали, им не полагалось по статуту георгиевских крестов, как будто лошади могли умчать их от всех бомб, ядер и пуль. Между тем сколько их погибло при подвозке всего необходимого на бастионы и редуты, и не в одну фурштатскую подводу в эту ночь попали неприятельские снаряды, вызвав этим взрывы русских снарядов, которыми далеко раскидывало кругом мелкие клочья людей, лошадей и самих повозок...

Конечно, чинились и укрепления противника: ведь на интервентов глядела вся Европа, весь свет. Ведь никогда в истории не было такого случая, чтобы несколько огромных государств,—из них два первоклассных,—соединившись вместе, послали отборные и большие армии, в изобилии снабженные всем, что могла дать передовая военная техника Запада, и вот армии эти семь месяцев уже осаждали всего один только пограничный русский город, который к тому же перед началом осады совсем не был укреплен с суши,—и не могли с ним сладиться!

Было неловко перед лицом Европы и прочего света. Нужно было чиниться, чтобы с утра начать новую сильнейшую канонаду, добить врага и пройти в город по трупам его защитников.

Новая канонада началась также в пять утра и встречена была таким же точно огнем русских орудий, как и накануне. А между тем разрушения, произведенные бомбардировкой первого дня на Камчатке, на Волынском и Селенгинском редутах, на четвертом и пятом бастионах, были отлично видны противнику, траншеи которого тянулись совсем недалеко от этих укреплений.

Вполне естественно было и Канроберу и Раглану считать этот новый день канонады—29 марта/10 апреля—последним днем своих усилий, за которым должны были следовать победоносный штурм города и конец осады.

¹ *Фуриштатские*—обозные, подвозившие все военные припасы на позиции.

Однако чудесно возрожденные за одну ночь укрепления, столь же сильные во второй день, как и в первый, совершенно спутали все их расчеты. Поэтому наивно и странно, не как стратег, а как сконфуженный любитель военных экзерциций, доносил в конце этого дня Канробер Наполеону:

«С прибытием к нам Омера-паши и лучших его войск мы (то есть сам Канробер и Раглан) полагали, что самое выгодное для нас было бы, если бы русская армия решилась атаковать нас на превосходной нашей позиции. Мы давно думали, что русские намерены напасть на нас, как скоро мы откроем огонь против укреплений. Поэтому, чтобы вызвать их на такое предприятие, мы вчера открыли огонь из всех французских и английских батарей. Главнокомандующие хотят поддерживать огонь без особой торопливости, но и не прекращая его, с тем, чтобы воспользоваться всеми благоприятными случаями для действия против укреплений или против вспомогательной русской армии».

Таким образом в одно и то же время Горчаков думал, что интервенты готовят против него десантную операцию со стороны Качи, а Канробер и Раглан ожидали от него повторения атаки со стороны Инкермана, и дорого стоящая канонада начата была ими будто бы только затем, чтобы Горчаков решился на вылазку в очень крупном масштабе и чтобы потом, когда он будет разбит, на плечах его при отступлении ворваться в город!

8

Второй день бомбардировки показал Канроберу и Раглану, что если они даже и про себя, а не только вслух надеялись на большую и, конечно, неудачную вылазку русских, то надежды эти приходилось бросить.

Русские артиллеристы отстреливались исправно; они, правда, мало тратили снарядов, но уже в первые четыре часа заставили замолчать до полусотни осадных орудий.

Мог бы внести небольшое расстройство в порядок защиты города союзный флот, но он и в этот день предпочел только красоваться, выстроившись перед рейдом, но опасаясь подходить на выстрел к береговым батареям.

День кончился, но особенно разительных результатов усиленной канонады на русской стороне не было видно интервентам, и оба главнокомандующие решили пригласить на военный совет в главный штаб английской армии всех своих артиллерийских и инженерных генералов.

— Ну что? Как? Каково ваше мнение?—спросили их главнокомандующие.

Однако на эти короткие по сути вопросы очень трудно оказалось генералам так же коротко ответить. Успехи бомбардировки были, конечно, но не

решительные. Инженеры должны были воздать должное изумительной способности русских восстанавливать ночью все, что было у них разрушено и уничтожено днем; артиллеристы же должны были признать высокую меткость прицельного огня русских наводчиков. Впрочем, и те, и другие сошлись на мнении, что не мешало бы попробовать перейти к открытому штурму там, где он сулит больше удачи.

Канробер и Раглан грустно переглянулись и вздохнули. Но раз вышло как-то так, что военный совет вынес решение о штурме, то корпусным командирам приказано было «держаться свои части в готовности к штурму».

Попытка к штурму была сделана французами в ночь на 30 марта против пятого бастиона. Ложементы были заняты ими, из ложементов они были выбиты батальоном Колыванского полка, и к утру все осталось попрежнему. Но зато неслыханной силы артиллерийский огонь был открыт с утра 30 марта по этим ложементам, по пятому бастиону и смежному с ним редуту лейтенанта Шварца. Этот жестокий огонь нанес большой ущерб и вырвал много жизней, но его все-таки вынесли, и новый штурм в следующую ночь был отбит снова колыванцами под командой полковника Темиряева. Однако наступал четвертый день бомбардировки.

Безропотно работали доупаду на бастионах, редутах и в ложементах солдаты, чтобы привести их к утру в исправный вид, гибли во множестве при этом от мортирных снарядов и не только «сорок веков с пирамид» не смотрели на них, даже и свое начальство не имело возможности видеть их в темноте. Это были подвиги народа, а не отдельных людей, того народа, который неторопливо, исподволь, хозяйственно занял на планете Земля столько удобных и неудобных просторов, сколько вошло в естественные границы от Белого моря до Черного и Каспия, от Балтийского до Тихого океана, так чтобы хватило этих просторов не только для праправнуков, но и для праправнуков праправнуков тоже.

Севастополь со всеми его бастионами был не больше, как точка в этой неизмеримости, но какая точка зато!.. Не город, а знамя России! И весь великий исторический смысл беспримерной защиты этого города от натиска почти целой Европы, явно или тайно участвовавшей в натиске, состоял именно в том, чтобы отстоять знамя, полотнище знамени, которое отрывает от древка в рукопашном бою знаменщик, чтобы опоясаться им под мундиром и тем его спасти. Пусть изломанное в схватке древко достанется напавшему в больших силах врагу, но не самое знамя.

Севастополь состоял из трех сторон: Южной, Корабельной и Северной. Когда открылась бомбардировка, на пятый день пасхальной недели ма-

троски с Корабельной начали переправляться со своими ребятами и скарбом через бухту на Северную.

Они стали там прочным станом: натянули одеяла на колья, разыскали щепы и угольков, развели уюги и самовары. Но одеяла все-таки было жаль мочить под дождем, но одеяла нужны были семейству на ночь, и они осаждали начальство голосистой толпой:

— Давай паруса! Будем себе шить из них палатки...

Они, матроски, знали, что паруса давно были сняты с кораблей, и часть их уже отдана на палатки солдатам; они искали и требовали и своей в них доли. Из Севастополя, от бухты, от Большого рейда они никуда не уходили; они только перешли со своей старой Корабельной в другую сторону того же Севастополя, где была тоже крепость,—третья часть укрепленного района,—где раскинулся уже и базар с рядами лавок, сделанных пока тоже из парусины,—куда перебрались загодя многие торговцы из Южной стороны, где открылись и рестораны для офицеров.

Паруса для палаток были выданы; матроски утвердились на Северной.

А канонада гремела.

В этот день особенно потерпел четвертый бастион. Предмет особых забот Тотлебена—минные галереи—потеряли свою связь с поверхностью земли, так как блиндажи над минными колодцами во рву были разбиты бомбами, весь ров вообще засыпан землей, обрушившейся с вала, живого места не осталось на площадке бастиона: она имела почти такой же вид, какой 5 октября после взрыва порохового погреба имела площадка третьего бастиона.

Рабочие сюда были присланы еще с вечера, как и всюду, но работы здесь почему-то шли вяло. Сказалась ли в этом действительно большая усталость солдат, почему у них и опускались руки под непосильным и как будто даже совершенно бессмысленным трудом, или были другие причины, но хозяин четвертого бастиона—бессменный с начала осады,—вице-адмирал Новосильский, послал своего адъютанта к Нахимову, как помощнику начальника гарнизона, с просьбой назначить еще рабочих.

Между тем их и без того было на бастионе немало,—полторы тысячи, а расход на рабочих в эту ночь был особенно велик. Поэтому Нахимов решил приехать сюда сам.

— Что тут такое у вас, братцы?—обратился он к одной кучке солдат в тылу бастиона.—Почему тоите без дела?

— Потому,—силов-возможностей не имеем, вот почему!—раздался в ответ из темноты звонкий голос.

— Тут поразворочено все, сам чорт ногу сло-

мит!—поддержал его другой, не менее звонкий; и третий такой же:

— Бандировка донимает: много джуге погибает нашего брата зря!

— Ишь ты ка-ак!.. «Силов-возможностей» не имеют, а голоса не слабые-с!—заметил Нахимов.—Страм-с, братцы! Чистый выходит страм!.. В руку французам играть хотите-с!.. Шесть месяцев учат вас под огнем строиться-псправляться, а вы мне вдруг—«силов-возможностей не имеем»! Да вы русские или нет, а?.. Русские или нет?

— Точно так, русские, ваше превосходительство!—ответили в передних рядах, а в задних кое-кто обратился к матросам, артиллеристам бастиона:

— Это что за генерал такой?

— Деревня! Не знают чего!—обиделись матросы.—Да это же сам Пал Степаныч!.. Он не генерал вовсе—адмирал...

— Какой такой Пал Степаныч?

— Как это какой? Нахимов—известно!

И вот вдруг из задних рядов еще голос, хоть и не очень звонкий, однакоже добротный и даже как будто радостный:

— Пал Степаныч!

— Ну, что там еще «Пал Степаныч»?—спросил темноту Нахимов.

И тот же голос крикнул в ответ еще радостней:

— Сделаем, Пал Степаныч, не тужи!

— Вот это другое дело, братцы... А то как же можно-с: «силов-возможностей»?..

— Пал Степаныч!.. Пал Степаныч, сделаем!—загудели голоса кругом.—Берись, ребята!

И потом прилетали и рвались так же часто, как и прежде, бомбы, освещая при полете и взрывах на короткие моменты руины славного бастиона, но полторы тысячи кирок и лопат очень дружно долбили и отбрасывали землю, и к рассвету четвертый бастион сделался не хуже других, вполне способен к новому бою.

9

Но мало было все-таки очистить рвы, насыпать валы, прорезать амбразуры, исправить крыши блиндажей и пороховых погребов; для того чтобы продолжать огневой бой с богатыми боевыми припасами противником, надо было иметь налицо снаряды, порох... Снарядов оставалось очень мало, пороху еще меньше.

Спешно направил Нахимов одного из своих ординарцев мичмана Шкота в Луганск на завод, чтобы ускорить доставку оттуда снарядов, а оставшийся не у дел с отставкой Меншикова начальник его штаба генерал Семякин командирован был Горчаковым в Берислав и Николаев, встряхнуть как следует тыл, чтобы как можно скорее выжать оттуда все застрявшие там транспорты

пороха. На наем подвод и тому и другому из посланных толкачей были отпущены большие деньги.

Пока же собирали порох в самом Севастополе и в окрестностях его,—в артиллерийских парках,—откуда только могли. Вывезли запасы береговых батарей, оставив им всего по тридцати зарядов на орудие, разрядили бывшие на складах ружейные патроны... По два и по три в день отправлял Горчаков своих адъютантов в Петербург, чтобы военный министр Долгоруков и сам царь прониклись муками порохового голода Севастополя.

— Ах, этот князь Меншиков, этот князь Меншиков!—то и дело недоброе слово вспоминал своего предместника Горчаков.—Какое гнусное наследство он мне оставил!.. Что делал он здесь? О чем думал?.. Вот честь и слава России поставлены на карту из-за чего? Из-за того, что нет пороха!.. Ах, какое подлое наследство я получил!

Однако, заботясь о чести и славе России, Горчаков отнюдь не забывал и о своей чести и славе. Теряя голову под натиском рвущихся в Севастополь двойных по сравнению с его силами полчищ интервентов, он всячески стремился подготовить царя Александра к самому худшему известию, заранее свалив на Меншикова всю ответственность.

«Ход дел в Крыму издавна испорчен,—писал он царю,—и полагая даже, что мне удастся отстоять Севастополь до прибытия сорока батальонов, следующих из Южной армии, что, впрочем, весьма сомнительно,—я не менее того буду гораздо слабее неприятеля, который стягивает сюда огромные силы, если со своей стороны, не получу нового, значительного подкрепления.

Положение наше в высшей степени трудно, и одно ослепление неприятеля может поправить наши дела... Быть может, бог по особой милости выручит нас, но вашему императорскому величеству должно быть готовым на все: и на потерю Севастополя, и на уничтожение большей части его храброго гарнизона.

Осмелюсь доложить, что от высылки сюда нового, особого запаса пороха и новых подкреплений будет зависеть многое для величия и славы царствования вашего, иначе будет очень худо впоследствии...»

Недвуммысленно давал Горчаков понять царю, что он может не только не отстоять Севастополь, но даже потерять и весь Крым, если ему не пришлют самым экстренным способом двадцать-тридцать тысяч пудов пороха. Пока же он сделал распоряжение по гарнизону, чтобы из каждого орудия производили не больше двадцати выстрелов в сутки. В случае же, если бы в ближайшие два-три дня не подошли транспорты пороха, он решил совсем прекратить ответную стрельбу на

канонаду противника, оставив последние снаряды на отражение штурма. Надеясь же при этом последнем акте защиты Севастополя больше всего на штыки, Горчаков послал приказ князю Урусову немедленно передвинуть 8-ю дивизию из-под Евпатории, где она продолжала стоять, на Инкерман.

То соображение свое, что интервенты могут атаковать его в тыл, высадившись на Каче, он все-таки не оставил, и Качинский отряд был им значительно усилен.

Уже через день после того, как он подписал и разослал по гарнизону приказ о двадцати выстрелах, решено было выпустить и другой приказ: о пятнадцати зарядах в день для орудий, охранявших самые важные точки обороны, о десяти—для второстепенных пунктов и о пяти для остальных. Ему казалось уже, что дни Севастополя сочтены.

И как будто только затем, чтобы утвердить его в этой вредной мысли, попавший в плен француз-минер стал кричать, проходя по площадке четвертого бастиона, что бастион этот вот-вот взлетит на воздух, что под минные галереи русских здесь французы подвели контрмины, и в них уже все готово для взрыва.

Конечно, это была большая оплошность офицеров бастиона, пустившихся в разговоры с пленным минером. От них пошла гулять зловещая новость к юнкерам, от юнкеров—к матросам и солдатам, которые ежеминутно начали ожидать взрыва и спрашивали даже, когда же их уведут с бастиона.

Но больше всех других обеспокоен был вздорным слухом сам главнокомандующий. Напрасно убеждал его Тотлебен, что подкопаться под галереи четвертого бастиона французы не могут по причине очень крепкого скалистого грунта. Горчаков счел нужным предупредить даже и царя, что Севастополь на краю гибели, что взрыв четвертого бастиона откроет врагу ворота города.

Тотлебен снова, как и за месяц до того, улавливал неопровержимо, что минер-француз врал, подобно тем сержанту и капралу. На четвертом бастионе все успокоились. Прошло дня два,—был вечер 3/15 апреля. Бомбардировка все эти дни начиналась по-заведенному в пять утра и продолжалась до густых сумерек. Сила ее со стороны французов не уменьшалась. Только англичане, боровшиеся с одним лишь третьим бастионом, уменьшали свой огонь, когда большое число их орудий бывало подбито. Однажды даже раздался громовой взрыв на батарее англичан, русский снаряд пробил там крышу порохового погреба... Это вызвало дружное «ура» всей оборонительной линии. Но вечером 3 апреля подобное же «ура» выпало на долю союзников.

Пленный минер соврал только наполовину:

Французы действительно подготовили взрыв если не четвертого бастиона, то четырех горнов,—двух простых и двух усиленных,—против исходящего угла бастиона.

Тут было достаточно воронок от прежних взрывов, и заняты они были русскими стрелками. Кроме того, на бастионе собрались рабочие для обычных ночных работ. Взрыв горнов произошел одновременно. Действие его похоже было на извержение небольшого вулкана в большой толпе. Вихрь камней разной величины взмыл высоко в воздух и обрушился на все передовые воронки и на площадку бастиона. До ста человек насчитано было потом убитых и раненых и пропавших без вести, то есть просто глубоко забитых в землю и заваленных камнями. Воронки, которые образовались от этого взрыва, оказались тоже исповинскими. Их вышло три, и в среднем они были по двадцати сажен длиною, до десяти шириною.

Можно было ожидать, что французы воспользуются смятением, охватившим бастион после этого взрыва, и пойдут на штурм. Этого и ждали защитники бастиона целую ночь, но Канробер остался верен себе и на штурм не решился. Воронки же заняли было французские стрелки, но они таким маневром вошли в слишком уж близкое соседство с четвертым бастионом. Оттуда полетели в них картечь, и бочонки с ручными гранатами, и штуцерные пули. Стрелков же своих начали усиленно поддерживать французские батареи. Так в ночь с 3 на 4 апреля началась упорнейшая борьба за обладание воронками, тем более что под 4 апреля прибыл наконец первый транспорт пороха, и Горчаков несколько ожил.

Французы принялись развивать свой успех, очень бивший в глаза, потому что одна из воронок, притом самая большая, оказалась в исходящем углу бастиона. Если нельзя было бы сказать, что их огонь против других бастионов и редутов ослабел, то против четвертого бастиона он стал гораздо сильнее, чем вначале.

Упорнее начали работать и французские минеры: взрывы горнов с их стороны следовали один за другим. Соблазняла, конечно, возможность соединить цепь воронок, чтобы получить глубокую траншею.

Это заставило защитников Севастополя взяться за верное средство—ночные вылазки и выбивать засевших в воронках штыками. Однако на место выбитых посылались новые роты. Воронки впереди четвертого бастиона сделались ареной ожесточенных стычек ночью и непрерывно обстреливались днем мортирными снарядами и картечью. За четверо суток в самых воронках и около них скопилось множество неубранных тел убитых и гяжело раненных. Раненые французы знаками просили у русских солдат воды.

— Мучаются, нет возможности смотреть на

них!—доносили солдаты офицерам.—Прямо жалости подобно!..

— Что же мы можем для них сделать?—говорили офицеры.

Тела убитых разлагались; раненых французы не брали, и Сакен приказал, наконец, Новосильскому попробовать выкинуть белый флаг и предложить французам перемирие для уборки раненых и убитых.

Предложение это было принято после полудня 7/19 апреля; и трупы и раненых убрали французы. Этот момент оказался переломным: десятидневная пасхальная канонада ураганной силы заменилась на другой день обыкновенной перестрелкой повсюду, кроме одного только четвертого бастиона. Но как бы много ни нанесли ему вреда, штурмовать его все-таки не решились.

Десятидневная бомбардировка, невиданная до того в истории войн, по существу кончилась ничем.

10

Правда, бомбардировка эта, в связи с минной войной и вылазками, вывела из строя много доблестных защитников Севастополя,—около шести тысяч,—второе больше, чем у интервентов,—но все-таки это был совсем не тот результат, которого лихорадочно ожидали граф Буоль и лорд Россель. Друзан де Люис и лорд Кларендон, Наполеон и Виктория, а за ними вся враждебная России Европа.

Севастополь пощипали, но не сбрили. Севастополь стоял такой же неприступный, как и в октябре. Во время перемирия 7 апреля французские офицеры говорили русским:

— Вы, русские, можете держать головы высоко и гордо: у вас есть своя Троя!

К бомбардировке, начатой на пасху, интервенты готовились очень долго и подготовили ее богатой рукой. Английские журналы, корреспонденты газет писали из Крыма, что союзники при заготовке снарядов руководились расчетом покрыть ими буквально все пространство, занятое Севастополем,—вымостить и улицы и дворы ядрами и осколками бомб. Сто шестьдесят пять тысяч снарядов из огромных осадных орудий и мортир было брошено ими в город за десять дней, и улицы, правда, оказались сплошь замощены ядрами, и много благополучно стоявших до этого домов было разбито, но военные советы союзных генералов, несколько раз собиравшиеся Канробером и Рагланом для решения вопроса о штурме, так и не пришли к положительному решению этого вопроса. Даже наиболее энергичные из французских генералов—Боске и Пелисье—сомневались в успехе штурма, несмотря на то, что четвертый бастион благодаря сосредоточенному против него исключительной силы огню представлял уже собою к концу бом-

бардировки беспорядочные груды навороченной взрывами бомб земли рядом с такими же беспорядочно зиявшими всюду ямами воронок, так что даже и сам Нахимов в конце концов вынужден был признать, что восстановить бастион за одну ночь невозможно.

И французы видели это, но на штурм не пошли, хотя их резервы могли быть расположены гораздо ближе, чем русские, потому что от них вполне зависело выбрать удобнейшие день и час штурма.

Что же остановило их?

На этот вопрос ответила одна из английских газет того времени:

«Все средства разрушения были пущены в дело, чтобы потушить огонь русских батарей, но его не удалось потушить,—следовательно, севастопольская твердыня все еще в состоянии устоять против штурма. Необходимо согласиться и с тем, что в самых работах, на которые опирается оборона, есть нечто новое, нечто такое, чего не встречалось еще в истории достопамятнейших осад, и на это следует нам обратить свое внимание».

Воздав должное русскому солдату—артиллеристу и пехотинцу, англичане в этом отзыве выдвинули на передний план и русского солдата-рабочего.

А французский историк этой войны Герен, дойдя до итогов десятидневной бомбардировки, вынужден был заметить меланхолически:

«Наполеон I завоевал бы три или четыре государства с половиною тех средств, как деньгами, так и людьми, каких стоила уже теперь осада Севастополя... Вобан¹, Тюрень² и Конде³ при Людовике XIV не располагали такими средствами для присоединения к Франции нескольких областей и многих укрепленных городов, уступленных ей по Нимвегенскому миру!...»⁴

Неудача бомбардировки значительно охладила и пыл союзных войск; при этом не могла, конечно, не сказаться и усталость от слишком большого напряжения сил. Необходим был отдых, и перестрелка потом в апреле продолжалась уже вяло, так что даже и четвертому бастиону доставлена была полная возможность восстановиться без особенной спешки.

¹ Вобан Себастиан (1663—1707)—французский военный инженер, строитель и организатор французских крепостей и руководитель ряда осад в царствование Людовика XIV.

² Тюрень Анри (1611—1675)—французский полководец эпохи Людовиков XIII и XIV.

³ Конде Людовик, принц (1621—1686)—французский полководец, за одержанные им победы прозванный Конде Великий.

⁴ Нимвегенский мир заключен в 1678 г. в г. Нимвегене в Нидерландах между Францией, Испанией и Нидерландами после войны, возникшей вследствие притязаний Людовика XIV на часть испанских Нидерландов.

Боевые матроски, забрав ребятишек и скарб, снова ринулись с Северной па свою Корабельную; торговцы переправились тоже и открыли снова торговлю, иные, правда, в других уже домах, если их прежние торговые помещения не уцелели... И в какие-нибудь три-четыре дня прижужавший было Севастополь снова ожил, и под весенним жарким солнцем опять засновали его притерпевшиеся даже и к «страшному суду в большом виде» выносливые обитатели, и ребята на развороченных улицах целыми днями играли в ядра, закатывая их в воронки и радостно вскрикивая при их глухих чугунных стуках друг о друга.

Из вместительных казарм Николаевской батареи, где отсиживались около двух недель Зарубины с младшей дочкой, вернулись и они в свой домик на Малой Офицерской, который счастливо уцелел, хотя сарай рядом был пробит, а одна стена его завалилась, и несколько деревьев в саду было вывернуто с корнями, как ураганом.

Стекла в рамах, правда, вылетели, но дело шло к лету, и особых неудобств это не представляло.

Капитолина Петровна поахала, покачала сокрушенно крупной головой, но скоро успокоилась за себя, глядя на то, что было кругом у соседей, и когда усталый от долгой ходьбы Иван Ильич обратился к ней с мольбой в глазах:

— Что ж, Капитоша, как, а?.. Может быть, того... самоварчик бы поставить?—Она тут же пошла на кухню привычно хлопотать по хозяйству.

А к вечеру пришла Варя.

— Столько раненых, столько раненых было, ужас!—говорила она.—Ну, теперь уж, слава богу, их почти всех отправили, кого на Северную, в госпиталь, кого дальше,—в Бахчисарай... А прапорщик Бородатов, мама, он теперь тоже уж в госпитале, на Северной. Он поправляется... Нога срослась, только повязку еще не снимают... Пирогов заболел, бедный,—на перевязочный не приходит... Конечно, врачей у нас много, и немцев даже несколько человек, только все говорят, что один Пирогов целых ста врачей-хирургов стоит... Конечно, они, наши врачи, тоже люди знающие, но ведь, мама, подумай, если бы только тогда, когда поручика Бородатова принесли, его не было, ведь ногу бы ему отрезали, мама, а это такой ужас,—очень мало выздоравливают, когда ногу отрезают выше колена!

— То у тебя он прапорщик, этот Бородатов, а то уж сразу поручик стал,—заметила мать, любящая ее оживлением, и Варя тут же отошла от этого с горячностью:

— Ну, разумеется, он пока еще прапорщик, но ведь чины-то его, как тяжело раненному, вернут ему, он сам говорил мне об этом.

— Где твой перевязочный пункт, а где госпиталь! Когда ты там побывать успела?—спросила

Капитолина Петровна; но, слегка зардевшись от этого замечания, Варя сказала деловито:

— Ведь мне же приходилось не один раз сопровождать туда раненых, мама!

О том, что Витя уцелел на своем Малаховом, в семье уже знали, и все чувствовали себя в этот вечер так, как мореплаватели, которых долго трепало штормом в открытом море, пока не выкинуло, наконец, на знакомый им берег. Путешествие, правда, далеко еще не окончено, и будущее, может быть, угрожало еще большими бедами, но все-таки дана судьбою спасительная передышка,— пользуйся же ею, живи, дыши свободней, оглянись повеселее вокруг,—иначе как же возможно пережить то, что тебе еще выпадет на долю!

Глухо ударило в землю в стороне. Капитолина Петровна, ставившая в это время кипящий самовар на стол, посмотрела в окно и сказала:

— Это, кажется, у Микрюкова в саду упало. Другие же даже и не посмотрели в ту сторону: у Микрюкова, так у Микрюкова упало ядро,— ведь не у них же.

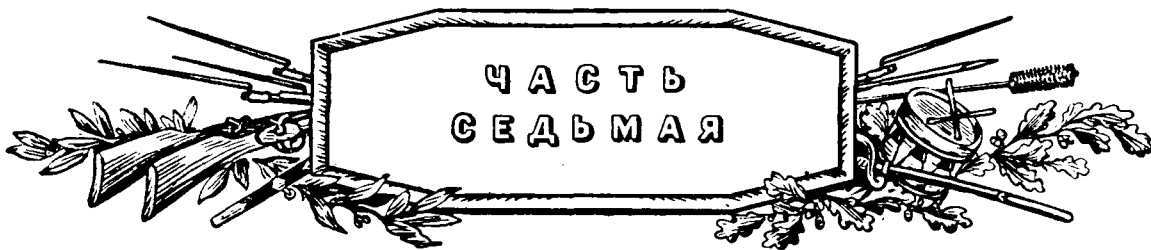
И маленькая Оля стала уже равнодушна к этим изредка падавшим ядрам, как была равнодушна к осенним дождям. Она нарвала букетик фиалок, распустившихся у них под деревьями, и не могла на него наглядеться.

А Иван Ильич, облизывая языком сухие губы, внимательнейше следил только за тем, как жена его загрубевшими руками резала купленную по дороге сюда франзолью и потом заваривала чай. А когда чай заварился и она взялась за его стакан с подстаканником, чтобы налить ему первому, как всегда,—он протянул по-детски просительно:

— Только, Капочка, родная... нельзя ли, а нельзя ли, мамочка, мне покрепче?..

КНИГА ТРЕТЬЯ





ГЛАВА ПЕРВАЯ ДВА ПРАЗДНИКА

1

Чудовищно быстро двигались жуткие всеразрушающие чугунные тучи над головой,—тучи из десятков тысяч снарядов... Раз за разом здесь и повсюду лопались бомбы, разрывая на мелкие куски человеческие тела... Те же, упругие, упрямые, упрятанные в траншеи тела, вздымались вдруг высоко в воздух и, падая, разбивались о жестоко развороченную взрывами минных горнов скалистую землю бастиона... Миллионы пуль пели, как пчелы на огромном пчельнике, которых перестает уже отмечать ухо: они сплошь... Ревели осадные тринадцатидюймовые пушки и мортиры, переплавляя этим ревом все людские ощущения и мысли неузнаваемо и надолго: ведь люди и сами не знали о себе самих, что могут они вынести этот ад, но вот вынесли, однако ценою какого страшного напряжения нервов!..

И когда стало, наконец, тихо вдруг после одиннадцатидневной канонады, совсем тихо, настолько тихо, что можно уж стало считать выстрелы свои и чужие, пришли награды из Петербурга... Награды тем, кто случайно остался в живых.

Эти награды, впрочем, отнюдь не касались подвигов, оказанных гарнизоном Севастополя в дни «страшного суда в большом виде». Они были просто очередными наградами, приуроченными, как ежегодно, к первому дню пасхи.

Начальник севастопольского гарнизона, барон Остен-Сакен, был награжден графским титулом,—стал, наконец, «сиятельством»; его начальник штаба, князь Васильчиков, произведен был в генерал-майоры, так же как и Тотлебен, а вице-адмирал Нахимов—в полные адмиралы.

И менее всех понимал смысл полученной им пасхальной награды именно он, Нахимов. Он даже ворчал недовольно, обедая со своими адъютантами:

— Ну, вот-с, изволь теперь эполеты менять!.. А где их тут прикажете достать-с, у нас, в Севастополе-то, адмиральские эполеты-с?

Эти новые эполеты на свой знаменитый сюртук он так и не пытался искать,—продолжал ходить в старых, вице-адмиральных; но адъютанты убедили его все-таки в том, что, по случаю производства в адмиралы, ему необходимо выпустить соответствующий приказ по гарнизону, хотя бы из тех соображений, чтобы обращались впредь к нему, именуя «высокопревосходительством».

— Очень длинно-с!—отозвался на это Нахимов.—«Высокопревосходительство»—длинно-с! Даже и для мирного времени, а не то что, как у нас тут... Потеря времени-с!.. Надо бы ввести как-нибудь покороче, полегче-с!.. Ну, что же делать, составьте приказ, я подпишу, напечатаем, разошлем...—обратился он к старшему из адъютантов.

Приказ составлялся, впрочем, не одним только старшим адъютантом: всем другим тоже хотелось вставить в него свое словечко; но когда он был принесен на подпись адмиралу, тот его не только решительно отверг, но даже как будто рассердился; по крайней мере усиленно зачмыхал носом и даже покраснел.

— Совсем не то-с!.. Совершенно не так-с!—отдвинул он от себя красивым почерком написанную бумагу.—Нужно и не о том и... и совсем иначе-с!.. Ну, где у вас тут матросы?..

И как ни казалась ему всякая вообще письменность трудным и противным делом, все-таки он уселся писать приказ сам.

Вот что у него вышло:

«Геройская защита Севастополя, в которой семья моряков принимает такое славное участие, была

поводом к беспримерной милости монарха ко мне, как старшему в ней. Высочайшим приказом от 27 минувшего марта я произведен в адмиралы. Завидная участь иметь под своим начальством подчиненных, украшающих начальника своими доблестями, выпала на меня.

Я надеюсь, что гг. адмиралы, капитаны и офицеры дозволят мне здесь выразить искренность моей признательности сознанием, что, геройски отстаивая драгоценный для государя и России Севастополь, они доставили мне милость незаслуженную.

Матросы! Мне ли говорить вам о ваших подвигах на защиту родного нам Севастополя и флота! Я с юных лет был постоянно свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию; мы сдружились давно; я горжусь вами с детства!

Отстоим Севастополь, и если богу и императору будет угодно, вы доставите мне случай носить мой флаг на грот-брам-стенге с тою же честью, с какою я носил его, благодаря вам, и под другими клотиками¹. Вы оправдаете доверие и заботы о нас государя и генерал-адмирала и убедите врагов православия, что на бастионах Севастополя мы не забыли морского дела, а только укрепили одушевление и дисциплину, всегда украшавшие черноморских моряков.

Флаг полного адмирала был в те времена белый с андреевским крестом. Поднимался он на вершине главной мачты корабля грот-брам-стенге под клотиком—деревянным кружком, в который вделываются шкивы для подъема и опускания тросами флагов и фонарей.

Так что, хотя и вошло уж в привычку Нахимова говорить: «Мы ведь из Севастополя не выйдем-с... Мы все здесь ляжем до одного-с!»—все-таки в приказе, обращенном к героям—морякам севастопольского гарнизона, Павел Степанович решил на коротке помечтать о временах лучших, когда, быть может, он, адмирал с огромными боевыми заслугами, будет водить по освобожденному русскому Черному морю возобновленный, возрожденный, могучий флот, способный отбить любое нападение врагов.

2

Нахимов не любил и не умел писать, и слог его был коряв, однакоже несколько взволнованно-теплых, от сердца идущих фраз, обращенных им к матросам, прозвучали по экипажам гораздо более торжественно-празднично, чем все колокола уцелевших к пасхе колоколен Севастополя.

¹ Клотики—наконечники флагштоков, то есть шестов, которые устанавливались на носу или корме корабля для поднятия флага.

Черноморские моряки от вице-адмирала до последнего матроса знали, что Нахимов и после Синопской победы уклонился от всяких чествований, говоря, что совсем не он—виновник победы, а экипажи кораблей его эскадры. Теперь они видели также, что он не праздновал у себя и повышения в чине, как им лично «незаслуженную милость» царя.

И вот получилось как-то так, что кем-то брошенная мысль была единодушно подхвачена всеми: если действительно, как сказано в приказе, матросы и офицеры флота явились виновниками того, что совсем еще недавний вице-адмирал Нахимов произведен в адмиралы, то они, значит, и будут праздновать это как свою награду.

Конечно, в пасхальном списке награжденных, пришедшем из Петербурга в Севастополь, много было моряков офицеров, и много крестов и серебряных медалей «за храбрость» прислано было для матросов всех экипажей, и одно это могло уже быть вполне достаточной причиной желавшим праздновать, тем более что настали как нельзя более подходящие для этого ласковые, устойчиво теплые весенние дни, перестрелка же значительно ослабела. Но, как всегда бывает при наградах, достаточно нашлось обойденных или только считавших себя обойденными,—между тем праздновать хотелось всем без исключения, и Черноморский флот от мала до велика пустился праздновать производство Павла Степановича в адмиралы.

Этот праздник не был приурочен к какому-нибудь одному определенному дню. Он рассыпался, раскатился, подобно шарикам ртути, по апрельским дням, начиная с двенадцатого числа, когда сделался известен во всех экипажах приказ Нахимова.

Это был длительный праздник в честь адмирала, который ежедневно запросто появлялся на бастионах, чтобы делать то здесь, то там обычное матросское дело,—самому наводить орудия.

— Какой это к чорту адмирал!—фыркая, говорили о нем столичные фертики, флигель-адъютанты.—Это какой-то неумытый матрос, переодетый адмиралом!

Даже в Севастополе, в обществе тех, которые входили в свиту Меншикова, а после его отставки присосались к Горчакову, находились люди в чинах, которым претила эта простота, эта простонародность Нахимова, проявлявшаяся во всей его манере говорить и держаться, несмотря на его неизменный сюртук с вице-адмиральскими эполетами.

Но матросы, как и офицеры флота, очень хорошо знали, чем был для них Нахимов.

Когда генерал Веллингтон, командовавший английской армией во время борьбы Европы с Наполеоном I, посетил однажды в весьма ненастный день свои передовые позиции, солдаты сравнивали его появление с появлением солнца, которое сразу

и обсушило, и обогрело их, и наполнило их бодростью и силой; в этот день, к вечеру, разыгралось сражение, и они победили.

Нахимов повседневно был подобным солнцем. Бывший поэт парусов на глазах у всех превратился в поэта бастионов. Он был совершенно бесстрашен под пулями и ядрами. Однажды на четвертом бастионе он увидел незнакомого для себя молодого офицера.

— Как ваша фамилия?—спросил Нахимов.

— Бульмеринг, ваше превосходительство,—ответил тот.

— Кратчайшую дорогу на редут Шварца знаете?

— Так точно, ваше превосходительство!

— Прекрасно-с! Проводите-ка меня туда.

Бульмеринг направился за линию батарей; Нахимов сделал было несколько шагов вслед за ним, но, оглядевшись, остановился и закричал:

— Позвольте-с, молодой человек! Почему же вы меня ведете не по стенке-с?

— По стенке придется идти совершенно открыто, между тем как...

— Да вы знаете ли, кого вы взялись вести?—чрезвычайно удивился Нахимов, выкатив голубые глаза.

— Никак нет, ваше превосходительство, я только что переведен в Севастополь...

— Это другое дело-с! Тогда позвольте вам представиться: я—Нахимов-с и по трюцобам—не хожу-с!.. Извольте идти по стенке-с!

И пошел сам по линии батарей.

Этот случай и много других подобных были известны всем в Севастополе, и все знали, что для Нахимова было совершенно естественно ездить на верхом или ходить пешком по бастионам, не обращая ни малейшего внимания на смертельные опасности кругом, а спасительные траншеи и блиндажи называть «трюцобами».

Он знал по фамилии матросов-комендоров на батареях,—это были его особые любимцы, и, подходя к тому или иному из них, говорил он, улыбаясь:

— А-а, жив-здоров? Ну, слава богу! Здравствуй, Сенько! (Или Ковальчук, или Грядко, или Катылев, или Редькин.)

— Здравия желаю, Павел Степаныч!—улыбаясь тоже, радостно гаркал матрос и в свою очередь осведомлялся:—Всё ли здорово?

— Ничего-ничего, братец, как видишь,—разводил руками Нахимов.

— Ну, дай боже, Павел Степаныч!

Не любил, когда новички-солдаты при его приближении, из почтения к его единственному в Севастополе генеральским эполетам, снимали фуражки. Махал на них и кричал:

— Надень, надень!.. Эка ведь пустяками какими головы набиты,—вздорами-с!

Теперь, после приказа от 12 апреля, все флотские офицеры и матросы на равных с ними правах считали неотъемлемо необходимым поздравлять Нахимова с наградой—производством в полные адмиралы; и только когда удавалось поздравить торжественно и от сердца,—приступали к празднеству,—в блиндажах ли, или на городских квартирах.

Пили при этом сверхчеловечески, но пили за Севастополь, за Черноморский флот, за моряков на всех бастионах и за Павла Степановича Нахимова, «отца матросов».

3

Апрель был уже в полной красоте. Екатерининская улица со своими пышно развернувшимися большими деревьями—каштанами и белой акацией—казалась аллеей для гуляний, и на ней действительно прогуливались по вечерам, а на бульваре Казарского снова, аккуратно с шести часов, начала греметь полковая музыка, как это было до бомбардировки.

Нахимову однажды вздумалось проехаться на Малахов именно в такой вечерне-отдыхающий час. Из шести своих флаг-офицеров он взял с собою только одного—лейтенанта Колтовского; переправился через Южную бухту по второму мосту, устроенному на бочках, про запас, и его же заботами.

Проезжая по Корабельной, он пустил своего серого шагом, чтобы лучше рассмотреть, какие здесь произошли изменения за последний день, и Колтовской,—сын вице-адмирала Балтийского флота, из товарищей Нахимова еще по первым годам его службы,—заметив его пристальные и зоркие взгляды влево и вправо, счел нужным отозваться на это весело:

— Все-таки как им ни накладывают в макушку, довольно еще осталось здесь совсем почти целых домишек!

— Ага! Вот-с... Именно-с!.. Не всякая пуля в лоб и не всякое ядро в дом-с,—качнул головой Нахимов, а Колтовской продолжал:

— Так что если бы вдруг завтра каким-нибудь чудом вышел конец осаде, то через месяц, не больше, починилась бы в лучшем виде Корабелка и зашумела бы не хуже прежнего!

— Она и теперь что-то очень шумит,—заметил Нахимов.—По убитому, что ли, вон там впереди толпа?

Колтовской присмотрелся и сказал тоном адъютанта, избалованного неизменным добродушием своего начальника:

— Есть толпа впереди, точно, Павел Степаныч, только, кажется, там отхватывают трепака в кругу, чего перед убитыми пока еще не позволено делать, хотя все уж мы порядочно одичали.

Он улыбался—молодой, самоуверенный, несколько излишне горбоносый, что, впрочем, придавало решительность и законченность его слегка расплывчатому лицу,—а Нахимов спрашивал недоуменно:

— С какой же такой радости они расплясались вдруг, а?.. Смотрите-ка-с, ведь и в самом деле, кажется, пляшут-с!

Но в толпе заметили адмирала, плясуны стали «смирно». Плясуны были матросы, и в кругу около них—матросы, матроски, ребятишки. А когда поровнялся Нахимов с толпой, из нее вышла навстречу ему матросская сирота Даша,—первозванная сестра милосердия, хотя и без золотого креста на голубой ленте, зато с серебряной медалью на аннинской,—поклонилась поясным поклоном и проговорила певуче:

— Ваше превосходительство, Павел Степаныч! Сговор у меня сегодня... Будьте такие ласковые, зайдите, не откажите—хлеба-соли отпробовать!

— Сговор?

Нахимов вопросительно посмотрел на Колтовского: бывает так, что выпадает иногда из памяти слово, редко звучащее в жизни.

— Помолвка,—так кажется,—подсказал Колтовской.

— А-а! Вот что-с! Замуж выходишь?—понял, наконец, Нахимов.—За кого?—За матроса? Не разреши-с!

— Только еще сговор пока, а уж замуж, как война кончится,—бойко ответила Даша.—Еще как обойдется, а то и жениха исхарчить может, да и меня тоже,—не страхованная.

— Это так... А с кем же у тебя сговор? С Кошкой?—заметил в толпе этого лихого матроса Нахимов.

Дружно засмеялись в ответ на это все, а громче всех сам Кошка, который был багрово-красен, так как порядочно успел уже выпить, но держался на ногах прочно.

— Ну, с Кошкой мне куда уж справиться, Павел Степаныч!—живо подхватила Даша.— Это только ведь говорится: «Жена да боится своего мужа», а думается: «Як він ее подужа!..» А уж на этого Кошку хо-ро-шую цепную собаку надо,—мне-то куда уж!

И опять все захохотали кругом, даже и ребятишки, а Даша проворно вытатила из толпы молодого еще матроса смирного вида и представила:

— Вот он—мой жених! Тридцать пятого экипажа Подгруппный Лукьян.

— А-а! Ничего-с! Неплохо-с... Малый статный, собой красивый... Совет да любовь,—так, кажется, сказать надо-с?.. А вон кстати-с и французы вам на сговор букетик прислали-с!—кивнул Нахимов на белый дымок разорвавшейся в это время вверху, шагах в пятнадцати от них, гранаты.

Далеко не все оглянулись на «букетик», присланный французами; большинство даже и не пошло голов: эти букетики можно было видеть все-таки гораздо чаще, чем Павла Степаныча Нахимова; тем более что теперь всех занимало одно только это: зайдет ли их адмирал в хату, где праздновался сговор.

И все лица расцвели довольными улыбками, когда Нахимов спрыгнул с серого и по привычке одернул задравшиеся кверху штанины брюк. Колтовской смотрел на него вопросительно, высвободив из стремени правую ногу,—нужно ли слезать также и ему; Нахимов утвердительно шевельнул бровями.

И вот «отец матросов» стоял уже в хате, в тесном кругу матросов и матросок с Корабелки; на столе, наскоро прибранном, красовалось все, что могло найтись, как закуска под водку: и сушеная тарань, и жареные бычки, и ставридка, мелкая рыбешка, ловившаяся удочками в бухте, и даже греческое блюдо—ракушка мидия с рисом; но больше всего было веселого зеленого луку, на который особенно щедра бывает огородная земля в апреле. Густо пахло зеленым луком и от Даши, и от ее жениха, и от прочих.

— Присядьте, ваше превосходительство!.. Садитесь, будьте ласковые, Павел Степаныч!.. Уважьте сиротку нашу!..—обращались к Нахимову со всех сторон с ненадуманно-ми словами больше матроски, чем матросы, суетливо расширяя для него за столом самое лучшее, по их мнению, место.

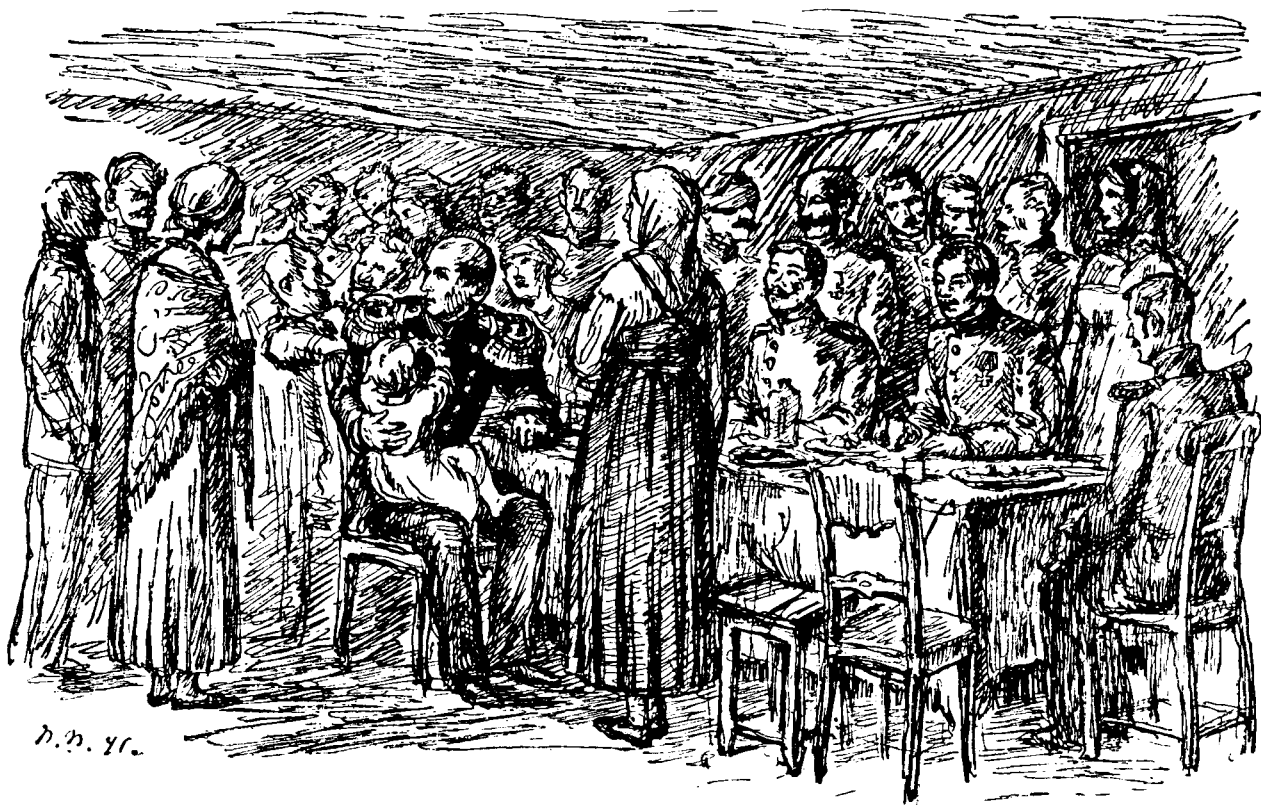
— Ну, что же, сядем-с, посидим минутку-с,—за себя и за своего флаг-офицера решил благодушно Нахимов.—А если найдется у вас холодная вода с чуть-чутькой вина красного,—показал он на кончике своего мизинца,—то я и выпью-с!

— Вина! Красного!—засуетились все около, и общая настала растерянность: не было красного вина,—была только бутылка вишневой наливки, припасенная для слабого пола.

Делать было нечего: так вот сразу взять и достать красного вина поблизости было негде; подкрасили вишневкой стакан воды, Даша сама, как виновница торжества, преподнесла его Нахимову, и все с разных сторон потянулись шумно чокаться с ним, отчасти чтобы скрыть суматохой кое-какой конфуз.

Колтовской, приметив, из какой бутылки доливали стакан с водой, наблюдал с улыбкой, как отнесется его адмирал к подделке, но Нахимов сделал вид, что напиток получился как раз по его вкусу и желанию.

Он сидел за столом в этой очень тесной, насквозь пропахнувшей зеленым луком и другими густыми и стойкими запахами хатенке, благодушно-веселый. Участливо вглядываясь в голубые глаза Даши своими, тоже голубыми, слегка прищуренными глазами, внимательно выслушал ее рас-



сказ, как послушно вел себя ее жених на первом перевязочном пункте, когда попал туда, раненный пулей в мягкую часть левой руки около плеча, и какая здоровая оказалась у него кровь: у очень многих раненых, даже если и совсем царапина, а не рана, даже если просто пиявку приставили к сильному ушибу, то и в укушенном пиявкой месте начинается почему-то рожа,—а это очень скверная штука!—у него же и следа не было рожи,—вот какая кровь!

Матрос Лукьян Подгрушный, с мягкими еще, но густыми темными усами, кареглазый, плечистый, дюжий детина, глядел и на свою невесту и на адмирала с большим белым крестом на шее одинаково озабоченно: видно было, что он все-таки ждет с некоторым страхом, что вот-вот его бойкая Даша скажет что-нибудь не то и не так и раздосадует командира порта.

Однако Нахимов остался неизменно благодушен до конца, когда уже начало заметно смеркаться. Он даже поковырял вилкой в икре особенно большого бычка, когда начали усиленно упрашивать его что-нибудь откусить, хотя и говорил он направо и налево, что только недавно обедал.

О том, что раненые после ампутации плохо выздоравливают, а многие из них погибают вследствие рожи, он знал, конечно, так как часто бывал

и на перевязочных пунктах и в госпитале на Северной. Совсем недавно, например, умер от такой же точно раны в руку, какая была у жениха Даши, полковник Лушков, только что назначенный, всего может быть за неделю перед ранением, командиром Волынского полка на место генерал-майора Хрущева. Знал он и то, что под влиянием большого числа неудачных исходов своих операций академик Пирогов становился все мрачнее и мрачнее, наконец, заболел сам и слег и лечит себя черникой.

Поэтому выбор Даши он, заматерелый холостяк и даже, по мнению флотских дам, яростный противник брака, одобрял и про себя и вслух, говоря ей:

— Жених хорош!.. Жених по невесте, вполне-с!.. Вот отстоим Севастополь, сыграем тогда свадьбу-с... Приглашай тогда и меня.. В шафера, правда, я уж не гожусь,—устарел, в посаженные отцы не вышел,—надо женатого, а вот свадебным генералом я быть могу-с!.. Могу ведь, а?—обратился он через стол к Кошке, который сидел против него и не сводил с него восторженно хмельных глаз.

Когда кивнул ему Нахимов, он тут же вскочил, деревянные руки прижал ко швам и выкрикнул с чувством:

— Ваше превосходительство!

Вспомнил приказ о производстве в адмиралы и смеялся:

— Виноват! Ваше высокопревосходительство!— но тут же оправился, увидев улыбку Нахимова:— Павел Степаныч!.. Я еще в надежде даже, что, как если разрешите, и на вашей свадьбе казачка спляшу в лучшем виде!.. Поразогнала, конечно, бандировка всех невестов, ну, да Севастополь отстоим,—они вернутся, а уж лучше вас жениха им не найти в жизнь!

— Ка-кой комплиментчик!—сложив руки, засмеялся Нахимов.—Это уж называется: благодарю-с, не ожидал-с!

Беловолосая девочка лет четырех, которую матроска держала на руках, а потом опустила на пол, сказав устало: «Ну тебя совсем, какая тяжеленная телушка!»—проворно протиснулась между ног толпы прямо к этому важному генералу в золотых эполетах и ушла в него глазами, задрав головенку и открыв рот.

— Ишь ты ведь, какая любопытная!—заметил ее Нахимов, поднял и посадил к себе на колени.

— Как тебя зовут?—вздумал спросить девочку Колтовской, но она только чуть покосилась на него, а ответила этому старику в красивых эполетах и с белым крестом на шее:

— Катька!

Голос у нее оказался басовитый.

— Спротка,—сказала о ней Даша:—Отца еще в январе убили.

— А кто отец был?—спросил Нахимов.

— Селиванкин фамилия... На втором бастионе смерть получил...

— Селиванкин?.. Помню Селиванкина.

Нахимов старательно пригладил белые каткины вихры и сказал ей вдруг притворно строго:

— Уезжать отсюда надо-с! Где мать, покажи-ка!

Девочка пошарила по толпе глазами и протянула пальчик:

— Во-он мамка!

Женщина в белесом платочке, с худым, скуластым, успевшим уже загореть, не то обветриться лицом, выступила вперед из толпы.

— Уезжать надо с Катькой, а то, ну-ка, не убережешь ее тут,—обратился к ней Нахимов.

— Одна, что ль, у меня Катька?—отозвалась матроска.—Окромя ее двое еще есть.

— Вот видишь ты! Трое, а ты их как бережешь? Скажешь, денег нет на отъезд,—приходи ко мне в штаб, там тебе выдадут пособие.

— Спасибо вам, Павел Степаныч,—низко поклонилась матроска, но Нахимов сказал, приглядевшись:

— Не вздумай только потом здесь остаться, взыщу-с!

— А может, замирение выйдет, ваше высокопревосходительство?—робея, спросил жених Даши.

— Не жду-с!—решительно ответил Нахимов и нахмурился.—Никакого замирения пока что не может быть и не будет-с!

4

Апрель в Севастополе явился не только месяцем теплой весенней ласки, буйной зелени и цветов и кое-какого отдыха от жестокой одиннадцатидневной бомбардировки,—это был еще и месяц надежд на скорый мир и снятие осады.

Много ходило тогда слухов о венских конференциях, на которых действительно решалось как раз в это время продолжать или закончить войну, оказавшуюся слишком убыточным предприятием для западных держав. Правда, уже к концу апреля венские конференции зашли в тупик, но в Севастополе об этом еще не знали.

Пехотные полки видели, как празднуют моряки разных экипажей, и вот решено было среди пехотного офицерства четвертого отделения оборонительной линии устроить свой праздник в одном из полков. Хрулевым был выбран для этого Охотский полк, праздновать же нужно было нечто обязательное, определенное; остановились на том, что охотцы честно и славно несли шестимесячную, приравненную указом Николая к шестигодовой, боевую службу по защите Севастополя, появившись здесь накануне Инкерманского боя. Днем праздника выбрано было 1 мая.

Часто случается так, что когда назначают заранее день торжества на свежем воздухе, начинает вдруг строить всякие каверзы погода. И охотцы и их соседи по биваку ретиво принялись готовиться к празднику, но как раз в разгар этих хлопот и забот—27 апреля—хлынул проливной дождь. Думали, что каверзы кончатся на этом, но на следующий день дождь повторился, а 29 апреля лил как из ведра весь день. Пришли в отчаянье, но канун праздника выдался благотворно-солнечный, а благодаря трехдневным дождям только пышнее и ярче распустилась кругом всякая зелень, и начисто смыта была своя и чужая кровь с передовых редутов. Погода же на 1 мая удалась как нельзя лучше для торжества. И на той же самой Корабельной слободке начался утром праздник охотцев.

Начался он панихидой в походной церкви полка по убитым и умершим от ран и болезней; много насчитано было таких, и долго пришлось бы священнику читать имена, если бы вздумал он прочесть их все. Потом отслушали молебен и, наконец, стали выходить из церкви, и первым вышел взвод георгиевских кавалеров—семьдесят человек—краса полка.

Конечно, эта краса полка должна была пройти церемониальным маршем перед начальством, среди которого были: и Хрулев, как начальник всех пе-

хотных частей Корабельной стороны, и генерал Павлов, как начальник 11-й дивизии, в которую вошел Охотский полк, и новоиспеченный генерал князь Васильчиков, как начальник штаба гарнизона, и еще несколько генералов.

Конечно, играл при этом полковой оркестр Охотского полка, но в нижнем этаже самого вместительного из домов Корабельной слободки, в котором жил Хрулев и который он теперь уступил для праздника охотцам, ждали кавалеров еще три оркестра остальных полков дивизии, а кроме того сборный хор певчих, человек восемьдесят.

Просторные комнаты как нижнего этажа, так и верхнего были сплошь уставлены столами с бутылками и закусками,—внизу попроще, для солдат, вверху поизысканней для генералов и офицеров.

Охотцы привлекли к подписке на обед многих офицеров из других полков, которые могли быть свободными 1 мая, и подписка дала три тысячи серебром, но были еще и крупные вклады, позволившие развернуть обед на весьма широкую ногу. Одного шампанского заготовлено было полтысячи бутылок, паштета из дичи на двести персон...

Но и кроме паштета из дичи было много блюд, внушающих уважение: недостатка в хороших поварях в то время еще не замечалось в Севастополе. Большими искусствами были коки каждого корабля, но не прекращали своей весьма доходной деятельности и гремевшие здесь до войны рестораны Серебрякова и Томаса; даже и на Корабельной вполне исправно кормил офицеров ресторан под вывеской «Ростов-на-Дону».

Для того чтобы заготовить к празднику все без отказа, нашли подрядчика, человека по-военному смелого, который обязался заготовить вина разных сортов и марок хотя бы на пол-Севастополя, а если бы вдруг чего не достало для пирующих, то соглашался и на то, чтобы совсем ему ничего не платили.

Из генеральских квартир в городе доставлены были богатые сервизы: фарфор, хрусталь, серебро, даже золото... Букеты всевозможных цветов из окрестностей Севастополя украшали столы верхнего этажа, но не забыты были и столы нижнего: всюду в кувшинах белели там благоухающие кисти акаций, золотели желтофиоли...

Горчакова не было на празднике, но когда Хрулев поднял бокал за здоровье главнокомандующего, то все полтораста человек соединенных оркестров дивизии и восемьдесят песенников грянули горчаковскую песню:

Жизни тот один достоин,
Кто на смерть всегда готов;
Православный русский воин
Не считая бьет врагов!

Однако и сам Хрулев, виновник праздника, был хорошо известен солдатам-охотцам еще по Дунайской кампании, когда против турецких скопищ под Туртукаем, на острове Голом, повел он лично в атаку их полк. Это было не так и давно, в феврале 1854 года; и вот подвыпивший фельдфебель Кривопуттов, один из георгиевских кавалеров, с бокалом шампанского вышел в палисадник перед домом и возгласил, подняв голову к балкону второго этажа:

— За здоровье генерала Хрулева Степана Александровича!

Хрулев тут же появился на балконе с графином водки и чайным стаканом, налил себе на глазах у всех, без фальши, доверху полный стакан, звонкоголосого, как команду, прокричал:

— Здоровье всех георгиевских кавалеров, ура-а!

Потом молодецки, не отрываясь, «вонзил в глотку» весь стакан до дна и высоко подбросил его над крышей дома.

Долго потом гремело «ура» Хрулеву.

Он уже стал широко известен среди солдат и матросов как храбрец самой высокой марки.

Всегда в сопровождении своего телохранителя, здоровеннейшего боцмана Цурика, всегда в папаше и бурке и на неизменном белом кабардинце, сидя по-казацки, пригнувшись к луке деревянного казачьего седла и упиравшись ногами в деревянные же огромной величины, точно две крысоловки, стремяна, он с первых же дней своего появления в Севастополе стал фигурой, которую нельзя было не запомнить, раз только ее увидев. Но удивить севастопольцев личной храбростью было уже гораздо труднее. Однако и это удалось Хрулеву.

Он появлялся в самых опасных местах и в какое угодно время. Было однажды, что он направился на Малахов, обеспокоенный очень усилившейся вдруг бомбардировкой. На той стороне Малахова, которая смотрела на Севастополь, сохранились еще несколько матросских хатенок-полупещер; они выстроились двумя рядами, образуя узенькую улицу. Несколько человек солдат шли по ней; догоняя их, ехал Хрулев.

Вдруг бомба большого калибра упала в верхнем конце улицы и, подпрыгивая, покатила вниз. Солдаты разбежались и легли на землю около домишек, между тем бомба попала в неглубокую воронку, из которой не могла уже выбраться и принялась вертеться и шипеть,—грозный признак!

— С лошади, с лошади, ваше превосходительство!—закричали солдаты Хрулеву, который продолжал двигаться вперед, хотя и шагом, потому что в гору.

— Вот тебе на! Это зачем же?—спросил, не останавливая коня, Хрулев.

— Бомба! Бомба!

— Вижу... А может, не разорвет ее?

— Разорвет! Разорвет!

— Ну, авось нет!—усмехнулся Хрулев и послал кабардинца вперед.

Это была, конечно, счастливейшая случайность, что бомба повертелась, пошипела и успокоилась, не дав взрыва. Хрулев проехал мимо нее вполне благополучно; но для солдат, видевших это, он сразу стал существом необыкновенным, особенно когда обернулся он к ним и крикнул:

— Ну, что, ребята? Ведь говорил же я вам, что не разорвет!

Солдаты даже начали креститься, вставая с земли, точно при явном наваждении.

А однажды, когда ему вздумалось познакомиться с укреплениями других дистанций и он появился на третьем бастионе в открытом для неприятельского обстрела и притом узком месте,— часовой, здесь поставленный, закричал ему:

— Извольте слезть с лошади, ваше превосходительство! Здесь проезжать нельзя!

— Почему это?—удивился Хрулев.

— Убить могут!

— А могут и не убить?

— Беспременно убьют-с!

— Почем же ты знаешь?

— Да здесь и шагом-то никто не ходит, а только бегают, и то согнувши, а то живым манером две, а то три штуцерные впалют, ваше превосходительство!

— А может, и не впалют?

— Никак нет, беспременно убьют-с!

— Что-то мне не верится,—улыбнулся Хрулев.— Посмотрим!

С ним были тогда, кроме боцмана Цурика, еще два ординарца-прапорщика. Хрулев всем трем приказал остаться в безопасном месте, а сам шагом поехал по опасному. Действительно, несколько пуль сейчас же запело у него над головой, но ни он сам, ни его лошадь не были задеты.

Часовой с изумлением посмотрел на боцмана Цурика, ища у него отгадки такому странному обстоятельству, и боцман кинул ему снисходительно:

— Это ж генерал Хрулев!

Как будто с генералом Хрулевым не могло произойти того, чему были подвержены все вообще люди.

Познакомившись с третьим бастионом, Хрулев тем же опасным путем возвратился к своей маленькой свате, и не один только часовой, а и другие солдаты видели это издали.

От одного к другим начали передаваться, даже приукрашенные фантазией рассказчиков, эти два и другие подобные случаи с Хрулевым, и довольно быстро генерал в папаше и бурке завоевал сердца не только солдат, но и матросов, что было гораздо труднее.

Разогретые вином, песенники пели с большим чувством веселую плясовую:

Купи,
Купи-и Дуне,
Купи,
Купи-и Дуне,
Купи Дуне сарафан,
 сарафан!
Купи Дуне сарафан,
 сарафан!

По-пи-
По-пи-итерски,
По-пи-
По-пи-и-итерски,
По-питерски рукава.
 рукава!
По-питерски рукава,
 рукава!..

А в широком кругу перед палисадником открыли пляску солдаты-охотцы, причем те из них, которые плясали «за дам», манерно прищуривались, поводили плечами и обмахивали потные, красные, выдубленные боевою жизнью лица сомнительной чистоты платочками.

Ужимки этих бастионных актеров на женские роли заставляли неприхотливых зрителей подкотом ложиться от хохота, но такого поношения своего пола не могли хладнокровно стерпеть матроски, солдатки и мешчанки с Корабельной, собравшиеся на праздник в самых лучших своих платьях; и вот уже пять-шесть молодых и бойких энергично втиснулись в круг и пустились развеивать пыль широкими юбками и лихо притопывать каблуками.

И-эх, бейтесь, бейтесь, башмачки,
Разбивайтесь, каблочки,—
Мне не матушка дала,
Я сама вас добыла!..

Гремел хор песенников, свистуны заразительно подсвистывали в два пальца, а на смену уставшим плясунам и плясуньям входили в круг новые пары.

Со стороны французов не могли не заметить праздничных толп, выплескивавших за пределы спасительного спуска к бухте; оттуда стреляли, хотя и не оживленно, навесными снарядами, и «букеты белых цветов» время от времени появлялись в воздухе, но к этим подаркам интервентов все давно уже привыкли. Иногда, когда гранаты лопались очень близко, разбегались, чтобы тут же сойтись опять, иногда же, и гораздо чаще, только кое-кто провожал перелеты глазами.

В стороне от большого круга, где гремели и музыка оркестров и песни хора и шел подмывающий пляс, завели визгливую, но приманчивую игру в горелки; в другом месте скрипели, раскачиваясь, нарочно сооруженные к празднику качели; в третьем самочинно началась азартная орлянка,

и принялись вспархивать, как птички, поблескивая на майском солнце, медные пятаки...

Подняв на балконе свой стакан водки за георгиевских кавалеров, Хрулев потом начал выискивать в своей и чужой памяти отмеченных белым крестиком героев-солдат и матросов с других бастионов и посылал казаков своего конвоя за ними, чтобы, если они свободны, и их приобщить к празднику охотцев.

Так начали появляться здесь одни за другими севастопольские чудо-богатыри. Пришли с четвертого бастиона два знаменитых сапера, оба унтер-офицеры, Федор Самокатов и Афанасий Безрук, бессменно, с самого начала осады, работавшие на такой иногда глубине, где даже и свеча не горела, и под вечной угрозой смерти или от обвала, или от взрыва.

Не один раз того и другого вытаскивали из галерей замертво, придушенных обвалившейся землей; оба потеряли счет своим контузиям и легким ранам, оба были ранены по два раза серьезно, но быстро оправились от ран.

Оба жили в минах, если же выходили из них, то только по ночам, чтобы подобраться поближе к неприятельским траншеям, узнать, что и где копает противник. Важно было не просто высмотреть это, а измерить на поверхности земли шагами расстояние одних работ от других, чтобы потом прикинуть наблюденное на поверхности земли к тому, что делалось под землею.

А местность перед четвертым бастионом была вся покрыта или колючими кустами, или воронками от бомб и взрывов горнов, или вывороченными из земли большими камнями. Кроме того в ямах перед французскими траншеями сидели их секреты, которые время от времени открывали пальбу. И Самокатов и Безрук были ранены пулями именно во время таких ночных прогулок.

Но как ни трудно бывало добывать сведения о противнике, однако добытое ими было точно: даже и ночью не изменял им глазомер, и когда по их указаниям наводились орудия, батареи бастиона приносили много бед противнику меткой стрельбой.

Один владимирец родом, другой черниговец, эти привычные к темноте кроты подходили к дому Хрулева, сильно шурясь от слишком яркого для них дневного света, но оба они были brave и еще молодые солдаты; даже усы у них у обоих, редкие белесые кустики, не имели пока вида настоящих, форменных солдатских усов.

От Владимирского полка рядовой Лазарь Оплетаетв пришел вместе с унтером Бастрыкиным. Оплетаетв был офицерский денщик, сибиряк, с плоским, изрытым оспой лицом, маленькими медвежьими глазами и медвежьей силищей. Как денщик он мог бы свободно сидеть себе в блиндаже или даже на городской квартире и стеречь чемодан своего поручика, но он был неизменным охотником

во всех вылазках, в которых участвовали его однопольчане, и во всех крупных боях. Как на денщика махнул на него рукою поручик, до того он казался ему бестолковым, но во время вылазок и сражений большую сметливость проявлял этот медведь, а однажды даже единолично захватил в плен и притащил в целости двух ничуть не раненых зуавов, из которых один оказался офицер...

Ходил он увальнем, как это свойственно было денщикам пожилых лет, так что Бастрыкин, в ногу которого он никак не попадал, зло ворчал на него, но это средство не помогало, потом пытался попасть как-нибудь ему в ногу, однако и это ни к чему не привело: Оплетаетв ставил ноги носками внутрь, больше в стороны, чем вперед, и делал шаги то длиннее, то короче.

Бастрыкин, ярославец, с виду был то, что называется молодчага,—хоть бери в гвардию. Отличился он еще в бою на Алме, когда Владимирский полк пошел в атаку на англичан. Сломав свой штык в рукопашной схватке, он взял ружье за дуло и действовал прикладом, как тараном, прочищая себе дорогу в стене красномундирных детей королевы Виктории, пока, наконец, не получил в свою очередь сильного удара в голову штычным прикладом. Свалившись на кучу трупов, пролежал он в беспамятстве до раннего утра, когда упавшая роса его освежила. Очнувшись, огляделся,—видно было немного,—только трупы кругом. Припомнил, где он и что с ним. Поднялся было, но тут же повалился снова. Однако, как ни был слаб, понял, что раз не видно было около русских санитаров, значит не осталось близко и русских полков, и предстает ему плен.

Рядом с его лицом прилипли несколько примятых былинки травы, покрытых росой. Слизал он эту росу, освежил язык, и хотя в голове стучало, все-таки поднялся снова и, осторожно ставя ноги, начал пробираться между телами.

Трудно было взять направление, какое надо, но он старался отойти подальше от речки, которую чувствовал по холодку и сырости, а когда силы оставляли его, валился на землю. Отдыхал, впрочем, недолго, чтобы успеть подальше выбраться до света. И не только успел выбраться сам, но по дороге захватил с собою двенадцать человек раненых, которые все-таки могли двинуться, и всех через три дня привел в Севастополь.

А через месяц после того ему уже пришлось во время сражения под Балаклавой встречать французских конных егерей на Федюхиных высотах залпом и штыками, и егеря были встречены честью. Владимирцы потом понесли много потерь в арьергардном бою при Инкермане, но Бастрыкину посчастливилось не только уцелеть, но и отличиться, когда остатки его роты, лишившись всех офицеров и даже фельдфебеля, выводились им из огня.

За Инкерман был приколот к его мундиру первый георгий; второй же, с бантом, получил он за вылазки с батареи храбреца Будищева, примыкавшей к третьему бастиону, куда переведен был Владимирский полк с Бельбека в конце марта.

Следом за Бастрыкиным и Оплетаевым двигался на праздник такой же нескладно скроенный, но прочно сшитый георгиевец Тобольского полка Иван Дворниченко, прозванный в своем полку «мостом тобольцев».

В Дунайскую кампанию, в бою при деревне Четати, когда целая дивизия турок напала на один Тобольский полк, рота, в которой служил Дворниченко, оказалась отрезанной от остальных рот атакованного большими силами батальона глубоким и довольно широким оврагом. Нужно было спешить на подмогу своим, но препятствие казалось непреодолимым. Тогда Дворниченко, бегло оглядев овраг и найдя в нем самое узкое место, быстро спустился в него, стал в нем на два каменных выступа, до предела расставив для этого ноги, и замахал руками, крича своим:

— Скаай, ребята!

В тяжелой полной походной амуниции, держа ружье перед собой, стоял он, нагнув голову на бычьей шее и выставив спину горбом, а через эту спину, становясь на нее с разбегу одной ногой, перемахнули один за другим все двести с лишком человек, бывших в роте, и только благодаря этой дюжей спине во-время подоспела помощь остальным трем ротам, изнемогавшим уже в неравной схватке. Так яростно ударили в штыки добежавшие до своих молодцы, что разом показали тыл турки.

Мало быть человеком большой силы,—надо еще и самому найти, на что может пригодиться эта сила в решающий для успеха общего дела миг. Дворниченко действовал на свой страх и риск: он не получал и не мог получить от своего начальства приказа стать ротным мостом в овраге. Он только примерился и почувствовал вдруг, что можно так сделать и что он вынесет эту тяжесть, и стал. А когда число перескочивших, благодаря ему, перевалило за сотню, отыскал он глазами упор в камнях и для своего бесполезно торчавшего на весу ружья: штык вонзился в расщелину, и «тобольский мост» сделался мостом на трех быках, а когда пропустил он всю роту, снялся с места и сам, выбрался из оврага и пустился с криком «ура» догонять товарищей.

За этот подвиг получил он свой первый крест; второй заслужил в Севастополе, на пятом бастионе...

Шли бутырцы, томцы, колыванцы, азовцы, одесцы, якутцы, суздальцы, и солдаты других полков... Шли матросы... Пришел и седоусый уже, но лихой и бравый, подтянутый, как скаковой конь, в линиялой синей черкеске без погон, с писто-

летом и двумя кинжалами, кроме кавказской шапки, за поясом, заколдованный от пуль и снарядов есаул Даниленко с тремя из своих пластунов: Лукою Грищуком, Макаром Шульгой и Андреем Гиденько.

Пластунов особенно радостно встретил Хрулев; сам наливал им всем четверым шампанского, обнимал их крепко, чокаясь с ними, и вдруг сказал приставив палец ко лбу:

— Вот мысль меня осеняет какая! Столько перебивало уж тут нынче молодцов из пехотных полков, что только одеть бы их в черкески, да папахи, да понатыкать им кинжалок за пояса, вот тебе и будут готовые пластуны! А то народ выдозарезу нужный, да чорт знает, как мало вас, братцы мои!

— Ні, ваше прэвосходительство, ни як нэ буде пластуни з піхоты!—решительно отверг эту мысль Даниленко.

— Вот тебе на! Отчего ж так «нэ буде»?—даже опешил несколько Хрулев.

— Богацко работы треба, щоб аж и з козака пластуна зробить,—покрутил головой Даниленко.

— Ну, да, конечно, не всякий способен,—об этом не может быть спору! Однакож не о всяком и речь идет.

— Ні, нэ буде діла,—отозвался ему Даниленко и даже рукой махнул, после шампанского принимаясь за водку, но Хрулев, совершенно огнедышащий от огромного количества выпитого им вина, дружески потрепал его по плечу, подмигивая при этом генералу Павлову, полковнику Малевскому, командиру охотцев и другим, сидевшим за его столом:

— Конкуренции боится, старина!.. Ну, а попробовать все-таки не мешает... Чем чорт не шутит,—глядишь, что-нибудь да выйдет!

За столом Хрулева сидел также и полковник священник Камчатского полка, иеромонах Иоанникий, у которого теперь наперсный серебряный крест висел уже на георгиевской ленте за дело 15 марта.

Он был уже вполне достаточно нагружен. Белки больших навывкат серых глаз его сильно порозовели; грива светлорусых густых волос растрепалась. Но длинная борода была в порядке: он то и дело утихожил ее левой рукой.

— Эх-ма-а!—выдохнул он вдруг горестно.—Вот из меня бы пластун вышел,—загляденье!.. Не по своей я дороге пошел!.. Покойник Фотий виноват,—он соблазнил!

Все четыре пластуна, по сложению люди некрупные и поджарые, причем парадные черкески у трех рядовых имели каждая не меньше как по восьми заплат разных цветов, повернули разом головы к этому огромному бородачу-монаху, переглянулись между собою лукаво, и, чтобы не пруснуть непolitично в рукава, поскорее взяли за стаканы.

А между тем Иоанникий совсем не ради шутки сказал это, и кое-кто за столом, кто знал «Анику-воина», да и сам Хрулев, не приняли этих слов за шутку. Он действительно был воинственной натурой и в пьяном виде как-то высказывал даже сомнение в том, существует ли загробная жизнь, в которую каждый почти день напутствовал он смертельно раненных солдат.

В то время как есаул Даниленко, по свойству людей политичных, всесторонне обдумывающих то, что приходится докладывать начальству, говорил Хрулеву:

— Пластун з піхотинця—это ж, ваше превосходительство, усе равно, як той хвальшивый заец, якого в ресторации подают... Дарма, що напысано на бумажці «заяц», а він зовсім баран, тільки що свиним салом шпигованийый...

Иоанникий гудел, обращаясь к начальнику 11-й дивизии Павлову:

— Ведь я, когда семинаристом был последнего класса, то я двухпудовой гирей шутя пятнадцать раз подряд мог креститься, а теперь не могу уж, да и зачем, скажите, сила мне сдалась, ежели я духовный сан имею, да еще и в монашестве состою?

И не дожидаясь ответа от рассолодевшего Павлова, он со свистом набрал воздуха в широкую грудь и загрохотал, как гром:

Ко мне барышни приходили,
Полиштоф, водки приносили,
С отчая-я-я-нем говорили:

— Ах, жа-аль! Ах, ах, а-ах!

Ах, как жа-аль, что ты монах!

Это неоднократно повторявшееся «ах» зазвучало в доотказа набитых комнатах, как стрельба картечью из двадцатифунтового единогога¹.

6

Здоровая на вид, даже, пожалуй, излишне полная женщина лет сорока пяти, с грубыми мужскими чертами лица, в коричневом платье сестры милосердия и в белом чепчике, похожем фасоном на раскидистый лист лопуха, но без золотого креста на голубой ленте, придя к вечеру на праздник и обращаясь ко всем на «ты», солдат ли ей попадался, или офицер, все добивалась, как бы ей повидать генерала Хрулева,—поговорить с ним о важном деле.

Ей отвечали, что Хрулев занят и к нему теперь нельзя. Однако она была упорна и дождалась все-таки, когда Хрулев спустился в палисадник; праздник заканчивался уж в это время,—офицеры начали расходиться к своим частям.

— Это ты, стало быть, будешь генерал Хрулев?—обратилась к нему, подходя, женщина.—Я к тебе—поговорить пришла.

Хрулев удивленно поднял черные брови: давненько уж, лет, пожалуй, около сорока, никто не говорил ему так вот с подходом «ты».

— Гм... я—действительно, генерал Хрулев, а ты кто такая будешь?—в тон ей отозвался он.

— А я зовусь Прасковья, по батюшке Ивановна, а по фамилии—Графова,—речисто ответила та.—Прибыла я, значит, сюда, в Севастополь, еще в марте месяце с сестрами милосердными из Петербурга, только в общине этой ихней я не состояла и состоять, скажу тебе, дорогой, прямо не желаю! Знаю я, чем они все дышат, эти сестрицы милосердные, также и называемые сердобольные вдовы!

— Ну, хорошо, а в чем же все-таки дело твое?

— А дело мое такое, родимый... Поместили меня, видишь, на Павловском мыске, в домшке в одном с сердобольной вдовицей, а вдовица эта старушонка вредная оказалась, злоязычица, не приведи бог!.. Я ей слово—она мне десять, я опять же слово, она—все двадцать! А сама же сморчок и перхает, как овца! Какая от нее польза могла быть воинам раненым? Ни-ка-кой, уж ты мне поверь... А как пошла жаловаться начальству, чью, думаешь, сторону начальство взяло? Ее, этой самой овцы перхающей! «Ты,—говорят мне,—зачем ее вещишки самовластно выкинула в окошко? Ты должна была заявить по команде!» Ну, мне не иначе подошло так—отудова уходить.

— Так! Понял!.. А от меня ты чего же хочешь?—спросил Хрулев.

— Возьми ты меня к себе на бастион свой, родимый!

— Гм... Дело мудреное... Где же ты жить думаешь на бастионе?

— А где солдаты там живут, и я с ними буду,—тут же ответила Прасковья Ивановна.

— Лучшее будет, пожалуй, тебе в офицерский блиндаж поместиться,—начал раздумывать вслух Хрулев.

— Ну, что ж, как находишь, дорогой: в офицерский, так в офицерский, только чтоб сегодня ты уж меня к месту приставил.

— Спешись, значит? Ну, тогда иди к капитану первого ранга Юрковскому на Малахов,—скажешь ему, что я послал... Сестры милосердия, правда, нигде на бастионах еще не жилали,—сделаем такую пробу, с тебя начнем... Только это ведь тебе, матушка, не какой-нибудь Павловский мысок... Там пули так и жужжат, как мухи, о снарядах уж не говоря.

— И-и, нашел, чем меня пугать, пу-ули! На то и война, чтоб пули... К кому, говоришь, мне там обратиться? К Юрковскому?

— К Юрковскому,—он там главный начальник...

¹ *Единогогами* назывались мелкокалиберные скорострельные гаубицы, делавшие по девять выстрелов в минуту. Изобретены они были П. И. Шуваловым, братом фаворита Елизаветы Петровны.

А чтобы блиндажик для тебя сделали, это я завтра прикажу сам.

— К Юрковскому, значит... Ну, вот я и пойду теперь... Будь весел, родимый!

— Да я и так не грущу,—буркнул Хрулев, глядя вслед грузно повернувшейся и размашисто уходящей широкой женщине в коричневом платье и белом чепчике.

Смеркалось уже... Хор певчих еще пел, впрочем, не совсем твердыми и уверенными голосами референ к известной песне: «Что затуманилась, зоренька ясная, пала на землю росой»:

Там за лесом, там за лесом
Разбойнички шалют,
Там за лесом, там за лесом
Убить меня хотят...

Нет-не-е-ет, не пое-еду,
Лучше дома я помру!
Нет-не-ет, не пое-еду,
Лучше дома я помру!

Однако песня эта звучала уже, как разгонная. Офицеры расходились группами, иные под руку друг с другом для сохранения равновесия, иные в обнимку и тоже пытались петь. Подрядчики выполнили свои обязательства безупречно: вина хватило. Начали разводить командами и солдат-охотцев к своему биваку. Но тут же, с праздника в дело уходили и другие команды,—команды охотников, вызвавшихся идти на вылазки в наступающую ночь на правом фланге позиций.

И праздник охотцев еще догорал, дотлевал,—не мог он потухнуть сразу, разгоревшись так широко и жарко,—а в неприятельских траншеях гремели залпы и беспорядочные выстрелы застегнутых врасплох, и жестоко работали русские штыки.

Полтора человека охотников от Минского и Подольского полков ворвались во французские траншеи между пятым и шестым бастионом, а батальон колыбанцев, подкрепленный сотней охотников, громил французов же против редута Шварца.

И та и другая вылазка удалась как нельзя лучше.

И по этому шумному празднику, устроенному Хрулевым, и к удаче двух первомайских вылазок можно было, пожалуй, гадать на досуге или о близкой очень крупной победе инкерманской армии совместно с севастопольским гарнизоном, или же о крутом переломе в пользу мира на венских конференциях; но... май только еще начинался, май был еще долог,—тридцать дней еще оставалось мая.

Весенние «равноденственные» бури были уже позади; море во всю свою ширину стало спокойным и гладким, как стол; море нежилось, греясь под теплым солнцем, и через Дарданеллы и Босфор беспрепятственно и безмятежно, точно вышедшие на прогулку, шли и шли парусные и паровые суда

интервентов, подвозя на Херсонесский полуостров и большие подкрепления людьми, и снаряды, и порох, и мортиры, и все прочее, что было найдено необходимым для скорейшего торжества квартала Сити и парижских банкиров, для торжества Виктории и Наполеона.

ГЛАВА ВТОРАЯ В СТАНЕ ИНТЕРВЕНТОВ

1

За кулисами театра военных действий,—в Лондоне, Париже и Вене,—ткалась в апреле сложная и хитрая дипломатическая паутина, в которую политики Англии и Франции непременно хотели окончательно запутать Франца-Иосифа и добиться от него объявления войны России. Но у молодого «австрийского Иуды»¹ были старые и опытные советники школы Меттерниха², которые знали гораздо лучше, чем он, совершенно расстроенное состояние финансов Австрии и непрочность общего положения страны и удерживали его от рискованного открытого вызова России, державшей наготове большую армию на своих юго-западных границах.

Наполеон негодовал:

— Да что же такое, наконец, этот Франц-Иосиф? Ни верный союзник, ни честный враг?

Он даже решил было сам ехать в Вену обольщать эту явно двуличную красавицу, но в последний момент понял, что это будет очень трудное дело, и не поехал. Конечно, он понимал и то, что вся суть его дипломатической неудачи в чрезмерно затянувшейся осаде Севастополя, и порывался отправиться в Крым, чтобы личным присутствием среди союзных армий вдохновить их на подвиг одним могучим ударом окончить войну, но, уяснив для себя, что это будет потруднее, чем даже уломать Франца-Иосифа, отложил поездку. В апреле он только переправился через Ламанш, чтобы сделать визит королеве Виктории.

К концу апреля венские конференции совершенно расстроились, и лорд Россель, представитель Англии, уехал из Вены; то же самое сделал и французский министр иностранных дел Друэн де Люис. Наполеон же хотел найти в Лондоне одобрение своему плану перенести, не оставляя осады

¹ «Австрийским Иудой» называл Франца-Иосифа поэт Ф. И. Тютчев в своем стихотворении «Нет—мера есть долготерпенью», написанном по случаю приезда австрийского эрцгерцога на похороны Николая I.

² Меттерних Клемент-Венцель (1773—1859)—австрийский дипломат и министр иностранных дел с 1809 г. по 1848 г., когда он был свергнут революционным движением; вдохновлял реакцию и поддерживал по всей Европе систему абсолютизма.

Севастополя, военные действия внутрь Крыма, чтобы здесь найти быстрый и верный выход из тупика и блистательно, двумя-тремя сильными ударами по тылам Горчакова закончить войну.

Конечно, энергичный план этот был одобрен в Лондоне с первых же слов, но он требовал значительных новых сил для отправки в Крым, и Наполеон скоро увидел на месте, что богатая «добрая старая» Англия очень бедна солдатами и что это совершенно непоправимо.

— В конце концов Франция оказывается в таком положении, что должна в этой войне надеяться только на свои силы,—говорил, возвратясь, Наполеон своему министру Вальяну.—Мы можем посылать в Крым еще и еще войска, однако я вижу, что нам нужен там не Канробер, а Суворов... Да, только один Суворов мог бы добиться там быстрой и решительной победы!

— К сожалению, у нас нет Суворова, государь,—скромно ответил Вальян.

— Однако ведь давно известно, что война родит героев! Надо попытаться найти его во что бы ни стало!

— Нового Суворова, государь, не имеет и Россия... Что же касается Франции, то... У нас есть, пожалуй, только Пелисье, больше я никого не вижу.

— Пелисье,—несколько поморщился Наполеон,—в достаточной уже степени стар для того, чтобы быть энергичным главнокомандующим, тем более что этот климат Крыма, он как-то явно старит всех наших генералов,—приводит их к бездействию.

— Ваше величество, Суворов был гораздо старше генерала Пелисье, когда совершал свой знаменитый переход через Альпы и побеждал при Требии и Тичино.

— У Пелисье, правда, была недавно удача с этими русскими контрапрошами,—раздумывал вслух Наполеон.—Он показал, что успех в борьбе с русскими вполне возможен, но в конце концов ведь это все-таки не такое уж крупное дело.

— Крупного дела, государь, ему, конечно, не разрешит начать генерал Канробер, пока он будет главнокомандующим,—ответил Вальян.

Разговор этот, в котором Вальян так настойчиво выдвигал Пелисье на пост главнокомандующего французской армией в Крыму, произошел перед отправкой Канроберу плана военных действий, составленного самим Наполеоном.

Контрапроши, о которых говорилось, были введены по приказу Горчакова против двух укреплений: редута лейтенанта Шварца, примыкавшего к четвертому бастиону, и люнета лейтенанта Белкина—на правом фланге пятого бастиона.

Там была высокая площадка между двумя балками, а на этой площадке—кладбище. Это было как раз то самое место, откуда повел свою вы-

лазку Минский полк во время Инкерманского боя. Как осажденные, так и осаждающие видели важность этой площадки, и французы под руководством инженер-генерала Низля начали в апреле энергично продвигаться по ней, пройдя за восемь суток под огнем русских около двухсот метров зигзагами окопов. Горчаков решил выдвинуться им навстречу, и несколько полков, ежедневно сменяя один другой, неся большие потери от сосредоточенного огня французов, устроили за те же восемь суток оборонительные траншеи на полкилометра в длину, саженях в пятидесяти от исходящих углов редута Шварца и люнета Белкина.

В эти траншеи было поставлено девять небольших мортир для действия картечью, и работы там продолжались, когда командир первого корпуса французской армии Пелисье обратился к Канроберу за разрешением атаковать и захватить эти траншеи, пока русские не сделали из них сильного укрепления, подобного Камчатскому.

Канробер не давал согласия на штурм траншеи, но Пелисье упорно настаивал. Канробер разрешил, наконец, атаку в ночь с 19 на 20 апреля, однако нерешительность его взяла верх, и вечером 19 апреля он отменил наступление. Между тем Пелисье собрал уже перед русскими траншеями большие силы—целую дивизию и, взбешенный, послал своего адъютанта к главнокомандующему с извещением, что к атаке все уже готово, и она состоится, а ответственность за нее он берет на себя.

Дивизия, брошенная в бой против двух батальонов Углицкого полка, стоявших в эту ночь на охране траншей, конечно, должна была иметь полный успех: траншеи с девятью мортирами в них были захвачены. В стане союзников это было признано крупной победой и в ущерб Канроберу решительно выдвинуло Пелисье.

Действительно, из затей Горчакова вышло только то, что русские полки своими же руками приготовили для французов траншеи в близком расстоянии не только от редута Шварца, но и от пятого бастиона.

Вместе с тем рушилась вся, придуманная на досуге в Кишиневе, стройная горчаковская система расположенных безукоризненно в шахматном порядке контрапрошей, которыми будто бы можно было отжать интервентов от Севастополя. Перед заместителем Меншикова во всей язвительности своей стал вопрос светлейшего: «Сколько же гарнизону думаете вы иметь, чтобы защищать все эти контрапроши?»

Гарнизону же было мало, и он на глазах таял как от огня противника во время работ и вылазок, так и от болезней. Кроме того, много досады доставляли солдатам их ружья, которые вздумали приспособить к французским пулям Минье.

Эти пули после двух или трех выстрелов не входили в дуло,—между тем ружье надо же было

как-то заряжать? Шомпол не проталкивал пулю, значит, нужно было чем-то колотить по шомполу, чтобы он выполнил свое назначение. Колотили тем, что было в изобилии под руками,—камнями. Шомпол гнулся, однако не шел. Пробовали пули смазывать свечным салом, чтобы входили в дуло без отказа,—не помогло. При слишком же упорных усилиях загнать эти коварные пули случалось, что стволы бывших гладкоствольных, а теперь снабженных нарезками ружей раздирались, как картонные, по этим самым нарезам.

— Измена!—кричали солдаты, и офицерам трудновато было их успокаивать, тем более что они и сами теряли спокойствие, видя безоружность своих солдат.

2

В тот же день, когда заняты были интервентами траншеи против редута Шварца, отправлен был из Камыша и Балаклавы большой десант: дивизия французов под начальством генерала д'Отмара и дивизия англичан; последней, как и всей экспедицией, командовал сэр Джордж Броун, оправившийся от раны, полученной в Инкерманском бою.

Из Севастополя замечено было, что эскадры, сопровождая транспортные суда с войсками, направились вечером на запад, и потому кое-кто в штабе Горчакова решил, что десант высадится при устье Днестра, чтобы действовать против Южной армии генерала Лидерса. Но именно только затем, чтобы сбить несколько с толку русский главный штаб, адмиралы Лайонс и Брюа позволили себе обманный маневр: ночью же соединенный флот повернул назад и взял курс на Феодосию, потому что целью экспедиции была Керчь и портовые города Азовского моря.

Экспедиция эта была решена не без трений между Канробером и Рагланом. Канроберу очень не хотелось распылять свои силы, но на захвате Азовского моря особенно настаивал адмирал Лайонс, с которым вполне соглашался Раглан, тем более что это соответствовало и видам военного министерства Англии. Канроберу долго не хотелось обессиливать себя на целую дивизию, и уступил он только красноречивым доводам Раглана, что захват Керчи и Азовского моря будет равносителен большой победе под Севастополем, так как весьма подрвет снабжение армии Горчакова.

Эскадры с десантом отплыли, а из Парижа привезен был новый план военных действий, составленный самим Наполеоном и требовавший наличия всех союзных сил в одном месте, именно под Севастополем.

Канробер тут же послал легкий пароход, на котором один из его ординарцев вез приказ адмиралу Брюа и генералу д'Отмару немедленно возвратиться в Камыш.

Раглан был не только поражен отменой экспедиции со стороны Канробера,—он готов был принять это за оскорбление, нанесенное ему, главнокомандующему войсками королевы Виктории. Ничего больше не оставалось ему, правда, как в свою очередь отозвать в Балаклаву эскадру Лайонса и дивизию Броуна, но этот вынужденный шаг надолго лишил его дара красноречия: он сделался очень скуп на слова, желчен и мрачен.

Между тем новый, парижский план войны требовал обсуждения со стороны всех четырех главнокомандующих союзных армий, то есть еще и Омера-паша, и сардинского генерала Ламармора, так как начал уже прибывать и высаживаться в Балаклаве корпус сардинцев в две с половиной дивизии.

Правда, пятнадцатитысячный корпус этот представлял собою сравнительно небольшую силу и самостоятельно действовать не мог; но зато генерал Ламармора, человек огромного роста и весьма воинственной осанки, оказался гораздо более внушительного вида, чем остальные трое главнокомандующих.

Впрочем, роли всех четверых были уже распределены там, в Париже, самим Наполеоном, который если и не решился приехать в Крым, чтобы принять общее командование над силами интервентов, то еще более утвердился в мысли руководить войною, без риска для здоровья и жизни, из своего дворца.

План Наполеона был куда более смел и решителен, чем сорванный им план экспедиции в Керчь и Приазовье: вместо того чтобы только затруднить снабжение армии Горчакова хлебом, скотом и снарядами,—уничтожить ее совсем и без остатка, зайдя крупными силами ей в тыл со стороны Симферополя и Бахчисарая, причем, однако, отвергалась операция со стороны Евпатории, о необходимости которой так много писалось раньше в газетах.

План, состряпанный Наполеоном, обсуждался далеко не один день, так как он ломал весь заведенный с таким трудом порядок войны. Несколько раз приходилось Канроберу то собирать главнокомандующих у себя, то отправляться к ним самому, то обращаться через своих адъютантов с определенными, изложенными письменно, вопросами, чтобы получить на них столь же определенные письменные ответы.

Лорд Раглан, были ли совещания у Канробера, или у него, всем видом своим показывал, что он в корне не согласен с тем, что хотят ему навязать. Когда Омер-паша в силу ли привычки думать в одном направлении, или по другим причинам выдвигал снова проект наступления со стороны Евпатории, к которому будто бы все уже было готово в его армии, Раглан решительно поддерживал кроата.

— Вас тоже прельщает этот вариант наступательных действий, милорд?—сдержанно возражал

ему на одном из совещаний Канробер.—Однако критику его, сделанную его величеством, нельзя не признать безусловно серьезной. Вот доводы, выдвинутые против этого варианта... Первый: армия, которая будет двигаться от Евпатории, не будет иметь обеспеченных флангов...

— Но ведь обеспечить фланги свои вполне зависит от командующего армией!—предпочитая глядеть при этом на Омера-пашу, отозвался Канроберу Раглан.

— Однако же мы сами считались с этим, милорд,—вежливо напомнил Канробер,—когда двигались от той же Евпатории к югу! Тогда наш правый фланг был вполне обеспечен морем.

— А левый и совсем не подвергался нападениям,—подчеркнул Раглан.

— Тогда было мало русских войск в Крыму, теперь же их достаточно... Под Евпаторией стоит отряд в пятнадцать тысяч, и главным образом конницы, способной действовать с обоих флангов, чуть только армия наша вступит в крымские степи. А ведь ночные атаки большими конными массами могут быть и очень опасны, чему бывали примеры у нас, в Африке, во время восстания кабиллов... К этим передовым русским силам теперь, когда дороги везде стали уже хороши, конечно, быстро успеют подойти на помощь другие (и в достаточном числе), которые могут преградить путь нашей армии... Что же тогда? Тогда придется принять бой или начать отступление... Но вот я позволю себе привести второй довод: отступление турецкой армии в случае неудачи безопасным быть не может... С этим нельзя не согласиться, не так ли? Затем третий довод: по причине ровной местности между Евпаторией и подступами к Симферополю с севера нельзя найти выгодной позиции для генерального сражения... Разумеется, или совсем нельзя, или очень трудно... И, наконец, четвертый довод, который тоже немаловажен: степь эта совершенно опустошена,—казаками ли, фуражирами ли пехоты и конных полков,—безразлично, и не имеет поэтому средств к пропитанию большой армии; не имеет также и достаточных водоемов; следовательно, в случае окружения армии превосходными силами она вынуждена будет или принять бой при самых невыгодных условиях, или терпеть бедствия, которые могут привести к еще худшим результатам, о которых говорить не будем...

— Но ведь все эти доводы мне приходится слышать далеко не в первый раз!—возражал Омер-паша.—Разумеется, расстояние между Евпаторией и Симферополем должно быть пройдено стремительным маршем... Что же касается русской кавалерии, то она, конечно, не будет нападать на наши фланги: она просто бежит!

— Как знать!.. День вступления вашего может быть известен русским через перебежчиков или через шпионов, и тогда к Евпатории могут быть

подтянуты стойкие части. Наконец, даже при полной удаче, если ваша армия, допустим, победоносно дойдет до Симферополя и займет его, разве это не сломает всего хода войны?—обратился к Омер-паше Канробер.—Ведь Горчаков не отнесется к этому равнодушно, и если стремительными маршами не подойдет к вам помощь, ваша армия погибнет в кратчайший срок,—ее придется вычеркнуть из списков. А чтобы выручить ее, необходимо будет снять отсюда большие силы; но таким образом мы приходим неизбежно к получению мною новому плану войны, к движению на тот же Симферополь, но уже не от Евпатории, а от Алушты.

— То есть через горы,—уточнил Раглан не без иронии.—Не будем спорить, что движение от Евпатории ровной и пустой степью опасно, но чем же лучше движение горами, покрытыми лесом?

— Именно это и является предметом нашего совещания, милорд.

— Если день начала наступления со стороны Евпатории может быть передан Горчакову шпионами, то наступление от Алушты, которому должна еще предшествовать высадка десанта, даже и не от шпионов утаить нельзя,—усмехнулся Омер-паша.—И тогда леса на горах могут вдруг ожить и загрометь залпами.

— Этот вариант совершенно невозможен!—решительно согласился с Омером-пашей Раглан.

— Если признать за Горчаковым возможность защищать перевал через горы,—да, он опасен,—подтвердил Канробер.—Но имеется в виду, что Горчаков в это время будет занят не только участком Севастополя, а еще и движением из Байдар к Бахчисараю. Ему будет тогда совсем не до Алушты, которой и сейчас он не придает никакого значения: по нашим сведениям там всего две сотни казаков охраны... От Севастополя Алушта лежит довольно далеко; от Симферополя—вдвое-втрое ближе, всего пятьдесят километров неплохого шоссе... Два пешеходных перехода—и Симферополь захвачен.

— Там до двадцати километров подъема в гору,—заметил Омер-паша.

— Что же это за препятствие для наших звуков?..

— Второй вариант, то есть движение на Бахчисарай от Байдар, мне представляется все-таки гораздо меньшим из этих двух зол,—недовольно подытожил Раглан, но Канробер заметно повеселел после этих слов маршала Англии.

— Прекрасно, милорд!—подхватил он.—Движение на Бахчисарай вам представляется более мотивированным? Этим движением, по предположению его величества, лучше всего и можете руководить именно вы!

— Я?—очень удивился Раглан, так как это не было ему известно.—Как же могу я бросить свою армию здесь, под Севастополем?

— Для командования всем вообще осадным корпусом оставляется генерал Пелисье,—ответил Канробер.—Что касается меня, то на меня падает задача осуществить движение от Алушты с сорокатысячной армией исключительно французских частей, к которой придается десант в двадцать пять тысяч резерва, расположенного ныне под Константинополем. Итого под мое командование должно стать для движения от Алушты всего шестьдесят пять тысяч... Достаточно ли будет этих войск, или мало, покажет будущее. Под ваше командование, милорд, должны будут стать, во-первых, все сардинцы, затем пять тысяч французских солдат, десять тысяч турецких и, наконец, двадцать пять тысяч английских...

Услышав это, Раглан не в состоянии был усидеть на месте. Он встал, отошел к окну, в которое, кстати сказать, за сильным дождем почти ничего не было видно, и молчал.

Ему хотелось сказать очень многое и прежде всего то, что даже французский император не имеет права распоряжаться им, главнокомандующим английской армии, и пытаться снимать его со всею его армией с позиций под Севастополем для каких-то безграмотных стратегически авантюр, но так как сказать это было невозможно, он предпочел молчать и молчал долго, пока Канробер, желая затушевать как-нибудь это неловкое молчание, оживленно разъяснял Омеру-паше план Наполеона, касавшийся непосредственно турецких войск:

— Считая наличные силы турецкой армии в сорок тысяч человек, его величество, отчисляя десять тысяч в состав армии лорда Раглана, остальные тридцать тысяч включает в осадный корпус генерала Пелисье... Так что в этом корпусе будет поровну, по тридцать тысяч, французов и турок, не считая разных нестроевых, которых наберется, пожалуй, до десяти тысяч.

— Хорошо, но к чему же в таком случае сведется моя личная роль как главнокомандующего армией его величества султана?—очень изумился Омер-паша.

— Вы будете, конечно, при своей армии,—ответил Канробер.—При тридцатитысячной,—дополнил он.

— То есть в корпусе, которым будет командовать Пелисье?.. Просто, генерал Пелисье?—едва сдерживаясь, попытался Омер-паша.

— Генералу Пелисье, по плану его величества, будет принадлежать общее руководство осадным корпусом,—замаялся Канробер.

— Следовательно, я поступлю под команду генерала Пелисье? Так я вас понял?

Канробер сделал тот полуутвердительный, полунедоумевающий жест, который красноречивее слов, и Омер-паша, как и Раглан, вскочил с места и вызывающе сложил на груди руки.

Четвертого главнокомандующего—Ламармора—Канробер не приглашал на совещания, что было вполне объяснимо: Ламармора только что прибыл в Крым, и обстановка военных действий была ему знакома только по картам, не говоря уже о том, что удельный вес его армии был незначителен.

Однако и с Рагланом и Омером-пашей Канробер, как ни старался, договориться до согласия выполнить безоговорочно план Наполеона не мог. Чувствуя свою личную неавторитетность в их глазах, он вынужден был доносить Наполеону: «...В таких важных обстоятельствах я не могу не сожалеть, что мы не имеем генералиссимуса,—человека, уполномоченного высшею властью и имеющего достаточную опытность, чтобы над всем господствовать».

Наконец он пришел к мысли, что лучше всего в его положении сложить с себя ответственность за выполнение нового плана войны, который не то чтобы не сулил крупного и быстрого успеха, но представлялся во всяком случае очень трудным.

Коренным образом меняя облик ведущейся уже восемь месяцев войны, делая ее из позиционной маневренной, этот план отрывал большие армии от их баз, вынуждал их обзаводиться обозами, бросал их в такие местности внутри Крыма, которые русским были известны гораздо лучше...

Оспаривая по обязанности главнокомандующего французской армией возражения своих союзников, Канробер в глубине души был с ними совершенно согласен. Мысль о генералиссимусе его не оставляла. Не надеясь на назначение его из Парижа, Канробер решил обратиться к Раглану с предложением взять на себя если не звание генералиссимуса, то его роль. Не стоило большого труда уговорить и Омера-пашу в дальнейшем подчиняться приказаниям Раглана, как старшего среди равных.

Канробер понимал, конечно, что одним даже подобным предложением Раглану он уже выходит из своих полномочий, что это может вызвать взрыв негодования в Париже, но у него, так ему казалось, не было других возможностей, кроме одной, последней: отказаться от звания главнокомандующего и стать снова начальником дивизии, то есть, выполняя чужие приказания, не нести, по крайней мере, за них ответственности перед императором, Францией, историей. Вообще Канробер успел уже убедиться в том, что он личность не историческая, что в этом судьба ему решительно отказала.

Однако как раз в том же самом начал давно уже убеждаться относительно себя самого и лорд Раглан; точнее, он почти уже убедился в этом.

Мечтать свойственно и здоровой старости. Раглан отправлялся в Крымскую экспедицию полный надежд на быстрое завершение войны и уже видел имя свое в ореоле там, в незначительном отделе-

нии. Он, правда, был осторожен в своих выражениях и осмотрителен в поступках, но очень большой вес придавал и тем и другим и не допускал мысли, чтобы они не производили должного впечатления.

Но уже весьма недешево доставшаяся победа на Алме заставила его сильно задуматься, а 5/17 октября, день первой бомбардировки английской осадной артиллерией третьего бастиона, прозванного им Большим Реданом, когда этот бастион был, казалось бы, сравнен с землею и ураганным огнем и взрывом и все-таки остался неприступен, привел Раглана к признанию, что русские—противник более чем серьезный.

Инкерман, когда вся английская армия была на грани полного истребления, поразил его чрезвычайно, а начавшаяся после того кампания против него в английской прессе не только оставила в нем вполне понятную горечь, но еще и породила сознание своей неспособности, своего бессилия справиться с обстоятельствами, которые сложились так несчастливо.

После этого он, хотя и сделанный маршалом, старался держаться на втором плане, в тени. Большой Редан, на который обращены были в течение семи месяцев все его усилия и который тем не менее стоял непоколебимо, начал казаться ему отлитым из бронзы.

Он чувствовал себя уже «побежденным главнокомандующим» почти в той же мере, в какой испытывал это Меншиков после потери Инкерманского сражения; и вдруг Канробер предложил ему быть старшим, то есть сам отдавал в его опустившиеся руки бразды ведения всей войны.

Раглан был гораздо больше изумлен этим, чем обрадован; он решительно отказался. Однако Канробер проявил настойчивость в убеждениях, что только он один в состоянии поднять это тяжкое бремя. Умилительна при этом была также и величайшая скромность французского главнокомандующего: себе он отказывал чуть ли не во всех военных способностях.

Раглан обещал подумать и, наконец, согласился при том условии, если теперь же все траншеи англичан против Большого Редана будут заняты французами. Теперь настала очередь Канробера прийти в изумление.

По плану Наполеона армия англичан действительно должна была оставить позиции против третьего бастиона, причем даже не полностью французами тогда замещались там англичане, а частью и турками. Но англичане освобождались таким образом для полевых действий, как вполне пригодные для этой цели и надежные войска, и сам же Раглан становился не только во главе их, но также и сардинцев, и французов, и турок: англичане предназначались на роль ядра его сборной армии.

Между тем Раглан отнюдь не давал ни согласия своего на план Наполеона, ни даже хотя бы сдержанного одобрения его. Зачем же потребовал он, как платы за то, что он согласился быть старшим между равными, замены англичан французами? Хотел доставить своему корпусу возможность отдохнуть, оправиться за счет французов?

Раглан уклонился от объяснений, что вынуждает его к такому странному торгу и как он думал действовать дальше. Однако Канробер пустился было доказывать ему, что такая замена невозможна, что длина траншей, занимаемых французами, и без того громадна, требует большого количества войск, которые ежедневно несут чувствительные потери. Раглан знал это и сам но был непреклонен.

Тогда Канробер решился на последний шаг. Утром 4/16 мая он отправил в Париж из Георгиевского монастыря по кабелю на Варну депешу на имя Вальяна с просьбой сложить с него по болезни звание главнокомандующего, которое он не в состоянии больше нести.

Он писал: «Обязанности к престолу и отечеству вынуждают меня просить дозволения передать это звание Пелисье, генералу способному и весьма опытному. Армия, которую я передам ему, освоена с войною, неутомима и воодушевлена. Прошу императора позволить мне остаться только во главе дивизии».

Справедливость требует сказать, что далеко не всякий военачальник способен найти в себе силы сам уступить свое место другому и перейти к нему же в подчинение. Это было отмечено в ответе военного министра, полученном в Камыше через два дня:

«Император согласился на вашу просьбу, жалеет, что ваше здоровье так расстроено, и благодарит вас за чувства, внушившие вам желание остаться при армии. Вы назначаетесь не командиром дивизии, а корпуса генерала Пелисье, которым и передайте звание главнокомандующего».

Однако даже и пост командира корпуса пугал Канробера тем, что был очень ответствен. С разрешения Пелисье он принял начальство над своей прежней дивизией, входившей теперь в корпус генерала Боске.

4

Лет на пять моложе Раглана, то есть в начале седьмого десятка, невысокий, но полный, с полуседыми, коротко стриженными волосами и белой уже эспаньолкой, но очень подвижной, живой и с молодыми глазами, Пелисье свой боевой опыт получил там же, где и Канробер, и Боске, и многие другие французские генералы,—в Африке, в Алжире, где в последние годы был начальником штаба при Ламорисьере и Бюжо. Все экспедиции

против марокканцев проходили при его непосредственном участии. Всеобщую известность во Франции приобрел он тем, что усмирил восстание горцев совершенно исключительным способом. Он приказал зажечь огромное количество хвороста перед пещерами в горах, где они скрывались; задушенные дымом, погибли при этом пятьсот марокканцев, оставшиеся в живых вынуждены были сдаться, и восстание прекратилось. Однако такая жестокая, бесчеловечная мера вызвала негодование и в обществе и в печати по адресу Пелисье, так что даже военный министр, маршал Суль, вынужден был писать маршалу Бюжо, нельзя ли ему укротить своего начальника штаба, чтобы не позволял он себе впредь подобных, совершенно зверских поступков, иначе придется вызвать его в Париж и судить. Бюжо оказался всецело на стороне Пелисье и писал в ответ: «Война и политика—не филантропия, и лучше ударить сильно один раз, чем бить долгое время».

Ударить сильно один раз по Севастополю, то есть предпочесть,—чего бы он ни стоил,—общий штурм длительной осаде, было основной мыслью Пелисье и тогда, когда он был назначен сюда как корпусный командир. Но все попытки его провести, осуществить эту мысль разбивались о вялость Канробера.

Теперь наконец-то он становился хозяином положения, но план Наполеона, сваливший Канробера своей невыполнимостью, противоречил всем установкам Пелисье и в то же время звучал ни больше ни меньше, как приказ императора, который должен быть выполнен.

Пелисье сделал вид, что план, присланный Канроберу, не касается его; он решил забыть о существовании этого плана и начать осуществление своего со всей энергией, на какую был способен.

Став 7/19 мая главнокомандующим, он выпустил приказ по французской армии. Обращаясь к солдатам, он писал в нем:

«Солдаты! Моя уверенность в вас беспредельна. После многих испытаний и стольких благородных жертв нет ничего невозможного для вашей храбрости. Вы знаете, чего ожидают от вас император и отечество. Оставайтесь теми же, какими были до сих пор, и тогда благодаря вашей энергии, при поддержке наших доблестных союзников, при мужестве храбрых моряков наших эскадр и с божьей помощью мы победим!»

Послав телеграмму Вальяну, Канробер вслед за нею послал и подробное письмо самому Наполеону о том, как был принят Рагланом и Омером-пашею его новый план войны. Он не считал нужным что-нибудь утаивать при этом; он решил писать честно. План был подвергнут всестороннему разбору с целью доказать его неосуществимость, но письмо это получено было Наполеоном сравнительно позд-

но, когда Пелисье приступил уже к выполнению своих планов.

Прежде всего, чтобы создать воодушевленное единство действий, он постарался очаровать главнокомандующих союзных армий своею любезностью, не забыв при этом раздуть кадило и перед Канробером, хотя и отлично знал, в какие отношения стали к нему в начале мая и Раглан и Омер-паша.

Большая часть его первого приказа по войскам представляла из себя панегирик Канроберу: «Солдаты! Наш прежний главнокомандующий объявил вам волю императора, который, по его ходатайству, поставил меня во главе Восточной армии. Принимая от императора командование этой армией, бывшее столь долго в таких благородных руках, я скажу прежде всего, выражая наверно общие чувства, что генерал Канробер уносит с собою наше глубокое сожаление и полную признательность.

Никто из вас не забудет, чем мы обязаны его высокому сердцу! К блистательным воспоминаниям Алмы и Инкермана он присоединил еще ту незабвенную заслугу,—может быть, незабвеннее самых побед,—что во время страшной зимней кампании сохранил нашему государю и отечеству одну из лучших армий, какую когда-либо имела Франция. Ему обязаны вы тем, что можете бороться, не уступая, и торжествовать. И если успех,—в чем я убежден,—увенчает наши усилия, вы не забудете его имени в своих победных кликах.

Он пожелал остаться в ваших рядах, и хотя мог бы получить высшее назначение, он ищет только возвратиться к своей старой дивизии. Я уступил желанию и настоятельным просьбам того, кто был до сих пор нашим главнокомандующим и останется всегда моим другом».

Если даже у бездеятельного и отставленного Канробера были найдены вдруг такие большие заслуги в деле ведения войны с Россией, то можно представить, сколько нашел Пелисье достоинств у старого лорда Раглана и Омера-паши во время совместного с ними обсуждения ближайших военных действий.

Конечно, он немедленно согласился с Рагланом, что экспедиция в Керчь и Азовское море, отмененная Канробером, совершенно необходима, и тут же приказал тем же самым частям, какие были выделены раньше, то есть дивизии д'Отмара, садиться на транспорты, а самому д'Отмару быть в подчинении у начальника английской дивизии, генерала Броуна, друга Раглана.

Омера-пашу он постарался расположить в свою пользу, неумеренно расхваливая его действия в Дунайскую кампанию и при защите Евпатории; Ламармора—тем, что восторженно отзывался о его корпусе, в избытке снабженном всем необходимым для ведения войны, и будто бы поражался бравым видом его солдат.

Но, рассыпая комплименты направо и налево,

Пелисье уверенно захватывал в свои руки общее руководство союзными армиями, то есть делал то, что совершенно не удалось Канроберу, а численность всех войск интервентов дошла в это время до двухсот тысяч, причем большая половина приходилась на долю французов,—именно сто двадцать тысяч человек, считая и тех, кто находился вне строя.

Всю эту массу прекрасно вооруженной силы, почти вдвое превосходившей силу Горчакова, Пелисье намерен был твердо держать в своих руках, чтобы в нужный момент создать ей необходимое единство действий.

Что же касается старшего командного состава французской армии,—корпусных и дивизионных командиров,—то он собирал их на совещания как бы для того, чтобы поставить перед ними ясную и определенную цель дальнейших действий: овладеть укреплениями впереди Малахова кургана, а вслед за этим броситься в крупных силах на штурм этого сильнейшего бастиона, ключа Севастополя, и захватить его.

Поставив перед собою этот план, Пелисье из двух корпусов, как это было при Канробере, сделал три корпуса,—два осадных и резервный, то есть значительно увеличил действующие силы; увеличил также и число батарей против Корабельной.

Но план, присланный Наполеоном и сваливший Канробера, состоял совсем не в этом, а в переходе к маневренной войне, чтобы разбить и уничтожить вспомогательную армию Горчакова и, овладев Крымом, обложить Севастополь со всех сторон.

Принадлежал ли этот план Наполеону? Он, правда, был прислан из Парижа самим Наполеоном, но создан был всецело на основании многочисленных подробнейших донесений инженер-генерала Ниэля, который пользовался таким доверием Наполеона, что считался первым кандидатом на пост главнокомандующего, в случае если бы Канробер получил отставку. Однако вышло так, что Канробера заменил не он, а Пелисье; естественно было Ниэлю считать себя незаслуженно обойденным, и неминуемо было столкновение между ним и новым главнокомандующим. Столкновение это и произошло на одном из совещаний Пелисье со своими генералами.

— Я слышу тут,—сказал Ниэль, придав себе изумленный вид,—обсуждение старого плана войны, но ни слова еще почему-то не слышал о новом плане, присланном императором.

— Это происходит потому,—сдержанно ответил Пелисье,—что план войны нельзя менять во время войны без большого ущерба для дела: такова, как вам известно, азбука стратегии. Раз употребили уж столько усилий для достижения одной цели, надобно сделать последнее, и овладеть Севастополем путем штурма.

— Путем штурма? Однако этот штурм, по всем данным, должен окончиться неудачей, а при известном упорстве русских обойдется нам в слишком дорогую цену! Без полного обложения города взять его нельзя. Как генерал-адъютант императора я являюсь здесь представителем идей и планов его величества и обязан напомнить вам, что планы императора должны неукоснительно выполняться...

— Генерал!—вскочил с места с загоревшимися глазами и закричал Пелисье.—Вы числитесь в армии, главнокомандующим которой назначен я и тоже именем императора! Никаких представителей и хранителей идей и планов императора, кроме меня, в армии не может и не должно быть! Главнокомандующий и подчиненные ему—вот вся армия! Кто такой вы? Адъютант императора? Нет! Здесь вы только мой подчиненный и обязаны повиноваться мне! Если же вы будете и впредь говорить то, что я только что от вас слышал, я приму против вас самые строгие меры, знайте это! При первом же гласном противоречии мне я вышвырну вас из армии, мне вверенной, вон!.. Вы пользуетесь каким-то странным правом непосредственно сноситься по телеграфу и письменно с императором? А я запрещаю вам это,—вы слышите?

Конечно, несмотря на запрещение сноситься с Наполеоном, выраженное столь категорически и резко, Ниэль тут же известил об этом Наполеона по телеграфу.

Наполеон не замедлил заступиться за своего адъютанта и за план войны, который считал своим. Он прислал Пелисье одну за другой несколько телеграмм, в которых требовал полного обложения Севастополя. Пелисье отвечал уклончиво, что очень трудно, а иногда даже и невозможно обсуждать быстротекущие обстоятельства войны по телеграфу.

«Дело не в обсуждении, а в приказах, которые даются, получаются и должны быть исполнены»,—отвечал ему Наполеон, и Пелисье оставалось только на деле доказать неопытному теоретику войны, что война—предприятие обоюдострое и не подчиняется указаниям извне, а имеет свои законы, свои неудачи или успехи в зависимости от того, с каким именно противником она ведется.

Уже через несколько дней после того, как Пелисье сделался главнокомандующим, ему представился случай применить свою тактику штурма, проверенную в Алжире,—обрушиваться на атакуемого не только превышающими его численно, а совершенно подавляющими силами, чтобы при любом, самом отчаянном сопротивлении, способном вызвать большую потерю людей, штурм все-таки завершился бы удачей. Пелисье вынес из своего долгого военного опыта одно непреложное: жертвы войны, сколько бы их ни было, искупаются успехом военных действий.

Дня через три после праздника Охотского полка Хрулева вызвал к себе Горчаков, который теперь бросил уже инженерный домик около бухты и переселился гораздо дальше, на Инкерман, верст за шесть от Севастополя, так как дальнобойные орудия с английской батареи «Мария», бывшие дальше, чем на четыре километра, стали частенько посылать ядра на Северную, а у Горчакова был, не в пример Меншикову, огромный штаб, очень чувствительный к ядрам. На этих высотах бивакировала дивизия Павлова перед злополучным днем Ипкерманского сражения, потом сюда переведена была на отдых 16-я дивизия, а до войны здесь, невдалеке от развалин древнего Инкермана, действовала почтовая станция. Постройки этой станции и были заняты Горчаковым под штаб-квартиру. Кроме того, оборудовали кругом для многочисленных адъютантов и ординарцев уютные землянки, а несколько поодаль забелели солдатские палатки.

Здесь было и безопасно, и в то же время это был центр расположения вспомогательной для севастопольцев армии. Отсюда открывался вид и на Сапун-гору, и на долину Черной речки, и на Федюхины высоты.

Против деревни Чоргун, откуда в октябре Меншиков следил за Балаклавским сражением, размещались теперь новоприбывшие сардинцы по соседству с французами; французы же прочно заняли и Федюхины высоты, очень деятельно укрепляя их скаты, обращенные к речке.

Хрулев видел эти работы и раньше, теперь же его опытные глаза артиллериста отмечали желтеющие брустверы там, где прежде их не было, и это заставляло его озабоченно приглядываться к тому, что делалось у своих: Он знал, что здесь тоже строятся редуты, но эти редуты,—так ему казалось,—были слишком разбросаны, чтобы служить надежной защитой при нападении противника в больших силах. Впрочем, нападения с этой стороны он не ожидал, как не ожидал его и Горчаков.

Дорога, по какой он ехал верхом, шла у подножия невысоких гор; направо, по берегу Большого рейда, установлено было в линию, одна за другою, несколько батарей. Иногда они перестреливались с батареями интервентов, но теперь молчали, как молчал и их ближайший противник—редут Канробера, разлегшийся на одном из скатов Сапун-горы.

Орудия здесь молчали, зато разноголосно упражнялись флейтисты, горнисты, барабанщики, фаготисты и другие из музыкантских команд разных частей, так как музыка в лагере по вечерам играла ежедневно, кроме того, ежедневно же тот или иной

оркестр отправлялся в город играть на бульваре Казарского.

На одной из гор влево от дороги торчал маяк—высокий шест с веревками, что-то вроде корабельной мачты с вантами¹, а около него паслись тощенькие казачьи лошаденки и виднелись покрытые хворостом землянки офицеров. Это был главный наблюдательный пункт; отсюда следили за неприятелем и на Сапун-горе, и на Федюхиных высотах, и в долине Черной речки: только эта самая, ничтожная в летнее время, Черная речка и разделяла две обсервационные армии—русскую и союзную.

Дорога была оживленная: часто попадались на встречу то офицеры верхом, то казаки из конвоя Горчакова, то троечные фуры, то небольшие группы солдат... Так встретила Хрулеву и команда человек в пятьдесят пластунов, которую вел молодой хорунжий.

Кавказские папахы и бурка Хрулева (день был довольно прохладный) еще издали притянули к себе возбужденное внимание пластунов, как и самого Хрулева заставил остановиться уже один вид команды кубанцев, совершенно неожиданных на Северной стороне.

Хрулев поздоровался с пластунами; те ответили хотя и громогласно, но нестройно и сбивчиво, не определив точно, в каком он может быть чине.

— Какого батальона, братцы?—спросил Хрулев, обращаясь, впрочем, к одному только хорунжему.

В Севастополе было два батальона пластунов, теперь уже сильно поредевшие.

— Тільки що прибули, ваше прэвосходительство,—рассмотрев, что перед ним генерал, а не войсковой старшина, ответил хорунжий.

— Откуда прибыли? С Кавказа, что ли?

— Так точно, пополнение з охотників, ваше прэвосходительство!

— А-а, вон в чем дело! Это хорошо, благодетели: давно мы вас ждем; очень вы нужные нам тут люди, только что чертовски вас мало... Молодцы, молодцы!.. А ты где же это потерял свое оружие?—заметил он вдруг одного пластуна без винтовки.

— Так что попал в плен к черкесам, ваше прэвосходительство, они и отняли винтовку, а другой уж мне не дало начальство,—несколько сконфуженно ответил пластун.

Певучий говор и чисто русский склад речи этого пластуна очень удивили Хрулева. Рослый, плечистый, сероглазый, стоял этот пластун прямо перед ним, в первой шеренге. Необыкновенной длины кинжал в ножнах, сложенных из трех кусков старых вытертых ножен, торчал у него спереди, а

¹ *Ванты*—снасти, укрепляющие мачты и другие деревянные части наружного вооружения судна.

черкеска его решительно вышла уже из всех допустимых сроков давности и едва не сползала с плеч.

— Постой-ка, постой, братец! Ты, значит, не хохол, а кацап, так, что ли?—оживленно и улыбаясь спросил Хрулев.

— Звістню, из кацапів,—поняв, что допустил большую оплошность, забывчиво на вопрос, заданный по-русски, по-русски же и ответив, совершенно потерялся было пластун, но тут же оправился, когда этот черноусый генерал в бурке воскликнул обрадованно:

— Да ты для меня, братец, чистый клад в таком случае!.. А как же тебя из плена выручили?

— Сам бежал, ваше превосходительство,—снова и невольно переходя на русский язык, бойко ответил пластун.

— Ну, ты мне будешь нужен, братец!.. Как фамилия?

— Чумаков Василий, ваше превосходительство!.. Або Чумаченко,—добавил пластун.

— Ну, в какой бы он там батальон ни попал при распределении, пришлите его ко мне, к генералу Хрулеву, на Корабельную,—обратился Хрулев к хорунжему.—А еще лучше сами придете с ним вместе.

— Слушаю, ваше превосходительство,—отказывая хорунжий.—Когда прикажете?

— Хотя бы даже и сегодня вечером: чем скорее, тем лучше...

Хрулев послал своего белого коня вперед, а Терентий Чернобровкин, ставший Василием Чумаковым—«або Чумаченко» на Кубани, оглядываясь ему вслед, раздумывал, к добру для себя или к худу встретил он этого генерала Хрулева, чуть только удалось ему добраться до Севастополя, и зачем именно понадобилось этому генералу, чтобы он, пластун-волонтер, пришел к нему в этот день вечером. Мелькнула было даже и такая мысль: не родич ли какой он помещику Хлапониному?.. Впрочем, эта мысль так же быстро и пропала, как возникла: не приходилось никогда ему видеть такого в Хлапонинке... На всякий случай все-таки спросил он у хорунжего, для каких надобностей звал его к себе генерал. Хорунжий ответил:

— А мабудь ув дэнщики чї шо...

— Як же так в денщики?—опешил Терентий.—Хиба ж я ув Севастополь за тїм и просився, щоб в денщики?

— Э-э, так на то ж вона и служба!—недовольно буркнул хорунжий.

Это был тот самый хорунжий, который дал Терентию трехрублевую ассигнацию, когда он, переправившись через Кубань, сидел голый около незнакомого ему поста. Фамилия его была—Тремко, и Терентий из понятного чувства благодарности к нему за то, что не приказал он тогда задержать

его и отправить в Екатеринодар «для выяснения личности», а даже помог ему одеться и взял в свою команду, часто и охотно услуживал ему во время пути, но ведь это не называлось быть денщиком, это он делал по доброй воле.

Распределять небольшое пополнение пластунов по батальонам предоставлено было старшему из батальонных командиров, войсковому старшине Головинскому, неоднократно руководителю вылазок, ходившему теперь опираясь на палку по случаю раны в ногу.

Василий Чумаченко, хотя и не состоявший даже в списках новоприбывших пластунов, ему понравился, и он, только спросив о нем хорунжего, хороший ли он стрелок, зачислил его в свой батальон.

Но, отправившись вечером на Корабельную вместе с Тремко, Чумаченко не застал там генерала в папаше: Хрулев получил от Горчакова назначение на Городскую сторону, так как там замечена была секретами усиленная деятельность противника перед Кладбищенской высотой, то есть рядом с теми самыми контрапрошами, которые были взяты французами в ночь на 20 апреля.

2

Убыль в полках была велика, пополнения же, если и были, то ничтожные, так что и самые названия эти—полк, батальон, рота—потеряли свое привычное значение.

В таком, например, боевом полку, как Волинский, вместо четырех тысяч человек оставалось уже не больше тысячи; во всех полках 11-й дивизии: Камчатском, Охотском, Селенгинском, Якутском, так же как и в полках шестнадцатой: Владимирском, Суздальском, Углицком и Казанском,—не насчитывалось уже больше, как по полторы тысячи в каждом; знаменитый Минский полк был почти так же малочислен, как и Волинский; с полками одиннадцатой равнялись по числу людей и полки десятой дивизии, бывшей Соимоновской,—Колыванский, Екатеринбургский...

Когда один из полков был переведен для отдыха с Южной стороны на Северную и Горчаков вздумал сделать ему смотр, он увидел перед собою только три батальона и то далеко не полного состава.

— А где же ваш четвертый батальон?—недовольно спросил он у командира полка.

— Пал смертью храбрых во славу русского оружия, ваше сиятельство!—ответил полковник.

Это побудило Горчакова приказать Остен-Сакену переформировать особенно пострадавшие полки севастопольского гарнизона. Так появились и маю полки двухбатальонного состава, а из Волинского вышел всего только один батальон. Лишние знамена отосланы были на хранение в тыл.

Хотя подкрепления, отправленные из армии Лидерса, и начали уже подходить в Крым в апреле, Горчаков знал, конечно, что они недостаточны, и остро чувствовал свое бессилие, чтобы от обороны перейти в наступление против вдвое сильнее и прекрасно вооруженного противника.

Преимущество интервентов было прежде всего в том, что их силы оставались прежде, как и все время, собранными, его же—распыленными по всему Крыму, так как отовсюду мог он ожидать нападения на свои тылы.

Два Врангеля, оба бароны, оба генерал-лейтенанты, были поставлены на страже доступов в центр Крыма: один—со стороны Евпатории, другой—со стороны Керчи; пятнадцать тысяч пехоты и кавалерии было у первого, десять—у второго. Генерал-адъютант Ред командовал резервом для действующих армий, расположенным частью в Бахчисарае, частью в Симферополе; у него было всего до двадцати тысяч: в Симферополе одна только кавалерия, в Бахчисарае—пехота. Кроме этого был еще особый Бельбекский отряд, рассыпанный по побережью от Алмы до Северной стороны на случай десанта интервентов; наконец, брат главнокомандующего князь Петр Горчаков занимал со своим отрядом Мекензиевы горы,—к востоку от Инкерманских высот,—из опасения непосредственного обхода неприятелем левого фланга основных сил.

В Крыму в меньшем виде, но зато с большей наглядностью повторялось как раз то же самое, что наблюдалось тогда в остальной Европейской России на ее северо-западных, западных и южных границах и на Кавказе: все эти границы числились под ударом, везде нужны были войска, везде они и стояли, и всюду их было катастрофически мало, так что откуда бы их было бы ни взять, чтобы направить в Крым, неминуемо получался тришкин кафтан.

Между тем дерзкие замыслы только и подлинные возможности западных держав, а в особенности Австрии, разграничивались русской дипломатией того времени очень слабо, и призрак нашествия с запада, гораздо более могущественного, чем даже нашествие Наполеона I, пугал не одних только присяжных дипломатов школы Нессельроде и угасающего от старческих немощей в своей Варшаве Паскевича; он пугал прежде всего и военного министра князя Долгорукова, и самого императора Александра.

Александр знал, что его родной дядя, брат прусского короля, принц Вильгельм, который ввиду болезни короля все больше и больше овладевал государственными делами Пруссии, отнюдь не являлся другом России, о чем говорил вполне открыто, и очень легко мог поставить вдруг благодаря своей сильной военной партии Пруссию не только рядом с Австрией в ее домогательствах, но и с

Францией, Англией и другими прямыми противниками России.

Горчаков, чем дальше, тем усиленнее просил Долгорукова и царя о подкреплениях, которые ближе всего было взять в оставленной им Южной армии, у генерала Лидерса. Но Южная армия охраняла Бессарабию от посягательств Австрии, занявшей уже смежные с ней Молдавию и Валахию. Если горизонты Крыма были в непроницаемом пороховом дыму, то зато из Петербурга ясно было видно, что чуть только армия Лидерса будет ослаблена еще хотя бы на одну дивизию, австрийцы двинут свои войска в Бессарабию и займут ее... временно, конечно, но все-таки...

Об этом писал Горчакову Долгоруков, и Горчаков в ответ предлагал пойти на все уступки Австрии на венских конференциях, чтобы только удержать ее от агрессивных шагов и тем развязать руки армии Лидерса и спасти Крым.

Только Крым; спасти Севастополь Горчаков не обещал ни Долгорукову, ни самому царю. Даже больше того: он писал, что находит наиболее умным не защищать Севастополь, очистить его, чтобы сберечь свои живые силы для защиты остального Крыма.

Это, правда, был шаг вперед по сравнению с Меншиковым, который не надеялся отстоять и Крым, но все-таки даже и Меншиков полагал, что Севастополь будет взят штурмом, а не очищен добровольно.

Письмо Горчакова царю о необходимости бросить Севастополь подкреплялось обычными для него ссылками на то, что все дело в корне испортил Меншиков, он же, Горчаков, является не больше как «козлом отпущения» и просит снять с него ответственность перед Россией за недалекое уже падение Севастополя.

Это письмо вызвало такой ответ Александра, отправленный в начале мая:

«К сожалению, я должен с вами согласиться, что положение Севастополя и его геройского гарнизона с каждым днем делается более и более опасным и что помочь этому нет никакой возможности. Уповаю на одну милость божью.

Насчет ответственности вашей перед Россией, если суждено Севастополю пасть,—совесть ваша может быть спокойна: вы наследовали дела не в блестящем положении, сделали с вашей стороны для поправления ошибок все, что было в человеческой возможности; войска под вашим начальством покрыли себя новою славою, беспримерною в военной истории,—чего же больше? Прочее в воле божией.

Бросить теперь же Севастополь, не дождавшись штурма, хотя, может быть, с одной стороны, и представляет некоторые выгоды, но, с другой, оно столь затруднительно в физическом исполнении и в моральном отношении может иметь столь па-

губные последствия, что я радуюсь, что вы мысли этой не дали ходу.

То, что вы пишете военному министру насчет уступок с нашей стороны при венских переговорах для скорейшего достижения мира, нами уже сделано, поколико оно совместно с достоинством России. На дальнейшие уступки я ни под каким видом не соглашусь, ибо вот уже второй год, что благодаря этой системе, вместо того чтобы удерживать Австрию в прежнем направлении, она делалась все невоздержаннее в своих требованиях и, наконец, почти совершенно передалась на сторону наших врагов. При всем том, видя, что мы не боимся войны с нею, я не полагаю, чтобы она решилась открыто действовать против нас.

Посему разрешаю вам, если вы признаете нужным, передвинуть часть Южной армии к Перекопу или даже в самый Крым. Решаюсь на это в том уважении, что лучше жертвовать Бессарабием, чем потерять Крымский полуостров, которого обратное овладение будет слишком затруднительно или даже невозможно».

Основываясь на этом письме, Горчаков немедленно же приказал двинуть форсированным маршем из армии Лидерса в Крым 7-ю дивизию и несколько резервных бригад.

3

Вечером 5 мая Хрулев побывал в ложементах перед пятым бастионом, люнетом Белкина и дальше, по направлению к Карантинной бухте. Кладбищенский холм, очень похожий по форме на Зеленый Холм (Кривую Пятку) Камчатского люнета, сразу привлек его внимание опытного артиллериста: отсюда, если бы здесь установить батарею, можно было бы открыть убийственный фланговый огонь против траншей, захваченных французами в апреле, и заставить их бросить эти траншеи. В то же время и французы, по мнению Хрулева, не могли не видеть, что кладбище, если бы они его захватили, дало бы им огромные преимущества. Работы, которые они вели, конечно, к этому именно и клонились. Получалось как раз то же самое, что было на подступах к Малахову в конце февраля, когда французы подбирались к Кривой Пятке: видно было, что руководит ими одно и то же лицо — именно генерал Ниэль.

Но тогда Тотлебен предупредил Ниэля, заложив Камчатку. Тот же Тотлебен, который сопровождал Хрулеву, высказал мысль, что кладбище должно быть захвачено русскими полками как можно скорее, иначе через несколько дней на нем будет французская батарея, и такие улицы города, как Екатерининская, Морская, окажутся под губительным огнем.

Задача эта оказалась слишком серьезной, что-бы за решение ее взялся Сакен, поэтому на дру-

гой же день Хрулев снова отправился к Горчакову вместе с Тотлебенем.

Меишиков всячески избегал совещаний. Представляя в Крыму «лицо императора» Николая, он стремился быть самовластным в Крыму, как Николай во всей России. Принятое им решение он старался проводить в жизнь, не считаясь с чужим мнением о том, хорошо оно было или не очень. Он знал заранее, что ему не удастся отстоять Севастополь, и он все равно будет осужден и царем, и Россией, и историей, как бы обдуманно ни вел он оборону города; как пишется история, он знал тоже.

Полной противоположностью ему был друг его юности Горчаков. Чужие мнения он впитывал жадно, как губка воду, и без них обойтись не мог. Но даже и утвердившись в какой-нибудь одной мысли, он при всей феноменальной рассеянности своей не забывал все-таки правила, что любая мысль нуждается в неоднократной проверке: иногда он вскакивал среди ночи и будил своего начальника штаба, генерала Коцебу, чтобы услышать от него еще и еще раз, правильно ли он, Горчаков, думает о том-то и о том-то. Перед важными же решениями он, кроме того, долго молился богу, горячо и коленопреклоненно.

В религиозности он весьма немногим уступал начальнику севастопольского гарнизона Сакену, и многочисленным попам около него жилось недурно.

Мысль Хрулева и Тотлебена выдвинуться перед пятым бастионом на Кладбищенскую высоту тут же с приезда их была передана Горчаковым на совещание нескольких генералов, так как в нем самом после потери траншей 20 апреля не осталось уже и следа бывшего увлечения контрап-рошной системой обороны.

Генералы в большинстве высказались за то, что выдвинуться следует, что не нужно упускать удобного момента, что это значительно усилит оборону... Однако не в манере Горчакова было решать затруднительные вопросы с одного лишь совещания. На следующий день у него в штаб-квартире были собраны генералы в гораздо большем числе. Мнения поделились, правда, но большинство высказалось за то, что кладбищем надобно овладеть и непременно его оставить за собою в случае штурма со стороны противника. Вспоминали на совещании и русского солдата: говорили, что он гораздо больше любит наступать, чем защищаться, а выдвижение вперед хотя бы и на сто сажень — не то же ли наступление?

Когда отобраны были все мнения, Горчаков заговорил сам, уныло покачивая сильно вытянутой кверху, но узкой головой:

— Зря все это, зря!.. Бесполезно, совершенно бесполезно... Лишняя трата людей... Тут говорилось о русском солдате, что он больше любит, идти или сидеть... Я должен заметить, — меня наш

солдат не перестает удивлять тем, как он приобьик к бомбардировкам! Он достоин высшей похвалы, господи,—он совершенно закалился для теперешнего вида войны... И я вполне надеюсь, что он также хорош будет в поле,—вот где,—при защите внутреннего Крыма... Беречь нам надо солдата, беречь, а не то чтобы самим его сознательно тратить на эти там разные эфемерные выдвижения!.. Бесполезно все это. Зря!

Казалось, что сказано было решительно и что он, Горчаков, главнокомандующий, совершенно не согласен с мнением большинства собранных им генералов и не допустит никаких работ впереди пятого бастиона. Генералы переглянулись.

Недоумевающе поглядев сперва на Хрулева, а потом уж переведя выпуклые серые глаза на Горчакова, Тотлебен привстал над столом, слегка изогнувшись:

— Разрешите мне, ваше сиятельство, сделать маленькое возражение на ваше замечание, — совершенно и исключительно по сути дела... Разумеется, можно и не тратить людей на проектируемое выдвижение, но однако... что же может впоследствии в результате этого шага? Только то, что кладбище будет занято французами, и тогда-то именно и начнется подлинная трата людей с нашей стороны решительно безо всякой пользы для дела, ваше сиятельство!.. Ведь вся цель выдвижения нашего в том именно и заключается, чтобы меньшими потерями были предотвращены гораздо большие... Это не говоря даже вовсе об ущербе, который причинен будет неминуче городу,—об очень большом ущербе! Городу и даже судам нашего флота...

Горчаков, слушая его, так нетерпеливо жевал губами и блистал стеклами очков, что Тотлебен умолк вдруг.

— Для французов, опять для французов будем строить траншею!—почти выкрикнул Горчаков, пристукинув о стол длинным указательным пальцем.— И они возьмут,—будьте покойны на этот счет!— и могут даже нам потом благодарственный адрес прислать! Ведь для них это будет клад, находка,—траншея готовая, устроенная руками не ихними, а безропотных русских солдат!

— Эта находка, однако, обойтись им может в дорогую цену, ваше сиятельство,—сказал Хрулев.

— А нам? А нам в какую?—так и вскинулся, обернувшись к нему, Горчаков.—Если даже и в равную, все равно мы в проигрыше большим будем! Мы вдвое слабее противника и равных с ним потерь иметь не смеем,—вот что мы должны помнить! Это, это, это—не смеем!—И Горчаков снова, теперь уже явно предостерегающе, постучал пальцем и посверкал очками.—Выдвинуться посредством эполоментов¹ вдоль по Кладбищенской высо-

те, поставить там орудия и защищать высоту,—которая очень важна, разумеется, для нас, в чем я не спорю,—это одно, но совсем другое дело траншея в целую версту длиной! Подумать только, сколько надо людей, чтобы отстоять такую траншею!

— Тысяч восемь,—не больше,—сказал Хрулев.

— Вот видите, вот видите,—восемь тысяч!—трагически вздернул узкие плечи Горчаков.—Ведь это вы в большое сражение хотите ввязаться! Нет, этого я не могу допустить, как хотите! Не могу, не могу и не могу!

Казалось, что затея Хрулева и Тотлебена совершенно осуждена главнокомандующим и провалилась, однако совещание кончилось тем, что решено было все-таки устроить траншею. Контрапрошная система восторжествовала вновь, впрочем, только затем, чтобы совершенно потом померкнуть. Горчаков разрешил строить контрапроши в ночь с 9 на 10 мая, но не позволил их защищать, если французы вздумают немедленно их отбивать и выведут в дело большие силы.

Вместо восьми тысяч, просимых Хрулевым и Тотлебенем, Горчаков отрядил для работ и прикрытия только пять с половиной: два полка—Подольский и Эриванский—и два батальона Житомирского полка.

Хрулев был назначен командовать этим отрядом.

4

Была ночь—безветренная, теплая, туманная и рабочая: работали русские солдаты, огибая траншеей склон Кладбищенской высоты, обращенный к неприятелю, работали и французы, в нескольких десятках шагов от них роя окопы. И как для русских не было тайной, что делают французы, так, и тем более, для французов не были тайной работы русских. Напротив, они были до того желанны высшему командованию французской армии, что даже на артиллерийскую пальбу, открытую в поддержку русским рабочим с пятого бастиона и с люнета Белкина, французские батареи почти не отвечали: нельзя было мешать тому, что делалось как бы по заказу самого Пелисье, уже давшего приказ командиру первого корпуса, генералу де-Саллю зорко следить здесь за действиями русских и выжидать удобнейшего момента для своих действий.

Между тем как кирки и мотыги долбили неподатливую каменистую землю, а лопаты выбрасывали ее, образуя вал, с ровным шумом хотя и сдержанной, но все-таки большой работы, в которой занята не одна тысяча человек, приказания здесь, на кладбище, отдавались шопотом, так как за работами следило несколько генералов: кроме самого Хрулева, тут был и начальник штаба гарнизона Васильчиков, и глухой Семякин, и бригадный

¹ Эполоменты—орудийные окопы (франц.).

командир Адлерберг, и наконец, Тотлебен, как бы подчеркивая этим, что работам придается большая важность.

Наступило утро,—и траншея в версту длиной была готова. Несколько облегчало работу то, что здесь уже тянулись ложементы, заложенные еще зимою. Когда Хрулев обходил новую линию контрапрошей утром, чрезвычайно поразило его, что в рапортах начальников различных участков работ ничего не говорилось о потерях от неприятельского огня: потерь совсем не было.

Тактика противника стала ему понятна. Встретившись присвистнув и сдвинув папаху на затылок, что было у него признаком беспокойства, он взобрался на высшую точку кладбища и долго наблюдал отсюда французские траншеи. Он разглядел там рабочих, но на его глазах эти рабочие уходили по тем зигзагообразным ходам сообщения, которыми изрезана была поверхность земли. Они уходили, выполняя чей-то предусмотрительный приказ, и из отбитых в апреле у русских траншей. Так очищать траншеи могли французские солдаты только затем, чтобы вполне свободно было их батареям открыть сильнейший огонь по новым русским контрапрошам.

— Ну, Константин Романыч, жаркое дело будет сегодня ночью!—прокричал на ухо Семякину возбужденный Хрулев, вернувшись с обхода линии.

— Как так? Неужели уже сегодняшней ночью?—оторопел Семякин.—Неужели вы думаете, что не дадут укрепиться?

— Нет, не дадут,—это уж верно... Надо готовить им приличную встречу.

И пошел распорядиться лично кое-чем, что считал необходимым для крупного рукопашного боя, главное же, он был озабочен вопросом о резервах, так как считал свои силы слабоватыми для защиты довольно длинной и пока еще далеко не законченной линии траншей.

Приступая к работам, он все-таки не думал, что французы будут так спешить штурмовать их: это заставляло его врасплох. Неприятно было также и то, что в какой-то мере оказывался прав Горчаков, к которому не питал он уважения, и была жгучая досада на него, отмерившего ему отряд такой скупою мерой.

Хрулев не знал еще того, что французская армия имела уже нового главнокомандующего и что утром же 10/22 мая этот новый главнокомандующий сам приезжал на позиции перед Кладбищенской и Карантинной высотами, внимательно осмотрел линию только что появившихся русских контрапрошей и приказал де-Саллю в эту же ночь овладеть ими и повернуть против русских, Хрулев не знал этого, но большой военный опыт и без того верно подсказал ему, шахматисту, ближайший ход противника.

Рабочих убрали из новых траншей и во-время

это сделали: французы открыли ураганный огонь не только по траншеям, но и по пятому бастиону; а когда начал поддерживать батареи бастиона люнет Белкина, то и он был засыпан снарядами.

Канонада гремела целый день и была жестокой, а под ее прикрытием части французской дивизии генерала Патэ уже засветло заняли параллели против кладбища: этой дивизии де-Саллю приказал произвести штурм чуть только совершенно стемнеет, и колонна генерала де-Ламотт-Ружа сосредоточилась здесь, а другая колонна—бригадного генерала Бёре—у Карантинной бухты. Кроме того, в эту бухту с вечера зашли французские пароходы, чтобы содействовать своей пехоте огнем во фланг русским. А между тем для защиты траншей против Карантинной высоты Хрулев не нашел возможным выделить из своего отряда больше, чем три батальона: два житомирцев и один эриванцев,—остальные же семь должны были отстаивать кладбище.

5

как и накануне, в первую линию секретов были высланы пластуны, чуть только стемнело и канонада стала гораздо слабее; за ними залегли в ложементах охотники Подольского полка. Наконец, в траншеях против кладбища оставалось на день семьдесят человек стрелков; о них тоже вспомнил Хрулев и послал на смену тем, кто из них смог уцелеть, новую команду штуцерных.

Среди пластунов в передовом секрете лежал и Терентий Чернобровкин, он же Василий Чумаченко. Это в третий уже раз он назначался в секреты, точно бы старый многоопытный пластун.

К генералу Хрулеву, исполняя его же приказ, хорунжий Тремко приводил Терентия на другой день после того, как они его не застали, однако Хрулев был занят по горло и только сказал на ходу хорунжему, чтобы непременно привел он к нему этого кубанского пластуна-кацапа через несколько дней, что именно такой самый ему и будет нужен со временем, так как он думает завести у себя в полках команды пластунов из пехотных солдат, а среди солдат молодцы, годные для этого, есть не из одних же только украинцев; однакоже если приставить к русским в дядьки пластуна из щирых казаков, то едва ли много поймут они из его речи, а этот пластун-кацап к тому же, видно, что речист.

Но тот, кого наметил в дядьки к солдатам Хрулев, сам в первую ночь сплосал: он вздумал ни больше, ни меньше, как закурить трубку, лежа в секрете, и только старший над ним, Савелий Ракша, во-время предотвратил преступление, а потом выговаривал ему строго:

— Чи ты здурів, люльку курить у секреті, га?.. Як в ціпу лежимо, ну, тоді... Так и то ж

черкеску на голове натянуты треба, а ты у секрэтл..

И хотя Терентий пытался оправдаться, что лежал-то ведь он в яме, так что не видно было ни на волчий глаз огня, а искру выбивал под пушечный выстрел, затаившись же думал всего один раз только, но Ракша перебил его, негодуя:

— Э-э, ось слушайте, люди, шо дурной балакае!.. А дым від тютюна? Хиба же в і н его не почуе?

«Він»—это был неприятель, которому Терентий, одержимый мучительной жадой курева, вздумал отказать в чутье...

Во вторую ночь было уже не до трубки: это была строгая ночь,—шли работы с обеих сторон. Лежа очень близко к неприятельским окопам, Терентий отчетливо слышал, как трудились французы, не уступая в этом русским солдатам; он понимал всем нутром своим, что готовится с обеих сторон немаловажное дело, и очень часто по-старому, по-деревенски покручивал головою.

Слишком резок переход был для него от Хлапонинки к плавням Кубани, однако несравненно резче и круче оказался этот последний переход от плавней к севастопольским бастионам. И он очень хорошо понимал своего друга Трохима Цапа, когда тот говорил ему на другой день во время ожесточенной канонады, оторопело глядя на чугунную тучу снарядов, закрывшую небо:

— Хиба ж це стражение?.. Це якесь велике душегубство!

Канонада этого дня совершенно оглушила и потрясла Терентия, как и всякого новичка, попадавшего в Севастополь во время усиленной бомбардировки.

У пластунов на пятом бастионе был свой блиндаж, в котором полагалось спать им днем, чтобы могли они чутко слышать и зорко впиваться глазами в темноту ночью: они были ночные птицы. Но Терентий пока еще даже и представить не мог, как можно было спать в блиндаже, когда в нем дрожали земляные стены от рвавшихся кругом, а иногда и на его крыше, снарядов и от гулких огромных ядер из осадных орудий.

На обстрелянных старых пластунов, способных спать даже и не в блиндаже, а около него на свежем воздухе, несмотря на бешеную пальбу с обеих сторон, глядел он с детским недоумением. Он и думать не смел, что недели через две так же, как и они, будет он засыпать под канонаду, а просыпаться, когда наступит вдруг тишина, и уже совершенно спокойно будет глядеть на разможенные ядрами или разорванные на части снарядами тела солдат. Теперь же это его пугало: он горестно морщился, приседал от внезапной дрожи в коленях, закрывал глаза или отворачивался и по-деревенски безнадежно махал рукой, когда это видел.

Случалось, попадались ему на глаза носилки с убитым или раненым офицером,—тогда он почему-то ярче вспоминал своего «друга» Хлапонина Митрия Митрича. Он не сомневался в том, что гораздо раньше его прибыл в Севастополь Хлапонин со своей заботливой женой, и ему очень хотелось поглядеть на него хотя бы издали, однако не только не нашлось времени поискать его здесь, но даже не у кого было спросить о нем.

Хорунжий Тремко, когда он обратился к нему за советом, как бы разыскать офицера Хлапонина, спросил его, какого рода оружия этот офицер, и Терентий, к стыду своему, должен был ответить, что не знает. Действительно, зачем и нужно было ему знать это там, у себя в деревне? Да и сам Хлапонин счел, должно быть, лишним рассказывать ему, был ли он в пехоте или в кавалерии и в каком именно полку.

Что на пятом бастионе его не было, в этом Терентий убедился, расспрашивая солдат и вглядываясь в лица их офицеров; но ведь бастионов и редутов было много, кавалерия же совсем не стояла в Севастополе.

«Домашние мысли в дорогу не годятся»—это Терентий как следует почувствовал не на Кубани, а только здесь, в Севастополе, среди непрерывного грохота пальбы, среди разрушений, увечий и смерти кругом. Здесь о жене и детях, брошенных им в Хлапонинке, думал он гораздо меньше, чем на Кубани и по дороге сюда: как бы то ни было, там было им куда спокойнее, чем было бы здесь, там они были сохраннее.

Здесь же был враг, многочисленный и хорошо оснащенный, и следить за тем, что намерен предпринять враг в эту ночь, отправился, чуть только стемнело, вместе с другими пластун Василий Чумаченко.

Темнота была влажная,—наползал туман с моря, как и в прошлую ночь; однако он не задерживался, полз дальше и часто редел до того, что становилось можно кое-что разглядеть шагах в двадцати. Услышать же ничего было нельзя, так как безостановочно гремели осадные орудия противника, а им отвечали мортиры с пятого бастиона.

— Дывись дужче, Васыль!—сказал ему на ухо подползший справа Савелий Ракша.—Мабудь тэ-пэр шо-сь таке будэ...

Чумаченко невольно расширил глаза доотказа и, действительно, немного времени спустя заметил, что темнота впереди почему-то густеет четырехугольником, надвигается, шевелится.

Васыль толкнул Ракшу, тот дернул за рукав черкески Васыля, и оба они проворно поползли назад к цепи подольцев, поднимая тревогу: «Враг идэ!»

А как раз в это самое время,—было всего только половина десятого,—Хрулев отправлял в траншею с пятого бастиона и редута Белкина батальоны ра-

боких и батальоны охранения их, и они выходили через ворота и калитки укреплений.

Французы шли дружно по всей линии по одной общей команде, под звуки рожков, и по всей линии, несмотря на туман, в котором увязал, сгущая его, оружейный дым, поднялась встречная ружейная пальба отходящей цепи подольцев перед Кладбищенской высотой и житомирцев—перед Карантинной.

Но эта слабая пальба явилась как бы сигналом для сильнейшего оружейного рева с французских батарей, прикрывавших наступление своих колонн, а им в ответ участили стрельбу батареи пятого бастиона и редуты Белкина и Шемякина. И тут же потонули в сплошном реве мортир и пушек ружейные выстрелы; видны были только слабые огоньки, вспыхивавшие и гаснущие в дыму, точно «огни святого Эльфа» на болотах.

Хрулев видел, что он предупрежден французами, что непростительно опоздал выдвинуть из укреплений собранные еще засветло войска. Теперь он торопил их, срывал с себя папаху, махал ею и нервно мял ее в темноте, дергал то вправо, то влево своего коня, кричал сразу сорвавшимся и охрипшим голосом:

— Барабанщики, бей беглый марш!.. Горнисты, труби!..

Подольцы и эриванцы, как рабочие роты, так и прикрывая их, шли самозабвенно, лишь бы успеть занять свою траншею, однако было уже поздно. Всего несколькими минутами раньше их двинулись бегом в атаку передовые части французских колонн, вскочили в траншею, раздавили жиденькую цепочку штуцерных в ней и приготовились уже к горячей встрече спешивших русских рот...

Добежали уже до гребня высоты подольцы, бывшие впереди эриванцев, когда гребень этот засверкал вдруг изгибисто, точно затрепетала в дыму и тумане зарница над самой землей. Залпов ружейных не было даже и слышно за раскатами пушечных залпов, но люди падали в передних шеренгах десятками, а другие бежали под барабаны вперед, то и дело натываясь на тела упавших товарищей.

Стон раненых так же не было слышно, как и штуцерной пальбы, и только ноги чувствовали то здесь, то там мягкое живое тело, да чужие руки снизу хватались за носки и каблуки сапог, инстинктивно отталкивая их, чтобы не раздавили лица.

Быть может, и генерал Адлерберг, который вел Подольский полк, упал, только раненный штуцерной пулей одним из первых, а потом был просто задавлен стремительно бегущими вперед рядами солдат. Но в темноте не видно было никаких начальников, а за канонадой не слышно их команды: шла возбужденная масса солдат русских

отбивать у захватчиков построенные ими траншеи и, добравшись, наконец, до них, кинулась вперед остервенело с этим «а-а-а», которое, отлетев от целого «ура», способно долго звенеть, вопить, стонать запальчиво на одной только, самой сильной для каждого голоса ноте.

Много потерь было у подольцев от ружейных залпов, пока добежали они до французских стрелков, красные шапочки которых то и дело озарялись вспышками выстрелов, но вот и траншея,—врезались в нее, и закипел страшный в темноте штыковой бой.

Темнота, впрочем, была неполной, потому что светилося небо точно падучими звездами, тысячами снарядов, сыпавших красные искры из своих трубок.

Всего только несколько минут ожесточенного боя могли выдержать французские егеря и бежали из занятой траншеи все, кто не остался лежать в ней или около, проколотый штыком.

Тогда французская пехота уступила своей артиллерии честь и место, артиллерия же подготовилась к этому наславу, удивляя русских огромным количеством припасенных для этого ядер и бомб. Сплошной и широкий чугунный поток обрушился сверху на пятый бастион, ломая все и взрывая. Поддерживая соседа, один только люнет Белкина, отвечая одним выстрелом на три, на четыре выстрела противника, выпустил в эту ночь три тысячи снарядов... Всего одно бомбическое орудие было на этом люнете, и тому пришлось поработать сверх меры: четыреста выстрелов сделано было из него за ночь!

Однако, несмотря и на такой огонь, сомкнутые в колонны резервы с той и с другой стороны подходили к траншее. Генерал де-Ламотт-Руж двинул батальоны гвардейцев, только незадолго перед тем прибывших из Константинополя в Крым. Неострелянные еще императорские гвардейцы шли добывать себе славу. Этот рослый красивый народ по чьему-то почину даже дула винтовок своих забил грязью, чтобы не стрелять из них, а встретить русские штыки своими штыками.

На них белели перевязи, в смутной темноте похожие на белые ремни от ранцев, какие были у всех пехотных русских солдат, и когда они появились перед траншеей на кладбище, подольцы при слабых отблесках сверху от летящих над головой снарядов приняли было их за русских.

Они начали кричать гвардейцам:

— Вы кто такие, говори!.. Наши, что ли?.. Наши или нет? Признавайся! Наши?

— Наш, наш!—кричали в ответ, подхватив одно это часто повторявшееся слово, гвардейцы передних рядов, поджидая в то же время, когда подбегут задние.

Упущено было, может быть, не больше минуты,

пока подольцы, оставшись почти без офицеров, поняли, что перед ними французы, и открыли, наконец, беспорядочную стрельбу; однако эта минута была решающей. Подольцев после первой жестокой схватки оставалось уже не так и много, они устали, немало из них было раненых, не покинувших строя, а на них кинулись свежие силы батальоны отборнейших людей французской армии.

Штыковой бой был упорный, как всегда, когда дрались русские, но силы были слишком неравны, и подольцы были выбиты из траншей.

— Вот, братцы, валит! Вот валит валом!— кричали о неприятеле отступавшие подольцы эриванцам, спешившим им на выручку.

Однако не бежали подольцы; отступив, они поспешно строились, чтобы броситься снова на тех, которые обманули их своими белыми перевязями и тем, что, подходя, не стреляли.

Гвардейцы сопротивлялись довольно долго; они решили не проигрывать своего первого боя с русской пехотой, но все-таки вынуждены были очистить траншеи под натиском эриванцев. И пока накапливались французами силы для новой схватки на кладбище, еще ожесточеннее поднялась канонада.

6

Хрулев метался.

Уже по одному только ураганному огню, открытому французами с самого начала их атаки, он, артиллерист, понял, насколько старательно, беспронгишно была подготовлена эта атака. Конечно, такому огню должны были соответствовать и пехотные массы французов.

— А мне дали всего-навсего пять тысяч!— возмущенно по адресу Горчакова кричал он, обращаясь то к Семякину, начальнику этого участка оборонительной линии, то к Тотлебену, который не уходил с пятого бастиона, обеспокоенный участью траншей, построенных по его плану.

Было всего только около полуночи, когда Хрулев получил донесение с правого фланга, что траншея там уже занята французами. Генерал Бёре сразу кинул на штурм большую половину своих сил и задал многолюдством два жидких батальона житомирцев; они отступили к шестому бастиону и редуту Шемякина.

— Резервов, резервов надо, а то и здесь то же самое будет!— ожесточаясь, кричал Хрулев.

Тотлебен наскоро выстроил четвертый батальон эриванцев и послал его на подмогу первым двум, которых к полуночи успели уже выбить подоспевшие новые силы французов.

Этот батальон ударил особенно стремительно. Он не только очистил русские траншеи и ложементы, он гнал французов до их траншей, ворвался в переднюю, разорил ее... Успех атаки эриван-

цев взбодрил подольцев, они разобрались в своих ротах, устроились, и траншеи на кладбище снова и, казалось бы, прочно были заняты русскими.

Далеко перевалило за полночь, когда де-Ламотт-Руж, собрав все свои резервы, решился на новую атаку.

С полчаса длилась артиллерийская подготовка. Картечь, как полоса града, метко направленная на гребень Кладбищенской высоты, косила подольцев и эриванцев.

— Что же это за оказия такая! Прямо податься некуда—как сыпет!—кричали солдаты и, неся большие потери, подавались назад.

Брошенные в атаку французские батальоны без особого труда заняли злополучную траншею уже в пятый раз в эту ночь. Но из ворот пятого бастиона выступали в поле два батальона боевых минцев.

Это был тот неположенный для защиты кладбища резерв, который Хрулев вымолил у Сакена. Минцы стояли в прикрытии пятого бастиона так же, как и Углицкий полк, и их Хрулев направил отстаивать кладбище, а семь рот углицких послал на правый фланг отбивать Карантинную высоту у французов.

Силы эти были небольшие, правда,—и тех и других едва набиралось полторы тысячи,—зато они были последние,—больше уж некого было бы послать в эту жадную пасть рукопашного ночного боя. Зато и минцы и углицкие за себя и за других постояли.

Два пятна лежало уже на чести Углицкого полка за эту войну. Первое,—когда, находясь в резерве, отступал он с Алминского поля битвы, и отступление было так похоже на бегство, что Меншиков заставил этот полк идти под звуки церемониального марша; второе,—когда в апреле ему поручена была защита новой траншеи против редута Шварца, и он ее не отстоял и отошел после первой же схватки.

В эту ночь семь углицких рот смыли пятна полка своею кровью: из семисот человек вернулось не больше половины и только восемьдесят среди них не раненых; офицеры же все были выведены из строя. Но эти семь рот дрались богатырями: они не только выбили французов из захваченной ими траншеи, но ворвались на их плечах в их траншею и там произвели большое опустошение, а когда пришел их черед отступать, они отступали шаг за шагом и лицом к противнику, втрое превосходившему его силой... Это было уже к утру. Начал брезжить рассвет, и число бойцов с той и с другой стороны уже поддавалось кое-какому определению на-глаз.

Минцы появились перед кладбищенской траншеей тогда, когда французы уже считали ее своею. К ним, между тем, шли еще свежие подкрепления,

и все-таки натиск минцев оказался неожиданно для них слишком стремителен.

Гвардейцы нового, вызванного из последнего резерва, батальона, егеря, роты иностранного легиона—все сгрудились около траншеи с одной стороны, а с другой—вновь и вновь собирались на поддержку минцев отброшенные было подольцы и эриванцы, и этот предрассветный бой превзошел все предыдущие по своему упорству.

И с той и с другой стороны это был бой солдат одной нации с солдатами другой, так как офицеры, если и оставались еще в небольшом числе, не имели возможности руководить ими.

Ожесточение обеих сторон достигло предела. Рычание, ругань, звяканье штыка о штык, страшное действие прикладов, брызги чужой крови, слепящие и без того полужрание в темноте глаза, предсмертные стоны, вопли тяжело раненных, свалившихся под ноги бойцам,—все это было непередаваемо по своему напряжению, и все-таки русские одержали верх в этой последней схватке, в пятый раз и уже окончательно заняв свои траншеи и преследуя бегущих французов до их траншей.

Однако наступал рассвет. Хрулев послал приказ отступать, оставив на день в траншее не свыше полтораста стрелков. Уполовиненные ночными боями Подольский, Эриванский и Минский полки возвращались на пятый бастион; но это было не отступление. Это был марш победителей. Солдаты шли под песни. Впереди минцев шагал высокий унтер-офицер Пашков, полковой запевала, со страшным лицом, закопченным пороховым дымом, забрызганным запекшейся кровью, в мундире, разорванном штыками в семи местах, и, заломив фуражку-бескозырку на правый бок, затягивал тенором необыкновенной чистоты и силы:

Э-э-эх, выезжали Саша с Машею гулять
Д'на четверке на була-а-аных лоша-дя-ях!

А минцы все, сколько их оставалось, подхватывали душевно и с присвистом:

Эй, жги, люлй-люлй-люлй-люлй,
Д'на четверке д'на буланых лошадях...

Следом за минцами со своими песнями шли эриванцы, за ними—подольцы, и, может быть, именно эта неожиданность, неслыханность, необычайность,—песни вдруг тут же после кровопролитнейшего штыкового боя, длившегося целую ночь, так повлияли на французских артиллеристов, что они не сделали ни одного выстрела по русским ротам, возвращавшимся на свою оборонительную линию в плотных колоннах, по местности вполне открытой и при белом рассвете.

Но канонада, и сразу жестокая, началась снова, чуть только все роты до последней скрылись в укрепленном районе.

Кладбищенская траншея оставалась весь этот день занятой только русскими стрелками. Она вся была завалена трупами; трупами же и тяжело раненными были покрыты и все подступы к ней с обеих сторон. Канонада же со стороны французов имела очевидную цель ослабить русские батареи, заставить замолчать как можно больше орудий, чтобы с большим успехом, чем накануне, провести штурм кладбища и овладеть им.

Действительно, де-Салль назначил для этого другую дивизию своего корпуса, так как потери дивизии Патэ оказались неожиданно велики.

То же самое мог бы, конечно, сделать и Горчаков: назначить новые три-четыре полка для новой защиты траншей, но он предпочел сделать иначе.

Когда капитан-лейтенант Стеценко, проводив в марте вместе с подполковником Панаевым князя Меншикова до Николаева, вернулся в Севастополь, он просился на бастионы и получил должность траншей-майора на первой дистанции. В его ведении были пехотные команды, назначаемые в прикрития.

Однако эту должность он занимал недолго; вскоре он был сделан начальником всей артиллерии первой дистанции, имевшей около двухсот пятидесяти орудий.

В первую дистанцию входили пятый и шестой бастионы, а также люнет Белкина, редуты Шварца, Шемякина и другие. Состояние артиллерии этих укреплений не могло не занимать Горчакова, когда затевалось такое серьезное дело, как устройство контрпрошей на кладбище и на Карантинной высоте, бывших уже под вполне определившимся ударом со стороны французов, поэтому и Стеценко вместе с генералами был приглашен на совещание в штаб-квартиру.

И если кто наиболее обоснованно возражал против плана Хрулева и Тотлебена, то это был именно Стеценко, хотя ему предложено было высказаться только о том, что надобно сделать по части артиллерии, как лучше ее усилить и снабдить, чтобы с честью выдержала она ратоборство с очень мощными батареями французов.

И Стеценко говорил долго и с полным знанием дела. Артиллерия, по его словам, была в общем слаба, особенно на шестом бастионе и таких редутах, как Шемякина, Чесменский, Ростиславский и на батареях лейтенантов Эльсберга и Бутакова, на которых много было орудий устарелых, вытесненных на свет из арсенала только ради большой оказии. Питание же орудий, бывшее сносным до сих пор, может оказаться совершенно недостаточным для серьезной большой бомбардировки, которая неминуема при затеваемом большом деле. После такого вступления естественно напрашивался вывод: как можно будет удержаться пехоте в

наскоро сработанной траншее, если и в основательно устроенных укреплениях держаться приходится с большим трудом?

Мнение скромного на вид и небольшого ростом капитан-лейтенанта было опровергнуто тогда авторитетными голосами генералов, утверждавших, что настало время приступить к контросаде и создать второй пояс выдвинутых редутов наподобие Волынского, Селенгинского, Камчатского, и это мнение одержало верх. Но результаты ночного боя 10—11 мая, доведенные до сведения Горчакова, заставили его вспомнить выводы Стеценко, которые к тому же совпадали с его личным мнением о запоздалости всей вообще контрапрошной системы обороны.

Даже по приблизительному подсчету потери, понесенные русскими полками в эту ночь, оказались велики: они доходили до двух с половиною тысяч. Однако по яростной канонаде, начавшейся с утра 11 мая, Горчаков видел, что французы, потери которых не могли быть меньше, готовы итти на еще большие, лишь бы овладеть русской траншеей на кладбище.

Несомненная важность, которую французское командование признало за этой позицией, заставляла и Горчакова колебаться с окончательным решением весь этот день и только к вечеру, когда от Семякина пришло донесение, что на пятом бастионе осталось уже мало годных к делу орудий, а редут Шемякина приведен к полному молчанию, Горчаков послал приказ Тотлебену отправить с наступлением темноты на работы в траншею на кладбище всего только два батальона Житомирского полка, и если замечено будет, что неприятель вновь наступает большими силами, то чтобы батальоны эти отступили, не ввязываясь в сражение, артиллерия открыла бы самый сильный огонь, на который способна.

И батальоны житомирцев вышли как бы на работы в траншею,—солдаты одного из них несли с собою шанцевый инструмент, но работать в эту ночь не пришлось: пластуны уже в девять часов вечера передали, что «враг идэ!» Однако трудно было удержаться от того, чтобы не встретить залпами атакующих. Под натиском десяти батальонов генерала Левальяна житомирцы отступали медленно, и к потерям предыдущей ночи прибавилось еще около пятисот человек; столько же выбыло и из вражеских рядов.

Кладбище осталось за французами.

8

Это был как бы символ, что старое севастопольское кладбище мирных времен защитники Севастополя уступили противнику без нового кровопролитного боя: на Северной стороне росло, расширяясь непомерно, другое, Братское кладбище,

исторический смысл которого день ото дня становился очевиден для всех и огромен.

Если старое кладбище было только кладбищем контрапрошной системы, весьма запоздало предписанной Горчакову Николаем, то новое, Братское, на Северной, росло как кладбище всего николаевского режима.

Старое же кладбище расположено было на высоте, которой Ниэль, руководивший осадой, придавал особую важность. Здесь совпали желания оскорбленного и оскорбителя,—Ниэля и Пелисье; и когда первый заявил, что если русские удержатся на кладбище, то осада города станет невозможной, второй, жаждавший энергичнейших действий, собрал для удара по кладбищу огромные огневые средства и подавляющие людские силы; а Горчакову пришлось вставить в донесение о бое 10—11 мая многозначительную фразу: «Неприятель сделался и умнее и смелее».

Горчаков опасался, что, захватив кладбище, французы кинутся на штурм четвертого и пятого бастионов, и уже заранее не надеялся их отстоять, о чем и писал в донесении царю: «По самому свойству этих верков и по прилегающей к ним местности их нельзя будет отстоять, если огонь артиллерии будет потушен. Если же неприятель их возьмет, то выбивать его из них будет тоже в высшей степени трудно: к ним с нашей стороны надлежащего доступа не будет, ибо удобных к ним подходов для движения резервов не существует и устроить их невозможно. Мы уповаем на бога,—но надежды на успех я имею мало. Прежние ошибки неприятеля послужили ему уроком, а превосходство его сил и средства, коими он располагает, огромны».

Так к нескольким главнокомандующим с той и с другой стороны, побежденным уже в этой войне, присоединялся всего только через два месяца по своему прибытии в Крым и князь Горчаков.

В полдень 12/24 мая объявлено было перемирие для уборки трупов, и на шестом бастионе заплескал белый флаг.

На полуфурки, выехавшие из ворот укреплений к месту ночных боев, бросали трупы, как поленицы дров, накрывали их черными от кровавых пятен брезентами и везли через город на Николаевский мыс, где складывали их рядами. К ним подходили сердобольные, вкладывали им в руки церковные копеечные свечки, молча вглядывались им в лица, крестились... Здесь эти трупы ждали своей очереди, когда погрузят их на баржу и переправят на Северную. Братские могилы для них копали арестанты; хоронили их без гробов, по десять-пятнадцать в ряд и по несколько рядов в одной могиле.

Правда, гробовщики ютились тут же, на кладбище, в наскоро сделанных ими самими шалашах, около которых сложен был штабелями привезен-

ный издали тес для гробов, но теса этого было немного, и гробы стоили у них дорого. Они доступны были по ценам только офицерам, которые брали на себя похороны своих полковых товарищей.

Первый перевязочный пункт, где работали Даша и Варя Зарубина, кроме нескольких сестер милосердия, присланных в разное время из Петербурга, был завален ранеными еще накануне; иные из них пришли на своих ногах, другие были доставлены санитарями. До семисот ампутаций пришлось сделать в один только этот день врачам. Десятки раз опоражнивались служителями большие лохани, стоявшие в углах операционной, в которые бросали отрезанные руки и ноги.

Среди захваченных в плен около траншей французов оказался один швейцарец, тяжело раненный, простой рядовой из иностранного легиона. Врачи заботливо заговорили около него по-французски, что он в сущности совершенно безнадежен и над ним висит уже смерть, так что если и делать ему операцию, то исключительно в целях очистки совести.

И раненый,—он был совсем еще юноша,—обратился к ним сквозь слезы:

— Не надо, господа! Спасибо вам, что вы сказали, как близка моя смерть! Избавьте же себя от лишнего труда, а меня от лишних мучений... И очень прошу вас, господа, не думайте, что я питал какую-нибудь ненависть к русским, когда шел волонтером... Я пошел служить только затем, чтобы заработать своей старой и бедной матери кусок хлеба... Я старший в большой семье... Мы очень бедно жили... Оставьте меня в покое, чтобы я мог хотя подумать перед смертью о своей матери, братишках, сестренках, которые, может быть, умирают теперь от голода на моей родине в то время, когда я умираю здесь от пули...

Когда Варя со слезами на глазах перевела Даше, что говорит этот молодой французский солдат, та сказала было запальчиво:

— А чего лез сюда к нам? Вот и получил пулю!—однако и ее глаза, неожиданно даже для нее самой, застлали слезы.

Среди всех, привычных, впрочем, уже для Вари, ужасов битком набитого ранеными дома бывшего Дворянского собрания она улучала все же иногда время подойти к умирающему французскому легионеру, и умер он на второй день утром, прижимая холодеющей рукой ее руку к своим посиневшим губам.

Пять часов тянулось перемирие. Пять часов многочисленные рабочие с той и с другой стороны разбирали навороченные около траншей и в траншее горы трупов. Всюду на валах бастионов и редутов стояли и смотрели на совершенно чистое теперь от дыму поле недавней битвы солдаты и матросы.

Случилось, что на шестой бастион проведать мужа, комендора Шорникова, пришла матроска со

своим сынишкой лет десяти. Бойкий матросенок упрямил отца пойти туда посмотреть, что там делают.

Матрос пошел с ним. Когда появился он на линии оцепления, там двое дежурных—свой мичман Еланский и француз-офицер, с молдой чернявой бородкой и в замшевых перчатках,—оживленно говорили между собой на незнакомом ему, Шорникову, языке.

«Эх, не сболтнул бы мичман этот чего не надо!»—озабоченно думал, поглядывая на него, Шорников. А француз между тем, посмотрев на Шорникова, что-то залопотал мичману, кивая головой в узкой фуражке с большим козырьком.

— Это что же, обо мне, что ли ча, он спрашивает, ваше благородие?—сурово обратился Шорников к юному своему начальнику.

— Спрашивает, неужели есть еще матросы в Севастополе,—улыбнулся комендору Еланский.

— Скажите ему, ваше благородие, что нас еще на два года с остаточком хватит,—пускай знают,—прошептал Шорников.

Мичман перевел. Француз рассыпался в комплиментах русским матросам-артиллеристам, потом вытащил из кошелька франковую монетку и протянул мальчику, погладив его при этом по успевшим уже выцвести от солнца рыжеватым косицам.

Мальчик вопросительно поглядел на француза, потом на монетку, потом на отца и уже готов был опустить в единственный карман своих куцых штанишек эту занятную штуковинку, когда отец приказал ему строго:

— Отдай назад!

— Дядя! На!—протянул мальчик монетку французу, но тот попятился, замахав руками,—он как будто даже обиделся этим.

Потом он стремительно нагнулся к мальчику, начал целовать его в загорелые чумазые щеки и, наконец, потянул его за руку к себе, показывая на французскую сторону, стараясь, чтобы он понял его без переводчика, по одним жестам.

И матросенок понял. Он уперся босыми ногами в край ямы от небольшого ядра, тянул в свою очередь французского офицера к себе и кричал:

— Нет, ты иди к нам! Ты иди к нам!

Так они возились с минуту,—матросенок с Корабельной и французский офицер, и последний был так увлечен этой возней и так заразительно смеялся, что не только юный мичман, но даже и суровый закопченный пороховым дымом комендор Шорников начал улыбаться в рыжие усы.

Однако истекало и истекло время перемирия. Заиграли рожки. Надобно было возвращаться на бастион, с которого уже готовились снять белый флаг.

Жестокое лицо войны, на несколько часов прикрытое этим флагом, открывалось снова во всей своей омерзительной серьезности.

Немалые силы были отправлены новым главнокомандующим французов,—конечно, от лица и Раглана и Омера-пашы,—в Керчь как раз в тот день, когда очень старательно подготавливался им штурм Кладбищенской и Карантинной высот. Кроме семи с половиной тысяч французов и трех тысяч англичан, посажено было на транспорты еще и шесть тысяч турок, и флотилия в семьдесят почти судов отплыла в экспедицию, теперь уже решенную твердо и бесповоротно.

Ожидал или нет нападения на Керчь Горчаков, но при нем керчь-еникальский военный госпиталь переполнился ранеными, которых везли сюда из Севастополя.

В конце апреля в Керчи поднялся было переполох, когда перед городом стала на якорь союзная эскадра. Однако эскадра эта вместе с воинскими транспортами была возвращена к Севастополю, и транспортное сословие Керчи ликовало, применяя к союзным судам фразу гоголевского городничего о виденных им во сне крысах: «Пришли, понюхали и прочь пошли!»

Однако немного дней отпущено было керчанам для ликования. Как раз в ту ночь, когда шел упорный штыковой бой за обладание траншеей перед пятым и шестым бастионами, эскадра союзников в еще большем количестве боевых судов и транспортов появилась снова перед Керчью.

Керчь—древнерусский город времен Мстислава Удалого¹—Корчев, Черкио генуэзцев, Пантикалея древних греков, столица Боспорского царства, город, «где закололся Митридат»... Старинное прошлое Керчи ушло глубоко в землю и только угадывалось археологами, руководителями раскопок, по гробницам (из которых одна, например, была признана гораздо более великолепной, чем у кого-либо из римских императоров, но, к сожалению, была уже кем-то в старину ограблена начисто), по найденным в курганах драгоценным золотым украшениям: скипетрам, венцам, диадемам, щитам, по амфорам и другим сосудам, вазам с изображениями скифов, котлам из красной меди, медальонам, браслетам, зарукавьям, янтарным кольцам, статуэткам амуров и сатиров, монетам, плетеным корзинам, рыбацким сетям, счастливо не успевшим истлеть, по цементным ямам для засола рыбы, по давилям винограда, по акведукам, по фундаментам зданий, по замощенным булыжником площадям...

¹ Мстислав Удалой—князь Галицкий, владел в конце XII в. и в начале XIII в. окраиной русской земли между восточными склонами Карпат и Западным Бугом.

Когда в семидесятих годах восемнадцатого века Керчь, как часть Крыма, перешла от татар во владение России, это была деревня в пятьсот-шестьсот хижин, принадлежавших большей частью грекам-рыбакам. Хижины эти окружали старый замок, сооруженный еще генуэзцами, и древнюю, простоявшую уже тысячу с лишком лет греческую церковь, построенную на развалинах языческого храма Эскулапа¹ Пантикапейского.

Только за тридцать лет до Крымской войны решено было сделать из этой деревни город,—морской порт для вывоза хлеба и других продуктов Приазовья.

И город возник на склонах довольно высокого холма, называемого Митридат-горой, на вершине которого был когда-то насыпан курган, покрытый огромнейшими камнями, какими-то обломками скал. Курган этот издавна именовался гробницей Митридата, почему и рыться в нем начали добросовестно.

Нашли множество костей, нашли много древних монет, наконец украсили вершину горы красивым зданием, фасадом своим похожим на афинский храм Тезея², и отвели его под музей местных древностей.

От музея вниз щедро спустили широкую, из массивных гранитных плит, внушительного, почти циклопического вида лестницу, по обе стороны которой к пологим скатам горы очень живо прилепились двухэтажные каменные беленькие дома, крытые веселой матово-красной черепицей.

Так улицы за улицей, вплоть до моря, вырос совсем европейского вида город, там, где еще так недавно торчали беспорядочно, врассыпную невзрачные жалкие хижины.

Огромные магазины для ссыпки хлеба появились на берегу; кроме того, напуганный чумой Николай I приказал построить карантин, и это тоже огромное здание было построено верстах в четырех от Керчи, на мысе, где расположен был в древности греческий город Мармикион. Здесь на рейде и останавливались все иностранные корабли, приходившие за русским хлебом и другими товарами.

Городские ворота со стороны феодосийской дороги украсили бронзовыми грифонами³ почтенной величины; чугунные узорчатые балюстрады расположили по соседству с грифонами; пожарную каланчу вонзили в небо; большому количеству чиновников и военных дали места в казенных учреждениях; и ко времени Крымской войны в городе

¹ Эскулап—бог древних греков, которому они приписывали дар излечения больных и возвращения к жизни мертвых.

² Тезей—легендарный древнеафинский герой и царь.

³ Гриффон—архитектурное украшение, изображающее фантастическое животное с птичьей головой, туловищем льва и орлиными крыльями.

насчитывалось уже свыше тринадцати тысяч жителей, но он собирался расти с быстротой, свойственной всем вообще морским коммерческим портам, привлекающим оборотистых людей разных наций блаженным ароматом скорой и верной наживы.

Больше всего все-таки жило здесь греков, оптовых и мелких торговцев, рыбаков, каменщиков, матросов; новой русской Керчи они достались как бы по наследству от древней Пантикапеи.

В городе было два базара—новый и старый, и если новый со своими каменными лавками, кофейнями и трактирами имел довольно культурный вид, то зато гораздо живописнее его был старый, куда съезжались татары из окрестных и отдаленных деревень, в своих круглых черных шапках, одинаковых для зимы и лета, часто окутанных пышными чалмами, и базар этот был в иные дни совершенно почти непроходим от их мажар, запряженных то огромными рыжими двугорбыми верблюдами, то короткими буйволами, то сухоногими поджарыми лошадьми.

Этот базар, кроме продаваемой на нем живности, кишел еще живностью соседних с ним обывателей: под ногами у людей, лошадей, волов и верблюдов деловито и неумолимо шныряли, отыскивая себе всякую поживу, поросята, цыплята, утята, чувствовавшие себя здесь, как в своих дворах.

Как и в глубокой древности, здесь, в проливе, во множестве ловили сельдей и другую рыбу; рыбу эту солили, коптили, вялили, и в иных кварталах Керчи даже и осенние ветры не в состоянии были сладить с тяжелым рыбным запахом, казалось бы пропитавшим тут и самую землю на несколько метров вглубь.

Тысячи бочонков с сельдями скоплялись на пристани Керчи и потом отправлялись на каботажных судах в Таганрог, Мариуполь, Одессу и другие порты Приазовья и Черноморья, а отсюда—в глубь России.

2

Стражем Азовского моря Керчь не была, хотя и стояла у пролива. Противника, способного добраться до этого глубоко внутреннего моря, не видели ни Александр I, при котором началось превращение деревни в коммерческий порт, ни Николай.

Только когда англо-французская эскадра вошла в Дарданеллы в начале Восточной войны, в Петербурге начали думать о возникающей опасности для Приазовья и принялись, впрочем, очень медленно спеша, вооружать не столько Керчь, сколько близкое к ней побережье пролива и делать попытки заградить самый пролив, чтобы в него не провались суда союзного флота.

Керченский пролив всего несколько километров шириною, но гораздо уже его фарватер, который

проходит ближе к берегам Крыма, чем Кавказа. Чтобы держать под обстрелом именно этот фарватер, и устанавливались батареи на вдавшихся в пролив мысах.

Южнее Керчи установлена была батарея на Павловском мысе и другая—на мысе Ак-Бурун. Одну батарею поставили в самой Керчи, а другую у нового карантина для того, чтобы обстреливать неприятельские суда, в случае если они прорвутся все-таки на Керченский рейд... Наконец, в двенадцати верстах от Керчи, близ Еникале, в разных местах поставили еще три батареи. Самая сильная из всех этих батарей—первая—должна была прежде других встретить вражеские суда: на Павловском мысе установили двадцать шесть орудий; в Керчи же было только четыре малокалиберных.

Разбросав вдоль берега всего около шестидесяти пушек, генерал Хомутов успокоился за участь города со стороны суши, но мысль превратить Азовское море в озеро, то есть закупорить фарватер пролива, осуществить оказалось куда труднее.

Фарватер этот, правда, был и не широк и не глубокий, но имел очень илистое дно и не только не был безопасен от штормов, но еще и вода в нем оказалась текучая.

Все способы заградить фарватер были пущены в дело, когда началась осада Севастополя. Прежде всего протянут был обыкновенный бон из цепей и бревен у самого входа в пролив со стороны Черного моря; однако осенние бури так изорвали его, что пришлось вытянуть остатки его на берег.

Тогда, по примеру Меншикова, Хомутов решил преградить фарватер судами. Больше пятидесяти таких, которые было не жаль топить, собрали для этой цели не только в Керчи и ее окрестностях, но и по всему побережью Азовского моря. Тут были и казенные, и частные, приобретенные у владельцев, и даже одно конфискованное английское.

Чтобы они тонули добросовестно и безотказно, а затонув, усидчиво сидели в иловатом дне пролива, их доверху нагружали камнем; если же они оказывались слишком низкобортны, им нашивали борта; вообще возни с ними было довольно много. Когда же вся эта операция была закончена, решено было не надеяться на это ограждение и минировать пролив.

Весною, месяца за два до прихода союзной эскадры, пролив и был минирован. Впереди линии заграждения в шахматном порядке было поставлено сорок мин. В глубоких местах мины ставились пловучие, в мелких—донные, которые должны были взрываться электрическим током.

Такие же точно минные заграждения установили и еще в двух местах пролива, севернее Керчи. Сделав же это, успокоились, так как сделали все, что можно было сделать при больших замыслах и малых средствах.

В случае если бы все эти заграждения не по-

могли, заготовлены были и еще кое-какие способы защиты.

Со стороны Азовского моря—три небольших парохода, четыре транспорта и шесть казачьих баркасов; вся эта «эскадра» вооружена была несколькими десятками устарелых пушек, однако очень смутно представляли и экипаж ее и даже само высшее начальство, что именно могла она предпринять против первоклассного флота союзников; командовал ею контр-адмирал Вульф.

Наконец, на Арабатской стрелке,—песчаной косе, примыгой некогда морем к Керченскому полуострову, расположено было старое Арабатское укрепление, каменные стены которого давно развалились, а земляные валы обрушились. Эта крепостца особенно рекомендовалась Горчаковым генералу Врангелю, который был назначен вместо Хомутова охранять восточную часть Крыма; семнадцать стареньких орудий торчало на ее беззаботных заросших травой валах, и целый батальон гарнизона можно бы было разместить в ней в случае крайней нужды.

У генерала Врангеля было кое-какое боевое прошлое: под его командой русские солдаты нанесли поражение туркам в Малой Азии и взяли у них крепость Баязет. Теперь перед ним была поставлена задача не пускать неприятеля в Азовское море и не пропускать его в глубь Крыма, если бы вздумал он высадиться в больших силах.

При этом не определено было точно, какие именно силы врага следует считать большими; силы же самого Врангеля если и достигали приблизительно десяти тысяч, то были очень распылены по побережью и состояли из пехоты, неспособной к полевым действиям, из донских казаков и кавалерийских полков.

Однако Врангель, высокий благообразный старик, умеренной полноты и медленных движений, был вполне спокоен за внутреннюю часть Керченского полуострова по причине полного ее безводья, и если был чем озабочен, то только тем, чтобы в руки союзников не попали русские орудия, старательно понаставленные на Павловском мысе и в других местах.

Поэтому достаточные запасы пороха были заготовлены им на каждой батарее для надобностей взрыва и укреплений и орудий. Что же касалось хлебных амбаров, принадлежавших казне, то их приказано было сжечь со всем хлебом, который в них находился; преимущественно это была пшеница, привезенная сюда для экспорта еще до начала войны.

3

Ясно представить заранее, как именно станут действовать интервенты на подступах к Керчи и далее, было, конечно, невозможно, а казаки, посланные Горчаковым предупредить Врангеля, что де-

сантный отряд, «приблизительно в двадцать пять тысяч человек», отправлен, по всей вероятности, в Феодосию и Керчь,—успели прискакать с этим известием тогда только, когда из утреннего тумана в море, перед прибрежным селением Камыш-Буруном, начали вырисовываться многочисленные остовы пароходов и огромных боевых кораблей. Тогда же прибыло донесение и от коменданта Феодосии, что большая эскадра прошла, не задерживаясь, мимо этого города на восток.

В Петербурге, в военном министерстве, царило прочное убеждение, что помешать десанту союзников, подкрепленному двумя-тремя десятками больших боевых судов, овладеть Керчью и Азовским морем вообще невозможно, поэтому незачем и затрачивать для защиты пролива большие средства.

Хозяйственный наказной атаман Хомутов скорбел об огромных запасах хлеба в портах Приазовья,—особенно в Геническе,—которые попадут, конечно, в руки интервентов, вместо того чтобы питать защитников Севастополя. «Даже и острый русский штык без сухарей окажется туп»,—уныло писал он военному министру Долгорукову. Однако никаких мер ни к вывозу хлеба внутрь страны, ни к подлинной защите Керчи в Петербурге не принимали; между тем за входом в Азовское море союзники наблюдали зорко.

Даже сторожевой пароход бесшумно стоял здесь на якоре вне выстрелов с берегов, подобно «Мегере» перед Севастопольской бухтой, а канонерские лодки, подходя к самой линии затопленных судов, делали здесь промеры фарватера. Одна села было тут на мель, но когда ее вздумали обстрелять с Павловской батареи, оказалось, что снаряды до нее не долетали, в то время как ядра из ее орудий даже перелетали через батарею; снялась она собственными средствами и ушла не спеша.

Конечно, и все несерьезные средства закупки пролива и защиты берегов, так же как и расположение немногочисленных и слабых воинских частей, были хорошо известны и Броуну и д'Отмару, и место высадки десанта было выбрано заранее с тем расчетом, чтобы зайти в тыл наиболее сильной из батарей—Павловской—и овладеть ею, а потом тут же двинуть пехоту дальше по побережью пролива, к Еникале.

Флотилия, до семидесяти вымпелов числом, идущая медленно в тумане вдоль берега, представляла для наблюдавших ее с Тыклинского маяка и из деревни Камыш-Бурун зрелище величавое и жуткое: к мирной Керчи и в еще более мирные, тихие и мелкие воды Азовского моря шли явно огромные силы, задача которых была истреблять, разрушать, жечь, и сопротивляться которым было невозможно.

Еще 23 апреля, когда к проливу у Керчи с югом же самым намерением подошла эскадра интервентов, сердца генералов—Хомутова в Тамани и баро-

на Врангеля в Керчи—дрогнули от опасения запятнать свои беспорочные послужные списки на старости лет, перед выходом в отставку, с мундиром, пенсией и возможной арендой.

Тогда Хомутов, после отплытия эскадры, писал Врангелю:

«Нас ожидают большие события! Да благословит господь нас обоих! На одного из нас должен пасть удар, и если всемогущий поможет нам сохранить войска, то уже это будет большое счастье».

Но Хомутов не удовольствовался письмом. Он переправился из своей Тамани в Керчь, чтобы упротить Врангеля всемерно помочь ему, если высадка десанта произойдет сначала на кавказском берегу, охраняемом им, Хомутовым.

Сидя у Врангеля за вечерним чаем и теребя свои двухрусы, в соответствии со званием наказного атамана донского казачьего войска, почтенные усы, умоляюще говорил Хомутов:

— Помилуйте, Карл Карлович, посудите сами, ну что же я буду делать и в Тамани, и в Анапе, и в Новороссийске совсем в сущности без войска? Ведь одного того, что я полный генерал и генерал-адъютант, недостаточно же для противодействия неприятелю: надобно войска дать! Я писал об этом неоднократно, но разве же там приняли во внимание? Нисколько! А ведь на кого же ляжет вся ответственность в случае чего, боже упаси? На меня, грешного, разумеется!

Лик у него был поневоле кроткий и под влиянием перенесенной тревоги бледный, дрябло-старчески-бледный; только одна большая бородавка под левым глазом бунтарски ярко горела.

— Поэтому-то я и обращаюсь к вам,—продолжал он,—любезнейший Карл Карлович, перекиньте мне заговоренно хотя бы два батальона регулярной пехоты на мой берег, а?

И выцветающими уже серыми глазами он глядел на гораздо более молодого и чином, и званием, и летами охранителя крымского берега ожидающе-просительно, с надеждой.

Благообразный Врангель смущенно поглаживал свою широкую лысину и отвечал:

— Они вернутся, глубокоуважаемый Михаил Григорьевич, они непременно возвратятся опять сюда, эти подлые англо-французы, если не завтра, то послезавтра... И мне так кажется, что непрерываемо это ясно,—сюда, ко мне они вернутся, а совсем не к вам пойдут, так что я-то и должен буду пасть под их ударом, вот кто именно,—я, а совсем не вы, Михаил Григорьевич!..

Врангель медленно, но тем не менее достаточно сокрушенно покачал головой, задумчиво глядя в одну точку на столе, где лежала простая серебряная ложечка и ничего больше, и закончил:

— Так что именно я нуждаюсь в вашей помощи, почтеннейший Михаил Григорьевич! До вас,

может быть, тоже дойдет со временем неприятель,—я не спорю в этом,—но первый удар его должен буду вынести я! Два батальона регулярной пехоты, о-о, это было бы мне большое подспорье, большое подспорье!.. Если бы я мог получить от вас хотя бы и без артиллерии два батальона!.. По миновании же надобности в них я, разумеется, с самой искренней моей благодарностью передал бы их обратно на ваш берег, добрейший Михаил Григорьевич!..

Хомутов изумленно развел руками, услышав такую странную просьбу: у него было гораздо меньше войска, чем у Врангеля, и оно было еще менее боеспособно. Призвав на помощь все свое испытанное красноречие, пытался он убедить своего младшего товарища, что не крымскому, а кавказскому берегу угрожает первый удар союзников, но Врангель был слишком убежден в противном. Хомутову пришлось в конце концов отплыть обратно в свою Тамань, не добившись успеха, как и Врангелю не удалось выпросить у него ни юдной роты. Каждый генерал остался при своих скромных силах перед большим испытанием, но в глубине души оба были недовольны друг другом.

И вот теперь, когда союзная армада остановилась, не пойдя дальше на восток, против Камыш-Буруна и начала выстраиваться в три линии, выставив в первую легкие пароходы, тут же открывшие обстрел города, у Врангеля, как единственное утешение, весьма, впрочем, сомнительное, появилось сознание своей правоты, которую должен был признать, наконец, за ним и этот долгоусый Хомутов, если только сейчас он сидит в своей Тамани.

Пушечные выстрелы в море во время тумана вызывают особенно раскатиисты. Кавказский берег слышал их на далеком расстоянии от Камыш-Буруна, имения помещицы Олив, где готовились высадить десант интервенты.

Место высадки десанта заранее угадывалось Врангелем потому, что в первое свое появление эскадра союзников остановилась перед Камыш-Буруном, а перерыв ее действий на две-три недели не мог ничего изменить. Да и на взгляд самого Врангеля это было наиболее удобное место для переброски на берег больших масс пехоты, чтобы действовать против Керчи и Еникале.

Невдалеке от Камыш-Буруна, в ложине, был собран в ночь на 12/24 мая небольшой отряд, около тысячи восьмисот человек при четырех полевых орудиях под командой полковника Карташевского. Это были основные силы Керченского полуострова. Оказать сопротивление десанту интервентов они не могли, конечно,—они могли только наблюдать за тем, что он предпримет. На обстрел берега с судов Карташевский не ответил ни одним выстрелом.

Контр-адмирал Вульф приказал пароходам своей керченской эскадры развести пары, чтобы быть в состоянии «нанести неприятелю наибольший вред»; в случае же если не удастся это, спасти экипажи судов, а суда взорвать. Врангель спешил стянуть какие-нибудь части на подмогу к небольшому отряду, стоявшему у Феодосии, так как опасался, чтобы и здесь интервенты не высадили десант, достаточный для захода ему в тыл: захватить узенький, всего в шестнадцать верст в ширину, перешеек, запереть ему выход в середину Крыма, заставить его сдаться со всеми немногочисленными войсками, бывшими в его распоряжении,—этой мысли достаточно было, чтобы сделать из медлительного спокойного на вид генерала беспорядочно заматавшегося торопыгу.

Во втором часу дня 12 мая Карташевский послал в Керчь Врангелю донесение, что высадка десанта началась: море покрылось огромным количеством шлюпок с солдатами. Но донесение это еще только принимал Врангель, когда раздались резкие, гудящие орудийные залпы со стороны старого карантинного канонерские лодки, подойдя сюда и заметив русский отряд в лошине за Камыш-Буруном, вздумали его обстрелять, хотя расстояние до него и превышало дальность полета снарядов.

Карташевский приказал отряду сниматься и отступать по феодосийской дороге, тем более что высадка десанта шла быстро и уже большие колонны противника выстраивались на берегу, между деревней и мысом.

Высадку начали французы. Их синие мундиры и красные штаны ярко запестрели на высоте около селения.

Туман отполз далеко в море, плотный и белый, и на его фоне очень четко рисовались мачты и паруса больших кораблей, стоявших в третьей линии; а спереди от пароходов и транспортов к берегу и обратно, вспенивая тихое море веслами, во множестве сновали шлюпки.

Левее французов начали выстраиваться красномундирные английские полки, а еще левее их турки, очень заметные издали по своим малиновым фескам с широкими синими кистями.

4

Что в пятнадцати верстах высаживается десант союзников, стало тут же известно всем в этой чистенькой, опрятной, зажиточной Керчи, где так много было греков и армян, экспортеров русской пшеницы, в уютных домах которых почти накануне еще сквозь открытые окна то бурно и радостно, то меланхолично звучали рояли, доставленные сюда непосредственно из-за границы; где так часто устраивались в неприкрыто практических целях вечера с танцами; где черноокие юные южанки

очаровывали классической эллинской красотой русских чиновников и военных, детей угрюмого севера.

И вот всей этой спокойной, налаженной, несложной, правда, но вполне самоудовлетворенной жизни мгновенно настал конец, как только греки и армяне услышали, что, кроме французов и англичан, высадилось на берег множество турок.

Французы и англичане, хотя тоже чрезвычайно скверно, но все-таки совсем не то, что турки: в представлении греков и армян два понятия «турки» и «поголовная резня» сливались в одно. Поэтому все, на чем можно было спешно выбраться из Керчи, бралось с боя: татарские мажары, запряженные верблюдами, перегружались доотказа женщинами и детьми; на дроги с ленивыми буйволами, не надеясь на их прыть, кляли горами неоходимейшие вещи, больше мягкую рухлядь, а сами шли около, стараясь в одно и то же время и уйти как можно дальше от обреченного города, который некому было защищать, и не потерять из вида подвод со своим последним добром. Скрип от намазанных колес татарских мажар был оглушительным, раздирал душу. Немногочисленные керченские извозчики, тоже татары, пользуясь таким неслыханным случаем, как нашествие неприятеля, брали по сто рублей серебром за то только, чтобы вывезти из города в степь, в хвост отступающих войск. Дамы и девицы из зажиточных семейств, выскочившие на улицу, как во время пожара, в одних только платьях и в легких белых туфлях с высокими каблуками, совсем не приспособленных для дальних путешествий, шли толпами, часто оглядываясь назад и все ускоряя шаг. Они даже не плакали при этом,—некогда было плакать,—они цепенели от ужаса, представляя, что их догоняют турки, и шли, разбивая до крови ноги.

Почти все население Керчи бежало в течение нескольких часов: из тринадцати тысяч осталось не более двух; в числе их были такие, которые не решились бросить своих тяжело больных или весьма престарелых домашних, или просто никак не успели собраться, или, наконец, ничего не могли потерять, считая, что жизнь—копейка, судьба—индейка, но не мало надеялись приобрести в брошенных богатых домах.

В простой почтовой телеге, которая, громыхая, прыгала по булыжной мостовой, мчался на Павловскую батарею Врангель, чтобы успеть лично передать приказ немедленно заклепать все орудия, снаряды к ним выбросить в море, лафеты изрубить и сжечь, пороховые погреба взорвать...

Это было в три часа дня. Перед этим он отдал приказ по флоту, чтобы тот бросил керченский рейд и уходил в море, а по гарнизону Керчи,—в котором числилось около трехсот человек,—приказ поджечь все казенные хлебные магазины и склады и после того отступать в самом спеш-

ном порядке по той же феодосийской дороге, по которой отступал отряд Карташевского.

Пароходы, грузившие перед тем кипы перевязанных бечевками, насквозь пропыленных казенных архивов и всякого делопроизводства вслед за погруженными уже казенными суммами, бросили это, исполняя новый приказ, но уйти в Азовское море, чтобы добраться до Геническа, Бердянска или Таганрога, всем не удалось.

Пароход с громким именем «Могучий» по причине неисправностей в машине даже и уйти никуда не мог и с утра уже был предназначен к сожжению. Команда с него почти вся была свезена на другой пароход, «Бердянск», нужно было только зажечь его, но ни капитан «Могучего» лейтенант Кушакевич, ни другой кто из нескольких человек его подчиненных, оставшихся с этой целью, не решались уничтожить судно, к которому привыкли, как к живому существу.

Подобный же инвалид, пароход «Донец», уже горел ярко; на берегу пылали казенные хлебные магазины; вся остальная керченская флотилия уже снялась с якоря и продвигалась к северу, а с юга подходили уже, ничуть не задержанные ни минами, из которых ни одна не взорвалась, ни затопленными судами, которые глубоко ушли в ил, легкие пароходы интервентов.

— Зажигай, ребята!—браво командовал матросам Кушакевич, когда пароходы эти начали уже входить на рейд.

Для того чтобы «Могучий» вспыхнул в свое время, как свеча, по его палубе и были разбросаны саленные свечи, сало и масло, какие нашлись в кубрике, и где только можно было, щедро разлили смолу. Оставалось зажечь пучок сосновой лучины и разбросать ее здесь и там, а самим уйти по сходням на пристань.

Но матросы, угрюмо переглядываясь друг с другом, заняли места у заряженных и наведенных как раз туда, куда надо,—на пароходы интервентов,—орудий левого борта; они ждали совсем не этой команды, а другой.

— Зажигай!—повторил громче и требовательней лейтенант.

На это один из матросов отозвался сурово и совсем непочтительно:

— Хочешь руку на судно наложить, сам и наложи, а мы не станем!

Лейтенант бросился сам в кубрик, там зажег лучину; помогать ему уничтожить «Могучего» спустились другой лейтенант, Ушаков, и прапорщик Иванов, но подожженный ими пароход горел медленно, а неприятельские пароходы подходили ближе и в большом числе—не менее двух десятков...

В кюйт-камере оставалось еще несколько бочонков пороха, которые не были выброшены заранее в море. Их вздумал взорвать Кушакевич, что-

бы ускорить гибель судна. Они взорвались, но преждевременно,—люди не успели еще оставить парохода. Два кочегара, лейтенант Ушаков и прапорщик Иванов были убиты на месте взрывом, а самого Кушакевича перебросило с правого борта на левый и завалило обломками. Матросы, не желавшие исполнять его приказа, могли бы, конечно, бросить его и уйти с тонущего и горящего судна, пока было не поздно, однако, они, с опасностью для своей жизни, высвободили его из-под обломков и, убедившись, что остальные мертвы, понесли своего командира с переломленными ногами и обожженным лицом в керченский городской госпиталь.

Там с часу на час ожидали вторжения в город неприятельских колонн, двигавшихся уже от Камыш-Буруна, рассыпав впереди себя густую цепь стрелков. Всё и вся стремительно уходило из города, но госпиталь был брошен на милость интервентов.

Пароход «Бердянск» ушел незадолго до того, как загорелся «Могучий». Два неприятельских парохода пустились за ним в погоню. Видя, что ему не уйти от них, «Бердянск» круто повернул к берегу, сел на мель около нового карантина, и команда едва успела сойти с него на берег и зажечь судно.

Контр-адмирал Вульф уходил на всех парях, спасая остатки своей флотилии. Транспорты были уже им затоплены, у него оставалось только три парохода и паровая шхуна «Аргонавт». Шхуна отставала от пароходов, и первый же неприятельский пароход, вышедший на керченский рейд, бросился за ней в погоню, открыв стрельбу. Преследование продолжалось, пока еникальские батареи не вступили в перестрелку с пароходом союзников.

Под прикрытием их огня Вульф выбрался в Азовское море, направившись к Бердянску. Уничтожив большую часть керченской эскадры, он спас таким образом четыре судна. Увы, ненадолго!.. На другой день он подошел к Бердянску, а на третий к тому же Бердянску подходила союзная флотилия, вступать в бой с которой значило бы погубить напрасно команды судов. Ввести пароходы в устье Дона было невозможно, и Вульф вынужден был остаться адмиралом без эскадры: все три парохода—«Колхида», «Молодец» и «Боец»,—как и шхуна «Аргонавт», были сожжены, машины их взорваны, орудия сброшены в море...

5

Как ни быстро шла высадка десанта, но, начавшись в половине второго, она закончилась только часам к пяти.

Павловская батарея была взорвана по приказу Врангеля в четвертом часу. На далекое расстояние дрогнула земля от мощного взрыва, и, услышав

его от Камыш-Буруна, генералы Броун и д'Отмар поняли, что сопротивления им при занятии Керчи оказано не будет.

Все-таки, предоставив первые действия своему флоту, интервенты постарались выполнить намеченный заранее план движения пехотных частей, и д'Отмар с одной бригадой своей дивизии уже при заходе солнца, в седьмом часу, направился к тому месту, где была Павловская батарея, как бы затем, чтобы убедиться, начисто ли все там уничтожено русскими: он знал, что эта батарея была единственным оплотом Керчи, а дальше вдоль берега наибольшее число орудий сосредоточено было только в Еникале, куда он и двинул бригаду, идя через Керчь отнюдь не в темноте.

Напротив, в Керчи ярко пылали провиантские магазины, запасы сена, хлебные склады частных лиц, а на рейде не успели еще сгореть пароходы «Донец» и «Могучий»; дальше, близ нового карантина, высокий колеблющийся столб красного пламени показал место, где горит «Бердянск»...

В других местах побережья тоже что-то пылало, и вообще, хотя и спускалась уже ночь на пролив и полуостров, это была отнюдь не мрачная ночь: горело то, что не могли, правда, защитить по недостатку сил, но не хотели и отдать в руки врагу, чтобы его усилить. Это были жертвенные костры, которым со времени пожара Москвы в двенадцатом году не должны были удивляться французы.

Д'Отмар со своей бригадой только еще подходил к Керчи, направляясь берегом в Еникале, как и со стороны Еникале раздался один за другим три сильнейших взрыва: подполковник Белизо, комендант, приказал взорвать пороховые погреба на батареях, заклепав предварительно все орудия, собрал весь свой гарнизон и отступил с ним в глубь полуострова. Провиантские склады, подожженные по его приказу, долго потом освещали, как огромные факелы, дорогу его отряду.

Эти взрывы и пожары показали д'Отмару, что Еникале так же не будут защищать русские войска, как и Керчь, поэтому дальнейшее движение бригады было приостановлено; она расположилась на ночевку в поле: д'Отмар считал это гораздо более безопасным, чем входить ночью в город, в котором, быть может, на всех улицах заложены фугасы.

Таким образом в эту ночь, с 12/24 на 13/25 мая, Керчь еще не была занята регулярными войсками интервентов и из нее уходили еще небольшими партиями те, которые пугались турецких зверств. Но они забывали о татарах степных аулов.

Чуть только весть о высадке десанта, в котором были и турки, залетела в степь, много татар восстало против русской власти, как это случилось и около Евпатории восемь месяцев назад. Но слишком плохо вооруженные для того, чтобы нападать, как партизаны, на отступающие даже и

мелкими командами русские войска, они нападали на беженцев...

Десятитысячный табор беженцев, ушедших из Керчи еще засветло, двигался плотной и гораздо менее удобной для нападения толпой; однако, хотя здесь и многие ехали на экипажах разного рода, от фаэтона до мажары, но несравненно больше было идущих пешком, и беда была тем из них, которые уставали до полного изнеможения и сидели или ложились на землю отдыхать: эти потом уже не вставали.

Утром же беженцы завопили: «Воды! Воды!»—но воды нигде не было: степь Керченского полуострова безводна в гораздо большей степени, чем степь остального Крыма. Бедные водою колодцы по встречавшимся аулам брались с бою, и через несколько минут оставалась в них только грязь... Среди беженцев было много семейных, обремененных детьми, и страдания детей от жажды нестерпимо увеличивали страдания их матерей и отцов.

Однако не в лучшем положении были и воинские команды, в хвосте которых двигались беженцы. Команды эти были сборные: тут оказались и матросы с потопленных транспортов и пароходов, и артиллерийская прислуга, освободившаяся от своих батарей, и гарнизонная стража, и писаря, и музыканты, и, наконец, карантинный полубатальон, целиком состоящий из инвалидов, страдающих кашлем, одышкой, ревматизмом и прочими цепкими недугами... Этих последних, которые и шли-то с большим трудом, безводье совершенно выбивало из сил. В то же время начальству всех этих команд надо было заботиться и о том, чтобы чем-то и как-то накормить их в пути.

У большого селения Аргин, ближе к перешейку, и воинские команды и беженцы сделали 13 мая дневку, чтобы отдохнуть, осмотреться, подтянуть отсталых и нетатарское население деревень, спасавшееся от резни.

Врангель был одержим навязчивой мыслью, что союзники непременно сделают высадку крупных отрядов в Феодосии и потом стремительным маршем займут перешеек, чтобы отрезать ему отступление, окружить, заставить сдаться. Поэтому он не только стягивал все свои силы на перепутье от Феодосии к перешейку, но и настойчиво просил помощи у генерала Реада, в ведении которого был общекрымский резерв, и в Симферополь к нему мчались от Врангеля один за другим ординарцы.

Реаду пришлось послать драгунский полк из Карасубазара и несколько легких орудий, но Броун и д'Отмар оставили Феодосию в покое, так как завоевывать Керченский полуостров не входило в их задачи. Они сами опасались ожесточенного, как в Севастополе, сопротивления русских, особенно же коварного ночного флангового удара сле-

ва, поэтому движение через Керчь в Еникале было начато ими только утром.

С возможной торжественностью,—с музыкой и громким барабанным боем,—вошел соединенный отряд интервентов в Керчь, но прошел ее гимнастическим шагом, а дойдя до нового карантина, остановился и немедленно же начал приспосабливать его здания к обороне от внезапного нападения русских: союзные стратеги не хотели даже и верить тому, что совсем не Врангель с его отрядом должен был прикрывать Керчь и Еникале, а, совершенно напротив, Керчь и Еникале, брошенные, как кости преследующим собакам, должны были прикрывать отступление Врангеля и его отряда.

От нового карантина отряд д'Отмара, к которому теперь, кроме англичан, присоединились и турки, двигался вдоль берега так осторожно и медленно, что только к ночи дошел до Еникале, но не решился входить в него, хотя и этот городок, со старинной турецкой крепостью в нем и зубчатыми стенами тоже древней кладки, был уже почти пуст.

В него вошли только утром и тоже с музыкой и барабанным боем.

6

А во время этого движения союзного отряда к Еникале начались в Керчи грабежи брошенных жителями домов.

Если каждая война, кроме освободительной,—только грабеж, организованный в огромных масштабах, то каждый грабеж—подобная же война в миниатюре. Мародеры-турки из союзного отряда рассыпались для грабежей по закоулкам, но, так сказать, вполне узаконены были эти грабежи матросами экипажей, высаженных с военных судов на берег в Керчи.

Как все матросы, попавшие на берег, они тут же направились на поиски винных подвалов, и так как подвалы эти были заперты, стали выламывать в них двери, и стоило только им напиться, чтобы начать совершенно открыто, среди бела дня, что мародеры-турки осмеливались делать только ночью, взламывать двери во всех подряд запертых домах.

С английскими матросами ходили на грабежи также и офицеры. Они делали это, нагруженные разными воровскими инструментами: отмычками, отвертками, стамесками, долотами, молотками... Все это хранилось у них в холщевых сумках, перекинутых через плечи. И если грабеж матросов был груб по приемам и весьма мало осмыслен, то грабеж их офицеров был обдуманным очень глубоко и тщательно.

Нехитрая, конечно, вещь ворваться в церковь, сорвать там серебряные ризы с икон, унести отсюда всякие диски и потиры, серебряные кадила

и подсвечники, а также, между прочим, и расшитое золотом и серебром новенькое облачение священников. Гораздо глубже мысль, не спрятаны ли в роялях, в этих таинственных лабиринтах перекрещивающихся внутри струн, свертки с золотом или разные мелкие драгоценные вещи.

Так начали на куски разбираться или даже просто нетерпеливо разбиваться дорогие заграничные рояли, и обломки их, выброшенные из окон на улицы, как и обломки разбитых комодов и шкафов и испорченных диванов и кресел, скоро завалили улицы. Впрочем, наиболее ценную мебель, а также статуэтки, находимые во взломанных домах, английские офицеры собственноручно тащили к себе в каюты, как законную военную добычу.

Окрестные татары тоже сходились толпами на грабежи, но эти, не знавшие цены мебели и роялям, статуэткам и поповским ризам, хорошо зато знали цену дойным коровам и козам, брошенным без призора бежавшими хозяевами, тем более что греки держали только многомолочный скот.

И вот, пользуясь вечерней темнотою, гнали татары к себе в деревни целые стада скота. Вслед за беспризорными коровами туда же попали и коровы оставшихся в Керчи жителей, которые вынуждены были жертвовать ими, чтобы не проститься с жизнью. И только особенно хитрые и скотолобивые из них сумели припрятать с десяток коровенок в пещерах, замаскированных камнями, в погребках, входы в которые заваливались всякой рухлядью, способной не внушать подозрений даже и зорким глазам грабителей.

Только через несколько дней, когда Броуну вздумалось установить в Керчи кое-какой порядок, а для отряда потребовалось мясо, вспомнили о коровах и начали искать их в окрестных деревнях. Не забывая о мясных порциях для солдат экспедиционного корпуса, несколько сот коров отправили с этой же целью в лагеря под Севастополем.

Не только совершенно безнаказанные, но как будто даже разрешенные свыше, грабежи сделали неузнаваемым так еще недавно чистенький, беленький, веселый, зажиточный портовый город. Однако и среди грабителей из-за дележа награбленного начались ссоры, особенно частые в винных подвалах, где иные любители спиртного до смерти опивались вином.

Ссоры эти сплошь и рядом оканчивались убийствами, так что союзные генералы решили из керченского адмиралтейства сделать гауптвахту для буянов, а винные бочки в подвалах разбить и вино выпустить. Но зато, чуть только прекратились благодаря расставленной всюду полиции грабежи матросов, солдат и офицеров, начался разгром Керчи, устроенный самим генералом Броуном в интересах доброй старой Англии.

Здесь была литейная для нужд судов, заходивших в порт чиниться после перенесенного в море шторм-

ма; литейная была снабжена необходимыми машинами, мимо которых равнодушно прошли грабители первых дней. Теперь эти машины были вытащены и погружены на судно, а самое здание литейной взорвано. Музей на горе Митридат был уже разграблен офицерами английского флота, но полы в нем из белого мрамора оставались как и прежде. Теперь мраморные плиты были выломаны и отправлены на суда...

Потом приказано было выламывать и деревянные полы во всех брошенных домах, так как доски нужны были в лагеря под Севастополем, а вместе с полами выламывали также и двери, окна и стропила крыш для варки пищи солдатам. Так что очень скоро Керчь приобрела такой вид, точно ее разрушил ураган небывалой силы.

Однакоже мало одних только дров, чтобы приготовить пищу на целый экспедиционный корпус, — нужны еще и съестные припасы в огромном количестве, поэтому все, что еще не было ограблено в Керчи в этом смысле, грабилось теперь. В городском госпитале, где брошены были Врангелем на милость интервентов раненые севастопольцы и местные больные, при которых самоотверженно остались врачи, запасено было провiantа на два месяца; этот провiant был забран для нужд солдат союзных отрядов.

Между тем Врангель, оставляя Керчь, оставил и письмо на имя Броуна, начальника корпуса союзников:

«Генерал! Прежде чем оставить Керчь, я считаю необходимым исполнить долг, которого требует человечество и который возлагается на меня как моим положением, так и живым участием, питаемым мною к тяжело больным храбрым солдатам. Лишенные возможности по своей слабости отступить с отрядом, эти солдаты оставлены в военном городском госпитале на попечении доктора Марценовского (отличного во всех отношениях), которому приданы в помощь аптекарь, комиссар и сорок служителей.

Генерал! Прошу вас принять под свое покровительство наших больных, равно как и лиц, попечению которых они вверены, и оказать им свое внимание. Больные обеспечены с избытком на несколько недель припасами и всем необходимым для облегчения их тяжелого положения.

В уверенности, что мое ходатайство о страждущих и слабых воинах будет принято вашим превосходительством как долг перед человечеством, прошу вас принять уверения в моих лучших чувствах к вам».

Увы, на это письмо Броун не ответил. Когда же до Врангеля дошли слухи, что госпиталь ограблен и раненые севастопольцы предоставлены злой судьбе, он послал в Керчь в качестве парламентаря одного лейтенанта флота, хорошо говорившего по-английски, как и по-французски, с просьбой пе-

редать ему всех, не умерших еще от голода больных вместе с обслуживающим их персоналом госпиталя. Лейтенанта этого сопровождал целый обоз пустых подвод.

Помня, как после боя на Алме Раглан отправил несколько сот раненых русских солдат в Одессу, генерал Броун распорядился, чтобы больные, врачи и служители госпиталя были выданы лейтенанту по списку; писать же лично что-нибудь Врангелю счел ниже своего достоинства.

И вот по безводной степи потянулся от Керчи обоз, к которому пристало много керчан, опоздавших выбраться из обреченного города вместе со всеми. Если тогда они могли бы взять с собою столько, сколько в силах были нести, то теперь они шли совсем налегке, ограбленные до нитки.

Освободив госпиталь от русских раненых, Броун приказал приспособить его для нужд керченского гарнизона, так как имелось в виду со временем оставить здесь целиком весь турецкий отряд в шесть тысяч человек и по одному полку французов и англичан.

Полагая, что русские археологи слишком невежественны для того, чтобы отыскать на Митридат-горе гробницу Митридата, полную неоценимых сокровищ, интервенты начали усердно рыться в этой горе. Заодно рылись и на городском кладбище в надежде добыть золотые вещи из могил не столь древних и не столь знаменитых покойников.

А в ограждение от ожидаемого все-таки наступления русских войск усердно строили укрепления. Но сколько ни обращался Врангель к Горчакову, чтобы тот подкрепил его не то чтобы на предмет нападения на Керчь, а всего только для защиты от неприятельских отрядов, ожидавшихся, в свою очередь, им со стороны Феодосии или Арабата, Горчаков оставался непреклонен: ни на один батальон он не хотел ослаблять себя в Севастополе.

7

Когда один молодой интеллигентный пленный англичанин, раненный во время мартовской вылазки под руководством Бирюлева, взятый в плен, помещенный в госпиталь на Северной и там поправившийся, услышал, что сделал его генерал Броун, при ревностной помощи английских офицеров, матросов и солдат, с мирным незащищенным городом Керчью, он был чрезвычайно поражен этим. Он явился на квартиру к старшему врачу госпиталя, чтобы сказать ему то, что считал неудобным сказать в общей палате. Он сказал, волнуясь:

— Вы лечили меня и вылечили... За мною был самый внимательный уход, какого только можно было ожидать в обстановке войны, в обстановке

осады Севастополя, и я вам бесконечно признателен за это. Но все-таки я прошу вас, я умоляю вас—отравите меня каким-нибудь быстро действующим ядом, чтобы не испытывать мне перед смертью совершенно излишних мучений... Вас удивляет моя просьба, но я не хочу жить после того, как услышал, что сделали англичане в Керчи. Это покрыло всю Англию в моих глазах несмываемым позором, и мне стыдно за то, что я англичанин! Гораздо легче для меня было бы умереть, чем считаться англичанином! Очень прошу вас, отравите меня!

И русскому врачу пришлось успокаивать пленного англичанина тем, что, может быть, дескать, и даже скорее всего, дошедшие до него сведения о положении в Керчи только злостные слухи, что представители культурной нации, Броун и другие англичане из экспедиционного корпуса, не могли себя вести там, как самые отъявленные вандалы.

Между тем защищаемый им генерал Броун, не преследуя слишком отдаленных целей, вроде окружения слабых сил Врангеля или оккупации всего Керченского полуострова, и заняв пехоту своего корпуса устройством укреплений около Керчи, послал легкие мелкосидящие суда с немногочисленным десантным отрядом в Азовское море громить прибрежные города и истреблять каботажный флот.

Первый город, подвергшийся нападению эскадры интервентов, был Бердянск. Однако сожжение Вульфом как раз перед приходом союзного флота трех русских пароходов и шхуны уже произвело достаточно сильное впечатление на бердянцев, и они единодушно бросили свой город и ушли, как сделали незадолго перед тем керчане.

У частных экспортеров скопилось тут около трехсот тысяч пудов пшеницы; эти запасы были сожжены интервентами, и все лодки большие и малые, не исключая и рыбацких, уничтожены.

Но гораздо более важным для снабжения Севастополя хлебом был Геническ, расположенный у входа в Сиваш. Здесь и запасы хлеба и фуража были значительней, здесь же через совершенно незащищенный пролив мелкие суда союзников могли пройти в Сиваш и так или иначе повредить сообщениям Крыма с севером. Поэтому Горчаков послал сюда полковника князя Лобанова-Ростовского наладить хоть как-нибудь защиту и Сиваша и Геническа.

Лобанов все суда, какие можно было ввести в Сиваш, направил туда, а пролив забаррикадировал четырьмя старыми шхунами, нагрузив на каждую по тысяче пудов каменного угля; затонув, шхуны эти создали надежное заграждение. На рейде у Геническа остались одиннадцать пароходов, частью греческих, частью финляндских; владельцы не захотели их уничтожить, в Сиваш же они не могли пройти. Капитаны этих пароходов были убе-

ждены даже в том, что их не должны тронуть союзники.

Однако едва только появились 16 мая в виду Геническа союзные суда, первые выстрелы с них были направлены на эти греческие и финляндские пароходы, которые и запылали вскоре.

Всего шестнадцать винтовых фрегатов и пароходов интервентов сосредоточены были перед небольшим городком, в котором всей артиллерии было только два орудия легкой батареи. Однако, когда от союзников прибыл парламентар с требованием выдать немедленно все суда, спрятанные в Сиваше, и все запасы провианта, Лобанов ответил отказом.

Тогда началась бомбардировка. Геническ от населения был уже очищен заранее, небольшие воинские команды, бывшие в распоряжении Лобанова, были им тоже отведены верст за пять во избежание напрасных жертв; но когда от неприятельских выстрелов стали гореть огромные стоявшие возле берега провиантские склады, а несколько шлюпок, снабженных фальконетами, пробравшись, несмотря на заграждение, через пролив, принялись все-таки жечь суда, Лобанов решил пустить в дело две свои пушки, и мера эта оказалась чудесной: не только шлюпки были выбиты ими из пролива, но даже и вся эскадра отошла подальше от берега, а скоро и совсем ушла в море.

Сожжено было из запасов пшеницы и овса до восьмисот тысяч пудов, а шлюпки истребили несколько десятков лодок.

От Геническа эскадра пошла к Таганрогу. Если в Геническ были присланы Горчаковым два малокалиберных орудия, то в Таганроге не оказалось и этого. Гарнизонный полубатальон представлял всю его защиту. Начальство города думало, что к чему же англо-французы ни с того, ни с сего станут бомбардировать Таганрог, в котором, между прочим, было много домов, принадлежащих иностранцам.

И вдруг парламентар объявил волю начальника эскадры: город должен быть сдан, а воинская часть, какая в нем имеется, выведена, иначе город будет взят десантом. Сдаться Таганрог не захотел, и казаки вместе с двумя ротами стрелков приготовились встретить десант залпами и штыками.

Однако, прежде чем высадить десант, эскадра открыла канонаду и полчаса громила город. Потом от судов отошли шлюпки с небольшим десантным отрядом, человек в триста. Отряд этот высадился было на берег, но чуть только прекратился огонь из судовых орудий, как на десант посыпались пули русских стрелков, штыки же закончили дело и заставили высадившихся бежать обратно к своим шлюпкам.

С полчаса постреляла еще эскадра, чтобы при-

крыть отступление десанта, а потом ушла к Мариуполью, а храбрые таганрожцы стали подсчитывать свои потери. Из войск и мирных жителей оказалось убитых только двенадцать человек и несколько десятков ранено; сгорело и было разрушено бомбардировкой около ста домов.

Мариупольцы, по примеру таганрожцев, тоже отвергли требование безусловной сдачи города и решили защищаться ружьями донских казаков от эскадры в шестнадцать вымпелов.

Как только после бомбардировки города несколько баркасов отделилось от судов и пошло к устью лимана реки Кальмиус, чтобы истребить спрятанные в этом восьмиверстном лимане суда, казаки открыли пальбу, которая совершенно не понравилась интервентам. Повернули назад не только эти передовые баркасы, но и пять других, шедших им на помощь. Эскадра, как и под Таганрогом, постреляв не особенно, впрочем, рьяно еще около часу, снялась и ушла, чтобы через день напасть на маленький городишко Ейск на кавказском берегу Азовского моря.

Тут и из ружей стрелять было некому, не было никакого гарнизона; городишко же был весь деревянный: только загорись от выстрела в одном конце, сгорел бы, конечно, дотла; между тем провиантский склад там был совсем небольшой, и жители решили лучше уплатить казне за сожженные несколько тысяч пудов зерна, чем самим записаться в погорельцы.

Так и сделали: провиант был ими сожжен на глазах парламентаря от союзников. Эскадра торжественно удалилась.

Это был последний ее подвиг в Приазовье.

Когда же эскадра пошла к берегам Кавказа, то генерал Хомутов счел за лучшее последовать примеру Врангеля: он бросил и Анапу и Новороссийск.

Совсем маленькая крепостенка Арабат, из семнадцати пушек которой могли стрелять в сторону моря только пять, три часа отбивалась от эскадры союзников и сумела нанести ей настолько чувствительный урон, что та ушла, не осмелившись даже отправлять к берегу десантный отряд против нескольких сот человек, засевших за старыми, почти стертymi и временем и этой бомбардировкой, валами.

Анапа же имела четырехтысячный гарнизон, сильные верки, достаточное число орудий и снарядов. Но слишком велики были глаза у страха, обуявшего старого генерал-адъютанта Хомутова. Ему, как и Врангелю, все мерещилось, что интервенты высадят сильный десант на кавказском побережье с таким расчетом, чтобы обойти Анапу и отрезать ему путь отступления в глубь Черноморья. И если Врангель, в смысле обхода своих сил, очень опасливо поглядывал на Феодосию, то и Хомутов нашел у себя на побережье подобный

же по опасности пункт—Темрюк. Этот Темрюк притянул к себе все его помыслы, и, наконец, не в силах будучи бороться с охватившей его боязнью быть обойденным и отрезанным, Хомутов написал военному министру:

«По особому промыслу пал на меня жребий приступить к великой решимости упразднить крепость без высочайшего разрешения. Боюсь царского гнева, достойно, быть может, мною заслуженного; гнев сей падает тяжким камнем на остатки моей жизни... Один бог свидетель тому, что я перечувствовал и перенес в эти тяжкие минуты! Торжество неприятеля больно русскому сердцу, но еще прискорбнее было бы видеть несколько тысяч жертв, могущих погибнуть без всякой государству пользы, тогда как принятою мною мерою и они будут спасены, и обезопасена целая страна—Черноморья».

Написав это, он приказал привести в полную негодность все орудия, взорвать укрепления и сжечь все, что не было уничтожено взрывами: Анапа, за взятие которой у турок в 1791 году генерал Гудович получил георгия второй степени, а за вторичное взятие у тех же турок в 1828 году князь Меншиков—георгия третьей степени и чин вице-адмирала, перестала существовать как крепость. Но под ее защитой широко раскинулись было казачьи станицы: Витязева, Николаевская, Александровская, Благовещенская... Хомутов сжег и их, чтобы оставить неприятелю место пусто. Ни укреплений, ни селений не осталось на берегу; войска тоже были уведены. Союзникам предложено было удовольствие гулять по развалинам и пепелищам; в Константинополе это вызвало празднество, горцы Кавказа ликовали... так же как и публицисты западных газет.

Однако все эти празднества и ликования были совершенно напрасны: не только в сторону Черноморья, даже и в глубь Крыма со стороны Керчи или Арабата не могло быть направлено интервентами острие войны: Севастополь приковал к себе все их силы, и в июне возвратилась туда большая часть и десантного корпуса и эскадры.

ГЛАВА ПЯТАЯ ВИТЯ И ВАРЯ

1

Город, в котором родился и провел свои детские годы, это—совсем особенный город для каждого. С ним связаны не впечатления,—нет, откровения; не радости просто,—восторги; не огорчения,—трагедии; не подъем минутных настроений,—полет в неслыханно-чудесное, в безбрежное, в невыразимое словами счастье...

Он прирастает к сердцу весь целиком, и величайшая работа продлевается потом жизнью, чтобы с болью отрывать его по кусочкам и замещать другими городами, где бывший ребенок, став уже взрослым, учится, трудится, любит и с каждым новым днем все больше и лучше узнает, как мала земля.

И все-таки не в состоянии даже и вся жизнь совершенно оторвать от сердца родной город и заместить его другим. Вдруг возьмет и прихлынет он и засверкает так, что хоть зажмурь глаза! И опрокинет сразу и разметет все эти приставные кусочки, все заплатки, приметанные, как это часто бывает, не под цвет, не к масти, некстати...

И человек становится вдруг неузнаваемо лучше,—мягче, чище, гораздо красивее душой... Перерождается? Нет, только припоминает свои детские восторги, от которых когда-то он не мог удержать слез...

Витя Зарубин только что вышел из детского возраста, но не успел еще стать не только взрослым, даже юношей, а жизнь принялась уже, действуя жестоко и неистово, отрывать от него родной город, давший ему столько ошеломляюще изумительных минут, сливавшихся в часы, дни, недели и месяцы... Притом отрывать воочию, под гром несмолкающих канонад, и замещать тоже воочию многие знакомые до того, что стали живыми, дома—руинами, знакомых до того, что стали уже родными, людей—растерзанными трупами, и свои с детских лет окрестности города делать недостижимо чужими.

На горе Рудольфа, например, или как проще говорили все, «на Рудольфе», вместо бывшего там издавна загодочного и потому заманчивого хутора, обнесенного яркой и веселой каменной стеной, стояли теперь за рыжими, неопрятными на взгляд валами французские батареи, деятельно, дом за домом, разрушавшие город...

Фрегаты, корветы, бриги, особенно живописные по вечерам, когда косые солнечные лучи нежно и радостно золотили тугие их паруса, выходили, бывало, неодолимые на вид один за другим колоннами, волнующими детскую душу до последних глубин, из синей бухты в открытое море,—свое русское Черное море...

Теперь многих из них уже не было и в помине, на остальных паруса не золотили по вечерам,—они были сняты со всех; траурный вид имели остатки бравой так еще недавно и многочисленной эскадры; и Черное море, сколько его ни виделось с Малахова кургана, было во власти чужих флотов.

Даже и Черная речка, при всем своем мелководье доставлявшая когда-то столько радости, особенно весною, когда в рыбацком тузике можно было пробираться по ней вверх между густейших камышей и осок, действуя попеременно то рулевым веслом, то шестом,—даже и она была

теперь отхвачена от города врагами, и было бы странно увидеть вдруг на ней рыбацкую лодочку...

Подбирались все ближе, наседали... Потерю кладбища в ночь на 12 мая Витя переживал, может быть, даже острее, чем Тотлебен или Хрулев, для которых это кладбище было только стратегическим пунктом: ведь могилы их дедов, дядей, бабушек были не здесь, а где-то совсем в другом месте.

Такая умиляюще прозрачная, когда купаешься, бывало, и смотришь в нее, ныряя, вода в бухте около огромных скользких камней, таинственно бородатых от зеленых водорослей!.. Там где-то глубоко таятся в ней разные замысловатые чудеса: цветистые, расписные, с раскидистыми перьями плавников, морские петухи; огромные, до пуда весом, бородавчатые, белобрюхие, камбалы; стройненькая, верткая, как буравчик, пестренькая скумбрия, розовая, нежная и в то же время длиннусаая султанка; горбыли, ласкеря, бычки, кефаль, зеленушка—все это выволакивалось на берег рыбаками, бывшими матросами флота, конечно, все это переливисто сверкало на солнце в их корзинах и просто в яликах на причале,—дары Севастополю от родной его бухты...

А летние поздние вечера на этой бухте, когда всюду на воде, куда ни глянешь, певучие или хохочущие шлюпки, а вода под взмахами весел вспыхивает и горит радостными огоньками... Потухают одни,—тут же рождаются другие,—вспыхивают и гаснут, вспыхивают и гаснут без конца,—бухта живая, бухта сама как бы иллюминируется празднично, а вода у берега вдоль бульвара Казарского совершенно внятно шепчется с боролатыми камнями: шу-шу-шу-шу-шу-шу...

А эти обычные из года в год майские вечера, когда всюду на улицах непроходимо плотно стоял одурманивающий блаженно аромат цветущей во всю ночь белой акации!.. Вот май, тоже май, а сколько осталось теперь акаций в городе?.. Они цветут, конечно, и теперь, эти кое-где уцелевшие акации, но едкий пороховой дым так глубоко и так прочно застрял в ноздрях, что разве пройдет сквозь него запах хоть каких угодно цветов.

И если ловят что-нибудь теперь в бухте, то разве только денщики флотских офицеров приманиваются скуки ради с удочками на ютах кораблей и вытаскивают кое-какую мелочь, косясь при этом на небо, откуда того и гляди шлепнется в воду ядро или бомба и поднимет выше борта корабля белый фонтан.

И если вспыхивают по ночам на поверхности бухты огоньки от весел, то ничего веселого нет уже в этих огоньках; напротив, они похожи на копеечные свечки, какие зажигает и бухта тоже по бесчисленным убитым и умершим от ран, тела которых

перевозят через нее на баржах с Южной стороны на Северную, на Братское кладбище...

Тем более, что ведь среди этих убитых много матросов, бороздивших эту бухту в течение долгих лет своей здесь службы... Матросы! Разве не они и были так еще недавно,—месяцев девять назад,—почти весь Севастополь? Что такое был бы Севастополь, не будь в нем матросов? Обыкновенный город, даже, пожалуй, городок на морском побережье, каких немало на юге России. Но ведь Севастополь был единственным благодаря матросам, заполнявшим в праздничные дни все его улицы, если эскадра была на якоре, в порту.

Они шли тогда плотно сбитые, с обветренными, пышущими лицами и дюжими красными шеями, тысячами,—живая и подлинная мощь России... Они и теперь стискивают зубы, когда их ранят, даже и смертельно, чтобы не вопить, не стонать, как это делают часто пехотные солдаты. Но их все-таки часто ранят на Малаховом и на других бастионах и—увы!—многих смертельно, если не убивают на месте, больше штуцерники из неприятельских окопов, чем артиллеристы, и в этом всё уже, все беднее, всё сдавленней становится Севастополь.

На матросах-то именно и заметно это более всего: когда слишком уж редуют пехотные полки, их отправляют на отдых и пополнение в резерв, а на их место присылают другие, иногда даже совершенно свежие, полного состава, но кем же заменить матросов? Некем,—их и не заменяют, и они тают стремительно. Разве что вместо убитого отца-матроса придет с Корабельной его десятилетний сынишка Николка Пищенко, соврет, что ему не десять, а целых одиннадцать лет, и будет слезно просить лейтенанта, командира батареи, чтобы позволил ему пострелять из мортирки, а потом так и останется около этой мортирки лихим наводчиком,—в отцовском бушлате, который ему по колени, и босой, циркающий через зубы для пущего удалства, когда ему кажется, что прямо на него летит французская граната.

2

Николке Пищенко сам Горчаков, побывавший на батарее, навесил на бушлат серебряную медаль. В первые дни после того Николка важничал, все скашивая на эту медаль глаза, потом привык.

За вылазку в ночь с 1 на 2 мая, в которую напросился Витя, он, по представлению командира отряда, майора Кольванского полка Колесникова, получил георгия из рук самого Хрулева. При этом Хрулев счел нужным поцеловать его так крепко, что долго потом чувствовал Витя на своих губах запах его насквозь прокуренных жуковым табаком черных усов.

Кроме того, Хрулев сказал ему тогда:

— Я тебя, братец, хотел представить в прапор-

щики вместе с твоим товарищем, ординарцем Сикорским, еще за дело десятого марта, да что-то, признаюсь, показался ты мне тогда очень молод для прапорщика,—совсем мальчишка еще... Теперь ты как будто повозмужал немного,—теперь, так уж и быть, представлю.

— Неужели в прапорщики, ваше превосходительство?—придушенно спросил Витя, и такое недоумение было написано на его лице, что Хрулев отозвался удивленно:

— Недоволен, что ли?... Чего же ты хотел бы? Чтобы я тебя сразу в поручики?

— Я моряк, ваше превосходительство... как же так в прапорщики?—еле проговорил Витя, умоляюще глядя на Хрулева.

— Фу ты, чорт!—рассмеялся тот его убитому виду.—По-ду-маешь, как это его испугало стать прапорщиком! Я, когда прапорщика получил, как козел прыгал!.. Ну, в таком разе, в мичмана, конечно! Совсем я забыл, что ты юнкер флота, а не армеец... Значит, в мичмана,—так и напишем!

Это был день не то чтобы торжества Вити, а какой-то очень большой приподнятости и беспокойства в то же время. Хотя, с одной стороны, по примеру всех кругом принимая месяц за год, он и насчитывал себе уже шесть полных лет службы в Севастополе, но все-таки не мог забыть, конечно, что ему всего-навсего шестнадцать лет; однакоже ведь на это не посмотрят, раз он будет уже мичман: офицеров нехватает; могут дать очень ответственное какое-нибудь поручение, с которым он не справится, а между тем война невозможна не терпит, и если потребуются распоряжаться, надо будет это сделать уже по-офицерски; что простительно было юнкеру, того нельзя будет простить мичману, и с седуусыми, старых сроков службы, матросами надобно будет держаться как-то совсем иначе, по-начальнически, а не так, как привык уже было держаться он.

Зато отец как был рад, когда явился домой Витя с новеньким солдатским георгием и тут же с порога сказал, что пойдет о нем представление в мичмана! Чего еще более блестящего мог бы пожелать старый инвалидный капитан 2-го ранга своему шестнадцатилетнему сыну? Он даже как будто растерялся от того, что затаенные желания его исполнились так вдруг.

Это было в середине мая, когда после жестоких ночных боев за кладбище наступило некоторое затишье.

Разговор между выбывшим из строя отцом и слишком юным для того, чтобы быть командиром, георгиевцем-сыном после первых радостных объятий и восклицаний перешел на деловую почву. С понятной встревоженностью, которую незачем было скрывать перед отцом, говорил Витя:

— Когда получу мичмана, могут ведь поставить на батарею, а это совсем не то, что быть

ординарцем: придется за все отвечать и за людей своих тоже...

— Ну, еще бы, еще бы,—сразу согласился отец.—То ты чужие только... чужие приказания передавал, а то... самому приказывать... разница большая!

— Вдруг опоздаешь, а ведь это же бой,—разве можно?.. Или дадут тебе на батарею солдат,—матросов уж мало осталось,—солдаты Литовского резервного батальона обучаются артиллерийской стрельбе на Северной,—их и присылают на бастионы, а солдат куда же против матроса годится около орудий? Будет копаться зря, а ты за него отвечай!.. Об лейтенанте Титове ты ничего не слыхал, папа?

— Как же, как же не слыхал! Ранен, бедняга, в грудь навyleт... Жалко, жалко беднягу... Не поправится, нет... Будет чаврить, чаврять... а в результате...—и Иван Ильич выразительно стукнул своей палкой в пол.

— Так это ты о младшем Титове слышал, или даже я сам тебе говорил... А старший брат? Не слыхал?—пытливо поглядел Витя.

— Что он? Тоже ранен?—забеспокоился отец.

— Контужен был в голову,—лечился в госпитале, да рано очень выписался, должно быть. Ему и командир пятого бастиона, капитан Ильинский, тоже и другие офицеры говорили: «Не рано ли? Полежали бы еще с неделю...» Но он напустил на себя храбрости, хоть отбавляй, и на свою батарею... А батарея—это не госпиталь,—у него же, может, от пальбы голова болела. Он ночью в блиндаже лежал, а нужно было около орудий стоять: французы в наступление пошли... картечью их!.. А батарея Титова молчит, точно так и надо. Ильинский беснуется, конечно...

— Образцовый офицер—Ильинский... Образцовый,—вставил Иван Ильич.

— Необразцовому не дали бы бастиона... Кричит: «Где же этот Титов?» Титов из блиндажа выходит, а пальбу открыли уж без него, конечно, без его команды,—только все-таки опоздали открыть... Французов отбили, положим, но ведь без замечания это сойти Титову не могло,—Ильинский на него накинулся потом: «Как же так можно? Вы батареей пришли командовать или в бирюльки играть? А если бы, вам благодаря, французы бастион заняли, что тогда? С меня голову долой? Нет-с, ваш брат не так службу нес, как вы! А вы честь своего брата-героя подрываете, вот что! Спросят: «Кто это огня во-время не открыл?»—«Лейтенант Титов!»—«Вот тебе на,—скажут:—Лейтенант Титов всей России известен, не только всему Севастополю,—и французам тоже,—сколько он им насолил вылазками,—как же это он такого зевка мог дать, этот лейтенант Титов?» Не будут ведь разбирать, какой именно из двух братьев опоздал с огнем...» Ну, в этом роде отчитывал его так при публике, а у того и без заме-

чаний голова не в порядке... Ночь до утра простоял на батарее, а утром, когда уж совсем рассветло, пошел на бруствер и стал там.

— На бруствере стал?

— На самом бруствере... Стал, как столб, и руки по-наполеоновски... А стрелкам-французам только того и надо. Матросы кричат Титову: «Ваше благородие! Что вы там стали! Сойдите!» А Титов им: «Смотрите, ребята, как лейтенант Титов сейчас умрет!» Матросы, конечно, из-за банкета подняли крик: «Слезьте, ваше благородие! Мы и так знаем, что умереть не побоитесь, когда надо! Слезьте!» А он стоит, руки скрестил и на французские окопы смотрит...

— С ума сошел!—всплеснул руками Иван Ильич.

— Может быть, от контузии повредились мозги,—согласился Витя.—Слишком рано выписался.

— Ну, и что же... что же?

— Что же еще могло быть? Убили, конечно... Брату одна пуля, а ему целых три в грудь попало, так и свалился за банкет,—наповал!—энергично махнул рукой Витя.

— Ай-ай-ай, какая жалость!—сморщился отец.—Да ведь это что же такое?.. Само... самоубийство, выходит, а?.. Самоубийство!.. Это... это, стало быть, замечания... замечания начальника, значит, не перенес!.. Вот! Самолюбие... во время военных действий... Стыдно!.. Как же его звали, а? Я уж что-то не помню... Федор, кажется, Титов?.. Или это—младший Федор...

— Не знаю, как его звали... Каждый флотский офицер на бастионах дорог, а он...

— Стыдно... стыдно... Больной, впрочем... Жалко... А, может, тебя, Витя, все-таки а?.. все-таки в ординарцах оставят?.. Сохранение... было бы сохраннее...—осторожно заметил отец, пристально поглядев на сына.

— Будто Черкурь-Куша, ординарца, не убили десятого марта, папа, я ведь тебе говорил!.. А то вот, вчера только, боцмана Барабаша у нас на Малаховом убило ядром. Пуля его ни разу не тронула, так что он насчет пуль был спокоен. Так и говорил: «Не отлили еще, не доставили на меня пулю...» О пулях не беспокоился, а про ядро забыл. Оказалось, что ядро отлили и доставили... А знаешь, папа, кстати, что на-днях наш Юрковский говорил? Будто Корнилов, адмирал, от какой-то шашки чеченской погиб.

— Как же так от шашки? От какой такой это... шашки?.. От ядра ведь... Что ты болтаешь?—всполошился Иван Ильич.

— Ядро ядром, конечно, а шашка какая-то тут тоже замешана... Получается так, что если бы не шашка, какая была тогда на Корнилове, он бы, может, и не погиб...

— Вздор какой-то!—вытаращил глаза отец, а сын продолжал, пожимая плечами:

— Чепуха, конечно, а почему-то Юрковский рас-

сказывал же! Сам же над этим посмеивался, а на других все-таки поглядывал, как они отнесутся... Ты лейтенанта Железнова помнишь, папа, или уж забыл?

— Железнова?.. Это адъютант... адъютант Корнилова был!.. Как же не помню... Убит был... на пароходе «Владимир» убит...

— Ну, вот то-то и дело, что убит... И только он один из всех офицеров тогда и был убит,— больше никто, а пальба была большая...

— Часа... часа два никак, а?—поискав в закоулках памяти, с усилием сказал Иван Ильич.

— Да-а, не меньше, говорят... И Железнов стоял рядом с Корниловым, а ядра с турецкого парохода этого... как его, папа? Вылетело совсем из головы!

— «Перваз», кажись...

— «Перваз-Бахры»... Ядра с него на палубу ложатся,—большой треск идет... Корнилов смотрел-смотрел,—ничего не выходит: может, мы его подбьем, а может, он нас подбьет. Командует, чтобы паров наддать,—и в картечь... Вот тут-то Железнов про шашку и вспомнил... Это была его шашка,—он ее в Сухум-Кале за тринадцать рублей купил... Показывает потом другим: «Да это же, говорят, чистейшая дамасская сталь! Она не тринадцать, а все сто рублей стоит».—«Вполне, говорит Железнов, сто рублей стоит, да никто за нее и тринадцати не давал».—«Почему же это?»—«Да так уж известно почему: головы бараньи,—вот почему. Шашка, мол, это наговорная, и кто ее только в сражение наденет, тому капут! Она уж на тот свет столько отправила владельцев своих, что и не счесть—старинной работы шашка!» Железнов, конечно, хохотал, когда это рассказывал, а шашка оказалась такая, что любую другую, какую угодно, с одного удара пополам! А на самой и зазубринки нет... Ну вот, когда Корнилов скомандовал итти на сближение, а Бутаков приказал поддать паров, Железнов соображает: придется пароходам сцепиться на абордаж, начнется свалка, тут-то ему шашка его и пригодится. Идет в каюту... Корнилов ему кричит: «Захватите мне пистолет, а то в случае чего,—адмиралу русскому в плен сдаваться не годится,—чтобы было из чего пулю себе в лоб пустить!..» Железнов Корнилову принес пистолет, а себе нацепил свою шашку. И только что подошел «Владимир» на картечный выстрел, турки хватили картечью... Железнову попало в голову,—и десяти минут не жил после того. «Перваз-Бахры» этот захватили, а имуществу Железнова сделали опись потом. Вот тогда-то Корнилов и взял себе его шашку на память,—Железнова он очень любил,—так шашка поселилась у Корнилова...

— Ничего... ничего не слышал про это!—закачал седой ершистой головой отец.

— Корнилову говорили, конечно: «Смотрите,

ведь шашка-то, говорят, какая-то наговорная,—да и по лейтенанту Железнову судя что-то такое есть в самом деле... Побереглись бы, ваше превосходительство!»—продолжал Витя.—Но Корнилов разве такой был, чтобы обращать на это внимание? Он только: «Пустяки, говорит, ерунда и суеверие бабье!» И как раз пятого октября, когда бомбардировка открылась, и к штурму готовились,—шашку эту на себя и надел, а раньше ни разу не надевал. Штурм, союзники врываются в Севастополь,—улыбнулся Витя,—на улицах свалка, сеча,—вот тут-то шашке этой и будет работа! А шашка кавказская довела его до Малахова и—под ядро!.. Главное ведь, что и сама только и жила: пополам ее ядро перехватило прежде, чем ногу Корнилова оторвать...

— Ты что-то такое интересное тут рассказываешь, Витька,—появилась как раз в это время в комнате Капитолина Петровна с Олей.

— Ер-рунда!—махнул рукой Иван Ильич, а Витя заговорил, обращаясь теперь уже к матери:

— Вот все так, мама, говорят: «Ерунда! Суеверие!» А все между прочим один другому рассказывают, пока по всему гарнизону не разойдется ерунда эта... Адмирала Корнилова убили с шашкой на боку, адмирала Истомина без шашки, а в общем не все ли равно? И при чем тут, спрашивается, какая-то наговорная шашка?

3

Восемь с половиной месяцев протянулось уже с тех пор, как маленькая Оля услышала, что к Севастополю идут французы, англичане, турки, и каждый день потом все лучше, все точнее узнавала она, что это значило.

Пришли,—и загрометило со всех сторон, и не перестает греметь: ни одного дня не было, чтобы не гремело совсем. На улицах везде валяются ядра и мусор от разбитых домов и церквей; от дыма часто нечем бывает дышать; иногда приходится тащить узлы в Николаевские казармы и просиживать там неделю и больше, потому что больше уж негде спастись, а земля все равно и там дрожит от пушек, и кажется, что вот-вот она провалится, и рухнет в море весь Севастополь со всеми домами, казармами и людьми...

И все спрашивают папу и маму, почему же они не уезжают, и папа смотрит в это время на маму, а мама на папу, и папа бормочет: «Ведь все время, все время я говорю, что нам надо уехать...» А мама поправляет его: «То есть, вернее, это я говорю все время: уедем из этого ада куда-нибудь, уедем!»—«Да мы и уедем, конечно. Разве здесь можно оставаться дольше?» Но потом почему-то все-таки не уезжают...

Витя ходит уж сколько времени в солдатской шинели, Варя—в коричневом платье, и когда при-

ходит домой Варя, от нее так пахнет и лекарствами и еще чем-то тяжелым, что все время за нее страшно, как это она терпит там, у себя на перевязочном. Ведь вот же лежала уж она больная, и говорили, что может помереть, а если опять заболит и будет лежать и... помрет?

Оля раньше любила читать книжки,—теперь уж она редко бралась за них. Теперь перед ней открывалась страница за страницей такая страшная книга жизни, что ее прежние книжки стали казаться ей скучными, ненужными: прочитает несколько строк и бросит.

Она и сама не замечала, как становилась с каждым месяцем старше не на год, как защитники Севастополя, а гораздо больше, оставаясь в то же время ребенком. Ей приходилось видеть убитых ядрами и разорванных бомбами на улицах, а это и детей старит. Она вытягивалась однобоко, по мере того как Севастополь тоже вытягивался, напрягался всем своим телом, боролся с противником вполне ощутимо даже для глаз маленькой девочки, как борются, грызутся на улице две больших собаки, рычат и взвизгивают от боли, и рвут друг друга, и душат и стараются опрокинуть, и летит клочьями шерсть, и белые зубы обеих в крови и пене...

Купол Михайловского собора в нескольких местах уже был пробит ядрами и светился насквозь, как решето; непонятно было Оле, как и почему он еще держался, не падал; кондитерская Иоганна, над дверями которой всегда так ярко сияла большими золотыми буквами вывеска, а около дверей две другие, разрисованные такими вкусными на вид тортами и печеньями, теперь уже ничего не продавала, двери ее были сняты, полки, на которых стояли коробки с конфетами, пирожными и сладкими слоеными пирожками, были все разбиты в щепки залетевшей сюда через крышу бомбой... Все лавки на Екатерининской и на Морской были уже брошены купцами: одни из этих купцов перебрались в Николаевские казармы, другие—на Северную, третьи еще дальше,—на Инкерман, на Бельбек...

Только один крендельщик-грек, маленький, кривоногий и кривоносый, черный, с желтыми глазами, пока никуда не уходил из своей лавчонки в подвале под толстой каменной стеной, и когда Оля с матерью ходила что-нибудь купить на обед, то непременно заходили они к этому греку. В лавчонке он не сидел; сзади нее было у него еще какое-то, совсем темное логовище, и он выползал оттуда, когда они входили, точно краб из трещины в камнях... Сам ли он пек свои бублики, или только торговал чужим изделием, Оля не знала,—даже и не поднималось в ней этого вопроса.

У этого же грека продавались и сахарные сушки по четвертаку за фунт и пряники—по гривеннику штука, и мать Оли говорила о нем, что он добро-

совестный, что такие же цены на сушки, пряники и бублики держатся и в Бахчисарае. На улицах же, на тротуарах, около бывших лавок, во многих местах стояли складные столики, с которых торговали и греки, и русские, и караимы турецким табаком, лежавшим кучами, сигарами, в коробках и серными спичками в желтых бумажках. Около этих столиков всегда толпились покупатели в серых шинелях внакидку, так что столешники торговали бойко.

Все кругом Оли как-то и чем-то жили, точно так же как и они трое у себя в доме, в котором не было уже стекол в окнах, и негде их было взять, чтобы вставить,—да и кто стал бы их вставлять,—где теперь стекольщики?

Все кругом нее думали, конечно, только о том, как бы остаться в живых, но в то же время очень привыкли все к мысли о смерти, и она тоже. Если чего и боялась Оля теперь, то только того, чтобы не убило ее мамы раньше, чем ее убьют. Она почти не отходила теперь от матери и даже спала с нею рядом на одной постели, обняв ее и шепча, когда засыпала:

— Уж если бомба к нам, так чтоб обеих вместе...

Витя, который все время был там, на Малаховом, где пули так и жужжат, а ядра и бомбы падают то и дело, Витя чем дальше, тем больше казался ей существом необыкновенным и вместе с тем обреченным. Она глядела на него, когда приходил он, и с восхищением и с тоской.

И в этот приход его, чуть только дотронувшись до его новенького белого крестика, не умилилась она, а напротив, какою-то очень острой и недетской, а скорее материнской жалостью пожалела старшего брата и стремительно кинулась вслед за матерью на кухню не затем, чтобы помогать ей ставить самовар, а чтобы постоять там около окна и про себя поплакать. Она уж научилась это делать,—плакать про себя даже так затаенно, что мягкие неочерченные еще губки ее складывались при этом в подобие улыбки.

Повторив вкратце матери рассказ о кавказской шашке на Корнилове, Витя стал говорить с отцом о левом фланге русских и правом фланге союзников. Отец воодушевился. Стуча палкой в пол, он двигал по этому полу от кресла к столу воображаемые сильнейшие подкрепления, которые частью пришли уже, частью идут и скоро придут к Горчакову и отбросят союзников к их кораблям.

От кого-то успел уже услышать он, что в недавнем деле на кладбище и у Карантинной бухты союзники понесли очень большие потери, и он сказал об этом Вите, а Витя подхватил оживленно, подбросив голову:

— Ого! Им, конечно, всыпали по первое число! Девять тысяч у них убитых и раненых,—вчера дезертиры их говорили. Им еще надбавили ихние же пароходы, какие из Карантинной бухты по на-

шим должны были садить, а по своим вместо наших лупили!

— Ну, вот! Ну, вот!.. Вот видишь!..—сиял отец, но, подумав, добавил:—А как же все-таки... Как же это могло случиться, а?

— Очень просто! Должны были бить по нашим траншеям и резервам, а наши житомирцы как раз в это время отступили и траншеи очистили,—вот вся порция французам и досталась: в темноте ведь не видно было с пароходов, в кого они палят. Так и получилось, что французские моряки своей же французской пехоте шею накустыляли. Тут их полегло—тьма! А мы у себя только и мечтаем, когда они на наш участок штурмом пойдут. Ох, мы их, дружков милых, и встретим! Пускай, конечно, бока почешут сначала после кладбища, а мы пождем,—мы не торопимся.

Говоря это с нарочитым подъемом, Витя ласкал прильнувшую к нему Олю, тихонько щекоча ей шейку под острым подбородком. Оля же не смеялась при этом, как ему бы хотелось,—она смотрела на него очень серьезно и спросила вдруг тихо:

— А если они вас одолеют?

— Не бойся, не одолеют!—усмехнулся ей Витя.

— Ну, а если, если одолеют, тогда что?—потворила она упрямо-устало.

— Если одолеют, то есть очень крупные силы для этого бросят на нас,—проникся ее серьезно старший брат,—ну что ж, тогда мы у них назад все отбивать будем и отобьем. Наш участок самый важный для Севастополя,—это всем известно,—его отдавать нельзя... А если случится, то мы его в их руках ни за что не оставим!

И Витя задорно вздернул голову и крепко стиснул зубы, а Оля перевела вопросительно глаза с брата на мать.

Такие обыкновенные за последние месяцы, успешные уже затрепаться слова «отбивать будем», «отобьем»—встали перед Олей в испытанном уже ею не раз объеме своего смысла: загрохотали непереносимой для слуха канонадой, зардели тысячами огней от снарядов в страшном ночном небе, зачернели длинными рядами носилок, из которых капает кровь, перед перевязочным пунктом в доме собрания, где работает Варя... И одиннадцатилетняя годами, но слишком много даже и для любого взрослого пережившая девочка тихо вывернулась из-под руки своего воинственного брата и уткнулась в мягкую грудь матери—свой последний оплот.

4

Война и материнство—кажется, трудно найти какие-нибудь еще два понятия, более противоположные, чем эти, и в то же время Капитолина Петровна,—олицетворенное материнство,—смотрела на своего сына Витю с затаенной гордостью под

напускной иронической, несколько даже суровой миной.

Внешне она с ним держалась так, как будто все еще не могла забыть и простить его самовольного волонтерства, сбившего с толку, между прочим, и Варю; внутренне же она одобряла и его и Варю. Внешне она не переставала сокрушаться, зачем остались они все в Севастополе; внутренне же никак не могла найти в себе решимости оторваться от Севастополя, несмотря на то, что со всех сторон им угрожала в нем смерть.

Она не только не была ни капельки героиней, но даже и не понимала, как это может кто-нибудь предполагать в женщине какое-то там героísmo, если только он не круглый дурак. И в то же время ежедневно ходила то одна, то с Олей по улицам, в которые залетали и ядра, и бомбы, и ракеты.

Однако она очень резко разграничивала это: улицы, привычные с далекого детства, на которых стало, конечно, опасно, но все-таки это были улицы,—и бастионы, на которых ежедневно и ежедневно воюют. По улицам приходится ходить, конечно, за тем, за другим по хозяйству, но никто не заставил бы ее ходить по бастионам и редутам, где женщине совсем не место и не к лицу быть.

И вдруг она услышала, что ее Витя оживленно и весело начал рассказывать о женщине, которая не только раз-другой прошла по редутам, когда не было стрельбы, а поселилась у них там, на Корниловском бастионе, и живет среди солдат и матросов, в их больших блиндажах, хотя Хрулев и приказал сделать для нее блиндажик офицерского типа, и такой блиндажик скоро соорудили; и что женщина эта,—Прасковья Ивановна,—не только не боится никакой стрельбы, ни штуцерной, ни орудийной, но всегда балагурит, всегда весела сама и всем вместо «здравствуй» и «до свиданья» говорит: «Будь весел» и всем, даже самому командиру бастиона Юрковскому, говорит «ты».

— Сумасшедшая какая-то!—решила Капитолина Петровна, хлопнув руками по коленям.

— Да нет, не то, чтобы сумасшедшая,—начальство этого не находит, матросы и солдаты тоже,—улыбаясь, говорил Витя,—а какая-то муха у ней в голове, должно быть, жужжит... Вчера, например, раздалась около блиндажа и давай водой обливаться,—жарко ей стало,—пет мочи. А жарко оттого, что Горчаков сам ее к себе на Ишкерман вызвал посмотреть, что это за сестра милосердия у нас на бастионе поселилась. Наша Прасковья Ивановна командует казакам: «Давай лошадь мне верховую,—пешком к нему не пойду, шесть верст киселю месить... Да он еще, князек-то, пожалуй, меня, бабу простую, и за стол не посадит и чаем не напоит, так вы мне хоть бутылки две квасу на дорогу захватите!» Дали ей лошадь. Залезла Прасковья Ивановна на казачье седло: «Вот, говорит, чорт-те что, а не седло,—голубятня какая-то!

Ну, поехали к князьку! Будьте веселы!» Лопух свой белый надвинула поглубже, да так вшпарила, что только казакам впору!

— А что же она делает там у вас?—удивленно подняв чуть заметные бровки, спросила брата Оля.

— Как так «что»? Ведь она же сестра милосердия, все равно как Варя наша,—вот всем там у нас, кого ранят, она перевязки и делает.

— И будто хорошо делает?—усомнилась Капитолина Петровна.

— Да не хуже любого фельдшера... Ручищи у нее толстые, а действует проворно, я это сам видел. Перевяжет солдата, хлопнет его ручищей по спине: «Ну, будь весел». Солдат, может, и смертельно ранен, а все-таки улыбнется.

— Ну, что же, как... как с ней тот... князь Горчаков?—с большим любопытством спросил Иван Ильич, стукнув палкой.

— К вечеру вернулась,—мы к ней, конечно: «О чем, мол, Горчаков говорил?» Наплела нам она чего-то, и поверить трудно. Будто она с приезде говорит князю: «Только чаем меня сначала напои, а то и говорить ничего не стану: покамест сюда к тебе доехала, вся глотка высохла, как дымовая труба!»

— Сумасшедшая и есть! Разве так говорят с главнокомандующим?—махнула рукой Капитолина Петровна в знак полной безнадежности.

— «Я,—говорит будто бы Горчаков,—не только тебя чаем напою, а еще и к ордену думаю тебя представить, или же сам тебе орден навешу».—«Да ты мне какой же это орден думаешь навесить»,—говорю.—«Небось, анну в петлицу? А я, брат, такого не возьму даже! Ты мне, дорогой, анну на шею навесь!».. Вот будто бы как она с главнокомандующим разговаривала, наша Прасковья Ивановна!—улыбаясь рассказывал Витя, невольно подражая при этом грубому и густому голосу бастионной сестры милосердия, совсем не похожей на сестер из госпиталей и перевязочных пунктов.

Капитолина Петровна после этого даже не сказала и «сумасшедшая», а только махнула рукой. Не сумасшедшей, а просто даже и женщиной не хотела она счесть какую-то там Прасковью Ивановну с толстенными ее ручищами и мужичьими хватками.

Женщина в ее представлении была мать—в настоящем ли, в прошлом или в будущем; не «сестра» хотя бы и «милосердия», а только мать. И как бы затем, чтобы подчеркнуть это для себя самой, она, сравнивая во время рассказа Вити эту живущую в блиндаже с матросами и способную обливать при них водою из ведра Прасковью Ивановну со своею дочерью, сказала сыну:

— А ты знаешь, что наша Варя выходит замуж?

— Вот как!—удивился Витя.—Выходит? За кого же? за Ипполита Матвеевича?

— Нет. Этому Дебу полный отказ... За сапера, поручика Бородатова.

Витя представил Бородатова, как держался он разжалованным,—унтер-офицером,—и как по одной походке его даже и сзади угадывался в нем не только офицер, но еще и человек выдержанный, строгий к самому себе и к другим, подобранный, четкий.

Особенно яркие были в этом представлении всегда внимательные, пристальные, серьезные и вместе с тем чистые голубоватые глаза Бородатова, и, сразу сделавшись от одного взгляда этих мелькнувших в представлении глаз серьезным сам, Витя ответил матери:

— Что ж, по-моему, Бородатов, если он только совсем поправился, будет нашей Варе очень хороший муж.

5

Когда Варя в первый раз появилась на перевязочном пункте, она едва удержалась от тошноты и от сильнейшего желания выбежать тут же воп, на свежий воздух и больше уж сюда не входить. Но молодость побеждает, как бы ни был разителен переход от того, что она видела в отцовском доме, к тому, что видит, бросаясь в жизнь.

Уже одно то, что Варя встретила в этой огромной, страшной и с чрезвычайно тяжелым воздухом палате другую девушку, светловолосую Дашу, вдруг подняло ее силы: если вытерпела другая, значит, сможет вытерпеть и она. Даша и стала ее путеводителем с первых шагов в доме скорби, и, подражая ей, Варя через несколько дней помогала уже врачам в операционной при ампутациях, всячески стараясь, впрочем, не глядеть на то, что они делали. Но деловитые и совершенно спокойные за своей работой врачи были с нею очень любезны, Пирогов же отечески трепал ее по плечу или гладил по голове, однообразно спрашивая при этом:

— Ну что, как? Привыкаете? Молодцом, а?

И она однообразно тоже, но с каждым разом все уверенней в себе отвечала:

— Я уж привыкла.

На что Пирогов отзывался обыкновенно:

— Ну, вот! Приятно, барышня, слышать!—Но недоверчиво качал плешивой головой и прищуривал и без того маленькие, глубоко в глазницах утонувшие глаза.

Привыкала она, правда, с трудом, однако не отступала, всячески борясь в первые дни с очень сильным желанием бросить все это втихомолку и бежать домой, чем донельзя будут обрадованы и отец, и мать, и сестренка Оля. Родной маленький домик на Малой Офицерской на первых порах вел в ней подспудную битву с этим большим домом страданий около Графской пристани, и последний победил.

И если всепоглощающей страстью Вити стало «отстоять» и «отбить» тот или иной редут, ту или иную траншею, то и все ежедневные заботы Вари свелись постепенно к тому, чтобы отстоять, отбить у смерти раненых: вот этого, и этого, и того,—как можно больше и с наименьшими для них потерями.

Среди раненых были, конечно, такие, к которым она особенно привыкала: это—с «хорошими» ранами, то есть без признаков гангрены. Убеждаться в том, что твой уход за раненым явно ему помогает, было всегда и глубоко радостно Варе. А от такой радости до любви, пусть даже очень похожей на материнскую, был всегда только один шаг. Этот шаг и сделала Варя, когда на ее попечение попал раненый прапорщик Бородатов.

Уже одно то, что он был несколько знаком ей раньше,—приходил в их дом к Дебу,—и она его узнала, когда только что привезли его на перевязочный,—его решительно выделило; тревожное ожидание, что скажет Пирогов об его ране, его к ней очень приблизило, а длительный уход ее за ним сроднил их обоих.

Когда Бородатов стал поправляться и Варя находила время поговорить с ним, он с радостным блеском в пристальных глазах перебирал исхудалыми пальцами тонкие, но крепкие пальцы совсем еще юной девушки, в коричневом платье сестры, которой, как оказалось, были знакомы, хотя и в самых общих чертах, идеи Фурье, Сен-Симона, кружка петрашевцев, то есть именно то самое, что очень занимало и его, за что разжалован он был из поручиков в рядовые года три назад.

Он знал, конечно, что у нее это было от Дебу, но ведь она могла бы пропустить мимо ушей разглагольствования много перенесшего взрослого человека о разных недетских материях, однако же не пропустила, и если в нее запало хотя что-нибудь из того, что плотно сидело в нем и казалось ему наиболее ценным из его знаний, то и этого было довольно, чтобы он думал только о ней, когда ее не было около его койки.

Она стала необходима ему, он—ей. И наступил, наконец, день, когда он, уже поправившись настолько, что мог твердо ступать раненой ногой, сохраненной пироговской гипсовой повязкой, сказал Варе, что единственное счастье, какого бы желал он в жизни, это—видеть ее своей женой.

Как бы ни был подготовлен этот шаг, как бы ни ожидала его втайне сама Варя, все-таки она была потрясена. Не только смысл его слов,—единственный, совершенно исключительный для девушки смысл,—но и те слова, какие выбрал этот ставший ей уже родным, бледный от долгого лежания на госпитальной койке, серьезный и с такими дорогами, внимательными глазами человек,—наконец, и самый тон, каким были сказаны эти слова,—тон просительный, робкий, тревожный,—все показалось

ей незабываемо особенным, пересиявшим даже и полуденное солнце.

Это было накануне жестокого ночного боя за кладбище; тогда и на обоих перевязочных пунктах и в госпитале на Северной не было напряженной и спешной работы, и Варе выдалось время и возможность навестить Бородатова.

Они стояли на дворе перед длинным каменным баракком госпиталя, покрытым нестарой еще на вид черепицей. Пучки травы между розовым и голубым булыжником на дворе, сочные, оранжево-зеленые, почему-то дрожали в глазах Вари, точно передвигались к ней поближе. Чей-то верховой конь, рыжий, белоногий, потный около подпруги, привязанный уздечкой к столбу шагах в двадцати, тоже как будто не стоял на месте, а подступал как-то боком к ней вместе со своим столбом, и это не казалось ей неестественным. Густо-синяя длинная тень на белой стене барака, падавшая от нависшей изжелта-красной, яркой крыши, струилась, как ручей, подбегающий издали к ней, Варе...

Были совершенно непередаваемые словами и неповторимые мгновения, когда она чувствовала себя в середине, в центре всего, что около нее жило, сверкало, творилось, потому что он, Женя,—Евгений Сергеевич Бородатов,—только что сказал:

— Я был бы очень счастлив, Варенька, если бы вы согласились стать моею женой!

Она даже как-то не то, чтобы не расслышала эти тихо сказанные слова, но не вполне ясно, отчетливо восприняла их... Только «был бы счастлив» и смысл остального, но и этого было гораздо больше, чем могла она вместить.

Она всем своим телом ощущала его пристальный, встревоженный, ожидающий взгляд, но почему-то не в силах была поднять на него глаза, и дышать ей было трудно, сердце давало звонкие перебои, и руки дрожали.

А между тем в горячей голове толпилось и перескакивало в беспорядке множество мыслей, не столько мыслей, впрочем, сколько образов, наплывших сразу, мешающих один другому... И когда глаза ее, блуждая под отяжелевшими верхними веками по отдаленному, по крутизнам Сапун-горы, на которой клубились кое-где обычные серые полотноща пушечного дыма, восприняли эти серые клубы и довели до сознания, она ответила:

— Им ни за что не взять Севастополя нашего,—нет, не взять!

Это как будто совсем не было ответом ему, Жене, Евгению Сергеевичу Бородатову, который стоял с нею рядом и держал ее правую руку, несколько ниже локтя, в своей руке, и вместе с тем это было гораздо больше и значительней, чем если бы она проговорила смущенно, полушопотом: «Я согласна...»

Она ответила, конечно, не ему, а себе самой

на тот рой взметнувшихся в ней вопросов, которые все можно бы было свести к одному: «Хорошо, стать женой,—а что же дальше?..»

Этот длинный каменный барак был полон раненых; шла война; Севастополь полуокружен войсками союзников... Что если они возьмут все-таки город? Где тогда будет их гнездо, которое теперь пока можно еще представить, конечно, там, в материнском доме на Малой Офицерской? Ответ ее этому рою тревожных мыслей вылился из роя других, не столько мыслей, сколько бурно закружившихся ощущений и своей, и его рядом, и всех и всего кругом силы, по сравнению с которой ничтожной показалась вдруг сила союзников, девятый уже месяц окутывающих дымом Сапун-гору.

Когда она сказала о Севастополе, то подняла глаза, и Бородатову стоило только заглянуть в них, чтобы он ее понял и благодарно и радостно сжал ее руку.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«ТРИ ОТРОКА»

1

Став главнокомандующим французской армии, но с первых же шагов поставив себя в положение первого среди равных—главнокомандующих других союзных армий, Пелисье решил развить свой успех у кладбища и Карантинной бухты с наивозможной энергией.

Успех этот, правда, был куплен дорогой ценой, и в то же время из Парижа не представлялся ни очень видным, ни серьезным, но зато сам Пелисье не сомневался теперь, что его ожидают другие успехи, гораздо более показательные.

Однако, решительно отклонив план войны, при-сланный самим императором Франции, он видел, что должен действовать без малейшей потери времени, чтобы не только доказать Наполеону, что он, Пелисье, прав, но доказать это гораздо раньше, чем тот решится поставить на его место своего любимца Нияля.

Уже на следующий день после занятия русских траншей на кладбище Пелисье дал возможность Канроберу «отличиться» в долине реки Черной. Он поставил его во главе большого отряда из четырех французских дивизий,—двух пехотных и двух кавалерийских,—к которому присоединились сардинцы, турки, английская конница, много полевых батарей,—и все эти силы обрушились вдруг на русские посты около деревни Чоргун, а когда передовой русский отряд отступил, союзники на-чисто уничтожили весь брошенный им лагерь.

Сражения не было,—только небольшая пере-

стрелка,—но все-таки создавалась видимость крупной победы, так как вся Балаклавская долина с водопоями на Черной и доступы в соседнюю Бай-дарскую долину с ее богатыми сенокосами отхо-дили теперь к союзникам.

Сардинцы стали лагерем около деревни Комары, турки снова, как и перед сражением в октябре пятьдесят четвертого года, заняли редуты на Бала-клавских высотах, а главное, все левое побережье Черной начало после этого деятельно укрепляться. Пелисье хотел окончательно обезопасить себя от возможного нападения русских со стороны Мекен-зиевых гор и Инкермана, хотя Горчаков и не по-мышлял об этом.

Но, обеспечивая свой правый фланг, Пелисье стремился только к одному: разгромить и захва-тить левый фланг севастопольских укреплений, то есть прежде всего Камчатский люнет и редуты Селенгинский и Волинский, которые выросли так незаконно, вели себя так дерзко и стояли уже так много корпусу Боске.

Наступила устойчиво жаркая погода, и в сере-дине мая русская армия в Крыму по приказу Гор-чакова вся вдруг побелела: солдаты сняли мундиры и надели белые рубахи-гимнастерки под формен-ные пояса с воронеными бляхами, а на фуражки-бескозырки напялили белые чехлы. Эти с доброе колесо величиной белые фуражки явились пре-восходной целью для неприятельских стрелков в ложементах, однако и горячее крымское солнце тоже не было своим братом, особенно во время тяжелых земляных работ. Работы же на Малахо-вом кургане и впереди его, между редутами, ве-лись во второй половине мая усиленно, так как с русской стороны замечали оживленную деятель-ность у французов и англичан. Там расширялись траншеи, чтобы вместить в них как можно больше войск, устраивались, кроме того, укрытые плац-дармы, устанавливались новые батареи осадных орудий, а старые усиливались преимущественно мортирами, весьма широкогорлыми, больших ка-либров.

К двадцатым числам мая можно уже было на-считать у союзников шестьдесят новых осадных орудий, треть из которых были мортиры; они еще не проявляли себя, они еще таились за закрытыми амбразурами, но направлены они были на «трех отроков в пещи вавилонской», как назвал генерал Семякин три редута перед Малаховым и как это пошло по гарнизону.

«Три отрока» тоже готовились к отпору: по линии укреплений было поставлено несколько де-сятков новых орудий, но мортир из них только две,—неоткуда было взять больше. Зато усердно строились блиндажи, чтобы было где укрыться резервам от навесного огня противника. Наконец, снарядов по семьдесят в среднем было загото-влено на каждое орудие на случай открытия бом-

бардировки со стороны противника, и это было все, чем могли защитники укреплений встретить напор врага, в то время как Пелисье приказал подвезти к своим батареям столько снарядов, чтобы их хватило на двадцать семь часов непрерывной канонады, за которой должен был последовать штурм,—около шестисот снарядов пришлось там на орудие.

И хотя для всех, от начальника Малахова кургана, капитана 1-го ранга Юрковского, до последнего матроса у орудий и рядового из прикрытия на Корабельной стороне, было ясно, что готовится что-то весьма серьезное именно на их участке оборонительной линии, главнокомандующий, князь Горчаков, старался смотреть на вещи гораздо шире и ожидал внезапного нападения союзных сил из-за Черной речки на свой левый фланг.

Этот вообразившийся ему коварный маневр всецело завладел его мыслями, и для противодействия ему он стягивал к Мекензиевым горам сколько мог пехоты и кавалерии. Кроме того, ему представлялось более чем вероятным, что Пелисье двинет на него не только стотысячную армию из Балаклавской долины, но и отряды из Евпатории и Керчи, чтобы попытаться отрезать ему отступление.

Вместе с тем и переданные ему сообщения из Вены сводились к тому, что между 26 и 31 мая, по старому стилю, союзное командование предпримет решительное наступление. Однако туманно было, куда именно намерены наступать союзники. Эта неизвестность совершенно раздвинула Горчакова, а он задергал всех из своего штаба.

Впрочем, в том мнении, что союзники намерены окружить русские силы, двинувшись одновременно и со стороны Черной, и от Евпатории, поддерживал Горчакова и сам царь, а Горчаков из своего долгого служебного опыта вынес стойкую мысль, что следовать «высочайшим предначертаниям»—самое безопасное во всех затруднительных положениях.

Однако, хотя три пехотных дивизии из Южной армии частью форсированными маршами, частью даже на обывательских подводах спешили в это время в Крым, чтобы стать его резервом, и хотя сам царь в своих последних письмах к нему допускал уже, что «обстоятельства могут принудить отступить к Симферополю», все-таки Горчакова так беспокоила участь севастопольского гарнизона, который вряд ли удалось бы вывести, что он даже заболел и именно к тем дням, когда решалась судьба «Трех отроков».

Правда, будь он и здоров, все равно изменить что-нибудь в надвигавшихся событиях было уже не в его силах, так как события эти оказались вполне подготовлены, назрели и предотвратить их в короткий срок было нельзя.

Между тем гарнизон Севастополя жил своею прежней жизнью ежедневной напряженной борьбы, не заглядывая так далеко вперед, как главнокомандующий войсками Крыма и юга России.

Если Горчаков думал только о том, как ему отстоять Крым, когда будет потерян Севастополь, то гарнизон Севастополя не допускал даже и мысли, чтобы Севастополь когда-нибудь взят был врагом.

Исполнялось почти уже девять месяцев со времени высадки интервентов в Крыму, но вера в силы России,—огромнейшей родной страны, у которой за глаза хватит,—должно хватить!—и людей, и всяких средств обороны, не колебалась в солдатах, как бы трудно им ни приходилось на бастионах.

Когда после ночного боя 10—11 мая Хрулев поздравлял солдат с победой и кричал охрипшим несколько, но еще сильным голосом:

— Благодетели!.. Вот одной всего только паршивой траншейки не мог взять у вас неприятель за целую ночь,—так куда же ему к чертовой матери Севастополь взять, а?

Солдаты в ответ любимому командиру кричали «ура» и бросали вверх фуражки.

Но на другой же день траншея все-таки осталась за неприятелем, потому что Горчаков приказал не тратить людей на ее защиту, и те же солдаты глухо говорили между собой, многозначительно кивая в сторону Северной:

— Измена, братцы!

Так как еще до разгрома Керчи в Петербурге были уверены, что готовятся союзниками большой десант на Кавказе, то оба батальона пластунов были отозваны домой на Кубань. Хрулев после дела на кладбище, не откладывая, принялся заполнять пустоту, образовавшуюся с их уходом.

От каждого полка 8-й, 9-й и 11-й дивизий выбрал он по пяти человек наиболее сметливых и удалых, расторопных и зорких, бывавших не раз в вылазках, секретах и ложементных и умевших толково рассказать, что удалось им высмотреть у неприятеля; они и были названы им пластунами, а чтобы обучить их как следует пластунскому делу, к каждой такой пятерке был назначен в дядьки настоящий кубанский пластун из тех охотников, которые пришли в Севастополь в начале мая.

Полковые командиры сшили новоявленным пластунам в своих швальных папах, бешметы, черкески с красными нагрудниками и патронами, и новички с первых же дней стали нести службу не хуже старых пластунов.

В дядьки в Камчатский полк зачислен был Хрулевым Василий Чумаков, и на другой же день, будучи в секрете со своей пятеркой впереди Кам-

чатского люнета, отличился, захватив в плен французского капрала.

Чумаков знал уже твердо, что секреты, располагаясь в темные ночи впереди укреплений, часто сидят всего в нескольких шагах от секретов противника. Поэтому днем он усердно учил свою пятерку, чтобы первый, кому случится увидеть или услышать или даже почуять носом подобный неприятельский секрет или патруль, предупредил бы об этом других негромким криком перепела: «Пить пора! Пить пора!..»

У пластунов было и несколько других подобных условных криков: под собачий лай, под кошачье мяуканье, под филина, под лягушку,—но эти не подходили к местности, а перепелиный бой, как ему казалось, можно было допустить в мае под Севастополем. И когда со стороны двух особенно зорких лежавших впереди, в яме, пластунов донесся до него этот не совсем умелый, но старательный перепелиный крик, Чумаков понял, что французский патруль совсем близко.

«Пить пора!»—повторилось с небольшими промежутками шесть раз: это значило, что французов было в патруле так же шесть человек, как и их. Чумаков подождал еще,—не больше ли,—но перепел больше не бил,—силы, значит, были равные, так что если бы подползти всем им к противнику и кинуться в штыки, могла бы выпасть на их долю удача... Но французы по своей скверной привычке неминуемо стали бы стрелять при этом, а два-три выстрела, какие они, может быть, успели бы сделать, подняли бы тревогу по всей линии, что уж совсем не годилось. Нужно было действовать как-то иначе, и Чумаков напряженно обдумывал, как пмению.

Надо было действовать быстрее, так как случайно задержавшийся поблизости патруль, конечно, двинулся бы куда-нибудь дальше, чуть только бы утихла его подозрительность. И Чумаков решился.

Шопотом сказал он своим трем, чтобы подползли ближе к передним, сам же он выйдет вперед прямо к французам, а когда свистнет, чтобы все кидались к нему на помощь.

Он спрятал папаху в карман, а штуцер под череску и пошел прямо по направлению к французскому патрулю. Ему все казалось, что вот-вот как-то припомнится ему несколько французских слов из тех многих, которым учил его когда-то барчук Митя Хлапонин, но он ни одного не мог вспомнить, и только говорил вполголоса, как бы таясь от своих: «Перебежчик я, перебежчик!»—а сам думал в это время: «Что, как штыками полоснут?.. Хотя не должны бы...»

Патруль тут же окружил его, и один из французов неожиданно довольно чисто по-русски спросил Чумакова:

— А ружье где?

— Шапку потерял, ружье бросил,—ответил Чу-

маков, соображая, свистеть ли ему своим, или пождать немного, и придерживая всей пятерней левой руки штуцер под полою, а локтем сдвигая карман, оттопыренный папахой.

Переводчик что-то заговорил, обращаясь к старшему патруля—капралу. Капрал сейчас же отрядил четверых,—по два вправо и влево, осмотреться, нет ли засады, а сам остался перед «перебежчиком» вдвоем с тем, кто говорил по-русски. Он протянул Чумакову руку, тот подал ему свою и вдруг почувствовал, что капрал сильно тянет его в свою сторону,—зачем?

В темноте трудно было понять, что он хотел сделать, и Чумаков, хотя остался один против двоих французов, освободив левую руку, так что приклад штуцера, опустясь, стукнул его по ноге, бросился на капрала, свалил его с ног, зажал ему рот рукой и свистнул.

Около тут же заколыхалось четверо в лохматых папах, и переводчик пустился бежать к своим ложементам, то же самое сделали, очевидно, и остальные патрульные; они не явились на выручку своего капрала. Ему мигом скрутили руки и поволокли в укрепление.

Без пальбы, впрочем, не обошлась эта затея,—пальбу открыли французы,—но капрал все-таки был доставлен к командиру «Трех отроков», которым был генерал-майор Тимофеев, тот самый, который удачно провел вылазку Минского полка от шестого бастиона в день Инкерманского сражения.

Капрал был совершенно вне себя, что так глупо попался в плен, что его волокли по каким-то канавам и изодрали на нем мундир... Он кричал, что так с образованными людьми воевать нельзя; наконец, принимался плакать и рвать на себе волосы, выкрикивая при этом, что его могут пытать, как угодно, но он все равно не даст никаких показаний на допросе, а себя непременно заколет ножом... Кое-как удалось его успокоить, и когда дня через два Чумакову захотелось проведать своего пленника, тот встретил его уже смеясь и показывая ему изодранную спину. Чумаков тоже показывал ему свою руку, искусанную им во время борьбы, и расстались они по-приятельски, похлопывая друг друга по плечам.

Пленный капрал мог и не давать никаких показаний: приготовления французов и англичан, направленные против «Трех отроков», были и без того очевидны. При этом опасались не только нехватки снарядов, но даже и патронов для ружей, почему объявлено было в полках, чтобы собирали неприятельские пули, за которые будет уплачиваться по четыре рубля за пуд.

И вот на бастионах и редутах появились в тех местах, куда падало особенно много штуцерных пуль, солдаты с мешками и прехладнокровнейшим образом собирали пули, хотя обстрел, конечно,

не прекращался. Когда кто-нибудь из них был ранен, то передавал свой мешок товарищу, а сам тащился на перевязку. Иных, впрочем, и убивало за этим мирным занятием, которое у солдат добродушно называлось «ходить по ягоду».

За десять дней насобирали таким образом около двух тысяч пудов пуль, чего хватило бы на миллион почти зарядов. Французы долго не понимали, зачем русские солдаты ходят с мешками под самым ожесточенным обстрелом и то и дело наклоняются к земле; но когда поняли, наконец, отметили это громкими аплодисментами из своих траншей и криками «браво» и на время даже прекратили пальбу. Однако потери среди «ходивших по ягоду» были так ощутительны, что адмирал Нахимов приказом по гарнизону отменил этот промысел.

Чтобы обезопасить Волынский редут от обхода по дну Килен-балки, Забалканский полк соорудил слева от него батарею на три орудия, которую так и назвали Забалканской, и бодро ожидали защитники «Трех отроков» надвигавшихся событий, так как сделали для встречи их все, что могли сделать; но, может быть, эти события развились бы несколько иначе, если бы во главе обороны Корабельной стороны стоял не генерал Жабокрицкий.

Когда Хрулев перед делом на кладбище был отозван Горчаковым с Корабельной стороны на Городскую, его заместил было начальник 8-й дивизии князь Урусов; однако уже в половине мая Урусов был сменен Жабокрицким,—тем самым, который пролежал со своей 16-й дивизией в оврагах на склоне Санун-горы около двух часов, не оказав никакой поддержки Саймонову в начале Инкерманского побоища, и если бы не нашел его Тотлебен и не поднял бы с места, несомненно, пролежал бы там гораздо дольше.

Когда принимал он после Алминского боя 16-ю дивизию, начальник которой—генерал Квевинский—был тяжело ранен, то проходил вдоль передних рот с пистолетом в руке и кричал владимирцам, казанцам, суздальцам:

— Смо-отри, ребята!.. У меня кто если покинет поле сражения,—побежит то есть, проще говоря, как сукин-рассукин сын,—то я того мерзавца догоню пулей в затылок!..

И он, высокий, но хлипкий, длинноносый и длинноусый, при этом багровел сплошь, выкатывал ястребиные глаза и потрясал пистолетом.

«Три отрока» стали предметом особенного внимания интервентов с того времени, как было решено вести атаку не на четвертый бастион, а на Малахов курган. И Тотлебен, и Хрулев, и Урусов, зная это, всячески старались усилить наряды войск на их оборону. Тотлебен даже писал об этом Остен-Сакену в самых решительных выражениях: «Если прикрытые редуты не будут усилены до восьми батальонов, то редуты следует считать потерянными,

и в таком случае необходимо сделать неотлагательно все распоряжения для дальнейшей обороны Корабельной стороны, предполагая, что редуты перешли уже во власть неприятеля...»

Испуганный таким донесением Сакен приказал отрядить для этой цели десять батальонов. Но вот назначен был Горчаковым начальником Корабельной стороны Жабокрицкий, и сразу оказалось достаточно, по его мнению, для защиты Камчатского люнета и обоих редуты пяти-шести рот далеко не полного при этом состава, и Сакен немедленно же с ним согласился и подписал эту его диспозицию.

Между тем резервы «Трех отроков» расположены были очень далеко, и гораздо скорее на помощь к своим передовым частям, брошенным на штурм, могли прибыть резервы французов; наконец, прикрывать редуты назначен был Жабокрицким неострелянный и совершенно незнакомый с местностью, незадолго перед тем появившийся в Севастополе Муромский полк.

И эта странная беспечность проявилась как раз в то время, когда весь сорокатысячный корпус Боске, в распоряжение которого дана была еще и турецкая дивизия, усиленно готовился к жесточайшему обстрелу и потом к штурму передовых русских укреплений, чтобы, захватив их, обрушиться всей своей массой на Малахов курган, занять его и тем закончить осаду Севастополя, затянувшуюся свыше всякой меры к общей досаде Лондона, Парижа, Константинополя, Вены и других европейских столиц.

3

«Пушка его величества» заговорила ровно в три часа дня 25 мая (6 июня): около пятисот пятидесяти осадных орудий по сигнальной ракете, пущенной с одного из союзных судов, одновременно заревели с разных сторон, и началась третья по счету генеральная бомбардировка Севастополя, далеко превзошедшая по силе две предыдущих.

В противоположность тем, эта бомбардировка началась в совершенно безоблачный, ясный и жаркий день; однако небо очень скоро заволокло пороховым дымом, сквозь который солнце едва желтело и казалось каким-то пристыженно-жалким, отставленным на задний план, затрапезным: кругом бушевала стихия другого огня,—земного, человеческого, без всяких недомолвок, загадок и тайн; ураган чугуна, ни на минуту не утихая, несся свирепо на севастопольские укрепления, в город и бухты,—ураган чугуна несся отсюда туда, на батареи противника; защитники Севастополя отвечали врагам огнем пятисот семидесяти орудий большого калибра.

Грохотало, рвалось, крушило здания... Белые фонтаны, высотой с корабельные мачты, вздыма-

лись здесь и там на бухте от падавших в воду ядер... И до шести вечера, то есть три часа подряд, Севастополь в азарте борьбы почти не отставал от противника в силе огня, встречая выстрелом выстрел, пока не ужаснулся, наконец, своему безумию: погреба быстро пустели, и неоткуда было взять снарядов, если бы противник затянул бомбардировку, как это случилось на пасху.

Сколько бы безответных украинских волов ни было занято подвозом снарядов для крупнокалиберных мортир и пушек, все-таки один луганский завод не мог соперничать с несколькими большими военными заводами передовых европейских стран: Россия жестоко платилась в Севастополе за свою отсталость.

Но артиллеристы-моряки еще со времени октябрьской бомбардировки заметили, что французские бомбы изготавливались гораздо хуже английских, и много их совсем не рвалось. Эти неразорвавшиеся бомбы являлись как бы подарком: они гут же собирались матросами, которые потом перезаряжали их, выбивая трубки и пригоняли к своим мортирам; конечно, делалось это в укрытых местах и во время затишья на фронте; теперь же нельзя было уступать врагу в частоте стрельбы, а по редутам и бастионам передавался уже строжайший приказ беречь снаряды.

Впрочем, приказ этот если хоть сколько-нибудь был понятен и уместен, то только на правой стороне укреплений, на Городской, где огонь противника был вдвое слабее, чем на левой, на Корабельной: там только поддерживали главный удар, который наносился здесь.

Пятьдесят французских орудий громили один только Камчатский люнет, и уже к шести часам вечера ядра их до того разбили все насыпи, сделанные из рыхлой, неслежащей земли, что пролетали сквозь них, как через воду, а двадцать пять других орудий срывали почти до оснований мерлоны¹ и засыпали амбразуры на Волынском и Селенгинском редутах, так что невозможно было даже из неподбитых пушек отвечать противнику хотя бы и редким огнем... К наступлению сумерек и люнет и редуты умолкли.

Казалось бы, все было подготовлено интервентами к штурму «Трех отроков». На месте укреплений оставались только развалины: задравшиеся сверху и торчавшие вкось и вкривь доски орудийных платформ, бесформенные кучи земли и глубокие ямы, заваленные разбитыми фашинами и турами рвы, обвалившиеся блиндажи, и среди всего этого хаоса остатки гарнизона ждали штыковой схватки.

Но французы и в темноте продолжали стрельбу из мортир навесным огнем: их цели шли дальше;

состояние передовых укреплений им было видно, но внимание их было занято Малаховым курганом, как все усилия англичан были направлены на третий бастион,—Большой редант. Пятьдесят тысяч снарядов было заготовлено для того, чтобы разгромить не только передовые укрепления с их несколькими десятками пушек на рыхлых насыпях, но, главное, эти две твердыни, чтобы на другой же день, истратив все снаряды за двадцать семь часов и проведя классический штурм, можно было, наконец, послать по кабелю на Варну вожделенную телеграмму: «Севастополь взят».

Как обычно, ночью вели обстрел только мортиры противника, но теперь их оказалось так много и огонь их был такой неслыханной силы, что иногда на пространство всего каких-нибудь двухсот метров падало почти одновременно до пятнадцати пятипудовых бомб, взрывы которых были ужасны. Но, как обычно, защитники редутов даже и в эту ночь действовали лопатами и кирками, стараясь привести развалины в обороноспособное состояние.

Откапывались засыпанные землею орудия, сколачивались из разбитых досок платформы, мешками с землей и турами выводились щелки амбразур, подвозились из резерва полевые пушки, чтобы штурмующие колонны встретить картечью, наконец, подтягивались и сами резервы, так как штурм казался всем неминуемым к рассвету.

Наступил рассвет, но вместо штурма возобновили огонь орудия, отдыхавшие ночью; кроме того, к французским мортирам присоединились английские, действовавшие до этого против Малахова кургана: теперь их жерла повернулись в сторону «Трех отроков», главным образом Камчатки; впервые в истории осады крепостей так сосредоточивался огонь и достигал такого чрезмерного напряжения, точно ядрами и осколками разрывных снарядов хотели интервенты вымостить дорогу своей пехоте туда, к берегу бухты, к концу войны, к орденам, к шумихе газет, к вековым монументам на бульварах Парижа, Лондона, к величественно-крутому подъему ценности банковских акций...

Все, что с огромным трудом и при больших потерях людьми было исправлено и восстановлено на передовых редутах за ночь, в течение первых же часов утром 26 мая было вновь развалено, разрушено, искалечено, взорвано. Раненых было так много, что почти половина гарнизона Корабельной стороны занята была их уборкой и переноской на перевязочный пункт, расположенный в Доковой балке.

На предварительном, собранном Пелисье, военном совете, на который приглашены были из французских генералов: Боске, Ниэль, Бере, Лебеф, Далем, Фроссар, Мартенпре и Трошю, а из английских: Эри, Гарри Джонс и Дакрес, высказывались разные мнения о часе штурма. Многие

¹ Мерлон—часть бруствера или крепостного вала между двумя амбраурами.

склонялись к тому, чтобы идти на штурм, когда совершенно стемнеет, но возобладало в конце концов мнение самого Пелисье: «Засветлю податься и тотчас потом утвердиться на занятых укреплениях».

Это «засветло» приурочено было к шести часам вечера 7 июня (26 мая), почему и канонаду, рассчитанную на двадцать семь часов, начали в три пополудни 25 мая (6 июня): у Пелисье был явно математический склад ума.

Однако не лишен был математических способностей и начальник всей Корабельной стороны генерал-лейтенант Жабокрицкий. Он отлично знал, что весь вообще гарнизон Севастополя был гораздо слабее численно одного этого корпуса Боске, атакующего Корабельную, причем две трети гарнизона приходилось на Городскую сторону, у него же, у Жабокрицкого, на пространстве в четыре версты было разбросано на третьем бастионе, на Малаховом, на передовых редутах и в резерве—на слободке и в балках—всего только около двенадцати тысяч человек. Это число солдат и матросов значительно убавила бомбардировка, а у тех, кто во время боя находится в тылу, потери большей частью двоятся в глазах.

Уже к полудню Жабокрицкому стало казаться, что все погубило, так как он получил донесение, что неприятельские войска собираются на своих плацдармах и в траншеях, очевидно, готовясь к штурму. Между тем на третьем бастионе уже половина орудий не имела возможности стрелять вследствие обрушенных амбразур; большие опустошения были и на Малаховом.

Начальник Малахова кургана и всего четвертого отделения Юрковский, видя, что ничего не делается, чтобы собрать войска для отражения уже очевидного и в самом скором времени штурма, сам обратился к Жабокрицкому с напоминанием, что надо усилить хотя бы гарнизоны передовых редутов, где была всего горсть бойцов, но Жабокрицкий предпочел другое. Сказавшись больным, по никому не передав команды, он уехал,—проще говоря, притом его же словами, «бежал, как сукин-рассукин сын», с Корабельной на Северную, глубоко запрятав в карман брюк грозный свой пистолет.

И в то время, как Боске объезжал свои батальоны, каждому указывая точное место его штурма,—он сосредоточил две дивизии против одного Камчатского люнета и две других против обоих редутов и Забалканской батареи, а дивизию турок поставил в резерв,—в то время как сам Пелисье,—это было после четырех часов дня,—приехал к войскам, чтобы воодушевить их своим присутствием, хотя усиленная порция рому и без того придавала много мужества солдатам,—в это время атакуемая сторона оставалась совсем без командира, никто не знал тут, кого слушать и что надо

делать, и на страже Камчатки стояло всего только триста человек Полтавского полка, а на обоих редутах четыреста пятьдесят Муромского.

Когда до Горчакова дошло, что Жабокрицкий «заболел» и оставил свой пост, он перевел Хрулева с Городской стороны на его место, и Хрулев тут же поскакал на Корабельную, а в одно время с ним туда же направился и Нахимов; но появились там они оба всего за несколько минут до начала штурма, и Хрулеву не удалось сделать никаких распоряжений, кроме как направить два дивизиона легких орудий, попавшихся ему на площади Корабельной слободки к мостину через Килен-балку, за которой находились Волынский и Селенгинский редуты и Забалканская батарея. Зачем именно туда направил он дивизионы, он не успел объяснить: колонны французов двинулись на штурм Камчатки, и он поскакал туда.

4

Нахимов был уже там.

Он слез со своего серого маляка и не спеша обходил укрепление, удивляясь тому, какой слабенький, точно в злую шутку, точно в язвительную насмешку, гарнизон был поставлен тут, на самом ответственном месте.

Но вот взвились там, у противника, одна за другой три ракеты: это Пелисье приказал дать сигнал начала штурма,—потом поднялась усиленная пальба с неприятельских батарей, и, наконец, матрос-сигнальный с разбитого бруствера закричал с искаженным лицом прямо в лицо Нахимову:

— Штурм! Штурм!

Нахимов бросился к нему сам и выдвинулся над бруствером вполнину своего роста: действительно шли французы.

Это была дивизия генерала Каму; она подходила к люнету гимнастическим шагом, разделившись на три колонны: средняя—для штурма в лоб и две других—для охвата люнета слева и справа.

— Тревогу! Тревогу бить!.. Барабанишки! Тревогу!—закричал Нахимов, соскакивая с бруствера.

Загорелый и рябой, с голубой проседью в бакенбардах низенький барабанщик, выступив из рядов, мгновенно поправил колесо-фуражку, чтобы стояла геройски, перетянул ремень барабана,—и засверкала «тревога», тут же подхваченная и отчетливым барабанным боем и заливыстыми рожками горнистов по всей линии укреплений и в резерве на Корабельной слободке.

Всем стоявшим в резерве известно было, что надобно делать по тревоге; артиллерийские лошади были объамуниты, ожидая по своим конюшням, прислуга тут же под навесами дворов вполне готова запрягать орудия и двигаться в заранее данном направлении,—тревога никого не застала врасплох. Хотя французские батареи и открыли как

раз в это время усиленную пальбу именно по резервам, все-таки легкие полевые орудия на рысях двинулись отсюда к Корниловскому бастиону, между тем как осадные орудия, снятые с кораблей и стоявшие еще на бруствере Камчатки, матросы действительно заклепывали ершами.

Это был приказ самого Нахимова, видевшего полную невозможность отстоять люнет с тремястами солдат против двадцати батальонов французов: за дивизией Каму видна была в резерве другая дивизия—генерала Брюне, а кроме нее несколько рот гвардейцев...

Все эти силы развертывались хотя и быстрыми темпами, но совершенно свободно, как на учении, чувствуя себя в полнейшей безопасности. Русская артиллерия была уже приведена к молчанию, и даже пороховой дым на люнете успел рассеяться, и под косыми желтыми лучами клонившегося к закату солнца развалины укреплений, казалось, только и ждали, чтобы французы пришли и заняли их без всякого боя.

Однако же бой все-таки начался, чуть только передовые части средней колонны французов добрались до бруствера.

Полтавцы успели дать всего лишь один залп из своих ружей, и только один выстрел картечью сделала малокалиберная пушка, оказавшаяся неподбитой; но не того, видимо, ожидали французы. Замечено было, что в их передних рядах иные бежали с завязанными глазами: не всем помогла усиленная порция рому,—картечь пугала.

Ров не задержал штурмующих,—он был уже засыпан фашинами, турами, мешками с землей: в него свалилась большая половина насыпи, разбитой бомбардировкой... И вот на бруствере между жидкими рядами полтавцев, бывших в своих белых рубахах, засинели французские мундиры; скрестились штыки.

Бой был короткий,—не могли долго сопротивляться триста спартанцев¹ Полтавского полка целой бригаде французов,—но это был очень ожесточенный бой.

Пронизанный несколькими штыками сразу, упал майор Щепетинников, командовавший полтавцами. Тяжело ранены или убиты были все остальные офицеры в самом начале схватки. Солдаты же хотя и отступали по направлению Малахова кургана, но так медленно, что французы, обгоняя их, толпами бежали впереди их туда же, к Малахову, к своей заветной цели.

Даже и сам Нахимов, стоявший перед ними во всем великолепии адмиральской формы, в белой

фуражке, в густых золотых эполетах и с большим белым крестом на шее не остановил на себе их должного внимания, до того стремителен был их разбег.

За него, правда, схватились было трое егерей, чтобы тащить его в плен, но около него, кроме верхового казака, державшего в поводу серого маштачка, случился Лукьян Подгрушный, жених Даши, с банником в руках. Этот черный банник как-то непостижимо быстро заметался вдруг около Нахимова, и Павел Степанович увидел, что державшие его французы упали, а дюжие матросские руки, схватив его поперек в пояснице, подсаживают его в седло.

Оттягивая к себе остатки отступавших полтавцев и матросов, неторопливо двигался Нахимов, теперь уже сидевший верхом на своем сером, несколько в сторону от Малахова. Французы с криками пробегали мимо знаменитого русского адмирала, так как Малахов курган казался им гораздо более заманчивой, а главное вполне уже доступной добычей, адмирал же все равно не мог бы миновать их плена в случае захвата ими ключа севастопольских укреплений.

Стараниями Жабокрицкого курган действительно оставлен был почти без гарнизона. Там стояли только матросы у орудий, а в прикрытии всего один, очень слабый численно, батальон Владимирского полка.

Скакавший было впереди резерва на Камчатку Хрулев увидел, что там уже сплошь синеют мундиры французов, и поворотил назад, к Малахову, который был под ударом; и этот быстро проведенный маневр спас Корниловский бастион в самые опасные для него минуты, так как, кроме средней колонны дивизии Каму, сюда же устремились и левая и правая, обогнувшие Камчатку.

Резерв русский, правда, был очень мал сравнительно с двадцатью батальонами французов, но он бежал на помощь гарнизону и поднимал его силы.

Вот когда пригодились многим полупьяным егерям в синих мундирах повязки на глазах, позволившие им видеть только то, что было у них под ногами; однако они помогли им только добежать до рва перед валом: самый частый встречный огонь открыли по ним матросы, посылая в их ряды картечь за картечью из всех боеспособных мелких орудий, и этой убийственной картечи не выдержали французы.

Только около согни их, заскочив в ров, притались в нем совершенно незамеченные защитниками бастиона; остальные остановились, теряя много убитых и раненых, наконец, отхлынули, заполнив собою волчьи ямы, воронки от снарядов, глубокие рвы каменоломен, и открыли отсюда ружейную пальбу по всему на бастионе, что могло быть обстреляно. Этот град пуль, сыпавшийся на защитников Малахова, стоил любой картечи, однако

¹ *Спартанцы*—граждане древнегреческого государства Спарты или Лакедемона (X по II в. до н. э.); в 480 г. до н. э., во время войны греков с персами, триста спартанцев во главе с Леонидом пали, защищая Фермопилы, узкий проход из Фессалии (северная Греция) в среднюю Грецию.

большая удача севастопольцев была в том, что первый и самый стремительный натиск превосходящих сил противника на их твердыню был отбит и что при этом уцелел Нахимов.

Между Малаховым и вторым бастионом остановил Нахимов отступавших с Камчатки: беглым шагом подходил сюда из резерва свежий бастион владимирцев, и за ними виден был белый конь Хрулева впереди целой колонны, спешившей подпереть Малахов. Это были два батальона Забалканского полка и батальон суздальцев.

Рыжая пыль, поднятая солдатскими сапогами, полускрывала задние роты, Малахов же был весь в дыму и от пальбы из своих орудий и от разрывов французских бомб на нем, а перепутье между Малаховым и Камчаткой затянуто было кисеей ружейного дыма: засевшие в ямах и каменоломнях зуавы неутомимо стреляли по амбразурам Малахова, дожидаясь своих батальонов, которые должны были двинуться с Зеленого Холма сюда на штурм.

Но они не двинулись, потому что Хрулев, дав своим забалканцам и суздальцам не больше как десятиминутный отдых, повел их вперед отбивать Камчатку.

Другой батальон суздальцев и два батальона полтавцев, подоспевшие к этому времени на Малахов по тревоге, были направлены Хрулевым в широкий промежуток между Камчаткой и Киленбалкой, и все эти шесть батальонов шли, штыки наперевес, в сомкнутых колоннах, как обычно ходили русские части в атаку.

Было еще светло. Выполняя приказ генерала Пелисье «засветло подрасться, чтобы ночью утвердиться в занятых укреплениях», зуавы, засевшие в каменоломнях, встретили русских залпами, но были выбиты и бежали.

Ряды французов уплотнялись и густели, чем ближе подходили хрулевские батальоны к люнету; ряды русских редели от штуцерного огня, и штыковой бой на развалинах Камчатки был упорный: алжирские стрелки не хотели сдавать Зеленого Холма, но все-таки были выбиты и отступили. Семь офицеров их и свыше трехсот солдат были взяты здесь в плен забалканцами.

Но пленных надо было отправлять в тыл, также и многочисленных раненых; между тем, хотя наступали уже сумерки, все-таки было еще достаточно светло, чтобы артиллерия французов могла открыть жестокий обстрел люнета из прицельных орудий.

Хрулев поскакал к своей второй колонне. Там тоже был успех, там оттеснили правую колонну дивизии Каму и заняли вновь потерянные было контрпроши.

Но убыль людей была велика, и дивизия Брюне шла на помощь дивизии Каму, тогда как не подходили новые свежие части поддержать ослабевшие русские батальоны. Хрулев послал еще с Мала-

хова на Городскую сторону за подкреплением, но знал, конечно, что если оно и будет послано, то явится поздно, вечером... Он отдал приказ не отступать, держаться, а сам кишулся к редутам, тоже атакованным в это время, но держаться было уж невозможно.

Отступали медленно, однако французские бригады наседали неотвязно, и бывшие на Малаховом Нахимов и Тотлебен уже готовились к отбитию штурма, который казался неизбежным. В их распоряжении было два батальона; они расставили людей по банкетам, артиллерия же по их приказу открыла усиленный обстрел снова занятого густыми массами французов люнета.

Но идти на штурм кургана не решились французские генералы. На полпути между горжей люнета и рвом Малахова они остановили своих солдат. И только теперь, осмотревшись, заметили защитники Малахова у себя под боком, во рву, заскочивших туда и притаившихся там на дне зуавов, оставшихся от первой атаки. Все они, конечно, попали в плен.

5

Волынский и Селенгинский редуты охранялись каждый только двумя ротами Муромского полка, по сто человек в роте, а на них шла целая дивизия генерала Мейрана, имевшая в резерве дивизию Дюлака,—всего восемнадцать тысяч штыков.

Обе бригады Мейрана подошли к редутам как можно ближе к дну Киленбалки, и когда выскочили для штурма, встречены были только несколькими ружейными выстрелами: не было уж на брустверах ни одного орудия, способного стрелять, а укрепления, развороченные только что стихшею бомбардировкой, были завалены убитыми и ранеными.

Муромцы пытались сопротивляться, но были задавлены великим многолюдством врага; им оставалось только, чтобы не сдаваться в плен с оружием в руках, поспешно ломать подборам сапог приклады своих ружей, а матросы спешили заклепать дула орудий, хотя и валявшихся уже на земле, как бревна.

В два часа дня здесь был Нахимов, и хотя пальба со стороны противника была тогда особенно сильной, он все-таки привычно спокойно обошел все укрепление с одного конца до другого и здоровался с матросами, многим из которых даже и тогда приходилось уже оставаться не у дел около своих пушек, приведенных в негодность.

Так кивнул он головой, проходя, старому матросу Бондарчуку, крикнув при этом:

— Что, Бондарчук, жарко?

— Шпарят, Павел Степаныч!—радостно, точно и в самом деле была радость в том, что «шпарят» французы, ответил Бондарчук и долго еще улы-



бался он в начинавшие седеть усы, провожая взглядом адмирала.

Через час после того, как уехал с редута Нахимов, Бондарчук был ранен осколком в ногу. Он чувствовал, что кость была перебита, так как подняться с земли он не мог, нога же—правая—вывернулась как-то совсем не так, как полагалось бы, и допекала сильная боль. Ранило его шагах в пяти от порохового погреба, куда он пошел было за снарядами. Его не отправляли на перевязочный, как и других раненых около него, дожидаясь сумерек, и он понимал, что не с кем было его отправить, что очень мало остается гарнизона на редуте.

Снаряды неприятельские продолжали рваться кругом; совсем рядом упали одно за другим три ядра, и Бондарчук, не только не теряя сознания от боли в ноге, но напротив стараясь держаться хотя и лежа на земле, да браво, все думал о погребе, в который мог попасть большой снаряд, и тогда конец редуту.

Так долежал он до минуты штурма.

Вот вместо пальбы зашумело, затопало, залягало штык о штык, и зуавы в своих чудных синих коротких куртках, расшитых шнурками, в красных чалмах и фесках и с черными, как смоль, козыми бородками, во множестве запестрели перед глазами.

Притворившись убитым, Бондарчук смотрел сквозь полузакрытые веки. На него наступали

пробежавшие мимо зуавы,—он терпел, не вскрикивая даже и тогда, когда придавливали переломленную ногу.

Еще раньше, чтобы не было жарко голове, он, подтягиваясь на руках, дополз до самых дверей порохового погреба и спрятал голову в тень от навеса над ними. Теперь, как только большая часть напавших на редут продвинулась дальше, а другие около занялись обшариванием блиндажей, Бондарчук нажал головою на дверь погреба и стал проворно протискиваться внутрь.

Он обдумал, что надобно было сделать. Он принялся выбивать из кремня кресалом искру, чтобы запалить трут и взорвать потом весь погреб, чтобы взлетела на воздух вместе с редутом вся эта орда в чалмах и фесках.

Но зуавы заметили открытую дверь в погреб, которую не мог он закрыть за собою. Они ворвались туда толпой. Они поняли, что он хотел сделать и чем это им грозило. Курившийся трут—оранжевый толстый шнурок, прикрученный к трубке, и кремень, и кресало—все это тут же было вырвано из его рук; потом и самого его выволокли наружу.

Доложили о нем своему офицеру. Офицер-зуав не стал разбирать этого дела: некогда было и не зачем,—дело было ясное. Он только сделал кистью руки ныряющий жест и отвернулся. Двое зуавов бросились на Бондарчука со штыками.

Бондарчук кричал:

— Позди, проклятые! Вот Нахимов приведет войска!..

И, умирая, он мог слышать отдаленное родное «ура», но это не Нахимов шел с большими войсками отбивать Волинский редут, это на помощь своему первому батальону бежал из ближайшего резерва второй батальон муромцев.

Неравенство сил, однако, было чрезмерно: второй батальон как бы утонул в бригаде зуавов, хотя и рьяно отбивался во все стороны штыками. Выручать его спешили остальные два батальона, стоявшие в дальнем резерве, в Ушаковой балке. Но едва только перебежали они по плувучему мосту через Килен-бухту и кинулись в штыки, как им в тыл зашли посланные раньше по Килен-балке два батальона французов.

Окруженные со всех сторон, муромцы едва пробились назад; они потеряли убитыми, ранеными, пленными больше половины полка.

Волинский редут, как и Селенгинский, остался в руках французов, но победители погнались за муромцами, которые прежней дорогой через мост отступили к первому бастиону. Однако дорого обошлось им это увлечение.

Артиллерийский генерал, тем более хорошо изучивший местность впереди Корабельной, Хрулев не зря поставил два дивизиона легких орудий,—четыре пушки и четыре единорога, с двумя рядами зарядных ящиков,—на левом берегу Килен-балки против плувучего моста и арки водопровода, которая тоже служила мостом через балку.

На плечах муромцев французы уже показались большими силами перед обоими мостами; от их частых выстрелов падали в воду и в балку с мостов толпившиеся на них русские солдаты; французам оставалось только перебежать по мостам на левый берег, занять и первый и второй бастионы, совсем не имевшие прикрытий, и отсюда выйти в тыл Малахову кургану и захватить его.

Не нужно было ни Пелисье, ни Боске быть большими стратегами, чтобы притти к такому плану действий,—он сам просился в их руки: лобовая атака Малахова со стороны Камчатки, фланговая с заходом в тыл—со стороны Волинского и Селенгинского редутов и Забалканской батареи, попутно тоже взятой дивизией Мейрана.

Однако случилось то, чего не предвидели ни Пелисье, ни Боске, ни Мейран: поднялась навстречу стремившимся вперед зуавам оживленная пальба картечью; четыре орудия били по плувучему мосту и выше его по взгорью, четыре—по каменному и по скоплению французов над ним, на берегу Килен-балки.

Эти маленькне, но лихие шестифунтовые пушки и полупудовые единороги полтора часа стояли на страже не только двух бастионов, но и всей Корабельной стороны: они остановили напор французов, понесших много потерь от их огня точно

так же, как Хрулев своей контратакой от Малахова отбил у генерала Каму охоту взять Корниловский бастион штурмом; наконец, они выручили и остатки Муромского полка, к которому на помощь подошли с Городской стороны два батальона забалканцев и батальон полтавцев под общей командой подполковника князя Урусова, ехавшего впереди них в белом кителе и белой фуражке на огромном, какие были в те времена только у кавалергардов, вороном коне.

Десятки тысяч штуцерных пуль выпущены были французами по батареям, их поражавшим, но и орудия и упряжки были так хорошо укрыты местностью, что ни прислуга, ни лошади не пострадали. Зато новые залпы французов, упорно державшихся на правом берегу Килен-балки, нашли себе много жертв в рядах подходившей к мостам пехоты.

— Ребята, вперед!—подняв саблю, прокричал генерал Тимофеев, начальник пятого участка оборонительной линии, оттиснутый с Забалканской батареи вместе с муромцами, но теперь, с приходом трех свежих батальонов, воспрянувший духом.

Он был так же верхом, как и Урусов. Подавленный тем, что весь его участок,—и Камчатка, и оба редута,—так быстро и так, казалось бы, безнадежно потеряны, может быть, по какой-нибудь его оплошности, он—пожилой генерал,—с горячностью прапорщика вырвавшись вперед, вскачь пустил коня па мост, но на середине моста свалился с седла набок и повис, смертельно раненный в голову.

Но за ним бросились яростно полтавцы, а на другой мост направились забалканцы, и на том берегу Килен-балки, на взгорье, завязался упорный штыковой бой.

Французов было больше, их окрылял задор победителей, позиция их для штыковой схватки была очень выгодная,—и все-таки они побежали.

Забалканская батарея была отбита, и даже наступившая в это время темнота, сулившая удачу французам, не подвинула их на штурм этого лысого холмика, сплошь заваленного трупами.

6

Боевой третий бастион, откуда так часто делались вылазки в английские траншеи, сильно пострадал от жестокой бомбардировки этого памятного дня, его огонь был потушен почти наполовину: амбразуры завалены, лафеты подбиты, платформы встали дыбом...

И, однако, впереди бастиона, в ложементах, весь этот день пролежала рота Камчатского полка, подкрепленная двумя десятками штуцерных, ведя перестрелку с английскими фузелерами.

Конечно, нельзя было и думать, чтобы такая огромная трата тяжелых снарядов с английских батарей,—до пятнадцати тысяч за двадцать семь

часов,—была предпринята только для поддержки штурма со стороны французов на пятый участок. И, однако, в прикрытии обширного третьего бастиона были только три слабого состава роты того же Камчатского полка с батальонным командиром майором Хоменко.

Иеромонах Иоанникий провел весь этот ошеломляющий день на бастионе, где начальником артиллерии был капитан 1-го ранга Лев Иванович Будищев, который очень нравился ему тем, что был образцовый собутыльник, остряк и знаток духовного пения. Впрочем, в светском пении он был еще больше силен, этот приземистый, несколько косолапый, кудлатый, рыжий, с маленькими глазами человек, похожий на сатира¹, как изображается он на древнегреческих статуэтках.

У Будищева в блиндаже часто собирались гости, играли с хозяином в шахматы, причем победить его никто не мог, пили, а чтобы доставить гостям развлечение в тихие часы, он приказывал открывать пальбу из единственной дальнобойной пушки, уверяя всех, что она хватает в самый город Камыш. Английские батареи открывали ответную пальбу, и случалось, что не одно ядро попадало в крышу блиндажа хозяина или бомба разрывалась около дверей. Это смущало гостей, но зато веселило самого Будищева, который не раз командовал крупными вылазками,—однажды был ранен, потом контужен, но поправлялся быстро и появлялся на третьем бастионе снова такой же, как всегда,—с узенькими глазками веселого сатира, с косолапой несколько походкой, распорядительный и спокойный и всегда непрочь подшутить над своими гостями.

На банкете за мерлоном, то есть в промежутке между двумя орудиями на бруствере, стояли втроем: Будищев, Иоанникий и майор Хоменко—раздавшийся вширь и сутуловатый, однако высокий человек, сырой, с черными густыми бровями, усами, как брови, и мясистым носом, разделенным складкой между ноздрей на две неравные половины.

Их соединила тревога, только что пробитая барабанными на всей линии укреплений Корабельной стороны и на третьем бастионе с его редутами.

— Штурм? Что? Где?—кричал Будищев вверх сигнальщику.

Сигнальщик замешкался с ответом, отыскивая в подозрительную трубу, где штурмуют, и Будищев сам полез к нему, по мешкам на бруствер.

— Камчатка!—сказал ему сигнальный матрос, передавая трубу.

— Камчатка!—подтвердил Будищев, увидев и сам множество французов на руинах вала люнета и поэтому сразу почуяв недоброе.

Однако тех же французских солдат на Зеленом Холме—Кривой Пятке—увидел и английский полковник Ширлей, который во главе четырехсот отборных людей из двух армейских дивизий и гвардейских стрелков стоял наготове для атаки ложементов перед третьим бастионом.

В резерве у него было шестьсот, кроме того около тысячи рабочих, которые должны были перевернуть в сторону Большого реданта ложементы, когда они будут взяты.

Появление на Камчатке французов было условным знаком для Ширлея начать штурм, и когда Будищев увидел красные мундиры впереди бастиона, он проворно спустился и закричал Хоменке: — Идут, идут! Англы!.. Стройте роты!

Он не потерял присущего ему спокойствия и теперь,—он сделался только гораздо деловитее, чем обычно. Перед ним была явная, видимая цель, в которую, к сожалению, нельзя было брызнуть частой картечью: в ложементах началась свалка.

Свалка эта, впрочем, продолжительной быть не могла. Один против четверых, смертельно утомленные за день в дыму и под визгом и шипом снарядов над головой, частью раненные или контуженные мелкими камнями из хрящеватых насыпей ложементов,—долго ли могли сопротивляться камчатцы свежим отборным английским солдатам?

Вот они уже бежали к валу бастиона—жалкие остатки роты, не больше взвода на-глаз... Картечь остановила зарвавшихся англичан и выбила их из ям перед бастионом, где им хотелось удержаться. Но ложементы были все-таки заняты! Отбивать ложементы повел три роты камчатцев сам Будищев.

— А я вам говорю, батюшка, останьтесь!—в последний раз останавливая шагавшего с ним рядом Иоанникия, кричал Хоменко с оторопью в густых черных бровях.

— Я чтобы остался?—перекрикивал его Иоанникий.—Ни в коем случае!

— За мпо-ой, ура-а-а!—закричал он потрясая и забежал вперед Будищева, спотыкавшегося, задевая косолапыми ногами то за трупы, то за ядра, то за камни.

Но не сделал и пяти шагов, как упал с размаху наземь: пуля прохватила ему голень.

— Э-эх! Ведь говорил я вам!—успел на ходу бросить ему Хоменко, но тут же упал и сам, убитый наповал: английские фузелеры встречали двигавшихся выбивать их русских метким огнем, да и расстояние было небольшое, а Хоменко был очень замечен.

Однако «ура» подхватили уже солдаты и ринулись вперед, опережая Будищева.

Не один уже раз ходившие в штыки, они и на бегу старались держать плотный фронт, привычно обегая падавших из их рядов и смыкаясь снова локоть к локтю. Рослые и крепкие английские стрелки не устояли под их натиском и повернули

¹ Сатиры—полевые и лесные божества древних греков и римлян, с козлиными ногами и плоскими носами.

к своим траншеям, и хотя очень поредели за эти несколько минут ряды камчатцев, но ложементы были очищены. С короткой полусаблей в руке, с потным крутым лбом, выпирающим из-под сдвинутой по-нахимовски на затылок белой фуражки, Будищев делал широкие жесты и кричал, рассовывая солдат за прикрытие, а в это время помощник Ширлея, инженер-полковник Тильден, повел в атаку на русских шестисотенный резерв.

Этого совсем не ожидал Будищев: по довольно скромному началу дела он и не мог думать, что замыслы Раглана шли гораздо дальше контр-апрошей, что весь третий бастион представлялся уже в середине этого дня английской главной квартире легкой добычей после всесокрушающей канонады и при совершенно ничтожном гарнизоне: это последнее известно было там от дезертиров-поляков.

Английский резерв увлек за собою и отступавших; силы оказались больше чем тройные против камчатцев, отбивавшихся штыками, но павшихся назад.

Вместе со всеми пятился и Будищев, размахивая своей полусаблей и стараясь в то же время не наткнуться на козырек ложемента и не упасть; но на него кинулся какой-то краснорожий, красноmundирный гигант и выбил из его рук полусаблю прикладом. Он же и потащил его в сторону, в плен, схватив, как клещами, за шиворот...

— Ваше благородие! Примите начальство над командой нашей!—обратился в это время на бастионе к подпоручику-санеру Бородатову матрос Кошка.

— Какая команда? Где?..

Бородатов оглянулся,—действительно стояла команда человек в шестьдесят на-глаз; в ней были и матросы, и хрулевские пластуны, и саперы...

— Не могу без приказа начальства,—сказал было Бородатов, но Кошка почти выкрикнул, глядя на него сурово:

— Неустойка у пехоты наших: гонюት—глядите!

Бородатов прильнул к амбразуре, повернулся тут же, махнул рукой вверх команде, собравшейся самочинно, и пошел торжественным шагом,—худой еще после госпиталя и бледный, но с загоревшимися внезапно глазами,—к калитке бастиона, команда за ним,—небольшая, но добровольная,—но идущая выручать своих.

И, кинувшись в свалку, эта команда сделала много. Она ударила стремительно; она показалась отступавшим камчатцам огромной подмогой, чуть что не целым полком; камчатцы уперлись на месте, а через момент уже рванулись вперед, подхватывая «ура», и англичане начали так поспешно отступать, что Бородатов вместе с десятком бывших около него саперов и пластунов догнал гиганта, тащившего Будищева, и тот, бросив свою

добычу, метнулся в сторону, готовя на бегу для стрельбы штуцер... Прошел момент замешательства у англичан; они начали снова нажимать на камчатцев здесь и там...

— Отступать, отступать, братцы!—кричал Будищев, оглядываясь на бастион и не видя оттуда никакой больше поддержки.

Он был без фуражки,—рыжий, кудлатый, кочелобый,—но, только что вырванный из плена, снова чувствовал себя командиром отряда.

Отряд отступал, отстреливаясь и отбиваясь штыками, не зная того, что на бастион прибыл из города однобательный Волынский полк,—всего около пятисот штыков.

Правда, было уже не рано,—смеркалось.

Удар волынцев не только спас остатки отряда Будищева,—он заставил англичан вторично очистить русские ложементы, и полковнику Ширлею пришлось ввести в дело всех своих рабочих,—до тысячи человек,—чтобы заставить, наконец, этот лихой народ, потерявший при атаке почти всех своих офицеров, попятиться к бастиону.

Темнота прекратила бой. Ложементы перешли в руки англичан, но Большой редант, близкое обладание которым сладко грезилось Раглану, остался попрежнему недоступным и мощным: в эту ночь все подбитые орудия на нем были заменены новыми, так же как и на Малаховом кургане.

7

Все-таки ночь эта здесь, около «Трех отроков», была ночью большой путаницы и неясностей, но зато быстро была она приведена в ясность там, в штабе Горчакова: как известно, и высокие здания и крупные события кажутся всегда видней и отчетливей именно издали.

Здесь, на Малаховом, где съехались в наступившей темноте Тотлебен, Нахимов и Хрулев, царил час или два уверенность, что редуты Селенгинский и Волынский отбиты у французов обратно. Об этом, даже по форме приложив руку к папахе, доложил Нахимову, как помощнику начальника гарнизона, Хрулев, когда только что вернулся с Забалканской батареей.

Так как вместе с темнотою упала на все обширное поле жестокого боя и тишина, и не только обычной оружейной, даже и ружейной перестрелки не было слышно, то первым усомнился в том, что доложил Хрулев Нахимову, хлопотавший около рабочих на Корниловском бастионе Тотлебен.

— Прошу очень меня извинить, Стефан Александрович,—обратился он к Хрулеву,—но если мы выбили французов из обоих редутов, то почему же там может быть тихо, а? Ведь они должны, стало быть, опять атаковать редут,—почему же не атакуют?

— Потому что наклали им,—чешут бока,— вот почему!—энергично отвечал Хрулев.—А наша обязанность теперь отбить еще и Камчатку... Отдали, а-а!—почти простонал он возмущенно и скорбно, сделав при этом выпад в темноту кулаками.—Ну, что же, когда совсем не на кого было оставить Камчатку, когда я уезжал на Селенгинский! Не на кого,—буквально, буквально так, Эдуард Иванович, как я вам говорю это!.. Ни одного не только штаб-офицера, даже и прапорщика в целом и живом виде! Ищу, кричу и не вижу!.. Кинулись ординарцы искать кого-нибудь,—повезло было им: нераненый подполковник Венцель передо мною! Я к нему обрадованный: «Примите немедленно команду над гарнизоном укрепления!»—Он: «Слушаю...»—А тут вдруг рвется проклятая граната около,—и Венцель мой уже лежит на земле,—из рта кровь... Не знаю, что с ним потом,—время не ждало, надо было ехать,—пришлось своих ординарцев,—мичмана Зарубина, прапорщика Сикорского,—оставить за командиров... Но какие же это командиры, посудите? Когда им приходилось быть командирами?.. Вот и... Ну, что поделаешь! Хорошо, что хоть редуты стали опять наши, а Камчатку отобьем,—дай только подойдет еще народу из города!

— Теперь, поди-ка, они уж там укрепляются,—сказал неопределенно Нахимов.—Так что пока мы соберемся...

— Много сделать все равно не успеют, Павел Степанович! Лишь бы только до утра не оставлять в их руках,—горячо отозвался на это Хрулев, а Тотлебен покачал головой:

— Большие потери будут... И даже едва ли получим мы разрешение на это от князя.

— Зачем же нам просить разрешение, когда бой еще не кончился?—так и вскинулся Хрулев.

— Кончился, мне так кажется, Стефан Александрович, иначе почему же так тихо? Вы кого оставили на редутах?

— Подполковника Урусова я оставил командиром и Забалканской батареи и обоих редутов. Он же мне и доложил, что редуты отбиты.

— Он доложил,—вот видите! А вы лично, значит так, не были на редутах?

— Не мог попасть. Видел только, что там уже были французы.

— Это и мы видели отсюда,—сказал Нахимов.

— Да, но, позвольте доложить, когда я прикасал ко второму бастиону, показались эриванцы, два батальона,—вел подполковник Краевский. Его я направил через мост поддержать на Забалканской батарее князя Урусова. Тут у него жаркое дело было с французами,—это я видел,—однако эриванцы французов погнало и к Забалканской вышли,—это я видел своими глазами... А потом туда же пошел и Кременчугский полк, четыре батальона...

— А-а, да, с такой поддержкой, пожалуй, могли быть взяты редуты,—согласился было Тотлебен, но Хрулев отозвался досадливо:

— Я получил ясное донесение об этом! Как же так не взяты?

— Во всяком случае, э-э, по Камчатке надо открыть огонь, чтобы там не работали,—сказал на это Нахимов; Тотлебен же добавил:

— Вопрос с редутами для меня все-таки, прошу прощения, Стефан Александрович, не совсем ясен. Между тем это есть очень важный вопрос. Может статься, что придется открыть огонь и по редутам тоже.

— Вот видите,—вы, значит, мне не верите, что ли?—возмущенно вскрикнул Хрулев.

Тотлебен взял его примирительно под локоть:

— Стефан Александрович, вам я верю! Вам я не смею не верить,—боже меня сохрани! Но донесение, донесение, какое вы получили касательно редутов,—это, это нуждается в проверке.

— Хорошо, можно послать туда офицера,—сказал Хрулев.

— Э, так уж и быть, я лучше сделаю, если сам поеду,—возразил Тотлебен.—Ведь если обнаружится, что редуты уже не наши,—допустим это на минуту только,—то зачем же тогда итти отбивать люнет? Разве можно будет в нем удержаться, когда будут фланкировать нас с редутов.

— Редуты взяты нами!—ударил себя в грудь Хрулев.

— Тем для нас лучше... Мне надобно их проведать,—наладить там работу,—мягко, но упрямо сказал Тотлебен и, взяв с собой ординарца—казака-урядника, направился к редутам, но не пошел недавнего сражения, а вдоль линии укреплений.

Добравшись до первого бастиона, который не слишком пострадал от канонады, но требовал, как и соседний второй, больших работ, чтобы его усилить, если только пали редуты, Тотлебен повернул к мосту через Кilen-балку. Навстречу ему непрерывно двигались солдаты с носилками,—несли раненых.

Носилок, однако, не хватало,—тащили раненых и на ружьях, покрытых шинелями, переругиваясь на ходу хриплыми голосами, так как поминутно спотыкались в темноте на тела убитых. Около моста было особенно много этих тел,—они лежали грудами по обе стороны моста, оттащенные сюда с дороги.

— Эй, братцы! Вы какого полка?—остановил Тотлебен лошадь перед идущими с носилками, на которых слабо стонал раненый.

— Эриванского, ваше всок...—устало ответил один из передней пары.

— Откуда идете?

— А отсюда, с редута, ваше...

— С редута? С какого именно?

— Кто же его знает, как его имечко, ваше...— Солдат пригляделся и добавил:— Нам ведь не говорили, ваше пресходитс...

— Значит, Во-лын-ский редут наш теперь и Селен-гинский тоже?—отчетливо и раздельно спросил Тотлебен.

— Известно наши, ваше пресходитс...—уже совсем бравым тоном ответил солдат, но Тотлебен, чтобы окончательно уяснить себе это, счел нужным спросить еще:

— Отбиты, значит, вашим полком у французов?

— Так точно-с, отбиты!—громко уже и даже не без гордости за свой полк ответил эриванец, а трое других молчали.

— Ну, молодцы, когда так!—обрадованно сказал Тотлебен.

— Радые страты, ваше присходитство!—гаркнули теперь все четверо, и Тотлебен послал коня дальше, уже не останавливая других встречных.

Но невелики холма, на котором расположена была Забалканская батарея и где заметно было многолюдство, какой-то фельдфебель, судя по начальственному-жирному голосу, отдавал приказание кучке солдат, и Тотлебен задержал около него лошадь.

— Какого полка?—спросил он, слегка нагибаясь к фельдфебелю.

Тот, неметанным глазом окинув его, сразу вытянулся, вздернул к козырьку руку и отчеканил:

— Кременчугского егерского, ваше превосходитс...

— Ага! Хорошо,—Кременчугского... А что редуты—Во-лын-ский и Селен-гинский в наших теперь руках?

— Редуты, так что... не могу знать, ваше превосходитс...

— Не знаешь даже? Как же ты так?—удивился Тотлебен.

— Наш полк до эфтих редутов не дошел, ваше превосходитс...

— Вот тебе раз! А почему же именно он не дошел?

— По причине сильного огня противника, ваше превосходитс...

— Допустим это... Допустим ваш полк не дошел,—но тогда, значит, другой полк дошел, а?

— Не могу знать за другой полк, а только наш Кременчугский пришел с города последний, а других еще после нас не видать было, ваше превосходитс...

Тотлебен вздернул непонимающе плечи и затопил на батарею, чтобы там расспросить того, кто должен знать это лучше, чем фельдфебель и рядовые.

Непроходимый беспорядок нашел он на батарее. Он спросил одного из попавшихся ему офицеров о редутах, тот довольно уверенно ответил, что уда-

лось отбить только эту батарею, редуты же остались за французами.

— А кто здесь командир?—спросил возмущенно Тотлебен.

— Подполковник князь Урусов.

— Где он сейчас?

— Не могу знать, ваше превосходительство.

С трудом удалось найти Урусова.

— Скажите хоть вы, наконец, князь, наши или не наши редуты?

— Какое же может быть сомнение в этом, ваше превосходительство?—как будто даже удивился Урусов такому вопросу.—Разумеется, наши.

— Ну вот, насилу-то я узнал, что надо!—обрадовался Тотлебен.—Но это есть безобразие, должен признаться, что никто у вас тут ничего толком не знает!.. Кто же командиром там, на обоих редутах? Или на каждом из них особый?

— Командиром всего этого закиленбалочного участка назначен генералом Хрулевым я, ваше превосходительство, но командующий Эриванским полком подполковник Краевский подчиняться моим распоряжениям не желает, а командир Кременчугского, полковник Свищевский, старше меня чином и тоже не желает меня знать!—желчно ответил Урусов.

— Хорошо, отлично, но где же они, эти штаб-офицеры—Краевский и Свищевский?—полюбопытствовал Тотлебен.

— Они?.. При своих полках, ваше превосходительство.

— Какой же из двух полков на Во-лын-ском, какой на Селен-гинском редуте?

— Этого я не могу сказать в точности...

— Вот тебе раз! Но ведь вас же, князь, оставил генерал Хрулев за командира всего этого участка?

— Что же я могу сделать, если они этого славного распоряжения не слышали и подчиняться мне не желают?

— Однако нижних чинов Кременчугского полка я встретил сейчас здесь,—вспомнил Тотлебен.

— Да, здесь, около батареи есть, кажется, и кременчугцы и эриванцы, но большая часть этих полков должна быть там, на редутах...

— Боже мой, это, это есть неразрешимая для меня задача!—развел руками Тотлебен.—Но может быть здесь есть кто-нибудь из бывшего гарнизона редутов, а? Комендантом Селен-гинского, например, был лейтенант Скарятин... Он жив, не знаете?

— Лейтенант Скарятин здесь, ваше превосходительство,—по-строевому ответил из темноты около сам лейтенант Скарятин и выдвинулся вперед.

— А-а, ну вот, ну вот, голубчик, вы мне скажете, наконец, кто теперь командиром на нашем редуте и кто на Во-лын-ском?—обрадованно обратился к нему Тотлебен, но Скарятин ответил так же, как многие до него...

— Не могу знать, ваше превосходительство.

— В таком случае сейчас же подите и узнайте и доложите мне!—вспылил Тотлебен.—Чорт знает, какой тут беспорядок!.. Возьмите команду матросов и идите немедленно. Я буду вас ожидать здесь.

— Есть, ваше превосходительство!

Скарятин исчез в темноте, а Тотлебен пошел осматривать укрепление, и первое, что его поразило, были заклепанные ершами орудия,—одно, другое, третье,—все подряд.

— Безобразие! Что же это такое? Это есть полнейший абсурд!—кричал Тотлебен Урусову.—Раз только батарея была занята вами, это был ваш первейший долг приказать расклепать орудия! Или же... или вы намерены были сдать батарею совсем без всякого боя, в случае ежели противник пошел бы на вас в атаку, а?

— Это мой недосмотр, ваше превосходительство,—сконфуженно отвечал Урусов.

— Недосмотр, вы говорите? Это...преступление, а совсем не какой-то там недосмотр!

Не меньше получаса провел на батарее Тотлебен, лично во все вникая и приводя ее в боеспособный вид. Наконец, вернулся Скарятин.

— Из разведки прибыл, ваше превосходительство,—доложил он Тотлебену.

— Ну что? Как? Говорите!

— Приблизившись к редутам, насколько было возможно, я очень ясно слышал там французский разговор в нескольких местах, ваше превосходительство...

— Это... это что же значит?—недоумевал еще Тотлебен.

— Для меня стало ясно, что оба редута заняты французами, ваше превосходительство,—очень отчетливо ответил Скарятин.

8

Главнокомандующий русскими силами, князь Горчаков, был безучастен к штурму «Трех отроков»: он наблюдал его с Северной стороны, пока можно было что-нибудь оттуда видеть. Правда, сам он не видел ничего дальше, чем в десяти шагах, но из чинов его штаба были все-таки зрячие люди, как генералы Коцебу, Сержпутовский, Бутурлин, Ушаков, Липранди,—и в руках у них были зрительные трубы.

То и дело обращался он то к одному из них, то к другому, и ему сказали, наконец, что идут колонны французов, что начался штурм редутов...

— И что же? Что же? Как наши?

— Неизвестно, ваше сиятельство,—отвечали ему политично генералы.—Виден только пороховой дым, и пока ничего больше... Придется подождать эстафеты с телеграфа.

Телеграфная вышка была тут же, на берегу, и поражен был Горчаков известием, полученным

оттуда: «Редуты Волынский и Селенгинский взяты неприятелем».

— Так быстро? Взяты?.. Но ведь это значит совсем без сопротивления? Как же так, а?—бормотал, почти лепетал по-детски Горчаков, поводя очками то в сторону одного, то в сторону другого из своих генералов.

Он искал у них поддержки, сочувствия своему недоверию к эстафете, и в том прошло несколько минут, что каждый из генералов должен был сказать ему что-нибудь успокоительное, тем более что чувствовал он себя плохо весь этот день,—осунулся, был бледен, сторбился, втянул и без того тощую впалую грудь и все жевал по-стариковски губами.

Но вот принесли вторую бумажку с телеграфа. Все кинулись к ней, и Коцебу, как начальник штаба, прочитал громко:

—«Камчатский люнет взят».

— Что же это такое?—почти прошептал Горчаков.—Конец это или... или еще не конец?

Теперь уже никто из генералов не пытался его утешить, все были поражены быстротой действий французов и их успехом и смотрели на вышку телеграфа, ожидая еще чего-то, гораздо горшнего.

Но следующее известие о ходе боя пришло уже обычным путем: его привез один из адъютантов Сакена, переправившийся через Большой рейд. Сакен доносил, что он ожидает общего штурма Севастополя и, хотя у него требуют помощи с Корабельной стороны, больше одного полка туда с Городской стороны отправить не может и просит личных указаний главнокомандующего и войск для отражения штурма города.

Донесение Сакена никаких кривотолков уже не допускало: минута была решительная.

— Только у Петра, у Петра Великого на Пруте было такое положение¹, как у меня сейчас!—бормотал Горчаков.—Ни одна армия в мире не находилась никогда в таком скверном положении!.. А все Меншиков, все он, все он! Это его отвратительнейшее наследство!.. Почему же он во дворце теперь, а не здесь, не здесь, не здесь?..

Он весь дрожал нервнической дрожью. Коцебу вызвался сам поехать в город на помощь Сакену, а Липранди предложил послать один полк из своего шестого корпуса взамен того, который Сакен отправил на Корабельную.

Несколько раз совершенно безнадежно махнув рукой, Горчаков пошел к своей лошади, еле переставляя ноги. Ночью же,—во второй половине,—от него пришел приказ генералу Хрулеву, чтобы не только оставить «безумную затею» отбивать

¹ Армия Петра Великого была во время войны с Турцией в 1711 г. окружена на р. Пруте громадным турецким войском. Так как Польша не оказала Петру обещанной помощи, то ему пришлось заключить невыгодный мир, чтобы спасти свою армию.

редуты у французов, но и Забалканскую батарею очистить, перевезя орудия оттуда на первый и второй бастионы.

Так контр-апрошная система обороны Севастополя, с которой радостный ехал он из Кишинева, заранее торжествуя при мысли, как удобно и просто удастся ему отжать к морю союзников, погибла в нем даже несколько раньше, чем погибла она впереди бастионов. На смену не то чтобы возникла, но быстро выросла новая, противоположная: не расширяться, а сжиматься, чтобы как можно скорее выжать из Севастополя весь гарнизон.

Это было не теперешнее его решение,—к такому решению пришел он гораздо раньше, но зато оно стало в нем бесповоротным. Он, путаник и дергач, мог на время забыть решимость свою проводить неуклонно это решение; он мог подчиниться не только приказу свыше, а и доводам близких лиц из своего же штаба, но решения увести из Севастополя гарнизон он уже не менял больше за все остальное время осады.

Настало утро 27 мая—8 июня. Горчаков, не спавший эту ночь, но несколько успокоенный тем, что союзники, видимо, ограничились только захватом трех редутов, дрожащей рукою писал царю:

«Прибыв сюда тому восемь недель назад, я застал неприятеля превосходного числом, в неприступной, с тылу укрепленной позиции, охватывающей город своими апрошами и редутами по всему объему его и находящегося уже в 60 саженях от четвертого бастиона.

Теперь, после восьми недель утомительнейшей осады, после выдержания неслыханного бомбардирования, причинившего нам огромную потерю в людях, и особенно в штаб- и обер-офицерах, я вижу неприятеля снова усилившегося и беспрестанно продолжающего получать новые подкрепления. Он угрожает прервать сообщение по бухте, а пороку у меня на 10 дней. Я в невозможности более защищать этот несчастный город!

Государь! Будьте милостивы и справедливы! Отъезжая сюда, я знал, что обречен на гибель, и не скрыл это пред лицом Вашим. В надежде на какой-либо неожиданный оборот я должен был упорствовать до крайности, но теперь она настала. Мне нечего мыслить о другом, как о том: как вывести остатки храбрых севастопольских защитников, не подвергнув более половины их гибели. Но и в этом мало надежды; одно, в чем не теряю я надежды,—это то, что, может быть, отстою полуостров. Бог и Ваше Величество свидетели, что во всем этом не моя вина.

Это было уже не письмо, а вопль главнокомандующего, побежденного так же, как и его предшественник, гораздо раньше, чем была побеждена армия, вверенная его руководству. В охватившем его отчаянии он забыл даже, когда именно прибыл в Севастополь: с 8 марта по 27 мая прошло не

восемь, а почти двенадцать недель. Но положение его действительно было трудное.

Ожидая штурма с Городской стороны, он отправлял туда с Северной и Инкермана полк за полком, так что интервенты могли бы в этот день очень легко захватить всю Северную сторону, если бы высадились на Каче, сделав одновременный нажим со стороны Черной речки на Мекензиевы горы и Инкерман.

Но интервентам было совсем не до таких сложных операций: кое-что заставило задуматься и Раглана и даже пылкого Пелисье. Горчаков не знал точно, во что обошлось им занятие разгромленных бомбардировкой, небывалой в истории войн, трех редутов и ложементов перед третьим бастионом, но союзники успели уже подсчитать свои потери и донести о них в приблизительных цифрах в Париж и Лондон. По этим донесениям, англичане потеряли семьсот человек, французы—свыше пяти с половиной тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Русские потери, как выяснилось потом, оказались гораздо меньше.

День 27 мая прошел в обычной оружейной перестрелке, а 28 мая французы первые выставили белый флаг и послали парламентаря, предлагая перемирие для уборки трупов, и перемирие было дано.

От других подобных оно отличалось тем, что с французской стороны появилась целая кавалькада амазонок, а французские офицеры были чересчур любезны с русскими и вызывающе парадно одеты.

Резало глаза еще и то, что попадались среди них и какие-то штатские люди в соломенных шляпах и белых костюмах, с тросточками в руках. Едва ли, впрочем, было для них приятным зрелищем то огромное количество убитых зуавов, алжирских стрелков, егерей, солдат иностранного легиона, которое возникло перед их глазами на этом небольшом клочке русской земли.

Но вот кончилось перемирие, перестали белеть и плескаться мирные флаги, отзвучали сигнальные рожки, убрался весь празднично настроенный народ, и будни войны начались новой перестрелкой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ ПИРОГОВ УЕЗЖАЕТ

1

Сто восемьдесят шесть раненых перевязала в ночь с 26 на 27 мая в своем блиндажике на Корниловском бастионе боевая сестра милосердия Пранковская Ивановна Графова.

Даже помогавшие ей при этом двое матросов—и те к утру чуть не валились с ног от усталости; правда, оба они были тоже ранены в самом начале

боя, хотя и легко, и перевязка им была сделана еще засветло тою же Прасковьей Ивановной; сама же она ворочала своими толстыми, привычными к делу ручищами неумоимо, накладывая на раны корпии и бинтуя.

Ящики с корпией и бинтами, два ведра воды; оплывшая свеча в хомутике штыка, воткнутого в пол блиндажа, и другая такая же в горлышке квасной бутылки; наконец, красная от крови, липкая табуретка, на которой сидели раненные во время перевязки, если могли сидеть,—это и был весь инвентарь маленького перевязочного пункта, самого близкого к амбразурам, мерлонам, пороховым погребам и пороховому дыму.

— Ну, дорогой, будь весел!—не забывала сказать Прасковья Ивановна каждому, кого отправляла из своего блиндажа после перевязки снова ли в строй, или к профессору Гюббенету на Корабельную, или к Пирогову—в город.

Это «будь весел» казалось с первого раза странною здоровенной пожилой женщины, простонародного склада мысли и слова,—всем от солдата до главнокомандующего говорившей «ты». Но в этих двух коротких словечках таился какой-то отдаленно глубокий, нутряной смысл, точно вся огромная родина защитников Севастополя—Россия, страна совершенно «особенной стати»¹, не похожая ни на какие другие страны, говорила устами сестры с передовой позиции—ключа Севастополя:

— Держи голову гордо! Не теряй бодрости! Любую смертельную опасность встречай шуткой! За тобой—непобедимая Родина!

Тем же, как и у Прасковьи Ивановны, неискоренимо народным складом ума и характера отличался и академик Пирогов, несмотря на то, что учился он медицине в Дерпте и несколько ученых трудов своих написал по-немецки.

Веселость, как признак нескудеющей бодрости, не покидала его ни при каких обстоятельствах. Если даже он и сердился на кого-либо из своих помщников за его неловкость, или на начальство, стававшееся откладывать его требования в долгий ящик, а иногда и просто не выполнять их, то даже в тогда он умел говорить образно, саркастически, пускать в дело насмешку, которая была в цель не хуже меткого выстрела.

И если Прасковья Ивановна обрела себе блиндаж на бастине, то и Пирогов в конце концов поселился на городском перевязочном пункте, в доме бывшего Дворянского собрания, и перетаскил туда же приехавших с ним врачей.

¹ «Особенная статья» — из четырехстишия поэта Ф. И. Тютчева:

Умом—России не понять,
Аршином общим не измерить;
У ней особенная статья—
В Россию можно только верить.

Отчасти произошло это потому, что на первой его квартире в городе чувствительно похозяйничала неприятельская бомба, пробив крышу и потолок; на второй, в домике напротив Артиллерийской бухты, другая бомба, к счастью в его отсутствие, отбила как раз тот угол, где стояла его койка... Впрочем, и одну боковую комнату перевязочного пункта в Дворянском собрании тоже сумела разрушить третья назойливая бомба, пущенная ночью с английской канонерки, близко подобравшейся в темноте ко входу на Большой рейд.

И если Прасковья Ивановна способна была сделать за одну ночь больше ста восьмидесяти перевязок раненым, то и Пирогов за несколько месяцев своей работы в Севастополе одних только ампутаций сделал около пяти тысяч... Бывало, что, поднявшись рано утром, когда другие врачи еще спали, он уже орудовал в операционной, пользуясь помощью дежурного фельдшера и сестры. Только около четырехсот ампутаций пришлось на долю остальных хирургов этого перевязочного пункта, хотя их было немало.

Но Пирогов приехал в Севастополь не для одной только этой работы непосредственно у стола в операционной. По Кавказу он знал, как скверно поставлено вообще в России дело помощи раненым. Он ехал как реформатор этого дела.

Помня, как военный министр, светлейший князь Чернышев, принял его, когда он вернулся с Кавказа с докладом о госпитальных ворах, он заручился теперь покровительством влиятельной великой княгини Елены Павловны и помощью не только преданных ему врачей, но и нескольких десятков сестер милосердия. Он ехал сюда во всеоружии своих огромных знаний и опыта кавказской войны для того, чтобы вести не подпольную, а открытую войну с теми, кто наживается на войне, обкрадывая раненых и тем содействуя их гибели, а также и с теми, кто, считая дело содержания и лечения раненых второстепенным делом, имеет власть и все возможности, но уверен, что хаос в этом деле неустраним.

В Крымской армии был главный врач Шрейбер, носивший длинное звание генерал-штаб-доктора; об этом Шрейбере Пирогов говорил, что он, «хотя седой и рябоватый, все видит в розовом свете».

Хотя кое-какие полномочия Пирогов и получил там, в Петербурге, здесь, в Севастополе, его сделали только заведующим городским перевязочным пунктом; Шрейбер же в розовых очках продолжал попрежнему, по-военному, а не по-штатски обращаться с ранеными и больными солдатами.

Во время десятидневной «пасхальной» бомбардировки Пирогов, со всем своим штатом врачей переселившийся в Дворянское собрание, не раздевался для сна,—некогда было; до пяти тысяч раненых прошло за эти дни через его руки, при-

чем пришлось ему сделать свыше пятисот сложных операций и ампутаций.

Каждый больной, оперированный хирургом, становится ему особенно дорог. С разрешения Нахимова Пирогов устроил этих пятисот в обширных казематах Николаевской батареи, совершенно пока безопасной от неприятельских бомб. Но высшее начальство решило их участь иначе: получился приказ перевести всех их на Северную, где под непосредственным руководством генерал-штаб-доктора было будто бы приготовлено все к их приему, выздоровление же их благодаря свежему воздуху должно было там протекать успешней и быстрее, чем в казематах.

Пирогов поверил в заботливость высшего начальства. Сам он был завален в это время работой на своем перевязочном пункте и не имел времени съездить на Северную посмотреть, что именно было приготовлено там для приема тяжело больных солдат.

И вот с военной быстротою были перевезены все эти пятисот безруких, безногих и прочих, только что с операционного стола—куда же? В простые, к тому же дырявые солдатские палатки, в которых соломенные тюфяки валялись просто на земле. Но зато палатки эти были разбиты по шинуру правильными рядами, и свежего воздуха вокруг них было вполне довольно. Он сделался несколько излишне свеж на другой же день, когда вдруг разразился над Севастополем сильнейший ливень при лютном холодном ветре.

Палатки срывало с кольев; потоки ливня, врываясь к несчастным больным, промочили их до костей; тюфяки их подпылило; от ледящего ветра не было защиты... Стремившиеся оказать какую-нибудь помощь жертвам особой заботливости высшего начальства сестры милосердия и врачи становились около них на колени в лужи, в грязь, а жертвы эти,—посинелые, полуживые,—безостановочно стучали зубами, безудержно трясясь...

Уже через несколько часов умерло из них до двадцати человек, а на другой день число смертных случаев среди них удвоилось; и когда приехал к ним извещенный об этом Пирогов, он нашел безнадежными их всех.

Рапорты начальству в те времена полагалось писать казенно-вежливым языком: «Честь имею довести до сведения вашего высокопревосходительства...» «Честь имею покорнейше просить ваше сиятельство...» Никаких отступлений от этой предписанной свыше формы не допускалось.

Но разве мог Пирогов вместить в эти холодные казенные фразы рапорта все возмущение, какое его охватило там, на Северной, среди этих равных солдатских палаток, в которых валялись на мокрых тюфяках в грязи так недавно еще его умелой рукой направленные к жизни и ныне поголовно умирающие и обреченные смерти раненые?

Он отбросил казенный язык. Он заговорил языком человека, оскорбленного в лучших своих чувствах, но, конечно, этот его язык оказался совершенно непонятным для начальства.

Пирогов кричал вне себя в среде врачей:

— Что же это такое? Халатность ли только? Нет-с,—это чудовищное преступление,—вот что это! Зачем же тогда мы, хирурги, и все вообще врачи, если свежееампутированных раненых бросают, как хлам на свалку, на усмотрение всех стихий? Вот стихии и сделали из них горы трупов в кратчайший срок,—значит, для этого в конечном-то счете трудились мы дни и ночи, рискуя собственной жизнью? Ради этого столько врачей и сестер умерло уже здесь от тифа?.. Может быть, скоро мы, врачи, будем получать прямые указания дорезывать тяжело раненных, не кладя даже их на операционные столы, или травить их мышьяком, как крыс?..

Чего мог добиться Пирогов, возмущаясь так во всеуслышанье? Он нажил себе только врагов, непримиримых и сильных. И хотя Горчаков приказал сделать расследование по докладной записке Пирогова, но, как обычно, оно не обнаружило виновных, а койки для ампутированных с двойными матрацами к ним привезены были в палатки только тогда, когда от пятисот с лишком человек осталось в живых всего семнадцать.

Зато о Пирогове стали говорить в штабе Горчакова:

— Ну, этот Пирогов, кажется, добивается того, чтобы получить назначение главнокомандующим Крымской армией!.. Между тем генерал-штаб-доктор вывел заключение, что ампутированные им помирают не потому, что попали под дождь, но оттого единственно, что он небрежно делает операции, хотя и прославленный хирург!

В Симферополе, где скопилось больше десяти тысяч раненых и больных солдат, были спешно поставлены для них дощатые бараки без полов, такие же бараки устроены для врачей и сестер. Однако в холодное время они не отапливались, и, требуя для них дров, Пирогов написал начальнику госпиталей, генералу Остроградскому: «Имею честь представить на вид...»

Фраза эта была хотя и казенной, но «ставить на вид» имел право только старший в чине младшему, когда распекал его за провинность. Генерал, привыкший видеть полную безропотность военных врачей, и без того косо глядел на Пирогова, теперь же он поднял против него целую бурю, придравшись к его «неприличному» выражению, тем более что это было гораздо дешевле, чем приобрести дрова для барачников.

Он выступил с жалобой на дерзкого и не только перед главнокомандующим, но обратился и к самому царю, так что Пирогову пришлось выслушать выговор не только от Горчакова, но впло-

следствии и от царя тоже: все пружины были пущены в ход симферопольским администратором, чтобы стало жарко заступнику за больных и раненых солдат, а в бараках мог бы попрежнему царить холод.

Смертность среди ампутированных и вообще оперированных на перевязочных пунктах и в госпиталях Севастополя действительно была очень велика, и не только из-за безобразной постановки ухода за ранеными и перевозки их в степную часть Крыма в холодное время, как это велось в Севастопольскую войну до Пирогова; самым страшным врагом раненых была госпитальная гангрена, настоящая причина которой тогда не была еще известна, так как бактериология едва зарождалась, антисептика же была введена только после Крымской кампании английским хирургом Листером.

Борьбу с госпитальной гангреной Пирогов повел с всею присущей ему энергией, лишь только появился в Севастополе. Он отделил всех гангренозных, переведя их из дома Дворянского собрания в дома кушцов Гушина и Орловского, где за ними ухаживали две самоотверженные сестры милосердия и наблюдал лекарский помощник Калашников. Перевязочный же пункт он временно перенес в другое место, а роскошное, но зараженное Дворянское собрание проветривалось по его приказу несколько недель, стоя с открытыми день и ночь окнами и дверями.

Этими мерами страшная эпидемия была значительно ослаблена, но не уничтожена, конечно. Пирогов понимал, что перегруженность перевязочных пунктов и госпиталей способствовала развитию гангрены; он стремился к тому, чтобы раненые не задерживались здесь, а отправлялись дальше, однако ежедневные бомбардировки, частые вылазки и стычки, особенно с тех пор, как были устроены передовые редуты, наконец, целые сражения из-за этих редуты и траншей неизбежно переполняли огромным количеством раненых общие палаты перевязочных пунктов: гангрена не переставала водиться.

Иногда же, по совершенно необъяснимым для Пирогова причинам, результаты безукоризненно проведенной им или под его личным наблюдением операции были совсем не те, какие им ожидались. Он старался проникнуть в тайну этих капризов человеческой природы, но проникнуть все-таки не мог, и это его угнетало.

Об этом он писал в Дерпт своему старому другу, профессору медицины Зейдлицу:

«Кровь, грязь и сукровица, в которых я ежедневно вращаюсь, давно уже перестали действовать на меня; но вот что печалит меня, что я, несмотря на все мои старания и самоотвержение, не вижу утешительных результатов, хотя я моим младшим товарищам по науке, которые еще более меня упали духом, беспрестанно твержу, чтобы

они бодрились и надеялись на лучшие времена и результаты. Один из них,—дельный, честный и откровенный юноша,—уже хотел закрыть свой ампутиционный ящик и бросить его в бухту. «Потерпите, любезный друг,—сказал я ему,—будет лучше...» Я, может быть, если останусь жив да отслужу свои тридцать лет,—не забудьте, что нам считается месяц за год службы,—соберу результаты своих наблюдений об ампутациях и обнаружую их. Ампутация, как одна из грубейших больших операций, доказывающая несовершенство искусства, именно ясно доказывает, что потеря каждого члена нашего тела имеет свой постоянный фатальный процент смертности...»

2

Но то, что пока для Пирогова не поддавалось объяснению,—плохие последствия безукоризненно сделанных операций,—было одно, а военно-медицинская администрация и военное начальство, не принимавшие спешных мер к отправке из Севастополя раненых,—совсем другое.

Пирогов понимал, что первое, хотя и не ясное еще для него во всей полноте, все-таки всецело зависит от второго, что эпидемии рожи и гангрены приходят вслед за скученностью больных, что необходимо как можно быстрее сортировать раненых, подавать им первую помощь на перевязочных пунктах, но потом тут же отправлять их из Севастополя в места более спокойные, просторные и удобные для их лечения, однако отправлять, как тяжело больных, а не как фронтовых солдат на новое поле битвы,—таких, с которыми разговаривать принято только криком команд, таких, которые должны по уставу «терпеть голод, холод и все солдатские нужды», а кто не вытерпел, тот сам в этом и виноват.

Тупая и косная, въевшаяся им в плоть и кровь недобросовестность военных чиновников, с которой сталкивался он здесь на каждом шагу, выводила его из себя, и когда в марте прошел слух, что в Херсоне сестры Крестовоздвиженской общины так взялись за аптекаря военного госпиталя, что довели дело до судебного следствия над ним и тот из боязни суда застрелился, Пирогов ликовал непритворно.

— Ай да молодцы сестрички!—говорил он, сияя, одному из своих врачей, Тарасову:—Слыхали? Аптекаря в Херсоне застрелили! Вот это настоящие сестры милосердия! И сразу видно, что там были за порядки в этом госпитале, если уж аптекарь счел за лучшее застрелиться!.. Ох, не мешало бы и нашему севастопольскому отправиться во след своему коллеге! Подлец ведь, подлец первой гильдии!.. Нет, как хотите, голубчик мой, а в том, что у нас среди чиновников всех ведомств и среди военных тоже так много казнокрадов и

вообще воров и мерзавцев, в этом виновато воспитание в наших школах, да-с!.. Кого готовят в них? Специалистов, и только! Но не граждан своей родины—вот в чем корень всех зол! Поэтому каждый и думает только о своем корыте, о своем кармане, а до общественных интересов никому в сущности и дела нет... Вам не нужно доказывать,—вы видите и сами, что если бы не мы, частные врачи, штатские люди в военном стане, да не сестрички наши, дай им бог здоровья, то больные и раненые хлебали бы вместо супа помон и лежали бы не на матрацах, а просто в грязи, как свиньи!.. Разве, когда мы с вами везли сюда сестер, предполагал кто из нас, что им придется здесь и кухарками быть? А вот пришлось же, пришлось самим кушанья готовить, иначе кормили бы раненых чорт знает чем, потому что не украсть по своему ведомству того, что само в руки лезет, русский чиновник не в состоянии!.. Аптекаря же,—херсонские они или севастопольские,—охулки на руку не кладут нигде-с! Я с ними тоже имел дело, когда взялся лет десять назад чистить авгиевы конюшни¹—второй военный госпиталь в Петербурге... Целое море пришлось мне тогда взбаламутить! Госпиталь огромный; десятки семейств лекарей и администрации больными там кормились, и рука руку мыла... Аптекарь же там отпускал больным вместо хины—бычьей желчь, а вместо рыбьего жира чорт его знает какое-то китовое или моржовое сало, отчего больных выворачивало наизнанку, как от мертвой зыби... Скученность же больных допущена была непостижимая: по сто человек на палату, рассчитанную на двадцать!.. Бинтов не мыли,—лишний расход!—а грязные и зловонные, в гною и в сукровице, переносили с одного больного, который уже благополучно преставился, на другого, только что прибывшего!.. Вот как там было! И смертность невероятная для мирного времени,—однако кого-нибудь беспокоило это?—Никого и нисколько-с! А ведь посещали все-таки госпиталь этот важные генералы и даже высочайшие особы, и сам покойный Николай Павлович в нем бывал, и все находили госпиталь в превосходном состоянии... Судите же, каково было мне против общего мнения пойти!.. И когда я принимался за этих чинодралов не хуже, чем наши херсонские сестрички за аптекаря, вот было крику с их стороны! Нашли даже во мне «помрачение ума», и кажется еще немного—запратили бы в желтый дом до конца дней моих!.. Фаддей Булгарин² в своей «Пчеле» почтил меня вниманием: «Кто же такой этот профессор Пирогов? Не больше, как поворный резака, а в смысле учености

всего-навсего беззащитный плагиатор...» Несмотря на все это, я там все-таки победил, конюшни царя Авгия очистил, второй госпиталь сделался приличным учреждением, приносить начал явную пользу больным, а не своей администрации только... Там я осилил, а здесь я бессилён, и чем дальше, тем лучше это вижу. Да и вам, конечно, это ясно... Везде воровство, везде беспорядок, везде больных и раненых как сельдей в бочонке,—и что же мы с вами, частные и штатские люди, можем сделать, когда сам генерал-штаб-доктор от всей этой бестолочи в восторге? Для генералов же не-докторов это только досадная история—всякие вообще раненые—портят им только списки людей... Я не знаю, хорошо ли они воюют, наши генералы, в этом я им не судья, и где кончается Горчаков, а начинается Коцебу, этого я не знаю тоже, но зато я вижу, как наши генералы интригуют друг против друга, как они, бедные, трудятся в поте лица, чтобы один другому подставить ножку!.. Но кому же от этого радость, как не тем же союзникам?.. Нет, плохо у нас воспитывают людей, которым потом бразды вверяют. Оттого-то мы и терпим теперь такое бедствие, как эта травматическая эпидемия—Крымская война!

— Травматическая эпидемия?—переспросил Тарасов, улынувшись.—Пожалуй, действительно, с нашей медицинской точки зрения именно так и можно назвать эту страшную войну.

— Когда-нибудь, когда никаких вообще эпидемий больше не будет,—сказал Пирогов,—исчезнут и травматические: это и будет время, «когда народы, распри позабыв, в одну великую семью соединятся...»¹ И я не был бы врачом, если бы в это не верил. Но пока что, Василий Иванович, должен вам сказать, что начал я серьезно думать об отъезде отсюда. Будет уж! Поработал, надо дать место другим... Пускай другие попробуют, может, им будет больше удачи, чем мне... А я уж скажу «пас».

— Это вы серьезно говорите, Николай Иванович?—несколько оторопело поднял брови Тарасов, человек сыроватый на вид, полный, белоглазый и с белыми ресницами.

— Вполне серьезно... Вы видите сами, колит мой все не проходит,—куриный бульон пробовал есть—очень противен он мне показался... А вдруг еще привяжется тиф?.. И дома у меня не все в порядке: жена не ладит с моими ребятками,—те ее плохо слушают,—дескать, мачеха... Да, наконец, все говорят, что как только сойдут полые воды на севере, начнется война и там, под Петербургом. Могу, значит, пригодиться и там в крайнем-то случае... Думаю, что там гораздо лучше я могу пригодиться.

От длительной гастрической болезни Пирогов

¹ *Авгиевы конюшни*—конюшни легендарного царя Авгия, которые Геркулес очистил, проведя через них реку. В переносном смысле—очень грязное место.

² Ф. В. Булгарин (1789—1859)—литератор, издатель газеты «Северная пчела», пасквилянт и доносчик.

¹ Из стихотворения А. С. Пушкина «Мицкевич».

был худ, слаб, желт и желчен,—это видел Тарасов. Болезни приписал он и такое решение—уехать из Севастополя; поэтому он сказал:

— Скоро поправитесь, Николай Иванович, и бросите тогда все мрачные мысли...

— Нет уж, нет, не брошу!—сделал угловатый жест обеими исхудалыми руками сразу Пирогов.— Я ведь не для того поехал в Севастополь, чтобы только резать ноги-руки! Этого добра я переделал на своем веку достаточно,—и с меня хватит!.. Я, между прочим, отлично знал и то, что здесь встречу, однако же я все-таки думал, что мне дадут сделать для наших раненых все, что можно было для них сделать... Не дают,—вы это сами видите! Везде только и натыкаешься, что на свои же шпаги, а воевать вышел с целой Европой!.. Так нельзя, Василий Иванович! И я устал, говорю вам откровенно. Независимо от болезни устал и требую отдыха. Баста!

— Николай Иванович, но ведь в таком случае и мы все, врачи, не останемся здесь без вас,—очень решительным тоном, который к нему как-то и не шел, заявил Тарасов.—Если вы действительно собираетесь уехать, тогда уехать придется и нам всем. Вы наша защита тут, вами и держимся все... А без вас что же мы будем представлять из себя такое? Мы ваш отряд врачей, вы же наше начальство... Если и в самом деле уедете вы, то нам неминуемо приходится ехать с вами... Не знаю, конечно, как другие, а я без вас тут оставаться не намерен.

И Тарасов даже покраснел, говоря это, и задышал усиленно, что было слышно Пирогову.

Потерев плешь свою ладонями, что было у него признаком волнения, Пирогов отозвался Тарасову:

— Что ж, разумеется, мы ведь единый отряд частных штатских врачей, и все вы поработали тоже довольно, и половина переболела тифом, и были смертные случаи. Вот и Каде еле выкарабкался из когтей смерти,—просто чудом спасся,—а Сохраничев погиб... Отдых необходим, конечно, и вам тоже... кроме того... кроме того, должен я сказать, это может произвести на начальство и власть гораздо большее впечатление и заставит подумать поприлежней над вопросом: отчего уехал из Севастополя академик Пирогов, а с ним вместе и все врачи его отряда?

3

К концу марта Пирогов совершенно оправился от своей болезни. В апреле же Сакен объявил в приказе по гарнизону благодарность Пирогову и всем приехавшим с ним врачам за их ревностную и успешную службу, так же, впрочем, как и профессору Гюббенету и врачам его перевязочного пункта на Корабельной.

Но это признание заслуг со стороны начальства

не поколебало все-таки решения Пирогова покинуть Севастополь, тем более что как раз перед этим погибло на Северной пятьсот ампутированных им солдат, и это заставило его к благодарности Сакена отнестись весьма подозрительно, как к тонкому виду взятки.

Если что и задерживало его отъезд, то только кровопролитные бои, дававшие много работы городскому перевязочному пункту.

Он уже выправил все необходимые для отъезда бумаги, думая выехать в начале мая, но ночные схватки из-за траншеи на кладбище и Карантинной высоте задержали его очень большим наплывом раненых. Однако едва только он справился с этим делом, как началась жестокая третья бомбардировка, давшая несколько сот раненых в первый же день и предвещавшая большое сражение из-за передовых редутов, если только не окончателный общий штурм города.

Это заставило Пирогова, совершенно уже готового к отъезду, остаться снова, что оказалось и необходимым: раненых было тысячи. Даже и половины их в ночь с 26 на 27 мая не мог принять Гюббенет, тем более что его пункт находился под сильным обстрелом и тут же после потери редутов получил приказ перейти на Северную.

Раненых безостановочно несли с Корабельной в дом Дворянского собрания, причем были и такие случаи, что солдаты вместе с ранеными на носилках же приносили и оторванные осколками и ядрами руки и ноги их, говоря в объяснение такой странности:

— Кабы на тот перевязочный, не взяли бы, а как сказано было на этот, к Пирогову, несть, захватили на всякий случай: они же ведь еще свежие, авось Пирогов-доктор пришьет, вот бы и сгодился еще куда наш брат солдат!

О Пирогове, впрочем, сочиняли ходовые легенды не только солдаты; так, одно время было кем-то пущено по Севастополю, будто парламентар с письмом от французского главнокомандующего обратился к Сакену с просьбой, чтобы тот разрешил Пирогову отправиться в их лагерь на консультацию.

На баркасе переправившись через бухту, четверо солдат Камчатского полка принесли от Графской пристани тяжелые носилки с раненым перед третьим бастионом Иоанникием, часов в десять вечера. К этому времени раненых было в огромной зале уже много, и много было, точно в церкви, свечей, стеариновых, правда, не восковых, и в грубых железных или медных подсвечниках. Эти свечи стояли на тумбочках, здесь и там, иногда же сестры милосердия, которых было здесь человек двенадцать, с подсвечниками в руках наклонялись над только что принесенными ранеными, чтобы осмотреть их,—не умирают ли, не нужен ли им священник вместо врача.

Так одна из сестер наклонилась над носилками с иеромонахом; в одной руке ее был подсвечник, в другой — стакан и бутылка чепуховый полустоф с остатками водки, которую носила она в операционную.

Увидя огромную бороду и резко блеснувший на черной рясе крест, к тому же на георгиевской ленте, сестра прониклась глубоким почтением. Но только успела она спросить:

— Вы куда ранены, батюшка? — как Иоанникий, схватившись за полустоф, очень сильно потянул его к себе и удивленно-радостно пробасил вместо ответа:

— Что, водка, а?.. Ну-ка, налейте-ка стаканчик!

Сестра налила. Он выпил полный стакан в два-три затяжных глотка, приподнявшись для этого на локте, и, протянув ей стакан и выразительно щелкнув пальцем по бутылке, сказал уже спокойным командным тоном:

— Еще!

Обрадованная уже тем, что этому духовному лицу не понадобится, видимо, услуги другого такого же, дежурившего при перевязочном, сестра вылила в стакан все, что еще оставалось в полустофе. Иоанникий неодобрительно крикнул, так как стакан получился неполный, однако выпил, прокашлялся, как лев, и повеселевшими глазами огляделся кругом, так и не удостоив сестру ответом, куда он ранен.

Но вот к нему подошел сам Пирогов. Как только осветили лежащего на матраце Иоанникия с двух сторон свечами, Пирогов сразу узнал того богатыря Пересвета, который стоял около окна в симферопольской гостинице «Европа», а перед тем потрясал своды этой «Европы» своими песнями из числа недозволенных начальством.

— А-а! — протянул он, невольно улыбаясь, точно встретил хорошего старого знакомого. — И вы, батюшка, тоже попали в наш дом скорби! Чем же мы можем вам служить?

Но Иоанникий, прежде чем ответить, нашел нужным справиться:

— С кем же это я имею честь говорить?

— Я лекарь Пирогов.

— Очень приятно познакомиться! — пророкотал монах, протягивая ему руку.

— Эх, приятности в этом, к сожалению, мало... Куда, — в ноги ранены? — серьезно уже спросил Пирогов.

— Пока не в ноги, а только в ногу... Вот сюда, полюбуйтесь!

Иоанникий сам подтянул полы рясы, под которой все было в обильной загустевшей крови.

— Ох, он что-то очень спокойно относится к своей ране! — по-немецки обратился к стоявшему рядом с ним врачу Обермиллеру Пирогов, когда осмотрел рану. — Плохой признак... А рана серьезная: ногу придется отнять по коленный сустав.

Иоанникий смотрел на него выжидающе, но терпеливо.

— Придется нам сделать вам маленькую операцию, — сказал ему Пирогов. — Как это ни жаль, однако ничего другого придумать нельзя: ногу вашу сохранить невозможно.

— Отпилить значит? Ну что же делать: воля божья, — спокойно отозвался монах. — Разрешите только мне выпить перед этим солдатскую чарку водки, а?

— Дадим, дадим, как только на стол положим...

— А это, может быть, долго ждать придется?

— Нет-нет, на первый же свободный стол ляжете вы, и перед хлороформированием мы угостим вас водкой, чтобы поднять деятельность сердца.

Иоанникий недовольно крикнул, но Пирогов с Обермиллером и сестрой Травниной уже отошли от него к другому.

Засыпая под хлороформенной повязкой на операционном столе, раненые вели себя разное: иные пели молитвы, иные бормотали что-то малопонятное, как в бреду, иные выкрикивали команды... Иоанникий же начал ругаться неожиданно весьма вычурно и до того громко, что решительно утопил все звуки кругом и даже пушечные выстрелы с бастионов Городской стороны.

— Ну, такого шумного пациента еще не видели стены этого дома, — сказал Пирогов, когда он, наконец, утих.

Сам же Пирогов делал ему и ампутацию, но когда все было кончено, сказал окружающим:

— Случай этот, господа, как будто бы даже и довольно легкий, однако мне почему-то кажется, что богатырь все-таки не выживет... Очень бы хотел я ошибиться в прогнозе, но...

И он развел руками, вглядываясь еще и еще в черты лица и в линии огромного тела монаха, потом добавил:

— Если же выживет, я первый — буду этому рад.

4

Четверо принесли раненого офицера. Офицер этот с окровавленным лицом и с поврежденными ногами, освободив носилки и улегшись на тюфяке на полу, начал усиленно возиться в кармане брюк, доставая деньги на чай своим носильщикам. Однако один из них, сам раненный в голову и наскоро обвязавший себя разодранным надвое платком, сурово сказал:

— Ваше благородие, не извольте хлопотать об эфтом. Ни к чему это совсем, не извольте!

Солдат этот был такой же рядовой, как и другие трое, но на вид гораздо старше их, суше, утомленней лицом. Он как-то начальственно кивнул на двери своим товарищам, — па огромные, парадные, красного дерева с бронзой двери, — и те, помяв-

шись немного, пошли с носилками к выходу; сам же он остался на перевязку.

Случайно, когда перевязывал его фельдшер, к нему подошел Пирогов.

Рана в голову небольшим осколком принадлежала к легким, но очень усталое худое лицо солдата заставило Пирогова сказать фельдшеру:

— Надо бы его оставить у нас денька на три: пусть бы отдохнул хоть немного.

— Никак нет, ваша честь, нельзя эфтого!— как будто даже обиженно отозвался на это солдат, не догадываясь, кто это говорит с ним: Пирогов был в белом халате.

— Почему нельзя?—спросил Пирогов, не понимая.

— Да ведь нас-то, старых солдат, уж немного теперь осталось, ваша честь... Ежели теперь будем мы уходить с фронта по всяким пустякам таким, так ведь молодые-то солдаты без нас оторопеть могут!

— Оторопеть?

— Так точно-с. Оторопеют и, глядишь, побегут еще перед ним, а он тому и рад будет, ваша честь.

Пирогов знал, что «он» означает «неприятель».

Кое-как напаялив на растолстевшую от бинтов голову свою фуражку без козырька, солдат ушел держать фронт, а Пирогов, не спросивший даже за многолюдством на пункте, как его фамилия и какого он полка, нет-нет да и вспоминал потом среди работы худое, усталое, закопченное дымом лицо, сурово глядевшее на него из-под ярко-белой чалмы повязки.

Раненых было много: дня три проходили они через руки Пирогова чуть что не по тысяче в день. Наконец, с обращенных французами в сторону бухты «Трех отроков» снаряды часто стали попадать и в небольшой садик около дома Дворянского собрания и даже в самый дом, поэтому Сакен приказал перевезти всех лежавших там больных на Северную, в Михайловский форт, здесь же оставить пока только нечто вроде полевого перевязочного пункта с небольшим штатом врачей и фельдшеров.

Так как бомбы и ядра теперь уже очень густо летели в бухту, то можно было наблюдать с террасы дома, как перемещались суда.

Самый большой из кораблей—«Императрица Мария»—был передвинут парохом «Владимир» к Михайловскому форту, а против него, вблизи Николаевского форта, или батареи, как его называли чаще, стал на якорь другой корабль—«Храбрый». Они как бы призваны были сторожить вход на Большой рейд. За ними в две колонны вытянулись корабли: «Великий князь Константин», «Чесма», «Париж» и транспорт «Березань». Корабль «Ягудилл» появился было в Южной бухте, но в него тут попала бомба, и его передвинули снова на Большой рейд и поставили около Павловской ба-

тарен; пароход «Владимир» подтащил на буксире к нему бриг «Эней», потом и сам стал рядом. Другие девять пароходов: «Одесса», «Крым», «Херсонес», «Эльборус», «Громоносец», «Бессарабия» и прочие, деятельно сновали по бухте, перевозя с одного берега на другой войска и грузы.

Под теплым, даже горячим уже солнцем это была красочная картина неустанной работы на продолжение борьбы с врагом, которому временно, случайно,—так казалось,—посчастливилось занять три редута, но который, между прочим, так и не решился пока придвинуться к разоруженной и брошенной бывшей Забалканской батарее... Пловучий мост через Килен-балку тоже развели и отбуксировали на шлюпках без всяких препятствий со стороны французов.

Никаких признаков упадка духа в гарнизоне Севастополя после потери «Трех отроков» Пирогов не замечал. Никто не говорил: «Ну, теперь конец Севастополю!» или что-нибудь в этом роде. Только ругали куда-то исчезнувшего генерала Жабокрицкого, да не совсем лестно отзывались о Горчакове, который не позволил Хрулеву отбить редуты, но в том, что они будут рано или поздно все-таки отбиты, не сомневались,—особенно солдаты.

Узнав, что Пирогов уезжает, пришли проститься с ним две сестры из дома Гушина, Григорьева и Голубцова, которые бессменно проводили дни и ночи в этом мрачнейшем из всех севастопольских домов скорби, над дверями которого, как над дверями Дантова ада¹, можно бы было написать: «Оставь надежду всякий, сюда входящий». Это был дом умирающих, дом гангренозных, отравляющих воздух вокруг себя нестерпимым зловоньем, с которым не могли справиться целые ведра так называемой ждановской жидкости. Но и эти умирающие видели около себя заботливые участливые лица двух простых и по-родному близких женщин, которые помогали выносить их койки на дворик, под деревья, в тихую теплую погоду, которые хранили их деньги с наказом, куда и кому переслать эти деньги после их смерти, которые принимали последний их вздох.

Когда Голубцова ехала со своим отделением сестер в Севастополь, то на одном из перегонов между Перекопом и Симферополем выпала из саней, ударилась о каменный верстовой столб и переломила два ребра; но, поправившись, сама просилась у Пирогова на тяжелую работу в дом Гушина, на героическую работу.

А на вид ничего героического в ней не было: обыкновенное русское круглое добродушное лицо, с несколько коротковатым носом, серыми застенчивыми глазами и веснушками кое-где; и Пирогову

¹ Дантов ад—ад, изображенный итальянским поэтом Данте-Алигьери (1265—1321) в его поэме «Ад», составляющей первую часть трилогии «Божественная комедия».

чувствовалась в ней, когда случалось ему — к ней обращаться, какая-то неловкость и за то, что вот ей приходится отвечать на вопросы такого важного лица, как он, и за то, должно быть, еще, что на ней такой же золотой крест на голубой ленте и коричневое платье и белая косынка, как и на сестрах из барынь. Ведь старшей сестрой в их отделении была Бакунина, дочь петербургского губернатора, для которой сам граф Остен-Сакен был только хороший старый знакомый, часто бывавший раньше в гостях в их доме.

Григорьева была тоже очень скромная, даже робкая на вид, немолодая уже женщина небольшого роста, и, наверное, ни она, ни Голубцова не решились бы прощаться с самим Пироговым, если бы их не захватил с собой его давний сотрудник, лекарский помощник из фельдшеров, Калашников, являвший первый гражданский чин коллежского регистратора и ведавший гушинским домом, который недалеко был от дома Дворянского собрания.

Калашников и говорил с Пироговым, встретив его на мраморной лестнице, нижняя ступенька которой была уже сильно попорчена ядром:

— Вот до чего хотелось и мне тоже с вами в Петербург отсюда, ваше превосходительство, да вот лиха беда: на кого же мне своих умирающих оставить?.. Решительно ведь никакой из врачей не выдержит воздуха нашего, — убежит... Приходится, стало быть, Николай Иванович, мне до самого конца с ними отдежурить.

— До конца? — неопределенно спросил Пирогов, с любопытством, точно нового человека, разглядывая давно уж ему приглядевшегося, мешкотного, чрезмерно волосатого, с крупными следами оспы на лице Калашникова и этих обеих простых и робких перед ним сестер.

— До конца, а как же еще, ваше превосходительство? Тут, конечно, тройной может случиться конец, как плетка о трех концах бывает: или Гушину дому придет конец, или всему Севастополю, чего боже избави, конец, или мне самому, скорее всего, конец... Так что, с какой стороны ни погляди на это, а конца тут не миновать, — приходится так, значит, дотягивать, Николай Иванович. А ваше дело, разумеется, совсем другое.

— Ну, какое же там другое? — недовольно возразил Пирогов, отвернувшись в сторону бухты, где на гладкой поверхности почти одновременно выскочили три белых фонтана от бомб.

Шутливо называя иногда Калашникова по-французски *officier de santé* (офицер здоровья), Пирогов привык ценить его большую работоспособность и вообще привык к нему еще с поездки своей на Кавказ в 47-м году, куда Калашников сопровождал его тоже, и на службе в Медико-хирургической академии, где тот работал по вольному найму в анатомическом институте, консервируя трупы.

Трупный запах, тяжкий запах заживо разлагаю-

щихся человеческих тел, шел от него и сейчас. Этим запахом были пропитаны и платья обеих сестер, несмотря ни на ждановскую жидкость там, у них, ни на свежий воздух здесь, на лестнице... Пирогов вспомнил, что доктор Тарасов тоже остался в Севастополе, — перешел в отряд врачей Гюбенета, ставшего с самого появления своего здесь в недружелюбные отношения к нему, Пирогову, и вообще из врачей с ним в Петербург уезжали только Обермиллер да еще двое с немецкими тоже фамилиями...

— Ничего другого нет, а есть то же самое: совсем от Севастополя уйти нельзя, — добавил Пирогов, переводя глаза с Калашникова на Григорьеву и Голубцову. — Можно только на время выпасть из строя, но потом, конечно, опять вернуться в строй... Если на Петербург не будет этим летом нападения союзников, то, разумеется, что же мне там?.. Повидаюсь с семьей, поговорю о здешних порядках с великой княгиней и опять сюда же... А Севастополь, несмотря ни на что, кажется, долго еще может стоять. Не зря же его зовут в иностранных газетах русской Троей.

— Приедете? — повеселел Калашников. — Ну, значит, будем ждать... А пока час добрый! Счастливого пути, ваше превосходительство!

Пирогов расцеловался с ним и крепко жал из прощание не умеющие сгибаться руки обеих сестер, как будто извиняясь перед ними за свою слабость...

Он уехал в тот же день — 1 июня, твердо решив вернуться в Севастополь снова.

Заместителем его по главному наблюдению за общиной сестер сделался Сакен, так как об этом просила его собственноручным письмом сама великая княгиня Елена Павловна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯ

1

Если Пирогов, человек заведомо штатский, полагал, что русская Троя после потери ее передовых редутов может простоять еще долго, то совершенно иначе думали главнокомандующие с этой и с той стороны: дни Севастополя были ими сочтены, только счет дней у Горчакова оказался несколько короче, чем у Пелисье.

Последнее объяснялось тем, что Горчаков был совершенно подавлен и испуган. Пелисье же при всей своей пылкости расчетливо учитывал то отчаянное сопротивление, которое оказали русские на Камчатском и других редутах, и старался подготовить штурм безупречно. Он знал, что должен еще завоевать себе у своего императора — Наполеона III — такое доверие, какое получил с пер-

вых своих шагов в Крыму его противник Горчаков от своего императора Александра II.

Казалось бы, крупный успех, выпавший на долю Пелисье 7—8 июня (26—27 мая), так сразу поднявший авторитет его среди главнокомандующих прочих союзных армий, должен был примирить с ним Наполеона, но поздравление, которое Пелисье получил по телеграфу от Наполеона, было и запоздалым, и очень сдержанным в выражениях, и резко подчеркивало цену успеха—большие потери французских войск, и заканчивалось прямым и строгим приказанием изменить план войны, то есть немедленно сделать ее маневренной, как это предписывалось раньше.

Пелисье получил эту телеграмму тогда, когда уже заканчивались им приготовления к общему штурму Севастополя. Этой палки в свое колесо он не вынес с надлежащим смирением. Он ответил телеграммой далеко не столь длинной, однако содержащей отказ следовать «преднамерениям» императора. Он ссылаясь при этом на мнения всех остальных главнокомандующих и просил не портить хороших отношений, которые у него, Пелисье, установились с ними, его же самого «не делать человеком недисциплинированным и неосторожным».

Отправляя эту резкую телеграмму своему императору, Пелисье вполне надеялся на то, что следующая,—всего через два-три дня,—телеграмма его в Париж будет заключать два магических слова: «Севастополь взят», а что этих двух слов будет вполне достаточно для того, чтобы загладить все его резкости, в этом он не сомневался ни минуты.

Совсем иной окраски была переписка Горчакова со своим императором.

Полураздавленный неудачей, готовый всех кругом винить в ней, кроме самого себя, больной, старый, немощный духом, Горчаков ожидал величайших несчастий, из которых падение Севастополя было бы наименьшим, и заранее молил о снисхождении. Александр же был в той же степени не похож на Наполеона, как и Горчаков на Пелисье: он заранее извинял своему главнокомандующему все его возможные будущие несчастия вплоть до потери Севастополя. Однако Крым он предлагал отстоять, а для того, чтобы отстоять Крым, необходимо было, конечно, не потерять вместе с Севастополем его сорокатысячного гарнизона, закаленного и в огневых и в штыковых боях.

Александр писал Горчакову:

«Последнее письмо ваше, любезный князь, с донесением о взятии неприятелем наших контр-апрошных редутов после кровопролитного боя, сделало на меня самое грустное впечатление, хотя я уже был к сему приготовлен телеграфическими депешами.

Положение ваше делается через это более кри-

стическим, и мысль вашу оставить этот несчастный город я понимаю, но как исполнить ее, не подвергнув гибели большей части его храброго гарнизона? Вот что, признаюсь, озабочивает меня до крайности.

Если по воле всевышнего Севастополю суждено пасть, то я вполне надеюсь, что со вновь прибывающими тремя дивизиями вам удастся отстоять Крымский полуостров.

Защитники Севастополя после девятимесячной небывалой осады покрыли себя неувядаемой славой, неслыханной в военной истории; вы с вашей стороны сделали все, что человечески было возможно,—в этом отдаст вам справедливость вся Россия и вся Европа; следовательно,—повторяю, что я уже вам и писал,—совесть ваша может быть спокойна.

Уповайте на бога и не забывайте, что с потерей Севастополя не все еще потеряно. Может быть, суждено вам в открытом поле нанести врагам нашим решительный удар.

Это снисходительнейшее царское письмо, посланное с флигель-адъютантом Олсуфьевым 4 июня, Горчаков получил уже тогда, когда ожидавшийся им штурм состоялся, но до того он тщетно напрягал все свои силы, чтобы найти способ в одно и то же время и оставить Севастополь и сохранить в целости его гарнизон в виду многочисленной и прекрасно снабженной армии противника, обложившей город.

Задача эта была, конечно, неразрешимой уже в силу того, что гарнизон Севастополя от Северной стороны, куда имел бы он возможность отступить, был отрезан широкой бухтой, а между тем даже и в более ранних письмах своих Александр, называя капитуляцию «самой крайней мерой», если и разрешал ее, то только без сдачи гарнизона.

Это условие обезоруживало Горчакова, так как он заранее знал, что на него не согласятся союзники. Но он знал еще и то, что по русским военным законам если и разрешалось оставить крепость, то не ранее как после отбития трех штурмов, между тем Севастополь не штурмовался еще ни разу.

Наконец, он помнил и о том, что весь севастопольский гарнизон был настроен настолько воинственно, что трудно было даже рассчитывать на полное повиновение всех частей, если объявить им решение сдать Севастополь без отчаянного кровопролитнейшего боя, который только и мог бы доказать им необходимость этого шага.

Но кроме всего этого, Горчаков заботился еще и о чистоте своего имени в глазах того высшего круга, в котором он привык вращаться.

— Ведь никто не захочет даже узнавать причин, причин, по которым я вынуждаюсь сдать Севастополь,—вот что главное!—жаловался он своему неизменному слушателю—начальнику штаба, Ко-

цебу.—А будут только плевать в меня:—Сдал!..— Да еще, пожалуй, и «подлеца» прибавят! Государь добр, государь меня понимает, и он меня защитит, я в большой надежде на это,—спасибо ему! Но ведь на платок... как это говорится?..— На каждый роток не воткнешь платок,—в этом роде что-то... И не воткнешь! Всех чужих ртов не закроешь! Стыду и бесчестию предадут имя князя Горчакова! А чем же, чем же я виноват, скажите? Россия велика, а войска в Крыму мало, а что я могу сделать без войска? И без снарядов? И без пороху?.. Ведь пороху только до 6 июня осталось, а потом что?.. Была у меня надежда заболеть, да как следует заболеть, так чтоб и с постели не вставать целый месяц,—вот как Меншиков вздумал тут заболеть, хитрец этот, но вот, вы сами видите, не удалось! Не повезло,—и в этом не повезло! Начиналась было болезнь, да так разволновался 26 мая, что забыл просто, как-то даже из ума вон выскочило, что я болен! И что же теперь может меня спасти, скажите? Только три вещи могут меня спасти, и все должны быть внезапные: мир,—совершенно какой-нибудь внезапный,—чума—тоже внезапная и в сильнейшей степени,—там, там, разумеется, у союзников!—или холера, да такая, чтобы от нее они там и свету не взвидели!.. Праздные мечты, утопии, дурацкие шутки, да, конечно, однако и министру я так напишу, что никакого четвертого, недуряцкого выхода из моего подлого положения я не вижу.

И Горчаков действительно писал военному министру, князю Долгорукову, и о том, что, «заболев, думал, что бог сжалился, наконец, и дарует милость не быть свидетелем бедственных последствий, которые готовит злая судьба»; и о том, что его «осеняет единственный луч надежды на то, что неожиданные обстоятельства: мир, холера или чума, придут на помощь...»

После этого письма на помощь Горчакову решило притти само военное министерство в лице его директора канцелярии, генерал-адъютанта барона Вревского.

Давно известно, что все гениальное просто; план Вревского был тоже чрезвычайно прост. Он предлагал вывести гарнизон из Севастополя не путем переправы через бухту под выстрелами неприятеля, а сухопутным, в обход бухты, то есть к Черной речке, сосредоточив его для этого весь на Корабельной стороне, а на Городской оставив только незначительное число людей для заклепки орудий и застрельщиков, которые должны были ввести в обман противника своим неумолчным огнем. Когда же севастопольский гарнизон атакует позиции противника на его правом фланге, то одновременно все полевые войска Горчакова должны ринуться через Черную речку поддержать натиск севастопольцев.

Таким образом должен был произойти красивый

маневр—обмен позициями: союзники захватывают Севастополь, а в это самое время русские войска захватывают все батареи правого фланга союзников, и бесчестие сдачи русской крепости будет совершенно затусшевано и перекрыто разгромом не менее сильно укрепленных позиций врага.

Красота этого плана, да еще предложенного не кем иным, как самим директором канцелярии военного министерства, непременно должна была очаровать и очаровала действительно все министерство.

Очарователен оказался и самый стиль докладной записки барона Вревского, содержащей этот план:

«Если нам суждено очищать твердыни, орошенные русской богатырской кровью, то—движением вперед, а не назад. Так мы не потеряем более двадцати тысяч человек, но возвысим славу русского оружия. Крайние обстоятельства требуют и крайних мер. Смелым бог владеет. Неприятель берет наши батареи, и я не понимаю, почему его батареи были бы для нас неприступны».

Защитники-то Севастополя понимали это, но издали все кажется виднее и проще, и барон Вревский, обольстивший своим планом не только военного министра, но и самого царя, был послан им в Крым к Горчакову под предлогом следить за продовольствием армии и вообще за снабжением ее всем необходимым, а на самом деле затем, чтобы поддержать его своими убедительными доводами, добиться того, чтобы он не отступал, а наступал, так как только наступление может сулить победу.

Короче, барон Вревский был выдвинут министерством и царем на роль русского Ниэля, хотя далеко не имел военных знаний Ниэля.

Но пока, снабженный наставлениями Долгорукова и личным письмом к Горчакову царя, Вревский собрался к отъезду в Крым, там уже были подготовлены и разразились решительные действия интервентов против Севастополя и его гарнизона: часто случается это, что спасители являются поздно.

2

Все складывалось в стане интервентов в пользу неотложных и решительных действий.

Прежде всего успех дела 7—8 июня (26—27 мая) требовал нового и теперь уже сильнейшего броска вперед, так как нельзя было дать остыть подъему, царившему в войсках, среди которых слово «штурм» повторялось на все лады.

Затем, никогда до этого войска союзников не были в лучшем состоянии в смысле здоровья и обеспечения их всем необходимым, и никогда раньше число их не было столь значительно под Севастополем, теперь скопилось до ста восьмиде-

сяти тысяч, из которых сорок пять—одних только англичан, так что маршал Раглан поднял опущенную было голову.

Кроме того, взамен огромного количества истраченных для третьей бомбардировки снарядов прибыли новые транспортные суда со снарядами для мортир, тоже доставленных в большом числе: долговременная осада показала интервентам, что навесный огонь здесь гораздо действительнее прицельного, так как производит несравненно большие опустошения в рядах защитников крепости, скрытых от прицельного огня брустверами бастионов.

Но для того, чтобы установить новые мортирные батареи в целях окончательного разгрома севастопольских укреплений, понадобились новые земляные работы. Поэтому совершенно неожиданно для русских союзники прекратили ту оживленную пальбу по городу и бухтам, которую подняли было они в первые дни после занятия редутов.

Вдруг наступила тишина.

Нельзя было догадаться сразу, что она значила.

Когда останавливаются ночью часы в спальне и перестает стучать маятник, это будит сонного. Все в Севастополе заволновались: поскакали адъютанты и ординарцы, замаршировали к бастионам резервы,—с минуты на минуту ждали штурма.

Когда же утвердились в том, что это противник к восьмидесяти километрам проложенных уже им в каменистой земле под Севастополем траншей добавляет новые, то успокоился даже и сам Горчаков: основательно готовясь к несомненному теперь уже общему штурму города, союзники давали время и осажденным не менее основательно подготавливаться к его отражению, и прежде всего, стремясь сберечь как можно больше пороха и ядер для самых решительных минут, Горчаков приказал замолчать и русским батареям.

Постреливали только штуцерные в ложементах с обеих сторон, и то без всякого азарта: кирка и лопата сменили не на один день все другие орудия войны.

Французы принялись по-своему хозяйничать в захваченных редутах, обращая ложементы перед Камчаткой в две линии параллелей—третью и четвертую, ближайšie к новым батареям, на пятьдесят с лишком мортир, направленных на Корниловский, первый и второй бастионы; но и русские не сидели без дела, мирно дожидаясь окончания этих работ, цель которых была ясна.

Очень слабые первый и второй бастионы теперь превращались в бастионы не по названию только. Все, что можно было сделать для их усиления за несколько дней, было сделано под личным наблюдением Тотлебена: утолщены и подняты брустверы, углублены и расширены рвы, изменены направления старых амбразур, чтобы орудия смотрели в лицо появившимся на новых местах вражеским батареям, которых оказалось всего семь:

четыре на Камчатке, две на бывшем Селенгинском редуте и одна на Волынском; значительно увеличено число орудий крупного калибра и оборудованы места для полевых, чтобы действовать из них картечью на случай штурма.

Между тем две дивизии—седьмая и пятнадцатая,—отправленные из Южной армии в Крым, были уже не так далеко от Николаева, и до прихода их к Севастополю могло пройти не больше десяти дней. Впрочем, и к союзникам шло большое подкрепление: возвращался десантный отряд из Керчи вместе с эскадрой. Так что и с той и с другой стороны возникали и зацветали надежды; гораздо пышнее, конечно, у союзников, которые предвкушали уже полнейший и блистательный успех и видели вблизи окончание утомительной, кровопролитной и страшно затянувшейся осады.

Около шестисот осадных орудий было предназначено к тому, чтобы истолочь, разметать в кратчайший срок русские насыпи, засыпать рвы и привести бастионы в такой же точно вид, в какой были приведены три редута впереди Малахова.

Снова, как и в недавнюю бомбардировку, было заготовлено по четыреста-пятьсот снарядов на орудие, в то время как защитники Севастополя никак не могли наскрести больше ста и то далеко не для каждого: были и такие орудия, для которых нашлось только по пяти снарядов.

Наконец, скученность русских батарей позволяла противнику скрещивать огонь своих орудий на каком-нибудь одном участке и, приведя его к полному молчанию, переходить на другой. Этот прием применялся уже союзниками не раз и с особым успехом перед штурмом Камчатки. Горчаков, приехавший смотреть работы на бастионах, предугадывал, конечно, что прием этот будет применен снова, и говорил окружающим:

— Если бомбардировка такой силы, как двадцать шестого числа, будет продолжаться столько дней, как на пасху, тогда, господа, что же будет тогда, вы подумайте! Тогда я не только один гарнизон потеряю, я должен буду потерять три, четыре таких гарнизона, то есть всю свою армию. Потерять город, уже обреченный на потерю, это—одно, но потерять армию, которую тут могут стереть в порошок за десять дней, как хотите, а я не имею на это права! Нет! Упорствовать в защите того, чего нет возможности защищать,—что же я, безумец, что ли,—потерял последний рассудок? Нет, слава богу, не потерял, и я не допущу этого! Не допущу!

Но на десятидневную бомбардировку не рассчитывали и сами интервенты. Напротив, военный совет, собранный Пелисье, на котором, кроме главнокомандующих, были и некоторые генералы союзных армий, решил, что вполне довольно двадцати четырех часов усиленного действия батарей, чтобы подготовить штурм.

На этом совете присутствовал и новый посланец Наполеона, гвардейский генерал с длиннейшей фамилией—Реньо-де-сен-Жан-д'Анжели. Пелисье не считал уже нужным поступить с ним так же, как с Ниэлем, несмотря на то, что он привез ему категорический приказ императора действовать по новому плану, то есть двинуть армию в глубь полуострова. Пелисье решил быть с ним не только преувеличенно любезным, но даже, чтобы угодить императору, дать возможность этому гвардейцу отличиться в предстоящем штурме.

Он сделал вид, что вполне готов начать выполнение плана Наполеона и эту почетную задачу предоставляет способнейшему из своих генералов—Боске, а корпус Боске, предназначенный для штурма Корабельной стороны, вручил Реньо-де-сен-Жан-д'Анжели.

Правда, этот новичок не успел еще и осмотреться, куда именно и как должны были идти бригады его корпуса, но это и не было нужно: ведь все уже было подготовлено деятельным Боске, который переходил теперь в сторону Инкермана и Черной речки, чтобы вести силы, расположенные в Балаклавской долине и на Федюхиных высотах, против сил Горчакова.

Красивый план действий, придуманный в Петербурге бароном Вревским, перекрывался таким образом не менее красивым планом, придуманным в Париже самим Наполеоном.

3

Среди французских генералов были все-таки осторожные люди, как Канробер и Ниэль: они на совете подали мнения не спешить со штурмом, а подготовить его возможно лучше. Но Пелисье отлично знал нерешительность своего друга Канробера; что же касалось Ниэля, то отношения у него с ним оставались натянутыми: он не забывал, что в глазах Наполеона Ниэль все-таки был первым кандидатом в главнокомандующие в случае, если бы на долю его, Пелисье, выпала какая-нибудь крупная неудача.

Но в удачу штурма он верил слепо.

Главными козырями своими он считал подъем духа солдат после захвата трех русских редутов и слабость огня русских батарей. Он совсем не хотел ждать, когда к севастопольским бастионам круторогие степные волны подвезут достаточное количество пороха и снарядов. Его основным правилом было ковать железо, пока оно горячо. Это был человек кипучей энергии, несмотря на свои почтенные седины.

Лорду Раглану предоставлялась честь и возможность взять, наконец, Большой редант—третий бастион, подступы к которому были уже в руках англичан. Но о том, что рука Раглана была потеряна им во время битвы при Ватерлоо, не забыл

хитроумный, как Улисс¹, Пелисье, и, желая окончательно пленить своего союзника, он предложил назначить днем штурма Севастополя—годовщину победы Веллингтона и Блюхера над Наполеоном I при Ватерлоо, то есть 6/18 июня.

Пелисье не сомневался в том, что этот день как нельзя лучше воодушевит не только Раглана, но и всю вяло действующую английскую армию, одушевление же обеспечит победу англичан, совершенно необходимую в глазах квартала Сити и сенджемского дворца: неудобно же было одерживать победы над русскими одним только французам в то время, как вся Восточная война велась в интересах Англии!

Желая угодить императору, который недолюбливал Боске, назначением Реньо-де-сен-Жан-д'Анжели командиром ударного корпуса, Пелисье даже не пригласил Боске на военный совет. Он знал, что Боске будет слишком поражен и огорчен тем, что его отодвигают на задний план, и предпочел не объясняться с ним лично, а просто послать ему предписание «принять начальство над корпусом французов в двадцать пять тысяч человек для поддержания операций сардинской и турецкой армий, которые накануне штурма двинутся к селеению Ай-Тодор».

Предписание это было получено генералом Боске всего за два дня до штурма, и он поспешно сдал свой корпус бравому гвардейцу, а сам отправился на Федюхины высоты.

Беспокойство Горчакова все возрастало по мере того, как он убеждался в близости новой бомбардировки, предвестницы штурма.

Для того чтобы штурм был отбит, он вынужден был посылать из своей армии полки на усиление севастопольского гарнизона, то есть на явную, по его мнению, и бесполезную для дела гибель. В то же время он чувствовал, что над ним нависают тучи со стороны Черной речки, и предполагал движение подобных же туч со стороны устья речонки Качи, где ничего не стоило союзникам высадить десант.

Одержимый лихорадкой самых тяжелых в его жизни мыслей, он сочинял приказ за приказом, куда и как и какие передвигать части, и части эти маршировали сегодня в одну сторону, чтобы завтра маршировать в другую, сам же он совершенно потерял способность спать и не давал спать никому из чинов своего штаба. И неизвестно, чем бы могло окончиться такое состояние там, на Инкерманских высотах, если бы здесь, в Севастополе, рано утром 5/17 числа не началась страшнейшая канонада.

В ожидании ее, а за нею штурма, Остен-Сакен рассылал по войскам гарнизона предписания, цель

¹ Улисс или Одиссей—герой поэмы Гомера «Одиссея», отличавшийся умом и хитростью.

которых была указать все средства к успешной обороне города и Корабельной. Не забыты были и кашевары, артельщики, каптенармусы, которым приказано было по тревоге бросать все свои хозяйственные дела,—взять в руки ружья и бежать в заранее назначенное место, где из всей этой нестроивщины должен был составиться сводный батальон.

Чтобы солдаты не расходились с носилками на перевязочные пункты, было совсем запрещено подбирать раненых после того, как барабанщики пробуют тревогу; так же и всем рабочим приказано было мгновенно по тревоге бросить работы и занять свои места на линии обороны. Пожары, которые могли возникнуть в городе, приказано было не тушить.

Строго воспрещено было преследовать отбитого противника, выскакивая для этого из-за укреплений: провожать его разрешалось только огнем. Наконец, чтобы оборона протекала как можно спокойнее и деловитее, совершенно изгонялось на это время «ура».

Но в то же время, несмотря на полную очевидность для всех, что главной целью штурма явится Малахов курган и прилегающие к нему бастионы, большая часть гарнизона держалась все-таки на Городской стороне, где обороной ведало несколько генералов; на Корабельной же начальником войск был Хрулев и в помощь ему,—на первый и второй бастионы,—назначен был начальник 8-й дивизии, князь Урусов.

4

Четвертая бомбардировка Севастополя началась еще до рассвета, ровно в три часа; открыли ее мортиры интервентов, так как прицельная стрельба была затруднительна из-за темноты.

Однако и на бастионах и в городе долго не замечали потом рассвета,—до того густ и непроницаем для слабых утренних лучей был дым. В этом дыму в городе особенно заметны были только белые голуби, разбуженные падавшими на улицах снарядами. Они кружились, обезумевшие и слепые, пока не натыкались на разбитые окна верхних этажей домов и в них исчезали.

Гул, визг, шипение и искры в небе от летящих тучей снарядов и ракет; желтые вспышки выстрелов в дыму со стороны неприятельских батарей; взрывы бомб, и вслед за ними далеко во все стороны летящие вместе с осколками камни мостовых или фундаментов разрушенных раньше домов; вопли раненых, особенно резкие в темноте; и тут же торопливый цокот подков по булыжнику, и верховой в темноте кому-то кричит: «Эй! Как проехать к штабу?..» И еще выкрики,—полновесная русская ругань: два ротных артельщика с тяжелым куском мяса, который несут они на

малке, попадают в темноте в воронку, минут за пять до того вырытую бомбой, и роняют мясо, и как можно не выругаться тут от полноты чувства?..

А на колокольне одной из уцелевших еще церковей какой-то невозмутимый понамарь в четыре часа, как всегда по воскресеньям,—потому что 5 июня был воскресный день,—начал свой трезвон к заутрене, и на бастионах в прикрытиях, различая этот трезвон сквозь рев канонады, иные богомольные солдаты усердно крестились...

Так как Пелисье приказал «не ограничивать расхода снарядов», то французские артиллеристы старались изо всех сил выпустить их как можно больше... Стреляли залпами. Корабельную сторону засыпали разрывными снарядами, ядрами и ракетами еще до восхода солнца, и когда взошло оно, и когда несколько разрядился дым, свеянный бризом, общая картина разрушения оказалась жуткой, невыносимой для непривычных глаз: развалины домишек и казарм, кое-где красные от свежей человеческой крови, воронки, разорванные трупы...

Но привычные глаза севастопольцев скользили по всему этому, не задерживаясь. Шли носильщики с ранеными, проходили им навстречу команды солдат, везли на руках орудия, по тридцать, по сорок человек впрягаясь в одно... и часто не довозили, так как огромных размеров бомбы разрывались иногда как раз посреди этих по-рабочему напряженных толп...

Триста двадцать осадных орудий било по Городской стороне и сорок—по рейду. Но город был переполнен солдатами, приготовленными к отражению штурма, который мог начаться, когда этого захотят враги. Нельзя было опоздать притти на бастионы к этому решительному для Севастополя моменту, и негде было укрыться от ядер и бомб: батальоны стояли просто на улицах.

Стояли, конечно, «вольно». Курили трубки, искали в рубашках, иные даже чинили белье... Где ели из бурливших котелков горячую кашу—свой завтрак, где кашу уже поели и спали, потому что ночью не пришлось выспаться... Иные же командами шли купаться в бухте и плескались там и кричали, указывая друг другу на белые фонтаны, поднимаемые бомбами... Смерть была везде и уже перестала пугать.

Артиллерийские лошади везли бочки воды на бастионы—поливать разогретые до предела орудия; лихие фушштаты, один обгоняя другого, если было где обгонять, волокли туда же целые горы туров; иные из них доезжали, другие нет... А на бастионах люди перестали уже быть людьми: они перескочили через какой-то барьер, отделяющий человека от другого совсем существа,—преображенного, нового, небывалого до этого в природе...

Бастионы сделались подлинными кораблями; их площадки—палубами, их брустверы—бортами, и казалось даже, что они не стояли на месте, что они

давали сильнейший крен то вправо, то влево, как в бурю,—ежесекундно к ним летели снаряды, и на головы матросов, стоявших у орудий, летели мешки с землею, фашины, камни; осколки снарядов, досок из платформ; головы, ноги и руки разорванных около товарищей; брызги крови, песок и щебень в клубах седого дыма; вдобавок к этому взрывы, от которых земля как будто уходила из-под ног,—и среди всего этого ада нужно было действовать отчетливо и спокойно, заряжая или наводя орудия, исправляя обвалившиеся амбразуры, поднося из погреба снаряды, без секунды промедления становясь на место убитого или тяжело раненного товарища, чтобы не было перебоя в ответной по неприятельским батареям стрельбе.

На одном только третьем бастионе было выбито к полудню этого ужасного дня семьсот человек артиллерийской прислуги и триста—из прикрытия,—тысяча!

В десять часов утра появился уже на русских батареях снарядный голод, и пошел гулять позорный приказ «стрелять реже», для того чтобы вызвать обратный приказ: «стрелять чаще»—на батареях противника.

Огромные бомбы разметывали крыши блиндажей, сделанные из толстых дубовых бревен, на которые было насыпано два-три метра земли: взрывали полуторастапудовые пороховые погреба, правда, уже истощенные на три четверти; подбивали орудия, разрушали брустверы, так что за ними невозможно уж было стоять в полный рост... Так было на Малаховом, на третьем и втором бастионах уже к двум часам дня.

Но в том же состоянии оказались к вечеру и бастионы Городской стороны—четвертый, пятый, шестой. Вечером же, с наступлением темноты, несколько судов союзной эскадры подошли очень близко ко входу на Большой рейд и дали почти одновременно залп из орудий одного борта по рейду и городу.

Страшный грохот и гул этого залпа перекрыл пальбу сухопутных орудий, а немного спустя залп повторился, и вслед за ним начались пожары в нескольких местах в городе и потом страшный взрыв на Артиллерийской слободке, где загорелся склад готовых, чиненых бомб.

Этих бомб на складе было около пятисот. С телеграфа над библиотекой, где стояли в это время Нахимов, Тотлебен и Васильчиков, было видно, как толпы солдат, озаренные пламенем, бежали от своих же бомб.

Казалось, назревал уже момент штурма, и трос из самых видных защитников города, каждый про себя ожидал внезапной тишины и барабанной дробы тревоги, потому что каждый ставил себя на место противников и думал, что лучшего времени для штурма они не могли бы желать: город горел, склады бомб в нем взрывались, потери

гарнизона были огромны, бастионы были разбиты, рвы засыпаны... Приди и возьми!

Но вот на телеграфе появился совсем юный на вид мичман и отпраповал Нахимову, как старшему из трех:

— Ваше высокопревосходительство! Командиру Малахова, капитану первого ранга Юрковскому, снарядом оторвало ногу,—требуется доктор для перевязки!

Нахимов смотрел на него непонимающими глазами.

— Юрковскому... оторвало... ногу?—переспросил он.

— Так точно, ваше превосходительство!

— Слышите ли?—обратился Нахимов к Васильчикову.—Прсят доктора! Доктора-с, а? А у меня вон переплетчика в подвале убило... со всей его семьей... Ваша фамилия-с?

— Мичман Зарубин, ваше высокопревосходительство.

— Кто вас послал ко мне?

— Генерал-лейтенант Хрулев...

— Доктора!.. Что же может доктор, если оторвало ногу-с?.. Юрковский,—вы слышите, Эдуард Иванович?—повернулся он к Тотлебену.—Третьего там теряем, на Малахове!

— Что делают на Малахове?—сожалеюще покачивая головой, обратился Тотлебен к Вите.

— Идут работы, ваше превосходительство.

— Ага! Работают? Хорошо... Я сейчас же еду туда...

Вите казалось, что он послан был Хрулевым с важным все-таки донесением: опасно ранен командир четвертой дистанции оборонительной линии, заместитель контр-адмирала Истомина, и он не знал, чему приписать, что его донесение встречено, как какое-то ничтожное, вздорное, и Нахимов говорит что-то малопонятное о каком-то переплетчике... Но здесь, на телеграфе, на площадке, с которой виден был весь город, пылающий в нескольких местах, ждали другого донесения—о штурме, который мог бы принести общую гибель, а опасное ранение, может быть, даже близкая смерть Юрковского,—это было, конечно, далеко не то, что общий штурм города ночью.

— Ну, где я буду искать доктора-с, а? Пусть несут на перевязочный пункт, поезжайте-с, скажите там,—ворчливо обратился к Вите Нахимов, и не успел еще Витя сказать обычное: «Есть, ваше высокопревосходительство!»—как раздался новый оглушающий залп с моря, и в небе веером разошлись огненные следы снарядов, направляющихся сюда, в город, чтобы произвести новые разрушения и пожары.

Витя невольно задержался на одной из ступенек мраморной лестницы, следя за полетом этих бомб и думая об отцовском домике на Малой Офицерской, когда через перила перегнулась длинная и

тонкая фигура Васильчикова, и он крикнул ему:

— Послушайте, мичман! Кто принял команду над четвертой дистанцией?

— Капитан первого ранга Керн, ваше превосходительство,—звонко ответил Витя.

— А-а, так, хорошо... можете идти.

5

Уже по тому, как велики были повреждения от русского огня на батареях союзников, и по тому, сколько было потерь среди артиллерийской прислуги, французские и английские генералы безошибочно могли считать штурм подготовленным еще до наступления сумерек: размеры русских потерь и повреждений представлялись им ясно.

К семи часам вечера Пелисье собрал своих генералов, руководителей близкого штурма, на совет, в какое именно время начать штурм.

Так как все, начиная с самого Пелисье, твердо были уверены в том, что ими подготовлен последний акт севастопольской трагедии, что завтра на развалинах бастионов будут уже развеяться их знамена, то вопрос был только в том, как избежать большого числа потерь, чтобы этим не огорчать императора.

Русские штыки были уже достаточно известны французским генералам по двум предыдущим боям; однако и русская картечь при атаке на Малахов курган и на второй и третий бастионы показала себя тоже неплохо. Начинать драку засветло было невыгодно; и хотя на первом военном совете было решено штурмовать русские укрепления на рассвете, этот, второй совет, отодвинул начало штурма на три часа утра, чтобы без потерь в темноте подвести как можно ближе к разбитым бастионам свои бригады.

Еще было решено на этом совете, что сигнал к атаке даст сам Пелисье ракетой со звездочками, которая будет пущена с Ланкастерской батареи. Эта же ракета должна была служить сигналом и двум дивизиям англичан, которые под испытанной командой сэра Броуна расположились перед третьим бастионом.

Чуть только смерклось, французские дивизии потянулись занимать свои исходные места.

Дивизия Мейрана, которая должна была штурмовать первый и второй бастионы, спустилась в Килен-балку, дивизия Брюне заняла траншеи впереди бывшего Камчатского люнета и вправо от него; дивизия д'Отмара, укрывшись в Доковом овраге, продвигалась к траншеям левее Камчатки.

В резерве дивизии Мейрана стал полк гвардейцев, а за Зеленым Холмом (Кривой Пяткой)—две конные батареи, которые должны были мчаться на захваченные позиции, чтобы отступающих русских солдат поливать картечью.

И артиллеристы этих батарей, и гвардейцы, и зуавы, и егеря, и алжирские стрелки, и legionеры иностранного легиона—все знали твердо, что славное утро будущего дня сделает их, наконец-то, хозяевами этого колючего Севастополя.

Десять больших судов союзной эскадры, пользуясь темнотой, продолжали громить город, хотя береговые батареи и отвечали им очень редким, правда, огнем.

Однако ни эта жестокая канонада, ни навесные выстрелы многочисленных мортир с сухопутья не остановили кипучих работ на бастионах.

Заменялись орудия, сколачивались заново разбитые платформы... Лопата за лопатой насыпались и выравнивались валы, очищались рвы, прорезывались амбразуры, утолщались крыши пороховых погребов, чинились блиндажи... а кто падал с лопатой или с киркой в руках убитый или тяжело раненый, тех уносили.

Все было просто, как всегда, а между тем стоило любого боя; все назывались только рабочими, а между тем были героями; и если на одном участке Малахова работали старые защитники Севастополя—владимирцы, а на другом гораздо более молодые—севцы, то ничуть не хуже шли работы и там.'

«Русским нельзя давать не только ночи отдыха, но даже и одного часа,—писалось как раз в это время в одной из английских газет.—Если хотите иметь успех, надо бомбардировать их батареи самым усиленным образом в продолжение нескольких суток, не умолкая ни на одну минуту, и потом сейчас же идти на приступ...» Так заставили уважать себя рабочие на бастионах.

Охотцы, всего месяц назад справлявшие годовщину своих боевых трудов здесь, в Севастополе, камчатцы, остатки минцев и волынцев и Брянский егерский полк стояли в эту ночь в прикрытии третьего бастиона. Дальше, на батарее Жерве, всего только один, численно слабый,—в нем не было и трехсот человек,—батальон Полтавского полка; остальные три батальона того же полка, Севский полк и два батальона Забалканского расположились на Малаховом; суздальцы—от Малахова до второго бастиона, который прикрывали два батальона забалканцев; наконец, на первом бастионе стояли части Кременчугского полка.

Боевые полки—Селенгинский и Якутский, с генералами Павловым и Сабашинским, помещались за домами и развалинами домов на Корабельной в резерве. Все эти полки и остатки полков несли большие потери от бомбардировки, но они знали, что назначение их—отстаивать Севастополь в случае штурма, которого необходимо дожидаться, не сходя со своих позиций, как бы долго ни пришлось ждать.

И они дождались.

Ровно в три часа над батареей ланкастер-

ских орудий, стоявшей на Камчатке, взвилась ракета необыкновенной красоты и рассыпалась медленно падавшими крупными белыми звездами. Вслед за этим началось движение в траншеях противника, как об этом тут же донесли секреты пластунов, лежавшие впереди второго бастиона.

Прошло не больше пяти минут, и барабанщики на бастионе лихо ударили тревогу, и барабанная дробь покатила по всей линии укреплений.

— Ваше превосходитс... Тревога!.. Тревога!— кричал Витя Зарубин, вбегая в оборонительную казарму первого бастиона, где на железной койке командира этого бастиона, Перелешина, прилег отдохнуть от забот целого дня и половины ночи начальник всего левого фланга укреплений Хрулев и забылся тяжелым сном.

Догорающая свеча чадила; от нее юркнули в стену, насухо сложенную из камней, две мыши.

Так как Хрулев лежал одетым, то, вскочив и оглядевшись припухшими красными глазами, он тут же напялил папаху, накинул бурку и выскочил из казармы наружу, ничего не спросив у Вити: нечего было спрашивать, раз до сознания дошло слово «тревога».

Но было и другое еще слово, «Малахов», которое стало рядом с словом «тревога»: не здесь, на фланге, а там, в центре укреплений, в сердце обороны должен был стать начальник левого крыла, чтобы руководить защитой.

И перегоняя Витю, Хрулев бросился к конюшне, где под навесом белелся в чуть начинавшей редеть темноте его аргамак, такой же неуязвимый пока, как и хозяин.

Однако треск и грохот сзади заставили его оглянуться.

— Что там такое?—спросил Хрулев.

— Бомба в окно влетела!—крикнули оттуда, от казармы.

Несколько моментов ждали взрыва, но взрыва не было. Бомба легла спокойно на ту самую кроватку, с которой только что встал Хрулев.

Ему еще успели сказать об этом.

— Вот тебе раз!—удивился Хрулев, уже сидевший на своем белом.—Значит, бог еще нас, грешных, бережет! Ну, в добрый час!

Он перекрестился, слегка приподняв папаху, и послал вперед белого. Витя и Сикорский на небольших казачьих лошадках пустились следом, не удивляясь тому, что никаких распоряжений по обороне этого бастиона Хрулев не сделал теперь.

Распоряжения были даны раньше, а капитан 1-го ранга Перелешин был переведен сюда с Малахова кургана, на котором провел семь месяцев, командир же пехотного прикрития, генерал Урусов, был тоже не новичок.

Малахов же тревожил Хрулева еще и потому, что старый хозяин его, Юрковский, был при смерти, а новый хозяин—Керн—мог что-нибудь и не

так сделать, самое же важное для него было в том, что и командир пехотных частей там, генерал Замарин, был тоже ранен и заменен молодым генералом Юферовым; наконец, Тотлебен прислал туда приказание поставить справа четыре полевых орудия на случай штурма, и Хрулева беспокоил вопрос, успели ли их поставить.

Он не сомневался в том, что и теперь, как десять дней назад, первые штурмующие колонны французов двинутся против Малахова. Поэтому он не останавливался ни на втором бастионе, ни дальше, а спешил поспеть на курган к началу штурма.

Однако именно там, откуда он только что уехал, и поднялась оживленнейшая орудийная и ружейная пальба: дивизия Мейрана, выйдя из Килен-балки, первая бросилась на штурм.

Но встречали ее не только легкие батареи и стрелки, стоявшие на банкетах. Если ракета, пущенная с Камчатки, служила сигналом для начала штурма, то и на Малаховом, как самом высоком месте левого крыла оборонительной линии, вспыхнул ярким белым огнем фальшфейер, как сигнал для флота, для города и правого крыла бастионов, что штурм начинается, вот-вот грянет,—назрел.

Штурм еще не было тогда, но барабаны уже били тревогу, и этот взвившийся в темное небо белый огненный столб сдвинул с места прежде всего шесть пароходов: «Владимир», «Херсонес», «Бессарабия», «Крым», «Громоносец» и «Одесса» на всех парах ринулись к Килен-бухте и открыли сильнейший огонь по Килен-балке как раз в то время, когда оттуда выдвигалась вторая бригада дивизии Мейрана.

Такой предусмотрительности русских, такой бое-способности Черноморского флота, казалось бы совершенно приведенного в негодность, никак не предполагал Пелисье, это было первое, что сильно расстраивало его планы.

Начало четвертого часа ночи в июне на южном берегу Крыма—это еще не рассвет, однако солнцу, встающему из-за моря, ничто не мешает, и какие-то, если не лучи, то предвестники его лучей уже проникают в это время в темноту, и темнота на глазах сереет, хиреет, оседает вниз, и с каждой минутой становится все виднее и виднее кругом.

Десять больших судов союзного флота принесли много потерь своей бомбардировкой в эту ночь севастопольскому гарнизону; но шесть русских пароходов явились так во-время и так кстатп, что второй бригаде Мейрана пришлось отступить в глубь балки, оставив первую без поддержки, а первая не вынесла густой картечи и, не дойдя всего тридцати шагов до второго бастиона, остановилась.

Брошены были штурмовые лестницы и фашины,—зуавы рассыпались, притаясь за камнями и в ямах, и открыли стрельбу по амбразурам, но вперед не двигались, а время шло: штурм на этом

участке осекался в то время, как на других он еще не начинался.

Чтобы поддержать Мейрана, Пелисье приказал осадным орудиям открыть бомбардировку, и туча бомб полетела на первый и второй бастионы. В то же время новые ракеты со звездочками взвились в небо с Камчатки. Это было красивое зрелище, так как медленно падавшие белые звезды заняли теперь большое место в небе; теперь это был сигнал, которого не заметить было уже нельзя, и дивизии Брюне, д'Отмара и сэра Броуна двинулись одновременно на штурм своих участков русского фронта.

Мейран был ранен при первом приступе, однако он так был поражен своей неудачей, что, наскоро перевязавшись, устроив отступившие колонны и вызвав из резерва два батальона гвардейцев, снова с большой горячностью пошел на штурм, но снова был ранен картечью в грудь и на этот раз смертельно.

Бригадный генерал де-Фальи, принявший от него командование дивизией, ничего уже сделать не мог: картечь неслась с верхов, картечь неслась с бортов русских пароходов, потери были так велики, что французы стремительно ринулись назад, в спасительные извилины Килен-балки, и больше уж нельзя было заставить их выйти оттуда.

Не только лестницы, фашины, саперные лопаты, которые были брошены, но еще и человек пятьдесят пленных достались здесь Урусову, руководившему обороной.

6

Когда Хрулев доскакал до Малахова, там только еще устанавливали два полевых орудия из четырех, посланных Тотлебену, для чего нужно было значительно поднять насыпь.

— Одно... два... А еще два где?—старался осмотреться в редеющей мгле Хрулев.

— Два орудия не могли прибыть,—начал было докладывать ему узкий в плечах артиллерийский подпоручик, но Хрулев перебил его криком:

— Ка-ак не могли, когда штурм?.. На гауптвахту!.. На десять суток!

— Мост был поврежден снарядом, ваше превосходит...—успел было в свое оправдание сказать подпоручик, но Хрулев уже повернул от него лошадь, и Витя слышал только, как его генерал выкрикнул, отъезжая:

— Моста не сумел починить в такое время! Эх, ...сказал бы я вам словечко!

Витя вопросительно поглядел на Сикорского, больше на память, чем глазами, ловя выражение его длинного усталого лица в полумгле. Вопросительный взгляд этот значил: «А ты как бы стал чинить мост и чем?»—Сикорский понял его: он поднял левое плечо к уху и вытянул трубкой тонкие губы.

— Где же генерал Юферов?—крикнул Хрулев, вытягиваясь на стременах своих, похожих на крысоловки, и поводя вправо-влево папайхой.

Вместо Юферова подошел Керн. По его словам, Юферов только недавно был здесь и поехал к церкви Белостокского полка, где тоже устанавливались полевые орудия, над чем работало два батальона Севского полка.

— Хорошо, около церкви, прекрасно! Но ведь сейчас штурм!.. Он должен быть здесь, а не там!—кричал Хрулев.—А мост через бухту починен?

Этого Керн не знал.

Рассветало быстро. С каждой секундой становилось светлее, и ясней выделялась плотная фигура Керна, а на пожилom лице его—треугольные вздутия под глазами, ближе к плоскому широкому носу, чем к ушам.

Но вот оглушительно разорвалась сажень в тридцати большая бомба. Два человека из тех солдат, которые возились над установкой полевых орудий, были подброшены... Мелькнули перед глазами Вити раскоряченные ноги, бессильно взмахнувшие руки и тут же исчезли в дыму.

Как раз в это время подъехал генерал Юферов, лет тридцати пяти на вид, с красивым бледным лицом, очень серьезным.

— А-а! Вы? Что?—совершенно неопределенно обратился к нему Хрулев.

— Полевая батарея поставлена у церкви,—приложив руку к козырьку, тоном рапорта ответил Юферов.

— Сейчас должен начаться штурм!

— Люди расставлены, готовы, ждут,—снова взметнул руку к козырьку Юферов.

И только когда донеслись до Вити эти спокойные слова, сказанные несколько гортанным голосом, он присмотрелся к банкетам: они желтели сплошь от солдатских шинелей.

Еще два снаряда разорвались почти в одно время, один сзади, другой довольно далеко справа, но это были уже последние: наступление дивизий Брюне и д'Отмара на Малахов началось,—густые колонны показались со стороны Камчатки, и штуцерники на банкетах, а также и те, у кого были нарезные ружья, подняли по всей линии верхов встречную пальбу.

Защитники Малахова не знали, конечно, что одною из первых пуль, пущенных ими, был смертельно ранен в грудь генерал Брюне, храбро шедший впереди беспорядочной, не успевшей построиться, массы своих солдат, а вслед за ним был убит пулей в голову командир всей артиллерии его дивизии, полковник Делабуссиньер, и две эти потери внесли полное замешательство в нестройные и без того ряды передового батальона, очень поредевшего в первую же минуту наступления. Неожиданно было для французов, чтобы русские встречали их такой пальбой с дальнего все-таки

расстояния—в девятьсот, примерно, шагов. Но в полках русских стало только гораздо меньше солдат, чем было их во время боев на Алме и Инкермане, штуцеров же больше; кроме того, и нарезные ружья били теперь на девятьсот шагов.

И в чем еще убедились французы после первых же русских залпов, это в том, что повторить свой почти парадный, победный марш на бастионы, как это сделано было ими десять дней назад в отношении передовых редутов, им едва ли удастся.

• Что обе колонны французов, появившиеся справа и слева от Камчатки, идут в атаку на Малахов, так показалось отсюда только в первые моменты. Но с каждым моментом становилось отчетливее видно вдаль, и вот, наконец, ясно стало, что левая колонна рассыпалась и частью прячется в каменоломни, частью выравнивает фронт против второго бастиона, а на Малахов идет правая колонна и, хотя многие падают в ней, идет быстро.

Незадолго перед тем вернувшись из экспедиции в Керчь, точно с увеселительной прогулки, дивизия д'Отмара и отдохнула, и чувствовала себя победоносно.

Была ли в этом большая доля презрения к русским, навеянного беззащитностью Керчи, или это была примерная стойкость солдат дивизии, считавшейся лучшей в корпусе Боске, но наступавшие, на ходу разобившись на два отряда, шли бодро, теряя многих, но все-таки выдерживая и частую ружейную пальбу и картечь.

Однако, не дойдя всего каких-нибудь ста шагов до рва кургана, левый отряд как бы споткнулся весь сразу, от передних рядов до задних. Вся напряженность, с какою шли вперед эти приземистые смуглые чернородые люди, в синих мундирах и острых кепи, опала вдруг... Вот они остановились... Вот, беспорядочно отстреливаясь, они попятнулись... Вот передние побежали, наконец, пригибаясь к земле и увлекая за собою задних, и многие падали, чтобы не подняться больше.

— Ого! Ого! Дали знать им мадам лэ мэр де Кузка!—возбужденно кричал Керн Юферову, наблюдая за ходом дела сквозь амбразуру.—Всыпали, бабку их за жабы, двадцать два с кисточкой!

Он был человек по натуре веселый и любил заковыристые выражения, а теперь был для этого прямой повод: штурм был отбит.

— Они на этом не кончат,—сказал ему Юферов.—Они пойдут еще раз...

— Тем для нас лучше!.. Тем их больше у нас тут останется...

Он хотел добавить кое-что живописное к этой бледной фразе, но заметил, что второй отряд французов,—правый,—направляясь на батарею Жерве, не идет уже, а бежит вперед, и передние недалеко уже от бруствера, сильно испорченного канонадой.

Это был пятый стрелковый батальон первой бригады дивизии д'Отмара; вел его майор Гарнье.

С батареи Жерве дали по этому батальону залп картечью, и Гарнье был ранен в левую руку, но подъем энергии его был велик,—он едва заметил, что ранен,—он бежал впереди своих солдат, и не успели дать по ним второго залпа картечью, как они уже вскочили на бруствер.

Полтавцы пустили в дело штыки, но их было немного, они были рассыпаны по батарее тонкой цепью, французские стрелки ринулись через невысокий бруствер плотной и стремительной толпой, и часть их захватила орудия, другая, большая, кинулась дальше, в глубь батареи, преследуя полтавцев.

Фронт русских позиций был прорван в самом слабом месте.

7

Передовые части дивизии Брюне, укрывшись от пуль в каменоломнях, преодолели замешательство первых минут. Их подтолкнули подошедшие сзади батальоны, их подняли новые начальники, ставшие на место убитых, и со второго бастиона увидели, что они, вновь выбравшись из убежищ, толпами бегут к валу.

Это была решающая минута.

Зуавы знали, что с одного из холмов, несколько дальше ланкастерской батареи, установленной на Камчатке, на них смотрит сам главнокомандующий, старый их генерал, алжирец Пелисье, и не хотели ронять в его глазах своей славы—славы лучшей пехоты в мире. Они бежали самозабвенно. Надвигающийся быстро рассвет позволял уже им обегать многочисленные волчьи ямы и воронки.

Несколько десятков зуавов с двумя офицерами, значительно опередив других, вскочили уже в ров бастиона; а отсюда, карабкаясь, как кошки, скрытые от пуль насыпью, двое офицеров с саблями наголо первыми взобрались на бруствер.

Но бруствер был уже весь облеплен якутцами, наставившими вниз штыки, и один из офицеров зуавов, с разинутым от воинственного крика ротом и выкаченными черными глазами, был тут же проткнут штыками и упал в ров, другой бросил саблю и быстро был передан в задние ряды, как пленник.

Но во рву притаилось несколько десятков зуавов-солдат, которых трудно было достать пулями, да пули к тому же нужны были для других, толпами подбегающих к валу с лестницами в руках.

— Лупи их камнями, братцы!—закричал майор Якутского полка Степанов.

И в ров полетели камни. Зуавы подняли руки,—они сдавались.

Однако французами полны уже были все воронки в нескольких десятках шагов от вала, и несколько минут длилось то, что невозможно передать

словами. Неумолкающий грохот ружейной пальбы с обеих сторон, частые выстрелы полевых орудий, осыпающие французов картечью, бешеные ругательства и вопли раненых и упавших в волчьи ямы, трескотня барабанов, пронзительный вой рожков.

Наконец, зуавы не выдержали и бежали, хотя на них и смотрел в подзорную трубу старый их генерал, алжирец Пелисье, а другой генерал, новый, с длиннейшей фамилией, посылал им на помощь батальоны гвардейцев из резерва.

Два раза еще потом откатившаяся дивизия умиравшего от раны Брюне шла на штурм второго бастиона, но теперь уже не доходила и на четверста шагов: оба раза, не выдерживая огня якутцев, селенгинцев, владимирцев, суздальцев и страшного действия картечи, поворачивала назад, устилая ранеными и убитыми поле.

Атака на левый фланг севастопольских позиций не удалась,—две французских дивизии разбились о них и не пытались уже повторять попыток, когда из-за моря выкатилось солнце.

Но в одно время с французами, по тому же сигналу с Камчатки, должны были двинуться англичане на штурм третьего бастиона и Пересыпи, примыкающей к нему, где тоже стояли батареи. Верные себе, они несколько запоздали. Уже гремела пальба со всех остальных укреплений по французам, когда англичане только что выходили из своих траншей, а резервы их начали продвигаться вперед по балкам Сарандинакиной и Лаботорной.

Зато они шли в полном обдуманном порядке: впереди цепь стрелков, потом широкоплечие матросы с лестницами и фашинами, а за ними солдаты легкой пехоты тащили мешки с шерстью.

Безупречно держали строй и три колонны, назначенные для одновременной атаки третьего бастиона, Пересыпи и промежуточных батарей, точно был это и не штурм, а парад после победоносного штурма.

Но очень теплая встреча ожидала эту девяти-тысячную армию прекрасно снаряженных и вымуштрованных солдат. Маршалу Раглану пришлось в этот день писать в своем донесении в Лондон:

«Еще никогда я не был свидетелем столь сильного и непрерывного картечного и ружейного огня с неприятельских верхов...»

Это была правда. На банкетах укреплений,—от батареи Жерве и кончая Пересыпью,—стояли солдаты пяти полков, но настолько малочисленных, что два из них—Минский и Волинский—были сведены в один батальон; однако это были весьма обстрелянные и окуренные порохом солдаты. Они стояли в две шеренги,—передняя стреляла, вторая заряжала, и в этой быстроте действий соперничала с ними артиллерийская прислуга, посылавшая в красномундирные ряды наступающих картузы картечи.

Сметены были цепи стрелков. Матросы, бросив штурмовые лестницы, побежали назад, один за другим падая на бегу. Парадно маршировавшие колонны растерянно остановились, потом рассыпались по ямам.

Бессменно стоявший на страже третьего бастиона с самого начала осады контр-адмирал Панфилов, человек баснословного спокойствия, посмотрел и сказал уверенно:

— Нет, не дойдут!

А между тем от передовых траншей англичан, переделанных за последние дни из русских ложечников, до исходящего угла бастиона было не больше трехсот шагов. Град ружейных пуль и картечи остановил на полупути все три колонны, из которых в одной было шесть тысяч человек, в другой—две, в третьей—тысяча.

Убит был генерал Джон Кемпбель, ранены сэр Броун и несколько штаб-офицеров.

Однако Большой редант во что бы ни стало должны были взять в это утро. Десять минут растерянности прошло, и англичане снова пошли на штурм.

Теперь они продвинулись ближе к веркам, их остановили только засеки, устроенные здесь по кавказскому образцу полудугою перед рвом и валом. Сооружения эти, очень нехитрые, оказались, однако, неодолимыми под губительным огнем почти в упор. Напрасно английские стрелки пытались то разбирать руками засеки, то, прячась за ними, вступать в перестрелку с русскими, стоявшими на бруствере: картечь их выбила быстро. Отступление англичан обратилось в безудержное бегство.

Третья попытка взять если не Большой редант, то хотя бы одну русскую батарею между ним и Пересыпью, кончилась тем же. И когда Пелисье предложил Раглану снова послать свои войска на штурм, тот решительно отказался.

8

А между тем сам Пелисье видел еще возможность крупного успеха: в прорыв русских позиций на батарее Жерве,—как раз по соседству с третьим бастионом,—был уже послан целый линейный полк во главе с полковником Манеком.

Но гораздо раньше его опасность, угрожавшую Малахову кургану с тылу, со стороны его горжи, увидел Хрулев.

Он дал шпоры коню, гикнул, как уральский казак, и поскакал наперехват бежавшим полтавцам, с которыми было и несколько человек матросов от орудий.

— Сто-ой!.. Сто-ой, братцы! Куда-а?—кричал он неистово на скаку.—Ди-ви-зия целая идет, а вы бежите!

Он оглянулся на ординарцев; ближе других к нему скакал боцман Цурик.

— Цурик! К генералу Павлову скачи, чтобы дивизию сюда! Скорей!

Боцман хлестнул арапником поперек брюха свою лошадку бурого цвета с чалой холкой и поскакал к церкви.

Витя знал, что около церкви Белостокского полка стоял в резерве генерал Павлов, но при нем было всего шесть рот якутцев, а совсем не дивизия. Слово «дивизия» было пущено Хрулевым просто для подъема духа.

Однако и одного вида всем известного генерала в папаше, бурке и на белом коне—Хрулева—оказалось довольно, чтобы бежавшие остановились.

— Навались, ребята!—крикнул один из них, матрос, черный, как негр, от дыму, без фуражки и с банником в руках.

— Навались, навались, братцы!—закричал, поймав на лету это чудодейственное народное словечко, Хрулев.

А между тем французы, зарвавшиеся слишком вперед, частью строились, остановившись тоже, частью поспешно забирались в домишки по скату Малахова кургана, наполовину разбитые бомбардировкой, и открыли оттуда стрельбу, поджидая свою дивизию, настоящую, подлинную, идущую за ними следом, первую дивизию первого корпуса, которую вел генерал д'Отмар.

Не минутами измерялось теперь время,—секундами. На Малаховом подняли уже красный флаг—сигнал большой опасности. На помощь к прорвавшемуся батальону майора Гарнье вслед за девятнадцатым линейным полком спешно шли большие силы, тогда как на помощь полтавцам прискакал один только Хрулев со своими ординарцами.

Вдруг Витя увидал в стороне каких-то солдат-рабочих с лопатами...

— Идут! Идут!—закричал он звонко, подняв в их сторону руку.

Хрулев обернулся к нему и тут же двинул белого в сторону рабочих.

— Какого полка, братцы?

— Севского!—ответили солдаты.

— Бросай лопаты!.. В штыки! За мной!.. Благоде-е-тели! Выручай!

Бросить лопаты и взять в руки ружья, бывшие за спиной у каждого, было делом двух-трех секунд.

И вот севцы,—их было всего около ста сорока человек,—со своим ротным, штабс-капитаном Островским, без выстрела кинулись в штыки на французов, успевших кое-как построиться, подтянув остальных.

Этот штыковой бой был короткий: французы не вынесли напора севцев,—часть их попятилась назад, к батарее Жерве, часть рассыпалась по домишкам.

Тем временем оправились и пришли в порядок полтавцы. Теперь они бежали, штыки наперевес, преследовать отступавших, а севцы остались перед

домишками, откуда французы расстреливали по ним большой запас своих патронов.

За стенами строений они чувствовали себя гораздо лучше даже, чем в своих траншеях. Из ближайшего же к севцам дома, в котором засело человек двадцать, поднялась в окна и отверстия в стенах, пробитые осколками бомб, такая частая пальба, что дом окутало дымом, как при пожаре, а севцы падали один за другим.

— Вперед, братцы!—скомандовал Островский и бросился к этой маленькой крепости с саблей, а за ним его солдаты.

Но пуля попала ему в лоб над переносьем, и он упал с размаху.

— Ура-а!—закричали севцы, забыв о запрете кричать «ура», прикладами выбили дверь, ворвались в дом и, как ни яростно защищались французы, переколоты всех.

Однако засевших в домишках, как в укреплениях, было не мало,—человек триста,—в то время как севцев из роты оставалось пятьдесят, не больше.

Хрулев же в это время метнулся к полевым батареям Малахова, чтобы направили выстрелы сюда, на свои же домишки.

Но скоро понял и капитан Будищев на своей батарее, куда нужно повернуть дула легких орудий.

— А ну-ка, прорежь, молодец!—то и дело командовал он своим комендорам.

Чтобы лучше разглядеть действие своих пушек по домишкам, он взобрался на бруствер. Он был весь в дыму и экстазе боя. И вдруг свалился он головою вниз, прижав к груди правую руку: штыцерная пробила ему сердце.

Так на батарее своего имени погиб этот храбрый моряк!

А в это как раз время беглым маршем подоспели, наконец, якутцы с генералом Павловым, и кстати: вслед за батальоном Гарнье пробилась сюда еще и большая часть первого батальона полка Манека; перед французами снова пятились полтавцы,—севцы же были почти перебиты, вступив в неравную борьбу с засевшими в домишках.

Дали знать, чтобы прекратили орудийный огонь по Корабельной, и началась жаркая штыковая схватка. Две роты якутцев ударили с фронта, остальные с флангов; окруженные с трех сторон французы не выдержали, хотя бились упорно, ожидая своих на помощь.

Часть их поспешно отступила снова на батарею Жерве, часть рассыпалась по домишкам, и это заставило якутцев разделить свои силы: одни гнали отступавших, другие принялись за домишки, откуда продолжалась стрельба, приносящая много потерь.

Французы не сдавались, хотя и были окружены, и стреляли на выбор.

— А-а! Ты как, проклятый! В наши хаты влез,

да озорничаешь!—кричали, свирепея, якутцы.—Руками передушим!

Если двери были из толстых досок, не поддававшихся прикладам, они вскарабкивались на крыши и оттуда сквозь пробонны, сделанные снарядами, бросали внутрь черепицу.

Много жертв потребовалось тут, чтобы очистить эти невзрачные хаты, почти развалины, от французов, но все-таки хаты были очищены почти в одно время с батареей Жерве, где французы хозяйничали уже возле орудий, обращая их жерла внутрь площадки.

Однако, отступая на эти орудия, стрелки батальона Гарнье отбивались очень упорно: они не хотели поверить, что дело проиграно; они ожидали напора всей своей дивизии в сделанный ими пролом...

Двое стрелков вздумали даже взорвать пороховой погреб, мимо которого шли, отступая. Они вырвали из рук убитого матроса курившийся пальник и бросились с ним к погребу, но за ними бежал рядовой Музыченко, якутец.

— Эге, гадюки!—разгадал он их умысел; догнал и заколол обонх.

Притиснутые к брустверу, французы то пытались перелезть через него, то выскакивали в амбразуры, но спастись удалось все-таки немногим. В числе этих немногих был и сам Гарнье, получивший четыре легких раны.

Русские солдаты рвались за ними в поле. Они кричали:

— Айда, ребята! Отберем Камчатку нашу назад!—и прыгали в ров, а потом бежали догонять французов.

По приказу Хрулева горнисты трубили отступление во всю силу легких, но солдат за валом становилось все больше и больше.

Хрулев выходил из себя:

— Притащат на своих плечах французов, э-эх, ты, чорт!

Подполковник Якутского полка Новашин сам должен был выбежать в поле, чтобы остановить и увести своих солдат в виду французов, готовившихся к новому штурму.

И не один, а два раза еще ходили на штурм французы, но теперь не удалось уже им нигде взобраться на бруствер, а трупы убитых при этих штурмах лежали за валами, в иных местах жуткими грудами—метра в два высотой.

9

Один каирал из стрелков Гарнье, когда якутцы выбивали французов из домишек, не замеченный в общей неразберихе боя и в густом пороховом дыму, направился не назад, вместе с отступавшими товарищами своими, а вперед, по Корабельной.

Около церкви Белостокского полка он остано-

вился, бросил совершенно не нужный уже ему штуцер, так как в патронной сумке не осталось ни одного патрона, а штык сломался, сел на папёрть, вытер платком трудовой пот и спокойно закурил трубку, хозяйственно оглядываясь по сторонам.

Проезжавший мимо из города на Малахов один из адъютантов Сакена спросил его удивленно: — Почему вы здесь?

— Поджидаю своих,—невозмутимо ответил каирал.

Адъютант ошеломленно озирался кругом.

— Кого именно «своих»?—пробормотал он.

Каирал охотно разъяснил:

— Да ведь не больше, как через четверть часа нашими войсками будет взят Севастополь,—отчего же мне не подождать их здесь?

Одного раненого молодого офицера подобрали якутцы на батарее Жерве. Подполковник Новашин сказал ему отеческим тоном:

— Потерпите немного, вместе с нашими ранеными вас отправят на перевязочный пункт в город.

Но раненый француз отозвался на это заносчиво:

— Напрасно вы беспокоитесь! Через полчаса город будет в наших руках, и меня перевяжут наши врачи, что будет гораздо лучше!

Этот молодой офицер имел большие основания быть уверенным в победе французов: он оказался племянником самого Пелисье.

Не сомневались и англичане, что, наконец-то, в день победы при Ватерлоо, им удастся занять Большой редант, к чему, в сущности, и сводились усилия целой Англии за девять месяцев осады Севастополя.

Не суждено было владычице морей овладеть с бою этим гордым бастионом, сколь ни громила она его сотнями своих мортир. Но снята была с одного убитого в этот день английского офицера инструкция за подписью генерала Гарвея Джонса, как должны были вести себя королевские войска после занятия реданта...

У английских офицеров была традиция торжественно завтракать в укреплениях, занятых путем штурма. И теперь каждый из них, отправляясь на штурм Большого реданта и Пересыпи, тащил в походной сумке заранее приготовленный завтрак, чтобы отпировать на славу...

Не пришлось!.. Как маком краснело развороченное снарядами, изъеденное воронками и волчьими ямами поле перед третьим бастионом, батареей Будищева, батареей Перекомского,—краснело мундирами убитых и тяжело раненных англичан.

Как только Горчаков получил по телеграфу донесение, что на бастионах быют тревогу, он не мог уже усидеть у себя на Инкермане. Он поскакал с большой, как всегда, свитой к Севастополю.

И здесь, с библиотеки, которая была самой высокой точкой города и которую как бы в знак

уважения к ней, щадили неприятельские ракеты, ядра и бомбы, главнокомандующий наблюдал, когда стало светлеть небо, за ходом обороны.

Когда на Малаховом кургане, по приказу Хрулева, вспыхнул перед рассветом второй фальшфейер, что означало «прошу подкреплений», Горчакову показалось, что все погибло, что вот-вот конец Малахову и всему делу обороны.

Сам себя перебивая, успел он за несколько минут отдать несколько приказаний и о том, какие полки снять с Городской стороны и перебросить на Корабельную, и о том, какие части из корпуса Липранди с Инкермана переправить в город с наивысшей поспешностью, так как, смотря вперед на Корабельную, он оглядывался и назад, на четвертый и пятый бастионы, а говоря о них Сакену или Коцебу, думал о Черной речке, откуда, не без основания впрочем, тоже ожидал нападения в это утро.

В то же время он все справлялся, не подошли ли первые полки 7-й дивизии, о которой ему было известно уже, что она прошла через Симферополь... Начавшийся бой на бастионах Корабельной принимал в его разгоряченном мозгу огромные всекрымские размеры...

Он успокоился только к семи часам, когда отовсюду с бастионов были получены донесения, что неприятель отбит с огромным для него уроном, не возобновляет штурмов и оттянулся к своим исходным позициям. Он снял свою фуражку, вздутьую, в то же время и смятую, как падающий воздушный шар, и с четырехугольным козырьком, огромным, как зонтик,—несколько раз торжественно перекрестился в сторону восходящего солнца, и от избытка охвативших его радостных чувств раскрыл свои широчайшие объятия и Сакену, и Нахимову, и Васильчикову, и прочим, бывшим в то время с ним генералам.

В это время была уже полная тишина; перестрелка совершенно прекратилась по причинам вполне понятным и той и другой стороне: четвертый акт севастопольской трагедии был сыгран.

10

Переливисто сверкали на солнце штыки батальонов, двигавшихся по взгорью Северной стороны, направляясь к пристани. Подкрепления эти были вызваны еще на заре Горчаковым, и их деятельно перевозили потом через Большой рейд в город пароходы и баркасы, но в них уже не было теперь нужды: «пушка его величества» как умолкла, сконфуженная неудачей, так и продолжала молчать не менее трех часов подряд.

Поражение интервентов, совершенно для них неожиданное, было настолько полным, что стало как-то совсем не до стрельбы, теперь уже бесцель-

ной. Раны оказались слишком глубоки; расстройство дивизий, ходивших на штурм, невиданное, особенно у французов; подсчет потерь, как и язык донесений, затруднителен до крайности; обманутые надежды и Наполеона и Викторни угнетали Пелисье и Раглана.

Но зато единодушно был найден виновник поражения в лице генерала Мейрана. Это ему вздумалось начать атаку на десять минут раньше, чем был дан настоящий сигнал, то есть не одной ракетой со звездами, а целым снопом таких ракет. За эти же десять минут русские будто бы успели приготовиться и стянуть большие силы на прочие свои бастионы.

Мейран ничего, конечно, не мог сказать в свое оправдание, так как был мертв: в этом случае живые генералы действовали безошибочно.

Шестьдесят две тысячи снарядов было выпущено союзниками за одни только сутки подготовки к штурму, на что защитники Севастополя не могли ответить и двумя десятками тысяч. Эта ужасная бомбардировка, от которой некуда было укрыть войска, собранные в городе в предчувствии штурма, вырвала из их рядов свыше четырех тысяч жертв; потери же в утро штурма были сравнительно с этим невелики.

Но штурм союзникам стоил до восьми тысяч человек, причем потери французов превосходили потери англичан больше чем втрое.

Из генералов союзников, кроме трех убитых, пятеро было ранено.

Осторожные Канробер и Ниэль получали право считать себя куда более предусмотрительными, чем пылкий Пелисье, а французский Ахилл—Боске—мог не завидовать лаврам, выпавшим на долю его заместителя с очень длинной фамилией.

Телеграмму-реляцию о неудавшемся штурме Пелисье все же задерживать не мог, и когда была она прочитана в сен-клюдском дворце, возмущенный Наполеон ответил главнокомандующему своими войсками письмом, полным самой резкой критики всех его действий.

«Я признаю в вас много энергии,—так заканчивалось это письмо,—однако руководить надобно хорошо. Немедленно представьте военному министру свой план действий в подробностях и не смейте с этого дня предпринимать решительно ничего, не испросив на то согласия по телеграфу. Если же вы на это не согласны, то сдайте командование армией генералу Ниэлю».

После такого письма императора Пелисье, кажется, не оставалось ничего больше, как проститься с армией и Крымом; но он решил иначе: он проглотил обиду и остался; а военный министр, маршал Вальян, и генерал Флери, мнение которого ценил Наполеон, заступились за Пелисье. Они нашли для него смягчающее вину обстоятельство в известном упорстве русских солдат, ко-

торых, по крылатому слову Фридриха II¹, мало было убить, а надо было еще после того и повалить на землю.

Штурм 6/18 июня был отбит блестяще, и в историю обороны русской земли от покушений интервентов вписана была севастопольцами славная страница; но половину потерь союзников составляли убитые, которых нужно было убрать.

Корреспондент газеты «Таймс» писал об этом страшном зрелище нелицеприятно:

«Наши бедные красные мундиры устилали землю перед засеками реданта, тогда как все подступы к Малаховой башне были покрыты голубыми мундирами, лежавшими более в кучах, чем разбросанно».

Ночью с 7 на 8 июня канонада со стороны интервентов повторилась было с прежней силой, но через час стихла. Это походило на жест отчаяния. Так буян, выброшенный вон из дома, отводит душу на том, что начинает издали бросать в окна камнями.

С утра до полудня тянулась обычная «дежурная» перестрелка, а после полудня были выкинуты белые флаги,—французами на Камчатке, англичанами—против третьего бастиона,—и явились парламентарии просить о перемирии для уборки трупов.

Перемирие, конечно, было дано. Установили цепи солдат с той и с другой стороны,—шагов пятьдесят между цепями, шагов десять между солдатами в цепи,—подъехали привычные к перевозке тел русские фурштаты на своих тройках, нагружали трупы французов и отвозили их к бывшей Камчатке, которая называлась у французов редутам Бриссона, по имени полковника, убитого здесь при ее захвате.

Сердитого вида крикливый французский генерал верхом на прекрасном арабском коне, отвалившись в седле и выставив ноги вперед, появлялся иногда посредине цепей, сумрачно наблюдая за порядком. Ему помогал траншей-майор тоже верхом и почему-то с палкой в руке. Впрочем, палки вместо ружей были и у французских солдат в цепи.

И офицеры и солдаты-французы были теперь мрачны,—совсем не то, что десять дней назад на подобном же перемирии. Появилась было с их стороны амазонка, но всего только одна, и что-то быстро исчезла.

Большое оживление среди французов началось только тогда, когда к цепи вздумалось подъехать Хрулеву на своем заколдованном белом. Оказалось, что многие французы знали его даже по фамилии; на него показывали один другому, на него смотрели во все глаза.

Увидя себя предметом такого чрезмерного внимания, Хрулев ускакал, как и застыдившаяся французская амазонка.

А трупы несли на носилках и везли со стороны русских бастионов к французам, пока не начало опускаться солнце. Взглянув на его диск, подошедший близко к горизонту, сердитый французский генерал заявил русскому, подъехав:

— Я больше не приму ни одного тела! Сейчас я прикажу трубить отбой и опустить флаг.

— Хорошо, но как же быть с большим еще количеством неубранных тел?—возразил русский генерал.

— Делайте, что вам будет угодно!

Он откланялся вежливо, повернул своего прекраснейшего каракового араба, с тонкими, как у горного оленя, ногами, и отъехал. Русский генерал, сидевший на простом горбоносом дончаке, притом не вытянув ноги вперед,—такое правило было у французских кавалеристов,—а совершенно без всяких правил, мешком, недоумевающе глядел ему вслед.

Солдаты обеих сторон все-таки переговаривались и теперь, по-своему, как глухонемые, хотя это почему-то запрещал своим усатый траншей-майор с палкой.

А к одному артиллерийскому штабс-капитану, стоявшему за русской цепью, подошел молодой и бойкий французский офицер и после первого же, сказанного с очень веселым лицом, комплимента русским артиллеристам, защищавшим таким густым картечным огнем бастионы, вытащил небрежно небольшой театральный бинокль в перламутровой оправе, как бы между прочим, между делом, приставил его к глазам и впился в батарею Жерве.

— Этого не разрешается делать!—строго сказал артиллерист, положив руку на его бинокль.

— Вот как! Но почему же?—как бы удивился бойкий француз.—А у нас никто не запрещает осматривать укрепления!

— Вам никто не запретит этого и у нас, если вы возьмете наши бастионы,—сказал артиллерист без малейшей тени улыбки, однако непримиримо, несмотря на час перемирия.

Француз спрятал бинокль, достал свою визитную карточку и протянул артиллеристу, но тот не взял ее.

И этот жест, и явная брезгливость, сквозившая в чертах лица несколько усталого, но совершенно спокойного не только за себя, но как бы и за Севастополь тоже, русского артиллериста отрезвляюще подействовали на бойкого французского. Он померк и отошел к своей цепи.

Артиллерийский штабс-капитан этот был Хлапонин.

¹ Фридрих II—король Пруссии с 1740 по 1786 г.



ГЛАВА ПЕРВАЯ
ВЕРНОПОДДАННЫЕ БЕЗ ВЛАДЫКИ

1

О том, что где-то задержался барин Василий Матвеевич, который пошел на свою обычную предвечернюю прогулку по усадьбе, спохватилась ключница Степанида уже после того, как зажгла в доме лампы и приготовила все, что полагалось к вечернему чаю.

Тяжелая телом и потому неторопливая в движениях, она раза два, мягко ступая валенками, подплывала к двери, отворяла ее и с минуту стояла на крыльце, вглядываясь в дорожки между сугробами снега вправо и влево от дома и вслушиваясь в совершенно уже темную и несколько жуткую даже аллею сада напротив крыльца, не заскрипят ли на снегу шаги. Но было тихо, никого не заметно, — и снег падал тоже медленно тихий.

— Вот запозднил как! — в спокойном пока еще недоумении бормотала Степанида, пожимала жирными плечами, начинавшими забнуть под косынкой из козьего пуха, и уходила в дом.

Самовар пошипел-пошипел и заглох. Сухие сладкие коржики, поставленные на стол к чаю, и вазочка клубничного варенья как будто тоже глядели недоумевающе на Степаниду: почему же нет до сих пор того, для кого они приготовлены?

Своего сынишку, казачка Федьку, спрашивала Степанида:

— Да в какую же сторону хоть пошел-то барин?

— В сторону в какую? — Федька крутил рыжей головой, задумываясь над таким простым вопросом: он просто не обратил на это внимания, хотя и сам отворял двери, когда выходил Василий Матвеевич.

И никто в доме этого не заметил: каждый день обычно гулял по своей усадьбе помещик Хла-

понин в предсумеречное время, и гулять он мог, конечно, где ему вздумается, лишь бы были в сугробах протоптаны тропинки, чтобы не набрать снегу в высокие валенные ботинки, так как это совсем уж не барское дело.

— А может, барин кататься поехали? — высказал кто-то на-авось свою догадку.

Но кучер Фрол оказался дома; однако от него узнали, что барин заходил в конюшню, потом ушел.

— Куда же все-таки пошли они? — допытывалась Степанида. — По направлению по какому?

— Направлению? — Фрол был человек угрюмый, но обстоятельный; подумав, он ответил: — От конюшни какая может быть еще направления? Не иначе на пруд подались, пиявков глядеть.

Так была найдена первая нить: на конюшне был, кататься не поехал; но если даже пошел оттуда в пиявочник, то что же делает он там так поздно?

Вспомнили, что на место Тимофея с килой отряжен был в пиявочник Гараська. Кто-то сказал, что Гараська сидит у своих, доедает обеденные блины.

Вислогубый, вихрастый парень, не очень удавшийся своим родителям, — коровнице Матрене и караульщику Трифону, ходившему по ночам с колотушкой, — совсем не успел еще проникнуться важностью своей новой должности. Он даже дерзил Степаниде, когда она его спросила, топил ли он там печку и почему ушел оттуда рано.

— А что ж я, по-твоему, ночевать там обязан с пиявками с эстими? Пьявки они пьявки и есть, и чорт их не возьмет! Печку в обед затопил да пошел домой, — что мне там еще прскажешь делать?

Толстая верхняя губа безнадежно закрывала ему рот, поэтому он бубнил иногда совсем неразборчиво, а вихры падали ему на глаза, придавая диковатый вид.

— Посгоди, посгоди, вот придет барин!—пригрозила Степанида, но Гараське почему-то вздумалось ответить ей загадочными словами:

— Хорошо как придет, а может, и придет!

Буркнул что-то такое первое, что пришло в голову, чтобы только половчее ответить этой толстухе, которой тоже понадобилось болеть о барских пиявках, но Степаниде почудился в этих вздорных словах какой-то озорной намек, и она всполошилась вдруг, послала за конторщиком, за бурмистром...

Было уже часов восемь вечера, когда, взяв фонарь, отправились искать Василия Матвеевича: бурмистр Аким Маркелыч, старик за шестьдесят, однако крепкий еще, хозяйственный; конторщик Петя, лет двадцати, балалаечник и обладатель печатного письмовника и «соломона» для отгадывания каких-либо снов; караульщик Трифон, заросший дремучим волосом, и Гараська.

— По сторонам поглядывай, братцы,—командовал Петя,—может, случится—лежит вдруг где в снегу от парализации.

— От чего-й-то, говоришь, лежит?—испуганно тянулся к нему ухом из-под заячьего капелюха бурмистр.

— Парализма такая бывает у старых людей: идет-идет, все ничего, а вдруг ка-ак хватит поперек шен,—он и лег!

— Ну-у, болтаешь зря!..

— Вот тебе и «болтаешь»! Спроси-ка у кого хочешь, тебе скажут,—из образованных только.

— Бывает, конечно дело, пропадет человек враз,—ну да ведь это с тушными случается, а наш барин, он из себя не особо жирен!

Говорить-то говорил, а все-таки поглядывал впереди себя на сугробы, то желтые, то синие от свечки в фонаре с запыленными стеклами, и боязливей становился с каждым шагом бурмистр.

Пришли, наконец, к пивочнику. Когда же открыли дверь и осветили фонарем внутренность избы, то отшатнулись в испуге.

— Свят, свят, свят!—забормотал Аким Маркелыч, снимая шапку, крестясь и пятясь.

Фонарь был в руках у конторщика, однако пщеголявший своей образованностью конторщик, к тому же требовавший от других, чтобы шарили глазами по сугробам, не осилил того ужаса, который охватил его при виде торчавших из воды ног Василия Матвеевича в завороченных брюках и белесых высоких валеных ботинках; он поставил фонарь на пол, а сам юркнул в дверь.

Когда ослабел несколько первый испуг, все четверо впились неотрывно глазами в то странное и страшное, что всего только два-три часа назад было их барином и могло их продать или приказывать высечь, а теперь так непостижимо застряло головою вниз в черной и ледяной на вид, да уже и покрывшейся тонким ледком воде.

— Что же теперь делать-то, господи!—истощенным голосом завопил вдруг Трифон.

— Что делать! Вытащить яво, и все!—отозвался ему Гараська.

— Правов не имеем! «Вытащить»!—прикрикнул на него бурмистр.

— Каки-таки тут права?

— Такие, обнаковенные... Может, барин сам поскользнулся, упал торчмя, а может, тут умысел злой,—объяснил конторщик.

— Про-пал ты теперь, Гараська!—непосредственно выкрикнул сквозь свой дремучий волос Трифон; но Гараська не понял отца:

— Как его так пропал? С чего его пропал?

— Э-эх, дура!—только махнул на него рукой отец.

— Вынимать сами не смеем: может, па нем там следы насильствия,—глядя на бурмистра, деловито сказал Петя.

— А я-то что говорю? То же само и я: правов не имеем!

В это время подошли с другим фонарем Степанида и кучер Фрол.

— Что-о? Никак, и вправду здесь! Ах, батюшки!

— Народ стоит чего-й-то...

— Утопши!—шепнул Степаниде, обернувшись, Трифон.

— У-топ-ши?—также тихо повторил Фрол.

Страшное слово это, да еще сказанное шопотом, едва не свалило с ног Степаниду: она сложила руки на животе и заголосила сразу, глухо и жутко, не посмотрев даже туда, в этот черный четырехугольник воды посредине дощатого помоста.

Но кучер Фрол, этот деревенский сскач, который привык хлестать одинаково бесстрастно и лошадей и людей, но к людям относился вообще пренебрежительней и недоверчивей, чем к лошадям на своей конюшне, не захотел поверить тому, что его барин будто бы сам «утопши». Он отстранил впереди стоявших Трифона, конторщика и бурмистра, поднял принесенный им фонарь над головой, оглядел потолок и степы избы, потом провел фонарем над самым полом, стараясь рассмотреть следы па досках, и наконец вытянул руку с фонарем, насколько мог, над водою, пытаясь вглядываясь в самую глубину.

Все это делал он молча, но с такой внушительной необходимостью, что все остальные, также молча и затаив дыхание, выжидающе смотрели в его густую бурую бороду, над которой свисал основательных размеров сизый нос; глаз же его под лохматой бараньей шапкой не было видно.

— Ну, что? Как ты об этом полагаешь, Фрол?—негромко спросил бурмистр, когда он как будто окончил уже весь свой осмотр и стал неподвижно, сумрачно глядя в завороченные барские брюки и белесые ботинки с застывшим на их подошвах снегом.

— Тут полагать только чего можно?—не отрывая взгляда от брюк и ботишков, расстановисто проговорил Фрол.—Тут полагать можно только-ча одно-единственно: утопили барина, вот что!

— Утопили?

— Я тоже так огадывал: насильствие!—торжествуя поглядел на бурмистра Петя.

— Слышь, утопили барина!—свирепо обернулся к Гараське Трифон.

Гараська только чмыкнул на это носом: не один ли, дескать, чорт,—утопили его или он сам утоп? Но Степаниду слово «утопили» испугало еще больше, чем «утопи», и она завопила еще утробнее.

2

К телу владельца Хлапонинки, непостижимо очутившемуся в воде своего пнявочника валеными ботиками кверху, приставлен был караульным Трифон, а Фрол на паре в дышле повез к становому конторщика Петю, как наиболее способного говорить с начальством.

Становая квартира была недалеко от Хлапонинки,—в пятнадцати всего верстах, однако никто из дворни не ждал приезда пристава раньше утра, а пока усадьба переживала небывалые в своей жизни часы.

Часто случалось и раньше, что Василий Матвеевич покидал имение, уезжая в уездный ли город или в губернский, в Харьков или даже в столицу, когда затевавшееся им судебное дело докатывалось до высшей инстанции. Заведенный им порядок тогда не нарушался, так как строгость барина была известна его людям.

Но вот он покинул имение навсегда, и не было в барском гнезде барского выводка, который сидел бы в нем крепко, хотя и плакал бы горько, и сама ключница Степанида вместе со своим рыженьким Федькой, подозрительно похожим на покойного Хлапонина, могла сесть за вечерний самовар, съесть все до одного сладкие коржики и всю вазочку клубничного варенья, а потом, в одиночестве уже, посмотреть, заперты ли столы и шкафы в барском кабинете и, если заперты даже, то нет ли где-нибудь здесь же ключей от них,—ведь она была ключница, и хотя прикопила уж кое-что на старость, но такой исключительный случай добавить к накопленному щедрой рукой мог ли еще представиться Степаниде?

Но, однако, и жутко было: а вдруг те же самые, которые барина утопили, заберутся теперь и в дом? Кто они такие? Может, шайка разбойников на хороших лошадях?.. А зимняя ночь велика: шайка в такую ночь все может сделать и ускакать!

Федька слушал-слушал всякие страшные разговоры в доме, пока сон его не сморил, и не заснул он на своем месте, на сундуке; а мать его боялась сомкнуть глаза, и чуть только начинала лаять,

поддерживая отдаленных псов, цепная собака Рябчик, Степанида бросала пить чай, проворно тушила свечку и замирала в ожидании последних своих минут; когда же лай затихал, подбиралась осторожно к окну, приотворяла ставень и сквозь щелочку осторожно вглядывалась в ночь.

Вошла луна, и было очень светло, но от этого только еще страшнее: черные тени на снегу от деревьев явственно, казалось, шевелились, надвигаясь к дому целой оравой.

Вскликивала, приседая от страха, а молитвы ни одной не могла вспомнить; когда же, успокоившись, опять зажигала свечу, принималась снова за чай, хотя уже и холодный; достала и орехов и щелкала их щипчиками, чтобы хоть за ними как-нибудь провести время до утра, когда ожидался пристав.

И пристав, действительно, явился утром.

С одной стороны, он оказался и дома и свободен от всяких срочных дел, с другой—покойный Хлапонин, нуждаясь постоянно в его помощи, был с ним на короткой ноге и, наконец, с третьей—обстановка смерти требовала именно полицейской, притом скорейшей разгадки.

Очень часто бывавший здесь в доме пристав вошел на крыльцо по-хозяйски уверенно, тем более что ему загода отворили дверь и в пояс кланялись, встречая.

В длинной шинели, называвшейся обычно «николаевкой», то есть такого же покроя, какой допускал царь Николай вне строя, например, во время зимних поездок,—на вате, с пелериной и с бобровым стоячим воротником,—высокий и в меру роста плотный, при усах, так как поступил на службу в полицию из поручиков, с огненным лицом и лающим голосом, пристав Зарницын любил показывать, что он—власть и всегда старался скорее превысить, чем недовысить, находя, что в деревне иначе и быть не может.

Зная его привычки насчет напитков и закусок, Степанида приготовила заранее в столовой полный стол и к этой фаланге бутылок и тарелок повела его, чуть только скинул он в передней свою николаевку.

Чтобы сделать приличное вступление к этим поминкам, пристав вытащил платок, которым погрел ресницы, обледеневшие несколько на утреннем холоде, и сделал это так искусно, как будто прослезился даже в опустевшем доме покойного друга, потом отодрал с усов, что на них намерзло, наконец, уселся за стол, не мешкая, так как ожидало его важное дело.

Степанида не считала себя, конечно, достойной не только присесть хоть на секунду за стол, но даже и стоять около стола, за которым плотно подкреплялся на розыск становой, но тот, выпив первую же рюмку травнику, крикнув и нашаривая вилкой скользкий маринованный белый грибок,

спросил ключницу отрывисто и негромко, однако внушительно:

— На кого думаешь, Степанида?

Она сочла за лучшее сделать вид, что совсем не поняла вопроса и прошелестела испуганно:

— Чего изволите?

— Кто, по-твоему, руку свою подлую поднять на барина мог?—прожевывая грибок, повторил другими словами становой, не отводя от нее проницательных глаз, которых, он знал это, Степанида всегда боялась.

— Разбойники?—тихо отозвалась Степанида, в которой проснулись все ее ночные страхи.

— Эти разбойники тут где-то возле твоей юбки живут, а ты не видишь!—поднял несколько голос становой.

— Неужли, батюшки-светы!—и ухватилась с обеих сторон за шерстяную свою, подстеганную снизу юбку Степанида, а глаза выпучила от пущего страха.

Проницательный пристав увидел, что спрашивать ее о чем-нибудь по этому делу пока бесполезно; он только сказал с достоинством:

— Вот видишь, ты не знала, я же всех ваших тут вижу насквозь, и скоро все это дело приведу в полную ясность!

После пятой рюмки он тщательно вытер усы салфеткой, встал, прошелся по комнатам, собственноручно запер кабинет, гостиную, столовую и спрятал ключи в свой кожаный портфель, наконец начал одеваться.

Застегивая на крючки бобровый воротник николаевки, он счит нужным покивать скорбно головой и сказать Степаниде ли, самому ли себе:

— Не одобряя я этой затеи Василия Матвевича насчет пивака,—нет!.. Слыханное ли дело, чтобы русский помещик и вдруг... пивак, точно немец какой... Пре-ду-преж-дал: кончиться это может очень плохо! Вот так оно в конце-то концов и вышло.

Казачок Федька, глядя на пристава с почтением, доходящим до ужаса, кинулся отворять ему дверь.

Около крыльца уже стояли и Аким Маркелыч, и Петя, и кучер Фрол, и Гараська с матерью Матреной, и много прочих из двора. Все ожидали распоряжений и действий. Но поодаль толпились также и деревенские, до которых дошел уже слух о том, что случилось в усадьбе. Они подходили по дороге, но заполнили и аллею сада, к которой от деревни была тоже прогоптана тропка; больше же всего виднелось их там, по направлению к пивачнику: туда они тянулись даже и без тропок, гуськом, по цельному снегу.

— Это что такое, а-а-а?—только что разглядев их с крыльца, заорал пристав.—Вы та-ам!.. На-за-а-ад!

Приставское «а-а-а» в морозном воздухе вылетало особенно раскатистым и круглым; его сразу

расслышали и те, кто подходил уже к таинственной всегда, а теперь тем более, избе с недымившейся уже трубой, и остановились.

— На-за-а-ад!—повторил пристав, точно командуя ушедшей далеко вперед на лагерном плацу ротой.

Повернули и пошли назад: такой зычной начальничьей команды побоялись не исполнить. Даже и эти, в аллее сада и около ворот усадьбы, попятились, хотя зык обращен был и не к ним: научившийся предупреждать желания начальства бурмистр махал в их сторону руками.

Когда значительно осадил прихлынувшая деревня, пристав скомандовал бурмистру:

— Старосту и сотского ко мне!

Аким Маркелыч трусцой побежал к отхлынувшей толпе, в которой заметил он старосту...

Собрав около себя все деревенское начальство и еще раз крикнув толпе, чтобы осадила подальше, чтобы совсем очистила усадьбу, пристав с портфелем в руке двинулся, наконец, к пивачнику.

— Ваше благородие, а ваше благородие!—кинулась вдруг догонять его, крича, стоявшая до того на крыльце Степанида.—Полотенцев пару дать, может, нести-то барина?

— Полотенцев?—недовольно переспросил пристав, остановясь.—Чего же ты стояла с ними, не понимаю? Давай духом!

— Да я их еще с вечера приготовила, да все как-то боязно было сказать...

Ушла поспешно в дом Степанида и тут же вернулась с двумя полотенцами, длинными, серыми, небеленого сельского холста.

У бурмистра была суковатая толстая палка крепкого дерева—дикой груши, чтобы разбить ею лед около тела, конторщик нес полотенца, так что теперь уже было предусмотрено все.

Раза два сменявшийся в ночь, Трифон стоял теперь снова на своем посту и потопывал зазябшими ногами, но, увидев высокого пристава в его щегольской николаевке, приосанился, и когда он был шагах в двадцати, стащил заклякшими руками с лысовой головы шапочку, стал навтыжку, подняв косяком левое плечо, и оглупил глаза.

Увидев торчавшие из застывшей воды очень знакомые белые валеные ботинки и завороченные синие шерстяные брюки, причем сквозь чистый незапорошенный снегом ледок ясно было видно и все тело Хлапонина, казавшееся переломленным у самой поверхности воды и затылком упершееся в неглубокое иловатое дно, пристав скорбно покачал головой сперва справа налево, потом сзади наперед, потом снова справа налево, провел пальцами по глазам и сказал философски:

— Вот она, жизнь наша!.. Эх, Василий Матвевич, Василий Матвевич, где смерть застигла!

Потом оглядел пол, стены, заглянул в печку,—ничего не найдя, медленно раскрыл портфель, до-

стал карандаш и бумагу, отмерил шагами расстояние от двери до упершихся в пол ботинок и принялся писать протокол.

— Злоумышленников было не меньше, как двое!—сказал он, окончив писать, обращаясь к Акиму и глядя на него строго.

— Слушаю-с,—почтительно отозвался на это Аким.

— Теперь можно вынимать тело! Только осторожно, смотри!

Ледок отбили палкой, взялись за ноги,—тело показалось очень легким, когда его вытаскивали... Много пьявок забралось за воротник; их обобрали и бросили снова в воду.

— Эх, Василий Матвееч, друг,—говорил я тебе, что пьявки эти тебя погубят!—не удержался, чтобы не посетовать на покойника, пристав, глядявая бесстрастно в его искаженное несколько, хотя не очень изменившееся, посившее лицо.

Пока лежало тело на помосте, пристав добавил несколько строк к своему протоколу, остальные же в это время только усердно глядели на труп своего барина.

Когда на припасенных Степанидой полотенцах, как гроб, несли четверо тело помещика к дому, толпа деревенских прихлынула снова, и от нее отделился другой сотский, с медяшкой поверх зипуна.

Хотя, направляясь прямо к приставу, нес он свою шапку в руках, но вид у него был явно должностной.

Пристав крикнул было на него:

— Тебе чего?—но он не остановился, он пошел ближе и, наперед зная, что скажет нечто идущее к делу, за что не обругает его начальство дураком, сказал, не сбиваясь в слова:

— Господин пристав! Не оказывается в наличии дома ополченец у нас один!

— Ополченец сбежал? Что?—крикнул пристав.

— Не оказывается в наличии,—своими словами повторил сотский, похожий видом на дьячка в праздник перед обедней.

— Ага! Не оказывается? Хорошо-с!.. А домашние его все дома?

— Домашние дома-с.

— Поди приведи мне его жену!.. Староста! Ты отчего мне не доложил об этом?

— Не знал-с, ваше...

— Смотри!—погрозили ему пальцем пристав.

Тело между тем подносили к дому, и па крыльце, спустив на глаза теплую клетчатую шаль, голосила, прикачивая головой, Степанида.

3

Никогда у людей не бывает так много хлопот и забот о каком-нибудь человеке, как после его смерти, особенно если смерть эта совершенно неожиданна или необычна.

Смерть помещика Хлапонина была и неожиданной и необычайной в то же время, поэтому деревня почти совершенно опустела,—люди столпились здесь, в усадьбе, и сотскому не нужно было далеко ходить за женой Терентия Лукерьею,—она была тоже здесь, с сынишкой Фанаской.

Ночь она провела в поисках мужа и в думах о нем: не зашел ли к кому на деревне, не свалился ли где пьяный в сугроб, не занесло ли его снегом... Только к утру, когда поднялась суматоха на деревне, стала смутно догадываться она, не бежал ли ее Терентий от ополченства.

Деревня рано ложилась спать, рано и вставала; в это же утро она поднялась задолго до рассвета, чтобы валом повалить в усадьбу, на зрелище, которое одного только Тимофея с килой расшевелить не могло бы: он валялся в избе мертвецки пьяный.

О нем спрашивал Лукерью пристав,—не уходил ли он из деревни с гулянки в усадьбу вечером, но Лукерья ответила деловито и даже, пожалуй, с презрением:

— Как к вечеру насосался винища, что уж мочи не было на него и глядеть, да уполз под лавку дрыхнуть, так и сейчас там дрыхнет.

— А твой муж куда девался?—грозно спрашивал пристав.

— Кто ж его знает,—разводила руками Лукерья.—Думка такая у меня не подался ли в Сажинье, в село, должнишко с человека там одного получить.

— В Сажинье? Какой должнишко?

— Да стригуна онадысь он продал там одному—Чуванову Прокофью, а денег тот только задатку дал, а стригун—от барского жеребца приплод, он, люди так огадывают, вполне стоящий.

— Ну, какие он там за стригуна деньги получить может! Что ты мне тут со стригуном!

— Да ведь какие бы ни нашлись деньги, они все нужные,—кратко сказала Лукерья, а пристав закричал вдруг:

— Говорил он тебе, что барина убить хочет?

— И-и, что это ты, батюшка!—закрестилась испуганно и попятилась Лукерья.—Как это можно, чтоб он барина порешить хотел!

— Куда делся муж, отвечай толком, не балобонь языком!

— Да не иначе же, как опять же в Сажинье он теперь, господин пристав...

Сажинье было большое село верстах в десяти от Хлапонинки. В то, что Терентий пошел не куда-нибудь, а именно туда, за должнишком к Прокофию Чуванову, Лукерья поверила вдруг только тогда, когда сотский повел ее к приставу, поверила только от страха перед грозным начальством, но зато поверила крепко.

— Хотите если, туда спысылайте за ним, а то так и сам он кабы вот сейчас не возвертался,

потому что ж ему там делать окромя? Дела его, все они здесь, а плчуть же не в Сажном его дела...

Лукерья смотрела на пристава заплаканными красными от бессонной ночи и слез глазами, стараясь высмотреть хоть какое-нибудь подтверждение своей догадке, но пристав кричал угрожающе:

— Дела его здесь, баба, здесь! За эти дела его и ты, мерзавка, ответишь, погоди, дай срок! Жестоко ответишь, подлюга!

Совершенно перепуганная этими окриками, Лукерья дальше не только скорыми бабыми слезами, но и божбой и всякими клятвами подкрепляла свои ответы на вопросы пристава. По ее словам, муж ее не имел привычки говорить ей, куда и зачем он уходит, так что она отвыкла даже его об этом и спрашивать. Целый день он гулял, как полагается сдаточным, и орал песни; что он уйти куда-нибудь может, ей и невдомек было; хвостом за ним она не ходила,—много дела у всякой бабы по домашности, а когда хватилась его, темно уж тогда было,—«люди светло начали вздувать»,—никто ей и сказать не мог, куда он «счез с глаз долой...»

Лукерью пристав не отпустил,—он приказал старосте посадить ее пока «в холодную», и, как она ни надрывалась плача, ее все-таки повели в деревенскую «кутузку». Фанаска шел за нею и тоже хныкал.

Тем временем Степанида припомнила то, что сказал ей Гараська вечером в ответ на ее фразу: «Посгоди, вот придет барин!»—Он вызывающе подбросил вихрастую голову тогда: «Хорошо как придет, а может, и придет!»—Приехать не приехал, но ведь, однакоже, и не пришел барин: притащили утопшего на полотенцах...

Гараська этот был всегда грубиян и непочетчик и не один раз был сечен по жалобам Степаниды за то, что показывал свою силу на ее Федюшке. Теперь Степанида удлила время передать приставу загадочные слова Гараськи, добавив, что именно он приставлен был к пнявочнику на место Тимофея с килой и очень был недоволен этим.

Пристав сейчас же взялся за Гараську.

— Хо-ро-ош гусь!—сказал он, оглядев Гараську с головы до ног.

Гараська же, вытянув губу, как хобот, смотрел в свою очередь на него исподлобья и довольно критически.

Это не понравилось приставу.

— Морду поднять!—скомандовал он.

Гараська глянул, также исподлобья, влево, вправо, потом обернулся назад.

— Ты-ы что это фо-ку-сы показываешь, а-а-а?—закричал пристав.

И в ответ на это, неожиданно для всех, Гараська боком, точно его сдунуло, кинулся в толпу с

крыльца, на котором уселся перед вынесенным из комнаты столом пристав со своим портфелем.

— Держи, держи-и его, э-эй!

Конечно, Гараську сейчас же схватили за руку, хотя он и не отбивался.

— Ты куда это, а-а-а?.. Бе-жа-ать, а-а-а?

И привычный к размашистым действиям кулак пристава сшиб Гараську с ног.

Другой на его месте, пожалуй, поспешил бы подняться, чтобы не доводить начатство до высшего градуса свирепости, Гараська же растянулся на животе и принялся выть басом.

— Что же это, господи Сусе, малого убивают, а ты стоишь!—накинулась Матрена на Трифона.

— А что же я могу с ним поделаться?—отозвался Трифон.

— Скажи поди! Ты, мол, отец, скажи!

Матрена была настойчива. Трифон выдвинулся вперед, снял шапку; за ним Матрена—чтобы не дать ему остыть.

— Ваше благородие, а ваше благородие!

— А-а? Тебе чего, а?—воззрился на Трифона пристав.

— Не следует так, ваше благородие.

— Что-о?—очень удивился пристав.—Ты кто таков?

— Парнишку бьете зачем?—храбро выпалила, выдвигаясь из-за мужа, Матрена.

Гараська, слыша поддержку своих, заревел еще гуще и громче, а толпа, в которой один кивал другому, начала придвигаться к дому.

— Это родители,—объяснил приставу бурмистр, показав на Трифона с Матреной.

— Гони их в шею!—приказал ему пристав, а конторщику и старосте, которые были тут же, крикнул:—Поднять этого подлеца!

Гараську подняли, поставили на ноги, но он рвался туда, к толпе, куда оттискивали бурмистр и сотские его отца и мать; он не имел ни малейшего желания разговаривать с приставом, у которого такой львиный рык и такой жесткий кулак.

Однако это-то именно нежелание Гараськи разговаривать и убедило пристава в том, что одного из двух преступников он уже держит в своих руках; при убеждении же в том, что преступников было непременно двое, он так и остался.

— Это тот самый дурак, который за пнявочником досматривать был обязан, что?—обратился он к бурмистру.

— Так точно, он самый,—с натугой удерживая Гараську, ответил Аким.

— Та-а-ак!.. Хо-ро-ош!.. Ничего, ничего, недоделок, я из тебя показание выжму!—потряс кулаком перед носом Гараськи пристав и приказал:—Тащите его в дом, а то здесь что-то прохладно сидеть.

Гараську втащили в прихожую. Здесь он кричал глуше в неведении того, что с ним могли сделать в барском доме.

— Давай его сюда, негодяя!—скомандовал пристав, сам входя в ту комнату для гостей, где жили Дмитрий Дмитриевич с Елизаветой Михайловной, а теперь лежало на столе тело бывшего владельца Хлапонники, с которого на пол натекло довольно воды.

Тело лежало так, как было принесено, только вынуты полотенца, да под голову в мокрой шапке Степаниды суетно подсунула маленькую подушку-думку, а лицо обтерла.

Гараська глянул было по-своему, исподлобья, в желтое это лицо, но ему стало страшно, и он отшатнулся, а пристав, протягивая руку свою к лицу покойника, проговорил не крикливо уже, однако и не тихо, раздельно и очень отчетливо:

— Вот здесь, перед лицом жертвы твоей, подлец, отвечай, как на духу у священника, с кем вдвоем утопил ты барина?

— Не топил я барина!—выкрикнул Гараська.— Не топил, чего говоришь зря?

Но в то же время окостеневший желтый барин, распластанный на столе, и красноречивый дюжий пристав, с набрякшими и готовыми к действию кулаками, представляли вместе картину ослепляющую, пугающую воображение, непереносимую, так что Гараська, который был посылнее, чем полагается быть подросткам в семнадцать лет, и знал за собой это, отчаянно работая лопатками и локтями, рванулся к выходной двери, ведущей на крыльцо.

Он даже успел открыть ее, но тут его схватили сзади за шиворот, и от боли и от досады он закричал снова самым истошным голосом, на какой был способен.

— Убивают, батюшки мои!—подхватила его крик стоявшая около крыльца Матрена.

— Убивают!—обернувшись к толпе, повторил Трифон.—Малого убивают!

Но толпа уже подступала к дому, шумя:

— Правов не имеют убивать!

— Да, никак же, пьяный он вдрызг, этот пристав!

— А Терентьеву бабу куда ж это повели?

— У нее же детей малых орава, у Лукеры-то!

— Да еще и сама тяжелая ходит...

— Кидается, как пес, ни на кого не глядя!

— Вот уж, право слово, правда истинная!..

Шумели и окружали дом,—бородатые мужики-хлапонники, в полушубках и армяках, бабы в зипунах и теплых платках, иные с ребятами на руках,—не на кого было оставить дома.

Теснились на ступеньках крыльца, заглядывали в окна...

Хотя и орудовал в доме шумоватый и легкий на руку становой, но барин-то Хлапонник все-таки

лежал на столе... Становой покричит и уедет, они останутся провожать барина на кладбище, забрасывать его гроб мерзлой землей, гадать на могиле о новом барине, какой-то будет да когда-то еще будет...

А пока что,—день тихий, не очень морозный; вьется ласковый легкий снежок, румянятся щеки, пар от дыхания подымается прямо вверх... Воли нет еще, положим, однако и барина над ними тоже нет, а что касается станового...

— Правов не имеет малого убивать!

— Правда истинная, не имеет!

В разрисованные морозом стекла окон,—не очень больших окон, чтобы не уходило из дома печное тепло,—глядела, хоть и мало что видела, деревня,—и стало от нее сумеречно в доме... Конторщик, выглядывавший в дверь на крыльцо и слышавший крики «малого убивают!», вполголоса сказал становому:

— Отпустить, может, прикажете Гараську пока, ваше благородие? Все одно не уйдет ведь.

— Почему это «отпустить»?—грозно уставился было на него становой.

— Шумят что-то очень, лезут...

— Гпа-ать их в шею!—заорал становой.

— А не пойдут если?—осторожно осведомился Петя.

— Как это так не пойдут?.. Как они посмеют не пойти?

Однако в одном окне неотступно торчали лица и шапки и платки бабы, в другом, в третьем...

— Отвести в холодную!—приказал было пристав, но на вопрос бурмистра: «Кому прикажете с ним идти?»—буркнул:—Впрочем, чорт с ним, пусть идет пока,—мы его всегда арестовать можем.

Двое пошли с женой Терентия и еще не вернулись, двоих надо было приставить к Гараське,—кто же останется тогда около него самого, станового?

Перед Гараськой, стоявшим в прихожей, открыли дверь:

— Иди, чорт!

Стиснув зубы, Гараська стал шарить глазами около крыльца что-нибудь твердое, нашарил обломок кирпича, кинулся к нему, закатал его в снег, примял, закрутил снежок дрожащими пальцами и хотел уже, забежав, швырнуть в то самое окно, за которым стоял пристав и лежал на столе утопленник-барин, но помешал испугавшийся Трифон, снежок звонко шлепнулся в стену рядом с окном.

Вернулся староста с докладом приставу, что мужики не дали ему посадить Терехину жену в холодную.

— Детишки, бают, малые,—кто же за ними присмотрит? Да Лукеры-то сама, почитай что, на сносях: неужли ж, бают, убежать куда может?

— А ты кого же слушать должен?..—прибавив

длинное ругательство, накинулся было на старосту становой, но староста вразумительно ответил:

— Слухать я, известно, вас обязан, а только же ведь мужиков была сила, а кроме того, бабы которые, а я один спроти их,—ружья же у меня, альбо пушки какой у руках нетути, чтобы палить я по них стал...

— Раз-го-ворчистый какой, сукин сын, пушку ему непременно давай!.. Чтобы ты у меня всех их мне назвал, какие за бабу вступались!

Становой кричал на старосту и кричал на народ, чтобы отошел дальше, что здесь не представление и смотреть нечего, однако народ не отходил от дома, только переминался, а староста мямлил явно сознательно:

— Нешто я их всех запомнил, ваше благородие?.. И больше даже, так сказать надоть,—бабы там усердствовали за свою сестру, и тяжела-то, и детишек содом...

Колокольчик соловой тройки, вкатившей в усадьбу, поднял упавшее было настроение станового: прискакал его письмоводитель и привез врача, за которым ездил; можно было, наконец, заняться составлением протокола по всей форме, затем наружным осмотром тела покойного, а потом и вскрытием как тела, так и письменного стола в кабинете.

4

В протокол внесли, что ни кровоподтеков, ни ран на теле не оказалось, легкие же были переполнены водой, как обычно у всех утопленников, но в столе нашлась довольно толстая и переплетенная записная тетрадь, давшая много ценных сведений любознательному становому.

Тут было и описание «четырехконной русско-американской молотилки», взятое, как о том говорила ссылка, из третьего тома «Трудов императорского Вольно-экономического общества» за 1854 год; и чертежи «практической зимней и летней маслобойки тверского помещика, статского советника Коха»; и разные выписки из «Энциклопедического лечебника домашних животных и дворовых птиц».

Особенно обстоятельна была выписка о кровопускании, так что заботящийся о своем просвещении становой пристав узнал, что кровопускание нужно делать: «у лошадей—из шпорных вен, подкожных локтевых, путовых или средней хвостовой вены; у рогатого скота—из подкожных брюшных или молочных вен; у овец—из шейных, личных, локтевых и бедренных вен...»

Вслед за «пользой кровопускания» много страниц записной тетради было отведено пиявкам и способам искусственного разведения их.

Иные слабохарактерные натуры если и ведут записки свои, то делают это урывками, неразборчи-

вым почерком, не дописывая слов,—вообще небрежно. Совсем не то видел пристав Зарнищ в записной тетради своего бывшего друга. Там царили обстоятельность, аккуратность, предусмотрительность, как будто записки эти делались не для себя лично, в помощь памяти, которая не всегда бывает свежа и услужлива, а в назидание потомству или, по крайней мере, как руководство для деятельных сельских хозяев; поэтому почерк был отчетливый, все слова дописаны; если прилагались чертежи, то и они делались не без изящества,—по линейке и даже с растушевкой.

Большое место в записках отводилось практике судебных процессов, что было вполне объяснимо для пристава: ему известно было, что не одну собачку съел его друг в этих головоломных делах и делишках, так что тут уж никакой тверской помещик Кох с его маслобойками ему и в подметки не годился бы!.. Без утайки проставлены были в этом отделе записок также и денежные суммы, истраченные на ведение процессов с соседями, так что пристав мог достаточно обогатить свой житейский опыт в этом именно направлении: деньги—вещь щекотливая, и не всегда, говоря о них, бывают откровенны с друзьями даже и наилучшие друзья.

Но все-таки среди разнообразного материала, внесенного помещиком Хлапониным в свою записную тетрадь, с наибольшим усердием, с высшей затратой мысли заполнялись страницы, отведенные такому бесспорно важному вопросу, как любовь и брак. Василий Матвеевич признавался неоднократно в своих записках, что всю свою жизнь был в плену той или иной любви, но к браку относился, как к священному таинству, потому что был верным и преданным сыном церкви; перед самым даже словом «брак» он, по его словам, трепетал, таким исключительно многозначительным представлялось ему всегда, с самых молодых лет, это слово, и ради будущего брака своего он собственнo и жил. Только в более молодые и в средние годы невеста рисовалась ему, кроме всех своих личных совершенств, еще и с подходящим приданным, необходимым и для положения в обществе и для наилучшего воспитания детей; а подходя к старости, он готов уже был помириться на невесте с одними только личными совершенствами, что же касалось приданого, то за большим состоянием ее он уже не гнался: личные совершенства он стал решительно предпочитать. И вот именно тут-то, в конце этого отдела записок Василия Матвеевича, начало мелькать перед Зарнищным здесь и там имя жены племянника покойного владельца Хлапонинки Елизаветы Михайловны.

Так, полностью она, впрочем, называлась в записках до своего приезда в имение, а после уже совсем интимно и коротко: Лиза. К племяннику не обнаруживалось никаких особенно заметных

родственных чувств, а об его жене говорилось в восторженных выражениях: и красавица, и умна, и воспитана, и спокойный характер, и «как-то даже вчуже становится жалко ее: досталась кому же?—Мите!.. Разве он ее стоит?.. Если даже не принимать в резон его контузии теперешней, от которой он едва ли когда-нибудь совершенно поправится, прежде-то, раньше, до Крымской войны, когда был он здоров, как бык, разве он ее стоил? Вот уж истинно дуракам счастье!..»

Приводились вкратце разговоры, какие он вел с нею, когда случалось оставаться им наедине; этим разговорам он, видимо, придавал большое значение.

Потом вдруг появилась в тетради запись о Терентии Чернобровкине: приходил без него, когда он уезжал в Курск по делам, сначала один, потом с женой и говорил с племянником об имении, хочет ли он, племянник Митя, хлопотать о том, чтобы все имение перешло к нему, или желает полюбовного раздела со своим дядей, который (будто бы!) «обобрал» его, оставшись его опекуном. Приводилось даже и то, что все крестьяне уверены, что он, Митя, только затем и приехал, чтобы отобрать имение, а в случае если дело окончится полюбовным разделом, все заранее заявляют, что хотяг перейти к Мите, потому что помнят его отца, который-де их не притеснял так, как он, Василий Матвеевич...

Прочитав это, становой ударил себя по лбу ладонью: вот оно!.. Истинный виновник преступления, так сказать, идейный вдохновитель его сделался для него ясен. Он представил его таким, каким видел его здесь же, в Хлапонинке, представил и его жену,—предположение сразу облеклось в живые образы,—живые образы заходили и заговорили в его мозгу, и когда прочитал он затем в тетради о ссоре за обедом из-за этого самого Терентия Чернобровкина, «который есть и будет первостатейный мерзавец», а потом прочитал об уходе гостей из его дома тайком, рано утром, прямо на деревню, к тому же Терентию, который приготовил им простые розвальни и мужицких лошадемок для отправки на почтовую станцию, он уже не мог и читать дальше,—даже и незачем уж было читать дальше: все было совершенно ясным.

Главный преступник «заказал» преступление, по всей видимости разработав и план его, потом уехал, чтобы остаться в тени, а тот, кому было заказано, Терентий Чернобровкин, сговорившись с этим «недоделком» Гараськой, подстерег владельца Хлапонинки в таком на отшибе стоящем строении, как пивоварня, и там они вдвоем его прикончили... Главный из двух, совершивших убийство, этот самый Терентий, бежал, так как он поумнее, а недоделок, дурак Гараська, остался, рассчитывая отвертеться. Но не отвертится, конечно!

Степанида немедленно предстала перед приставом по его зычному зову, и письмоводитель, юркий человечек с острыми непоседливыми глазками и смешливыми тонкими бритыми губами, принялся излагать на бумаге то, что она раньше рассказывала Василию Матвеевичу о свидании в этом доме друзей—раненого офицера и мужика Терентия, и об их задушевной беседе насчет имени.

Становой, разумеется, предупредил ее, что имени этого не видать офицеру Хлапонину, как своих ушей, и язык Степаниды развязался. Все догадки свои она теперь выкладывала начистоту, как будто они просто возникали в ее памяти под вопросами станового.

Становой же время от времени восклицал поощрительно:

— Ну, вот видишь, Степанида! Вот это самое оно и есть, а ты мне по началу бухаешь вдруг: «Не иначе как разбойники!»

— Да ведь кто же их знал-то: кабыть, глядится, хорошие господа,—оправдывалась Степанида.

— А я тебе что сказал, а? Я тебе сказал: «Разбойники эти здесь!» Так оно и выходит! Продолжай, рассказывай, все говори!

Степаниде льстило, что ее слушают, переспрашивают, записывают, что она говорит. Степанида старалась не пропустить ничего, чтобы выставить себя усердной и разумной слугой, а это только и можно было сделать, всячески выхваляя покойного барина и опорачивая главным образом молодую приезжую барыньку, с которой больше ей приходилось иметь дело, чем с ее мужем, раненым офицером. Цепь улик против уехавшей в Москву четы Хлапоновых вырастала под вопросами пристава, адрес же брата Елизаветы Михайловны нашелся в тетради; он был изображен крупными буквами, волнообразно подчеркнут и обведен каймой, как будто Василий Матвеевич заранее указывал следствию, в какую сторону должно было оно обратить свои пытливые взоры.

При более тщательном осмотре содержимого письменного стола нашлась и духовная, правда, домашняя, но написанная по установленной форме: «Находясь в здравом уме и твердой памяти, я, нижеподписавшийся...» и прочее...

Чернила, какими было написано это завещание, оказались вполне свежие, а число совпадало с числом отъезда из Хлапонинки Елизаветы Михайловны и ее мужа, так что очень важная бумага эта писалась под горячую руку человеком, считавшим себя несправедливо оскорбленным в своих лучших родственных и еще более нежных чувствах, как бы покинутым, как бы ввергнутым насильно в постылую пучину одиночества, из которого ему уже мерещился некий сияющий выход, человеком, для которого одиночество и смерть

были почти одно и то же. Конверт, в котором лежало завещание, не был даже и запечатан.

Естественно было человеку в таком состоянии подумать о судьбе своих детей, которых он наплодил хотя и «незаконно», но ведь в конечном-то счете совершенно таким же точно образом, как если бы был с их матерями в законном браке; в то же самое время хотелось ему, конечно, под свежим впечатлением обиды отрезать путь к Хлапонинке своему племяннику, который хотя и контужен, так сказать, окалечен самим богом, однако осмелился проявить заносчивость, дерзость, гордость и другие пороки.

Хлапонинка по бумаге, написанной в этот взволнованный день, отходила после смерти завещателя к старшему и наиболее любимому им из детей его первой семьи—Константину Петровичу Ресову; наличный же капитал его, хранившийся в государственном банке, был поделен между второй семьей и третьей неравномерно: более многодетной второй семье—больше, третьей—меньше...

Когда пришло время обеда, становой пристав Зарницын имел вид человека, вполне заработавшего не один, а сорок обедов.

ГЛАВА ВТОРАЯ ГОЛУБЫЕ МУНДИРЫ

1

Трехмесячный отпуск, данный Дмитрию Дмитриевичу Хлапонину для восстановления здоровья, кончался в марте, и нужно уж было или ехать в Севастополь, или хлопотать, чтобы отпуск продлили еще хотя бы на месяц.

Но как-то совершенно помимо медицины и медиков Елизавета Михайловна получила уверенность, что если что и способно будет окончательно восстановить прежний духовный облик ее мужа, то это—возвращение его к своей батарее, в круг людей, с которыми хорошо ли, плохо ли прожил он свою жизнь, начиная с поступления в кадетский корпус.

Ту явную для всех неловкость, которую он ощущал и проявлял, соприкасаясь с чужими ему интересами, она объясняла не затрудненной только работой мозга, а больше тем, что он попал в малознакомую ему вообще штатскую обстановку; батарея его там, в Севастополе, должна была довершить его лечение.

Но в то же время вполне очевидно было Елизавете Михайловне, что это за страшно ядовитое лекарство—батарея в Севастополе!.. С таким огромным трудом спасая мужа от смерти, она могла лишиться его, может быть, в первый же день, как только он примет вновь свою батарею.

Не раз и не два возникала в ее памяти ужасная картина канонады в октябре: потрясающий гул и грохот, беспросветный дым, ядра, летевшие в госпиталь, сотни жестоко изувеченных солдат и офицеров и, наконец, эти кровавые носилки, с которых тускло глянули на нее лишенные малейших проблесков мысли глаза мужа...

И все это вот-вот могло повториться вновь, только с другим уже концом. Когда она думала об этом, ей неотвязно приходил на мысль шиллеровский «Кубок»¹, и тоскливо звенели в душе последние его строчки:

Приходит, уходит волна быстротечно,
А юноши нет и не будет уж вечно!

Она узнала, правда, в Москве, что семнадцатая артиллерийская бригада, в которой служил муж, вместе с семнадцатой пехотной дивизией стоит в резерве на Инкерманских высотах, но никто, конечно, не мог бы сказать ей, долго ли она будет стоять там, и не пошлют ли ее на какой-нибудь бастион как раз перед их приездом в Севастополь.

Когда получился на адрес ее брата, Волжинского, казенный серый пакет с крупными сургучными печатями, принесший известие о смерти Василия Матвеевича, он, конечно, не мог не дать нового направления ее мыслям: он как бы приносил решение на отсрочку отпуска, на задержку отъезда туда, в грохочущий, огненный Севастополь, потому что рядом с Севастополем становилась теперь вдруг деревня Хлапонинка.

— Во всяком случае надо написать письмо туда,—что там такое случилось, отчего умер скоропостижно Василий Матвейч,—говорила Елизавета Михайловна мужу вечером в этот день.

— Написать письмо?.. Кому же туда писать письма?—равнодушно, не повышая голоса, спросил Дмитрий Дмитриевич.

Это равнодушие к смерти дяди и к возможности наследовать от него свою родовую Хлапонинку было неприятно Елизавете Михайловне прежде всего тем, что являлось как бы очевидным последствием незалеченной еще, неизбытой контузии.

— Как же так «кому написать»?.. Как будто уж действительно некому там будет прочитать нашего письма и на него что-нибудь ответить,—сказала она недовольно.

— Гм... Кому же все-таки?—так же равнодушно снова спросил он.

— Можно написать конторщику или бурмистру Акиму... Наконец, даже и Степаниде.

— Воспаление в легких, должно быть,—подумав, медленно отозвался Хлапонин.—А иначе от чего же еще мог он помереть так скоро?

— Ну, хорошо, допустим, что воспаление в

¹ «Кубок»—баллада Ф. Шиллера, немецкого поэта (1759—1805).

легких... Но ведь, может быть, тебе и в самом деле придется хлопотать насчет ввода во владение Хлапонинкой, как же тогда?

— Если бы вводиться, то пристав так бы и написал, я думаю.

— А может быть, это просто само собой разумеется, поэтому-то он и не писал. Почему же мы с тобой знаем?—возразила она.

Дмитрий Дмитриевич посмотрел на жену долгим и несколько как будто удивленным ее суетностью взглядом и сказал совершенно для нее неожиданно:

— Что же там вводиться?.. Вводиться!.. Я ведь их все равно отпустил бы, если бы даже, допустим, я и ввелся.

— Как отпустил бы? Всех?—изумилась она.

— А что же?.. Людьми торговать нам?

— Почему же именно торговать? Что ты говоришь такое?

По привычке она протянула руку к его лбу, пощупала, не горяч ли; лоб был холодный.

— А раз людей отпустить, надо им и землю,—как же иначе?—продолжал он нить своей мысли, точно боясь, что она оборвется и он не поймает ее концов, если ответит на вопрос жены.

Она же тем временем припомнила, как он, ее странный Митя, сказал Терентию Чернобровкину, когда уезжал из Хлапонинки: «Я не умею быть помещиком!»—и смотрела на него, улыбаясь поматерински.

— Ну, хорошо, хорошо! Людей отпустить на волю, землю им отдать, но ведь для этого все равно надо хоть на время стать владельцем Хлапонинки!

— А тебе разве так хочется этого?—вдруг спросил он, совершенно серьезно и даже как будто укоризненно на нее глядя.

Она обняла его.

— Милый, я тебя ведь вполне понимаю, конечно! Тебе все это кажется таким трудом непосильным, что ты заранее готов от всего отказаться... Если бы нашелся у тебя еще один дядя и отказал бы тебе, допустим, дом в Москве на Мясницкой, ты тоже сказал бы, конечно: «Да, вот, изволь тут еще с домом возиться... А вдруг в нем полы уж гнилые,—чини тут полы... А может, печи дымят, или его весь снаружи штукатурить и белить надо...»

Он молчал на это, она же провела мягкой и теплой рукой по его волосам, неумеренно отросшим за последнее время, и добавила:

— Это ведь у тебя от твоей контузии: каждое дело вообще кажется тебе еще очень тяжелым. Вот так же точно и с батареей твоей будет, когда приедем в Севастополь.

— Нет, батарея—там ничего тяжелого нет,—тут же отозвался он.—Там все просто очень. И дом в Москве, это—совсем не то, что имение.

— Ну, вот,—вот и хорошо! В чем же дело тогда?—улыбнулась она.—Продадим давай имение и купим себе дом в Москве!

Он посмотрел на нее еще серьезней, чем недавно.

— То есть усадьбу, одну усадьбу продадим, ты хочешь сказать? Гм... усадьбу... Это бы можно, разумеется, а кто же ее купит у нас, одну усадьбу?.. И сколько же дать за нее могут? Гроши ведь, одни гроши... Дом плохой, старый. Кому он нужен там?

В это время к ним в комнату вошел Волжинский, и к нему обратилась Елизавета Михайловна:

— Ну, напрасно нас начал ты сегодня помещиками звать!

— А что? Разве уж именье тютю?—удивился и обеспокоился Волжинский.—Другие наследники нашлись, а?

— Нет, не то... Другие или нет, еще пока неизвестно, но ты подумай только: ведь крестьян всех надо будет отпустить на волю, не так ли?

— Дда-а, конечно, не мешало бы!.. Хотя можно бы ведь сначала просто перевести с барщины на оброк, как это кое-кто делает.

— Это ты, западник, так думаешь?—вдруг запальчиво с виду спросил его Хлапонин, и Волжинский заходил по комнате, сильно стуча каблукми.

— Конечно,—сказал он, остановясь,—отпустить необходимо, это так! Дико и глупо, что и говорить, только мне-то, мне-то как расстаться с мыслью, что у меня зятек помещиком стал! Эх, не понимают люди, в чем смысл жизни!.. Отпустить же, раскрепостить рабов надо, об этом нет спора, иначе ты будешь не европеец... Ведь ты, например, и контужен только потому, что у нас еще крепостное право, а не будь его...

— Ну, вот видишь, сам повторяешь, что Митя,—перебила Елизавета Михайловна,—но ведь не с пустыми же руками крестьян наших на волю пустить, надо же им и землю дать, а?

— Огородную?—быстро спросил Волжинский.

— Какую землю, Митя?—спросила мужа Елизавета Михайловна, чуть сдерживая улыбку.

— И как же они без полевой? Откуда же хлеб будет?—угрюмо спросил в свою очередь Хлапонин.

— Откуда? Арендовать будут, конечно, твою землю,—повернувшись на каблучке, ответил Волжинский.—Разумеется, по божеским ценам, а не по каким-нибудь арапским.

Хлапонин посмотрел на него пристально, решил, что он просто-напросто шутит, и махнул в его сторону рукой.

А Елизавета Михайловна обратилась к брату с веселой усмешкой:

— И вот, представь теперь, что у нас получается от всего нашего богатого наследства! Одна единственная усадьбишка, которая,—ну, что может стоить? Дом старый, крыша на нем камышевая,

сад... Не знаю, право, много ль он дает яблок... Вообще совсем грошовой оказалось паше наследство! Ну, кто в такой глуши может купить у нас эту усадьбу? Кому она там нужна?

Волжинский пытливо глядел на сестру, стараясь понять, что произошло в этой комнате без него, и не сговорились ли просто супруги его поморочить несколько, но, переведя взгляд на зятя, убедился, что он совершенно серьезен, и сказал ему:

— У декабристов было такое убеждение,—хотя у самых только крайних,—освобождать—так уж с землей, а не от земли, но все-таки, мне кажется, Митя, что ты, пожалуй, забегаешь вперед...

— Нет, это ты забегаешь вперед,—медленно, однако веско проговорил Хлапонин.

— Я забегаю? Каким это образом?

— Да очень простым... Прежде всего ты не знаешь моего дядюшки.. Он ведь и после смерти своей даже...

— Способен на всякую гадость, ты хочешь сказать?—весело уже перебил Волжинский.

— И способен, вполне способен,—серьезно ответил Хлапонин.

Елизавета Михайловна не возобновляла уже больше разговоров о наследстве ни в этот день, ни в следующее утро, видя, что сны неприятны мужу; но письма все-таки решила написать: одно—ключнице Степаниде, в надежде, что на него постарается ответить конторщик Петя, чтобы показать, какой у него кудрявый почерк, а другое самому становому приставу Зарницыну, с которым познакомились они на праздниках... Она полагала, что если пристав счел нужным прислать в казенном пакете извещение о смерти Василия Матвеевича, то, конечно, он лучше других знал и то, оставил ли покойный духовное завещание, и как им придется поступить, если не оставил.

Их московский адрес пристав, конечно, нашел среди записей Василия Матвеевича, и в этом вопросе осведомленности его она не удивлялась. Однако написать ему письмо ей так и не пришлось.

Незачем было писать: она узнала все, что хотела узнать, на следующий день, притом в Москве, от молодого офицера в голубом мундире, который посетил ее мужа, не будучи с ним лично знаком, просто по обязанностям своей службы.

2

Жандармский поручик Доможиров, войдя в прихожую и встреченный камердинером Волжинского Дементием, прежде всего осведомился у него, здесь ли проживает артиллерии штабс-капитан Хлапонин, потом начал неторопливо раздеваться. Фамилию свою он сказал вполне отчетливо, и Дементий так же отчетливо повторил ее, хотя и вполголоса, Елизавете Михайловне.

Конечно, Хлапонина подумала, что это—какой-нибудь бывший сослуживец ее мужа, перешедший из артиллерии в корпус жандармов, и тут же повела его в комнату к Дмитрию Дмитриевичу, а сама следила глазами за мужем, вспомнит ли он сразу этого Доможирова.

Увидела, что не вспомнил: заметила, что даже как-то озадачен его появлением; поручик же Доможиров оказался очень вежливым, воспитанным, главным, внимателен к нему.

Сказал, что рад видеть защитника Севастополя, тем более раненого или, если даже и контуженного, то с тяжелой формой контузии; добавил, что в обязанности его входит заботиться о проживающих в Москве пострадавших на войне офицерах.

Он даже спросил, не нуждаются ли они в помощи от казны, хватает ли им жалованья на жизнь в Москве и на лечение, чем расположил Елизавету Михайловну в свою пользу. Ей даже почудилась в его словах и манере говорить как бы некоторая зависть к ее мужу, побывавшему там, в Севастополе, в самом жестоком огне артиллерийского боя.

В талии он был гибок,—в нем чувствовался хороший танцор; несколько крупноватые черты лица были как бы вывеской его природного добродушия; глаза же он то и дело щурил: должно быть, они были очень чувствительны к резкому свету ясного морозного дня, и цвета их не могла различить Елизавета Михайловна, только догадывалась, что должны быть серыми, под цвет светлых волос, стоявших ежиком.

Что же касалось мужа, то она замечала, что визитер этот очень ему неприятен; на его вопросы он отвечал односложно и часто взглядывал на нее вопросительно. Эти вопросительные взгляды мужа она понимала так: «Не знаешь ли ты, что ему от нас нужно?» Этого она не знала и едва заметно недоумевающе пожимала плечами.

— Скажите, ведь вы, должно быть, живете здесь у своих родственников?—полюбопытствовал голубой поручик, обращаясь непосредственно к ней.

— Да, у моего брата, адъюнкт-профессора,—ответила она, стараясь понять и не понимая все-таки такого, невинного впрочем, любопытства.

— Да-да, адъюнкт-профессора Волжинского,—подхватил он, как будто только что припомнив это, и улыбнулся бегло.

Улыбался он часто, но именно как-то бегло, на один миг, что отмечала про себя Елизавета Михайловна, как будто улыбка прилетала всякий раз к нему откуда-то издалека, и чуть только усевшись на его толстоватые губы, тут же вспархивала прочь.

— Вы что же к своему брату сюда прямо из Севастополя?—спросил он, обращаясь при этом не к ней, а к ее мужу.

— Нет, не прямо сюда, не прямо... Мы заехали по дороге... в одно имение в Курской губернии,—медленно и совсем уже нелюбезно ответил Дмитрий Дмитриевич и так выразительно посмотрел на жену, что даже и голубой визитер мог бы перевести его взгляд приблизительно так: «Не можешь ли ты как-нибудь его спровадить?»

— Ах, вот вы как? В имении сначала отдыхали! И тоже у своих родственников?—непринужденно спросил между тем голубой.

— У моего родного дяди,—постучав пальцами по столу, ответил Хлапонин.

— Вот видите-с! Родственные заботы о вас, уход примерный с его стороны—это вам помогло, конечно,—тут же участливо отозвался поручик и добавил, казалось бы, совершенно беспечно:—Он как же дядя вам—с материнской стороны или по отцу?

— Хлапонин была его фамилия... так же, как и моя,—недовольно ответил Дмитрий Дмитриевич, но Доможиров поднял удивленно брови, еле заметные впрочем (усы у него тоже плохо росли), и Елизавета Михайловна разглядела, наконец, что глаза у него какие-то темносвинцовые.

— Была, вы сказали? Как же так была?—и теперь улыбнулся продолжительнее, чем обычно, как будто желая этим выразить, что понимает его обмолвку и относит ее за счет контузии.

— Да, вот, оказалось так, что именно была... Пристав становой прислал оттуда письмо... Умер будто бы дядя,—с усилием проговорил Дмитрий Дмитриевич, а Елизавета Михайловна добавила:

— Повидимому, от воспаления в легких, потому что скоропостижно как-то умер.

— Ах, так вот оно что-о!—протянул сожающим тоном жандарм.—Умер, бедный, и вы даже не знаете, от какой болезни!.. А пристав разве не написал вам этого в письме?

— Нельзя и письмом назвать эту бумажку, какую он нам прислал,—ответила за мужа Елизавета Михайловна.—Это было, как бы сказать, полицейское извещение о смерти, и только.

— Ну да, ну да, должностная бумажка,—понимаяще кивнул головой поручик.—Должно быть, он думал, что подробности вам напишет кто-нибудь из двора?

— Очевидно, именно так, но ведь никто из двора там нашего московского адреса не знает,—сказала Елизавета Михайловна.

— Что же так?—удивился поручик.—Ведь дядюшка ваш, я думаю, по-родственному сам вас и провожал на станцию?—попрежнему как-то беспечно и пусто и ненужно спросил Доможиров и поглядел тут же на ногти своей левой руки.

Этого пустого с виду вопроса все о том же дяде, а кроме того пристального внимания к своим ногтям со стороны молодого жандарма достаточно было для Елизаветы Михайловны, чтобы она по-

няла вдруг, что визитер их имеет и еще какие-то задние мысли, а не только заботу об ее муже, пострадавшем при защите Севастополя; в то же время она заметила, что и муж ее становится все более нетерпелив и беспомощен.

— Дядя не провожал нас на станцию,—вдруг ответил он, в упор глядя на поручика.

— Не провожал даже? Вот видите как! Должно быть, уж и тогда чувствовал себя нездоровым,—как бы внезапно догадался жандарм.

Дмитрий Дмитриевич беспомощно поглядел на жену по усвоенной в последние месяцы привычке прибегать к ее помощи во всех затруднительных и раздражающих случаях, и жандарм перехватил этот взгляд и сам обратился к Елизавете Михайловне самым вежливым тоном и с самой сладкой улыбкой:

— Не могу ли я попросить у вас стакан чаю, мадам? ;

Это обращение его вышло до того неожиданным, что Елизавета Михайловна начала даже извиняться, что не догадалась сделать этого сама, и вышла из комнаты, а жандарм, оставшись наедине с Хлапоным, как он и хотел, вынул небольшую записную книжечку из бокового кармана мундира и, заглянув в нее бегло, спросил вдруг:

— Скажите, господин капитан, вы ведь знали там, у вашего дяди, крепостного крестьянина Терентия Чернобровкина?

— Терентия? Как же не знал? Знал и давно знаю,—невольно оживившись при таком повороте разговора, ответил Хлапонин и теперь уже смотрел на жандарма неотрывно, ожидая объяснений.

— Давно его знаете, вы говорите? А как именно давно?—спросил жандарм.

— Это что же такое? Допрос, что ли?—очень удивился Хлапонин и встревоженно перевел глаза на дверь, в которую вышла жена.

— Нет, какой же допрос,—отозвался жандарм, впрочем, не улыбаясь.—Беседа у вас же на квартире разве называется допросом?—И добавил как будто между прочим:—Скажите, этот Чернобровкин здесь теперь, с вами, в Москве?

Дмитрий Дмитриевич отшатнулся на спинку стула, поглядел на дверь, но, овладев собою, спросил сам и даже с любопытством:

— А разве его нет в Хлапонинке? Куда же он делся?

Голубой поручик теперь уже не щурил глаза,—напротив, он и не мигал даже, он смотрел неподвижно, уставясь в глаза Хлапонына.

— Чернобровкин бежал, как вам хорошо это известно,—сказал он с оттенком презрения к нему, не умеющему как следует притворяться.

Этот неподвижный жандармский взгляд с оттенком презрения вздернул Хлапонына. Он теперь уже не взглянул на дверь. Он пошел в себе самом силы противустать голубому.

— Мне известно, вы говорите, господин поручик? Нет, мне неизвестно, что он бежал... А что он был назначен в ополчение, это я знал и даже с дядей говорил об этом. Но чтобы бежал он... Когда же это бежал?

— Совершив свое злодейское преступление, конечно, он должен был бежать, как же иначе?—сказал поручик, все так же не шуря уж глаз.

Как раз в это время Дементий, который мало был похож на камердинера, а больше на «кухонного мужика», внес на подносе стакан чаю, вазочку сахару и сухари, а следом за ним вошла и Елизавета Михайловна.

— Слышишь, Лиза, Терентий, оказывается, бежал!—тут же обратился к ней Хлапонин.—И... что такое еще он сделал? Да, злодейское преступление какое-то сделал, потом бежал.

Дементий ушел, а Елизавета Михайловна не села на свое прежнее место, очень пораженная тем, что услышала о Терентии. Только теперь поняла она, зачем именно пришел к ним этот жандармский поручик, и тут же связала смерть Василия Матвеевича со словами «злодейское преступление».

— Уж не убил ли он Василия Матвеевича, а?—спросила она встревоженно и мужа и одновременно поручика в голубом мундире.

А поручик Доможиров, не прикасаясь к стакану, переводил заострившиеся глаза с нее на ее мужа, стараясь не пропустить ни одной черточки на их изумленных лицах. И это была решающая для них минута.

Он пришел с готовым уже обвинением против них обоих, создавшимся отчасти там, в Хлапонинке, у станового пристава Зарницына, но в большей части уже здесь, в жандармском управлении, а между тем неподдельно изумил и этого контуженного штабс-капитана и его красивую спокойной красотой жену.

До чаю он не дотронулся, он продолжал наблюдать их обоих, постепенно теряя то одно, то другое из своей предвзятой уверенности в том, что они—сообщники Терентия Чернобровкина. Он даже сказал, поднимаясь:

— Очень прошу прощения за беспокойство, какое я вам принес, но, знаете ли, служба, я действую по приказанию своего начальства... И я бы посоветовал вам вот что: если только позволит вам состояние здоровья, господин капитан, не проедетесь ли вы со мной в наше жандармское управление?

— Вы... арестовать его хотите?—вскрикнула испуганно, заломив руки, Елизавета Михайловна.—За что? За что?

— Не арестовать, помилуйте, что вы!—И даже дотронулся до ее рук жандарм, как бы стараясь хоть этим ее успокоить.—Не арестовать, а только дать свои показания по этому делу, которые будут

там записаны, понимаете? Свидетельские показания только!

— Свидетельские?—повторила она.—Но ведь он один не в состоянии будет, нет, он никуда не ходит один, а всегда со мною.

— С вами он может быть и теперь, прекрасно! И вы тоже дадите свои показания, мадам! И я уверен, что они для нас будут очень ценны!

— На дворе сейчас холодно,—сказала она беспомощно.

— Не очень холодно, уверяю вас... Наконец, закутайте его как-нибудь потеплее.

— Поедем, поедем, Лиза!—решиительно выступил вперед Хлапонин.—Я готов.

— Разумеется, лучше вам сейчас же отделаться от этой обязанности, чем ждать и думать, что вам что-то такое угрожать может,—тоном совершенно дружеским уже советовал жандарм и вдруг спросил Хлапонина, как бы между прочим:—Насчет Гараськи вы тоже ведь можете дать показание?

— Какого Гараськи?—удивленно поглядел на него Хлапонин.

— Ну, этого там, сообщника Чернобровкина,—беспечно сказал поручик.

— Гараську никакого не знаю,—подумав, ответил Хлапонин.

— Ну, вот видите, другого преступника вы даже и не знаете... тем лучше для вас. Одевайтесь—и едем в управление. Поговорите там с подполковником Раухом, показания ваши запишут, и всё...

3

Жандармское управление, куда в извозничьей карете приехали вместе с поручиком Доможировым Хлапонины, помещалось в обширном, но почему-то очень неприглядном и даже ошарпанном снаружи двухэтажном каменном доме с антресолями и балконом вверху. Для того чтобы говорить с подполковником Раухом, нужно было подняться во второй этаж.

Воздух в коридоре, по которому проходили Хлапонины вслед за Доможировым, был застоявшийся, затхлый—казенный; пахло сургучом, известкой и почему-то мышами.

Поручик попросил Елизавету Михайловну сидеть в небольшой комнате перед кабинетом Рауха, а Дмитрия Дмитриевича ввел в кабинет.

В кабинете, довольно большой комнате с четырьмя окнами на улицу, было только два стола, и за одним, большим, сидел сам подполковник, за другим, поменьше, военный чиновник со скромными бакенбардами в виде котлеток.

— Штабс-капитан Хлапонин!—представил Дмитрия Дмитриевича Доможиров.

Хлапонин стал навтыжку, как давно уже не приходилось ему ни перед кем стоять, и уже приготовился протянуть руку подполковнику, но тот,

сказав только: «А-а?! Это вы Хлапонин? При-
сядьте!»—пальцем указал ему на стул против себя.

Хлапонин, не успев еще удивиться, почему Раух не подал ему руки, уселся поудобнее на стул, так как чувствовал в этом настоятельную необходимость: ноги его были еще слабы, и легкую дрожь от усталости чувствовал он в коленях.

Доможиров подошел к чиновнику, взял у него какую-то синюю папку с бумагами и тут же передал Рауху, и в то время как тот безмолвно начал перелистывать бумаги в папке, Хлапонину не оставалось ничего больше, как разглядывать его самого.

Этот немец был лет сорока на вид и не мал ростом, но костляв, и руки его были, казалось, готовы рассыпаться на все свои составные части: кости, хрящи, сухожилия, вены... Лоб с желтыми лоснящимися взлизями, светлые волосы, жидкие, но аккуратно зачесанные справа налево, так что над левым ухом получалось даже что-то вроде буклей; усы обвисшие, притом лишенные малейшего оттенка добродушия; серые сухие глаза глядели как-то невнимательно, однако и явно недоброжелательно, как свойственно глядеть человеку, перед которым хорошо уже известный ему субъект предосудительного поведения.

— Перед приездом вашим сюда, в Москву, вы были в имении помещика Курской губернии Белгородского уезда Василия Матвеевича Хлапонина?—смотря в бумаги, спросил Раух скрипучим надтреснутым, очень неприятным голосом.

— Так точно, был, господин полковник,—по форме ответил Хлапонин, стараясь в то же время припомнить точно, сколько именно дней провел он у дяди.

Раух сделал знак чиновнику, и тот пересел к его столу, и бойко забегало его гусиное перо по большому листу голубоватой, прочного вида бумаги.

— В каких отношениях вы были к владельцу имения?

Хлапонин заметил, что поручик Доможиров, тоже подсевший к столу, записал карандашом в своей записной книжке что-то, и ответил:

— Покойный Василий Матвеевич был мой родной дядя, по отцу.

— Я это знаю,—сухо сказал Раух и посмотрел на него неодобрительно.—Я вас спрашиваю об отношениях в смысле... житейском. О ваших личных отношениях к нему я хочу знать.

Хлапонин понял, что на этом строится какое-то обвинение против него самого, а уж не только против Терентия Чернобровкина и какого-то Гараськи, о котором не зря же упоминал поручик Доможиров.

— Отношения наши, когда я жил в Хлапонинке, натянутыми не были,—ответил он, подумав.

— Не были? Как же так не были?—негодую-

ще поглядел на него Раух.—Вы уехали от своего дяди, который вас сам пригласил к себе, на мужичьих лошадях!—При этом он сильно стукнул пальцами по бумагам в папке.—Уехали и даже не простясь с хозяином—вашим родным дядей, а говорите, что отношения не были натянуты!

Дмитрий Дмитриевич почувствовал, как испарина покрыла вдруг его шею, хотя в кабинете Рауха было скорее прохладно, чем тепло.

— Так точно, господин полковник, уехал я, не простившись с ним... после того, как он накричал на меня за обедом,—сказал он, уже начиная терять кое-что из заготовленного запаса хладнокровия.

— Накричал за обедом? Чем же было вызвано это?

Раух глядел на него уничтожающе, и он перевел глаза на поручика Доможирова, у него ища защиты от такого наскока его же начальника.

— Это было вызвано тем... Я не совсем ясно помню, чем именно... Кажется тем, что я просил его вместо одного многосемейного... вместо него сдать в ополчение другого...—проговорил Хлапонин не совсем уже внятно.

— Вместо одного другого?.. Какое же вам было дело до этого?.. Ведь крестьяне были не ваши, а вашего дяди?

Хлапонин вполне ясно видел, что тот самый становой пристав Зарницын, который подписал присланную ему бумажку, гораздо раньше прислал сюда ли прямо, или в московское полицейское управление очень подтасованный им материал следствия, почему этот Раух взял тон, каким не принято говорить с простым свидетелем.

— Крестьяне были не мои, а моего дяди, господин полковник, это так... но тот, за кого я просил, ко мне обращался как многосемейный... не помогли я... то есть не упрощу ли своего дядю, чтобы заменил другим.

— Так-с, очень хорошо-с!—потер руки с довольным видом Раух и кивнул чиновнику, чтобы записал ответ Хлапонина.—Фамилия этого, за которого вы просили?

— Фамилия—Чернобровкин, имя—Терентий...

— Ну, вот видите как!—точно сам удивившись успеху своего вопроса, обратился Раух к поручику Доможирову.—Итак, Терентий Чернобровкин! Отчество его?

— По отчеству—не знаю как, господин полковник.

— По отчеству он—Лаврентьев... Скажите, он к вам приходил, и вы с ним говорили?

— Приходил, точно, и я говорил с ним,—повторил Хлапонин.

— Это было в отсутствие вашего дяди?

— Да, насколько помню, дядя уезжал куда-то... кажется, в Курск,—припомнил Хлапонин.

— И этим отъездом своего дяди вы воспользова-

лись, чтобы настроить против него этого самого вот негодяя Терентия Чернобровкина?—откинувшись на спинку кресла, почти выкрикнул Раух.

— Господин полковник!—изумленно проговорил Хлапонин и встал; он почувствовал, что испарина охватила его виски и лоб, а сердце начало беспорядочно биться.

— Сядьте!—приказал Раух трескуче.

— То, что я услышал от вас...

— Сядьте, я вам говорю!—и Раух показал пальцем на стул.

Хлапонин сел; стоять он все равно не мог бы больше,—он чувствовал сильную слабость не только в ногах,—во всем теле. Он даже оглянулся на дверь, за которой осталась Елизавета Михайловна,—не вошла ли она, услышав, что сказал этот голубой подполковник с немецкой фамилией.

— Восстановление же крестьян против их помещиков есть преступление политическое,—известно ли вам это?—тоном, не предполагающим даже и тени возражения, проскандировал Раух.

— Точно так, господин полковник, это мне известно,—пробормотал Хлапонин.

— Известно? Вот видите! А между тем вы... принимаете в отсутствие владельца имения у себя крестьян... (он посмотрел в бумаги) даже целыми семьями... и говорите с ними... О чем именно вы говорили с этим Терентием Чернобровкиным и его женой?

— Я не могу припомнить... этого разговора...

— Тогда я вам напомню-с!—Раух перевернул бумагу, посмотрел в нее и спросил:—Вы говорили, что именно должно было принадлежать после смерти вашего отца вам лично, но незаконно будто бы захвачено вашим дядей-опекуном? Это вы говорили?

— Я вспоминаю, что мы... говорили, как охотились вместе... когда я был еще кадетом, а он, Терентий, казачком у нас в доме,—с усилием проговорил Дмитрий Дмитриевич.

Ага! Так что вы с ним, значит, старые приятели?—иронически спросил Раух и кивнул чиновнику.—Хорошего приятеля вы себе нашли!

— Могу ли я узнать, в чем же, собственно, обвиняется Терентий Чернобровкин, господин полковник?—спросил Хлапонин, почему-то несколько окрепнув.

— Задавать вопросы имею право только я вам, а не вы мне,—сухо ответил Раух,—вам же я советую чистосердечно сознаться в том, что вы, пользуясь приятельскими отношениями вашими, с отчужденных еще лет, с этим самым Терентием Чернобровкиным, подбивали его на убийство своего дяди, чтобы имение перешло в ваши руки!

— Господин полковник!—снова поднялся Хлапонин.

— Сядьте! Попрошу вас сесть и отвечать мне сидя!—приказал Раух.

Но Хлапонин не сел. Он весь дрожал крупной дрожью... Он повернулся к двери и крикнул вдруг:

— Лиза!.. Лиза!

— Что такое?—изумился Раух и привстал над столом, но тут отворилась дверь, и вошла Елизавета Михайловна.

От этой неожиданности все сидевшие за столом встали, а Хлапонин, шатаясь, пошел навстречу жене, принял к ней и зарыдал, как ребенок.

— Штабс-капитан Хлапонин контужен в Севастополе, господин полковник, контужен в голову,—шопотом ответил Доможиров на вопросительный взгляд, обращенный к нему Раухом.—Он один никуда не ходит, а только в сопровождении своей жены... Мне пришлось взять и ее тоже...

Жандармский унтер-офицер, дежуривший у дверей кабинета, не ожидал, что на крик оттуда ринется мимо него в дверь эта красивая, прилично одетая дама, и хотя он тоже вошел в кабинет своего начальника вслед за нею, но совершенно не знал, что ему делать, и остановился в выжидающей позе, выпятив грудь.

Елизавета Михайловна в первые мгновения совершенно не могла понять, что такое случилось тут, и, обняв приникшего к ней мужа, к которому привыкла уж за время его болезни относиться, как к своему ребенку, переводила изумленные глаза с знакомого поручика на незнакомого костлявого подполковника, стараясь найти ответ хотя бы в выражении их лиц.

Она знала своего мужа после раны его и контузии, как человека слишком спокойно, болезненно безучастно относившегося ко всему, что творилось около него, и считала спасительным для него это спокойствие; она видела пробуждение в его памяти сильнейших из всех впечатлений жизни,—именно детских, и была за него рада; она переживала вместе с ним не менее радостное для нее возмущение его во время последней их беседы с Василием Матвеевичем; но таким потрясенным до глубины души она видела его вообще впервые, и ей показалось, что вот рухнуло сразу все воздвигнутое в нем ею с таким огромным, самоотверженным трудом, что за этим неожиданным для нее припадком слабости придет, может быть, полная ночь его рассудка, поэтому она спросила тихо, но строго, обращаясь к подполковнику:

— Что такое сделали вы с моим мужем?

Высокая, с бледным и строгим лицом женщина, так неожиданно для Рауха ворвавшаяся в его кабинет, как бы спугнула царившую в нем карающую Немезиду¹. Раух вышел из-за стола и сказал, поклонившись:

— Сударыня! Я не был осведомлен о том, что ваш муж настолько болен!.. Но в таком случае

¹ Немезида—богиня мщения у древних греков.

вы можете взять его домой, и мы допрос отложим до его выздоровления.

— Допрос, вы сказали?—изумилась Елизавета Михайловна.—Он разве обвиняется в чем-нибудь, мой муж?

— Если получены официальные касательно его бумаги, то, сударыня, мой долг выяснить все, чтобы не была допущена какая-нибудь грубая ошибка.

— Я прошу вас... господин полковник... прошу продолжать допрос!—вдруг выпрямился и, сдерживая дрожь, бившую все тело, проговорил Дмитрий Дмитриевич.

— Потом, потом, не волнуйтесь!—отозвался на это Раух, слегка даже дотронувшись до его локтя,—мы это сделаем потом. Поезжайте домой к себе, отдохните, успокойтесь... Ведь мы не думаем же, что вы от нас куда-нибудь уедете, так как вам нет никакого смысла это делать. Гораздо лучше подумать, как очиститься от возводимых подозрений...

При этом Раух даже как будто хотел улыбнуться, но едва ли умел,—улыбки и не вышло,—только слегка дернулись обвисшие усы.

В чем подозревается Дмитрий Дмитриевич, было уже ясно Елизавете Михайловне, но она так была поражена этим, что спросила, чтобы разубедиться:

— В чем же, наконец, его подозревают?

— Потом, потом!.. После. Кстати, должен сказать, сударыня, что мне придется говорить также и с вами-с.

Сказав это, Раух приветливо, насколько он мог, наклонил голову, точно сказал любезность.

Хлапонины вышли. Дмитрий Дмитриевич с трудом переставлял ноги. Сопровождал их по коридору и лестнице дежурный унтер-офицер; он же помог им позвать извозчика.

— Я совершенно не понимаю, как это произошло со мной,—виновато говорил в тот день Волжинский Хлапонин, когда Елизавета Михайловна передала своему брату, зачем вызывался ее муж в жандармское управление и чем пока закончился допрос.—Меня будто перевернуло всего, до того больно стало здесь,—он показал на сердце.

Волжинский, обычно веселый, озабоченно ходил по комнате, повторяя:

— Скверная история!.. Какая гнусная штука!

— Гнусная, да... Ведь я же говорил тебе, говорил, что мой дядя... даже и после смерти своей способен выкинуть любую гнусность!

Он лежал на тахте, на голове его был холодный компресс, на груди тоже. Елизавета Михайловна перебирала свою дорожную аптечку, отыскивая в ней валерьяновые капли.

— А ты еще рвался непременно ехать в Севастополь!—с ласковым упреком говорил Хлапонину Волжинский.—Простых житейских отношений в

Москве не вынес,—куда же было бы тебе идти на бастионы?

— На бастионы, ты говоришь?.. На бастионах, конечно, меня могли бы убить при моих же орудиях, да, могли бы... Но так оскорбить... так безнаказанно оскорбить... гнуснейшим подозрением каким-то... этого не могло бы там быть никогда!—горячо отозвался Хлапонин.

А в жандармском управлении по уходе Хлапониных произошел такой разговор.

— Красивая, однако, женщина, жена этого штабс-капитана!—сказал Раух, обращаясь к Доможирову.—Может быть, в этом и объяснение всего дела... Всегда ведь бывает так, что красивые женщины требуют красивой около себя обстановки, красивой жизни, большого положения, богатства,—а он что же ей мог дать? Штабс-капитан—это весьма немного для такой женщины... Вернее всего, что она-то именно и толкнула мужа своего на преступление, чтобы овладеть имением, хотя, правда, и небольшим, но все-таки благоустроенным, должен быть... Вот видите, в нем даже и пиявочник какой-то там был! Это указывает, что уж остальные-то доходные статьи состояли в полном порядке!

Доможиров выслушал своего начальника с виду внимательно, но возразил:

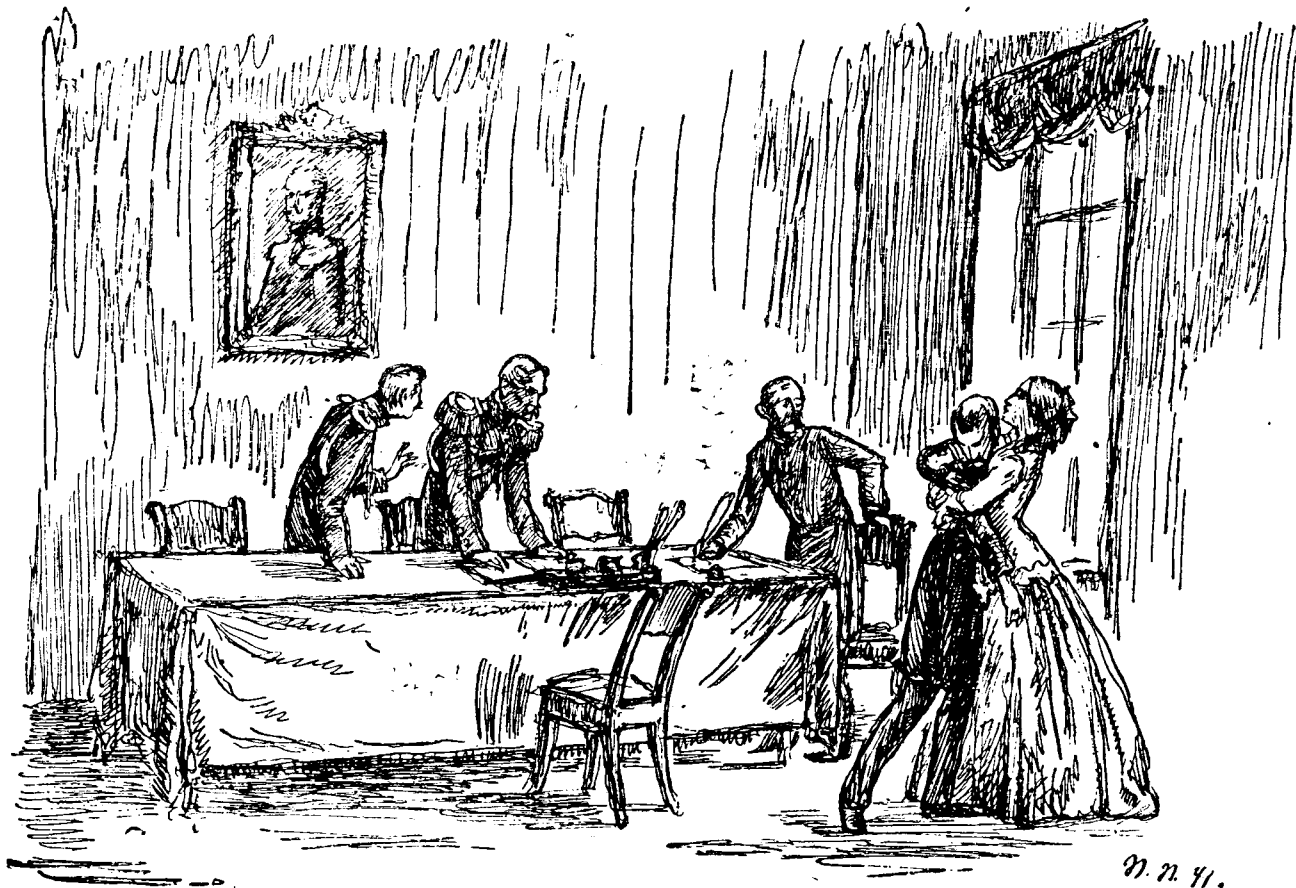
— Преступницы бывают всегда как-то театральны, между тем как эта... я в ней положительно ничего театрального не заметил.

— Ну, это уж просто, мне кажется, потому, что она произвела на вас, молодого человека, очень выгодное впечатление своею внешностью,—сделал попытку улыбнуться Раух,—что же касается меня, то вся эта сцена, какую они оба здесь разыграли, мне и показалась именно очень, очень театральной! Они, кажется мне, оба—опытные актеры, и он не столько болен, сколько понял безвыходность своего положения, вот что-с! Относительно же того, что он болен,—если только все еще болен,—это нам должны будут дать справку медики... Улики тяжкие—вот в чем вся его болезнь!

— Справку должно, конечно, потребовать у врачей, какие его лечили,—согласился поручик,—а вот что касается улик, то мне они как-то не кажутся совсем тяжкими.

— Как же так не кажутся тяжкими?—удивленно глянул Раух на своего помощника, но тот не смутился.

— Начать даже хотя бы с самого преступника—Терентия Чернобровкина,—объяснил он,—ведь нам в сущности что же известно о нем из дела? Только то достоверно известно, что он бежал, а бежал он только как сдаваемый в ополчение, может быть, а не как еще и убийца вдобавок... Ведь не доказано же с очевидностью, что именно он убийца? Есть одно только предположение местной полицейской власти. Ведь они пишут в



И. И. У.

деле не утвердительно: «Есть вероятность подозревать в злодеянии Терентия Чернобровкина...» Не подлежит сомнению только то, что он бежал, остальное же только допускается с известной натяжкой...

Высказав это, поручик Доможиров увидел, что он озадачил своего начальника. Раух даже недовольно передернул усами, воззрившись на него, и пробормотал:

— Что вы это тут мне такое «подозреваемый»!..

Однако он, усевшись на свое место, деятельно начал перелистывать дело в синей папке, между тем Доможиров говорил осведомленно:

— Явных улик против Чернобровкина в деле не приведено... Нет их и против другого, который назван его соучастником,—парня Гараськи, который хотя никуда и не бежал, а сидит под замком, однакоже не сознается, что они вдвоем убили... свидетелей же убийства не было.

— Ну да, ну да, еще бы! Еще бы они были дураки, чтобы убивать при свидетелях!.. Написать бы им, кстати, и записку,—дескать, мы убили!

Раух, говоря это, не поднимал, однако, головы от дела, стараясь найти в нем подтверждение

легкомыслия своего помощника, но кончил тем, что должен был согласиться с ним: дело было действительно построено на одних только предположениях и «убежденности» местных полицейских чинов.

Тогда он принял глубокомысленную позу человека, глядящего в корень вещей, и начал поучающим тоном:

— Виноват в преступлении всегда бывает кто? Тот, для кого оно выгодно. Оспоримо ли это? Нет, это неоспоримо!.. Какую же выгоду для себя видел бежавший преступник? А выгоду явную... Новый помещик,—этот штабс-капитан,—конечно, должен был из благодарности и семье его дать вольную и денежную благодать ей отсыпать, а сам убийца полагает, разумеется, что унесут его ноги и от кнута и от каторги. Какая же теперь выгода самого штабс-капитана? Рисовалась она ему очевидной вполне. Ведь он не знал, что духовная его дядей написана на другого, а если, предположим, и знал даже, то надеялся, конечно, оспорить эту духовную в суде, в чем, пожалуй, и мог бы успеть,—ничего нет мудреного,—примеры тому бывали.

— Он и сейчас-то больной еще человек, а месяц или даже больше назад...—начал было Доможиров, но Раух перебил его:

— Если он, по справке от медиков, окажется настолько больным, то прошу вас не забывать, что у него вполне здоровая жена, к допросу которой мы и приступим в ближайшее время... Так как дело это столько же уголовное, сколько и политическое, то оно имеет большое значение. Слишком много стало всяких этих покушений на помещиков со стороны их крепостных... но когда-а... когда крепостных этих толкает на убийство помещика офицер, только с этой именно целью приехавший к своему дяде, а больше с какою же? Что в имени зимой делать больному? То-о... то это обдумано не больной головой, а не менее здоровой, чем наши. И может быть... может быть, даже революционно настроенной,—вот что вам нужно знать!.. Ведь она, эта действительно красивая,—в чем я с вами не спорю,—женщина, сестра кого?—Волжинского, как вы сами узнали. А Волжинский кто таков?—Адъюнкт-профессор по кафедре... кого же именно? Не Шевырева ли? Нет-с! Грановского! Вот кого, гм, гм...

И Раух, подняв палец, поглядел на поручика Доможирова с безукоризненно выдержанным, вполне начальственным превосходством.

4

Весь апрель, а также и большую половину мая пришлось Елизавете Михайловне отстаивать мужа, а также и себя от хитросплетений голубых мундиров. Не один раз вызывалась она в жандармское управление для дачи «свидетельских показаний», причем понимала, конечно, что Раух смотрит на нее, как на главную пружину всего этого дела, хотя и старается быть с нею отменно вежливым. Поднимался им вопрос и об ее брате—в смысле убеждений, которых он держится как ученик Грановского.

Видя направление, какое принимает допрос, Елизавета Михайловна сочла за лучшее умолчать о том, что именно говорил ее муж насчет своего желания отпустить хлапонинских крестьян на волю, притом наделив их землею, в случае если бы он оказался их владельцем. Конечно, в глазах Рауха не бескорыстие Дмитрия Дмитриевича показало бы упоминание об этом, а только свободомыслие, и ухудшило бы его положение и без того тяжелое.

Она выдвигала другое,—именно, что домашнего духовного завещания, найденного в столе Василия Матвеевича, оспаривать муж отнюдь не собирается, если же куда и стремится из Москвы, то только в Крым, к своей батарее.

Волжинский, желая помочь сестре, свел ее к Грановскому. Тот, больной сам, выслушал ее с

возмущением на жандармов, посоветовал обратиться к Погодину или к Шевыреву, которые имеют большой вес и на лучшем счету у начальства.

Погодин загорелся неподдельным желанием помочь и обратился к жандармскому генералу, с которым был хорошо знаком по клубу. То же самое сделал и Шевырев. Генерал потребовал все дело к себе на рассмотрение.

Между тем следствию там, в Хлапонинке, так и не удалось ничего выяснить сверх того, что было уже записано приставом в первый же день. Но, с одной стороны, парень Гараська упорствовал в отрицании своей вины, с другой—Терентий Чернобровкин разыскан так и не был, благодаря чему все-таки открытым оставался вопрос: только ли бежал он или убил и бежал? А также и другой вопрос, вытекающий из этого: если он хотел только бежать от солдатчины, то зачем ему было еще и убивать своего барина, то есть итти на очень большой риск попасться на месте преступления и отвечать вдвойне?

Так что даже и подозрения против Терентия оказывались сшитыми не очень прочно и рвались при серьезном на них нажиме. Что же касается приятельских отношений между офицером и крепостным крестьянином, основанных притом же на годах отрочества их обих, то они не были такой уж неслыханной редкостью, чтобы из них делать слишком смелые выводы, как это вздумалось приставу Зарницину.

Отчасти само время, не проливавшее света на это дело, значительно сгладило все-таки первоначальную остроту положения Хлапонинных, отчасти ходатайство за них влиятельных в ученом мире Москвы лиц подействовало на жандармского генерала, но, может быть, также искренний тон Дмитрия Дмитриевича, который сам объяснялся с генералом, или выгодная внешность Елизаветы Михайловны, его сопровождавшей к нему, или все это взятое вместе,—только генерал положил резолюцию, что «к отъезду штабс-капитана артиллерии Дмитрия Хлапонина из города Москвы в город Севастополь, к командуемой им батарее 17-й артиллерийской бригады, препятствий не встречается».

Это не значило, впрочем, что снята была с имени Хлапонина всякая тень подозрения; иня его продолжало оставаться попрежнему пригвожденным к делу, обернутому в плотную казенную синюю папку, он же получил только возможность переменить московский адрес на севастопольский и вынужденное бездействие на обязанности по своей должности батарейного командира.

Жандармский генерал имел, конечно, в виду, что судебные дела могут тянуться гораздо дольше, чем войны между европейскими народами, и не поздно будет вернуться к этому делу после заключения мира.

Елизавету Михайловну, которая так много перенесла за эти два месяца, вознаградило все же то, что Дмитрий Дмитриевич как бы возмужал во второй раз в своей жизни, окреп, восстановился на волнениях сильных переживаний.

Необходимость защищать свою честь закаляла его с каждым днем, преображала на глазах у жены.

Походка его становилась все более уверенной и фронтовой, речь все более связной и плавной, взгляд все живее, мысль острее, интересы разнообразнее и шире...

Память возвратилась к нему почти в полном объеме, и не было уже тех мучительных для нее моментов, когда он пытался найти какое-нибудь необходимое слово, а оно не давалось, и он начинал слабо щелкать пальцами и смотрел по-детски растерянно.

То самое, что могла бы, по ее предположению, месяца два назад сделать с ним его батарея, сделало это дело в синей папке: как пришлось бы там, так пришлось и здесь воевать, отстаивать себя, вести борьбу.

Она с радостью отмечала то, что именно ему, ее Мите, пришла мысль обратиться с письмом к Пирогову, чтобы он подтвердил свой рецепт деревенской тишины, прописанный им в Симферополе контуженному в голову штабс-капитану Хлапонику. Пирогов не задержал ответ, и его письмо послужило объяснением, почему и как очутились они в Хлапонинке.

Эстафета, полученная когда-то от Василия Матвеевича и сохраненная случайно Елизаветой Михайловной, приложена была к письму Пирогова, таким образом в деле появились документы в пользу их обоих, а важность подобных документов была велика.

Простившись с Москвой, Хлапонины поехали на «долгих», то есть на обывательских подводах, в силу слишком большого спроса на почтовых лошадей, но летние дороги были гладко укатаны, плотные от подножных кормов сивки-бурки бежали бойко, и в начале июня, как раз в день отбития штурма Севастополя, они приехали на последнюю почтовую станцию Дуван-кой, откуда уже совсем немного оставалось до расположения семадцатой артиллерийской бригады на Инкерманских высотах.

Как только Дмитрий Дмитриевич, представившись новым уже командирам бригады и полка, принял от своего временного заместителя поручика Бельзевского батарею и этим снова вошел в ряды защитников Севастополя, он тут же поехал вместе с Елизаветой Михайловной в город.

Явилась совершенно непреодолимая потребность как можно скорее оглядеть радостными глазами хотя бы несколько так хорошо, так до боли знакомых улиц. Что с ними стало за восемь, да,

за целых восемь месяцев, считая с октябрьской бомбардировки, когда пришлось спешно отсюда уехать.

Казалось даже, что и не восемь месяцев прошло, а половина жизни,—город же богатырь упорно стоял все это долгое время и как будто говорил теперь всеми своими руинами и воронками на мостовых: «Ничего-с, все как и полагается быть-с! Ведь не яблоками с неприятелем перешвыриваемся, не конфетками-с, а снарядами из судовых орудий-с!...»

Именно эти, ставшие летучими, нахимовские слова вспоминались неоднократно то Хлапонину, то Елизавете Михайловне, когда они переправились через Большой рейд и шли по улицам.

Да, не яблоками, не конфетками, а снарядами самых больших калибров, и эти снаряды сделали за восемь месяцев свое серьезное дело,—и Дмитрий Дмитриевич не был бы артиллеристом, если бы не признал за ними способности камня на камне не оставить тут за такой долгий срок. Однако он видел, что город оставался все-таки городом.

Конечно, понадобилось бы очень много работы, чтобы восстановить его, сделать таким же точно, каким был он в начале октября прошедшего года, по все основное в нем оставалось цело, имело прежний несокрушимый вид: адмиралтейство, Николаевская и Павловская батареи и другие форты, морская библиотека с ее красивой белой мраморной лестницей, почти все наиболее видные дома на Екатерининской улице и на Морской, дом Дворянского собрания—первый перевязочный пункт, двухэтажный дом недалеко от него, в котором жил Нахимов со своим штабом, и даже несколько церквей, несмотря на то, что они представляли прекрасные мишени, а бастионы и редуты доказали несокрушимость свою только что—дня два назад.

Большой удачей оказалось то, что Хлапонины приехали сюда как раз в день победы.

Как бы ни велики были потери от бомбардировки накануне штурма, но город перенес это стойко и даже... он имел веселый вид, несмотря на все разрушения. Он был похож на кулачного бойца, у которого сверху донизу разодрана рубашка, подбит и заплыл глаз, из носа льется и капает с подбородка кровь, он выплевывает разбитые кулаками зубы, и в то же время весело подмигивает встречным уцелевшим глазом. Почему же?—Потому что его противник выплюнул еще больше зубов, чем он, подмигивать глазами не может, так как оба они подбиты и заплыли, нос у него сворочен набок, и с места поединка его уводят под руки, до того много потерял он сил.

Веселые были лица солдат, попадавших Хлапоныным, как веселы были гребцы-матросы, перевозившие их на ялике через рейд, а убыль нескольких больших судов, затопленных еще в

феврале при входе на рейд, им даже не бросилась в глаза.

Стояли линейные корабли и пароходы, весело дымили небольшие катеры, бороздя бухту, шныряли гички, двойки, тузики—все, как было раньше здесь, до октябрьской канонады, а в городе благодаря яркому дню весело краснели черепичные крыши и белели стены домов.

И когда совсем молоденькая сестра милосердия, шедшая с саперным офицером от Дворянского собрания, обдала их голубым сиянием лучившихся глаз, они не удивились этому. Но вот у юной сестры с ярким золотым крестом на голубой ленте лицо стало вдруг удивленно-радостным, она вскрикнула:

— Елизавета Михайловна! Вы?—и бросилась ей на шею. И Хлапониная тут же узнала Вареньку Зарубину.

— А я выхожу замуж!.. Через неделю свадьба!.. Разрешили!—торопливо вылила всю радость, переполнявшую ее, Варенька и только после этого, указав на поручика-сапера, добавила, зардевшись:

— Вот мой жених!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПОСЛЕ ШТУРМА

1

Первыми приветствовали боевой успех своих товарищей на бастионах в знаменитое утро 6/18 июня солдаты полков, расположенных на Инкерманских высотах и Мекензиевых горах. Радостное «ура» перекатывалось по лагерям в течение целого часа, в то время как напротив, на левом берегу Черной речки, в лагере интервентов царило молчание.

Война в Крыму заставила все-таки связать Севастополь с Москвой если не железной дорогой, то хотя телеграфной проволокой, и «телеграфическая депеша» о победном отражении штурма, посланная Горчаковым царю, достигла Петербурга на второй день, а 8 июня царь уже писал Горчакову:

«Да поможет и благословит вас бог окончательно сокрушить все предприятия наших врагов... Потери их должны быть огромные, и можно полагать, что они отобьют у них дух предпринимчивости. Об оставлении Севастополя, надеюсь с божьей помощью, речи не будет больше».

Об оставлении Севастополя перестал на некоторое время думать даже и сам Горчаков, нечего уж и говорить о России как столичной, так и уездной. Блистательно отраженный штурм 6 июня стал представляться всем поворотным моментом войны: борец, который вышел и отбросил нападение

своего соперника на арене цирка, обычно переходит в нападение сам.

Общая же картина войны на небольшом клочке крымской земли за девять месяцев осады Севастополя подавляла воображение мыслящих людей как в России, так и во всем мире.

Из осадных орудий самого большого калибра было брошено в город свыше полумиллиона разрывных снарядов и ядер, и город это вынес,—небольшой город на берегах бухты, земляные укрепления которого строились на глазах неприятеля, а боевые припасы были так незначительны, что на три-четыре орудийных выстрела противника он мог отвечать только одним.

Русский народ удивил уже однажды мир тем, что выкинул из сердца своей земли завоевателя Европы, теперь он удивлял его снова. Чем? Тем совершенно непредвиденным союзниками упорством в труде, с каким он восстанавливал по ночам разрушенные дневной бомбардировкой бастионы и батареи; тем непобедимым презрением к смерти, какое проявлял он на каждом шагу и у орудий и в прикрытиях, когда не сражался, а только ожидал, что его, может быть, вот-вот позовут сражаться; той исключительной отвагой, которую проявлял он во время бесчисленных вылазок...

Отбитый штурм 6 июня сделался действительно поворотным моментом Крымской войны. Он охладил много горячих голов на Западе и прежде всего голову самого императора Франции. Как бы ни был он недоволен действиями своего главнокомандующего, он видел, конечно, что неудавшийся и дорогой стоивший штурм подводил итоги девяти с лишком месяцев действий союзных армий, причем все преимущества были на их стороне, и вот эти итоги оказались плачевны.

Размахнувшийся было в своем плане маневренной войны на быстрое завоевание всего Крыма, он поневоле сжался до пределов одного только Севастополя, то есть должен был согласиться и с мнением отставленного им Канробера и с мнением навязанного ему Пелисье.

Если за девять месяцев, стоивших огромных средств и жертв, удалось захватить в Крыму столько земли, что и одной воловьей шкуры было бы довольно, чтобы, разрезав ее на ремни, окружить эту землю со всех сторон, то сколько же месяцев, миллиардов франков и сотен тысяч убитых и искалеченных понадобилось бы для захвата целого Крыма?

Что же касалось англичан, то неудача штурма поразила их еще больше, чем французов. И если в сен-джемском дворце и в квартале Сити могли проявлять только неудовольствие по поводу неудачных действий маршала Раглана, то здесь, под Севастополем, не без желания самого Раглана, через три дня после штурма начальник коро-

левских инженеров генерал Гарвей Джонс, легко раненный и лечившийся на дому, подал докладную записку своему главнокомандующему ни больше ни меньше, как о снятии английских войск с позиции против третьего бастиона.

Полная безуспешность всех действий как английской артиллерии, так и пехоты против этого укрепления,—вот что легло в основе докладной записки Джонса. Все усилия первоклассной артиллерии победить в состязаниях, длящихся такое долгое время, далеко несовершенную артиллерию русских оказались совершенно бесплодны. Большой редант и смежные с ним батареи до такой степени успешно действовали по работам англичан, что разрушали время от времени эти работы и вырывали из строя множество жертв.

Дальнейшее продвижение к Большому реданту начальник королевских инженеров считал совершенно невозможным, по большие потери англичан при штурме 6. 18 июня объяснял он не только этим.

По его мнению, в этом виноваты были также и союзники-французы, которые должны были одновременно с Малаховым курганом атаковать и четвертый бастион, где они легко могли бы добиться успеха, так как подошли к нему очень близко. Французы не сделали этого, и штурм был сорван не кем иным, как ими, англичане же совершенно напрасно понесли большие потери.

Раглан не замедлил преподнести докладную записку своего инженер-генерала зачинателю штурма—Пелисье, потирая руки от удовольствия. Записка кончалась тем же, что еще месяц назад сам Раглан предлагал Канроберу, бывшему тогда главнокомандующим армии французов: необходимо, сняв английские войска с их позиции против Большого реданта и смежных с ним батарей, дать им другое назначение.

Какое именно назначение, об этом в записке не говорилось, ясно было только то, что Раглан хотел уклониться от участия в осаде Севастополя, так как считал это предприятие безнадежным.

Пелисье передал записку Джонса тому из своих генералов, который продолжал оставаться первым кандидатом на пост главнокомандующего, то есть Ниэлю: инженер-генерал французов должен был выступить против инженер-генерала англичан.

И Ниэль выступил на собранном для обсуждения этого вопроса военном совете.

Не отрицая того, что штурм четвертого бастиона действительно мог бы удался, Ниэль приписывал англичанам первую мысль о перенесении главной атаки с четвертого бастиона на Малахов, что же касалось его самого, Ниэля, то он будто бы только подхватил эту мысль и развил ее, не желая портить хороших отношений с союзниками. В неудаче же штурма он целиком обвинял англичан, которые запоздали со штурмом третьего бастиона, с одной стороны, и очень рано прекратили свои

атаки—с другой. Поэтому и в начале штурма и особенно в конце, когда у французской дивизии генерала д'Отмара была несомненная удача на батарее Жерве, эта дивизия пострадала очень сильно от огня с третьего бастиона, который будто бы и свел всю удачу на-нет. Снять же теперь английские войска с позиций против третьего бастиона значит ни больше ни меньше, как снять вообще осаду Севастополя, сесть на свои суда и отправиться во-свояси со стыдом и позором.

Заседание военного совета в этот раз протекало бурно. Виновники неудачного штурма отыскивались с той и с другой стороны ретиво. Убитый генерал Мейран теперь уже был отставлен в тень, а на свет вытаскивались другие, притом живые лица. Никогда до этого «сердечное соглашение» так не трещало по всем швам. В конце концов Ниэль одержал верх над Джонсом, то есть самим Рагланом, и мнение его—продолжать вести наступление главным образом на Малахов курган, не прибегая к бесполезным штурмам, а предоставив больший простор артиллерии,—было принято всеми четырьмя главнокомандующими.

Даже и пылкий Пелисье, яростный сторонник самых энергичных действий, вынужден был согласиться с тем, что большие потери французской армии под его руководством не оправдались большими результатами и что медлительного и осторожного предшественника его Канробера напрасно судили слишком строго.

Для того чтобы задавить своей артиллерией батареи Севастополя, решено было требовать мортир, мортир и мортир, как можно больше мортир и снарядов. Там, где ничего не могли сделать живые силы четырех соединенных армий, должны были усиленно работать самые мощные машины разрушения.

Между прочим, внушительную мортирную батарею решено было установить на киленбалочных высотах, чтобы не допустить уже больше того, что случилось в часы штурма, когда русские пароходы, войдя в Килен-бухту, нанесли большой урон дивизии Мейрана.

О том, что на помощь князю Горчакову частью идут, частью пришли уже свежие дивизии из Южной армии, знали, конечно, союзные генералы; поэтому принято было решение укреплять новыми батареями свой правый фланг, а главное, его оплот—Федюхины высоты.

— О-о, мы были бы счастливы, если бы князь Горчаков действительно вздумал нас атаковать со стороны Черной речки!—воскликнул по этому поводу Пелисье, ударив кулаком о стол.

Раглан поглядел на него проникновенно и заметил:

— Как знать!.. Если нападение будет произведено ночью, или рано утром, в тумане... Притом очень большими силами...

Он вспомнил, конечно, про себя Инкерманское сражение, оставившее его только с половиной армии. Он был вообще недоволен тем, что генералу Джонсу не удалось отстоять его мнения. У него был усталый и брюзгливый, по-настоящему стариковский вид.

2

«Крепости, как и пушки, сами дела не делают, но надобно, чтобы ими хорошо управляли», — сказал Наполеон I. Начало Севастополю как крепости положено было великим Суворовым, приказавшим продать свои новгородские поместья; чтобы покрыть издержки по работам, так как военная администрация того времени отказалась возместить расходы, найдя действия Суворова «своевольными».

Управлять обороной крепости, заложенной признанным гением войны, пришлось никому в начале осады не известному в Севастополе, молодому еще и в небольших чинах военному инженеру Тотлебену.

Под его руководством морская крепость сделалась также и сухопутной, что оказалось необходимым выполнить в небывало короткий срок и перед лицом неприятеля; под его руководством эта сухопутная крепость возникала из развалин после каждой усиленной бомбардировки со стороны неприятельских батарей; под его руководством она расширялась редутами и траншеями; по его указаниям буравили землю впереди бастионов минные ходы и галереи, по его чертежам устанавливались новые батареи, чтобы уравновесить огонь защиты с огнем атаки.

Когда Меншиков при появлении подполковника Тотлебена в Севастополе хотел отправить его за ненадобностью обратно в Кишинев, к Горчакову, Тотлебен мог бы обидеться на это и поспешить уехать, но он остался: он понимал, что если где-нибудь нужны были в тот момент его знания и таланты, то именно здесь, где ожидалась высадка десанта союзников. И его позвали; и он оказался единственным, кому пришлось по плечу тяжелая задача.

На совещании у Пелисье после штурма оба инженер-генерала—Ниэль и Джонс—признавали, что защита Севастополя ведется очень умело; им известна была и фамилия их соперника—русского инженер-генерала, который умеет так безошибочно разгадывать их замыслы и противопоставлять им сильные средства обороны. Они не знали только того, что 8 июня, за несколько часов до начала перемирия, Тотлебен был ранен пулей в правую ногу навывлет, на батарее Жерве.

Он, конечно, должен был находиться здесь, на месте недавнего прорыва французов, где кипели теперь саперные работы,—штопалась дыра в броне

Севастополя,—и здесь-то нашла его пуля французского стрелка.

Рана была в мягкую часть ноги, так что Тотлебен сам отошел в укрытое место и сел. На батарее же замечались, чтобы подать ему первую помощь, и кто-то притаился бывшего недалеко военного медика, который прежде всего засунул ему свой палец в рану: лекаря того времени имели это скверное обыкновение; они прощупывали этим приемом, не осталась ли в ране пуля, не задета ли кость, но забывали о том, что пальцы их не обладают целебной силой, даже если они только что вымыты.

Но, к несчастью Тотлебена и всего дела обороны Севастополя, вблизи разорвалась бомба, и это так повлияло на лекаря, что судорога свела ему руку, и долго не мог он вытащить своего пальца из раны, заставляя Тотлебена испытывать жестокую боль.

Его отнесли на носилках не в госпиталь, а на квартиру, куда к нему приходили врачи для перевязки, и в первый день он держался бодро, думая совершенно поправиться через две-три недели.

Первым из его соратников, кто посетил его, был Нахимов, пришедший к нему с букетом цветов и большим беспокойством в безмолвно спрашивающих глазах. Он привык высоко ценить Тотлебена. Когда его уговаривали беречься, пореже ездить на бастионы, он вполне искренно говорил:

— Я что-с! Если даже и убьют меня, что же тут такого-с? А вот если Тотлебена убьют, этого уж действительно заменить нечем-с!

Тотлебена не убили,—в этом была радость,—но в какой мере опасна его рана, это еще не вполне было известно Нахимову.

С забинтованной неподвижной ногой лежал в постели Тотлебен, когда входил к нему Нахимов, спрятав за спину свой букет: в этот последний миг он совершенно как-то забыл, зачем же, собственно, раненому генералу цветы, точно он барышня или провинциальный актер, выступающий в день своего бенефиса.

— А-а, Павел Стефанович, голубчик!—радостно сказал Тотлебен, поднявшись до сидячего положения, когда он вошел.—А я вот и встать не могу на ноги, вышел из строя вон!

— Но все-таки, все-таки как же, Эдуард Иванович? Несерьезно, надеюсь, нет, а?—спросил Нахимов, расцеловавшись с раненым.

— Думают так, что с полумесца пролежать придется, это в такое-то время! Вот как! Что вы на это скажете, Павел Стефанович?

— Вот что скажу-с!—И Нахимов радостно поднес к самому лицу его свой букет, получивший теперь в его глазах оправдание, значение и забытый было им смысл.

— Откуда же, откуда же это, Павел Степа-

Иович, в Севастополе достать могли такие чудесные цветы?

Нахимов подметил в глазах Тотлебена не то детское, не то девичье выражение, которое способно проявиться вдруг даже и у весьма серьезных людей, когда болезнь уложила их в постель и тем на время отбросила от всех ответственных занятий.

— Ну, уж где бы ни достал, Эдуард Иванович,—достал для вас!—весьма неопределенно ответил Нахимов, стараясь придать своей улыбке оттенок таинственности и даже лукавства, и, так же лукаво поглядывая на Тотлебена, громко сказал в полуотворенную дверь:—А ну-ка, давай сюда ящик!

Конвойный казак внес в комнату порядочной величины ящик, полученный по почте, судя по большим сургучным печатям на нем и бечевке, опутавшей его крест-накрест. Ящик был прислан на адрес самого Нахимова, как помощника начальника гарнизона, но посылку эту сопровождало немногословное, однако многозначительное письмо: «От прекраснейшей женщины Петербурга передать доблестнейшему рыцарю Севастополя».

— Вот читайте, что это значит-с, Эдуард Иванович!—и Нахимов, не снимая с лица лукавства, протянул ему письмо, сохранившее еще запах тонких каких-то духов.

— Ха-ха-ха, до чего это хорошо: «От прекраснейшей женщины Петербурга»!—рассмехался Тотлебен.

— Вот видите-с, видите-с, я ведь знал, что вам это понравится,—ликовал и Нахимов.

— Вопрос: какая же именно женщина не считает себя «прекраснейшей»?

— Да-с, да-да-с, такой не бывает-с, совсем не бывает-с в природе-с!

— Но что касается дальнейшего, то-о... Павел Стефанович! «Доблестнейший рыцарь Севастополя»—ведь это вы-с!

— Ну, какой же я рыцарь, что за вздор-с! И главное-с «доблестнейший»! Это и есть именно вы-с, Эдуард Иванович!

— Я-я?... Как же так я? Разве я сражаюсь? Я есть земляной крот, не больше того! Какой же я рыцарь, да еще «доблестнейший»? Это вы, Павел Стефанович, вы!

— Помилуйте-с, пустяки какие-с! Разве я полками команду и в бой их вожу-с? Это, это генерал Хрулев-с, а не я! Но, позвольте-с, Эдуард Иванович, ведь ранены-то вы, а не Хрулев-с... Кому же нужна корпия-с, позвольте спросить, дамский этот подарок-с? А? Кому-с? Вам или Хрулеву-с?

— Ну, конечно, если же так ставить этот вопрос, то вы есть совершенно правы, Павел Стефанович,—корпия в текущий момент нужна мне, а не генералу Хрулеву, но все-таки...

— Все-таки, между нами говоря,—перебил вполголоса, но с настойчивым жестом обеих рук Нахимов,—самый доблестный из защитников Севастополя вы-с, и прошу больше об этом со мной не спорить-с!.. Что же касается всех этих «прекраснейших» женщин, то вечно они путаются не в свое дело-с и задают нам тут разные заводи-с!

Комната, в которой лежал Тотлебен, служила ему рабочим кабинетом.

На большом письменном столе навалены были книги, впрочем, не в беспорядке; подробнейший план укреплений припилен был на стене над столом, причем русские батареи показаны были черным, батареи союзников красным цветом. Видно было, что план этот часто снимался и дополнялся и особенно много поправок было внесено в него совсем недавно: так они были свежи в той части плана, на которой пришлось потеряться в конце мая редуты.

Тот же план укреплений, но отдельными картами, по бастионам, батареям, редутам и в большем виде, составлял толстую папку, лежавшую на столе. В ней же были и подробнейшие планы и проекты подземных работ—минных колодцев, галлерей и ходов.

Рядом с простой железной койкой, на которой полусидел Тотлебен, лежала на стуле красного дерева с отлогой спинкой его записная тетрадь, в которой он делал обычно свои вычисления и расчеты по расстановке сил и средств обороны.

Отсюда, из этой комнаты в центре города, весьма щедро осыпаемого снарядами, исходили те, поддерживаемые цифровыми выкладками, мысли общей и частной обороны, с которыми обычно соглашались в штабе начальника гарнизона.

Этими мыслями полон был Тотлебен и теперь, несмотря на свою рану. Эти мысли должны были вылиться вечером там, в штабе гарнизона, если бы не пуля французского стрелка; но помощник начальника гарнизона, адмирал Нахимов сидел около, букет цветов был поставлен в стеклянный кувшин с водой, спор, причиной которого оказался ящик с корпией, нащипанной, несомненно, прелестными руками «прекраснейшей из женщин Петербурга», был так или иначе закончен, и Тотлебен заговорил несколько торжественным тоном:

— Я пришел к несомненному выводу, Павел Стефанович, что противник окончательно решил захватить у нас не другое что, как Малахов! Именно так!.. Третьего дня был, можно так выразиться, второй штурм Малахова,—первый же мы с вами видели двадцать шестого мая. Потери союзников были велики, очень велики,—потому-то они и должны волей или неволей испытать счастья в третий раз... Что и говорить, игра эта свечей стоит: Малахов есть ключ наших укреплений, это и слепому видно. Если они возъ-

мут Малахов, мы защищаться больше не в состоянии.

— Так-с... Не в состоянии-с... Допустим-с,— подтвердил Нахимов и поднял вопросительно брови; к таким выражениям, как «защищаться будем не в состоянии», он уже привык и против них не спорил: это был просто сухопутный язык.

— Но у нас была уже перед глазами та же самая картина,—поднял палец Тотлебен,—когда на бастион номер четвертый велась атака французами. Мы ее остановили тогда чем же? Устройством двух батарей вправо и влево от бастиона. Тридцать орудий справа, тридцать слева дали такой перекрестный огонь, что противник придвинуться ближе, чем ему удалось до этого, уже не смог! Выдохся, потерял свою энергию,—вот что сделали эти батареи—Швана, Никонова, Смагина... Это они спасли наше дело в том самом пункте... Противник вынужден были идти дальше минами. Хорошо, что же-с, мы выдвинули им навстречу контрмины... И вот бастион номер четвертый стал для них очень опасен: как кидаться на него в лоб? Пришлось отставить!.. Теперь прямое наше дело защитить Малахов по той же самой системе, Павел Стефанович.

— Сколько же надо будет всего-с орудий больших калибров?—коротко спросил Нахимов.

— Больших? Шестьдесят,—так же коротко ответил Тотлебен.

— Гм... Шестьдесят?—очень удивился Нахимов.—Где же можно поставить на Малахове еще шестьдесят-с?

— Не на одном Малахове, нет! Это, это было бы уж слишком!—улыбнулся Тотлебен и взял свою записную книжку.—Малахов—в центре; справа и слева—третьего и второго номера бастионы и промежуточные между ними линии... Вот этот весь участок и требует безотлагательно усиления огня на шестьдесят орудий больших калибров.

— Вполне допустимо-с,—согласился Нахимов.

— Но этими только мерами мы не достигнем того же, чего достигнуть нам удалось на номере четвертом, а именно: перекрестного огня!.. Перекрестный же огонь это... в нем нуждается бывший наш Камчатский ланет, как... пьяница в чарке водки. Именно около него скопились большие силы французов для штурма,—вот, стало быть, ему-то именно и нужна остратка большая. А для этой цели на Корабельной—на ретраншементе—надобно устроить батареи на тридцать орудий, а также, само собой разумеется, и справа от Малахова, позади оборонительной линии, вот в этом месте, я думаю, Павел Стефанович,—он протянул Нахимову свою записную книжку с собственноручно набросанным небольшим планом,—вот, где от бастиона номер третий отлогость спускается в Докову балку,—тут можно устано-

вить батареи тоже, в общей сложности на тридцать орудий.

— Это значит что же-с? Еще, выходит, шестьдесят большого калибра?—заморгал голубыми глазами Нахимов.—Откуда же мы можем взять столько-с?

— В крайнем случае придется снять кое-что с бастионов Городской стороны, а Корабельную укрепить: она находится под прямым ударом. Это есть несомненно! И немедленно же надо переходить к контрминной системе, как на бастионе номер четвертый... Это понадобится не вот сейчас, но много требует времени для своего устройства... А теперь разрешите мне лечь, Павел Стефанович!

— Голубчик!—так и кинулся к нему Нахимов, сам подкладывая ему под голову подушку.—Вы так увлекательно говорили все это, что я забыл-с, совершенно у меня из ума вон вышло, что вы ранены-с! Вот как бывает-с! Отдыхайте, отдыхайте-с! А я все, что вы мне говорили-с, доложу сегодня же графу. Так что вы уж не трудитесь, Эдуард Иванович, докладывать ему, если он сам к вам заедет. Доложу, что требуется сто двадцать большого калибра для защиты Малахова-с. Профессор Гюббенет был у вас? Нет еще? Ну, хорошо-с, я за ним пошлю сейчас своего адъютанта!

— Очень, очень вам благодарен, Павел Стефанович, но ведь Гюббенет сейчас занят по горло,—столько раненых за те два дня, что едва ли он не нужнее есть там, чем у меня. Я, слава богу, ничего себя чувствую, перевязан... Я хотел бы еще дополнить двумя словами, что уже доложил вам, насчет защиты Малахова... Тут наши условия есть превосходные сравнительно с бастионом номер четвертый. Там—справа, как вам хорошо известно это,—Городской овраг, слева—Сарандинакина балка,—там были очень мы стеснены в установке батарей, а здесь зато, здесь места вполне довольно, притом же еще одно я хотел бы сказать: левофланговые батареи Малахова кургана фланкировать будут его с гораздо более близкого расстояния, чем батареи Смагина фланкирует бастион номер четвертый...

— Прекрасно-с! Очень хорошо-с!.. Сто двадцать орудий большого калибра... Тридцать и тридцать—с фронта, тридцать и тридцать—в тылу для перекрестного огня по Камчатке-с. Есть!.. А что касается Гюббенета, то я сегодня буду сам в госпитале и попрошу его к вам...

— Если он свободен, только в этом случае, Павел Стефанович!

— Полагаю, что сегодня ему уже легче-с... А вас, Эдуард Иванович, он осмотреть должен сегодня же... За отъездом Пирогова он остался у нас единственный-с, кому можно доверить ваше здоровье-с, так как вы у нас тоже единственный!

Гюббенет действительно был в это время очень занят. До двухсот операций пришлось сделать ему самому за четыре дня июня, с пятого по восьмое включительно, но гораздо больше раненых прошло через руки его помощников-врачей, частью приехавших с ним из Киева, частью перешедших к нему от Пирогова, наконец, иностранцев—американцев, немцев и других.

Кровь в операционной буквально лилась ручьями, ее едва успевали подтирать служителя-солдаты. Столы не бывали свободными ни одной минуты: снимая одного тяжело раненного, клали другого.

Перевязочная палата занимала тут почти целый барак и была переполнена, и если перемирие окончилось там, между рядами укреплений и батарей, здесь оно продолжалось.

Сюда, на особом боте, доставлены были раненые французы, оставшиеся на батарее Жерве и в домишках на Корабельной, а также приползшие ночью с седьмого на восьмое число на позиции русских. Их было больше ста человек; между ними были и алжирские стрелки-арабы.

Их располагали в перевязочной там, где находилось хоть какое-нибудь место, и, едва улегшись, на тюфяки ли, или просто на пол, они начинали кричать: «De l'eau! De l'eau!» («Воды! Воды!»)

Сестры посылали к ним служителей с ведрами воды и кружками.

Напившись и несколько придя в себя, французы поднимали между собою споры, и французская речь раздавалась в разных концах палаты наряду с русской.

Иные из тяжело раненных русских ли, французских ли солдат, которых врачи признавали безнадежными, отправлялись на носилках в здешний «Гущин дом»—особое отделение для умирающих.

В этот день здесь умерло человек двадцать русских и французов; в этот же день умирал тут иеромонах Иоанникий, огромное тело которого стало добычей гангрены. Если перед ампутацией ноги он сказал Пирогову: «Ну, что ж, божья воля»—и в этом ответе сквозило как будто смирение, то, обреченный на смерть, он сделался боен, как был под хлороформенной марлей на операционном столе в Дворянском собрании.

Он то громогласно проклинал архимандрита Фотия, поддавшись увещаниям которого поступил он в монастырь и тем испортил свою жизнь; то начинал вдруг петь грустным, но все еще сильным голосом: «Плю-ти-ю усну-ув, я-я-яко ме-сртв...»

Провалившиеся глаза его стали очень велики, но мутны, иногда же непримиримо злобно ко всем здоровым около него как сестрам, так и служите-

лям; длинные волосы его спутались и свалились, борода скомкалась: он сделался страшен.

Умер он в ночь на девятое июня. Когда богомольный граф Сакен, просматривая списки умерших от ран, нашел в них его имя, он собственноручно написал против него в особой графе: «Учинить розыск родных на предмет назначения им пенсии».

Схоронили его в приличном черном гробу и с почетом.

К этому времени на Северной стороне открылось уже несколько заведений гробовых дел мастеров, умудрявшихся откуда-то добывать доски; материя же для обивки гробов продавалась в довольно многочисленных лавках красного товара, перекочевавших сюда из города.

Эти лавки, правда, не имели вида городских лавок: это были или балаганы, как на ярмарках, или просто палатки, но зато они выстроились правильными рядами,—лавка к лавке. Торговали в них большей частью караимы и торговали бойко, как и лавчонки посудные, хлебные, квасные и прочие.

Бойчее же всех шли дела рестораторов, которые тоже выстроили в ряд свои вместительные палатки. Эти палатки посещали теперь, после штурма, офицеры, приезжавшие немного повеселиться из города, с бастионов. Нужно же было оглядеться хоть сколько-нибудь, встряхнуться, промочить горло после того, как удалось так блистательно отстоять Севастополь.

Рядом, на Братском кладбище, арестанты безустали рыли обширные братские могилы, которые безустали же заполнялись все новыми и новыми «положившими живот свой на брани», но живые в гостеприимных палатках, в которых помещался и буфет с большим выбором вин, водок, закусок, и дюжина столиков для посетителей, и даже скрытая за буфетом кухня, пили, ели, сыпали остро-тами, весело хохотали...

Удача бодрит, окрыляет, а такая удача, как утром 6/18 июня 1855 года в Севастополе, была всероссийской удачей.

Непосредственно за кварталом балаганов и палаток разлегся базар «толчок», или «голчучка», где действительно толчея стояла непроходимая. Сюда, к этим палаткам и всяким иным сооружениям из любого подручного материала, или телегам, отлично заменявшим ларьки, или к простейшим низеньким скамеечкам торговков, шли неисчислимыми толпами солдаты, если даже и ничего не купить, то хотя бы просто так потолкаться на народе, поглазеть, позубоскалить, расстегнув тугие ворота рубах на загорелых потных шеях.

Сюда перебрались, наконец, все почти матроски и солдатки с Корабельной и Артиллерийской слободок, но, впрочем, перебрались как бы на дачный сезон подышать свежим воздухом, свои же

домишки отнюдь не забывали, хотя бы они и были разбиты снарядами.

И на пристани Северной стороны встречались, ожидая перевоза, бывшие соседки.

— Дунька! И ты тоже домой, никак, хочешь?

— Да ишь ты, ведь ведро там, почесть новое совсем, забыла: в суматохе-то и из ума вон!

Соседке это было понятно: ведро, да еще «почесть новое», стоило копеек тридцать, а перевоз через рейд только одну копейку в конец.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СВАДЬБА

1

Совершенно исключительно это вышло, что решили поручику первого саперного батальона Бородакову жениться на юной сестре милосердия Вареньке Зарубиной, но за Бородакова замолвил слово перед Сакеном сам Тотлебен, очень ценивший поручика, Нахимов же в этом вопросе был совсем обойден, так как этот закоренелый холостяк не без основания слыл противником семейных уз в среде молодого офицерства.

Отечески относясь к мичманам и лейтенантам Черноморского флота, он горестно покачивал головой, когда замечал, что кто-либо из них начинал чрезмерно увлекаться какою-нибудь из севастопольских невест; тогда он вызывал к себе виновника своего огорчения и с ужасом на лице говорил ему:

— Что это вы, послушайте, ведь это страм-с! Она вас погубит, смею вас уверить, погубит-с! Бегите от нее, пока не поздно еще, бегите-с! Не хотите ли, я вам хоть сегодня подпишу отпуск,— уезжайте от зла и сотворите благо-с!

Было более чем вероятно, что Нахимов остался бы верен себе и в этом случае, хотя Бородаков был и не флотский,—напротив, из флотской семьи оказалась та, которая вознамерилась «погубить» его; Тотлебен же погибел в этом не видел, а Сакен слишком бережно относился к раненому инженер-генералу, чтобы отказать ему в невинной просьбе, тем более что и сам он не только не был суров по натуре, но даже сентиментален, и считал самого себя примернейшим семьянином, отчего оборона Севастополя, по его мнению, только выигрывала, а отнюдь не страдала.

Наконец, и самый момент обращения к высшему начальству за разрешением на женитьбу был выбран Бородаковым удачно: после шестого июня будущее Севастополя начало представляться даже и Сакену далеко не в столь мрачном виде, как раньше, тем более что долгожданные дивизии из Южной армии,—седьмая и пятнадцатая,—находились уже в пределах Крыма.

Величайшее напряжение всех сил севастопольского гарнизона, проявленное накануне штурма и во время штурма, непременно должно было смениться таким благодушием отдыха, которое допускало даже и свадьбу молодого, но уже известного своей спокойной храбростью офицера и совсем юной, но самоотверженно работающей сестры милосердия, причем первый перенес тяжелое ранение, вторая опасную болезнь—пятнистый тиф, и оба снова вернулись в строй защитников города.

Однако это был первый подобный случай за все время осады, и даже священник, к которому обратился жених, был чрезвычайно удивлен: он служил обедни, всенощные, заутрени, иногда молебны, но чаще всего панихиды, панихиды и панихиды, а тут вдруг просят его совершить обряд венчания, причем предъявляется и необходимая бумажка за подписью самого начальника гарнизона.

Ведь бомбы, гранаты, ракеты и ядра не перестали летать с неприятельских батарей, хотя поток их и ослабел временно, чем же еще, как не вызовом этому смертоносному потоку, могла показаться предстоящая свадьба,—среди всеобщего разрушения и смертей,—утверждение жизни?

Между прочим, не только тиф не переводился в Севастополе,—появилась, как это и предсказывал Пирогов, еще и азиатская гостья—холера. Она вспыхнула снова, как и в начале осады, в лагере союзников и перебросилась в город, поражая более ста человек ежедневно. Так что приготовления к свадьбе, которые велись в уцелевшем пока еще домике Зарубиных на Малой Офицерской улице, очень часто сопровождались тревожными вопросами:

— А что холера? А как холера? Да неужто же от холеры пропасть придется?

К смертям от снарядов привыкли, к смертям от тифа притерпелись, притом же тиф не всегда и не всем угрожал смертью, но холера... казалось даже, что и самое слово это и слово «смерть» соединены невидимым знаком равенства, и это не переставало казаться, несмотря даже на то, что бывали случаи выздоровления от холеры. Если сыпной тиф объясняли тяжелым воздухом госпиталей, то эта болезнь пугала прежде всего своей полной непостижимостью.

Тиф, холера, снаряды, руины кругом, но близость свадьбы заставила забыть все эти неудобства, и в доме Зарубиных спешно, но деятельно готовилось «малое приданое»,—что-то суетное, грязничное покупалось, что-то шилось, и Капитолине Петровне деятельно помогала в этом Елизавета Михайловна Хлапонина.

В первый же день по приезде в Севастополь встал перед нею вопрос, где ей найти для себя квартиру. На ближайшей к Инкерманским высо-

там Северной стороне все, даже и самые маленькие хатки были давно и прочно заняты офицерами из штабов; кроме того, жили и военные и коммерческие люди в палатках, в землянках и прочих подобиях человеческого жилья. Ютились как-то и матроски с Корабельной, неприхотливые вообще и в надежде на стойкую летнюю погоду. А между тем Севастополь издали, при взгляде на него через Большой рейд, казался попрежнему красив и вполне благоустроен, что и внушило Елизавете Михайловне желание поселиться беспретпно на своей бывшей квартире.

Однако квартира эта не уцелела,—половина дома была уже разрушена снарядами,—грудой валялся белый камень, переслоенный разбитой вдребезги черепицей, от балкона на втором этаже, который ей так нравился когда-то, остались только три выступающие вперед дубовые балки, с которых свисали в беспорядке развороченные доски пола.

Тогда Елизавета Михайловна вспомнила о Зарубинных, своих бывших соседях, и велика была ее радость, когда она нашла их домик почти нетронутым, только что окна без стекол. Однако ставни изнутри были затворены, двери заперты,—в доме не было никого.

— Должно быть, все уж уехали отсюда,—сказала тогда она мужу.

— Если только не...—начал было и не договорил Дмитрий Дмитриевич.

И несколько времени, уходя от домика Зарубинных, оба молчали, каждый по-своему представляя, что могло случиться за восемь месяцев с этой знакомой им семьей.

— Хорошие были люди,—сказала, наконец, Елизавета Михайловна,—очень мне нравилась Варенька...

И вдруг именно Варенька так неожиданно встретилась им, когда шли они к Графской пристани, чтобы отправиться обратно на Северную, и от восторженной, с сияющими, как летнее небо в июль, глазами счастливой невесты узнали они, что все Зарубины живы и здоровы, из Севастополя никуда не уезжали, что Витя стал уже мичман и вполне надеется отстоять свой Малахов курган от нового штурма, а за дело шестого июня представлен к награде.

— Мы сейчас были в вашем доме, там что-то никого не оказалось, и ставни и двери заперты,—сказал Хлапонин.

— Ушли куда-нибудь за покупками,—объяснила Варя.—Во время бомбардировки и штурма они спасались на Николаевской батарее, а теперь опять вернулись.

— Не бояться?—удивилась Елизавета Михайловна.

— Привыкли уж.

— Вот что, Митя,—обратилась к мужу Елизавета Михайловна,—если они привыкли, то, значит,

и я тоже привыкну,—во всяком случае у них я хотела бы научиться этому, так что если бы в вашем доме, Варенька, нашлась для меня комната...

— Мы будем очень рады!—вскрикнула Варенька и снова бросилась обнимать Елизавету Михайловну.

Вечером в этот же день Хлапонина перебралась к Зарубинным. Арсентий, принесший ее чемодан и дорожную корзину и свой окованный и окрашенный суриком сундучок, хозяйственно, как он это умел, устроился в пустом чулане около кухни; и если с водворением Елизаветы Михайловны скромный домик Зарубинных сделался как-то несравненно красивее и моложе, то благодаря Арсентию он приобрел гораздо большую основательность, устойчивость, прочность,—обстоятельство немаловажное во время длительной осады и частых бомбардировок.

Арсентий тут же с приходу осведомился у Капитолины Петровны, куда надо будет ходить за провизией, где доставать воду, есть ли у них дрова, а если нет, что неудивительно, конечно, то в каком из домов поблизости можно выламывать на дрова полы, двери и окна.

Эта обстоятельность сразу расположила к нему сердце Капитолины Петровны; даже и сам Иван Ильич Зарубин не раз высказывал свое мнение, что денщик Хлапонинных, хотя и не матрос, а все-таки молодец и свое дело знает.

Наконец, и личико маленькой Оли тоже весьма повесело с водворением в их доме двух новых людей. Спокойно красивую Елизавету Михайловну она разглядывала большими умиленными глазами, и когда та ласкала ее мягкой и нежной рукой, у нее сладко замирало сердце, и она боялась пошевеливаться. Даже и голос ее, грудной, ненапряженный, казался ей совершенно необыкновенным.

— Вы у нас долго пробудете?—шопотом на ухо спросила Елизавету Михайловну Оля, почти касаясь губами ее розовой мочки с проколом для серьги, хотя серег она не носила.

Этот детский вопрос несколько смутил Хлапонину. Она затруднилась на него ответить.

— Долго ли?—повторила она, обняв плечи Оли.—Хотелось бы подольше...

— До конца?—прошептала Оля.

Неизвестно было, что считала эта маленькая девочка, с большими недетскими уже глазами, концом; Елизавета Михайловна ответила:

— Буду жить, пока союзников не прогонят наши.

Оля глядела на нее грустно, медленно поводила головкой в стороны, причем белые косички ее с синими бантиками, вплетенными в них, колыхались не то чтобы недоверчиво, но как-то снисходительно к этой маленькой и вполне понятной лжи, такой

лжи, которая делает ее еще как-то ближе, теплее, нежнее, милее, мягче.

Арсентий же с его коротенькой трубочкой, из которой, клубясь, струился крепкий, щекочущий в носу махорочный дымок, не говорил, что союзников отобьют от Севастополя. На ее вопрос об этом он ответил, подумав и выбивая золу из трубочки: «Кто ж его знает!» Однако глядя на него, как обстоятельно и в то же время проворно он делал все, за что ни брался, Оля думала, что не может же быть, чтобы сто тысяч таких вот Арсентиев не могли отстоять город.

2

Офицеры двух саперных батальонов, входивших в состав севастопольского гарнизона еще до Крымской войны, отличались вообще некоторым свободомыслием. Объяснялось ли это тем, что они были образованнее офицеров пехотных и кавалерийских полков и в то же время имели больше свободного времени для чтения, но они держались своим небольшим кружком, тем более что и служебные интересы ставили их особняком в гарнизоне.

Когда же среди них стало известно, что в Севастополь, в рабочий батальон морского ведомства, переведен из военно-инженерных арестантских рот, из Килина на Дунае, петрашевец Ипполит Дебу, то одним из первых считал нужным познакомиться с ним молодой подпоручик Бородатов, которого весьма интересовали идеи Фурье и Сен-Симона, и русские фурьеристы, так жестоко пострадавшие за свое увлечение, и пронесшаяся по Европе революция сорок восьмого года.

Революция эта не могла, конечно, не произвести большого впечатления на передовую военную молодежь; также и из Венгерской кампании вернулись в Россию многие участники значительно полевевшими.

Но Севастополь стоял в стороне от центров умственной жизни, на окраине, на отшибе. Руководящую роль в нем играли флотские офицеры. И вот эта среда флотских, даже и в крупных чинах, ввела в свои салоны ссыльного петрашевца, нижнего чина, а адмирал Станюкович доверил ему воспитание своих детей (из которых один стал впоследствии известным писателем).

Конечно, в салонах и в доме Станюковича¹ Дебу, хорошо говоривший на разные отвлеченные темы, кандидат юридических наук, считал за лучшее умалчивать об идеях Фурье; но несколько человек из флотской молодежи, между ними и лейтенант Стеценко, находили возможность, как и подпоручик Бородатов, собираться или у него на квартире, или приглашать его к себе.

Знали или не знали севастопольские голубые мундиры о кое-каких шатаниях мысли у весьма небольшой, впрочем, части военной молодежи, но они не налагали своих рук на приятельские беседы, тем более что собрания были немногочисленны и беседы не шумны; умудренный опытом Дебу действовал теперь очень осторожно, а покровители его занимали высокие посты.

Бородатова же погубило то, что он, будучи на балу в Дворянском собрании, в кабинете, в знакомой ему компании, бросил несколько слов о книжке Сен-Симона «L'industrie»¹, а как раз в это время в кабинет вошел один обладатель голубого мундира, не замеченный подпоручиком.

Жандарм не считал нужным притвориться глухим, и у Бородатова произведен был обыск. Кроме «L'industrie», найдена была еще книжка Фурье «Nouveau Monde»², и Бородатов был арестован.

Никого из кружка он на допросах не выдал, на него одного и обрушилась кара: в солдаты до выслуги. Утонченность этой кары заключалась в том, что служить солдатом он вынужден был в том же саперном батальоне, где служил офицером.

Однако наказание не сломило бывшего подпоручика,—он оказался стоек, тем более что, перебив только шинель и погоны, он продолжал выполнять свои прежние обязанности, замещая офицеров, своих прежних товарищей, при производстве саперных работ по укреплению Севастополя с суши.

Эти работы, правда, велись Меншиковым медленно и нехотя, но все-таки велись на всякий случай, когда началась Дунайская кампания, а европейские газеты выбалтывали, что цель начавшейся войны—Севастополь.

Появившийся после очищения дунайских княжеств в Севастополе Тотлебен очень скоро обратил внимание на разжалованного—знающего, серьезного, умеющего работать. Однако его представления Бородатова к чину не имели успеха при жизни злопамятного Николая, и только 18 февраля явился поворотным днем в его судьбе.

Рана в ногу вернула ему чин подпоручика, в поручики же был он представлен за участие 26 мая в бою с англичанами за ложементы спереди третьего бастиона, когда был им выручен из плена капитан 1-го ранга Будищев.

Отношения Бородатова к Дебу не изменились в те годы, когда оба они носили солдатские погоны; он не хотел, чтобы они хоть сколько-нибудь переменились и теперь, когда он не только стал офицером, но еще и названным женихом Вари Зарубиной, к которой был неравнодушен Дебу, как это знал он и по личным наблюдениям и по рассказам Капитолины Петровны.

¹ К. М. Станюкович (1844—1903)—писатель. Лучшим его произведением считаются «Морские рассказы».

¹ «L'industrie»—«Промышленность».

² «Nouveau Monde»—«Новый мир» (франц.).

Ему хотелось увидаться с ним, чтобы поговорить именно об этом, о своей близкой свадьбе. Он чувствовал какую-то неловкость перед ним, которую во что бы то ни стало желал скинуть. И очень обрадовался он, когда при переезде из города на Северную, случайно, в толпе солдат рабочей роты, возившихся на берегу с укладкой камня на свежем срезе земли, разглядел не кого иного, как Дебу: он руководил тут небольшой партией рабочих, объяснял им что-то с помощью жестов.

Бородатов тут же подошел к нему своим широким отчетливым шагом.

— Ипполит Матвеевич, здравствуйте, дорогой! Что вы тут делаете?

Он крепко жал руку Дебу и в то же время наблюдающе вглядывался в его глаза.

— А вот приказано соорудить за чем-то тут мостовую,—спуск к берегу,—явно стараясь улыбнуться обрадованно, отвечал Дебу.

Бородатов присмотрелся к работе.

— Спуск отлогий, угол небольшой,—сказал он,—значит, для тяжелых грузов... Не думают ли здесь выгружать снаряды больших калибров?

— Были бы только эти снаряды, а выгрузить их есть ведь где и без этого спуска,—переменил уже улыбку с радостной на проницательную Дебу, но тут же добавил:—Впрочем, это дело начальства, а не наше.

Бородатов заметил его новую улыбку и сказал:

— Лишний спуск не окажется лишним.

— Точно так же, как и лишний подъем,—подхватил Дебу.—Приглядитесь-ка, на том берегу не тем же ли самым заняты люди как раз по прямой линии против нас?

Бородатов увидел белые рубашки солдат и на том берегу рейда; заметно было, что и там укладывались камни на свежий срез земли.

— Да, вижу... Значит, оттуда сюда будут ходить катеры и баркасы с тяжестями,—сказал он.

— Гм, только ли это?.. А не мост ли хотят строить в этом месте?—И выжидающе на него глядя, сжал тонкие губы Дебу.

— Мост через рейд?—удивился Бородатов.—Помилуйте, разве это—легкое дело? Тяп-ляп—и готов мост?.. Что вы, Ипполит Матвеевич! Это—дело серьезное, и было бы слышно, что оно затевается, и уж кто-кто, а мы-то, саперы, про это бы знали!.. Мост такой длины построить—соединить Южную сторону с Северной, ого! Это было бы знаменито!

Небольшое возбуждение, в которое пришел Бородатов при одном только представлении подобного моста, толкнуло его объясниться с Дебу сейчас же.

— Вы знаете, Ипполит Матвеевич, что я желаю на Вареньке, получил уже разрешение?—сразу и просто спросил он.

— Совет да любовь! Поздравляю!—так же просто и без секунды промедления отозвался на это Дебу и протянул ему руку.

Бородатов глядел на Дебу пристально, хотя, высказавшись, не чувствовал уже теперь той неловкости, которая остро торчала в нем раньше. Ему показалось, что впалые щеки Дебу слегка покраснели, хотя тонкие губы и сложились в приветливую улыбку.

Бородатов держал его руку в своей руке и ждал от него других слов, не таких затрапезных и по существу безучастных, и Дебу понял это; он добавил:

— Так как Вареньке я желаю только добра, то я за нее рад, очень рад! Вы, именно вы, составите ее счастье... насколько, конечно, можно говорить о счастье в нынешнем Севастополе... Впрочем, может быть, вас переводят отсюда куда-нибудь?

— А куда же могли бы меня перевести отсюда?—удивленно спросил Бородатов.

— Ну, мало ли куда? Вот хотя бы в Николаев.

— Разве Николаеву что-нибудь угрожает?

— Однако же вот Новосильский переведен в Николаев... И несколько человек еще, пониже чином.

— Отдыхать отправлены, поправляться от ран и контузий... А мы что же? Нет, уже так и быть, будем с Варей бедовать здесь... Правда, после свадьбы Варя, по уставу, должна будет выйти из общины сестер милосердия, но перевязочного пункта бросать она все-таки не желает.

— Напрасно!.. Уговорили бы вы ее бросить,—мягко сказал Дебу.—А то, знаете ли, ведь раз уж болела тифом, вдруг привяжется что-нибудь еще, чего не дай бог, конечно... Поберегите ее!

Эта просьба прозвучала у Дебу вполне искренно, и Бородатов, все не выпускаявший его руки, пожал ее крепче и сказал:

— Спасибо вам! Может быть, мне удастся ее уговорить, а нет,—давайте действовать вдвоем. На свадьбу к нам приходите непременно!

— Если не откажете, приду.

— Прошу, усердно прошу! И Варя тоже!

Дебу спросил, на какой день назначена свадьба, потом сказал:

— Если я в этот день буду свободен отряда по службе...

— Постарайтесь быть свободным!

— Стараться-то мы рады, да ведь людишки мы мелкие!—шутливым уже тоном отозвался на это Дебу.

— Непременно, непременно!—прощаясь с ним, настаивал Бородатов.—Без вас нам и пир будет не в пир!—И с весьма облегченным сердцем пошел от него к гребцам, дожидавшимся его у своей двойки.

Это была несомненно маленькая роскошь, допущенная высшим начальством севастопольского гарнизона, как видно, от полноты внезапно прихлынувших родительских чувств,—свадьба одного из боевых офицеров с самой юной из общины сестер милосердия.

Первомайский праздник Охотского полка, разрешенный тоже Сакеном, развернулся по-широкому, запел хорами полковых певчих, загремел трубами оркестров, засверкали лихими плясками в целях почтить не одних только охотцев, бессменно и крепко стоявших в течение полугода на защите города и Крыма. То был праздник всего героического гарнизона, только сознательно пристегнутый к юбилейному сроку.

А что же такое была эта скромная свадьба незаметного подпоручика-сапера, у которого не красовалось пока еще ни одного ордена на поношенном уже мундире?

И все-таки колокола Михайловского собора, купол которого был уже в трех местах пробит ядрами, так что голуби свободно влетали в отверстия,—надтреснутые колокола эти звучали торжественно-весело.

На паперти, тоже наполовину обрушенной ядром, толпились любопытные, неизвестно откуда взявшиеся вдруг и в большом числе, причем, как всегда на венчаньях, преобладали женщины в платьях.

Пели певчие. Жених и невеста перед аналоем стояли под венцами, которые держали над ними шафера, часто переменяя руки; шафером жениха был товарищ Вити, прапорщик Сикорский, шафером невесты—капитан-лейтенант Стеценко, который был близок с Бородашовым уже несколько лет. Не отверг приглашения своего счастливого соперника и унтер-офицер Дебу; он, католик, внимательно вслушивался в возгласы священника и пение хора, но гораздо внимательнее все-таки следил за тем, какое сознание важности момента было на лице Вари, как держала она в чуть-чуть дрожащих пальцах свечу, изукрашенную золотой канителью, как менялась со своим женихом кольцами, как три раза обходила с ним вокруг аналоя, поблескивая золотым крестом сестры, надевая в последний раз.

Певчие с чувством пели «Исаия, ликуй»... Три голубя,—один белокоричневый и два сизаря,—усевшись на иконостасе, с большим любопытством смотрели на зрелище, которое видели в первый раз в своей жизни.

Даша, первая русская сестра милосердия, блистая серебряной медалью на аннинской красной ленте с желтой каемкой, пришла на праздник своей подруги; было и еще несколько сестер из петербургских. Хлапонин, несколько запоздало, явился

уже к концу обряда. Часто оглядываясь на двери в ожидании его, Елизавета Михайловна уже беспокоилась, не случилось ли с ним снова чего-нибудь страшного, так как выстрелы с батарей, хотя и нечастые, продолжали греметь, и расцвела по-девичьи, когда он подошел к ней и стал рядом.

— Почему ты так поздно?—спросила она его на ухо, волнуясь.

— Переезд через рейд задержал,—ответил он спокойно.

Елизавета Михайловна переживала то, что делалось перед ее глазами в соборе, сложно и остро, не только за свою любимицу Вареньку теперь, но и за себя самое в прошлом, не только за Вареньку и за себя, но и за матросскую сироту Дашу и за всех женщин кругом и за всех, оставшихся на свой страх и риск в Севастополе, который расстреливался из тысячи осадных орудий.

Для нее это была не просто свадьба, хотя и близко знакомых ей людей,—для нее был это прообраз, символ, залог какой-то новой жизни, которой суждено распусться в России на густо удобренных кровью севастопольских руинах: она хорошо помнила и Хлапонинку, и московских страшных людей в голубых мундирах с пышными аксельбантами.

Она, принимавшая такое непосредственное и теплое участие в поспешных хотя, однако кропотливых сборах Вареньки к венцу, соперничала теперь и материнские волнения Капитолины Петровны за то, чтобы все окончилось благополучно, чтобы не влетело вдруг в купол четвертое по счету ядро и не наделало бы ужасных бед: нет-нет, да и посмотрит Капитолина Петровна опасливо курочкой в купол, сильно сбочив для этого крупную голову в праздничном чепчике.

Иван Ильич поставил свою палку перед собой, опираясь на нее обеими руками, но в купол он не глядел: неотрывно рассматривал он избранника своей старшей дочери, и Елизавете Михайловне представлялось, что он однообразно думал и теперь, как иногда говорил дома: «Не моряк—сапер! Не та совсем закваска, не то обличье... И кажется очень уж что-то серьезен,—а так ведь тоже нельзя... Уживется ли с ним моя девочка?.. В первое-то время еще туда-сюда, а потом, когда окончится война? Ведь все-таки он почти на десять лет ее старше...»

Иногда он, озабоченный будущим, прикачивал головой в подтверждение своим мыслям, которые Елизавета Михайловна читала в выражении его глаз совершенно безошибочно, как ей казалось.

Маленькую Олю, принаряженную и чистенькую, стоявшую рядом с матерью, занимала и восхищала вся эта необычайность, совершавшаяся кругом нее: и тяжелые на вид, блестящие тускло венцы, и огоньки свечей, и странные слова песно-

лений, вроде: «Дева, имей во чреве и роди сына Эммануила», и то, как на народе целуется ее сестра Варя со своим женихом, и то, как этот седобородый, с ключковатыми бровями и с лысой головою, священник, взявши за руки, крутит их обоих вокруг наложницы...

Но больше всего, насколько успела заметить Елизавета Михайловна, удивляли ее голуби. Им положительно не хотелось вылетать из собора в отдушники купола; им нравилось, видимо, это «таинство»—бракосочетание; шум их крыльев часто и гулко раздавался вверх, так как они перелетали с места на место; но где бы ни усаживались они,—на иконостас ли, на люстру ли, или на багетовые рамы боковых икон, они неизменно поворачивали головки в сторону жениха и невесты.

Из церкви шли к домику Зарубиных и молодые, и родные Вари, и все приглашенные; не было уж свадебных карет, да они и не нужны были: расстояние было небольшое, и удобнее было его пройти, чем проехать,—так искалечены уже были воронками улицы.

Вечер же был прозрачен, тепел, даже и тих: в этот час обыкновенно умолкала на короткий срок канонада.

4

Часам к десяти вечера, к концу свадебного ужина, большая половина приглашенных разошлась, так как у всех были обязанности по службе, а после ужина остались только свои: Хлапонин, который мог отправиться на Инкерманские высоты и утром, и Дебу, который жил в городе, около адмиралтейства и как нижний чин ответственной должности не занимал.

Дебу с Хлапоным познакомились только в этот вечер. Человек большой выдержки, Дебу к концу ужина как-то размяк. Было ли это следствием выпитого им вина, был ли он охвачен вполне понятной в его положении грустью, но он показался Хлапоному несколько надломленным, особенно когда начал вдруг жаловаться ему, что хотя еще в декабре прошлого года был он представлен к чину прапорщика, но вот до сих пор производства нет как нет, так что даже и смена Николая I Александром II ничего в его положении не изменила.

— Императоры меняются, политика остается неизменной,—говорил Дебу.—Когда семьдесят лет назад мой дед эмигрировал из Франции в Россию, он спасался от Великой революции, спасал свое старинное дворянство... И вот теперь два его внука,—я и старший брат мой,—остались и без чинов и без дворянства по воле не революционной французской власти, а по приказу русского полновластного монарха... И какая получилась путаница

основных понятий: я, француз по крови, унтер-офицер—по званию, отдаю теперь свои силы, а может быть, отдам и жизнь, на защиту России от кого же? Главным образом от французов!.. Однако, поверьте мне, Дмитрий Дмитриевич, не по приказу своего начальства отдаю я силы и могу отдать жизнь, а потому, что я люблю Россию... Скажите, вам это не кажется фразой?

— Нет, отчего же... Я вас понимаю,—отозвался ему Хлапонин.

— Россия—великая страна!—с чувством и глядя на него в упор, проговорил Дебу.—Величайшая в мире и с огромнейшим будущим!.. Над книгой Гоголя «Переписка с друзьями» смеялись, а между тем... там есть одно такое место: «Европа придет в Россию не за пенькой, а за мудростью, которой не продают уже ни на каких европейских рынках...» Это—пророчество!

— Да, можно сказать, и трех лет не прошло со дня смерти Гоголя, как уж приехала к нам Европа!—улыбнулся в ответ Дебу Хлапонин.

— А что же, вы думаете, она уедет от нас не поумневшей? Ого! Еще как поумнеет после Севастополя!—живо ответил Дебу, блеснув загоревшимися глазами.—Но если Европа только поумнеет, Россия сделается мудрой... Эту войну, как вольтеровского¹ бога, нужно было бы нарочно выдумать, если бы не произошла она в силу вполне естественных причин. Множество народу погибнет,—может быть, больше, чем погибло уже. Что делать,—все большое в истории человечества требует для своего возникновения и роста большого количества крови, даже и большая мудрость! Один сенатор,—фамилия его Соловьев,—написал в «Записке о крестьянском деле» так: «Крестьян освобождать нельзя, потому что они совершенно дикие, необразованные люди; образовать же их нельзя, потому что они крепостные...» Вот какой у него получился порочный круг!

— Как, как вы сказали?!—заинтересовался этим и Витя.

Дебу повторил. Витя посмотрел на Хлапоного и на Бородатова, бывшего тут же, и сказал не без удивления:

— А ведь здорово, как хотите, у мерзавца этого вышло! Впрочем, может быть, я не понимаю.

— Нет, вышло, действительно, неплохо,—согласился Дебу.—И с этим положением столкнулся однажды на личном опыте не кто иной, как сам Петрашевский. Он тоже недоучел того, что крестьян надо образовывать, и долго образовывать, хотя они пока что и крепостные, и захотел ввести у своих крестьян ни больше, ни меньше, как

¹ *Вольтер* (1694—1778)—французский писатель, философ и публицист, один из вождей так называемой «просветительной философии». Ему принадлежит выражение: «Если бы бог не существовал, его надобно было бы выдумать».

фаланстерию. У него было около одного уездного города в лесу, на болоте, не так далеко от Петербурга, дворов семь крестьян... Так, маленький выселок какой-то. Всего там жило, считая с ребятишками, человек сорок; голов десять лошадей, две-три коровенки... Рядом с выселком этим—строевой сосновый бор, но барский, конечно, а у крестьян избенки подгнили. Обратились они за лесом к своему барину. Петрашевского и осенила мысль: чем избенки их курные поправлять, не лучше ли прямо соорудить для них фаланстерию, как учит нас великий учитель наш Фурье? Нашел артель плотников, послал их в этот выселок, отвел участок леса на сруб,—работа закипела... Долго ли, коротко ли, как говорится в русских сказках,—фаланстерия оказалась готовой... Это было в сорок седьмом году. Нельзя сказать, чтобы Петрашевский не следил сам за работой,—нет, он горячо взялся, наезжал туда часто. В лесу у него жил лесничий, у него он останавливался, когда приезжал, и с крестьянами своими толковал о всех удобствах их новой жизни: компании будут большие, чистые, светлые, для каждой семьи отдельно, но в одном общем доме; общая будет кухня, общие конюшни, коровники, амбары, земледельческие орудия, посуда, которую он закупил в Петербурге и сам привез. Одним словом, все выгоды общинной жизни были, по его мнению, налицо. Толковал он сам со стариками. Наконец, и их спрашивал, понимают ли они, что им будет лучше жить в одной большой избе, в которой будут хорошие печи, причем ведь и жить они будут не на болоте, как кулики, а на сухом месте. «Ведь вы понимаете,—спрашивает,—что так, по-новому, будет вам гораздо лучше?»—«Воля ваша, барин,—отвечают ему,—как, стало быть, прикажете, так и сделаем...» Видит он, что чего-то ему они не говорят, отмачиваются, но думает: хоть и против их воли, да для их же блага! И вот он приказал: на завтра, такого-то числа, перебраться в новый дом всем, а лошадей перевести в общую конюшню... Сам же уехал к своему лесничему с тем, чтобы завтра отпраздновать со своими крестьянами их новоселье... И вот, действительно, приезжает на другой день и что же видит? Вместо нового дома, и амбаров, и конюшни, и вообще всего, что было построено для общинной жизни, лежат и дымят одни черные головешки!

— Сгорело нечаянно или сами сожгли?—спросила Елизавета Михайловна.

— Разумеется, сожгли... Вот что значит производить любой, какой угодно, переворот, когда он не подготовлен, и вот почему сказал я, что если бы Крымской войны не было, то ее нужно бы было выдумать, так как она-то и является подготовкой к переделке русской жизни, источником будущей мудрости русской... Однако я недобросовестно за-

сиделся у хороших людей, которых я очень люблю, конечно, но которым все-таки надо дать и отдых,—добавил Дебу, подымаясь, чтобы проститься.

— Пойдите, Ипполит Матвевич,—остановил его Витя.—А вы знаете нашу последнюю новость?.. Дмитрий Дмитрич, наверное, и вы не знаете,—не дошла, я думаю, она до вашей Тьмутаракани. А я берег ее именно для вас.

— Говорите, что за новость?—заинтересовался Хлапонин.

— Приятная или неприятная?—спросил Дебу.

— Больше приятная, я думаю, чем неприятная. Слушайте, господа!.. Этой ночью один молодцаг-пластун, Чумаченко, захватил в плен против Корниловского бастиона английского инженерного офицера, а наш командир батареи Петр Иванович Лесли...

— Лесли?—изумился Хлапонин.—Но ведь Лесли убит на третьем бастионе!

— Это—брат того, убитого... Он хорошо говорит по-английски,—спрашивает пленного, как случилось, дескать, что вы так опростоволосились, и наш пластун вас на себе притащил... И вообразите, что ответила эта потерянная личность?

Витя сделал приличную случаю паузу, обвел всех слушателей искристыми глазами и заключил с подъемом:

— Он ответил так: «Я был в подавленном настроении. Мы понесли очень большую потерю: сегодня вечером умер от холеры наш высокочтимый главнокомандующий, маршал Раглан!»

— Ка-ак? Раглан умер?

— Это здорово!

— Что? Хороша новость?—сиял, спросил Витя.

— Новость неплоха, конечно, но я думаю, что было бы все-таки лучше, если бы умер от холеры не Раглан, а маршал Пелисье,—сказал Дебу.

— А еще лучше было бы, если бы оба,—дополнил Хлапонин.

— Раглан ведь все равно был как-то в тени,—сказал Бородатов.

— В тени или на свету, важно то, что он привел к нам сюда десантный отряд,—напомнил ему Хлапонин,—и что он был бессменным английским главнокомандующим... Нет, Витя, это хорошая новость! Ах ты, холера, холера, какого свалила кавалера,—старейшего английского офицера!

И весело продекламировав это, Хлапонин взял стакан с вином и обратился ко всем:

— Предлагаю, господа, выпить за того, кому мы обязаны этой новостью!

— Витя! Ваше здоровье!—обратилась Елизавета Михайловна к юному мичману, но Хлапонин удержал жену за руку, говоря:

— Не за Витю, нет! Его мы не забудем тоже, но сейчас мне хочется предложить выпить за этого самого молодца-пластуну Чумаченку, о котором я уже кое-что слышал, как о первейшем храбрце,

— Идет, за пластуна Чумаченко!—чокнулся с ним Бородатов, и все выпили за пластуна Чумаченко.

А Терентию Чернобровкину, лежавшему как раз в это время в секрете впереди Малахова, и невдомек было, что за его здоровье пьет его «другок», не знающий, впрочем, что он тоже в Севастополе, как и сам Терентий не знал, сколько пришлось вынести из-за него Хлапонину в Москве.

ГЛАВА ПЯТАЯ НАХИМОВ

1

Три недели, прошедшие с того памятного для интервентов дня, когда блестяще был отбит их штурм, не принесли отдыха Нахимову.

Каждый день был полон своих забот, хотя бомбардировка редко когда подымалась выше тысячи снарядов в день, а штуцерная стрельба была обычной.

Беспокойство за участь города, губернатором которого он считался, возросло даже: причиной его была канонада в ночь с пятого на шестое июня, открытая неприятельской эскадрой.

По судам этой эскадры была ответная пальба с фортов, однако результаты пальбы остались неизвестны, между тем канонада продолжалась шесть часов подряд. Закупорку рейда затопленными судами Нахимов потом внимательно осматривал сам, подъехав к ней на гичке. Он нашел, что часть судов раскачалась благодаря штормам, другие же засосало илом,—мачты их скрылись,—и перед ним осязательно возникла опасность прорыва флота союзников на рейд, откуда он мог бы в короткое время разгромить город в тех его частях, которые были пока недоступны выстрелам с сухопутных батарей.

Как опытный моряк он считал этот шаг со стороны союзных адмиралов более чем возможным: он сам, будь он на их месте, непременно сделал бы именно так.

Такой вывод, конечно, лишил его спокойствия. Он поднял в штабе гарнизона вопрос о неотложных мерах к защите рейда, но топить для этой цели свои же суда было ему жаль; оставалось только одно—заложить батареи на берегу рейда, чтобы уничтожить неприятельскую эскадру, если она вздумает прорваться внутрь ночью, на линии затопленных судов.

По его настоянию и под его наблюдением такая батарея—тридцать орудий—и была заложена на Северной стороне между Константиновским и Михайловским фортами. Она была двухъярусная и получила название Нахимовской. Кроме нее, дальше

по берегу на тот случай, если все-таки одному-двум кораблям удастся проникнуть на рейд, были устроены еще две батареи—одна на десять, другая на четыре орудия—исключительно для действий внутри рейда.

Когда в самом спешном порядке земляные работы были закончены и чугунные стражи рейда—новые сорок четыре орудия—стали на предназначенные им места, Нахимов вздохнул свободнее. Однако как раз в это время начали подвозить на лошадях, верблюдах, а больше всего на волах отборно-толстые сосновые бревна и складывать их на берегу, около Михайловского форта.

Бревна эти везли из Херсона, куда обычно сплавлялся лес по Днепру для нужд Черноморья и всего Крыма. Принимал эти бревна инженер-генерал штаба Горчакова Бухмейер, когда Нахимов осматривал сооруженные по его настоянию батареи. Заметив его издали, он подъехал к Бухмейеру.

— Александр Ефимович, скажите бога ради, для чего это прекраснейший такой лес, а?—обратился Нахимов к этому генерал-лейтенанту, которого уважал уже потому, что он был инженер, как и Тотлебен.

Бухмейер, который был одним почти лет с Нахимовым, но почти совершенно сед, даже с сильной проседью в черных усах подковкой, ответил не сразу. Он снял фуражку, вытер платком высокий, розовый, вспотевший лоб и только после этого сказал, тщательно подбирая слова:

— Для удобства сообщения Северной стороны с Южной приказано его сиятельством соединить оба берега тут мостом, Павел Степаныч.

— Мостом-с? В этом месте-с?.. Да ведь тут почти верста ширины, что вы-с!—очень удивился Нахимов.

— Да, большое затруднение в этом... Также и в том, что ведь оттуда,—кивнул Бухмейер в сторону батарей интервентов,—стрельбу подымут: беспрепятственно не позволят работать, а строить надо.

— Отлично обходились мы без моста до сих пор и вдруг-с почему-то надо-с... Хм, хм... мост! Пловучий мост!—подозрительно вперил Нахимов в карие глаза Бухмейера свои голубые, расширенные недоумением.

— Все-таки, согласитесь, Павел Степаныч, с этим, по мосту гораздо скорее может пройти большая воинская часть, чем ежели перевозить ее будут на транспорте! А мост предполагается не пловучий, а бревенчатый, разводной.

— Бревенчатый-с? И в версту шириною-с?—теперь уже просто, как хозяин обороны, сам строивший пловучий мост через Южную бухту, усомнился Нахимов.

— Не приходилось и мне никогда выполнять такую работу,—скромно отозвался ему Бухмейер.—На триста шестьдесят сажен через Дунай у Из-

манла вывел мост, но тот—пловучий... Кроме того, условия работы были совсем не те... Но раз приказано, нужно делать.

— Даже если и невозможно-с?

Бухмейер слегка улыбнулся.

— Теоретически все-таки возможно... поскольку мы знаем, что бревна держатся на воде и могут выдержать большой груз... Плоты, соединенные вместе.

— Но ведь зальет-с, зальет при малейшем волнении!—И даже руками сделал несколько энергичных волнообразных движений. Нахимов.

— Об этом не спорю: заливать при ветре может... Также может давать и прогибы при движении больших тяжестей, как, скажем, орудия. Но это предусмотрено, конечно. А удобство для сообщения большое, это уж бесспорно,—удобство первостепенное.

— Разобьют-с!—уверенно махнул рукою Нахимов.

— Думаю все-таки,—осмеливаюсь так думать,—что всего моста не разобьют,—снова улыбнулся Бухмейер.—А что ежели будет разбито снарядами, поправим... Оставим на этот случай, на ремонт, запас материалов. Наконец, стрельбу откроем из наших батарей: они по мосту, а мы по ним.

— Так что же уж значит, как же-с, а? Решено и подписано-с? Мосту быть-с?—с нескрываемым волнением от раздражения спросил Нахимов.

— Всенепременно,—ответил Бухмейер.—Я не могу только в точности доложить вам, Павел Степаныч, когда именно он будет готов,—это зависит от многих обстоятельств, но что он должен быть готов, как можно скорее, об этом уж буду стараться.

— Прощайте-с!—вдруг неожиданно резко сказал Нахимов, торопливо сунул руку Бухмейеру и повернул своего маштачка в сторону морского госпиталя, где он бывал каждый раз, когда переправлялся на Северную.

— Видали вы подлость?—выкрикнул он, увидя смотрителя госпиталя, полковника Комаровского, вышедшего ему навстречу.

Тот никогда раньше не видал его таким возмущенным: лицо его было апоплексически красно, даже голубые глаза порозовели.

Комаровский, человек по натуре честный, стоял руки по швам и развернув грудь, усиливаясь понять, кто именно и что мог донести на него адмиралу, командиру порта.

— Подлость, подлость видали-с?—повторил Нахимов, уничтожающе на него глядя.

— Не могу знать,—пролепетал Комаровский,—о чем изволите говорить, ваше высокопревосходительство?

— Э-э, «не могу знать», а у самого под носом это!—поморщился Нахимов и повернул Комаров-

ского так, чтобы он видел бревна, сложенные на берегу.

— Это что-с? А?—показал он рукой.

— Лес возят,—в недоумении поднял на него глаза Комаровский.

— То-то, что лес! А зачем лес?.. Мост хотят строить через бухту!.. Бросать хотят Севастополь, вот что-с!

Полковник Комаровский был озадачен этим не потому, что Севастополь хотят бросить,—ему приходилось слышать такое мнение и раньше,—а потому, что Нахимов именно с ним поделился своим возмущением.

Нахимову же было все равно, кому бы первому ни выкрикнуть того, что его давило невыносимо.

Замысел Горчакова бросить «несчастный город» был для него не нов: об этом он часто слышал от него и на военных советах и когда он приезжал с Северной. Но после того, как был отбит штурм, Горчаков, казалось, успокоился, и все распоряжения его клонились только к тому, чтобы усилить всеми способами оборону Севастополя.

На поверку же выходило, что там все было только показное, парадное, а настоящее тайком готовилось здесь. Под видом удобства переправы через рейд воинских частей, назначенных на усиление гарнизона, на случай нового штурма, готовился, несомненно, путь отступления всему севастопольскому гарнизону, которое и совершится по приказу главнокомандующего когда-нибудь под покровом ночи, а торжествующему врагу отдано будет все, стоившее таких неисчислимых и неоценимых трудов и жертв.

И Комаровский только еще приводил, старался привести в связь эти бревна на берегу и оставление Севастополя, когда Нахимов, качая головой, повторял подавленно:

— Какая подлость! Какая подлость!

2

Оставить Севастополь хотя бы и после трех штурмов для него, моряка, было то же самое, что сдать судно неприятелю после какого угодно кровавого боя.

Можно было удивляться,—и многие удивлялись тому, с каким хладнокровием каждый день обходил Нахимов бастионы во время самого жестокого иногда обстрела их; а между тем для него это было совершенно естественно.

С дней ранней юности он готовил себя для борьбы, а не для легких служебных успехов в гостиных гысских начальства или за канцелярским столом. Он не рожден был ритором, однако и административные таланты его были слабы, и в этом отношении он очень охотно признавал превосходство над собой Корнилова.

Но зато своим совсем не картинным, а в выс-

шей степени простым хладнокровием перед лицом неотвратимой, смертельной опасности он превосходил всех своих сослуживцев, потому что это было деловитое хладнокровие обстрелянного матроса, для которого палуба корабля—крепость, которому дана возможность отстреливаться от врага, но не дано способов прятаться от него или бежать.

Когда молодой еще, однако успевший уже совершить кругосветное плавание, лейтенант Нахимов на флагманском корабле «Азов» стал участником знаменитого в летописях морских сражений Наваринского боя, он провел весь бой рядом с матросами, у орудий.

В этом бою он, обвешанный уже штормами трех океанов и большей половины морей, получил окончательный закал.

Бой был неизменно жестокий. «Азов» сражался одновременно против пяти турецких судов. Он получил полтораста пробоин в корпусе, кроме того что у него были разбиты все мачты, однако он не только уцелел, но сумел благодаря несравненным действиям матросов у орудий потопить два больших фрегата и корвет и сжечь восьмидесятипушечный корабль и фрегат, то есть уничтожить все пять судов, с которыми бился.

Нахимов был представлен к георгию и чину капитан-лейтенанта, как особенно отличившийся среди младших офицеров в этом бою, а между тем он только и делал, что делали матросы около него,—направлял орудийный огонь, не обращая никакого внимания на действие огня противника.

Наварин создал Нахимова-бойца: выковал его за четыре часа на всю остальную жизнь, дал ему законченную форму. И молодых офицеров потом, когда стал командиром корабля, затем целой эскадры, он воспитывал не для смотров только, а для боя, как и матросов.

Долго пришлось ему ждать этого нового боя, правда, целых двадцать шесть лет! Иной бы мог и размагнититься за такой срок, оравнодушеть, обрастая с годами чинами, орденами и жиром, приобрести только начальственную важность, тяжелую поступь и хриплый рык. Но не размагнитился Нахимов и создал свою яркую страницу в книге крупнейших схваток на море—Синоп.

Но это была двойная победа: не только над турецким флотом, поддержанным огнем береговых батарей,—еще и над штормами Черного моря в осенние месяцы. Продержаться с парусной эскадрой несколько недель в море, несмотря на постоянные ветры, переходящие в шквалы и штормы,—это был тоже подвиг, на который оказался способен только Нахимов с командами, воспитанными им самим.

Половина судов нахимовской эскадры не вынесла такой передряги и потребовала ремонта,—вынесли люди, изумив этим даже адмиралов англий-

ских и французских флотов, отлично знавших, с какою целью так самоотверженно крейсирует в бури эскадра Нахимова, однако не решившихся итти выручать турок, ссылаясь на невозможное для плавания море.

Оттремел Синопский бой, началась упорнейшая борьба за Севастополь: почти десять месяцев жесточайшего шторма, почти непрерывный Синопский бой.

— Павел Степанович, вам бы не ездить сегодня на бастионы...

— А почему же-с это не ездить? Нет-с, знаете ль, там мне как-то свободнее дышится...

Это были слова, найденные очень точно. Свободнее всего дышать Нахимов мог только на бастионах, то есть на тех же наваринско-синопских кораблях, стоявших на совершенно незабытом якоре и делавших свое грозное дело при всем типично русским добродушием их команд.

Белокурый, голубоглазый, весь светящийся именно этим русским добродушием в небоевое время, когда он,—полный адмирал,—был вполне доступен любому матросу и терпеливо выслушивал любое заявление, Нахимов на бастионах, во время сильнейшей пальбы только подтягивался, становился зорче, поднимал голос до резкого крика, потому что иначе было нельзя, но он продолжал оставаться тем, кем был и в исключительные часы Наварина: матросом при том или ином орудии, комендором, а не командиром.

Однако в этом-то именно и было его истинное величие. Он, адмирал, был матрос душою, и поматросски твердо знал он только одно, что родной Севастополь надо отстаивать до последнего вздоха.

— Мы все здесь ляжем-с!—говорил он так же часто, как и совершенно спокойно.

И когда был убит брат командира парохода «Владимир» лейтенант Бутаков на батарее своего имени, он, адмирал, нес его гроб, как мог бы нести только отец гроб своего сына. Все флотские—офицеры и матросы—были дети этого старого холостяка, но не очень старого еще человека: пятьдесят два года—не большая старость; и кошелек его был открыт для всех.

Однако родному племяннику своему, капитану 2-го ранга, Воеводскому, который был у него дежурным штаб-офицером, он говорил часто и всерьез:

— Опротивел ты мне, истинно опротивел! Ну что ты мне приносишь тут все какие-то бумаги-с длиннейшие? Три листа кругом исписаны,—вот тут и изволь читать-с! В двух словах сказать бы, и все, а то надо еще и ответ сочинять-с! Экая бесчеловечность, прости господи! Хватает же у них времени на эти бумаги мерзкие-с!

Матросов на бастионах он всегда выслушивал внимательно, если то, с чем они обращались к

...касалось стрельбы из орудий или расporядков, нуждавшихся в улучшении; и часто, по-качивая головой, отзывался он им:

— Это, братец ты мой, ты говоришь дело-с! Это верно-с!

Хотя бывало иногда и так, что слушает-слушает много матроса Нахимов и вдруг прикрикнет на него:

— Дичь, дичь порешь, брось! Взять бы тебя за хохол да оттрепать как следует, чтобы ты у меня времени не отнимал зря-с!

А матроса Кошку он вскоре после штурма шестого июня приказал списать с третьего бастиона на корабль «Ягудинил» за беспробудные кутежи.

— Пускай-ка проспитя и в чувство взойдет, а то он тут весь ваш бастион спонт-с!—говорил он контр-адмиралу Панфилову.—Через недельку его возьмите-с.

Однако убежденный в том, что сырая вода летом бывает вредна для здоровья, если ее не сдобрить красным вином, он часто посылал на бастионы бочонки вина.

Больные и раненые матросы, лежавшие в госпиталях, были для него предметом особых забот: сплошь и рядом, не желая заводить «письменности», давал он свои деньги, чтобы купили для них то, в чем они нуждались.

Один свитский офицер, прибывший из Петербурга, вздумал притти с визитом к Нахимову и встретил его выходящим из дому.

— Ну, что это вы там выдумали-с!—удивился Нахимов, когда узнал от него о цели его прихода.—Какие у нас теперь визиты-с! Да я и не так интересен, чтобы стоило вам хлопотать о знакомстве со мною-с... А вот если хотите, я вам покажу четвертый бастион-с,—это штука любопытная-с, а ко мне потом приходите просто обедать-с.

Нахимову никогда не случалось водить солдат в атаку, как, например, Хрулеву, или даже просто командовать ими: пехотного строя командам он так и не научился. Говорить речей солдатам ему тоже не приходилось, да он едва ли мог бы когда-нибудь сказать прочувствованную и в то же время кудрявую речь, как это умели делать иные искусники.

Он только появлялся каждый день среди солдат на батареях и редутах, и солдаты видели это, и этого было с них довольно, чтобы считать высокого сутуловатого адмирала в золотых эполетах своим генералом. Даже и не генералом, пожалуй, а как-то так,—не то чтобы ниже генерала, а гораздо ближе к ним, чем любой генерал.

Они даже и адмиралом его не называли, и если спрашивал новичок-солдат у старого:

— Это кто же такой пошел в аполетах-то?

Старый отвечал с непременной одобрительной улыбкой:

— А это же флотской, Павел Степаныч... Начальника гарнизону, стало быть, помощник.

Не все из солдат твердо знали фамилию адмирала, который приезжал на укрепление на своей серой смирной лошадке, но что звали его Павел Степаныч, это было известно всем, кто хотя бы два дня провел на бастионах в прикрытии.

Вице-адмирал Новосильский был на четвертом бастионе с самого начала осады, как контр-адмирал Панфилов на третьем. Несколько генералов, как Семякин, Шульц, князь Урусов и другие, в разное время ведали разными участками линии обороны; Нахимов же появлялся везде и почти ежедневно.

Он как-то сросся со всей обороной Севастополя, плотно сросся с батареями, редутами, арсеналом, портом, судами в бухтах, матросами у орудий, солдатами в блиндажах и на банкетах, с двухэтажным домом в начале Екатерининской улицы, в котором жил и где был его штаб, наконец, со своим серым коньком, который вынес его из неразберихи после взятия Камчатки французами...

Казалось всем, что его-то именно, Павла Степановича Нахимова, оторвать от всего этого никак нельзя. Севастополь без Нахимова—это как-то не вмещалось ни в чье сознание...

И однакоже в конце июня остался без Нахимова Севастополь.

3

Было 28 июня. В этот день союзники почему-то затеяли с раннего утра частую пальбу против Корабельной. Пальба затихла к полудню, но спустя часа два началась снова, причем особенно усердствовали англичане против третьего бастиона.

В это время Нахимов обедал, как всегда, со своими адъютантами и, как всегда в обществе этой молодежи, был весел.

Одного из них, лейтенанта Костырева, он спросил между прочим:

— А ну-ка, скажите-с, почему Нельсон победил адмирала Вильнева при Трафальгаре?¹

— Артиллерия у него была лучше,—ответил крутошекий Костырев.

— Мало-с!—неодобрительно качнул головой Нахимов.—Артиллерия и у Вильнева была неплохая-с... Одной артиллерии все-таки мало-с... А вы как полагаете-с?—перевел он светящиеся детским лукавством глаза на другого адъютанта, лейтенанта Фельдгауэна, наиболее хозяйственного из его флаг-офицеров, почему у него находились все нахимовские деньги и он вел ведомость расходам, в которую, впрочем, не заглядывал Нахимов.

¹ У мыса Трафальгар—в Испании английский адмирал Нельсон одержал в 1805 г. победу над флотом Франции, которым командовал Вильнев.

— Наверное потому, что он не потерял мужества,— тут же отозвался Фельдгаузен.

— Мужества-с?—переспросил Нахимов.

— Да-с, и в этом я беру в свидетели не кого иного, как самого Гёте,—весело подтвердил Фельдгаузен.—Гёте же писал так: «Если ты потерял состояние, то ты еще ничего не потерял: состояние ты можешь нажить вновь. Если ты потерял честь, то попробуй приобрести славу, и честь будет тебе возвращена. Но если ты потерял мужество, то ты потерял все!»

— Очень хорошо-с!.. Насчет мужества прекрасно-с! Но вот вопрос: отчего же именно Вильнев и с ним все экипажи его эскадры потеряли мужество? А?

На это Фельдгаузен не мог ответить, и, не обращаясь к другим,—Колтовскому и капитан-лейтенанту Ухтомскому, старшему адъютанту,—Нахимов раздельно и отчетливо сказал сам:

— Потому-с победил при Трафальгаре Нельсон, что на его судах паруса хорошо стояли,—все было вытянуто до места-с, вот почему-с! От этого-то именно франко-испанцы и потеряли мужество-с!..

Он улыбнулся этой своей старой шутке и добавил:

— Что же касается вас, господа, то я прошу вас после обеда не расходиться, поедem на третий бастион посмотреть, что там такое-с...

Адъютанты переглянулись, и Ухтомский сказал за всех:

— А мы именно и хотели бы разойтись кое-куда, Павел Степанович.

— Вот тебе раз! Куда же это-с!—удивился Нахимов.

— Надо же что-нибудь приготовить к вашим завтрашним именинам,—сказал Фельдгаузен.—У нас пока ничего нет,—вино на исходе, и вообще...

— Пустяки-с! Вздор-с!.. Именины!.. Тоже наши время именины справлять!—непритворно-недовольно отозвался на это Нахимов и замахал рукой.—Да и кто ко мне приедет на именины? Все заняты, у всех дела по горло-с!.. Большой свиты мне, конечно, не надобно-с, а вы и вот вы тоже-с,—обратился он к Колтовскому и Костыреву,—извольте-с непременно-с остаться: в пять часов поедem-с!

После обеда Нахимов обыкновенно отдыхал, так как вставал он рано. Кроме того, после нескольких часов, проведенных без отдыха за работой, начинала обыкновенно заявлять о себе контузия спины, полученная им в памятный день 26 мая, когда он едва не попал в плен: разорвавшийся недалеко снаряд достал его осколком, ударившим плашмя в верхнюю часть спины. Он перенес эту контузию на ногах и отказался от предлагавшихся ему медицинских пособий, однако спина его долго оставалась синей, и боль еще не прошла. Врачам же он говорил:

— Что вы, помилуйте-с, лечиться! Я только тем и на ногах держусь, что всегда занят-с. А ведь если бы я вдруг допустил себя до того, чтобы лечиться начать, конец мне был бы. Вполне серьезно это я, прошу не считать за шутку-с! Ведь только объяви сейчас конец военным действиям, завтра же и я свалюсь от горячки-с!.. Да и кроме горячки, вы у меня, может статься, целую дюжину болезней найдете-с, в мои годы и при моем чине все может быть у человека, а как же-с!.. Только распусти вожжи, и конец!.. Тогда уж меня все равно вылечить нельзя будет-с! Полный адмирал—это уж болезнь совершенно неизлечимая-с, да еще непременно-с какой-нибудь там еще катар желудка-с!.. Я ведь в этом опыт уже имею-с: в тридцать восьмом году князь Меншиков отправил меня за границу лечиться. Лечили меня, лечили врачи берлинские десять месяцев с лишком-с, наконец—консилиум, и вынесен мне приговор: безнадежен! Вот как-с! Совершенно безнадежен-с!.. Я скорее за шапку да домой-с: помирять, так уж дома, а не в Берлине-с... И вот, как видите, до сей поры жив!

Будить Нахимова было не нужно: спал он, не раздеваясь, и просыпался, когда назначал себе проснуться,—это была его давняя привычка.

В длинном черном сюртуке, от которого казался еще выше ростом, чем был, с вице-адмиральскими, уже поблекшими, золотыми эполетами, с большим белым крестом на шее, он вышел из спальни бодрый, освеженный сном, и, утвердив на затылке, как всегда, белую фуражку, направился вместе с Колтовским и Костыревым к оседланным уже лошадям.

У Колтовского, против обыкновения, был угрюмый вид, и Нахимов заметил это.

— Что такое с вами?—спросил он.—Не случилось ли чего у вас дома, а? Письмо получили?

— Нет, письма не получал, а вот... Может быть, не ездить бы вам сегодня, Павел Степанович?—вполголоса и просительно, как сын к отцу, обратился к нему Колтовской.

— Та-ак-с! Это почему же-с не ездить?—очень удивился Нахимов и поднял одну бровь, левую.

— Да вот... вчера за ужином... красное вино вы пролили,—заминаясь, проговорил Колтовской, глядя на передние копыта своей лошади.

— А-а, вон что-с!—улыбнулся Нахимов.—И получился на скатерти крест,—скверная примета-с! Охота вам в приметы верить! Пустяки, вздор-с!.. Садитесь-ка лучше... Приметы у вас тут, когда уж и по Екатерининской ядра начали прыгать и вот-вот разнесут наш дом-с... Говорил уже Дмитрий Ерофеич, что надо бы перебраться нам в Николаевские казармы,—там будто бы безопасно-с! Э-э, если уж быть убиту, то убить везде могут... На коней-с! Вы слышали за обедом сегодня: «Кто потерял мужество, тот потерял все!» Золотые

слова-с! Уж если Тотлебена не уберегли-с,—все бедному хуже и хуже, то обо мне что же и говорить-с... Пустяки-с! Едем!

Пальба между тем гремела,—на нее только не обращали внимания, привыкли, однако от этого она не была слабее. Когда небольшая кавалькада спустилась к мосту через Южную бухту, бомба пронеслась, чавкая и пыхтя, невысоко над головами всадников, и Нахимов сказал, улыбнувшись:

— Вот видите-с, нам уже посылают приветствие-с!

Он даже обернулся посмотреть, куда именно упадет бомба,—так свежа была его восприимчивость в начале этой последней его поездки на бастионы.

4

На третьем перестрелка уже затихала, как обычно к концу дня. Опасение, что она разовьется во что-нибудь серьезное, миновало у Нахимова, когда он встретил начальника третьей дистанции вице-адмирала Панфилова, направлявшегося в свой блиндаж пить чай.

Вице-адмиралом Панфилов, спокойного вида здоровяк, стал совсем недавно: к этому чину он был представлен за отражение штурма шестого июня. Ведавший четвертым бастионом с прилегающими к нему батареями вице-адмирал Новосильский, человек тоже не слабого десятка, но уже несколько раз контуженный, вынужден был проситься на отдых и был переведен на службу в Николаев; Панфилов же точно был очерчен заколдованным кругом, за который не смели перелетать ни пули, ни ядра, ни осколки снарядов.

Большая рука его была плотна, тепла, когда он, задержав руку Нахимова, приглашал его попить чайку, кивая на усердно начищенный и не менее усердно дымящий пузатый самовар, поставленный денщиком у дверей блиндажа.

— Нет уж, Александр Иванович,—спасибо, голубчик, не хочется,—отозвался на приглашение Нахимов и добавил:—А вот вы идите, вам нужно отдохнуть-с, идите-с... И меня не провожайте уж, я сам-с...

— А ведь завтра Петра и Павла! С предвещением именин ваших, Павел Степанович,—ласково сказал Панфилов, суживая улыбкой и без того небольшие, серые с прозеленью, глаза и не выпуская руки Нахимова.

— Да, вот видите как—именины завтра,—я уж это сегодня за обедом слышал-с от своих адъютантов... Преддверие, гм... Спасибо, очень благодарен-с! А вы бы вот завтра ко мне, если выпадет свободный часок-с, а? Флаг-офицеры мои затевают там что-то-с, пир какой-то,—удивить Севастополь хотят... Вот и заезжайте-с!

— Непременно, Павел Степанович, непременно, как-нибудь выберусь, не похоже ведь на то, чтобы

штурм завтра затеяли эти... Нет уж, ваши именины отпразднуем. А провожать вас по бастиону моя прямая обязанность.

И он так и не воспользовался разрешением отдохнуть и попить чайку. Нахимов оставил свою лошадь около его блиндажа, и дальше они пошли вместе.

Перестрелка затихла, однако ядра и бомбы продолжали лететь сюда, как и отсюда, и уносили на носилках раненых и убитых, и с носилок капала кровь.

Чтобы не задерживать слишком ревностного к своим обязанностям хозяина третьего отделения, Нахимов пробыл здесь недолго. Он только обошел бастион и батареи Перекомского, Никонова, Будичева,—последняя продолжала называться так, несмотря на смерть своего основателя,—оглядел бегло матросов у орудий, чтобы узнать, насколько после сегодняшнего числа поредела их семья, и справиться, много ли убито и ранено, нет ли подбитых орудий, которые нужно менять, и какие предстоят работы здесь ночью...

Вернувшись снова к блиндажу, где были оставлены лошади, и простившись, наконец, здесь с Панфиловым, Нахимов поехал к горке Малахова кургана, имея намерение потом обойти и пятый участок—второй и первый бастионы.

На Корниловском бастионе оказалось сравнительно тихо; стрельба хотя и велась, но очень вялая: французы в этот день вообще плохо поддерживали англичан. Только штуцерные часто пели над головами, но на них не принято было обращать никакого внимания, что было и понятно, конечно: ядро большого калибра могло произвести большие разрушения, а встреча с ним любого из защитников бастиона могла привести только к смерти; бомба из осадной мортиры, случалось, выхватывала из толпы или команды солдат до трех десятков сразу. Пуля же если и находила свою жертву, то только одну, притом же чаще всего приносила рану, а не смерть.

С тех пор как взята была Камчатка, французы заложили ложементы впереди ее на расстоянии, сравнительно с прежним, небольшом уже от вала бастиона, а среди «сорвиголов» были прекрасные стрелки, не пропускавшие ни одной живой цели на укреплении и особенно понаторевшие в стрельбе по амбразурам.

Амбразуры были, правда, закрыты веревочными щитами, предложенными капитаном 1-го ранга Зориным, но в них все-таки оставались небольшие просветы; за этими-то просветами и наблюдали зорко неприятельские стрелки.

Когда приехал на бастион Нахимов, в остатках бывшей башни шла всеобщая по случаю кануна праздника—Петра и Павла, и начальник четвертого отделения Керн был там с большинством офицеров.

Ординарец Керна, матрос Короткий, заведя

адмирала, юркнул в башню, чтобы доложить о его приезде; Нахимов же пошел прямо к брустверу, взял у сигнальщика-матроса трубу и стал смотреть в амбразуру, насколько подвинулись за сутки работы французов.

Работы эти шли неуклонно: к Малахову так же придвигались зигзагами узких окопов и широких траншей, как раньше к четвертому бастиону, и Нахимов, внимательно вглядываясь в рыжие полосы выброшенной лопатами французов земли, думал, что Тотлебен прав, настаивая на том, чтобы открыть минные галереи навстречу слишком настойчивым врагам, которым нельзя было отказать притом же и в трудолюбии, чем они решительно превосходили своих союзников-англичан.

Керн, подойдя поспешно к валу, видел, конечно, как опасно положение адмирала: амбразуры, к одной из которых припик Нахимов, были самые уязвимые места на бастионе; однако он знал и то, что Нахимов не любит, когда выказывают заботу о нем. Вдруг он вспомнил, что на другой день будут именины адмирала, а вслед за этим явилась мысль пригласить его ко всенощной в башню, где было вполне уж безопасно от пуль.

Он взобрался на банкет, стал сзади Нахимова и начал, как рапорт, приложив к козырьку руку:

— Ваше высокопревосходительство!

Нахимов обернулся.

— А-а, здравствуйте-с! Вы где были-с?

— У всенощной... Сейчас идет в башне... Вам не угодно ли отслушать?

Керн был уверен, что нашел неотразимый предлог свести адмирала вниз с банкета, но Нахимов ответил снисходительно:

— Можете итти-с достаивать... Я вас не держу-с...

Керн стоял сзади его удрученный. Треугольные вздутые щеки его опустились скорбно и испуганно, потому что пули безостановочно то пели над головой Нахимова, то ударялись глухо в веревочный щит и в нем увязали.

— Все господа офицеры хотели бы видеть вас у всенощной, ваше высокопревосходительство,— сказал он наудачу, сам не стараясь даже угадывать, как к этому может отнестись адмирал, который ему показался не в духе.

— А-а? Да, да-с... Хорошо, я вот сейчас приду туда,— пробормотал, не отрываясь от трубы, Нахимов и добавил, как прежде:—А вас я не держу-с.

Керн знал, что нельзя было прямо так вот сказать, что стоять здесь опасно: это всегда только сердило Нахимова, и в то же время дважды повторенное: «Я вас не держу-с!» звучало, как приказ. Он отступил на шаг и спустился с банкета, прошептав на ухо Короткому, чтобы тот подействовал на адмирала, который простит ему, как матросу, его заботливость.

Короткий тут же вскочил на банкет и стал на место Керна. Как раз в этот момент пуля, направленная в адмирала, ударилась рядом с его локтем в земляной мешок амбразурной щеки.

— Каковы, а? Метко стреляют, каналы!—полуобернулся Нахимов, и Короткий, выпучив глаза, выкрикнул в страхе:

— Убьют, Павел Степаныч! Сойдите, ради бога!

— Не всякая пуля в лоб-с, братец,—спокойно отозвался ему Нахимов, однако не больше, как через секунду, протянул трубу сигнальщику, стоявшему рядом.

Керн же, между тем, схватился за другое средство, чтобы свести с банкета адмирала: он приказал комендору ближайшей мортиры выстрелить.

Он думал, что Нахимов сейчас же спустится и подойдет к орудию, скажет несколько слов комендору, известному ему старому матросу Грядкову, но вышло совсем иначе. Сигнальщик, взяв трубу из рук адмирала, счел нужным вскинуть ее тут же к глазам, чтобы посмотреть, что делает во французской траншее русская бомба.

— Ишь, ловко как!—вскрикнул он.—Сразу троих подняло!

Нахимов, отступивший было от амбразуры, снова подвинулся к ней, чтобы своими глазами увидеть, что это был за удачный выстрел из мортиры, но тут же повалился назад: еще более удачным оказался выстрел какого-то зуава сквозь амбразуру: он лишил Севастополь важнейшего из его защитников.

Падающего адмирала подхватил мгновенно ставший на одно колено Короткий, и только белая фуражка свалилась с головы Нахимова и скатилась вниз с банкета.

Пуля попала в лоб над левым глазом, прошла через мозг и вышла сзади уха.

5

Как после проигранного большого сражения заволаговался город: «Павел Степанович убит!»

Раненый был еще жив в это время, но представлял из себя только предмет всеобщих забот, заранее обреченных на неудачу. Смерть уже держала героя Наварина, Синопа и Севастополя в своих цепких руках и на усилия людей вырвать его из страшных объятий глядела уничтожающе спокойно.

Лейтенанты Колтовской и Костырев, вне себя от горя, перебивая один другого, заспорили, куда отправить своего адмирала: на перевязочный ли пункт в Аполлонову балку или прямо в город, в Дворянское собрание; Керн, растерявшийся, бледный, с отсыревшими глазами, бормотал:

— В госпиталь, в госпиталь, на Северную!.. Там Гюбенет! Про-фес-сор!

Но матросы, уложившие своего «отца» на про-

стые, черные от застарелой, запекшейся крови посылки, упрямо понесли его к блиндажику бастионной сестры, Прасковьи Ивановны.

— А-ах, господа милосердный!.. А-ах, батюшкин!.. Ах, голубчик ты мой!—разахалась, всплескивая голыми ручищами, Прасковья Ивановна.

— После, после выть будешь!—сурово остановили ее матросы.—Перевяжи скорей! Это дело скорости требует!

Глаза Нахимова были закрыты. На лице крови не было; несколько капель крови, смешанной с мозгом, задержалось только в завитках белокурых волос сзади.

Даже толстые, черноземной могучей силы руки бастионной сестры, привычные уже ко всяким ранам, заметно дрожали, когда бинтовали они голову Павла Степановича.

— Как считаешь,—живой не останется?—шопотом спрашивали ее матросы.

Им хотелось хотя бы услышать ее приговорку: «Ничего, будьте веселы!»—но они ее не услышали. Прасковья Ивановна только припала ухом к груди Нахимова, послушала, бьется ли сердце, и, подняв голову, сказала:

— Несите к доктору, на перевязочный,—что он определит... А-ах, злодеи, изверги, что сделали!..—И заплакала теперь уже разрешенно, просто, по-деревенски, по-бабьи...

Из башни, не достояв всенощной, выходили толпами офицеры, матросы, солдаты, и все стремились туда, за носилками, на которых уносили неподвижное тело адмирала—душу обороны.

— Что? Ранен? Куда? В голову? Чем? Пулей?.. Э-эх!

— Говорят, навyleт!

— Навyleт? В голову?..

Махали безнадежно руками, старались глядеть в землю, чтобы скрыть друг от друга приступы слабости. Иные из офицеров пытались все-таки утешить себя, вспоминая вслух о знаменитой ране Кутузова, тоже пулей в голову, только турецкой пулей.

Один из офицеров-моряков припомнил даже стихи о Кутузове поэта Державина:

Смерть сквозь главу его промчалась,
Но жизнь его цела осталась,—
Сам бог его на подвиг блюл!

— И тоже ведь в Крыму Кутузов был ранен,—счел нужным вставить другой офицер.

— Да, здесь, в Крыму, возле деревни Алушты...—уточнил третий.

— А что всего поразительней, господа, Кутузов был тоже ранен в левый висок, а пуля вышла у правого глаза,—это я хорошо помню,—сказал лейтенант Петр Иванович Лесли, брат Евгения Лесли, погибшего при взрыве порохового погреба на третьем бастионе в первую бомбардировку.

— Да мало того, что Кутузов вылечился, господа! Можно было вылечиться, но кретином остаться на всю жизнь. А он стал князем Смоленским!

— Князем Смоленским он стал, если быть точным, после другой раны, тоже в голову!

— Разве он два раза был ранен?

— В том-то и дело, что два! Второй раз, когда он осаждал Очаков.

— Неужели тоже в голову?

— В голову! Пуля вошла ниже скулы, а вылетела в середине затылка... Врачи решили, что он вот-вот умрет, а он преспокойно во второй раз надул медицину!

— Крепкая же была голова!

— Авось, и у Павла Степановича не слабее...

Рады были ухватиться хотя бы за тень надежды, а между тем врачи перевязочного пункта Корабельной стороны, расположенного в укрытом месте, в Аполлоновой балке, решительно высказались за то, что надежды никакой нет, что рана безусловно смертельна.

Адьютанты Нахимова поехали в город доложить Сакену о том, что адмирал ранен смертельно, и выслушать от него приказ немедленно опечатать квартиру адмирала, а в это время Павел Степанович, с головой, забинтованной уже искуснее, чем могла это сделать бастионная сестра, переправлялся матросами через рейд на Северную, в госпиталь.

Было еще вполне светло, когда ялик заскользил по гладкой поверхности Большого рейда, на котором стояло несколько кораблей и пароходов. И случилось неожиданное для матросов-гребцов: Павел Степанович вдруг открыл глаза,—оба глаза, хотя и видно было, что левый открылся с трудом. Голубые нахимовские глаза глядели неподвижно, правда, но они глядели на матросов, на то, как действуют весла, как с лопастей весел капает-сбегает вода...

Матросы переглянулись радостно, боясь сказать слово. Но на середине рейда их раненый «отец», может быть, под влиянием свежего воздуха на воде или запаха моря, даже попытался, обхватив руками жерди носилок, приподняться до сидячего положения. Правда, сделав это усилие, он от слабости тут же лег снова и закрыл глаза, но матросы уже не только переглядывались, а кивали один другому, дескать: «Видал, как действует!»

Капитан 1-го ранга Бутаков увидел с палубы своего «Владимира» очень знакомый черный сюртук с густыми эполетами, забинтованную голову, посылки в мимо идущем ялике, ухватился за голову сам и едва опомнился, чтобы послать приказание своему паровому катеру, который шел в это время с Северной, навстречу ялику, принять адмирала и доставить на тот берег как можно скорее.



Гюббенета как раз в это время в госпитале не оказалось: он был у Тотлебена, рана которого, вначале казавшаяся легкой, приняла почему-то угрожающий вид. Нога опухла, острые боли в ней сильно беспокоили больного, который, хотя и с постели, не переставал все-таки давать указания к обороне Севастополя.

Для передачи этих приказаний при нем всегда были два-три инженерных офицера, и не было ничего удивительного, когда один из них вошел в кабинет своего начальника как раз в то время, когда Гюббенет заканчивал перевязку ноги.

Лицо офицера было очень взволновано. Пользуясь моментами, когда на него не глядел Тотлебен, он делал знаки хирургу, приглашая его выйти на минуту в другую комнату. Гюббенет понял, что ему хотят сообщить что-то важное, и вышел.

Офицер сказал ему шопотом, что Нахимов убит, и просил как-нибудь в осторожных выражениях передать это генералу: он знал, как Тотлебен уважал и ценил Нахимова, и боялся, что страшная весть о его смерти убийственно подействует на раненого.

Гюббенет был и сам чрезвычайно поражен этим, несмотря на то, что произведенные им здесь, в Севастополе, ампутации и другие сложные операции, число которых доходило до трех тысяч, могли бы уж, кажется, в достаточной степени закалить его сердце.

И он обрадовался и за Тотлебена и за себя, когда не пришлось ему передавать такого исключительно печального известия: как раз в это время посланный за ним из госпиталя ординарец доложил, что адмирал не убит, а только ранен, но врачи госпиталя просят его, Гюббенета, прибыть на консилиум.

Профессору пришлось спешно ехать от одного витязя Севастополя к другому, но когда появился он в той отдельной комнате, которую отвели в госпитале Нахимову, врачи уже вполне ознакомились с раной, вынули из нее восемнадцать осколков черепных костей и пришли к бесспорному для себя выводу, что смерть тут неизбежна и близка.

По свойственной хирургам того времени привычке совать свои пальцы в раны, они нашли, что входное отверстие раны свободно пропускает ука-

зательный палец, выходное же еще шире, — таково было действие пули Минье.

Нахимов глядел на Гюббенета одним только правым глазом: веко левого было закрыто и синевато-багрово от кровоподтека; правая рука лежала неподвижно, левая шевелилась, и он пытался подносить ее к ране, так что Гюббенету приходилось останавливать эти движения своей рукой.

Стараясь говорить очень отчетливо, Гюббенет задал ему один за другим несколько вопросов, но напрасно приближал свое ухо к его губам: губы не шевельнулись.

— Сознание отсутствует, — горестно сказал, наконец, Гюббенет и принялся сам снимать только что наложенную повязку.

— Лыду! — сказал он таким командным тоном, точно это простое средство могло вернуть раненого к жизни.

— За льдом послали, — ответили ему врачи.

— Куда послали?

— Послали узнать по ресторанам, может быть, где-нибудь остался еще лед.

— Пока, за отсутствием льда, холодные примочки, — тем же командным тоном приказал Гюббенет. — И давать пить холодную воду чайными ложечками.

Эта вода снаружи и вода внутрь оказалась единственным лекарством для раненого моряка! И лекарство это несколько оживило его: он начал чаще двигать левой рукой, силился открывать и иногда открывал левый глаз.

Небольшой кусок льда, — последний, — нашелся под мокрой соломой на погребке бесстрашного рестораника «Ростов-на-Дону» на Корабельной. Его привезли, как бесценную драгоценность, и с величайшей поспешностью, чтобы он не растаял дорогой. Тут же, мимоходом, сочинена была и легенда о том, что за льдом ездил верхом в Симферополь один из адъютантов Нахимова, лейтенант Шкот, и всего только в семь часов обернул туда и обратно; и все верили этой легенде, — так хотелось всем в Севастополе, чтобы все, даже самые героические средства были пущены в ход, чтобы сохранить жизнь Нахимова.

Но смерть не уходила от его изголовья.

Утром в день своих именин Нахимов как будто почувствовал себя лучше настолько, что даже хотел сорвать свою повязку левой рукой. Дежуривший около него врач отвел его руку и услышал его бормотанье:

— Э-э, боже мой, какой вздор... пустяки какие!

Умиравший, конечно, ничем иным, как только вздором и пустяками, не мог бы и назвать все эти заботы и попечения о нем, умирающем.

К полудню Гюббенет придумал еще одно средство: обливание головы умирающего из чайника с некоторой высоты, чтобы вода действовала не только своим холодом, но еще и силой падения.

Нового в этом средстве не было, впрочем, ничего: это был прием лечения, применяемый в сумасшедших домах того времени и увековеченный Гоголем.

И вот, подействовало ли это сильное средство, приводившее в ужас даже и титулярного советника Поприщина, или Нахимов вспомнил вдруг, что он — именинник и должен встать и принимать гостей, но он вдруг, неожиданно для всех его окружающих, поднялся на своей койке и сел.

Однако не только сел, он еще и показывал рукой на шею, чтобы ему дали галстук, на плечи — чтобы дали его сюртук с эполетами; он, казалось, решил стать прежним Нахимовым, — показать этим всем около него, что ничего не случилось, что напрасно совали ему свои пальцы в череп и делали какие-то там повязки и примочки.

Но оживление это продолжалось недолго. Он лег снова и теперь уже больше на правый бок, чем на спину, и закрыл глаза.

Приехал Горчаков с генералом Коцебу, — один длинный и тощий, другой маленький и круглый, первый очень взволнованный, второй спокойный, по обязанности начальника главного штаба. Как раз во время их появления в барак один из военных медиков из большого фаянсового чайника тонкой струей лил на голову полумертвеца холодную воду. От этого средства подушка была мокрой, рубашка мокрой, и на бледном лице всюду блестели капли.

— Павел Степанович! — громко сказал Горчаков, наклоняясь над койкой.

Нахимов не открыл глаз.

— Павел Степанович!.. Голубчик вы мой! — дрогнувшим голосом попытался еще раз обратиться к умирающему адмиралу главнокомандующий, но адмирал не слышал, не понял, не открыл глаз.

И Горчаков зарыдал вдруг... Положив одну руку на круглые плечи своего маленького Коцебу, а другую закрыв лицо, он рыдал, глухо всхлипывая, и голова его тряслась, и вздрагивала узкая спина, — рыдал, разрешенно: умирал не кто-нибудь, а коренной, незаменимый руководитель обороны Севастополя, этого «несчастливого города», который, может быть, готовит и ему самому гибель, а между тем бросить его нельзя, — не велит долг, не велит Россия...

А в это время усердный дежурный медик все лил и лил холодную воду на голову умиравшего, стараясь, чтобы тот хотя бы поглядел на рыдающего князя. И он добился, наконец, успеха: Нахимов открыл оба глаза и остановил их на главнокомандующем.

— Вот! Глянит, ваше сиятельство! — обрадовано сказал медик.

Горчаков поспешно вытер глаза платком и наклонился к мокрой белокурой голове на мокрой подушке.

— Павел Степаныч! А, Павел Степаныч!.. Вы меня узнаете?

Нахимов глядел прямо в очки Горчакова, глядел довольно долго, несколько минут, однако в глазах его нельзя было прочесть никакой мысли.

— Вам не холодно ли?—нагнулся над ним и Гюббенет и приложил ухо к его губам, но губы не пошевелились.

Горчаков так и вышел из барака с заплаканным лицом. Не оставалось никаких надежд. Если и можно было о чем-нибудь говорить, то только о похоронах Нахимова и прежде всего о склепе, в котором все три места были уже заняты гробами трех адмиралов: Лазарева, Корнилова, Истомина, так что приходилось расширять склеп для нового гроба...

Художник-любитель был направлен капитаном Бутаковым «снять очерк лица» того, кто не позволял этого делать художникам, когда был здоров, деятелен и на вершине славы, как это было после Синопского боя; и вот под беспристрастный карандаш попали: бледное, осунувшееся, безжизненное лицо с закрытыми глазами, на котором бойко блестели только здесь и там остановившиеся во впадинах капли воды, и белела мокрая повязка, скрывшая голову.

Только из-за угла, воровским образом, удалось как-то Тимму бегло зарисовать Нахимова, стоящего на бастиионе, зарисовать в профиль и, может быть, больше на память, чем с натуры: и этот тиммовский рисунок только и остался потомству отдаленно напоминать о герое.

А герой угасал на глазах врачей госпиталя и тех, кто имел время и возможность приехать на Северную на него взглянуть, благо день считался праздничным.

Врачи то поливали ему голову водой, то мели на ней повязку, то щупали пульс, то считали, сколько дыханий делает он в минуту, но сами видели, что это только одна «отписка», что жизнь уходит из тела через отверстие в черепае и что нет в медицине средств задержать ее.

В одиннадцать утра тридцатого июня часовой, стоявший перед бараком, чтобы не допускать около езды, способной обеспокоить раненого, был снят. Теперь уже ничто больше не могло его обеспокоить: сердце Нахимова перестало биться.

6

Только в три часа перевезли тело Нахимова через рейд в город, в тот дом около Графской пристани, в котором он жил постоянно: он доказал все-таки Сакену, что перебираться в безопасные Николаевские казармы ему было действительно не нужно,—смерть дожидалась его не в городе, а на боевом посту.

Весь Севастополь уже знал о кончине Павла

Степановича. Штатских людей оставалось теперь уже немного, однако они были очень заметны в густой толпе, собравшейся около Графской встретить траурный баркас, шедший на буксире парового катера.

Волновалось море, покрытое беляками; сильное волнение было даже и на рейде.

Панфилов, который был назначен на место покойного командиром порта и помощником начальника гарнизона, сам с тремя капитанами 1-го ранга принял с баркаса гроб с телом и перенес в дом.

Там покрыли тело пробитым под Синопом в нескольких местах ядрами флагом с «Императрицы Марии» и открыли двери для желающих проститься с адмиралом, а этих последних было так много, что они заняли всю площадь, и с каждой минутой подходили новые—командами и одиночным порядком.

Одни только матросы, построившись в две шеренги и входя в дом сразу по-двое, прощались больше часу... Много сошлось женщин, хотя покойный и высылал их всеми способами из осажденного города во избежание напрасных смертей и увечий, и много было пролито слез около тела, сурово покрытого боевым флагом.

Но плакали не одни только женщины—сестры милосердия, солдатки и матроски с Корабельной, торговки, прачки, жены и дочери офицеров... Мокрые глаза были и у матросов и солдат, у офицеров и генералов, и снова расплакался Горчаков, когда приехал на церемонию похорон.

Об умершем ли герое плакали?.. Может быть, только о человеке, который сумел сохранить душевную теплоту, несмотря на свой чин и положение во флоте и в осажденном городе, несмотря на всю обстановку осады с каждодневными канонадами и частыми боями, обстановку, при которой неизбежно черствеет сердце, ожесточается душа.

Недаром месяца четыре спустя, когда Петербург встречал приехавшего на отдых Тотлебена, неизвестный поэт того времени, Аполлон Майков, в стихах, посвященных ему, не мог не вспомнить и о Нахимове:

Нахимов подвиг молодецкий
Свершил, как труженик-солдат,
Не зная сам душою детской,
Как был он прост, велик и свят!

Хоронили на другой день вечером.

Полевая батарея—шесть орудий в упряжках,—стала на площади; два батальона—матросы с одной стороны, солдаты с другой—выстроились шпалерами от дома к Михайловскому собору. Народ толпился на бульваре Казарского, на лестнице библиотеки, на всех высоких местах кругом. Такого стечения народа не видал Севастополь ни раньше, ни после. Эти похороны были исключительны и потому, что неприятель прекратил

обычную пальбу, хотя не мог не видеть огромных толп на площади и прилегающих улицах.

Пошел гулять даже кем-то пущенный слух, будто суда противника скрестили реи и спустили флаги—дань уважения умершему герою Синопа, и минуты были так торжественно-скорбны, что всем хотелось этому верить.

Гроб, обвитый тремя флагами,—контр-адмиральским, вице-адмиральским и адмиральским,—вышел из дома осиротевшие адъютанты и понесли в собор, а оттуда, после отпевания, в новый склеп рядом со старым.

Прощально загремели пушки, раздались залпы тысячи ружей, каменщики спешно заделывали склеп... И только когда уже начало темнеть и успели разойтись толпы вслед за уходившими батальонами матросов и солдат, в город полетели ракеты одна за другой. Досужие люди насчитали их ровно шестьдесят штук. Они были очень красивые в своем полете на фоне ночного неба, но стоили дорого, мало принося вреда.

Они внесли даже свою долю скорбной торжественности в этот вечер 1/13 июля: они были как погребальные факелы, зажженные врагами в честь русского народного героя.

Суровые, правда, факелы, но и знаменитый адмирал, уничтоживший без остатка турецкий флот, скрывавшийся в Синопской бухте, не мыслится ими иначе, как человек весьма суровый.

Он и был действительно суров и в море, и на суше, несмотря на всю свою доброту, чуть только дело касалось чисто военной работы команд, но потому-то и была так чиста, потому-то и изумила мир военная работа «детей» Нахимова на море, как и на суше, на севастопольских бастионах.

Конечно, куда пышнее было всего за несколько дней до похорон Нахимова шествие с прахом лорда Раглана от дома главного штаба английской армии до Камышевой бухты, где гроб был погружен на судно для отправки его в Англию.

Восемь пар лошадей в черных пополах везли катафалк с гробом, а около каждого угла катафалка ехали главнокомандующие союзных армий: спереди Пелисье и генерал-лейтенант Симпсон, старший из английских генералов, сзади Омёр-паша и Ламармора, и каждый главнокомандующий окружил себя своим штабом в блестящих парадных мундирах.

Парадные мундиры разнообразнейших цветов и покроев, украшенные золотым и серебряным шитьем и орденами, прекрасные кони, великолепные седла; английские сначала, а потом, ближе к Камышу, французские войска, выстроенные по обеим сторонам дороги; национальный английский флаг, покрывающий гроб, национальный английский гимн, исполняемый оркестрами,—все это пышное и показное было представлено во всей полноте,

но не было простых и теплых слез над гробом этого неудачливого «завоевателя Крыма» в угоду банкирам Сити.

Потерявший руку под Ватерлоо, а жизнь под Севастополем, Раглан должен был, по распределению подвигов среди союзных полководцев, взять у защитников крепости всего только один третий бастион—Большой редант, но так и умер, не осилив этой задачи, и английскую армию, бывшую под его начальством, перестали уважать даже и союзники англичан французы; презрительнее относились они только к туркам.

Когда Камыш наводнили парижские гризетки и за одной из них принялся усиленно ухаживать один богатый лорд в немалом чине, эта гризетка сделалась однажды героиней дня в лагере французов. Она, насквозь продажная, швырнула лорду в его холеную сытую физиономию всученный было ей кошелек с золотом и патетически сказала при этом во всеуслышание:

— Я для вас так же неприступна, как русский Большой редант!

Французские офицеры за этот ответ носили ее на руках и засыпали деньгами. Таково было сердечное согласие—*entente cordiale*—двух сильнейших европейских наций в этой войне.

ГЛАВА ШЕСТАЯ У ИНТЕРВЕНТОВ И У НАС

1

Любое живое тело, получив чувствительный удар в борьбе, озадаченно пятится, сокращается, сжимается, старается зажать рану или ушиб, и только спустя время, если противник не нападает сам, начинает думать над способом нападения.

Когда сорвался штурм 6/18 июня, интервенты признали, что он был недостаточно подготовлен, что повторять его в ближайшее время с надеждой на успех значит просто лезть на рожон, что нужно проделать еще много неотложного, прежде чем отважиться на новый штурм.

К числу этих неотложных мер была отнесена заместителем Раглана, генералом Симпсоном, прокладка железной дороги из Балаклавы к правого-фланговым позициям англичан на Сапун-горе.

Земляные работы для этой цели были начаты, правда, гораздо раньше, при Раглане, но приостановлены, так как по общему убеждению, царившему перед штурмом во французском главном штабе, могли бы оказаться совершенно лишними.

Теперь англичане деятельно взялись за укладку шпал и рельсов: первая в Крыму железная дорога начала возникать, чтобы принять на себя извест-

ую долю усилий, направленных к овладению русской Троей.

Но заботы об устройстве своих подъездных путей само собой связались в сознании главного командования союзной армии с мыслью о том, чтобы нанести ощутительный вред подъездным путям противника в наиболее доступном для этого месте. Таким легко уязвимым местом казался издаль, с Херсонесского полуострова, Чонгарский мост через Сиваш.

По Чонгарскому мосту, действительно, один за другим шли обозы в Крым, подвозя многое необходимое для русских войск,—провизию, фураж, боевые припасы. Поэтому флотилия союзников, прорвавшаяся в Азовское море, получила во второй половине июня приказ разгромить Геническ и высадить десант к Чонгару.

И вот переживший уже бомбардировку в мае, маленький Геническ снова увидел перед собой, в одно из двадцатых чисел июня, несколько судов союзной эскадры.

Если бы эти суда ничем не угрожали городу, они представили бы из себя красивое зрелище. Среди них были и паровые колесные, и винтовые, и парусные. Они стали полукругом километрах в десяти от города, заняв все пространство между материком и островом Бирючьим, на котором тогда было несколько мелких рыбацких хуторков. Близко к городу подошли три канонерки, снабженные большими бомбическими орудиями, и началась неторопливая расчетливая канонада.

Снаряды направлялись в лучшие на вид строения города, а к этим лучшим относились, между прочим, и здания соляного ведомства, с которым имели дело чумаки, вывозившие отсюда на Украину огромное количество соли. Чумацкие обозы, грузившие соль, заполняли Геническ и теперь; в эти обозы также направлялись выстрелы с канонеров, отчего много подвод было разбито, а иные загорелись и пылали, как и дома в разных концах города.

Чуть только собирались толпы народа, чтобы тушить пожары, в них летели ядра и ракеты, поэтому Лобанов-Ростовский, попрежнему руководивший защитой если не города, то пролива, ведущего в Сиваш, распорядился, чтобы пожаров не тушили.

Затопленные в проливе в мае суда пока еще горчали над водой мачтами, давая знать союзникам, что их еще не засосало илом, что они стерегут вход в залив. Кроме того, в заливе стояло пять баркасов с солдатами, но отвечать противнику артиллерийским огнем Геническ не мог, не имея пушек.

Пальба по городу, начавшись в полдень, продолжалась до темноты, когда со всей поспешностью, на которую были способны волны и чумаки-украинцы, обозы с солью потянулись в степь,

скрипя немазанными колесами, и этот ночной скрип не уступал по силе звука дневной канонаде. Жители тоже выбрались из своих домишек подальше в степь и расположились там табором выжидать дальнейших событий.

Однако события эти развивались медленно. Несколько дней простояла перед Геническом эскадра, то уменьшаясь, то увеличиваясь в числе вымпелов, и каждый день открывали пальбу по городу канонерские лодки. Несколько раз ялики с десантными отрядами подходили к проливу, но, встречаемые ружейными залпами, теряли много людей и уходили поспешно.

Геническ пострадал сильно за эти несколько дней; Геническая слобода была сожжена почти наполовину; уничтожены были рыбацкие хуторки на острове Бирючьем; но все-таки три паровых брацера с десантом напрасно простояли в отдалении, дожидаясь возможности придвинуться к проливу: командовавший эскадрой адмирал решил, что защита подступов к Сивашу и Чонгару крепка, что десантный отряд будет неминуемо истреблен без всякой пользы для дела, и в конце июня снял блокаду и отошел.

Продолжая крейсировать в виду берегов, он послал в начале июля одну канонерку обстрелять Таганрог, но тут ожидала его полная неудача.

Стреляя целый день из бомбического орудия, правда с большими промежутками, вследствие тщательного выбора целей, канонерка к ночи отошла к Кривой косе, но сделала это без всякого соблюдения осторожности и села на мель метрах в девяноста от берега.

Сотня семидесятого полка Донского казачьего войска пришла в понятное ликование, увидя такой конфуз иноземных мореплавателей, только что громивших их город. Державшиеся до этого вдали казаки прискакали теперь к самому берегу, спрятали лошадей за буграми, подобрались на ружейный выстрел и открыли оживленную стрельбу по матросам.

Матросы ответили на это картечью из двух медных пушек, но сильный восточный ветер пришел на помощь казакам: он накренил канонерку,—стрельба из пушек стала невозможна, а казаки пули жужжали не без толку,—то там, то здесь сваливались матросы.

На выстрелы к сотне из резерва примчалось еще две сотни этого же полка с командиром его Демьяновым, а в это время экипаж канонерки спустил уже шлюпки, так как сдвинуться с мели своими силами не мог и только нес потерю от огня казаков.

— Бегут, братцы, бегут!—кричали казаки.

— Задает лататы!

— Перейдем!

— Как перейдем?

— Видал, флаги тилипаются?

— Ну, так что же?

— Да это ж у них считается все одно, что знамя!

— Неужто оставят так?

— Оставили же! Возьми глаза в лапы!

— Айда, ребята, за флагами!

И вот человек двадцать казаков, раздевшись проворно, поплыли в одних рубашках и spodниках, наперерез волне, за флагами, действительно брошенными впопыхах под роем казачьих пуль английскими матросами.

Между тем подходил пароход спасать канонерку. На ходу он посылал в пловцов ядро за ядром. Казаки ныряли, но плыли, гогоча, как гуси, а с берега поощрительно кричали им и стреляли в отплывающие шляпки.

Подойти ближе большой пароход не мог,— море тут было очень мелко. Казаки доплыли и стали хозяйничать на канонерке.

Это было трехмачтовое судно в сорок метров длиною. Оба флага, большой и малый, сняли казаки, торжествуя.

— Это ж те же знамена, братцы!

— А ты думал—ряднина?

— А пушки?

— Пушки бы тоже снять!

— Считается военная добыча, как же можно оставить!

— А куды ж их снять?

— Авось, подойдут наши лодки сюды...

— Одна дюже велика,—с места не сдвинем.

— Эта останется, а медные съедем.

В наступившей темноте подобрались к канонерке баркасы. Казаки сволокли на них две медные пушки, обшарили все каюты и палубу и спешно нагружали свои баркасы английским добром, не брезгуя ничем, что можно было перетаскать с палубы на баркасы: койки, столы, стулья, посуду, ящики и мешки с провиантом, снаряды, порох, клетку с курами, две пары телят... и когда оказалось, что перетаскивать больше уж нечего, осталась одна недвижность,—облили палубу маслом и подожгли.

И целую ночь любовались таганрожцы пожаром на море. Подобный пожар всегда бывает красив, особенно же в том случае, если горит тот самый корабль, который незадолго перед тем, неуязвимый сам, посылал со своих бортов бомбу за бомбой.

Сгорела палуба, сгорели мачты, но утром казаки стали жалеть, что не сняли все-таки большого орудия и не вытащили машины. Пожар же прекратился сам собою, когда огонь дошел до подводной части.

Подвели снова на заре баркасы свои к канонерке, однако не удалось снять и в этот раз ни орудия, ни машины. Волна закидала внутренность судна песком; от тяжести оно погрузилось глуб-

же,—пришлось оставить мысль попользоваться чем-нибудь еще. Зато оба флага и обе медные пушки в тот же день торжественно были отправлены в Новочеркасск, столицу области Войска Донского: казаки не пожелали уступить кому-нибудь свои трофеи.

2

Обеспокоенный за целостность Чонгарского моста, Горчаков придвинул к нему большой охранительный отряд, но на крупные действия как здесь, так и вообще в Приазовье, интервенты все-таки не решались.

Укрепившись еще более после смерти лорда Раглана в положении первого среди равных—главнокомандующих союзных армий,—маршал Пелисье не хотел распылять силы, пока не был еще взят Севастополь. Человек весьма самолюбивый, он получил слишком чувствительный шелчок от своего императора для того, чтобы думать о чем-нибудь ином, кроме прямой задачи войны—взятия города и уничтожения остатков русского флота.

Все причины неудачи провалившегося так позорно июньского штурма были им учтены, африканский пыл его укротился, он пришел к решению действовать хотя и медленно, но вернее, отложив новый общий штурм крепости, а точнее—укрепленного лагеря, чем в сущности был Севастополь,—на неопределенное будущее, когда накопится для этого достаточно возможностей, сил и средств.

Инженер-генерал французской армии Ниэль получил, вопреки желанию Пелисье, большой вес и значение. Он не только энергично опроверг все доводы английского инженер-генерала Джонса, совершенно спасовавшего перед твердынями третьего бастиона, но его план постепенного, методического приближения к русским веркам путем траншей был вполне одобрен на совете главнокомандующих.

Он требовал также огромного числа новых орудий, и орудия были доставлены: частью они подвозились морем, частью просто снимались с военных судов.

К концу июня несколько батарей установлены были на высоком берегу Килен-балки, чтобы русским пароходам невозможно уж было подходить к Килен-бухте, как это было в день штурма, когда смели они своим огнем четверть дивизии Мейрана.

Но кроме этих, киленбалочных, устроено было еще девятнадцать новых батарей, из них только две французских обстреливали Городскую сторону, все же остальные—двенадцать французских и пять английских—начали действовать против Корабельной, давая понять даже и непосвященным в тайны

осады крепости, что именно сюда направлены все стремления осаждающих.

Пуля, поразившая Нахимова, была пущена в него с расстояния всего только ста сажен,—так успели уже в конце июня подвинуться к Малахову кургану французы. От второго бастиона они были в расстоянии полутора сажен, от первого—в полумерсте. Настойчивость и энергия, с какою двигались французы к Малахову, долбя под непрерывным огнем тугую каменистую почву кирками и мотыгами, тоже была показательной.

Тот холм, который назывался у русских сначала Кривою Пяткой, потом Камчаткой, а у французов—Зеленым Холмом, теперь был покрыт батареями: шесть батарей поместилось на нем, и все они были направлены на Малахов.

Неприятельский флот, выстроившийся полукругом перед входом на Большой рейд, бездействовал, но на судах установлены были оптические сигналы. С марсов этих судов вахтенные наблюдали в сильные морские трубы передвижения русских войск как в городе, так и в тылу укреплений Корабельной. Оптический телеграф передавал сведения о скоплениях войск на осадные батареи, и те открывали вдруг неожиданно сильный сосредоточенный огонь, наносивший большие потери.

Обычно же батареи союзников днем направляли артиллерийскую стрельбу против тех участков севастопольских укреплений, к которым ночью они желали продвинуть ближе свои траншеи. Ружейная же перестрелка ежедневно была жаркой: не меньше, как по пятнадцати тысяч пуль выпускали штурцерные с каждой стороны в день. Ракетные же станки интервентов посылали как зажигательные, так и взрывчатые ракеты не только на Северную, но и в лагерь войск на Инкерманских высотах.

Несколько больших судов, праздно стоявших на рейде, получили повреждения от огня французских килебалочных батарей; два пороховых погреба были взорваны; то там, то здесь вдруг начинались в городе пожары, но прекращались сами собой; разбит был как раз во время воскресной обедни купол Михайловского собора...

Однако не оставались в долгу и русские батареи. Конец июня и начало июля по старому стилю было временем наибольшего порохового богатства, так что на тысячу выстрелов в день со стороны интервентов русские батареи отвечали ятью тысячами, причем командиры соседних батарей, даже не получая на то приказа начальства, действовали сообща по какой-нибудь одной атаке противника и, уничтожив ее до основания, еренили огонь на другую.

Земляные работы, между тем, шли на укреплениях так, что вызывали удивление интервентов. от что писал об этом один из офицеров французской армии:

«Русские делают чудеса,—мы должны сознаться в этом открыто и громко. Они работают с искусством и быстротою, похожими на волшебство. Сильные жары не позволяют ни нам, ни неприятелю много работать днем, но—можете приять это в буквальном смысле—не проходит почти ни одного утра, в которое, глядя на Севастополь, мы не открыли бы нового окопа или чего-нибудь подобного. Всего хуже для нас, что эти новые верки очень часто имеют влияние на наши работы, и принуждают нас к переменам, отнимающим у нас время. Поэтому не верьте, когда назначают вам для штурма то тот, то другой день. Думаю, что даже наши вожди затруднились бы сказать об этом что-нибудь определенное».

Севастопольская кампания была прежде всего делом исполнских трудов русского народа, одетого в серые шинели. Количество земли, вырытой и переброшенной с места на место солдатами, совершенно не поддается учету. Сплошной, притом двойной вал тянулся на десять километров и потому был замечен; но все эти бесчисленные траншеи, эполементы, ложементы, блиндажи, пороховые погреба, минные колодцы и галереи и множество других менее заметных работ, притом возобновляемых то здесь, то там каждую ночь,—одним этим совершенно баснословным трудом может долгие, долгие годы еще гордиться русский человек, как примером, оставленным дедами в урок внукам!

К половине июля морское ведомство Севастополя подвело итоги своим расходам в материальной части, и оказалось, что с начала осады было поставлено на батареях тысяча триста пятьдесят четыре орудия, снятых с судов флота, и восемьсот семьдесят семь орудий, взятых из арсенала... С первого дня октябрьской бомбардировки и до половины июля одним только морским ведомством израсходовано было до шестисот тысяч снарядов,—а сколько же израсходовало за это время ведомство сухопутное?

Нет, Севастополь дал понять Европе, как способен защищать свои рубежи русский народ! И первой западной державой, которая учла это, была Австрия: вместо того чтобы пристать к Франции и Англии в надежде на будущий дележ русских земель, она приступила к демобилизации армии, приготовленной было к вторжению в русские пределы со стороны Дуная.

Эта ретирада Австрии оживила даже и полумертвого фельдмаршала Паскевича, который счел нужным поздравить царя Александра как с «блистательно отбитым штурмом 6 июня», так и «с оборотом дел в Австрию».

Однако военные заводы Франции и Англии работали, выполняя выгодные заказы своих правительств; коммерческий флот нейтральных государств Европы был всецело к услугам интервен-

тов; горы снарядов, видные даже иногда невооруженным глазом, скоплялись около батарей союзников как новоустроенных, так и старых.

В то время как защитники Севастополя смогли прибавить на свои укрепления только сорок новых орудий, из которых всего четырнадцать пришлось на долю Корабельной, интервенты противопоставляли им сто тридцать новых мортир, большая часть которых была направлена именно против Корабельной.

Всего на осадных батареях к середине июля было уже двести пять мортир, а на всех укреплениях Севастополя только тридцать, между тем как мортиры-то именно и решали судьбу укреплений и гарнизона. Но кроме введенных уже в действие, интервенты имели в запасе двести пятьдесят этих широкогорлых чудовищ и ожидали скорого получения еще четырехсот.

Между тем в противовес этим мортирам из арсенала Севастополя извлекались на свет божий такие старушки, которым стоять бы в музеях, а не глядеть бы в амбразуры. И если к последним дням июля доставлено было в Севастополь вместе с сорока тысячами пудов пороха еще и сто тысяч снарядов, то снаряды эти были не для орудий больших калибров, поэтому двухпудовые мортиры вынуждены были стоять без дела.

К новой бомбардировке и к новому общему штурму крепости союзники готовились теперь гораздо более тщательно, чем прежде. Теперь они были уже ближе к поставленной им задаче—выместить Севастополь чугом.

3

Теперь они были гораздо ближе и к русским веркам, чем когда-либо раньше. Почти по всей линии укреплений траншеи противника подходили на восемьдесят сажен, а местами и меньше того.

Поэтому очень большое число пуль из ежедневных пятнадцати тысяч проникало в город и реяло по всем его улицам, отыскивая, в кого бы впиться. Они влетали в дома, большая часть которых была с проломанными стенами, с разбитыми крышами,—так было к концу июля.

Батареи, установленные на бывших «Трех отроках», были теперь по городу, и если не целиком, то наполовину улицы были уже вымощены не ядрами даже, как в начале осады, а осколками разорвавшихся бомб и бомбами, которым не удалось разорваться.

Ночные вылазки гарнизона, как малые, так и большие, стали обычны до того, что по несколько раз в ночь производили их одни и те же команды охотников. Матрос Кошка, вернувшийся на третий бастион с корабля «Ягудилл», перестал уже и считать, во скольких вылазках пришлось ему

участвовать, а удачливость его оказалась феноменальной. И хотя в одном из приказов по гарнизону граф Сакен требовал, чтобы «люди при отступлении по окончании вылазки не увлекались желанием принести какие-либо ничтожные трофеи, так как они не стоят жизни и одного храброго»,—Кошка иначе и не смотрел на вылазку, как на возможность притащить неприятельский штуцер, а иногда два: штуцеры эти потом покупали у него офицеры.

К концу июля город был уже покинут теми, кто долго и упорно ютился в нем, надеясь кто на милость божью, кто на русское авось. Одними из последних покинули свой домишко на Малой Офицерской Зарубины.

Точнее, начал их покидать он: большой осколок снаряда сделал в стене зияющую брешь, а в комнате разрушил этажерку и книжный шкаф. По счастью, никого в это время не было дома.

Иван Ильич, когда Оля подала ему осколок, горестно покачал головой и сказал:

— Ну, значит конец... Конец, и надо... надо нам всем... отправляться!..

Осколок же он, как привычный к орудиям моряк, положил на уцелевший пока стол, обвел карандашом его выпуклость, потом приказал Оле привязать к карандашу штку и этим простым прибором вычертил окружность снаряда.

После этого он сказал Оле:

— Вот какими, а, вот какими начали по нас лупить!.. Пятипудовыми!.. Я так и думал... это... это—пятипудовый голубчик!

Осколок был тяжелый,—Оля едва подняла его с полу. «Пятипудовый» был в ее представлении только мешок муки; снаряд, величиною с мешок муки, показался ей очень огромен, а дом их стал казаться вдруг тоненьким, маленьким, чуть не карточным, и она согласилась с отцом:

— Значит, совсем уходить нам надо.

Уходить на время, хотя бы и на две недели, это уж стало для нее привычным, но уйти совсем—это в первый раз почувствовала она, как явную необходимость.

Арсентий,—другой военный человек в доме,—увидя дыру в стене, изувеченную мебель и рассыпанные по полу книги, которых никто не подбирал, решил спокойно:

— Добирается до нас! Стало быть, крышка... Пожили, и будет.

А Капитолина Петровна, всплеснув руками было, тут же опустила их и начала собираться, все слова при таких обстоятельствах считая уже лишними, только зря отнимающими время.

Для нее этот осколок большой бомбы был просто последним толчком; она уже не один раз говорила, что больше никому, даже хотя бы и семействам офицеров, не позволено жить в Севастополе,—был такой приказ начальника гарни-

зона,—а если их еще не хватают и не отправляют по этапу, то просто никому уж теперь не до них.

Николаевские казармы, хотя и очень обширные, были уже теперь набиты доотказа. Кроме самого Сакена, который устроил около себя не только свой штаб, но и человек двенадцать иеромонахов из Георгиевского монастыря, занятого теперь французами, там помещался и госпиталь, жили сестры милосердия и врачи, а для нужд большого населения этого здания, занимавшего полверсты в длину, тут было даже и несколько лавок, торговавших всем необходимым. Однако в последнее время и лавки эти приказано было очистить, так как довольно нашлось и учреждений и генералов, захотевших поселиться в этом месте, пока еще безопасном от обстрела.

Ввиду обилия генералов в Николаевских казармах Семякин, хотя и потерявший в сражении под Балаклавой слух, но не лишенный остроумия, назвал это здание «депо генералов».

Отсиживаться в «депо генералов» можно было раньше, думая о своем временно брошенном доме, как-то там,—не растаскали бы там всего... Беспокойство о целостности дома и домашнего и было последней, достаточно крепкой все-таки связью со всем долготелым прошлым.

Осколок пятипудовой бомбы властно и грубо порвал эту связь.

— А если бы... если бы она такая... вся-то здесь бы, а?.. Здесь бы вдруг и лопнула, а?..—бормотал, обводя около себя рукой, Иван Ильич и высовывал голову в брешь, нища глазами воронку, вырытую бомбой.

Кругого и резкого перелома в жизни все-таки не было у Зарубиных, когда они оставляли свой дом, еще и потому, что ни Витя, ни Варя уже не жили в нем. Варя через несколько дней после свадьбы устроилась на работу в госпитале, расположившемся на свежем воздухе, в землянках и палатках, между Северной стороной и Бельбеком, а вместе с нею нашла себе там работу и Елизавета Михайловна. Арсентий же служил живую связью между Дмитрием Дмитриевичем и ею, но вместе с тем он успел уже, хоть и за короткий срок, прирасти к семье Зарубиных, плотно войдя во все их поневоле несложные уж теперь интересы.

Неоценимым свойством его оказалось то, что он был решителен,—просто задумываться долго над чем бы то ни было не в его было натуре.

И теперь, когда Оля обратилась к нему с готовыми слезами в глазах:

— Куда же нам теперь, дядя Арсентий?—он без малейшего промедления ответил:

— На Северную, куда же еще!

— Хорошо, на Северную,—а что же там, гостиница, что ли, понастроили?—недовольно сказала Капитолина Петровна.

— Гостиница не гостиница, а что касается земли, на всех хватит,—уверенно отозвался Арсентий.—Генералы там, я видел, в землянках живут, а у меня, что же, рук, что ли ча, нет, землянку обжечь? В лучшем виде я это сделать могу.

— Землянку?.. Покамест ту землянку объегоришь,—начала было Капитолина Петровна, но Арсентий перебил ее деловито:

— Диви бы зима на дворе, барыня! Цыгане, небось, весь свой век проживают на прохладе, неужто уж вы каких дня три не проживете? А там же и базар—вот он, и все, что требуется, не как здесь, и пульки, само собой, не летают...

— И до Вари недалеко будет ходить,—закончила за него Оля,—и до Лизаветы Михайловны тоже, да, мама?

У нее прибавилось личного хозяйства: несмотря на все бедствия осады, ее Машка произвела на свет четверых котят: черного, пестрого и двух белых с черными хвостиками. Корзину со всей этой живностью несла Оля, когда направлялись они все к Графской пристани, надолго теперь уже покинув родной дом на Малой Офицерской.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ БАСТИОНЫ В ИЮЛЕ

1

Когда начальник одного из второстепенных бастионов капитан 2-го ранга Гувениус еще в начале января встревоженно доложил Нахимову, что англичане заложили новую батарею с очевидной целью обстреливать тыл его бастиона, адмирал обратил внимание только на выражение лица этого штаб-офицера, на разлитую в нем тревогу не столько за бастион свой, сколько за себя самого, за свою личную безопасность.

Он положил руку ему на плечо и сказал по-своему, коротко, но значительно:

— Не беспокойтесь, господин Гувениус, мы все здесь останемся!

Эти немногие слова значили очень много.

Конечно, он мог бы ответить командиру бастиона, что будут приняты меры к тому, чтобы в скорейшее время противопоставить новой английской свою новую батарею, и что тыл бастиона не останется без защиты. Но вместо этого, что разумелось само собою, Нахимов предпочел сказать другое, гораздо более существенное и важное: мы все здесь останемся!..—И сам он, действительно, остался.

Не всякому человеку дано в необходимый для этого момент отрешиться от себя самого сразу, без колебания, а в Севастополе, с приближением к нему неприятельских траншей и батарей, вся

жизнь складывалась из одних только этих необходимых моментов.

Потеряла ли цену жизнь каждого из защитников крепости? Нет, совершенно напротив, она приобрела огромную цену, почему все и стремились, если и потерять ее, то только там, на оборонительной линии, где стояли они лицом к лицу с напавшей на Россию Европой.

В этом стремлении не было ни позы, ни красивой фразы,—просто таков был воздух Севастополя, которым дышали все.

Есть известный прием цирковых борцов—зажим головы противника рукою; конечно, рука для этого приема должна быть большой силы, так как шею борцов воловьей.

Приплывшая на несчетных кораблях к берегам Крыма Европа не пошла в глубь страны, как неосторожно сделал это некогда Наполеон I; она прибегла именно к этому приему—зажиму головы, признав, и вполне основательно, конечно, одною из голов многоглавой России припавший к Черному морю Севастополь, стража всего юга страны.

Цирковые борцы знают, что зажим головы,—бра руле,—очень серьезный прием. Все тело борца, попавшегося на этот прием, напрягается, чтобы вырваться из дюжего объятия, к месту захвата идут силы ближайших, близких и дальних мышц... Так к Севастополю шли дивизии действующей армии, шли резервные батальоны, начало двигаться ополчение, а также направлялись туда и боевые припасы, скопленные для защиты юго-западных границ в таких крепостях, как Измаил, Бендеры и другие.

И защитники Севастополя, только ли нутром, или отдавая себе в этом полный отчет, чувствовали всю важность того, что они призваны были делать, и знаменитое нахимовское: «Мы все здесь останемся,—не беспокойтесь!»—звучало ничуть не зловеще и не только никого не пугало,—напротив, создавало общий переплеск жизни, необходимый там, где ты не знаешь, суждено ли тебе дожить до вечера, или в обед уже станешь ты трупом.

Этот переплеск, избыток жизни притекал к каждому извне, от общей напряженности и бодрости кругом. Уставали смертельно, но зато и спали мертвецки, а к канонаде привыкли так, что она не будила,—разве уж начнется вдруг какой-нибудь необычайной силы, так что подбросит на месте и встряхнет во всех суставах...

После штурма 6/18 июня союзники решили придвигаться к оборонительной линии Севастополя хотя и медленно, но более расчетливо, не по земле, а в земле; но эта замедленная поступь врагов дала возможность и защитникам крепости поглубже и попрочнее вкопаться в землю. И в июле полуразрушенный каменный город почти опустел, а опоясавший его земляной расширился, вырос, окреп.

Каждый большой бастион стал представлять буквально лабиринт, в котором свежий человек разобраться ни за что бы не мог. Длинные запутанные цепи блиндажей, пороховых погребов, соединительных траншей во всех направлениях перекрестили площадки бастионов.

Чтобы представить достаточное сопротивление разрывным снарядам тринадцатидюймовых орудий, блиндажи имели накатник из толстых бревен, уложенных в три ряда и покрытых двухметровым слоем старательно утрамбованной земли. В таких блиндажах, в офицерских отделениях, стены обшивались досками, доски же обивались парусиной или оклеивались обоями. Этим особенно щеголяли блиндажи третьего бастиона; но зато на шестом бастионе в одном из блиндажей стояло фортепиано.

Шестой бастион был музыкальный: там часто давались концерты, причем скрипачи и кларнетисты-офицеры приходили с соседних пятого и четвертого бастионов. Был и один флейтист, нежно влюбленный в свой меланхолический инструмент.

Но большей частью в блиндажах распивали бесконечный чай, для чего то и дело ставились денщиками у дверей самовары; играли в карты и шахматы, пели хором песни, наконец, прибегали и к «склянкам»: этим морским термином пехотинцы и артиллеристы называли бутылки вина и, выходя ночью из разных блиндажей подышать свежим воздухом, осведомлялись друг у друга:

— А что, у вас какая теперь склянка?..

Вопрос этот относился совсем не ко времени; время ночью измерялось не часами, а только возможностями штурма, так как повторения штурма, притом внезапного, ждали в июле каждую ночь, и ночью обыкновенно никто не ложился спать.

Мало того, что секреты и цепи стрелков впереди бастионов служили им глазами и ушами,—прикрытия из солдат-пехотинцев тоже простаивали ночи напролет на банкетах, артиллеристы же дежурили около своих орудий, заряженных картечью.

Блиндажи для солдат, конечно, не имели фортепиано, и стены их не оклеивались обоями; это были обширные подземные казармы, куда проникало мало дневного света сквозь узенькие отверстия в дверях и в стенке, но еще меньше, пожалуй, свежего воздуха. Однако днем отсыпалось в этих казармах по несколько сот человек в каждой, как бы ни терзали их несметные мухи и другие более мелкие насекомые.

От мух спасались камуфлетами: насыпали дорожки пороху и подносили к этим дорожкам зажженные лучинки; происходили взрывы, и мухи дохли во множестве, но через несколько часов блиндажи были полны новых мух, налетавших снаружи в отверстия, как бы узки и слепы ни казались они солдатам.

Спать полагалось только до обеда, а после обеда начинались работы по починке амбразур и платформ, пострадавших при перестрелке, по замене разбитых фашин новыми, по прокладке новых соединительных траншей... Если же не находилось таких неотложных работ, солдаты, расположась за прикрытием здесь и там, чинили сапоги, штопали дыры рубаш и шаровар или безмятежно курили трубки.

Безмятежность матросов и солдат на бастионах было первое, что бросалось в глаза каждому новичку, по делу или из любопытства заходившему на оборонительную линию. Конечно, такими любопытствующими могли быть только молодые офицеры, только что переведенные в Севастополь или приехавшие из Петербурга фельдгегерями.

Бравирюя храбростью, идет такой необстрелянный вдоль банкета, а матрос, спокойно сидящий около орудия, скажет ему:

— Здесь ходить не полагается, ваше благородие.

— Почему не полагается?—удивится офицерик.

— Да вот, пульки-с,—кивает матрос на веревочный щит амбразуры, в который действительно одна за другой стучат пули.

— Однако ты-то сидишь себе и ничего,—замечает приезжий.

— Да ведь мы-то здешние,—спокойно ответит матрос.

Большой бумажный змей с трещотками был склеен солдатами на четвертом бастионе; приправили ему мочальный хвост, достали бечевы, выбрали слегка ветреный день и запустили; змей высоко в воздухе затрещал издевательски как раз над французскими траншеями как воплощенный вызов.

Как же было французам не открыть стрельбы по этому змею? И вот змей трещал вверх, а снизу затрещали оживленно выстрелы. Хороших стрелков было достаточно у французов, но даже и пробитый в нескольких местах пулями змей продолжал все-таки парить и взвиваться выше в меру отпускаемой бечевы.

Много выстрелов было дано по этой летучей цели, но как ни был изранен змей, все же удалось его подтянуть к вечеру на свой бастион. Залечили его раны и утром на другой день запустили снова. И вновь оживленнейшая пальба в течение часа, пока, наконец, какой-то случайной пуле не удалось перебить туго натянутую бечеву, и змей, захлебываясь и ныряя, под аплодисменты и крики французов опустился на их линии.

А на редуте Шварца завелись купленные одним из офицеров три курицы и петух, причем петуха,—черного с зеленым отливом, длинношеего, гребень лопухом,—матросы почему-то прозвали Пелисей, не столько, конечно, в честь маршала Пелисье, сколько в насмешку над ним.

Пелисей расхаживал по редуту довольно важно, куры же чувствовали себя здесь не так уверенно; впрочем, матросы и солдаты кормили их своим хлебом изобильно. Пелисей пел свое «кукареку» чрезвычайно старательно, быть может, стараясь вызвать на то же других петухов, но напрасно: других нигде поблизости не было.

Зато сам он скоро сделался знаменитостью не только на своем редуте, но и во французских траншеях, расположенных близко. Пение голосистого петуха в боевой обстановке способно вызвать множество самых идиллических воспоминаний и представлений.

Пелисей привык к пулям, которые жужжали и пели над ним, привык и к ядрам, которые мог разглядеть в небе. Быть может, они казались ему ястребами, потому что он предостерегающе кричал тогда своим курам, и куры бросались, распутив крылья, к ближайшему орудью, вполне естественно ища у него защиты и вызывая этим веселый и долгий хохот матросов.

Но случилось однажды, разорвалась шагах в десяти от Пелисея большая бомба, и это перевернуло все его петушьи понятия о личной доблести, которой должен он был подавать пример курам. Его точно сдуло вихрем; он закричал совершенно неистово, взлетел на воздух, пролетел сквозь отверстие в амбразуре, не защищенное матом, и свалился в ров.

Это очень развеселило французских стрелков: они захлопали в ладоши. Но вслед за черно-зеленым петухом тем же самым путем, сквозь амбразуру, ринулся в ров один молодой матрос. Как можно было дать пропасть украшению своего редута—Пелисею? И матрос не дал ему пропасть: он поймал его там, во рву, и, держа его в руках, полез снова к той же самой амбразуре.

Французы были так изумлены этой смелостью, что долго потом аплодировали они матросу и кричали «браво!».

А матрос держал Пелисея, отыскивая глазами кур, куда-то забившихся от страха, и даже понять не мог, как ему нужно было поступить иначе, если не броситься через амбразуру в ров за петухом. Ведь без этого петьки с его гребнем, как маков цвет, он уже не мог и представить себе свою батарею.

И на большинстве других батарей и редутов завелась тоже своя живность—собаки и собачонки разных мастей и качеств, но одинаково любимые всеми. А по четвертому бастиону разгуливал орел с простреленным крылом; кость у него кое-как срослась, но летать он все-таки не мог, сделался ручным, привык к людям, и хотя еда его была одно только мясо, но и мясом своим, принесенным для борца, охотно делились с ним солдаты, лишь бы иногда между делом подойти к нему, полюбоваться на его бурое плотное перо, на дико-

винный рост, на крепкий загнутый клюв, на круглые, янтарные, внимательные глаза, и сказать ему при этом два-три ласковых слова, а иногда удивиться вслух на себя самих:

— Ведь вот же он, орел этот, несть числа какой вредный для хозяйства!.. Сколько он ягнят-сосунков от маток таскает, не говоря про птицу, а мы к нему чего-й-то никакой злобы не имеем... Отчего же это происходит может?

Однажды, впрочем, был такой случай, который показал, что между солдатами двух враждебных армий не только на перемирии утихает злоба, но нет ее даже и во время перестрелки в окопах.

Вздумалось как-то ни с того ни с сего одному певуну из солдат-охотцев затыкнуть в окопе в ясный нежаркий день хоровую песню:

— Вни-и-из по ма-а-атушке-е, братцы, по Во-о-о-о...—как весь окоп подхватил вдруг соглас-но, лихо и радостно:

— Во-о-о-олге!

И потом уже пошло неудержимо:

— По-о широко-о-окому, братцы, раз-до-о-о-о...

Эх, всё раз-до-о-олью!

Не было в те времена более общенародной, более русской песни, как эта, в которую вложил русский человек столько горячей любви и к величавой красавице-кормилице реке, и к необъятным родным просторам, и к вольной воле...

Широкозвучная, полноголосая песня эта лилась, точно прорвавшись в этом месте из самой толщи земли, и допета была до конца, и ни одного выстрела не раздалось во время ее со стороны неприятельских окоп.

Этот импровизированный концерт русских солдат сказал о непобедимости их гораздо больше и гораздо более внятно, чем говорили это каждый день все орудия на всех бастионах.

Народ, который мог так петь в окопах, перед лицом вторгшегося в его землю врага, вполне мог заставить задуматься этого врага, как бы предусмотрительно, как бы услужливо ни снабжали его всем необходимым для успешной борьбы его правительства, располагавшие огромными флотами.

И после того, как была пропета эта песня, долго не могла наладиться обычная, будничная перестрелка.

2

На другой день после свадьбы сестры Витя Зарубин встретил на Малаховом молодчагу-пластуна Чумаченко и с тою непосредственностью, какая вообще свойственна зеленой молодости, сказал ему:

— Стой-ка, брат Чумаченко!.. А за тебя вчера,—за твоё здоровье то есть,—офицеры в одной компании пили.

Стараясь как нельзя больше казаться истым кубанским казаком, Чумаченко отозвался на это с еле заметной усмешкой:

— Ой, лишечко!.. Сами пили, тільки мені не піднесли... А кто же вони такі, вашбродь, ахвицера эти?

— Кто такие?—переспросил Витя.

— Эге ж... Тоді і я за їх здоров'ячко свою чарку в обід выпью...

Открытое лицо Чумаченко, потное лобное под жаркой, хотя и облезлой папахой, светилось вполне естественным любопытством, и Витя, умолчав, впрочем, о себе самом, сказал беспечно:

— А это один артиллерист, штабс-капитан Хлапонин, вздумал тебя вспомнить...

— Хла-по-нин штабс-капитан вспомнил?—совершенно ошеломился этими беспечно брошенными словами пластун, и если бы как раз в этот момент не подошел к мичману почти такой же юный прапорщик Смагин и не отвлек внимание, Вите могло бы кинуться в глаза, какое впечатление произвела на молодчагу Чумаченко фамилия штабс-капитана.

Но Смагин, подойдя, нежно взял Витю за локоть, Витя повернул к нему лицо, и Чумаченко успел оправиться от смущения, тем более что рядом с «дружком» возник в его памяти еще и другой Хлапонин—Василий Матвеевич, бывший владелец Хлапонинки...

Оправившись, Чумаченко спросил,—не мог не спросить,—потому что мичман Зарубин повернулся уже уходить от него под руку с прапорщиком:

— А вони-ж на якій состоят батареє, чи на бастионі, їх благородіє Хлапонин?

— Штабс-капитан где? На Северной пока что, то есть на Инкерманских высотах,—ответил мичман и отошел.

Свою обеденную чарку водки Чумаченко выпил, действительно думая о Дмитрии Дмитриевиче, но он думал о нем и после обеда, и весь этот день.

Он десятки раз перебирал в уме те немногие слова, которые слышал от молоденького флотского офицера: «За тебя, Чумаченко, за твоё здоровье пили в одной компании вчера офицеры...» А пили потому, что «один артиллерист, Хлапонин, штабс-капитан тебя вспомнил...»

Как это «вспомнил»? Кого же именно он вспомнил? Если Терешку Чернобровкина вспомнил, то кто же мог ему сказать, что пластун Чумаченко—это Терешка?.. Сказать этого никто ему здесь, в Севастополе, не мог, так очень хотелось думать пластуна Чумаченко.

Он догадывался, конечно, что кто-нибудь из офицеров, товарищей Дмитрия Дмитриевича, сказал ему, что вот, дескать, отличается, все в секретях и вылазках пластун один, звать Василий, по фамилии Чумаченко... Георгия заработал, и навешивал его ему сам адмирал Нахимов... Об этом могли

быть разговоры у офицеров, но как ни радовался пластун Чумаченко, что и до штабс-капитана Хлапонина дошли о нем слухи, все-таки весь остаток этого дня неудержимо рвался из него наружу захороненный уже глубоко внутрь Терентий Чернобровкин.

Глубокого смысла полно небольшое слово «земляк».

Стучилось раз, на люнете Белкина французский снаряд в мелкие ключья разнес, разорвавшись, одного солдата. Дело было ночью, а утром пришел на смену тому батальону, который стоял здесь в прикрытии, другой батальон того же полка, и один солдатик из этого батальона, назначенный на уборку площадки люнета, подобрал кусок сапога с оторванной ступнею в нем; пристально разглядывая он этот сапог и, наконец, сказал горестно:

— Пропал, значит, ты, Лавруха!

— Какой Лавруха?—спросили его.

— Ну, известно,—седьмой роты он был... Кочетыгов Лавруха...

— Почему же ты признаешь, что Лаврухина эта остана?

— Это уж мне по каблуку видать, что его.

— Как это по каблуку видать?

— Ну а то как же, брат? Ведь земляки мы с ним.

— А-а... Так бы и сказал, что земляк это твой... В таком разе конечно.

Земляка своего чтобы узнать, для этого и одного каблука довольно,—это было понятно солдатам. На чужой стороне земляк—это живая и кровная связь с родным, покинутым миром. С земляком есть о чем поговорить, есть что вспомнить: с земляком рядом исхожена не одна ли и та же земля? Потому-то даже и к каблукам сапог земляка внимательно и любовно приглядывается на чужой стороне цепкий и памятный глаз.

А Хлапонин, хотя и барин, офицер, штабс-капитан, был прежде всего земляк Терентия. Он часто справлялся кое у кого, придет ли в Севастополь курское ополчение и когда оно может добраться. Среди ополченцев белгородской дружины думал он так или иначе разыскать земляков своих и прежде всего, конечно, Тимофея с килей, а если его не забрали, то кого-то другого, кто пошел вместо него. Кроме того, ведь двое должны были идти в ополченцы из Хлапонинки, значит, еще кто-то другой с Тимофеем, да из соседнего села Сажного, да из других сел по округе... Земляков в этом ополчении можно было найти довольно и от них как-нибудь попытаться, что стало с его семьей, не засекли ли до смерти Лукерью, живы ли ребята...

Опасно было, конечно, узнавать про это, но как-нибудь под шумок, по человеку глядя... Да, наконец, неужели ж земляки здесь, на чужой стороне, побегут доносить на него, что не Чумаченко

он, а Чернобровкин? Не сделают этого земляки, не повернется ни у кого на это язык... И что такое о нем доносить? Что бежал от ополченства? Зато куда раньше всех ополченцев пришел в Севастополь... Или о том доносить, что утопил барина своего?

Но в этом не раскаивался Терентий; не думал он и того, чтобы кто-нибудь из хлапонинцев вменил ему это в большой грех... Нет, земляков своих не опасался он, по земляке тосковал он, когда выпадала для этого минута, и вот нечаянно пришлось услышать, что такой земляк, как Дмитрий Дмитриевич, здесь, в лагере на Инкерманских высотах.

Здесь—это значило, что всегда можно было его увидеть, поговорить с ним, но самое-то «всегда» мало что значило здесь, в Севастополе, где не твое было время, и даже не тебе принадлежала твоя собственная жизнь.

Как раз и в эту ночь,—правда, точно так же, как и в предыдущую,—нужно было заступать в секреты впереди ложементов Малахова кургана, а разве можно было наперед сказать, вернешься ли ты утром на своих ногах, или принесут тебя на штыцерах товарищи, или даже, может быть, нечего будет и нести, если от тебя останется в целости только нога по щиколотку в драном пластынском чулке.

Временами в этот день Терентию думалось, что тот Хлапонин, о котором говорил мичман, может быть вовсе не его Хлапонин, а только однофамилец. Под влиянием таких соображений он становился на некоторое время гораздо спокойнее, однако жаль было расставаться с возможностью что-нибудь узнать вот теперь же о своей семье и об односельчанах тоже: чьими «верноподданными» они стали, и как начальство там,—ищет ли его все, или уж перестало.

На Кубани, когда вернулся он туда с черкесской стороны, считалось так, что паспорт у него был с собою, но, конечно, перешел в руки психадзе вместе с казенным штыцером: человек еле переплыл через реку и на посту появился совсем почти голый, в чем мать родила,—какой уж там паспорт или вообще «вид на жительство», хорошо и то было, что сам остался жив.

Потом он уже твердо считался Василием Чумачевым или по-украински—Чумаченко, как он и значился во всех списках пластунов, прибывших в Севастополь; и Терентий укрепился уже в той мысли, что найти его тут не могут, тем более что и бороду он сбрил, и усы у него лежали теперь по-казацки, концами вниз. Это толкало его на то, чтобы разыскать своего «друга» как можно скорее.

Но все-таки навертывались и доводы против этого: не было бы хуже, если он его разыщет и ему откроется?

Что сам Дмитрий Дмитриевич никому не рассказал бы о нем, в этом он был уверен, а вдруг с ним здесь же опять его жена, как была она здесь раньше? Женщинам, кто бы они ни были, Терентий решительно отказывал в уме держать язык за зубами: недаром он и своей жене, Лукерье, ничего не сказал, когда уходил в последний раз из дому.

Если же как-нибудь узнает о нем начальство, что он утопил своего барина, помещика, тогда конец... И на георгия не посмотрят, конечно: георгия снимут, а его отправят по этапу в Белгород, в острог.

Потом—через полгода, через год—будет суд, потом там же на площади забьют его палками солдаты или заперет кнутом палач... Лучше уж пусть убьют здесь,—тут смерть такая иногда может постичь, что легче и не придумаешь: только что был человек, как человек, и с тобой разговаривал,—глядь, от него остались только клочочки, а он и подумать даже не успел, смерть это или что другое, как его уже пет!..

Раза два в этот день, перед вечером, видел Терентий мичмана Зарубина, и оба раза очень хотелось ему подойти и спросить насчет жены офицера Хлапонина,—с ним ли она здесь, или ее нет; но опасался спрашивать об этом. Вдруг мичман, хотя он и мальчишка еще, спросит сам его: «А ты почем знаешь, что он женатый? Я ведь тебе этого об нем не говорил?.. А если ты хорошо знаешь, что он женатый, стало быть, они тебе, и муж и жена, вполне известны? Вот я ему и передам, значит, что пластун Чумаченко не то, что вас только, а даже и жену вашу знает...»

Такие соображения останавливали Терентия; вообще же очень большую сумятицу вызвал в этом всегда расторопном, исполнительном, как будто совсем не принадлежащем себе, бравом пластуне Чумаченко захотевший его несколько порадовать Витя.

В первые дни свои в Севастополе Чумаченко, правда, сам справлялся кое-где по бастионам и редутам у солдат и пластунов, нет ли среди офицеров Хлапонина, но потом привык уже к мысли, что его «дружок» как раненый больше уж для Севастополя не годится, и если оставлен на службе, то, может быть, где-нибудь подальше: мало ли таких городов, где стоит артиллерия?

Но вот оставлено уже в стороне сомнение в том, что может приехать снова сюда Хлапонин: поправился и приехал, и указано место, где его найти,—Инкерманские высоты; это значило,—переправиться только на Северную и дойти до стоянки его батареи; язык-то доведет, конечно, а что потом?

Конечно, дядю своего мог любить Дмитрий Дмитриевич, как собака палку любит, однако ведь знает же он, конечно, и то,—не может не знать, кто утопил в пивячнице дядю... Простит ли он

ему это?.. Когда встретились после стольких лет опять в той же Хлапонинке, не погнушался поцеловаться с мужиком, рад был увидеть; когда уезжал из Хлапонинки, то же самое, и при людях, простился, как точно с ровней, а теперь как будет?.. Донести не донесет, но, может быть, взглянет на него сентябрем и скажет так, чтобы другие не слышали:

— Уйди с моих глаз, убийца, и больше не попадайся мне!

И пойдешь, что же делать, и еще и за такую встречу спасибо скажешь... А разве не может случиться так, что теперь Хлапонинка стала его, а это и для мужиков гораздо было бы лучше, да и для него тоже какой же вред? Вреда нет, а есть только большая польза.

Так много нахлынуло разного домашнего, старого и важного все-таки, несмотря даже и на смерть кругом, певшую в каждой неприятельской пуле, визжавшую в каждом снаряде, что Чумаченко, собираясь на ночь на аванпосты, едва не забыл взять свой аркан, с которым обыкновенно ходил в секреты последние десять-двенадцать дней, научившись у настоящих кубанских пластунов, как надо им действовать. Места этот аркан занимал немного, а при случае мог пригодиться. Шея самого Терентия очень хорошо помнила волосяной аркан черкесов.

3

Лежать по целым ночам в секрете, наострив уши, и пялить глаза в темноту перед собою, отлично зная, что всего шагах в двадцати-тридцати, а то даже и ближе таким же точно образом лежит и смотрит и слушает «он»,—к этому Чумаченко уже привык, но сумятица мыслей и представлений, поднятая нечаянно Витей Зарубиным, не покидала его, когда он вместе с четырьмя другими хрулевскими пластунами отправился, как ему было назначено, теперь уже в сторону не англичан, а французов, против бывшей Камчатки.

Туда ходили те же самые пластуны несколько ночей подряд, но с другим старшим, который как раз в этот день был ранен пулей. Пост был около какой-то криницы, как говорили пластуны, но был ли это колодец, или просто стояла там в яме натечная дождевая вода, только замечено было, что к этой кринице иногда ходили за водой французы.

Захвативший всего за день перед тем так удачно в плен огорченного смертью Раглана английского офицера, Чумаченко получил теперь хотя и шуточный, но все-таки приказ начальника четвертого отделения линии обороны капитана 1-го ранга Керна:

— Смотри же, братец, без красных штанов ты ко мне не являйся!

Это значило, что ему, удачливому охотнику, в эту ночь нужно было заповлевать новую дичь, только не в красном, а в синем мундире, не англичанина, а француза. Чумаченко браво ответил на это:

— Слушаю, вашсокбродь! Постараюсь доставить!—но он упорно помнил в это же самое время, что он не Чумаченко, а Чернобровкин, беглый, которого ищут... и мутно было у него в голове.

Раз даже, собираясь итти, сказал он своим пластунам:

— Эх, сдається мені, шо не буде діла... Або погину я, або шо-сь таке друге буде...—и даже глубоко вздохнул он, скрипнув зубами.

Вытащил для чего-то из ножен свой огромный кинжал, попробовал его пальцем, долго разглядывал его, хотя можно бы было и совсем на него не глядеть; но очень ярко вспоминались двое черкесов в пустой сакле, рыжая борода великана и обтянутые скулы другого, а потом вся полная молний, грома и ливня ночь в горах...

Эта новая ночь была душная, как всегда после жаркого дня, и безветренная, отчего воздух был очень тяжел, как в мертвецкой. О том, что лежать в секрете придется около криницы, думалось поэтому с облегчением: от воды должна была все-таки тянуть низом кое-какая свежесть...

Пришли на место в темноте. Чумаченко полз поближе к кринице и прилег за камнем, положив под одну руку штуцер, под другую аркан.

Не было надежды на удачу: томили мысли о том, поздоровается ли офицер Хлапонин с пластуном Чумаченко, когда узнает в нем Терешку Чернобровкина... Неудержимо хотелось курить, а курить было нельзя; нужно было смотреть в темноту и слушать, чтобы не пропустить ни малейшего шороха, а между тем разрывные снаряды из мортир летели над головой с обеих сторон, пыхтя и заглушая шорохи.

Чумаченко лежал по-пластунски, не шевелясь, час, два, три... Глаза его к темноте привыкли уже и различали в нескольких шагах от себя белесые известковые камни, но тело затекало, и, главное, все почему-то першило в горле, так что он все глотал слюну, чтобы как-нибудь не кашлянуть невзначай.

В засаде, около водопоя, лежал он, как древний, древнейший человек, как хищный зверь, подкарауливающий копытное животное, но на удачу он не надеялся,—ничто внутри его не сулило ему удачи... И когда он заметил кого-то, идущего отсюда, со стороны противника, он на момент обомлел, точно это был какой-то призрак, а не человек, у него даже сердце притаилось вдруг, перестало как будто биться...

Между тем человек подошел к самой кринице, ступая осторожно, точно шел по канату. Около криницы он повел головой в стороны, оглянулся

назад, потом, успокоившись, присел на корточки и принялся как будто раздеваться, начав с того, что снял с себя саблю.

Разглядев это, Чумаченко преобразился вдруг. Охотник в нем растолкал всю накипь посторонних нудных мыслей. Он начал проворно и бесшумно выпрастывать и подбирать руками аркан,—на момент, приподнявшись на колени, замер, точно кошка перед прыжком, примеряя глазами к аркану расстояние до головы француза, и вот петля, как змея, кинулась вперед... Чумаченко дернул к себе веревку, и француз повалился навзничь, успев только глухо хрипнуть.

Все существо Терентия напряглось теперь, чтобы добычу свою,—француза,—проташить на аркане эти несколько шагов от криницы к себе.

Это было гораздо более трудное дело, чем удачно накинуть петлю ему на шею. Тащить нужно было так, чтобы и не задушить его и в то же время обессилить, лишить голоса; нужно было проделать это и быстро и тихо, чтобы не услышали другие французы, но в то же время надо было выбрать момент дать знать своим, чтобы спешили на помощь.

Хотя шея француза и была захлестнута, но руки были свободны, и он хватался ими за всякие выступы земли, чтобы затормозить это непонятное ему движение, в какое пришел он вдруг не по своей воле. Так бьется в воде большая рыба, попавшая на удочку, и рыболовы знают, что леска в таких случаях должна быть все время натянута, как струна, иначе рыба сорвется с крючка.

Подаваться вперед Терентий не мог,—он должен был или стоять на месте, упираясь ногами в камень, за которым прятался, или медленно отходить назад. Он отходил, подтягивая вслед за собой француза, который извивался всячески и старался ли стучать в землю каблуками, или нет, но стучал,—вот-вот могли нагрязнеть ему на помощь.

Терентий прокричал раза два сычом, вызывая своих, но только что почувствовал около себя пластунов, как заметил две-три черные тени французов около криницы.

То самое, что сделали когда-то с ним самим психадзе в плавнях Кубани, проворно делал Терентий с пойманным им французом. Он завязал ему рот платком, который вытащил из его же кармана, скрутил назад правую руку и привязал к ней левую концом аркана, другим же концом, тем, где была петля, почти успел связать ноги своей добычи, когда темнота ночи сгустилась вдруг перед его глазами, и острую боль почувствовал он в мязках ноги около бедра, куда вонзился штык подкрававшегося к нему зуава.

Выхватив кинжал, Терентий сунул его в живот врагу; тот слабо охнул и присел на колени. Второй удар Терентия отнял у него способность ахнуть

вторично и громче; зуав свалился набок и лег почти рядом со связанным товарищем.

Выстрелов не было ни с той, ни с другой стороны: секреты держали себя как секреты. Темнота ночи не давала возможности ни пластунам, ни зуавам определить точно, сколько человек стоит против них, а поднимать ложную тревогу по всей линии ночной перестрелкой было строго запрещено секретам.

Потеря двух человек, конечно, сильно отразилась на воинственном пыле остальных французов, и остаток недолгой июньской ночи прошел уже тихо, но натекла полная штанина крови, пока другие пластуны кое-как руками рубахи перевязали ногу своему старшему.

Лихой разведчик Чумаченко едва дотащился серым утром до Корниловского бастиона, но приказ Керна им был выполнен: красные штаны были доставлены начальнику. Пойманный арканом зуав оказался молодым офицером.

Как ни бушевал он, придя в себя, что таким зверским, диким способом взят был в плен, но он все-таки был в плену, а Прасковья Ивановна Графова, перевязав по-своему Чумаченко, восхищенная его удачей, не один раз приятельски шлепнула его по спине ручищей и сказала ему, выпроваживая из своего блиндажа:

— Здоровый бычок, ничего! Заживет до свадьбы, будь весел!

Если бы Витя Зарубин дня через два после того виделся с Хлапонинным, он мог бы передать ему, что тот самый brave пластун Чумаченко, за здоровье которого вздумалось ему поднять бокал, только что произведен в унтер-офицеры, что Нахимов троекратно облобызал его и навесил на его широкую грудь второго георгия; но в то же время добавил бы, что он ранен штыком, хотел было отлежаться в блиндаже, однако осмотревший его медик направил его в госпиталь, на Северную.

4

Рана Терентия была признана неопасной для жизни, но она была очень болезненна и беспокоила его уже тем, что сидеть он совсем не мог, лежать же мог только ничком или на правом боку.

В том же госпитале, в котором лежал он, умер Нахимов, Павел Степаныч, от которого получил он свои кресты, и кресты эти потускнели после его смерти в глазах Терентия, потеряли половину своей цены.

Он смотрел из окна своей палаты вместе с другими ранеными, как выносили тело адмирала, чтобы отправить его через рейд на Екатерининскую улицу, и не мог удержать слез. «Отца матросов» он привык уже считать и своим отцом. В последнее время при встречах с ним на Корниловском бастионе раза два сказал ему Нахимов: «А-а, Чу-

маченко! Здравствуй, братец!»—и это было для Терентия дороже крестов.

Не забывал Терентий и о том, что здесь же, на Северной, только дальше, в сторону, на Инкерманских высотах, стоит батарея Дмитрия Дмитриевича.

Но скажет ли он ему, если узнает в пластуна унтер-офицера, кавалера двух георгиев, Василии Чумаченко своего «друга» Терешку,—скажет ли тогда, как адмирал Нахимов: «А-а, здравствуй, братец!»—или отвернется?

О том, чтобы он расцеловался с ним три раза накрест, как Нахимов, Терентий уже не думал, хотя свободного времени для подобных дум в госпитале было много. Он старался думать, что штабс-капитан Хлапонин, о котором говорил мичман, был какой-то другой, не его Хлапонин.

Но однажды, это было уже в начале июля, на дворе госпиталя увидел он через открытое, зашешенное кисеей от мух окно двух прилично одетых женщин под синими зонтиками в соломенных шляпках. Одна была повыше ростом и постарше на вид, другая пониже и помоложе.

На них были платья не сестер милосердия, и однако две сестры, работавшие в госпитале, вышли к ним и поздоровались, как с хорошо им знакомыми, пустились в разговоры с ними о вещах, должно быть, не относящихся к госпитальной жизни, потому что все четверо имели веселый вид, даже смеялись часто.

О чем именно говорили они, Терентию не было слышно, они стояли довольно далеко от окна, но ему показалось вдруг, что где-то он видел высокую, и даже другая, которая пришла вместе с нею, тоже почему-то показалась не совсем неизвестной: как будто встречалось такое лицо...

«Может, на улице когда видел,—думал Терентий.—Ведь женщин в Севастополе сколько же теперь могло остаться? Одна-две, и обчелся...»

Сестры,—обе пожилые, низенькие и некрасивые,—были свои, их он видел ежедневно, но вышло как-то так, что они были необходимы, чтобы ярче бросились в глаза эти две, под одинаковыми синими зонтиками с шелковой бахромой. И когда одна из них, высокая, повернула свой зонтик так, что лицо оказалось на солнечном свете, Терентий узнал вдруг в ней жену Дмитрия Дмитриевича.

Другая с нею была Варя, похожая на своего брата Витю обычным семейным сходством, но на нее уже не глядел Терентий, узнав Елизавету Михайловну. С этого момента не только сразу отпали его сомнения, о том ли Хлапонине говорил ему мичман,—он преобразился вдруг; он, плохо еще ходивший, через силу, забыв о боли, кинулся к дверям палаты, чтобы подойти и спросить, давно ли она из Хлапонинки, что там и как теперь...

Только в дверях он остановился, но не столько потому, что понял свое безрассудство, сколько

по другой причине: с одной стороны, он разбередил свою рану неразрешенными еще ему сильными движениями, с другой—он увидел в двери, как обе дамы под синими зонтиками уходили со двора госпиталя, а сестры возвращались в палату.

Поговорить о Хлапонинке с женою «дружка» не удалось Терентию, однако с этого дня он быстро пошел на поправку. Теперь, когда он прочно уже знал, что Дмитрий Дмитриевич здесь же, рядом с ним, рукой подать, и он всегда, когда захочет, может его увидеть, он начал чувствовать большой подъем сил, и одно это сильнейшее желание поскорее ходить, как ходил прежде, чтобы дойти на Инкерманские высоты, оказалось действительно всех госпитальных лекарств, корпий и перевязок.

Достаточно было ему увидеть живую, улыбающуюся, высокую, под синим зонтиком с бахромой жену Хлапонина, чтобы представить как живого, такого же высокого, улыбающегося Дмитрия Дмитриевича, который к тому же как офицер знает, что это значит, когда простой солдат получает два георгиевских креста и на погоны свои два белых басона.

Неужели не скажет он: «Ты, Терентий, виноват передо мной,—утопил моего родного дядю, смерти которого я совсем не желал. Однако ты вроде как будто наказание за это понес,—вот получил рану от француза,—все равно, что палками тебя били бы на площади в Белгороде... И кроме того, заработал ты себе два креста на защите Севастополя... Чем же именно заработал их? Тем, что жизнью своей не дорожил... Этим самым стал ты передо мною чист, и зла я на тебя не помню...»

И протянет он ему, Терентию Чернобровкину,—пластуну Чумаченко,—руку, а он ему скажет на это: «Я еще и больше заработаю, погодите, абы б вам, Митрий Митрич, показать себя в лучшем виде! Был адмирал Нахимов,—два раза я его обрадовал,—так вышло дело,—да вот стубил проклятый француз адмирала Нахимова,—теперь вы у меня явились вместо него... Здравия вам желаю и рад стараться!»

И первое, что сделал Терентий, выписавшись из госпиталя во второй половине июля,—пошел в лагерь на Инкерманских высотах.

Получив свой бешмет латаный и приладив к нему кресты, он долго критически разглядывал его, потом облезлую свою папаху: боевой, конечно, вид был у обеих этих вещей, однакоже какой нищенский! Только теперь, когда давно уже не надевал их, это бросилось ему в глаза.

Как было итти к Дмитрию Дмитриевичу в таком вытертом, латаном, а местами и порванном бешмете, грязном, с пятнами крови, хотя и оттертой? Над этим долго думал Терентий, прежде чем надел его, но другого у него не было. К тому же для адмирала Нахимова хорош был и этот; может быть,

не так уж плох покажется он и штабс-капитану Хлапонину?

Как всякий выздоровевший от долгой болезни и получивший, наконец, возможность безотказно владеть всем своим телом так же точно, как и до больницы койки, пластун Чумаченко чувствовал большой нервный подъем.

Все его радовало здесь, на Северной, куда переселялся и почти переселился исподволь Севастополь Южной стороны и Севастополь Корабельной: и яркое, пышащее солнце, и свежий воздух, которым дышал он теперь во всю мочь легких, и новые для него батареи вдоль берега бухты, сразу показавшиеся ему совершенно несокрушимыми и всесокрушающими, а самое главное—бессчетный народ, толпившийся всюду вдоль берега, особенно же около переправы,—летний народ, загорелый, весь нарасташку, крикливый, потный, занятый, народ-хозяин и этого осажденного города и всей тут земли кругом.

Переправой заведовал какой-то офицер из армейских,—из себя видный, но уже хриплоголосый,—потерял голос от крика, устанавливая здесь порядок.

Здесь воочию видел Терентий, как Северная сторона питает Южную и Корабельку,—гарнизоны их бастионов и редуты.

Перед переправой толпилось множество солдат-артельщиков, каптенармусов и данных им в помощь. Попарно, на длинных жердях, тащили они получку для своих частей: мясо в грязных-прегрязных, сальных-пресальных мешках, а то и совсем без мешков, прикрытое кое-как тряпками от мух; всякую зелень для борща в корзинах, водку в бочонках, окрученных веревками; соль, кто в чем—и в ведрах, и в кошелках, и в мешках; каменный уголь для варки пищи... Но тут же и дрова на возах, и сено для лошадей артиллерийских и фуражечных и много всего... И тут же бабы,—напористые, голосистые,—им тоже давай переправу.

— Куда же это ты, тетка, стремление такое имеешь?—весело обратился Терентий к одной.

— Как это куда? К себе домой, а то куда же!—отозвалась тетка.

— Домой?.. Стало быть, есть еще у тебя дом?

— Д'а то нету... На Корабельной.

— А может, его уж и духу-звания нет, того дома!

— Может, и нет уже, а кадушку я всё там разыщу,—она на погребнице стоит.

— Ка-душ-ку? А на кой же тебе кадушка сда-лась?

— Как это «на кой»? Огуречиков посолить, и то не в чем,—«на кой»!

Раз дело дошло до «огуречиков», Терентий уж видел, что тетку эту никакой смотритель переправы, в каком бы он ни был чине, не остановит. И что из того, что, может быть, оторвет ей там,

в городе, ногу ядром или снарядом? Зато ее кадушка для огуречиков будет у нее в руках!

Мальчишки-матросята на маленьких тузиках с драными парусами качались на небольшой волне и кричали звонко:

— А вот перевезу-перевезу-у! Давай! Дава-ай!

На рейде во всю его ширь дымили рабочие катеры и небольшие пароходы, буксируя баркасы и шаланды... Корабли, огромные и важные, стояли на якоре, а между Михайловским и Николаевским фортами, видно было, — готовились строить мост, для чего навезены были штабеля бревен, а среди них белели солдатские фуражки и рубахи, — возились дружно над чем-то люди. Дальше стояли воза с новыми длинными досками, и много других таких возов виднелось на берегу.

Великое и бодрое это многолюдство Северной стороны очень взвинчивало Терентия. Ему хотелось говорить со всеми кругом, у всех и все повыспросить, потому что столпилась тут чуть не вся Россия.

— Погоди-ка, ще й ополченців пригонють, — обратился пластун Чумаченко к кучке солдат. — А може, их вже й пригнали?

— Ополченцев? Слыхать было,* что идут до нас, а только где идут, кто ж их знает, — отвечали солдаты, с почтением глядя на его кресты. — Дорога до нас дальняя, — не ближний свет.

— Чего такой белый? — спросил один из солдат, старший унтер-офицер, пластуна Чумаченко, охватив свои кирпичные щеки пальцами и кивая на его лицо.

— А того я білий, шо ранений був, хай ему грець! — весело ответил пластун.

— Зажило?

— Забілось, як на собаці! — И пластун лихо сдвинул свою папаху на затылок.

— Смотри, конечно, какая рана была...

— А то уж, як кажуть, — полыхнули штыком на совість... Ну, так и я ж его полыхнул от чім!

Чумаченко хлопнул рукой по черкесскому кинжалу, спросил потом на всякий случай, не знают ли, как и где найти артиллерии штабс-капитана Хлапонина, — солдаты не знали, — и пошел дальше.

И чем дальше он шел, тем выше рос его подъем, несмотря даже на усталость. Правда, он сразу после долгой болезни задал слишком большую работу своим ногам, но ведь и стоило же потребовать от них этой большой работы.

Месяца два не был здесь Терентий, а за это время подошли сюда большие силы: три дивизии, — седьмая, восьмая, пятнадцатая, — и резервные бригады; часть из них пошла уже на усиление гарнизона Городской и Корабельной сторон, но большая часть все-таки оставалась здесь, в резерве, вместе с отведенными сюда на отдых старыми полками.

За те недели, какие провел в госпитале Терентий, он успел уже поотстать, поостыть в своем боевом пыле. Лежат рядом — справа и слева, — охают и стонут, мучаются раненые солдаты и матросы, а канонада за бухтой, да и с этого берега, гремит, не затихая, — когда слабее, а когда разгряется вдруг так, что всем в палате начинает уже казаться: не конец ли пришел Севастополю, как будет с ними, если конец: вывезут их отсюда или не успеют, — бросят на произвол врагу?

Теперь Терентий снисходительно думал о тех, которые остались в госпитале: «Вот что с человеком делает хворы! Измаялись, конечно, — большую приняли муку, — вот и стали, будто малые ребята, всего пугаться...»

А как же можно было пугаться и опасаться за судьбу Севастополя, когда сошлось сюда столько войска и какой все бравый народ?

Однако среди этого бесчисленного, brave, загорелого народа Терентий все-таки долго не мог добиться, где и как разыскать ему штабс-капитана Хлапонина, батарейного командира. Иные, желая помочь ему, спрашивали, какой артиллерийской бригады этот офицер, но как раз этого-то Терентий и не знал.

Только один, ехавший верхом из лагеря на Инкерманских высотах, артиллерийский поручик, к которому надоумили Терентия обратиться солдаты, не задумываясь, ответил на его вопрос о Хлапонине:

— Дней пять назад вся семнадцатая бригада передвинута в город.

— Так что их благородие, штабс-капитан Хлапонин тоже там теперь, ваше благородие? — поспешно и потому не по-украински спросил Чумаченко.

— Его батарея, кажется, на третьем бастионе, если я не ошибаюсь, — ответил пластуну-георгиевцу молодой поручик и послал было вперед лошадь, но вдруг спросил, обернувшись:

— А у тебя какое дело к штабс-капитану Хлапонину?

— Письмо им передать, — мгновенно придумал Терентий и испугался: а вдруг скажет этот офицер: «Давай я передам, я как раз туда еду сейчас...»

Но поручик ничего не сказал, только понимающе качнул головой и зарысился дальше.

В тот же день к вечеру пластун Чумаченко был уже у себя на Малаховом, — и как будто домой пришел, где заждалось его хозяйство.

Все было попрежнему: время от времени гулко стреляло то или другое орудие большого калибра, кричали сигнальщики, пели пули, прорываясь сквозь амбразуру, по-домашнему ходили на площадке солдаты, а около своего блиндажика между

двух ведер воды стояла в чем мать родила могуче-обширная Прасковья Ивановна Графова и обливалась водою, зачерпывая ее жестяной кружкой, сверкавшей на лучах заходящего солнца.

Правда, было очень жарко, душно, и, глядя на нее, всякому хотелось окатить себя холодной водой, только что вытянутой из колодца. Прасковья Ивановна делала так ежедневно, разрешая себе эту маленькую вольность, и все кругом к этому привыкли, и никто, а менее всех только что вернувшийся из госпиталя Чумаченко, не мог даже и предположить, что видит это он в последний раз.

Следующий день был удушливо-зноен, начиная с самого утра. Все раскалилось нестерпимо: и орудия, и ядра, которых нельзя было взять голыми руками, и ружья, и камни, и насыпи траншей... Земля как будто вот-вот собиралась запылать,—по ней трудно было ходить в обуви с нестертыми даже подошвами...

Только когда в обед натянуло тучи, закрывшие солнце, бастионы ожили немного, а часам к пяти, когда запахло уже дождем и перестрелка значительно ослабела, как обычно в это время, на Корниловском бастионе появился в сопровождении мичмана Вити Зарубина артиллерийский штабс-капитан с соседнего третьего бастиона Хлапонин.

Попав снова на тот бастион, где был он так тяжело контужен, Дмитрий Дмитриевич очень ярко припомнил свое знакомство с веселым храбреем капитан-лейтенантом Евгением Лесли, бесследно погибшим при взрыве погреба,—не то разорванным на мелкие куски, не то забитым глубоко в землю,—и ему захотелось познакомиться с его братом—Петром Ивановичем, лейтенантом, командиром батареи на Малаховом.

Ставший уже весьма знаменитым за время его долгой болезни Корниловский бастион, конечно, и сам по себе тоже привлекал внимание Хлапонина. Хотелось посмотреть и места, где были смертельно ранены адмиралы Корнилов и Нахимов, и остатки башни, которую Дмитрий Дмитриевич помнил еще нетронутой перед бомбардировкой в октябре.

Брат Евгения, Петр Лесли, как увидел Хлапонин, был еще очень молод,—двадцати двух, двадцати трех лет, но он на укреплениях пробыл с начала осады, командовал батареями на Камчатском люнете, счастливо не был ни разу ни контужен, ни ранен, получил несколько орденов и золотое оружие за храбрость и был образцом для подражания Вите Зарубину.

На своего погибшего брата он был похож меньше, чем ожидал Хлапонин, и не было в нем той бьющей фонтаном энергии и веселости, какая отличала Евгения, но шел ведь уже одиннадцатый месяц осады и неусыпной борьбы с врагами,—

усталость, которую заметил и на лице лейтенанта и в его движениях Хлапонин, была для него вполне объяснима и понятна, тем более что Лесли провел весь этот неистово жаркий день около своих орудий, и этот предвечерний час был для него часом вполне заслуженного отдыха.

То, что Хлапонин помнил его брата, сразу расположило к нему Петра Лесли и заставило говорить с ним дружеским тоном. Они, трое, сели недалеко от разбитой башни около входа в блиндаж генерал-майора Буссау, командира пехотного прикрытия бастиона. Тут было такое гостеприимное толстое бревно, приготовленное на всякий случай для починки крыши блиндажа, а три других подобных бревна лежали шагах в десяти, напротив.

От всех этих бревен, сильно разогретых с утра, приятно пахло сосновой смолой, у Вити же оказался шоколад, купленный им на Северной, куда ему пришлось съездить в этот день по своим обязанностям ординарца Хрулева; шоколадом этим Витя угостил Лесли. Это несколько взбодрило усталого лейтенанта,—он стал гораздо разговорчивее, хотя говорил только о непорядках на укреплениях, обращаясь к Хлапонину:

— Вот вы увидите это сами,—на вашем бастионе, конечно, то же самое,—что такое был Тотлебен, когда не был ранен, и как дело пошло без него, когда вот теперь он лечится на Бельбеке! Кто должен вести земляными работами в конце концов, если не саперные офицеры и инженеры? Отчего же в последнее время мы их почти не видим? Говорят, что их у нас вообще мало, и они, дескать, не могут везде поспеть... Хорошее дело! Мало,—потребуйте, чтобы прислали побольше, а то что же получается? Нам же, батарейным командирам, целые ночи приходится следить за рабочими,—разве это наша обязанность? Ужасно они меня бесят, эти саперы и инженеры! Я как только увижу кого из них, сейчас же начинаю с ними ругаться! Обрадовались, что их главный начальник болен, и не хотят ничего знать. Наверное ничего такого не допустили бы французы,—почему они и подобрались уже к самому нашему носу. Штуцерные очень домогают, чорт бы их взял! Только стоит сделать выстрел из орудия, как сейчас же штук тридцать пуль летит в амбразуры, и почему-то бьют такие проклятые, что пробивают даже щиты!

— Попадают случайно в пробитые уже наполовину места,—объяснил это, подумав, Хлапонин, а Лесли подхватил оживленно:

— Да, конечно, сядят пулю в пулю, только нам от этого живой убыток... Между прочим, слышали, что говорят: будто французам доставили кольчуги в защиту от наших штыков, и теперь в случае штурма нужно будет нашим солдатам дать приказ, чтобы кололи только в живот да пониже.

— Об этих кольчугах говорят ведь давно,— заметил Витя.— Однако сколько убитых французов ни приходилось мне видеть,—все без кольчуг.

— Что же тут такого? Прежде их готовили у них там, на заводах, а теперь, наконец, при-слали,—возразил Лесли, но тут же добавил с чув-ством:—Нет, едва ли дождемся мы от Горчакова, что он выгонит союзников! Не тот, кого надо сюда! А сколько золотых людей погибает у нас тут ни за что ни про что! Мы стреляем по фран-цузским батареям только, а французы—по нашим прикрытиям, а не держать прикрытий близко нельзя нам: мы под угрозой штурма, а совсем не французы... До чего это мерзко! Кажется, легче бы в Сибирь пойти, на каторгу, чем каждый день видеть, как около тебя валяются люди от бомб... У меня денщик, Иван, живет в городе на моей квартире, и я ему ведь запрещаю ко мне на ба-тарею штаться каждый день, а он все-таки ка-ждый день является,—и сегодня был. «Зачем ты, говорю, сюда?»—«Да у меня, говорит, сердце бо-лит».—«Сердце?»—кричу на него.—А как хлопнет тебя здесь, так что только мокро останется?»—«Что же делать, говорит, хлопнуть и на квар-тире могут, а тут я все-таки вижу своими гла-зами, что вы живы-здоровы, вот мне и радость»... Какой народ! А вот снарядов мало делают... Один луганский завод,—что же он может? А без сна-рядов самый раззолотой народ все равно не вы-держит...

Хлапонин, слушая Лесли младшего, представлял на его месте, рядом с собой на смолистом сосно-вом бревне Лесли старшего,—так ли бы он говорил теперь?

Тот был более рослый и плотный, но ведь чего-нибудь да стоит выдержать десять с поло-виной месяцев осады! Ведь каждые сутки не до-сыпал этот юный командир батареи два-три, а когда и четыре часа, не говоря уже о том, что каждый день глядела на него смерть.

Он старался держаться бодро, но вид у него был очень усталый, лицо хотя и загорелое, но худощекое, нос острый, глаза впалые, и загора-лись они, только когда он возмущался, потом как-то сразу потухали... Усталость прозвучала и в сло-вах его, сказанных с некоторым подъемом:

— Эх, кабы вздумали все эти мерзавцы уби-раться от нас ко всем чертям, сам бы пошел по-мочь им грузить на суда их мортиры проклятые! Так они мне надоели!..

Хлапонин знал, что Лесли, на короткое время оставивший свою батарею, чтобы немного встрях-нуться, проветриться, скоро должен будет опять вернуться туда же, а потом—ночь, когда нужно будет чиниться под навесным огнем мортир; и у него уже навертывался вопрос, долго ли еще может выдержать такое нечеловеческое напряжение он, тонкий, с узкими кистями рук, и, как бы угадывая

этот зарождавшийся в нем вопрос, Лесли продол-жал горячо:

— Если бы не такой начальник отделения, как наш Керн Федор Сергееч, который относится ко всем нам, флотским, вообще и ко мне, в частности, как отец родной, тут бы и не вынести всего... Очень добрый человек и веселый, и кормит нас на убой, хотя по мне это и не видно,—со-вершенно на убой!

— Да уж порядочно и убито,—заметил Витя, а Лесли отозвался на это:

— Типун вам на язык!—но тут же добавил, повеселев:—А вот и Прасковья Ивановна вылезает из берлоги!

И Хлапонин увидел матерую, как двадцатилет-няя медведица, совершенно несокрушимого облика сестру милосердия Малахова кургана, в линиях коричневого платья, в белом легком шерстяном лопухе вместо чепца. Ее ноги совершенно необык-новенной толщины в щиколотках были без чулок и в парусиновых туфлях, а голые до локтей руки висели как плахи, из которых, постаравшись, мог бы вылепить скульптор обычные женские руки, много отбросив лишнего.

Хлапонин, хотя и слышал уже о ней, не ожидал все-таки таких мощных форм: это особенно броса-лось в глаза, когда он сравнивал ее, подходившую к ним, с лейтенантом Лесли. Она же, подойдя, протянула неторопливо всем по очереди свою со-вершенно медвежьей лапу и прогудела:

— А что вы такое чавкаете, голуби сизые?

— Угадай что,—отозвался ей Витя.

— Шиколад,—по губам твоим вижу... Кто уго-щатель из вас? Давай-ка и мне тоже... Мужчинское это дело разве—шиколад жевать?

Витя протянул ей половину плитки.

— Ага,—сказала она довольно, оглядев и по-нюхав плитку,—еще и сорт неплохой... Где же это здесь продают такой?

— На Северной все есть—у Серебрякова в ре-сторации,—ответил Витя; она же, оглядевшись, села не рядом с ними на бревно, а против них, на другие бревна: она хотела видеть их всех трех, чтобы поговорить со всеми. Она была общитель-ного характера и любила поговорить о разных разностях, когда не находилось ей работы по части перевязок.

— Вот погоди, война кончится, приезжай тогда в Петербург,—невесту тебе найду,—говорила она, обращаясь к Вите.—Мальчишка хотя еще, ну авось до того времени подрастешь на вершочек.

— Постой-ка, Прасковья Ивановна, так нель-зя,—притворно-обиженно сказал Лесли.—Ведь это ты мне обещалась невесту хорошую найти,—и кра-савицу и чтобы с приданым!

— Что ты испугался так! Одна, что ли, у меня невеста на примете?—укорила его Прасковья Ива-новна.—Эх, голова! Голова! А еще батареей коман-

дует!.. В Петербурге невест на всех на вас хватит, не бойся!

— Я не боюсь, что не хватит, да ведь не всех же ты знаешь, Прасковья Ивановна,—продолжал шутливо спорить Лесли.

— Всех не всех, а порядочно знаю... И этому тоже невесту найду,—показала пальцем Прасковья Ивановна на Хлапонина, сидевшего в середине.

— Нет, нет, мне не нужно, я женат,—засмеялся Хлапонин, с недоумением глядевший на старуху, которая, впрочем, казалась не такой уж старой, да ей и действительно не было еще и пятидесяти,—старили ее только чрезмерная мощь всего ее тела да очень крупные черты лица, загорелого притом до черноты.

— Вот и хорошо, что женат, мне, значит, хлопот-забот поменьше будет,—ну, а с этими-то двумя уж управлюсь—женю... Столько народу пропадает что ни день, подумать надо, как это теперь прорехи такие залатать! Все люди молодые стараться об этом должны... У тебя-то ребятшек много ли?—обратилась Прасковья Ивановна к Хлапонину, жуя шоколад.

Хлапонин хотя и слышал о ней раньше, но представлял ее все-таки не настолько внушительно мощной, а теперь здесь, на Корниловском бастионе, основной твердыне Севастополя, сидела прямо против него на смолистых краснокорых сосновых русских бревнах как будто вся целиком простонародная Россия, грубоватая, правда, но не зря же старавшаяся на протяжении многих веков пошире и покрепче утверждаться на земле в роды и роды, и забота этой Прасковьи Ивановны не только о раненых, но еще и о женитьбе молодых людей по окончании войны, а также и о приплоде от них, показалась ему не шуткой ради препровождения времени, не зубоскальством от нечего делать, а чем-то вполне необходимым и законным с ее стороны; он только затруднялся подобрать подходящий ответ на ее вопрос, обращенный прямо к нему, но... ему и не пришлось высказать этот ответ.

— На-ша-а! Береги-и-ись!—завопил где-то за башней сигнальный матрос, и не успели еще все трое, сидевшие у входа в блиндаж Буссау, вскочить с места, как большой гаубичный снаряд, пущенный, конечно, в башню, плавно обогнул ее и оглушительно разорвался в воздухе как раз над Прасковьей Ивановной, не выше, чем в четырех метрах над ее головой.

Хлапонин увидел после разрыва только густые клубы дыма и невольно зажмурил глаза... Что-то пронеслось над ним жужжа и шипя, где-то вблизи ударилось оземь... Взбросив руки в стороны, он наткнулся на чьи-то колени или локти, мгновенно вспомнил о Вите и Лесли, испуганно открыл глаза—и также испуганно глядя на него с одной стороны Лесли, с другой Зарубин, и Лесли спросил придушенно:

— Ну?

Это «ну» значило: «Что? Не задело? Живы? Ноги? Руки?.. Все в целости?» Это был короткий вопрос человека, привыкшего уже и к разрывам гранат и бомб около себя и даже к мысли, что он-то уцелеет и представленный к анне 2-й степени, хотя эту анну принято давать только штаб-офицерам, непременно ее получит, а вот как другие на его батарею,—главное, комендоры, которых заменить трудно...

— Ничего!—первым, пришедшим в голову словом отозвался на «ну?» лейтенанта Хлапонин, Витя же только слегка подбросил голову.

Хлапонин понял, что их спасла крыша блиндажа, под которой они сидели, так как осколки сыпались сверху, разлетевшись веером, но когда он поглядел на бревна, на которых сидела всего за несколько моментов перед тем Прасковья Ивановна, он увидел только кровавые пятна на расщепленной желтой древесине, а ее не было...

Зловонный дым отползал в сторону, расщепленные бревна открылись во всю их длину, а могучей Прасковьи Ивановны, только что балагурившей под шоколад насчет петербургских невест, не было...

— Где же она?—спросил Хлапонин.

Витя вместо ответа хотел было стремительно броситься туда, к бревнам и кровавым пятнам на них, но после двух-трех шагов остановился и начал тереть рукой левую ногу ниже колена.

— Чорт! Контузило, что ли?—пробормотал он; однако, оправившись и пересилив боль, все-таки пошел дальше.

— Разорвало Прасковью Ивановну нашу!—сказал Лесли, тоже кинувшись к бревнам.

А в это время пластун Чумаченко, подходя к группе офицеров с другой стороны, бережно нес в руках кусок ноги в залитой кровью парусиновой туфле, ноги голой, в щиколотке необычайно широкой,—из красного мяса торчал острый кусок раздробленной кости.

Чумаченко поднес это Хлапонину, как будто думая только о том, что из трех офицеров здесь тот—старший в чине, и Хлапонин, едва скользнув по нем глазами, проговорил озадаченно:

— Это все разве?.. А прочее?

— Прочее?—повторил Чумаченко.—Насчет прочего не могу знать...

Однако он быстро огляделся кругом и вдруг качнул папахой в сторону крыши блиндажа Буссау:

— Вон где прочее, ваше благородие!

Хлапонин глянул в том направлении и понял, что пролетевшее над его головой с таким странным шипяще-жужжащим звуком было тело Прасковьи Ивановны, «подброшенное страшной силой взрыва снаряда».

Из блиндажа генерала Буссау выскочили два пехотных офицера, и один из них нашел среди

расщепленных брезен руку Прасковьи Ивановны, оторванную по плечо. Только что такая, казалось бы, несокрушимо-мощная рука эта была теперь только бесформенным, безобразным куском кровавого мяса. Хлапонин глянул на него и отвернулся.

6

Терентий узнал Дмитрия Дмитриевича издали, шагов за сорок от дверей того блиндажа, в котором помещалась команда пластунов. Так как Хлапонин шел рядом с мичманом Зарубиным, то у Терентия даже шевельнулась мысль, не привел ли мичман своего знакомого офицера-артиллериста посмотреть на того самого геройского пластуна Чумаченко, за здоровье которого он пил будто бы вино в своей компании. Поэтому вышел из-за прикрытия Терентий и стоял так, чтобы его видно было мичману.

Но Витя занят был разговором сначала с Лесли, потом с Прасковьей Ивановной и не заметил пластуна; тем более не обратил на него внимания Хлапонин, а может быть, просто не разглядел.

Терентий же усиленно думал над тем, как и что ему сказать Дмитрию Дмитриевичу, когда его позовут к нему, в чем он, чем дальше, тем меньше сомневался.

Открываться при других офицерах все-таки казалось ему совсем неудобным, и он боялся того, что Хлапонин узнает его сам, но в то же время не хотел пропускать такого случая поговорить с «дружком», совсем не входившего в его прежние расчеты. Поэтому он колебался и два раза уходил было в свой блиндаж, но тут же выходил снова.

Взрыв снаряда как раз над тем местом, где сидели офицеры с бастионной сестрой, заставил его бежать в испуге туда,—не ранило ли Дмитрия Дмитриевича опять. На оторванный кусок ноги Прасковьи Ивановны он наткнулся на бегу, но поднял его, только убедившись раньше, что Хлапонин стоит—значит не ранен.

Лейтенант Лесли между тем заспешил на свою батарею послать ответный гостинец на непредвиденный в этот час жестокий снаряд французов; солдаты-санитары, появившись с носилками, пошли на крышу блиндажа за телом; за ординарцем Витей Зарубиным прислан был казак хрулевского конвоя.

Прощаясь с Хлапоным, Витя сказал:

— Ничего не поделаешь, надо идти, а вас вот Чумаченко проводит до горжи.

— А-а, так это и есть Чумаченко?—рассеянно спросил Хлапонин.

Терентию не хотелось отвечать на это, пока не ушел еще мичман, но не отозваться на вопрос штабс-капитана было нельзя, и он проговорил полголоса:

— Так точно, вашбродь, Чумаченко...

При этом он стремился самым неестественным образом выпучить глаза и оглупить лицо, чтобы «дружок» как-нибудь не узнал его раньше времени.

Но вот ушел молодой мичман, и та самая минута, о которой столько думал еще с половины июня Терентий, наконец-то настала.

Хлапонин был еще под сильнейшим впечатлением от взрыва снаряда, мгновенно уничтожившего эту могучую женщину, и от своей личной удачи тоже. Быть буквально на волосок от смерти и остаться не только живым, но даже и совершенно невредимым, это в первый раз случилось с ним после октябрьской бомбардировки. Его батарея теперь стояла пока в резерве,—она была подтянута к третьему бастиону для целей отражения штурма, который все заставлял только себя ожидать, и если снаряды англичан падали в расположение его батареи, то действие ни одного из них не было таким исключительно разительным.

Чувствуя инстинктивную, как-то вне сознания появившуюся во всем его теле радость от постигшей его удачи, Хлапонин чувствовал в то же время и то, как на смену радости приходит слабость, расслабленность, дававшая ему знать, что он не вполне еще оправился от своей страшной контузии, и он делал усилия, чтобы, идя к горже бастиона на шаг впереди пластуна Чумаченко, ставить ноги как можно тверже, чтобы не выдать своей взволнованности этому молодчаге-унтеру с двумя георгиями за храбрость.

А унтер действительно следил во все глаза за каждым его шагом и вдруг сказал совершенно для него неожиданно, выдвигаясь вперед:

— Не признали меня, Митрий Митрич?

Хлапонин остановился.

Пластун держал руку «под козырек», как было принято при разговоре «нижнего чина» с офицером только здесь, в Севастополе, прежде он должен был бы снять свою шапку и держать ее в опущенной по шву левой руке; глаза его не то что бы улыбались, но в них не было и той напряженности, подчиненности, какая обычно вколочивалась долговременной муштрой: это были простодушно-деревенские глаза казака Терешки, и Хлапонин вскрикнул, пораженный неожиданностью:

— Терешка, ты?

Он не положил ему рук на плечи, как это дважды сделал адмирал Нахимов, и не расцеловался с ним чинно три раза накрест, он остановился, чрезвычайно изумленный только, не то чтобы обрадованный нечаянной встречей,—это отметил цепко впившийся в него глазами Терентий и промолчал на его вопрос, выжидая.

А Хлапонин быстро вызвал из памяти первый допрос свой в кабинете жандармского подполковника Рауха, когда неожиданно для себя так обесси-

дел он, оскорбленный до глубины души бессмысленным подозрением, что закричал истерзанно: «Лиза!.. Лиза!»

Точно стенка, прозрачная, правда, однако непроницаемая, возникла вдруг между ним и Терентием, и он только сказал, не улынувшись:

— Опустит руку!

Потом он пошел дальше, хотя и медленнее, чем шел до этого, а Терентий старался держаться за ним сзади на полшага, попрежнему выжидая.

— Почему ты вдруг стал пластуи?—спросил, пройдя десятка два шагов, Хлапонин.

— На Кубань после того попал,—не решаясь уже называть Хлапонина по имени, отчеству, однако не желая еще добавлять и «ваше благородие», ответил Терентий.

— Там ты и стал Чумаченкой?

— Надо же было как-нибудь... Чумаков я назвался по-перва, а Чумаченко—это уж опосля того, там ведь хохлы все, на Кубани.

— Наделал ты дела, Терентий!—укоризненно, полуобернувшись к нему, сказал Хлапонин, когда подходил уже к горже.

— Это там то есть, или вы о теперешнем говорите?

Терентий не то чтобы сознательно запутывал смысл сказанного Хлапоииным, он действительно не совсем и не сразу здесь, на Малаховом кургане, где получил он свои кресты и басыны, перенесся вдруг в прошлое, и Хлапонин повторил сказанное другими словами:

— Зачем убил Василья Матвейча?

Это был тот самый вопрос, которого ожидал и которого боялся Терентий. Он остановился, снял свою папаху и сказал торжественно:

— Митрий Митрич! Мне суд что?.. Кнутом за-сечь меня, конечно, могут, або палками до смерти, так я ведь себе скорую смерть и здесь могу получить, как вы сейчас сами изволили видеть,—Прасковья Ивановна наша заработала!.. И сколько арестантов тут сидело,—полголовы брито,—то где они теперь? Не в остроге сидят, а тоже на ба-стионах свое отбывают, и какие из них есть давно на кладбище... а какие кресты уж носят, как и я тоже, и, стало быть, считаются не арестанты больше... Митрий Митрич! Я сознаю—против вас я грех сделал, как вам он считается дядя родной, и, конечно, против семейства своего, как им, бед-ным, что жене, что ребятам, теперь, должно, ка-торга, а не жизнь,—это я все сознаю, Митрий Митрич, ну, тогда мне на него зло большое было,—на все я решился. Кабы ж я знал тогда, что вы об нем сожалевать будете, Митрий Митрич!

— Надень шапку!—сказал Хлапонин командным тоном.

— Слушаю-с!—и Терентий надвинул папаху сна-чала на лоб, потом поправил ее, сдвинув набок.

— Мне из-за тебя пришлось много перенести,

также и жене моей,—медленно сказал Хлапонин, смотря на него, однако не зло, только серьезно.

— А как же это могло, Митрий Митрич?—изумился Терентий, впрочем, уже догадываясь о том, что не приходило ему на ум раньше.

— Я и сейчас, должно быть, остаюсь под след-ствием,—вот «как это могло»... Да, кажется, и не я один, а и жена тоже.

— Митрий Митрич! Как же можно такое? Я объявлюсь в таком разе, и пусть что хотят со мной, а с вас чтобы снято было! Сейчас могу пойтить объявиться жандармам, Митрий Митрич! И Терентий снял папаху и ждал.

— Надень шапку!—попрежнему сказал Хлапо-нин.—С этим спешить незачем, может быть, нас обоих в эту же ночь убьют.

— Так точно, все может быть, Митрий Ми-трич,—радостно согласился с этим Терентий, наде-вая папаху.—А супругу вашу я, когда в госпитале лежал на Северной, в окошко видал... Хотел было дойтить до них от большой радости, да вот нога помешала,—он показал на бедро.

— Что, ранен был?

— Штыком француз проткнул в секрете... Это когда я ихнего офицера заарканил,—может, слы-хали про это... Адмирал Нахимов покойный, Павел Степаныч, дай бог царство небесное (Терентий перекрестился), сам мне вот этот крест тогда навешивали,—показал он пальцем,—а этот рань-ше—за английского офицера...

И столько совсем ребячьего желания не то, чтобы похвастаться, а доставить удовольствие, чуть-чуть хотя бы порадовать было в этих словах и жестах Терентия, что Хлапонин невольно улы-нулся слегка: только казачок Терешка, бывало, говорил с таким жаром, соблазняя его идти на охоту за утками на Донец.

— Об этом что говорить, Терентий, отличился, это я вижу,—проговорил он уже куда более мягко.

— А на Кавказе в плену у черкесов был, Мит-рий Митрич,—счел удобным именно теперь сказать Терентий.

— И в плену успел побывать? Как же ты вырвался?—удивленно спросил Хлапонин.

— Вот память об этом ношу,—приподнял не-сколько свой кинжал Терентий.—Я там заместо пластуна в секрете в камышах сидел,—ну, черкес меня на аркан, вроде как я того офицера француз-ского... Здоровый там один оказался,—сажень вы-соты,—это его и кинжал был, а ко мне попал.

— Зарезал ты его, что ли, этим кинжалом?

— Зарезал, а как же? Не зарезал бы, ходил бы и до сих там у них в нишах... А кабы француза того, какой меня штыком угадал в это место, не зарезал я тем кинжалом, то и вас бы я не побачил, Митрий Митрич: на то ж она и назы-вается война!.. А как с Лукерьей моей, с детиш-

ками не воюют там, Митрий Митрич?—спросил Терентий вполголоса, потому что проходили мимо два казака.

— Я после того в Хлапонинке ведь не был,— не знаю.

— Не были-с? Как же это могло?—очень изумился Терентий.

— Ты, может быть, думаешь, что я теперь стал хозяин имения?—догадался Хлапонин.—Нет, брат, хозяин теперь там другой.

— Дру-угой?.. Кто же это еще мог там другой быть, Митрий Митрич?

Терентий как-то совершенно померк, услышав, что хозяин имения теперь кто-то другой, и Хлапонин заметил это и сказал брезгливо:

— Да ты уж не ради меня ли старался, когда дядюшку моего топил, а?

— Истинно ради вас, Митрий Митрич,—тихо, но тут же ответил Терентий.—Думка такая была,—при вас народ-то вздохнул хотя бы, а то ведь и дыхания не было: вот как все у него были зажиматы!

И Терентий сжал правый кулак до белизны пальцев.

— Не знаю уж, лучше ли стало при новом или еще хуже,—этого я не слышал,—внимательно поглядев на этот кулак, сказал Хлапонин.—А меня, да и жену тоже, месяца два таскали на допросы в Москве... И даже сюда я, может быть, не попал бы, если бы за меня известные люди не просили.

— Зря, значит, я это и без пользы, а только вам одним мученье принес,—уныло отозвался Терентий.—А может, мне уж открыться лучше, Митрий Митрич? Как вы прикажете, так и сделаю.

— Я уж тебе сказал раз, что незачем,—досадливо ответил Хлапонин, но Терентий, несколько помолчав, возразил оживленно:

— А вдруг нонечь меня убьют, а вы, стало быть, так и останетесь перед властями в подозрении, что сговор у нас с вами был!

— Неизвестно, брат, кого из нас раньше убьют,—с серьезным видом сказал на это Хлапонин и добавил:—Ну, дальше уж я тут дорогу знаю... Прощай, братец!

— Счастливо оставаться, ваше благородие!—выкрикнул по-военному Терентий, так как и с той и с другой стороны от них проходили группами солдаты, но когда Хлапонин отошел уже шагов на пять, он бегом догнал его, чтобы сказать, о чем думал раньше:

— Митрий Митрич, супруге вашей не говорите уж, что меня видали!

— Не говорить?.. Почему именно?—удивился Хлапонин.

— Да как бы доложить вам,—запнулся Терентий,—женщина ведь они-с...

— А-а, да... разумеется, женщина,—улыбнулся Хлапонин.—Хорошо, не скажу, об этом не беспокойся.

Кивнув ему головой, он пошел дальше, а Терентий, стоя на месте, глядел ему вслед, пока было его видно.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ СОВЕЩАНИЕ «БОЛЬШИХ ЭПОЛЕТ»

1

Перед концом июля странное облако появилось вдруг среди дня в чистом и знойном небе над Инкерманом, где расположены были русские войска. Оно двигалось с севера, но вдоль берега моря и как бы извивалось змееобразно при своем движении, отчего местами казалось светлее, местами бурее.

Оно двигалось так около часу, и солдаты, уроженцы степных губерний, кричали:

— Сарана летит, братцы, сарана!

И саранча долетела. Напрасно в бурю гущу ее швыряли солдаты, крича, свои бескозырки: совершенно неисчислимая, она била с налету, как град, от нее приходилось закрывать лицо и прятаться в палатки и землянки,—всякая борьба с нею была бесполезна: она заняла в полете пространство не менее пятнадцати верст в длину и летела плотною массой, а хвост ее еще тянулся где-то там над морем.

Широкая полоса Большого рейда, за которую белел стенами город, остановила эти мириады обжор, и они пали около лагерей, на кусты, среди которых паслись лошади ординарцев, казаков, штабных, фуражиров, артиллерии, и лошади, хотя и не без боя, но уступили им все-таки свое скудное пастбище: сколько они ни топтали ее, сколько ни грызли, ожесточаясь, зубами, саранча была совершенно неистребима и неодолима.

Это нашествие саранчи явилось для штаба Горчакова осложнением совершенно непредвиденным: кто мог ожидать внезапного нападения этих крылатых врагов?

Иные доки из штабных постарались даже впасть в уныние, уверяя, что вполне установлено наукой, будто на красивых с виду крыльях каждой из этих ненасытных обжор имеется надпись на халдейском языке¹, значащая в переводе «гнев Божий» или «кара неба».

Халдейского языка, конечно, никто не знал, и в такие выводы науки не всякий верил, но это

¹ Халдейский или арамейский язык—одна из ветвей древнееврейского языка; на нем говорили в Палестине в I в. до н. э.

была эпоха пиэтизма¹, столоверчения, вызывания душ умерших для продолжительных и поучительных с ними бесед, отыскивания всяких чудес и предвещаний; поэтому неудивительно было, что иные мнительные люди, к которым принадлежал прежде всех сам главнокомандующий русской армией в Крыму, признали появление саранчи в расположении вспомогательного корпуса знаменем весьма для себя понятным и бесспорно плохим.

Под тяжким впечатлением от этой большой неприятности Горчаков отправился верхом со своим неизменным начальником штаба—коротеньким, но очень речистым, генерал-адъютантом Коцебу, с другим генерал-адъютантом, бароном Вревским, с генералом Сержпутовским, начальником артиллерии всей армии, посмотреть, как идут работы по устройству моста через Большой рейд.

Этот мост и был тем самым «четвертым выходом из положения», который держал в секрете Горчаков, когда писал свое письмо военному министру, князю Долгорукову перед штурмом шестого июня.

Сам по себе этот пловучий мост в версту длиною был для того времени предприятием технически очень смелым, а стратегически—блестящим.

Он должен был прочно связать Северную сторону Севастополя с Южной и Корабельной, чтобы подкрепления, большими частями идущие из вспомогательного корпуса на бастионы, не теряли слишком много времени на погрузку на баркасы, шаланды, пароходы и выгрузку из них, а шли бесперебойно через бухту в незыблемом походном порядке и приходили бы на выручку своим в случае штурма в кратчайший срок.

Однако назначение этого моста было совсем другое, и это еще в конце июня верно понял Нахимов.

Никто даже и из штабных главного штаба армии не мог бы с уверенностью сказать, где кончается Коцебу и начинается Горчаков и обратно, поэтому трудно решить, кому, собственно, из этих двух генералов принадлежала мысль о постройке моста, но что начальнику военных инженеров армии Бухмейеру никогда не приходилось строить подобного сооружения, это не подлежит сомнению, так что он, разработавши эту мысль технически, был новатором: такой мост в военное время предлагался к постройке первый раз в истории человечества. Отразив доводы противников своего проекта, Бухмейер с большой энергией, которая его отличала, принялся прежде всего отыскивать материалы для этого моста.

Командировки, конечно, всегда бывали приятны военным чинам того времени по причинам чисто материальным, однако нужно было в этом очень

важном и жизненном для всей армии деле, чтобы командировка была не затяжной и не праздной, а дала бы сразу видные результаты. И Бухмейер нашел подходящий для строительства лес в Херсоне, Каховке, Бериславе и других местах.

Это был отборный чудесный лес, которому впоследствии дивились интервенты. На покупку его было отпущено шестьдесят тысяч рублей серебром, и на эти деньги приобрел Бухмейер тысячу двести бревен по шести сажен в длину, по пол-аршина в диаметре в вершняке. Бревна эти перепиливались пополам, чтобы ширина моста была ровно в три сажени.

По мере того как подвозился лес, из него на берегу вязались плоты. Когда лесу стало уж много, для постоянной работы над ним отрядили сто человек, из них половину саперов, а для оковки плотов железо ковалось сразу во всех кузницах—и полковых, и артиллерийских, и инженерных.

С установкой моста Горчаков спешил вообще, а появление саранчи навело его на очень мрачные мысли. Эта крылатая и бесчисленная, неотбойная и неусыпная «кара неба» как-то объединялась в нем с другой «карой неба», еще в июне поселившейся в палатке с ним рядом и ежедневно обдававшей за одним с ним столом,—с уполномоченным самого царя, бароном Вревским.

С виду этот молодой еще генерал-адъютант был и представителен, и красив, и прекрасно дрессирован, как истый придворный довольно красноречив, в меру остроумен, наконец еще и большой любитель игры в шахматы, до которой немалым охотником был и Горчаков, признавая в ней нечто стратегическое. Но при всех этих своих привлекающих качествах Вревский едва был терпим Горчаковым.

В русской армии Вревский, по заданию Александра, должен был занять почти то же место, какое занимал во французской генерал Ниэль; разница была только в том, что Ниэль все-таки являлся весьма опытным военным инженером и был поэтому лишен верхоглядства, основной черты Вревского. Но для Горчакова достаточно было и Вревского, раз только он был командирован к нему самим императором. Горчаков был далеко не Пелисье по своему темпераменту и никогда не решился бы сказать публично Вревскому, что «вышвырнет его вон из вверенной ему армии»: он очень заботился о чистоте своего послужного списка, хотя и сгибался уже под тяжестью непосильной для него задачи отстоять Севастополь.

Вся военная опытность склоняла Горчакова к твердой, несмотря на присущую ему нерешительность, мысли о пассивной обороне Севастополя и к выводу из него гарнизона в подходящий для этого момент; все доводы пускал в дело Вревский, чтобы склонить его к наступательным действиям.

Если предшественник Горчакова,—Меншиков,—

¹ *Пиэтистами* называли последователей одной протестантской секты в Германии в XVII—XVIII вв., а затем пиэтизмом стали называть всякое проявление религиозного ханжества.

воплощал собою судьбу Севастополя, то Горчаков с первых же дней своих в Крыму отказался перед самим собою от этой роли, но необходимость в «судьбе» была настоятельная,—как же без «судьбы»?—вот теперь исподволь, но неуклонно стремился занять вакантное место «судьбы» барон Вревский, чувствуя за собой всесильную поддержку Зимнего дворца.

Он не сидел в ставке Горчакова без дела; совсем напротив, он ретиво собирал сведения о числе войск в Крыму, о запасах фуража и провианта, о состоянии перевозочных средств и дорог,—о всем вообще, что по его мнению,—мнению директора одного из департаментов военного министерства,—необходимо было для нажима на правый фланг союзников, задуманного им еще в Петербурге.

И к военному министру Долгорукову шли из главной квартиры на Инкерманских высотах должностные письма совершенно противоположного содержания, смотря кем они писались,—Вревским или Горчаковым.

Вревский писал, например:

«С 30 тысячами человек, находящихся на позиции от Инкермана до Таш-Басты, с 20 тысячами человек 4-й и 5-й дивизий и 15 тысячами курского ополчения мы будем иметь армию в 65 тысяч штыков, атака которых со стороны Черной речки может быть поддержана вылазкой из Севастополя по крайней мере в 30 тысяч человек. Обладая преимуществом в кавалерии и артиллерии и, наконец, пользуясь моральным превосходством после отбития штурма, мы можем отважиться на многое...

Начальники гарнизона подают собой пример самоотвержения, бдительности и трудов, но постоянное напряжение изнуряет силы уцелевших от огня. В течение нескольких дней ранены Тотлебен и—смертельно—Нахимов, а Васильчиков, всегда храбрый, но изнуренный работою, принужден оставить строй. Что же будет, если Хрулев, Семякин, Урусов и Панфилов нас покинут? Смерть угрожает им ежеминутно, да, наконец, и физическим силам есть предел. Для замены их найдутся другие, такие же бдительные и храбрые начальники, но они не будут так близки войскам и не будут знать всех обстоятельств дела. Не пора ли положить конец этому ненормальному порядку вещей?»

Две дивизии пехоты,—четвертая и пятая,—и курское ополчение только еще шли, но претендующий на роль «судьбы Севастополя» Вревский уже заранее распоряжался их силами, находя самым лучшим бросить их тут же, с прихода, под огонь сильных укреплений интервентов.

«Я благоговею,—добавлял он,—перед огромной ответственностью, которая лежит на князе Горчакове; часто мне кажется, что он готов склониться к наступательному образу действий, пламенно желаемому армией и в особенности гарнизоном,

и может быть, пошел бы с меньшим колебанием по этому пути славы и спасения, если бы он был уверен, что будет одобрен императором.

Мои убеждения должны преклониться перед великою опытностью главнокомандующего, оживляемого горячею преданностью к императору и России, но смею думать, что они были бы разделены некоторыми лучшими людьми нашей армии, если бы этот вопрос был подвергнут обсуждению в военном совете, подобном тому, какой был перед штурмом Варшавы».

Горчаков же писал тому же военному министру:

«Было бы просто сумасшествием начать наступление против превосходного в числе неприятеля, главные силы которого занимают, сверх того, недоступные позиции. Первый день я бы двинулся вперед; второй бы отбросил неприятельский авангард и написал бы великолепную реляцию; третий день—был бы разбит, с потерей от 10 до 15 тысяч человек, а в четвертый день Севастополь и значительная часть армии были бы потеряны. Если бы я действовал иначе, Севастополь уже более месяца принадлежал бы неприятелю, и ваш покорнейший слуга был бы между Днепром и Перекопом!»

Что касалось энергичности выражений в этих и подобных письмах из главной квартиры, то пальма первенства принадлежала, конечно, Горчакову, но не зря же говорится о капле, что она и камень долбит.

Методично, размеренно, часто повторяя одни и те же доводы за отсутствием новых и более убедительных, Вревский достигал своих целей там, в Петербурге, откуда смотрели больше на запад,—на Париж, Лондон,—чем на юг,—на Севастополь и его окружение.

Однако с запада шли известия о том, что сорок тысяч отборного войска идет на подкрепление союзникам и что французы намерены сделать вылазку у Перекопа и проникнуть в Сиваш, чтобы непременно отрезать Крым от остальной России.

Эти известия укрепляли Горчакова в его упорстве отнюдь не переходить в наступление даже и в том случае, когда придут к нему дивизии второго корпуса—четвертая и пятая, а также и курское ополчение: одно только представление о том, что его отрезут от Перекопа, приводило его в величайшее беспокойство, и он просил царя послать в Крым еще и корпус гренадеров, главным образом затем, чтобы охранять Перекоп.

«Конечно, крайне жаль вводить в дело это отборное войско,—писал он царю,—но союзники устремляют в Крым все свои силы, даже и гвардию».

Для того же, чтобы защищать Перекоп, пока подойдут гренадерские дивизии, Горчаков в спешном порядке составил отряд под начальством генерал-адъютанта графа Анрепа, и отряд немалый: в нем было десять батальонов пехоты, два полка

кавалерии и свыше пятидесяти орудий. Кроме того, отряд в несколько тысяч человек собран был им для защиты Чонгарского моста и Сиваша от большого десанта интервентов, который стал мерещиться ему после нападения союзной эскадры на Геническ.

Горчакову все казалось, что союзники волоком перетащат через Арабатскую стрелку в Сиваш большое количество плоскодонных шаланд с войсками, сделав это, конечно, одновременно с высадкой у Перекопа; поэтому-то командовать Чонгарским отрядом был назначен старый боевой кавалерийский генерал Рыжов, участник Балаклавского сражения, и отряду его из пехотных и конных частей придано было двадцать орудий.

Опыт наступательной войны, которую Горчакову пришлось вести на Дунае, показал ему самому, что для такой войны он не создан, и когда Вревский получал поддержку Долгорукова и, ссылаясь на нее, мягко, однако настойчиво, за шахматами или за вечерним чаем, снова и снова начинал докисывать выгоды наступления, Горчаков или отмалчивался, жуя губами от волнения, или горячо протворчил.

Когда же в одной из венских газет появилась статья, в которой, неизвестно из каких соображений, расхваливался медлительный образ действий Горчакова, его предусмотрительность и осторожность, единственно возможные в его положении, русский главнокомандующий ухватился за эту статью из вражеского стана, как за «всемилютейший рескрипт», и, ссылаясь на нее, писал Долгорукову, что вот-де Вена признает за ним военные таланты и одобряет все его действия.

Горчаков знал, конечно, что им недовольны в Петербурге, где считали отражение штурма 6/18 июня поворотным пунктом войны, знал он также и то, что барон Вревский восстанавливает против него в своих письмах военного министра, а следовательно, и самого царя, потому-то и дорого было для него мнение венской газеты.

Окрыленный этой статьей, он писал Долгорукову:

«Я бы желал, любезный князь, чтобы вы убедились в одной истине, которую я считаю непреложной, а именно, что усвоенная мною система осторожности есть, конечно, наилучшая, которой можно было следовать, и что полученные от того результаты доставили неисчислимую выгоду России.

С тех пор, как я нахожусь во главе Крымской армии, неприятель постоянно имел надо мною численное превосходство. Если бы я пытался атаковать его, я бы потерпел неизбежное поражение, и первым следствием неудачи была бы потеря Севастополя. Напротив, одним сохранением города Россия вызвала настоящее разоружение Австрии и тем устранила от себя опасность, по крайней мере до будущей весны, иметь дело с двумястами,

а может быть, и с пятьюстами тысяч лишних неприятельских войск».

Однако всячески оправдывая свой образ действий совершенно пассивной защиты, Горчаков видел и то, что Вревский далеко не одинок, что им, главнокомандующим, недовольны не только там, в Петербурге, но и здесь, в Севастополе и на Инкермане, многие генералы, не говоря о более мелких чинах: молодым людям, конечно, свойственна горячность; что какие-то решительные действия должен он предпринять против правого фланга, а если удастся, то и против тыла противника, чтобы облегчить хотя бы участь большого по необходимости гарнизона Севастополя, который ежедневно от огня противника несет большие потери: «ступка» толкла батальон за батальоном с очевидной выгодой для интервентов, которые несли от артиллерийского огня и даже от еженедельных почти вылазок все-таки вдвое, даже втрое меньше потерь.

Чем дальше тянулась осада, тем все очевиднее становилось большое превосходство артиллерии интервентов над артиллерией русских, а корабли парусные, так же как и пароходы французов и англичан, очень деятельно подвозили новые и новые мортиры крупных калибров и огромное количество снарядов к ним; сила же этих снарядов была такова, что иногда один такой снаряд выхватывал из русских рядов человек сорок.

Когда Горчаков пытался доказать, что самый лучший способ ведения войны это его способ, Вревский брал ведомость потерь, по которым выходило, что, например, за девять дней—с 1 по 9 июля,—когда артиллерийская стрельба не выходила за пределы обыкновенной, гарнизон Севастополя потерял две тысячи двести шестьдесят человек, а при таких потерях, сколько бы ни приходило пополнений, они все будут поглощаться без всякой пользы для дела и без всякой славы для русского имени.

Горчаков, споря с ним, находил пользу уже в том, что продолжительная осада изнуряет и будет изнурять войска союзников, на что Вревский, не без основания, конечно, возражал, что гораздо больше изнуряется гарнизон Севастополя и что если город продержится до конца ноября даже при тех только потерях, какие несет он теперь, в июле, то потеряет за это время ни мало ни много, как целых тридцать тысяч человек, а это стоит огромнейшего и кровопролитнейшего сражения, результаты которого могли бы быть уничтожающими для интервентов.

Каждый командир отдельной части прежде всего должен быть и является хозяином, так как он ведет хозяйство этой части; во время же боя он, кроме того, еще и хозяин боевых возможностей

своего отдельно действующего батальона или полка, своей бригады или дивизии, или вообще своего отряда, какой бы численности он ни был.

От него зависит,—если он не получает прямого приказа, —увеличить расход людей, раз это требуется моментом и может принести большую пользу общему делу борьбы, или уменьшить этот расход, выводя свою часть из боя.

Хозяйственные способности главнокомандующего огромной армией должны быть особенно велики, так как ошибка в расчетах приводит дело тем к большим потерям и убыткам, чем это дело крупнее.

Как хозяин армии в смысле ее продовольствия и устройства Горчаков стоял гораздо выше Меншикова: тут ему помогла долголетняя штабная его служба у Паскевича,—он имел опытность, которой лишен был его предшественник в Крыму—светлейший, больше надевавшийся на легендарную выносливость русского солдата.

Но если даже Меншиков, по-стариковски скупой вообще, был скуп в расходе людей, то Горчаков оказался гораздо скупее его.

Чрезвычайно невыгодное положение, в которое поставлены были оба эти главнокомандующие русскими войсками, заключалось в том, что задачи их двоились у них в глазах: они должны были отстоять Севастополь и защитить Крым, в то время как интервенты имели только одну определенную цель—взять Севастополь.

Поэтому как Меншикову, так и Горчакову приходилось поневоле разбрасывать свои силы по всему Крыму, тогда как интервенты держали свои в кулаке на подступах к Севастополю. Естественно, что они во все время осады оказывались гораздо сильнее численно, не говоря уже о том, что чисто боевые средства их значительно превосходили средства русских; это гораздо осязательнее, чем Вревский, представлял Горчаков.

Но именно теперь, к концу июля, особенно настойчиво развивал свои планы наступления Вревский, и, сопровождая Горчакова в его поездке к месту постройки будущего моста через рейд, он говорил давно уже надоевшими Горчакову словами:

— У сардинцев сейчас холера,—они вот-вот все разбегутся со своих позиций... Турки? Турок мы всегда били и теперь побьем. Англичане? У них только что набранных солдат гораздо больше, чем старых,—какое же это войско? Остаются французы, но ведь и французы лишились уже лучших своих войск, потому что бросали их в первую голову во всех с нами стычках, особенно же при штурме... Зуавы, венсенские стрелки, иностранный легион, даже и гвардия,—все эти части очень потерпели, и стойкими они не будут.

— Вы как будто умышленно хотите забыть, что на правом их фланге стоят совершенно свежие части,—досадливо морщась, отзывался на это Гор-

чаков, но Вревский, безупречно сидевший на лошади, отличался тем, что выражение лица его не менялось, как бы ни относился к его словам главнокомандующий: на нем плотно лежала застывшая маска почтительности.

— Так или иначе, Михаил Дмитриевич, но мы должны покончить с этой затянувшейся осадой до осени,—говорил он.—Наконец, ведь все равно каждую ночь мы ждем штурма. Ждем, конечно, совершенно напрасно, однакоже не ждать не имеем права.

— Без новой и очень сильной и продолжительной бомбардировки общего штурма не может быть—это закон!—надоевшей ему самому фразой ответил на это Горчаков.

— Тем более!—подхватил Вревский.—И во время этой бомбардировки мы можем понести такие огромные и совершенно бесполезные потери, что никаких подкреплений не хватит, чтобы их покрыть. Гораздо лучше во всех отношениях нам атаковать их.

— И чем же может кончиться эта атака?—поморщился Горчаков, поправляя съезжавшие с носа очки.—Только нашим поражением—больше ничем... Прямое безрассудство—атаковать очень мощные позиции, прикрытые к тому же гораздо большими силами, чем у нас. Это только ускорит падение Севастополя и ничего больше не даст.

У Горчакова была неформенная фуражка. Она держалась на его длинной голове так, что сзади получался какой-то вздутый мешок, а далеко и широко вперед выдвигался козырек наподобие зонтика, предохранявший его подслеповатые глаза от слишком яркого солнца, и он очень часто и энергично двигал этим мешком и зонтиком, покачиваясь в седле.

При этом он считал своей обязанностью внимательно вглядываться во все по сторонам, хотя совершенно ничего не видел дальше, как в десяти шагах: просто осталась такая неодолимая привычка от более молодых и зорких лет. В седле он старался держаться так, как это было принято во французской кавалерии: несколько выдавая вперед корпус и выставляя ноги.

Такая блестящая кавалькада, как сам главнокомандующий со своей свитой, не могла, конечно, не нарушить обычного делового движения на дороге вдоль рейда: сворачивали в стороны фуражники, командам зычно кричали: «Смирн-на-а!», отдельно идущие становились во фронт, неестественно выпячивали груди и ели своего подслеповатого отца-командира выкаченными глазами.

Генерал Бухмейер встретил Горчакова обычным рапортом о благополучии, и князь, стоявший среди щедрого изобилия свежего, пахучего, полностью уже заготовленного для моста леса, воочию представлял этот смелый по своей новизне твердый путь через бухту, путь планомерного отступле-

ния, вывода армии из обреченного на гибель города, в то время как его сосед Вревский только что перестал развивать свои обычные планы победоносного наступления, «безрассудного», по выражению князя, броска вперед на тщательно укрепленные горы.

Приготовленные к спуску на воду, связанные железными скобами плоты очень интересовали Горчакова. Большой частью они были уже подтащены к берегу так, чтобы только захватив их канатами, заставить их вплавь добираться до предназначенного каждому из них места.

— Итого всех плотов понадобится сколько же именно?—спросил Бухмейера Горчаков.

— Всего, считая с двумя пристанями, восемьдесят шесть плотов, ваше сиятельство, а разбиваются они на шесть участков—по четырнадцати плотов в каждом,—ответил Бухмейер.

— Гм... Да, вот... По четырнадцати плотов в каждом из шести участков—это будет в общем итоге восемьдесят четыре,—вдумчиво проговорил Горчаков.

— Честь имею доложить, ваше сиятельство, что два плота еще распределяются по одному на каждую пристань,—объяснил Бухмейер.

— Ну да, ну да,—это понять не трудно,—по плоту на пристань, а как быть во время очень сильного волнения?—спросил князь.

— Придется разводить при помощи катеров, ваше сиятельство... Один катер может взять на буксир сразу целый участок моста и подтащить к берегу.

— Так, так, да... катера могут растащить мост заблаговременно, да... что же касается перил, а? Как это будет?

— Вместо перил будет просто протянут канат с той и с другой стороны, ваше сиятельство, плотно же моста будет надежное: двухдюймовые доски.

— Однако, Павел Евстафьевич,—обратился Горчаков к Коцебу,—надо будет не забыть,—потом, потом конечно, когда мост будет готов и мы откроем по нем движение,—не забыть огдаг в приказе распоряжение, чтобы ни даже малыми командами, не говоря о больших, не шли по этому мосту в ногу, а только вольно... Что же касается орудий большого калибра, то, как вы полагаете,—повернулся в сторону Сержпутовского князь,—не очутятся ли они в воде?

— Я думаю, что окончательно может это установить только опыт, ваше сиятельство,—политично отозвался на вопрос Горчакова начальник артиллерии, но Бухмейер был задет таким явным недоверием к прочности затеянного им сооружения и возразил Сержпутовскому, обращаясь к Горчакову:

— Позвольте доложить, ваше сиятельство,—любое орудие в упряжке может быть провезено по

мосту с одного берега на другой беспрепятственно.

— Ну, вот, это ручательство!—довольно улыбнулся Горчаков.—Сказано вполне определенно, что и требовалось знать!

— Мост будет ожесточенно обстреливаться,—заметил Вревский.

— Ядра не принесут ему особенного вреда,—отозвался на это Бухмейер.—Небольшие отверствия,—пусть даже сквозь них будет выступать вода,—очень легко заделать так же точно, как и на судне.

— А какова глубина по линии моста, вы измеряли?—полюбопытствовал Коцебу.

— В самом глубоком месте, в середине, оказалось почти четырнадцать сажен,—ответил Бухмейер, а Коцебу, маленький, меньше чем двух аршин, и вертлявый, шутливо развел руками и не менее шутливо отозвался на это:

— Брр... Печальное известие для таких, как я, совсем не умеющих плавать!

Коцебу был сыном известного немецкого драматурга, автора бесчисленной «коцебятны» на сцене, состоявшего на русской службе при Александре I и убитого в Мангейме студентом Зандом. От отца унаследовал он живость воображения и пристрастие к театральным жестам, минам и выражениям. Впрочем, недостатка в личной храбрости у него не было, несмотря на его карикатурно малый рост, и служебную карьеру свою он сделал не в штабах.

— Конечно, если попадет в мост навесный разрывной снаряд большого диаметра, то это грозит прервать сообщение,—пожевав губами, сказал Горчаков, глядя в ту сторону, где, он знал, были батареи союзников.

На это замечание счел нужным отозваться Сержпутовский, у которого прямо и жестко, как наконечники копий, торчали усы и был преувеличенно важен нахмур тяжелых бровей:

— Большой мортирный снаряд был бы для этого моста очень большим несчастьем, ваше сиятельство... особенно во время передвижения по нем войск.

— Несчастье, да, как и очень многое на войне,—на то и война,—однако не такое уж большое, а вполне поправимое,—счел нужным вступить за свое детище Бухмейер.—Вместо разбитого плота вставим запасной,—и движение будет продолжаться, как и прежде.

В то время как группа генералов вместе с главнокомандующим рассуждала о достоинствах будущего моста, единственного в своем роде по длине и притом имевшего своею целью связать два берега не реки, а морского залива,—в отдалении от них на повороте дороги остановилась почтовая тройка, и из нее вышел как был, запыленный густой дорожной пылью и с кожаной сумкой через плечо высокий светлоглазый молодой ротмистр гвардии,

с флигель-адъютантами аксельбантами и царским вензелем на погонах.

Это был граф Строганов, выехавший восемь дней назад из Петербурга. Он направлялся в главную квартиру к Горчакову, но, узнав Горчакова по его единственной в армии фуражке, несколько тяжеловатой, свойственной конногвардейцу, поспешно направился к нему, так как первейшая обязанность фельдгегера была доставлять порученные ему пакеты без каких бы то ни было промедлений.

Подойдя к Горчакову, он отрапортовал по-заведенному:

— Ваше сиятельство, фельдгегерем из Петербурга прибыл гвардии ротмистр, граф Строганов!

И после того, как поздоровался с ним Горчаков, он с самым деловым видом щелкнул замком своей сумки, вынул два засургученных пакета и подал главнокомандующему. Пакеты были по внешнему виду очень знакомы уже Горчакову, и при первом взгляде на них он определил, что один от князя Долгорукова, другой от самого царя.

Откладывать чтение таких писем было нельзя, — это были приказы из Петербурга, — и Горчаков вскрыл первым царский пакет и принялся пробегать плохо видящими глазами строку за строкой.

Письмо было длинное, но оно и не могло быть коротким, так как царь старался обосновать то важное решение, какое он принял:

«Ежедневные потери неодолимого севастопольского гарнизона, все более ослабляющие численность войск ваших, которые едва заменяются вновь прибывающими подкреплениями, приводят меня еще более к убеждению, выраженному в последнем моем письме, в необходимости предпринять что-либо решительное, дабы положить конец сей ужасной войне, могущей иметь наконец пагубное влияние на дух гарнизона».

Слова «предпринять что-либо решительное» были подчеркнуты, и Горчаков перечитал весь этот абзац вторично и стал читать дальше, уже угадывая дальнейшее содержание письма.

«В столь важных обстоятельствах дабы облегчить некоторым образом лежащую на вас ответственность, предлагаю вам собрать из достойных и опытных сотрудников ваших военный совет (эти два слова тоже были подчеркнуты). Пускай жизненный вопрос этот будет в нем со всех сторон обсужден, и тогда, призвав на помощь бога, приступить к исполнению того, что признается наивыгоднейшим».

Последним словам царь придавал, видимо, особенно важное значение, потому что подчеркнул их двумя чертами; Горчаков видел, что они действительно важны: «Приступить к исполнению» — это уж был категорический приказ, от которого отвертеться под теми или иными предлогами не представлялось возможным.

Дальше царь говорил о подкреплениях, которые настойчиво спрашивались у него главнокомандующим:

«Опасения ваши насчет высадки союзников у Перекопа полагаю преувеличенными; в худшем случае, то есть если бы им и удалось временно занять этот пункт и прервать мгновенно ваше сообщение с Россией, я считаю войска, находящиеся в Крыму, по доставленным вами сведениям, обеспеченными как по продовольственной, так и по артиллерийской части, на четыре месяца. Между тем гренадерский корпус, по желанию вашему, будет продвинут к Перекопу, дабы в случае нужды восстановить прерванное с вами сообщение и служить во всяком случае обеспечением ваших задач, но при этом повторяю, что я вам уже писал в последнем моем письме, что я никак не согласен на введение его дальше в Крым, ибо он составляет последний надежный резерв наш в южном крае и притом мог бы поспеть на театр главных действий весьма поздно».

Что же касается усиления войск, в Крыму находящихся, то кроме семнадцати дружин курского ополчения, туда уже следующих, вы можете к себе притянуть еще шестьдесят одну дружину остальных губерний, к вам назначенных, и коих предполагалось временно расположить в Херсонской и северной части Таврической губерний. Но и они не могут прибыть к Перекопу прежде половины сентября. Кроме того, из войск генерал-адъютанта Лидерса к вам будут отправлены маршевые батальоны в числе восьми тысяч человек».

Прочитав до конца это письмо, Горчаков прежде всего посмотрел на Вревского и посмотрел строго, как только мог. Из слов царя он вывел одно заключение: «хотя подкреплений не ждите, однако наступайте во что бы то ни стало!» — это и были всегдашние мысли Вревского, его «опекуна».

Он глубоко втянул в легкие воздух плоским своим носом и принялся за письмо военного министра, не ожидая, конечно, найти в нем что-нибудь такое, что облегчало бы его положение.

Так оно, разумеется, и было: Долгоруков излагал своими словами требование императора, чтобы он, Горчаков, «немедленно собрал военный совет» для обсуждения и окончательного решения предложенного вопроса.

3

Слово «немедленно», подчеркнутое в письме военного министра, не могло быть понято Горчаковым как-нибудь иначе, кроме как в прямом и буквальном смысле, и, уезжая к себе на Инкерман, генералу Бухмейеру передал он об этом сам, а Сакену, Хрулеву, Семякину послал своих ординарцев: военный совет был назначен им на другой же день.

Уединившись у себя в спальне, в том домике бывшей почтовой станции, который занял он под свою квартиру, Горчаков усердно молился перед образом. Он понимал, что решительный момент для него наступил, что отдалить его он теперь уже не вправе, а между тем совершенно не чувствовал ни в себе самом, ни около себя сил и способностей для наступательных действий.

«Большие эполеты» собрались неукоснительно на другой день и в назначенный час. Цель совета была уже известна генералам, потому что не с одним из них и не один раз говорил о наступлении Вревский, однако точных, вполне определенных мнений на этот счет ни у кого не было. Впрочем, это был действительно трудный вопрос.

Совещание не было обставлено так, чтобы его можно было назвать секретным. Даже больше того: ни малейшей таинственности не было; охрана главной квартиры нисколько не была увеличена; даже окна не все были затворены,—совещание казалось открытым.

Нельзя было, конечно, утверждать, что Горчаков не понимал во всей полноте, что такое военная тайна, но сам по себе он совершенно неспособен был держать в тайне то, что его волновало; и если волновали его очень часто совсем мелкие дела и обстоятельства, то тем более не мог быть он необходимо спокоен теперь, когда вся его служебная карьера ставилась на карту.

За длинным канцелярским столом, ставшим на этот день столом совета, сидели: граф Остен-Сакен, Коцебу и Вревский,—три генерал-адъютанта,—голова собрания; затем несколько генерал-лейтенантов: Липранди, Сержпутовский, Бухмейер, Хрулев, Семякин и двое из штаба Горчакова: дежурный генерал Ушаков 2-й и генерал-квартирмейстер Бутурлин.

По своей обязанности начальников штабов тут были еще и два генерал-майора: князь Васильчиков и Крыжановский; наконец, на совете присутствовал еще и главный интендант Крымской армии—тоже генерал-майор—Затлер.

Горчаков должен был сказать вступительное слово, и, хотя положение дел было достаточно известно генералам, речь его тянулась около получаса, так как ему казалось необходимым детально выяснить цели совещания.

— Несмотря на все противодействие работам неприятеля с нашей стороны,—говорил он,—как непосредственным обстрелом, так точно и путем частых вылазок, эти работы все-таки продолжались. Пусть противник приближался к нам на полторы-две сажени в день, но, преодолевая упорство каменистого грунта и невзирая на потери, он все-таки сближался к нам, и теперь линия его апрошей проходит от линии наших против Малахова на пятьдесят, против второго бастиона на шестьдесят сажен,—расстояние вполне ничтожное,

и оно как нельзя лучше будет способствовать штурму. Если же штурм этот окончится удачей союзников, то Севастополю... угрожает гибель, господа! Противник числительно превосходит нас, и значительно превосходит. Из полученного мною высочайшего письма я имею возможность поделиться с вами радостным известием, что, независимо от курских дружин, в Крым будут отправлены также и остальные шестьдесят дружин, но вопрос, когда же именно могут они собраться к Перекопу? Не ранее, как только к концу октября. Между тем до конца октября даже для конского состава ныне имеющихся налицо в Крыму войск не хватит сена. По приблизительному соображению генерал-интенданта, сенного довольствия в Крыму хватит только до половины октября. Если же уменьшить вдвое число лошадей, то сена хватит до половины января, а если оставить только четверть имеющихся в войсках лошадей, то... до 15 апреля, то есть до появления подножного корма... Таковы обстоятельства с фуражным довольствием, а с приходом четвертой и пятой дивизий и курского ополчения они станут гораздо хуже... Не может быть спора о том, что до прихода всех дружин нам было бы выгоднее оставаться в оборонительном положении, предоставляя неприятелю самому нас атаковать. Но ведь весьма может быть, что подступы неприятеля так сблизятся со всех сторон к нашим веркам, что Севастополь уже будет не в состоянии выдержать приступа, и потому придется из того и другого положения выбрать менее вредное и более соответствующее с достоинством русского оружия. Итак, ныне настало время решить неотлагательно вопрос о предстоящем образе действий в Крыму: продолжать ли пассивную защиту Севастополя, стараясь только выигрывать время и не видя впереди никакого определенного исхода, или же немедленно по прибытии войск второго корпуса и курского ополчения перейти в решительное наступление. Вот именно этот вопрос, господа, я и предлагаю на ваше обсуждение, и в дополнение о его, если мы не должны оставаться в пассивном положении, то какое именно действие предпринять и в какое время!

Придя в своей речи к ясному определению цели совещания, Горчаков обвел всех сидящих за столом генералов встревоженными глазами и повторил:

— Какое именно действие предпринять и в какое время,—два очень большой важности вопроса!.. А так как от вашего решения, господа, будет зависеть весь дальнейший план действий, то прошу вас обсудить эти два вопроса каждому про себя и свое заключение изложить письменно, в виде докладной записки.

Генералы многозначительно переглянулись. У каждого из них было уже про запас свое мнение

по первому из предложенных им вопросов, но каждому именно в этот момент свое мнение показалось опрометчивым, и не было уверенности ни в одних из генеральских глаз.

— Что касается меня, ваше сиятельство, то я думаю...—заговорил было, поднявшись с места Хрулев, но Горчаков перебил его с недовольной миной:

— Думать мы будем завтра, господа, когда зачитаны будут все докладные записки!

На слове «все» он сделал особое ударение.

Генералы покинули главный штаб, чтобы собраться снова на другой день, каждый со своим листом крупным начальническим почерком написанной бумаги. На этот раз Горчаков пригласил их не к себе, а на Николаевскую батарею, в квартиру начальника гарнизона—Сакена.

Записки о том, как было бы желательно поступить, чтобы выйти из тяжелого положения, создавшегося в Севастополе к концу июля, подавались Горчакову и раньше Хрулевым и Сакеном; может быть, они и навели главнокомандующего на мысль отобрать не устные, а письменные мнения виднейших генералов.

Кроме того, он, смолodu штабной, отлично знал, конечно, цену письменному документу в сравнении с устным докладом. От мнения, высказанного устно, всякий мог бы отпереться в случае крупной неудачи дела; мнения же, изложенные на бумаге, заранее давали ему в руки оправдательный вердикт.

Было утро,—не более десяти часов,—когда в обширном кабинете Сакена, на втором этаже, началось чтение докладных записок. Чтобы солнце не било в окна, из которых был вид на Большой рейд, а также и на неприятельскую эскадру, стоявшую на якоре полукругом, Горчаков тоном просьбы приказал завесить окна. Этим занялись два адъютанта Сакена, и на окнах повисли белые гардины, отчего убавилось в кабинете строгости, прибавилось прохлады.

Горчаков несколько времени сидел молча, оглядывая всех, казалось бы, пристально, но какими-то пустыми глазами; наконец, он сказал крикливым, искусственно прозвучавшим голосом:

— Предлагаю начать чтение записок!

Генералы вопросительно посмотрели на него и друг на друга, и Семякин, сидевший близко к Горчакову и потому расслышавший его, спросил ва всех:

— Кому прикажете начать чтение, ваше сиятельство?

— А вот вы... вы, кажется, младший здесь по производству из генерал-лейтенантов, вы и начните,—тем же резким голосом, видимо, волнуясь, ответил Горчаков.—А дальше в этом самом порядке пусть и пойдет чтение: от младших к старшим.

Семякин поклонился, развернул свой лист, и

чтение первого мнения по поводу вопросов: какое действие предпринять и в какое время,—началось.

Когда Семякин представлялся 10-й дивизии, командиром которой он был назначен, он кричал солдатам:

— Хорошенько взглядысь, ребята, в мою рожу: я новый начальник вашей дивизии, и даже в темную ночь должны вы меня отличить от всякого другого!

Нельзя было сказать, чтобы выразил он тогда преувеличенное мнение о своем лице: оно было действительно из весьма некрасивых. У сатиров на древних греческих статуэтках были такие угловатые, узкоглазые лица, курносые и забубенные, однако неглупые.

Серьезными подобные лица почему-то трудно представить даже при большой серьезности момента, и теперь, громко, как все тутоухие, читая свою записку, Семякин как будто таил про себя ироническое отношение и к ней и к главнокомандующему, к которому он в ней обращался, и ко всем остальным членам совета.

— На вопросы, предложенные вашим сиятельством, имею честь по долгу верноподданного и крайнему моему разумению, изложить мое мнение,—начал Семякин.—Оставаться в Севастополе в пассивном состоянии на продолжительное время, по многообразным причинам как в военном, так и административном отношении мы не можем... Неприятель приблизился уже на многих пунктах на весьма близкое расстояние к нашим веркам, и... результатом его успешной атаки будет потеря Севастополя и большей части гарнизона. Для перехода в наступательное состояние представляется два способа: а) атаковать неприятеля из крепости и б) атаковать его со стороны Черной речки, но оба эти способа трудно исполнить, и они не принесут существенной пользы.

Взглянув после этих решительных слов на Горчакова, Семякин продолжал так же громко и отчетливо:

— Для приведения в исполнение первого способа необходимо будет в той части города, откуда будет назначена атака, сосредоточить значительные массы войск, не менее пятидесяти тысяч, а скрыть от взоров неприятеля такую массу войск мы не имеем возможности, следовательно он будет уже подготовлен... Допустим, что, несмотря на все затруднения и неминуемо значительные потери, успех будет на нашей стороне... неприятель, рассмотрев наше положение, через сутки или менее сосредоточит свои силы в большой численности, употребит все усилия, чтобы сбить нас и вместе с нами ворваться в наши укрепления.

А потому смею думать, что этим способом мы нисколько не выиграем и не выйдем из пассивного положения, а только понесем весьма значительную потерю в войсках, и без того ослабленных а

числительности, но зато еще не упавших духом. Второе предложение атаки со стороны Черной речки может принести временную пользу: озаботит неприятеля на несколько дней, заставит его сосредоточить все его растянутые силы снова к балаклавскому лагерю и на Сапун-гору; Севастополь же останется в одинаково невыгодном положении и даже, быть может, еще в худшем.

Кроме того, считаю долгом присовокупить, что несколькодневное отсутствие войск от Севастополя подвергает город величайшей опасности: союзники одновременно с делом на Черной речке могут атаковать и даже взять его, ибо значительные силы так близко расположены, что в несколько часов могут быть сосредоточены, тогда как наши, будучи заняты делом в отдаленности, не будут и знать о происходящем под Севастополем, а тем более не будут в состоянии подать городу какую-либо помощь.

А потому для облегчения,—только временного,—Севастополя я предполагал бы произвести большую демонстрацию на Чоргун, но отнюдь не всеми войсками, а, примерно, пятью дивизиями, имея большие резервы в Севастополе и на Северной стороне.

Второй вопрос: в какое время?

Так как по всем сведениям, имеющимся от перебежчиков, можно заключить, что 3/15 августа неприятель намерен атаковать Севастополь, то, смею думать, что демонстрация на Чоргун до этого времени может удержать его от штурма на некоторое время, и то лишь до разъяснения наших намерений, а затем союзники еще с большей настойчивостью будут действовать против Севастополя...

Семякин, дочитав это последнее без передышки, замолчал вдруг, точно оборвал, и посмотрел на Горчакова вопросительно, как он к этому отнесется.

— Вы кончили?—спросил его Горчаков.

— Кончил, ваше сиятельство,—поспешно ответил Семякин, подавая ему свою записку.

— М-м... да, вот видите, какие выводы!—сказал Горчаков, слегка повернув голову в сторону Вревского, но как будто не ему лично, а так, в пространство. Он взял записку Семякина, разглядел ее ладонью и положил около себя, как оправдательный для себя документ, и добавил:— Обсуждать мнение генерал-лейтенанта Семякина мы не будем а перейдем к заслушиванию других мнений, по старшинству чинов, считая от младших к старшим.

4

Семякин пытался по выражению лица главного командующего угадать, доволен ли он его докладной запиской, согласен ли он с ним, что если делать демонстрацию, то исключительно только со стороны деревни Чоргун, и то потому лишь,

что каких-то наступательных действий требуют из Петербурга, а лучше, конечно, обойтись без всяких демонстраций, так как достаточно уж, кажется, ясно и решительно всем севастопольцам, что демонстрации не принесут никакой пользы, а прямое наступление даст только огромный вред.

Окончивший академию генерального штаба Семякин не был, конечно, неучем в стратегии, но он понимал, что кроме стратегии есть еще и политика, и что именно она, политика, требует непременно каких-то наступательных действий, которые стратегически невозможны.

Он перевел из Одессы в Севастополь двух своих сыновей, только что произведенных в первый офицерский чин, и они уже были участниками нескольких вылазок, счастливо избегнув пока увечья, но вылазки малыми отрядами были одно, а наступление большими силами на позиции противника, представлявшие гораздо более сильную крепость, чем Севастополь,—совсем другое. Оно грозило стать вторым 6 июня, только с совершенно обратными результатами.

Но вот остальные генерал-лейтенанты установили порядок старшинства своего производства, и Бухмейер, оказавшийся младшим из них, начал свою записку.

Голос его был глуховат, не особенно внятен для Семякина, но мысль записки его оказалась вполне определенной: «Какое действие предпринять?—Атаковать противника со стороны реки Черной.—В какое время?—Немедленно».

Семякин раскрыл, насколько мог, свои узкие глаза, веки которых в это утро были как-то особенно тяжелы, и смотрел на этого строителя мостов изумленно. Он перевел их потом на Горчакова, но тот как будто задался в этот день мыслью изображать бесстрашие, спокойствие, полнейшую нелицеприятность и только пожевывал иногда губами, но просто по очевидной привычке к этому занятию.

Записку Бухмейера он взял, протянул ей навстречу длинную, длиннопалую и сухопарую руку, без малейшей тени неудовольствия за стеклами своих очков и, разгладив ее ладонью, положил рядом с первой.

Вице-адмирал Новосильский, незадолго перед тем вернувшийся из Николаева, где он лечился и отдыхал, поднялся вслед за Бухмейером. «Вот кто скажет по-настоящему!—подумал о нем Семякин.—На четвертом бастионе был с самого начала осады...»

Он приставил руку к тому уху, которое слышало, и раскрыл ему в помощь рот, чтобы не пропустить ни одного слова, однако дальше рот его невольно раскрывался все шире и шире от удивления: Новосильский, этот крепкий русский человек, повторил в своих выводах немца Бухмейера! Он тоже предлагал наступление в больших

силах со стороны Черной, притом безотлагательно, как будто под ним уже горела земля.

Семякин перевел с него непонимающие удивленные глаза теперь уже не на главнокомандующего, а на того, который прислан был в опекуны ему из Петербурга, и увидел, что барон Вревский благожелательно поглядывал на вице-адмирала и на Сержпутовского, которому нужно было в порядке старшинства выступать вслед за ним.

«Неужели барон и Сержпутовского обработал?—встревоженно подумал Семякин.—Начальник артиллерии всей Крымской армии, не моряк ведь,—участник Дунайской кампании, серьезный человек,—как же так? Не может этого быть!»

Однако Сержпутовский, попытавшийся было поднять тяжкие брови, но так их и не поднявший, проверив состояние своих копьевидных усов заботливым прикосновением пальцев левой руки, начал читать густым рокошущим голосом нечто такое, что явно клонило к немедленному наступлению, притом от Черной речки; и когда Семякин действительно такой именно вывод слышал, он, бывший начальник штаба Меншикова, испуганно схватил лист из лежавшей на столе кипы белой бумаги и очиненное гусиное перо из раскрытого пенала, придвинул к себе чернильницу,—бронзовую, в виде пчелиного улья с медвежьей головой на крышке,—и начал писать дополнение к своему мнению, иногда взглядывая на Горчакова.

«В записке, поданной сего числа на вопросы вашего сиятельства, я ограничился только рассмотрением возможности выйти из пассивного положения нашего, не оставляя Севастополя, и пришел к тому убеждению, что переходом в наступительное положение мы не достигнем положительно полезных результатов: Севастополь останется попрежнему в пассивном положении, а только лишь на несколько времени отстрочится катастрофа...»

На этом Семякин прервал деятельность своего разбежавшегося было в ожесточении по плотному листу бумаги хорошо очиненного каким-то умелым писарем Сакена пера, потому что поднялся читать свою записку Хрулев.

Это была, впрочем, не записка, что он держал в руках, а целый пучок мелко исписанных листов бумаги. «Трудолюбец!—иронически подумал Семякин.—Когда же это он успел написать столько?..»

Своего соратника по майскому делу у Кладбищенской высоты он принялся было слушать весьма внимательно, но минут через десять увидел, что горячая голова Хрулева подсовывала ему, когда он составлял записку, множество всяких мелочей возможного наступления, мелочей, необходимых, конечно, в том случае, если наступление решено окончательно, но досадных, способ-

ных даже озлобить слушателей, так как не видно было, в каком именно направлении рекомендует наступать Хрулев и рекомендует ли даже. Он сначала выдвинул было одно направление, но когда Семякин совсем было убедился, что это именно направление для наступления он и будет отстаивать, Хрулев вдруг перешел к подробному изложению его недостатков, затем заговорил о другом направлении и, наконец, о третьем.

Сам, очевидно, понимая, что выслушать все, что написал он, будет для Горчакова трудно, он спешил читать и, по мнению Семякина, многое комкал, произносил неясно, неотчетливо, кое-как... Но вот вдруг он сделал ударение на словах «необходимо очистить Южную сторону», и Семякин, не вслушиваясь в дальнейшее, снова схватил отложенное было перо и, точно боясь забыть то, о чем думал, принялся писать снова:

«Итак, если продолжение обороны Севастополя на прежнем основании признается невозможным, а наступательные положения из города и с Черной речки не обещают действительных, полезных результатов, то, по моему убеждению, и рассматривая вопрос, не вдаваясь в политические соображения, которые мне неизвестны, то—совершенное оставление Севастополя, перевод войск и необходимого количества орудий и снарядов на Северную сторону, уничтожив укрепления взрывами,—занятие и укрепление высот против бухты и Черной речки и занятие Чоргунских высот достаточно сильным отрядом...»

Тут Семякин остановился, так как, с одной стороны, потерял сказуемое, которое все вертелось в голове, пока он писал это, и вдруг куда-то исчезло, а с другой—поймал одним ухом выводы Хрулева, до которых тот, наконец-то, добрался.

Хрулев, как оказалось, предлагал как раз то же самое, о чем только что написал Семякин: укрепить как можно сильнее Северную, вывести весь до одного человека гарнизон Севастополя, укрепления, конечно, взорвать и не позже двух дней перейти в наступление всюю массой войск сразу.

— Не позже двух дней после чего же именно?—спросил его Горчаков с недоумением на вытянутом плоском лице.

— Не позже двух дней после того, как будет выведен гарнизон, ваше сиятельство,—вполне уверенно ответил Хрулев.

— Гм... Гм... А почему же именно «не позже двух дней»?

— Потому что за три дня противник успеет уже разобраться в оставленных ему развалинах и укрепиться, ваше сиятельство, а два дня у него уйдет на то, что он будет ожидать все новых и новых взрывов.

— Но в таком случае противник, стало быть, поопасается вводить в город свои войска в течение этих двух дней, чтобы не понести потерь.

от взрывов,—так я вас понимаю?—снова спросил Горчаков.

— Безусловно, он должен опасаться этого, ваше сиятельство.

— Тогда, позвольте-с, тогда каким же образом за один день он может и разобраться да еще и укрепиться в развалинах, какие мы ему оставим?

Сказав это, Горчаков победоносно посмотрел на Хрулева, потом на Коцебу. Но Хрулев ответил энергично:

— Как артиллерист, ваше сиятельство, я имею честь утверждать, что одного дня будет довольно для того, чтобы разобраться в развалинах, какие бы они ни были, и, особенно, чтобы укрепиться в них!

— Предположим... Допустим это, да, но я так и не понял, прошу меня извинить, в каком же направлении, думаете вы, лучше всего было бы произвести наступательные действия?—спросил Горчаков на этот раз уже как будто несколько раздраженно.

— Я полагаю, ваше сиятельство, что при способности нашего противника очень быстро сосредоточивать в любом месте своих позиций войска, направление то или иное большого значения не имеет,—взволнованно ответил Хрулев.

— Та-ак!—наклонил голову Горчаков, уже нескрываяемо насмешливо, хотя сам не улыбался при этом, а Хрулев, приняв это «та-ак» за оскорбление, отозвался запальчиво:

— Если вести наступление, то вести его надо сразу всеми нашими силами и не в одном каком-нибудь направлении, а везде, где это возможно сделать,—только при этом условии мы сможем припереть неприятеля к морю и тем закончить войну!

5

Семякин заметил, что вспышка Хрулева, хотя как будто и беспредметная, значительно подогрела холодноватое совещание «больших эполет».

Дежурный генерал главного штаба Ушаков, зачитавший свою записку после Хрулева, остановил было на себе внимание Семякина тем взглядом, какой он высказал, а именно: непременно протянуть оборону Севастополя, чего бы это ни стоило гарнизону, до ноября, когда окончательно соберутся все подкрепления, назначенные в Крым, включая сюда и шестьдесят пять тысяч ополчения, и гренадерский корпус, и маршевые батальоны...

Это мнение, выраженное генералом штаба самого Горчакова, очень удивило Семякина. Ушаков говорил это так, как будто только что приехал из Петербурга и очень мало понимал, в каком положении уже сейчас, в июле, находится Севастополь. Поэтому Семякин снова взялся за отложенное перо, прочитал последнюю фразу, нашел запорошавшееся было сказуемое и принялся дописывать:

«...представляет большие выгоды в смысле стратегическом, а именно:

1. Армия будет сосредоточена на недоступной позиции, не подвержена неприятельскому огню, а по своей численности неодолима.

2. Неприятель, приобретая развалины Севастополя, будет сам поставлен в пассивное положение, ибо от определенной местности не в состоянии будет двинуться...»

Ушаков между тем, оставив область несбыточного, спустился с заоблачных высот на твердую почву действительности и в конце своей записки присоединился к высказанному уже тремя членами совета мнению, что если крайность вынуждает непременно перейти к наступательным действиям, то начинать их необходимо со стороны Черной речки.

«Попугай бессмысленный!—обругал его про себя Семякин.—Говорит с чужого голоса, а что он такое наболтал, и сам, конечно, не понимает! Однако стал уже четвертым в ряду дураков!»

Но тут же припомнил он, что и сам читал в своей записке, что надо произвести демонстрацию со стороны Чоргупа,—припомнил и оправдал себя: «со стороны Чоргуна—это так, но зачем же лезть на рожон на Федюхины высоты? Овладеть же Чоргуном было бы неплохо,—Чоргунские высоты замкнули бы нам левый фланг и угрожали бы ихнему правому...»

Вслушиваясь между тем в то, что зачитывал генерал-квартирмейстер Бутурлин, и убедившись, что он чуть не дословно повторяет Ушакова, точно писали они свои записки, сидя рядом за одним столом и косясь, как школьники, в тетрадки друг к другу, Семякин начал неторопливо уже заканчивать свое «дополнение».

«Если же он (неприятель) пожелает перенести театр войны перевозом войск на судах на другой пункт Крыма, то ему всегда может быть противопоставлена вся наша армия, оставя, сколько надобность укажет, у Севастополя.

И наконец, 3. Занимая позицию на высотах Северной стороны и владея высотами Чоргуна, никогда не будет поздно, воспользовавшись обстоятельствами, которые могут представиться, нанести неприятелю решительный удар наступлением на правый его фланг».

Написав это, Семякин почувствовал вдруг большое облегчение. Даже тяжелые верхние веки его будто потеряли это неприятное свойство—следствие плохо, почти без сна проведенной ночи.

И когда подал Горчакову свою записку Бутурлин, Семякин поднялся, прося у князя разрешения дополнить написанное им раньше.

Горчаков недовольно поморщился: это нарушило введенный им порядок подачи мнений, но все-таки буркнул:

— Зачитайте.

— Чего изволите?—нагнулся к нему подославший Семякин.

— Зачитайте!—громко повторил Горчаков.

— Слушаю-с.

И с полным сознанием важности того, что было им написано тут, среди речей, за столом заседания, Семякин приподнятым голосом прочитал свою бумажку. Но Горчаков сказал, когда он окончил:

— Рано! Преждевременно вздумали оставлять Севастополь!

Семякин расслышал.

— Предвижу скорую необходимость в этом, ваше сиятельство,—торжественно сказал он.

— Нет-с, время для этого еще не настало,—блеснув очками, отозвался на это Горчаков и, взяв у него «дополнение», положил его слева от себя, где одиноко прежде лежавшее первоначальное мнение Семякина было потом покрыто беспорядочными листками мнения Хрулева; а справа складывались главнокомандующим записки тех, которые стояли за наступление со стороны Черной речки.

6

Эта стопка записок справа выросла после того, как прочитали свои мнения Липранди и Коцебу.

Липранди держался важно. Семякин видел, что его бывший начальник по 12-й дивизии, ныне командующий шестым корпусом, ничего не предвидя, тем не менее придает очень большое значение каждому своему слову. При этом Балаклавское сражение и победа, одержанная в нем 12-й дивизией, отразилась на записке Липранди тем, что он, одновременно с наступательным движением от Черной речки в лоб на Федюхины высоты, проводил мысль о захвате еще и Чоргунской долины—Балаклавской то ж—от деревни Чоргун и до Сапун-горы, а затем уж предлагал решить на месте вопрос, можно ли будет атаковать после того Сапун-гору.

Семякин понимал его. То, что хотел он сделать перед Балаклавским сражением, испрашивая себе для этого у Меншикова армию в шестьдесят пять тысяч человек, то, чего он не сделал во время Инкерманского побоища, стоя во главе двадцати двух тысяч,—это хотел попытаться он сделать теперь. «Одна была у волка песня, и ту ты перенял!»—подумал про него Семякин.

Поднялся ли с места для чтения своей записки Коцебу, или нет, Семякин не разобрал: гном этот не мог бы показаться выше, если бы встал. Голос у него был—резкий высокий фальцет, не-большое личико гладко выбрито.

Конечно, и Коцебу, как все там, в главном штабе на Инкерманских высотах, стоял за наступление со стороны Черной речки, и Семякин теперь, уже даже не взглядывая на торжествующее лицо Вревского, определенно думал:

«Политика! Тащут по указке из Петербурга!.. А во что это наступление обойдется нашим солдатам да и офицерам тоже, об этом они молчок!..»

Очередь объявить свое мнение дошла, наконец, до самого начальника гарнизона, графа Остен-Сакена.

Если Хрулеву была ведома одна линия обороны—Корабельная сторона, а Семякину другая—Городская, то Сакен, стоявший над ними, должен был оказаться гораздо более сведущим.

Так же, как и Горчаков, очень внимательно вслушивался он,—это заметил Семякин,—во все, что зачитывалось генералами, но беспристрастия, точнее бесстрастия горчаковского—напускного, конечно,—не обнаруживал Сакен. Напротив, он, видимо, волновался, и это в нем было приятно Семякину.

Когда пришлось выступить ему, он дольше, чем надо бы было, глядел в свою записку, затем оглядел поочередно всех за столом, начиная с главнокомандующего, и произнес замогильно-масонским каким-то голосом:

— Тайное!—и поднял палец.

Записка его составлена была весьма обстоятельно, с подробным исчислением русских потерь и в Севастополе и под ним, начиная с октябрьской бомбардировки и кончая предыдущим числом июля. Он насчитал, что «для защиты Севастополя выбыло уже из строя шестьдесят пять тысяч человек».

— По случаю приближения неприятельских работ,—читал он,—потери увеличиваются прогрессивно; и если бы и возможно было оставаться в этом страдательном положении, подвергая гарнизон ежедневной огромной потере, то ни пороха, ни снарядов, ни, еще менее, продовольствия для лошадей не станет, а при неимении для больных и раненых зимних помещений и при испорченных временем года дорогах для их перевозки они подвергнутся гибели.

Поэтому,—повысил он голос,—всякое предприятие, не ведущее к снятию осады, есть мера бесполезного кровопролития! Между тем исключительно оборонительное положение рано или поздно поведет к падению Севастополя и вместе с тем к потере большей и лучшей, испытанной части нашей армии.

Все эти причины указывают единственную и необходимую меру: собрать в одно целое Крымскую армию, чтобы, действуя совокупно, можно было с большим правдоподобием ожидать успеха. Но мера сия должна быть приведена в исполнение до прибытия подкреплений к неприятелю.

Тут Сакен прервал чтение, оглядел всех за столом и произнес, понизив голос:

— Весьма тайное!

Палец при этом он не поднял: слова эти говорили сами за себя и без пальца.

— Итак, с стесненным сердцем и глубокою скорбью в душе, и по долгу совести, присяги и убеждению моему избирая из двух зол меньшее, должен я произнести единственное средство—оставление Южной стороны Севастополя!

Он сделал паузу и выразительно поглядел на одного только Горчакова, потом продолжал с пафосом:

— Невыразимо больно для сердца русского решиться на эту крайнюю ужасную меру; она глубоко огорчит гарнизон, триста девятнадцать дней борющийся с сильным неприятелем, имея ежеминутно перед собой смерть и увечье. В продолжение многих месяцев отталкивал я эту невыносимую мысль. Но любовь к отечеству и преданность к престолу превозмогли чувство оскорбленного народного самолюбия, и я скрепя сердце произнес роковую меру.

Но что приобретает неприятель, положивший перед Севастополем далеко более ста двадцати тысяч воинов,—цвет Франции и Англии?—Груды камней и чугуна!

Грозная Северная сторона не допустит его овладеть Северной бухтой.

Дальше Сакен пытался стать на место интервентов и отгадать их дальнейшие действия, стараясь в то же время доказать, что до 15 августа, когда будет готов мост через рейд, по которому будет выведен гарнизон, союзники едва ли отважатся на крупные шаги.

Кончил же он тем, что поднял палец, как и в начале своего чтения, и сказал:

— Если роковая мера не сохранится в глубочайшей тайне, то последствия могут быть ужасны!..

«Ну, вот, нашего полку прибыло»,—подумал, призначительно глядя на Сакена, Семякина, а сам Сакен в это время смотрел на Горчакова, чтобы узнать, какое впечатление на него произвела записка.

Горчаков с миной неудовольствия отрицательно махнул в его сторону кистью руки.

— Ваше сиятельство, вы сердитесь на меня?—прикладывая руку к сердцу, обратился к нему Сакен.—Но вы требовали искреннего мнения, а мнение должно быть основано на убеждении.

— Нисколько не сержусь,—возразил Горчаков,—и даже... даже благодарю вас... за откровенность.

Постучав пальцами по столу, как бы собираясь с мыслями, Горчаков начал подводить итоги тому, что было высказано генералами:

— По большинству голосов, господа, вопросы, мною поставленные, решаются, стало быть, так: произвести наступательные действия со стороны речки Черной—это ответ на первый мой вопрос; а на второй вопрос, то есть в какое время, общий ответ: немедленно... значит, когда наступление будет подготовлено.

Несколько помолчав, он добавил:

— Мнения членов совета, в общих, разумеется, чертах, я должен буду представить на высочайшее благоусмотрение, от себя же лично должен я сказать, что меру оставления Севастополя считаю рановременной... Чего можем достичь мы этой крайней мерой? Только торжества нашего противника... Ведь вся цель кампании сводится к чему именно? Для нас—сохранить Севастополь как можно долее, а для нашего противника—занять его, хотя бы только временно, вот вся задача войны... Обстоятельства могут, конечно, повлечь за собою,—может быть, даже и в скором времени,—необходимость очистить Южную часть Севастополя, как об этом говорили некоторые из членов совета, но я остаюсь в убеждении, что время для этого еще не настало... Нам надобно испытать, не помогут ли Севастополю наши свободные войска действиями в открытом поле. Если бог дарует нам успех, то... Это может значительно все-таки облегчить участь Севастополя, очень тяжелую, конечно... очень тяжелую, да...

Горчаков замолчал вдруг и опустил голову, и для того, чтобы повернуть в сторону бодрости, крылатых надежд временно как бы уставшего главнокомандующего, барон Вревский, поднявшись с места, обратился к нему пылко:

— Поверьте, ваше сиятельство, всего только несколько дней отделяет вас от торжества русского оружия! Вас ожидает слава, ваше сиятельство!

Горчаков сначала подбросил голову, потом медленно встал, заставив этим подняться и всех остальных генералов.

— Слава, вы сказали?—повернул Горчаков к Вревскому внезапно как-то побледневшее и искаженное даже лицо.—Я-я... знаю, что меня ожидает!—с большой силой выражения и резким голосом проговорил он.

Семякин смотрел на него изумленно. Он, не смотря на очки и безбородость, несмотря на свои золотые аксельбанты и эполеты, надетые для торжественного заседания, показался ему вдруг вдохновенным, как ветхозаветные пророки.



ГЛАВА ПЕРВАЯ ДНИ ПЕРЕД БОЕМ

1

Суворовскими маршами,—хотя давно уже начался век пара и рельсовых путей,—шли с юго-запада в Севастополь боевые полки 5-й пехотной дивизии: 17-й пехотный Архангелогородский, 18-й, тоже пехотный, Вологодский, 19-й егерский Костромской и 20-й егерский Галицкий (первые два полка каждой дивизии назывались в те времена «пехотными», вторые два—«егерскими»). А следом за 5-й шла так же браво, уложив солдатские сундучки на обывательские подводы и почти совершенно без отсталых, 4-я дивизия, полки: Белозерский, Олонецкий, Шлиссельбургский и Ладожский. Дальний Север России, звучавший в названиях всех этих полков, шел на помощь атакованному врагами Югу.

В одно время с первыми эшелонами полков 5-й дивизии подтянулись к Севастополю последние дружины Курского ополчения, и очень заметны стали среди солдат на сезном берегу Большого рейда войны древнерусского облика, с медными большими крестами на картузах: вальковатые, сероглазые, длинные волосы в кружок, русые бороды лопатой, топоры вроде секир или алебард за поясами, в чехлах...

Отбиваться этими топорами или даже штыками от штурмующих колонн они, конечно, могли бы, но стрелять их не успели выучить, и главнокомандующий, верный своему обыкновению принимать одно за другим несколько решений, сначала хотел влить их в полки, чтобы увеличить число штыков для наступательных действий, потом часть их распределил по батареям для подноски снарядов к орудиям и земляных работ, часть прикомандировал к госпиталям для замены прислужив-

вавших там солдат из полков и матросов, часть отправил на Братское кладбище копать могилы.

Полки же 4-й и 5-й дивизий должны были по диспозиции, составлявшейся в спешном порядке в главном штабе, войти в резерв, предоставив старым, не раз уже ходившим в штыки полкам Крымской армии честь наступления.

Напрасно на совете генералов в Николаевском форте говорил вполголоса и почти шопотом Сакен «тайное» и «весьма тайное» и поднимал палец! Если при Меншикове перед Инкерманским побоищем даже командиры отрядов не вполне ясно представляли, куда именно и какой дорогой им надо вести полки, то теперь, при Горчакове, это знали все: и генералы, и офицеры, и солдаты, и французы, и сардинцы, и англичане, и турки.

Горчаков не то чтобы подражал Святославу,—он не посылал интервентам знаменитого «Иду на вы!», но он совершенно не способен был держать чего бы то ни было в секрете.

Сакен, как начальник гарнизона, получил от него бумагу с надписью «весьма секретно» и с требованием снять 7-ю дивизию с бастионов и отправить ее на Инкерман в распоряжение генерала Реада, то есть для целей наступления; неприятно пораженный тем, что обессиливается гарнизон Севастополя, Сакен еще только думал, как сообщить об этом начальнику 7-й дивизии, когда неизменный адъютант его, подполковник Гротгус, счел нужным поделиться со своим начальником свежей новостью:

— А знаете ли, ваше сиятельство, все говорят, что у нас отбирают седьмую дивизию для действий на Черной речке!

И все действительно говорили не только об этом, но и о разных других подробностях наступления, и все это становилось известным на левом берегу Черной, и только сам Пелисье долго не хотел верить своему счастью, считая слухи, идущие с

правого берега реки, сознательно распускаемыми хитрецами из главного штаба русской армии, чтобы сбить его с толку, приготовить удар где-то в другом месте.

Однако если даже только демонстрация готовилась со стороны Черной речки, то донесения говорили Пелисье о больших размерах подготовлений к ней.

Неприступность своих позиций на правом фланге Пелисье знал, поэтому писал в донесении на имя военного министра маршала Вальяна:

«Я спокоен за весь свой правый фланг: это одна из тех гористых местностей, где действовать массами не представляется возможным, и неприятель может производить разве только демонстрации».

Чтобы обезопасить себя от них, Пелисье приказал всем батареям быть вполне готовыми к одновременному открытию огня, а пехотным частям усилить охранение, чтобы не быть атакованными внезапно. Вылазка большими силами из Севастополя в направлении на редут Викторию,—вот что представлялось Пелисье наиболее возможным со стороны Горчакова, но он переоценивал стратегические способности руководителя русских сил.

2

Очень редко бывало в истории войн, чтобы главнокомандующий большой армией, готовясь к наступательным действиям, проявлял такую нерешительность, такую беспомощность, как Горчаков.

Он волновался ужасно, он вмешивался во все работы своего штаба, подготавливавшего диспозицию, он путал и портил все предположения по нескольку раз в день. Наконец он вспомнил, что на совете генералов не был,—не мог быть, как больной, лечившийся в Бельбеке,—Тотлебен, и так как его нельзя было пригласить на Инкерманские высоты, он отправился к нему сам в Бельбек, приказав заложить лошадей в коляску.

Прогулку эту он совершал, конечно, не в одиночестве, он не переносил одиночества,—это была основная черта его характера.

Когда Меншиков задумывал свою вылазку из Севастополя на Сапун-гору, он делал для этого рекогносцировки сам, подъезжая на своем некартинном муле, в плаще и папахе, как можно ближе к позициям англичан. Похож ли он был в это время на главнокомандующего? Нисколько. Его не узнавали даже и русские солдаты и простодушно хохотали над каким-то чудачком, длинные ноги которого задевали за землю, когда он елозил на ишаке по косогорам.

Совсем иначе делал свои рекогносцировки Горчаков, начавший заниматься этим еще задолго до совещания генералов,

Свита не менее как в тридцать человек окружала его,—и блестящая свита! Одних генералов набирал он для этих парадных выездов побольше десятка, и лошади под ними, конечно, не похожи были на лохматеньких казачьих маштачков,—крупные, холеные, они важничали, точно понимая свое положение,—и на многочисленных всадников на прекрасных конях поневоле должны были обращать внимание даже самые ленивые и даже полусонные из солдат линии французских пикетов на левом берегу Черной речки.

Горчаков останавливался то здесь, то там; для порядка рассматривал в трубу неприятельские позиции, хотя и мало что видел. Потом он передавал трубу другим генералам, и все судили, рядили, показывали туда и сюда руками, оценивая вслух силу позиций и трудности подступа к ним с правого берега речки.

В трубы смотрели в это же время на главнокомандующего и его свиту французские офицеры, а потом доносили о своих наблюдениях высшему начальству.

И вот после первой же такой прогулки Горчакова французские инженеры обеспокоенно планировали новые и новые траншеи, и возникали траншеи... После второй его рекогносцировки французы пришли к заключению, что одних траншей, пожалуй, будет мало, и принялись устраивать настоящие укрепления. После третьей,—когда для Пелисье стали вполне ясны цели прогулок Горчакова,—число укреплений было увеличено вдвое, и все они в изобилии снабжены были и орудиями и снарядами к ним, а для сбора пехотных частей на случай нападения русских приказано было подготовить вместительные площадки на Федюхиных горах.

Неизменно сопровождал в рекогносцировках этих главнокомандующего генерал Липранди, мнения которого князь ценил. Липранди не мог не видеть, как укрепляли французы свои позиции, не систематически, а порывисто: после каждого выезда Горчакова со свитой на их стороне замечалась усиленная работа.

— Что же это такое? Выходит, что от всех этих хлопот князя польза не нам, а только французам!—говорил Липранди.

Да, польза была тем, кто делал свои разведки, забывая о парадах, кто смотрел на войну гораздо проще и деловитей.

Тотлебен не ожидал приезда к себе главнокомандующего. Он занимал небольшой дом в имении Бибиковых и полулежал в качалке на занавешенной от солнца веранде, когда его адъютант разглядел вдали, за клубами пыли вместительную коляску Горчакова, которую конвоировали донские казаки; пики казаков мерно покачивались в такт рыси их коней; адъютантов князя на этот раз не было с ним, но когда коляска подкатывала

уже к дому, видно стало, что Горчаков все-таки поехал беседовать с Тотлебенем при свидетелях: с ним были два генерал-адъютанта—Коцебу и барон Вревский—десница его и шуйца.

С крохотным Коцебу, как с давним уже начальником своего штаба, Горчаков привык говорить, как с самим собою вслух; его он без всякого стеснения будил ночью, когда самому ему не спалось от охвативших его опасений, и Коцебу обладал магической способностью успокаивать своего начальника и приводить в необходимое равновесие; он, маленький, выполнял обязанности пестуна, няньки, при главнокомандующем, но няньки, присланной им самим.

Совсем другая роль была у Вревского. Он тоже был вроде няньки при этом длинном, плохо видевшем и плохо слышавшем, весьма рассеянном и обладавшем плохой памятью вожде русской армии в Крыму, но няньки, присланной из Петербурга самим царем при посредстве военного министра; и как раз утром в этот день вторая нянька Горчакова отправила письмо князю Долгорукову:

«Накануне решительных событий позвольте, ваше сиятельство, сказать вам, положив руку на сердце, что если богу будет угодно и князь Горчаков погибнет в этом деле, то честь нашего оружия требует, чтобы преемником ему был назначен человек энергичный и решительный—слова, генерал Лидерс».

Так далеко простиралась заботливость Вревского о своем подопечном, что он предусматривал даже близкую гибель его и приготовил ему преемника!

Однако, что бы ни ожидало Горчакова через день, он, сделав несколько верст по свежему воздуху не в тряском седле, а на мягком сиденье рессорной коляски, чувствовал себя возбужденно-бодро, расположась на веранде около пытавшегося было подняться ему навстречу и не могшего это сделать Тотлебена.

Две бутылки лимонада,—шипучего, холодного, только что с погреба,—поставленные перед высокими гостями, явились хорошим средством для вступления в весьма деловую беседу, и беседа эта, решавшая участь нескольких тысяч человек солдат и офицеров, началась.

— Вам, конечно, неизвестно, Эдуард Иванович, что был военный совет двадцать девятого числа,—проговорил Горчаков с видом человека, готового на подвиг, но сомневающегося все-таки в том, что этот подвиг будет полезен.—В сущности, совет был весьма неполон, очень неполон... Не было генералов Реада и Веймарна,—оба оказались больными тогда,—теперь они оба здоровы и оба готовятся к действиям. Но главным образом очень сожалею я, что не было вас.

— Я не мог быть на совете, ваше сиятельство, но я слышал, что участники совета подавали свои

письменные заявления,—однако ведь это мог бы и я сделать тоже, если бы получил на то распоряжение вашего сиятельства,—возразил Тотлебен.

— Вот видите!—живо обратился Горчаков к Коцебу.—Это большое упущение с вашей стороны!

Коцебу, усердно глотавший в это время освежающий лимонад, поставил стакан на стол и с тем спокойствием, с каким привык он отражать все вообще наскоки на него главнокомандующего, ответил:

— Прошу, ваше сиятельство, припомнить, что ведь предполагалось не только зачитывать докладные записки, но и личные объяснения по ним давать, что некоторым членам совета и пришлось сделать... ввиду допущенных ими крайностей.

— Да, крайности!.. Эти крайности, может быть, явились бы спасительными в нашем положении,—кто знает,—пытливо глядя на Тотлебена, как на оракула, сказал Горчаков.

— Насколько мне известно, ваше сиятельство,—беспомощно сидя вот тут на месте,—решено было перейти к наступательным действиям со стороны Черной, и к этому уже готовятся, но мое запоздалое мнение таково: это не принесет ничего иного, кроме как поражение нашей армии!—очень твердо отозвался на слова Горчакова Тотлебен, не выждав прямого вопроса князя, так как вопрос этот сквозил в его испытующих глазах.

Продолжительные страдания от раны, полученной еще в начале июня, наложили свой отпечаток на этого всегда деятельного, энергичного инженер-генерала. Он спал с тела, похудевшее лицо его вытянулось, побледнело, пожелтело на впавших висках; заметно выступили скулы, и теперь тощая кожа на них зарделась от волнения.

— Вы слышали?—почти подскочил на стуле Горчаков, обернувшись к барону Вревскому, но Вревский уже и без того смотрел на Тотлебена подозрительными и даже несколько презрительными, пожалуй, глазами.

С самого приезда Вревского в Севастополь Тотлебен числился больным, хотя Горчаков не замечал его никем другим: под его руководством все оборонительные работы вели два инженер-полковника—Гарднер и Геннерих, и Вревский видел, конечно, что это отдаленное руководство приносило уже мало пользы осажденному городу, так как, по приказу Горчакова, ни тот ни другой из инженеров самостоятельно не мог действовать даже в мелких вопросах обороны, а поездки их к Тотлебену в последнее время отнимали у них много времени. Вследствие этого, например, на Корабельной стороне вместо ста двадцати новых орудий больших калибров успели установить только сорок.

— Поражение будто бы нас ожидает?—насколько мог мягко отозвался Тотлебену Вревский.—На совете решено было наступление не в

этих, разумеется, целях. Но ведь бывают также и такие поражения, что вполне стоят победы: Бородинское поражение, например. Не оно ли, в сущности, подрезало крылья Наполеону?

— Кроме того, пятого числа назначена общая бомбардировка Севастополя,—вставил резким своим, птичьим голосом Коцебу.—Предотвратить эту бомбардировку—вот одна из целей наступательных действий, принятых на военном совете. Потери же наши от этой бомбардировки будут колоссальными, если мы ее допустим.

Довод Коцебу повторялся им, очевидно, уже несколько раз, и Тотлебен почувствовал это. Миссия Вревского при главном штабе Крымской армии ему была известна и раньше, и другого мнения о наступательных действиях он от него не ждал. Но Горчаков,—он понял это,—приехал в Бельбек совсем не затем, чтобы зря потратить время почти накануне готовящегося боя: он, колеблющийся, нерешительный, явно приехал сюда за поддержкой. Мгновенно взвесив это и даже как-то физически окрепнув вдруг, Тотлебен заговорил, наклоняясь со своей качалки то в сторону Вревского, то к Коцебу:

— Вы сказали, что поражение иногда бывает равносильно победе. Это есть совершенно верно, но иногда! Но только именно иногда! И даже очень редко, и очень мало можно найти таких пирровых побед¹ в истории войн. А поражений, как поражений, о-о, таких есть сколько угодно. И надо предполагать не то, что бывает иногда, очень редко, а то, что сплошь и рядом бывает и часто, кроме того, решает судьбу всей кампании. Бомбардировка генеральная начнется будто бы пятого числа? Но, во-первых, может статься, что не начнется пятого, а позже; во-вторых, если даже допустить, что пятого начнется, то что же делать? Разве она первая бомбардировка? Они стали сильнее, чем были, но, однако, и мы стали сильнее. Пусть за этой бомбардировкой последует генеральный штурм. Тут нас ждет, наверное, та же удача, какая нас посетила шестого июня. А наступательные действия наши, то есть наш штурм очень сильных позиций противника, выгоден кому же еще, как не союзникам? Бомбардировки генеральной мы этим не предотвратим, а поражение наше решит скорую участь Севастополя,—вот мое мнение!

Теперь лицо Тотлебена порозовело сплошь; ему казалось, что он сказал именно то, что нужно было Горчакову, что он только и хотел от него услышать. Но Горчаков вдруг отозвался на это строго:

¹ Пирр (319—272 г. до н. э.)—царь Эпира, одержавший победу над римлянами в 279 г., но, обессиленный борьбой, был через год ими разбит; отсюда всякая временная победа, не обеспечивающая окончательного успеха, называется «пирровой».

— Участь Севастополя была предрешена моим злосчастным предшественником, князем Меншиковым, в сражении двадцать четвертого октября, так называемом Инкерманском... А мне приходится только пожинать то, что он посеял.

— Я отлично помню это сражение, ваше сиятельство,—в некотором замешательстве уже ответил Тотлебен.—Я был участником этого сражения,—несчастливого для нас во всех отношениях... Оно было очень плохо задумано и...

— И еще хуже того проведено,—закончил за него Горчаков.—Операция наша со стороны Черной речки задумана гораздо лучше,—не так ли?—обратился он к Коцебу.—Но я не могу, конечно, сказать наперед, как она будет проведена... А перевес сил, примерно, тысяч на пятнадцать, неминуемо будет на стороне противника.

— Но ведь если такой огромный перевес в силах противника предполагаете вы, ваше сиятельство, то что же означает «хорошо задуманная операция»? Ведь вести полки наши на прекрасно укрепленные позиции, которые защищает противник, значительно превосходящий в силах, это... это не больше есть, как вести их на полный расстрел, чем же они заслужили такую казнь?—в волнении спросил Тотлебен.

Вревский, услышав это, коротко и презрительно усмехнулся, Коцебу предпочел заняться снова отставленным было в сторону стаканом лимонада, а Горчаков спросил вместо ответа кратко и сухо:

— Что же вы намерены предложить?

— Кроме того, что я выразил уже, ваше сиятельство, мне кажется совершенно невозможной задачей утвердиться на Федюхиной и Гасфортовой горах, если даже, предположим это,—первоначальный успех, при очень больших, разумеется, жертвах, был бы налицо,—стараясь уже выбирать менее резкие выражения, отвечал Тотлебен.—Поэтому, раз уже решены наступательные действия... наступательные действия против сильнейшего противника,—и в людях, и в материальной части тоже,—то мне представляется единственно возможным вести их от наиболее угрожаемого при штурме участка оборонительной линии, то есть от Корабельной. Что избрать при этом путями наступления? Две балки: Лабораторную и Доковую. Идя по ним ночью большими силами, завладеть можно Воронцовской высотой, а оттуда зайти в тыл Камчатского редута и выбить неприятеля.

— Затем?—неприкрыто-иронически спросил Вревский.

— А затем,—как бы не заметив иронии вопроса, продолжал, разгораясь, Тотлебен,—если это нам удастся совершить, всеми совокупными силами двинуться на редут Викторию.

— Потом на Зеленую Гору?—тем же тоном спросил Вревский.

— Нет!—энергично ответил Тотлебен.—Распро-

страняться в сторону Зеленой Горы нам не должно! На редуте Виктория, равно как и на двух предыдущих пунктах, нам следует укрепиться и ждать атак противника. Вот эта операция способна была бы отдалить падение Севастополя, а действие в сторону Федюхиных высот—это действие будет только на-руку нашим противникам и падение города ускорит.

Горчаков выслушал Тотлебена очень внимательно, потом проворчал:

— Что-то подобное говорил и Хрулев, а?—и посмотрел вопросительно на Коцебу.

— Генерал Хрулев пытался обосновать подобный проект и излагал его долго, но у него мало что вышло, ваше сиятельство,—как знаток всяких штабных тонкостей, ответил Коцебу и обратился к Тотлебену:—Как думаете вы, Эдуард Иванович, можно было бы для наступления со стороны Корабельной сосредоточить большие силы секретно от неприятеля?

— Очень трудно! Оч-чень большой трудности задача!—тут же отозвался на этот вопрос начальника штаба Тотлебен.—Город открыт для неприятеля со всех сторон, даже и с брандвахты эскадры в море... Очень трудно собрать на Корабельной необходимые силы... Но ведь еще труднее лезть напролом на Федюхины горы... Они и в конце мая были укреплены на редкость, а что там могли сделать за два месяца,—это я в состоянии вполне представить.

— Наступление со стороны Корабельной требует подготовки,—раздумчиво проговорил Горчаков, побрябавив по столу пальцами и пожевав губами.

— Непременно, ваше сиятельство: по крайней мере недели две.

— А к тому времени как раз будет готов мост через Большую бухту,—ночью же через мост можно провести до пятидесяти тысяч пехоты и артиллерии,—начал раздумывать вслух Горчаков,—так что если мы выдержим бомбардировку и отразим штурм, то... Я над этим подумаю, Эдуард Иванович.

Лицо Горчакова посветлело настолько, что Тотлебен решил заметить:

— А главное, ваше сиятельство, будут сбережены для этих действий десять, двенадцать тысяч, а может быть, даже и больше человек прекрасных наших солдат, которые совершенно бесцельно погибнут при штурме Федюхиных гор!

— Да, бесцельно, вы, разумеется, правы!—покачав головой, согласился Горчаков.—Но ведь вопрос о наступлении со стороны Черной речки не решен еще мной окончательно.

— Как же так не решен, ваше сиятельство?—очень изумился такому легкомыслию главнокомандующего барон Вревский.—Он не только решен на военном совете в положительном смысле, он еще и, что гораздо важнее, вполне соответствует

указаниям его величества!.. А вас, ваше превосходительство,—круто повернулся Вревский к Тотлебену,—считаю долгом своим предупредить, что на вас лично падет ответственность перед государем, если вам удастся отклонить его сиятельство от принятого уж решения, которое приводится теперь в исполнение!

Он, всегда такой сдержанный, предупредительный к Горчакову, стал теперь совершенно неузнаваемым, этот барон Вревский! Тотлебену показалось даже, что еще немного, что еще хотя одно возражение с его стороны, и он начнет уже кричать и топтать ногами не только на него, а даже и на самого главнокомандующего, этот начальник одного из департаментов военного министерства.

Раненая нога Тотлебена начала вдруг ныть; ее стало даже, как судорогой, сводить от волнения. Но Горчаков, посопев несколько мгновений плоским своим носом и пошевелив разнообразно губами, спросил его с виду спокойно:

— У вас нет ли в письменном изложении вашего плана наступления от Корабельной, Эдуард Иванович?

— Я начал его писать, но не окончил, ваше сиятельство. Если вы мне дадите день-два, я его закончу и представлю вам,—благодарно глядя на него, сказал Тотлебен.—Но в общих своих чертах он сводится к тому, что в случае нашего успеха осада против Корабельной неминуемо была бы снята, французы должны были бы очистить все пространство между Килен-балкой и рейдом, англичане сняли бы осадные батареи с Зеленой Горы, так как тыл их был бы поражен нами. Наконец, все эти горы снарядов, которые приготовлены союзниками для нашего истребления, все они достались бы нам вместе с их батареями!

— Вашими бы устами да мед пить, Эдуард Иванович!—весело отозвался на это Коцебу, а Горчаков вопросительно блеснул в его сторону очками и сказал, избегая смотреть на Вревского:

— План хорош!.. Если бы можно было его привести в исполнение до пятого числа, то ведь это, это могло бы не только предотвратить генеральное бомбардирование Севастополя, но до ноября могло бы отсрочить его падение, вот что!.. План очень смел, хотя и трудно исполним... Во всяком случае я буду теперь над ним думать.

Вревский, отвернувшись, разглядывал пейзаж, открывавшийся с веранды, и кривил полные губы в презрительную улыбку.

3

Когда Горчаков уезжал с обоими генерал-адъютантами, Тотлебен все-таки пытался убедить себя, что он поколебал главнокомандующего в его преступном (другого слова не мог подобрать

он) решении наступать на Федюхины горы, и с той добросовестностью, которая его отличала, принялся с помощью своего адъютанта дописывать план атаки Воронцовской высоты, бывшего Камчатского люнета и редута Виктория; но Горчаков, приехав в главный штаб, был засыпан вопросами, требовавшими его личного вмешательства, и все вопросы эти касались подготовки к наступлению от Черной речки.

Подготовка эта шла на всех парах; войска скоплялись на Мекензиевой горе, собиралась артиллерия, сообразно с составленной уже и подписанной им же диспозицией,—и Горчаков убедился в том, что отменить или даже изменить крупно что-нибудь в том, что делается, он уже не может: решенное должно было совершиться так или иначе.

И чтобы заранее вымолить себе оправдание, он принялся писать письмо министру князю Долгорукову:

«Завтра я начинаю сводить счеты по наследству, которое оставил мне князь Меншиков.

Я наступаю против неприятеля потому, что если бы я и не сделал бы этого, Севастополь был бы все-таки потерян в весьма короткое время. Неприятель действует медленно и осмотрительно; он собрал баснословное количество снарядов в своих батареях,—это видно простым глазом. Подступы его стесняют нас все более и более, и нет уже почти места в Севастополе, которое не было бы подвержено выстрелам. Пули свистят на Николаевской площади.

Нечего себя обманывать, я атакую неприятеля при скверных условиях. Занимаемая им позиция очень сильна. На его правом фланге находится почти отвесная и сильно укрепленная Гасфтортова гора; на левом фланге—Федюхины горы, перед которыми течет глубокий канал с каменными одеждами, наполненный водой, и через который переправа возможна не иначе, как по мостикам, накидываемым под огнем неприятеля, действующего в упор. Для довершения удовольствия у меня нет воды, чтобы остановиться против неприятеля на двадцать четыре часа времени. У меня сорок три тысячи человек пехоты; если у неприятеля есть здравый смысл, он выставит против меня шестьдесят тысяч.

Если счастье будет мне благоприятствовать, на что я мало надеюсь, я постараюсь воспользоваться моим успехом. В противном случае надо будет покориться воле божией. Я отойду на Мекензию и увижу, как очистить Севастополь с возможно меньшими потерями. Я надеюсь, что мост через бухту будет готов во-время и что это облегчит дело».

Закончил он письмо своим обычным припевом:

«Если дела получают дурной оборот, меня нельзя будет в этом винить: я сделал все, что

было возможно, но со времени моего прибытия в Крым задача была слишком трудна. Прошу вас припомнить данное мне обещание оправдать меня в свое время и на своем месте».

Так главнокомандующий, не имеющий мужества отказаться от выполнения «высочайших указаний» и готовивший русскую армию к заведомому разгрому, заботился о чистоте своих риз!

Армия же не могла не верить в то, что «начальство—оно знает, что делает». В армии был большой боевой подъем. Армия рассуждала просто: «Будем наступать—значит, наша взяла!» Прежде ведь, несколько месяцев подряд, о наступлении не было даже и разговоров. Армия, стоявшая на Инкерманских высотах и дальше на восток лагерным порядком, конечно, должна была почувствовать себя вдвое сильнее с приходом 4-й и 5-й дивизий и с возвращением из севастопольского гарнизона 7-й замененной там курскими дружинами.

Полки за полками, несчетные на взгляд, стены чуть колыхавшихся и ярко блестящих на заходящем солнце штыков двигались бодро и весело вечером 2 августа на Мекензиевы горы, где становились на дневку перед боем.

Горчаковский главный штаб выдвинул двух генералов, которым вручал наступление, Липранди и Реада, командира третьего пехотного корпуса, генерала от кавалерии.

Чтобы не участвовать в военном совете, который должен был непременно вынести решение наступать, Реад заблаговременно подал Горчакову рапорт о болезни, а его примеру, конечно, должен был последовать начальник штаба его корпуса генерал-майор Веймарн, впрочем, действительно чем-то заболевший в острой форме.

Но когда военный совет уже состоялся, Реаду ничего больше не оставалось, как выздороветь и принять начальство над отрядом, назначавшимся для штурма Федюхиных высот; Липранди же во главе другого отряда должен был занять Гасфтортову гору.

Обе возвышенности эти были природные крепости, обрывистыми и местами отвесными скатами своими обращенные к Черной речке, отлогими же—в сторону Балаклавской долины. Гасфтортову гору занимали две дивизии сардинцев, Федюхины высоты—три дивизии французов.

Резервы их расположены были позади высот и дальше до деревни Кадык-кой. Кроме бригады сардинцев, в число их входило до десяти тысяч турок, две кавалерийских дивизии—французские, африканские егеря и английская дивизия генерала Скарлетта и другие войска.

Но рядом с Федюхиными высотами стояла неприступно укрепленная Сапун-гора, откуда при наступлении русских должны были, по приказу Пелисье, спуститься к генералу Гербилюну, ру-

ководившему обороной Федюхиных, еще две дивизии пехоты—генералов Дюлака и д'Ореля.

Таким образом, именно те самые шестьдесят тысяч, которые предполагал Горчаков встретить у неприятеля, «если у него есть здравый смысл», ему и противопоставлялись; в отрядах же Липранди и Реада было: в первом—шестнадцать, во втором—пятнадцать тысяч, считая с кавалерией и орудийной прислужкой.

Резервы, конечно, назначены были в диспозиции тому и другому, и как раз весь только что пришедший к Севастополю второй корпус,—то есть 4-я и 5-я дивизии,—был оставлен в резерве, как не успевший еще отдохнуть с дороги и не знакомый с местностью. Кроме того, были выделены особые вспомогательные отряды для обеспечения фланга и наблюдения за Байдарской долиной, откуда можно было ожидать наступления противника, в случае если бы атака не удалась.

В общем, считая с резервами и фланговыми мелкими отрядами, Горчаков собрал не сорок три тысячи, как он писал военному министру, а около шестидесяти, но из них свыше двенадцати тысяч было кавалерии, оказавшейся совершенно бесполезной, точно так же как из трехсот с лишком орудий, назначенных для участия в деле, действовать пришлось весьма немногим.

ГЛАВА ВТОРАЯ БОЙ НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ

1

В штабе Меншикова, который после Инкерманского побоища пришел к необходимости завести штаб, совсем не было генералов, кроме самого начальника штаба Семякина, бывшего тогда генерал-майором.

Горчаков, в полную противоположность своему предшественнику, любил блеск и представительность, и штаб его был перенасыщен генералами.

Один из них, генерал-квартирмейстер Бутурлин, который вместе с другими штабными подал свой голос за наступление со стороны Черной речки, был послан Горчаковым исполнять свои прямые обязанности—наблюдать за тем, чтобы движение войск шло правильно по составленной диспозиции.

Пехотных частей, равно как и артиллерийских, вводилось в действие много. Спускаясь в сумерки и ночью с Мекензиевых гор в долину реки Черной, каждый полк и каждая батарея должны были идти назначенной им дорогой, чтобы избежать путаницы и неизбежной с нею потери времени,—самого дорогого времени,—перед боем.

Многие части не знали местности настолько,

чтобы разобраться в направлении в ночные часы, Бутурлину же местность была отлично известна: она больше двух месяцев была ежедневно перед его глазами, он был неизменный участник всех рекогносцировок главнокомандующего, при его посредстве писалась и диспозиция, и было вполне естественно ему самому расставить войска накануне боя так, как это представлялось воображению всего горчаковского штаба.

Бутурлин выехал с вечера, приказав захватить для себя ковер из своей палатки.

Добравшись до бивака 7-й дивизии, которой командовал генерал-лейтенант Ушаков 3-й, брат дежурного генерала при Горчакове Ушакова 2-го, он здесь плотно поужинал, расстелил ковер и улегся спать, предоставив важнейшее дело, за которым должен был следить, простым жалонерам.

Дебушировали¹ с высот в долину полки, тянулись за ними орудия, зарядные ящики, фургоны—и все это в темноте, в беспорядке, с надсадными криками, с крепчайшими из русских ругательств, а Бутурлин в это время спал безмятежно.

Его разбудили только перед утром, когда стало известно, что к реду, называемому «Новым», приехал сам Горчаков со всем штабом. Это было в два часа ночи, ровно за полчаса до начала наступления.

Не так много воображения нужно было для того, чтобы представить, где будет находиться хвост колонны в то время, как головная часть ее должна уж будет ввязываться в бой; даже и расчет движения по местности не представлял труда, так как дорога, по которой спускались с Мекензиевой войска, была единственной. И все-таки не хватило для этого воображения в штабе Горчакова, и расчет движения колонн сделан не был.

В стороне же от дороги густо торчали кусты дубняка и карагача, поднявшихся за лето от пенков срубленных и спиленных деревьев, и здесь шли одиночки солдаты и офицеры, пробирались верховые, но ни колонны пехоты, ни тем более артиллерийские упряжки пускать здесь было нельзя.

Эта ночь перед боем прошла в непрерывном движении полков и батарей по дороге в долину, где должны они были занимать свои исходные места.

У всех солдат были полные манерки воды ввиду безводья тех гор, которые полагалось им захватить у неприятеля в результате утреннего боя.

Несколько икон божьей матери было в главной квартире, была и Касперовская, подаренная Горчакову архиепископом Иннокентием и особенно им рекомендованная, но Горчаков все-таки предпочел ей Смоленскую и перед ней на коленях в молитве провел ночь, прежде чем появился на бивуаках.

¹ Дебушировать—выходить (франц.).

Спать, как Бутурлин, он не мог, слишком большая ответственность ложилась на него за исход предстоящего боя, но он мог бы окончательно продумать цели наступления, так как в диспозиции, полученной от него как Реадом, так и Липранди, эти цели указаны не были, напротив, было сказано, что после первых успешных действий наших войск им, главнокомандующим, будут даны на месте указания для дальнейших действий.

Он мог бы подумать и над тем, почему Реаду, задача которого атаковать Федюхины горы была гораздо труднее, чем задача Липранди, дано было в командование только двадцать пять батальонов, тогда как Липранди—тридцать один батальон... Ключом позиций правого фланга союзников являлись, конечно, Федюхины горы, сильнее укрепленные и занятые гораздо большим гарнизоном, чем гора Гасфорта.

Наконец, он мог бы определить совершенно точно время для начала действий того и другого отряда, так как это имело большое значение при отсутствии связи между ними, тем более что связь эту в ночное или хотя бы предутреннее время трудно было и наладить так, чтобы приказание передавались без задержки на местности, пересеченной речкой, каналом и, кроме того, заполненной войсками, сквозь которые нужно было пробиваться конным ординарцам и адъютантам.

Но если Горчаков не мог решить до начала сражения, что ему нужно было предпринять потом, в случае первоначальной удачи, зато Пелисье до мелочи знал все планы русского главного штаба вплоть до вылазки, которая готовилась в сторону редута Брансьема, бывшей Камчатки, и в случае удачи наступления на Гасфортovu и Федюхины горы. Об этом наступлении сообщалось даже в одной из венских газет, только газета приурочивала его к 6/18 августа.

Одно за другим поступали к Пелисье от разведчиков и лазутчиков донесения о больших передвижениях русских полевых войск, и наступления ждали на позициях интервентов еще 1/13 августа, когда несколько дивизий стояли в ружье всю ночь до рассвета; никто не спал там и в следующую ночь, так что утром кое-кто из французских генералов склонен был уже верить тому, что венская газета права.

Но на 5/17 августа назначено было начать пятое по счету и самое жестокое бомбардирование Севастополя, а это едва ли дало бы Горчакову возможность предпринять свое наступление. Так не только генералы, подчиненные Гербильтону, но и сам Гербильтон, все поколебались в уверенности, что русские войска успеют, наконец, собраться с силами, чтобы напасть на них. Гарнизоны укреплений оставались, конечно, на своих местах, но напряженность ожидания несколько упала, тем более

что прошла уж большая часть ночи с 3/15 на 4/16 число.

И вдруг раздались первые пушечные выстрелы, направленные на Гасфортovu и Телеграфную горы: это левое крыло отряда Липранди, находясь под командой генерала Бельгарда, выйдя к деревне Чоргун и заняв деревню Карловку, исполняло то, что должно было исполнить по диспозиции.

Над рекой по всей долине стоял плотно густой туман, сквозь который едва серела предрассветная полоса на востоке, и в этом тумане и тишине загремели, будоража гарнизоны неприятельских укреплений, четырнадцать орудий, осыпая снарядами гору Гасфорта, и восемнадцать, действовавших против Телеграфной горы.

Эта гора, расположенная на правом берегу Черной, была предмостным укреплением союзников и занята была сардинцами, как и Гасфортova.

Пушечная пальба была не беспорядочной, а выдержанной, и это понравилось одному из казаков конвоя Горчакова, и в промежутке между выстрелами он похвалил артиллеристов:

— Пришибисто бьют наши! Не пушают пороху прахом...

Слово «пришибисто» пошло гулять между адъютантами князя, дошло до него самого, и он заторопился, забеспокоился:

— А что же отряд Реада? Пора и ему начинать!.. Поезжай сейчас же,—обратился он к подполковнику Красовскому,—скажи генералу Реаду, что пора начинать!

— Слушаю, ваше сиятельство!—и Красовский повернул коня и ринулся вниз по дороге, ведущей к отряду Реада.

2

Командир третьего корпуса Реад был уже стар, как и полагалось генералу от кавалерии, однако не настолько, чтобы не видеть трудность, если не полную безнадежность выпавшей на него задачи.

Когда-то в молодости он был участником почти всех сражений русских войск с Наполеоном, отличился в Польской кампании тридцать первого года, наконец, долго служил на Кавказе, которым и управлял временно перед переводом в Севастополь.

У него был большой военный опыт, и не зря томили его тяжелые предчувствия перед боем на Черной.

Он и о «месяце с левой стороны» вспомнил в эту ночь.

— Вы с какой стороны увидели месяц?—спросил он своего адъютанта ротмистра Столыпина.

— С правой, ваше высокопревосходительство,—политично ответил Столыпин, не заметивший, впрочем, с какой именно стороны увидел он в первый раз в эту ночь месяц.

А я так с левой, — сумрачно отозвался ему Реад. — Говорят, что это плохая примета.

После этого короткого и маловразумительного разговора он в своей палатке уселся писать письмо своему семейству, письмо грошальное, тоскливое и самое серьезное из всех когда-либо писанных им писем.

Спустя несколько минут после того, как левое крыло отряда Липранди начало обстрел стоящих перед ним высот, Реад приказал своей артиллерии открыть канонаду по Федюхиным высотам, и минут двадцать длилась уже эта канонада, когда перед Реадом возник в утреннем тумане зловеще-серым пятном посланец Горчакова.

— Ваше высокопревосходительство, его сиятельство изволили приказать начинать! — отрапортовал без передышки Красовский.

— Что значит это самое «начинать»? — удивленно спросил его Реад. — Что такое я должен начинать?

Около него был в это время и начальник штаба его корпуса, генерал Веймарн, чувствовавший себя снова больным в сырой долине речки.

Он только что вернулся со стороны батарей отряда; начальник артиллерии сказал ему, что открытый было огонь по Федюхиным недействителен, что снаряды падают ближе укреплений противника.

— Я приказал прекратить бесполезную трату снарядов, — доложил Веймарн Реаду.

— А тут как раз вот приказание от князя передают мне: начинать! Что же именно должен я начинать? — снова обратился Реад к подполковнику Красовскому.

— Я не могу сказать в точности, что именно начинать, но, повидимому...

— Если начинать артиллерийскую подготовку атаки, то мы ее уж начали! — рассерженно выкрикнул Реад.

— И прекратили, — дополнил Веймарн.

— Повидимому, слово «начинать» относится к сражению, — закончил, что думал сказать, Красовский.

— К сражению? Я сражение начал уже, можете передать это князю!.. Я продвину артиллерию ближе, чтобы не было недолетов.

— Мне кажется, что слово «начинать» равносильно было слову «атаковать», — возразил Красовский уверенным тоном штабного офицера.

— Атаковать? — очень удивился Реад. — *Général*, — обратился он к Веймарну, — *il faut attaquer!*¹

— Как так атаковать? Без выстрела атаковать высоты? Не может быть! — испуганно отозвался Веймарн.

— Однако таково приказание князя, вы слышали?

Красовский молчал, так как успел уже потерять уверенность, а Веймарн горячо заговорил, желая убедить Реада в том, что он не так понял приказание:

— Ваше высокопревосходительство! Это недоразумение, не больше! Атака безусловно преждевременна! Войска не вышли еще на линию, не заняли своих мест. Наконец, кавалерийский полк должен стать на нашем правом фланге, а где он? Его еще нет, верный признак, что атаковать рано!

— Господин полковник, еще раз: как было вам сказано князем? — торжественно обратился снова к Красовскому Реад.

— Мне было сказано: «Передайте, что пора начинать!» — вот и все, что было мне сказано, — повторил как заученное посланец Горчакова.

— Отлично, начнем! — еще торжественнее сказал ему Реад. — Так как артиллерийскую стрельбу мы уже начали и бросили, то теперь нам остается только начать атаку нехотными частями! Передайте его сиятельству, что мы идем в атаку!

Красовский, не теряя больше ни секунды, отъехал искать князя, а Веймарн все еще не мог притти в себя от явной нелепости и полученного приказа и того положения, в какое попал благодаря этому весь отряд.

— Нужно подождать другого приказания князя, — попробовал он в последний раз убедить своего начальника.

— Как другого приказания? — удивился Реад.

Он был новым в Крыму человеком и не вполне еще успел изучить Горчакова. «Приказание, контрприказание, отмена приказания», — этого ожидал Веймарн, но Реад пришел к мысли, что Горчаков захотел воспользоваться туманом и ранним утром, что спустя полчаса, например, нтти в атаку придется уже под первыми лучами солнца.

— Мне кажется, нужно несколько подождать, — сказал Веймарн.

— *Je ne peu pas attendre; j'ai l'ordre du Prince!*, — категорически возразил Реад. — Вы двинете вперед для атаки Одесский полк!

Веймарну теперь ничего уж не оставалось больше, как подчиниться чему-то заведомо нелепому, чему безропотно должны были подчиниться и солдаты Одесского, а за ним и двух других полков славной 12-й дивизии.

Этой дивизией командовал теперь генерал Мартинау, а Одесским полком — полковник Скюдери, отличившийся в Балаклавском сражении 13 октября.

Обычно жизнерадостный и веселый Скюдери в эту ночь одержим был мрачным предчувствием и, когда получил приказание строить свой полк в колонны к атаке, удивленно возразил только:

¹ Я не могу ожидать; я имею приказание князя (франц.)

¹ Генерал, нужно атаковать! (франц.)

— Кто же атакует укрепленные позиции без бомбардировки?—и, не получив на этот вопрос ответа, добавил:—Вот оно! Началось!..

Атаку на Федюхины высоты нельзя было вестп, не овладев каменным мостом через Черную, а мост этот, называвшийся Трактирным от бывшего здесь раньше трактира, прикрывался укреплением с правого берега реки.

— Выбить неприятеля из укрепления, овладеть мостом, переправиться через реку по мосту вброд и потом... вести полк свой в атаку на Федюхины,— тоном приказа, делового, точного, краткого, обратился к Скюдери командующий дивизией.

Скюдери повторил приказание:

— Выбить из укрепления... Занять мост... Переправиться... Вести в атаку...

Оценив по достоинству, по степени трудности каждое из этих четырех действий, заданных его полку, Скюдери покачал головой, безнадежно махнул рукою и бодрой твердой походкой направился к четвертому батальону своего полка, стоявшему впереди трех других.

Четвертый батальон стоял уже построенный в ротных колоннах, с легкой артиллерией в интервалах между рот; остальные батальоны построены были в колоннах к атаке, то есть сплошными массами.

Но впереди четвертого батальона выстроились две роты стрелков, составляя цепь штуцерников... Все были готовы. Барабанщики застыли на своих местах, подняв палочки над барабанами. И солдаты и офицеры были в шинелях, как это вошло в обыкновение при ночных боях в Севастополе, какие бы жаркие ни стояли дни. Впрочем, у реки, в тумане вполне впору была шинель.

Вот сильная ружейная пальба поднялась вдруг влево, у сардинцев, на Гасфорте. Мартинау, появившись перед Скюдери, закричал:

— Артиллерию вперед! Прикажете сниматься с передков!.. Открыть ружейный огонь!.. Что же вы! Там уж атака!..

Он указал рукою влево и кинулся сам торопить артиллеристов. Пальба началась. Она подействовала на солдат, как удар по их тесно сплоченному локтями серошинельному телу. Вперед их летели ядра и пули и картузы картечи, вот-вот раздастся команда их командира полка, затрещат барабанщики, и они бросятся вслед за свинцовым грохотом туда, где пока еще почему-то тихо,—притихли враги...

Пять минут... десять... Всё хлопают частые выстрелы легких орудий, дым смешался с туманом, разрываемым в клочья, как каляная парусина, то ружейными залпами, то одиночными выстрелами стрелков впереди...

Становится как-то даже неловко, неудобно, тесно стоять без движения на одном месте, когда давно уже приготовились к сильному, порывистому броску тела...

Но вот ординарец Реада, юнкер, неокрепшим ломающимся, козлиным каким-то голосом проверещал, подъехав:

— Одесскому полку занимать мостовое укрепление!

— Одесскому полку!.. Занимать укрепление!— пошла передача в рядах с тыла на фронт.

Полковник Скюдери подтянулся, стал перед тринадцатой ротой и совершенно спокойно и громко, точно смертный приговор произнес своему полку, скомандовал:

— Ба-та-ль-оны впе-ре-ед! Дирекция на середину! Скорым шагом, ма-арш!

Однообразно, будто гвозди вбивали в спину впереди идущих, колотили в барабаны барабанщики; батальоны двинулись в атаку, отбивая шаг.

3

Французы не отвечали ни на артиллерийскую стрельбу, ни на огонь стрелковых команд в цепи: могло показаться, что предмостное укрепление было очищено загодя, ночью. Но только что пошел в атаку Одесский полк, как ожило и зашевелилось там все и тут же окуталось густым пороховым дымом, и в движущиеся без выстрела стены русских каждая дождавшаяся своего момента вражеская пуля была без промаха.

Только ли это однако? Нет,—все горы впереди заревели вдруг и задымились, бросая навстречу одессцам давно уже приготовленные для этого запасы сплошных и полых снарядов, а также и пуль.

Небо стало уже светлым и чистым этой изумительной, сквозящей и опьяняющей утренней чистотой, хотя солнце еще не выкатывалось из-за горизонта, но вся долина Черной речки была в белом густом тумане и дыму. И в этом дыму и тумане, роняя убитых и тяжело раненных и тут же смыкаясь вновь, сверкая иногда, в разрывах тумана и дыма, холодной синью штыков, шагал вперед четвертый батальон под четкую дробь барабанов.

Таившиеся в предмостном укреплении зуавы не вынесли вида этой движущейся на них лавины; прекратив пальбу, они бросились толпами кто через мост, кто прямо вброд через речку, на другой берег.

Верные своей боевой тактике, они открыли было пальбу оттуда, с того берега, но пальба эта была недолгой: миновав укрепление, тем же быстрым и ровным шагом одессцы двинулись на мост шестирядной колонной. Однако на мост были заранее направлены пристрелянные французские пушки с Федюхиных высот. На мосту, при разрыве гранаты, был убит командир четвертого батальона, и еще несколько офицеров выхвачено было из первых рядов.

Но идущая следом за тринадцатой ротой четырнадцатая по команде своего ротного свернула

Влево от моста, пятнадцатая—вправо, и солдаты тем же густым строем входили в реку, с первых же шагов погружаясь выше щиколотки в топкое илистое дно.

Дальше дно делалось тверже, вода становилась глубже; на середине реки она доходила почти до плеч, но люди шли бодро. Они видели перед этим, как здесь же поспешно перебирались вброд французы из укрепления,—они гнались за бежавшим от них противником, они входили в азарт борьбы.

Ровно на пуд тяжелее стали их шинели, насквозь пропитавшись речной водой; хлопала вода в сапогах, с которых солдаты старались на бегу сбросить налипшую грязь, строясь проворно снова в колонны на вражеском берегу.

Колонны построились к атаке, но многих уже не оказалось в рядах солдат. А между тем сверху грохотали горы, и грохот этот заглушал ружейные залпы первой линии укреплений... Рвались снаряды, пели пули, выносились вперед, проскочив через мост, упряжки русской артиллерии, раздавались то здесь, то там протяжные и звонкие крики команд молодых офицеров, становившихся на место убитых и раненых майоров и капитанов: огненное начинало подыматься солнце...

К Трактирному мосту подходил уже третий батальон одессцев,—русский берег реки теперь уже сплошь желтел солдатскими шинелями, а здесь, на французском берегу, сквозь туман и дым возникли вдруг перед четвертым батальоном три конных офицера, все в черных эспаньолках, в пирамидальных кепи, на красивых конях.

Они тут же повернули назад, увидя, что далеко зарвались, и вдогонку им кое-кто из солдат без команды разрядил свои ружья. Но пальба с гор почему-то вдруг сразу утихла: это говорило о контратаке французов; это значило, что были двинуты какие-то силы, чтобы остановить натиск русских в самом начале.

Против передового батальона одессцев, значительно уже поредевшего и тяжелого, только что перебравшегося через реку, шел свежий и легкий, с распушенным знаменем, с конными офицерами впереди, батальон французов.

Даже издали, сквозь завесу тумана и дыма, видно было, что шел он быстро, веселым, как бы танцующим маршем; ряды его были разомкнуты, и это еще больше подчеркивало легкость движения противника.

Офицеры Одесского полка шли в атаку наряду с солдатами, только впереди их; это введено было затем, чтобы уменьшить среди них потери: офицер на коне представлял слишком заметную и заманчивую цель для неприятельских стрелков. Знамен тоже не было выдано батальонам 12-й дивизии, знамена остались в лагере на Мскензипи.

Никакой красоты и картинности не оказалось у солдат и офицеров; этим щегольнули французы,

приготовившие им встречу. Это у них гарцовали на конях командиры; у них развевалось празднично знамя; они, казалось бы, шли на штыковой бой, как на пир.

Шли, да, но не дошли все-таки, потому ли, что серьезен был вид одессцев, двигавшихся на них плотной и тяжелой массой, под барабаны и со штыками наперевес, потому ли, что такова была тактика их... Они остановились вдруг по команде, повернули назад и очень быстро и четко рассыпались в цепь, тотчас же открывшую частую пальбу.

Скюдери,—этот молодой, всего тридцатисемилетний полковник, еще в сражении с турками при Ольтенице на Дунае весь израненный пулями и картечью и с тех пор державший левую руку на повязке, командовал четвертому батальону развернуться для принятия боя, выдвинув на фланги тринадцатой роты четырнадцатую и пятнадцатую, а шестнадцатую оставив в резерве.

Это была сложная команда, и сложно и трудно было исполнение ее под огнем противника, который, стреляя, отходил на дистанцию, недоступную для знакомых уж ему гладкоствольных русских ружей.

Вдруг одна за другой две пули пронизали правую ногу Скюдеру выше колена. Он не мог уже идти вместе с полком; хотя и чувствовал, что кость цела, однако не захотел он, чтобы отправили его на перевязочный.

— Чтобы я бросил свой полк?—удивился он, когда к нему подошли с носилками.—Что вы, братцы! Подсадите-ка меня лучше на батарею.

Его устроили на батарее, но новая пуля нашла его и здесь: она пробила левую руку, которой не мог он владеть, и прошла через грудь навывлет.

Санитаров близко не оказалось, и полковой адъютант, поручик, взвалил своего полкового командира на плечи и понес его к Черной реке, где передал с рук на руки унтер-офицеру Одесского же полка.

Мост был в это время забит одессцами третьего батальона, шедшего на поддержку четвертому, поэтому унтер-офицер, только что перешедший вброд речку, поднял, как мог, выше полковника и вторично пошел с ним вброд на только что оставленный берег, к перевязочному пункту.

Когда старший врач перевязочного пункта хотел отрезать ногу Скюдеру, тот, бывший в полном сознании, сказал ему:

— Я вижу, что вы хороший человек. Возьмите мои часы на память обо мне, но ногу мою оставьте уж умирать вместе со мною: я ведь чувствую, что уже умираю,—холодеют пальцы.

Однако, умирая, он беспокоился все время только о своем полку. На перевязочный пункт приходило много раненых его солдат и офицеров, и носильщики приносили много других с тяжелыми ранениями.

— Боже мой!—сокрушался он.—Пропал полк!.. Расстреляли полк!.. Чего же другого было можно и ждать от этой заты?!

— Потери большие, но полк существует еще,—утешали его раненые офицеры.—Полк выведен из боя,—теперь азовцы пошли вперед.

— А знамя, знамя цело?—тревожно спрашивал Скюдери и смотрел пытливо.

— Полковое знамя при полку как было, так и остается,—отвечали ему.

— Ну, слава богу, теперь я умру спокойно: Одесский полк не выбросят, значит, из русской армии!

И Скюдери умер через два часа после того, как попал на перевязочный.

4

Телеграфная гора довольно бесечно краснела кое-где бивачными кострами сардинцев, когда начали вдруг сыпаться на нее, еще в предутренней темноте русские ядра и бомбы.

3/15 августа союзники праздновали день рождения императора французов, так что и весь соединенный флот расцвечивался в этот день гирляндами флагов, костры на Телеграфной горе являлись, может быть, следствием затянувшихся несколько праздничных настроений итальянцев, но они быстро потухли, чуть только загремела канонада.

Правым крылом своего отряда, состоявшим из полков 17-й дивизии, распоряжался сам Липранди, однако и командовавший этой дивизией генерал-майор Веселитский был боевой командир.

Сам признанный храбрец, он требовал от своих солдат, чтобы в траншеях под обстрелом проходили они, выпрямившись во весь рост, как на смотре, отнюдь не сгибаясь и не моргая глазами.

Правда, он и сам иначе не ходил по траншеям, вызывая полное презрение к пулям, но солдатам такая бравада стоила многих и совершенно лишних жертв, и все-таки дивизия его уважала, несмотря на его строгость: все прощалось ему солдатами за его храбрость.

В первый раз при нем 17-я дивизия участвовала в большом деле, но они уже успели узнать друг друга—дивизия и ее командир—и дивизия верила в него, он—в дивизию.

Когда получено было от Липранди приказание, чтобы после короткого артиллерийского обстрела занять Телеграфную, Веселитский выдвинул для обстрела одну батарею, для атаки один батальон Тарутинского полка, и едва батарея успела сделать по два выстрела на орудие, он послал уже тарутинцев в атаку.

Сардинцы так же не имели намерения до последней капли крови отстаивать свое предместное укрепление, как французы свое. Очень легко выбили их тарутинцы из первой линии траншей, зато, от-

ступив во вторую, сардинцы подняли оживленнейшую стрельбу, но на помощь передовому четвертому батальону шел уже третий, и штыкового боя не вынесли сардинцы: они бежали по мосту, перекинутому ими заранее, на другой берег Черной.

Саперы по приказу Липранди принялись засыпать часть траншей, чтобы по ним везти орудия на вершину Телеграфной и отсюда обстрелять Гасфортову гору. Это была веселая работа. Саперам помогали со всех сторон, и вот уже дюжие, гризастые артиллерийские кони, нагнув головы и кося глазами, потащили тяжелые пушки на только что отбитую позицию.

Горчаков оповещал в диспозиции, что будет находиться около «Нового» редута, куда и должны были мчаться к нему за приказаниями и с донесениями адъютанты командующих отдельными отрядами генералов, но чуть только сказали ему, что русские пушки начали палить с Телеграфной горы, он был так обрадован этим быстрым успехом Липранди, что тут же забыл о диспозиции и со всей своей свитой, бросив «Новый» редут, поскакал на Телеграфную.

Впрочем, не только один боевой азарт овладел Горчаковым в тот момент, когда он решился бросить «Новый» редут. В диспозиции сказано было, чтобы после первых успехов своих отрядов командующие ими генералы Липранди и Ред обжидали дальнейших указаний главнокомандующего. Так как первый успех выпал на долю Липранди, то к нему и направился Горчаков, чтобы там, на месте, на Телеграфной горе, осмотревшись и взвесив все шансы, решить, как действовать дальше.

Гасфортова гора обстреливалась уже с двух сторон,—и из отряда Бельгарда и с Телеграфной, когда появился Горчаков, встреченный Веселитским и Липранди.

Конечно, первое, что сделал Горчаков, это потребовал трубу, чтобы осмотреть с занятой высоты позиции противника, хотя было еще рано, серо, туманно, а он плохо различал предметы вдали даже и в самый яркий день.

Он, однако, смотрел в трубу ретиво и долго. Время шло,—нужно было действовать... Липранди недовольно сказал несколько отделившемуся от князя Коцебу:

— Нужно начать атаку Гасфортовой горы, иначе мы упустим момент, Павел Евстафьевич. Видите, как кишат сардинцы на Гасфорте?

Было, конечно, видно и без трубы, что сардинцы стянули уже на Гасфортову гору на одном склоне, с фронта, большие силы, но не меньшие и на другом склоне, обращенном к Федюхиным высотам.

Вся армия сардинцев была собрана для встречи русских: с фронта стала дивизия генерала Дурандо, с левого фланга—дивизия Тротти, с правого—бригада Джустиниани. Кроме того, в помощь

сардинской артиллерии, расположенной на высотах вправо от Гасфорта, гаубичная батарея англичан спешила на рысях из резерва.

— Ваше сиятельство,—осторожно обратился Коцебу к Горчакову,—я полагаю, что самое удобное время для атаки Гасфортской горы именно теперь, а то светает быстро,—это увеличит наши потери.

— Да, да, я сам прихожу к этой мысли,—заспешил Горчаков, отрываясь от трубы.

Однако он медлил еще минут десять, раздумывая и предоставляя своему начальнику штаба изощряться в доказательствах выгоды немедленно атаковать гору.

Наконец, был послан адъютант к генералу Бельгарду с приказом вести свой отряд на штурм, а другой адъютант—к начальнику 5-й дивизии: эта дивизия ускоренным маршем должна была идти на поддержку Бельгарду.

И оба посланные главнокомандующим адъютанты успели насколько могли быстро передать приказания и Бельгарду и начальнику 5-й дивизии, генералу Вранкену, и уже двигался первый со своими полками—Симбирским и Низовским—к горе Гасфорта, а второй с четырьмя своими шел подкрепить его порыв, когда внезапно раздавшееся «ура» в стороне колонны Реада и оживленная ружейная пальба французов приковала внимание Горчакова к своему правому флангу.

Там видны были бежавшие от предмостного укрепления зуавы в алых головных уборах и гнавшиеся за ними—штыки наперевес—русские солдаты. Ружейная же пальба по русским была поднята из укрепления, расположенного на середине крутого спуска Федюхиных гор к Черной речке.

— Что это такое?—очень изумился Горчаков, обращаясь к Коцебу:—Реад начал атаку Федюхиных?

— Похоже, что именно так... Боюсь, что это именно атака...—пробормотал Коцебу, убеждаясь, но не желая убедиться в том, что Реад оказался настолько воинственным, что начинает атаку гор, не получив даже особого приказа на это.

Забито было и Горчаковым, что слово большого смысла «начинать» было им брошено так, между прочим, в силу суетливости его натуры, и дошло по назначению к вовсе не суетливому, но очень исполнительному Реаду.

Составляя диспозицию, Горчаков видел перед собою не одну какую-нибудь, вполне определенную цель, а три весьма неясных возможности: штурм горы Гасфорта, штурм Федюхиных высот и, наконец, как было сказано в диспозиции, «усиленное обозрение, если бы упомянутые выше атаки представили слишком много затруднений».

Что представляла собой эта третья возможность «усиленное обозрение», было для свежего человека совсем уже непостижимо, но из двух

штурмов один исключал другой, так как Горчаков видел все-таки, несмотря на всю свою подслепова-тость, что на решение обеих этих задач сразу у него не хватит заготовленных сил, а распылять свои силы он не может.

Однако он не мог не знать и того, что гораздо легче была бы задача штурмовать гору Гасфорта, как он и хотел сделать, оставив против Федюхиных гор только необходимый заслон на случай наступательных действий французов.

Но вместо того, чтобы послать своего адъютанта, полковника Менькова, к Реаду, чтобы тот не ввязывался в дело против Федюхиных высот, Горчаков послал его навстречу 5-й дивизии, чтобы, изменив маршрут, спешила она на помощь к нему, а не к Бельгарду, так как штурм Гасфортской горы был им отставлен.

И даже больше того: Одесский полк, перебравшись через Черную и канал, наступал так стремительно, что восхитил его.

— Молодцы! Bravo! Молодцы одесцы!— то и дело вскрикивал он, следя в трубу за атакой полка Скудерн и не видя, конечно, каких огромных потерь полку стоила эта безумная атака, вызванная беспечным словом его «начинать».

5

Между Черной речкой и позициями французов на Федюхиных горах проходил водопровод, раньше, до осады Севастополя, питавший доки. Теперь он был отведен интервентами в свою сторону. Глубина воды в нем доходила до восьми футов, так что вброд он был непроходим.

Затеявая атаку правого фланга интервентов, барон Вревский давно уже заготовлял перекидные мостки через водопровод, и их сделали достаточно. Эти мостки были розданы в части, назначенные для атаки, и солдаты Одесского полка тащили их с собой, перебираясь вброд через речку.

Но артиллерия, сопровождавшая их в атаке,— что думал о ней Вревский, и Коцебу, и весь штаб Горчакова, и сам, наконец, Горчаков? Перейдя по каменному Трактирному мосту на другой берег в интервалах передовых рот, легкая батарея ринулась было на перекидные мостки, вслед за пехотой, но мостки эти оказались слишком ажурными, да и не могли быть иными, выдерживая людей, они ломались под лошадьми и орудиями, под упряжками зарядных ящиков.

Обрушиваясь в канал, лошади визжали и бились, стараясь выбраться из воды и напрасно колотя передними копытами в отвесный берег канала. Люди стремились помочь лошадям, хватая их за гривы и сбрую, а стрелки противника, так же как и комендоры укреплений, энергично действовали по такой благодарной цели, и в водопровод валились десятками тяжело раненные и уби-

тые: расчет Пелисье, приказавшего заранее обрубить по отвесу берега канала, был верен.

Артиллерия застряла в канале и перед ним, а первые два батальона одессцев, на каждом шагу теряя людей, бросились на укрепление, гоня французов.

Укрепление, сооруженное из мешков с землею, было занято быстро, но за ним шагах в двухстах стояла восьмиорудийная батарея, и если легко показалось овладеть ею, то трудно было на ней удержаться.

Почти все офицеры обоих батальонов были уже к этому времени перебиты, солдаты пустились хозяйничать среди захваченных орудий белым утром, как привыкли они это делать на вылазках ночью: одни спешили заклепывать их, другие пытались артельным порядком скатывать их вниз, чтобы перетащить на свою сторону, а единственный среди них офицер, молоденький прапорщик Лукин, кинулся с несколькими солдатами отбивать у французского знаменосца знамя.

Это был эфемерный, конечно, успех,—успех зачинщиков большого сражения, но он не был временно поддержан. Дивизии генералов Каму и Фоше были гораздо ближе к захваченной батарее, чем дивизии Мартинау и Ушакова, и пока перебирались вброд через Черную и по перекидным мосткам через канал остальные два батальона одессцев, остатки передовых батальонов уже спускались вниз под напором наседавших французов. И орудия и знамя были отбиты, и остался на батарее убитый пулей в висок прапорщик Лукин.

Первый и второй батальоны, едва успев построиться в колонны к атаке на левом берегу Черной, напали на алжирских стрелков, гнавших вниз обессиленных одессцев, и начался новый прилив, захлестнувший вновь восьмиорудийную батарею.

Но пока Реад, не зная, что ему делать дальше, ждал приказаний Горчакова, наступил отлив: большие силы французов, подойдя на помощь своим, вторично сбросили упорных русских солдат со своей батареи и потеснили их к водопроводу.

Здесь было принял команду над ними бригадный генерал Левуцкий, но скоро был контужен в голову; после него принял команду майор Гроздкий, но через минуту его уже уносили раненного в живот и, наконец, штабс-капитану Иванову кое-как удалось собрать остатки Одесского полка, свести их в четыре роты и переправить через Черную обратно.

Тем временем вернулся к Реаду посланный им за указаниями адъютант его Столыпин. Горчаков передавал с ним, что 5-я дивизия идет в помощь отряду Реада. Это значило, что наступление надо было продолжать. И вот на ту же Голгофу, с которой только что снят был распятый там Одесский

полк, начал всходить другой полк 12-й дивизии—Азовский.

Генерал Фальи, командир второй бригады дивизии Фоше, оттеснивший одессцев, был в свою очередь опрокинут азовцами, подъем которых в гору был стремительней, чем он предполагал это. Только получив подкрепление из резерва—73-й линейный полк,—он оказался в силах принудить к отступлению упорно задерживавшихся на каждом шагу русских солдат, потерявших большую часть своих начальников.

— Прикажете израсходовать и Украинский полк?—спросил генерал Мартинау Реада, подъехав к нему, стоявшему прислонясь к верстовому столбу на Мекензиевой дороге.

Это место было удобно тем, что с него открывался вид на все «поле» сражения, которое, впрочем, меньше всего было похоже на поле: лишённые растительности, так как трава давно уж была сожжена солнцем, белесые, из известкового камня скаты, очень густо уже местами покрытые телами в рыжих шинелях.

С этого места у верстового столба удобно было наблюдать за боем, но оно все-таки находилось очень близко от каменного моста,—не больше как в пятистах шагах,—и теперь, когда французы, наступая, стреляли в азовцев, пули залетали сюда, наступая около Реада.

Но он держался бодро. У него был вид человека, который отлично понимает, что получил глупое приказание, но стремится тем не менее его выполнить, так как твердо с молодых ногтей усвоил основное правило воинской дисциплины: «Делай все, что прикажет начальник».

Он только развел безнадежно руками и ответил коротко:

— Псылайте Украинский.

Мартинау приложил руку к козырьку и отъехал.

Это был боевой генерал. Он не считал возможным оставаться праздным зрителем на правом берегу Черной, когда шел на явную уже для него гибель третий полк его дивизии (последний),—Днепровский был в отряде генерала Бельгарда, а Украинским полком командовал полковник Бельгард, брат того, пятнадцать лет находившийся в отставке и только недавно приехавший в Севастополь и получивший здесь полк.

Можно было бы думать, что украинцы, перед глазами которых разыгрался разгром двух полков их дивизии, если и пойдут вперед, то с оглядкой, но они двинулись и на мост и вброд неудержимо.

Перекидные мостки, доставшиеся на их долю, оказались короткими, они бросили их и перебрались через водопровод где вброд, где вплавь, а только что построившись потом, с большой яростью бросились на французов и гнали их снова до той же восьмиорудийной батареи, заставив генерала Фоше ввести в дело новые резервы.

И хотя французы, подкрепленные новыми силами из резерва, значительно превосходили численно Украинский полк, в который к тому же летела туча картечи, все же, чтобы вынудить русских к отступлению, они прибегли к военной хитрости, иногда удававшейся им во время ночных вылазок с бастионов: их горнисты очень отчетливо исполняли здесь и там русский сигнал отступления.

Однако и отступая, украинцы только пятились, все время будучи лицом к врагу, то скрещивая с ним штыки, то стреляя, и это несмотря на то, что командир полка Бельгард был убит в самом начале сражения, что под генералом Мартинау была убита лошадь, и сам он был ранен в плечо пулей, и кровью была залита спереди его шинель.

— Ваше превосходительство, мостки забирать с собою прикажете?—хозяйственно спросил его один заботливый унтер-офицер.

— Мостки?.. Чорт с ними, с мостками!—отозвался ему Мартинау.

Но солдаты не считали себя побежденными; они все еще дышали азартом борьбы, и, когда, отступая, они докатились до моста, один из них, простой рядовой, перебежав по мосту, добрался до самого Реада, неподвижно, как столб, стоявшего около верстового столба, носившего название Екатерининской мили.

Добравшись, он сделал «на караул» по-ефрейторски, то есть отставив ружье от правой ноги на вытянутую руку, и проговорил, запыхавшись:

— Ваше превосходительство, резерва нам дайте!

— Резерва?—удивился Реад.—А тебя кто же послал ко мне?

— Товарищи послали, ваше превосходительство.

— А офицеры что же?

— Офицеры так что поубиванные.

— Ну, братец, у меня нет резерва,—я сам его жду... Когда придет, пошлю.

— Слушаю, ваше превосходительство.

Солдат сложным приемом, но безупречно вскинул ружье на плечо, сделал точный поворот «на лево кругом» и пошел оповестить товарищей, что резерва не будет.

«Стремительность русских была изумительна,—писал об атаке полков 12-й дивизии корреспондент одной из английских газет.—Они не теряли времени на стрельбу и бросались вперед с порывом необычайным. Французские солдаты дивизии Каму, охранявшие зимою траншеи при Карантинной бухте и почти ежедневно имевшие схватки с русскими, уверяли меня, что еще никогда русские не обнаруживали в бою такой пылкости».

Базанкур, французский историк Крымской войны, пышно, хотя и не совсем удачно, сравнил атаку 12-й дивизии с лавиной, «свергаемой бурей с высоты гор»... Французские офицеры впоследствии спрашивали у русских, как назывались три первых полка, которые шли с такой отчаянной храбростью

на штурм Федюхиных гор, и записывали в свои записные книжки: Odessky, Asovsky, Oukrainsky.

Было всего только семь часов утра, когда последний из этих трех славных полков был оттиснут к речке, зловеще называвшейся Черной. Как раз в это время добрался к Реаду флигель-адъютант князь Оболенский, посланный Горчаковым.

Он послан был тогда, когда Горчакову казалось, что Украинский полк, дравшийся еще упорнее, чем два других, непременно доберется до французских батарей, расположенных на вершине правой из Федюхиных гор, а Реад, разумеется, должен будет послать на поддержку его свою 7-ю дивизию.

— Ваше превосходительство,—сказал Оболенский.—Главнокомандующий послал меня передать вам, что если нужно будет, то к вам будет направлена, кроме пятой, также и четвертая дивизия, а если пожелаете, то еще и два полка драгун.

Покачив снисходительно к явному людскому неразумию маститой своей головой, Реад ответил Оболенскому:

— Dites au commandant en chef, que les dragons ne peuvent pas être employés en ce terrain, et quant à la quatrième division, elle est inutile, car il lui sera impossible d'emporter la position et elle se fera écharper, comme la douzième l'a été¹.

Бывший тут же генерал Веймарн, далеко не такой торжественный, как его непосредственный начальник, напротив, очень подвижной, деятельный, один из самых образованных офицеров русской армии того времени, сказал то же самое, что и Реад, только гораздо короче и по-русски:

— Непонятно, о чем еще хлопочет князь, когда сражение уже проиграно!

Совсем иначе, впрочем, думали солдаты Украинского полка. Появившись снова на правом берегу речки, полные еще боевого азарта, они направлялись толпами к стоявшей тут 7-й дивизии и, минуя офицеров, обращались к таким же солдатам, как и сами:

— Ребятюшки, подмогните! Ведь они, окаянные, что есть мочи от нас бежали! Ведь мы уж в лагере у них были, только что подмоги нам не было.

И не зря они обращались к солдатам. Начальник 7-й дивизии генерал Ушаков 3-й получил от самого начальника отряда приказание «начинать», но если сам Реад понял это горчаковское словечко, как приказ начать штурм, то Ушаков предпочел даже и не думать над тем, что оно значит, а преспокойно стоять на месте. Приказ Реада «начинать» сражение, по его мнению, не соответствовал диспозиции и выполнять его он не хотел.

¹ Скажите главнокомандующему, что драгуны не могут быть употреблены на этой местности; что же касается четвертой дивизии, то она бесполезна, так как ей будет невозможно взять позицию, и она будет разбита так же, как и двенадцатая дивизия (франц.).

Два раза посылал к нему Реад своего адъютанта, ротмистра Столыпина, чтобы сдвинуть его с места, но в первый раз Ушаков сказал, что дивизию в бой не поведет, потому что нет резервов, а во второй раз, когда подходила уже из резерва 5-я дивизия, сослался на то, что нет людей, которые показали бы ему, где броды на речке и в канале.

Как генерал Жабокрицкий во время Инкерманского боя спрятал свою бригаду в ложину, не подержав во-время атакующих англичан полков Соймонова, так и Ушаков хотел остаться спокойным зрителем развернувшегося перед ним зрелища героической гибели полков 12-й дивизии.

Только Веймарн, прискакавший к нему от Реада, заставил его, наконец, выдвинуть за речку три полка, оставив четвертый охранять артиллерию, которую невозможно было переправить через канал.

Свыше трехсот орудий должны были по диспозиции участвовать в сражении, но введены были в дело всего только двадцать два: так составляются диспозиции,—так пишется история.

6

Полки 7-й дивизии—Витебский, Полоцкий, Могилевский—переходили вброд Черную под сильным огнем французов, а едва перешли, были встречены тремя полками французов: 50-м линейным, 3-м Зуавским и 82-м линейным, который, бегом спустившись со взгорья, ударил во фланг Полоцкому полку, в то время как еще три батальона из резерва под командой самого начальника резерва генерала Клера зашли с другого фланга.

Попавшие с первых же шагов своих в мешок полки 7-й дивизии все-таки успели захватить несколько линий французских ложементов, но сильнейший обстрел картечью заставил их отойти снова к речке.

Окружить их французам не удалось, несмотря на большое превосходство в силах,—они отбились штыками, но потеряли при этом до двух тысяч человек. Артиллерии, оставленной на правом берегу, пришлось прикрывать обратную переправу обескровленных полков.

Большую пользу делу наступления, как бы неудачно оно ни велось, оказали две тяжелые батареи, установленные на Телеграфной горе генералом Липранди. С расстояния почти в полтора километра они давали чувствовать себя так сильно, что заставляли несколько раз французов менять позиции своей артиллерии.

Но это были слишком слабые успехи; налицо был разгром двух пехотных дивизий. И когда скорым маршем к каменному верстовому столбу, около которого стоял Реад, подошли первые ряды Галицкого полка, шедшего во главе 5-й дивизии,

кажется, можно бы было предвидеть участь этих людей, запыленных, усталых, с потными лбами под бескозырками, лихо сдвинутыми у всех по форме на левый бок.

Их неминуемо должно было ожидать то же самое, что случилось с шестью полками до них, которые вводились в бой поодиночке, но громились совокупными силами французской пехоты и артиллерии, долго и очень обдуманно подготовлявшими этот разгром.

Теперь же столь же обдуманно, но быстро готовили они разгром новых полков, в случае если бы главнокомандующий князь Горчаков, цену которому они уже знали, вздумал бы их бросить на штурм.

Как только Пелисье узнал, что Горчаков сосредоточил на берегу Черной большую армию, он двинул из глубокого резерва к Федюхиным высотам гвардию и дивизию генерала Лавальяна. Кроме того, дивизия Дюлака ожидала только сигнала, чтобы ринуться с Сапун-горы на помощь Гербильтону, а дивизия де-Ламотт-Ружа перестроила свой фронт, повернувшись от Корабельной стороны в сторону Черной речки; дивизия д'Ореля стала в ружье.

Наконец, несколько батальонов турок пришли на помощь французам, и турецкие гаубицы открыли огонь по русским батареям на Чоргунских высотах, артиллерия же Федюхиных гор, и без того чрезвычайно мощная, усилена была еще пятью конными батареями, взятыми из резерва.

И всем этим свежим и хорошо знакомым с местностью войскам брошен был в семь часов утра по приказу Реада на растерзание Галицкий полк.

Начальник 5-й дивизии, генерал Вранкен, испугавшись за участь этого полка, поднял было голос в его защиту:

— Ваше высокопревосходительство, — сказал он,—я считаю более сообразным с обстоятельствами штурмовать такую сильную позицию всей моей дивизией, а не одним только полком.

— Я здесь начальник,—надменно ответил ему Реад,—и попрошу вас исполнять мои приказания!

— Но ведь один полк, весьма возможно, будет разбит,—пытался все-таки вразумить начальника отряда Вранкен, однако Реад отозвался на это тоном, не допускающим никаких возражений:

— В таком случае пойдет в атаку следующий по порядку.

Вранкен откозырял и приказал командиру Галицкого полка тут же около Екатерининской мили строить его в колонны к атаке.

И так же точно, с командой штуцерников впереди и с барабанным боем, как все другие полки до него, уже с подхода к речке попавший под сильнейший ружейный огонь с того берега, Галицкий полк двинулся к первой преграде.

Держа ружья над головой, пошли вброд солдаты и многие из них затем только, чтобы остаться в реке с пулей в голове или в сердце, те же, которым посчастливилось перебраться благополучно, ступив на берег, должны были пускаться в дело трехгранный штык.

Они все-таки отбросили атаковавших их французов к подошве гор, но здесь наступательный порыв их разбился о толщу французских батальонов. Они завязали было перестрелку, но картечь, посыпавшаяся на них слишком изобильно, заставила их отойти снова к реке.

Галицкий полк состоял всего из трех батальонов, и всех трех батальонных командиров вслед за подковым он потерял во время атаки. Остатки полка вывел на правый берег Черной единственный уцелевший штаб-офицер майор Чертов.

Но прихлынувшие к реке французы осыпали пулями и Костромской полк, стоявший наготове к атаке и пропускавший сквозь свои ряды остатки галицких в тыл.

Начальник 5-й дивизии Вранкен был ранен; до двухсот человек офицеров и солдат Костромского полка были ранены и убиты, еще только готовясь к атаке. Картечь и пули летели сплошь. Даже пыль подымалась от них при падении на сухую землю, такая пыль, какую способны поднять только телеги, проезжая по большаку.

Но посланный в атаку полк все-таки двинулся сквозь тучи пуль к мосту и бродам, и вместо раненого и унесенного на перевязочный командира полка генерал Веймарн, верхом на лошади, сам повел полк.

Он мог бы оставаться попрежнему рядом со своим корпусным командиром Реадом, у Екатерининской мили, но бывает иногда с людьми даже и в генеральских чинах, что охватывает их вдруг порыв ненависти к самим себе вследствие неудач кругом, которые вызваны если даже и не ими лично, все же при их участии. Они кидаются тогда сами поправлять дело, какому бы риску при этом ни подвергались.

Он ехал впереди второго батальона через мост.

Только что миновали мост, ранен был в руку выше локтя командир этого батальона, майор Соколов, но шел все-таки, зажимая рану. А пули реяли кругом, и вот одна впилась ему в грудь, другая в живот...

— Команду принять капитану Шайтарову! — успел все же крикнуть майор прежде, чем упал под ноги своих солдат.

Но вслед за ним повалился с лошади и генерал Веймарн, смертельно раненный пулей в лоб. На носилках понесли его через мост обратно.

Французы продолжали расстреливать патроны своих переполненных сумок по двигавшимся вперед, хотя и без начальников, солдатам Костромского полка; когда же те бросились, наконец,

в штыки, беспорядочный, но чрезвычайно яростный штыковой бой закипел у подножия гор.

Недолго, впрочем, длился этот бой: слишком неравные сошлись силы... Но когда различил сквозь пороховой дым и туман генерал Реад, что костромские быстро пятятся снова к речке, что осталось их мало, что их вот-вот окружают французы, он крикнул:

— Галицкий полк, в атаку-у!

— Галицкий полк ходил уже в атаку, ваше высокопревосходительство! — почтительно доложил ему квартирмейстер 5-й дивизии капитан генерального штаба Кузьмин.

— Что-о? Про-ти-во-речь?.. Я-я здесь начальник! — выкатив светлые по окраске зрачка, но совершенно какие-то затуманенные глаза, закричал Реад.

В этот момент он, подчеркнуто прямо державшийся в седле, на своем время от времени тяжело вздыхавшем коне караковой масти, показался Кузьмину внезапно сошедшим с ума.

Предки Реада были англичане, при Петре переселившиеся в Россию, и сознание своего превосходства над окружающими было у него фамильным, но теперь тем более, как руководитель большого сражения, призванный к этому самим главнокомандующим, Реад верил в свою непогрешимость, как бы плохо ни шли действия русских войск.

Он не захотел поправиться и теперь, явно забыв названия полков 5-й дивизии и перепутав их.

— Галицкому полку, — повторил он отдельно и упрямо, — итти в атаку!

Кузьмину оставалось только броситься к стоявшим в тылу остаткам Галицкого полка и передать майору Чертову приказание генерала.

Сведенный уже в батальон и рассчитанный на четыре роты Галицкий полк под барабаны двинулся к мосту, на котором уже пятились, отступая, костромские.

Те, увидя поддержку, остановились и задержали французов, потом шагов на триста оттеснили их от моста, а галицкие, подоспев, погнали их еще дальше.

Когда ранен был майор Чертов, впереди галицких оказался поручик Чегодаев, человек немалой силы и удачи. Восемь зуавов окружили его, и пятерых из них он заколол штыком, но остальными поднят был на штыки сам...

На плечах отступавших русских солдат французы не только ворвались на мост, но заняли и то предмостное укрепление, которое очистили в начале боя. Пули их вывели многих из строя в Вологодском полку, стоявшем уже в колоннах к атаке.

Его и повел было в атаку бригадный генерал Тулубьев, но, контуженный в грудь, свалился с коня, и на его место стал командир вологодцев, полковник Вронский.

Переколоты были штыками зуавы, занявшие было укрепление, очищен был мост. Под сильнейшим огнем перешли вологодцы речку, потом водопровод... Французы отступали перед ними, быть может, и умышленно, чтобы подвести их под свою картечь, и на подступах к горам потери полка были уже так велики, что только двумстам-тремстам из четвертого батальона удалось добраться все до той же восьмiorудийной батареи, перед которой лежали уже горы трупов.

Майор Медников, командир четвертого батальона, старик уже, выслужившийся на Кавказе из солдат, в одной руке кинжал, в другой—кистень, оглянулся назад и увидел, что его окружают с его малой командой французы. Крикнул «ура» и повел своих снова вниз, работая то кистенем, то кинжалом, который «повернее форменной сабли».

Пробились, но батальонное знамя едва не потеряли. Убит был знаменщик, убиты были и двое его заместителей; наконец, перебито было и древко, так что знамя упало на землю. Оно было бы захвачено французами, если бы не барабанщик Азовского полка Степан Реутóвич, оставшийся тут раненый и валявшийся в общей куче, ожидая смерти. Знамя свалилось как раз на него, и он подтащил его под растянутую шинель, им опоясавшись и застегнув крючки шинели.

Он спас знамя, а знамя спасло его: он почувствовал вдруг такой прилив сил, что не только поднялся, но и пошел в толпе отбивавшихся направо и налево вологодцев и вместе с ними, забыв о своей ране, доковылял до моста, где ему помогли перебраться на другой берег и потом отнесли на перевязочный.

Другая участь ожидала руководившего боем Реада.

Отодвинув остатки Вологодского полка к бродам и на мост, французы не только заняли снова Трактирный мост и предмостное укрепление, они и артиллерию подвезли близко к реке.

От 5-й дивизии остался в целости только 17-й Архангелогородский полк. Правда, стоя на месте, он потерял уже свыше полутораста человек,—из них с десятков офицеров, но, смыкая ряды, готовился уже проделать все, что до него проделали и три остальные полка 5-й, и три полка 7-й, и три полка 12-й дивизий.

Уже подъехал к Реаду, чтобы получить от него приказание двинуть полк в атаку квартирмейстер дивизии Кузьмин, но только что успел взять под козырек и сказать: «Ваше...», как средней величины граната, лопнув над головой Реада, мгновенно раздробила ему череп, и Кузьмин вместо приказа к атаке ощутил вдруг острую режущую боль в мясистом своем подбородке: это вонзился в него осколок одной из черепных костей командира третьего корпуса.

Отдавать приказание стало некому. Архангелогородский полк, вместо того чтобы идти вперед, был отодвинут назад. Бой у Трактирного моста окончился.

7

Хотел ли злополучный Реад непременно бросить на верную гибель полки 5-й дивизии? Нет, не хотел; ему казалось только, что он исполняет приказание главнокомандующего, а свое мнение о полной бесполезности атак пехотными, а тем более кавалерийскими полками такой сильной позиции он выразил (по-французски) князю Оболенскому, а тот, конечно, передал его Горчакову.

Может быть, Горчаков хотел этого?—Тоже нет. Напротив, после того как славная атака полков 12-й дивизии была отбита, он послал полковника Менькова к Реаду с приказом прекратить бой и все войска вывести из-под обстрела, предоставив французам в свою очередь атаковать укрепленные русские позиции, если только французы этого пожелают.

Меньков отправился тут же; расстояние между верхушкой Телеграфной горы, где сидел—шинель внакидку—Горчаков, и Екатерининской милей, к которой прирос Реад, было по прямой линии не свыше трех километров, но местность была весьма неровная, густо забито было все войсками; туман, пороховой дым, отсутствие дорог,—кусты, пеньки, топкий берег Черной речки,—все это вместе взятое привело к тому, что Меньков задержался в дороге, а может быть, даже сбился с маршрута, попал, спеша, совсем не туда, куда надо,—так или иначе, но около Реада он очутился как раз в ту минуту, когда граната сняла с него, вместе с головой, ответственность за неразумную трату полков, посылавшихся им поодиночке на верный разгром.

Ушаков 3-й отвел свою весьма пострадавшую 7-ю дивизию, даже и с артиллерией, в тыл; Мартинау, хотя и раненый, позаботился об остатках своей 12-й и собрал ее на спуске с Мекензиевой горы; здесь же, на берегу Черной речки, осталась разбитая 5-я дивизия, лишенная генералов, так как и Вранкен и Тулубьев были отправлены на перевязочный.

— Где же четвертая дивизия?—спрашивал в недоумении Меньков, так как он знал, что за нею, чтобы привести ее сюда, к Трактирному мосту, посылался Горчаковым один из его многочисленных адъютантов, барон Мейендорф,—однако никто ничего не мог сказать ему о 4-й дивизии.

Эта дивизия просто застряла в пути, так как единственная дорога с Мекензиевых гор сплошь была забита орудиями, зарядными ящиками, фурами, лазаретными фурами и прочим, и полки 4-й дивизии остановились верстах в четырех от Черной речки и ждали, когда расчистится для них путь.

Обратно к Горчакову ехал Меньков уже гораздо быстрее, тем более что вез он известия одно другого важнее и значительней: смертельная рана генерала Веймарна, смерть Реада, разгром 5-й и 7-й дивизий, французы на правом берегу Черной, а местонахождение 4-й дивизии никому не известно...

Туман и густой дым, скрывавший от французов трудное положение 5-й дивизии, а с другой стороны, опасение иметь сзади себя Черную речку на случай контратаки, кроме того, может быть, и вполне естественная усталость войск помешали французам перейти Трактирный мост в больших силах и довершить дело разгрома 5-й дивизии.

Довольно долго тянулась перестрелка, дозволившая Горчакову, несмотря на всю тягучесть его мысли, принять сразу несколько решений.

— Белевцев! Генерал Белевцев!—озираясь на свою огромную свиту, выкрикнул он, только что выслушав доклад Менькова.

Генерал-майор Белевцев, начальник дружин Курского ополчения, тяжелый сырой старик, отозвался по-строевому:

— Здесь Белевцев, ваше сиятельство!—и послал лошадь, на которой сидел, вперед.

— Сейчас же примите команду над пятой дивизией!—резким крикливым голосом приказал Горчаков.—Устройте ее, приведите в порядок!

— Слушаю, ваше сиятельство!

На несколько мгновений задержался было около Горчакова Белевцев, ожидая дополнений, разъяснений каких-нибудь к такому краткому и неожиданному назначению, но Горчаков, отвернувшись, начал вдруг, сидя в седле, натягивать шинель в рукава; из этого Белевцев вывел, что ему он сказал все, а сам сейчас займется чем-то другим, гораздо более важным. Оставалось, значит, скакать туда, где убили Реада, о чем расслышал он краем уха из доклада Менькова.

Попавший из долговременной отставки не только в Севастополь, но и сразу в самую гущу большого сражения и в свиту главнокомандующего, от которого, как ему представлялось, расходились все нити управления боем, Белевцев был уже достаточно оглушен и продолжительной пушечной пальбой кругом и вообще необычайностью своего положения после мирных лет отставки, проведенных в сельской тишине в своем родовом имении.

— Боюсь, что собьюсь с дороги,—туман, дым...—несколько сконфуженно обратился он к генерал-квартирмейстеру Бутурлину.

Бутурлин дал ему в провозатые одного из адъютантов и казака из конвоя.

Горчаков же недаром надел в рукава шинель, хотя день развернулся ясный, тихий и теплый. Он сказал, обращаясь к Коцебу:

— Я лично принимаю начальство над правым крылом армии.

Однако остался он здесь же, где и был, на Телеграфной горе, только сделался вдруг очень беспокойным. Он ерзал на лошади, поворачивал ее туда и сюда, заговаривал то с Коцебу, то с Липранди, избегал только Вревского, старался даже делать вид, что не слышит обращенных им к нему замечаний о ходе боя или вопросов. Вревский все время держался с ним рядом, Горчаков же все время стремился не глядеть в его сторону.

При его обычной рассеянности, при всей исключительности окружавшей его обстановки такое упорство в желании совершенно не замечать и не слышать виновника неудач и потерь этого дня изумляло свиту главнокомандующего и прежде всех крошечного Коцебу, который видел, что и Вревский чувствует себя скверно.

Впрочем, Вревский старался все-таки показывать то и дело, что он верит в конечный успех сражения, но не понимает только, почему так плохо действует артиллерия правого крыла и почему главнокомандующий не дает севастопольскому гарнизону сигнала начать вылазку. Он, который при составлении диспозиции в главном штабе презрительно относился к мысли о вылазке гарнизона, стараясь доказать, что решение вопроса лежит исключительно за Черной речкой, теперь явился вдруг сторонником мнений Хрулева и Тотлебена о большой вылазке со стороны Малахова кургана, чтобы оттянуть силы французов от Федюхиных высот, куда направлялся главный удар.

Горчаков же, объявив себя самого начальником правого крыла, с тою поспешностью, какая его отличала, пришел тоже к мысли оттянуть французов, только не к городу, а в сторону левого крыла, чтобы спасти от полного уничтожения правое. На Белевцева, взятого из отставки, мало было у него надежды, тем более что полкам 5-й дивизии был он совершенно неизвестен.

Липранди, верхом на лошади, стоял близ Горчакова, и тот совершенно неожиданно обратился к нему:

— Генерал Липранди! Прикажете семнадцатой дивизии атаковать позиции! Первой бригаде!..

Подняв руку к козырьку фуражки, Липранди смотрел непонимающе.

— Атаковать позиции?.. Какие именно, ваше сиятельство?—спросил он, невольно оглянувшись при этом на Гасфортovu гору.

— Туда, туда! Туда в атаку!—недовольный его непониманием, указал вытянутой рукой на ближайший к Телеграфной отрог Федюхиных гор Горчаков.

Этого не было в диспозиции. Весь отряд Липранди предназначался исключительно для штурма Гасфортовой горы, для чего занимались и Чоргунские высоты, и Телеграфная, и деревня Карловка, и выходы из Байдарской долины.

Отряд этот не имел даже и мостков для пере-

хода через водопровод, так как между Телеграфной и Гасфортовой горами было только одно препятствие—Черная речка, водопровод же за Черной проходил между Телеграфной и позициями французов.

Липранди знал, конечно, что главнокомандующий во время боя может распоряжаться войсками и не придерживаясь заранее составленной диспозиции, так как всегда возможна непредвиденная случайность, которая даст успех тем из передовых колонн, на которые не возлагалось особенных надежд, и тогда зачем же держаться диспозиции?

Но в этот злосчастный день не было и тени успеха.

— Ваше сиятельство! Если мы пустим семнадцатую дивизию на французов, то сардинцы ударят ей во фланг,—предостерегающе сказал Липранди.

Но Горчаков спешил спасти правое крыло армии, взятое им под свое непосредственное начальство. От замечания Липранди он только отмахнулся рукой, едва добавив к этому:

— У нас есть резервы, чтобы не допустить их! Передайте Веселитскому... Где Гриббе?

Генерал-майор Гриббе был командиром первой бригады 17-й дивизии. Высокий, с плоской спиной и твердым, сухим, длинным носом, он продвигался сквозь ряды многочисленной свиты, а в это время Липранди почти испуганно обращался вполголоса к Коцебу, говоря ему на ухо:

— Павел Евстафьевич, отговорите князя, ради бога! Что такое? Какое наступление возможно от пас, когда оно там провалилось?.. Погубим еще одну бригаду, и только! Сардинцы висят у нас на левом фланге! Отговорите, пожалуйста!

— Если успею в этом,—развел ручками Коцебу.—Беда, когда у князя появляются такие внезапные идеи! Тогда он бывает очень упорен.

Однако единомышленником князя оказался, приятно это ему было или нет, барон Вревский. Он очень оживился. Он готов был сам скакать к 17-й дивизии, чтобы передать приказ о наступлении. Эта дивизия была последней картой в объявленной благодаря ему игре, а вдруг она не будет бита? А вдруг в это время как раз подойдет свежая 4-я дивизия и артиллерия, и это даст совсем другой оборот испорченному делу?

О том, что на правый фланг армии, быть может, теперь уже, скрытые густым дымом и туманом от подзорных труб с Телеграфной горы, надвигаются французы, Вревский не думал, но беспokoйство Горчакова за 5-ю дивизию и подступы к Мекензиевым горам сообщалось Коцебу, когда он действительно хотел было отговорить главнокомандующего от новой атаки, похожей в его глазах на жест отчаяния.

Полки Бутырский и Московский, соблюдая обычные интервалы в ротных и батальонных колоннах, один за другим принялись спускаться с горы к

речке. Их движение не могло быть скрытым; их намерение атаковать не Гасфортову, а Федюхиноу гору, ближайшую к ним, было, конечно, сразу разгадано как французами, так и сардинцами, и, только подожда к бродам через Черную, бутырцы попали уже под перекрестный огонь; но за речкой ожидало их другое, едва ли не более серьезное препятствие—водопровод, который был глубже, чем Черная, хотя и уже.

Мостков не было, огонь же становился все сосредоточенней. Легкая артиллерия, оставленная на Телеграфной, отстреливалась от сардинцев, а две батарейные батареи били по французским позициям, но это была слабая помощь бутырцам. И однакоже они шли вперед, шли так же, как шли одессы, азовцы, украинцы, галицкие, костромские, вологодские, шли, как привыкли ходить в атаки русские солдаты,—плотными рядами, обходя убитых и раненых и тут же смыкаясь вновь, и удивительные существа—ротные барабанщики священнодейственно и вдохновенно отбивали им шаг.

Сам главнокомандующий французов Пелисье, обогнав двинутые им с Сапун-горы на помощь генералу Фоше дивизию Дюлака и гвардию, имел возможность любоваться бутырцами, шедшими без выстрела на штурм восточного отрога Федюхиных высот.

Фоше не ожидал штурма с этой стороны; напротив, он направил почти все свои силы на склоны, обращенные к Трактирному мосту, опасаясь нового сильного натиска отсюда.

Правда, бригада генерала Клера спешила из резерва на поддержку батальону, атакованному и смятому бутырцами, хотя и в небольшом уже числе все-таки добравшимися до вершины.

Бригада Клера, в свою очередь, потеснила бутырцев, но сквозь их весьма поредевшие ряды ринулся для драки врукопашную Московский полк, подтянутый к этому моменту Гриббе, и погнал французов в их лагерь. Он добрался до кухонь и палаток, и будь в это время следом за ним сильные резервы, могла бы разыгаться картина боя, превосходящая Инкерманский по своей ожесточенности и по своему значению для дела обороны Севастополя.

Но Горчаков разбросал свои силы, чего, впрочем, и не мог он не сделать, как атакующий, Пелисье же собрал для защиты Федюхиных шестьдесят тысяч человек пехоты. Он стянул ее даже из траншей против Корабельной, когда убедился, что вылазки со стороны русских против редутов Бриссона и Виктории не будет.

То, чего опасался Липранди, конечно, и случилось: Ламармора послал бригаду своих сардинцев на правый фланг французов; но подкрепления спешили и из дивизии Каму, и с Сапун-горы спускалась дивизия Лавальяна, и спешили из резерва турецкие батальоны

Держаться бутырцам и москвцам на горе было уже нельзя. Гриббе приказал протрубить отбой и в самом начале отступления был тяжело ранен в ногу; ранен был и командир Бутырского полка, и все батальонные командиры, и много ротных оказались ранены или убиты... Липранди пришлось послать Бородинский полк прикрывать отступление, и в интервалы бородинцев проходили, стягиваясь к Телеграфной горе, остатки первой бригады.

В это время Белевцев, добравшийся до 5-й дивизии, которую он должен был устроить и привести в боеспособный вид, нашел стоявшим в порядке один только Архангелогородский полк. Представиться этому полку было для Белевцева просто: в этом помог ему командир полка, но другие полки просто разбрелись кучками солдат по урочищу, носившему название «Мокрая луговина», и в дыму и в тумане и под неумолкающую трескотню ружейных выстрелов и разрывы гранат и бомб очень трудно было разобраться в этих кучках, какие из них Галицкого полка, какие Костромского, какие Вологодского.

Сырой старик с вяло повисшими седыми усами, подъезжал он то к одной, то к другой кучке, крича:

— Я ваш новый начальник дивизии!—Солдаты же смотрели на него спокойно.

Но вот он разглядел в одной кучке солдат знаменщика со знаменем.

— Какого полка знамя, ребята?

— Костромского егерского полка!—зычно ответил сам знаменщик.

— Ребята! Вы меня не знаете, но зато знаете это знамя!—прокричал Белевцев, и, тут же вспомнив необходимую команду, скомандовал довольно удачно, то есть звонко, внушительно и с чувством:

— По зна-мени стройся!

Это и было то самое, с чего надо было начать—собрать разбредшиеся полки.

Солдаты собрались у своих знамен, и можно уж было свести их в батальоны и потом отвести подальше от выстрелов.

Однако далеко не все собрались из тех, кто в состоянии был это сделать.

Можно было подумать, что французы намерены вот-вот двинуться в атаку на русские позиции, так густо поливали они снарядами и пулями правый берег Черной, и все-таки, несмотря на это, действительно шла уборка раненых.

Правда, команды, особо назначенные для этой цели, еще до начала сражения были отправлены на левый фланг, так как Горчаков предполагал атаковать Гасфуртову гору, а не Федюхины высоты, туда же, в долину речонки Шули, была направлена и большая часть медиков, но сражение развернулось совсем не так, как об этом писалось

накануне в главном штабе, и огромное число раненых оказалось здесь, около Трактирного моста.

Убирать раненых шли солдаты разгромленных уже полков, только что сами случайно спасшиеся от смерти, и шли опять туда же, где роем носились пули и взрывались снаряды. Это стоило любой повторной атаки, хотя и делалось это вполне добровольно, без приказа начальства, без барабанного боя.

К Телеграфной горе были подтянуты два полка из отряда генерала Бельгарда, но Горчаков не думал уже вводить их в дело: отступлением бородинцев проигранное на обоих флангах сражение было закончено.

Сходились и сошлись, наконец, бородинцы, пропустившие сквозь свои ряды остатки бутырцев и москвцев, но как ни подслеповат был Горчаков, все же разглядел он в трубу, что около самой речки, в кустах взвиваются дымки от ружейных выстрелов, хотя перестрелка была уже прекращена и штыцерные отозваны.

Горчаков послал двух казаков из конвоя привести к себе этих неугомонных стрелков. Помчались казаки вниз и привели виновника беспокойства князя: стрелок оказался один. Это был богатырский роста и сложения рядовой Бородинского полка.

— Ты что там стрелял?—шепеляво спросил его главнокомандующий.

— Прикрывал отступление, ваше сиятельство,—очень отчетливо ответил бородинец.

— Мне показалось, что еще там кто-то стрелял в кустах...

— Никак нет, ваше сиятельство, я один там был, только я перебежку делал от куста к кусту. Он по дыму стреляет в меня, а я уж из другого места в него ловчусь. А ползуны мои этим временем дальше себе отползают.

— Ползуны? Какие ползуны?—не понял Горчаков.

— Которые раненые, ваше сиятельство... Я троих на себе принес, ну, там еще сколько-то осталось. Я им сказал: «Ползи, братцы, а я вас прикрывать буду...»

— Где же они ползут? Указать можешь?

— А как же не могу, ваше сиятельство! Их и отсюда видать... Вон за тем бугорчиком один прижук, да вот за тем кустиком, рыжеватым из себя, ешшо двоечка.

— Ну-ка, подбери их, ребята,—обратился Горчаков к казакам, и те снова погнали вниз своих косматых лошадей, тормозящих на спуске задними ногами.

— Тебя как звать?—спросил Горчаков солдата.

— Первой мушкатерской роты лейб-егерского Бородинского полка рядовой Шелкунов Матвей, ваше сиятельство,—приносясь, не по форме несколько, но отчетливо ответил солдат.

— Молодец, Шелкунов Матвей!

— Рад стараться, ваше сиятельство!

Бравый вид Шелкунова так успокоительно действовал на главнокомандующего, только что проигравшего большое сражение, что он не мог оторваться от него так вот сразу; кстати, нужно было дожидаться и посланных за ранеными казаков.

— Ты в наступление ходил или в тылу оставался?—спросил он Шелкунова.

— Как можно, чтобы в тылу, ваше сиятельство!—удивился такому предположению о нем Шелкунов.—Я в цепи был... Подошли мы к речке,—ну, там не глубже пояса оказалось; бегим дальше, а там водяная канава, да глубокая, не перейдешь, а перескочить ежли, тоже без разбега не перескочишь. Один другому подсобляли, кое-как перешли, только что враг дюже допымал пулями. Сидел он в канавках махоньких, издаля его не видно нам было. Ну, мы добежали—колоть его!.. Он бежать, мы за ним!.. Кухню ихнюю опрокинули,—должно, кашу варили: не разглядел я... Мы бы его и дальше гнали, когда на тебе, сигнал нам дают,—отходи назад! Отошел было за канавку, а жалко было дальше идти: дюже место хорошее. Пошто, думаю, не попользоваться? Сел я да давай по нем палить. Кто вперед вылезет, того и свало. Однако, что станешь делать,—расстрелял ведь патроны все... Я немного назад отошел,—мушкетер наш лежит убитый. Снял я с него сумку с патронами, ружье тоже взял,—еще пять выстрелов дал... Отступя чуток,—раненых наших трое. Вот я им тогда и говорю: «Ползи, говорю, братцы!»—Они ползут, а я стреляю. Потом вижу, не доползут ну-ка,—я их и притащил на себе, потом опять туда.

— Ты откуда же родом?—спросил Горчаков.

— Из Сибири я, Енисейской губернии, ваше сиятельство.

В это время поднимались уже казаки, подобранные раненых на седла.

У одного из адъютантов князя была взятая на случай победы кожаная через плечо сумка с георгиевскими крестами. Горчаков подозвал его к себе, вынул крест из сумки и, нацепив его Шелкунову, сказал при этом тому же адъютанту:

— Запиши, что производится он, Шелкунов, в унтер-офицеры.

8

В девять утра шестичасовой и упорный, несмотря на большое неравенство положения противников, бой на Черной речке окончился.

Канонада, правда, продолжалась с неослабевающей силой, но пехотные части больше уж не вводились в дело. Приказав Липранди вывести из-под обстрела свой отряд, Горчаков верхом, как был, отправился на правый фланг, начальником кото-

рого он себя объявил после доклада Менькова о смерти Рсада. Огромной свиты своей он не взял, оставив ее в безопасном месте, но ездить совсем без свиты он не мог, не умел,—этого не было в его привычках,—и теперь сопровождали его: неизменный Коцебу, барон Вревский и два адъютанта, не считая нескольких казаков.

К этому времени Белевцев отвел уже 5-ю дивизию, и долина Черной речки была очищена от войск, но не от множества тел убитых и тяжело раненных, хотя на каждом шагу попадались солдаты с носилками или с ружьями, перекрытыми шинелями,—уносили подававших еще признаки жизни.

Дым и туман в долине продолжали стоять плотно, и над головой то и дело пролетали, повизгивая, снаряды, но Горчаков будто не замечал их, так что Коцебу, ехавшему с ним рядом, стало жутко: ему начинало казаться, что главнокомандующий русскими силами в Крыму так подавлен неудачей, постигшей его, что просто ищет смерти.

Себя самого Коцебу не винил ни в чем; привыкший к чисто канцелярской работе, он на ходу своей лошади уже сочинял про себя реляцию о сражении, в которой, конечно, ни одного слова не было о деятельности его, начальника штаба, как будто его и не существовало вовсе,—и реляция пестрела выражениями: «Главномандующий приказал», «главнокомандующий, князь Горчаков, сделал распоряжение...» Действительно, в самом начале боя предугадав,—что было совсем не трудно,—каков будет его конец, Коцебу предпочитал не вмешиваться в ход сражения, а главное, не противоречить вождю.

Даже теперь, когда они ехали рядом и когда Горчаков сказал ему:

— Я уверен в том, что французы попробуют атаковать нас... Пусть попробуют!

Коцебу не выразил сомнения в этом, которое так и просилось ему на язык, он проговорил только с вызовом в сторону французов:

— О-о, тогда мы поменялись бы ролями! Тогда настало бы наше торжество!

Вревский ехал позади, чувствуя большую неловкость от явно неприязненного отношения к нему князя в этот день и не находя в себе ни достаточного тепла, чтобы растопить лед, ни силы воли, чтобы просто повернуть своего коня и уехать.

Да и куда было уехать от того, во что превратилась мечта его, взлелеянная еще там, в Петербурге, в военном министерстве, и одобренная не только Долгоруковым, но и самим царем? Наступление на правый фланг противника совершилось,—план его, Вревского, был воплощен,—и что же?

Он мог бы кричать на всю Россию, на весь мир, что воплощен бездарно, тупоумно, дико,—в чем он совершенно не виноват; что составленная при

его участии диспозиция совершенно как бы позабыта была с самого начала боя; что гарнизон Севастополя нисколько не помог делу, потому что ему даже и не дали сигнала о выступлении; что многочисленная, безусловно сильная артиллерия совсем почти не принимала участия в сражении... и многое еще.

На Телеграфной горе он говорил об этом Липранди, и Бутурлину, и Ушакову 2-му, но не Горчакову, не тому, от которого в конечном счете зависела вся путаница, приведшая к постыдному поражению с огромным количеством жертв. Горчаков сознательно избегал разговора с ним, Вревским, представителем в его штабе не кого иного, как самого императора.

Именно об этом, последнем, все хотелось Вревскому напомнить главнокомандующему, дать понять ему, что ведь вместе с его реляцией, которая будет составлена, может быть, и красноречиво, но лживо, будет отослано в Петербург князю Долгорукову его пространное и безусловно правдивое письмо, которое он со всею прямою и честностью мысли должен будет закончить так: «Хотя князь Горчаков и остался в этом неудачном по его вине и кровопролитнейшем сражении жив, но тем не менее заменить его на посту главнокомандующего в Крыму генералом Лидерсом, как о том я писал вашему сиятельству ранее, совершенно необходимо».

Этот рой мыслей и соображений, кипевший в голове Вревского, вдруг рассыпался: прожужжало мимо него ядро и оторвало силой полета рукав его наброшенной на плечи шинели. Оторвало, правда, не совсем и по шву, от плеча.

Когда мимо нас промчится явная смерть, мы, кто бы мы ни были, приходим в понятное возбужденное состояние, особенно на людях. Вревский, скинув с себя шинель и осматривая оборванный рукав, сказал одному из адъютантов, князю Мещерскому, улыбаясь:

— Вот доказательство того, что портной шил эту шинель гнилыми нитками!

Он сказал это громко, и ему хотелось, чтобы Горчаков остановился и выказал ему участие, конечно, необходимое в подобных случаях; но Горчаков даже не обернулся назад, и, глядя в его спину, Вревский презрительно кривил свои полные губы: был хороший повод наладить разговор с ним и пропал бесследно.

Однако минуты через две новое ядро раздробило обе передние ноги его лошади. Это было уже серьезнее: лошадь упала, едва не придавив его,—он с трудом успел соскочить.

— Плохой знак, ваше превосходительство!—обеспокоенно обратился к нему Мещерский.—Второй раз задевает вас ядро! Вам лучше бы удалиться отсюда.

— Подождем третьего ядра,—улыбаясь, по гля-

дя в сторону Горчакова, отозвался на это Вревский, внутренне взбешенный тем, что даже и теперь главнокомандующий не обернулся и продолжал ехать дальше, а за ним, по долгу службы, двигались и адъютанты и казаки конвоя.

— Пстой-ка, братец, дай-ка мне своего конька,—остановил одного из казаков Вревский.

Тот послушно спрыгнул с седла, но как раз в это время третье ядро отыскало голову Вревского.

Казак неистово закричал, весь обрызганный кровью и мозгами генерал-адъютанта, и сначала остановилась свита Горчакова, потом, наконец, и он сам.

— Что такое там случилось?—спросил он Коцебу.

— Говорят, убит ядром Вревский,—сказал тот.

— А-а,—неопределенно протянул Горчаков; потом он снял фуражку, перекрестился, повернул лошадь и, не взглянув на то, что осталось от вдохновителя боя, поскакал к Мекензиевым горам.

Обезглавленное тело барона подобрал казак, перекинул его через седло и так довез его до площадки, на которой расположился перевязочный пункт и где рядами лежали уже многие умершие от ран.

9

Тело другого виновника поражения,—Реада,—вынесено не было: оно так и осталось около Екатерининской мили и было найдено в куче трупов на другой день французами, похоронившими его с почестями сообразно с его высоким чном и, пожалуй, даже с той услугой, которую он оказал им, посылая под их картечь, пули и снаряды один за другим русские безотказные полки.

Другие такие же полки, собранные на Корабельной стороне для вылазки под начальством Хрулева, целое утро до обеда ожидали сигнала, прислушиваясь к раскатам канонады.

Ожидание было напряженное, тревожное. Тревога была за Севастополь, за его участь, которая решалась там, на Черной речке, а что участь Севастополя решалась именно в этот день, понимал всякий матрос, всякий солдат.

Сигнальные, наблюдавшие с брустверов за неприятелем в подзорные трубы, еще в седьмом часу утра доносили однообразно радостно: «Уходят французы! Очищают траншеи!»

Французы действительно очищали траншеи и уходили в восточном направлении, к Сапун-горе, к Федюхиным высотам. Хрулев без промедления дал знать об этом Сакепу, сидевшему в библиотеке, но тот все внимание свое отдал оптическому телеграфу, который должен был принять сигнал к вылазке.

По этому сигналу он в свою очередь должен был снять с гарнизона Городской стороны десять

батальонов и отправить их на Корабельную в распоряжение Хрулева, однако Хрулеву момент для атаки представлялся до того удачным, что он готов был начать вылазку и с теми силами, какие у него были, лишь бы получить для этого не прямое приказание, даже, а только согласие, только намерение...

— Эх, захватили бы в полчаса столько, что им бы у нас потом не отбить и в полгода!—сокрушался Хрулев и все глядел туда, на восток, где гремела свирепая канонада, но там не видно было, конечно, ничего, кроме белого дыма в небе, висевшего подобно туче.

На этот дым смотрели во все глаза со всех бастионов, каждую минуту ожидая приказа начать орудийную стрельбу, так как ранним утром все батареи получили письменные указания, против каких именно позиций противника одновременно по всей линии должны они были открыть сильнейший огонь.

И все было приготовлено на бастионах для этого огня, предшественника вылазки, но... час проходил за часом,—огня не открывали.

Батареи противника тоже молчали: пушки говорили там, на Черной реке, здесь же дан был им отдых, заслуженный, правда, но тем не менее обидный.

К полудню для всех уже, от старших и до самых младших из защитников Севастополя, стало ясно, что там не осилили врага, что успеха, который дал бы возможность занять опустевшие траншеи французов, не добились.

Не добились успеха—это становилось все ясней каждому, но в полный успех, в поражение русских войск никто все-таки не хотел верить, так как канонада продолжалась.

Однако после полудня и канонада стала ослабевать, наконец, и совсем почти прекратилась,—явный признак того, что русская армия отступила на дистанцию, превышающую дальность неприятельских снарядов, а союзники, обессилевшие, были боем или нет, решили ее не преследовать.

С наступлением же сумерек эскадра англо-французов расцветилась флагами, потом заблистала огнями иллюминации: там праздновали победу.

Уже к одиннадцати часам дня все русские полки были снова оттянуты на Мекензиевы горы, очистив таким образом место для наступления французским войскам, однако это совсем не входило в планы Пелисье, который довольно долго потом, когда утихла уже перестрелка, красовался на Трактирном мосту, окруженный генералами, и усиленно разглядывал в зрительную трубу расположение русских войск на противоположных высотах.

Батальон зуавов приводил в порядок предмостное укрепление, а на Телеграфной горе устраивались попрежнему сардинцы.

Издали, с гор, казалось, что в стане врагов дей-

ствительно как будто все попрежнему, точно штурмующие колонны полков 12-й и 17-й дивизий, пробившись сквозь лаву картечи и штуцерных пуль бельгийского образца, не доходили до самой вершины Федюхиных гор.

Но не так было на деле. Если артиллерия русская не принимала участия в штурме высот, то штыки работали на совесть, когда удавалось схватиться и скрещивать их со штыками французов.

Имея все преимущества на своей стороне, войска Пелисье все же потеряли в этот день до двух тысяч человек; русские полки вчетверо больше, так как и наступали и отступали они под непрерывным огнем, и очень дорого обошлись им обе переправы. Одиннадцать генералов выбыло из строя, из них трое убитыми, и двести пятьдесят офицеров.

Семь медиков перевязочного пункта работали неустанно с утра до поздней ночи. Большая поляна на Мекензиевых горах, на которой разбиты были операционные палатки, была сплошь завалена ранеными. Отрезанные руки и ноги зарывали тут же, между кустами. Лазаретные фуры и полуфурки, а также обывательские подводы немцев-колонистов отвозили перевязанных дальше. Иногда, выбиваясь из сил, медики хватали кровавыми руками сухарь и, жуя его, запивали водой из баклажки, потом принимались снова за ланцеты... А раненых снизу все несли и несли.

Несколько иначе подкреплялся Коцебу, сидя поздно вечером в хорошо обставленной и неплохо освещенной землянке генерала Бухмейера за ужином с вином и фруктами.

Наскоро рассказав ему, возившемуся целый день со своим мостом через Большой рейд, впечатления от неудачного боя, он добавил не без горечи, однакоже и без большого уныния:

— Нет, любезнейший Александр Ефимович, я вижу теперь, что у нас ничего нельзя предпринять, потому что все, все, решительно все выходит на оборот! Все получается совершенно противно моим распоряжениям! Ведь я каждому объяснял, показывал на карте, что надобно сделать. Спрашивал: «Поняли?»—Отвечали мне: «Как же не понять? Что же тут непонятного, помилуйте?» Что непонятного? Ничего, конечно, не было непонятного, все было азбучно просто. Но отчего же, спрошу я вас, отчего дивизия, которой следовало стоять налево от дороги, очутилась вдруг направо, другая, которой надобно стоять уже на линии огня, торчит еще почему-то в лагере?.. Нет, я сегодня так много испытал, что страшусь уже предпринимать когда бы то ни было что-нибудь решительное! Довольно!.. Ничего не выходит и ничего, решительно ничего не может выйти! А все-таки, какая это была картина, когда семнадцатая дивизия штурмовала Федюхины! Ах, как жалел я тогда, что со мною рядом не было моего брата Алек-

сандра,—художника! Конечно, если бы приехал он из Мюнхена, он был бы сегодня со мной, и тогда... Гениальнейшее произведение своей кисти он мог бы создать по наброскам, какие бы сделал с натуры!

Горчаков же в эту ночь,—лунную и тихую,—заперся в своей спальне, долго молился, стоя на коленях, и плакал, а несколько придя в себя, начал писать «всепоподданнейшее донесение».

«Я мало рассчитывал на удачу,—писал он,—но не думал, что понесу столь большой урон. Порыв, оказанный всеми частями войск наших, имел бы, без сомненья, счастливый исход, если бы генерал Реад не сделал преждевременной частной атаки вместо той, которую я предполагал сделать совокупно войсками его и генерал-лейтенанта Липранди, непосредственно поддержанными главным резервом».

Свалив на мертвого всю вину за неудачу боя, Горчаков писал потом уже гораздо более искренно и правдиво:

«Войска дрались с примерным мужеством. Пехота явила в сей день опыты самой блестящей храбрости, преодолела под убийственным огнем двойное препятствие (реку и канал) и неоднократно выбивала штыками превосходного по численности противника из сильных позиций, укрепленных окопами, искусно приспособленными к местности...»

«Артиллерия, невзирая на относительные несгоды ее расположения, действовала с большим успехом: не раз заставляла она молчать неприятельские батареи, расположенные на господствующей местности, и сильно поражала пехоту...»

Донесение это рано утром повез царю флигель-адъютант Эссен, но как раз в то время, когда выезжал он из ставки главнокомандующего, началась генеральная, пятая по счету, давно подготовлявшаяся и весьма старательно подготовленная бомбардировка Севастополя.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПЯТАЯ БОМБАРДИРОВКА

1

Две крепости одиннадцать месяцев стояли одна против другой: патриархальная русская Троя, возникшая наскоро, на-авось, на глазах у многочисленного врага, внизу, у берегов узкого морского залива, и гораздо более сильная, устроенная на высотах над нею и по последнему слову техники, крепость четырех союзных европейских держав.

И если русские генералы, повинувшись указке из Петербурга, не задумались бросать на приступ

твердынь интервентов на Федюхиных горах пойдя за полком своей безотказной пехоты, которой на помощь где не успела, а где и совсем не могла притти артиллерия, то гораздо расчетливей оказались их противники: чрезмерно богатые снарядами, они всячески берегли людей.

Крымская война и без того уже стоила слишком много союзникам, затянувшись, по мнению политических деятелей Лондона и Парижа, на непростительно долгий срок; огромное число потерь, понесенных армиями англичан и французов, и без того уже испугало тех, кто легкомысленно начинал войну на Востоке.

Несчастное слово Горчакова «начинать» двинуло войска злополучного Реада в атаку почти за полверсты от французских батарей, совершенно необстрелянных, так как снаряды русских пушек туда не долетали. Траншеи интервентов были уже местами всего в нескольких десятках сажен от валов русских бастионов, и почти каждый снаряд,—французский он был или английский, прицельный или навесный,—находил свои жертвы, приносил свой вред.

Казалось бы, все уже было подготовлено маршалом Пелисье и другими генералами союзных армий для несомненной удачи штурма Севастополя, но свежа еще была память о 6/18 июня, а успех отражений русских атак на Федюхины горы достался не такой уж дешевой ценой. Главное же, дело на Черной речке показало Пелисье и другим, что представляет из себя русский солдат, даже и предводимый совершенно бездарными генералами.

Беззаветная храбрость русских полков, лезших на неприступные горы, явилась причиной того, что бомбардировка, начатая утром 5/17 августа, была заранее рассчитана союзным командованием не только на огромнейшую интенсивность, но еще и на очень долгое время, чтобы выбить, наконец, у героического гарнизона даже и самую мысль о возможности сопротивляться, когда начнется общий штурм бастионов.

В превосходстве своего огня над огнем защитников Севастополя интервенты не сомневались,—это было учтено и взвешено точно,—и бомбардировка, начатая ими, должна была не только неоправимо разметать все верки, но еще и придавить их остатки миллионом пудов чугуна так, чтобы дело обошлось совсем без штурма, чтобы не для уборки трупов, а в целях сдачи крепости заплескали, наконец, в один прекраснейший день белые флаги, которых слишком заждались в нескольких из европейских столиц.

Ровно в пять утра пять батарей французских, расположившихся на бывшей Камчатке, начали канонаду: весь Зеленый Холм (Кривая Пятка) сразу окутался плотным дымом, сквозь который замелькали желтые огоньки выстрелов, а не боль-

ше, как через минуту загрохотало, засверкало и заклубилось во всю длину неприятельских батарей вправо и влево от Камчатки...

Как будто возобновился тот самый, прерванный ровно два месяца назад бой за второй и третий бастионы и за Малахов курган, потому что на них и на куртину между Малаховым и вторым бастионом был направлен весь ураган разрывных и сплошных снарядов.

Давно уже не было дождей; земля всюду на бастионах,—сто раз перемотыженная и перешвыренная с места на место лопатами земля,—расселась, растрескалась, расслоилась и теперь взвивалась густою пылью над глубоко уходившими в нее ядрами интервентов. А огромные—пяти- и семипудовые—взрывчатые снаряды взметывали уже не пыль—целые земляные смерчи; местами же обрушивались с брустверов во рвы, ссывались вниз сдвинутые взрывами до середины рыхлые насыпи, увлекая за собой и туры, и фашины, и мешки... То, на что рассчитывали,—ошибочно, как оказалось,—инженеры и артиллеристы интервентов в первую бомбардировку—5/17 октября, было достигнуто ими теперь, в двенадцатый месяц осады: земля бастионов оставалась та же,—хрящеватая, сухая, очень опасная для тех, кто доверился ее защите, но число осадных орудий выросло вдвое, причем мортир среди них стало больше в несколько раз.

На помощь союзникам пришел в это утро и ветер, который гнал густые тучи дыма на русские батареи, и уже в первые несколько минут канонады все вздернулось на дыбы, напряглось до последних пределов сил, отведенных человеку...

Дым от своих орудий, туча чужого дыма, заслонившая все кругом, так что и в двух шагах не было ничего видно; сжесекундные взрывы неприятельских снарядов; гул и треск, и мелкие камешки, срывающиеся с насыпей, бьют в лицо, как град; и около падают иные разорванные, иные стонущие товарищи; и все же, не теряя ни одного мгновенья, нужно заряжать и посылать ответные ядра и гранаты... Куда посылать?—Неизвестно: нет ни малейших возможностей для прицела...

Траншеи противника были пусты: только артиллеристы работали там около орудий, разбившись на три смены, и чуть начинала выбиваться из сил или выбиваться русскими ядрами одна смена,—место ее заступала другая.

Совсем не то было на севастопольских бастионах: они были переполнены людьми. Никто из начальствующих лиц, начиная с самого Горчакова и Остен-Сакена, не ожидал, что канонада затянется надолго, поэтому для отражения штурма были собраны на бастионах испытанные полки.

Они таились до времени в длинных и в надежных, казалось бы, подземных казармах-блиндажах, но в эту бомбардировку в дело введены были

союзниками новые сильнейшие мортиры, от которых не спасали уже ни двойные накаты из толстых бревен, ни двухметровые пласты утрамбованной земли над накатами блиндажей.

Даже если бомбы и не врывались внутрь блиндажа, действие их все-таки было ужасно, так как вниз, на плотные массы солдат валились бревна, и раздавленные ими тела засыпало землей, как в готовой могиле.

Обилие орудий и снарядов позволяло англо-французам скрещивать огонь многих соседних батарей на каком-нибудь одном из русских укреплений, и тогда буквально не было на нем места, где бы не падал снаряд, истребляя всю живую и чугунную силу его в две-три минуты.

Теперь уже не только простодушный кубанец, пластун Трохим Цап, но и любой из самых привычных и опытных артиллеристов русских мог бы сказать: «Это уж не сражение—это душегубство!..» И однако все стояли на своих местах и делали свое дело около орудий.

В одних рубашках, мокрых от пота и черных от дыма, в таких же парусиновых шароварах, в бескозырках, сдвинутых на затылок, а где и совсем без них, в черных форменных галстуках, а где и сорвав их с себя, чтобы не давили шеи, то и дело стряхивая и смахивая пот со лба, чтобы не ел глаза, действовали матросы, командуя при этом не словами,—сильными жестами и выпадами подбородков, теми солдатами, которые были присланы им в помощь.

Только изредка слышали солдаты ободряющее рычание матросов:

— Что? Жарко?.. Не ррррь, братцы!

И вдруг взлетал на воздух или отбрасывался далеко в сторону, мелькнув широкими парусиновыми шароварами матрос, и солдат, его ученик, тут же становился на его место: смерть была не страшна, потому что не было около шага земли, где бы не было смерти.

Люди сами не замечали, как переходили они за тот предел, куда не забиралась, не могла забраться боязнь, где сохраняется только сознание какого-то одного общего и совершенно неотложного дела, но теряется иногда надолго ощущение того, что твоей жизни угрожает опасность.

И что такое эта опасность? Мыслишка о том, что ты можешь потерять руку, ногу, что в твою грудь или в живот вопьется осколок и причинит тебе много страданий? Здесь даже этой мыслишке неоткуда было взяться: раненых почти совершенно не было в этот день на бастионах, были только убитые наповал, разорванные в куски...

Залпы семипудовых мортирных батарей в первый раз за все время осады именно в эту бомбардировку были применены французами, и действие этих залпов было таково, что в несколько минут совершенно изменялся внешний вид укрепления,

так что его не узнавал даже и тот, кто им командовал.

Рана Тотлебена и смерть Нахимова помешали укрепить Корабельную сторону так, как это хотел сделать первый: вместо ста двадцати новых орудий большого калибра было поставлено только сорок; поэтому батареи второго бастиона и Малахова кургана не могли выдержать борьбу с батареями французов. Семипудовая бомба взорвала около полудня пороховой погреб на втором бастионе; две других таких же бомбы пробили крыши двух бомбохранилищ на Малаховом, и взрывы собственных бомб произвели огромные разрушения. К вечеру оба эти бастиона умолкли.

Весь день этот ядра, гранаты и бомбы густой и жадной стайей летели также и в город, ложась там, где их не видели раньше. Сплошь были завалены к концу дня щедро расточаемым чугуном улицы и площади, которые стали не только непроезжи, даже непроходимы от огромных воронок. Дома, еще накануне имевшие нетронутый вид, теперь лежали в развалинах; кресты с церковей и колоколен сбиты.

Мало уже оставалось жителей в Севастополе к утру этого дня, но и те с началом бомбардировки кинулись спасаться частью в Николаевские казармы, большей же частью на Северную, куда перевозили их яличники, бывшие матросы.

Старики эти, из которых иные были участники Наваринского боя, спокойно относились к канонаде. Геройство это было с их стороны или нет, об этом они не думали,—перевоз давал им заработок, и этого с них было довольно. Но когда на середине бухты видели они рыбу кверху брюхом, они сокрушенно качали седыми головами и говорили своим пассажирам:

— Ишь, подлюги, рыбы-то сколько глушат снарядами зря!

Все они были не только перевозчиками, но и рыбаками тоже, и в этот день, так же как во всякий другой, в каждом ялике торчали связка удочек, сачок и ведро с пойманными на ранней заре горбылями.

2

Два бастиона Корабельной стороны все-таки вполне успешно состязались с осаждающими в этот грохотающий неслыханными громами день: первый, изумивший французов, и третий, одержавший решительную победу над англичанами.

Хотя усилия целой Англии были направлены только к тому, чтобы овладеть третьим бастионом, но это уж не казалось такою новостью для третьего бастиона, как в первую бомбардировку, в октябре. Враг был давно уже обследован, освоен. Если не было уж на бастионе как тогда, в октябре, braveго капитан-лейтенанта Евгения Лесли,

то был штабс-капитан артиллерии Дмитрий Хлапонин, который помнил, стоя на своей батарее, как говорил когда-то Лесли: «Погодите, господа англезы, мы вам расчешем ваши рыжие кудри!..»

И расчесали, действительно, в этот день.

Еще в седьмом часу был уже взорван у англичан большой пороховой погреб.

Увидев это, кричали «ура» на бастионе и батареях Будищева, Никонова, Перекомского, вошли в азарт и не больше как через полчаса взорвали другой погреб...

К вечеру пять погребов было взорвано у англичан и около половины батарей сбито.

Конечно, сильно пострадал при состязании и бастион, особенно его исходящий угол, но к этому уж привыкли, что исходящий угол при каждой сильной бомбардировке разрушался до основания, а наутро возникал вновь.

На третьем бастионе стоял в блиндажах Охотский полк, который только что приготовился было отпраздновать свой полковой праздник не менее пышно, чем праздновал он 1 мая годовую страду свою в Севастополе. Полковой праздник охотцев—«преображение господне»—приходился на шестое число, а пятого началась канонада,—совсем другой праздник,—праздник смерти и разрушения,—но все-таки не будни же, так как напряглись до предела все человеческие силы.

От взрывов погребов у англичан пять раз дрожало все на бастионе, как во время землетрясения. Батареей Будищева командовал теперь, чтобы оправдать ее имя, младший брат основателя ее, лейтенант Будищев, такой же приземистый, косоплечий и озорноватый. Большие снаряды к бомбическим орудиям отпускались по счету, по девяти штук, но лейтенант, стоя у такого орудия, вошел в раж, свойственный и его покойному брату.

— Сколько снарядов из этой выпустили?—спросил он.

— Да уж все девять,—ответили ему.

— Э-э, чорт, валяй, в мою голову, десятый для ровного счета!—энергично махнул рукой Будищев, и незаконный снаряд был послан, и он-то взорвал самый большой из английских погребов.

Полевая батарея, которой командовал Хлапонин, была в резерве, но он знал, что ее со всей поспешностью нужно будет придвинуть к передовой линии для отражения штурма. Этого штурма ожидали рано утром на другой день, думая, что вошел уже в привычку у союзников такой именно порядок действий: развивать бешеную канонаду в течение суток и потом итти на приступ.

Дмитрий Дмитриевич совершенно успел втянуться в прежнюю жизнь еще там, в лагере на Инкерманских высотах. Когда он получил назначение на третий бастион, был период сравнительного затишья, так что, попав опять туда же, где был он контужен в голову в октябре, он как

будто,—с очень большим перерывом, правда,—продолжал стоять на страже Севастополя там же, где начал.

Не было здесь совсем ни одного офицера из тех, кого он припоминал, и самый бастион почти неузнаваемо изменил свой вид, и в то же время как-то неразрывно крепко сплелось в Хлапонине то, что рисовала ему память, с тем, что он видел и слышал теперь.

Матросов стало уже гораздо меньше, чем было тогда, девять месяцев назад, но зато каждый из них сделался куда заметней в массе солдат. И тот морской строй службы, какой ввели матросы здесь, на суше, он все-таки остался. Не вывелись морские команды, и солдаты, назначаемые к орудиям, из всех сил старались подражать во всех приемах матросам.

Никто не мог объяснить Хлапонину, кто и когда назвал третий бастион «честным», но ему очень нравилось это название, особенно, когда он слышал, как на его же батарее говорили между собой солдаты:

— Это ж вы знаете, братцы, на какой вы баксион попали? Называется баксион этот «честный», так что тут уж дела не гады!

Хлапонин с кадетских лет призыв к выражению «честь полка»; он вполне понял бы и выражение «честь бастиона». Но когда он услышал, что из всех севастопольских бастионов только один третий почему-то,—совершенно неизвестно, почему именно,—даже среди солдат получил название «честного», он проникся и гордостью и радостью вместе, так как считал этот бастион своим.

Если на соседнем Корниловском бастионе несколько недель обитала сестра милосердия Праксovia Ивановна Графова, свидетелем гибели которой пришлось Хлапонину быть, то и на третьем жила совершенно бесстрашная женщина, матроска Дунька, имевшая прозвище Рыжей.

Перевязок делать она не умела,—она была бастионной прачкой. И не пришла она была, как Праксovia Ивановна, а здешняя: ее избенка, полупещера, стояла тут же, на бастионе, за батареей Будищева.

Муж ее, матрос, был убит еще в октябре, а через месяц после того похоронила она двух своих ребятшек, задетых осколками бомбы. Но, оставшись бобылкой, все-таки никуда не ушла из своей полупещеры, не уходила и тогда, когда получала приказания уйти. На нее, наконец, махнули рукой.

Неробкое, конечно, и раньше, скуластое, курносое, обветренное лицо ее сделалось после всех понесенных ею потерь явно вызывающим, чуть только дело касалось неприятельских бомб, ядер и штуцерных пуль. Но так как бомбы, ядра и пули, реже или чаще, постоянно летели на третий бастион, то рыжеволосая голова, чаще открытая, чем повязанная платком, обычно сидела прямо на шее,

украшенной ожерелкой из цветного стекляруса, и серые круглые глаза глядели по-командирски.

О мойке офицерского белья заботились денщики; Рыжая Дунька мыла белье матросов, бесшумно стоявших у орудий, а полоскать его таскала на коромысле к бухте, на Пересыпь. Для просушки же белья у нее протянуты были веревки около хатенки.

Иногда пули, иногда осколки снарядов перебивали эти веревки, и Дунька ругалась отчаянно, приводя свое хозяйство в порядок. Но случалось и так, что в грязную пору ядро ли падало, бомба ли взрывалась около, и обдавалось все развешенное на веревках белье густою грязью. Вот когда приходила в полное неистовство Дунька и когда ругательства ее достигали наивысшей силы.

Если же белье пострадало от бомбардировки не могло по той простой причине, что было только что снято или же роздано давальцам, а бомбы падали недалеко от ее хатенки, как хохотала Дунька над своими кавалерами-солдатами, которые бросались от нее к траверзам и блиндажам прятаться от обстрела. Подперев руками крутые бока, отвалив назад рыжую голову, хохотала во всю свою звонкоголосую глотку, а снаряды между тем рвались поблизости.

Полнейшее презрение к смерти и бабье упорство в этом презрении—вот чем держалась бобылка-Дунька, и смерть почему-то обходила ее стороной, даже когда она под штуцерными пулями полоскала белье на Пересыпи.

Хатенка ее тоже утвердила каким-то способом право свое на жизнь во что бы то ни стало и стояла себе нерушимо, несмотря ни на какой обстрел.

Крепко приросший к третьему бастиону матрос-квартирмейстер Петр Кошка был довольно частым гостем в этой хатенке, так как у рыжей Дуньки водилась водка, а люди они оказались вполне одной породы.

После той легкой раны штыком, какую получил Кошка еще зимою в одной из вылазок под командой лейтенанта Бирюлева, он не был ни ранен, ни контужен. На корабле «Ягудин», куда его списали с бастиона по приказанию Нахимова, просидел он недолго, в вылазки же потом напрашивался и ходил почти каждую ночь, захваченное при этом английское снаряжение продавал офицерам, и деньги у него бывали.

Конечно, Хлапонин, едва устроившись со своею батареей на третьем бастионе в июле, захотел посмотреть на храбреца, о котором ходило много разных рассказов даже и в Москве; а в «Московских ведомостях» приводился случай, что какой-то предприимчивый вор, раздобыв матросскую форму и выдав себя за раненого Кошку, отправленного сюда в госпиталь на излечение, обокрал квартиру одного доверчивого, хотя и имеющего

крупный чин обывателя, созвавшего даже гостей ради «севастопольского героя».

К Хлапонику подошел строевым шагом матрос в черной куртке и белых брюках, с унтер-офицерскими басонами на погонах, со свистком на груди и с георгиевским крестом в петлице и сказал, стукнув каблуком о каблук:

— Честь имею явиться, ваше благородие!

Он был очень черен—загорел, закоптился в орудийном дыму,—сухощек, скуласт, с дюжим носом и дюжими плечами; глядел настороженно выжидающе, так как не знал, зачем его позвали к новому на бастионе батарейному командиру.

— Здравствуй, Кошка!—улыбаясь, сказал Хлапонин.

— Здравия желаю, ваше благородие!—отчетливо ответил Кошка, подняв к бескозырке руку.

— Какой ты губернии уроженец?

— Подольской губернии, Гайсинского уезда, села Замятинцы, ваше благородие,—привычно и быстро сказал Кошка, еще не успев определить, будет ли дальше от этого офицера какое-нибудь дело, или один только раз свор, как и со многими другими офицерами, особенно из приезжих.

— О тебе я в Москве слышал, что ты один четырех англичан в плен взял,—улыбаясь, начал, чтобы с чего-нибудь начать, Хлапонин.

— Четверех чтобы сразу, этого, никак нет, не было, ваше благородие,—неожиданно отрицательно крутнул головой Кошка.—А по одному это, кажись, разов семь приводил.

— Четверех одному, конечно, мудрено взять,—согласился с ним Хлапонин.

— Ведь они, англичане эти, не бараны какие, ваше благородие... Ты его к себе тянешь, а он тебя до себе волокёт. А из них тоже попадаются здоровые,—с большой серьезностью протянул Кошка.—Раз я с одним таким в траншее ихней схватился, так только тем его и мог одолеть, что палец ему откусил! Стал он тогда креститься по-нашему, а лопотать по-своему: «Християн, християн! Рус бона, рус бона!..» Значит: «Не убивай меня зря, а лучше в плен веди». Ну, я и повел его. Да еще как бежал-то он к нам швидко, как ихние стали нам взад из транчен палить!.. Тут я два ихних штуцера захватил,—его один да еще чей-то... Обои после того продал господам офицерам... Может, и вам прикажете расстараться, ваше благородие?

— Что? Штуцер английский? Валяй, расстарайся, братец!—и слегка хлопнул его по плечу Хлапонин.

— Есть расстараться, ваше благородие!

На этом разговор с Кошкой окончился к обоюдному удовольствию, и дня через два после того у Хлапонина появился штуцер.

Первый день пятой бомбардировки Севастополя оказался злополучным и для Рыжей Дуньки

и для матроса Кошки. Большое ядро разнесло хатенку Дуньки, с утра ушедшей на Пересыпь полоскать белье, а Кошке вопзился обломок доски в ногу. Рану эту, правда, отнесли на перевязочном к легким, но все-таки неуязвимый, казалось бы, храбрец в первый раз за все время осады выбыл из строя.

3

В Михайловском соборе, где венчалась Варя и где тогда было три пробоины в куполе, хранилось до ста пудов восковых свечей. Пятипудовая бомба угодила как раз в купол, обрушила его вниз, добралась до свечного склада и взорвалась именно там. Свечи после того стремительно вылетели во все отверстия в стенах и через купол, и после находили их всюду кругом, даже на крышах отдаленных домов.

По Екатерининской улице бомбы и ядра летели теперь вдоль,—так были установлены новые батареи французов. Почти то же самое было и на Морской, где еще недавно около домов толпились пехотные резервные части, где они обедали и отдыхали.

Только небольшая площадка перед Графской пристанью и дальше площадь около огромнейшего здания Николаевских казарм, при форте того же имени, оставались пока еще вне обстрела.

В июне и в июле, когда орудийная пальба протекала обычно, солдаты, стоявшие в прикрытиях на бастионах, изошрялись в придумывании разных шуточных названий для бомб противника в дополнение к тем, которые уже повелись с начала осады и успели приискучить. Так о двухпудовых, издававших благодаря своим кольцам какой-то особенный свист и тяжкое тараканье, говорили полупрезрительно: «Ну, молдаванская почта едет!», а за пятипудовыми почему-то укрепилось длинное и сложное название, произносимое, впрочем, скороговоркой: «Вижу, вижу, тут все прочь!» Все и разбегались кто куда, чуть только завидев это чудовище.

Семипудовых не успели еще окрестить никак,—некогда было; «крестили» бастионы и батареи русские они и делали это внушительно до того, что Горчаков вечером пятого августа писал царю на основании донесений:

«Огромное бомбардирование, вероятно, скоро доведет нас до необходимости очистить город. Надеюсь, что до этой крайности мы не дойдем до окончания моста через бухту, но вашему императорскому величеству надобно быть готовому на все. Дело натянуто до крайности. Армия ваша и я, мы делали все, что могли, и едва ли заслуживаем в чем бы то ни было упрека, но постоянное числительное превосходство неприятеля, непомерные всякого рода средства, которыми он

располагает, не могли не повлечь за собою окончательного перевеса в пользу союзников. Видно, такова воля божия. Надобно покориться ей со свойственным русскому народу вашему самоотвержением и продолжать исполнять свой долг, какой бы оборот дела ни принимали».

Гарнизон Севастополя «продолжал исполнять свой долг», хотя в первый день бомбардировки потерял тысячу человек, притом больше убитыми, чем ранеными; потери интервентов касались только артиллерийской прислуги и были потому меньше втрое.

Горчаков к концу дня пятого августа был подавлен все тою же неудачей данного им накануне сражения на Черной речке, так как видел, во что выросла эта неудача. Пятой бомбардировки он страшился, ее он хотел предотвратить, отсрочить, но она разразилась в заранее назначенный день, и результаты ее на Малаховом,—в сердце обороны,—были потрясающи.

Но гарнизон Севастополя, хотя и поражен был известием, что наступление полевых войск не удалось, однако не в такой степени, как главнокомандующий. И с наступлением темноты на Малаховом, как и на других бастионах и батареях, закипела обычная работа.

Однако по мере того, как шла осада, усилия интервентов сводились к тому, чтобы свои возможности увеличить, а возможности осажденных сдвинуть.

Темнота ночи была спасительна раньше, когда осаждавшие имели мало мортир. Теперь она уже не спасала рабочих от больших потерь: прицельная стрельба прекратилась, навесная гремела едва ли не с большей силой, чем днем. И достаточно было одной семипудровой бомбы, чтобы совершенно разметать сложенный из мешков с землею траверс, в четыре метра шириною, в семь длиною. А подобные бомбы местами падали по двадцати, даже по тридцати штук сразу на небольшом пространстве.

Вместе с мешками, фашинами, турами далеко во все стороны разметывали бомбы работавших солдат, но подходили новые команды, и, поминутно спотыкаясь на трупы, мешки и обломки фашии, проваливаясь в воронки и с ругательствами выбираясь из них, новые солдаты начинали работы снова.

Об этом знали, конечно, там, у противника, где шла точно такая же работа на батареях, разороченных целодневным огнем русских орудий, и оттуда летели бомбы не только на укрепления, но и на все подступы к ним.

За долгие месяцы осады очень хорошо, конечно, были изучены противником все дороги, ведущие к бастионам, дороги, по которым подходили команды рабочих и подвозились пушки на смену подбитых, снаряды, доски для платформ, туры и прочее, нужное для работ.

Огонь, открытый по этим дорогам с наступлением темноты, был заградительным огнем, опоясавшим бастионы, а в помощь ему стрелки из ближних траншей открыли самую частую пальбу, и пули летели безостановочным роем, так что от них гудела ночь.

Казалось бы, ничего нельзя было сделать под таким обстрелом, но все делалось, как было заведено делать.

Бомба, попадая в полуфурок с порохом, в мельчайшие клочья превращала и лошадей и храбрых фурштатов, но следом за уничтоженными катил в темноте с невозможной на совершенно загроможденной дороге быстротою, застревая здесь и там, то почти опрокидываясь, то погружаясь колесами в ямы, другой полуфурок. Если падала лошадь, простреленная пулей, фурштат отрезал построжки и добирался до бастиона на паре. Фурштатские лошади были худые, поджарые от постоянной гоньбы, но такие же двужилые, как и их кучера, и такие же равнодушные ко всякой смертельной опасности.

На втором бастионе, совершенно разбитом, командир его, капитан-лейтенант Ильинский, вздумал задержать батальон Замосцкого полка, пришедшего на ночные работы, ввиду сильнейшего обстрела бастиона.

Он остановил его у горжи, объяснив его командиру причину такой заминки. Командир батальона с ним согласился, что лучше обождать, когда утихнет пальба, однако пальба не утихала, хотя противостояли без дела больше часа, неся все-таки потери и здесь.

Начался ропот среди солдат:

— Что же это, уж не измена ли? Надо иттить работать, так чего же стоять зря? А то так и ночь пройдет, а утром «он» увидит и нагрянет, тогда шабаш.

Ропот дошел до батальонного командира, и тот командовал «шагом марш».

Ильинский был удивлен, когда без его ведома появились и начали привычно действовать лопатами и мотыгами замосцы, но согласился с тем, что усиленного огня все равно переждать было бы нельзя.

4

Снова в пять утра французы и англичане начали пальбу из прицельных орудий, хотя мортиры их отнюдь не умолкли: снарядов был заготовлен большой запас. Между тем далеко не все подбитые на бастионах и батареях Корабельной стороны орудия успели заменить новыми и далеко не все мерлоны и амбразуры восстановить за ночь.

Это был день явного торжества французской артиллерии: уже к восьми часам утра одни русские

батарей вынуждены были совершенно прекратить огонь, другие значительно его ослабить.

Кажется, достаточно было причин, чтобы начальнику гарнизона, графу Остен-Сакену, всерьез задуматься над участью Севастополя, но он в этот день занят был совсем другим.

Сто пудов свечей, так таинственно, однако и горжественно в то же время, вылетевших во все пробоины и окна Михайловского собора, убедили его в том, что с этим домом молитвы все уже кончено и что все «святыни», какие еще в нем остались, надобно перенести в безопасный пока от выстрелов Николаевский форт.

В это огромное здание с его толстыми каменными сводами переселилась уже исподволь вся администрация города, и командир всех укреплений Городской стороны Семякин, назвавший этот дом «депо наших генералов», был прав: до пятнадцати генералов и адмиралов скопилось в этом последнем убежище к началу пятой бомбардировки.

Тут разместились и жандармское управление и полиция; сюда же переведен был и городской перевязочный пункт, которым ведал теперь Гюбенет. Врачи и сестры милосердия занимали ряд отдельных помещений с покатыми потолками и небольшими, как парходные люки, окошками на втором этаже. В нескончаемых коридорах нижнего этажа располагались резервные части. В нижнем же этаже помещались и лавки торговцев всем необходимым для огромного населения этого дома в полкилометра длиной. Тут была и бакалея, был и «красный» ряд, но больше всего, конечно, требовалось «горячих» напитков, и портером, элем, даже настоящим шампанским вдовы Клико, несмотря на дорогую цену на него, торговали здесь очень бойко.

Кстати, сюда же приносили теперь и устриц, продавая их ресторатору по тридцать копеек за сотню; и хотя этих устриц часто обвиняли в том, что они ядовиты, так как отравляются сами медной окисью, которая будто бы развелась в бухте от медной обшивки затопленных кораблей, но истребляли их во множестве.

В Николаевских казармах была уже довольно обширная домовая церковь, всячески украшаемая теперь стараниями Сакена; к этой церкви был причислен на предмет получения содержания от казны обширнейший штат священников из других упраздненных уже севастопольских церквей, так же как и монахов из монастырского подворья. И вот теперь, на второй день яростной бомбардировки, благо в этот день приходился праздник преображения, назначен был как раз перед поздней обедней перенос антиминса, хоругвей, икон, церковных сосудов и прочего в церковь форта.

Гремела канонада, взрывались здесь и там большие снаряды, горел в нескольких местах город, а по Николаевской площади торжественно двига-

лась с подобающим моменту пением процессия: полдюжины попов в золотых ризах, фельдфебеля с хоругвями и, наконец, сам начальник гарнизона с князем Васильчиковым и адъютантами...

Нечего и говорить о том, какой восторг светился на лице Сакена во время обедни, но ему все-таки не удалось достоять ее: в одно и то же время бомба, хотя и не из больших, ворвалась в окно одной из лавок, и гул от ее взрыва наполнил все коридоры и переходы здания, и вестовой казак явился с донесением, что в город приехал главнокомандующий и направился на укрепления Корабельной.

Этих двух неожиданностей, конечно, было вполне довольно, чтобы прервать душеспасительные восторги Сакена и заставить его выйти из церкви.

Бомба, влетевшая в окно лавки, наделала очень большого переполоху, так как все до этого верили в полную неуязвимость форта. Но по случаю обедни в лавке не торговали, и никто поэтому не пострадал; взрыв только превратил в кучухлама всю бакалею, галантерею, бывшую в лавке, капризно оставив в целости одну лишь банку малинового варенья. Приезд же Горчакова обязывал Сакена устремиться ему навстречу.

Горчаков покинул свои высоты и переправился через рейд потому, что с часу на час ожидал штурма, и, когда бомбардировка перед полуднем ослабела, упрямо решил, что роковой час близок,— вот-вот настанет.

Он был обеспокоен также и тем, как идут работы по устройству моста, с которым связывались все его планы по выводу из Севастополя гарнизона. Он всячески торопил и дергал, как только он умел дергать, Бухмейера. Кроме того, он знал, что в Охотском полку, стоявшем на Корабельной, полковой праздник, и ему хотелось поздравить полк в том случае, если опасения насчет штурма не оправдаются.

Конечно, с ним вместе появились на Корабельной и Коцебу, и Бутурлин, и Ушаков, и другие лица его свиты, и адъютанты, и конвойные казаки,—целый отряд. Большой опасности они не подвергались, впрочем, так как был час передышки.

Был и еще один повод к тому, чтобы Горчаков воспылал вдруг желанием появиться на бастионах. Накануне перед тем,—в который уже раз,—услышал он во время ужина среди своих штабных, что Меншиков не бывал на бастионах. Явили при этом, что светлейший «явно оберегал свою жизнь, столь необходимую для пользы государства».

Укладываясь после того спать, Горчаков упрямо решал про себя: «Меншиков не бывал на бастионах, боялся, значит, увечья и смерти, а я уж сколько раз доказывал всем, что не боюсь ни того, ни другого, докажу и теперь, непременно докажу, что ничуть не похож на Меншикова, и завтра же все меня увидят на Малаховом!»

Заснуть он долго не мог: ему все представлялось, что он непременно будет убит, если поедет в город, убит так же точно ядром или осколком гранаты в голову, как были убиты генералы Реад и Вревский. Однако чрезвычайно трудное положение, в какое он попал как главнокомандующий, не предвещало ему ничего хорошего, ни малейшей удачи теперь, а будущее, после оставления Севастополя, представлялось еще более грозным.

Его брат, Петр Дмитриевич, будучи командиром шестого корпуса, стоявшего на Мекензиевых горах, надоел ему тем, что чуть ли не каждый день являлся к нему с донесением, что французы готовятся обходить его корпус.

— Э-э, знаешь ли, милый мой,—рассерженно сказал, наконец, старшему брату младший,—сегодня обходить, завтра обходить, это значит, что тебе самому надобно уходить!

— Куда же мне уходить?—не понял Петр брата.

— В отставку, в отставку,—вот куда,—в отставку!—ответил Михаил брату.

И старый Петр Дмитриевич действительно вскоре после этого подал в отставку.

Но теперь и самому Михаилу Дмитриевичу только и мерещилось, что его готовятся обходить, а может быть, уже обходят, и чуть только покончено будет с Севастополем, разгромят и все его полевые войска.

Самым легким поэтому и вместе с тем почетным выходом из крайне тяжелого положения казалось ему пасть смертью храбрых на боевом посту, там же, где пали уже боевые адмиралы—Корнилов, Истомин, Нахимов.

Барон Вревский не говорил ему, конечно, что уже прочит на его место генерала Лидерса, но по некоторым намекам его Горчаков безошибочно читал его мысли и теперь думал: «Ну, что же,—Лидерс, так Лидерс... И очень жаль, что еще в феврале не назначили сюда Лидерса поправлять дело, которое было загублено непоправимо Меншиковым... Пусть Лидерс и попадает в ловушку, какая поставлена для меня, а честь моего имени останется незапятнанною».

Честью своего имени очень дорожил Горчаков и считал, что упрек за поражение на Черной должен лечь не на него лично, а на Реада, на Вревского, на других генералов, подавших голос за наступление; наконец, на военного министра Долгорукова. Его же царь непременно оправдает и обелит от всяких нареканий современников и потомства, если... если он сумеет, если ему посчастливится сойти со сцены теперь же, не дожидаясь катастрофы, которая вот-вот разразится.

Он ловил самого себя на зависти к Меншикову, которому удалось отстраниться так во-время и под таким благовидным предлогом, как болезнь. «Хитрец, хитрец,—шептал он беззубо.—Вот так хитрец!» Он даже поднялся с постели, чтобы

помолиться перед иконой Касперовской божьей матери, вымолить себе такую же удачу, казая пришлось на долю его предшественника, ославленного атеистом.

Действительно, трудно было понять, за что же ниспослана была свыше удача Меншикову,—болезнь мочевого пузыря,—если даже архиепископ Иннокентий отзывался о нем, как о нераскаянном атеисте? То же самое говорил о нем и Остен-Сакен...

Страшнее всего казалось Горчакову то, что мост через Большой рейд не был доведен даже и до половины, несмотря на то, что он предоставил генералу Бухмейеру все возможности для ускорения работ.

Куда же отступать гарнизону Севастополя в случае если штурм отражен не будет? А как может быть отражен штурм, если и второй бастион и Малахов в первый же день бомбардировки превращены в развалины?

Если перед сражением на Черной траншее французов были в пятидесяти саженях от рва Малахова кургана, то за несколько дней они могли придвинуться еще ближе, а это значит—приди и возьми!

Просвета не было. Надежд не оставалось. Сон не приходил.

Только когда в занавешенном окне спальни слегка забелела полоса утреннего света и почти одновременно с этим со стороны города грянула новая канонада, Горчакова охватило забытие, то странное забытие, когда кажется, что все кругом видишь и слышишь, с кем-то споришь, что-то доказываешь, и если не совсем ясно представляешь, что именно с тобой происходит, то потому лишь, что вся обстановка около меняется чрезвычайно быстро,—трудно уследить ее, мелькает, как карусель.

В девять утра Горчаков был уже на ногах и даже, несмотря на короткий и плохой сон, чувствовал себя бодро, так как твердо решил ехать на бастионы и не менее твердо объявил об этом Коцебу.

Большая свита главнокомандующего удивилась такому решению, но тут же принялась готовиться к прогулке, которая могла оказаться кое для кого последней.

5

На Малаховом, по которому проходил вдоль стенки Горчаков, оставив вместе со своей свитой лошадей около горжи, его встретил Хрулев обычным рапортом, что на вверенной ему линии укреплений «все обстоит благополучно».

Конечно, до «благополучия» было тут очень далеко.

Корниловский бастион был разворочен, изрыт, как оспой, воронками, густо завален ядрами, ос-

колками бомб и гранат, свежей щепою от разбитых вдребезги платформ... Иные орудия беспомощно лежали, иные были даже вколоты в землю... Могло найтись не больше половины орудий, вполне боеспособных.

Густой дым, висевший здесь при полном безветрии, не давал возможности видеть что-нибудь дальше пяти-шести шагов, но зато он же не позволял и французским стрелкам, а тем более артиллеристам, разглядеть даже и сквозь бреши в мерлонах и через обрушенные амбразуры шествие русского главнокомандующего с его внушительной свитой.

Витя Зарубин, продолжавший попрежнему вместе с подпоручиком Сикорским оставаться ординарцем Хрулева, в этот день, начиная с раннего утра, был в состоянии оторопи, для чего предыдущий день дал вполне достаточно причин.

Одной из этих причин был не кто иной, как Хрулев, который поразил его припадком совершенно неожиданного иступления, почти буйства, вечером, после проигранного Горчаковым сражения на Черной.

Хрулев для Вити был не только высший его начальник, от воли которого каждый день и даже каждый час зависела его жизнь, так как он мог послать его куда угодно, хоть в самую пасть ада, и нужно было опометься мчаться, несмотря ни на что, ни на волос не принадлежа самому себе.

Приказал же он ему двадцать шестого мая стать во главе двух-трехсот солдат и во что бы то ни стало отстоять Камчатку под натиском целой бригады французов! Камчатки он тогда не отстоял, правда, и даже чудом считал после, что остался тогда цел и невредим, однако он испытал, хотя и в течение всего нескольких минут, ни с чем не сравнимое сознание, что вот он—командир отдельного отряда в бою, имеющего историческое значение, во всяком случае очень важном для участи Севастополя.

Эти несколько минут подняли его в собственных глазах сразу и на большую высоту: он возмужал в эти несколько минут; последнее детское, что еще таилось в нем, переплавилось вдруг,—исчезло.

И четвертого августа, когда все на Корабельной были готовы к наступлению и рвались вперед, чтобы взять потерянную в мае Камчатку, он, Витя, испытывал тот же захватывающий подъем, находясь вблизи Хрулева, в которого слепо верил, который каждый день внушал ему восхищение своим полным бесстрашием, своим боевым задором...

Главное, этот бывший из Хрулева ключом задор, далеко переплескивающий через его солидный чин генерал-лейтенанта, через его ответственнейший пост командира всей левой стороны севастопольских укреплений.

Витю посылал он тогда к Остен-Сакену с донесением, что французы очистили траншеи перед

Малаховым, отправившись на помощь дивизиям, атакованным на Федюхиных горах, и что удобнее этого момента для русской атаки со стороны Корабельной быть не может.

Однако там, в библиотеке, на вышке, где передавал донесение Хрулева Витя, у Сакена стало озадаченное, а у начальника штаба, князя Васильчикова, явно досадливое лицо, когда они ознакомились с донесением.

Васильчиков, хотя и вполголоса и по-французски, не преминул сказать Сакену:

— Этот генерал Хрулев, чего доброго, начнет, пожалуй, наступление и на свой страх и риск, и тогда последствия могут быть чрезвычайно печальны, ваше сиятельство!

А Сакен, высоко подбросив брови, отчего круглые глаза его сделались вдвое шире и выпуклей, отозвался на это живо:

— Нет-нет, как же это можно, что вы!.. Напишите ему, чтобы непременно дожидался приказа главнокомандующего!

Так было упущено время для атаки французских траншей, которая несомненно принесла бы большую удачу,—прочную или непрочную,—как знать? Во всяком случае эта атака могла предотвратить полное поражение у Черной речки: сражение там могло бы остаться тем, что называется нерешительным, почему и потери были бы не столь велики.

Вот этого-то казенного начальнического равнодушия к моменту первой важности, который был им указан, этого окрика по своему адресу, тихого только в силу приличий, Хрулев и не сумел перенести хладнокровно.

Он разбушевался вечером в тот день в своей комнате в казармах Павловского форта. Это была обширная комната, но тем яснее выступала крайняя простота ее меблировки: кроме железной койки, большого круглого стола и нескольких стульев да карты севастопольских укреплений, прибитой на одной из голых стен, в ней совершенно ничего не было. Видно было, что хозяин ее, перейдя сюда из дома на Корабельной, не рассчитывал прожить тут долго.

У Хрулева сидел в этот вечер бригадный генерал Сабашинский, бывший командир Селенгинского полка. Рядом с Сабашинским утвердился между стульями его костыль: в Дунайскую кампанию храбрый командир селенгинцев был ранен турецкой пулей в ногу, и эта рана теперь почему-то напомнила о себе: впрочем, Сабашинский на костыле двигался бойко.

Командовал он гарнизоном второго бастиона и куртины, соединяющей этот бастион с Корниловским; к Хрулеву же приехал отчасти по делам, а больше потому, что на другой день после боя на Черной ни тот, ни другой никаких действий со стороны противника не ожидал: непосредствен-

но после напряженных усилий полагается вполне законный отдых.

Сабашинский сидел, но Хрулев долго не мог устаться.

Он был вне себя, как охотник, которому помешали подстрелить выслеженную крупную дичь. То по-настоящему большое дело, к какому подготавливал он себя долгие годы, ввязываясь без отказа в какие случалось мелкие дела, оно возникло перед ним именно вот теперь, в этот день, и все существо его настроилось к тому, чтобы броситься туда, к Камчатке, и отшвырнуть французов как можно дальше от почти обнаженного сердца Севастополя, Малахова кургана, и вот—сорвалось!.. По чьей вине?

Витя, бывший вместе с Сикорским и еще одним новым ординарцем, подпоручиком Эвертсом, в соседней комнате, слышал,—и не мог не слышать,—как кричал Хрулев:

— Эта слепая кобыла, голенище старое это, какой же он к чертовой матери главнокомандующий, скажите на милость? Дурацкий затрепанный анекдот, а не главнокомандующий! Ведь мы его знаем отлично и по Дунаю, что же он поумнел вдруг ни с того ни с сего, что его назначили в Севастополь?.. Если там с одними турками ничего он не мог сделать, то тут ему далеко не турки-с, тут ему Европа, а не Азия!.. Нажал на их правый фланг как бы там ни было, оттянул туда силы с фронта, так от-че-го же ты, балда тупорылая, не даешь приказание ударить им в лоб, чтоб у них в башке зазвенело?.. Что же мы с вами не видим разве, что французы поставили на нашей Камчатке? Видим! Каждый день любуемся этим!.. Явная смерть наша обосновалась на Камчатке, вот что-с! А мы бы ее вполне могли сегодня за горло, в печенку ее корень,—вот как мы могли бы сделать! А потом Боске уложил бы под Камчаткой весь свой корпус, чтобы ее отбить, и чорта бы с два отбил!

Сабашинский, человек большого роста, лет сорока восьми, но казавшийся гораздо моложе, с упрямо стоящими щеткой рыжеватыми волосами, нигде не тронутыми сединой и подстриженными полковым цырюльником так, что голова казалась квадратной, подливал масла в огонь, вставляя в поток хрулевских сетований на Горчакова:

-- Что Камчатку вполне могли бы отобрать,—это верно!

— И чорта бы с два у нас отбил бы ее Боске!—продолжал, воспламеняясь, Хрулев.—Во всяком случае мы могли бы продержаться на ней до ноября, а там заговорили бы дипломаты, да не так бы заговорили, как они вздумали говорить в марте, в апреле, а помягче, полегче! А почему Сакен (он заметно удвоил тут «с»), распротопоп этот мерзкий, не дал распоряжения начать атаку? Он начальник гарнизона, или кто он такой? Почему

же он акафисты какие-то читал в библиотеке, а?.. Мой ординарец, мичман, докладывал мне: «Сидит, говорит, и бормочет себе на восьмой глас: «Радуйся, неискусомужная дева, радуйся, богоневеста владычице!..»

Витя, когда услышал это, поневоле прыснул от смеха и, обращаясь к Сикорскому, проговорил удивленно:

— Ей-богу, ничего такого я не говорил! Сочиняет!

А Хрулев между тем гремел в соседней комнате, отделявшейся от комнаты ординарцев только дверью:

— Скажите, что же это такое, если огромное государство, великое государство, Россия, посылает сюда какую-то заваль, интендантских крыс каких-то и им предписывает: «Защищай отечество!» Чтобы Горчаковы и Сакены, чтобы они защищали? Та-ки-е защи-тят, держи карман!.. Я предсказывал Горчакову, что это наступление, какое он готовил, обойдется нам в десять тысяч человек и без толку, без толку,—совершенно зря! Что же он? Он, князь, извольте видеть, промычал мне: «Положите перста на уста!» Перста на уста? А теперь что ты скажешь, старая каланча? Нет-с, перста на уста я класть не намерен-с!.. Я напишу государю докладную всеподданнейшую записку, что с этими двумя интендантскими крысами мы, может быть, солдат и прокормим, но что Крым потеряем, это уж как пить дать! А Севастополю уж теперь ясный конец через две-три недели! Полнейший конец!

Витя привык верить в Хрулева, верить в то, что Хрулев больше, чем кто-либо другой, знает, а если не знает, то чувствует, простоят или нет Севастополь, выручат его или не захотят выручить. Что не смогут выручить, если даже и захотят, это он отметал решительно с тем пылом, какой свойствен первой молодости вообще. Могут не захотеть—это другое дело. Могут сказать почему-нибудь: «На другое нужны полки и орудия, а Севастополь что же такое, если в бухтах мало уже осталось судов? Севастополь без флота почти то же, что Николаев или даже любой какой-нибудь Херсон. А неприятель, у которого флот цел и велик, может когда угодно напасть и на Николаев, и на Херсон, и на Одессу, как напал он на Керчь...» Это, хотя и довольно трудно, но все-таки можно было понять. И теперь, слушая Хрулева, Витя в первый раз вполне ошутимо представил, что Севастополь выручать не хотят и не будут, почему и простоят он уже недолго... «Конец через две-три недели!»

Определенность и точность хрулевских слов поразила Витю, и он стремился потом вслушиваться как можно чутче во все, что говорил Хрулев, но тот больше отводил душу насчет Горчакова и Сакена, Васильчикова и Коцебу, а

когда начал неумеренно пить коньяк, еще размашистей стал выражаться, еще выше поднял свой и без того звонкий голос, но, при всей живописности своих излияний Сабашинскому, начал уже повторяться, а те фразы, какие иногда вставлял Сабашинский, не расширяли темы разговора, не углубляли его...

Страшная канонада, начавшаяся рано утром, ошеломив не ожидавшего ее Хрулева, заставила Витю поверить окончательно в те «две-три недели», какие он отпустил Севастополю, а вечером, когда затихал уже прицельный огонь, Витя послан был Хрулевым в город с донесением о тревожных результатах бомбардировки на втором бастионе и на Малаховом.

Возвращаясь, он сделал небольшой крюк, чтобы проведать материнский дом на Малой Офицерской, и, добравшись кое-как до того места, где был дом, нашел только кучу какого-то странного и страшного мусора.

Не особенно большой показалась Вите эта куча, прильнувшая к почему-то уцелевшей печи, причем Витя сразу не мог сообразить, какая это из трех печей, бывших в доме, если считать и русскую печь на кухне. Разбитая в мелкие кусочки черепица густо покрывала, точно лоскутное одеяло, всю эту кучу мусора и валялась довольно далеко от дома. Из общей кучи торчали в разные стороны балки, кроквы, доски,—деревя, которое завтра-послезавтра будет отправлено на бастионы для починки платформ.

— Ну, вот... значит, конечно,—шопотом сказал Витя.—Хорошо, что выбрались во-время.

Он несколько минут удерживал нетерпеливо мотающую головой лошадь около развалин того, с чем он сжился с детства и с чем не мог расстаться совсем даже за долгие месяцы службы на линии укреплений. Он старался определить, какой снаряд, взорвавшись, разметал их дом. Решил, что не иначе, как семипудовый, и отъехал, наконец, с непривычно стесненным сердцем.

Пока цел был их дом, все как-то не верилось в близкий конец Севастополя, хотя многие говорили уже об этом около Вити. Но Витя думал все-таки, что если и говорят так, то больше потому, что все устали. Лейтенант Лесли, командир батареи на Малаховом, как-то даже признавался ему, что готов идти в Сибирь, на каторгу, чтобы хоть отдохнуть от этого вечного грома выстрелов своих и чужих, хотя он, обер-офицер, и получил уже анну на шею, которую принято давать только штаб-офицерам.

Все устали кругом Вити, устал и он, и на второй день этой новой бомбардировки он уже готов был спорить и с самим Хрулевым, убеждать его, что двух-трех недель Севастополь выстоять не может: дай бог хотя бы два-три дня.

И это новое для него, всегда старавшегося

держаться как можно уверенней, состояние оторопи не прошло, даже не уменьшилось, несмотря на то, что затихла в обед канонада. Но вот вдруг казак из конвоя Горчакова доложил Хрулеву, что у горжи—главнокомандующий, и Хрулев заторопился встречать того, кого так ругал всего только день назад.

«Судьбу Севастополя» да еще с такой огромной свитой видел на Малаховом Витя в первый раз за все время своей службы при этой «судьбе».

Смутными тенями в неосевшем дыму шли, очень внимательно глядя себе под ноги, что было необходимо, конечно, и сам Горчаков, длинный, с журавлиными ногами, в очках, в странной фуражке, сплюснутой спереди, вздутой сзади с сверхъестественным козырьком, и старавшийся держаться с ним рядом мальчишески маленький Коцебу, и Хрулев, и еще несколько штабных генералов, фамилий которых точно не знал Витя, полковников и капитанов генерального штаба, наконец, несколько адъютантов и ординарцев,—а всего человек семнадцать.

Когда подходил Горчаков, Витя приготовился уже к тому, что он, может быть, поздоровается с ним, как с офицером, мичманом славного Черноморского флота; он вытянулся во фронт, и рука его прилипла к фуражке.

С его языка готово уж было сорваться: «Здравейте, ваше сиятельство»... Но Горчаков, дотянувшись до своего козырька два пальца, шепеляво бросил ему на ходу:

— Спасибо за службу именем царя-батюшки!

— Рад стараться, ваше сиятельство!—не сразу, но с чувством отозвался Витя.

Горчаков и свита его, то и дело оступаясь, с большим трудом лавируя между воронками, ядрами, мешками с землей, далеко отброшенными с траверсов, кусками фашии и прочим, продвигались вперед, минуя застывшего на месте, но почему-то радостного Витю. Когда же миновал его последний, какой-то поручик, видимо ординарец, Витя вспомнил, что он тоже ординарец того самого генерала Хрулева, который идет вперед, с Горчаковым, как хозяин всех укреплений Корабельной стороны,—вспомнил и пошел в хвосте свиты, вслед за поручиком.

И он видел, что главнокомандующий решил в этот день обрадовать не одного только его своим вниманием, а всех вообще, кого встречал на бастионе, был ли то офицер или солдат, командир батареи или простой прокопченный дымом матрос.

Он всем говорил однообразно и шепеляво:

— Спасибо за службу именем царя-батюшки!

И всякий выкрикивал в ответ:

— Рад стараться, ваше сиятельство!

Так же точно выкрикнул в свой черед и пластун Чумаченко.

— А-а, охотник, казак, два знака военного ордена,—подслеповато приглядевшись к нему, сказал Горчаков.—Давно был в секрете?

— Этой ночью был, ваше сиятельство,—браво ответил Чумаченко, любимец Вити.

— Этой ночью? Ага... Что же, далеко ли теперь траншей французские?—полюбопытствовал Горчаков.

— Так считать надоть—сто пять шагов моих будет, ваше сиятельство,—не задумавшись ни на секунду, определил пластун.

Горчаков поглядел вопросительно на Хрулева.

— Сто пять шагов? Это сколько же может выйти сажень? Тридцать пять? А?

— Солдатский шаг—аршин, ваше сиятельство,—почтительно напомнил ему Хрулев.—Тридцать пять сажень, да, такое я получил донесение, так мы считаем и по глазомеру,—не больше того.

— Вот как! Вы слышите?—обратился Горчаков к Коцебу.—Стало быть, они продвинулись под прикрытием бомбардировки еще на целых пятнадцать сажень!

Казалось бы, Чумаченко должен был молчать, как камень, когда заговорили между собою главным командующий с начальником штаба армии. Но он, волонтер, плохо знал дисциплину; он счел нужным вставить в этот разговор и свое слово:

— Торопятся, ваше сиятельство, из одного котла с нами кашу исты!

И, совершенно неожиданно для Вити, эта вставка,—голос народа, солдат,—очень понравилась Горчакову.

— Торопятся, да, верно, братец,—согласился он с пластуном.—А только вот будут ли, будут ли они есть нашу кашу,—вопрос!

Но на этот вопрос проворно и решительно ответил пластун:

— Ни в жисть, ваше сиятельство, не дадим! Подавятся они нашей кашей!

И бравый ответ этот осчастливил князя; и с полминуты стояли они друг против друга—главнокомандующий с золотым оружием за храбрость и пластун—унтер с двумя георгиеями,—вполне осчастливленные друг другом.

— Как твоя фамилия?—спросил Горчаков.

— Чумаченко, ваше сиятельство!

— Молодчина, братец Чумаченко! Спасибо тебе!

— Рад стараться, ваше сиятельство!

Витя был тоже рад за своего любимца-пластуна, но поглядывал встревоженно и в сторону французских батарей,—не явилась бы оттуда семипудовая и не накрыла бы всех около него, чтобы сразу положить конец всем счастливым и радостным.

Однако обошлось без потерь в свите князя. Даже певучие штуцерные никого не заделали, что было уже подлинным счастьем.

Потом Горчаков сидел уже в безопасном месте,

в той самой комнате в Павловских казармах, где так недавно разносил его на все корки Хрулев. Чтобы усадить всю свиту князя, пришлось взять стулья из комнаты ординарцев.

Тут Горчаков подписал наскоро написанную полковником Меньковым, его адъютантом, благодарность всем защитникам бастионов и батарей, а также приказ о выдаче по восьми георгиевских крестов на каждое из пяти отделений линий обороны.

Гости Хрулева еще сидели у него за бутылками портера и эля, когда прискакал сюда генерал Сабашинский. Опираясь на свой костыль, но держась все-таки безукоризненно навытяжку, он просил у Горчакова разрешить ему часа на два отлучиться со второго бастиона для свидания с сыном подпоручиком, тяжело раненным в бою на Черной речке, о чем он только что узнал, так как раненый находился во временном госпитале на Северной.

Горчаков соболезнующе обнял Сабашинского и не только разрешил ему отлучку, но еще и снял с себя золотое оружие за храбрость и сказал растроганно:

— Вот передайте это вашему сыну как награду... А в приказе по армии он прочтает об этом в свое время.

Принимая саблю и благодаря князя, проследил Сабашинский.

А канонада между тем гремела с тою же страшной силой, как и до полудня, и сюда, в Павловские казармы, на здешний перевязочный пункт, несли и несли раненых.

Она продолжала греметь так и еще два дня—седьмого и восьмого августа, и по ночам ни на Малаховом, ни на втором бастионе не успевали исправлять разрушения.

Зато и батареи англичан на Зеленой Горе неоднократно приводились к полному молчанию, и третий бастион, которым командовал теперь капитан первого ранга Перелешин 1-й, торжествовал победу, особенно в третий день бомбардировки, когда он имел возможность, покончив с англичанами, направить свой огонь в помощь Малахову против французам.

На четвертый день—восьмого августа—с утра была открыта французами сильнейшая пальба и по бастионам Городской стороны, особенно по четвертому, так что канонада стала общей.

Она как бы предвещала и общий штурм города, но убедила генералов союзных армий только в том, что защита еще сильна и штурм едва ли будет иметь успех.

Кроме английских на Зеленой Горе сильно пострадали и французские батареи против четвертого бастиона, а из строя за четыре дня выбыло у интервентов до тысячи человек артиллерийской прислуги.

Союзники не знали тогда, конечно, общего числа русских потерь, но если бы узнали, могли бы утешиться тем, что они были вчетверо больше, так как сильно страдали, особенно от навесного огня по ночам, рабочие из пехотных прикритий.

За четыре дня осадные орудия интервентов выпустили около шестидесяти тысяч снарядов, русские—около тридцати тысяч.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ

1

Очень легкий на подъем, хотя и добротного дюжего склада, всегда навеселе, однакоже никогда не пивший дѡпьяна, чистотливый, окладистобородый, русые волосы в кружок, в коричневой жилетке поверх кумачевой рубахи и в брюках «на-выпуск», выбранный базарным старшиной держатель ресторации на Северной стороне, Александр Иваныч Серебряков, перекочевавший сюда с Екатерининской улицы, любил говорить о себе офицерам:

— Как у вас главнокомандующий считается Горчаков, его сиятельство, так и я на этом базаре главнокомандующий тоже, хотя, конечно, до сиятельства мне еще очень далеко.

— А все-таки, примерно, как именно далеко?—любопытствовали офицеры, угощаясь бараньими котлетами или паюсной икрой в его обширной палатке.

Но Серебрякова сбить с толку такими, хотя и несколько каверзными вопросами было нельзя. Он прищуривался насмешливо и спрашивал сам:

— А про князя Демидова, какой на Урале заводы свои имеет, слыхали-с? Теперича, выходит, он—князь, а кто же его прадедушка был?

И, выждав необходимую паузу, сам же отвечал на свой вопрос коротко, но с ударением:

— Кузнец наш тульский был его прадедушка!

Александр Иваныч метил, конечно, очень высоко, вспоминая о Демидове, князе Сан-Донато, однако все убеждало его каждый день, что раз он уже дошел до звания старшины базара на Северной, то это значит, что будущность его светла и для очень многих завидна.

Хотя он был только ресторатором, но к нему обращались обыкновенно все штабные с самыми разнообразными поручениями чисто интендантского порядка, и все подобные поручения он выполнял аккуратно и быстро, как самый опытный и влиятельный маркитант.

— Так что именно прикажете спроворить, ваше благородие?—спрашивал он, если обращавшийся к нему был обер-офицер.—Быков требуется? Так,

быков... А сколько именно голов? Пятнадцать-шешнадцать, говорите?.. Гм... А сколько же все-таки, если в точности мне знать?.. Лучше шешнадцать, чем пятнадцать? Ну вот, стало быть, вы в мою точку как раз и попали-с! Так и мне будет гораздо превосходней,—как есть теперича у меня на примете ровно шешнадцать голов, а если бы пятнадцать требовалось, вот, значит, шешнадцатый и скучать бы стал без товарищей, почему тех в резню погнали, а об нем забыли... Ну, конечно, долго бы скучать ему не пришлось, а все-таки скотину жалеть требуется... Когда пригнать прикажете? Или можно лучше готовыми тушами привезть? Вполне могу доставить тушами, ради чего уж я теперь семь своих подвод завел, кроме что дрожки для надобностей, а также и коляску про всякий случай имею...

Если он мог доставать быков для зареза, то нечего и говорить о вине: он закупил целый винный подвал в одном из имений и оттуда привозил вино бочками, сам занимаясь розливом его в бутылки и придумыванием для него давности.

Лимоны и прочие «колоннальные» товары добывал он из Одессы через Херсон, где жило его семейство, и иногда, желая показать себя перед офицерами человеком исключительной любви к отечеству, он говорил им с дрожью в голосе:

— Же-на от тоски по мне в Херсоне сохнет, можете вы это понять? А сколько же этой женс моей годочков? Восем-надцать только всего, восем-надцать, а? Ведь ей тоска там без меня, а что же подделаешь? И я бы рад к ней, я, может, по ней тоже мучаюсь, ночей не сплю, да разве же я могу для нее хотя бы неделю какую урвать? Никак этого невозможно. То-се требуется теперича, а кто доставит? К кому господам военным обращаться тогда, если как я отойду от дела на целую неделю?..

И он не отходил даже и на день.

У него было несколько человек подручных, были даже и компаньоны в деле, сложные счета с которыми он решал быстро и, видимо, безобидно, так как они держались за него крепко.

Как старшина базара, он находил время заботиться и о том, чтобы из деревень подвозились всякая мелкая живность, яйца, масло, сало, яблоки, груши, виноград, и при этом вступал нередко в перебранку с полицейскими, которые по своей исконной привычке требовали с каждой подводы, даже с каждой корзинки фруктов, принесенной татаринном издалека на своих плечах, взятки, иначе не позволяли им продавать.

— Господин частный пристав!—обращался он в таких случаях к полицейскому чиновнику во всеуслышание и с сознанием важности своего звания.—Да вы если уж желаете беспреренно хабара́ взять, то с меня уж лучше за них за всех возьмите, а то ведь вы знаете, до чего можете довести? До

то́го вы можете довести, что ничего у нас тут не будет,—ни курей, ни яиц, ни цыплятишек! Разве так можно, господин пристав? Совесть надо иметь! Всякий человек кушать хочет, не вы один! А тут, на Северной, теперь весь Севастополь живет, всяк об себе старается насчет стола...

Частного пристава, конечно, нельзя было смутить призывами к законности и к общественной пользе, но, прикинув в уме, что он мог бы получить с тех, с кого не получил благодаря вмешательству Серебрякова, он шел к нему дополучать, а кстати и подкрепиться чем бог послал.

Базар на Северной был прежде разбиг ближе к рейду, но когда стали часто залетать сюда ракеты и снаряды с батарей «Мария», базар передвинули дальше, благо передвинуть его было легко: деревянные балаганы и палатки так же быстро снимались, как и ставились, а торговки, образовавшие на базаре особую «бабью линию», не нуждались даже и в подводах, чтобы перенести свои корзины и скамейки на новое место: благодаря жаркой погоде они и спали около своего товара, прикурнув одна к другой, чтобы сразу поднять на ноги всех в случае какой ночной беды с кем-либо из них.

Базар теперь, в августе, раскинулся уже довольно широко,—на четыре длинных улицы, и быть старшиной этого крикливого шумного торжища, всегда переполненного народом, то есть устанавливать здесь порядок и держать за этот порядок ответ, была, конечно, очень трудная задача.

Но Серебряков каким-то образом успевал всюду: и следить за порядком на базаре, и выполнять всевозможные поручения штабных офицеров, связанные очень часто с поездками, и, наконец, вести дело своей ресторации.

В ней он отгородил для себя досками с натянутым на них холстом угол, в котором помещался также и буфет, полный бутылок, закусок, посуды, и из этого угла, казалось бы, беспечно и между прочим следил за всем, что требовали посетители, и всему вел свой счет в уме, так что если потом и шелкал костяшками счетов, то исключительно для проформы:

— Икра—рубь сорок, две рюмки водки по двадцать, сигары—семьдесят пять копеек, итого два рубля пятьдесят пять...

Иногда, когда хотел повеличаться перед новыми для него людьми, он говорил с беззаботным видом:

— Я ведь тоже в уездное училище учиться своим папашей определен был, хотел папаша из меня чиновника сделать... Но вот теперича вы, как люди умные, рассудите сами,—у кого больше смысла было в голове: у папаша ли моего, или же у меня, у мальчишки? Ну, что толку было бы, если бы я и в сам-деле чиновник вышел? С тоски помер бы!.. А я мальчишка был нравный, дерзкий, шалун также я был большой, пришлось

папаше меня взять, пустить по торговой части. И как раз это, скажу я вам, по мне занятие!.. В чиновниках я бы давно уж еморой себе схватил и счах, а то вот сорок восемь годов мне считается, а я еще—в полной своей силе!

Время от времени, особенно когда под него подкапывались его конкуренты, нашептывая на него начальству, он стремился проявить свою тароватость и жертвовал «в пользу раненых воинов» то ящик лимонов, то несколько бочонков вина, то разную бакалею. Конечно, задней мыслью его при этом было, чтобы и лимоны, и вино, и прочее попало совсем не к раненым, а разошлось бы по рукам того самого начальства, которое могло бы его прижать и припечь, радея о его врагах.

Достигнув такой высоты, как звание старшины базара, много выказывал он изворотливости, чтобы на этой высоте удержаться, так как ловких, пройдошистых людей съехалось в новый Севастополь довольно из Екатеринослава, Харькова, даже из Москвы. Они ставили балаганы для торговли, не стесняясь платить по тысяче рублей серебром за балаган, в надежде заработать в короткий срок десятки тысяч. И Серебряков стремился играть на том, что он общий благодетель всех военных и что поэтому всем известен с наилучшей стороны.

Он любил говорить всякому, даже и в малых чинах, никем не брезгуя:

— Нуждаетесь в чем-нибудь, помните твердо в своей памяти: есть на Северной Серебряков Александр Иванович, оборотитесь к нему, и хотя он не бог, а сделать все для вас сделает!

2

Капитан 2-го ранга в отставке, пострадавший во время знаменитого Синопского боя, сидя за столиком в ресторации Серебрякова вместе с женой и дочкой Олей, жаловался ему сообщительно, попростецки, что вот очутился он под открытым небом, некуда преклонить голову, между тем как сын—ординарец самого Хрулева, мичман, а зять—саперный поручик—строит мост через рейд.

— Мост строит, а? Через рейд, голубчик мой!.. Ведь это... ведь это что? Ведь европейского, европейского... как бы это сказать... европейского значения дело!.. А вот шалаш бы какой-нибудь нам, шалаш, ну, просто, курятник какой... чтобы от жары куда, а также, скажем, дождь если... чтобы пристанище, пристанище свое какое-нибудь,—этого нету... человек же наш, Арсентий, о-он... он смотрит кругом, где бы досок... досок где бы выломать, а ведь их нет! Домов разбитых нет... стало быть, и досок нет... Кроме того, инструментов тоже... Где их взять? А без инструмента, говорит он, без инструмента и вошь не убьешь!

— Не убьешь, истинно!—немедленно согласился Серебряков, мотая на ус, что сын этого калеки—ординарец самого Хрулева.

Потом с его стороны последовали советы, что им, всему семейству, лучше бы всего отправиться не в Симферополь даже, «потому что там тоже голову преклонить негде будет, очень завозно»,—а в тихий город Херсон, где у него живет и токует по нем жена восемнадцати отроду лет.

Однако на это возразила уже сама Капитолина Петровна, что отбиваться так далеко от сына и дочери старшей она не хочет, что теперь пока лето, а осенью тогда уж видно будет, что надо делать.

Даже и белоголовая Оля не согласна была с тем, что им лучше уехать в какой-то Херсон, бросив свой Севастополь. Она дотянулась губами до большого и плоского уха матери и прошептала:

— Мама, неужели Арсентий не может сделать выгвам, как у краснокожих индейцев?

Северная,—третья сторона Севастополя,—успела уже поразить воображение Оли, и накануне, когда они перебрались сюда надолго, и ночью, проведенной под покровом звездного неба, и, наконец, в этот день утром, когда она попристальней огляделась кругом.

Здесь около нее был тот самый густой буднич- ный и вполне понятный людской шум, раскиды- валось то самое занятое сплетение разнообраз- нейших житейских интересов, кипела та самая не- проходимая толчае купли-продажи, которые были так знакомы ей по мирному детству, казавшемуся теперь очень далеким и очень давним после не- скольких месяцев, проведенных под пушечным огнем на Южной стороне.

Солдат, матросов и этих новых севастопольских воинов древнего обличья, бородатых, с медными крестами на фуражках тут было так же много, как и там, но зато здесь везде на базаре женщины с ребятишками, исчезнувшие в последнее время с улиц Южной стороны.

Загорелые, в черных смушковых шапках, татары носили здесь виноград, груши, яблоки, сливы в длинных, узких корзинках через плечо наперевес. На пронзительно скрипучих арбах везли сюда мор- ковь, петрушку, лук—всякую огородину... Оран- жевые дыни кучами лежали на земле около тор- говцев и как пахли! А рядом с ними зеленые, полосатые, белесые кучи арбузов, около которых толпились веселый оживленный народ в рубахах с синими и красными погонами.

По арбузам солдаты то щелкали пальцами, ста- раясь по звуку определить спелый или нет еще, то вдруг принимались давить их изо всех сил, поднося к уху, трещат или не трещат, а торговцы, замечая это, кричали то и дело в отчаянии:

— Эй, служба! Вот народ! Не дави, сделай милость! Арбуз этого не любит,—гнить в середине начнет!.. Давай я лучше на вырез дам!

Кроткие, облезло-бурые буйволы татарских арб и рыжие громоздкие верблюды очень радовали Олю: давно уже не видала она их там, на Южной.

Здесь услышала она, что ополченцев за их бо- роды и длинные волосы, свисавшие на красные шеи из-под фуражек, солдаты зовут «лохматками», то есть так же точно, как звали они, по словам Вити, неприятельские бомбы в два с половиной пуда весом, те самые бомбы, которые, пролетая по небу ночью, окружены бывают роем искр из своих трубок. Но как бы ни было смешно такое название ополченцев, все-таки они очень нравились Оле своим важным видом, неторопливостью движе- ний, так что даже матери она говорила о них таинственно:

— Вот это войско, так войско! Правда, мама?

И даже когда мать не разделяла ее восхищения, все-таки Оля осталась при своем: древние воины, о которых она читала в детских книжках, не иначе представлялись ей, как сказочными богатырями,— поэтому она так верила в ополченцев.

С Северной стороны отлично было видно всю Южную и Корабельную, и Оля не могла не заметить здесь и там большие опустошения. Где несколько домов подряд лежали только пестрыми развалинами; где—этакие же развалины чернели, и Оля догадывалась, что здесь был пожар, вы- званный бомбардировкой... Кресты на церквях редко уж где виднелись...

Пушки рокотали гулко, и белые дымы клубились на бастионах, как букеты белых цветов, пока на расходились, не нависали полотнищем... Неприя- тельские батареи на горах слева и справа, такие загадочные для Оли, когда жила она на Малой Офицерской, отсюда видны были вполне ясно по тем дымным столбам, которые, постоянно взви- ваясь, над ними стояли...

Малую Офицерскую улицу,—точнее то место, где можно бы было разглядеть кое-какие остатки ее домов, показала Оле мать, и Оля нет-нет да и поглядит туда в надежде различить крышу,—чере- пичную, красновато-желтую крышу своего дома. Но это трудно было, и Оля повторяла тоскующе:

— Эх, досада! Если бы хороший бинокль у кого достать!

Однако кругом очень густо была замешана такая разнообразная, такая новая жизнь, что, очень легко вспоминая, тут же и забывала Оля о своем доме.

И в ресторацию Серебрякова пришла с отцом и матерью Оля до такой степени переполненная всем этим закружившимся около нее голосистым и многокрасочным, что как будто не могло и остаться в ней места для каких-нибудь еще впечат- лений. Тем не менее она жадно вбирала и этого яркого ресторатора с рыжей бородой, в коричне- вом жилете поверх красной рубахи, с раскинутой от кармана до кармана жилета серебряной цепочкой

часов; и двух его половых, в фартуках, которые, как определяла Оля, непременно были когда-нибудь раньше белого цвета.

Половые эти, тоже с бородами, только клинышком, то и дело встряхивали длинными волосами, как коняшки гривами, и старались двигаться между дюжиной столиков с завидной быстротой и непостижимой ловкостью, то подавая что-нибудь офицерам, то убирая тарелки и бутылки.

Два сюртука, длинных, черного сукна, разглядела Оля, висели на гвоздиках на буфете,—один поновее, другой постарее: тот, что поновее, надевал Серебряков, когда приходилось ходить по начальству, а другой служил ему для представительства на базаре, где нужно было иметь, конечно, вид внушительный, какой подобает старшине базара, но в то же время легко было в тесноте и запахаться чем-нибудь около возов.

Оля видела, что отец ее внимательно вглядывается в лица офицеров, сидевших за столиками, но среди них не было моряков,—они все были пехотных полков и, конечно, совершенно незнакомы и отцу так же, как и ей.

Но пусть даже и незнакомые, они все-таки нравились ей уже тем, что вот сидят себе за столиками, едят и пьют и говорят громко и весело и часто хохочут, как будто совсем нет никакой войны тут же вот рядом, на Южной и Корабельной.

Серебрякову вздумалось почему-то погладить ее по голове, причем вся непокрытая ничем голова ее вошла в его руку, как в шляпу, такая у него оказалась широкая ладонь с большими толстыми пальцами. При этом сказал он, обращаясь к отцу:

— Уберегли все-таки дочку-то, бог помог... А вот как в Херсон поедете, там уж и вовсе в безопасности: город тихий.

Но Оле совсем не хотелось в Херсон,—ей очень нравилось здесь, на Северной. Она только искала в памяти, на что все это кругом нее тут похоже, и наконец нашла: на ярмарку. Именно с одной ярмаркой связано было у ней одно из ярчайших впечатлений, полученных ею от жизни, по-настоящему праздничных.

Нехватало тут кое-чего, конечно, но очень немногo: карусели, балагана с петрушкой, глиняных свистулeк...

И она была рада, когда даже мать, не только отец, решили с Херсоном повременить и заговорили с Серебряковым снова насчет материалов и инструментов, нужных Арсентию для постройки вигвама.

И она, высвободив голову из тяжелой и жаркой руки базарного старшины, принялась смотреть на него с молчаливой, но твердой надеждой, стараясь как бы внушить ему, что вигвам, разумеется, необходим,—как же им обойтись без него в таком море народа? Она умоляюще глядела прямо в

глаза этого бородача, и ей было радостно услышать от него рассудительное:

— В таком случае надо вам как-нибудь помочь... Хотя и не бог, а кое-что все-таки могу для вас сделать... Ящики у меня валяются от товара, а при них, конечно, и гвозди все в целости... А гвоздь, он—великое дело теперича, только к нему требуется молоток и обценки—клещи то есть, я уж по-здешнему привык говорить... Ну, конечно, кольев еще надо штук шесть, до чего доски прибавить и для державы... А только, сказать я должен, ваше высокоблагородие, что маловато будет материалу... Маловато, а больше не наскребу,—неоткуда взять... Может, наймете кого земляночку выкопать?

— Да ведь Арсентий же, а как же,—обрадованно отозвался отец,—он же именно и хотел землянку... землянку хотел, а только вот покрыть ее что-об... и кирку-лопату, кирку-лопату, вот... Все возвращаю в целости, в целости, будьте покойны, и с благодарностью!

Мать тоже подтвердила насчет благодарности, и вот несколько ящиков с кольями, киркой и лопатой погружено было на дроги, и все трое,—и Оля тоже,—брались раза два за широкую и такую щедрую руку Серебрякова, потом, наконец, пошли они с матерью, усадив на дроги отца, к облюбованному для устройства вигвама месту, где сидел и сторожил их узлы и корзины Арсентий и где нежилась окруженная резвыми котятми кошка.

К вечеру вигвам—наполовину в земле, наполовину снаружи—был готов, и Арсентий, довольный своей работой как художник, любовался им молча, оглядывая его со всех сторон и кое-где еще постукивая молотком по доскам крыши.

Вместо двери повешена была простыня, но Арсентий решил не сегодня-завтра снять дверь чулана в брошенном доме на Малой Офицерской и притащить ее с петлями и задвижкой сюда. Кстати, захватить оттуда и кое-что еще, забытое там, но необходимое здесь, для хозяйства.

3

Он и пошел за дверью на другой же день, а Капитолина Петровна, взяв с собою Олю и оставив в землянке мужа, отправилась разыскивать госпиталь, в котором работала Варя вместе с Елизаветой Михайловной Хлапониной.

Этого госпиталя она еще не видала, а надо же было сказать старшей дочери, куда именно они переселились, чтобы не было с ее стороны напрасных поисков и волнений от разных мыслей о их судьбе.

Капитолина Петровна знала со слов Вари, что нужно было идти по дороге к Бельбеку и смотреть вправо от дороги. Поэтому она зорко смотрела

вправо, думая увидеть длинное одноэтажное здание или даже несколько длинных зданий, выстроившихся шеренгой наподобие того, как это было внутри укрепления № 4 здесь же, на Северной, на берегу рейда.

Однако ничего такого не попадалось. Было очень жарко, а на дороге стояла такая густая пыль от бесконечно двигавшихся повозок, что пришлось свернуть с нее подальше в сторону.

Так как Капитолина Петровна не могла даже и представить, как это можно было идти к дочери и такой милой знакомой, как Елизавета Михайловна, без подходящего подарка им, то обе руки ее оттягивали два больших арбуза, увязанные в платки.

Шли долго,—никаких длинных зданий не было видно.

Тянулся, правда, проселок вправо от дороги к каким-то убогим хатенкам под жиденькими, не способными дать тень деревцами, но нужно было, чтобы встретился солдат-санитар и объяснил, что эти-то самые убогие хатенки и есть летний госпиталь для раненых.

— Может, это и госпиталь, а только Вари тут нет, а, мама?—спросила усталая и с потным лбом и носиком Оля.

Но санитар оказался догадливый; он улыбнулся добродушно.

— Варвару Иванну ищите?.. Тогда как раз в тот вон крайний домик потрафляйте: они тамотка живут, сестрицы обои наши... также и вдовы с ними.

Можно было вздохнуть свободно, и вдвое легче сразу стали арбузы в руках Капитолины Петровны, и просияла Оля, особенно от того, что Варя с тетей Лизой, как позволяла ей звать себя Хлапони́на, живут в таком же почти вигваме, какой только что сколотил и для них Арсентий.

Через десять минут дошли.

Этот временный госпиталь, сооруженный заботами дежурного генерала горчаковского штаба—Ушакова, рассчитан был на четыреста-пятьсот раненых и больных солдат и матросов: офицерского отделения в нем не было. Верстах в двух от него по направлению к берегу моря была татарская деревня Учкуй. Другой такой же временный госпиталь расположен был дальше возле речки Бельбек, а постоянный, на несколько тысяч человек—в Бахчисарае.

Был послеобеденный час,—час отдыха для медиков и сестер,—и Варя, услышав голос матери около своего шалаша, радостно выбежала ей навстречу, а следом за ней показалась в дверях сияющая Елизавета Михайловна, и к ней влюбленно бросилась Оля.

Принесенные арбузы оказались как нельзя более кстати: все изнывали от жажды,—не только Капитолина Петровна с Олей. При госпитале, правда,

был колодец, но теперь, знойным летом, воды в нем набиралось мало; воду привозили из деревни Учкуй, однако нехватало и этой воды, и когда хозяйственная Капитолина Петровна услышала об этом, она возмущенно хлопнула себя по бедрам и энергично сказала:

— Ругали бы вы его, подлеца!

— Кого же это, мама?—удивилась Оля.

— Да вот, смотрителя изнего, кого же еще? Если он называется смотритель, то он и должен смотреть за всем порядком, а уж за тем, чтобы воды было вдоволь, это прежде всего!

С Капитолиной Петровной не то чтобы случился какой-нибудь перелом-переворот за долгое время осады,—ничего такого не случилось,—она осталась прежней, но только гораздо ближе подошла к чисто мужскому делу обороны, от которого все хотелось ей стоять в стороне вначале. Но чуть только увидела она, что стоять в стороне нельзя и что это дело не только мужское, что не только ее сын, но и дочь втянулась в это, и осудить ее не поворачивался уж язык, хотя и страшно за нее было не меньше, чем за сына,—чуть только поняла она это, она уж сама готова была вникать во все крупное и мелкое с тем пылом хозяйственности, каким всегда отличалась.

Шалаш, в который она вошла и где познакомилась с двумя сердобольными вдовами,—пожилыми женщинами из петербургского «вдовьего дома»,—был рассмотрен ею с понятным интересом, так как на ее глазах и при ее участии был построен подобный накануне Арсентием, и, оглядев его все-сторонне, она сказала беспристрастно, хотя и без зависти:

— Ну, ваша хибара все-таки куда лучше нашей... Наша, конечно, совсем чики-брики, а в вашей, пожалуй что, жить можно.

Понравилось ей, что пол тут был смазан глиной, так что его можно было подметать веником, не поднимая при этом пыли; глиной же, по-татарски, проштукатурена была и односкатная плетневая крыша. По поводу этой крыши она сказала вдумчиво:

— Такая уж дождя не пропустит... разве-разве уж ливень какой, да теперь, в августе, его и ожидать нельзя.

По бокам шалаша были устроены нары, а стол изображали три не совсем ровные и гладкие доски, прибитые к пенькам. Однако и эти нехитрые удобства были оценены Капитолиной Петровной: в их вигваме не было ни стола, ни нар.

Но не только к шалашу,—она зорко приглядывалась и к обоим вдовам, потчuya их арбузом. Она стремилась разгадать, что это за старушки: не злобедны ли, не сварливы ли, чистоплотны ли? Ведь живут в одном помещении с Варей, едят с одного стола, а часто ли моют руки, если госпиталь этот так беден водой?

О том, одни ли тут, в госпитале, раненые, нет ли также и больных тифом, или, еще того хуже, холерой, она уже раньше узнавала от Вари, но ей хотелось проверить, не скрыла ли чего дочь, чтобы ее успокоить, поэтому спрашивала она об этом теперь у сердобольных.

Но одна из них,—с твердым, желтым от загара лицом и усталыми выцветшими серыми глазами, сказала расстановисто, по-московски растягивая слова:

— Какие уж тут, матушка, холерные! Тут хотя бы завтрашний день одних раненых поместить успеть: от своих-то, какие были, половину шалашей очистили,—три дня их, бедных, отправляли на подводах по жаре такой...

— Во-он ка-ак!.. А сюда откуда же раненых доставлять будут? Из Николаевской батареи или из Павловской?—спросила Капитолина Петровна.

— Наступление ведь ожидается завтра, мама? Разве ты не знаешь?—удивилась Варя.

Это было как раз накануне сражения на Черной речке, и Капитолина Петровна слышала об этом от Арсентия, но мельком, между делом, и не придавала этому значения, потому что подобные слухи доходили до нее и раньше, а никакого наступления все-таки не было. Она и теперь усомнилась.

— А может, это только разговоры одни?

Но Елизавета Михайловна, глядя худенькое плечико прижавшейся к ней Оли и очень осерьбезив свое расцветшее было приливом материнских переживаний лицо, ответила ей за всех:

— Нет, Капитолина Петровна, теперь уж не разговоры одни... Наступление будет от Инкермана, а кроме того—вылазка с Корабельной, большая вылазка... Так что у нас ждут раненых с перемычного пункта Павловской батареи, из отряда Хрулева...

Она не договорила того, что ее угнетало весь этот день: в отряде Хрулева на третьем бастионе стояла батарея ее мужа, и конечно же, эта батарея, как полевая, непременно должна была принять участие в вылазке, поддержать пехотные части. Варя же добавила между тем:

— Несколько сестер из общины, мама, отправили уж на Инкерман и на Мекензия на перемычные пункты... Раненых ожидают тысячи!

— А как же Витя?—забеспокоилась Капитолина Петровна.—Ведь если от Корабельной войска наши пойдут... а Хрулев ведь он—отчаянный...

— Ну, мама, точно Витя в первый раз с Хрулевым!—с невольной гордостью за младшего брата воскликнула Варя и добавила совершенно, казалось бы, ненужно и некстати:—А вот мост через рейд, скажи, начали обстреливать уж ядрами, это так! Там теперь стало очень опасно работать!

Мать понимала, конечно, почему ее Варя го-

ворит об обстреле моста. У нее, когда она еще только собиралась идти сюда и покупала арбузы на базаре, торчал неотступно в мозгу вопрос, который хотела она задать дочери, улучив для этого подходящий момент.

Момент этот не наворачивался,—в шалаше было многолюдно и тесно,—а то, что она услышала о готовящемся наступлении, заставило ее обратиться к Хлапониной с другими возбужденными вопросами:

— Неужто же решили наши покончить с ними? Большие, значит, подкрепления подошли?

— Да ведь две дивизии уж пришли, а гренадерский корпус, говорят, прошел уж через Перекон,—сказала Хлапониная.

— Ну, слава богу, когда так!—и Капитолина Петровна торжественно перекрестилась.

Момент для вопроса, с каким она шла сюда, выбрался только тогда, когда Варя ее провожала. Правда, провожать пошла и Хлапониная тоже, но они с Олей несколько отстали, и, заметив это, мать вполголоса обратилась к дочери, свадьбу которой справляла в июне:

— Что, как, не чувствуешь еще?.. Не в положении?

Варя заметно покраснела под пытливым взглядом матери и ответила так же тихо, почти шопотом:

— Может быть... А впрочем, скорее всего, что нет еще...

Ответ был очень неопределенный, однако в том, как звучала эта неопределенность, для чуткого уха чудилась какая-то положительность, и это еще больше взвинтило возбуждение Капитолины Петровны, навеянное разговорами о наступательных действиях, назначенных на следующий день.

4

Возбуждение, которым поделилась она с мужем, сменилось на другой день к вечеру подавленностью, большим беспокойством, опасениями всех родов, которые только расширялись и укреплялись в последующие дни под влиянием потрясающей канонады, когда конец Севастополя представлялся неизбежным вот-вот,—не сегодня, так завтра, и что тогда делать, куда деваться?

Даже когда 9 августа канонада сделалась обычной, спокойствие все-таки не приходило. Иван Ильич вытягивал худую жилистую шею, поднимал брови и вслушивался долго, не перекроет ли ленивую перестрелку раскатистое «ура» штурма. Взяв с собою Олю, он медленно, но упрямо направлялся к рейду, к тому месту, откуда хорошо видно было, как идут работы по постройке моста, где неотрывно проводил время зять, поручик Бородаков.

Мост строился; мост, как это можно было определить на-глаз, был установлен больше, чем наполовину. Это ободряюще действовало на Зару-

бина. Немошный сам, он начинал чувствовать снова прилив упорной уверенности в том, что Севастополь, несмотря на большую неудачу на Черной речке, все-таки не отдадут.

Вышедший в тираж, отброшенный от дела обороны, он не переставал жить в этой именно обороне и на Корабельной, где был сын Витя, и в госпиталях, где выхаживала раненых дочь Варя, и вот теперь на этом мосту, который никому не приходил в голову раньше, который должен был связать Северную сторону с Южной и который строит наряду с другими его зять, сапер.

А мост строился отважно, как отважно был он задуман, не только на виду защитников Севастополя, но и на виду врагов, наблюдавших в зрительные трубы за каждым шагом этой смелой постройки.

Бородатов на работу по постройке моста просился сам: слишком захватила его мысль создать то, без чего гарнизон Севастополя представлялся уже и теперь как бы оторванным от остального Крыма. Ему все вспоминались слова Корнилова солдатам одного из пехотных полков: «Деваться нам некуда: с одной стороны, неприятель, с другой—море...»—море в виде широкого залива, переброска через который и войск, и снарядов, и орудий была затруднительна чрезвычайно. Зная, как его ценил Тотлебен, Бородатов обратился к нему, и тот рекомендовал его в письме к генералу Бухмейеру.

Под командой Бородатова было сорок человек саперов, в помощь которым набрали до шестидесяти солдат, знакомых еще до службы с тем, как вязать плоты. В день делалось девять-десять плотов, весь же мост, считая с пристанями, рассчитан был на восемьдесят шесть.

Связанные и окованные железом плоты спускались в воду, и небольшой паровой катер подтаскивал их на буксире к тем местам, какие должен был занимать каждый, а там плоты ставились на якорь.

Палубились толстыми, почти двухвершковыми досками плоты на берегу, а там, на месте, на рейде, с обеих сторон моста протягивались на столбах перила из корабельных канатов. Ширина моста—три сажени—была рассчитана на продвижение по нем и воинских частей в обычном порядке, и орудий.

Работа шла споро и весело, хотя время от времени английская батарея «Мария» посылала сюда крупнокалиберные ядра. Два бревна, разбитых такими ядрами, пришлось уже заменить другими, заготовленными про запас.

На письмо Горчакова о пятой бомбардировке, которая, по мнению главнокомандующего, должна была скоро довести «до необходимости очистить город», царь Александр отвечал:

«Если обстоятельства принудят вас оставить юж-

ную часть Севастополя и вместе с нею жертвовать остатками нашего флота, то дело еще далеко не потеряно. Усиливши еще более укрепления Северной стороны и со вновь прибывающими к вам дружинами вы будете довольно сильны, чтобы встретить неприятеля в поле и не дать ему проникнуть в глубь полуострова. Повторяю вам, что если суждено Севастополю пасть, то я буду считать эпоху эту только началом новой, настоящей кампании».

Так дело стояло там, вверху, так смотрели на близкую участь Севастополя главнокомандующий русской армией и царь, но совсем иначе представляли себе то, что они делают, солдаты-плотовязы, саперы и молодой поручик Бородатов: для первых мост через рейд должен был служить для укрепления Северной стороны за счет Южной и Корабельной; для вторых совершенно наоборот, мост крепил и множил гарнизоны бастионов за счет Северной и всего Крыма.

И строившийся мост отнюдь не был беззащитен: чуть только открывалась пальба с «Марии», дальнобойные орудия батарей Северной стороны отвечали так энергично, что отбивали охоту у англичан продолжать обстрел.

Кроме Константиновского, Михайловского, Екатерининского фортов и промежуточных батарей, устроенных здесь еще до войны, а также огромного Северного укрепления, которого не решились атаковать интервенты в сентябре, несмотря на свое превосходство в живой силе, третья сторона Севастополя и вдоль берега рейда и далеко вглубь имела теперь уже много укрепленных пунктов.

Было достаточно времени, чтобы обдуманно и планомерно превратить эту часть Севастополя в куда более сильную крепость, чем та—на Южной и Корабельной,—о которую в течение одиннадцати месяцев разбивались все усилия могущественных стран Европы.

Сами строители, неутомимые преобразители земли и покорители стихий, французы и просвещенные мореплаватели, их союзники, с удивлением следили за быстрой и ловкой работой русских саперов.

— Откуда взяли вы бревна такой чудовищной величины?—спрашивали впоследствии русских офицеров французские и английские.—И как могли вы с такой поразительной быстротой справиться с труднейшим этим делом?

Как бы то ни было, но справились, действительно, с исключительной быстротой: начатый 2 августа мост в версту длиною был готов к 15-му,—к успеньеву дню, то есть ровно за две недели, и первый, кто проехал в коляске по этому мосту с Северной стороны на Южную и потом обратно, был сам генерал Бухмейер.

Это была торжественная минута! За смелым вояжем строителя моста наблюдал, насколько хва-

тало его глаз, сам Горчаков, так нетерпеливо ожидавший окончания работ. В большой свите его, с ним вообще неразлучной, были теперь еще и священники в блестящих на солнце ризах, которые тут же по возвращении Бухмейера, совершенно целым и невредимым, приступили, по приказу князя, к церемонии освящения моста.

Генерал Линпранди, бывший тоже в свите Горчакова, острил при этом, обращаясь к генерал-квартирмейстеру Бутурлину:

— Не правда ли, какое знаменательное совпадение: два успения!

Что освящаемый мост является предвестником близкого «успания» Южной и Корабельной сторон, было, конечно, хорошо известно всем генералам горчаковского штаба.

5

Подъем духа главнокомандующего, вызванный окончанием и освящением моста, был так высок, что тут же после церемонии, наградив всех строителей (Бородатов получил первый свой орден—анну в петлицу), князь отправился в город с целью навестить снова бастионы.

Подковы верховых коней звучно цокали по настилу моста, когда кавалькада продвигалась с одного берега рейда на другой, и Горчаков ерзал в седле, оглядывая залив вправо и влево. Он имел вид победителя, так как будущее севастопольского гарнизона представлялось ему теперь вполне устроенным. В этом смысле и в Петербург была уже отослана им радостная «телеграфическая депеша».

Но именно теперь, когда путь отступления многострадального севастопольского гарнизона был обеспечен, с Горчаковым произошло то, что нередко случается с натурами нерешительными под влиянием хотя бы и небольшого успеха: остановив коня на присгании Южной стороны и впиваясь подслеповатыми глазами в прямую, узкую, но, как оказалось, прочную полосу моста, светложелтую на иссян-зеленой воде рейда, он сказал, совершенно неожиданно для Коцебу, Бутурлина, Линпранди и других:

— Мы будем защищать Севастополь до последней крайности! На Северную отходить я не разрешу, пока будет хоть малейшая возможность отбить штурм.

— А если неприятель будет всячески оттягивать штурм, чтобы нанести нам как можно больше вреда бомбардировкой, ваше сиятельство?—возразил Коцебу.—Если сейчас мы несем потери до тысячи человек ежедневно, то...

— То и неприятель тоже несет потери от нашего огня!—перебил его Горчаков, досадливо махнув рукой.—На штурм поэтому он должен решиться... А если мы отобьем штурм, то... он уже не отважится, нет, не отважится на третий штурм

до зимы, и тогда ему останется на выбор одно из двух: или зимовать здесь еще, или совсем снять осаду!

Лицо Горчакова при последних словах стало до того самоуверенным, даже, пожалуй, надменным, что Коцебу считал за лучшее отложить свои возражения до другой минуты.

Ослабевшая 9/21 августа канонада не прекращалась ни на один день. Если огонь со стороны противника и не доходил до ураганной силы, как в пятую бомбардировку, то все же он был весьма силен, особенно против русских верков, которые главным командованием союзных армий решено было занять в первую голову в день штурма.

Таким обреченным укреплением оборонительной линии был, кроме бастиона Корнилова, второй бастион, и именно туда-то, как в наиболее уязвимое место, направился Горчаков поднять дух защитников, так как большой подъем духа чувствовал он сам; однако случилось несколько иначе, чем он думал.

Началось с того, что генерал Сабашинский, встретивший его рапортом, едва не упал на него, зацепившись своим костылем за предательски торчавший из земли осколок большого снаряда.

— Вы устали, вам надобно отдохнуть,—недовольно сказал Горчаков, приняв рапорт.

— Никак нет, ваше сиятельство, в отдыхе не нуждаюсь!—отозвался, покраснев, Сабашинский.

— Однако как нога ваша?

— Ноге гораздо лучше, ваше сиятельство... А гарнизон бастиона несет очень большие потери...

— Сколько имеется людей в наличности?—спросил Горчаков.

— В трех полках восьмой дивизии, а именно: Полтавском, Кременчугском и Забалканском едва ли найдется в данный момент в наличности две с половиною тысячи человек.

Держался Сабашинский по привычке браво, и, вспомнив о золотом оружии, которое было дано им этому бравому генерал-майору для его раненого сына, Горчаков спросил:

— А как здоровье вашего сына?

— Отправлен в Бахчисарай, в госпиталь, после ампутации, ваше сиятельство.

Горчаков помолчал, пожевал губами и пошел вперед.

Несколько человек солдат-забалканцев делали неотложное—унесли на двух носилках раненых товарищей, продвигаясь как раз мимо главнокомандующего со свитой.

— Много ли осталось вас здесь на бастионе?—спросил Горчаков.

Не опуская носилок, передний из солдат, несколько подумав, чтобы ответ был как можно более точен, сказал отчетливо:

— На три дня должно хватить, ваше сиятельство!

Горчаков кивнул ему головой, чтобы шел дальше со своею грустной ношей, слабо стонавшей под шинелью, с рукава которой сбегала кровь, а сам повернулся к Сабашинскому:

— Далеко ли неприятель?

— Он приближается к нам тихой сапою, ваше сиятельство, и она теперь уж не дальше, как в тридцати саженях,—ответил Сабашинский.

— В тридцати саженях! Это потому, что им не мешают, вот почему!..

Горчаков сказал это как бы про себя; он не то чтобы был раздосадован, не то чтобы удивлен: он, только самому себе хотя и вслух, попытался объяснить успехи французов здесь, перед вторым бастионом, которые затмевали вот теперь его собственные успехи там, на рейде, по устройству моста.

— Мы стараемся мешать им, ваше сиятельство, всеми средствами,—живо отозвался на замечание главнокомандующего Сабашинский.—Мы обстреливаем сапу их как только можем, но ведь превосходство огня на стороне противника.

— А вылазки?—сказал Коцебу.

— Вылазки делались, но за близостью расстояния они не имели успеха: плацдармы по ночам, позади сапы, бывали заняты большими их силами...

— И все-таки, несмотря ни на что, бастион надобно удержаты!—решительно сказал Горчаков.—Удержать во что бы то ни стало!

Сабашинский пытливо поглядел на него, потом на Коцебу как человек, уже нашедший способ, как удержать за собой этот участок линии обороны.

— Нужно устроить ретраншементы, ваше сиятельство,—и защищать тогда будем уж их, а бастион придется взорвать,—почтительно, но твердо проговорил он.

— Устроить абшнит позади бастиона?—переспросил, употребив другое слово, Горчаков.—Да, с этой ночи начните строить абшнит... Непременно!—с большим апломбом, точно это была его личная мысль, приказал он Сабашинскому.—А верки бастиона взорвать во время штурма!

Разговаривать с командиром прикрытия второго бастиона о чем-нибудь еще было трудно, шла перестрелка; разгуливать по бастиону и благодарить за службу именем царя теперь уже Горчаков счел излишним: ходить тут теперь могли только очень привыкшие к этому укреплению люди, которые умели где обходить воронки, где перепрыгивать через них, как и через другие препятствия, внезапно возникавшие на совершенно изувеченной площадке; кроме того, над головой то и дело пролетали певучие пули.

Покидая бастион, ставший самым опасным местом на всей оборонительной линии, Горчаков, уже позади горжи, вступил в деловой разговор с Сакеном, которому и на этот раз не удалось благо-

получно дотянуть до конца обедню в церкви Николаевской батареи.

Правда, церемония освящения моста проходила, конечно, при нем, как при начальнике гарнизона, и поэтому вполне в состоянии был он, сопровождая на второй бастион главнокомандующего, поддерживать в нем необходимую бодрость духа.

Эта бодрость обуяла Горчакова еще накануне вечером, когда Бухмейер доложил ему, что мост совершенно готов. Совершилось давно желанное: возможность вывести гарнизон Южной и Корабельной сторон в случае удачного для союзников штурма подоспела раньше, чем предполагалась, а союзники все еще не решались идти на штурм.

Удача окрыляет, заставляет преувеличивать свои силы. Поэтому Горчаков сейчас же после доклада Бухмейера написал, ничего не сказав о том своему начальнику штаба, письмо царю.

«Я решился не отходить на Северную часть, а продолжать защищать Южную с упорством до того времени, пока уже увижу невозможность отбить штурм. Конечно, мы будем между тем нести большой урон и, может быть, даже не отобьем штурма. Но взамен может случиться, что нам удастся отбить неприятеля, а может быть, и принудить снять осаду: ибо я никак не думаю, чтобы неприятель решился провести вторую зиму в теперешнем положении. Если приступ будет отбит, он, вероятно, отойдет в Камышевые и Балаклавские укрепления, которые весьма сильны, а большую часть своих войск отвезет в Константинополь.

Намерение мое подвергает нас большим случайностям, но надобно выбирать из двух зол менее вредное и в особенности держаться тех действий, которые наиболее соответствуют чести русского оружия. Продолжение до крайности защищать Севастополь, конечно, будет для нас славнее, чем очищение его без очевидной необходимости. Действуя так, армия понесет, может быть, большой урон, но она для того и существует только, чтобы умирать за вашу славу.

В этих видах я не останавливаю следования сюда дружин средних губерний, дабы не упустить времени и иметь возможность подкрепиться ими, в случае если дела примут благоприятный оборот».

Это письмо было способно, разумеется, поднять настроение и там, в Петербурге, но теперь, побывав на втором бастионе, Горчаков досадовал уже на самого себя за то, что поспешил отослать его рано утром.

Фельдъегерь сломя голову мчался с ним до Москвы по ухабистым пыльным большакам, спасительно отсыпаясь в поезде Николаевской железной дороги прежде, чем предстать с ним перед царем двадцать первого августа. Воодушевленный этим письмом своего главнокомандующего, Александр тут же сел писать ему ответ:

«Решение ваше не оставлять Южной части Севастополя без крайней необходимости не могу не одобрить, ибо оно, по мнению моему, соответствует вполне и чести нашего оружия и пользам России, за что искренне благодарю вас.

Я также совершенно разделяю вашу мысль, что если бог благословит отбить новый штурм, что весьма может быть, то сия новая неудача принудит союзников снять осаду, ибо едва ли решатся они провести вторую зиму в Крыму.

Вы вновь предугадали мою мысль не останавливать следования дружин ополчения. Предположение мое о пополнении ими растаявших полков нашей армии должно уже быть в ваших руках. Теперь буду ожидать донесения вашего об исполнении сей полезной меры...»

Этому царскому письму, сколь ни быстро мчался с ним обратно в Севастополь тот же флигель-адъютант, не суждено уже было соответственно обрадовать Горчакова: к тому времени, как было доставлено оно, решающие события совершились, и оно потеряло свою силу.

Однако если бы каким-нибудь чудом подобное письмо и очутилось бы в руках Горчакова даже и теперь, 15 августа, в полдень, он только покачал бы горестно головой, так удручающе подействовало на него то, что увидел он, а точнее почувствовал, на втором бастионе.

От Сакена он узнал, что и на Корниловском, особенно на левой его половине, картина была та же самая, и траншеи французов были так же близко, как и здесь.

— Делаем все, что в наших силах, но несем очень большие потери,—добавил при этом Сакен.—Ведь одиннадцатые уже сутки гарнизон находится в непрерывном огне! И офицеры, и нижние чины все очень устали, ваше сиятельство!

— Да... да, устали... И Сабашинский не ударил бы меня своей головой в живот, если бы не утомился,—задумчиво отозвался на это Горчаков.—А вы, вы ведь слышали, как сказал этот, с носилками, забалканец: «Дня на три должно нас хватить...» Только на три, а дальше как? Необходимо пополнить состав полков курскими дружинами... Распоряжение об этом я сделаю сегодня же.

Сакен приложил руку к козырьку и несколько наклонил голову. Сказать что-нибудь по этому поводу он не решился, но ополченцы казались ему неподходящими для бастионов. Горчаков же, развивая свои мысли в новом уже направлении, прямо противоположном тому, какое имели они накануне и в этот же день, но только утром, обратился к нему вдруг с самым решительным видом, точно перед ним был противник:

— Дмитрий Ерофеевич! Нам надо начать перевозить имущество арсенала на Северную! Весь порох в бочонках отправить туда же... Потом,

я думаю, примерно третью часть полевых батарей нужно будет тоже снять с оборонительной линии и отправить... кстати, это будет хорошее испытание для моста...

Такого резкого поворота в мыслях князя не ожидал даже и привыкший уже к нему за последние годы службы Сакен.

Раскрывая все шире от изумления глаза и рот, он счел нужным осведомиться наконец:

— Надеюсь, я получу об этом письменное распоряжение вашего сиятельства?

— Ну, да, конечно, вы получите совершенно секретную бумагу об этом за моей подписью сегодня же,—громко против обыкновения и почти совершенно не шепелявя сказал главнокомандующий.

6

Движение по мосту было открыто в тот же день, как только Горчаков вернулся с Корабельной на Северную, не был не только приказ никого не допускать на мост без пропуска, а даже поставлены были для этой цели два младших офицера от пехотных частей—один на пристани близ Михайловской батареи, другой—на противоположном конце моста,—около Николаевской.

Офицеры эти и выдавали пропуска, тратя для этого листки своих записных карманных книжек, которых все-таки не хватало, так как желающих пройти по морскому заливу как по-суху оказалось много, хотя переезд на лодках был попрежнему дешев.

Между тем быстро разнеслось по гарнизону, что без пропусков на мост не пускают, только не все знали, от кого надо получать эти пропуска; и вот перед вечером на пристани Южной стороны появился дюжий матрос с готовым уже пропуском, написанным на очень грязном, измятом и совершенно бесформенном клочке бумаги не стесняющейся, однако, рукой.

Этот «пропуск» матрос подал дежурному офицеру, и офицер, молодой подпоручик, очень уставший от жары и сутолоки, расхохотался весело, прочитав каракули:

— «По приказанию саперного адмирала Бухмеируса дозволяется матросу 33 экипажа Лукьяну Подгрушному проходить по мосту во всякое время... Кто же это тебе писал такой пропуск?—хочоча спросил подпоручик матроса.

Подгрушный, которому разрешена была отлучка до вечерней зари в госпиталь на Северной, где работала его невеста Даша, видя крайнюю веселость офицера, не скрыл от него, что писал это не кто иной, как квартирмейстер Кошка. Этот Кошкин пропуск подпоручик спрятал на память, а Подгрушный выдал свой.

Пальба по мосту теперь уже не одной «Марии», а трех батарей противника не прекращалась до

почи, однако не прекращалось и весьма оживленное движение по нем и пеших и конных и огромных троечных фур. Спаявший прочно третью сторону Севастополя с двумя первыми, мост из плотов сразу вошел в установившийся обиход жизни защитников крепости, как давно искомое и, наконец, найденное, хотя и поздно, все-таки удачно.

Особенно усиленно шло движение по мосту ночью, когда Северная сторона, по заранее данным приказам, посылала Южной все, что заготовлено было для нужд обороны, но отнимало много времени на перегрузки с берега на катеры и шаланды, с шаланд и катеров на другой берег. По мосту же двигались и курские ополченские дружины, назначенные в подкрепление гарнизона четвертого отделения оборонительной линии и смежных с ним участков.

Солдаты на бастионах и батареях были рады, когда появились среди них степенные бородачи с медными крестами на шапках:

— Ого, брат француз, теперь держись за бока: нутрё нашей Расеи пришло!

Но сами ополченцы, от сохи попавшие под обстрел нескольких сот орудий и под непрерывный дождь штуцерных пуль, пугливо оглядывались по сторонам, отказываясь понимать, как можно держаться здесь хотя бы десять минут подряд.

Русские батареи отвечали противнику одним выстрелом на три, но позиции французам и англичан так сблизились уже с русскими, что потери их от слабого русского огня все-таки были велики.

А утром 17/29 августа бомба большого калибра, пущенная с батареи Будищева, взорвала большой пороховой погреб на Камчатке, и взрыв этот был так силен, что на всей Корабельной земля задрожала у всех под ногами, и даже в таком массивном четырехэтажном здании, как Николаевский форт, от сотрясения воздуха вылетели не только стекла из окон, но вдребезги разлетелись и самые рамы.

Обратились было к Сакену, — вставлять ли рамы? Но Сакен, помня секретный приказ Горчакова, только отрицательно махнул рукой. Окна стали завешивать на ночь рогожами, соломенными матами, одеялами, чем попало, так как сквозной ветер тушил свечи.

А 19/31 августа с наступлением темноты начал разгружаться и перевозиться по приказу Горчакова арсенал, так долго соперничавший своими запасами с боевыми средствами союзников, и по новому мосту на другой берег рейда тянулись грохоча гулкие фуры и полуфурки, увозя порохи, и готовые заряды, и все другое, что, по мнению главнокомандующего, могло бы попасть в руки неприятеля в случае удачного для него штурма, но должно было пригодиться для укрепления третьей стороны Севастополя. Двигались одно за

другим и полевые орудия, предназначенные для этой цели, — всего тридцать из ста восьми, бывших в запасе...

Ретраншементы позади второго бастиона выводились, но в то же самое время, по приказу князя, принимались все меры к тому, чтобы без промедления были отбиты, когда настанет крайний момент, цапфы у чугунных орудий, чтобы достались они противнику в испорченном виде.

Канонада не переставала греметь и 20 и 21 августа, но осажденные видели, что долго греметь она уже не будет: атакующие, продвигаясь тихой сапой, подошли уже на восемнадцать сажен ко второму бастиону и были всего в двенадцати саженях от рва Малахова кургана... Итти дальше было уже им совершенно излишне: для штурма было подготовлено все.

ГЛАВА ПЯТАЯ ПЕРЕД ШТУРМОМ

1

Когда два опытных шахматиста думают над своими фигурами на доске, они способны обдумывать один только ход целые часы, чтобы угадать, что может предпринять противник, если будет сделан такой-то ход.

Хотя Горчакова и дергали то и дело из Петербурга, давая ему этим понять, что в сущности игру-то ведет не он, все-таки Крымская армия была в его руках, он был главнокомандующим там, где политические вопросы решались силой оружия.

Проиграв, с большими потерями при этом, наступление на Федюхины горы, задуманное в Петербурге и подsunутое ему для исполнения, он считал себя вправе написать военному министру Долгорукову в письме от шестого августа: «В моей армии нет ни одного человека, который дальнейшую оборону Севастополя не считал бы безумием».

Но это письмо писалось им и было отправлено до посещения Малахова кургана. Человек весьма впечатлительный, он круто изменил своим настроениям, побывав на бастионах, где изумила его стойкость солдат, матросов, пластунов.

Однако прошло всего несколько дней, и в письме двенадцатого августа тому же Долгорукову он снова писал о «безумии защищать то, чего нельзя защищать». В этот же день он обратился к Тотлебену, который уже оправлялся от своей раны, чтобы тот составил для доклада ему подробный план эвакуации Южной и Корабельной сторон, имея в виду огромную трудность этого шага на глазах многочисленного врага, висевшего всей своей массой на плечах осажденных.



Тотлебен, неотрывно следивший из Бельбека за всем, что происходило в Севастополе, быстро набросал план отступления гарнизона.

Для того чтобы прикрыть отступающие к мосту войска Южной стороны, он предложил устроить немедленно баррикады поперек улиц и наиболее сильную из них на Морской, у верховьев Артиллерийской бухты. Эти баррикады вместе с оставшимися зданиями должны были создать сплошное предмостное укрепление, способное удержать противника, пока отойдут через мост все части с городских бастионов.

Войска же Корабельной стороны, имея в тылу у себя Павловский форт, должны были переправляться через рейд с Павловского мыска на судах. Для прикрытия их отступления Тотлебен проектировал уже не одну, а две линии баррикад, вооруженных пушками-карронадами, как и на Южной стороне, а в случае надобности даже и полевой артиллерией, так как переправа на судах не могла пройти так быстро, как от Николаевского форта через мост.

Оставлять неприятелю совершенно нетронутыми такие огромные мощные здания, как Николаевский и Павловский форты, конечно, значило бы дать ему слишком богатую добычу, поэтому

Тотлебен предложил немедленно приступить к минным работам по устройству камер для их взрыва.

Взрывы же всех вообще пороховых погребов на бастионах и батареях, по мере их оставления войсками, он признавал необходимым производить постепенно от дальних к ближним, считая эти взрывы могучим средством удержать противника в должных границах, пока большая часть гарнизона не переправится на другой берег.

Наконец, для обстреливания войск противника, когда войдут уже они на Корабельную и Южную, предложено им было установить одиннадцать новых батарей на берегу, вправо и влево от старой батареи № 4.

Этот проект Тотлебена был положен Горчаковым в основу работ штаба Остен-Сакена пятнадцатого августа. Тогда же приказал главнокомандующий перевезти все мастерские, лаборатории, войсковые штабы, архивы, канцелярии, равно как и главные запасы пороха и все имущество арсенала и артиллерийской части, на Северную.

Казалось бы, решение было принято твердое, как стоящее на очень продуманных, вполне прочных основах. И всю ночь на девятнадцатое августа новый мост пропускать через рейд и орудия, и бо-

чокки с порохом, и прочие весьма ценные военные грузы.

Но двадцатого числа Горчаков пришел к мысли, что оставлять без решительного боя Южную и Корабельную стороны бесчестно. Поэтому он писал военному министру:

«Я решился упорно продолжать оборону Южной стороны столько времени, сколько это будет возможно, так как это самый почетный для нас выход».

Его расчеты были очень просты: они не шли дальше четырех правил арифметики.

После усиленной четырехдневной пятой бомбардировки канонада как бы вошла в размеренные границы, выводя из строя, большей частью убитыми, восемьсот-девятьсот человек ежедневно. Нужно было только помножить эти восемьсот-девятьсот на тридцать, чтобы получить приблизительно, в круглой цифре, двадцать пять тысяч.

Вслед за курским пополнением должны были подходить другие ополченские бригады. Части дружин думал он вливать в пехотные полки, бывшие в его армии на Инкермане, и этими соединениями питать севастопольский гарнизон, оставив не более двадцати тысяч для защиты своего левого фланга против правого фланга союзников.

Такими жертвами в «ступку»,—по восемьсот-девятьсот человек ежедневно,—он думал продержаться еще месяц, то есть почти до конца сентября, когда недалеки уж были осенние равноденственные бури на Черном море, вполне способные испортить снабжение армии интервентов.

Однако эти расчеты русского главнокомандующего оказались слишком прямолинейны и однобоки: он недооценил боевых средств противника, а они были очень велики.

Начиная с 9/21 августа интервенты бросали на бастионы, в город и бухту в среднем по девяти тысяч снарядов в день, причем большая часть этих снарядов падала на Корабельной, ежедневно приводя к молчанию второй бастион и левую половину Корниловского.

Русские укрепления отвечали на этот огонь тремя-четырьмя тысячами ядер и бомб ежедневно; это как бы уравнивало действия артиллерии союзников, не слишком истощая в то же время склады боеприпасов, расход которых был учтен Горчаковым так же прямолинейно, как и расход живой силы.

Надеясь на какое-то «авось», можно было, по выкладкам князя, тянуть, оттягивать конец защиты почти до октября. Но главнокомандующие армий интервентов, собранные на военный совет главнейшим из них—маршалом Пелисье, решили иначе.

Из генералов французской армии были приглашены на этот совет только начальник инженеров Ниэль, командир 2-го корпуса Боске, главный инженер этого корпуса генерал Фроссар, начальник всей артиллерии французской армии генерал Тири

и генерал Мартенпре, как начальник штаба Пелисье; из английских же генералов только инженер-генерал сэр Гарри Джонс.

Совет был собран в главном штабе французской армии 22 августа (3 сентября), то есть почти через месяц после подобного же совета, созванного Горчаковым в Николаевских казармах, но в противоположность тому совету, тоже решавшему участь Севастополя, тут не было лишних людей.

По существу, это был совет инженеров, генерал же Боске был приглашен потому, что ему поручалось решение задачи огромной важности: произвести штурм двух наиболее разрушенных русских укреплений—Малого реданта, как называли французы второй бастион, и Малахова кургана.

К тому, что штурм назрел, пришел даже и Ниэль, порицавший Пелисье за преждевременность отбитого с большими потерями июньского штурма. Среди собравшихся в ставке французского главнокомандующего не раздалось ни одного голоса против штурма в ближайшее же время. Говорилось о том, что огонь с русских верков, как они ни разбиты, как ни приведены они почти в полную негодность на Малом реданте и Малаховом кургане, все же производит большие опустошения в рядах осаждающих. Взрыв порохового погреба на редуте Брансьема 17/29 августа стоил полтораста человек, кроме того, что нанес огромные повреждения нескольким батареям; взрыв погреба на Зеленой Горе, у англичан, случившийся в тот же день, тоже не обошелся без больших жертв. Почти еженощные вылазки осажденных не только сводят местами на-нет траншейные работы перед русскими верками, но еще и сильно опустошают ряды передовых частей. Общие потери войск за восемнадцать дней бомбардировки дошли до четырех с половиной тысяч человек, из которых две трети убитыми. Пусть потери русских за это время гораздо больше, но... но они и должны были по всем расчетам быть больше; между тем, по точным сведениям, в Крым направлено несколько десятков тысяч ополчения, и, кроме того, сюда же марширует корпус гренатеров, и если ополчение едва ли очень боеспособно, то гренадерские полки относятся к лучшим русским войскам...

После сообщения генерала Тири о состоянии артиллерийской части во французской армии и сэра Гарри Джонса о том же в английском корпусе, атакующем Большой редант, было решено, подготовившись к тому в следующий день, начать усиленную бомбардировку, последнюю перед штурмом. Вопрос о дне штурма не решался, потому что Пелисье, соблюдая сугубую осторожность, его и не ставил на обсуждение.

В том, что штурм на этот раз будет иметь успех, никто из приглашенных на совет не сомневался, но цена этого успеха оставалась для каждого загадкой. В том, с какой быстротой русские умеют при-

двигать к фронту свои резервы, французские генералы убедились во время июньского штурма. В том же, что даже и самым секретным образом, но заблаговременно принятое решение каким-то образом становится, видимо, известным противнику, им тоже приходилось убеждаться не один раз.

2

Шестая—и последняя—усиленная бомбардировка Севастополя началась 24 августа, в пять утра, как обычно, но была она совершенно необычна по силе огня.

Готовясь к решительному штурму, интервенты собрали все свои средства уничтожения, достигшие к этому времени небывалых размеров. Против Малахова кургана, площадка которого простиралась в ширину всего только на полтора метра, было выставлено сто десять осадных орудий, из которых почти половина мортир; против совершенно уже измолоченного снарядами второго бастиона—девять орудий...

Для действия по городу и флоту были назначены особые батареи, среди которых ракетные выбрасывали большей частью зажигательные ракеты, чтобы вызвать пожары. Наконец, иные орудия союзников перекидывали на русские укрепления не ядра, не гранаты, не бомбы, а большие бочонки с порохом, к которым прикручивались зажженные фитили. Взрываясь при падении, один такой бочонок способен был, как оказалось, разметать в пыль целый траверс из плотно сложенных земляных мешков и открыть площадку бастиона для пули.

Но крупные круглые пули гранатной картечи дождем сыпались на защитников укреплений и сверху. Не было и аршина места, где бы не рвались бомбы, куда бы не шлепались гулко ядра, глубоко врезаясь в рыхлую землю, и где не могли бы задеть осколки лопнувших гранат. Даже и толстые накаты блиндажей трещали и обрушивались на тех, кто отсиживался в них, дожидаясь своей очереди идти чинить ли крыши погребов, тушить ли щеки загоревшихся амбразур, подносить ли снаряды к орудиям...

Уже первые полчаса такого огня, какого все-таки не ожидали на русских бастионах и батареях, стоили сотен убитых и раненых, и раненые корчились на земле, вопя о помощи, но к ним не подходили с носилками.

Убирать раненых было запрещено, потому что около одного раненого при этом в несколько мгновений вырастала кучка других раненых или убитых.

Сигнальные стали было на свои места в начале канонады и начали было привычно выкрикивать: «Маркела!.. Лохматка!.. На-а-аша, береги-ись!»—но эти «маркелы» и «лохматки» мчались в таком

изобилии, такую тучей, что очень скоро кричать о них стало совершенно ненужным занятием, да и сами сигнальные падали то здесь, то там, чтобы больше уже не подняться.

Жаркий день,—небо было безоблачно, солнце щедро на ласку,—сразу сделался вдвое, втрое жарче—от горячего дыма, горячей пыли, раскаленных тел орудий, от пожаров, наконец, когда загоралась фашинная одежда мерлонов и пылали щеки амбразур...

Но воды было мало. Вода, как заведено было с начала осады, хранилась в корабельных анкерках, и их осушили уже в первые часы канонады, иные же анкерки были разбиты ядрами. Между тем о том, чтобы подвести воду защитникам бастионов, нельзя было и думать: ураганный огонь то и дело открывался по всем подступам, по всем дорогам, ведущим к укреплениям.

Артиллерия французов была теперь уже настолько сильна сравнительно с русской, что как на втором, так и на Корниловском бастионе сопротивляться ей могли уже не орудия, наполовину подбитые, а только сами бойцы, матросы и солдаты с их поражающим, спокойным презрением к смерти.

Не один только солдат-забалканец мог бы теперь ответить на вопрос Горчакова: «Сколько вас на бастионе?»—«Дня на три должно хватить, ваше сиятельство...»

На что именно хватить должно? На то только, чтобы все виды истребления людей, которые были придуманы к тому времени человечеством, были обрушены на защитников севастопольских укреплений в таком количестве, с такой энергией, каких не знала история войн, и чтобы эти люди в потных, хоть выжимай, рубашках держались на своих местах, пока их не разрывало в куски, а на их место тут же с огромной деловой поспешностью становились их товарищи, и так без перебоев одни заменяли убитых, другие—раненых, с величайшей готовностью, зная, что это-то именно и требуется для дела защиты, и соображая про себя, что «дня на три должно хватить»... А там пришлют, разумеется, других таких же точно...

Никто не бежал, испуганный, пораженный, даже из тех, кто впервые в своей жизни видел такую адскую бойню. Спокойное нахимовское «мы все здесь останемся» стало воздухом бастионов. Миллиону пудов чугуна, пущенного с невиданной силой, сопротивлялись в конце концов только человеческие тела с ясным сознанием того, что всех все-таки не перебьют, что «должно хватить» для отражения штурма...

День этот—24 августа—был ясный всюду в Крыму и кругом на море, но в Севастополе солнца не было видно,—ни солнца, ни клочка синего неба,—и в густейшем пороховом дыму, смешанном с пылью, двигались команды солдат, вызываемых из прикрытия для работ на крышах по-

роховых погребов, чтобы засыпать там воронки в насыпях, а когда над ними лопалась граната, осыпая их осколками и картечью, то, оттачив в сторону раненых и убитых, остальные принимались за лопаты, не покидая работы.

Никто не бежал в ужасе, хотя на это рассчитывали осаждающие, как не бегут с палубы корабля матросы во время сильнейшего морского боя; но палуба корабля окружена водою,—здесь же был в силе соблазн бегства от смерти, но преодолен был всеми этот соблазн.

«Должно хватить» до штурма, а пока туши то и дело вспыхивающие пожары, потому что загораются туры и фашины, пылают мешки травесов и амбразур, и тушить их можно только землсю,—больше нечем... Сыплется лопаты сухой хрящеватой земли в огонь... Матрос с топором в руке обрубает, закрывая левой рукой лицо от пышащего пламени, горящий хворост фашин... Но вот грузно падает рядом присланный врагами бочонок пороха и тлеет его фитиль... Момент еще, и взорвется порох, и разбросаны будут мешки травесов, и горящие туры, и люди, разорванные в клочья... Матрос кидается к бочонку, одним взмахом топора обрубает фитиль, а шестипудовый бочонок отталкивает ногой подальше, чтобы закатить его в глубокую воронку, где он не так опасен...

Несколько часов совершенно невыносимого огня, и вдруг, как оборвало, ни одного выстрела оттуда,—торжественная тревожная тишина... Штурм?

Барабаники на бастионах, срываясь то и дело, забили тревогу, из блиндажей выскочили солдаты прикрытия и кинулись бегом к банкетам,—к тем местам, где, они знали, были приготовленные для них банкеты у брустверов, и где теперь не только не виднелось банкетов, но и половина брустверов сползла уже во рвы, а остальное разверзлось, развороченное взрывами снарядов, чернело от пожаров, было скользким от крови.

Нужно было спешить добежать до брустверов скорее, чем могли бы добежать до них с той стороны враги, траншеи которых местами тянулись всего в тридцати пяти шагах от рвов. Русским солдатам из блиндажей бежать было дальше, чем французам, они спешили, где перепрыгивая через препятствия, где обегая их; беспорядочные, стремившиеся вперед толпы солдат заполнили площадки укреплений, но... так внезапно оборвавшаяся канонада—это был только хитрый маневр врага, обдуманый на военном совете у Пелисье.

Шестая усиленная бомбардировка была задумана так, чтобы не только разрушить все укрепления русских и совершенно заставить замолчать их артиллерию, но нанести как можно больше потерь и стойким защитникам нестойких верков, если нельзя будет довести их до бегства или до решимости выкинуть белые флаги.

Чуть только там убедились, что удалась хитрость, канонада началась снова.

Горнисты трубили, и барабанщики били отбой прикрытию, и солдаты бежали назад в свои блиндажи, но далеко не все вернулись в них обратно.

Этот хитрый маневр повторялся не один раз; не выходить из блиндажей гарнизону было нельзя, не нести при этом больших потерь—тоже.

Свыше сорока тысяч снарядов было выпущено артиллерией союзников в первый день бомбардировки; более двух тысяч человек насчитано было убитых и раненых в Севастополе.

3

Корабельная и Южная стороны Севастополя были так густо затянуты в этот день белесым пороховым дымом, что прицельной стрельбы по кораблям, стоявшим на Большом рейде, быть не могло, но навесный огонь был так силен, что то и дело высоко вверх фонтанами взбрасывало воду, и вечером, около шести часов, большая бомба ударила в транспорт «Березань».

Этот транспорт стоял у северного берега рейда, рядом с линейными кораблями «Чесма» и «Императрица Мария». Из него сразу же повалил черный дым,—на нем было много горючего. Пожары, возникавшие часто на судах, матросы обычно тушили ведрами, но это оказалось бессильным против пламени, быстро заливавшего палубу, выбиваясь из трюма, где горели бочки со смолой и салом и мешки с мукой.

Часам к восьми стало уже ясно, что транспорт обречен. Катеры и лодки засновали около него, принимая экипаж и груз, какой еще можно было спасти. Однако нужно было спастись от огня и линейные суда, соседей «Березани», на которой пылали уже ванты фок-мачты, в то время как под ветром стояла «Мария» и на нее летела густая метель ярких в дыму искр.

Матросы на «Марии» забежали по палубам, с ведрами, обливая водой сильно нагретые борта; катеры старались завести якорные цепи, но толстые цепи не поддавались их усилиям долгое время.

Ведро за ведром опускалось в бухту; вода плескала на белые борта, начинавшие уже желтеть и корчиться... Подошли два парохода; с их помощью удалось, наконец, перебить якорные цепи, и, взяв на буксир «Марию», один из них отвел ее дальше от причудливо пылавшей «Березани».

Было уже темно кругом, и совершенно фантастичным казался транспорт, оставленный во власти пламени. Толстые корабельные канаты, свисавшие с его мачт, медленно тлея, окутали его багровым кружевом в то время, как пламя не дошло еще до верхушки мачт. Скручиваясь и брызжа искрами, эти багровые кружева вели

себя, как живые, как огненные змеи, опутавшие корабль и расползавшиеся в стороны и вверх.

На берегу Северной стороны толпилось много народа, привлеченного зрелищем пожара в бухте. Было на что поглядеть, однако и очень опасно.

Пожар большого судна ночью не только далеко озарил рейд с остальными кораблями, белые мачты которых четко, как колонны, круглились одна за другой, пойманные замысловатой сетью вантов; не только сделал видными людей на ближних из судов и на самых мелких катерах и лодках в бухте и даже на мосту, который теперь охранялся особым нарядом саперов; пожар этот сделался виден и неприятелю, и сюда, на свет, то и дело стали лететь снаряды и ракеты.

Рейд принял чрезвычайно оживленный вид. На близко подходивших к транспорту «Березань» катерах действовали помпы, стараясь залить пламя, но не имели успеха. Треск, шипенье, облака пара, крики народа, всплески весел, и вновь торжествующее пламя освещало, как это бывает только на заре, тревожным палевым светом белые стены укреплений на северном берегу, и белые борты, и мачты судов... А бомбы и ядра летели и звучно шлепались в воду все чаще и чаще.

Транспорт горел всю ночь и сгорел к утру по медную обшивку на бортах. Кроме этого пожара в бухте, было ночью несколько пожаров и в городе, и разбита была, наконец, бомбой большого калибра телеграфная площадка над библиотекой, так долго остававшаяся неврежденной.

Все меньше становилось уцелевшего в городе и кругом него, все больше развалин. Город таял, город превращался в беспорядочно нагроможденный строительный материал для будущего города: не хватило бы только дерева строителям, камня же было довольно.

Лихие фушштаты пытались было и в эту ночь подвезти на бастионы выломанные из разбитых канонадой домов половые доски для починки разбитых орудийных платформ, но проскочить удалось очень немногим: слишком силен был заградительный огонь с неприятельских батарей.

Каждую ночь, кроме туров, фашин, досок и прочего, необходимого для восстановительных работ на бастионах, везли туда и бочки воды; но в эту ночь бомбардировка была ничуть не слабее, чем днем, и воды на укрепления удалось завезти очень мало, в то время как защитники их изнывали от жажды.

Работать под сильнейшим обстрелом было невозможно,—работать было необходимо: укрепления к концу дня перестали уж быть укреплениями, потеряли право так называться,—и их одевали вновь,—в который раз?—и при этом гибли сотни людей, потому что восемьдесят мортир стреляли то залпами, то беглым огнем по двум бастионам—Корниловскому и второму; на последней половина рабочих выбыла из строя в эту ночь... И, однако,

даже при таких потерях было сделано все, что можно было сделать по части насыпей: кирки и лопаты действовали безотказно.

Но из двадцати орудий, бывших на втором бастионе, четыре оказались подбитых дневной канонадой, и почти все остальные обречены были на бездействие из-за порчи платформ и станков, а заменить их новыми ночью не удалось.

Рано утром на бастионах ожидали штурма, и все были готовы к нему, но началась снова такая же жестокая бомбардировка, как и накануне.

Возведенные за ночь укрепления рухнули где через час, где через два; правда, их и готовили только для встречи штурмующих колонн, отлично зная, что сопротивляться долго туче снарядов они будут не в состоянии.

В разрушенные амбразуры полетели пули стрелков, таившихся в недалеких уже траншеях, которые успели раздвинуться за ночь. Эти пули выбивали артиллерийскую прислугу тех орудий, которые могли еще отвечать противнику. Одну выбитую до последнего человека смену артиллеристов заменяла другая, другую третья, и люди знали, что идут на верную гибель, и шли, и гибли.

Если бы появился в этот день на Малаховом кургане или на втором бастионе князь Горчаков, то на глупый вопрос, обращенный к простому рядовому пехотного полка: «Сколько вас тут на бастионе?»—едва ли получил бы он знаменитый ответ: «Дня на три должно хватить, ваше сиятельство».

Гарнизон четвертого и пятого отделения линии обороны таял с большой быстротой, и трудно было бы с уверенностью сказать, что хватит его еще на три дня такой невиданной бомбардировки, при том, конечно, непременно условии, чтобы остатки его смогли все-таки отразить штурм.

Но состояние русских верков, представлявших развалины, и полное молчание батарей второго бастиона и всей левой половины Малахова кургана убедили ставшего слишком осторожным Пелисье, что откладывать штурм еще на несколько дней является уже излишним.

Одновременно с Корабельной и Южная сторона яростно громилась огнем пятидесяти батарей, включавших в себя триста пятьдесят орудий. Против одного только четвертого бастиона выставлено было сто тридцать орудий, а против пятого на несколько орудий больше.

И здесь, так же как и там, вдруг наступала тревожная тишина, принимавшаяся за предвестник штурма, орудия поспешно заряжались картечью, подтягивалась полевая артиллерия, спешила пехота прикритий, и на все это вдруг обрушивался ураганный огонь.

Запрещено было уносить раненых на перевязочные пункты, так как это вело голько к лишним потерям, и без того огромным. Раненых помещали в блиндажах, где и без них было непроходимо тесно.

Не было не только медиков и сестер,—даже и фельдшеров; перевязывали раны как и чем могли ротные цырюльники, а в офицерских блиндажах—офицеры. Но раненые, потерявшие много крови, умоляли дать им воды, а воды не было.

Штурм ожидали с часу на час и его надеялись отбить так же блистательно, как был отбит штурм шестого июня, и тогда по-настоящему и надолго должны были замолчать батареи противника, тогда—отправлять на перевязочный и этих раненых и новых, какие будут, конечно, в большом числе, тогда новые орудия и станки и платформы, тогда фашины и туры, тогда снаряды и порох, тогда—вода.

Но если терпели страшную жажду здоровые солдаты и матросы около орудий, на работах и в блиндажах, то как могли терпеть ее раненые?

И вот,—поразительное зрелище!—многострадавший Малахов курган днем двадцать пятого августа увидел на своей площадке вереницу женщин в платочках; у каждой было коромысло на плечах, каждая несла издалека, от колодцев, по два ведра студеной воды... Это были матроски, услышавшие, что совсем нет воды на бастионах, что раненые терпят мучения и даже умирают от жажды.

Их шло снизу больше, чем пришло на курган: дошло только пять матросок,—остальные погибли. Но рядом с одной из дошедших, широко раскрывая глаза среди грохота взрывов и дыма, шагала ее семилетний сынишка: мать привела его затем, чтобы тяжело раненный муж ее дал ему перед своей смертью «отцовское благословение, навеки нерушимое».

4

Ночью раненых отправляли все-таки в два перевязочных пункта: с Южной стороны—в Николаевские казармы, с Корабельной—в Павловские, по тысяче и больше человек в ночь, и тут же начинались на нескольких столах операции и продолжались потом весь день. Но врачи и сестры знали, что минеры подкапывались уже несколько дней под устои этих огромнейших зданий и закатывали в проделанные подкопы бочонки с порохом для взрыва, когда будет получен приказ это сделать.

А что такое взрыв большого количества пороха, они испытали вечером двадцать шестого августа, когда в шаланду, отправленную с Северной стороны с грузом пороха в сто пудов, ударила бомба. Сотрясение воздуха было так велико, что во всем четырехэтажном здании Николаевских казарм сорвало с петель двери, все, кто стоял, мгновенно упали на пол, койки с ранеными, подскочив, передвинулись с мест, а на Графской пристани тяжелое бомбическое орудие, лежавшее на нижней площадке, перебросило на верхнюю, и мраморные статуи разметало в разные стороны.

В тот же вечер загорелся так же точно, как

накануне «Березань», фрегат «Коварна», на который незадолго перед тем погрузили двести бочек спирта.

Трудно было понять, зачем приказано было бочки со спиртом и с чиновниками, ведавшими этим казенным имуществом, погрузить на фрегат, но спирт горел так же неукротимо, как смола и сало на «Березани».

В то же время другая зажигательная ракета вонзилась в верхушку огромного подъемного крана, служившего для установки мачт на судах и стоявшего на берегу Доковой балки, и кран этот запылал, как гигантский факел, далеко освещая все окрест, и, как мотыльки, на огонь летели снаряды и в Доковую балку и на рейд.

Двести бочек спирта, горевшие на фрегате, давали какое-то зеленое пламя, и «зеленый змий», клубясь и шипя, принялся яростно обвиваться около мачт, ближе к корме, в то время как с правого борта по трапу сыпались вниз на шаланду матросы с тем, что удалось захватить впопыхах из своего небогатого скарба: кто тащил свой бушлат, кто подушку, кто сундучок, кто подвесную койку, а один, приставленный смотреть за церковными принадлежностями на фрегате, нагрудился образами, кадилом, кропилом и прочей святостью, и, держа все это обеими руками в обхват, пополз по трапу, держась за него лопатками и локтями и каждый момент рискуя очутиться за бортом, но все-таки сполз последним,—сохранил вверенное ему казенное имущество.

А когда отчалила шаланда с матросами, взятая катером на буксир, зеленое пламя потоками полилось из трюма во все люки, побежало по вантам, вверх, выше и выше, создало такую живописную иллюминацию на рейде, что народ, собравшийся на Северной, не мог отвести от нее глаз.

Если пожар «Березани» в предыдущую ночь воспринимался многими только как исключительный несчастный случай, то пожар «Коварны», боевого судна, пожар которого даже и не тушили, ясно говорил всем, что конец Севастополя уже близок: сотни новых крупнокалиберных мортир, появившихся летом у французов, сделали свое дело.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ШТУРМ

1

Утро 27 августа (8 сентября) было мгlistое, ветреное.

Сильный ветер, волнуя воду Большого рейда, дул в сторону неприятельских батарей против Корабельной и нес туда облака пыли и дыма, под покровом которых там усердно готовились

к штурму, назначенному главным командованием на этот именно день.

Там передвигались колонны корпуса Боске, чтобы занять в параллелях и на площадях между контрпрошей исходные для штурма позиции, а когда позиции эти были заняты, войскам читали приказ их корпусного командира:

«Солдаты второго корпуса и резерва! 7 июня (26 мая по ст. ст.) вам досталась честь нанести первые удары в сердце русской армии. 16/4 августа вы восторжествовали над вспомогательными силами русских. Сегодня ваша рука нанесет русским последний смертельный удар, исторгая у них линию верхов, обороняющих Малахов, между тем как наши товарищи англичане и 1-й корпус произведут атаку Большого реданта и центрального (пятого) бастиона. Это будет один всеобщий приступ армии против армии! Это будет долгожданная победа, которая увенчает юных орлов Франции! Ребята, вперед! Малахов и Севастополь—наши, и да здравствует император!»

Боске мог уже с полной уверенностью сказать: «Малахов и Севастополь—наши», так как знал результаты трехдневной усиленной бомбардировки, знал и то, что еще предполагалось сделать, чтобы вполне обеспечить успех штурма.

Получив назначение руководить штурмом, он проявил большую деятельность. Он распределил свои войска по отдельным участкам атаки: дивизия генерала Дюлака должна была двинуться на Малый редант (второй бастион); одновременно с нею дивизии де-Ламотт-Ружа предоставлялась честь захватить куртину, соединяющую этот бастион с Малаховым, и, наконец, дивизия Мак-Магона, имея в резерве бригаду генерала Вимпфена и два батальона гвардейских зуавов, должна была совершить то, что особенно подчеркивалось в приказе,—занять Малахов—ключ всей оборонительной линии Севастополя.

Резервом для дивизии генерала Дюлака были: бригада генерала Маролля и батальон гвардейских стрелков, а общий резерв состоял исключительно из гвардейских частей, расположенных близ бывшей Камчатки.

Эти гвардейцы должны были, по плану Боске, двинуться для решительного удара плотными колоннами, а чтобы идти они могли, как на параде, для них между траншеями устроено было сообщение шириною ровно в сорок метров.

Шесть легких батарей, назначенных для поддержки пехоты, получили приказ воспользоваться тем же путем, какой приготовлен был резерву.

Наконец, несколько небольших, по шестьдесят человек, отрядов саперов с лестницами и лопатами должны были идти впереди штурмующих колонн, чтобы подготовить им свободный проход через рвы, волчьи ямы, траншеи, большие воронки...

Что же касается штурма Малахова, то фран-

цузские минеры, роясь давно уже на порядочной глубине, вели галлерею под бруствер, и работы их были уже закончены,—они ждали только приказа произвести взрыв, который сбросил бы в ров на большом протяжении насыпь, наполовину уже разрушенную бомбардировкой, и тем уничтожил бы последнее препятствие для штурмующих.

Канонада в этот день началась, как всегда, в пять утра, хотя и нельзя уж, пожалуй, сказать «началась», так как она не прекращалась всю ночь. Она только усилилась вдруг необычайно, значительно перекрыв по силе огня канонаду трех предыдущих дней. Это заметили в первые же полчаса солдаты, пережившие бомбардировку 24, 25 и 26 августа, и говорили:

— Ого! Что-то очень уж крепко бьют нынче!

Заметно было и то, что огонь направлялся исключительно по укреплениям: он не рассеивался теперь,—цели его были определенные.

Под прикрытием этого огня шли передвижения больших масс войск как у французов, так и у англичан, и передвижения эти были замечены с Севойерной стороны.

Обеспокоенный этим генерал Липранди обратился к Коцебу:

— Павел Евстафьевич! Они готовятся к штурму,—это ясно!

Но маленький Коцебу отнесся к тревоге Липранди с большим спокойствием.

Он ответил:

— Во сне, должно быть, вы увидели штурм.

Один из батарейных командиров разглядел, как французские колонны идут по направлению к Корабельной от редута «Виктория», и счел нужным немедленно послать казака в главный штаб с донесением об этом.

Казак помчался во весь дух: он и без приказа лейтенанта, его пославшего, понимал, что везет бумагу первой важности.

Примчавшись к главной квартире, он увидел начальника штаба, который прогуливался около дома, где жил вместе с Горчаковым.

— Что такое, братец?—недовольно спросил его Коцебу.

— Донесение их благородия, лейтенанта Барановского!—поспешил, чтобы ни секунды не потерять, отрапортовать казак и подал бумажку.

Коцебу заглянул в нее, сунул ее в карман и пошел не в дом, с докладом главнокомандующему, что готовится штурм, а прогуливаться дальше.

Казак ждал удивленный. Коцебу заметил это, когда возвращался, совершая свой моцион.

— Что ты торчишь, братец?—спросил он недовольно.

— Какой будет ответ, я жду, ваше превосходительство...

— Э-э, ответ!.. Отправляйся себе на свое место! Казак поскакал; Коцебу продолжал прогули-

ваться. Он был удручен тем, что доложили ему еще накануне: его племяннику, офицеру, оторвало по колено ногу на четвертом бастионе. Это семейное горе притупило в нем на время способность живо отзываться на события большого исторического значения,—так часто бывает это с людьми, стоящими на высоких постах. Прогуливаясь в одиночестве, он думал о брэнности всего земного, не замечая уже и того, что канонада там, против Корабельной и Южной, почему-то значительно сильнее, чем была накануне утром.

Правда, штурма так долго ждали, каждый день и даже по несколько раз в день, обманываясь в своих ожиданиях, что острая бдительность вполне могла уступить свое место равнодушию даже и у тех, кто ведал участками оборонительной линии, не только у Коцебу, глядевшего на зрелище артиллерийского непрерывного боя издали, видевшего только сплошной занавес плотного белого дыма и слышавшего только грохот двух тысяч орудий, грохот, не умолкающий на сколько-нибудь продолжительное время весь август.

Кроме того, он считал себя не ответственным за все, что делалось, так как делалось все именем князя Горчакова; наконец, ему казалось, что для встречи штурмующих отправлены были достаточно силы, а как распорядятся этими силами генералы на линии обороны, это уж касалось их, а не его,—Хрулева на Корабельной стороне и Семякина—на Южной, причем у первого считалось гарнизона двадцать три тысячи человек, у второго—семнадцать тысяч, и на отделениях начальниками войск были у них не новички, а тоже опытные генералы: Хрущов и Шульц—у Семякина; Сабашинский, Павлов и Бруссару—у Хрулева.

А между тем Коцебу знал, конечно, из донесений, что потери гарнизона за три дня бомбардировки, считая с 24-го числа, были огромны, более семи с половиной тысяч; что за эти дни подбито на бастионах и батареях и почти не заменено девятьюстами орудий и сто тринадцать станков; что к утру этого, четвертого, дня усиленной бомбардировки на фронте Малахова кургана сохранилось в целости всего только восемь, а на всем втором бастионе—шесть орудий... Странно было бы думать, чтобы они могли долго сопротивляться ураганному огню направленных против них двухсот орудий французов.

Он знал и то, что старания Тотлебена минировать Малахов были сорваны взрывом шаланды, везшей сто пудов пороха: этот порох как раз и назначался для заряжения пяти камер, выдолбленных минерами в скалистом грунте.

Так как решение взорвать второй бастион в случае штурма и перенести защиту в ретраншементы было принято Горчаковым еще 15 августа, то порох туда приказано было доставить заблаговременно, однако неподатливая скала долго со-

противлялась минным работам, тем более что производить их приходилось под жестоким обстрелом.

В команде инженер-поручика Фролова, ведшего эти работы, было тридцать пять человек; к концу работ из них осталось только шестеро, но двенадцать мин под бруствером были заложены и готовы к вечеру 25 августа.

Порох, правда, не был доставлен и сюда, как и на Малахов: вторая шаланда затонула при взрыве пороха. Решено было израсходовать для заряжения мин порох орудийных зарядов, праздно лежавших в погребах, так как орудия были подбиты.

Под сильнейшим огнем противника герои-минеры сами переносили заряды из погребов в минные колодцы, и были случаи, когда коварная ноша эта взрывалась в их руках, убивая их на месте. Но все-таки не только мины были заряжены, но и в пороховом погребе и в бомбохранилище положены были гальванические запалы, а проводники к ним выведены были за вторую линию укреплений.

Но если на Малаховом, при отсутствии пороха, мало что удалось сделать русским минерам, зато французские в восемь утра взорвали три горна, на большую помощь которых делу штурма надеялся Боске.

Этот взрыв явился последним штрихом в картине подготовки штурма, сделанной кропотливо, с точнейшим выполнением всех правил осады крепостей. От взрыва горнов образовались воронки в четыре сажени в диаметре, и часть бруствера как раз против башни грузно обрушилась в ров,—открыв, с одной стороны, площадку бастиона и уничтожив, с другой, серьезное препятствие для атакующих.

Часа через два после этого взрыва подоспел, наконец, порох, отправленный на Малахов для заряжения мин. Нельзя не изумиться тому, как безвестные фушты проскочили с такой поклажей сквозь тучу снарядов. Они везли верную свою гибель, но привезли все же; однако подвиг их был уже напрасен. Как раз в это время бомба ударила в небольшой погреб, где находилось полсотни гранат, и взорвала их. Привезенный порох поспешили убрать в надежное место, тем более что уже засыпаны были минные колодцы и их приходилось откапывать под бешеным огнем.

К одиннадцати часам дня картина разрушения на Малаховом была полная: срезанные насыпи, заваленные рвы, подбитые орудия, корчившиеся в окровавленной пыли раненые, которых никто не подбирал, тела убитых, куски и клочья человеческих тел... То же самое было и на втором бастионе и на куртине, соединяющей этот бастион с Малаховым.

В одиннадцать канонада вдруг прекратилась, как это бывало часто и раньше. Явилась возможность произвести подсчет потерям этого дня. Они оказались громадные: две тысячи человек выхва-

тила бомбардировка, длившаяся только шесть часов. Но за эти шесть часов, как выяснилось потом, было брошено на русские укрепления тридцать тысяч снарядов, половина которых были гранаты и бомбы. В предыдущие три дня батареи союзников выпускали только по сорока тысяч снарядов в день, теперь же они утроили свою энергию.

Такая чрезмерная сила огня могла, конечно, навести многих в русских укреплениях на мысль, что штурм должен быть близок уже, однако подобные мысли возникали не один раз и раньше у всех, но оказывались пустыми.

Многие, например, уверены были, что французы изберут днем штурма 26 августа (7 сентября), как день Бородинской битвы; и генерал Сабашинский у себя на втором бастионе целый день поддерживал настроение войск именно тем, что им удастся напомнить французам Бородино.

Но Пелисье решил пожертвовать эффектным сопоставлением крупных исторических дат: 7 сентября 1812 года—Бородинский бой, 7 сентября 1855 года—штурм Севастополя. Ему хотелось усыпить бдительность русских, тоже склонных, конечно, вспоминать дни своих побед. Штурм назначен был им ровно в двенадцать часов дня, причем всякие сигналы к штурму решительно были им отменены, чтобы не вносить никакой путаницы в ряды атакующих и не давать ни одной минуты на подготовку отражения штурма русским войскам.

2

Кажется, сделано было французским командованием все, чтобы штурм был молниеносен, удачен и обошелся бы без больших жертв, но даже за полчаса до начала штурма оно не решилось пренебречь еще одною мерой усыпить бдительность русских: в половине двенадцатого вновь был открыт ураганный огонь, чтобы загнать в блиндажи гарнизон укреплений, вышедший было поразмяться.

Между тем под прикрытием этого огня в траншеях французов делались последние приготовления... О, конечно, Пелисье и Боске гораздо лучше Горчакова с его штабом знали, как надобно готовить штурм укрепленных позиций! Передовые части колонн, назначенных для штурма, были не за полверсты, не под горою, не за каналом, не за речкой, как русские полки 4/16 августа, а всего только в тридцати шагах от бруствера,—бывшего бруствера!

Что стоило первому полку зуавов пробежать тридцать шагов, когда ровно в полдень вновь прекратилась бомбардировка? Задние шеренги едва успели докричать свой воинственный клич «Vive l'empereur!»—как передние были уже на Малаховом.

Полдень, по сохранявшемуся даже при усиле-

ной бомбардировке порядку, был временем отдыха и обеда. Когда-нибудь нужно же было и подкреплять силы бойцов. И в этот день, как обычно, поверив полуденному затишью, солдаты, приткнувшись около закрытий, начали было обедать, а генерал-майор Буссау, чрезмерно грузный и потому расстегнувший все крючки и пуговицы кителя и рубашки, вздумал около своего блиндажа раздавать георгиевские кресты по списку, заготовленному заранее.

Эти кресты для отличившихся солдат были привезены от Горчакова флигель-адъютантом Воейковым, который в это время сидел в блиндаже командира Корниловского бастиона капитан-лейтенанта Карпова, укрываясь от пыли, густой и зловонной, поднятой сильным ветром.

Ветер этот поднял большое волнение и в море, помешав этим союзному флоту притти на помощь штурмующим, но он же, дуя прямо в лицо французам и развеивая полы их синих мундиров, казалось, окрылял их. Крича до хрипоты «Vive l'empereur!» и усиленно загребая ногами, они шли, наклонив головы, неустойчивым потоком,—неустойчивым потому, что и нечем их было удержать: орудия Малахова были приведены в негодность и вынуждены были к молчанию.

На фронте Малахова стоял в это время Модлинский полк однобатальонного состава, — всего только четыреста человек,—но никто в нем не ожидал штурма и не был готов его встретить, а на Малахов шла густою массой целая дивизия Мак-Магона, шесть тысяч штыков.

Правда, считалось, что есть еще в наличности несколько сот человек артиллеристов, теперь уже безработных, и ополченцев одной из курских дружин, но они были не собраны, разбросаны где-где, а следом за первым полком зуавов на Малаховом появились уже и первые роты седьмого линейного полка французов.

Они действовали стремительно, не сомневаясь в успехе. Их саперы тут же принялись засыпать рвы, где они еще зияли, сбрасывая в них лопатами остатки брустверов, и не больше как в три минуты готов был свободный проход для частей, бежавших за седьмым полком.

Крича: «Штурм! Штурм!», модлинцы бросились в штыки на зуавов. Строиться было уж некогда и незачем: французы окружили кучки русских солдат со всех сторон, и началась рукопашная схватка. Она была жестокой, но продолжительной быть не могла. Заколоты были штыками зуавов и командир модлинцев, полковник Аршеневский, и командир батальона, майор Кованько, и почти все офицеры. Погибли в неравном бою, хотя и дорого отдав свои жизни, модлинцы-солдаты.

Толстый Буссау, не вовремя начавший раздачу крестов команде модлинцев, приведенной к нему поручиком Юни, растерявшись, успел только крик-

нуть: «В башню! В башню!»—и показать на башню рукой, как рука эта была прострелена пулей, и эта ли пуля, другая ли убила наповал стоявшего с ним рядом его адъютанта.

Поручик Юни действительно бросился к дверям башни с несколькими из своей команды, сам же Буссау был схвачен,—он попал в плен, а на башне знаменитого кургана, который он должен был защищать, воткнули между мешков с землей трехцветное французское знамя.

Все это совершилось в несколько минут, и французы, заполняя площадку бастиона огромными толпами, не давали опомниться ни артиллерийской прислуге, ни ополченцам, которые пробовали отбиваться от них, одни банниками, другие—топорами: штыки и пули превозмогли.

Кроме генерала Буссау ответственность за Малахов курган нес и начальник четвертого отделения оборонительной линии капитан-лейтенант Карпов. Выскочив вместе с Воейковым из своего блиндажа, Карпов сразу увидел, конечно, что Малахова он не уберег.

Это был храбрый моряк и заботливый хозяин бастиона и прилегающих к нему батарей Жерве и Панфилова. Еще 25 августа писал он в Главную квартиру, что курган невозможно будет защищать, если не пришлют большого числа рабочих и артиллеристов к орудиям. Он предсказывал, что если не пришлют рабочих и артиллерийской прислуги в нужном числе, то не позже, как через день, все четвертое отделение будет захвачено без боя, так как защищать его будет нечем и нечем.

Он чередовался на этом отделении с капитаном 1-го ранга Керном понедельно, и теперь как раз выпала его неделя.

Рабочих и артиллеристов ему прислали, но канонада 26 августа была так жестока, что все произведенные за ночь работы были уничтожены за час бомбардировки, артиллеристы же частью были перебиты, частью стали уже ненужны, так как орудия были приведены в негодность.

Воейков появился на Малаховом в те самые полчаса затишья, которые оказались тонко рассчитанной хитростью союзников, и Карпов повел флигель-адъютанта, гостя из Петербурга, по стенке укрепления, чтобы показать ему, в каком виде теперь то, что попрежнему считается бастионом.

— Вот, видите,—говорил он,—это—мерлон—насыпь между амбразурами... Следите, пожалуйста, как он поползет, когда я сделаю вот что...

И став на банкет, Карпов уперся в мерлон плечом.

— Перестаньте, что вы!—испуганно вскрикнул Воейков.—Он обрушится в ров!

— Ползет! Вот видите! Что же это за препятствие при штурме?

Карпов был крепыш, и Воейкову, длиннолицему, узкогрудому человеку, действительно стало

страшно тогда и за укрепления, и за гарнизон, который в них верит, и за себя самого.

— Выходит, что вся надежда на один только гарнизон,—сказал он,—а гарнизон недостаточен...

— А гарнизон совершенно недостаточен!—повторил Карпов.—Так и передайте, пожалуйста, князю! Я еще часа два назад обратился по этому поводу к генералу Хрулеву, но от него до сих пор нет ответа.

Как раз в это время разглядел он поспешно шедшего к нему Витю Зарубина и добавил оживленно:

— Наконец-то, вот его ординарец!

Витя доложил Карпову, что подкрепление непременно прислано будет.

— Будет? Очень хорошо, но когда же именно будет, хотел бы я знать?—спросил Карпов, и Витя, чтобы успокоить начальника Малахова кургана, стоявшего рядом с флигель-адъютантом, ответил быстро и решительно:

— Не больше как через час.

Карпов был действительно успокоен этим, хотя Хрулев, посылая Витю, буркнул сквозь дремоту весьма неопределенно: «Передай, чорт его деря, что скоро пришло!»

Хрулев ждал штурма непременно в это утро, на рассвете, поэтому все время с полночи провел на линии обороны, а при нем, конечно, пришлось находиться и Вите.

Как раз в эту ночь за горжей Малахова загорелся от ракеты склад сухого хвороста. Поднялось сильное пламя, и Малахов был так освещен, что по нем не только штуцерники, но и орудия стреляли прицельным огнем. Потери в рядах рабочих, исправлявших амбразуры, были огромны; во что бы то ни стало надо было потушить пламя.

Две роты Севского полка под руководством саперного поручика Орды потушили пожар, но потеряли при этом почти половину людей. Хрулев же уехал к себе в Павловские казармы только часов в шесть утра, когда убедился, что штурма в это утро не будет: попрежнему гремела канонада.

Приехав к себе, он тут же лег спать. Хотел было заснуть и Витя, но не мог, а в десять часов явился посланный Карповым ординарец с требованием подкрепления. Теперь Вите неодолимо хотелось спать,—приткнуться где-нибудь хотя бы на пять минут,—он едва стоял, когда говорил с Карповым. От него он пошел не к своей лошади, оставленной у горжи, а прямо к недалекой и хорошо знакомой ему башне, где всегда кто-нибудь был, где можно было лечь на чью-нибудь койку и попросить, чтобы разбудили минут через пять-шесть, чтобы можно было беспрепятственно уйти с кургана до начала новой бомбардировки.

Он лег на койку флотского кондуктора Венецкого, хорошо ему знакомого, но о том, чтобы его разбудить через пять-шесть минут, сказал так

полусонно-невнятно, что Венецкий не расслышал, а вскоре началась бомбардировка, совершенно неурочная, и Витя проснулся только тогда, когда Венецкий и другой кондуктор Дубинин толкали его, крича:

— Штурм! Штурм!

Витя вскочил мгновенно и кинулся было к двери, но увидел, как мимо двери бежали, штыки наперевес, зуавы в красных чалмах и расшитых шнурками коротких синих куртках, а спустя минуту у двери оказались модлинцы, только что ставшие георгиевскими кавалерами, и поручик Юни закричал в дверь:

— Отворяй! Эй! Отворяй!

Витя отворил им сам запертую было кондуктором Дубининым тяжелую дверь.

3

Когда началась новая канонада,—последняя перед штурмом,—Карпов увел ротмистра Воейкова в свой блиндаж, чтобы тот зря не подвергался опасности. Тут, между прочим, матрос-вестовой подал ему обед, и, наскоро пообедав, Карпов написал докладную записку главнокомандующему, в какое плачевное состояние пришел Малахов.

Воейков только успел спрятать эту записку в карман, как канонада неожиданно оборвалась.

— Что бы это могло значить такое?—спросил он Карпова, но тот же матрос, который подавал обед, стремительно ворвавшись в блиндаж начальника отделения, закричал вне всяких правил:

— Французы идут! Французы!

— Что? Штурм? Вот как!—спокойно удивился Карпов, вставая, а Воейкову, который смотрел на него изумленно, не поднимаясь с места, сказал уже начальническим тоном:—Идите сейчас же к горже! Может быть, пробьетесь еще! Не медлите!

И тут же сам высочил из блиндажа наружу.

Опасность разъединила мгновенно двух только что мирно беседовавших,—капитан-лейтенанта и ротмистра. Один кричал:

— Барабанщик где? Барабанщика сюда! Бить тревогу!

Другой же, обнажив саблю, зашагал, все убыстряя шаг, по направлению к горлу бастиона.

А бородатые зуавы, между тем, где сидели уже на бруствере и стреляли вдоль площадки, где заклепывали орудия, где бежали вперед небольшими пока еще кучками.

Барабанщик начал было бить тревогу, но был ранен пулей в голову, и тревогу протрубил горнист, однако это была уже запоздалая проформа: обедавшие и отдыхавшие люди выскакивали повсюду из блиндажей и без сигналов, но орудия были уже захвачены противником, но пестрые толпы зуавов бежали уже от Корниловского бастиона в сторону батареи лейтенанта Панфилова, а дру-

гие—к батарее Жерве, растекались, как вода, хлынувшая через прорванную плотину.

Начальник артиллерии Малахова кургана, лейтенант Лазарев, держась рукой за живот, прошел мимо Карпова; тот понял, что лейтенант ранен пулей в живот, но не понимал, откуда у него силы итти.

В стороне, на глазах Карпова, произошла очень короткая, но жестокая схватка французов с модлинцами, когда были убиты Аршеневский, Кованько и другие... Человек шестьдесят модлинцев все-таки уцелели, но отступали прямо на него.

Тогда Карпов, махая кортиком, что было силы закричал:

— Сто-ой! Стой, бра-атцы!—и побежал наперез, чтобы очутиться впереди пятившихся под натиском большой толпы французов модлинцев, но тут его ударили прикладом по голове, и он потерял сознание и упал, и несколько французов прошли по нем, как по мертвому.

Однако он был жив. Когда французы пробежали дальше, к ретраншементу, трое модлинцев подошли к нему вместе с его вестовым матросом и отнесли в его же блиндаж.

Небольшая кучка французов повернула было за ними, но солдаты стали отстреливаться из блиндажа. Карпов не слышал этой перестрелки, он все еще был без сознания, очнувшись же от зычного «ура» около дверей блиндажа и топота многих ног: это шел в атаку на французов Прагский полк той же 15-й резервной дивизии, одной бригады с Модлинским полком.

Прагский полк,—всего около пятисот человек,—сильно ударил на французов и погнал было их назад, к брустверу; даже батарея Панфилова была очищена и захвачена обратно этим полком, к которому пристали последние модлинцы, но несколько батальонов французов, обогнув укрепление с левой стороны, появились у них в тылу и окружили их.

Левую сторону Малахова защищал третий полк той же дивизии—Замосцкий, тоже немногочисленный, между тем как уже большая часть отряда Мак-Магона успела появиться на кургане.

Рукопашный бой был жестокий. Прагские пробились штыками к замосцским, замосцские к прагским. Когда же удалось соединиться остаткам всех трех полков, составлявших гарнизон Малахова, они, перемешавшись между собой, но одинаково не хотевшие уступать многочисленному противнику, начали пробиваться назад к ретраншементу.

И кто не пал в этом неравном бою, те все-таки пробились, и дорого обошелся французам этот бой.

Очнувшись, Карпов, хотя и с сильной болью в голове и во всем измятом теле, высочил из блиндажа, думая, что выбиты французы подоспевшими полками; но те зуавы, которые вели пере-

стрелку с солдатами-модлинцами, спасшими Карпова, сидели здесь за прикрытием, и шестеро кинулись на него со штыками.

Карпов приготовился уже к смерти, но два французских офицера, бывших поблизости, приказали зуавам опустить штыки: Карпов, начальник четвертого отделения, попал в плен так же, как незадолго перед тем раненый начальник гарнизона этого отделения, генерал Буссау.

Попали в плен и Лазарев, начальник артиллерии, благодаря своей ране в живот, и отличившийся накануне при тушении пожара саперный подпоручик Орда, и командир батареи своего имени лейтенант Панфилов и много других офицеров.

Но когда уже весь Малахов был занят дивизией Мак-Магона, когда трехцветный французский флаг развевался на башне, все-таки из башни сквозь узкие бойницы в дверях раздавалась стрельба.

Стрелки из башни били, конечно, без промаха и на выбор, и против дверей башни валялось много тел,—и пехотинцы линейных полков, и зуавы, и алжирские арабы в белых окровавленных брнусах.

— Выкурить их дымом!—приказал Мак-Магон, когда ему доложили о русских, засевших в башне.

Выкуривать дымом арабов из их пещер было принято французами в Алжире, и для зуавов это было знакомым делом. Они тут же натащили сухого хвороста, остатков фашин и туров, и подожгли его. Костер разгорелся жарко, но густой дым привлёк внимание Боске, находившегося недалеко от Малахова, в одной из траншей. Он опасался, что сильный огонь может вызвать взрыв какого-нибудь потаенного порохового погреба, и те же, кто разводил костер, принялись его тушить и растаскивать хворост.

А выстрелы из башни между тем продолжали греметь, хотя весь Малахов был уже во власти французов. Матросы, бывшие в башне,—всего пять человек,—отыскивали там длинные абордажные пики и с этим оружием стали в арке, защищенные стеной от пуль французских стрелков. Несколько смельчаков-зуавов, слишком близко подобравшихся ко входу в башню, были проткнуты пиками...

Генерал Буссау, когда кричал модлинцам: «В башню! В башню!»—имел в виду то, что в башне находился склад снарядов, который нельзя было отдавать французам. Но кроме снарядов, там было и несколько ящиков ружейных патронов, и теперь как раз в центре расположения французских войск на Малаховом гремела весьма яростная перестрелка.

Укрываясь за кучами трупов, снайперы-зуавы стремились попасть в узкие бойницы, откуда выставлялись ружейные дула модлинцев, и больше десяти человек в башне были ранены рикошетными пулями, и не одна уж рубашка бойцов пошла на перевязку ран.

Но никто там, однако, не падал духом. Кроме Юни и Вити Зарубина, там были еще молодые офицеры—подпоручики Данильченко и Игнатьев, Витя же уверял всех, что вот-вот его генерал Хрулев двинет французов так, что посыплется они с Малахова, как груши.

Все тюфяки и подушки были подтащены к дверям, чтобы заложить ими бойницы, слишком широкие для ружейных стволов. В башне стало гораздо темнее, зато безопаснее.

Но вот закипела какая-то работа над головой осажденных: там что-то ворочали и бросали, там толклись сотни ног...

— Потолок хотят разобрать!—догадался Витя.

— Ду-ра-ки!—искреннейшим тоном отозвался на это один матрос.—Статочное дело—потолок такой разбирать! Что же у них начальства нет, что ли?

И все весело захохотали.

Затея с разборкой потолка была действительно так же скоро оставлена, как и затея с костром по-алжирски. А патронов в ящиках было еще довольно, и стрельба продолжалась.

4

Дивизия Дюлака—семь с половиной тысяч человек—двинулась на Малый редант—второй бастион—в одно время с дивизией Мак-Магона, штурмовавшей Малахов, и второй бастион так же, если не больше, разрушен был, как и Малахов, но дело здесь обернулось для французов совсем иначе.

На втором бастионе так же обедали в это время люди, как и на Малаховом, и даже сам начальник гарнизона генерал Сабашинский расположился за столом в своем блиндаже, чтобы подкрепить силы.

Так мало ждали здесь штурма, что Сабашинский рассуждал с присланным к нему от Хрулева капитаном Черняевым о том, не заменить ли усталую 8-ю дивизию, охранявшую этот бастион, свежей 4-й.

Хрулев думал, что это еще вполне возможно сделать с наступлением темноты,—до того был уверен он, что штурма не будет. Вообще же, после того как Карпов прислал к нему за подкреплением, он хотя и чертыхался часто, но, бросив надежду выспаться, принялся действовать энергично.

В разные стороны разослал он своих адъютантов и ординарцев: одного—к князю Васильчикову просить подкрепления для Малахова, другого—Витю Зарубина—к Карпову; третьего—к Сабашинскому...

На столе перед Сабашинским и Черняевым, которого бравый генерал угощал обедом, вкусно дымился горячий солдатский борщ в оловянном судке, оставалось только разлить его по тарелкам; Сабашинский только что сказал решительно:

— Нет-с, так и передайте Степану Александровичу, что с восьмой дивизией я не расстанусь... Пока Урусов лежит больной, я уж успел к ней привыкнуть, и меня уж от нее не отдерешь и клещами!.. А если решат все-таки снять восьмую дивизию отсюда, то пусть уж и меня снимают!

Вдруг за дверями блиндажа раздалась резкая барабанная дробь тревоги. Сабашинский схватил свой костыль и кинулся наружу, за ним Черняев.

Уцелевшие от смерти или плена модлинцы говорили вечером в этот злосчастный для них день:

— Серняка об подошву скорей не зажгешь, как француза к нам наскочило тьма!

Между тем много ли времени нужно, чтобы зажечь серную спичку по солдатскому способу, чиркая ею о подошву? Два-три мгновения. Однако и этих двух-трех мгновений не дали передовые части дивизии Мак-Магона гарнизону Малахова.

Дивизия Дюлака опоздала в своем движении не на два-три мгновения, а, может быть, на две-три минуты: дробь тревоги уже успела поднять на ноги весь гарнизон второго бастиона, когда французы добежали до вала.

Две роты Олонецкого полка,—всего сто тридцать человек,—стоявшие в это время на банкете, не успели, правда, разрядить свои ружья по бежавшим на них передовым несколькимстам французам, но зато они выставили против них штыки.

Эти две роты погибли, окруженные со всех сторон, но несколько минут они бились штыками,—один против пяти-шести, а за это короткое время успел построиться батальон забалканцев и кинулся на противника.

Французы заклепывали орудия вдоль стенки,—они действовали быстро и точно. Их саперы перекидывали лестницы через рвы, засыпали воронки и волчьи ямы, готовя проходы сплошным колоннам, которые шли стремительно.

Однако не менее стремительно действовал и Сабашинский.

Он забыл о своей больной ноге,—или нога его забыла о своей боли,—он размахивал костылем, как саблей, подойдя к другому батальону забалканцев и крича:

— Барабанщики!.. Бей атаку!

Он, сочинитель веселых солдатских песен, любимец солдат и офицеров своей части, brave вояка, держа все тот же костыль в правой руке и показывая им на французов, командовал, точно запева песню:

— Вперед, молодцы, за мно-ой!

Это «за мной!» не только для забалканцев командовал он: он видел, что спешит следом весь Кременчугский полк, а вправо от него Белоцерский, где впереди шел майор Ярошевич и барабанщик рядом с ним работал своими белыми палками так

лихо, что его было слышно и сквозь встречные выстрелы французов.

Дружный натиск нескольких батальонов сразу спас бастион: французы не выдержали и бежали после короткой схватки, оставив в руках забалканцев и кременчугцев пленными одних только офицеров до тридцати человек,—среди них командира линейного полка Дюкои и начальника штаба дивизии Дюлака—полковника Маньяна. Отомщено было и за гибель двух рот Олонецкого полка: человек полтораста французов легли на месте.

Орудия костылем и покрикивая, Сабашинский с возможной быстротой расставил свой гарнизон в шесть шеренг по банкетам, полагая, что это далеко еще не конец штурма.

Задние шеренги заряжали ружья и передавали передним, те стреляли безостановочно. Стреляли также и две небольших медных мортирки, которых случайно не заклепали французы, может быть, не придав им никакой цены. Однако мортирки эти—«собачки», как их называли солдаты, лаiali исправно, и картечь их летела в густые колонны главных сил, шедших снова на приступ шагов с двухсот.

Лестницы, положенные и поставленные французскими саперами, остались на своих местах, все подступы к бастиону были изведаны, и вот ринулись французы на вал теперь уже обеими бригадами сразу.

Храбро вел первую бригаду генерал Сен-Поль, но был убит пулей; едва не взобрался на вал командир второй бригады, генерал Биссон, но ударом штыка был опрокинут в ров, раненный в левый бок.

Курские ополченцы, сорок восьмая Белгородская дружина, тоже работала на валу топорами, осаживая слишком рьяных французов, а часть ее с прапорщиком Черноглазовым, под сильнейшим ружейным огнем, восемь раз металась к пороховому погребу и обратно, поднося патроны шеренгам стрелков.

Сабашинский не зря не хотел менять состав своего гарнизона, несмотря на усталость солдат и офицеров; у него всякий заранее знал, что ему делать во время штурма, и это сказалось в той быстроте, с какой люди стали в ружье по первой тревоге, по тому порядку, в каком они шли под барабанный бой отражать штурм.

А штурм этот, нужно сказать, был самый трезвый из всех штурмов союзников: пьяных не замечалось даже и среди зуавов. На этот штурм всем приказано было одеться, как на парад. И офицеры и солдаты были в новых мундирах и с орденами, с медалями. Это придавало особую торжественность последнему штурму Севастополя.

Но все торжественно шествовавшие на штурм колонны дивизии Дюлака поспешно отступали те-

перь после второго приступа, а на смену им шла резервная бригада генерала Маролля.

Эта бригада шла шестью колоннами: три из них ударили в лоб второго бастиона, но другие три обошли его слева, со стороны занятого уже прочно Малахова. Они прошли по стенке куртины, где в начале штурма смяты были дивизией де-Ламотт-Ружа части Олонецкого и Муромского полков, а атаковали защитников второго бастиона с фланга в то время, как прочие колонны, теряя много людей от ружейного огня, храбро лезли на вал спереди.

Была минута, когда смертельная опасность предстала перед самым Сабашинским в лице молодого офицера-зуава с четырьмя рядовыми. В одной руке этого офицера был камень, в другой пистолет. Он выстрелил, целясь в голову,—пуля просвистела мимо уха Сабашинского; тут же левой рукой он пустил в него камнем, но тоже промахнулся.

На это потребовалось всего два мгновения, а в третье раздался выстрел сзади Сабашинского. Пули русских солдат оказались вернее: офицер-зуав и один из рядовых зуавов упали к ногам Сабашинского, остальные трое скатились с вала в ров.

Жестокий бой кипел и на валу и около него, так как и сам Маролль и другой генерал, бывший в его бригаде,—Понтеве, считались во французской армии храбрейшими из храбрых, а где храбрые генералы, там нигде и никогда не пожелают уступить им в этом солдаты.

Но постояли за себя кременчугцы, забалканцы, белозерцы!

Генерала Маролля французы нашли только на другой день во рву: его тело было сплошь исколото штыками, и гряда тел придавила его к самому дну. Понтеве тоже был ранен смертельно и скоро умер.

Во рву, на трупах своих товарищей, оставалось еще довольно французов в то время, когда другие уже отступили поспешно, но стрелять в них было неудобно. Разгоряченный схваткой, которая вернулась на его глазах, Сабашинский кричал:

— Как собак их камнями, братцы! Как собак!

И в ров полетели камни, осколки гранат, ядра... Французы не вынесли этого и бежали, попадая при этом под картечь «собачек» и пули.

Поражение дивизии Дюлака и резервной бригады Маролля было полным, однако еще два раза ходили на приступ французы, справедливо полагая, что число защитников совершенно разрушенного и с заклепанными орудиями бастиона все тает и тает.

Окончательно же пыл их угас, когда резервы их стали тоже таять от огня трех русских пароходов, подошедших к Килен-бухте. Это были «Владимир», «Херсонес» и «Одесса».

Синие мундиры и красные штаны французов, убитых и тяжело раненных, расцвели всю пло-

щадь перед вторым бастионом вплоть до первого плацдарма, находившегося метрах в ста от вала, и дальше.

Даже сам Сабашинский, стоявший на валу и утиравший поистине трудовой пот платком, изумленно глядел на эту страшную картину побоища и говорил капитану Черняеву, который провел все время ожесточенных пяти штурмов на втором бастионе:

— Ну, знаете ли, батенька мой, сколько лет живу на свете, никогда ничего не видал подобного!

5

Малый редант отбил французов блестяще, вписав этим одну из славных страниц в историю севастопольской обороны; а на Большой редант,—третий бастион,—пошел штурмом его старый, испытанный с самого начала осады враг—англичане.

Наконец-то пришло для них время сломить этот упорный и грозный «честный» бастион, который один двенадцать почти месяцев истощал усилия целой Англии! Этого дня ждал с величайшим нетерпением Лондон, этого дня ждал в Константинополе всемогущий там посланник Англии лорд Редклиф, обещавший, как уверяли знатоки этого дела, даже руку своей дочери тому английскому офицеру, который первый взойдет на вал Большого реданта: так горяч был патриотизм одного из виднейших зачинщиков Восточной войны и так велика была его уверенность в том, что первый английский офицер этот будет молод, холост, конечно, знатен и, самое главное, останется цел и невредим!

Но и в этот решительный день англичане против третьего бастиона остались верны себе: они не спешили со штурмом.

Уже с утра поведение их резервов показалось подозрительным генералу Павлову, начальнику гарнизона третьего отделения оборонительной линии, и он приказал всем своим войскам сделать то, чего не догадался приказать Буссау на Малаховом: выйти из блиндажей и быть готовыми к штурму, несмотря ни на какие потери. Даже Обоженскую дружину курского ополчения поставил он на банкеты, перетростив ее двумя ротами Якутского полка для крепости и порядка.

Впрочем, тут могли бы даже и не ждать штурма, заранее не нести излишних потерь. На глазах у всех здесь начался штурм Малахова,—остервенело лезли зуавы на вал, сорвали только что взвившийся на нем флаг опасности,—синий флаг—и подняли вместо него трехцветный флаг Франции,—в две-три минуты наводнили собой всю площадку Корниловского бастиона, захватили батарею Жерве...

Яростно сжимая ружья, ждали,—вот кинутся так же точно из своих траншей англичане... но

взамен атаки началась оттуда снова сильнейшая канонада. Пришлось вместо того, чтобы посылать картечь на Малахов, отстреливаться от англичан, действовавших упорно, но малопонятно...

Около двадцати минут длилась эта бомбардировка, но вот, наконец, оборвалась. Густой белый дым, окутавший траншею англичан, начал вдруг алеть все сильнее, все гуще,—и заревели тысячи глоток: пошли на приступ красные мундиры.

На третьем бастионе были теперь части четырех славных полков 11-й дивизии: Охотского, Камчатского, Селенгинского, Якутского; были владимирцы, знакомые англичанам еще по Алминскому бою; были суздальцы; были минцы и волынцы,—резервных частей этих полков. Минцы и волынцы сведены здесь были в один минско-волинский батальон.

Англичанам пришлось бежать несколько дальше, чем французам, но они бежали лихо, несмотря на ружейный и картечный огонь, каким их встретили.

Руководил штурмом генерал Кодрингтон, начальник легкой дивизии. Свыше десяти тысяч человек было под его командой,—силы, казалось бы, более чем достаточные, чтобы захватить один бастион.

Во все дни последней, шестой, бомбардировки, как это было и раньше,—в пятую, четвертую, третью,—особенно страдал исходящий угол бастиона: его разбивали обыкновенно в щебень каждый день к вечеру, для того чтобы утром на другой день увидеть его возобновленным и готовым к бою.

Но в этот день, как был он разбит с утра, так и остался, и английские генералы видели это, и сюда-то направили они главную массу штурмующих.

Те бежали рассыпным строем, чтобы уменьшить потери: впереди стрелки, за ними инженерный отряд и, наконец, штурмовая колонна. Фронт их был широк, и штурм бастиона общий. Но на левом и правом крыле их отбили камчатцы и якутцы с ратниками ополчения, а владимирцы в центре,—их было всего два малочисленных батальона,—не устояли. Разгоряченные успехом отборные войска англичан, смяв их натиском, погнали их в глубь бастиона.

Начальником третьего бастиона был капитан первого ранга Перелешин 1-й (Перелешиных было на линии укреплений два брата, оба в равных чинах). С подзорной трубой в левой руке и пистолетом в правой он кинулся было останавливать владимирцев, но в него выстрелил английский офицер тоже из пистолета, и пуля отбила два пальца на его левой руке. Труба упала. Однако Перелешин выстрелил в англичанина в свою очередь, но его толкнули под руку бегущие мимо,—он промахнулся, его противник отскочил назад, к толпе солдат.

Кругом шла полная неразбериха боя, так как площадка бастиона вся была изрезана траверсами, всюду были блиндажи, кое-где даже с деревянными навесами у входов, случайно уцелевшими от неприятельских бомб и ядер, а около одного блиндажа разрослись даже густые кусты георгина, посаженных под веселую руку на-авось весной, но потом пользовавшихся общим заботливым вниманием.

Боя сомкнутыми рядами тут и быть не могло. Оттиснутые от стенки владимирцы где работали штыками, где стреляли, где пускали в дело камни.

Генерал Павлов стоял у входа в свой блиндаж, когда к нему добрался Перелешин, белые брюки которого были залиты и забрызганы кровью, обильно лившейся из руки.

— Что же резервы? Где же они!—выкрикнул Павлову Перелешин, срывая галстук свой с шеи.

— Идут резервы, идут!—ответил не совсем уверенно Павлов.

Восточные глаза его глядели встревоженно и прямо перед собой, и в стороны, и на окровавленные брюки начальника третьего бастиона. Разглядеть из дверей блиндажа, идут ли резервы, было совершенно невозможно из-за разных препятствий глазу, услышать бодрое боевое «ура» тоже было нельзя, так как кричать «ура» было воспрещено. А свалка кипела уж близко,—выстрелы, ярая ругань,—недалеко упал брошенный кем-то камень.

Войдя в блиндаж, Перелешин нервно принялся забинтовывать галстуком руку. Среднего роста, сухощавый и всегда очень спокойный, каким знал его Павлов, он теперь был бледен и зол, карие глаза его горели, когда к нему обернулся генерал и спросил:

— Что? Ранены?

— Ранен, ваше превосходительство, истекает кровью и службы его величества нести не могу!—отрапортовал в ответ Перелешин, как старшему в чине, став во фронт и подняв к козырьку руку.

— Идут, идут! Гонят!—крикнул ему в ответ Павлов и выскочил в дверь.

Действительно, англичан гнали назад, к стенке, это увидел и Перелешин, вышедший наружу следом за ним.

Только что рапортовавший больным, он с плохо перевязанной рукой снова почувствовал себе хозяином бастиона, когда увидел подполковника Артемьева среди кучки солдат Камчатского полка.

— В штыки, ребята!—кричал Артемьев.—Лупи их, мать перемать, размасть!

Крепкие слова так и рвались всегда с языка этого силача, картежника и кутилы, черного, как цыган, от загара; но теперь они были как нельзя более у места: без крепких слов как кинешься на краснорожих верзил, занявших уже недоступный для них раньше Большой редант, упоенных по-

бедой, верхом сидевших на пушках и загоняющих в их дула стальные ерши?

Камчатцы бежали, опережая своего командира и пригнувшись для сокрушительного удара с налета, а дальше, в узкие просветы между траверсами и козырьками блиндажей, разглядел Перелешин еще кучки русских солдат в белых рубахах: это была рота якутцев.

Руку ломило в кисти и в локте, сквозь галстук капала все-таки кровь, но Перелешин, направившийся было из блиндажа Павлова в тыл, к Павловской казарме, на перевязку, наткнулся на кучку владимирцев за одним из траверсов.

Их было человек пятнадцать,—все рядовые, молодые солдаты из пополнений.

— Вы что здесь?—крикнул Перелешин, сразу забыв про свою рану и перевязочный пункт.— Стройся в две шеренги! За мной, братцы!—и выхватил свою полусаблю, чтобы что-нибудь было в руке.

Как ни был стремителен порыв камчатцев, якутцев, владимирцев, оправившихся и приставших к Перелешину, но англичане дрались упорно, когда допятились до батарей: через разрушенный бруствер перескакивали новые и новые им на помощь.

Артемов был ранен пулей в плечо. Он не ушел из строя, и черное лицо его было попрежнему яростно, но плечо, правое, в крови.

Начали уже снова теснить англичане, когда подоспели, наконец, две свежие роты селенгинцев со своим командиром—полковником Мезенцевым.

Мезенцев, однокашник Лермонтова по школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, только дней за двадцать до того принял Селенгинский полк, будучи переведен по своей просьбе в Севастополь с Кавказа. Он был еще молод, ему не было и сорока лет. На Кавказе он был участником многих боев, прошел боевую школу в отряде знаменитого генерала Слепцова; здесь же это было первое сражение, в котором так хотелось показать ему себя перед новым полком настоящим кавказским рубакой.

Высокий и стройный красавец, он шел впереди, и селенгинцы с ним не только остановили новый натиск англичан,—они их погнали назад, они не дали им удержаться и около батарей, где была уже переколота ими почти вся прислуга, они опрокинули красномундирников в ров, совершенно очистив от них бастион.

Но скатившись в ров и потом добежав до засеки, англичане начали пальбу из своих штуцеров, и стоявший во весь рост на валу Мезенцев вдруг взмахнул обеими руками и повалился навзничь: он был убит наповал,—пуля прошла через голову над переносьем.

Перелешин уцелел в этой схватке, но обессилел от потери крови. Он передал начальство над третьим отделением капитану 1-го ранга Никонову,

командиру батареи своего имени, а сам пошел, поддерживаемый матросом, к берегу Большого рейда. Здесь матрос усадил его на шлюпку и отправил на пароход «Бессарабия».

Павлов же послал своего адъютанта к Остен-Сакену с донесением, что штурм отбит, однако ликовать по этому поводу было еще рано.

6

В середине августа охотцы, стоявшие в прикрытии на третьем бастионе, переведены были на соседнюю Пересыпь, где еще с июня прочно обосновалась в непробиваемых снарядами пещерах большая часть полка, а камчатцы—неполный батальон их—перетянуты Павловым к себе, на третий бастион; а так как хрулевский пластун Чумаченко числился со своей небольшой командой пластунов при Камчатском полку, то и он перешел на третий бастион тоже.

Конечно, он в тот же день нашел случай повидаться с Хлапониным.

— Ты ко мне, Терентий?—спросил его Хлапонин.

— Никак нет, на ваш бастион перешли мы с Малахова,—выжидательно глядя на «друга» и стараясь не улыбнуться даже краем губ, ответил Терентий.—Поэтому, выходит, я теперь с вами буду.

— Очень хорошо, братец, очень хорошо!—совершенно непосредственно и даже обрадованно с виду отозвался на это Хлапонин.

Эта обрадованность была понятна: на «честный» бастион, с которым успел уже сродниться, который считал уже «своим» с начала осады и совершенно произвольно ставил выше всех других бастионов Хлапонин, явился такой молодчага с двумя георгиями. Всякому укреплению,—будь это бастион, батарея или редут,—лестно бы было заполучить такого охотника, несмотря даже на то, что слишком уж близко подошли траншеи неприятеля к валам.

Но о своей пластунской ценности забыл в это свидание с Дмитрием Дмитриевичем Терентий. Обрадованность Хлапонина он приписал тому, что они земляки, старые «друзжки», хотя кое-что их теперь и разделяло: один был офицер, штабс-капитан, другой—всего-навсего унтер, и потому только унтер, что посчастливилось удачно бежать от суда, кнута и каторги, если только не смерти под кнутом.

Для Терентия, чуть лишь увидел он прежнее, как в Хлапонинке, улыбающееся лицо Дмитрия Дмитриевича, тот сразу перестал быть штабс-капитаном артиллерии, он сделался прежним, старинным и простившим, таким, с кем можно было говорить не о том, что твердилось тут кругом, а о своем, понятном только им двоим.

Говорить же теперь как раз не мешала канонада,—выдались минуты затишья; поэтому Терентий, с прежним, деревенским, выражением значительно изменившегося уж лица, заговорил сразу, понизив несколько голос:

— Белгородская-то дружина наша, знаете, конечно, Митрий Митрич, на втором бастионе стоит... Тимофея с киллой помните?

— Тимофея... с киллой?—не удивившись такому обороту разговора, добросовестно начал припоминать Хлапонин.

— В пивачнике он был приставлен, печку там топить,—напомнил ему Терентий.

— Тут шишка была?—показал на свой подбородок Хлапонин.

— Истинно, тут! Ну, его вчерашний день отправили на Братское: убитый... А другой какой был,—Евграф Сухоручкин,—тот животом занеужил на Сиверной, там где-то и остался... Ну все-таки я с Тимофеем разговор имел про нашу Хлапонинку, чего там было, как я отгелль ушел...

Дмитрий Дмитриевич слушал его уже без улыбки, но Терентия не остановило это.

— Было там вроде как бунт... Он мне хотя не поспел в полности обсказать, ну, все-таки про бабу мою услышал я,—не дали под замок посадить!—блеснув глазами, продолжал Терентий.—Исправник посла того приезжал сам, и тот вроде бы не посмел ее зря обидеть: ну, она же тяжелая тогда, близу родов ходила, вам известно,—вот народ и кричал становому: «Не замай!..» Теперь уж кормит.

— Тоскуешь?—хотя и без улыбки, но сердечно спросил Хлапонин.

— Эх, Митрий Митрич! Сейчас-то, слова нет, тосковать некогда—служба... А как службе этой конец придет, вот когда тоска моя начаться должна... Мне тогда не иначе как опять на Кубань подаваться,—пластун и пластун. Что ж, я поихнему уж трохи балакаю... может, я бы там деньжонок разжился—Лукерью бы свою выкупил с ребяташками... а, барин?

— Какой же я тебе барин?—улыбнулся Хлапонин.—А насчет семьи своей не тоскуй: может, не так уж долго ждать осталось до воли всем.

— О-о! Всем волю дадут?—так и засиял Терентий.—Это ж, значит, господа промеж собой говорят так?

— Офицеры?—переспросил Хлапонин.—Да, говорят многие, что крепостной зависимости после этой войны должен притти конец.

— Э-эх, дожить бы только! Не дадут ведь эти, Митрий Митрич!—кивнул головой Терентий в сторону английских батарей.—Я через это и с Тимофеем не опасывался говорить: все одно, думаю, отседа живому-здоровому мудреное дело выйти. Так на мое с Тимохой и оказалось... А больше я никому про себя не сказывал, кроме как вам.

Как раз в это время к Хлапонину подошел Арсентий с записочкой от Елизаветы Михайловны,—он делал это почти ежедневно, причем заходил по пути и в Павловские казармы распытывать про Витю Зарубина,—как там он.

Узнав его, Терентий отшатнулся, сказав по-солдатски:

— Счастливо оставаться, ваше благородие!—и хотел уже уйти, но его остановил Хлапонин, взяв за плечо.

— Узнал, кто это такой?—весело спросил он Арсентия, весело потому, что получить маленькую записочку от жены всегда было для него большою радостью.

Арсентий внимательнейше взгляделся в пластуна с двумя георгиями, с унтер-офицерскими двумя басонами на измятых погонах бешмета, залатанного в десяти местах, и с огромным кинжалом за кожаным поясом, и нерешительно-отрицательно повел головой:

— Не могу знать.

— Изменился, точно... Его бы и жена родная не узнала теперь,—сказал Хлапонин и добавил:—Он из Хлапонинки,—ты там его видел.

— Неужто... Терентий?

— Я и есть.

Арсентий, взглянув на улыбающегося штабс-капитана, снял свою белую без козырька фуражку, Терентий же смахнул с головы облезлую рыжую папаху, и они поцеловались три раза накрест, как земляки, встретившиеся на чужбине.

На третьем, как и на других бастионах, среди офицерства процветала азартная игра в карты. Она была вполне понятна там, где каждый день и каждым ставилась на карту случайная жизнь. При этом капризное, непостижимое «везет»—«не везет» привлекало в игре этой, пожалуй, больше, чем возможность вдруг выиграть много денег.

Деньги очень мало ценились здесь: нынче жив, а завтра могут отправить твоё тело на Северную, на кладбище,—и зачем тогда деньги, сколько бы их ни скопилось от жалованья, которое совсем почти некуда было тратить?

Было на третьем бастионе два простых деревянных навеса: один «морской», другой «сухопутный», под которыми обычно резались в банк и банчок в свободные от службы часы. Навесы эти, конечно, должны были только давать тень в жару, но никто не забывал о том, что они способны предохранить их от канонады не в большей степени, чем воздух.

Они были даже очень опасны, так как из-за них нельзя было разглядеть «нашу», о которой вопили сигнальщики, а эта «наша» прежде всего, обрушив навес, должна была неминуемо придавить обломками досок всех играющих.

Так это и случалось не раз, но подобные случаи никого отвлечь от игры не могли.

Хлапонин принадлежал к редкому в военной среде того времени типу людей, не находивших никакого удовольствия в картежной игре, даже как в развлечении от скуки. А на бастионе тем более ему некогда было скучать: впору было приспособиться только к этой совершенно исключительной жизни. Гораздо больше времени проводил он с людьми своей батареи, чем это было принято у командиров батареи даже здесь, среди непрерывных почти артиллерийских боев.

Обученной раньше артиллерийской прислуги оставалось уже мало не только у орудий на укреплениях, где матросов давно начали заменять пехотинцами, но и в артиллерийских бригадах пехотных корпусов.

В пополнения на место убитых и раненых из артиллерийской прислуги стали присылать за последние недели даже ополченцев. Эти пополнения нужно было еще обучать тому, как обращаться с орудиями, а между тем каждый день можно было ожидать, что легкая полевая батарея будет призвана показать на деле, к чему она готовилась.

Занимаясь с солдатами, Хлапонин был неизменно терпелив и ровен. Он был таким и раньше, до своей контузии, теперь же пройденный им самим в несколько месяцев труднейший путь от совершенно бессознательного к ясной и послушной мысли научил его гораздо большей снисходительности к такому же почти трудному пути пехотных солдат, приставленных неожиданно для них к пушкам.

7

Частые и точные, короткие, круглые, упругие выстрелы хлапонинской батареи, стоявшей на левом фланге третьего бастиона, обдавали бежавших на штурм англичан таким густым роем картечи, что немногие добрались до вала и еще меньше вскарабкалось было сразгону на вал, но были опрокинуты в ров штыками якутцев и ополченцев.

Успехом англичан в исходящем углу бастиона Хлапонин был больше изумлен, чем обеспокоен: он не допускал такой удачи штурмующих; он знал, конечно, что бруствер в средней части укрепления совершенно разрушен утренней бомбардировкой, но знал также и то, что там стоят владимирцы,— два батальона...

Огня своих пушек он не прекращал. Они били по ближайшим английским резервам, они заградили им путь, отрезав тем самым тех, которым удалось пробиться на бастион. Однако оказалось, что пробившихся было много: их мундиры краснели сплошь. Они двигались прямо к горже бастиона—владимирцы отступали поспешно, разбиваясь в тесноте проходов на мелкие кучки...

Поднялась ружейная пальба,—беспорядочная, с обеих сторон. Из-за дыма трудно уж стало что-нибудь различать там, дальше, а здесь, около ору-

дий, столпились курские ополченцы четвертой роты, потерявшие уже своих двух офицеров.

Они кричали, размахивали руками,—иные бросали наземь ружья и поспешно вытаскивали из своих сумок привычные топоры, готовясь к явной и близкой рукопашной.

Чуть только заметив это, Хлапонин, схватив бывший при нем штуцер, добытый у тех же англичан Кошкой, наскоро передав команду над батареей старшему из своих субалтернов, поручику Лилееву, бросился в ряды ополченцев, крича незнакомым самому себе голосом:

— Поднять ружья! Стреля-я-ть!

Чтобы увлечь их примером, он пробился через толпу их вперед и выстрелил сам в англичанина, сидевшего всего шагах в сорока верхом на крупнокалиберной пушке и занятого ее заклепкой.

Англичанин ткнулся головой вниз, тяжело и неловко сполз, выставив кверху только одну ногу, но через два-три мгновения соскользнула с орудия нога, а вслед за хлапонинским выстрелом защелкали выстрелы ополченских ружей по другим целям, благо было их очень много: до тысячи человек успело ворваться на бастион.

Эту пальбу, поднятую во фланг колонне англичан, подхватили якутцы, быстро перестроив свой фронт, и стремительный разбег ворвавшихся был задержан как раз в то время, когда дорог для них был каждый момент и каждый свой штык: на голову их колонны дружно напали камчатцы со своим командиром Артемьевым, с одной стороны, и рота якутцев из ближнего резерва—с другой.

Но вот ринулись англичане обратно под натиском селенгинцев,—и половины их не ушло с бастиона,—а над бегущими в свои траншеи то и дело рвались картузы картечи, посылавшиеся хлапонинской батареей.

— Каково, а?—кричал Хлапонин, обращаясь к поручику Лилееву.—Вот так расчесали рыжие кудри господам англезам!

Не кричать было нельзя: и звонкая ружейная перестрелка шла с обеих сторон, и возбуждало сознание победы.

Однако Лилеев, человек хотя и молодой еще, но всегда сосредоточенный до угрюмости, широкое лицо которого было теперь и закопчено и слегка забрызгано чьей-то нестертой кровью, повернул в его сторону очень яркие белки больших глаз и ответил:

— А вот кабы сейчас не расчесали и нам!

Он кивнул при этом на Зеленую Гору, где на одной из батарей взвилось сразу несколько белых дымок.

Действие легких орудий одного из флангов Большого реданта заметили, конечно, там; тут же вслед за дымками донесся рев широкогорлых мортир.

И круто и быстро явившись на смену возбу-

ждению, боевому подъему, предсмертная тоска вдруг охватила Хлапонина. Все его тело оцепенело вдруг, потеряло способность двигаться, умолкло, мгновенно пронизанное этой тоской,—предчувствием конца, скорого,—через несколько мигов, неизбежного, неотвратимого.

Предсмертную тоску эту увидел,—скорее, впрочем, почувствовал, чем увидел, в глазах Хлапонина его субалтерн и отскочил от него сразу как мог дальше. Тут действовал темный инстинкт,—не сознание: впечатление от лица Хлапонина не успело еще передаться мозгу поручика.

Снаряды английских мортир взвились отвесно над батареей,—и не нужно было, чтобы сигнальные закричали неистово: «на-ша, береги-ись!»—мортиры были давно и точно пристреляны, залп их тщательно рассчитан...

Через несколько жутких моментов отлетевший в сторону от взрыва большого снаряда, оглушенный при этом, поручик Лилеев лежал полузасыпанный землей и вновь, теперь уже щедро обрызганный чужою кровью.

Когда же очнулся он, открыл глаза, поднял голову и огляделся, то Хлапонина не увидел.

Прямо перед ним торчала из земли чья-то развороченная спина. Сквозь кровавые клочья рубахи и обломки ребер выкатилась на землю почти черная, но счень яркая печень; головы у трупа не было... Одно орудие их батареи стало на-попа, воткнувшись наполовину в землю.... Солдатский рыжий сапог тоже стоял рядом с этим орудием, стоял, чуть припав к нему, и Лилеев понял, что в этом сапоге—оторванная нога... К земле, которой был присыпан он сам, прилипли клочья мозга...

Он высвободил грудь, выпростал руки и попробовал приподняться, но это оказалось нелегко, хотя он и чувствовал, что он не ранен, только ушиблен. К нему подскочили двое якутцев и откопали его, отгребая землю руками.

А канонада между тем гремела; Лилеев слышал, как рвались позади, в глубине бастионной площадки большие снаряды.

С трудом сделал он несколько шагов вдоль своей батареи: только три орудия осталось неподбитых, и к ним приставлены уже были солдаты-якутцы, так как всего несколько человек из бывшей артиллерийской прислуги оказались пока боеспособны. Младший субалтерн, прапорщик Кугушев, лежал тяжело раненный, без сознания.

Лилеев спросил одного из своих:

— Где командир батареи?

Тот ответил:

— Не могу знать.

В это время как раз оборвалась бомбардировка: англичане, собрав под ее прикрытием нужные силы, вновь пошли на штурм.

Артиллерийская прислуга орудий средней части бастиона была истреблена при первом штурме и

часть орудий заклепана, а у тех, которые способны еще были дать отпор англичанам, поставлены были солдаты Селенгинского полка.

Бомбардировка, начатая противником после удавшегося штурма, длилась всего полчаса, но она принесла Большому реданту много потерь, так как резервы не уводились в тыл.

Однако эти резервы отстояли славный бастион и батареи Будищева, Яновского и Никонова от нового натиска, еще более ожесточенного, чем первый.

Англичане снова ворвались было там же, где и прежде,—в исходящем углу бастиона, и штыковой бой был упорен, но долго выдержать его они не могли: их опрокинули и гнали до завалов. В этой рукопашной схватке погиб и богатырь—владимирец Лазарь Оплетаев; на обширном теле его насчитали потом тридцать четыре штыковых раны: много работы задал он красномундирникам!

В одном месте, во рву, засело было несколько десятков англичан с двумя офицерами, но полурота владимирцев с прапорщиком Дубровиным выbila их оттуда; оба офицера и человек пятьдесят солдат сдались.

Для третьего штурма английские генералы во главе с Кодрингтоном готовили шотландские полки, но шотландцы отказались идти на явную, как им казалось, гибель: все подступы к третьему бастиону и фланговым батареям его густо покрыты были телами убитых, раненые, способные держаться на ногах, наполнили траншеи, и призывы и угрозы офицеров оказались бессильны, чтобы сдвинуть с места еще и этих детей королевы Виктории, у которой «материи нехватало им на штаны».

Кроме того, три наиболее горячих английских генерала,—Шиллей, Варрен и Страубензе,—были ранены, и Кодрингтон вынужден был ответить Пелисье через присланного им адъютанта, что он откладывает новый штурм Большого реданта на следующий день.

Неудача второго штурма так обескуражила англичан, что они не сразу после него открыли бомбардировку.

Передышкой этой воспользовались селенгинцы, чтобы в груде тел, заваливших развороченный бруствер,—тел своих и чужих,—отыскать тело полковника Мезенцева. Его узнали по носкам лакированных сапог, выдававшихся из земли: он был заботливо похоронен уже разрывом бомбы около него, и откапывать его пришлось довольно долго. Однако селенгинцы докопались все-таки и отправили тело своего храброго командира на Павловский мысок, откуда тела перевозились на барже на Братское кладбище.

Но и несколько человек артиллеристов, оставшихся в живых из всей прислуги легкой батареи Хлапонина, тоже занялись поисками тела своего начальника.

— Хорошее начальство было, жалко!—говорили они.

И одному удалось догадаться пошарить в воронке, вырытой снарядом раньше за батареей, шагах в десяти.

Как-то совсем невероятным показалось другим, чтобы туда могло отбросить тело, но вышло именно так. Тело Хлапони́на было укрыто остатками другого, разорванного тела и присыпано землей, которая от очень долгой обработки ее кирками, лопатами и ядрами стала совсем рыхлой, как морская галька.

Пожалев о своем командире, тело понесли в ближайший блиндаж, где уже сложены были в три яруса мертвые тела, но как раз в это время к блиндажу подошел пластун Чумаченко.

— Митрий Митрич!—крикнул он в отчаянии, наклоняясь над лицом Хлапони́на, и тот открыл глаза.

— Что ж вы, нехристи, живого человека в покойницкую потягли?—закричал Чумаченко на волочивших Хлапони́на солдат, но те и без крика его опешили, и только один пробормотал в свое оправдание:

— Даже и господин офицер подходили и тоже сказали,—как есть мертвые...

Действительно, Лилеев подходил, щупал пульс, клал руку на сердце, но не нашел признаков жизни в теле своего начальника, да трудно было и предположить их: лицо Хлапони́на было мертвенно-синим, губы стиснуты, глаза закрыты.

— Митрий Митрич!—еще раз крикнул Терентий в самое ухо Хлапони́на.

Тот ничего не сказал в ответ, но, видимо, пытался сказать, так как чуть-чуть шевельнул губами.

Терентий быстро ощупал руки и ноги, нет ли переломов, щупал тщательно, но переломов не было. Ощупал грудь и спину, но и ребра, так показалось ему, были целы.

— Должно, внутренности отбило,—сокрушенно покачал головой Терентий и, добавив еще сокрушенной: «Эх, Митрий Митрич, не мне, а вам пришлось!»—оглянулся, не идет ли кто с носилками, но не было близко носилок.

Тогда он подобрался крепкими руками под спину и колени Хлапони́на, поднял его и понес к горже бастиона.

У горжи увидел он трех матросок, между которыми была и Рыжая Дунька. Они, бесстрашные, только что принесли на коромыслах свежей воды из колодца.

Дунька, зная пластуна Чумаченко, обратилась к нему ласково-грубо:

— Упрел, леший? Водички на выпей... Кого это тащишь?—и протянула ему кружку воды.

— Хлапони́на Митрий Митрича,—ответил Терентий, не опуская наземь тела и наклонившись к кружке, какую Дунька держала в руке.

Пока он жадно глотал воду, Дунька присмотрелась к ноше пластуна.

— Это же Хлапоньев никак!—вскрикнула она.

— А я тебе что говорю? Знаешь его?

— Ну, а как же, сколько разов белье ему стирала! Хороший офицер какой был!..

— Разе уж побывшился?—испугался Терентий и опустил тело, просто оно как-то само выскользнуло у него из рук, ослабевших от страха.

— А неужто живой был?—и Дунька, набрав в рот воды, брызнула ею в лицо Хлапони́на.

Лицо слабо вздрогнуло от холодного, глаза открылись.

— Митрий Митрич! Друг!—обрадованно, но со слезами в голосе вскрикнул Терентий.—Ты уж меня не печаль, а также жену свою тоже.

— Те-ре-ха...—с усилием, однако внятно, так что расслышал наклонившийся к самым губам его пластун, проговорил Хлапонин.

— И правда, живой, смотрит!—обрадовалась Дунька.

Терентий схватил «дружка» снова, как и прежде, в охапку и направился к Павловским казармам на перевозочный, уже не останавливаясь.

8

Сильный ветер, неустанно дувший с моря весь этот очень памятный как для русских, так и для англо-французов день 27 августа—8 сентября, воспрепятствовал линейным кораблям союзного флота принять участие в последней бомбардировке Севастополя. Помогать штурмующим сухопутным войскам явилось только несколько бойких канонерок. Они ретиво принялись было обстреливать город и мост через рейд, но береговые батареи скоро заставили их уйти.

Действия канонерок в неудачную для этих действий погоду, конечно, могли навести кое-кого из начальствующих лиц Городской стороны на мысль о возможности штурма. Но и без этого замечена была явная подготовка к штурму многими, наблюдавшими, что делается в неприятельских траншеях. Там усиленно передвигались большие отряды войск, чего нельзя было сделать совершенно секретно, и еще часа за два до начала штурма на Корабельной бессменный командир люнета своего имени лейтенант Белкин приказал бить тревогу.

Барабанный бой мигом был подхвачен и прокатился по всей линии укреплений Южной стороны. Пехотные прикрытия бегом кинулись занимать свои места на банкетках; из-за мерлонов выкачены были полевые орудия, заранее заряженные картечью; из мин выводились лишние люди; резервам приказано было войти в редуты...

Тревога, правда, оказалась преждевременной, но она заставила проверить, все ли готово для встречи врага, а сам лейтенант Белкин вспомнил о неболь-



шом блиндаже на своем люнете, где около вольтова столба дежурили гальванеры.

Фамилии иногда бывают очень показательны для тех, кто их носит. Вытянутое вперед, острое, с поставленными очень близко к носу всегда беспокойными глазами, лицо лейтенанта Белкина таило в себе что-то именно беличье. По характеру же он очень заметно напоминал этого непоседливого, живого, всегда хлопотливого грызуна. Небольшой, легкий, он неутомимо следил за всем на своем люнете, при этом, как шутили над ним товарищи, был так верток, что успевал увертываться даже от пуль, не говоря о снарядах: он выдержал на люнете всю осаду и не был ни разу ранен.

И теперь, когда поднятая им тревога поставила на ноги оборонительную линию Южной стороны, лейтенант Белкин успел не только обойти и проверить все наружное на своем люнете, но спустился также и в уединенный небольшой блиндажик с вольтовым столбом. Его встретил дежурный гальванер и отпортовал, что у него «все обстоит благополучно».

— Благополучно, говоришь?—озабоченно спросил Белкин.—А фугасы, в случае ежели, действовать будут?

Гальванер,—сероглазый, с шишковатым широким лбом,—ответил уверенно:

— Должны действовать, ваше благородие.

— Должны-то должны, а будут ли? Говорят, что все уж теперь тут ни к чорту! Ведь это весной еще делалось, а теперь—конец августа.

— Аппарат в порядке, ваше благородие,—непоколебимо ответил гальванер.

У него был такой серьезный и уверенный вид, точно сам он являлся частью аппарата, приготовленного для взрыва фугасов.

— Как фамилия?—спросил его Белкин.

— Второго саперного батальона младший унтер-офицер Аникеев Петр, ваше благородие.

— Вот что, Аникеев, приказаний тебе никаких не будет,—их мне некогда будет давать, а может статься, меня и убьют в самом начале дела...

— Боже избави, ваше благородие!

— Так вот: приказаний не будет, а как только сам увидишь, что неприятель колонной идет над фугасами, действуй!

— Слушаю, ваше благородие!

Белкин еще раз бегло взглянул на немолодое надежное лицо Аникеева, с его шишковатым широким лбом и серьезными серыми глазами и вышел из блиндажика вполне успокоенный.

Тревога оказалась фальшивой, однако никто не поставил ее в вину Белкину: она сделала свое дело. Начиная с десяти утра, все ждали штурма на Южной стороне—от генералов Семякина и Хрушова до последнего солдата-кашевары.

Но неприятель медлил; явно готовясь к штурму сам, он не препятствовал русским готовиться к его отражению: он даже канонады не открывал,—осадные батареи молчали.

Не нужно было прибегать к зрительным трубам, чтобы разглядеть, как бурлили французские траншеи, наполняясь войсками, подходившими из резервов. И в то же время такие слишком открытые передвижения войск казались Семякину преднамеренным ложным маневром, чтобы сюда, на Южную сторону, притянуть побольше русских полков и тем обессилить Корабельную.

— Вот вы увидите, или я буду не я,—говорил Хрущову Семякин,—эти бестии штурмовать нас не будут! Помните, то же самое они проделывали и шестого июня: у нас только демонстрация, а штурм будет там, на Корабельной.

Иногда, когда слишком уж откровенно выказывались французы из передовых сап, Семякин приказывал открывать по ним пальбу картечью; но на эту пальбу они подозрительно не отвечали, поднимая только ружейный, и то недолгий огонь.

Похуже было и на то, что французы берегли свои снаряды на другое время, когда хотели обрушиться ими на русские укрепления со всею возможной силой,—до того загадочно было поведение противника.

Кашевары же гарнизона Южной стороны работали в этот день, как всегда, и борщ их и каша с салом были готовы в положенный час, так что в полдень начали обедать и здесь, как на Корабельной, а во время обеда к Семякину прискакал адъютант Остен-Сакена предупредить его, что французы пошли на штурм Малахова.

Солдатский обед много времени не отнимает, и, зная это, Семякин не беспокоил людей, тем более что был уверен в своем мнении. Он и адъютанту Сакена сказал:

— Передайте его сиятельству, что мы в безопасности: на нашей стороне штурма не будет.

В час дня он разрешил даже половине людей, поставленных в передовой линии, сойти с оружейных платформ и банкетов, чтобы не загромождать их излишне. Глухота обычно придает человеку много спокойствия, но Семякин, кроме того что был глух, был еще и весь во власти охватившей его мысли, что он вполне разгадал тактику врага.

И, однако, не больше как через час еще он убедился в том, что жестоко ошибся.

Правда, корпусу генерала де-Салля, стоявшему против укреплений Южной стороны, предписано было не начинать дела до получения особого на то приказа Пелисье, и вот как раз около двух часов дня, когда выяснился полный неуспех и англичан, и дивизий Дюлака и де-Ламотт-Ружа, французский главнокомандующий послал де-Саллю приказ штурмовать пятый бастион и прилегающие к нему люнеты Шварца и Белкина.

У французов все уже было готово к штурму, и расстояния от их траншей до рвов укреплений были ничтожны: пятьдесят—восемьдесят шагов...

Выскочили и ринулись.

Впереди стрелки рассыпным строем, но в несколько шеренг, за ними саперы с лестницами, кирками, лопатами; наконец, быстро строившиеся частью на месте, частью на бегу штурмовые колонны.

Стремителен был натиск, но никого не застал врасплох. Тревогу, конечно, били барабанщики, но в ней было уж теперь мало нужды: все знали свои места и заняли их отчетливо как на ученье; все знали, что надо делать, и в атакующих полетел сразу рой пуль и картечи.

Однако французы шли храбро несколькими колоннами сразу, причем на люнет Белкина две колонны,—бригада генерала Трошо, бывшего у Сент-Арно начальником штаба; одна шла на передний фас люнета, другая—на правый фланг. И когда выскочивший по тревоге из своего блиндажа, в котором мог поместиться только один человек, гальванер Аникеев увидел, едва разглядел сквозь дым, что вторая колонна движется как раз на фугасы, он тут же бросился к своему вольтов столбу.

Безостановочно гремела ружейная пальба, ежесекундно перекрываемая ревом орудий; теряя множество людей, французы все-таки быстро подвигались ко рву люнета. Они иступленно кричали: «Vive l'empereur!»—и передовые ряды их уже врывались в ров, когда раздался страшный грохот, задрожала земля, густо замелькали в задымленном воздухе камни и люди, и все, кто мог еще думать о своем спасении, повернули обратно, спотыкаясь на трупы и камни, попадая десятками в волчьи ямы и огромные воронки...

Только три фугаса были заложены перед правым фасом люнета, но французов, успевших заскочить в ров переднего фаса, никто уже не подержал: фугасы стали представляться отхлынувшим колоннам везде,—на второй штурм не решились. А заскочившие в ров,—их было человек двести,—частью были перебиты штыками, но в большей части сдались роте Подольского полка и команде матросов.

Генерал Трошо был тяжело ранен картечью в ногу при штурме пятого бастиона, куда он лично вел три батальона своей бригады.

Никому из штурмовавших пятый бастион не суждено было побывать на нем: слишком горяча оказалась встреча, приготовленная им здесь; они не вынесли картечи и ружейных пуль и бежали.

Только на люнет Шварца, где самого Шварца уже не было в это время,—раненный за месяц до того, он лежал в госпитале,—ворвалась передовая часть бригады генерала Кустона и оттеснила численно слабый батальон Житомирского полка.

Но подоспел другой батальон житомирцев и опрокинул французов.

Попытка захватить хотя бы одно из укреплений Южной стороны кончилась для французов только тем, что они потеряли ранеными, кроме Трошо, еще двух генералов—Риве и Бретона; внутренность люнета Шварца была завалена телами погибших в рукопашном бою; десять офицеров и полтора солдата попали в плен, а всего выбывших из строя насчитано было до двух с половиной тысяч.

На четвертый бастион не было нападения. Если фугасов перед люнетами Белкина французы не ожидали встретить, то все подступы к четвертому бастиону представлялись им минированными. И когда генерал де-Салль обратился к Пелисье, атаковать ли Мачтовый бастион, тот разрешил этого не делать, чтобы избежать лишних и больших потерь: он считал, что захват Малахова уже обеспечил ему победу над Горчаковым, и для него важно было, чтобы Наполеон и Франция не сочли эту победу купленной чрезмерно дорогой ценой.

9

Конечно, победа над Горчаковым была одержана гораздо раньше, когда писал русский главнокомандующий царю: «Я в невозможности нахожусь защищать далее этот несчастный город!..» Конечно, все уже было приготовлено Горчаковым к тому, чтобы гарнизон покинул Севастополь, и еще утром в этот день князь Васильчиков, уверенный в том, что штурм отложен в долгий ящик, ездил на Северную к Тотлебену выяснять подробности очищения как Южной стороны, так и Корабельной... Костер был уже сложен, нехватало только спички, чтобы его поджечь,—нехватало оправданий,—и они пришли в полдень.

И чуть только телеграф передал из Николаевских казарм, от Сакена, на Инкерман Горчакову известие о начале штурма, тот облегченно сказал:

— Ну, вот! Наконец-то!.. Это—третий!.. Первый был двадцать шестого мая, второй—шестого июня, это—третий!

И тут же поскакал со всей свитой к мосту.

На мосту он несколько задержался, обратил внимание Коцебу на то, что толстые бревна обросли уже в воде длинными зелеными бородами тины. Эти бороды сильно трепало теперь волнение, поднятое ветром. Волны хлупали о комли бревен и обрызгивали палубу, а на середине моста копыта лошадей почти до щетки покрывались водою.

— Вот видите, видите, Александр Ефимович!—встревоженно обратился, заметив это, Горчаков к Бухмейеру.—Я именно это и предвидел! Нужно же, чтобы такой ветер в такой именно день!.. Может быть, к ночи утихнет, а?

— Непременно должно утихнуть, ваше сиятельство,—постарался успокоить его строитель моста.

С другого берега Горчаков еще раз поглядел на мост и на беляки на рейде, озабоченно покачал головой и направился к Николаевской батарее, где Сакен доложил ему, что Малахов взят французами, а на втором бастионе и третьем первые атаки отбиты.

Горчаков встретил это так, как будто иначе и быть не могло: чины его свиты заметили, что он не проявлял теперь свойственной ему нервной суетливости. Совсем напротив, он был неожиданно на месте именно теперь, когда у Сакена дрожал и срывался голос при фразах: «Малахов занят... на Малахове французский трехцветный флаг...»

Длинное, со впалыми щеками, лицо Горчакова вдруг сделалось как будто даже надменным от сознания того, что все идет пока именно так, как должно идти, и что он на то и главнокомандующий, чтобы понимать это и в то время, когда другим около него ход событий кажется не совсем ясен.

Есть у каждого человека в жизни, как бы длинна она ни была, такой день, когда он проявляется во всей полноте своих возможностей, расцветает, как сказочный папоротник в Иванову ночь. Совершает ли он какой-нибудь памятный для всех подвиг, делает ли «счастье своей жизни», приходит ли к открытию, заставляющему кричать «эврика!»¹, охватывает ли его трепет необычайного замысла, которому потом отдаст он годы или десятки лет, но в день этот, его день, он становится неузнаваем для тех даже, кто знал его с детства.

Так сделался неузнаваем Горчаков для окружающих, едва только услышал, что Малахов взят французами, хотя другие бастионы стоят, отражают штурмы. Он бодро и довольно стремительно для своих лет, особенно же для своего положения, поднялся по чугунной лестнице на четвертый этаж Николаевских казарм, чтобы оттуда из окна в зрительную трубу следить за всем, что будет видно. И все около него должны были безмолвно согласиться с тем, что если площадка над морской библиотекой теперь уже разбита, то самая высокая точка для того, чтобы смотреть с нее в трубу за разгаром боевых действий, именно здесь, на четвертом этаже Николаевской батареи, и только здесь все они и могли бы поместиться в безопасности, больше нигде.

Он ясно давал чувствовать всем около, что не проигранное четвертого августа сражение на Черной речке определило дальнейшую участь Севастополя, как об этом думали многие, а что участь города и дальнейший ход кампании определяются только вот теперь и именно так, как предполагал он сам.

Еще там, на Инкермане, сядя на лошадь, он отдал приказ, чтобы испытанные полки 12-й ди-

¹ *Эврика*—«Я нашел» (греч.)—восклицание Архимеда, греческого математика (287—212 г. до н. э.), при одном его научном открытии.

визии—Азовский, Одесский, Украинский—шли на Южную сторону, и теперь из окна квартиры начальника гарнизона мог любоваться тем, как стройно, в полном порядке, неся яркое солнце на своих штыках, проходил один из этих полков по мосту в колоннах по отделениям—шесть человек в ряд.

Колонны держали только равнение,—не шаг,—так им было приказано. Нельзя было разглядеть из-за волнения в бухте, насколько прогибается под их тяжестью мост: волна захлестывала бревна моста и сапоги солдат пенно-белыми брызгами.

Конечно, движение войск через Большой рейд было тут же замечено с батареей противника. Снаряды летели оттуда кучей; можно было опасаться и огромных потерь людьми и непоправимой порчи моста: вдруг обрушится в самой середине—что тогда?

Другие части перевозились на баржах, на буксире у катеров, на шаландах, на пароходах, но все внимание Горчакова было обращено на мост, по которому в эту ночь должен был отойти на Северную весь гарнизон Южной и отчасти Корабельной сторон.

Стрельба по мосту была неудачна, как всегда: около моста взлетали вверх белые фонтаны, солдаты шли бодро и выбрались все на городской берег, мост оказался цел,—и эта удача еще более скрепила все, что было до этого дня расшатанного, колеблющегося в Горчакове. Приказания, какие он теперь отдавал, звучали решительно. К Коцебу за справками, как обычно, он уже не обращался; даже и шепелявить как будто перестал,—так показалось генералам около него и адъютантам.

Остен-Сакен считал необходимым выказать свое служебное рвение в такие исключительные часы жизни вверенной ему крепости и сам просил позволить ему навестить укрепления Южной стороны, а на Корабельную отправился вышедший с ним вместе из Николаевских казарм Васильчиков.

Весь город стал с приездом главнокомандующего жить в гораздо большей суматохе, так как удвоилось число адъютантов и ординарцев, скакавших из Николаевских казарм к укреплениям и обратно. Бежали резервы, вызываемые на бастионы, грохотала артиллерия... Сестры милосердия получили приказ немедленно перебираться из перевязочного пункта Николаевской батареи на Северную, хотя и ожидался большой наплыв раненых. Сестры не понимали, зачем отправляют их как раз перед тем, когда они будут нужны. Но генерал Ушаков, передававший им приказ главнокомандующего, ответил неопределенно:

— Лучше всего вам уйти отсюда теперь, пока не поздно... Мало ли что может быть тут через какие-нибудь два часа?

И сестры пошли через мост, вооруженные госпитальными образами. Это было похоже на крестный ход, потому что за сестрами шли раненые, способные хоть кое-как двигаться.

Иные, с подвязанными к шее руками или совсем однорукие, помогали тем, которые тащились на костылях, а помогать нужно было: волны свободно перехлестывали через мост, и сильный ветер заставлял и крепконогих держаться за набухшие мокрые веревочные перила, чтобы не упасть, поскользнувшись, в бухту.

Много раненых все-таки осталось, и при них—врачи. Из врачей только нескольких взяли на перевязочный пункт Павловской батареи, где скопилось до шести тысяч человек, нуждающихся в их помощи: Корабельная, вся гремевшая, вся занавешенная густым дымом, вела свой последний и самый кровавый бой—смертный бой.

10

В полдень, как всегда, Хрулев у себя, в Павловских казармах, сидел обедать с генералом Лысенко, когда вдруг рассмотрел в окно: к Малахову бежали французы.

— На коней!.. Штурм!—закричал он и выскочил из столовой.

«Судьба Севастополя» стояла уже у окна на четвертом этаже Николаевской батареи с видимой зрительной трубой около подслеповатых глаз и с невидимыми, но несомненными весами, на которых было взвешено, притом окончательно взвешено все.

«Судьба Севастополя» стояла в прохладе и безветрии, и если даже ничего не видела в свою трубу, все-таки твердо на этот именно раз убеждена была, что видит все и видит зорко не только то, что творится теперь кругом, но и то, что будет твориться вечером в этот день и ночь.

Все козыри, необходимые для твердости убеждения, были уже в руках у «судьбы Севастополя», а Хрулеву все-таки казалось возможным выбить эти козыри из рук судьбы.

— Благодетели, за мно-ой!—кричал он своим диковинным голосом, неизменно потрясающим солдатские сердца, и «благодетели»,—главный резерв Корабельной стороны,—полки Шлиссельбургский и Ладожский, ринулись вперед сквозь облака дыма и пыли за белым конем командира, лихо сдвинувшего на затылок папаху.

Тогда Хрулев знал только, что штурм начался и что в дело брошены французским главнокомандующим огромные силы, притом одновременно и на Малахов, и на второй бастион, и на куртину между ними.

Малахов был ближе, но флага, большого своего флага, условного знака опасности и вызова подкреплений, не разглядел ни сам Хрулев, ни

кто-либо другой из его адъютантов и ординарцев. Его и нельзя было разглядеть издали, потому что он был уже сбит в первый момент штурма; размышлять же по этому поводу долго было тоже нельзя,—время считалось секундами. И вот, решив, что на Малаховом штурм отбит, Хрулев взял направление на второй бастион, оставив Лысенко, человека исполинского роста, бывшего командира Брянского полка, с его брянцами и Елецким полком против Малахова на случай, если французы вторично пойдут на штурм.

Однакоже на пути ко второму бастиону пришлось убедиться Хрулеву, что Малахов занят,—и не только Малахов: такие знакомые острые кепи, синие мундиры и красные штаны французов замелькали вдруг перед ним на улицах Корабельной, и в отряд, который он вел, полетели пули.

Это был 11-й линейный полк из бригады генерала Бурбаки, прорвавшийся сюда после того, как дивизия де-Ламотт-Ружа овладела куртиной. Сам Боске руководил из ближайшей французской траншеи штурмом на этом участке, и на его глазах полки его друга Бурбаки, преодолев три ряда волчьих ям, одержали верх над защитниками куртины.

Хрулев едва успел отослать к Лысенко ротмистра Макарова, своего адъютанта, с приказом отбить Малахов курган, как самому ему пришлось отбивать Корабельную.

— Благодетели, в штыки!..—И третий батальон Шлиссельбургского полка бросился на французов, не давая им занимать полуразбитые домишки, чтобы оттуда стрелять, как из траншей, на выбор, как это сделали другие французские солдаты шестого июня, здесь же на Корабельной, прорвавшись через батарею Жерве.

В тесных кривых закоулках, между домишками, наполовину обращенными уже в мусор, началась схватка.

Французов набегало больше и больше: они уже захватили батарею, незадолго перед тем поставленную за второй оборонительной линией куртины, и штыковой бой был упорный. Но вот часто и четко загремели слева выстрелы легкой батареи, посланной сюда Сабашинским, и задние ряды французов не выдержали картечи и бежали, а передние были переколоты шлиссельбуржцами.

Вслед за батареей, лихо примчавшейся на ручку Корабельной, прибежали два батальона Севского полка; эти ударили на французов справа, со стороны Малахова.

— Ну, вот,—хорошо, севцы, севцы!.. Молодцы, севцы!—возбужденно кричал Хрулев.

Легкая батарея между тем осыпала свою же тяжелую батарею, облепленную французами, и те бросили пушки, которые считали уже было своею добычей...

Белый хрулевский конь горячася шел вперед четвертого батальона шлиссельбуржцев вслед третьему; четвертый вел сам заколдованный от снарядов и пуль генерал в бурке и папаче.

Этот конь был тот же самый, на котором в конце января приезжал Хрулев из-под Евпатории к Меншикову. Считал ли он, что он так же заговорен, заморожен от ран и контузий, как и его хозяин, который никогда за всю свою боевую жизнь не был ранен, но он всегда бодро и будто радостно даже чувствовал себя именно в жаркой перестрелке. Хозяин же его слишком много раз испытывал свою неустрашимость среди разных смертельных опасностей, чтобы поверить, наконец, в то, что его «не возьмет» ни бомба, ни ядро, ни пуля.

Натиск шлиссельбуржцев и севцев под его командой был стремителен,—французы бежали, даже не отстреливаясь. В несколько минут они были переброшены через ретраншементы куртины.

Но первый штурм дивизии Дюлака на второй бастион был уже к этому времени отбит, и Сабашинский двинул в промежуток между второй и первой линиями куртины сразу несколько батальонов.

Французы были выбиты с большими потерями; Бурбаки ранен.

Однако как раз в это время ротмистр Макаров прискакал с печальным известием, что генералу Лысенко не удалось отбить Малахов, что Брянский и Елецкий полки отброшены от горжи бастиона...

У Макарова, обычно спокойного, было теперь растерянное лицо, и даже непроизвольно дрожала левая бровь, но Хрулев переживал угар успеха: он только что гнал перед собой французов из Корабельной и дальше.

— Сейчас же скачите к генералу Сабашинскому,—торопливо сказал он Макарову,—передайте ему моим именем команду над шлиссельбуржцами, а Ладожский полк я возьму с собой... С богом!

И вот снова перед Ладожским полком, имевшим в строю тысячу четыреста штыков, гарцует белый конь и гремит потрясающая хрулевская команда: — Благо-де-тели, за мно-ой!

Каждый из севастопольских бастионов представлял собою укрепление замкнутое. Вход в это укрепление с тыла,—горжа—горло бастиона,—был обыкновенно узок и хорошо защищен на случай прорыва противника где-нибудь в другом месте линии обороны и захода его в тыл.

Направо и налево от горжи Малахова высился бруствер в семь метров надо рвом такой же глубины; толщина бруствера была в пять метров.

И в то время как ураганный огонь артиллерии французов сравнял с землей бруствер Малахова

с фронта и засыпал ров, здесь все было в целостности: зиял непроходимый ров, сурово глядел вал, готовый встретить врага, если бы вдруг он появился с тыла.

Но встречать ему, насыпанному руками русских солдат, пришлось своих же. Передовые батальоны дивизии Мак-Магона, смяв модлинцев и прагцев, быстро докатились до горжи и заняли валы и все постройки бастиона перед валами.

Они могли это сделать: за ними, передовыми, беспрепятственно вливалась на курган вся дивизия. И когда Лысенко, по приказу Хрулева, повел своих брянских и елецких выручать Малахов, банкеты валов с той и другой стороны горжи были уже полны французских стрелков.

Проход в горже был не шире десяти шагов. Жестоким перекрестным огнем были встречены брянцы, пытавшиеся сквозь эти ворота пробиться на площадку бастиона. Лестниц не было. В тех, кто набились в ров, сыпались сверху, с высоты четырнадцати метров камни и осколки снарядов.

Брянцы пытались карабкаться по стене рва на вал, подсаживая один другого, но обрывались. Ров наполнялся телами убитых и тяжело раненных. Держаться было нельзя. Остатки брянцев отхлынули, наконец, к домишкам позади горжи, отсюда ведя бесполезную перестрелку с алжирскими стрелками, когда появился Хрулев, а за ним Ладожский полк.

— Михаил Захарыч! Что?—крикнул, не дожидаясь рапорта, на ходу коня Хрулев Лысенко.

Он знал, что этот медлительный с виду человек был впереди своих брянцев шестого июня, когда отбивали они третий бастион от натиска англичан. Контуженный как раз накануне штурма, он, сильно хромя, опирался на палку, но все-таки не пошел на перевязочный, остался прекрасной мишенью не только для снайперов, а для всех рядовых стрелков, так как на голову выше был самого высокого из своих солдат, даже и из задних рядов видный им, как знамя полка, и уцелел.

И вот теперь он стоял, начальник 9-й дивизии, с посеревшим запыленным лицом, и говорил, приложив к козырьку толстые дюжие пальцы:

— Понесли очень большие потери, не приведенные еще в известность... Не было штурмовых лестниц... И если бы хоть два легких полевых орудия,—ничего не было!

Он оправдывал своих отхлынувших солдат,—не себя. Косясь на локоть его, белый хрулевский конь сочувственно кивал головою.

С того места, где остановил Ладожский полк Хрулев, видно было горжу и тела убитых брянцев, валявшихся густо на подступах к ней.

— Думаете, что нельзя уже будет выбить французов?—сквозь зубы спросил Хрулев.

— Одной пехотой, без артиллерии, без лестниц... думаю, что нельзя,—посмотрев еще раз на горжу, ответил Лысенко.

— Хоть и нельзя, а надо,—раздраженно крикнул Хрулев.—Надо!.. И должны выбить!

Он ли не знал, что одиннадцать месяцев громили Малахов французы для того, чтобы овладеть им в этот день? Он ли не знал, что укрепления не берутся с налету, если они сделаны, как надо, а тыловые части Корниловского бастиона строились так же хозяйственно, как и фронтовые?

Он знал это не хуже Лысенко, но только что, всего несколько минут назад, шлиссельбуржцы под его командой выбили французов из Корабельной и куртины... и вот генерал-партизан, разгоряченный успехом, уже командует ладожцами:

— По-олк, в колонны по отделениям стройся!

По отделениям потому, что больше шести человек в ряд не в состоянии были бы и пройти сквозь узкое горло бастиона.

Он повел полк сам, повел яростно и в то же время просто, как к себе домой, где и стены должны помочь выгнать захватчиков. Своего белого он оставил, набросив на него бурку как попону; спешили и ординарцы, бывшие с ним,—подпоручики Сикорский и Эвертс.

Полк шел напролом в горло бастиона. Мысль о том, чтобы без лестниц взобраться из трехсаженного в глубину рва на трехсаженный в высоту бруствер, Хрулев отбросил сразу, как явно нелепую; но врезаться штыковым ударом в стену французов,—живую стену,—и выбросить их с площадки дружным единым натиском,—это представлялось ему возможным: за ладожцами должны были идти елецкие, за елецкими—брянцы, сколько их осталось, за брянцами—севцы, а в тыл французам в это время будут лететь снаряды с третьего бастиона и с куртины. Он заметил, что с двух этих участков линии тыла уж открыта пальба по Малахову: на третьем только что была в это время отбита атака англичан, куртина тоже была очищена от последних французов.

Сдвинув папаху на затылок, с открытым для пули лбом, с горящими глазами, черноусый и без кровинки в лице от охватившего его волнения, вел ладожцев Хрулев. Первый батальон вытянулся длинной, быстро ползущей змеей. Барабаники били, солдаты ставили ноги безукоризненно в такт барабанам, но чем ближе подходили к горже, тем трудней становилось соблюдать шаг: тела брянцев не были убраны.

А бруствер вправо и влево от горжи сделался сплошь зубчатым от острых кепи линейцев, от малиновых фесок зуавов и алжирских стрелков, между тем как самый проход на бастион казался издали заманчиво свободным: снаружи он не был занят французами.

Можно было подумать, что все эти бесчисленные стрелки, стоявшие сзади вала на банкете, просто любят отвагой нового русского полка, так самозабвенно шедшего на штурм своей же твердыни:

они подпустили ладожцев очень близко, но только что, обернувшись на ходу и подняв правую руку, дал знак Хрулев передовым и крикнул «ура!», как раскатился первый залп.

Хрулев увидел, как около него повалилось сразу несколько солдат, и в то же мгновение почувствовал пронизавшую все его тело сильную боль в руке: пуля оторвала ему большой палец с куском ладони.

Первая в его жизни рана, она изумила его до того, что он остался на месте, зажав левой рукой правую, точно мог этим остановить и кровь и боль.

Обегая его и крича, штыки наперевес, бурлили солдаты, стремясь в горжу, но они попадали под рассчитанный перекрестный огонь. Перепрыгивая через упавших, но чаще наступая на них, ладожцы все-таки рвались вперед, и не один десяток их прорвался на площадку бастиона, выставляя штыки.

Французы отступали, стреляя: пальба шла отовсюду: с крыш блиндажей, с ядер, собранных в четырехугольные кучи, с подбитых лафетов, сваленных здесь для починки, с широких банкетов бруствера наконец, где стрелки могли помещаться в три ряда.

Этих стрелков с черными козыми бородами было много,—ими густо пестрела вся площадка,—цель же была одна: несколько десятков прорвавшихся русских солдат...

А из руки Хрулева лилась кровь,—он чувствовал, что слабеет, что голова его мутится.

— Поддержите меня,—обратился он к Сикорскому.

И оба ординарца, обхватив его в поясе, повели его в тыл, где стоял белый, укрытый буркой и где приводил в порядок брянцев Лысенко.

— Михаил Захарыч, примите команду: я ранен,—сказал Хрулев, которому Сикорский наскоро бинтовал руку своим платком.

При этом Хрулев кивнул папашой туда, откуда он только что вернулся и где пятились назад ладожцы, вступив в невыгодную для себя перестрелку, так как прикрытия были не у них, а у французоз.

Заботливо наклонившийся было к ране Хрулева, щуря голубоватые, выпуклые, слегка близорукие и с натруженными, не то запыленными, красными веками глаза, Лысенко выпрямился, развернул грудь. Толстые пальцы его поднялись к козырьку; он сказал: «Слушаю!»—и тут же, оставив Хрулева и брянцев, зашагал к горже.

А через пять-шесть минут, едва вступив в толпу ладожцев перед горжей, он рухнул, пронизанный двумя пулями над сердцем...

Ладожцы отступали, провожаемые залпами французоз, которые не решались все же выходить за пределы горжи, спасаясь принести на Малахов русских на своих плечах.

Хрулева, который оказался еще и контуженным в голову, чего сгоряча не заметил, ординарцы его поспешили усадить на коня и отконвоировать в Павловские казармы, на перевязочный пункт, так что он не видел, чем окончился новый штурм горжи Малахова; а смертельно раненный Лысенко едва успел передать команду пришедшему около него деятельному защитнику Севастополя с первых дней осады, капитан-лейтенанту Ильинскому.

Но Ильинский, как моряк, чувствовал себя не на месте перед пехотными солдатами, обескураженными неудачей штурма, сбившимися в кучи возле домишек. При солдатах остались только младшие офицеры, а около Ильинского—два ротмистра: Макаров, вернувшийся со второго бастиона, и флигель-адъютант Воейков, которому удалось во-время покинуть Малахов.

Как раз в это время шел новый штурм второго бастиона и куртины дивизиями Дюлака и де-Ламонт-Ружа и третьего бастиона—войсками Кодрингтона.

— Положение очень трудное,—говорил обонм ротмистрам Ильинский, сидевший на маленьком казачьем коньке:—Мне кажется, самое лучшее просить у главнокомандующего настоящего начальника—пехотного генерала, и свежих войск.

К Горчакову с докладом отправился Макаров, а Воейков разглядел в стороне генерал-майора Юферова, ехавшего верхом со стороны батареи Жерве, и вскрикнул радостно:

— Вот и начальник!

Юферов всего за несколько дней перед тем был ранен. Рана, хотя и была легкая,—он остался в строю после перевязки,—все-таки саднила, ныла, как больной зуб, мешала спать.

Вид у него был нездоровый, усталый: на запыленном лице выделялись темные круги под черными глазами, блесклыми лихорадочным стеклянныи блеском, щеки втянулись, нос заострился. Это был серьезный, очень начитанный человек, художник, любитель музыки, хорошо игравший на фортепиано.

Когда Ильинский обратился к нему:

— Ваше превосходительство, примите начальство над войсками на этом участке...—он ответил, точно его пригласили на обед:

— С удовольствием.

При этом от неловкого движения его в седле очень заявила о себе вдруг рана; он невольно поморщился и добавил гораздо более пониженным тоном:

— С большим удовольствием.

И только после этого задал Ильинскому несколько вопросов по сути дела, потом повернул лошадь к солдатам ближайшего Ладожского полка и прокричал:

— Слушать мою ко-ман-ду!

Найдя начальника, Воейков тут же напросился на смелый маневр: набрав команду охотников, атаковать Малахов справа, со стороны батареи Жерве. Ильинский тут же поддержал его:

— Прекрасно! Вы—справа, а я в таком случае—слева, от куртины!.. Только послушайте моего доброго совета:—слезьте с вашей лошади, когда пойдете на штурм, а то недолго на ней усидите.

— А вы тоже слезете со своей?—полюбопытствовал ротмистр.

— У меня разве лошадь?—весело удивился Ильинский.—У меня котенок, а у вас целый мастодонт!

Лошадь Воейкова, действительно, была большая. Набрав с разрешения Юферова команду в несколько десятков человек, чтобы отвлечь внимание французов от атаки с фронта, Воейков принял совет Ильинского, оставил лошадь и пошел впереди своего отряда пешком.

Назад потом принесли его с простреленной грудью. Пуля застряла в позвоночнике, и жил он еще только два дня. Ильинский, которому также не удалась атака Малахова с фланга, остался невредимым, хотя и не спешивался; а генерала Юферова ожидала другая доля.

Он тоже пошел впереди своего большого отряда охотников, оставив лошадь. В руке у него была кавказская шашка.

Свой отряд он рассыпал, чтобы меньше было потерь. Только по взмаху его шашки должен он был сбегаться к нему для штурма.

Отряд, конечно, был встречен самой частой ружейной пальбой, но пули миновали Юферова. И сквозь горжу, по трупам павших пробилась большая часть отряда, на поддержку которого уже готовился идти сборный батальон от трех раньше ходивших на штурм этой же дорогой полков; но французы приготовились встретить русских.

Несколько быстро следовавших один за другим залпов, и наполовину был уничтожен отряд, а сам Юферов прижат был с несколькими солдатами к одному из траверсов на площадке бастиона.

Его хотели взять в плен.

— Сдавайтесь, генерал!—кричал ему офицерзуав.

— Русские генералы в плен не сдаются!—отвечал Юферов.

Такое предпочтение смерти плену поразило зуава, и он приказал своим солдатам непременно обезоружить и захватить русского генерала как лестный приз.

Но Юферов умел действовать шашкой, и попытка эта дорого стоила зуавам. Его закололи, наконец, штыками, но фамилия его долго оставалась неизвестной любознательным французам,

точно так же и русские не знали обстоятельств его смерти.

Только несколько месяцев спустя, уже после заключения мира, кое-кто из французских офицеров узнали, наконец, кто из русских генералов предпочел умереть, но не сдаваться, погиб в бою у горжи Малахова, и удивились, что в России не позаботились внести Юферова в списки героев.

Юферов был четвертым генералом, выбывшим из рядов русской армии в этот день на Малаховом. Пятым же оказался Мартинау, которого прислал сюда Горчаков после доклада ротмистра Макарова.

Едва оправившийся от раны, полученной в сражении на Черной, Мартинау был снова ранен пулей в плечо, чуть только подъехал к полкам, оставшимся без начальника.

И когда,—это было уже в четвертом часу,—сюда прибыл генерал-лейтенант Шепелев, посланный Горчаковым с тем, чтобы решить на месте, можно ли отбить у французов Малахов, то решение его было именно такое, какого хотелось Горчакову: штурмовать можно, но успеха ожидать нельзя.

— Можно ли взять обратно Малахов?—обратился Горчаков и к другому генералу, вернувшемуся в Николаевские казармы с Корабельной,—князю Васильчикову.

— Можно,—ответил Васильчиков,—но для этого надобно положить тысяч десять.

— Много, много! Что вы!—замахал на него руками Горчаков.

— Может быть, обойдется и меньше,—невозмутимо согласился Васильчиков,—но что же потом, если даже будет отбит Малахов? Начнется новая бомбардировка, и только.

— И только!—повторил Горчаков, пожал плечами и поехал на Корабельную сам.

13

К этому времени штурм был отбит уже везде и на Южной стороне и на Корабельной, кроме Малахова, а бомбардировка гремела яростно всюду.

К этому времени и сам Боске решил перейти на Малахов, чтобы убедить солдат корпуса в том, что курган не минирован русскими, и если даже и минирован кое-где местами, то мины эти взорваны не будут и опустошений в рядах войск не вызовут.

Поводом же к усиленным толкам о минах послужил взрыв небольшого порохового погреба от бомбы, пущенной с третьего бастиона. От этого взрыва погибло несколько десятков французов, а несколько сот кинулось стремительно с кургана к своим траншеям, и Мак-Магону стоило большого труда вернуть их и успокоить.

Этот взрыв погреба на Малаховом испугал и самого Пелисье, бывшего на Камчатке. Волнуясь,



он говорил своим штабным, что если Малахов и другие бастионы, которые могут быть взяты на следующий день, минированы и принесут большие потери союзным войскам, то он прикажет расстрелять всех пленных в виду русской армии.

Боске же был убежден в том, что взрыв на Малаховом—простая случайность, возможная и часто бывавшая и на французских батареях. Появившись на Малаховом, он благодарил полки дивизий Мак-Магона, потом по его приказу был расстелен ковер для обеда генералов в присутствии солдат: этот обед должен был окончательно доказать колеблющимся, что Малахов вполне безопасен от мин.

Перед обедом Боске со свойственной ему проныцательностью сделал открытие первейшей важности. Присмотревшись к мосту через рейд, он заметил, что по нем с Северной стороны шли, как это бывало ежедневно в последнее время, артельщики с корзинами и мешками для ротных кухонь. И вдруг кто-то остановил вереницу их посредине моста, и после недолгой остановки они повернули обратно.

— Господа! Знаете ли что?—вскричал экспансивный Боске, обратясь к окружающим.—Я готов держать какое угодно пари, что русские не станут отбивать у нас Малахова! Совсем напротив,—они приготовились угостить ужином гарнизон Севастополя там, на Северной стороне!

Это открытие чрезвычайно обрадовало прежде всех других самого Боске, но радоваться ему пришлось недолго: разорвавшимся около снарядом, пущенным с батареи Будищева, французский Ахилл был ранен в плечо и бок с надломом ребер.

Некоторое время он и лежа пытался еще отдавать приказания, наконец, обессиленный, был на носилках отправлен в тыл,—девятый французский генерал, выбывший в этот день из строя.

Что русские не собираются пока отбивать обратно Малахов, в этом убедились Мак-Магон и другие из высшего начальства на кургане, увидя, что части полков, бывших перед горжей, начинают отходить, очищая и траверсы впереди домишек и самые домишки. Как раз перед этим Боске приказал забаррикадировать горжу фашинами, старыми лафетами, телами убитых: но теперь оказалось, что в этом не было нужды.

Горчаков приехал на Корабельную не затем, чтобы распорядиться лично войсками, там собранными, и направить их на штурм Малахова. Он хотел только лично своими глазами увидеть то, в чем придется на следующий день давать отчет царю. Донесение в общих чертах складывалось уже в его голове,—нужны были только яркие, убедительные детали. Складывался также и приказ по армии, но в нем не хватало каких-то сильных слов, рождения которых он ожидал там, на месте подвигов русских солдат и офицеров пехотных частей, матросов и офицеров флота.

Но самое важное для него было все-таки самому убедиться в том, что шаг, который он вот сейчас сделает, действительно необходим.

По донесениям выходило, что из двенадцати штурмов, предпринятых противником в этот день, отбиты с большими потерями для него одиннадцать,—и это несомненная победа его армии; не отбит же только один, и это, конечно, поражение, но разве один неотбитый штурм способен перевесить одиннадцать отбитых?

К очищению Южной и Корабельной сторон все уже было им приготовлено: и мост через рейд, и баррикады на улицах, и минные работы для взрывов, и, наконец, гораздо более, чем остающиеся бастионы, сильные укрепления Северной стороны. Но в то же время ведь всего только один штурм оказался неотбитым, всего только один бастион с прилегающими к нему двумя батареями занят,—не мало ли этого для того, чтобы покидать остальные? Что скажет царь? Что скажет свет? Что скажет Россия? Европа?..

Бомбардировка гремела со всех сторон, всюду рвались снаряды,—отнюдь не безопасной была поездка Горчакова на Корабельную,—напротив, каждую минуту он рисковал жизнью, а ему, главнокомандующему, гораздо умнее было бы стоять или сидеть у окна на четвертом этаже Николаевского форта, но он снова пришел в волнение.

Холодная решительность, так удивившая в полдень и Коцебу, и всю его свиту, уступила опять место обычной для него нервозности.

Как после проигранного им сражения на Черной речке всем приближенным его казалось, что он, прогуливаясь под огнем противника, сознательно ищет смерти, так же точно было с ним и теперь.

Найдя генерала Шепелева и выслушав его доклад, что атаковать Малахов—значит идти на очень большие жертвы людьми без уверенности в победе, Горчаков тут же с ним согласился и довольно решительно дал ему приказ стянуть все войска Корабельной стороны к линии первых баррикад (на Корабельной были две линии баррикад) и защищать эту линию до последней возможности, если противник перейдет в наступление. При этом все очищаемые укрепления там, где они миниро-

ваны, приказано было взорвать, орудия привести в полную негодность.

Донесение царю было уже заготовлено в квартире Остен-Сакена; здесь, на месте, Горчаков решил, что приведенных в нем доводов к очищению Южной и Корабельной достаточно, и бывший при нем адъютант военного министра князь Анатолий Барятинский был послан с этим донесением в Петербург, к царю.

И все-таки тут же после такого решительного шага он, спешившись, тонкий, длинноногий, сгорбленный под тяжестью взятой им на себя ответственности за оставление Севастополя, одиноко и совершенно бесцельно, глядя себе под ноги, бродил по узеньким улицам Слободки, загроможденным мусором разбитых домишек, развороченным снарядами и, главное, обстреливаемым с Малахова.

Думать ему, конечно, было о чем, и прежде всего о том, как примут бойцы на бастионах и редутах, только что блестяще отбившие штурмы, его приказ об отступлении. Ведь выходило так, что то самое, за что боролись одиннадцать с половиной месяцев, а если считать со дня высадки десанта союзников в Крыму, то все двенадцать, то самое, обильно политое русской кровью и не взятое с бою противником, теперь должно быть отдано ему без боя... Зачем же было в таком случае защищать этот клочок русской земли так долго и так упорно?.. И что делать, если солдаты не поверят этому приказу? Что, если скажут они в ответ на этот приказ жестокое слово: «Измена»? И может быть, будет какая-то доля правды в этом жестоким слове?

Горчаков, прогуливаясь так самозабвенно и одиноко по улицам Корабельной, не пытался, конечно, представить себя со стороны; решая свои вопросы, действительно, тяжелые не только для его личного самолюбия, он и не ставил себе вопроса о том, каким кажется теперь другим он, главнокомандующий русской армией не только одного Крыма, но и всего юга России... Наконец, полковник Меньков, его адъютант, испугавшись за его жизнь, позаботился о том, чтобы вывести его из лабиринта и тяжких размышлений и Корабельной слободки, усадить его снова на лошадь и направить в сторону Николаевских казарм.

Приказ же Горчакова очистить бастионы и отвести войска на Северную действительно поразил гарнизон: ему не хотели верить даже офицеры, не только солдаты.

Горчаков потому-то именно и остался в одиночестве на Корабельной, что разослал всех своих адъютантов и ординарцев по бастионам и редутам одновременно. Однако старшие офицеры на укреплениях не решались даже и передать во всеуслышанье своим подчиненным приказ главнокомандующего: они посылали на соседние бастионы спра-

вляться, неужели и там получен тоже такой нелепый приказ. Но с приказами об отступлении разъезжали и адъютанты Сакена.

Особенно негодовали на Южной стороне, а солдаты, возбужденные только что одержанной победой, кричали, как и предполагал Горчаков: «Измена, братцы, измена!»

Но и в самой середине прочно занятого французами Малахова, в башне, кучка солдат Модлинского полка и матросов, с несколькими совсем молодыми офицерами и кондукторами флота тоже не хотела верить, что Малахов не только не отобьют, даже и отбивать не станут большими силами, что их не выручат, что им остается только один из двух выходов: или смерть, или плен.

После незавершенной попытки выкурить их по-африкански дымом и другой попытки—взломать потолок башни—их приказано было оставить пока, так как уйти они никуда не могли. Особо поставленные в закрытых местах часовые предупреждали проходившие мимо команды, что из башни стреляют, и команды старались держаться траверсов, способных защитить их от неустанно летевших через бойницы пуль.

Так дотянулось до шести часов вечера, когда всем на кургане стало ясно, что русские нападать на них не собираются, что открытие Боске вполне похоже на правду. Только тогда и решено было покончить с досадной кучкой храбрецов в башне, прибегнув к артиллерийскому обстрелу.

На ближайшем к дверям башни траверсе соорудили закрытие из туров для артиллерийской прислуги, втащили туда орудие и начали бить в двери гранатами.

Этого не ожидали в башне, но первую гранату обезвредили, залив ее водой; зато вторая взорвалась и ранила несколько человек, между ними и Витю Зарубина в ногу, впрочем, без повреждения кости.

Тогда поручик Юни как старший прокричал своим:

— Объявляю дальнейшее сопротивление бесполезным! Кладем оружие!

Витя был занят перевязкой своей раны, для чего пришлось оторвать рукав рубашки и разорвать его пополам вдоль при помощи зубов, и отказался выступить парламентаром, что предложил ему сделать Юни.

Кондуктор Венецкий, который был тоже ранен и тоже скинул с себя рубашку для перевязки, воткнул рубашку на штык и выставил это в дверь, как белый флаг. С траверса спустился французский офицер и подошел к двери.

— Сдаетесь?—спросил он.

— Мы—ваши пленные,—ответил Венецкий.

— Отчего же вы не сдавались раньше?—про-
ворчал француз.—Это давно бы уж нужно было

сделать... Прикажите своим людям сложить здесь, перед дверью, свое оружие.

Так стали пленниками французов четыре офицера, два кондуктора флота и человек тридцать, в большинстве раненых, матросов и солдат-модлинцев—последние защитники Малахова кургана.

— Ах, черт! Если бы я не заснул здесь...—горевал Витя, обращаясь к незнакомому ему до этого дня поручику-модлинцу, распоряжавшемуся сдачей.

Но чернявый, похожий на грека Юни, высоко вздернув левое плечо и делая затяжную гримасу, отозвался ему снисходительно:

— А что же такое могло бы с вами случиться, если бы вы не заснули здесь?.. Валялось бы, может быть, ваше тело где-нибудь во рву, и по нем пробежало бы пятьсот человек.

— У меня здесь все родные,—в Севастополе,—не понимаете вы! Отец, мать, сестры... эх! Что они будут думать?

— Напишите им из плена, вот и будут думать, как надо,—рассудил Юни.

По обилию французских войск на Малаховом Витя решил, что все уже кончено, что то же самое и на других бастионах, что Севастополь взят.

К бывшей Камчатке, куда отправляли пленных французы, он шел совершенно подавленным. Рана на ноге заставляла его хромать, но он не чувствовал особенно резкой боли: боль за Севастополь, за неудачу своей армии все-таки была гораздо сильнее. И все шли подавленные, не один он.

Однако уже по дороге к Камчатке, оглядываясь на хорошо знакомые ему бастионы Корабельной, Витя видел, что бастионы эти в русских руках. Он обратился к конвоировавшему их французскому офицеру, который был старше его, может быть, всего только тремя годами, и тот подтвердил его догадку, и сразу, узнав это, повеселела вся партия пленных.

А на Камчатке о них, последних защитниках знаменитого Малахова кургана, было доложено самому Пелисье, и с большим любопытством смотрел Витя на этого приземистого человека с заурядным, хотя и энергичным лицом, с сильной проседью в усах и эспаньолке.

Пелисье был в мундире с одинокой звездой Почетного легиона. Он был, видимо, очень доволен успехом на главном пункте штурма и успел уже поверить в открытие Боске, что русские собираются покинуть бастионы и город.

Поэтому совершенно неожиданно для Вити он, обратившись к ним, назвал их brave молодцами, сказал, что раненых из них будут лечить и даже, что он принимает на себя обязательство обратиться с письмом к князю Горчакову, чтобы тот достойно наградил всех их за храбрость.

Когда вице-адмирал, начальник штаба Черноморского флота Корнилов вынужден был подчиниться приказу адмирала, командующего всеми морскими и сухопутными силами Крыма, светлейшего князя Меншикова, приказу, воспрещающему флоту вступать в бой с флотом противника, приказу, обрекающему весь флот на бездействие, а часть его даже на уничтожение к явному торжеству враждебной эскадры, то он, Корнилов, отважный человек, участник не одного морского боя, заплакал.

— Это—самоубийство, что приказываете вы,— говорил он тогда Меншикову,—но... я обязан подчиняться вам и я... подчиняюсь...

Когда солдаты и матросы на бастионах, редутах и батареях убедились в том, что совсем не «измена» этот приказ очистить укрепления, отдать их врагам без боя, взорвать то, что защищали они, не щадя своих жизней долгие месяцы, укрепления, насаженные в глубину пропитанные кровью павших на них товарищей и через это ставшие святынею русского народа, то многие из них заплакали... А старые матросы рыдали, ругая при этом и Сакена и Горчакова.

Это были слезы мужественных людей, всегда готовых к какому угодно увечью и к смерти за то, что доверено было родиной их защите, и ведь только что, всего два-три часа назад, дрались они за эти бастионы и редуты и отбросили врага!.. Это были слезы кровной обиды, которую нужно было перенести молча. Тут воинская честь столкнулась с военной дисциплиной и должна была уступить ей.

Отвод полков начался часов в семь вечера под прикрытием орудийного дыма и неумолкающей ружейной пальбы, поднятой немногими стрелками, оставленными в целях ввести в заблуждение противника везде вдоль линии обороны.

Некоторые части, впрочем, стояли в резерве на случай, если противник в заблуждение введен не будет и начнет наступление.

Команды матросов и саперов явились на бастионы, чтобы подготовить на них пожары и взрывы и привести в полную негодность орудия.

Батарею в семнадцать крепостных орудий, стоявшую на Павловском мыске, против Павловских казарм, приказано было сбросить в бухту, но никто из строевых солдат не решался посягнуть на свою артиллерию.

— Что же это такое? Топить, стало быть, как все одно ценят?—говорили они.—Мысленное разве дело, чтобы такое приказание кто отдал?

Только ординарец Хрулева, прапорщик Степанов, которого послал сам Хрулев, набрав писарей

из штаба, кое-как выполнил этот печальный приказ.

Начинало уже смеркаться, когда, по точному расписанию, над которым много трудились Тотлебен и Васильчиков, полки, вызванные в этот день с Инкермана в помощь гарнизону крепости, стали стягиваться к Николаевской площади.

Орудийный дым к этому времени разогнало уже сильным ветром, продолжавшим дуть с моря, а света, хотя и после захода солнца, было еще вполне достаточно, чтобы союзники заметили движение больших пехотных частей по улицам с разрушенными больше чем наполовину домами.

Это вполне подтверждало открытие Боске, однако Пелисье не отдавал приказа о наступлении: он опасался, что улицы минированы, что отступающие везде оставляют гальванеров Аникеевых, у которых даже и полгода назад заложенные фугасы будут действовать исправно и грозно, как перед люнетом лейтенанта Белкина.

К одиннадцати часам вечера Николаевская площадь была сплошь покрыта ротными колоннами, но Горчакову все казалось, что еще недостаточно темно для переправы через рейд по мосту; кроме того, ветер не слабел и гнал на мост волны, так что можно было опасаться, сумеют ли войска перейти по мосту по колено в воде.

Наконец около полночи начальник курского ополчения генерал Белевцев назначен был следить за порядком переправы, и движение войск на Северную началось.

Еще засветло приказал Горчаков затопить все парусные суда, и матросы застучали в их трюмах топорами, открывая заделанные пробойны. Однако корабли, переживши почти годовую осаду, медленно, будто удивленно, погружались в воду. Некоторые из них вполне затонули только к утру... как раз в тот день, когда в Черное море вошли новые военные суда французов,—броненосцы.

Светящиеся снаряды, пущенные с неприятельских батарей, дали знать интервентам, что гарнизон отступает по большому мосту через рейд, и поднялась учащенная стрельба, но мост почему-то оставался неуязвимым: ядра и бомбы давали то перелеты, но недолеты, и гранаты рвались над водой...

По колени в воде и с головы до ног обдаваемые брызгами бившейся о бревна волны, как под дождем, вброд шли целую ночь солдаты многих полков,—целая армия, отнюдь не побежденная и все-таки отступающая.

Мост, длиною в версту,—узкий настил бревен и досок, скользкий, гнущийся под ногами, того и гляди утонет или уплывет из-под ног, и вот плыви тогда в полном снаряжении, кто как умеет, а глубина рейда посредине—четырнадцать сажен.

Шли угрюмо. Иногда кричал кто-нибудь из записных ротных шутиков, звонкоголосый:

— Братцы! Мост никак лопнул!

Но шутки не оживляли. Шли и ворчали под нос:

— Лопнул, и чорт с ним! Назад пойдем, когда такое дело...

Ретиво взвизгивавший было устанавливал порядок движения, скоро охрип от крика генерал Белевцев. На мост стремились попасть фушштатские тройки, коляски, подводы, груженные крупой, мукой... Кто-то сокрушался, что остается на складе сорок пять голов сахару, и приставал к Белевцеву, чтобы дал он приказание фушштатам его забрать, а Белевцев отвечал хрипуче и с полным отчаянием:

— Ах, как же вы не поймете, что это совсем не мое дело, совсем не моя обязанность, совсем, ну, совсем... Сахар какой-то, когда тут войска,—чорт знает что!

Толпились около пристани и обыватели с узлами, те самые бесстрашные матроски, которые поили водой солдат на третьем бастионе и на Малаховом; они теперь тоже покидали Севастополь, который уже горел, подожженный не чужими бомбами и ракетами, а своими сernьяками, в котором на бастионах то здесь, то там оглушительно взрывались пороховые погреба, держа противника в отдалении, называемом почтительным.

Сам Горчаков был в это время в Николаевских казармах, и все генералы его штаба,—Ушаков, Бутурлин, Сержпутовский, Бухмейер,—были при нем. Коцебу как начальник штаба деятельно писал, подготавливая подробное донесение царю, в которое включались теперь уже и строки о переправе гарнизона... Покончив с этим, он набрасывал вчерне приказ по армии в связи с окончанием обороны Севастополя.

Он сидел отдельно за письменным столом Остен-Сакена; на его небольшом подвижном личике, тускло освещенном оплывающими свечами, видна была такая озабоченность, что даже Горчаков, обращаясь к кому-нибудь из генералов с вопросом, старался говорить вполголоса.

В обширном кабинете Сакена находилось много генералов, кроме штабных: тут были и Семякин, и Хрущов, и Шульц—начальник второго отделения, в которое входил четвертый бастион, и другие, а также адмиралы Новосильский, Панфилов, но все они сидели в креслах или на стульях; иные из них даже дремали, одолеваемые усталостью.

Один только Горчаков беспокойно ходил взад и вперед по комнате, звякая шпорами. Иногда он подходил к окну, в которое ничего, кроме темноты, не было видно, и задавал потом беспокоивший его неотступно вопрос то Семякину, то Шульцу, то Хрущову:

— А вдруг противник начнет нас преследовать на рассвете, а мы до утра не успеем переправить войска, а?

Один, вздрогнув от прерванной дремоты и уло-

вив только окончание вопроса, отвечал успокоительно:

— Успеем, ваше сиятельство! Перейдем авось.

Другой, также вздрогнув и мгновенно поднявшись, отвечал на первую половину вопроса, не уловив вторую:

— Раз противник отбит, то он ведь не решится преследовать, ваше сиятельство.

То и дело посылал главнокомандующий то одного, то другого из своих многочисленных адъютантов и ординарцев посмотреть и доложить потом немедленно, что делается на мосту и в других пунктах переправы, и то и дело открывались и закрывались двери.

Войска же переправлялись всеми возможными средствами, кроме моста: все, что могло передвигаться по воде при помощи пара или весел, служило этой цели.

Один из иностранных военных писателей того времени назвал отступление многотысячного севастопольского гарнизона «гениальным по выполнению, равным гениальному штурму Малахова кургана».

Конечно, ни в том, ни в другом из этих двух военных действий, ни в наступлении на Малахов, ни в отступлении армии из Севастополя, не было ничего гениального, но во всяком случае одно стоило другого по той степени продуманности, кропотливости и упорства, с какою были они проведены, а помешать отступлению, совершенному в темную ночь, Пелисье так же не мог, как не мог славный гарнизон Малахова помешать целой дивизии французов, сосредоточенной в нескольких десятках шагов от переставших существовать укреплений, занять единым неожиданным броском курган.

Когда через мост прошли крупные воинские части, Белевцев пустил легкую полевую артиллерию, потом фушштатские тройки, подводы, и по мере того, как подходили новые полки и команды из тех, которые оставались прикрывать отступление, мост принимал их. Последним переправился на тот берег, к Михайловскому форту, Одесский полк, занимавший баррикады на Корабельной,—это было уже в седьмом часу утра,—а перед ним прошел через мост Тобольский полк, простоявший всю ночь на баррикадах Южной стороны, исполняя личный приказ Горчакова не пропускать противника, хотя бы всем пришлось умереть на этом месте.

Пожары на бастионах, где горели блиндажи, и взрывы пороховых погребов производились методически, по плану, разработанному заранее, чтобы этих пожаров и взрывов хватило до полного рассвета, когда думали закончить и действительно закончили переправу.

Раненых, не способных двигаться, которых набралось несколько тысяч человек, перевезли на

пароходах, работавших всю ночь, причем ни один из них не пострадал от артиллерийского обстрела.

Последний день обороны Севастополя был днем Горчакова, его удачи,—и, успокоившись, наконец, за судьбу гарнизона, он сам переправился на Северную, когда уже светало, когда город горел торжественно, как Москва в двенадцатом году, и когда из общего моря пламени в облако дыма вонзался вдруг ярчайший огненный столб и рассыпался, как фейерверк: это взлетали бомбы из бомбохранилищ.

Зато к концу ночи артиллерия интервентов совершенно умолкла.

Можно, конечно, без особого труда опровергнуть мнение об одинаковой гениальности действий Пелисье и Горчакова в день 27 августа—8 сентября, но что день этот и для того и для другого был днем исключительной удачи,—это бесспорно.

Из генералов последними оставили Севастополь трое: князь Васильчиков, Хрущов и Бухмейер,—это было в семь утра.

— Ну, что же, кажется, все уже перебрались?—обратился Бухмейер к Васильчикову, целую ночь распоряжавшемуся подтягиванием войск к мосту.

— По-моему, все уж,—ответил устало Васильчиков.

— Да ведь никто и не подходит сюда больше,—оглядевшись, сказал Хрущов.

— В таком случае я прикажу разводить мост,—решил Бухмейер, и люди, которые были подготовлены к этому заранее, принялись разводить сооружение, сыгравшее в последнюю половину августа в Севастополе исторически огромную роль.

Как просто наводили этот мост, так же просто принялись и разводить его. С противоположного берега рейда, от Михайловского форта, к каждому из шести участков моста был протянут канат, и за каждый конец каната на том берегу взялось по сто человек солдат.

Первой была заворочена и оттянута в бухту пристань, идущая от Николаевского форта; когда ее потащили, перехватываясь руками, на другой берег, Бухмейер замахал платком, давая знать другой сотне рабочих, чтобы тащили другой участок, состоявший из четырнадцати плотов, а сам перешел на третью.

Так один за другим поплыли на Северную плоты, чтобы ни одного бревна не досталось интервентам. А на Северной плоты разобрали на другой же день и отвезли, так что французы были чрезвычайно удивлены потом, когда вошли в оставленные им руины Севастополя, которые еще дымились, не увидев не только диковинного моста через морской залив, сооруженного на их глазах со сказочной быстротой, но даже ни одного из бревен, которые они называли «чудовищными».

Дворянское собрание и красивый дом морской библиотеки, из которой все книги были своевременно вывезены на Северную стараниями моряков, огромный Павловский форт, морские казармы и другие здания больших размеров и разных назначений были взорваны командами матросов уже после того, как развели мост и кончилась переправа на пароходах, катерах, шаландах и яликах.

Теперь уже на все вообще здания оставленного врагам Севастополя смотрели с Северной стороны как на чужое имущество, а чужого, вражеского, было уже не жаль.

Напротив, каждый подобный, потрясавший землю взрыв, похожий на извержение вулкана, вызывал радостные восклицания солдат.

Десятки тысяч огромных тесаных белых камней, из которых выводились когда-то стены этих зданий, взлетали высоко в тучу черного дыма и потом падали на землю щебнем... А город пылал во всю свою ширину, «его» уже теперь город—противника.

Даже и Коцебу, наблюдавший с Северной эти взрывы и этот пожар, забыл на время и текст донесения в Петербург, и текст приказа по армии, и свое семейное горе—тяжелое ранение племянника-лейтенанта.

Обращаясь к генералу Бутурлину, он говорил пискливо-возбужденно:

— Какая картина, а? Вот это—картина!.. Что же такое «Последний день Помпеи»¹ Брюллова по сравнению с этой картиной!.. Ах, какая жалость, что нет теперь со мною моего брата! Какую потрясающую вещь мог бы он создать!.. Бессмертную, ни с чем не сравнимую!.. И вот я, не художник, все это вижу, а он... лишен этой единственной возможности в своем Мюнхене!.. И заменить его здесь никем другим было бы совершенно нельзя. Разве есть в России художник-баталист, равный по таланту моему брату? Вы никого мне не назовете, потому что другого такого же нет в России!

Не только жгли и взрывали чужой уже теперь Севастополь команды матросов и саперов. Они обшаривали все сколько-нибудь сохранившиеся от пожара большие дома, принадлежавшие раньше состоятельным людям, и наскоро разбивали в них кирками все, что имело бы ценность для интервентов: зеркала, шкафы красного дерева, статуэтки, рояли... Лезли в погреба, нет ли где-нибудь еще запаса дорогих вин, чтобы часть вина наскоро выпить для подкрепления, остальное же—будь то бутылки или бочонки,—перекрошить вдребезги, а

¹ «Последний день Помпеи»—картина художника К. П. Брюллова (1799—1852), доставившая ему громкую известность. Сюжет картины—гибель города Помпеи, в 79 г. засыпанного при извержении Везувия.

потом уже чиркать серняками о шершавые стены или о подошвы своих сапог.

Если Москву в двенадцатом году никто сознательно не поджигал, а сгорела она, деревянная, просто от недосмотра за разводными на ее дворах кострами, как утверждают иные историки, то Севастополь, этот каменный город с черепичными крышами, был сожжен и взорван руками своих же защитников, чтобы одни только головешки и мусор достались врагам.

Уничтожали и жгли продовольственные склады,—муку, крупу и тот самый головной сахар, о котором сокрушался кто-то ночью, ища и не находя способов и средств его вывезти. Действовали так команды матросов целый день двадцать восьмого августа, не опасаясь, что могут захватить их передовые отряды союзников: союзники заняты были тем, что считали раны, причиненные им накануне, и не двигались с места. А когда с наступлением сумерек одиночным порядком и небольшими партиями стали проникать в оставленные развалины русской Трои мародеры-зуавы, то единственное ценное, что могли они отыскать, были ордена Нахимова во взломанном ими склепе адмирала-героя, который при виде бревен, приготовленных для моста через рейд, говорил возмущенно: «Какая подлость!»—а пароходы называл презрительно «самоварами».

Но адмирал-спартанец слишком много требовал от человеческих сил. Гораздо снисходительнее его был Александр II, приславший строителю моста Бухмейеру «всемилодивейший рескрипт», в котором была фраза: «Ты спас мою армию!» И «самовары», которых всего было шесть, перевезли на Северную в ночь исхода немногим меньше людей, чем их прошло через мост.

Но вслед за линейными кораблями пришел смертный час и «самоварам», доставившим столько неприятностей интервентам за долгие месяцы осады.

И в день штурма, в последний день жизни Севастополя, четыре из них: «Владимир», «Херсонес», «Одесса» и потом «Громоносец», войдя в Килебухту, громили французов на подступах ко второму бастиону дальней картечью и гранатами; а два остальных—«Эльбурс» и «Бессарабия»—из Корабельной бухты обстреливали занятый Малахов... Маленькие, колесные, со слабой артиллерией, они имели удалые экипажи и лихих командиров.

Их затопили к вечеру двадцать восьмого августа, все, кроме «Херсонеса». Командир «Херсонеса», боевой капитан 2-го ранга Руднев, воспользовался тем, что волнение на рейде прибило пароход к мели, и он сел так крепко, что «Владимир», его постоянный товарищ по подвигам, хотя и долго и добросовестно трудился, чтобы стащить его с мели, все-таки не мог этого сделать.

Так и не удалось его утопить. Но зато приказано

было адмиралом Юхариным сжечь его. Прогнев этого приказа решительно восстал Руднев.

— Помилуйте, зачем же жечь нам свое добро?—резонно говорил он.—Не лучше ли разобрать его и лес пустить в дело на блиндажи, например? Да, наконец, если его и не разбирать даже, то чем он нам мешает, что лежит себе на боку? Отдыхает, и пусть себе отдыхает,—достаточно поработал и отдых свой заслужил... А впоследствии, может быть, нам он еще пригодится, как знать?

Юхарин махнул рукой на этот недотопленный остаток славного флота, и оказалось, что Руднев был вполне прав. Приватившийся набок к мели «Херсонес» так и пролежал весь остаток Крымской кампании, а по заключении мира был поднят, чтобы снова резать бойкими колесами волны Черного моря.

Длиннейшее здание Николаевских казарм, хотя и взрывалось наряду с другими, но пострадало от взрыва мало, что приписывали отчасти большой прочности этого сооружения, отчасти, и с большим вероятием, недостаточной силе мин, заложенных притом и не подо всеми его устоями; а мост через Южную бухту был уничтожен, как только надобность в нем миновала.

Черный дым занавесил к вечеру дня двадцать восьмого августа дотлевающий Севастополь и от глаз его защитников, разбиравшихся по полкам, батальонам, ротам, командам, экипажам на Северной, и от глаз его врагов на Сапун-горе.

В этот день совершенно необычайная тишина упала на место состязания артиллерий русской и западноевропейской, состязания, длившегося почти год. Даже и ружья молчали в этот день там, где противники могли обмениваться ружейными пулями,—на Черной речке.

Понятна, конечно, была тишина эта.

Огромные потери, которые понесли интервенты при штурме, подсчитывались, приводились в известность и для реляций и для себя. Хоронили убитых, отправляли в тыл раненых, наскоро переформировывали полки...

Но вместе с тем главнокомандующие союзных армий не могли не задуматься над тем, что огромнейшие усилия и жертвы, затраченные четырьмя союзными державами Европы на совсем маленьком, ничтожно маленьком клочке огромнейшей, как Великий океан, русской земли, привели к ничтожным по существу результатам, а русская армия, переправившись на другой берег Большой бухты, заняла на третьей, Северной стороне того же Севастополя позиции гораздо более сильные, чем те, наскоро сооруженные, которые уступила она после упорнейшей почти годовой борьбы...

Сколько же еще времени, средств и человеческих жизней потребуется на то, чтобы овладеть этой третьей стороной, где артиллеристы заняли уже свои места у новой тысячи орудий? И удастся

ли это?.. И нужно ли это?.. А если нужно, то кому именно нужно и зачем нужно?..

Главнокомандующие армии англо-французов узнали уже, что представляет собой русский солдат, защищающий родину. Они не преминули дать понять это и своим правительствам, отправляя донесения о штурме восьмого сентября.

3

Генерал Симпсон, главнокомандующий армии королев Виктории, вынужден был послать такую депешу:

«Суббота, 8 сентября, 11 часов 35 минут вечера. Союзники атаковали севастопольские оборонительные работы сегодня в полдень. Штурм Малахова увенчался успехом, и укрепление это во власти французов. Наша атака на редант не удалась».

Генерал Пелисье телеграфировал к концу дня 8 сентября:

«В полдень произведен штурм Малахова. Этот редут и второй бастион были взяты нашими храбрыми солдатами с восхитительным увлечением, при криках «Vive l'empereur!» Мы тотчас стали стараться утвердиться на этих пунктах и успели утвердиться на Малаховом. Мы не могли удержать второго бастиона по многочисленности неприятельской артиллерии, уничтожившей в самом начале все наши работы на этом пункте. Но эта артиллерия будет разбита немедленно, лишь только устроится наше положение на Малаховом. Та же участь постигнет и редант, исходящий угол которого наши храбрые союзники взяли с обычным для них мужеством. Но, как и на втором бастионе, они должны были уступить неприятельской артиллерии и сильным резервам. При виде наших орлов, парящих над Малаховым, генерал де-Салль произвел две атаки на Центральный бастион (пятый). Они не удалась; наши полки возвратились в свои траншеи. Потеря наша значительна; я еще не могу ее определить, но она вполне вознаграждена нашим успехом».

Если телеграмма Симпсона была откровенно уныла, то Пелисье пришлось прибегнуть к явной лжи, свалив неудачу войск на втором бастионе на русскую артиллерию, которой там уже почти не было. О том же, что штурм был отбит исключительно пехотными частями, он решил почему-то умолчать.

Телеграмма Горчакова царю, посланная в десять часов вечера 27 августа (8 сентября), была такова:

«Войска вашего императорского величества защищали Севастополь до крайности, но более держаться в нем за адским огнем, коему город подвержен, было невозможно. Войска переходят на Северную сторону, отбив окончательно 27 августа шесть приступов из числа семи, поведенных неприятелем на Южную и Корабельную стороны.

Только из одного Корнилова бастиона не было возможности его выбить. Враги найдут в Севастополе одни окровавленные развалины».

Горчаков сдержал свое слово; Пелисье же, прогулявшись потом по этим развалинам и представив себе на месте более полно и правдиво картину действий своих, английских и русских войск на бастионах, писал в подробнейшем рапорте на имя военного министра о штурме Малахова:

«1-я бригада дивизии Мак-Магона: 1-й зуавский полк впереди всех, потом 7-й линейный, имея влево от себя 4-й стрелковый батальон,—бросились на левый фас и на исходящий угол Малахова. Ширина и глубина рва и высота эскарпа замедлили движение наших войск, однакоже они смело достигли неприятельских парпетов. Русские схватились с ними на кургане и, по недостатку ружей, бьются лопатами, кирками, камнями, банниками и всем, что попадает под руку. Произошла одна из тех кровавых стычек, в которой только неудержимая стремительность наших людей могла дать перевес над противником. Солдаты вскочили в укрепления, оттеснили русских, старавшихся не уступать им ни шагу, и знамя Франции заколыхалось над Малаховым».

Неудавшийся штурм на пятый бастион изображался им так:

«На левом фланге, по данному сигналу, колонны дивизии Левальяна, предводимые генералами Кустоном и Трошю, бросились на левый фас Центрального бастиона и его левый люнет. Несмотря на град пуль, ядер и картечи, после краткой и живой схватки мы проникли в оба укрепления. Но противник, скрытый за траверсами, стоявшими последовательно один за другим, держался очень крепко. Убийственный ружейный огонь был направлен со всех возвышенных пунктов. Крепостные орудия других верков и полевая артиллерия, расставленная кругом в разных местах, извергали картечь и поражали наших. Генералы Кустон и Трошю, будучи тотчас ранены, принуждены были сдать командование. Генералы Риве и Бретон были убиты. Множество взорванных фугасов замедлили наше стремление. Наконец, прибывшее к неприятелю сильное подкрепление заставило наши войска очистить занятые ими верки и ретироваться к ближайшим плацдармам».

В этом рапорте Пелисье подвел, наконец, итоги потерям союзных армий за время штурма восьмого сентября:

«Мы потеряли в этот приступ убитыми: генералов 5, старших офицеров 240, субалтерн-офицеров 116, унтер-офицеров и рядовых 4489; ранеными: генералов 4, старших офицеров 20, субалтерн-офицеров 224, унтер-офицеров и рядовых 4259; контуженными: генералов 6; без вести пропавшими: старших офицеров 2, субалтерн-офицеров 8, унтер-офицеров и рядовых 1400».

Списком этим охвачено до одиннадцати тысяч человек, но он был, конечно, далеко не полон: Пелисье не хотелось, конечно, слишком омрачать в Париже свой успех. По сведениям неофициальных потери союзников в этот день доходили до пятнадцати тысяч. Но если можно было произвольно сократить список выбывших из строя солдат, то сделать подчистку в списке убитых и раненых генералов и офицеров было нельзя: пятнадцать генералов и шестьсот офицеров,—таких потерь еще не имела армия интервентов ни в одном сражении в Крыму.

И чувствуя, конечно, что приводимые им цифры производят угнетающее впечатление и в Париже и в Лондоне, Пелисье добавлял:

«Эти потери очень велики; многие между ними заслуживают особенного сожаления, но все-таки они менее страшны, нежели можно было ожидать».

Горчаков тоже исчислил свои потери при штурме в десять-одиннадцать тысяч человек, знаменательно также и то, что количество пленных, взятых той и другой стороною, оказалась почти равным.

4

Только тридцатого августа сильный дождь, несколько часов подряд шедший над Севастополем, потушил пожар. Исчез дым, обнажились почерневшие развалины, между которыми сновали солдаты в цветных мундирах.

Но к этому дню все уже разобралось на Северной, стало на свои места, подсчиталось, подчистилось, приготовилось к новым боям за... Севастополь. А во всех ротах и экипажах читался в этот день приказ по армии, подписанный Горчаковым:

«Храбрые товарищи! 12 сентября прошлого 1854 года сильная неприятельская армия подступила под Севастополь. Невзирая на численное превосходство, ни на то, что город сей был лишен искусственных преград, она не отважилась атаковать его открытою силой, а предприняла правильную осаду.

С тех пор при всех огромных средствах, коими располагали наши враги, беспрестанно подвозившие на многочисленных судах своих подкрепления, артиллерию и снаряды, все усилия их преодолеть ваше мужество и постоянство в продолжение одиннадцати с половиною месяцев оставались тщетными. Событие беспримерное в военных летописях, чтобы город, наскоро укрепленный в виду неприятеля, мог держаться столь долгое время против врага, коего осадные средства превосходили все принимавшиеся донныне в соображение расчеты в подобных случаях.

И при таких-то огромных средствах, после девятимесячного разрушительного действия артиллерии громадных размеров, неприятель, неоднократно прибегая к усиленному бомбардированию

города, выпуская каждый раз против оного по несколько сот тысяч снарядов, увидел безуспешность сей меры и решился, наконец, овладеть Севастополем с боя.

6 июня сего года он устремился на приступ с нескольких сторон, храбро ворвался в город, но был встречен вами с неустрашимостью и отбит на всех пунктах самым блистательным образом.

Неудача эта вынудила его обратиться попрежнему к продолжению осадных работ, умножая свои батареи и усугубляя деятельность в ведении траншейных и минных работ.

Таким образом, со дня достославного отбития вами штурма 6 июня протекло еще более двух с половиною месяцев, в продолжение коих, одушевленные чувством долга и любви к отечеству, вы геройски оспаривали у неприятеля каждый аршин земли, заставляя его подвигаться вперед не иначе, как шаг за шагом, платить потоками крови и немозерною тратой снарядов за одну сажень пройденного пространства. При такой упорной защите мужество ваше не только не ослабевало, но доходило до высшей степени самоотвержения.

При всем том, если неустрашимость и терпение ваше беспредельны, то есть вещественные пределы возможности сопротивления. По мере приближения неприятельских подступов, батареи их также сближались одна к другой; огненный круг, опоясывавший Севастополь, с каждым днем стеснялся более и более и все далее извергал в город смерть и разрушение, поражая храбрых защитников его.

Пользуясь таким превосходством огней на самом близком расстоянии, неприятель после усиленного действия артиллерии в продолжение двадцати дней, стонвшего ежедневно нашему гарнизону потери от пятисот до тысячи человек, 24 августа начал адское бомбардирование из огромного числа орудий небывалых калибров, следствием коего было ежедневное разрушение наших окопов, уже с большим трудом и с самыми чувствительными потерями возобновлявшихся по ночам под безостановочным огнем неприятеля. В особенности главнейший из сих верков редут Корнилова на Малаховом кургане, составлявший ключ Севастополя, как пункт, господствующий над всем городом, претерпел значительные неисправимые повреждения.

В таких обстоятельствах продолжать оборону Южной стороны значило бы подвергать ежедневно бесполезному убийству войска наши, сохранение коих ныне более, чем когда-либо, нужно для государя и России.

Поэтому с прискорбием в душе, но вместе с тем с полным убеждением, что исполняю священный долг, я решился очистить Севастополь и перевести войска на Северную сторону, частью по устроенному заранее мосту, частью на судах.

Между тем, 27 августа неприятель, видя перед собою полуразрушенные верки, а редут Корни-

лова с засыпанными рвами, предпринял отчаянный приступ на бастионы: второй, Корнилов и третий; около трех часов спустя на пятый и редуты Белкина и Шварца!..»

Изложив вкратце ход дела 27 августа и результаты его, достаточно известные войскам, Горчаков писал далее:

«С наступлением темноты я приказал войскам отступить по сделанной заранее диспозиции.

Опыты мужества, оказанные вами в сей день, поселили такое уважение к вам, храбрые товарищи, в самом неприятеле, что он, хотя должен был заметить ваше отступление по взрывам наших пороховых погребов, не только не преследовал вас колоннами, но даже почти вовсе не действовал своею артиллериею по отступающим, что мог бы сделать совершенно безнаказанно.

Храбрые товарищи! Грустно и тяжело оставить врагам нашим Севастополь, но вспомните, какую жертву мы принесли на алтарь отечества в 1812 году. Москва стоит Севастополя! Мы ее оставили после бессмертной битвы под Бородином. Тридцатисорока-девятидневная оборона Севастополя превосходит Бородино!

Но не Москва, а груда камней и пепла досталась неприятелю в роковой 1812 год. Так точно и не Севастополь оставили мы нашим врагам, а одни пылающие развалины города, собственно нашею рукою зажженного, удержав за нами честь обороны, которую дети и внуки наши с гордостью передадут отдаленному потомству.

Севастополь приковывал нас к своим стенам. С падением его мы приобретаем подвижность, и начинается новая война, война полевая, свойственная духу русского солдата...

Храбрые воины сухопутных и морских сил! Именем государя императора благодарю вас за вашу твердость и постоянство во время осады Севастополя!..»

А вскоре после этого приказа пришел и приказ по армии и флоту самого царя:

«Долговременная, едва ли не беспримерная в военных летописях оборона Севастополя обратила на себя внимание не только России, но и всей Европы. Она с самого почти начала поставила его

защитников на ряду с героями, наиболее прославившими наше отечество. В течение одиннадцати месяцев гарнизон севастопольский оспаривал у сильных неприятелей каждый шаг родной, окружавшей город, земли, и каждое из действий его было ознаменовано подвигами блистательнейшей храбрости. Четырекратно возобновляемое жестокое бомбардирование, коего огонь был справедливо именуем адским, колебало стены ваших твердынь, но не могло потрясти и умалить постоянного усердия защитников их! С неодолимым мужеством они поражали врагов или гибли, не помышляя о сдаче. Но есть невозможное и для героев.

Скорбя душевно о потере столь многих доблестных воинов, принесших жизнь свою в жертву отечеству, я признаю святою для себя обязанностью изъявить, от имени моего и всей России, живещую признательность гарнизону севастопольскому за неутомимые труды его, за кровь, пролитую им в сей, продолжавшейся почти целый год, защите сооруженных им же в немногие дни укреплений...

Имя Севастополя, столь многими страданиями купившего себе бессмертную славу, и имена защитников его пребудут вечно в памяти и сердцах всех русских совокупно с именами героев, прославившихся на полях Полтавских и Бородинских, в битвах под Чесмой¹ и Синопом».

Приказы эти были прослушаны с надлежащим вниманием, и защитники Южной и Корабельной сторон принялись за укрепление новыми батареями, валами и блиндажами Северной стороны, и скоро через широкий Большой рейд, из вод которого выглядывали здесь и там мачты затопленных кораблей, начали летать с одного берега на другой приветственные бомбы и гранаты.

Однако вяло уже, устало начали теперь постреливать интервенты и с большой оглядкой на Париж,—не заскрипят ли там по-особому желанные перья дипломатов: слишком трудной, слишком вязкой, слишком непроходимой оказалась русская земля и очень вреден для здоровья крымский климат.

¹ Чесма—турецкий порт в Малой Азии; русский флот под командованием А. Г. Орлова разбил в 1770 г. в бухте Чесме турецкий флот и сжег его.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Знаменательный день 27 августа (8 сентября) был в одинаковой степени днем удачи главнокомандующих двух враждебных армий, генералов Пелисье и Горчакова. Одному удалось, наконец, после года усилий французских и английских правительств и войск довести другого до твердой решимости очистить Севастополь; другому удалось совершенно беспрепятственно вывести из крепости сорокатысячный гарнизон, а самый город превратить, по примеру Москвы двенадцатого года, в пылающие руины.

В одинаковой степени и тому и другому из главнокомандующих казалось после этого, что война пришла уже к естественному своему концу. То, из-за чего была она поднята, осуществилось: Севастополь был разрушен, Черноморский флот исчез в глубине Большой бухты.

Пелисье говорил убежденно:

— Дальше в Крым нам двигаться незачем... Что нам завоевывать там? Безводные степи?

Горчаков говорил успокоенно:

— Теперь мы занимаем позиции очень прочные... Главное же, что мы не прикованы к одной географической точке, очень к тому же неудобной для защиты с суши.

И желая немедленно осуществить эту свободу действий, перенес главную квартиру свою с Инкерманских высот в Бахчисарай.

Им обоим было виднее то, что произошло перед их глазами, но совсем иначе представился день падения черноморской твердыни из европейских столиц: Парижа, Лондона, Вены, Константинополя, Берлина, Стокгольма, из Петербурга и Москвы наконец.

В Севастополе старом и в Севастополе новом—на Северной стороне—установилось спокойствие, и если велась еще ленивая пальба через бухту, то исключительно для проформы, для видимости продолжения военных действий. А в столицах Европы, чуть только докатилась до них весть о взятии Малахова кургана, начался ажиотаж: там давно ожидаемое произвело впечатление внезапного взрыва; одних чрезвычайно окрылило, других очень встревожило, третьих опечалило, но перед всеми одинаково открыло разом новые горизонты.

Это был действительно переломный момент большой силы, заставивший встряхнуться и оглядеться кругом даже и неополитиков.

В Стокгольме, который не мог простить России Аландских островов¹, начали громко кричать о том, что Швеции необходимо теперь же пристать к коалиции Франция—Англия—Турция—Пьемонт, чтобы не упускать случая захватить острова, а может быть, прирезать и Финляндию по реку Кюмень.

В Константинополе именно теперь ясно стало для всех, что война с Россией ведется западными державами во имя чего же, как не во имя интересов Турции, а между тем интересы эти страдают совсем не в Крыму, а на границе Турции с Кавказом, где осаждена русскими войсками крепость Карс, где они угрожают Арзруму... Значит, именно сюда, на юг Кавказа, должен быть отправлен морем корпус Омера-пашы, которому совершенно нечего делать теперь в Крыму, где, впрочем, он ничего не делал и раньше за все время войны, только усиленно вымирал от холеры, тифа, дизентерии и других эпидемий.

¹ Аландские острова, расположенные в Ботническом заливе, были заняты русскими зимой 1808—1809 г. во время войны со Швецией, которая кончилась присоединением к России Финляндии до реки Торнео.

В Берлине военная партия, возглавляемая братом больного прусского короля, Вильгельмом, будущим победителем Наполеона III и объединителем Германии, еще выше подняла голос против остатков политической опеки со стороны России.

В Вене очень обеспокоились, как бы Франция, утомленная и истощенная продолжительной и кровавой войной, не вступила в мирные переговоры с Россией помимо нее, истратившей на одну оккупацию Молдавии и Валахии свыше миллиарда франков.

А в Париже действительно начинали уже очень и очень тяготиться войной в Крыму. Она обернулась совсем не таким легким делом, каким представлялась год назад маршалу Сент-Арно. Написав тогда в Париж: «Через десять дней ключи от Севастополя будут в руках императора. Теперь империя утверждена, и здесь ее крестины...» — этот красноречивый предусмотрительно умер, и прах его покоился в Доме инвалидов в соседстве с прахом Тюрэнна и Наполеона I, а «крестины империи», прежде всего, чрезвычайно затянулись, а затем стоили так много, что трещали финансы Франции, и полубанкротом оказалась ее военная промышленность.

Но в то же время успех оставался успехом и настойчиво призывал многие горячие головы около Наполеона III к новым успехам, которые мерещились им издали. Поэтому император Франции опять вернулся было к своему прежнему проекту перенесения войны внутрь Крыма, а плешивенький братец его, герцог Морни, окрыленно пустился в новые биржевые авантюры.

Ликования Лондона по случаю победы в Крыму были гораздо менее шумны, чем ликования Парижа, так как телеграмма главнокомандующего Симпсона говорила о поражении, не о победе английских войск при штурме Большого реданта. Но чем сильнее ударило это по национальному самолюбию англичан, тем сильнее всюду, — и в сен-джемском дворце, и в печати, и в обществе, — раздавался голос за продолжение войны с Россией, за разрушение Николаева с его судостроительной верфью, за превращение в руины цветущего коммерческого порта Одессы, за активные действия против Кронштадта и Петербурга, за более строгое проведение блокады всех русских портов...

А между тем ни одно из западных государств так не страдало от блокады русских портов, как сама Англия, являвшаяся самым крупным покупщиком русского хлеба и прочих сельскохозяйственных продуктов, а кроме того, и парусины, не имеющей себе равной по добротности, так что блокада России являлась в то же время и самоблокадой Англии. Ей приходилось покупать русское сырье из третьих рук, у прусских купцов, платя им полуторные цены. Пруссия же нажива-

лась на Крымской войне и непосредственно, продавая России порох и другие боеприпасы.

Но проявлять воинственный пыл диктовала Англии печальная необходимость: застрельщица войны, она очутилась непосредственно после падения Севастополя в положении проигравшей войну, так как все успехи в этой войне выпали на долю русских и французов, на долю же английской армии пришлось только одни неудачи. Точно так же и хваленая английская промышленность не в состоянии оказалась справиться с теми громадными заказами, которые предъявила к ней первая в новейшей истории Европы продолжительная позиционная война.

Эгоистично выбрал лорд Раглан для стоянки английского флота Балаклавскую бухту, а для основной стоянки сухопутных войск Балаклаву, предоставив французам, своим союзникам, устраиваться как и где им удобнее, только не в Балаклаве. Но от Балаклавы до английских позиций было двенадцать километров, и это небольшое как будто расстояние оказалось совершенно непреодолимым для англичан со всею их техникой: склады их в Балаклаве ломились от всего необходимого фронта, но фронт во всем испытывал голод, и целых семь месяцев английское военное ведомство строило узкоколейку да так и не достроило, — пришлось передать это дело подрядчику, который закончил его уже перед концом осады.

Обозов в английской армии совсем не водилось, почему ни к каким маневренным действиям она не была способна. Она была способна только к тому, чтобы усесться плотно невдалеке от морского берега, чтобы ни в коем случае не терять из виду свою эскадру, и начать пальбу из орудий и штуцеров. Это именно она и делала под Севастополем, но весь ход войны, о котором оповещали Европу корреспонденты английских же газет, не имевших над собою цензоров в силу свободы слова, убеждал и убедил общественность Европы и Америки, что Англия без помощи Франции не могла бы и заикнуться о войне с Россией.

Но ведь Англия никогда не проигрывала войн, какие вела, — это было известно всем из истории. Отсюда делался естественный вывод, что заканчивать войну неудачной атакой и неудачным штурмом Большого реданта неудобно, неслыханно, постыдно, — значит, надо продолжать ее вплоть до громкой победы английского оружия, — такой, например, как веллингтонова победа при Ватерлоо.

И первое, что сделало английский военный министерство после падения Севастополя, — послало приказ главнокомандующему Симпсону принять меры к обзаведению обозом, необходимым для наступления внутрь Крыма; флоту же, отправившему в Крым с начала войны уже несколько миллионов пудов артиллерийского и инженерного груза, приказано было готовиться к новым рейсам

туда же: английское правительство не скупилось на сильные жесты, чтобы показать континентальной Европе, что Англия только еще входит во вкус войны с северным медведем, только еще разворачивает свои необъятные ресурсы, только еще «точит сабли»...

2

Москва ахнула единой грудью, как только узнала об оставлении Севастополя. Ермолов как сидел в кресле, так и остался сидеть на несколько часов подряд: не мог подняться, отнялись ноги. Рычал, как старый лев, в бессилии, качал ошеломленной головой, вытирал слезы красным фуляром...

Славянофил Кошелев Александр Иванович, бывший тридцатого августа именинником, созвал к себе на обед многочисленных гостей. И гости уселись за длинный стол, и уже подано было первое блюдо, как новый запоздавший гость, крупный чиновник московского почтамта, войдя, сказал громко:

— Знаете ли, какая ужасная новость, господа? Ведь Севастополь-то оставлен нами и горит! Телеграфическая депеша от Горчакова!

И все тут же вскочили из-за стола и разошлись.

Погодин записал об этом в своем дневнике так: «Вдруг, за обедом вскрикивают известие, что Севастополь взят. Послал за газетой. Правда! Так и ударило по лбу. Вечер и ночь в страшном беспокойстве».

А на следующий день запись его была такая:

«Известие от Муханова несколько ободряющее. Гарнизон спасен. Орудия отчасти. Ездил обедать в клуб. Толковал с разными лицами. Уныние, но в карты все-таки играют и по-французски говорят».

Сергей Тимофеевич Аксаков писал сыну Ивану в Бендеры, где стоял он со своей Серпуховской дружиной ополчения:

«Сегодня поутру получили мы горестное известие о взятии или об отдаче Севастополя... То, чему так долго не хотелось верить, совершилось. Хоть и предупрежден я был слухами, но чтение депеши Горчакова о Севастополе перевернуло меня всего. Воображаю, что за отчаянная, баснословная была битва. Пронесся здесь слух, что Корниловский бастион мы вновь отбили. Или мало всех этих жертв, чтобы пронять и вразумить Россию? Ужасно! Воображаю, как дрались! Говорят, будто Горчаков отозван. Как я был бы рад этому: ни одного счастливого дела его за всю кампанию!.. Ах, как там дрались, я думаю. Картина этой битвы беспрестанно мне рисуется... Я покуда не умею владеть собою и по временам предаюсь такому волнению, которое мне вредно...»

Иван Аксаков отвечал отцу:

«Как неумолимо правосудна судьба, как жестока

в своей логике! Признаюсь, я не очень негодную на Горчакова. Севастополь пал не случайно, не по его милости. Я жалею, что не было тут искуснейшего генерала, чтобы отнять всякий повод к искажению истины. Он должен был пасть, чтобы явилось в нем дело божие, то есть обличение всей гнили правительственной системы, всех последствий удушающего принципа. Видно, еще мало жертв, мало позора, еще слабы уроки: нигде сквозь окружающую нас мглу не пробивается луча новой мысли, нового начала».

Западники сошлись в оценке события с славянофилами. Грановский писал: «Весть о падении Севастополя заставила меня плакать. А какие новые утраты и позоры готовит нам будущее... Будь я здоров, я ушел бы в милицию без желания победы России, но с желанием умереть за нее. Душа наболела за это время. Здесь все порядочные люди поникли головами».

Весть о Севастополе в имение Тургенева Спаское-Лутовиново, где был в это время писатель, дошла, разумеется, несколькими днями позже, чем в Москву, и Тургенев писал Аксакову-отцу пятого сентября:

«Хотелось бы написать вам о моих весьма неудачных охотничьих похождениях, но известие о Севастополе, полученное здесь вчера, лишило меня всякой бодрости. Хотя бы мы умели воспользоваться этим страшным уроком, как пруссаки Иенским поражением...»¹

Для славянофилов московских Крымская война была как бы священной войной, войной креста с полумесяцем, с одной стороны, и славянского здорового Востока с «прогнившим» Западом,—с другой. Огромную ставку поставили они, связав ее с Севастополем, и вот ставка эта оказалась битой.

Вождь славянофилов, Хомяков, верил в чудо перерождения, когда писал в начале Восточной войны, обращаясь к России:

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!

Но чудес история не знает,—она сродни математике, она—равнодействующая всех усилий и всех способностей народов. Славянофилам оставалось только согласиться с западниками на том, что нужно «воспользоваться уроком» поражения.

Что же касается дальнейших возможностей войны, то Москва, потерявшая голову, услышала на этот счет трезвые слова из Нижнего, от Даля²,

¹ Под Иеной французские войска разбили в 1806 г. прусскую армию. Поражение возбудило в Пруссии сознание необходимости государственных реформ.

² В. И. Даль (1801—1872)—писатель, лексиколог и фольклорист, автор знаменитого «Толкового словаря».

который не зря был раньше офицером Черноморского флота.

«Вы спрашиваете, каково у нас в Нижнем, что говорит народ, не падаем ли мы духом,—писал он Погодину.—Избави господь от этого. Народ наш всегда и всюду одинаков. У него нет ни понятий, ни чувств других, кроме ясного уразумения необходимости покоряться всем тягостям оборонительной войны. Если бы мы вели войну заграничную, то суждения могли бы еще быть различны; но доколе мы сами отбиваемся от наступника, ни в народе, ни в других сословиях, словом, ни в одной русской голове не может угнездиться иной помысел, как вставать поголовно вокруг неприятеля по мере того, как он подвигается вперед. Чем он далее зайдет, тем ему тяжелее, а нам легче. Удобство морского сообщения, обширность наших берегов, сила, огромные средства, уменьше, все это на его стороне. Но нам стоит только не покоряться, а покорить нас нельзя. Он может занять стотысячную армией любую береговую местность, сделать внезапную вылазку, по он может держаться на ней только, доколе будет стоять в таких силах и не углубляться в материк. Как бы ни была тесна дружба Союза, средства на войну такого рода должны истощиться; устойчивость наша должна взять верх. Чем больше неприятель захватит, тем труднее ему будет ограждать и удерживать захваченное, тем легче будет нам обходить его и поражать по частям; а когда настанет срок неминуемого перелома, то бедствие наступателя неизбежно, а поражение его не уступит бывшему за нашу память примеру...»

Так думал Даль в Нижнем. Несколько иначе думали правящие круги в Петербурге.

3

Сколько ни присылалось английским адмиралтейством приказов адмиралу Нэпиру проявить энергичную деятельность в Балтийском море, престарелый Нэпир доносил, что и Кронштадт и Свеаборг неприступны. В резкой форме приказано ему было, наконец, спустить свой флаг, и начальником эскадры назначен был контр-адмирал Дундас. Наполеон III также сменил начальника французской эскадры в Балтийских водах: вместо адмирала Персиваля поставил контр-адмирала Пэнно.

Но от этих перемен ни Кронштадт, над укреплением которого трудился Меншиков, ни Свеаборг не стали слабее, и большая союзная эскадра—двадцать винтовых линейных кораблей и тридцать два парохода,—в большинстве английские,—проводили время только в том, что топили финляндские лайбы или обстреливали мирные прибрежные города и селения.

Только в конце июля, за месяц до оставления

Севастополя, союзные адмиралы, для того чтобы показать своим правительствам видимость серьезных действий, решили бомбардировать Свеаборг.

Непрерывно двое суток гремела канонада; наконец, истощив весь запас снарядов, эскадра ушла. Мортирные лодки были отправлены в Англию, так как никакой новой бомбардировки до начала зимы адмиралы Дундас и Пэнно предпринимать не собирались.

Император Александр убедился, что Петербург с моря защищен прочно, что опасность отсюда не угрожает, что все свои заботы он может нераздельно отдать югу. Телеграмма Горчакова о том, что он вывел гарнизон из Севастополя на Северную, заставила Александра очень быстро собраться, взять обеих императриц и всех трех братьев и отправиться с ними первого сентября сначала в Москву, а потом, через несколько дней, в Николаев.

Императрицы, впрочем, вернулись из Москвы в Петербург, а братья царя прониклись его мыслью, что теперь, после падения Севастополя, должна начаться новая война на всем юге и на западе России, что Севастополь был только прологом трагедии, которая ожидает страну.

Первоначально Александр думал ехать из Москвы в Варшаву, поговорить с Паскевичем насчет войны с Австрией, которая теперь, по мнению царя, была решительно неизбежна. И только в самый последний день маршрут был взят на Николаев под влиянием чтения иностранных газет, где о подготовке австрийского нашествия пока ничего не говорилось, о Николаеве же много. Но полумертвого фельдмаршала так неотступно преследовал призрак марширующих к нему австрийских дивизий, что он сумел пугаться этим видением и самого царя, вообще склонного к пугливости.

Кроме Николаева, в особых заботах нуждалась также и Одесса, которая могла в любое время подвергнуться нападению союзной эскадры, а царь был еще к тому же обеспокоен тем обстоятельством, что из Севастополя в разные банки было прислано по несколько миллионов. Об этом шел разговор во дворце, и академик Пирогов, который обращался к императрице за разрешением снова ехать в Севастополь (это было в июле), так прямо и брякнул:

— Наворованные миллионы, ваше величество!

— Кто же там ворует?—изумилась императрица.—Ведь там воюют...

— Кто воюет, а кто ворует,—объяснил Пирогов.—А бывают даже и такие, которые правой рукой воюют, а левой воруют.

Как раз в это время на половину своей жены вошел царь и услышал, что сказал Пирогов. Он строго посмотрел на плешивого ученого, столь резкого в своих суждениях о севастопольцах, и повышенным голосом сказал:

— Это неправда! Этого не может быть!

Однако Пирогов не растерялся, не залепетал нечто неразборчивое, но подобострастное. Он тоже повысил голос:

— Это правда, государь, и я сам видел это неоднократно!

Когда Александр приехал в Николаев, ему не стоило большого труда увидеть то же самое, что видал Пирогов в Севастополе. Он ужаснулся и размерам и способам хищений. Во главе инженерной части он поставил своего брата Николая, во главе артиллерийской другого брата Михаила, из Севастополя вытребовав Тотлебена, кроме того всех моряков, какие еще остались, и оборонительные работы в этом важнейшем после Севастополя военном центре Причерноморья пошли полным ходом.

Матросы, которых из восемнадцати тысяч осталось только около четырех тысяч, добравшись до Николаева, иные, женатые, с семьями и с кое-каким скарбом, принялись за дело укрепления этого города, как знатоки всех необходимых подробностей. Они ставили мины в реке Буге, перед Воложской косой; при их деятельном участии устраивались береговые батареи, прочные пороховые погреба и блиндажи при них, а когда покончено было с этим, они же принялись возводить и сухопутные укрепления: кому-кому, а уж им-то, севастопольским матросам, все эти редуты и бастионы были известны в каждой лопате земли.

И когда, в последних числах октября, все работы приходили уже к концу и орудия как береговых батарей, так и сухопутных заняли предназначенные им места, матросы говорили о союзном флоте.

— Ну, теперь айда к нам в гости! И как ежели скажешь потом, что хуже тебя здесь отпотчевали, чем в Севастополе, то уж, брат, сбрешешь!.. Тут одних блиндажей на пятнадцать тысяч человек вывели,—шутка это тебе? Было это когда в Севастополе? Не было, брат, этого,—нам известно! И снарядишков теперь хватит! У царя на глазах генералы мошеничить себе не позволяют: не о двух они головах...

Доступы к устью Буга прикрывала маленькая, доставшаяся от турок еще при Екатерине II, крепостца Кинбурн, которую пришлось однажды защищать от турецкого десанта Суворову, причем он был ранен и спасен от верной смерти гренадером Шлиссельбургского полка Семеном Новиковым.

У маленькой крепостцы была длинная история. Призванный теперь защищать вход в Днепровско-Бугский лиман, то есть стоять на страже и Николаева и Херсона, Кинбурн был несколько подновлен, но вооружение его все-таки оставалось слабым: всего около девяносто орудий, из них только десять мортир; тысяча триста человек гарнизона

делали Кинбурн еще менее значительным укреплением с точки зрения интервентов, чем Бомарзунд на Аландских островах, взятый и разрушенный ими в начале войны. И однако на него ополчились огромные силы.

Двадцать пятого сентября стало известно в Николаеве, что из Балаклавской и Камышевой бухт вышел союзный флот двумя колоннами под флагами адмиралов Брюа и Лайонса, всего девяносто вымпелов, и взял направление к Кинбурнской косе.

Флот этот вез вдвое больший десант, чем когда-то, при Суворове, высадив на этой косе турецкий флот. И если тогда великому полководцу стоило большого труда и опасной раны выбить пяти-тысячный десант турок, прикрытый шестьюстами орудий судов, то теперь ничем не знаменитый генерал-майор Коханович, начальник гарнизона Кинбурна, должен был встретить четыре тысячи французов под командой Базена и шесть тысяч англичан под командой Спенсера, а среди судов эскадры союзников было три броненосца, или, как их тогда называли, броненосные пловучие батареи. Они принадлежали французам, и толщина их брони была четыре с половиной дюйма.

От Херсонского полуострова до Кинбурнской косы расстояние небольшое, но флот интервентов появился в виду Кинбурна, Очакова и острова Березани только в начале октября: он не спешил.

Остров Березань был пуст, но Очаков имел укрепление, начальником которого был генерал Кнорринг, так что вход в лиман охранялся, с обеих сторон, однако гарнизон Очакова был еще слабее численно, чем гарнизон Кинбурна. Маленький рыбацкий городок этот—Очаков—имел башню семафорного телеграфа, и, чтобы сообщать оттуда в Николаев о действиях неприятельской эскадры против Кинбурна, был командирован туда Стеценко.

Теперь он имел уже чин капитана 2-го ранга. Как бывший адъютант Меншикова, он был известен генерал-адмиралу, великому князю Константину, и его вместе с бывшим командиром «Владимира» Бутаковым потребовали в Николаев в середине сентября, где он был назначен начальником штаба князя Барятинского, командовавшего войсками на обеих сторонах Буга.

В Очакове Стеценко, как год слишком назад под Евпаторией, увидел огромную эскадру интервентов, полукругом выстроившуюся против Кинбурна, став на якорь в море, а южнее канонерские лодки, пробравшись в лиман, проворно выстраивались здесь: замысел неприятельских адмиралов поставить крепостцу под перекрестный огонь был ясен.

Вскоре загремела канонада.

С вышки телеграфной башни, где стоял Сте-

Щенко, трудно было судить, насколько действителен был огонь крепостных орудий, так как с первых же залпов эскадры союзников скрылась в густом дыму.

Подсчитав еще до открытия бомбардировки прилизительную силу залпа судов из орудий одного борта, Щенко пришел к выводу, что Кинбурн будет не в состоянии долго противиться бомбардировке союзников, однако ему вспомнилось также и старое правило морских сражений: одно орудие на берегу стоит целого корабля в море.

Что среди крепостной артиллерии было очень мало мортир, ему уже было известно, зато неизвестным для него осталось наличие здесь у французов трех бронированных пловучих батарей, стоявших в первой линии. Он не мог знать того, что русские ядра, падая на палубу этих судов, делали в броне только легкие вмятины и потом отлетали от них, как футбольные мячи.

Это были первые броненосцы в бою: имена их были: «Lave», «Devastation», «Tonnante»¹; они вышли из верфи в Тулоне.

Около полудня в этот день (третьего октября) Щенко увидел тоже знакомую ему картину: подошли транспорты с войсками и начали высадку десанта, имея в виду отрезать Кинбурн от сообщения с сушей. Это важное наблюдение он тотчас передал в Николаев в надежде, что оттуда пошлют пехотные части.

Канонада между тем продолжалась до темноты. Ночью было тихо, и Щенко представлял, что к утру произойдет на Кинбурнской косе² нечто подобное тому, что было тут шестьдесят восемь лет назад, также в начале октября 1787 года: подойдут русские пехотные полки и после жестокого боя сбросят десант союзников в море.

Но наутро началась новая канонада, причем к неизбежному дыму присоединился еще и туман, совершенно скрывший из глаз Щенко и крепость и эскадру противника. Донесения в Николаев поневоле стали однообразны и очень неопределенны, между тем как Щенко за тем только и был командирован в Очаков из Николаева, чтобы давать туда сведения о ходе дела в Кинбурне.

Что на море туман, из которого даже и солнце выступает только в виде бледного худосочного кружочка, что стрельба сотрясает воздух, но ничего не видно,—об этом, конечно, могли бы дать донесения и адъютанты генерала Кнорринга, Щенко понимал это, и для того чтобы выйти из глупого положения, он решил на очень смелый шаг.

Узнать что-нибудь достоверное о положении Кинбурна можно было только добравшись до Кинбурна, а добраться до него никак иначе было нельзя, как только на шлюпке и под прикрытием ночной темноты. Поэтому вечером он с помощью очаковского городничего принялся искать шлюпку, для этой цели.

Шлюпка нашлась, конечно, и нашлись гребцы, но нужно было получить разрешение Кнорринга на опасную рекогносцировку, а Кнорринг, насколько успел узнать его Щенко, такого разрешения ни за что бы не дал. И Щенко отправился на свой страх и риск, предупредив только об этом одного из адъютантов Кнорринга, но разрешения не дожидаясь. Конечно, гребцы были опытные, и весла были обмотаны каболкой.

Щенко взял направление на канонерки, как они стояли в предыдущий день, думая, что легче будет проскочить незамеченным между ними,—строй их был сравнительно редкий.

К ночи туман несколько рассеялся, и опасность наткнуться прямо на корму какой-либо из лодок не ждала Щенко; напротив, другая опасность вырисовывалась перед ним, когда шлюпка проскользила между двух канонеров: могли заметить шлюпку дозорные с берега, свои же, из крепости, принять ее за неприятельскую, конечно, и открыть по ней пальбу из ружей.

Чтобы предупредить такую неприятность, Щенко начал кричать: «Свои, свои, э-эй, свои, не стреляй!..»—гребцы тоже кричали, и это, как оказалось потом, спасло всех от смерти или увечья.

Когда Щенко вышел, наконец, на берег, он очень удивил своим появлением офицера в переловой цепи стрелков, но не менее удивились потом и офицеры в крепости.

Его засыпали вопросами о том, идут ли им на помощь войска из Николаева отстаивать Кинбурн, или они будут здесь предоставлены своим силам, которых очень немного. Щенко же пришлось разочаровать их: он ничего не знал о решении царя,—напротив, он обязан был передать в Николаев, что делается здесь.

Он заметил, что молодые офицеры были бодры, как это наблюдалось им везде и в Севастополе, офицеры же старших чинов и возраста сомневались в том, чтобы гарнизон мог продержаться еще два-три дня: слишком жесток был обстрел, и велики потери.

Наиболее подавленным оказался сам комендант крепости генерал Коханович. Ростом немного выше Щенко, растерянно торопливый в движениях, он поднес свечу к самому лицу так неожиданно появившегося ночью в крепости, осажденной врагом, штаб-офицера русского Черноморского флота,—флота уже несуществующего,—и оглядывал его внимательными, расширенными, но какими-то мутными глазами. Он казался Щенко надолго

¹ «Лава», «Опустошение», «Гремящий» (франц.).

² Кинбурнская коса—песчаная отмель между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем; здесь в 1787 г., во время войны с Россией, турки высадили десант, который был истреблен Суворовым.

оглушенным не то канонадой, не то трудным положением, в котором очутился.

— Прошу вас, ваше превосходительство, написать рапорт о состоянии вверенной вам крепости,—решился, наконец, сказать ему Стеценко, так как тот сам никак не мог или не хотел понять, кто он такой и зачем здесь.

— Что? Рапорт? Какой рапорт? Зачем?—недоуменно и подозрительно зачастил вопросами Коханович.—Вам я должен вдруг писать рапорт? Скажите, пожалуйста, на каком основании? Кто вы такой?

Стеценко пришлось долго объяснять ему, что он начальник штаба князя Барятинского, временно заменяющего генерала Лидерса, главнокомандующего Южной армией, что рапорт этот необходим для представления самому государю.

Больше часа ушло на то, чтобы убедить, наконец, Кохановича сесть за стол и написать хотя бы несколько строк донесения на имя Кнорринга, которому он был непосредственно подчинен.

В то время когда писал донесение комендант, один из инженеров, по просьбе Стеценко, занес в его памятную книжку список повреждений, нанесенных крепости бомбардировкой.

Повреждения, по словам этого инженера, были очень большие, но Стеценко читал запись его в своей книжке: «Главный вал на пятом бастионе, куртина между 4 и 5 бастионами повреждены; пороховой погреб тоже, но это повреждение исправлено; здания и каземат у Одесских ворот повреждены; на казематах в нескольких местах вырыты бомбами большие ямы...» и говорил инженеру:

— То ли бывало в Севастополе! И сколько времени держался при подобных повреждениях Севастополь!

И возобновляя в памяти то, что переживал он в Севастополе, Стеценко недоумевал, чему именно удивляются обступившие его офицеры, что он, капитан 2-го ранга, начальник штаба, решился на такую рискованную прогулку под носом у огромной неприятельской флотилии.

Коханович кончил писать донесение; Стеценко выбрался из крепости, уселся в свою шлюпку и старался для себя самого решить, будет ли Коханович защищаться до последней крайности или сдаст крепость, может быть, даже в этот день к вечеру (новый день уже наступил).

Гребцы так же осторожно и теперь работали веслами. Пронизывала холодная сырость моря, но стало виднее и потому опаснее.

Сквозь линию канонерок прошли все-таки удачно, не обратив на себя внимание, но дальше какая-то длинная тень показалась в море.

— Что это? Неужели берег?—удивился Стеценко.

— А вже ж бэрег,—сказал один из гребцов.

Но еще несколько бесшумных взмахов веслами, и Стеценко отличил очертания большого парохода, причем пароход этот не стоял на якоре, а двигался и как раз на пересечку курса, взятого шлюпкой.

Несколько мгновений дал себе Стеценко, чтобы решить, можно ли проскочить впереди парохода, и, решив, что можно, вполголоса приказал гребцам налечь на весла.

Все предосторожности теперь были уже отброшены,—гребли изо всех сил и проскочили, но было около минуты жуткого ожидания, не раздается ли с борта парохода пушечный выстрел, не обдаст ли шлюпку картечью...

Не заметить шлюпки с парохода не могли,—туман уже поднялся,—однако и поднимать тревогу выстрелом, видимо, не хотели. Шлюпка благополучно вернулась в Очаков еще до рассвета.

4

На своей квартире на столе нашел Стеценко бумажку от Кнорринга. Адъютант генерала передал ему, конечно, о том, что моряк из Николаева хотел было обратиться к нему за разрешением на поездку в Кинбурн, но боялся, что это отнимет много времени, тем более что в разрешении не сомневался.

Кнорринг же решил умыть руки, так как не сомневался в напрасной гибели моряка. Он писал, что разрешения дать не имеет даже и права, так как Стеценко ему не подчинен, а прислан сюда «для самостоятельных наблюдений с телеграфной башни его высочеством генерал-адмиралом».

Все-таки, чуть настало утро и Кнорринг встал, Стеценко счел нужным пойти к нему доложить о виденном в Кинбурне.

Кнорринг изумился, его увидев, но счел нужным тут же строго насушить брови.

— Счастлив ваш бог, что вам удалось... э-э... удалась, я хотел сказать, эта ваша затея,—заговорил он, косвенно глядя на маленького моряка.—А ведь если бы не удалась,—не миновать бы вам суда,—вот что-о!

— Если бы не удалась, то со мной, ваше превосходительство, могло бы случиться что-нибудь одно из трех,—стал добросовестно представлять самому себе всякие возможности Стеценко:—я или был бы убит в шлюпке пулей, или утонул бы в море, или на самый худой конец был бы ранен и взят в плен... Обо всем этом я думал, когда отправлялся, но о суде, признаюсь, не догадался вспомнить.

— Напрасно не вспомнили, очень напрасно, вот что-с! Вашим поступком вы и меня подвели под красную шапку, должен я вам сказать.

Кнорринг поднял голову, посмотрел на Стецен-

то так, как будто он был уже председателем суда над ним, и добавил:

— Вам следует, по моему мнению, сейчас же ехать с донесением генерала Кохановича в Николаев и представить это самое донесение его величеству, что он скажет, вот что-о!

Стеценко понял, что Кнорринг последними словами своим выразил заботу о себе самом и о вверенном ему Очакове, который мог быть атакован точно так же, как и Кинбурн, поэтому немедленно отправился он в Николаев под гром новой канонады, гораздо более напряженной, чем предыдущие.

Когда царь поселился в Николаеве, то заботы об укреплении этого города создали около него деловую обстановку, почему вставал и завтракал он рано, рано и обедал—в два часа; к этому времени привез и Стеценко донесение Кохановича в запечатанном конверте.

Конверт с донесением передан был дежурному генералу, и вскоре царский камердинер, сказав Стеценко, что он приглашен на обед, указал за столом его место.

В начале обеда, когда только что все обедавшие,—до тридцати человек,—разместились, тот же царский камердинер, благообразный и важный, подошел к Стеценко и сказал вполголоса, наклонившись:

— Его величество просит вас к себе.

Голубые, слегка усталые глаза Александра, повернувшегося на своем стуле к подошедшему Стеценко, пришлось как раз вровень с его глазами. Стеценко привык уже читать в глазах людей, впервые его видевших, такое обидное недоумение, внушаемое его малым ростом; это же недоумение прочитал он и в глазах впервые видевшего его царя.

— Здравствуй, Стеценко!—отчетливо сказал царь, кивнув коротко головой.

Стеценко ответил на это приветствие по форме.

— Ты был в Кинбурне этой ночью... Расскажи, что там.

Стеценко понимал, что длинного, обстоятельного доклада теперь, во время обеда, от него не требуется, конечно, что нужно было упомянуть только о настроении офицеров, которых он видел, и о тех повреждениях, о которых он слышал от инженера, и он сказал:

— Настроение командного состава мне показалось вполне бодрым и желание отстоять крепость до последней крайности было у всех налицо, ваше величество. Что же касается повреждений в крепостных казематах и валах, то они, на мой взгляд, незначительны и частично,—это касается одного порохового погреба,—уже исправлены.

— Спасибо тебе за службу,—кивнул ему царь.

— Рад стараться, ваше величество,—отозвался на этот знак «монаршей милости» Стеценко и отошел на свое место.

Только теперь, оглядев всех, сидевших за столом, Стеценко увидел ротмистра Грейга, старого своего знакомого, бывшего теперь адъютантом великого князя Константина.

Его не замечал он здесь раньше в свите генерал-адмирала. Он появился в Николаеве, очевидно, совсем недавно. Грейг, поймав его взгляд, приветливо заулыбался ему, только что ошастливленному беседой с царем.

А царь, быть может, тоже под непосредственным впечатлением беседы с одним из отважных сева-стопольцев, поднял бокал вина, взглянул на Бутакова и сказал, несколько повысив голос:

— Сегодня, в годовщину первой бомбардировки Севастополя, пью здоровье храбрых его защитников, которыми я горжусь!

— Ур-ра, защитники Севастополя!—возбужденно-молодо крикнул генерал-адмирал, и продолговатое с чисто выбритыми щеками, казавшееся совсем еще юным лицо его сплошь порозовело.

Потом разрешенно кричали «ура» и все за столом и тянулись чокаться с георгиевскими кавалерами—великими князьями Николаем и Михаилом, с Бутаковым, Стеценко и несколькими другими моряками.

Но нужно же было так случиться, что как раз в разгар этого общего возбуждения камердинер поднес царю только что полученную с телеграфа депешу.

Царь пробежал ее быстро и поднял глаза на Стеценко. Взгляд его был теперь не то чтобы строг, а только серьезен, неподвижен от явного недоумения, и Стеценко по одному этому взгляду догадался, что депеша о Кинбурне, что гарнизон крепости, пожалуй, даже сдался.

Через минуту все за столом уже знали, что депеша была послана самим Кноррингом из Очакова и говорила действительно о сдаче Кинбурна.

Обед продолжался почти так же оживленно, как и начался: как ни был опечален, видимо, Александр депешей, он сделал все, чтобы не опечалить никого за столом. Только Стеценко чувствовал себя так, как будто он просто глупо нашкольничал докладом о бодрости командного состава гарнизона, в то время как сам комендант Коханович проявлял не бодрость, а самую жалкую растерянность.

Убитый вид Стеценко, конечно, был замечен царем, и когда обед кончился и царь вышел на балкон, он сам подозвал к себе сконфуженного героя.

— Кинбурн сдался, а ты... ты как будто совсем не ожидал такой развязки, а?

— Ваше величество, я пять месяцев провел на первом участке оборонительной линии Севастополя, и то, что мне говорили тут, в Кинбурне, о полученных повреждениях, не могло мне не показаться совсем несерьезным!—горячо и вполне искренне ответил Стеценко.—Со мной моя память

ная книжка (он быстро вынул ее из бокового кармана), и вот в ней я просил инженер-капитана Брикнера записать все повреждения от бомбардировки. Все эти повреждения уместились на половине странички, ваше величество! Как же мог я ожидать, чтобы совсем почти неповрежденная крепость сдалась через несколько часов после того, как я ее покинул.

Заметив его взволнованность, как будто он сам был виноват в сдаче крепости, царь снисходительно улыбнулся и сказал:

— Что делать, Кинбурн сдался, но твой подвиг все-таки останется подвигом, и ты получишь награду.

Бывший тут же генерал-адмирал пожал руку Стеценко, поздравил его и добавил:

— С этого дня ты зачисляешься ко мне адъютантом, а завтра отправляйся снова в Очаков. Передашь генералу Кноррингу, что он получил отдельное приказание, как ему поступить, чтобы не повторилась история с Кинбурном.

На другой день Стеценко получил георгиевский крест, а Кнорринг—приказание взорвать укрепления, если неприятельский флот будет угрожать Очакову, и вывести во избежание напрасных потерь гарнизон.

Через несколько дней так и было сделано Кноррингом.

После этого отряд канонеров осмелился было войти в лиман с намерением атаковать Николаев, но, встреченный пальбой береговых батарей, повернул обратно и больше уже не возобновлял этих попыток.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Взятием Кинбурна окончились все действия на море. Можно было опасаться за участь Одессы, но Одессу довольно сильно успели укрепить за время войны. Там, кроме восемнадцати береговых батарей, устроены были в виде отдельных люнетов сорок пять сухопутных, включающие свыше двухсот полевых орудий для отражения десантной армии большой численности. Такой армии интервалы выделить не могли, конечно.

Даже и Омер-паша для действий на Кавказе должен был собрать корпус в Турции, чтобы не ослаблять турецких войск в Крыму.

Перед последним штурмом Севастополя в английское военное министерство был внесен проект некоего Дундональда овладеть Большим редантом и Малаховым курганом при помощи серных паров, которые должны были выгнать с этих бастионов всех без исключения защитников.

Чтобы получить достаточный объем серных па-

ров, Дундональд предлагал сжечь пятьсот тонн серы на костре из двух тысяч тонн угля. Конечно, разжечь такое количество угля можно было только при достаточном запасе сухого дерева и соломы, а чтобы пары пошли на русские бастионы, а не обратно, необходимо было сообразоваться с направлением ветра.

Когда в военном министерстве выразили сомнение, чтобы русские допустили беспрепятственно разводить костер таких гигантских размеров, чтобы они немедленно не открыли по рабочим убийственной бомбардировки, Дундональд придумал для защиты рабочих дымовую завесу. Для этой цели он считал достаточным зажечь две тысячи бочек дегтя впереди костра.

Но когда возразили ему, что деготь может сгореть быстрее, чем будет разожжен костер из двух тысяч тонн угля, тогда Дундональд выдвинул новые две тысячи тонн смолистого угля в промежуток между бочками дегтя и костром для сжигания серы.

Английские газеты, не признававшие никаких военных тайн, не только напечатали, но еще и вышутили проект Дундональда. Много смеялись над ним и в Николаеве, в свите Александра II, не подозревая, что затея эта в других только формах, гораздо менее громоздких и более действительных, прочно войдет в практику войн в двадцатом веке, войн по преимуществу позиционных, для которых прообразом явилась осада Севастополя.

Кинбурн был занят французским отрядом, на Очаков же покушений со стороны эскадры союзников так и не было, как не было их и на Одессу, перед которой в бездействии простояла эта эскадра несколько дней.

За отплытием ее от Кинбурна Александр наблюдал сам из Очакова. Она направилась снова в Крым, вслед за нею туда же направились стратегические планы царя, обдуманные им еще в Москве.

Планы эти были вообще очень обширны, так как в основание их легла предвзятая мысль, что потерей Севастополя закончилась малая война, после чего неминуемо должна начаться большая, причем застрельщиком этой новой большой войны явится, конечно, Австрия.

Говорится, что «мертвый хватает живого»; но часто с меньшим успехом делают это и полумертвые. Страх перед Австрией сумел внушить Александру фельдмаршал Паскевич, который только и писал, что его армии придется с наступлением весны выдержать первый и сильный удар австрийцев, поэтому она должна быть значительно увеличена, так же как и Средняя армия, опирающаяся на Киев и созданная Николаем по его же настоятельным просьбам.

По плану «большой» войны защите Северной стороны никакого значения не придавалось, так как

Александр мерещились обходы армии Горчакова путем переброски значительных десантных отрядов от устья Качи до Евпатории.

Поэтому Александр, успокоившись в октябре, с отплытием эскадры союзников, за судьбу Николаева, стал готовиться к поездке в Крым, чтобы там на месте обсудить с Горчаковым, как удобнее будет стянуть всю его армию к Симферополю и здесь, в центре полуострова, обезопасить ее от обходов со стороны западного берега. Это, по мнению Александра, позволило бы сократить Крымскую армию, причем излишки ее пошли бы на подкрепление армий Южной и Средней.

В конце октября Александру стало известно, что на все понукания из Парижа Пелисье упорно отвечает отказом куда-либо передвигать свою армию и готовится зимовать там же, где зимовали французы раньше. Это успокоило царя, и он решил появиться в Крыму.

2

Крымским грифам, орлам-стервятникам, свойственно быть санитарями полей сражений, и, когда царь подъезжал к Бахчисараю, ставке Горчакова, довольно большая стая их плавно реяла высоко в небе, выискивая зоркими глазами не просто пададь, а обильную пададь; но стоило только Александру обратить на них внимание, как сопровождавшие его начали усердно считать их, возбуждаясь по-детски.

— Двадцать орлов, ваше величество!—торжественно провозгласил один.

Двадцать,—это было очень удобное число: делилось на два, на четыре, на пять, на десять,—вообще по своей круглоте явно означало что-то такое вечное.

Однако другой из бывших в коляске с царем, излишне приверженный точности, заметил первому:

— Насколько мне кажется, не двадцать, а двадцать два орла.

Действительно, грифов было двадцать два: они кружились медленно, важно, и сосчитать их было нетрудно. Наконец, двадцать или двадцать два,—все равно, они представляли из себя зрелище, навещающее на бодрые мысли. Они похожи были на приветственную депутацию, тем более что кружились дружно и долго, не разлетаясь.

Высочайше признано это было добрым znameniem, а что же еще больше нужно было Горчакову, который, впрочем, не обладал таким орлиным зрением, чтобы отыскать не только орлов в небе, но и порядочный дом в Бахчисарае, достойный принять монарха России с его двумя братьями.

Дворец был издавна занят под госпиталь и переполнен ранеными, дом, в котором жил он сам, был мал... Кое-что нашлось, конечно, но ведь могло не понравиться, хоть царь и предупреждал,

что он пробудет в Крыму всего-навсего не более трех дней.

Никакой пальбы со стороны Севастополя не доносилось; погода стояла сухая и теплая, вместо огромного десанта интервентов от устья Качи, что часто мерещилось царю в бытность его в Николаеве, его встретило в здешнем соборе большое количество торжественно облаченных попов, и начался громогласный молебен: двадцать два орла пришлось кстати.

В Бахчисарае, тут же после молебна, смотрел царь несколько поставленных в резерв полков из бывшего гарнизона Севастополя.

Полки эти, конечно, давно уже отдохнули; солдаты в них для смотра были парадно одеты, все в начищенных киверах и ослепительно белых широких ранцевых ремнях, перекрещенных на груди; ходили под музыку широким шагом, вытягивая исправно носки; «ура» кричали зычно и радостно; вид имели сытый... Александр благодарил солдат, благодарил офицеров, благодарил Горчакова...

На другой день он был уже на Северной стороне. Здесь, с Волоховой башни, долго разглядывал развалины города и бывшие бастионы и, по свидетельству очевидцев, по впалым щекам его катились слезы: он был чувствителен, ученик Жуковского.

В то же время мощные сооружения Северного фронта и длинные ряды батарей, выросшие благодаря неисчислимым трудам солдат на Северной стороне, убедили его в том, что отдавать все это без боя врагу, который не в состоянии тут вести лобовую атаку, невозможно; что это прежде всего удивит армию противника и жестоко оскорбит свою... Он увидел, что придуманный им в Москве и получивший одобрение со стороны ближайших его советников в Николаеве проект стягивания всех крымских войск к Симферополю, чтобы отсюда защищать остальной Крым, надо отбросить.

Он смотрел войска и на Инкерманских высотах и на Мекензиевых горах и видел, что отступать с такими солдатами нельзя. В то же время он видел, что армия союзников утомлена: иначе чем же и как было бы объяснить молчание их батарей?

Знаменитый Камчатский полк был выведен на смотр в одном только батальоне, численно меньшем, чем в мирное время. Командир полка объяснил царю, что есть еще один батальон камчатцев, но стоит на позициях.

— Ничего, один батальон камчатцев стоит иного целого полка,—сказал царь и добавил:—Вот эти, например, два правофланговых, что за молодцы такие? Как фамилия?

Тот, к кому обратился царь, уже пожилой на лицо, но выше всех в полку ростом, сероглазый здоровяк, степенно ответил:

— Михайлов Семен, ваше императорское величество!

Но во второй шеренге стоял разительно похожий на Михайлова Семена, почти столь же высокий молодчага, но только гораздо моложе на вид.

— А твоя фамилия?—обратился к нему Александр.

— Михайлов Степан, ваше императорское величество!—как эхо первому, отозвался второй богатырь.

— Вы что же, братья, что ли?

— Степан, этот мой сын,—ответил Семен.

Оба они были унтер-офицеры, оба с георгиями, но совсем не по форме у обоих прицеплены были к поясам не тесаки, а французские сабли; кроме того, еще и пистолеты оказались у обоих засунуты за пояс, и эта вольность в вооружении заставила царя спросить Семена Михайлова:

— Откуда у вас обоих сабли?.. Какой вы губернии уроженцы?

— Сабли нам пожалованы были за храбрость нашу, также и пистолеты, ваше императорское величество,—расстановисто объяснил Семен Михайлов,—а урожденные мы Новгородской губернии, пришли отголь защищать землю русскую!

— Так вы волонтеры, значит! Молодцы! Спасибо вам, братьцы!

— Рады стараться, ваше императорское величество!—истово и согласно рявкнули оба.

— Спасибо, спасибо... Будете в Петербурге, заходите ко мне в гости: я вас не забуду.

— Пок-корнейше благодарим!..

И даже не добавили на этот раз титула,—так озадачило богатырей-новгородцев это царское приглашение в гости.

От Камчатского перешел царь к смотру других полков, и в каждом полку находил он кого-нибудь из солдат, украшенных крестами за храбрость, с кем говорил,—«удостаивал разговором», но в гости пригласил только Михайловых, о чем узнал на другой только день, когда царь уже уехал, пластун Василий Чумаченко, бывший по обыкновению в секрете перед позициями другого батальона камчатцев, у Черной речки.

Как он жалел, что не был на смотре!.. Несколько раз срывал он с себя облезлую папаху и швырял обзём,—так досадно было ему, что зло подшутил над ним случай... Ведь мог бы и он,—тоже волонтер и тоже унтер-офицер да не с одним, а двумя крестами, услышать от царя это: «Будешь в Петербурге, заходи в гости: я тебя не забуду».

— Пойдете когда-сь к государю?—настойчиво спрашивал он Михайловых.

— Да ведь мы в Петербурге не бываем,—отвечал отец, а сын добавлял:

— Разве это всерьез сказано было? Куда же мы, мужики, в гости к государю годимся? Ни ступить, ни молвить... Да нас от дворца, небось, вот как погонят!

— А я бы пошел!—горячился пластун.—Эх, кому надо, мимо того прошло, а кому не надо, тем присыпало!

— Поди-ка такой, собаки, небось, последнее на тебе дорвут,—усмехнулся Степан Михайлов, но Чумаченко даже не поглядел на свою драную черкеску.

— Одежу бы, конечно, новую справил, что ж такого... А зато бы я знал бы, что мне сказать государю надо, и, может, мое дело бы тогда повернуло куда следует, а не как теперь.

Чумаченко не проговорился, конечно, отошел сумрачно, но мысль явиться во дворец к царю и у него выпросить себе прошение захватила его так сильно, что в тот же день поделиться ею отпирывился он к Хлапонину.

Хлапонин выжил, казалось бы, вопреки даже самой медицине, так по виду безнадежно был он измят в кровавый день штурма двадцать седьмого августа.

Почти вся спина его стала сплошной вздувшийся кровоподтек; три ребра надломлены; ноги и руки в ожогах и ранах... Терентию не пришлось тащить его до Павловских казарм,—попались навстречу носилки,—но когда он увидел, как забит до отказа ранеными здешний перевязочный пункт, он решил не возвращаться на свой бастион, пока не устроит «дружка» в том самом госпитале на Северной, в котором лечился от штыковой раны сам в июне.

Его подбадривало то, что иногда Хлапонин открывал глаза и смотрел на него благодарно, даже пытался шевелить губами. Он не хотел верить, что «дружку» осталось жить всего, может быть, час, два и что напрасны все его заботы. Даже когда говорили ему: «Помрет, должно...»—он готов был кулаками доказывать любому, что тот дурак. И добился все-таки места для носилок с Хлапоным на барже, которую паровой катер перетянул на другой берег.

Это была большая удача: раненых из Павловских казарм начали переправлять сюда, но только с наступлением сумерек, спешно и под сильным огнем с английских батарей, а до того Хлапонину успели уже сделать на Северной перевязку, он пришел в сознание и просил дать знать о его состоянии на Бельбек Елизавете Михайловне. И если этого не было сделано в тот же день, то на следующий, к вечеру она была уже около его койки, и, чувствуя в своей руке ее руку, он спасительно поверил в то, что останется жив, поправится, что даже и калекой не будет.

Заботы Елизаветы Михайловны подняли его с койки даже несколько раньше, чем это определяли врачи: к концу сентября он уже чувствовал себя прежним Хлапоным. Кстати, к этому времени получил он и чин капитана, к которому представлен был еще после первой бомбардировки, и

орден владимира с мечами (мечи являлись нововведением).

Терентий несколько раз навещал его в госпитале, и теперь уж и Елизавета Михайловна знала и то, что он, пластун Чумаченко,—убийца Василия Матвеевича, и то, что он спаситель ее мужа, что только благодаря ему Дмитрий Дмитриевич, вторично схваченный цепкими лапами смерти, из них вырван.

— Ну что, Лиза,—как-то, улыбаясь, обратился к ней Хлапонин,—выходит, что московские жандармы теперь-то уж как будто бы правы, а? Или во всяком случае недалеко от истины; что ты на это скажешь?

— Это ты насчет Терентия,—догадывалась она.—Нет, мы не подговаривали его убить Василия Матвеевича... Но, разумеется...

— Что «разумеется»?—очень живо полюбопытствовал он, так как она замолчала.

— Разумеется, если теперь нас спросят жандармы, не знаем ли мы, куда он делся, мы скажем, что не знаем.

— Это называется укрывательством, Лиза,—напомнил он ей.

— Ну, что же, укрывательство так укрывательство... Вот и будем его укрывать, сколько можем... А семейство его мы выкупим,—решительно сказала она.

— Вот это и будет тогда жандармам наруку!—улыбнулся он.

— Можно это сделать через подставных лиц.

— Дознаются!

— Ну, авось все-таки забудут об этом деле после такой войны, неужели ты думаешь, что не забудут?

— А что им война? Они-то ведь не воевали и не воюют, а сидят себе со своими синими папками... Нет, такого дела, как убийство помещика его крепостным, они не забудут,—не таковские!

— Все равно, пусть не забывают,—упрямо отозвалась она.—Мне теперь Терентий этот твой роднее стал родного брата, и... знаешь что? Не можем ли мы его куда-нибудь за границу отправить?

— Что ты, Лиза! За границу?—очень удивился Хлапонин.

— Да, а что же тут такого? В Америку, например, там—сво-бо-да!

Она мечтательно протянула последнее слово, и Дмитрий Дмитриевич заметил это.

— Ты как будто и сама не прочь в Америку поехать,—усмехнулся он.

— А что же, я бы поехала с удовольствием, если бы ты поехал.

— Ну, нам с тобой зачем же туда... А что касается Терентия, то он и на Кубани мог бы прожить себе спокойно, если бы только не семья его.

— Да ведь семью его мы выкупим!

— И к нему отправим? Полиции только этого и надо будет...

— А если дать взятку полиции? То есть чтобы сам Терентий задобрил ее взяткой...

Хлапонин подумал, покачал отрицательно головой и махнул рукой, не сказав на это ни слова.

И вот теперь, когда царь после смотров уехал из Крыма, перед Хлапопиным стоял с белыми крестами на черной рваной черкеске и с неусыпной «домашней» мыслью в побелевших от волнения глазах Терентий. Он рассказал, как двух камчатцев Михайловых приглашал к себе в гости царь и добавил сокрушенно:

— А я чем же их обоих хуже, Митрий Митрич? Они охотниками пошли, и я то же самое охотник; они унтера стали, и я унтер; у них по егорню храброму, а у меня аж два!.. Ну, вот же поди ты,—хоть и стрельбы уж нет, и всё кричат французы нашим: «Рус, рус, давай мир делать!»—ну вот надо же,—послали в секрет... А то бы, глядишь, меня до себе бы в гости пригласил государь, вот я бы ему там все и сказал тогда!

— А что бы ты именно сказал?—полюбопытствовал Хлапонин.

— Что именно бы?

— Да, именно...

— Именно... стал бы я допрежь всего на колени...

— Гм... Можно и не становиться на колени... Ну, да все равно: маслом, говорят, каши не испортишь... А дальше что?

— Дальше?.. А дальше должен я буду сказать так: «Батко наш! Ваше императорское величество!.. Пластун Чумаченко Василь—он только считается пластун, а есть он вовсе беглый—Чернобровкин Терентий, Курской губернии, Белгородского уезду... А что же он делал в бегах, этот беглый? Русскую землю оборонял, тебе, батка наш, служил,—вот что он делал! И сколько через это страданий разных перенес, несть им числа! И скольких неприятелей покарал-порешил, а которых в плен взял вот этими руками своими, за что от тебя же и награды имею!.. Неужто ж не позволишь ты, батко наш, нам с жинкой, с ребятами,—как их теперь уже пятеро,—в казак на Кубань записаться, а вину мою чтобы скостить вельте? Неужто ж я перед тобой, батко, за нее не сквитался? Я же сквитался за нее, давно сквитался, а на Кубани б таких гарных казаков тебе из своих ребят згодувал бы, вырастил-обучил бы як оборонять землю русскую або шашкой, або ружжом, або арканом,—э-эх!.. Прости, батко наш! Душа ж в тебе добрая, як я от людей чув!.. А то злодей був, якого я покарал! Кто пошел под пули, под ядра, под бомбы-гранаты,—он ли пошел, я ли пошел,—рассуди это, батко наш! Он только что пьавков для своей выгоды разводить зачал, а сам-

то кто был для народу, как не та же пьявка? А я сколько-то месяцев там провел, где месяц за целый год считается, и сколько разов я смерть себе мог получить,—это ж несчислимо!.. Даруй же, батько, ваше величество, мне прощение и казачью нам долю з жинкой, з детьми моими!..»

Терентий даже дрожал весь, когда говорил это; Хлапонин чувствовал эту дрожь, так как он держал его за руку, и глядел на него Терентий такими взволнованными глазами, точно воображал очень живо на его месте самого царя, да не здесь, в землянке под Севастополем, а там, во дворце, в Петербурге.

Отвернулся он, чтобы вытереть пальцем выступившие слезы, и сказал глухо, но решительно:

— Нет, брат Тереха, ничего из этого путного не выйдет!.. Лучше уж не просить тебе прощения, потому что... все равно не простят. Назначил бы царь следствие, если бы ты ему так сказал, а пока суд да дело, посадили бы тебя под замок на долгие годы, вот что, братец.

3

Из Крыма царь поехал прямо в Петербург, так как уже шел ноябрь, начала же военных действий зимою со стороны Австрии ждать было нельзя; наконец, стало известно даже, что она, так же как и Пруссия, готовится приступить к переводу на мирное положение своих войск.

Но напуганный Австрией при посредстве высшего военного авторитета в своей империи—фельдмаршала Паскевича, Александр не верил в искренность намерений Франца-Иосифа демобилизовать армию; он был убежден в том, что если часть австрийских войск даже и будет распущена, чтобы уменьшить военные расходы, то к весне армия будет мобилизована вновь и двинется одновременно на Варшаву и Киев, чтобы поддержать натиск англо-французов на юге России.

Правда, то, что увидел Александр в Крыму, остановило его намерение приказывать Горчакову очистить Северную сторону, но этот шаг, который он хотел сделать, был только небольшой деталью в обширном его плане будущей защиты России от нажима Европы: временно можно было пожертвовать этой деталью, чтобы не слишком огорчать войска,—основные кадры огромной армии, которую он хотел развернуть к весне.

В ноябре на театрах войны,—на юге России и на Кавказе,—а также и на западных границах, считая окрестности Петербурга, было под ружьем около семисот тысяч с тысячью тремястами орудий, но мобилизованы были численно гораздо большие силы для отражения нашествия, которого Австрия не могла даже и готовить ввиду полного истощения своих финансов.

В то же время как ни наступательно был настроен Наполеон III, он вынужден был считаться и с настроением французского общества, очень уставшего от совершенно ненужной для Франции войны в Крыму, и с полной инертностью Пелисье, утверждавшего, что «тактика Фабия Кунктатора¹ в Крыму гораздо более уместна, чем тактика принца Конде²», и потому не двигавшегося никуда вперед.

Правда, самая воинственная женщина Европы—королева Виктория под влиянием своего мужа Альберта продолжала еще потрясать копьём, но, рискуя навлечь на себя ее гнев, Наполеон все-таки начал через зятя Нессельроде, саксонского поверенного в делах во Франции, барона Зеебаха, выпытывать, на каких условиях могло бы русское правительство заключить мир.

Узнав об этом, чрезвычайно встревожились в Вене, как бы Наполеон не заключил мир с Александром без посредства Австрии. К декабрю венский кабинет министров составил условия мира и отправил их на утверждение Лондона и Парижа. Наконец, в Петербург приехали одновременно граф Эстергази, как чрезвычайный посол Франца-Иосифа, и барон Зеебах по поручению Наполеона, и перед императором Александром встал очень нелегкий для решения вопрос: принять ли условия мира, продиктованные врагами, или их отвергнуть и продолжать войну с Европой.

Кстати, к декабрю подоспел и необходимый крупный козырь для дипломатической игры: главнокомандующий отдельным корпусом на Кавказе генерал-адъютант Муравьев прислал царю радостное донесение:

«Карс у ног вашего величества. Сегодня, 16 ноября, сдался военнопленным изнуренный голодом и нуждами гарнизон сей твердыни Малой Азии. В плену у нас сам главнокомандующий исчезнувшей тридцатитысячной Анатолийской армии мушир Васиф-паша; кроме него восемь пашей, много штаб- и обер-офицеров и вместе с ними английский генерал Виллиамс со всем его штабом. Взято сто тридцать пушек и все оружие, двенадцать турецких полковых знамен, крепостной флаг Карса и ключи цитадели».

Обороной Карса руководил Виллиамс, который получил от Омера-паши, высадившего десант на Кавказе, около Батума, известие о скорой выручке гарнизона. Однако выручить Виллиамса Омеру-паше не удалось. Он надеялся на помощь

¹ *Квинт-Фабий Кунктатор*—римский полководец III в. до н. э. Тактика его заключалась в медленном отступлении и в заманивании неприятеля в глубь италийской территории для того, чтобы встретиться с ним в благоприятных для себя условиях. Кунктатор—по-латински «медлитель».

² *Конде* (см. прим. стр. 494)—применял в войне тактику внезапного нападения и стремительности.

изменившего России владетеля Абхазии, князя Шервашидзе, а также мусульман Абхазии и воинственных горских племен. У него скопились большие для Кавказа силы—сорок тысяч человек, при резервах в десять тысяч, а русские силы, противостоявшие ему, были очень разбросаны и слабы. И все-таки Омер-паша наступал так медленно, что пропустил удобное для продвижения большой армии время. В ноябре пошли дожди, горные реки вздулись и стали непроходимы, каждый незаметный еще недавно ручей сделался шумной рекой, дороги в долинах растворились в грязи и исчезли, между тем, до Карса было еще очень далеко, а гарнизон крепости дошел уже до предела лишений.

Наступившая зима прекратила военные действия на всех фронтах и предоставила полный простор вежливой, учтивой борьбе дипломатов в богато обставленных кабинетах министерств и дворцов.

Но, разумеется, первый нажим на дипломатов был сделан банкирами: они развязали европейскую войну, получившую название Восточной, они же пришли к выводу, что вести ее дальше не доставит уже больших выгод и пора ее закончить.

Парижский банкир Эрлангер писал об этом со слов биржевого дельца, брата Наполеона III, герцога Мори, банкиру венскому Сину. Затруднение заключалось только в том, что кто-то и как-то должен был сделать первый шаг к мирным переговорам.

Банкирам, конечно, хотелось, чтобы первый шаг был сделан русской дипломатией; русская дипломатия давала понять им, что она, «будучи нема, не останется глухою», то есть выслушает посредников.

Тем временем Наполеон III давал понять руководителям английской политики, что он не прочь был бы сделать целью дальнейшей войны с Россией восстановление Польши как государства; руководители же английской политики дали ему понять, что на это они ни в коем случае не пойдут.

Александр же, со своей стороны, питал надежды на то, что во Франции возникнет революция и стащит с трона бонапартида. Ему казалось, что причины для этого достаточны: плохой урожай, бедственное положение вследствие этого французских крестьян, недовольство рабочих тяготами войны...

В этом смысле он писал Горчакову в Крым из Николаева еще в середине октября:

«Прежние революции всегда этим начинались, и там, может быть, до общего переворота недалеко. В этом я вижу самый правдоподобный исход теперешней войны, ибо искреннего желания мира, с кондициями, совместными с нашими видами и достоинством России, я ни от Наполеона, ни от

Англии не ожидаю, а покуда я буду жив, верно, других не приму».

Когда ему передали, что Наполеон, может быть, будет не прочь заключить с ним сепаратный мир, Александр забыл на время даже о своих надеждах на революцию во Франции и свержение бонапартида.

«Если бы действительно мы могли этого достигнуть,— писал он тому же Горчакову,—то, разумеется, я предпочту прямые с ним переговоры всякому стороннему вмешательству».

Через посредство тех же банкиров, барона Эрлангера и барона Сина, Мори совсем было договорился с русским дипломатом Горчаковым съехаться в Дрездене для более короткого обмена мыслями о возможности мира, причем Мори давал понять, что, может быть, удастся несколько смягчить первоначальные условия мира, заменить пункт об ограничении сил России на Черном море пунктом о «нейтрализации Черного моря», что было бы, во-первых, не обидно для национального самолюбия, а во-вторых, в достаточной степени иллюзорно.

«Не в первый раз заносятся в договоры подобные условия,—писал Мори,—но сколько же времени соблюдаются они? Пройдет несколько лет, и интересы переместятся, ненависть потухнет, установятся дружеские отношения, благоденствия мира излечат раны войны, и... такого рода договоры забудутся и не станут больше применяться. Часто случается даже, что та самая нация, которая настояла на ограничении сил, первая же требует отмены этого».

Вообще Мори всячески старался выказать себя большим другом России, и нельзя сказать, чтобы старания его пропали даром для него самого: после заключения мира он был назначен посланником в Петербург и здесь женился на одной из великосветских невест, за которой дали огромное приданое.

Свидание же Мори с Горчаковым в Дрездене так и не состоялось: канцлер Нессельроде не мыслил себя вне интересов австрийской короны; он внушил Александру, что сепаратные переговоры с Францией могут иметь самые печальные для России последствия, и, конечно, тут же выступила на сцену Австрия, потом Лондон, и в результате этого зять Нессельроде и Эстергази появились в Петербурге с точными, выверенными и согласованными пунктами мирного договора в руках.

Всякие закулисные махинации были объявлены недостойными чести и достоинства России; к ней, как к должнику, который не прочь обсудить виды и сроки уплаты, съехались представители всех кредиторов, как воевавших, так и имевших только намерение воевать, и обсуждение вопроса о возможностях мира началось.

Перед лицом поднявшейся на Россию Европы император Александр оставался в том же одиночестве, какое унаследовал от отца. Единственный, кого он хотел склонить на свою сторону, родной дядя его по матери—король прусский—ответил ему отказом.

Он не поспешил только на советы принять условия мира, какие ему предлагают, «пойти елико возможно далеко в уступках, зрело взвесив последствия, которые могут проистечь для истинных интересов России и самой Пруссии, а также всей Европы от бесконечного продолжения этой ужасной войны: стоит только разнуждаться разрушительным страстям, и кто может исчислить последствия этого повсеместного наводнения?»

Однако с советами начать мирные переговоры выступил, наконец, и сам противник Александра Наполеон III, поручив барону Зеебаху заявить в Петербурге, что «существуют только два средства привести великую войну к окончанию: или полным истощением одной из воюющих сторон, или равновесием между ними, без посягательства на их честь. В данном случае именно и предлагается это второе средство. Если в Балтийском море союзные державы не совершили ничего существенного, то в Крыму они все-таки одержали успех, хотя и стоивший им очень дорого. Соппротивление, оказанное русскими войсками, покрыло их славой; дельные стратегические распоряжения Горчакова обеспечили безопасность Крыма на всю зиму. Таково прошлое...»

Будущее же представлялось Наполеону так: «Союзники не перенесут войну в глубь России, потому что опыт доказал нецелесообразность этого средства; но они воспользуются всеми усовершенствованиями, введенными в морское дело, чтобы атаковать Россию на Балтийском море и разрушить Кронштадт. Блокада черноморских портов вынудит нас содержать на юге значительные военные силы. Но к чему же все это поведет? К пролитию крови и к бесполезным издержкам, а выгоду извлечет одна Австрия...»

Император французов, давая совет принять условия мира, заканчивал «искренним намерением сблизиться с Россией», а в доказательство этого приводил то, что ему уже пришлось бороться за Россию в Лондоне, который противится миру и выставил было чудовищные условия требовать непременно срыть Николаев с его верфью. «Мне немало труда стоило,—говорил Наполеон,—разъяснить английскому правительству, что нельзя требовать того, чем не овладел с боя».

Чтобы обсудить всесторонне создавшееся положение, Александр созвал двадцатого декабря своих высших государственных сановников в Зимний дворец на совещание, сам прочитал им условия мира,

предложенные Австрией, и предложил высказаться откровенно.

По роковому стечению обстоятельств те же самые, оставшиеся Александру в наследство сановники, которые легкомысленно способствовали Николаю I вызвать на борьбу Европу, теперь должны были сознаться в том, что не взвесили своих сил и не подсчитали сил противника.

Министр государственных имуществ граф Киселев говорил, что в истории не было еще примера, чтобы в союз вступили две сильнейшие морские державы, которые с первых же шагов привели к бездействию русский флот, что «четыре державы-союзницы имеют сто восемь миллионов населения и в общем три миллиарда годового дохода, в то время как население России не превышает шестидесяти пяти миллионов, а доходы едва достигают одного миллиарда... В таком положении,—продолжал он,—без помощи извне, без всякого вероятия на союз с кем-либо, нуждаясь в средствах для продолжения войны и имея в виду, что и нейтральные государства склоняются на сторону наших противников, было бы по меньшей мере неблагоразумно рисковать новой кампанией, которая только усилит требования противников и сделает мир еще более трудным... Недостаток оружия и запасов усиливается; затруднения в этом деле растут ежедневно, как свидетельствует военный министр... Все эти причины вместе взятые приводят к убеждению, что надо действовать с крайней осторожностью и, не отвергая австрийских предложений, постараться изменить те условия, которые не могут быть нами приняты без ущерба нашему достоинству, а именно: уменьшение нашей территории и некоторые из последствий нейтрализации Черного моря».

Киселева поддержали два генерал-адъютанта: князь Воронцов и граф Орлов. Из них первый был настроен очень мрачно. По его словам, новая кампания может только привести к потере и Крыма, и Кавказа, и Финляндии, и Польши, поэтому гораздо умнее будет заключить мир, пока еще не обнаружилось полное истощение русских сил, пока еще возможно сопротивление.

Мнение князя Долгорукова, военного министра, на которого ссылался Киселев, сводилось к тому, что Россия не в состоянии перевооружиться во время войны, как это удалось сделать державам-союзницам Англии и Франции благодаря их высокой технике, что Шостенский пороховой завод с его конным приводом не в состоянии конкурировать с иностранными заводами, где работают паровые двигатели; что огромные расстояния и плохие условия транспорта воздвигают непреодолимые препятствия по снабжению армии; что нет не только достаточного количества селитры для увеличенного выпуска пороха, но нет даже и нужного числа портовых, чтобы сшить мундирную одежду; что

нет возможностей для фабрикации ружей точного боя; что даже сапоги, даже полотна—все это поставляется для нужд армии ценой больших усилий, всегда не во-время и очень плохого качества...

Нессельроде не преминул поставить собрание высших сановников в известность о том, что замышляет сделать Австрия, если предварительные условия мира, присланные ею, будут отвергнуты.

Граф Буоль, австрийский министр иностранных дел, угрожал «серьезными последствиями», если предварительные мирные условия не будут приняты. Это требовало, конечно, разъяснения, и Нессельроде разъяснял, что последует прежде всего разрыв дипломатических сношений, а затем Австрия вступит в коалицию врагов России. Вслед за нею, по всей вероятности, вся Германия и Скандинавия сделают то же. Между тем на военном совете в Париже решено, что с начала военной кампании французы займут весь Крым, а англичане, сардинцы и турки атакуют все кавказское побережье. Заняв Крым, французы со стороны Дуная ударят на Бессарабию, а так как это уже будет происходить по соседству с Австрией, то Австрия, наконец, двинет свою огромную армию к западным русским границам... Конечно, при таких обстоятельствах не устоит от участия в войне и Пруссия... А блокада русских портов союзным флотом и все те неисчислимые материальные потери, которые с нею связаны? А полная возможность флота союзников обстрелять и занять десантным отрядом любое место на побережье?..

Пискливый голос весьма одряхлевшего старательного ученика Меттерниха не мешал убедительности всех рисуемых им ужасов, которые должны будут разразиться над Россией, если только австрийские условия покажутся неприемлемыми.

Приводилась и ссылка на мнение министра финансов, что нельзя обольщаться прочностью канкриновского рубля, который упал всего только пока на семь процентов. Огромнейшие средства расходовались и должны были расходоваться на содержание армии, доведенной вместе с иррегулярными казачьими войсками до двух с половиной миллионов человек, причем одних только рекрутов было призвано около миллиона и около полу-миллиона ратников ополчения.

Между тем не только Крым, но и несколько южных губерний были уже истощены реквизициями; множество рабочего рогатого скота, необходимого для транспорта, было уже частью съедено армией, частью погибло от бескормицы, частью утонуло в невылазной осенне-зимней грязи...

Из всех сановников, призванных царем на совещание, один только статс-секретарь граф Блудов высказался было за продолжение войны, но к концу совещания признал этот взгляд свой ошибкой и

повторил исторические слова герцога Шуазеля¹: «Если мы не умеем вести войну, то заключим мир».

После того, что видел Александр в Николаеве и в Крыму, он сам далеко не смотрел так мрачно на дело обороны России, как Нессельроде, Воронцов, Киселев, Долгоруков, и несколько минут прошло у него в раздумье, когда все мнения были отобраны и единогласно решено было, что воевать дальше Россия не может.

Наконец, обратясь к канцлеру, он поручил ему объявить австрийскому посланнику графу Эстергази, что привезенные им предварительные условия мира Россией приняты.

Впоследствии император Александр никогда не мог равнодушно вспомнить об этом совещании и о том, что он согласился на мир, позволил запугать себя бессильными по существу угрозами Англии и ультиматумом Австрии, стоявшей на грани финансового краха.

— Я сделал тогда большую подлость,—обыкновенно говорил он, преувеличивая, конечно, значение своего самодержавства.

5

На мирный конгресс, открывшийся в Париже, был послан граф Орлов. Франция выставила своего министра иностранных дел, графа Валуевского, Англия—лорда Кларендона, Австрия—графа Буоля, Сардиния—графа Кавура, Турция—великого визиря Аали-пашу.

Казалось бы, конгресс из таких сплошь титулованных представителей должен был протекать благовоспитанно-спокойно, но чуть только открылся он, раздались резкие выражения, появились слишком сильные жесты вплоть до угрожающего стука костяшками пальцев об стол, повышение голосов до крика, запальчивость до хрипоты и перехвата глоток: на обсуждение был поставлен вопрос об изменении пограничной линии в Бессарабии.

Вопрос этот, правда, непосредственно касался одной только Австрии, благоразумно не воевавшей, но графа Буоля яростно поддерживал лорд Кларендон, представитель державы, хотя и воевавшей, однако очень неудачно. Чтобы обеспечить свободу плаванья по нижнему течению Дуная, Австрия намерена была отхватить у России чуть ли не половину Бессарабии.

Орлов напомнил о том, что в руках России находится не только крепость турецкая Карс, но и весь Карсский пашалык, который может явиться хорошей мерой за меру: или границы Бессарабии останутся без изменений, а Карсский пашалык

¹ Шуазель *Этьен-Франсуа* (1719—1785)—французский министр иностранных дел при Людовике XV. Приведенная фраза относится к неудачам, испытанным Францией во время Семилетней войны с Пруссией.

нет возможностей для фабрикации ружей точного боя; что даже сапоги, даже полотно—все это поставляется для нужд армии ценой больших усилий, всегда не во-время и очень плохого качества...

Нессельроде не преминул поставить собрание высших сановников в известность о том, что замышляет сделать Австрия, если предварительные условия мира, присланные ею, будут отвергнуты.

Граф Буоль, австрийский министр иностранных дел, угрожал «серьезными последствиями», если предварительные мирные условия не будут приняты. Это требовало, конечно, разъяснения, и Нессельроде разъяснял, что последует прежде всего разрыв дипломатических сношений, а затем Австрия вступит в коалицию врагов России. Вслед за нею, по всей вероятности, вся Германия и Скандинавия сделают то же. Между тем на военном совете в Париже решено, что с начала военной кампании французы займут весь Крым, а англичане, сардинцы и турки атакуют все кавказское побережье. Заняв Крым, французы со стороны Дуная ударят на Бессарабию, а так как это уже будет происходить по соседству с Австрией, то Австрия, наконец, двинет свою огромную армию к западным русским границам... Конечно, при таких обстоятельствах не устоит от участия в войне и Пруссия... А блокада русских портов союзным флотом и все те неисчислимые материальные потери, которые с нею связаны? А полная возможность флота союзников обстрелять и занять десантным отрядом любое место на побережье?..

Пискливый голос весьма одряхлевшего старательного ученика Меттерниха не мешал убедительности всех рисуемых им ужасов, которые должны будут разразиться над Россией, если только австрийские условия покажутся неприемлемыми.

Приводилась и ссылка на мнение министра финансов, что нельзя обольщаться прочностью канкриновского рубля, который упал всего только пока на семь процентов. Огромнейшие средства расходовались и должны были расходоваться на содержание армии, доведенной вместе с иррегулярными казачьими войсками до двух с половиной миллионов человек, причем одних только рекрутов было призвано около миллиона и около полу-миллиона ратников ополчения.

Между тем не только Крым, но и несколько южных губерний были уже истощены реквизициями; множество рабочего рогатого скота, необходимого для транспорта, было уже частью съедено армией, частью погибло от бескормицы, частью утонуло в невылазной осенне-зимней грязи...

Из всех сановников, призванных царем на совещание, один только статс-секретарь граф Блудов высказался было за продолжение войны, но к концу совещания признал этот взгляд свой ошибкой и

повторил исторические слова герцога Шуазеля¹: «Если мы не умеем вести войну, то заключим мир».

После того, что видел Александр в Николаеве и в Крыму, он сам далеко не смотрел так мрачно на дело обороны России, как Нессельроде, Воронцов, Киселев, Долгоруков, и несколько минут прошло у него в раздумье, когда все мнения были отобраны и единогласно решено было, что воевать дальше Россия не может.

Наконец, обратясь к канцлеру, он поручил ему объявить австрийскому посланнику графу Эстергази, что привезенные им предварительные условия мира Россией приняты.

Впоследствии император Александр никогда не мог равнодушно вспомнить об этом совещании и о том, что он согласился на мир, позволил запугать себя бессильными по существу угрозами Англии и ультиматумом Австрии, стоявшей на грани финансового краха.

— Я сделал тогда большую подлость,—обыкновенно говорил он, преувеличивая, конечно, значение своего самодержавства.

5

На мирный конгресс, открывшийся в Париже, был послан граф Орлов. Франция выставила своего министра иностранных дел, графа Валуевского, Англия—лорда Кларендона, Австрия—графа Буоля, Сардиния—графа Кавура, Турция—великого визиря Аали-пашу.

Казалось бы, конгресс из таких сплошь титулованных представителей должен был протекать благовоспитанно-спокойно, но чуть только открылся он, раздались резкие выражения, появились слишком сильные жесты вплоть до угрожающего стука костяшками пальцев об стол, повышение голосов до крика, запальчивость до хрипоты и перехвата глоток: на обсуждение был поставлен вопрос об изменении пограничной линии в Бессарабии.

Вопрос этот, правда, непосредственно касался одной только Австрии, благоразумно не воевавшей, но графа Буоля яростно поддерживал лорд Кларендон, представитель державы, хотя и воевавшей, однако очень неудачно. Чтобы обеспечить свободу плавания по нижнему течению Дуная, Австрия намерена была отхватить у России чуть ли не половину Бессарабии.

Орлов напомнил о том, что в руках России находится не только крепость турецкая Карс, но и весь Карсский пашалык, который может явиться хорошей мерой за меру: или границы Бессарабии останутся без изменений, а Карсский пашалык

¹ Шуазель *Этьен-Франсуа* (1719—1785)—французский министр иностранных дел при Людовике XV. Приведенная фраза относится к неудачам, испытанным Францией во время Семилетней войны с Пруссией.

будет возвращен Турции, или границы Бессарабии будут передвинуты, но зато все земли, завоеванные русскими войсками в Малой Азии, навсегда останутся за Россией.

Вот тогда-то лорд Кларендон начал кричать, что Англия готова воевать с Россией бесконечно, но не позволит ей урезать что-нибудь из территории Османской империи.

Кричал Кларендон, кричал Буоль, кричал Орлов, начал сверкать глазами и покрикивать великий визирь Аали-паша, пришлось председателю конгресса графу Валуевскому со всей поспешностью закрыть заседание, чтобы избежать военных действий за столом конгресса.

Чтобы выйти из очень трудного положения, в какое попал он в самом начале заседаний, Орлову пришлось обратиться за поддержкой непосредственно к Наполеону. Желая во что бы то ни стало добиться хороших отношений с Россией, не разрывая в то же время со своими союзниками, император французов дал понять и Буолю и Кларендону, что слишком больших требований их правительств он поддерживать не будет, так как желает мира. Это вызвало колкие письма к нему Виктории, но заседания конгресса пошли все же после того значительно сдержанней: постепенно возвращались к России, на карте, разложенной на столе в зале заседаний, и Болград и Хотин, на которые посягала в пользу Молдавии Австрия, пока не осталась, наконец, узенькая полоска по левому берегу Дуная около гирла, всего в тридцать квадратных километров.

Об этом клочке приказано было Александром Орлову не спорить больше. Севастополь возвращался России, хотя и без права укреплять его; Карс—Турции. О числе военных судов, которые Россия и Турция могли бы держать в Черном море, Орлов договорился непосредственно с Аали-пашой. Наконец, Россия отказывалась от протектората над Молдавией, Валахией и Сербией, который не давал ей никаких выгод, хотя и стоил много русской крови.

Парижский мирный трактат был подписан в годовщину взятия Парижа союзными войсками в 1814 году, то есть 18/30 марта 1856 года.

Перемирие в Севастополе, между двумя берегами Большого рейда, было объявлено на месяц раньше, 17 февраля. Конвенцию о перемирии подписали главнокомандующие союзных армий—Пелисье и другие, а с русской стороны—новый главнокомандующий, генерал Лидерс, так как Горчаков еще в начале января был переведен в Варшаву.

Граф Орлов, заключивший «не постыдный мир», был назначен по возвращении председателем Государственного совета и комитета министров, то есть стал первым лицом в государстве, а через год получил княжеский титул: это был его «заработок»

на славной обороне Севастополя. С другой стороны генералу Пелисье был дан Наполеоном титул герцога Малаховского (duc de Malakow). Сделанный маршалом французский Ахилл Боске вследствие раны, полученной при взятии Малахова, жил недолго.

Наполеону III необходимо было оказать давление на членов конгресса: он очень хорошо знал, во что уже обошлась ему осада Севастополя, и мог, хотя бы приблизительно, рассчитать, что будет стоить продолжение войны с Россией.

Свыше трехсот тысяч отборнейших французских войск, включая сюда и гвардию, были отправлены в Крым с начала военных там действий, и уже около ста тысяч из них безвозвратно погибли, от снарядов и пуль в меньшей степени, чем от холеры, тифа, дизентерии, цынги и других болезней.

И хотя очень легко говорилось, что в весенние и летние месяцы французы, оставленные другими союзными армиями для завоевания Крыма, займут его, частью вытеснив, частью уничтожив русские войска, но Наполеон понимал, конечно, всю трудность и даже рискованность этого предприятия, кроме того что война уже стоила Франции свыше полутора миллиардов франков и сколько могла бы стоить еще?

Наконец, неустойчива была и дисциплина французских войск, начиная сверху. Наполеон не мог, конечно, забыть, что его план маневренной войны в Крыму был забракован генералами его армии (и прежде всего самим главнокомандующим Пелисье. Иных генералов пришлось отозвать; между ними генерал Форе был отозван потому, что солдаты не хотели ему подчиняться, и дело дошло почти до открытого бунта, причем в оправдание себя солдаты обвиняли Форе в изменнических сношениях с русскими, что оказалось, конечно, явной клеветой: Форе просто был требователен и строг.

Наполеон знал и то, что развал в английской армии был несравненно сильнее, чем во французской, и это сказалось бы на второй год войны с удвоенной силой, так как если война с Россией не была популярной среди французов, то еще менее могла она увлечь умы наемных английских солдат. Между тем дисциплина русских войск, боровшихся с лучшими европейскими полками при вопиющем неравенстве технических средств борьбы, его поражала.

Он видел также и бессилие Англии, вздумавшей «продолжать войну до бесконечности», как заявил на конгрессе лорд Кларендон, и в то же время бывшей не в состоянии поднять численность своей армии выше тридцати пяти тысяч человек. А между тем война обошлась уже английскому казначейству в два миллиарда франков,—и к каким же результатам привели эти колоссальные затраты?

Даже Австрия, которая не воевала, но умудрилась на одно только развертывание своей армии и оккупацию Молдавии—Валахии израсходовать свыше миллиарда, что она стала бы делать дальше, если бы и в самом деле ввязалась в войну?

В общем союзные армии, не считая турецкой, потеряли одними убитыми и умершими от ран и болезней сто пятьдесят пять тысяч человек, а издержки их стран превзошли пять миллиардов франков.

Потери России убитыми и ранеными дошли до ста тысяч человек; потери от эпидемических болезней были огромны, но относительно меньше, чем у интервентов; а издержки на всю Восточную войну были исчислены в три миллиарда двести миллионов франков (восемьсот миллионов рублей).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Мир был подписан, и телеграф известил об этом почти одновременно и русские войска на Северной, на Инкермане, на Мекензиевых горах, и войска интервентов на их позициях.

И вот сразу и безудержно кинулись вчерашние враги одни к другим в гости, благо стояли яркие весенние дни, звенели жаворонки, золотели всюду звездочки крокусов, тихо голубела бухта, и сверкало снова приветливо, снова своими русскими безбрежными просторами море.

На Трактирном каменном мосту через Черную речку, так памятном и русским и французам по 4/16 августа, выдавались пропуска для желающих посетить теперь уже не лагерь противника, а просто «иностранный» лагерь, и с этими пропусками мчались кавалькады русских офицеров в Камыш и в Балаклаву, а французы, англичане, сардинцы—сначала на Мекензиевы горы, а потом в Бахчисарай и дальше, по всему Крыму, овладеть которым так и осталось неисполнимой мечтой их правительств.

И если французы не теряли при этом присущего им военного обличья и путешествовали по Крыму верхом, с проводниками из русских офицеров, говоривших по-французски, и местных татар, то англичане, природные туристы, очень быстро преобразились в туристов и пересели в удобные покойные кэбы, за которыми мулы тащили व्यюки со всем необходимым в дальних дорогах и прежде всего с палатками для ночевки на свежем воздухе.

Очень быстро тогда все живописнейшее шоссе, идущее вдоль южного берега Крыма и от Алушты до Симферополя оказалось уставленными этими островерхими палатками, в которых отдыхали сыны Альбиона в самых непринужденных костюмах.

Среди них были и корреспонденты газет, и о красотах Крыма посылались восторженные статьи в Лондон, были и художники, и это позволило англичанам выпустить к концу 1856 года альбом прелестнейших акварелей—видов Ялты, Алушты, Чатырдага, горных речек, лесных ущелий в горах, сцен из жизни крымских татар и прочее.

Британцы путешествовали, не зная русского, а тем более татарского языка и не имея переводчиков, с небольшими словарями, в которых английскими буквами изображены были необходимейшие русские слова. Их почтил одною строчкой в своем известном стихотворении бывший как раз в это время в Крыму поэт граф А. Толстой:

...Но мешают мне немножко
Жизнью жить средь этих стран
Скорпион, сороконожка
Да фигуры англичан.

Особенностью этих путешествий англичан точно так же, впрочем, как и французов, являлось прекрасное заочное знание Крыма. Их карты, как и карты французов, были точны до последних мелочей. На них были нанесены все грунтовые дороги, мельчайшие речонки, все даже тщательно укрытые лесами и горами селения татар. Так что, если кто и готовил всерьез и добросовестно покорение Крыма англо-французами, то это были их топографы, работавшие в Крыму, конечно, задолго до начала войны по указаниям своих штабов, безвестные, но воистину преданные своему делу. Часто случалось так, что даже местные жители знали окрестности своих аулов гораздо хуже, чем постоянно справлявшиеся со своими картами путешественники в красных мундирах.

Однако видно было, что долговременная совместная осада Севастополя, кончившаяся тем, что, потеряв четверть миллиона людьми (вместе с инвалидами войны) и несколько миллиардов деньгами, они заняли всего только южную часть города, не сблизила союзников. Не было общих лавров, потому что не было общих побед. Насмешки французов вызывали все действия англичан: оскорбительнейшими для самолюбия англичан были успехи французов, их указания, их помощь в сражениях, без которой английская армия еще в первые месяцы войны в Крыму перестала бы существовать.

И теперь союзники не только путешествовали по Крыму отдельно, но если они приглашали к себе в гости русских военных, то французы говорили:

— Приезжайте к нам, в Камыш, там есть на что посмотреть! А Балаклава... на поездку туда совсем незачем тратить вам время!

Англичане же, давая русским свои адреса в Балаклаве, говорили:

— В Камыш ездить не стоит, там и в десятой доле нет столько примечательного, сколько вы встретите у нас, в Балаклаве.

Но русские охотнее ездили в Камыш, чем в Балаклаву, и это объяснялось не одним только тем, что французский язык был им гораздо более знаком, чем английский. Даже и солдаты русские и казаки, обходившиеся для посещения иностранного лагеря без всяких пропусков, поэтому искавшие броду через Черную, вместо того чтобы идти на мост, и те предпочитали пантомимную беседу с французами такой же беседе с англичанами, которые были в их глазах просто «бес-толковый народ».

Камыш был гораздо веселее Балаклавы.

Все было криливо-пестро и даже пышно в этом «маленьком Париже», начиная с названия улиц, как «улица Славы», «улица Наполеона», «улица Победы»... Деревянные домишки были украшены огромными вывесками, так как в каждом чем-нибудь торговали, или это были парикмахерские, кафе, рестораны... Даже театр был устроен здесь, и нельзя сказать чтобы маленький,—на тысячу двести мест с ложами для генералов и с паникадилами вместо люстр.

Места в нем стоили по несколько франков, так что среди зрителей много бывало солдат, а труппа была привезена из Парижа; ставились же исключительно комедии и водевили, причем авторы не узнали бы своих произведений, так они приспособивались актерами к публике.

Бань для солдат зато не было, и сыпняк не переводился. Много штатского народа—купцов, подрядчиков, маркитантов,—в сюртуках и черных высоких шляпах сновало по улицам и много женщин, что придавало Камышу вполне обжитой вид.

Несколько гостиниц успели устроить здесь предпринимчивые люди. Это были двухэтажные деревянные дома с балконами,—внизу неизбежный ресторан,верху номера.

Верховые на прекрасных лошадях, коляски, першероны, важно влекущие по мостовой грохочущие стопудовые тяжести, вислouchие скромные мулы и совсем игрушечные пони,—серенькие в яблочках и гнедые,—запряженные в такие же игрушечные тележки, все это заполняло улицы, причем заметно уже было, что чисто торговые интересы вытесняли военные.

Около домов и домиков красовались палисадники, в которых, нежась на весеннем солнце, стояли горшки с комнатными цветами. Кто-то заботился и о том, чтобы жестянки от консервов и битая посуда складывались в особые большие ящики, стоявшие кое-где около домов, а не швырялись куда попало. Столики в ресторанах и кафе были мраморные, стены задрапированы веселым пестрым ситцем, потолки обиты миткалем...

Русские везде в Камыше принимались с большим радушием, но напрасно говорили французы, что нечего смотреть в Балаклаву.

Когда Хлапонин, знавший прежнюю Балаклаву,

вздумал вместе с Елизаветой Михайловной проехать туда теперь, он был удивлен тем обилием нового, в котором совершенно утонул скромный рыбацкий греческий городок около бухты.

Балаклава растянулась теперь на все окрестные холмы, на всю долину. Даже какие-то фабрики увидели они на горе: в открытых больших окнах там виднелись вращавшиеся под приводными ремнями колеса, доносился оттуда монотонный фабричный шум, и сутились около них не солдаты, а рабочие в кепках, грязных, промасленных, запыленных.

По рельсам железной дороги, гудя и дымя, катился паровоз, от которого лошади Хлапонных шарахнулись в сторону, дрожа от страха, а невдалеке от этой линии рабочие—не солдаты—долбили кирками глину, прокладывая другой подъездной к пристани путь.

Это удивило Елизавету Михайловну, озадачило даже.

— Как же так, ведь мир заключен, чего же они еще роются тут?—обратилась она к мужу.

Хлапонин тоже был очень неприятно поражен этим, но ответил, оглядевшись кругом:

— Ведь все это, что они здесь понастроили, им увозить надо будет; также и орудия грузить на суда... считают, должно быть, выгодней для себя перевозить тяжести по чугунке, а не резать лошадей, что ж, в две-три недели ведь отсюда не уберутся, успеют еще и уложить рельсы и снять их потом.

— Ты думаешь, что все-таки снимут рельсы?—усомнилась Елизавета Михайловна.

— А ты хотела бы, чтобы они их оставили нам?—улыбнулся он.—Нет, англичане народ практичный, заберут.

Елизавета Михайловна поверила мужу, когда увидела ближе к пристани огромные груды белого известкового камня, из которого строились дома в Севастополе: этот камень грузился теперь на английские транспорты, несмотря на то что в большей части своей он потерял уже первоначальные формы и был закопчен от взрывов и пожаров.

Буквально целый лес мачт вырос перед изумленными глазами Хлапоновых, когда они подъехали к тому месту, откуда открывалась бухта.

— Ну, кажется, от прежней Балаклавы осталась одна только генуэзская башня,—сказал Хлапонин,—да и то ее украсили шестами и бсеревками, должно быть, для поднятия флагов.

Толчея на улицах этой новой Балаклавы была ничуть не меньшая, чем в Камыше; но если там мало попадалось англичан, то зато здесь очень много было французов и особенно много сардинцев; из английских же солдат останавливали на себе внимание Хлапоновых шотландцы, очень рослые, с голыми коленями и в медвежьих высоких

гвардейских шапках наподобие тех, какие носили русские дворцовые гренадеры. Но дворцовые гренадеры были старики, а это все краснощекий, сильный на вид, красивый народ. У иных над головами веяли черные страусовые перья. Уроки первой зимней кампании, когда этот же самый рослый, сильный на вид народ терпел во всем страшную нужду и вымирал от болезней до того, что в иных батальонах числилось всего по восемь человек в строю, не прошли даром. Видно было Хлапоницу, что вторая зимняя кампания,—правда, кампания уже мирная,—перенесена была англичанами легко и даже обставлена была с присущим им комфортом.

Очень било в глаза со всех сторон богатство средств, какими располагали англичане, и Хлапонин, чтобы не поддаться минутной зависти, проговорил, усмехнувшись одними глазами:

— Однако, господа энглезы, при всем том третьего бастиона у нас вы все-таки так и не взяли! Вот вам!

— Мне хотелось бы посмотреть на третий бастион!—оживленно подхватила это замечание мужа Елизавета Михайловна.—Как ты думаешь, можно будет это? А то уедем отсюда, из Крыма, и так я этого бастиона твоего и не увижу!

Справились, можно ли будет посетить бастионы,—им дали разрешение без задержки,—Корабельная сторона называлась теперь Английскою стороною, Южная—Французской, и, наскоро закусив в ресторане, Хлапонины отправились на Английскую сторону.

— Много сена заготовили энглезы!—с завистью артиллериста говорил дорогой Хлапонин, встречая по сторонам огромные стога прессованного сена.

Сено это везли куда-то и слоноподобные лошади с мохнатыми ногами, которых обгоняли Хлапонины. По форме подпрыгивая в седле, встретился им какой-то английский генерал в синем кепи с золотым околышем. Адьютант его, скакавший за ним, тоже подпрыгивал в такт галопу коня с высоко подрезанным хвостом.

Кони у обоих были—загляденье, и Хлапонины переглянулись, поняв друг друга без слов: им стало немножко неловко за своих лохматеньких лошадок, хотя и генерал и его адъютант первыми отклонялись им, конечно, из уважения к даме.

Часто попадались тяжеловозы, которые тащили оттуда, со стороны Севастополя, то бревно, то железо, то тесаный¹ камень: все это предназначалось к отправке в добрую старую Англию,—впрочем, может быть, и гораздо ближе, например, на Мальту.

Хотя Корабельная сторона и называлась теперь Английской, но французы все-таки не уступили англичанам чести нести караул на Малаховом кургане. Караульным помещением была та самая башня, из которой отстреливались несколько часов

последние защитники кургана. Возле нее стояли в козлах штуцеры, на штыках висели сумки.

Сюда прежде, чем на третий бастион, заехали Хлапонины. Их внимание привлек большой деревянный, выкрашенный в черное крест над братской могилой, где похоронены были и французы и русские. На кресте была надпись:

Septembre

1855

*Unis pour la Victoire,
Reunis par la Mort,
Du Soldat c'est la Gloire!
Des Braves c'est le Sort¹.*

— Много ли наших здесь погибло?—спросила мужа Хлапонина.

— Здесь, у горжи, говорили мне, много,—ответил Дмитрий Дмитриевич.—Ведь несколько полков один за другим ходили сюда в атаку... но каковы французы! Не могут обойтись без торжественных надписей и непременно стихами...

На башне, точнее на земляной насыпи над нижним этажом бывшей башни, стояла будка, трехцветный французский флаг плескался, так как дул несильный ветер, и прохаживался часовой, оживившийся только при виде их и смотревший на них с любопытством.

Под ногами везде торчали сильно ржавые уже осколки снарядов, ядра, картечь кучками, ружейные пули, зарастающие молодой травкой и одуванчиками... Блиндажи стояли без крыш, стены их осыпались; вал едва уже был заметен.

От домишек, лепившихся прежде у подножия кургана, теперь остались только кучки мусора, и почти вся Корабельная перестала уж существовать; только трактир «Ростов-на-Дону», повидимому, был поправлен и снова выполнял свое назначение: видно было, что около него толпились английские и французские солдаты.

— Вот и третий бастион! Посмотрим на него в последний раз...

Елизавета Михайловна заметила, что ее Митя волновался, оглядываясь на своем бывшем бастионе, но сама она, как ни хотелось ей этого, не испытывала волнения.

Картина в общем была такая же, как и на Малаховом, только без кургана, без башни, без черного креста с эпитафией. Почему-то здесь было больше мешков с землею, втоптаных и вросших в землю, но те же на каждом шагу осколки, желтые от ржавчины, ядра, картечные пули, раскрытые блиндажи и воронки.

¹ Быть заодно для победы и вновь быть соединенными смертью,—вот слава солдата, вот участь храбрых!

Хлапонину все хотелось как-нибудь чутьем угадать, в какую именно из этих воронок на левом крыле бастиона его отбросило тогда разрывом большого английского снаряда, но угадать он, конечно, не мог, и только Елизавета Михайловна могла уже теперь представить то положение мужа, из которого выручил его Терентий. Блиндаж, какой был обращен в мертвецкую, и куда тащили его, как покойника, солдаты, Хлапонин нашел, и перед ним, как перед могилой, его ожидавшей тогда, стоял он долго теперь.

Долго и молчаливо. Всякие слова по поводу этого,—он чувствовал,—были бы излишни для Елизаветы Михайловны, потому что тяжелы и не те.

С третьего бастиона через совершенно опустошенную Корабелку и по мосту через бухту они проехали до Михайловского собора, который казался издали неповрежденным и был очень памятен Елизавете Михайловне по свадьбе Вари Зарубиной.

Действительно, все стены его оказались целы, пробит только купол, как был он пробит и раньше, но зато в середине все было снято: ни иконостаса, никаких икон на стенах, ни паникадил... Только все стены внизу покрыты были надписями, а пол всяким сором вплоть до совершенно истоптанных и брошенных за инвалидностью башмаков зуавов и ключев красного сукна от фесок ли, от штанов ли...

Все мраморные плиты входных на паперть ступеней были сняты, но сняты были также и плиты Дворянского собрания, морской библиотеки, Графской пристани... Даже от огромных взорванных зданий фортов остались только жалкие кучки мусора. Если транспорты интервентов когда-то везли сюда сотни тысяч мешков, набитых турецкой землею, то теперь они увозили отсюда всякий строительный материал, ничем не брезгуя, так что теперь уже могли сказать графы Буоли, что Севастополь «сбрит».

Главнокомандующие трех союзных армий, сделавшие визит генералу Лидерсу, говорили, впрочем, совсем другое. И низенький, заурядной внешности, весьма поседевший под влиянием боевых забот, маршал Пелисье, и сухощавый, бритый, с лицом деревенского пастора генерал Кодрингтон, сменивший Симпсона, и наиболее воинственный по виду из всех трех, высокий, атлетически сложенный и с лихими гусарскими усами генерал Ламармора старались превзойти один другого в комплиментах русской армии, поставившей Севастополь в веках, как памятник русской славы.

Наиболее красноречивым из трех оказался, конечно, француз Пелисье. Он много говорил о неподражаемой «холодной» храбрости русского солдата, противопоставляя ее «горячей» храбрости французских войск и с деликатностью гостя отдавая предпочтение первой перед второю.

Селенгинский полк, выведенный на смотр в этот

день и представившийся действительно блестяще, осыпан был похвалами недавних врагов, причем все главнокомандующие-гости внимательнейше выслушивали главнокомандующего-хозяина, где именно отличались селенгинцы,—в каких боях, при отражении каких атак: их действия оказались очень памятны и Пелисье и Кодрингтону.

А brave селенгинцы, в высоких парадных киверах, в широких белых ранцевых ремнях, перекрещенных на груди, с замершими на ружьях пальцами, стояли безукоризненно в своих шеренгах, чувствуя локти товарищей, пожирая глазами начальство и ни слова не понимая из тех похвал, которые расточали им чужие генералы, гарцующие перед ними на блестяще вычищенных, красиво изгибающих лебединые шен, свержающих новенькой сбруей коня.

Конечно, и Лидерсу пришлось сыпать такие же комплименты полкам французским, английским и сардинским, выведенным на смотр, когда он приезжал с ответным визитом в главные квартиры армий интервентов.

Но вот уже отданы были необходимые визиты, сказаны необходимые взвинченные слова, получены из столиц приказания о порядке эвакуации войск из Крыма, и посадка войск на суда, наконец, началась.

Даже и русских: из Одессы для этой цели пришел пароход «Андия». Много ли можно было погрузить солдат на небольшой пароход? Но важно было сделать начало, важно было тронуть с места громаду войск.

А потом зашагали на Перекоп и дальше в испанские тысячеверстные концы армейцы, каждый неся на груди на георгиевской ленте серебряную медаль с вычеканенными на ней тремя простыми, но полными огромного исторического смысла и значения словами: «За защиту Севастополя».

«Севастополем», то есть «величественным, знаменитым городом» назван был Потемкиным едва населенный в те времена поселок русский на месте татарской деревни «Ахтиар». Едва ли несколько сот человек жило тогда тут корабельных плотников, матросов, необходимых чиновников, екатерининского офицерства... но имя обязывает, но слишком большой аванс, полученный на веру сотней деревенных домишек, должен был быть погашен,—заслужить нужно было пышное имя—«Знаменитый город»,—и Севастополь заслужил его честно годом великой борьбы с объединенной Европой.

2

Но не только с Европой велась борьба в Севастополе. Не так уж много нужно было ума, чтобы понять даже и в то время, что борьба в этой крайней южной точке России ведется на два

фронга: с просвещенным Западом и с восточной расейской тьмой.

И ученик поэта Жуковского на престоле понял это так же, как и многие другие около него. Крестьян в серых шинелях, которые с такой «холодной» храбростью в самой убийственной обстановке целый год защищали Севастополь, испугался царь, хотя и неоднократно повторял в своих приказах по армии: «Я горжусь вами!»

Крестьянские волнения то там, то здесь по губерниям не прекращались и во время войны, как бывали они неоднократно раньше. Но раньше золотая знать, стоящая около трона, относилась к ним презрительно. Говорили: «Эка беда! Побьют исправника, сожгут помещика... А палки на что?..» Теперь тут же, после севастопольской обороны, так не говорили.

Вопрос об освобождении крестьян стал теперь главным и самым острым вопросом. Император Александр опасался уже того, чтобы крестьяне не предупредили правительство, чтобы «освобождение их не началось само собою, снизу». В этом духе он говорил в своей речи, обращенной к московскому дворянству всего через десять дней после подписания мира, призывая крепостников расстаться с крепостным правом.

И он торопил особый секретный комитет по крестьянскому вопросу: «Желаю и требую от вашего комитета общего заключения, как к сему делу приступить, не откладывая дела под разными предложениями в долгий ящик. Буду ожидать с нетерпением, что комитет по этому делу решит. Повторяю еще раз, что положение наше таково, что медлить нельзя».

Он был испуган. Он боялся за свое положение, за целостность оплота своей власти—дворянства. Севастопольская кампания внушила ему настойчивую мысль о реформе сверху, чтобы избежать революции снизу. В этой мысли поддерживал его либеральнейший из министров, граф Киселев, основавший за восемнадцать лет своего министерства много школ для государственных крестьян.

Но, с другой стороны, пришли в ужас матерые крепостники. Их возглавлял вернувшийся из-за границы «миротворец» граф Орлов. Он принялся, как рассказывает об этом в своих «Записках» славянофил Кошелев, «почти на коленях умолять царя не открывать эры революции, которая поведет к резне, к тому, что дворянство лишится всякого значения и, быть может, самой жизни, а его величество утратит престол». Либерального же Киселева он предложил отправить послом в Париж, так как там нужен человек просвещенный и с широким взглядом на вещи.

Выходило так, что царь, испуганный возможностью широкого крестьянского движения, стремился к тому, чтобы заразить своим испугом дворян и ускорить благодаря их добровольному жела-

нию процесс освобождения, дворяне же стремились испугать его еще сильнее тем, что рисовали ему неисчислимые ужасы при одном только слове «воля», если оно будет пушено в народ.

В связи с этим вырабатывались проекты объявить чуть ли не всю Россию на осадном положении, чуть только приступят к свержению крепостного ига. И однако это свержение началось явочным порядком, и одним из первых помещиков, освободивших своих крестьян, наделив их землею, был генерал-севастополец Липранди, вышедший вскоре после окончания войны в отставку.

Многие помещики высказывались за то, что чисто экономические причины должны повлечь за собою близкое падение крепостного права, что труд крепостных невыгоден ни для сельского хозяйства, ни для связанной с ним деятельности фабрик и заводов, что необходимо перейти на труд вольнонаемных рабочих, чтобы догнать западные страны, одержавшие в Севастополе верх своей развитой техникой.

Севастопольские неудачи начали гласно ставить в прямую связь с отсутствием железных дорог в России, и капитал не только отечественный, но и иностранный сразу заявил о своем желании послужить делу развития железнодорожной сети. Канкрин пришел бы от этого в неподдельный ужас, но его уже не было в живых.

Оборона Севастополя прогремела над всей Россией как очистительная гроза.

Если в конце войны в приказе по армии генерал Лидерс осмелился объявить все, чем особенно дорожил, чего всеми силами добивался Николай I, бесполезной наружной муштрой, доводящей новобранцев до отвращения, и требовал, чтобы ополченцев и молодых солдат обучали только тому, что требуется войною, то есть обращению с ружьем, стрельбе в цель, правилам рукопашного боя, то теперь Александр поручает уже молодому генералу Милютину, который приходился племянником графа Киселева, выработать новый устав полевой службы, явно бракуя таким образом устав, подписанный своим державным отцом.

Либеральность правящих кругов дошла даже до того, что и за сочинения Гоголя вздумал вступить генерал-адмирал, великий князь Константин, ходатайствуя перед старшим братом, чтобы они были изданы все полностью, так как сам Гоголь был человек хороший и в силу этого не мог написать ничего вредного.

Славянофилов тоже решено было признать невинными людьми, а сочинения их впредь оставить за общей цензурой.

Даже число студентов в университетах решено было сдвинуть с николаевских трех сотен, и этот шаг не считался уже вольномысленным.

Но не только на верхах, не только в угнетенной деревне, везде и всюду в России расколы-

халась десятилетиями дремавшая мысль. Поколения людей, воспитанных при удушающем николаевском режиме, вдруг стали чувствовать себя реформистами, все заговорили о новшествах, все поняли, что старое сломлено там, на севастопольских бастионах, и держаться его преступно, не только бесполезно и дико.

Это брожение умов выразилось и в том, что ожила печать. Никогда до того даже представить себе никто не мог в России, чтобы начало издаваться вдруг такое множество газет, листов и журналов, какое появилось непосредственно вслед за Крымской войной.

Катков стал издавать в Москве журнал «Русский вестник». Он сам держался тогда западных взглядов, и к его журналу примкнули все московские западники-профессора; только Грановский не дождал до возможности высказываться через журнал: он умер в октябре 1855 года.

Деятельно начал сотрудничать в некрасовском «Современнике», несмотря на гонения правительства, гениальный Чернышевский, тогда уже автор «Эстетического отношения искусства к действительности», своей магистерской диссертации.

Быстро созрел политически под влиянием исторических событий другой великий публицист шестидесятых годов—Добролюбов.

Знаменитые в русской жизни девятнадцатого века шестидесятые годы глядели в зияющую брешь, пробитую одиннадцатимесячной севастопольской канонадой.

3

Матрос Кошка по окончании войны получил трехгодичный отпуск и уехал на родину, в Подольскую губернию, в село Замятинце.

Пластун-волонтер Василий Чумаченко, он же Терентий Чернобровкин, ушел с другими пластунами на Кубань.

Хлапонины убедили его, что показываться ему на родине, хотя и в казачьей черкеске и с двумя крестами, все-таки опасно; Лукерью же с детьми обещали непременно выкупить у Реусовых через подставное лицо, что они и сделали вскоре, отправив ее потом на Кубань.

Петрашевец Ипполит Дебу был наконец-то в конце войны произведен в вожаемый чин прапорщика. Конечно, он тут же вышел в отставку и уехал в Одессу, где, между прочим, жили в это время Зарубины, так как туда переведен был поручик Бородагов, их зять. Секретарем в одесское «Общество пароходства и торговли» устроился Дебу, и уже через год было возвращено ему дворянство. Потом на ту же должность и в то же «Общество» перешел он в Петербург, где и оставался до смерти. Он не опубликовал никаких воспоминаний своих, как это сделал, например, другой

петрашевец—Ахшарумов, но деятельно собирал в свою библиотеку сочинения социалистов-утопистов.

Бывший командир парохода «Владимир» Григорий Иванович Бутаков вскоре по окончании войны произведен был, в тридцатилетнем возрасте, в контр-адмиралы и назначен на высший административный пост в Николаеве.

Но он был не только блестящий командир, он был еще и блестяще образованным человеком и, вскоре переведенный в Балтийский флот, получил командировку в Англию для изучения строительства паровых броненосных судов.

Парусный флот погиб в Севастополе, вместе с ним погиб и крупнейший поэт паруса—Нахимов, как погибли и Корнилов, Истомин, Юрковский, Булицев и другие яркие представители старого поколения моряков, едва начинавшие перестраиваться на новый лад, как Корнилов, или совсем не успевшие еще этого сделать.

Но ведь и более молодое племя моряков было воспитано на культе паруса, не говоря уже о матросах. Между тем война с англо-французами показала, что парусному флоту пробил последний час, что он утонул гораздо раньше, чем был затоплен руками своих же матросов.

Винтовой железный корабль и стальная броня на нем, и новые орудия, и много других новшеств, введенных в передовых иностранных флотах, сбросив в могилу времени старые линейные корабли и фрегаты, бриги и корветы, властно потребовали и в России не только новых судов, но и новых экипажей к ним.

Нужен был человек, который стал бы во главе не только воссоздания, но и преобразования русского флота. Таким именно человеком и сделался Бутаков.

От этого еще довольно молодого годами, но уже с проседью в пышных бакенбардах, высокого, широкоплечего, бравого на вид, громкоголосого адмирала пошла новая школа русских моряков—«бутаковцев».

Девиз Бутакова был прост: «Готовься в бой!..» Прост и вполне понятен и однакоже нов, как просты и понятны, но в то же время новы в России были часто Бутаковым повторяемые слова: «Мы должны всегда, постоянно, безотлагательно готовиться к бою, к тому получасу, для которого мы существуем и в который придется нам показать нашему отечеству, что оно содержит не бесполезную и дорогостоящую игрушку, а свой оплот».

Ревностным помощником Бутакова в его работе был Стеценко.

Не слишком долго пробыл в плену у французов Витя Зарубин, успевший до отправки в Константинополь вместе с другими пленными русскими на корабле «Шарлемань» написать два письма своим родным, адресуя их на Главный штаб и

надеясь, что они дойдут по назначению и успокоят мать, отца, сестер.

Письма эти дошли, но пока дошли, беспокойства и отчаяния было много, конечно. Сам же Витя скоро свыкся со своим положением, тем более что плавание было продолжительным, судно прекрасным, обращение французов с пленными не могло возбудить ни малейших жалоб: Витя, как и другие обер-офицеры, помещался в офицерских каютах, обедал в кают-компании, а так как он неплохо говорил по-французски, то иногда забывал даже, что он в плену, а не совершает учебное плавание в иностранных водах.

Отойдя от берегов Крыма 2/14 сентября, «Шарлемань» 6/18 бросил якорь в Босфоре и пять дней простоял в Константинополе, так что Витя вполне познакомился со столицей Турции и даже видел султана, принимавшего парад около Айя-Софии: пленные русские офицеры ходили всюду вполне свободно в сопровождении офицеров французских.

Сказочная красота Босфора и Стамбула с его тысячью минаретов очень поразила Вигю. Два дня стояли потом у Мальты, и тоже дана была полная возможность осмотреть бывший центр ордена Мальтийских рыцарей—город Валет—и убедиться в том, что англичане здесь, на своей Мальте, так же холодно относятся к своим союзникам французам, как и под Севастополем.

Потом несколько дней еще шли до Тулона, где пленных русских солдат и матросов оставили под наблюдением на все время плена, а с офицеров взяли честное слово и подписку, что бежать из Франции они не намерены и будут дожидаться обмена пленных и возвращения на родину обычным порядком. Жить при этом им предоставлялось где угодно, исключая, однако, Парижа, и Витя четыре месяца жизни во Франции провел в Гавре.

Настал наконец радостный день, когда в связи с объявлением перемирия дали знать и пленным офицерам, что назначен размен, что скоро они будут свободны. Тогда-то им разрешено было приехать в Париж, и Витя с неделю пробыл тут, пока выполнялись всякие формальности.

Но хотя плен и весьма обогатил Вигю новыми впечатлениями, как всякое длительное путешествие по чужим краям, на родину тянуло неодолимо.

Адрес своих в Одессе он знал. Проездом через Варшаву он заказал себе полную флотскую форму. Деньги на это он сэкономил из вытанных в Париже представителем русского правительства, священником бывшего посольства; от французов же в бытность в плену он получал наравне со всеми обер-офицерами по сто франков в месяц.

Так в новенькой форме он появился однажды в квартире своих в Одессе. Олю он нашел очень подросшей; Варя расплнела и носила широкий капот, фланелевый, клетчатый; мать полна была прежней хозяйственной энергии, но отец лежал больной и, держа его руку в своей горячей костлявой руке, говорил ему столь же заботливо о нем, сколь и не совсем вразумительно:

— Вот, умру я... так ты смотри... не финти зря... калоши надень, калоши... когда за гробом моим... итти будешь. А то простудишься... простудишься, вот... Геперь зима... погода плохая... Без калош не смей...

Однако подействовал ли на него исцеляюще приезд сына, или независимо от того произошел перелом в его болезни, но он поправился к весне и жил еще долго.

А тридцать лет спустя капитан 1-го ранга Виктор Иванович Зарубин вступил в командование только что построенным тогда в Петербурге броненосным крейсером в восемь с половиною тысяч тонн «Адмирал Нахимов».

Июнь 1939 г.
г. Алушта.

К О Н Е Ц

Оглавление

Вступительная статья—Е. Ковальчик III

КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая—Бал	3
Глава вторая—Враги пришли	17
Глава третья—Потрявоженный муравейник	30
Глава четвертая—Бой на Алме	45
Глава пятая—Отступление	57
Глава шестая—Смертный приговор флоту	63
Глава седьмая—Фланговый марш	74

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая—Самодержец	83
Глава вторая—Другой самодержец	94
Глава третья—Третий самодержец—его величество капитал	103
Глава четвертая—Часы тревоги	114
Глава пятая—Дни ликований	120
Глава шестая—Дни надежд	122
Глава седьмая—Торжество логики	136
Глава восьмая—Канонада 5/17 октября	140

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая—Канонада продолжается	163
Глава вторая—Балаклавское дело	175
Глава третья—Канун битвы	192
Глава четвертая—Инкерманское побоище	201
Глава пятая—Побежденный главнокомандующий	219
Глава шестая—Разгул стихий	227
Глава седьмая—Казнокрады	237

КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава первая—Первый отряд сестер	251
Глава вторая—«Судьба Севастополя»	259
Глава третья—Дома скорби	262
Глава четвертая—Молодежь	268
Глава пятая—Две вылазки	277
Глава шестая—Главногокомандующими недовольны	295

Глава седьмая—Николай нервничает	307
Глава восьмая—Шумный тыл	317
Глава девятая—Прыжок в тишину	325

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава первая—Гробовая тишина	331
Глава вторая—Юбилей	345
Глава третья—Ополчение	358
Глава четвертая—«Лицо императора»	365
Глава пятая—Степан Хрулев	370
Глава шестая—Налет на свпаторию	375
Глава седьмая—Николай заболел	387
Глава восьмая—Новые редуты	392
Глава девятая—Смерть Николая	397
Глава десятая—Отставка Меншикова	403

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Глава первая—Междувластие	414
Глава вторая—Истомин	425
Глава третья—Хлапонинка	439
Глава четвертая—Мартовское дело	449
Глава пятая—Оттепель	460
Глава шестая—Пластуны	468
Глава седьмая—Пасхальная канонада	479

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Глава первая—Два праздника	499
Глава вторая—В стане интервентов	510
Глава третья—Ночь на кладбище	518
Глава четвертая—Разгром Керчи	530
Глава пятая—Витя и Варя	540
Глава шестая—«Три отрока»	549
Глава седьмая—Пирогов уезжает	564
Глава восьмая—Штурм Севастополя	572

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Глава первая—Вернопопданнные без владыки	538
Глава вторая—Голубые мундиры	597
Глава третья—После штурма	608
Глава четвертая—Свадьба	614

<i>Глава пятая</i> — Нахимов	621	<i>Глава четвертая</i> — Третья сторона Севастополя .	702
<i>Глава шестая</i> — У интервентов и у нас	632	<i>Глава пятая</i> — Перед штурмом	712
<i>Глава седьмая</i> — Бастионы в июле	637	<i>Глава шестая</i> — Штурм	718
<i>Глава восьмая</i> — Совещание «Больших энглет» . .	652	<i>Глава седьмая</i> — Переправа на Северную	744

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

<i>Глава первая</i> — Дни перед боем	666
<i>Глава вторая</i> — Бой на Черной речке	672
<i>Глава третья</i> — Пятая бомбардировка	680

ЭПИЛОГ

<i>Глава первая</i>	751
<i>Глава вторая</i>	759
<i>Глава третья</i>	768

Редактор И. Ф. Трусев

Тираж 50 000 экз. (1-й завод 1—35 000 экз). Подписано в печать 29/V-42 г. А38613.
88,8 авт. листов. 42 688 экз. в печ. листе.

98 печ. листов. Цена в переплете 17 р. 50 к.

Набрано и сматрицировано в 3-ей типографии «Красный пролетарий» Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига». Москва, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано в 1-й Образцовой тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига». Москва,
Валовая, 28. Зак. № 1555.